

С. В. Смоленский. Воспоминания. Казань, Москва, Петербург. Том IV

Том I • Том II. Книга 1 • Том II. Книга 2 • Том III • Том IV • Том V • Том VI. Книга 1 • Том VI. Книга 2 • Том VII. Книга 1 • Том VII. Книга 2 • Том VIII. Книга 1 • Том IX. Книга 1. Часть 1 • Том IX. Книга 1. Часть 2

От научного редактора

Впервые публикующиеся Воспоминания Степана Васильевича Смоленского можно поставить в ряд лучших русских мемуаров описываемого автором периода от 60-х годов XIX века до первых лет следующего столетия. Составители сознавали что этот текст по своему содержанию не может полностью вписаться в рамки данной тематической серии, хотя к проблематике духовной музыки самым непосредственным образом откосится большая часть Воспоминаний, прежде всего седьмая и девятая главы, посвященные Синодальному хору и училищу и Придворной певческой капелле (по объему примерно две трети мемуаров), а также фрагменты шестой главы, где рассказывается об опытах приобщения к церковному пению поволжских иноверцев. отдельные очень выразительные страницы казанских глав, главы о С.А. Рачинском и т.д.

Широта содержания Воспоминаний Смоленского, отражающая талантливость и многосторонность натуры их автора, который был прежде всего деятелем жизни, потребовала в ряде случаев подробного комментирования. с привлечением других материалов из архива Смоленского. Публикуемый после Воспоминаний Биографический очерк Н.Ф. Финдейзена отчасти восполняет не освещенный в Воспоминаниях последний период жизни автора и расставляет некоторые важные вехи и акценты в отношении всей его биографии.

ББК 85.318

От научного редактора

...Он был одним из больших русских людей – из тех, которым присваивается почетное звание «соль земли».

С.В. Смоленский о С.А. Рачинском

Перед читателями – текст, который дожидался своего времени ровно столетие. Текст пространный, захватывающе интересный, красиво и ярко написанный, хотя иной раз и не легкий для восприятия.

По нашему убеждению, Воспоминания Степана Васильевича Смоленского можно поставить в ряд лучших русских мемуаров описываемого автором периода – второй половины XIX века, от 60-х его годов и до первых лет следующего столетия. Включая Воспоминания Смоленского в серию «Русская духовная музыка в документах и материалах», мы сознавали, что по своему содержанию они не могут полностью «вместиться» в рамки данной тематической серии (а наверное, и какой бы то ни было иной), хотя к проблематике духовной музыки самым непосредственным образом относится большая часть Воспоминаний – прежде всего седьмая и девятая главы, посвященные Синодальному хору и училищу и Придворной певческой капелле (по объему – примерно две трети мемуаров), а также фрагменты шестой главы, где рассказывается об опытах приобщения к церковному пению поволжских инородцев, отдельные очень выразительные страницы казанских глав, главы о С.А. Рачинском и т.д. Широта содержания Воспоминаний Смоленского, отражающая талантливость и многосторонность натуры их автора, который был прежде всего «деятелем жизни», а не только (и даже – не столько) педагогом, музыкантом, ученым, ставит перед публикаторами сложные проблемы при комментировании. Мемуары Смоленского не похожи ни на одни из известных нам «музыкальных мемуаров», потому что и сам Степан Васильевич не вписывался в какую-либо замкнутую среду. Если бы, допустим, его Воспоминания издавались в серии «общественно-политических» или «педагогических» мемуаров (что вполне возможно), к ним потребовался бы совсем иной комментарий, нежели тот, который дается здесь, в серии «Русская духовная музыка»: естественно, мы уделяем преимущественное внимание этой стороне деятельности Степана Васильевича, нередко оставляя в тени иные моменты.

Затем, надо иметь в виду такую особенность натуры Смоленского, как горячность, страстность, доходившую иногда до «пристрастности». Он был человеком, о котором хочется сказать стихами Л.К. Толстого:

Коль любить, так без рассудку,
Коль грозить, так не на шутку,
Коль ругнуть, так сгоряча,
Коль рубнуть, так уж сплеча!

Конечно, любил Степан Васильевич хоть и самозабвенно, но все же «с рассудком», людей, вполне того достойных. Главные его наставники, те двое, кому посвящены специальные главы в Воспоминаниях, Н.И. Ильминский и С.А. Рачинский, – люди замечательные и деятели уникальные. А вот насчет «рубнуть сплеча» – это явно имело место. Подобной «рубкой» нужно считать прежде всего пространные пассажи в последней, девятой главе о Придворной капелле, написанные почти как дневник, чуть ли не день в день с происходившими событиями. И если в главе о Синодальном училище сильно и поделом достается малосимпатичным чиновникам вроде Ш¹ или Ш² (то есть прокурорам Московской Синодальной конторы А.Н. Шишкову и А.А. Ширинскому-Шихматову), то резкость написанного в девятой главе о замечательных музыкантах М.А. Балакиреве, А.К. Лядове и особенно о С.М. Ляпунове, а также и о более скромных, но полезных деятелях Капеллы вроде Е.С. Азеева или С.А. Смирнова не может не смутить читателя. Похожий случай есть в разделе о Московской консерватории, но там филиппики в адрес директора консерватории В.И. Сафонова уравниваются все-таки признанием его выдающегося таланта и крупных достижений; в девятой же главе никакой «компенсации» нет. Остается только призвать читателя, во-первых, сделать скидку на характер Смоленского и на ситуацию полного развала, которую он застал в Придворной капелле, а во-вторых, припомнить величие заслуг тех же Балакирева, Лядова и Ляпунова перед русской музыкой в целом.

Сам Степан Васильевич называет себя в эпилоге Воспоминаний «неисправимым семидесятником», то есть

человеком 70-х годов XIX столетия. Это – сложное определение, включающее и непосредственное влияние предшествующей эпохи (кое в чем, и не в малом, Смоленский – типичный «шестидесятник»), и нечто иное. Здесь, кажется, возможна даже аналогия с «шестидесятниками» и «семидесятниками» следующего, XX века. По общему складу убеждений Смоленского, как и его любимого наставника Рачинского, можно отнести к позднему славянофильству – недаром же на последних страницах Воспоминаний возникает имя главы этого движения Ивана Сергеевича Аксакова, человека иного, чем Смоленский, поколения, но во многом (по темпераменту, по рисунку жизненного пути) близкого Степану Васильевичу. Однако Смоленский, в отличие от Аксакова, был не столько теоретиком и публицистом (хотя и ими тоже), сколько практиком. В его отношении к народу и народному искусству, к церковному пению в частности, есть «народнический» восторг, но преобладает трезвая и глубокая оценка, основанная как на любви и преклонении, так и на настоящем знании.

Главный, самый удачный и плодотворный период деятельности Смоленского приходится на царствование Александра III. Собственно, новые общественные настроения, связанные с этим царствованием, и вынесли Смоленского на «гребень волны»: из обаятельной, но все же провинциальной Казани в самый центр Москвы (в прямом и переносном смысле). Позволим себе привести достаточно длинную цитату из речи памяти Александра III, произнесенной в 1895 году К.П. Победоносцевым, то есть тем человеком, который и поставил мало кому известного в конце 1880-х годов казанского педагога и начинающего ученого во главе большого дела – реформирования Московского Синодального училища церковного пения и Синодального хора.

«[В период между царствованием Александра I и вступлением на престол Александра III] протекло с лишним столетие. В этот период времени трудно исчислить, сколько сделало успехов, как выросло русское историческое самосознание. (...) Открыто и обнародовано множество новых памятников, осветивших историю народной жизни, явились

молодые ученые с самостоятельными взглядами на учреждения и события и характеры, в обществе проснулся живой интерес к памятникам народного творчества в песнях, в былинах, в музыке, в архитектуре.

В Москве собрался кружок культурно образованных людей, одушевленных мыслью о необходимости народного самосознания в исследовании прошедших судеб страны своей и своего народа; они явились в обществе и в литературе с протестом против ложного отношения к русской жизни и ее потребностям, против самодовольного невежества и равнодушия ко всему, что касалось до самых живых интересов России. Это были люди, искавшие в прошедшем своей родины идеала для устройства будущих судеб ее, и они первые сознательно выяснили перед всеми нераздельную связь русской народности с верою и с Православною Церковью. (...) Посреди таких явлений возрастал и образовался будущий император».

В этих словах описан, вообще говоря, идеал Смоленского, который преклонялся перед русским народом, был убежденным «государственником», до конца дней своих верил в величие исторической миссии России и в «народного царя» (ненавидя и презирая при этом окружавшую царя бюрократию), являлся, по его собственным словам, «искренне православным», притом церковно православным – и «генетически», по происхождению, и по личным убеждениям.

Отсюда острая боль, которая выплескивается на страницах Воспоминаний в связи со всем тем, что омрачало высокий идеал. Гневные суждения Смоленского о «чиновничьем царстве» в многоликих его проявлениях (скорее всего, именно действия чиновников и укоротили жизнь этому от природы очень сильному и здоровому человеку) в особых комментариях не нуждаются. Предполагаем, однако, что многие читатели будут поражены – как были поражены и мы – теми страницами московской главы Воспоминаний, где Смоленский пишет о нравственном состоянии церковной среды, которое раскрылось ему при переезде из патриархальной Казани в древнюю столицу. Это – жесткие и даже жестокие страницы, но у нас нет

оснований сомневаться в правдивости всегда искреннего и прямого Смоленского. Речь здесь не идет о каких-то личных столкновениях с церковными кругами по поводу деятельности Синодального училища или пения Синодального хора. Смоленский умел отделять частное от общего: так, например, испытывая трудности в служебных отношениях с митрополитом Московским Иоанникием, он все же пишет о нем как о достойном, добром и честном человеке. А чтобы понять глубину душевной оскорбленности Смоленского обнаруженными им, скажем мягко, «нестроениями» в церковной среде, надо вспомнить ту проникновенную нежность, с которой он говорит на других страницах своих мемуаров о духовных светочах русской земли: о будущем митрополите Московском Макарии (Невском) – «совершенно праведном иноке, великой добродетели перед Господом»; о просветителе северных народов, епископе Якутском (впоследствии – Уфимском) Дионисии, герое гениальной повести Лескова «На краю света»; о пламенном православии новокрещеных инородцев, о московских «любителях церковных искусств» из простонародья, наконец, о старообрядцах, поразивших его при первой случайной встрече и, собственно, наставивших его на тот путь, которым он шел далее до конца жизни...

Все это и многое другое в Воспоминаниях Смоленского заслуживает самого серьезного осмысления. Несколько проще обстоит дело с профессиональной деятельностью Степана Васильевича в области церковного пения: тут и он сам подробно рассказывает обо всем, и комментарии дают много дополнительного интересного материала. Важно, думается, только подчеркнуть несколько моментов.

Во-первых, Смоленский, с детства певший в церковном хоре, выросший в среде профессуры Казанской духовной академии, пришел к последовательным занятиям церковным пением зрелым человеком, получив два университетских образования (юридическое и филологическое), приобретя значительный педагогический опыт и – будучи полным автодидактом в специально музыкальной сфере. Здесь он – типичный русский «самородок», но с очень крупной и рано

проявившейся одаренностью, позволившей ему и овладеть практически игрой на нескольких инструментах, и сформировать весьма широкий музыкальный кругозор – шире, чем у профессоров Московской консерватории, с которыми он повстречался в более поздние годы и которые, в значительной их части, отнеслись к Смоленскому, с его увлеченностью древнерусским искусством, более или менее скептически. Примечательно при этом, что ближайшим его товарищем в консерваторской среде стал самый достойный и образованный музыкант Москвы того времени – Сергей Иванович Танеев.

Во-вторых, в отличие от деятелей в области церковного пения предшествующего периода, которые подходили к задачам обновления и реформирования этого пения во многом с историко-теоретических позиций, Смоленский, будучи настоящим ученым, опирался все-таки прежде всего на свой живой слуховой опыт и непосредственное эстетическое чувство. Церковное пение явилось для него (как и для его друга С.А. Рачинского) той областью, где пересекались любовь к народу, к России и любовь к идеальной, возвышенной красоте. Смоленский высказывал свое заветное убеждение, когда в финале статьи «О собрании русских древнепевческих рукописей в Московском Синодальном училище церковного пения» призывал отечественных музыкантов обратиться к изучению этого мира: «...смею думать, что ознакомление с нашими древними церковными напевами вполне необходимо каждому русскому музыканту, особенно же начинающему композитору... И отчего бы не задуматься каждому из них над причинами того, почему иногда его обуревают чувство беспочвенности? почему же так чужд его духу целый мир вековых и родных музыкальных идей? (...) Своеобразные мелодии, прекрасные по форме и содержанию, совершенно оригинальные ритмы не могут не удивить, не могут не освежить мирозерцание современного русского художника и должны отрезвить его простотой, ясностью и глубиной их мыслей». Так писал Смоленский в 1899 году, и едва ли ошибался.

Наконец, выдающийся организатор и педагог по природным своим данным и по воспитанию, Смоленский был в душе и

ученым, и художником одновременно. Художественность натуры Степана Васильевича читатель Воспоминаний ощутит с первых же страниц. И таков же он в своих научных работах – отсюда их непревзойденная яркость и огромное место, которое занимают в них интуитивные прозрения и всякого рода «догадки».

Не будем снова возвращаться к вопросу о роли Смоленского в истории русской духовной музыки, отечественной музыкальной медиевистики и т.д. – об этом достаточно подробно говорится как во вступительной статье Н.И. Кабановой, так и во всех предыдущих томах серии «Русская духовная музыка в документах и материалах», где широко представлены и работы Смоленского, и тексты о нем. Здесь же хочется сказать о многолетнем подвижническом труде исследовательницы из Брянска Надежды Ивановны Кабановой, которая, преодолевая бесчисленные трудности, подготовила к печати текст Воспоминаний, и вообще – первой осмыслила рукописное наследие Смоленского. Ее вступительная статья к этому тому не просто предваряет Воспоминания, но дает читателю многогранное представление о содержании неопубликованного архива Степана Васильевича.

Что касается рукописи Воспоминаний, то она явно была хранима судьбой. Долгое время путешествуя по разным рукам, она не подверглась уничтожению в бурном водовороте отечественной истории XX века, а вовремя «осела» в очень надежном месте – в квартире (потом – Музее-квартире) великого русского дирижера Николая Семеновича Голованова. И это было вовсе не случайное попадание. Голованов не просто интересовался документами своей alma mater – Синодального училища; он и в самые трудные годы, подчас рискуя (и ему было чем рисковать – например, постом главного дирижера Большого театра), писал духовную музыку (правда, «в стол»), собирал русскую религиозную живопись и иконопись, поддерживал московское духовенство, ни от чего в собственном прошлом не отрекался и вообще вел себя храбро и достойно. Смоленский мог бы гордиться таким выпускником своего любимого Синодального училища.

Хотелось бы выразить особую, самую теплую признательность сотрудникам Мемориального музея-квартиры Н.С. Голованова – В.И. Руденко и О.И. Захаровой, проявившим редкое понимание и терпение в связи с подготовкой к печати рукописи Воспоминаний С.В. Смоленского, а также принести благодарность руководству Государственного центрального музея музыкальной культуры имени М.И. Глинки и лично генеральному директору А.Д. Панюшкину.

Текст Воспоминаний печатается по правилам современной орфографии и пунктуации, с сохранением некоторых особенностей оригинала. Позднейшие вставки автора выделяются курсивом. Максимально воспроизводятся «дополнительные материалы» – схемы и нотные примеры (факсимиле). Относительно вклеенных в рукопись печатных текстов было решено ограничиться двумя вырезками из «Русской музыкальной газеты» – очерком о В.Н. Пасхалове и заметкой памяти С.А. Рачинского. Не воспроизводятся три другие печатные вклейки – воспоминания о Казанском университете и воспоминания о Н.И. Ильминском – как во многом совпадающие по содержанию с соответствующими главами основного текста, а также заметка памяти А.А. Эрарского; не перепечатывается также вклеенная в восьмую главу вырезка из газеты «Новое время» со статьей о Рачинском В.В. Розанова. К двум печатным документам в Приложении присоединяются рукописные дополнения Смоленского к разделу о старообрядцах, не вошедшие в автограф Воспоминаний, но примыкающие к нему по смыслу. Что касается помещаемого после материалов Смоленского «Биографического очерка» Н.Ф. Финдейзена, то его публикация, на наш взгляд, не только отчасти восполняет не освещенный в Воспоминаниях последний период жизни Степана Васильевича, но и расставляет некоторые важные вехи и акценты в отношении всей его биографии, показывает, как оценивалась его деятельность современниками.

Марина Рахманова.

Степан Васильевич Смоленский и судьба его архива

Буквально сразу после ухода из жизни Степана Васильевича Смоленского, в июле (по новому стилю – августе) 1909 года в «Русской музыкальной газете» появилась статья его памяти редактора-издателя газеты Николая Федоровича Финдейзена.¹ В ней впервые было упомянуто об огромном личном архиве Смоленского, которому Финдейзен придавал исключительно важное значение: по его мнению, «непонятая» и «неоцененная» до конца современниками фигура Смоленского должна была раскрыться будущим поколениям не только в опубликованных или оставшихся неизданными научных работах, «закрывающих такую массу своеобразной мысли, остроумия и личного, глубоко продуманного опыта», но и в материалах архива ученого. Как писал Финдейзен, «в этих крупных документах скажется Смоленский как человек, и художественная, чисто русская натура его станет во весь рост, во всю ширину своего крупного, многостороннего и своеобразного дарования. И тогда только русское общество узнает, чем в действительности был Смоленский и в русской жизни, и в русской науке».

Вскоре, в январе 1910 года Финдейзен выступил с публикацией «К полу-годовщине дня кончины С.В. Смоленского»², где более подробно рассказал об архиве ученого. Большой поклонник Смоленского, Финдейзен в течение тринадцати лет (с 1897 года) печатал его работы в своей газете. Кроме того, Николай Федорович Финдейзен был страстным коллекционером, в личном собрании которого сосредоточивались разнообразнейшие материалы, касавшиеся истории русской музыки и современников-музыкантов. По приглашению вдовы Смоленского, Анны Ильиничны, он, вместе с другом и соратником Смоленского Антонином Викторовичем Преображенским, с огромным интересом занялся разборкой рукописей ученого. Результатом стала упомянутая «статья-отчет» к полу-годовщине со дня кончины Степана Васильевича.

Особо выделив в литературном наследии Смоленского Воспоминания, Дневники, а также большую переписку с С.А. Рачинским, Финдейзен отметил: «...если «Дневник» Смоленского – и по обширности своей, и по факторам в нем отмеченным – в настоящее время вряд ли может появиться в печати, то всячески нужно желать и способствовать скорейшему напечатанию Воспоминаний Степана Васильевича. (...) Издание этих Воспоминаний – дело первой и неотложной необходимости. Несомненно, что Дневник Смоленского представит еще более крупный интерес (мне приходилось с ним знакомиться еще при жизни Степана Васильевича), ибо эти семь [с афонским дневником восемь. – Н.К.] объемистых томов – своеобразная летопись, полная документальных исторических фактов. Но для опубликования их – не настала еще пора».

Второй раздел написанной по горячим следам статьи посвящался сугубо научным рукописям из архива ученого. Коснувшись вопроса готовности к изданию трех масштабных трудов – «Описания знаменных и нотных рукописей церковного пения, находящихся в Соловецкой библиотеке Казанской духовной академии» (1885, 1905), «Сравнительного текста догматиков воскресных в знаменных и нотных изложениях с XIV-XV по XIX век» (1904), «Каталога нот русского пения в XVII и XVIII веках» (1896), – Финдейзен охарактеризовал их как «совершенно завершенные» и ждущие публикации. Далее он указал и на ряд важных незавершенных работ, в частности на «Ритмические записи» – тетрадь заметок и материалов, а также на «Кондакари», «Годовые стихирари», «Стихирари постные», «Минеи», «Подобны малого распева» – сравнительные параллельные изложения песнопений соответствующих жанров по рукописям разных библиотек и частных собраний. Перечисленные работы, «путеводные нити для будущих исследователей церковного пения», тоже, по мнению Финдейзена, могли быть «пригодны для печати в той или иной форме».

Сообщив о своих планах опубликовать в ближайшее время в газете ряд материалов из архива Смоленского, Финдейзен приглашал к сотрудничеству другие учреждения. Он горячо

приветствовал Общество любителей древней письменности, осуществившее на средства своего председателя графа С.Д. Шереметева посмертное издание последнего труда ученого – «Музыкальной грамматики Николая Дилецкого», и выразил убеждение, что лучшим памятником Смоленскому могло бы стать издание остальных его крупных научных трудов, поскольку их публикация «не под силу частным лицам».

Конечно, уважение к памяти Смоленского, выразившееся в первые дни после его кончины множеством номинальных звонков по всей Русской земле, не ослабевало в течение последующих лет, вплоть до 1917-го. На страницах «Русской музыкальной газеты», «Хорового и регентского дела», «Музыкального труженика», «Церковного пения» появился ряд интересных и ценных статей, заметок, воспоминаний учеников, последователей, почитателей Смоленского. Журнал «Хоровое и регентское дело», у истоков которого стоял сам Степан Васильевич, опубликовал такие его работы, как «О русской церковно-певческой литературе с половины XVI века до начала влияния приезжих итальянцев», «Вступительная лекция по истории церковного пения, читанная в Московской консерватории 5 октября 1889 года», «Вступительная лекция по истории церковного пения, читанная в Петербургском университете в октябре 1905 года», «Церковное пение, народная песня и школьные хоры (мысли С.В. Смоленского)». В «Русской музыкальной газете» вышли «Чтения из истории русского церковно-певческого искусства» (выступления Смоленского в Обществе любителей древней письменности), «Несколько новых данных о так называемом кондакарном знамени в кондакарях XII-XIII веков», «Клавесинная музыка в России второй половины XVIII века». Кроме того, в 1911 году Финдейзен опубликовал пятый выпуск своего сборника «Музыкальная старина», целиком посвященный памяти Смоленского: сюда вошла одна из последних работ ученого – «Значение XVII века и его кантов и псалмов в области современного церковного пения так называемого „простого напева“» с большим нотным приложением, а также составленные Финдейзенем «Биографический очерк» и два

ценнейших указателя – «Указатель изданных литературно-музыкальных трудов С.В. Смоленского в хронологическом порядке» и, при содействии А.В. Преображенского, «Полный список докладов и лекций С.В. Смоленского за 1901–1908 гг., читанных главным образом в Обществе любителей древней письменности».

И все-таки в дореволюционные годы так и не появились публикации, связанные с Дневниками и Воспоминаниями, а также с эпистолярной из личного архива ученого. Такие публикации, как «Письмо Д.В. Разумовского к С.В. Смоленскому» («Хоровое и регентское дело», 1910, № 7), «Три открытки С.В. Смоленского А.Д. Кастальскому» («Музыка», 1916, № 248), «Письмо С.В. Смоленского редакции старообрядческого журнала «Церковное пение»» («Церковное пение», 1909, № 8), «Два письма священнику Уфимской епархии Михаилу Степанову» («Хоровое и регентское дело», 1915, № 12), основывались на материалах, находившихся вне личного архива ученого. Иначе говоря, оставались не востребуемыми те уникальные памятники, о которых столь взволнованно и убедительно говорил Финдейзен в статьях памяти Степана Васильевича.

Знакомство Николая Федоровича Финдейзена с архивом ученого привело к весьма важному результату – созданию «Биографического очерка». А.В. Преображенский дал ему очень высокую оценку: «Биографический очерк составлен подробно и прекрасно обрисовывает глубоко симпатичный облик незабвенного Степана Васильевича на протяжении всей его жизни, от школьной скамьи – до последних дней. Н.Ф. Финдейзен приводит в очерке целый ряд выдержек из «Воспоминаний» и переписки Степана Васильевича с разными лицами, чем очень оживляет известный всем сухой биографический перечень событий его жизни».³ Действительно, среди работ о Смоленском биографического плана⁴ очерк Финдейзена выделяется как масштабами, так и богатством материала. Из текста становится ясно, к каким источникам автор обращался в процессе работы. Это, конечно, научно-исторические труды Смоленского, фрагменты писем к нему С.А.

Рачинского, письма Степана Васильевича к самому Финдейзену, а также и Воспоминания. Причем Финдейзен касается тех подробностей биографии Смоленского, которые содержались именно в полной двухтомной рукописи-автографе Воспоминаний, но, прибегая к прямому цитированию, использует лишь тексты известной, изданной еще в 1904 году статьи Смоленского «Из воспоминаний о Казани и Казанском университете в 60-х и 70-х годах».⁵ Материал статьи представлял собою стилистически переработанный и дополненный текст третьей главы Воспоминаний («Университет») и некоторых страниц других казанских глав. Таким образом, Финдейзен, зная основную событийную канву, наложенную в Воспоминаниях, по каким-то причинам пользовался только изданным материалом. Невольно возникает предположение, что в период работы над очерком Николай Федорович не имел в своем распоряжении полной рукописи Воспоминаний, которую читал раньше. Во всяком случае, в архиве Финдейзена не сохранилось следов какой-либо подготовительной работы с этим автографом, в то время как существуют выписки из писем С.А. Рачинского, использованные в очерке в виде цитат.⁶ Знакомство Финдейзена с двухтомным фолиантом происходило скорее всего торопливо, в спешке, о чем свидетельствуют и некоторые фактические неточности, допущенные в очерке. Так, отец Смоленского, Василий Герасимович, по словам Финдейзена, служил в Петербургском университете, хотя на первых же страницах Воспоминаний сказано, что Василий Герасимович служил у архиепископа Казанского Григория (Постникова) и с ним приезжал в Петербург для присутствия в Св. Синоде. Дед со стороны матери, Степан Дмитриевич Колеров, назван «бывшим профессором Санкт-Петербургской духовной академии», что тоже неверно: окончив Петербургскую духовную академию, Колеров преподавал в Киевской духовной академии с дальнейшими переводами в Тверь и Кашин.

Ошибочно указаны в очерке даты рождения и смерти Смоленского – 8 октября и 20 июля, каковая погрешность перешла во все позднейшие справочные издания, лишив тем

самым Смоленского знаменательного покровительства казанских святителей Гурия и Варсонофия, под праздничные трезвоны которым 3 октября 1848 года появился на свет человек, которому было суждено продолжить завещанное этими святителями дело христианского просвещения народов Поволжья. Умер Смоленский 19 июля. Об этом свидетельствует А.В. Преображенский, записавший на документе передачи Дневников в Общество любителей древней письменности: «С.В. Смоленский скончался 19 июля 1909 года».⁷ Неточность даты смерти возникла, по всей видимости, случайно. Так, в своей статье «Памяти Степана Васильевича Смоленского» (М., 1909), написанной 21 июля, С.Д. Шереметев говорит: «Скончался Смоленский. Известие это дошло по телеграфу из Васильсурска 20 июля, в день «Илии – гремящего пророка»". Телеграмма была получена Шереметевым в его имении, селе Михайловском; вероятно, тогда же, 20 июля, известие дошло и до Петербурга, и этот день был принят за дату кончины Степана Васильевича.

На многие возникающие в связи с архивом Смоленского вопросы дает ответ документ первостепенного значения – **завещание** Степана Васильевича. Оно сохранилось в копии, выполненной рукою того же Н.Ф. Финдейзена и находящейся в его фонде в Российской национальной библиотеке.⁸ Составлялось завещание 12 января 1905 года в Петербурге. Само наименование документа – «Дополнительные мои распоряжения по духовному завещанию Анне Ильинишне Смоленской» – указывает на существование основного документа (или первого варианта) завещания. В конце «Дополнительных распоряжений» читаем: «Настоящим распоряжением подтверждаются все сделанные мною ранее (еще в Москве) распоряжения о моем погребении и отменяются те из прежних сделанных, которые, по истечении времени и по перемене обстоятельств, стали сами собою излишними». Московский вариант завещания, к сожалению, нам неизвестен. Однако «Дополнительные распоряжения» являются, по сути, полным завещанием, так как Смоленский в них подробно коснулся всех требовавших разрешения вопросов. Распоряжения же о погребении, не указанные здесь конкретно,

были, очевидно, исполнены по московскому документу: Смоленского похоронили в его родной Казани.

Степана Васильевича не заботили денежные сбережения – их попросту не было. С.С. Волкова в своих воспоминаниях о Смоленском пишет: «Соблюдая порядок в собственных денежных делах, он и жена его всегда были готовы прийти на помощь ближним. После смерти их говорили, что они многих выручили из беды, помогая. Этим, вероятно, объясняется, что на черный день у них не оказалось сбережений».⁹ В завещании Смоленский приказывал: «Все долги, какие и чьи бы они ни были, я завещаю совершенно простить и отнюдь не взыскивать; если поступят уплаты долгов – обратить те уплаты на добрые дела бедным людям» (пункт 14-й); «Прислуге, прислуживающей мне при моей предсмертной болезни, отдать, двум женщинам, по сто рублей каждой, если то только будет возможно по твоему усмотрению» (пункт 15-й).

Не имея собственных детей, Степан Васильевич уделял внимание своим племянникам, детям сестры Лидии Васильевны (в замужестве Колеровой, вдовы с 1896 года) и брата Василия Васильевича. В.В. Смоленский по настоянию Степана Васильевича переехал из Казани в Москву в 1892 году и служил смотрителем в Строгановском училище. «Горевой виолончелист», по выражению брата, он имел отличавшуюся музыкальностью дочь Екатерину Васильевну. Поэтому Смоленский завещал: «Все мои ноты для фортепьяно и пианино Дидерихса немедленно после моей смерти передать моей племяннице Екатерине Васильевне Смоленской» (пункт 4-й). А также: «Икону Владимирской Божьей Матери (без оклада), Евангелие моей матери и большие часы отца моего передать племяннику моему Николаю Васильевичу Смоленскому, сыну брата моего Василия Васильевича Смоленского. Ему же вместе с этими вещами передать **для хранения и для передачи затем старшему в роде Смоленских:** водочную чарку серебряную и серебряно-вызолоченный стакан моих предков» (пункт 18-й); «Энциклопедический словарь передается моему племяннику Борису Федоровичу Колерову, сыну сестры моей Лидии Васильевны» (пункт 8-й).

Остальное наследие, в частности Дневники и собранную им в Петербурге коллекцию певческих рукописей, Смоленский делил между двумя столицами: Москвой в лице Синодального училища церковного пения и Петербургом в лице Общества любителей древней письменности. Относительно Москвы Смоленский говорит: «Адресы, поднесенные мне в Синодальном училище, икону Божией Матери (с изображением кн. Владимира и кн. Ольги), поднесенную мне бывшими учениками, икону малую св. Стефана и св. Анны, поднесенную мне прислугой училища, чернильный прибор, поднесенный мне синодальными певчими, два альбома товарищей и учеников Синодального училища (1901 г.), – по твоему [то есть Анны Ильиничны Смоленской] усмотрению о времени передачи – передать в библиотеку рукописей Синодального училища, для помещения именно там» (пункт 11-й); «все остальные [то есть кроме завещанных Екатерине Васильевне] ноты (квартеты, партитуры и т.п.), большой львовский камертон¹⁰, все книги и рукописи, относящиеся к церковному пению, истории и теории музыки, передать в библиотеку рукописей Московского Синодального училища церковного пения, мною собранную... в память о моих трудах на пользу того училища и на пользу русского церковного искусства; туда же, по твоему завещанию, должен перейти и мой портрет, писанный художником Николаем Петровичем Богдановым-Бельским; туда же, по твоему усмотрению о времени передачи, должно передать все тома моих Дневников до 6 мая 1901 г., запечатанными для вскрытия их через 10 лет после моей смерти» (пункт 5-й).

Обществу любителей древней письменности завещались Дневники петербургского периода: «Дневники после 6 мая 1901 г. [дата назначения Смоленского управляющим Придворной певческой капеллой] должны быть переданы в императорское Общество любителей древней письменности, также в запечатанном виде, для вскрытия их также через 10 лет после моей смерти» (пункт 6-й). В этом Обществе Смоленский усердно сотрудничал все петербургские годы, на его заседаниях прочел впервые многие свои работы. С председателем Общества графом Сергеем Дмитриевичем Шереметевым

Смоленского связывали доверительные отношения, глубокое взаимное уважение, и в числе прочего – живой интерес к старообрядчеству, а потому Сергею Дмитриевичу лично предназначалась особая реликвия: «Икону «Стефан Савваит, Роман – певец и Иоанн Дамаскин», поднесенную мне старообрядцами Москвы, передать в храм домовый церкви графа Сергея Дмитриевича Шереметева, в память моей благодарности и любви к нему» (пункт 12-й). Напомним, что в левом крыле уютного садового флигеля дома графа на Фонтанке, 54 Смоленский жил после увольнения из Капеллы вплоть до 1908 года, здесь составлялось и завещание.

В документе были названы еще два частных лица – Антонин Викторович Преображенский и София Сергеевна Волкова. Степан Васильевич завещал: «Два тома моих Воспоминаний, по праву собственности, передаются Софье Сергеевне Волковой с моею просьбою, по ее усмотрению, передать в Казанскую учительскую семинарию, для хранения ее в библиотеке» (пункт 7-й). К Преображенскому, преданному ученику и соратнику, переходила вся «переписка с разными лицами (...) с просьбою озаботиться о ее дальнейшем порядке и сохранении по его усмотрению. Ему же и все мои оригиналы статей, особо охраненные мною» (пункт 9-й). Специальным «дополнением к пункту 9-му» Преображенскому передавался также символический подсвечник, полученный Смоленским от Д.В. Разумовского: «Ему же, Антонину Викторовичу Преображенскому, признаваемому мною за лучшего будущего работника по истории церковного [пения] в России, передать подсвечник кабинетный, дабы Антонин Викторович заблаговременно и по своему усмотрению распорядился о последующей, после его смерти, передаче наиболее достойному ученому этого подсвечника, имеющего историческое значение. На подсвечнике вырезана надпись: «Дар и память князя Влад[имира] Фед[оровича] Одоевского Николаю Мих[айловичу] Потулову – 1864 г.; протоиерею Дмитрию Вас[ильевичу] Разумовскому – 1872 г.; Степану Вас[ильевичу] Смоленскому – 1888 г.; Ант[онину] Викт[оровичу] Преображенскому – 190...».

Наконец, в 10-м пункте завещания Смоленский категорически требовал уничтожить, надо полагать, весьма значительную часть своего архива: «Все мои рабочие тетради и отдельные записи, нотные и рукописные, должны быть сожжены непременно, кроме – «ритмические записи», до 40-го дня по моей смерти».

«Дополнительные распоряжения» наверняка были последним вариантом завещания, в который более не вносились поправки и дополнения. Причин сомневаться в точности финдейзеновской копии документа нет: действия главных душеприказчиков – Анны Ильиничны Смоленской и Антонина Викторовича Преображенского – соответствуют смыслу «Дополнительных распоряжений»; что же касается отступлений от них, то таковые диктовались произошедшими в России событиями.

Подытожим вышесказанное. Итак, С.С. Волковой предназначалась рукопись Воспоминаний, А.В. Преображенскому – переписка и оригиналы статей, Синодальному училищу – певческие и нотные рукописи, два альбома с фотографиями учащихся и педагогов училища, книжное собрание, Дневники 1889–1901 годов, Обществу древней письменности – Дневники от 1901 года. Возможно, Финдейзен не мог свободно пользоваться Воспоминаниями во время работы над «Биографическим очерком», потому что рукопись была уже передана Волковой.

И все же завещание не заменяет полной, подробной описи архива. Такой специальной описи Смоленский не оставил. В результате можно лишь догадываться, допустим, о реальном объеме и содержании материалов, обрекаемых на сожжение, или о количественной стороне эпистолярия и списке адресатов, отсутствует перечень автографов статей, описание книжного, нотного и рукописного собрания, завещанного Синодальному училищу. Правда, приступив к разбору архива Смоленского летом 1909 года, Финдейзен и Преображенский вряд ли встретились с большими трудностями: документы были аккуратно разобраны и систематизированы самим Степаном Васильевичем, который очень серьезно относился как к

собственному архиву, так и к проблеме архива как таковой. Он всегда проявлял большой интерес к рукописному наследию музыкантов – своих предшественников и современников. Среди его бумаг хранились подлинные документы и копии с них из частных собраний В.Н. Пасхалова, М.А. Веневитинова, А.А. Эрарского, В.Ф. Комарова, Н.Д. Дмитриева, из архива Придворной капеллы и т.д. Работа с архивными материалами всегда приносила Смоленскому глубокое удовлетворение. Так, запись в Дневнике от 5 сентября 1903 года показывает, как Смоленский, только что тяжело переживший свое внезапное увольнение из Придворной капеллы, оживает, просматривая документы той же Капеллы: «Вечером – выписки из дел Капеллы, имеющих наибольший исторический интерес. Начал с курьезнейшего дела об обеде Чайковского – экая прелесть этот гофмейстер [Бахметев] с его глупым чванством и изворотливостью, недурен и деловой Юргенсон, ловко одурачивший его п[ревосходитель]ство на благо свободы от таких идиотов».¹¹ В письме к Финдейзену от 31 августа 1903 года содержится приглашение познакомиться с архивом известного ученого Ю.К. Арнольда: «У меня сейчас весьма интересные бумаги Юр[ия] К[арловича] Арнольда. Не зайдете ли посмотреть...».¹² Продолжение этой темы – в дневниковой записи: «Посещение Анжолеты Карловны Видеман-Арнольд, ныне больной злою чахоткою, было очень печально. Мы много говорили об устройстве книг и бумаг после Юр[ия] К [арловича] Арнольда».¹³

Из писем Михаила Алексеевича Веневитинова, директора Румянцевского музея, родного племянника поэта Д.В. Веневитинова и внука Мих.Ю. Виельгорского, узнаем, что Смоленский собирался познакомиться с музыкальными материалами его семейного архива, а о том, что обнаружилось там, читаем в письме Смоленского к Финдейзену: «Завтра-послезавтра вам будет отправлена для «Русской музыкальной газеты» моя статья, под названием «80 и 60 лет назад – заметки по документам семейного архива М.А. Веневитинова» (...) у меня в виду повытащить от Веневитинова еще кое-что. Намеки в начале и конце статьи есть (под большим секретом и с

просьбою пока не говорить никому и отнюдь не печатать) – находка мною у Веневитинова автографической Skizzen-Buch не больше, не меньше, как самого Людвига ван Бетховена, и не больше, не меньше, как 174 страницы, на которых изложены мысли для вариаций ор. 35 и 34, для сонат от ор. 31 № 3, для «Christus am Oelberge» [оратории «Христос на Масличной горе»] и для некоторых других произведений (...).¹⁴ Драгоценный манускрипт Бетховена, хранящийся ныне в Государственном центральном музее музыкальной культуры имени М.И. Глинки, частично был опубликован, но лишь в следующем веке.¹⁵

В связи со своим очерком памяти В.Н. Пасхалова, написанным по личным воспоминаниям и документам, Смоленский прибегал к помощи Финдейзена: «Автографы Пасхалова у меня, хотя и в незначительном числе. Статью (очень небольшую) я могу, однако, написать не иначе, как при содействии вашем и после интервьюирования Стасова. От последнего имеются три письма, горячо тормозящие Пасхалова и зовущие его в Питер для работы вместе с Мусоргским и К° (...) Нельзя ли немного копнуть Стасова? Нет ли у него писем Пасхалова? (...) а в бумагах я нашел «Kyrie» – сущей красоты, почему, в связи с личными воспоминаниями, решил помянуть человека, которого я очень любил и близко знал в последние его скорбные годы. Что скажете?».¹⁶

Собственно, именно собирательская страсть сдружила Смоленского с Финдейзеном. Не случайно в одном из первых писем к Николаю Федоровичу, от 7 апреля 1897 года, отвечая на любезное приглашение сотрудничать в «Русской музыкальной газете», Смоленский, в свою очередь, приглашает петербургского коллегу при случае посетить Синодальное училище, восторженно описывая свое сокровище – собрание певческих рукописей: «Мне удалось составить в Синодальном училище превосходнейшую библиотеку старых рукописей, в которых открылись необыкновенно интересные вещи из истории хорового церковного и кантового пения в России. Но этим делом надобно еще заняться, так как материалов-новостей сущая прорва. Теперь я успел лишь систематизировать все вновь найденное и только вникнуть в общий характер этих

материалов».¹⁷ И несколько позже: «У нас сначала этого дела совсем не понимали; теперь понимают, но не хотят пошевелить пальцем и истратить гривенник; в будущем уступят требованиям, но посадят на хлеба кого-нибудь в том нуждающегося и ни на что не годного музыкуса; когда сей испортит все дело, тогда подумают о деле серьезно, без высокопарной и передовой болтовни и для поправления возьмут дельного человека».¹⁸

Собирание Смоленским певческих рукописей было естественным откликом на насущные потребности музыкальной медиевистики, науки молодой, усиленно накапливавшей сведения о первоисточниках, которые часто бывали недоступны или труднодостижимы. Смоленский писал: «Всякие чердаки, подвалы, чуланы в церквях на колокольнях кормят мышей рукописями; в архивах консисторий, в башнях монастырских оград, в кладовых архиерейских домов, – вот где до сих пор бесцельно и беспризорно валяются, а часто и бесследно гибнут драгоценные для нас рукописи, утрата которых совершенно незаменима».¹⁹ И Степан Васильевич сохранил от гибели и безвестности множество рукописных памятников, объехав за свою жизнь массу монастырей и храмов, исследуя в них архивы и библиотеки, выбирая ценное для науки, часто собственноручно копируя рукописи.

Знаменательно, что начало этим занятиям было положено в Казани, давшей России не одного видного коллекционера. Авторитетнейшие фигуры ученых-собрателей родного города Смоленского обрисованы им в первых главах Воспоминаний. Это А.Ф. Лихачев, подаривший городу уникальное собрание монет и книг, фамильных портретов, гравюр, икон, фарфора, оружия; В.И. Григорович, совершивший легендарное путешествие по славянским «землям под турками», собравший и доставивший в Казань коллекцию редчайших рукописей; И.Ф. Готвальд, профессор арабского и персидского языков, завещавший Казанскому университету свою библиотеку и редкое собрание рукописей; профессор анатомии Е.Ф. Аристов, приложивший немало усилий к составлению анатомической коллекции университета; ориенталист Х.Д. Френ –

коллекционер-нумизмат. Но все же начало планомерного и целенаправленного коллекционирования связано у Смоленского с Москвой: «Приехав в Москву в год самого разгара моих занятий, сейчас же по напечатании мною «Азбуки Мезенца», – объясняет он в Воспоминаниях, – я невольно почувствовал себя сиротою и как без рук, не имея возможности работать по памятникам. Это лишение и было причиною того, что вскоре после приведения Синодального училища в порядок я начал понемногу собирать рукописи для Синодального училища. Мои лекции в консерватории понуждали меня в надобности иметь под рукою полный подбор подлинных памятников».

Деятельность Смоленского не ограничивалась Россией. Так, в его письме к Финдейзену 1897 года читаем: «Я вернулся из-за границы 28 августа, сделав тур от Берлина до Парижа и обратно – Женева, Вена, Константинополь. Конечно, я привез с собой кучу всякого добра по моей специальности...».²⁰ В письме к К.П. Победоносцеву от 11 августа 1897 года Смоленский излагает впечатления от того же путешествия: «Сопоставляя виденное только что с воспоминаниями о моих наблюдениях от Загреба до Герцеговины, через Львов, до Черновцов и Белой Криницы, ныне дивлюсь стойкости обрядового православия во многом, прекрасным частностям в некоторых обрядах и утверждаюсь в мысли о вреде вводимого здесь, как и в Сербии, Славонии, Крайне, Угорщине и Буковине, нового хорового пения, повторяющего, по-видимому, все даже и подробности нашего, страждущего тою же бездарностью и отсутствием дисциплины, в смысле сдержанности, которая до сих пор господствует в наших хорах и в местностях, удаленных от столиц. (...) Надобно будет побывать здесь еще раз, не в летнее время и с гораздо большею подготовкой. Конечно, последнее относится к поездкам внутрь старой Сербии и менее разоренных частей Болгарии, особенно же в сторону Северной Македонии. Надо будет и подготовить здесь почву для приобретений, так как материалов бездна; кроме того, к приобретателям вроде меня относятся совершенно недоверчиво, и даже вполне не сочувственно (...)».²¹

Смоленского можно назвать первопроходцем среди русских музыкантов-медиевистов на Востоке. Венцом его деятельности в этом направлении стала экспедиция на Афон в 1906 году, имевшая целью поиск ответов на вопросы о древних истоках русского церковного пения. Что же касается московской рукописной библиотеки, то Смоленский оставил ее в Синодальном училище, проделав перед этим грандиозный труд по каталогизации и описанию основной части собрания. После переезда в Петербург Степан Васильевич лишился плодов своего долголетнего труда. В Дневник занесены подробности его письменной тяжбы с прокурором Московской Синодальной конторы А.А. Ширинским-Шихматовым по поводу пересылки отдельных рукописей и каталогов в Петербург для продолжения научной работы. Тяжба эта оставила в душе Смоленского горький осадок. Но, сохраняя верность собственной идее Синодального училища как центра изучения отечественного певческого искусства, Смоленский и последнее свое, петербургское собрание рукописей, как видим, завещал Синодальному училищу. С.С. Волкова писала, что в первые годы после революции древнепевческая библиотека Синодального училища была «заброшена и не ограждена даже от тления».²² И все же этим с такой любовью собранным рукописям суждена была долгая жизнь: в 1922 году рукописная библиотека Синодального училища попала в Государственный Исторический музей, где находится и поныне.²³

Что же касается певческих рукописей и книг, собранных ученым в последний, петербургский период его жизни, то из дневниковых записей выясняется, что Смоленский приобретал их во время своих поездок в Новгород, Псков, получал в дар от старообрядцев Петербурга и Москвы. Документальных подтверждений передачи этой коллекции в библиотеку Синодального училища (в соответствии с завещанием) не найдено. Между тем рукописи, прошедшие через руки ученого как в петербургский, так и в московский периоды жизни, встречаются сегодня в различных государственных хранилищах. Например, в библиотеке Петербургской духовной академии есть рукопись «Последование Божественной литургии» (№ 198) с

пометой Смоленского черными чернилами на первом листе: «1909 года января 2», то есть приобретенная за полгода до смерти ученого. В собрании Научно-музыкальной библиотеки Петербургской консерватории хранится принадлежавший Смоленскому Октоих, изобилующий его пометами (он уже стал объектом исследовательской работы современных ученых-медиевистов). В Отделе редких изданий и рукописей Научно-музыкальной библиотеки имени С.И. Танеева в Московской консерватории имеются печатные церковно-певческие книги, поступившие сюда как дубликаты из библиотеки Синодального училища. Среди них есть экземпляры с пометами Смоленского, в том числе свидетельствами его собственности на эти книги; дарственные надписи и пометы Смоленского имеют два певческих сборника XVII века (№ 8, 21) и «Грамматика мусикийского пения Николая Дилецкого. Список 1748 г.» (№ 19), поступившие из личного собрания Н.Ф. Финдейзена.²⁴

К личным рукописным коллекциям ученого примыкало и составленное им собрание фотографических снимков с «образцов всякого рода и времени певческих рукописей». Эту коллекцию Смоленский экспонировал не раз, в частности зимой 1899/1900 года в Археологическом институте в Петербурге. Она была подспорьем в его лекторской работе, постоянно пополнялась и в общем сохранилась. Но до сих пор неясна судьба большой коллекции снимков (2.000 единиц), привезенных Смоленским и его спутниками А.Н. Николовым, П.А. Лавровым и А.В. Преображенским с Афона и из библиотек Вены в 1906 году. Отдельные фотоснимки с афонских рукописей в личном архиве Смоленского – это лишь малые частички собрания. Местонахождение всей афонской коллекции было неизвестно уже к 1924 году, о чем свидетельствовал В.М. Металлов в статье «Очередные задачи изучения древнерусской музыки».²⁵ Думается, следы ее могут обнаружиться в фондах Общества любителей древней письменности, финансировавшего афонскую экспедицию. Архив Общества был в послереволюционные годы передан в Отдел рукописей Государственной публичной библиотеки (ныне – РНБ), где пребывает до сих пор в неразобранном виде.

Из завещания Смоленского следует, что Синодальному училищу ученый передавал не только рукописи, но и свою личную нотную и книжную библиотеку по церковному пению, истории и теории музыки. Об этой домашней библиотеке упоминает Финдейзен в «Биографическом очерке», описывая рабочий кабинет Смоленского в его последней петербургской квартире на Рождественской улице: «Милый, небольшой, уютный кабинет Степана Васильевича (...) с широкими книжными шкафами, наполненными собранной им довольно обширной библиотекой (нотной и книжной), с подвесными полками на стенах со старыми, любимыми рукописями, с портретами старых усопших друзей и учителей его (Ильминского, Львова, Рачинского, Чайковского и др.), с обращенным к окну простым письменным столом, всегда тщательно прибранным, несмотря на не прекращавшуюся за ним работу (...)». «Обширная библиотека», конечно, состояла лишь из самого необходимого для работы, так как в жизни семьи Смоленских было много переездов: из Казани в Москву, из Москвы в Петербург; в Петербурге за восемь лет они трижды меняли квартиру – Придворная певческая капелла, флигель дворца С.Д. Шереметева на Фонтанке, 8-я Рождественская улица, 25.

Подборка книг и нот составила в результате многолетних посещений книжных лавок Петербурга и Москвы, поездок по городам и монастырям России, заграничных путешествий. Страсть к собиранию книг была у Смоленского не чистым библиофильством, а проявлением неиссякаемого интереса к окружающему миру. И эту любовь к книге он неизменно пытался привить своим ученикам. Так, вспоминая момент своего знакомства с Синодальным училищем в 1889 году, Смоленский среди потрясших его нестроений училищного быта сразу же называет и библиотеку: «Во всем училище был только один экземпляр школы Берио, и он составлял собою всю библиотеку скрипичного класса; по фортепиано вся библиотека состояла в двух «школах» и в одном экземпляре сонатин Клементи и затем нескольких «собственных нот» более цыганской литературы. Библиотеки фундаментальные и ученические заключались в

шкапике аршина два с половиной-три вышины и аршина четыре длины, причем большая часть этого помещения была из благочестивых журналов... Детских книг было штук тридцать-сорок». На посту директора Смоленский, как правило, лично «вылавливал» в магазинах и у букинистов не только ноты и литературу по музыке, но и книги по археологии, философии, истории, географии, биологии, литературе, постоянно пополняя ими ученическую библиотеку. Эта библиотека в 1918 году была передана Московской консерватории, вошла в ее фонды, а, по свидетельству, очевидцев в первые дни после объявления о закрытии училища свободно разбиралась в частные руки.

Доживи Синодальное училище до наших времен, мы имели бы возможность ознакомиться с составом общей и музыкальной библиотек училища, в значительной степени собранных Смоленским за двенадцать лет его службы, имели бы возможность ознакомиться и с завещанным им училищу личным книжным и нотным собранием, если оно действительно было передано в Москву после кончины ученого. К сожалению, из всего этого осталось немного. Так, один из двух упомянутых в завещании фотоальбомов Смоленского – великолепный, с золотым обрезом и золотым тиснением альбом «Московское Синодальное училище 1900–1901» – оказался в фондах Мемориальной квартиры Николая Семеновича Голованова, знаменитого дирижера, в прошлом выпускника Синодального училища. На обороте первого листа альбома имеется надпись нового владельца: «Альбом этот в 1901 году принадлежал Степану Васильевичу Смоленскому, бывшему директором Синодального училища, и поднесен ему после его назначения на пост директора Придворной Капеллы в Петербурге. Случайно найден мною в магазине антикварном в Ленинграде. 17.IX.1932. Николай Голованов».

Рукописные, нотные, книжные коллекции – громадная часть наследия Смоленского, которая, к сожалению, не поддается сегодня точному учету. Книги, принадлежавшие Смоленскому, с его подписями и пометами, вероятно, могут встретиться в разных библиотеках и архивах России. Например, не так давно смотрителем библиотеки Петербургской духовной академии о.

Стефаном (Садо) было сделано нечаянное открытие: в сборнике духовных песнопений «Лепта» (Бийск, 1890) обнаружилась дарственная надпись Смоленскому о. Макария (Невского), впоследствии митрополита Московского, а также вклеенные в книгу два письма о. Макария к Степану Васильевичу (они публикуются в комментариях к четвертой главе Воспоминаний).

Завещание, в котором ученый, казалось бы, исчерпывающе распорядился своим архивом, не решило, однако, всех проблем. Перешедшие к А.В. Преображенскому письма и рукописи опубликованных работ, естественно, не могли бесконечно пребывать в частных руках. После смерти Анны Ильиничны Смоленской в 1912 году Преображенский стал владельцем и всех Дневников. Кроме того, можно утверждать, что 10-й пункт завещания, требовавший сожжения той части архива, которую Смоленский считал черновой, несущественной, не был исполнен. Поэтому до нашего времени дошло множество фрагментов статей, заметок, черновых тетрадей, планов и конспектов по вопросам церковного пения, музыкальной культуры, нотописания, методики преподавания пения; сохранились и нотные рукописи, целые и разрозненные; сохранилась масса тщательно подобранных Смоленским официальных документов; сохранились даже тетради, стихи, переводы гимназической поры.

В статье «К полу-годовщине дня кончины С.В. Смоленского» Финдейзен писал: «Насколько мне известно, главная часть рукописей (Дневники, письма, научные труды) будет распределена между Обществом любителей древней письменности, Императорской публичной библиотекой, библиотекой Санкт-Петербургской консерватории и др.». Однако это были лишь предположения. В сентябре 1909 года Финдейзен начал хлопотать о передаче части рукописей в отдел Публичной библиотеки, которым заведовал Иван Афанасьевич Бычков: «Подивился неохоте, с какой Б[ычков] принял мое заявление о возможной передаче части рукописей Смоленского в его отдел! Вилял, хитрил, советовал передать их Общ[еству] Люб[ителей] Древн[ей] письменности или в Синод[альное]

училище в Москве, точно принятием их он оказал бы большое одолжение. Наполняет отделение незначительными (но крупными по размеру) бумагами (...) а от бумаг серьезного русского ученого отказывается! Глупость это или что иное?». 30 сентября 1910 года Финдейзен заносит в свой дневник окончательное решение Бычкова: «...от рукописей Смоленского почтеннейший Иван Афанасьевич отказался».²⁶

Публикацией отдельных работ Смоленского, а также созданием «Биографического очерка» объясняется тот факт, что у самого Финдейзена задержались отдельные материалы Смоленского. В огромном архиве Николая Федоровича, впоследствии переданном в Публичную библиотеку (ОР РНБ, ф. 816), они составляют относительно небольшое, но ценное собрание, которое включает: письма Смоленского к Финдейзену (136 писем за 1897–1909 годы), скопившиеся за время сотрудничества Смоленского в газете автографы статей, черновых их вариантов, гранки с авторскими правками. Последние из документов Смоленского, вместе с материалами Ю.К. Арнольда, В.В. Бесселя, П.М. Воротникова, А.К. Глазунова, А.Ф. Львова, Н.Ф. Соловьева и других, поступили в этот фонд от родственников Финдейзена в 1940–1943 годах. Здесь находятся сейчас неизданные «Ритмические записи. Таблицы, чертежи, фотографии, нотные примеры, тексты»; автограф не издававшейся «Вступительной лекции в курс истории русского церковного пения», предназначавшейся для чтения в Петербургской консерватории в сентябре 1903 года; черновые автографы нескольких докладов, читанных Смоленским в Обществе любителей древней письменности, в частности неизданного доклада «Инок Евфросин и его сказания о различных ересьях и хулениях на Господа Бога и на Пречистую Богородицу, содержимых от неведения в знаменных книгах, 1651 г.». В фонде Финдейзена имеются и нотные рукописи ученого, автографы его музыкальных сочинений, официальные бумаги (письма, прошения, докладные записки), афиши концертов и несколько ценных фотопортретов Смоленского.

Остальной, то есть, по сути, весь домашний архив Смоленского был передан в Общество любителей древней

письменности, располагавшееся в петербургском дворце С.Д. Шереметева. Однако Общество не стало последним пристанищем наследия Степана Васильевича. В 1924 году, в числе многих других, его материалы без описи поступили в Центральный государственный архив внутренней политики, культуры и быта, помещавшийся в здании нынешнего Российского государственного исторического архива на Английской набережной в Петербурге. Документы значились к тому времени уже не за Обществом, а за «Музеем быта», устроенным в том же доме С.Д. Шереметева. В 1940 году, в период бесконечных перетасовок отделов и подотделов, фонд Смоленского под номером 180, по-прежнему не описанный, перешел под крышей того же здания в ведение Центрального государственного архива народного хозяйства, впоследствии переименованного в Центральный государственный исторический архив (нынешний РГИЛ). Фонд получил номер 1119-й. Скупые записи в так называемом «Деле фонда 1119» свидетельствуют, что 15 сентября 1949 года «экспертная комиссия в составе председателя научного отдела Л.И. Полянской и членов научного отдела Г.М. Горфейна и старшего научного сотрудника И.Ф. Ковалева» отобрала «для уничтожения как не имеющие научной и практической ценности (...) 5 кг. писем, 1 кг. разрозненных заметок, отрывков, листов, цифровых выкладок, 2 кг. дублетов программ, уставов различных организаций, нот и гравюр монастырей». Какие конкретно документы вошли в эти «килограммы», нам никогда не узнать...

С 1949 по 1960 год в фонд было передано 23 единицы хранения из фонда 1109 (А.В. Преображенского). На 1983 год по первой описи фонд включал 228 дел и более не пополнялся. Первую опись никак нельзя назвать подробной и выверенной: фонд Смоленского проходил по третьей категории, что на архивном языке означало «не очень ценный». Но времена менялись, и в 1992 году по поручению руководства архива молодая сотрудница И.Л. Хайновская, выполнив работу колоссального объема, сделала аннотацию фонда и его первую

подробную каталогизацию, позволяющую ориентироваться в море документов.

Существенную часть архива Смоленского составляют **автографы научных трудов, публицистических статей и заметок, беллетристики**, а также разного рода документы «вокруг них». В фонде РГИЛ и в финдейзеневском фонде Отдела рукописей РНБ сосредоточены, по сути, все (или почти все) известные материалы такого плана, однако в совокупности они отражают лишь часть проделанного ученым труда. В приложении к этой книге приведен Каталог опубликованных работ, выполненный на основе составленных Финдейзенем и Преображенским Указателя литературно-музыкальных трудов С.В. Смоленского и Полного списка докладов и лекций С.В. Смоленского за время 1901–1908 годов и дополненный не учтенными ими публикациями, с указанием местонахождения автографов. Каталог ясно показывает, как велико количество рукописей, местонахождение которых неизвестно. Ближайшее будущее наверняка потребует переиздания трудов Смоленского, публиковавшихся – все без исключения – только в дореволюционное время, и во многих случаях сверка печатного варианта с рукописным окажется невозможной. А это очень жаль, так как Смоленский имел обыкновение неоднократно изменять и дорабатывать свои рукописи.

Безмерна ценность той части наследия, которая представляет собой **подготовленные** Смоленским к печати, но до сих пор **не изданные труды**. Таковы упомянутые Финдейзенем капитальные научные рукописи, хранящиеся в РГИЛ: «Каталог нот русского пения в XVII и XVIII веках» (каталог текстов и напевов, алфавитный каталог авторов) – рукопись датирована 1896 годом (ед. хр. 66, 233 л.); «Сравнительный текст догматиков воскресных в знаменных и нотных изложениях с XIV-XV веков по XIX век» (нотная рукопись и фрагменты вступительной статьи к ней) – рукопись датирована 1904 годом (ед. хр. 42, 102 л.). Сюда же примыкает целая серия менее крупных научных статей.

Сохранились рукописи **незавершенных научных работ**, упомянутых Финдейзенем в качестве «пригодных для печати в той или иной форме»: «Сравнительное изложение кондаков» – рукопись датирована 1906 годом (ед. хр. 44, 102 л.), «Сравнительные таблицы и указатели стихирарей и певчих миней XII-XIII вв. по рукописям Синодальной библиотеки в Москве за сентябрь месяц, а также миней за октябрь-февраль, апрель-июнь и август» – рукопись не датирована (ед. хр. 38, 142 л.), «Сравнительные таблицы годовых стихирарей по сборникам библиотек: Публичной, Московской, Синодальной, Академии наук, Софийской, Петербургской духовной академии» – рукопись не датирована (ед. хр. 39, 80 л.), «Указатель текстов триодей и стихирарей, хранящихся в синодальных библиотеках (Московской Синодальной, Типографской Софийской, Новоиерусалимской библиотеке, библиотеке Санкт-Петербургской Духовной академии)» – рукопись не датирована (ед. хр. 40, 61 л.), «Подобницы и подобны малого распева, сопоставленные в разновременных редакциях, знаменных и нотных. Сравнительные таблицы» – рукопись не датирована (ед. хр. 65, 89 л.), «Сравнительное наложение певческих текстов в знаменных и нотных рукописях с XII по XIX век» – рукопись не датирована (ед. хр. 41, 18 л.). Кстати, материалы такого рода имеются не только в РГИЛ, но и в Отделе письменных источников Государственного Исторического музея, куда попала часть архива Синодального училища.

Обозревая наследие Смоленского в целом, можно констатировать, что неизвестных, исчезнувших работ ученого нет. Они либо изданы, либо сохранились в авторском рукописном изложении. Единственной печальной потерей является, по сути, первый масштабный научный труд Степана Васильевича – «Описание знаменных и крюковых певческих рукописей Соловецкой библиотеки, принадлежащих Казанской духовной академии». Местонахождение полного автографа этой работы неизвестно; сохранились лишь автографы фрагментов и план вступительной статьи (РГИЛ, ф. 1119, оп. 1, ед. хр. 35, 36). Предисловие к «Описанию» в полном виде дошло в машинописном варианте, находящемся в ОР РНБ среди

документов М.В. Бражникова (ф. 1147, ед. хр. 838, 70 л.) и снабженном записью: «Рукопись этого описания (писанная самим Смоленским) принадлежала мне. На время войны была отдана мною на сохранение (на время моей эвакуации) Ал[ександру] Се[меновичу] Рабиновичу, вдова которого (Даттель) не могла ничего сообщить мне о ее судьбе (в 1945 и 46 году). 27/VI 1957 г. М. Бражников».

Исключительно важный раздел фонда Смоленского в РГИА составляют биографические материалы: **восемь томов** Дневников (ед. хр. 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12) и небольшие фрагменты Воспоминаний. Как уже говорилось, Дневники оставались у Анны Ильиничны Смоленской, а с ее кончиной в 1912 году перешли к А.В. Преображенскому. В записке, приложенной Антонином Викторовичем к первому тому Дневников, говорится: «Исполняя волю А.И. Смоленской, выраженную ею в завещании, я передаю в Общество Любителей Древней Письменности восемь книг Дневников С.В. Смоленского. Согласно воле С.В. Смоленского – по истечении десяти лет со дня его смерти Дневники могут быть доступны всем. С.В. Смоленский скончался 19 июля 1909 года (...)».²⁷ Далее Преображенский указал начальную и конечную дату каждого Дневника и количество страниц в каждом томе. Записка датирована днем передачи Дневников – 19 октября 1919 года, то есть через десять лет после кончины Смоленского, в соответствии с его завещанием.

Заметим, что Преображенский передач Обществу все восемь томов Дневников. О Синодальном училище, как наследующем по завещанию первые два тома, уже не шло речи: годом ранее оно прекратило свое существование, и это, может быть, спасло Дневники от печальной участи ряда документов Синодального училища и хора.

В фонде А.В. Преображенского в РГИА хранится адресованное ему письмо без даты известного деятеля П.П. Сувчинского, который вместе с Б.В. Асафьевым основал в 1917 году альманах «Мелос». Сувчинский пишет:

«Если бы вы нашли время и возможность поработать над Дневниками С.В. Смоленского – то не откажитесь, пожалуйста, воспользоваться прилагаемой суммой денег.

Мне бы очень хотелось, чтобы вы и только вы имели бы возможность работать над этими материалами (...).²⁸

Последняя фраза указывает, что письмо относится к периоду до передачи Дневников в государственный архив, то есть до июля 1919 года. В 1919 году «Мелос» прекратил свое существование, а Сувчинский покинул Россию. Впрочем, издательские интересы Сувчинского и Асафьева не ограничивались Дневниками и, как увидим далее, распространялись также на Воспоминания Смоленского. Но прежде чем говорить о Воспоминаниях, скажем несколько слов о Дневниках, ибо эти два документа находятся в теснейшей взаимосвязи.

Следует в полной мере согласиться с Финдейзенем: Дневники Смоленского – это «прекраснейший памятник» его жизни, а также незаменимый источник как для исследователей биографии ученого, так и для исследователей русской культуры и русской истории вообще.

С первого взгляда рукописи поражают своим объемом и внешним видом. Это хорошо сохранившиеся толстые тома единого формата (25*18 см.) и однотипного оформления: в крепких картонных переплетах темно-зеленого, темно-коричневого цветов, с уголками и корешками из кожи, с плотной линованной бумагой. Объем первых двух московских Дневников – 144 и 133 листа; пяти петербургских Дневников (с 3-го по 7-й) – 192, 284, 288, 288, 380 листов, афонского дневника – 147 листов. Записи делались обычно черными, иногда синими чернилами, любимым Смоленским гусиным пером. Аккуратный, некрупный, но ясный почерк позволяет легко читать текст, который, заметим, редко редактировался автором, писавшим обычно начисто. Подлежавшие вычеркиванию фразы или отдельные слова, как правило, густо заштрихованы. Смоленский заполнял правые страницы листов, их же пронумеровывал без учета левой, оборотной стороны. На левой стороне листов он делал дополнения, иногда значительно более

поздние по времени, а также наклеивал вырезки из газет, программы концертов и другие документы. В общей сложности Дневники содержат 1.799 правых и более сотни заполненных записями левых страниц.

Восемь Дневников охватывают двадцать лет жизни ученого. Начинаясь 22 июля 1889 года, с фразы: «Я сел в Казани на пароход, чтобы ехать на новую службу в Москву директором Синодального хора и училища церковного пения», они обрываются короткой записью, сделанной за двенадцать дней до смерти, 7 июля 1909 года: «Хорошо проведенный день, без приступа малярии, но слабость большая». Дневники велись почти изо дня в день и плотно примыкали друг к другу. Перерывы, встречающиеся в последовательности записей внутри Дневников, Смоленский чаще всего восполнял позже подробными описаниями самых существенных событий данного периода.

Каждодневное обращение к дневниковым записям было для Смоленского, по всей видимости, давним навыком. Известные нам как первые, Дневники московского периода наверняка предварялись казанскими тетрадями, о которых, к сожалению, ничего не известно. Но известно, что Смоленский всегда побуждал учеников делать подневные записи, считая это полезным средством самосовершенствования, побуждал также друзей и знакомых к писанию автобиографий, и мемуарных записок. В Воспоминаниях Степан Васильевич говорит о своих Дневниках 1880–1903 годов: «Оправдательным документом ко всему последующему (...) будут служить четыре тома моих записок, веденных изо дня в день, иногда же под впечатлением только что случившегося, записанного для памяти и точности относительно времени и мелких подробностей всякого рода. Понятно, что эти записки мною велись с возможным беспристрастием, так как в них не было бы никакой достоверности и никакой ни для кого ценности. Я вел их нарочно в некоторых случаях с достаточной подробностью, так как понимал и состояние дела, попавшего в мои руки, и всего моего труда, моей доходившей до самозабвения работы».

Щепетильная аккуратность ведения Дневников, подробность описаний в них всех событий в жизни Синодального училища и хора, и Придворной капеллы сделали Дневники прекрасной основой для Воспоминаний. Трудно определить, какой из этих двух источников ценнее. Дневники привлекательны сиюминутностью впечатлений, множеством подробностей, которые не мог вместить в себя мемуарный жанр, которые либо уходили из целенаправленного повествования, либо сознательно опускались автором мемуаров. В Воспоминания никак не могли войти и многочисленные дополнительные материалы Дневников: программы, афиши концертов и музыкальных вечеров Синодального хора, Придворной капеллы; копии писем и официальных документов; многочисленные вырезки статей из газет и журналов и т.д. Очень важно и то обстоятельство, что период работы Степана Васильевича в Капелле остается в Воспоминаниях незавершенным: его служба в этом учреждении прервалась в августе 1903 года, а последние строки девятой главы Воспоминаний датированы 31 января 1903 года. Таким образом, вторая половина Дневника № 4 и последующие Дневники являются (вместе с эпистолярией) главным материалом, освещающим период с января 1903 года и до кончины ученого. Расскажем поэтому о них несколько подробнее.

Пятьдесят заключительных страниц Дневника № 4 посвящены последнему полугоду службы в Капелле, а также объяснениям причин отставки, походившей на изгнание. Степан Васильевич вглядывался в еще один пройденный этап своей жизни и пытался обобщить его: «Считаю за собою заслугой в Капелле хоть то, что я значительно улучшил в ней классное ученье, воспитательную часть и инвентарную. Художественная часть – хоровая при мне сделала только один шаг вперед, в смысле выучки всего хора петь с листа довольно бегло. Теперь, по моем уходе, конечно возвратится в Капеллу прежнее ее глубочайшее невежество в музыке, так как мое направление еще не успело утвердиться (...) Затем художественный успех хора Капеллы отменно тормозила как бездарность и рутина

старого служаки, покойного Смирнова, так и малоопытность моих учеников Толстякова и Чеснокова, из которых последний к тому же начал лениться. Но в общем репертуар Капеллы чрезвычайно расширился, а отделение, певшее у Государя, иногда пело отлично и вполне изящно» (л. 232–233).

Уход из Капеллы перечеркивал планы Смоленского относительно широкой профессиональной постановки церковно-певческого дела в Петербурге: «То, что составляло затаенные мои мечтания относительно будущего печатного органа, будущих съездов, будущего продолжения здесь московского художественного движения, – все отходит вновь в туман, заменяется пошлою повседневностью» (л. 258).

Дневник № 5 открывается записью от 8 октября 1903 года о переезде Смоленских из директорской квартиры в Капелле «в нижний этаж левого (от Фонтанки) крыла в саду дома графа Сергея Дмитриевича Шереметева»: «...на меня эта жизнь, лучше сказать – отсутствие волнений, принадлежность себе, производит влияние хорошее, уравнивающее, спокойное. Особенно мне по душе неожиданная свобода и отсутствие обязательств в моем времени, принадлежащем мне сполна и не отнятом служебными отношениями и не отравляемом всякими тревогами и суетными мел[очами]» (л. 3).

Научные занятия – «покрытие крыши на находки и додумки в рукописно-певческой части», по выражению Степана Васильевича – становятся основным делом последнего периода жизни ученого и одной из доминирующих тем последних Дневников. Собственно, эта тема никогда и не сходила с их страниц. В Дневниках Смоленский часто высказывал и оттачивал научные гипотезы, перераставшие подчас в развернутые доказательные изложения, которые затем включались в те или иные труды. Так, во время работы над статьей «О ближайших задачах и научных разысканиях в области русской церковно-певческой археологии» в Дневнике (№ 4) появляются целые страницы с наложением ее идей. Трудно удержаться, чтобы не привести здесь хотя бы один, очень яркий фрагмент. Смоленский пишет:

«Двоякий характер пения унисонного или хорового сближаю я в иконописи с иконою святого лица или многоличного события (обстановка и действующие лица). (...) В одноголосном пении огромная художественная сила в самом напеве, соединенном со смыслом слов и оттого делающем из певца лишь носильного, но все-таки не достигающего до высоты исполнителя данного содержания. Подобно этому святость лика в иконе одноличной (святого, преподобного, мученика, Богоматери, Спасителя) слишком преобладает над всем остальным в той же иконе, и богомольцу надобна только сила впечатления от самой главнейшей части иконы, то есть выразительность лица, обставляемая в остальном лишь для усиления того же лика.

В хоровом пении, содержание которого находится в зависимости от массы исполнителей (в частности же, от вдохновения главного регента), дается слушателю гораздо меньшее **внутреннее** содержание, обставляемое, однако гораздо большим **внешним кругом средств** для произведения того же молитвенного впечатления, но уже путем более объективным, внешне более эффектным (скажем – грубым), чем теплое, лишь субъективное изложение унисонного, одноголосного изложения. Подобно средствам картины, вводящей, вместо, например, одинокого чистейшего лика Божией Матери и ее Младенца, средства посторонние для усиления впечатления (перспектива, многопредметность, здания церкви, река, лес, воины, отдельные движения действующих лиц – например, Страшный Суд, Въезд в Иерусалим, Нагорная проповедь, Вселенский собор, страдания или деяния какого-либо святого и т.п.), – и в хоровом пении оставляется на долю хоровых исполнителей слишком много средств, приносимых ими в исполняемое сочинение, являющееся в том или другом свете в каждом отдельном случае, [зависящем] прямо от качества данного исполнения. Я хочу здесь особенно подкрепить следующие подробности этих двух родов искусства и их методик.

Одноголосное пение стоит на почве народной только и строго уставной в такой степени, что отступления от данных образцов нетерпимы в содержании данных уже, так сказать,

неизменяемых напевов. В иконописи та же уставная незыблемость сути удерживается лицевыми сборниками, как у певцов их книгами, певчими их обиходами. Свобода приложения таланта – допустима лишь в той или другой степени вдохновенного толкования данного и обязательного содержания. Творец здесь – народ, художник – лишь дисциплинированный извне, но свободный внутри исполнитель.

В хоровом пении, как и в иконно-картинной живописи все в обратном отношении (...)» (Дневник № 4, л. 247–249).

Ценность подобных записей ученого, конечно, непреходяща.

В Дневниках Смоленский указывал даты чтений его научных докладов в Обществе любителей древней письменности, в отдельных случаях описывал реакцию аудитории, порою критично анализировал собственные выступления. Дневники позволяют уточнить время многих важных событий последнего, не попавшего на страницы Воспоминаний периода жизни ученого: избрание его 31 октября 1903 года в члены комитета Общества любителей древней письменности с поручением заведовать отделом по разысканию древних певческих рукописей; избрание 4 декабря 1904 года в действительные члены Императорского Русского Археологического общества, присуждение премии митрополита Макария за работу «О древнерусских певческих нотациях. Историко-палеографический очерк» (вторая в жизни Смоленского Макариевская премия; первая была получена им за издание «Азбуки Александра Мезенца»).

Однако кабинетная работа, конечно, не могла вполне удовлетворять Степана Васильевича: его кипучая натура искала выхода в различных сферах деятельности. Уже в августе 1903 года, едва освободившись от службы, он обсуждает с С.Д. Шереметевым возможность издания церковно-певческого журнала (либо газеты): «Вопрос давний (...) для чего есть и люди, а могут быть и деньги через того же графа». Запись от 9 сентября говорит о привлечении к делу Преображенского: «Продолжение переговоров с А.В. Преображенским об издании певческой газеты (...) Ш⁴ [С.Д. Шереметев] предлагает

[название] «Доместик», подобно тому как существует «Изограф''' (Дневник № 4, л. 252, 266). Вскоре Смоленский помещает на страницах Дневника и разработку программы «двухнедельного журнала, посвященного вопросам древнего и нового русского богослужебного церковного пения, а также и школьного пения (...) с иллюстрациями, крюковыми или нотными приложениями» (Дневник № 5, л. 4). Подобная идея осуществилась, как известно, лишь в 1909 году, незадолго до смерти Смоленского, когда начал выходить журнал «Хоровое и регентское дело».

Неиссякавшая потребность в разнообразной деятельности, и особенно в любимой педагогической, заставляла Смоленского искать возможности общения со студенческой аудиторией. Но его предложение прочесть курс истории церковного пения в Петербургской консерватории было отклонено директором А.Р. Бернгардтом. В сентябре 1903 года с тем же предложением Смоленский обращается в Духовную академию и вновь получает отказ: в Академии имеются «более существенные для богословия пробелы», чем пение (Дневник № 4, л. 266). С конца 1904 года Смоленский в качестве приват-доцента читает курс истории церковного пения в России с обзором певческих рукописных памятников и палеографии певческих рукописей на филологическом факультете Петербургского университета (Дневник № 5, л. 175).

Наконец, упразднение регентских классов Придворной капеллы, имевшее место летом 1907 года, позволяет Степану Васильевичу учредить, с разрешения Св. Синода, частное Регентское училище, где основной курс для регентов-практиков дополнялся курсом для желающих впоследствии преподавать церковное пение или заниматься научной работой. В Регентское училище Смоленского могли поступать и женщины – впервые в истории подобных учебных заведений. Педагогический состав включал учеников Смоленского по Синодальному училищу и сотрудников по Капелле; они были его опорой и в организации издательской деятельности при училище, в учреждении Всероссийских регентских съездов.

Кроме центральных тем, в Дневниках развивается целый ряд, так сказать, побочных линий. Конечно, мимо внимания Смоленского не проходили многие важные события музыкальной жизни Москвы и Петербурга, он испытывал самый живой интерес как к инструментальной музыке, так и к музыкально-театральным жанрам. Часто заметки об увиденном и услышанном перерастают в замечательные размышления-выводы. Вот что пишет, например, Смоленский после спектакля «Севильский цирюльник» Россини в исполнении приезжей итальянской труппы 28 февраля 1901 года в Москве:

«Вечером был «Севильский цирюльник» у итальянцев: хорошо, много лучше наших русаков, живо, весело, без пересола, но уже не то, что слышал я лет 30–40 назад; вероятно, лет через 20–30 и этого не услышишь, – так падает это искусство! Развитие инструментовки, нервность нашего века и торопливость выучки отразились и на качестве сочинений, и на сумме нынешних требований от певца, обращенного теперь в оркестровую дудку, перекрикивающую многое и поющую все, кроме прелестных старых мелодий. Гуно и Верди – едва ли не последние соловьи бывшего искусства, столь избитого Вагнером. Конечно, и у последнего есть очень многое хорошее, чего и не снилось даже и Глюку, и Моцарту, но то «пение», которое так умиротворяет душу, так восхищает, так полно высокого мастерства, – то пение решительно исчезает, а об этом можно только пожалеть. Придание оркестру большей содержательности, большей колоритности в сравнении с бывшим только подтыкивающим аккомпанементом, конечно, есть несомненный и хороший шаг вперед, но сведение на нет всего пения в угоду симфонизма нынешнего оперного оркестра и музыкальных иллюстраций данного драматического положения, неизбежно бьет певца. Оттого теперь певец не на первом плане, как прежде, и оттого теперь в нашей оперной русской труппе ноют синодальные и чудовские тенора и басы, не знающие что такое *f moll*, *A dur*, *6/8*, триоль, не знающие нот, не умеющие хоть сколько-нибудь петь, но зато умеющие уподоблять себя Иерихонским трубам. Оттого великие старые произведения, например, «Дон-Жуан», «Сев[ильский]

цирюльник» и т.п., не даются на этих сценах, а вместо того мы слушаем «Валькирии» и всякую русскую дребедень, оттого и Глинка, Даргомыжский заменяются Корещенкой, Симоном и т.п. «Опрощение», за которое так нажились на Римского-Корсакова (все-таки слишком бедного в смысле мелодическом), не есть ли на самом деле «отрезвление», которое надо только приветствовать?» (Дневник № 2, л. 87–88).

Страницы Дневников Смоленского насыщены массой имен как «малых», так и крупных деятелей искусства, культуры, науки, церкви, государства. С одними из упомянутых лиц Смоленскому доводилось общаться в течение достаточно продолжительного времени, с другими он соприкасался лишь бегло. Замечательное перо мемуариста нарисовало яркие портреты П.И. Чайковского, В.М. Васнецова, Н.А. Римского-Корсакова, А.С. Аренского, А.К. Лядова, К.П. Победоносцева и многих, многих других. В период службы Смоленского в Капелле в Дневнике появляются также интересные записи о царской семье.

Например, 7 июля 1902 года: «Обедню пели очень хорошо, стройно и просто. Г[осударь] сказал: «Сегодня пели отлично». В[еликий] князь В[ладимир] А[лександрович] оказался большим шутником, довольно прямолинейным и весьма вооруженным против «крюков, слышанных им на Валааме, похожих на волчий вой» и т.п.: «Нельзя, по неимению средств художественных, и незачем, по анахронизму в наше время мелодий какого-нибудь Логгина или царя Ивана Грозного, восстанавливать древние напевы, достоинство которых, конечно, было достаточно для своего времени, и затем самым возрождением своим [они] потеряют всякую цену для нашего времени, имеющего и другие вкусы и другие требования от церковной службы. Волчий вой, может быть, и сейчас умилителен для мужичья на Валааме и для любителей крючков (государь засмеялся и сказал мне: «Это по вашему адресу»), но в Петербурге этакое пение странно и бесцельно, так оно игнорирует прогресс целых столетий"" (Дневник № 4, л. 18).

15 июня 1903 года: «Сегодня пели обедню, в программу которой вошли Херувимская Львова (с древнего распева),

киевское «Достойно» и «Хвалите» № 2 Бортнянского. Как третьего дня, вчера, так и сегодня, я особенно подтянул отделение для Александрии, оживил темны в некоторых частях, уточнил оттенки. Обедня вышла очень удачно исполненной, несмотря на ее умышленно составленную бедную программу. Государь поздоровался со мною, как [и] г[осудары]ня, у церкви, а после завтрака г[осуда]рь чрезвычайно милостиво беседовал со мною примерно так: «Сегодня пели обедню отлично, и я с удовольствием, как и и[мператри]ца, прослушал все песнопения, в которых заметны новые нюансы и улучшение пения Капеллы. (...) Мне особенно нравится тихое пение и древние русские напевы; я не люблю концертов, в которых есть что-то купеческое; особенно я не желал бы, чтобы при службе пели что-либо из иностранных композиторов (...) Я считаю, что наши великолепные церковные песни удивительны в наложении Бортнянского; они привычны и мне; я уже говорил, чтобы их не заменяли никакими другими композициями. От старых вещей у меня иногда льются слезы – так особенно мне нравятся «Вечери Твоя тайная» и «Благообразный Иосиф», – и я не желал бы слышать эти молитвы с другой музыкой, как Львова и Бортнянского». В заключение г[осуда]рь, вновь похвалив исполнение литургии, сказал: «Очень хорошо, очень благодарен"" (Дневник № 4, л. 192–193).

Наконец, после увольнения из Капеллы 7 октября 1903 года Смоленский записал: «Сохраню и благодарную память о добром государе, которого часто видел, с которым часто беседовал, о котором часто и сожалел, как о стоящем вполне одиноко, хотя и окруженном непроницаемо сомкнувшеюся стеною флигель-адъютантов и свитских генерал-майоров, не подпускающих к царю никого, занимающих его время, его мысли, предупреждающих его добрые желания посильным угадыванием их содержания и исполнением. Так как эта стена все-таки состоит из малообразованных людей, порою же и из грубых, хотя и породистых невежд и ничтожностей, то нетрудно и представить, как порою мне было скучно и тяжело в их обществе, для меня – совершенно пустом и пошлом, совершенно необразованном, хотя внешне блестящем и жалко-

мишурном. В глазах государя мне часто случалось замечать искание людей, с которыми бы он мог поговорить серьезно о чем-либо [важном] для него и в которых он мог бы найти не угодливо-гнувшиеся спины и деланно-восторженные лица. Встречал я, конечно, при дворе и людей умных, порядочных и благожелательных, но как-то недовинченных в своем уме, порядочности и желании добра вообще, как-то опасливо смотрящих на своих соседей, совершенно недоверия им ни в чем и оберегая прежде всего себя собою и ими. Но и таких людей очень мало (...)» (Дневник № 4, л. 282).

Если в первых Дневниках редко встречаются отклики на общественно-политические события (что объясняется не безразличием к ним Смоленского, а его поглощенностью служебными обязанностями и любимым певческим делом), то с 1904 года эти вопросы все чаще и настойчивее вторгаются в ежедневные записи. Например, очень характерные для Степана Васильевича рассуждения о засилье бюрократии, о коррупции и бессилии власти порождают проект «Всероссийского общества преследования чиновничьего воровства и своеволия». Смоленский призывает бороться против этого зла – новым законом, «дающим возможность для всех привлечь к суду любого чиновника без согласия его начальства (...) бороться общими силами, взаимною помощью, более же всего – самую полную гласность».²⁹

Особого разговора заслуживает, конечно, богатейшая эпистолярная Смоленского, находящаяся в разных архивах разных городов. Здесь мы можем затронуть этот вопрос лишь в самых общих чертах, имея в виду, что фрагменты писем нередко привлекаются нами при комментировании Воспоминаний.

Материалы Смоленского сосредоточены главным образом в архивохранилищах Москвы, Петербурга и, в меньшей степени, Казани. Но вполне возможно, что они имеются и в провинциальных городах России, где работали многочисленные ученики и соратники ученого. Письма Смоленского могут найтись и за рубежом – в Румынии, Югославии, Болгарии, Греции, Австрии, поскольку в фонде Смоленского в РГИА

имеются письма палеографа из Вены П.Г. Преображенского, румынского композитора Г. Музыческу, российского консула в Черновцах С.М. Горяинова, английского церковного деятеля И.В. Биркбека, митрополита Буковины Сильвестра; в Дневниках имеются упоминания о сотрудничестве с греческим исследователем А.Т. Папандопуло-Керамевсом, протопсалтом Миссаелем Миссаелидесом из Смирны и т.д.

В самом крупном собрании материалов Смоленского – в его фонде в РГИА имеются письма к Смоленскому М.М. Ипполитова-Иванова, Л.А. Сак-кетти, Е.Э. Линевой, С.Н. Василенко, А.С. Аренского, В.И. Сафонова, С.И. Танеева, письма Смоленского к К.П. Победоносцеву, его переписка с композиторами-любителями, издателями, учеными, церковнослужителями и другими лицами. Весьма содержательны коллекции писем Д.В. Аллеманова, А.Д. Кастаньского, П.Г. Чеснокова, А.В. Преображенского. Сохранены Степаном Васильевичем и письма родственников, переписка с учениками по Синодальному училищу и Капелле.

В Отделе рукописей Российской национальной библиотеки существует небольшой фонд Смоленского (ф. 1050), сложившийся из материалов, приобретенных у Л.М. Петровой-Бояриновой и М.В. Бражникова. Среди материалов этого фонда можно выделить фрагменты переписки Смоленского с С.С. Волковой за 1904–1905 годы, а также три письма М.С. Волковой к М.В. Бражникову, касающиеся судьбы некоторых работ Смоленского. Единичные письма Смоленского в ОР РНБ имеются в фондах Д.Н. Соловьева, С.К. Булича, А.Ф. и И.А. Бычковых, С.М. Ляпунова, Г.Н. Тимофеева, А.Н. Лбовского и т.д. Главное же сокровище ОР РНБ – крупные собрания писем С.Д. Шереметева к Смоленскому и Смоленского к С.А. Рачинскому. Многолетний письменный диалог таких выдающихся деятелей истории русской культуры значителен по всем параметрам, тем более что в данном случае сохранилась двусторонняя переписка (письма Смоленского к С. Д. Шереметеву – в РГАДА, письма С.А. Рачинского к Смоленскому – в ОР РГБ). Очень интересна также переписка Смоленского с Д.В. Разумовским, относящаяся к казанскому периоду и тоже сохранившаяся

полностью: письма Смоленского – в Отделе рукописей Российской Государственной библиотеки, письма Разумовского – в Отделе письменных источников Государственного Исторического музея.

Небольшой фонд Смоленского имеется в Государственном центральном музее музыкальной культуры имени М.И. Глинки; много документов рассыпано по разным фондам РГАЛИ, в том числе большое собрание писем Смоленского к С.И. Танееву. Дополнением к нему служит подборка открыток и писем Смоленского в танеевском фонде Дома-музея П.И. Чайковского в Клину; там же находится переписка Смоленского с П.И. Чайковским и его письма к М.И. Чайковскому.

На родине Смоленского, в Казани, в Центральном государственном архиве Татарии собраны официальные документы ученого казанского периода. Помимо этого, в библиотеке Казанского университета имеется большое собрание публикаций Смоленского и первое литографированное издание его «Курса хорового церковного пения» 1876 года.

Обратимся теперь к основной из интересующих нас рукописей – к Воспоминаниям.

Прослеживая историю бытования этого автографа, нельзя не отметить, что на пути к его публикации вставало множество трудностей и неудач. Призыв Н.Ф. Финдейзена к скорейшему изданию мемуаров в упомянутой выше статье «К полу-годовщине дня кончины С.В. Смоленского» остался без ответа. Казалось, С.С. Волкова, хранительница рукописи, его просто не услышала. Финдейзен с обидой записал в дневнике: «Смоленский свои интересные «записки» при жизни подарил какой-то Волковой (всего-то напечатавшей одну брошюрку о рус[ском] церк[овном] пении!)... Не перечислить всего, что на моих глазах пропадало, но что я не мог добыть на сохранение, несмотря на все хлопоты».³⁰ Сетования ученого и коллекционера, сберегшего для будущего множество материалов, касавшихся жизни и творчества выдающихся современников, вполне понятны. Но относительно Волковой Финдейзен оказался неправ. София Сергеевна не забыла о

Воспоминаниях. Она не воспользовалась также указанной в завещании возможностью передать Воспоминания в Казанскую учительскую семинарию, сняв с себя бремя хлопот о дальнейшем устройстве рукописи.

Дело в том, что, подобно Дневникам, Воспоминания были запрещены для издания на ближайшие годы самим Степаном Васильевичем. В конце последней главы в рукописи значится: «Если этим воспоминаниям придется увидеть свет в печатном издании, то, конечно, это может быть допущено не ранее, как лет через десять после моей смерти, и не иначе, как по кончине князя Алексея Александровича Ширинского-Шихматова, о котором невольно, несмотря на всю искреннюю мою о нем сдержанность, пришлось написать немало далеко не лестных для его самолюбия страниц». Такое условие отодвигало публикацию на неопределенный срок. (Между прочим, А.А. Ширинский-Шихматов скончался в эмиграции только в 1930 году.) Если же Финдейзен знал об авторском запрете и хотел обойти его, опубликовав, например, фрагменты рукописи, то София Сергеевна, без всякого сомнения, должна была этому воспротивиться. Впоследствии она, столкнувшись с подобным предложением, ответила: «С.В. Смоленский завещал мне эти два тома, именно их поручая моей... осторожности. Я не желала бы обмануть его доверия».³¹

Финдейзен слишком мало знал Софию Сергеевну, чтобы оценить ее человеческие и деловые качества. Между тем именно незаурядность натуры Волковой побудила Смоленского доверить ей свой труд. О своем знакомстве и сближении со Степаном Васильевичем София Сергеевна рассказала в заметках, которые писала для предисловия к Воспоминаниям.

«(...) Моя первая встреча со Смоленским [1891 год] относится ко времени начала расцвета Синодального хора. Но еще до этой встречи имя его было для меня связано с дорогими впечатлениями по церковному пению, однако, не столичными, а самыми скромными и захолустными. Имя Смоленского стало мне известно через его цифирную методу. М.А. Веневитинов, директор Румянцевского музея, троюродный брат мой (его дед, граф М.Ю. Виельгорский, и моя бабушка по отцу были брат с

сестрой), всячески поощрял мои занятия музыкой и присоветовал мне познакомиться с цифирным изданием Смоленского. Я приобрела эту книгу, содержащую и всенощную, и литургию, и вскоре имела случай убедиться на собственном опыте, на деле в ее полезности. В 1890 и 1891 годах у нас в имении проводили лето детские колонии, то есть мальчиков шестнадцать из московских городских училищ, с двумя учителями. Почти у всех были голоса и слух, и большая охота петь, и мы затеяли составить хор для пения в церкви. Мальчики были из русских школ и не только никогда раньше вместе не пели, но и вообще не все певали в хоре, и лишь немногие из них имели понятие о нотах. (...) Только благодаря цифирной методе (нотации) оказалось возможным быстро научить детей нотной грамоте и разучить такие сложные песнопения, как, например, задостойник Турчанинова на Преображение. (...) Я была признательна Смоленскому за его цифирное издание; имя его осталось для меня связанным с этими первыми попытками составить хор».

И далее, о встрече и последующем сближении со Степаном Васильевичем:

«В эти годы мы зимовали в Петрограде и лишь проездом бывали в Москве. Вспомнив восторженные отзывы одной приятельницы о всенощных, бывших в зале Синодального училища, я воспользовалась одним таким проездом, чтобы зайти в училище и справиться, дозволяют ли присутствие посторонних на этих всенощных. Смоленский вышел в переднюю, и достаточно было назвать любимого им С.А. Рачинского (Рачинский был товарищем по университету брата моей матери, князя В.В. Львова; последний рано умер, но Рачинский сохранил приятельские отношения с родными своего друга), чтобы при этой первой встрече сразу завязалась живая беседа. Оказалось, что всенощных в ту осень не было, но Смоленский пожелал продолжить краткую беседу, коснувшуюся общих добрых знакомых и общих музыкальных интересов. Он побывал у нас в гостинице, где познакомился с моей матерью и сестрой. Велика была моя радость, когда он допустил меня на спевку хора. (...) В ту осень, хотя я несколько раз видала

Смоленского, но обстоятельства мало благоприятствовали обмену музыкальных мнений, как и позже зачастую случалось при встречах с ним. Я гостила у родных, у М.А. Веневитинова, незадолго пред тем передавшего Смоленскому некоторые сведения для статьи о графе М.Ю. Виельгорском, помещенной в Русской музыкальной газете. Теперь, когда М.А. Веневитинов был тяжело болен и окружающие в семье его родные несли тяжкие утраты и испытания, Смоленский выказал неподдельное доброе сочувствие. За год перед этим он проявил сердечную отзывчивость и живую инициативу по отношению к одному мальчику, которого мне пришлось просить перевести из Чудовского хора в Синодальное училище. Смоленский нашел голос мальчика неподходящим для хора, но вместе с Войденовым, наблюдателем певческих хоров в Москве, он вник в его печальную участь и быстро принял относительно его те энергичные меры, какие признал надобными. Благодаря всему этому, сношения мои со Смоленским перешли из чисто музыкальной области на более личные. В конце 1900 года он сам переживал много трудного. Он был удачен от должности и принужден покинуть любимое им дело, притом не только Синодальное училище и Синодальный хор, но и находящуюся при училище драгоценнейшую для него библиотеку церковно-певческих рукописей, единственную в России. Об этой грозящей беде он сообщил мне, весь потрясенный, сидя в этой самой библиотеке».³²

Волкова обладала живым умом, она была образованна, владела языками, увлекалась музыкой и хорошо играла на фортепиано. Знакомство со Смоленским подвигло ее заняться изучением древнерусского пения. Из их сохранившейся переписки следует, что София Сергеевна принимала участие в подготовке планировавшегося Смоленским, но не осуществленного издания «Хрестоматия образцов древнерусского церковного пения». В 1906 году появляется ее публикация «О древнерусских церковных напевах и значении их для будущности музыкального искусства». Прочтенная как доклад в Обществе любителей древней письменности, эта работа находилась в русле идей Смоленского. Не исключено,

что у Волковой были и другие публикации. В Дневниках Смоленского, например, есть следующая запись: «Она [Волкова] написала статью в чрезвычайно приподнятом тоне о значении в России митрополита Петра, возвеличивая его между прочим и как художника-певца. Часть статьи касается и меня – по библиографии, составленной ею вместе с Е[лизаветой] Л[еоновной] Верещагиной [дочерью Л.Ф. Львова]» (Дневник № 5, л. 107 об.). София Сергеевна составила сборник детских песен, к участию в котором привлекла и Смоленского: «Мне захотелось добавить к сборнику польку, – пишет Волкова в своем предисловии, – связанную для меня с воспоминаниями раннего детства, о которой упоминает Смоленский в своих воспоминаниях. Встретив Смоленского у Е.В. Сабуровой, я попросила его записать эту польку для сборника. Нашлась нотная бумага, и тут же, за столом среди беседы окружающих, в несколько минут была записана полька в том точном виде, в каком она помещена Девриеном на обложке «Серенького Козлика». Кажется, и переписывать ее не пришлось – она словно гравирована. Не всякий выученик консерватории оказывался способным выполнить подобные несложные задачи».³³

Объясняя причины, заставившие Смоленского взяться за перо и начать работу над Воспоминаниями, София Сергеевна писала:

«В мае 1902 года умер С.А. Рачинский, принимавший ближайшее участие в служебной деятельности Смоленского и письмами своими поддерживавший его в минуты уныния. Смоленский, лишившись возможности делиться своими служебными скорбями с Рачинским, стал излагать их не только в своем Дневнике, но и в своих Воспоминаниях, и в своих, в том числе и в обращенных ко мне, письмах. Смоленский имел потребность делиться своими страданиями и, вероятно, ни с кем из окружающих не мог этого делать. Жену он щадил, зная, что она слишком принимает к сердцу, еще более болезненно нежели он. По смерти С.В. Смоленского вдова его передала его Дневники в Публичную библиотеку, а Воспоминания его мне, согласно письменному его распоряжению. Воспоминания эти

были написаны по просьбе как моей, так и некоторых старейших знакомых Смоленского. По окончании первой тетради, то есть приблизительно половины, он прислал их мне в деревню».

Действительно, смерть С.А. Рачинского очень тяжело переживалась Смоленским. 11 июня, на сороковой день, Смоленский писал сестре покойного: «До сих пор не могу еще в точности определить меру осиротелости и не могу понять меру моего чувства незаменимой душевной утраты – чувствую лишь большой недостаток во многом, чувствую утрату поддержки, потерю совета, потерю общения с человеком далеко незаурядным по уму, по прочности своих суждений и совершенно безукоризненной чистоте своего склада, совершенно безупречной честности».³⁴ 19 июня Смоленский записывает в Дневнике: «Но чего стоит мне утрата Рачинского! О, как я любил и высоко чтил этого чудного человека! Как поучителен был контраст этой чистоты и этого светлого ума в сравнении с этой окружавшей меня мерзостью, невежеством и предательством! (...) Помяну здесь с глубокой признательностью и чистый дамский кружок, столь поддерживавший мой падавший дух, то есть Нарышкину, Чичерину, Сабурову и Оленину с Коссиковской. Все они сделали много добра чужаку в Санкт-Петербургском свете. Из этого кружка, конечно, я должен с особою признательностью отметить семью Волковых, а из них особо близкую мне с Москвы Софию Сергеевну и ее сестру Марию Сергеевну, вместе с матерью их Мариєю Владимировною. Это чистая и умная семья всего более успокоила меня» (Дневник № 4, л. 2–3).

В июле 1902 года Волковы уехали в свое подмосковное имение, а Смоленский – в Старый Петергоф с учащимися Придворной капеллы и здесь, оставшись без дружеской поддержки, взялся за перо. Под 28 июля в Дневнике записано: «Начало писания моих «Воспоминаний» – для первого раза 10 страниц» (Там же, л. 34 а).

Работа шла с удивительной быстротой и легкостью. Во второй половине августа, когда были завершены главы о Казани и начата московская глава, посвященная консерватории и Синодальному училищу, Смоленский написал Софии Сергеевне,

объяснив план построения мемуаров и распределение содержания по главам. Волкова откликнулась, проявив самое живое сочувствие. «Не могу себе представить, – писала она, – как сложатся у вас две или даже три последние главы воспоминаний, близких по времени, еще не успевших отступить на то расстояние, где образ очертаний становится яснее. Как справитесь вы с ними? (...) как избегнете вы слишком частых повторений слов «я», «меня», «мои мысли» и т.д.? Интересен мне чрезвычайно: краткий обзор прошлого Синодального хора и Певческой капеллы с вашей точки зрения, но далее – в пору вашего во всей их жизни участия, как удастся вам описывать развитие их беспристрастно, не впадая в искушение самохваления, разбираясь в массе еще не остывших впечатлений? Мне кажется, полугодовой просушки тут недостаточно. «Рига и вейлка» для глав до-московских готовятся охотные и усердные, но для последних глав является у меня даже такой вопрос: не лучше ли вам будет, ранее чем прочесть их кому-либо, отложить их на год на полочку и затем самому перечесть их? (...) Радуюсь, что в главе о консерватории вы, вероятно, поговорите об отце Разумовском. Не слишком ли коротки у вас главы об инородцах, старообрядцах и об учительской деятельности, ведь на них легло всего страниц 50–60? Они мне представляются наиболее интересными, по крупной величине вопросов, которых касаются».³⁵

10 сентября Смоленский завершил первый том Воспоминаний с шестью казанскими главами и половиной седьмой главы о Синодальном училище и хоре. В тот же день он отправил с оказией рукопись Волковой. 14 сентября София Сергеевна отвечала: «Дорогой Степан Васильевич, чтение тетради окончено еще вчера. Сколько в ней живого, драгоценного, искреннего, цельного, но сколько и совсем еще сырого материала! Как доваряжская Русь, тетрадь эта велика и обильна, но порядка в ней нет. Есть и мелкая мякина, строчки нескладные, неладные, которые отделятся в «вейлке» (надеюсь, безвозвратно!) – Спасибо, спасибо».

Следующее ее письмо, от 1 октября содержало обещанные «ригу и веялку» – взыскательную критику, которая, как верно чувствовала София Сергеевна, ей позволялась и воспринималась по-дружески, без обид. Она восторгалась отдельными эпизодами Воспоминаний: «Вот вам примеры того, про что скажу – побольше бы такого: танцующие матери семейств среди спокойной утренней обстановки, под звуки записанных вами танцев. Кабы вы знали, как мне любы эти странички среди вашей тетради...» Она предлагала расширить московскую главу: «Насчет двух Ш. [прокуроры Синодальной конторы Шишков и Ширинский-Шихматов] добавлю, что на мой взгляд, если все московские впечатления сгруппируются не только вокруг них, но даже если и вокруг одной Синодальной школы, то это будет жаль. Соприкасаясь, хотя бы через ту же деятельность вашу, со многим характерным для Москвы вне школы, со многим отживающим или изменяющимся, – неужели вы о том не запишете? О старых букинистах, о язвах в строе жизни и самой постановке дела в архиерейских хорах, о московском купечестве, о том, как отражалась на принимаемых вами мальчиках домашнее их воспитание, заметны ли были оттенки по сословиям, условиям деревенской или городской жизни и проч., и проч., и проч.

Postscriptum к этому письму, сделанный в связи с получением нового послания от Смоленского, гласил: «Письмо ваше от 24 [сентября] порадовало меня предоставлением тетради в полное мое распоряжение: это напомнило мне детскую радость при позволении делать с куклой все, чего захочется... И в ящик отложить можно на время, и по-другому причесать, и назвать как угодно... Я и прежде поняла, по одному письму вашему, что присылка тетради имеет отношение к 17-му [день ангела Софии Сергеевны], но когда я ее затем уже к 13-му всю прочла, впечатление это утратилось, и таким образом 24-го удался отличный сюрприз».³⁶ Таким образом, первая тетрадь Воспоминаний, завещанных Смоленским Софии Сергеевне, была подарена ей еще в 1902 году, сразу по завершении.

Вскоре Смоленский забрал рукопись для доработки и, прислушиваясь к критике, стал вносить поправки. Следов подобной работы в автографе не много. Пожелания Софии Сергеевны «не замыкаться в стенах школы» побудили его расширить сюжетную канву московской главы: в продолжение этой главы вошли «старые букинисты», «московское купечество», потянулось невольное и многое другое, виденное, передуманное и переживуемое Смоленским в Москве. Завершенный 31 января 1903 года, второй том также был отправлен на прочтение Волковой.

Думая о возможном издании мемуаров, Степан Васильевич не раз возвращался к тексту первых глав. Впоследствии фрагмент из первой главы – о старом звонаре Семене Семеныче, значительно расширенный, вошел в очерк Смоленского «О колокольном звоне в России» (СПб., 1907). Летом 1904 года на основании текста казанских глав (главным образом, третьей, «университетской») Смоленский составил очерк «Из воспоминаний о Казани и Казанском университете в шестидесятых-семидесятых годах» для «Литературного сборника к 100-летию Казанского университета», вышедшего в том же году. Перед отправлением в печать Степан Васильевич послал очерк Волковой и, получив на сей раз похвальный отзыв, поблагодарил ее: «Я очень рад тому, что вы отозвались об отрывке из моих воспоминаний как о легко и скоро читающемся (...) Мне именно хотелось иметь в виду впечатление читательниц, так как я имею в виду их всегда беспристрастный и строгий суд, не опирающийся на самоуверенный мужской суд и всегда более изящный, и искренний».³⁷

Смоленский предполагал продолжить работу над Воспоминаниями, но всякий раз, пересматривая последние их главы – о Синодальном училище и Придворной капелле, останавливался. В 1904 году, очередной раз просмотрев второй том, он оставил запись на последних страницах: «Мне бросился в глаза также беспокойный, даже резкий, желчный оттенок описаний окружающего меня сверху. Поэтому я заключаю, что продолжение моих описаний преждевременно, так как может

еще мною руководить в них чувство досады и трудность быть вполне беспристрастным. (...) Я охотно разбавил бы на многих страницах невольно сгустившиеся краски, как вредящие точному значению событий и их последствий». Но седьмая глава так и осталась «неразбавленной». В 1906 году Смоленский сделал последнюю запись в рукописи Воспоминаний: «Быв недавно в Москве, я не нашел, однако в себе силы побывать в Синодальном училище. Переданные мне сведения о нем были очень больны моему сердцу».

Н.Ф. Финдейзен, один из первых читателей Воспоминаний, справедливо обратил внимание на их литературный язык, причислив Смоленского к «первоклассным русским стилистам». «Во всяком случае, – писал он, – такого музыкального писателя, каким был Смоленский, у нас нет, не было, да, Бог весть, и будет ли когда-либо».³⁸ Действительно, Степан Васильевич владел редкостным даром слова, прекрасно чувствовал живую стихию современной ему русской речи; его собственная лексика оригинальна и характерна. Временами, правда, синтаксические построения могут показаться несколько витиеватыми. Однажды он записал в Дневнике: «Мои долговязые периоды иногда разделяются трудно. Я сам не в силах расчленить их по мелочам, тесно связанным между собою. Ясность речи затрудняется у меня постоянными определительными предложениями. Но что же делать, если эти добавления всегда мне нужны?» (Дневник № 5, с. 37).

Получив рукопись после смерти Степана Васильевича, С.С. Волкова прежде всего позаботилась о снятии с нее копии. Ей помогла Екатерина Амандовна Смоленская, жена брата Смоленского, Александра Васильевича. Копии казанских глав были отосланы в Казань Екатерине Степановне Ильминской; остальной текст копии сохранялся у Волковой и ныне находится в ее фонде в РГАЛИ.

В 1914 году София Сергеевна передала рукопись Воспоминаний на хранение Алексею Ивановичу Яковлеву, историку, близко знавшему Смоленского и служившему тогда старшим помощником библиотекаря Румянцевского музея. Имеется расписка Яковлева от 6 марта 1914 года: «От Софии

Сергеевны Волковой принял на хранение 2 тома «Воспоминаний» С.В. Смоленского; оба тома находятся в моем столе, зал № XIII». II здесь же, на этой расписке, рукой Волковой сделано дополнение: «В этом же марте месяце оба тома Воспоминаний переданы Андрею Николаевичу Римскому-Корсакову...».

А.Н. Римский-Корсаков вместе с П.П. Сувчинским готовил тогда к изданию в Петрограде новый журнал «Музыкальный современник», и рукопись передавалась ему с надеждой на публикацию. Однако до 1917 года издание не было осуществлено, и Волкова, по совету А.Д. Кастальского, направила Римскому-Корсакову ряд депеш с требованием срочно вернуть рукопись в Москву. В ответ Андрей Николаевич предложил издать для начала фрагменты седьмой главы. Ответ Софии Сергеевны от 1 июля 1917 сохранился в черновом варианте, на двух оборванных клочках бумаги:

«М[илостивый] г[осударь] Андрей Ник[олаевич],

благодарю вас за ваше письмо относительно Воспоминаний С.В. Смоленского. К сожалению, я не могу считать возможным отдельное печатание срединной их части, разъединенное с остальным. К тому же выборка именно всего, относящегося к Синоду, имела бы сейчас значение сенсационное. В такой приманке для читателей, мне кажется, будущее издание Воспоминаний не нуждается, а сами по себе эти главы, обособленные от казанских предыдущих ярких глав, представили бы писавшего нам в неверном свете. Postscriptum к Воспоминаниям наводит на мысль, что покойный С.В. Смол[енский] завещал мне эти два тома, именно поручая их моей... осторожности. Я не желала бы обмануть его доверия. Сейчас я не считаю своевременным их издание, но имея в настоящее время возможность заняться редактированием Воспоминаний, прошу вас вернуть мне оба тома, так как имеющаяся у меня копия оказалась с пробелами. Теперь я первым делом желала бы пополнить копию до точного и полного снимка, – а затем видно будет. Я вам очень благодарна за сообщение ваших желаний и условий и, конечно, буду иметь их в виду. Как раз на этих днях, еще до получения вашего

письма, уже потеряв надежду на ответ с вашей стороны на мои три письма (первое из них послано еще в январе), я написала... одному видному музыкальному деятелю в Петроград, часто имеющему сношения с Москвой, с просьбой побывать в редакции «Музык[альный] сов[ременник]», и, получив по моей доверенности и под расписку оба тома Воспоминаний – доставить их мне.(...) Не скрою, что последние грозные слухи также дают желать – хранить всякие документы скорее в Москве, нежели в Петрограде». ³⁹

В результате переговоров рукопись была передана Б.В. Асафьеву и П.П. Сувчинскому, которые предложили издать мемуары Смоленского полностью (выше уже говорилось об их интересе к Дневникам ученого). Однако и этот план не был реализован.

Вопрос о публикации Воспоминаний вновь возник в 1927 году, когда им занялась комиссия по изучению русской музыки при музыкальной секции Государственной академии художественных наук (ГАХН). Судя по выписке из протокола заседания этой комиссии 6 июня 1927 года, В.В. Яковлев получил предложение готовить к печати театральные и музыкальные мемуары для издательства «Академия» и собирался начать с Воспоминаний Смоленского. ⁴⁰ Рукопись должна была издаваться с сокращениями, а работа распределялась между несколькими сотрудниками: казанский период – Ю.С. Никольский, московский – С.С. Попов, петербургский – С.С. Волкова под общей редакцией Яковлева. Но и этот проект оказался нежизнеспособным, так как уже в мае следующего года Волкова обращается к Н.Ф. Финдейзену:

«...При виде писем, воспоминаний и заметок С.В. Смоленского мне совестно думать, что могу умереть, не подготовив к печати всего того, что в них содержится ценного, по палеографии, по певческим формам и по многим высказанным живым и оригинальным суждениям и мыслям.

До сих пор попытки заняться этим только приводили меня к сознанию, как трудно вести такую трудную работу одновременно с добыванием средств к жизни уроками и переводами. Однако летом это все-таки представляется легче,

нежели зимой. Хотелось бы обо всем переговорить с вами – не собираетесь ли вы в Москву? За последние 13 лет я не была в Ленинграде и не предвижу возможности съездить туда (...) Известно ли вам, что оригинал Воспоминаний Смоленского, завещанных мне и доставленных мне Анною Ильиничною, находится в настоящее время у Б.В. Асафьева? Прочитали ли вы их? Некоторые из московских музыкантов уже просматривали их и обсуждали желательность напечатать выдержки из них. Мне кажется, что следовало бы, в таком случае, присоединить к ним выдержки из писем, представляющие более научный интерес. Мне бы очень хотелось привлечь вас к участию в этом, и, может быть, к осени поднять вопрос об этом».⁴¹

Финдейзен немедленно откликнулся: «Многоуважаемая Софья Сергеевна! Я давно знал о судьбе Воспоминаний (и дневников) С.В. Смоленского и о том, что они находятся у Асафьева, но не понимаю, как они к нему попали, и не читал их. В июле мне придется, вероятно, побывать в Москве, в Муз-секторе, где мы и могли бы с вами свидеться и переговорить».⁴² 9 июля Волкова коротеньким письмом напомнила Николаю Федоровичу о том, что ждет его приезда и встречи. Состоялась ли она? 20 сентября Николай Федорович скончался. Через четыре года, в 1932-м, умерла София Сергеевна, а рукопись Воспоминаний неизвестным нам путем попала к новому владельцу – выпускнику Синодального училища, знаменитому дирижеру Николаю Семеновичу Голованову. В московской Мемориальной квартире Голованова (филиале Государственного центрального музея музыкальной культуры имени М.И. Глинки) она хранится и поныне. По неподтвержденным рассказам сотрудников клинского Дома-музея Чайковского, Волкова, жившая неподалеку от Клина, сама передала рукопись в Дом-музей, которым тогда заведовал Н.Т. Жегин. Он был хорошим знакомым Голованова, который входил в общество друзей Дома-музея Чайковского. Возможно, что именно этим путем Воспоминания директора Синодального училища попали к одному из самых блестящих выпускников этого учебного заведения. По другой версии, рукопись могла

попасть к Голованову непосредственно от Б.В. Асафьева или В.В. Яковлева.

Следствием длительного пребывания рукописи в Петербурге стало появление второй, теперь уже машинописной, копии мемуаров (далеко не полной). Она поступила в Рукописный отдел РНБ (Публичной библиотеки) вместе с личным архивом многолетней сотрудницы этого отдела А.С. Ляпуновой в 1973 году. Копия имеет штамп с указанием предшествующего места хранения – Центрального государственного литературного архива. Неизвестно, кто стал инициатором изготовления этой копии, но понятно внимание, проявленное Анастасией Сергеевной Ляпуновой к Воспоминаниям Смоленского, в последней главе которых подвергается жесткой (заметим: иногда чрезмерно жесткой) критике административная деятельность в Придворной капелле ее отца Сергея Михайловича Ляпунова – прекрасного русского композитора, в том числе автора духовных сочинений.

Судьба мемуаров Смоленского точно отражает судьбу архива ученого в целом. Рукописное наследие его в послереволюционные годы практически не издавалось, хотя на уникальную его ценность не раз указывали исследователи. В частности, в 1959 году Л.З. Корабельникова в опубликованной журналом «Советская музыка» статье «Смоленский – энтузиаст русской хоровой культуры» (1959, № 5) попыталась сдвинуть дело с мертвой точки, напомнив о Дневниках и Воспоминаниях. Но только в конце 1990-х годов появился на свет первый том «Русской духовной музыки в документах и материалах», в который составители включили и материалы о Смоленском, и часть седьмой, московской, главы его Воспоминаний. Отдельные фрагменты мемуаров печатались также в тверском журнале «Домовой» (1995, № 9, восьмая глава), в «Российской музыкальной газете» (1996, № 5–6), в журнале «Наше наследие» (1998, № 45), в журнале «Музыкальная академия» (1998, № 2). И не случайно, а вполне логично, что возрождение наследия Смоленского начинается ныне именно с Воспоминаний, то есть с той рукописи, без которой, употребляя

выражение Финдейзена, невозможно «узнать, чем в действительности был Смоленский».

Рукопись Воспоминаний С.В. Смоленского, хранящаяся в Мемориальном музее-квартире Н.С. Голованова (№ 538), представляет собой два толстых тома (275 и 279 листов) в твердых переплетах (25*18 см.). Хотя основной текст помещался автором на лицевых сторонах листов, большая часть оборотов также заполнена разного рода вставками и примечаниями, вклеенными печатными текстами, о которых упоминалось выше, и фотографиями, часть которых воспроизводится в настоящем издании.

Выражаю глубокую признательность за содействие в подготовке к печати текста Воспоминаний С.В. Смоленского – работникам Российского государственного исторического архива, Рукописного отдела Российской Национальной библиотеки, сотрудникам Мемориального музея-квартиры Н.С. Голованова, а также докторам искусствоведения Е.М. Левашеву и Л.З. Корабельниковой. Благодарю за постоянную поддержку и ценную помощь кандидата искусствоведения С.Г. Звереву, А.А. Наумова, А.Н. Солтанова. Считаю своим долгом отметить большой вклад А.А. Наумова в подготовку именного указателя к Воспоминаниям.

Надежда Кабанова

Воспоминания

Старый Петергоф, 28 июля 1902 года

Я надумал записать мои воспоминания. Мысль эта приходила мне в голову не один раз и прежде, но как-то не утверждалась к исполнению, не казалась мне стоящею внимания и даже не казалась сколько-нибудь интересною. Для самого себя эти воспоминания мне казались совершенно лишними, так как я обладаю весьма живою, скоро возбуждающеюся памятью и потому без труда вспоминаю былое с достаточною подробностью и точностью; для других – мне казалось, что эти воспоминания личного свойства едва ли могут представить какой-либо интерес, кроме разве забавно-анекдотических подробностей порядков, давно отживших свое время. Так я думал не раз и, даже набрасывая иногда некоторые характеристики прошлого, главным образом школьного моего времени, бросал писанье моих воспоминаний, даже и жег их, как вполне ненадобную, запачканную чернилами бумагу.

Но в последние годы случилось мне уже не раз, особенно же при встречах с товарищами, с сущим увлечением и с горячею любовью рассказать несколько эпизодов моей жизни, сделать несколько характеристик людей, с которыми сводила меня судьба моя, и увидал я своими глазами тот живой интерес, с которым меня слушали, и [обнаружил] полнейший во всем перелом русской жизни, который я пережил сам, чувствуя в нем лишь преддверие будущего, может быть еще более широкого роста моей родины. В самом деле, я отлично помню образцы крепостного права во всей его жестокой, безобразной, проклятой безжалостности публичных плетей, отправления в Сибирь тысяч прикованных к канату людей – помню время без железных дорог и пароходов, без телеграфов и телефонов, без печатного слова, без фотографий, без свободной науки, без великого множества нынешних обыденных, даже незамечаемых удобств во всем, появившихся после незабвеннейшего девятнадцатого февраля 1861 года, этого сущего воскресения

моей родины. Я отлично помню дикий произвол, меру которого нельзя и вспомнить без содрогания, самоуправство всякой, даже мелкой административной сошки, грубейшее невежество и отрицание надобности света во всем... Нисколько не увлекаясь видимым мною в последние годы, я, однако, вижу не только разницу нынешних порядков от минувших, но вижу прямо новую жизнь во всем, полную невозвратимую смерть многого прошлого, совершенный анахронизм даже и подобия когда-то бывшего и совершенную невозможность в прошлом очень многого из того, что я могу назвать теперь развертывающимися цветочками, из которых появятся ягодки. И теперь немало кругом всякой гадости, всякой пошлости, всякого воровства, насилия, недомыслия, грубости. Больнее чувствуется и безобразнее кажется все это зло, окруженное, однако, гораздо большим упованием возможности лучшего будущего. Но в прошлом угнетала именно беспросветность, безнадежность, удаленная потом только силою свыше.

Поэтому осмысливаю я писание моих воспоминаний тем, что виденное мною и посылно описанное будет со временем разниться от существующего так много в основных своих положениях, что тогда без таких упоминаний, пожалуй, и трудно будет представить читателю в своем уме самую возможность существовавшего в прошлом именно в силу этой разницы. Как мне трудно самому отрешиться от суждений моего возраста и быть беспристрастным ценителем прошлого в смысле идей этого прошлого, а не нынешнего моего катехизиса, так, полагаю, со временем, при росте идей, будущим судьям будет еще труднее быть беспристрастными в суждениях, хотя бы и добросовестных, но основанных не на лично пережитом или лично выстраданном. Конечно, я повергаю и сам себя на суд читателя, кто бы он ни был в будущем, выставляя на его усмотрение и свои суждения, свои симпатии, антипатии, склонности, поступки, убеждения, верования. Придет время, когда и это, кажущееся мне согласным с переживаемым временем, будет казаться, пожалуй, весьма забавным содержанием самим по себе. Но думаю и так: пишу, переживая как бы вновь часть прошлого, пишу вполне спокойно и вполне

честно. Да будут и мои мысли свидетелями своих лет в захолустной провинции, да прочтут и их с доверием и с уважением к памяти писавшего – не в обличение, не в посмеяние, а именно в целях справедливой оценки этих лет и в воздание должного многим добрым людям, добрым сынам родной земли, с которыми свела меня судьба моя.

Мои лучшие годы пережиты именно тогда, когда лучшие люди моей родины беззаветно послужили ей, идя за бессмертным, неоценимым, святейшим в своей молодости Александром II. Россия встрепенулась тогда в кругу этих честнейших людей, сущих праведников, и я сам пережил, перечувствовал в беседах с ними очень многое. Эти люди, бескорыстно отдавшие родной земле все, что только могли отдать, эти горячие идеалисты, о которых могу вспомнить только с глубоким умилением и удивлением, окружали меня в юные мои годы. Я сам видел и их безграничное негодование, и их полнейшее самопожертвование, а их крепчайшая вера в силу добра, правды, знания, свободы воспитала и меня, вырастила меня в самого неисправимого врага всякого зла, неправды, невежества и произвола.

Я могу сравнить прошлое и последовавшее от начала царствования Александра II как нечто склеенное из двух длиннейших клиньев разных деревьев, приклеенных к толстому брусу, большому, здоровому. Этот здоровяк-кряж есть народ русский, очень далекий от смерти; один клин, толстый в начале и уменьшающийся и сходящий на нет, – есть бывшая русская проворовавшаяся администрация, кошкарловщина⁴³, изолгавшаяся бюрократия, промотавшаяся и вымирающая **часть** русского дворянства, не догадавшаяся в свое время взяться за труд, за ум, за ученье и прошедшая свое «оскудение», так правдиво описанное Терпигоревым⁴⁴; сюда же я отношу всю ту тонкую паутину всякого хищничества, приобретшего во второй половине XIX века физиономию, несколько отличную от бывших откупщиков, клейнмихелей, дубельтов, бенкендорфов⁴⁵, – это область очерков Салтыкова-Щедрина; в эту же противную кучу сваливаю я бывший русский бесстыжий суд, плети, солдатчину, цензуру, «шапками

закидаем» и прочее, давно заклеяменное. Другой клин, начавшийся тоненьким листочком очень давно, ставший заметным с декабристов, с Пушкина, Белинского, Гоголя, утолщается с каждым годом и стал толще старого после девятнадцатого февраля. Червоточины много есть и в этом клину, но из хорошего он дерева и сводит теперь местами во многом старый клин совсем на нет. Новый суд, бывший удивительным по своей честности и доблести, пресса, когда-то великолепная, наука и искусство, шагающие вполне изумительно, общественное мнение – все это сейчас не безупречно, не вполне здорово, далеко не энергичнее шестидесятых-семидесятых годов, но все же и не безнадежно, не бестолково, а видимо растет, видимо менее портит столь многострадающее и столь разоренное и споенное, а оттого и больное среднерусское крестьянство. И это последнее все-таки есть и пребудет надолго, как еще здоровеннейшее бревно, на котором вышеуказанные клинья; есть на нем и многие рубленые метки, вколочено в него много гвоздей, есть в нем дыры, всякая плесень, даже гниль, много сверху, как и внутри, всякого паразит, – но еще все-таки здоровеннейшее бревно лежит себе бревном, и нескоро сдвинуть его с места. Другой клин состоял из людей мысли, правды, чести, из пламенных славянофилов, пламенных публицистов, неисправимых идеалистов-ученых и проч., работавших всеми силами их духа, всею силою их любви к родине и действительно оказавших России самые незаменимые услуги. В кругу таких людей, честных, правдивых, неизменно служивших свету и родине, хотя и очень не видных, протекала вся моя молодость. Только в последние годы я столкнулся с людьми другого [старого] клина, не виданными мною до сих пор и оскорбившими во мне все. Тем более я встал крепче за свое.

Любовь моя перестрадала многое в эти годы, и я полюбил свое еще беззаветнее. Мои столкновения с людьми из другого клина убедили меня, что он во многом еще далеко не сошел на нет, что второе поколение его людей, из которых многие хватились за ум, учились, намотали многое на ус, догадались спасти хотя бы остатки своих состояний и социальных

положений, – это поколение не без ума и такта восприняло в себя многое доброе, осмыслило свою прежнюю жизнь новыми одеждами старых все-таки покровов и все-таки держит голову очень высоко и заносчиво; что и немец, и глупый генерал еще очень сильны и не без мысли оставить с наименьшими после себя уступками следующее такое же поколение, столь же нерусское, малоправославное и во многом весьма крепколюбое и очень упрямо-дружное. Но разница между виденным мною старым барством и старым генеральством, и его наследием, как и подрастающим следующим, третьим поколением, так огромна и частью так отрадна, что моя мысль даже мирится с возможностью быть и терпимому злу, с возможностью и некоторого замедления в сходе этого клина на нет. Не в восторге я и от своего клина, к которому принадлежу. Много и в нем всякой дряни, но он все же лучше, и будущность его торжества и господства хотя и далека, но верна.

Глава I. Детство и школьные годы

Отец мой, Василий Герасимович, был чиновник и в год моего рождения был секретарем Григория, архиепископа Казанского. Я родился в Казани, в загородном архиерейском доме, на даче отца, 3 октября 1848 года. Я был, кажется, третий или четвертый ребенок в семье, но, за смертью бывших передо мною детей, рос старшим сыном. В год моего рождения батюшка вместе с моей матерью Авдотьей Степановною и с детьми только приезжали в Казань на лето и осень. Отец уехал в Санкт-Петербург вместе с архиереем вскоре после моего рождения, оставив семью в Казани до весны, когда перебрались вслед за ним и мы. Первые мои впечатления, оставшиеся в памяти, относятся к проживанию в Санкт-Петербурге на Васильевском острове, на углу 15-й линии. Теперь вместо этого дома стоит церковь.⁴⁶ Наши окна выходили на Неву и на улицу. Отлично помню, как я увидел скрипача на дворе, игравшего и плясавшего вприсядку чуть не по луже. Я немедленно проделал то же самое и тут же понес, как кажется, материнское внушение. Не послушав приказания матери «сиди смирно» (вероятно, под впечатлением танцевавшего скрипача), я, возвратившись со двора в грязи, стал сидеть смирно с таким упрямством, что матушка испугалась, потом вспылила и, заливаясь слезами, выпорола меня, приговаривая: «Не сиди смирно». Другой случай моего непонятного мне теперь упрямства (так как я, как кажется, нисколько не страдаю этим недостатком) был у меня из-за того, что я ни за что не хотел вытвердить нашу домашнюю молитву: «Спаси, Господи, папашу, мамашу, папа крестного, маму крестную, Лизу, Степу (то есть меня)...» Отца взорвало это упрямство... Самые яркие впечатления затем были: мое безграничное удивление, когда я увидел «лошадей в салопах», то есть в траурных пополах, и красное огромное колесо парохода «Телеграф», показавшееся мне каким-то чудовищем. Помню также, что я боялся будочника с алебардой и, особенно, трубочистов. Затем я помню попытки рисовать из окна видный мне памятник Петру Великому, помню приезд моего крестного

отца Николая Ивановича Ильминского из путешествия по Аравии и Египту и помню превосходное пение архиерейского хора под управлением священника П.Д. Миловидова, жившего в нашем же доме.

По вновь открытой тогда Николаевской железной дороге наша семья выехала в Казань в 1853 году. Мы ехали без отца в третьем классе в большой компании певчих только до Твери.⁴⁷ Третий класс был тогда устроен на открытых платформах вроде тех, на которых сейчас возят бревна, крупную кладь, и я отлично помню, как нас мочило дождем, осыпало искрами и как мы после третьего звонка и свистка крепко держались друг за друга, чтобы не свалиться с лавок, так как поезд при отправлении со станции почему-то дергало сразу очень сильно. В Твери мы наняли барку «косоушку» и, плывя по течению весьма долго и весело, кажется недель пять-шесть или немного менее, достигли Казани. Помню и то, что отец скоро шагнул нам навстречу, спускаясь к Казанке из ворот Тайницкой башни, а шинель на отце была синяя.

Затем я помню, что мы зимовали в Казани, живя в доме Орнатского, в Засыпкиной улице, а отец, вновь уехавший в Петербург, прислал мне первую книгу, по которой я выучился читать, занимаясь вместе с сестрой Лизой под руководством малолетней «тети Кати», впоследствии Ильминской. В эту зиму начались мои самостоятельные музыкальные занятия на фортепьяно, так как инструмент Дидерихса появился в нашем доме, и я с великим удовольствием просиживал все время под роялем, пока на нем кто-либо играл. Меня приводил в восторг оглушительный звук инструмента, когда я прикладывал ухо к его дереву. После с глубоким интересом наигрывал все, что только ни приходило в голову, а на слух знал почти всю школу Гюнтена и все мотивы «Лукреции Борджиа»⁴⁸, так как тетя Катя все это играла. На этой же квартире я помню, как матушка вдруг начала носить траурное платье. Это было по кончине императора Николая Павловича.

Затем мы перебрались на квартиру в дом училища для девиц духовного звания, где отец получил место смотрителя. Окна наши выходили на огромный пустырь к Казанскому

монастырю. Этот пустырь мой отец распланировал и засадил деревьями. Таким образом, бегая в этом огромном пустыре, я ознакомился с очень многим практически, помогая отцу делать промеры, запоминая породы дерев, увидав черчение огромного круга и т.п. Тут были и ученицы, и классные дамы, и рабочие, делавшие всякую работу – от проведения дорожек, копания колодезя до вывозки целого дома из сада, то есть целиком всей полицейской будки, красующейся, как кажется, и доныне перед Кошачьим переулком.

В первую же или вторую зиму на этой квартире внезапно умерла какими-то припадками десятилетняя сестра Лиза. Вскоре после этого вышла замуж шестнадцатилетняя тетя Катя за моего крестного Н.И. Ильминского, затем они уехали в Оренбург, а я уже вкушал первые горькие корни учения в школе при лютеранской церкви.

Корни эти были действительно горьки. Школа помещалась на дворе церкви в нижнем этаже нынешнего пасторского дома. Тогда (в 1856 году – ибо у меня сохранился «табель» моих успехов за этот год) церковь помещалась в верхнем этаже дома по улице, в нижнем же этаже, под церковью, жил пастор Пундани. Бывший школьный дом был, как и стоявший напротив дом учителя Леонарда Христофоровича Шимментфенниха, здание одноэтажное. Нынешняя церковь выстроена на месте прежней, бывшей в большом доме, гораздо позднее. Должно быть, я был очень резвый мальчик, шалун и озорник, так как, кроме наказаний за русский разговор, меня наказывали постоянно, иногда по несколько раз в день. Наказания эти были частью глупы, частью жестоки, но иногда доходили прямо до истязания чисто немецкого склада. В указанные дни и часы немецкая речь была обязательна для всех, и заговоривших в это время по-русски постигало наказание № 1, так называемая «мочалка». Так называлась скрученная вершка в два с половиной-три мочальная веревка, бывшая во рту у провинившегося. Этот последний всячески ловил товарища, который бы сказал хоть одно русское слово, чтобы переместить мочалку из своего рта в рот провинившегося. Такие мочалки всего чаще перемещались, конечно, в свободное время между

уроками, но горемыка, севший в классе с мочалкой во рту, должен был держать это педагогическое воздействие в течение всего урока, если только не промахивался какой-либо другой ученик... Понятно, что я получил мочалку в первый же мой школьный день и весьма долго не расставался с нею – до времени, когда овладел в надобных размерах немецкой речью. Номер второй наказания проделывался обыкновенно собственноручно учителем и назывался у нас «Drei Mal»⁴⁹: почтеннейший Леонард Христофорович ставил левую ногу на скамейку, клал на нее наперевес провинившегося малыша и, нанеся три шлепка десницею, сажал наказанного на место. Этой операции у нашего педагога предшествовало обыкновенно восклицание: «Ruhig, du, Schurke, komme her! Also: 1, 2, 3, Dummkopf!».⁵⁰ Затем следовали более жестокие наказания, например битье плашмя или ребром линейки по ладони, или – еще более того – по концам пальцев, собранных в щепотку, даже и по верхней стороне кисти, прямо по суставам; помню и стегание проволокой, и битье ребром линейки по спине и по голове, пощечины, трение ушей, даже (в очень редких случаях) самую беспощадную порку розгами... Меня выпорол сам пастор Пундани на второй год моего учения, так как застал меня на кафедре класса с бумажными пасторскими воротничками, говорящим проповедь на немецком языке с передразниванием нашего почтеннейшего и добрейшего старца. Отлично помню, что пастор, вначале было рассмеявшийся на восьми-девятилетнего проповедника, вдруг рассердился на чтение «Vater unser»⁵¹, проделанное мною с серьезными ужимками Пундани: «Gut, gut! Komme gleich»⁵² etc., и затем уже не «1, 2, 3», а значительно большая и очень сильная порция...⁵³

Не помню теперь, что и как учил я в этой истинно немецкой школе, где между немцами-учителями и немцами-учениками было лишь незначительное число русских. Помню лишь жестокого учителя истории, наведшего на нас такой ужас битьем учеников, что, кажется, само школьное начальство озаботилось прекратить педагогическую ретивость немца-изверга. Помню, что Александра Ивановна Шимментфенних (француженка, вышедшая замуж за нашего учителя) очень любила и баловала

меня, как и добрейшая Анна Ивановна Миллер особенно была внимательна и почему-то всегда одевала меня при выходе из школы и даже надевала на мои ножонки калоши. Помню, что у многих из нас были пришиты к пальто на длинных шнурках теплые перчатки, которые у многих мальчиков, выбегавших из школы, презабавно волочились сзади по земле. Помню, что в школу по понедельникам мы были обязаны приносить «Zwei Feder» – «две перья», по выговору Л.Х. Шимментфенниха, и что учитель, задавая «от сих до сих», рисовал в книжке петушка с одной лапкой в сапоге. Книжка эта у меня даже сохранилась.

Из моих сверстников по школе припоминаю: покойного Петю Котельникова – сына профессора; двух сыновей пастора, Владимира и Николая Пундани – ныне телеграфистов; Владимира Ивановича Банцекова – ныне члена Петербургской Судебной палаты, здравствующего в Петергофе теперь вместе со мною, прошедшего со мною и школу, и гимназию, и университет (ему прочтены и эти воспоминания и частью по его поправкам и дополнениям проверены мною вновь); Всеволода Саблукова – покойного; Александра Алексеевича Корноухова – присяжного поверенного, также бывшего товарищем в гимназии и университете; Василия Васильевича Мартинсона – ныне директора частного ломбарда в Петербурге; Николая Федоровича Баренцева – гласного в Казани; покойного Сашу Миллера и Пашу Миллера. Из учениц: Эммочку Шульц, Соничку Шмидт (бывшую замужем за Ив. Тер. Орловым), Полину Нессин (замужем Сегель – мать моего приятеля, отличного пианиста Михаила С. Сегеля, теперь профессора в Риге), Соничку Банк. Всех нас было, вероятно, около шестидесяти-семидесяти.

Я все-таки вспоминаю эту школу с глубокой благодарностью, как ни нелепо было поставлено в ней обучение детей. Я вполне овладел немецким языком, дошел до искусства повторять в доступных моему озорству размерах церковные проповеди пастора Пундани, знал наизусть много стихов из «Gesangbuch»⁵⁴, узнавал наизусть мелодии всех хоралов и получил первые восторженные впечатления от органа, присущие мне до сих пор при игре на этом царе инструментов. Школа была близко от нашего дома, и по прикосновенности ее

персонала к лютеранской церкви, по позднему, в сравнении с нашей обедней, часу лютеранской воскресной службы я постоянно бывал в ней на хорах, сидя, конечно, около самой органистки – Викуловой, нашей строгой учительницы, не помню уже какой школьной мудрости.

В предпоследний год моего школьного жития у меня был зачем-то первый по порядку мой репетитор – ученик четвертого класса Второй казанской гимназии Владимир Фирсович Юшков, о котором только и сохранились у меня в памяти его постоянные словесные приказания быть «паки, паки преклоните колена». Это уже было в доме Львова, проданном много лет спустя купцу Заседателеву. Дом этот был кругом в зелени превосходного сада, и мы заняли его потому, что расширение женского училища потребовало добавочного помещения, а дома Львова были против училища через улицу.

Должно быть, малоустроенность занятий со мной Юшкова вынудила моего отца взять другого репетитора, который меня подготовил к поступлению в первый класс Второй казанской гимназии и занимался со мной около трех лет. Это был с любовью вспоминаемый мною студент Евгений Евгеньевич Федоров, уехавший из нашего дома по окончании курса врачом в Николаевск-на-Амуре. Я очень любил Евгения Евгеньевича, а по отъезде так оценил в зрелые годы моей жизни этого строгого моего учителя, что, памятуя его труд со мною, решил писать ему каждый раз, когда случится что-либо выдающееся в моей жизни. Таким образом, зная его здравствующим по списку врачей, я писал ему по окончании курса в гимназии, в университете, при переходе с поприща юриста на поприще учителя, после моей свадьбы, после смерти моего отца, при переезде в Москву, после смерти матери и, наконец, при переходе в Капеллу. Только одно, предпоследнее письмо дошло до моего учителя, уже старичка, немедленно мне ответившего из Владивостока. Последнее письмо было возвращено (в 1901 году) с надписью «возвращается за смертью адресата».

Евгений Евгеньевич занимался со мной очень усердно. Вероятно, то был жестокий бедняк, брошенный судьбою и

семьею, он учился на казенный счет в Первой казанской гимназии и попал к нам будучи медиком во втором или третьем курсе. Сколько помнится, мои родители, кроме хороших качеств Евгения Евгеньевича, полюбили его и за порядочную игру на флейте. По окончании курса Евгений Евгеньевич коротал весь свой век то в Николаевске-на-Амуре или в Охотске, то в Петропавловске-на-Камчатке, то во Владивостоке. Я помню, как мы со слезами участия читали первое его письмо к нам, где он описал испытанный им на пароходе туманный штиль и потом жестокий шторм. Занимался он со мной очень старательно, так что благодаря его трудам со мной я отлично шел в гимназии в первом и втором классах и заметно опустился в третьем классе, после того как Евгений Евгеньевич оставил нашу семью.

Тихо, в провинциальной старозаветной простоте провел я мое детство в родной семье. Наша семейная жизнь была кроткая, бесшумная, вполне любовная, как бы соответствовавшая тому дому – деревянному, длинному, одноэтажному, в котором мы жили, окруженные густым старым садом. Летом этот дом стоил любой дачи; зимой окружающие нас сугробы еще более усиливали уединенность нашего жития.

Отец мой был всегда вдалеке от детей и редко ласкал нас, но никогда и не обижал. Зато мать – эта суцкая любовь, суцкая радость семьи нашей – была всецело с нами с утра до вечера. В годы моего детства и юности, в годы первого пробуждения моей сознательной жизни я, как и все мы, все друзья нашей семьи, – мы уже высоко ценили и крепко любили нашу добрую, любвеобильную мать. Давно были эти годы, и непохожи они на нынешние годы в соответствующих семьях. Моя мать, несомненно, наследовала от своего отца сильный ум и твердый характер, растворявшиеся в самой невыразимой кротости и умении вести свою семью. Обаяние этой кротости охватило всех моих братьев и сестер, обоих Ильминских и всех друживших с моею матерью. Такой чудный человек, как Ильминский, чтит мою мать суцей сыновнею любовью, хотя и был ровесником ее по годам; моя тетка, Екатерина Степановна Ильминская, любила мою мать и почитала ее едва ли не более всех на свете.

В те далекие годы, то есть в 50-е, да еще в глухой Казани, не было ни клубов, ни ежедневных спектаклей, ни балов. Наша семья, большая и совершенно незажиточная, поневоле жила еще скромнее, чем было перед тем в Петербурге. Несколько знакомых симпатичных семейств, «Губернские ведомости»⁵⁵ да получаемые журналы составляли весь обиход общения нашей семьи. Отец больше водился с профессорами, мать – с их женами; дети в те годы жили лишь своими семьями.

Я живо припоминаю дни моего детства, когда, бывало, утром мы вставали, как и вечером, на молитву. Эти молитвы всегда читала вслух мама, особенно любившая молитву «Господи, не лиши мене небесных Твоих благ» и всегда читавшая про себя длинный-предлинный перечень всех покойных родных. В эти минуты мы повторяли про себя свои, конечно, гораздо более краткие помянники. Затем мать крестила нас, целовала и, смотря по утру или вечеру, либо здоровалась, либо прощалась с нами.

В те далекие годы мы уже перестали придерживаться обычаев доброй старины. Чай уже был у нас ежедневным питьем, хотя не переводились забываемые ныне превосходные квасы всякого сорта и домашняя брага. Еда наша была изумительно проста. Мне кажется, что я познакомился с горчицею и перцем в возрасте не менее лет двадцати, даже позднее. Вино совершенно отсутствовало на нашем столе; кушанья были совершенно просты, чисто русские, строго распределенные по постным и скоромным дням. Воздержанность наша вообще, в еде и питье, во сне, в одежде, в чтении, в играх, пожалуй, нынешним детям покажется непонятною и бессмысленною, но она нисколько не утруждала нас вставать по воскресеньям к заутреням (всенощных с вечера в Казани тогда еще не служивали), или не есть в Сочельник «до звезды», или строго держать недельные посты, равно как есть постное по средам и пятницам и т.п. Зато как радостно мы ели свежую икру с зеленым луком в Благовещение, как радостно разговлялись мы на Пасху! Теперь уже не встретить в семьях, сколько-нибудь сходных с нашею, ни подсолнечного или льняного масла, ни сухарей, крепко зажаренных в конопляном

масле, ни великолепного толокна, ни чудной казанской гречневой каши или великолепного казанского картофеля, которые мы истребляли тогда с сущей пользой для своего здоровья. Исчезли и всякие курники слоеные, сочни гречневые с творогом, левашники, ушки, даже и восхитительные пельмени, которыми мы плотно, здорово наедались в детстве. На нашем столе никогда не было никаких сыров, консервов, острых приправ, минеральных вод и т.п. Вероятно, оттого все мы росли здоровыми, сальными, веселыми детьми.

Здоровье наше, без сомненья, зависело и от одежды. Первую в своей жизни шубу я надел в возрасте уже тридцати лет; теплых галош, шарфа, перчаток я, как и все мои братья и сестры, не ношу и до сих пор. То же здоровье сохранялось и правильностью жизни. Мы всегда вставали все в шесть утра, ложились спать в девять-десять часов вечера, очень редко попозже; в нашей детской и юношеской жизни никогда не было непорядка от клубов, танцев, поздних спектаклей, пикников...

Моя первая любовь, как у всякого ребенка, была к моей няне, горячо любившей и баловавшей меня потихоньку от отца с матерью. Когда новая няня брата Василия ревниво оберегала только его, а меня обходила своею ласкою и даже иногда несправедливо обижала за брата, я впервые узнал чувство неприязни к людям. Моя бывшая няня, почему-то ушедшая от нас, казалась мне чуть ли не ангелом, а новая няня – презлою, главное же – несправедливою и обижающею меня нарочно. Так как моя мать была уживчивою хозяйкой, то эти няни жили у нас очень подолгу. Третья няня в нашей семье была взята только к самому младшему брату, Александру, когда все старшие были уже довольно взрослые. С этой няней я уже вел открытую войну, выставляя матери и целой партии старших детей всю негодность новой няни, будто бы и грубой, и ленивой. Мы даже делали этой няне разные гадости. Например, я помню, как мы подрезали ее любимые цветочки, однажды спрятали ее самовар, спрятали вымытое ею ребячье белье и потом злорадно выжидали эффекта наших проделок.

Тихая дошкольная жизнь каждого из детей текла под любящим крылышком матери и не менее нежной няни. Только

после я понял, что за чудная няня была у брата Василия. Это была старушка с очаровательными южными глазами. Густыми бровями и роскошными седыми волосами была украшена умненькая головка этой бывшей крепостной страдальцы. Обе ее дочери вышли замуж в нашем доме, обе были сущие красавицы. Моя война с этой няней моего брата была только протестом против ее пламенной любви к своему питомцу, а не ко мне. Позднее, когда я стал поумнее, когда и няня успела выходить ребенка в школьника, мы помирились, и я успел полюбить эту чудную, богомольную старушку, которая, между прочим, «придерживалась старинки». От нее я узнал, как барин (Палицын) проиграл ее в карты своему зятю-французу. От нее же я узнал ужасный ряд оскорблений, которые ей пришлось вытерпеть у этого сущего злодея. Теперь, спустя столько лет, я лишь удивляюсь этому любезнейшему многострадальному сердцу такой простой женщины! Как она, имея своих детей, могла так привязаться к нам, стать родною, вполне своею? Откуда у нее явились такие душевные, добрые силы? Или крепостная дисциплина вырабатывала лучших людей, каких теперь, пожалуй, и не сыщешь?

Крепостное право я помню в случайных лишь его проявлениях, бывших на моих глазах, и по рассказам людей, либо переживших его в состоянии крепостных людей, либо владевших крепостными людьми. В нашей семье, дружившей с семьей тети Вари в Кашине, не было крепостных, но Ефим и Афимья – вечные враги, верно и крепко любившие друг друга, так и остались в семье тети Вари до конца дней своих. Не знаю, как они очутились крепостными моей бабушки по матери, как оба они пошли в приданное за тетей Варей, но помню, что 19 февраля по отношению к ним было ими [сочтено] за незаслуженную, горькую обиду.

Этот очаровательный Ефим и не менее очаровательная Афимья скончались в семье моей тети в самой глубокой старости, я думаю, лет под восемьдесят пять-девяносто. Они сделались по смерти тети Вари и ее мужа названными дедом и бабаней этой семьи, внушив всем, в том числе и нам, казанцам, чувство какой-то особенно нежной к ним любви и особого

уважения. Старческая мудрость и безграничная, простая их любовь ко всем нам сблизила до душевного родства и до признания их старшинства над всеми нами без всякого исключения. Я залюбовался этими стариками, когда был в Кашине. Тетя Варя ссорилась со мной из-за того, что Ефим на другой день по моем приезде и затем ежедневно бегал потихоньку за «святой водой» и с трудом скрывал лишне выпитую рюмку. Счеты его с Афимьей были живыми страницами давно, очень давно отжившего времени. Они поминали еще родителей моей бабушки (Загряжской-Зарайской из Костромы) и рассказывали мне множество самых интересных подробностей былого доброго времени.

Но видал я и недоброе. Это было грубо, дико, бесчеловечно, даже и безнравственно, даже и безжалостно по отношению помещиков к самим себе. Это все тяжело вспоминать – лучше оставить в чертах, сгладившихся под влиянием многих прошедших лет. Что помнится – мало отличается от описанного сотни раз. Оно возмущало меня до глубины, и я помню, как отец мой, пылкий, не выносивший даже слова «крепостной», очень оберегал меня от соприкосновения с чем-либо, где бы я мог видеть людскую безответность и несправедливость. Но в гимназии у меня были товарищи, за которыми приезжали крепостные кучера и лакеи... В гимназии очень часто прорывались наружу рассказы о разных неистовствах казанских помещиков... Я был уже в третьем классе, когда раздались слова манифеста 19 февраля 1861 года. Отец мой не мог долгое время говорить без слез благодарности об этом великом дне нашей родины.

Видал я и оркестры из бывших крепостных Толстого и Нейкова. Один из таких музыкантов, мой сверстник по годам, товарищ по скрипке и по университету – милейший друг мой Петр Андреевич Аверьянов много рассказывал мне о крепостном праве, пережитом им в качестве необыкновенно талантливого мальчика из незаконнорожденных детей Толстого. Аверьянов, редкой доброй души, редкой честности, много страдал и еще более видел страданий. Талант его, как и множество других виданных мною незаглохших дарований, был

изумителен по гибкости и восприимчивости. Я любил его вполне горячо и искренне оплакал его преждевременную кончину. Аверьянов был один из тех, с которых я начал верить в серьезность таланта, несмотря на все несродство среды и семьи с возможностью появления такого дарования.

Видал я и добрых, вполне умных и гуманных помещиков, молодых и старых. Освобожденные крепостные таких помещиков, как кажется, выпили после 19 февраля самую горькую чашу жизни. Защищенные прежде умом, добротой и благожелательною помощью доброго помещика, такие крестьяне очутились на воле без жизненного опыта, без умения умно воспользоваться своею свободою, изменившею их быт только к худшему от ухода бывшей до того властной заступы доброго барина. Появились и полиция, и земщина, и адвокаты, и мироеды, прежде не смевшие и появляться в заботливо оберегавшейся барской деревне...

Отдельные тины самодурства высшей пробы, бывшие тяжкими для окружающих и глубоко печальными для посторонних, памятны мне до сих пор, притом в большом количестве. Помню я и крайне чопорных старушек, ездивших шестернею из дома в стоявшую против дома же церковь; помню, как эти старушки кидали из окна кареты мелкие монеты, помню стариков с удивительными прическами, с «коками», с «вилочками», державших себя чрезвычайно важно. Анекдоты о таких людях только скучны для нашего времени, так как все они построены на крайностях всякого малознания, самоуправства и чванства. Помню, например, одну совсем неграмотную княгиню Енгальчеву, задавившую своими лошадьми чьих-то людей и удовлетворившую обиженную сторону тем, что велела заporоть своего кучера, а ни в чем не повинного лакея отдать вне очереди в солдаты; помню и описанного много раз самодура Есипова, от которого, впрочем, не много отставали подобные ему недоумки; помню рассказы о нелепом обжорстве, о безумной игре в карты (вроде лермонтовской «Казначейши» – было событие в Казани) – но скучно вспоминать о таком печальном и грустном времени моего родного города. Во всем этом не было ничего остроумного, ни оригинального, ни

достойного. Те подрались, или побили этих, или были неожиданно побиты бывшими в засаде; иные потешались над своими гостями, травя их собаками, медведями; те издевались над своими крепостными, эти проигрывали на одной карте целые имения... Вот остроумец, переживший своих крепостных мужиков из Лапшевского уезда на крепостных девушках из Свияжского уезда... Вот другой, ухлопавший все состояние на покупку итальянских инструментов для своего крепостного оркестра и торгующий своими музыкантами, дерущий с них, битых и перебитых, по три шкуры... Вот еще один, выкупавший в проруби своего духовного отца в самое Крещение за какое-то ему, барину, противоречие...

Бытовые черты того времени во многом совершенно исчезли теперь в Казани. Нет уже хороводов, которые водились на улицах, на перекрестках; нет множества разносчиков, водовозов, всякого рода торговцев, оглашавших улицы Казани нараспев предложениями своего товара; нет и обычного сидения всякой прислуги за воротами, с песнями втихомолку под вечерок каждого сколько-нибудь теплого дня; нет и традиционных гуляний на Черном озере, когда муж в орденах и в вицмундире с женой под ручку считали надобным ходить молча, показывая новомодный женский туалет, или прическу, или какую-нибудь «амишку»⁵⁶, или карлика; нет и внушительных возвращений псовых охот с сотнями собак, со всякими доезжачими в оригинальных костюмах... Все это давно былшем поросло.

Хороводы часто водились против нашего дома, и я ознакомился с их песнями и их «акциями» в самые ранние годы. Песни эти приводили меня уже тогда в полное восхищение, и тогда же я играл их на фортепиано. Тогда еще не царила противная гармоника, но процветала балалайка, на которой я видал отличных игроков, превосходно дополнявших инструмент ударами в деку, всякими присвистами. Тогда же я видел русские народные пляски, удивлявшие меня степенностью у девушек и множеством вариаций у мужчин.

Припоминаю также казанские простонародные свадьбы. Две из них были отпразднованы в нашей огромной кухне «в

полнейшем парате». Давно уже вывелся в Казани обычай отвозить невесту в церковь под покрывалом, запирать перед тем ворота, как бы догадавшись о предстоящем «умыке-увозе» невесты, требовать выкуп, класть серебро в башмаки невесты из того же выкупа, обходить с иконой весь свадебный поезд, давать каждой лошади поцеловать икону и т.п. Давно уже перестали появляться по улицам Казани длиннейшие обозы с сундуком или с небольшим количеством какой-либо мебели на каждом возу – это была церемония отвоза приданого невесты в дом ее будущего мужа; на первом возу, на сундуке, с образом в руках сидит сваха, у которой на боку ее чепца приколот традиционный бант из лент с длинными концами. По длине обоза, по богатству ковров известной в Поволжье казанской работы, покрывавших лишь половину каждого сундука, всем зрителям предоставлялась свобода делать свои умозаключения, равно как и изощрять свое остроумие над «золотой-серебряной, шелковой, малиновой» председательницей поезда.⁵⁷

Но песни, несравненные русские свадебные песни – эта чудная, несравненная по трогательности, родная, чистая поэзия, полная самой удивительной нежности и силы, – эти песни я любил страстно. Признаться, как прежде, так теперь, всегда эти песни доводили меня до слез, так как ничего не знаю лучше их. Теперь мое удивление пред этою поэзиею, пред этою музыкою стало еще восторженнее, так как я живо чувствую связь этого мира с не менее чудным миром древнерусских церковных напевов... Но сваха! Та самая важно сидящая на первом возу, та типичная заживевшая фигура – как она забавна опять под номером первым в поезде после свадьбы, на катанье молодых по городу в целом поезде гостей! Здесь и звон в пустые балакири, в медные кувшины и тазы при непременно стоящей, а не сидящей свахе. Все это оповещало тихой Казани всяким гвалтом, звоном, бешеной ездой о сыгранной свадьбе. Неподражаемая по юмору песня «Во лузях» не могла прекращаться во время этих оригинальных поездок. Бедные свахи справляли в них, пожалуй, самую трудную часть своих обязанностей... Я понимал и в детстве многие грубости,

покрывавшие русскую свадьбу с ее трогательными песнями и символическими обрядами. В образованном кругу не было, конечно, грубости простонародной свадьбы, но песни еще были живы, и я помню, как я вдруг заплакал на своей свадьбе, когда у меня лишь мелькнула мысль, что не может уже раздаться не только во всю ширину, но хоть как-нибудь родная мне песня в такую торжественную и прелестную пору моей жизни. Кругом меня никто уже не пел.

Оригинальны были возгласы продавцов и их прибаутки. У меня были когда-то записаны многие из них, даже и в нотном изложении.

С проведением водопроводов исчезли водовозы, восклицания:

С открытием постоянных рынков с ягодами, арбузами, грибами исчезли всякие старушонки, припевавшие «малины свежей, малины» или «смородины красной, смородины»; исчезли татары, продававшие арбузы, тыквы, исчезли разносчики с говядиной, со свежей рыбой, с раками, цыплятами и прочим. Остались еще на некоторое время такие голосившие коновалы, уксусники, точильщики, «старья, шарабара покупам» (то есть, конечно, татары), разносчики апельсинов, лимонов, мячей и тому подобного, зачем-то гонимые казанской полицией, давно начавшей разгонять хороводы, запрещать пение песен на скамейках у ворот, свадебные поезда со всяким их заразительным весельем. Даже выведен обычай раздавать «поганы лепешки», то есть раздавать татарам в чистый понедельник оставшиеся, иногда же и нарочно готовившиеся для них блины.

Гулянья на Черном озере (что в центре Казани), многолюдные до сих пор, были особенно любимы весной и в августе. Огромный плац был всегда полон детей, резвившихся перед окружавшею их густою толпою зрителей. Детей этих либо предоставляли полной свободе, отчего их игры были только веселы и изящны, либо сухопарые англичанки, или вертлявые француженки, или немки с чулками в руках возили своих питомцев, разряженных сколь кому было возможно. Люди степенные, говорившие и писавшие друг другу, смотря по чину и

отношениям, «ваше благородие», «ваше высокородие» или просто «государь мой», ходили по аллеям не иначе, как в вицмундирах, орденах, держа под ручку своих «супруг». Бедные жены не смели разговаривать! Они только выглядывали платья друг на друге и собирали материалы для домашних потом бесед: кто из начальников подходил к тому-то и тому-то или кто с кем не раскланялся, кто смеялся над кем-либо, кто временно не шел с женой под ручку; был ли на озере губернатор, вице-губернатор, полицмейстер, какими кучками ходили студенты, от кого и к кому ушла гувернантка, у кого новый толстый лакей в ливрее с галунами или с гербами и проч. Мужчины, напротив того, вели себя расчетливо и демонстративно чуть не в каждом движении, в каждом поклоне, в каждой беседе то с тем, то с другим. Здесь восполнялся недостаток в местных и столичных газетах, здесь завязывались знакомства административных лиц с «обществом», здесь даже велись наравне со сплетнями и деловые разговоры, и интриги провинциального застоявшегося мирка, и всякие констатирования своих знакомств, коротких или церемонных, надобных или ненадобных для их обнаружения перед сильными шли совсем слабосильными мира сего. Многому давали пищу эти Черноозерские гулянья! «Не стоило ходить», – говорили дамы, так сказать, не насытившиеся в надобной им мере наблюдениями на гулянье.

Временно Казань преображалась в сущую красавицу, когда ее окружал волжский весенний разлив. Недели две-три бульвар «под крепостью» заменял собой Черное озеро. С этого бульвара открывались самые восхитительные далекие панорамы, свежие, светлые, теплые! Волжский разлив соединялся с громадным по площади разливом Казанки, и на просторе этой свежести казанцы всегда и почти все считают надобным сделать не одно, а по несколько катаний в лодках. Оживление Казани в это время было самое полное, особенно после скучного ряда оттепелей и целого ряда дней без прогулок от невозможной грязи и непорядков на улицах. Весеннее тепло, начинающиеся светлые вечера, особенно же лунные ночи в конце апреля или начале мая делают Казань в эту пору очень живописной, оживленной, прямо прелестной. В эти дни моего детства ходил

рассказ, что даже ученейший из ученых, серьезнейший из немцев, профессор энтомолог Эверсман пришел как-то в такой восторг от красоты Казани, что забылся однажды на своей кафедре и медленно продиктовал студентам: «Вёсна в Казан особ живйт прирѳд! Даж турукан, клён, мух випѳлзал чтоб завѳдил свой интриг...». Очнувшийся затем профессор сказал: «Ви это не пишит, господа – это так!».

В общем своем строе Казань представляла тогда такой город, в котором влияние университета, духовной академии в лице профессоров и студентов придавало общественной жизни значительную долю большей живости, интеллигентности, чем в какой-нибудь Пензе или Рязани. Дворянство казанское, бывшее когда-то очень зажиточным, получило от университета очень многое, почему и совершенно не походило, например, на симбирское, достаточно мне знакомое и очень уступавшее казанскому в количестве образованных людей. Мне кажется, что, отделяя от тогдашней Казани все ее татарское население, жившее совершенно отдельно от русского, отделяя казанских купцов, более друживших с нижегородскими и симбирскими купцами, нетрудно представить единение казанского общества и администрации с людьми науки в такой же мере, как, например, в Дерпте-Юрьеве, где город есть поселение, окружающее университет, а университет есть содержание, наполняющее город. Оттого в Казани не было в то время торговой сутолоки, но был хороший театр, хорошая городская библиотека, достаточная общественная благовоспитанность и порядочность. Оттого Казань имела отличные торцовые мостовые на всех лучших улицах, оттого она буквально утопала в зелени больших садов, и многие «дома» Казани были прямо прекрасны.

Казанская старина, уцелевшая от татарского царства, очень живописна и внушительна. Конечно, она вся в Кремле и около него в старейшей торговой части Казани. Мне жалко лишь перестроенный Ивановский монастырь, в новом храме которого, копии старого, нет и тени того изящества, которое было в старом оригинальном трехглавом храме, называвшемся по трем конусам вместо куполов – «Три редьки». На бугре у этого монастыря, у часовенки открывается восхитительный вид на

Волгу. Здесь я еще помню кучки слепцов, распевавших хором духовные стихи. Теперь нет и этих рапсодов, разогнанных полицией, отучившею Казань от хороводов.

Занятия музыкой продолжались у меня вполне самостоятельно, то есть я играл самоучкой на фортепиано. Единственный урок фортепианной игры я взял у тетки Екатерины Степановны Ильминской, но, идя назад домой, обморозил уши? и по такой причине обучение кончилось. Но я помню отлично, как я уже в эти годы понял квинтовый круг и умел транспонировать все польки, мазурки, вальсы и галопы, которые разыгрывались моей матерью и ее подругами. Еще вспоминаю, что в бытность мою во втором классе умер у меня очаровательный брат Коля семи-восемью лет, необыкновенно кроткий и живой. Постоянная моя игра с ним заключалась в том, что, Коля с малым братом Васей, играя в лошадки, изображали для меня подъезжающего архиерея, а я в это время звонил на своей колокольне на чердаке в цветочные горшки. Поводом к этому моему увлечению был звонарь-сторож нашей Покровской церкви, сущий виртуоз этого дела, подобного которому я ни разу не встречал нигде, кроме какого-то послушника, очень недавно слышанного мною в Кизическом монастыре во время встречи в Казани иконы Смоленской Божьей матери из Седьмиезерной пустыни (26 июня). Я помню, что этот послушник привел меня в такой азарт и в такое восхищение рисунком своего звона и «формой», что я отписал о том С.А. Рачинскому в тот же вечер, а тот напечатал мое письмо о «Красном звоне» в «Татевском сборнике».⁵⁸ Искусство Покровского старца Семена Семеновича было, однако, намного выше кизического послушника. Так как я с малых лет пел в Покровской церкви, стоявшей против нашего дома? и был, так сказать, своим человеком с многочисленной детворой духовенства этого прихода, то немудрено, что Семен Семеныч скоро доверял мне слазить на колокольню, чтобы раз тридцать шесть-тридцать восемь (но также по известной «форме») прозвонить «удар к «Достойно»". Вот эта «форма»:

Позднее, наконец, он же посвятил меня в подробности звонарного искусства в такой степени, что даже в зрелые уже годы я увлекался колокольным звоном и его «формами».

Припоминаю и то, что я, увлекшись, удивил своим мастерством звонарей в болгарской столице Софии, где и не представляли возможности фигурного звона, а бряцали какую-то нескладицу. Я помню, что мое увлечение звоном в цветочные горшки совпало с обуявшим меня стремлением устраивать всякие маленькие щиты, фонарики для иллюминаций. Однажды я чуть не сделал пожара в большом слуховом окне нашего чердака, где была моя цветочно-горшковая колокольня. Я зажег свою иллюминацию и трезвонил во всю мочь, не заметив появившегося дыма и большого пламени. После этого случая моя колокольня была переведена в сад, где и была утверждена в большом летнем оконном щите с парусиной. Родителям, как кажется, очень нравилось мое искусство. По крайней мере, я помню, как мать моя несколько раз брала меня для покупок всяких корчаг, огромнейших горшков, как отец загибал крючками тонкие концы гвоздей, служивших языками моих колоколов, стругал мне деревянные языки для больших колоколов-корчаг, вешал более тяжелые посудины и расспрашивал меня о всяких приводах, с помощью которых я звонил стоя и сидя, действуя руками, ногами, локтями, коленами и прочим. Колокольное искусство меня занимало, я думаю, года два, до моего начавшегося физического развития, когда силы позволили заняться приложением своего мастерства к колокольне Покровской церкви. Я помню, что и Семен Семеныч признал мое умение звонить, доверяя мне иногда за всенощными произвести так называемые второй или третий звоны. Позднее, уже по окончании курса гимназии, я много звонил с большим колоколом, устанавливающим ритм звона, в оба края и также достиг мастерства. Последний раз я сделал шаг вперед, изучив знаменитые ростовские звоны, медленные, с *crescendo* и *diminuendo*. Надо побывать на Ростовском озере версты за полторы-две от Ростова, чтобы понять красоту этого искусства. В тихий летний теплый вечер эти звоны производят чарующее впечатление.

Священник был при мне очень почтенный, хотя, как кажется, старомодный проповедник – о. Степан Иванович Адоратский, страстный певец, благоговейный и строгий

служитель церкви, считавшийся одним из лучших священников в Казани. Он собрал деньги и выстроил ныне существующую Покровскую церковь с колокольнею на месте бывшей теплой с отдельною старою колокольнею. В этом храме он и похоронен. Из его детей я помню умершего в детстве Ваню и старшего сына Петю, моего товарища, умершего после жизни, исполненной всяких треволнений, епископом Николаем в Оренбурге. Это был даровитый и самолюбивый человек, не без способностей к пению, которое он очень любил. Он был псаломщиком в Вене, миссионером в Пекине и, наконец, епископом сначала в Каменце-Подольском, потом в Оренбурге, где и скончался.

Дьякон о. Николай Иванович Добронравов был из старомоднейших заскорузлых дьячков с дребезжащим голосом. Он сохранил в своей службе в прошении «Елицы оглашении, изыдите» [старинный] напев «изыдите»⁵⁹; он громко кричал во время Великого входа на преждеосвященной обедне «падите на землю»; он употреблял распевное чтение в возгласах «Господу помолимся – Господи помилуй» на молитве перед причащением и т.п. Человек он был добрейший, хотя, вероятно, вполне необразованный. Из его сыновей Миша, мой сверстник, погиб в восемнадцать лет в сумасшедшем доме; постарше, Константин, вылитый портрет отца, едва долез до иподьякона; племянник его Гурий Буртасовский – ныне дельный самарский архиерей; другой племянник, Акрамовский, вышел препротивным вольнодумствующим попом, рекомендовавшимся не без подчеркиваний: «Позвольте представиться, хотя бы и вопреки вашему желанию: иерей Бога Вышнего – Акрамовский». Дьячки – грубый Андрей Львович, бас, и Василий Якимович Ягодинский, тенор, – были отличные певцы, особенно последний, которого за приветливость и по товариществу с его беспутными впоследствии сыновьями я очень любил. Вся молодая детвора в компании с приходящими мальчуганами и квартирантами-нахлебниками образовывала, нередко и при участии отцов и гостей, огромные партии для игры в великолепную лапту на улице. Доброе, старое, простое время!

Но с августа 1858 года я уже в гимназии. Дом Второй казанской гимназии в то время был вдвое менее нынешнего. Было тесно, душно в старом доме. В то время гимназисты носили двубортные сюртуки с красными стоячими воротниками и светлыми пуговицами. Шапки носили дворянские, то есть с красными околышем и кантом. Последний для отличия у учеников Первой гимназии был белым. Форму эту изменили на однобортные сюртучки с черными пуговицами и блузы с синими выпушками у лежащего воротника, сколько помнится, в 1862 и 1863 годах. Формы со стоячими с галуном воротниками при казакине-сюртучке со светлыми пуговицами я уже не носил в гимназии, так как она была введена при окончании мною курса в 1867 году. Первый день, когда на меня надели мундир с шитыми воротником и рукавами и обыкновенный вицмундир, был так радостен в нашей семье, что мамаша даже заплакала, увидав меня в обновке.

Гимназия произвела на меня сначала впечатление, совершенно одуряющее после той свободы, которою, как оказалось, мы пользовались в немецкой школе. Я застал в ней новый институт «старших» и «подстарших», которыми оказались ученики Андреев и Никольский. В то доброе старое время можно было свободно пребывать в каждом классе по три года; говорят, бывали случаи оставления на четвертый год. Неудивительно потому, если я скажу, что наш «старший» Андреев отстал от меня во втором классе, а при переходе моем в пятый класс я услышал, что он вышел из гимназии и женился тут же. Таков же был и Цветов, «старший» второго класса, познакомивший меня в бесчисленные дни оставления без обеда со всякого рода негодными стихами, которых я решительно не мог понять. Он, такой же «детина непобедимой злобы к учению», последовал примеру Андреева. «Старшие» и «подстаршие» громко кричали по очереди в одну ноту: «Тише, не разговаривайте!» и «Господа, тише!» – конечно, с успехом, ибо по их записям оставляли без обеда, но кричали они и тогда, когда в классе было вполне тихо.

В верхнем этаже гимназии помещались три младших класса, класс законоведения, карцер (с ужасною деревянною

скамейкой для экзекуций, которые производил так называемый «Филипка»), комната принадлежностей класса черчения и рисования и, наконец, отличный естественно-исторический кабинет (купленный потом для Казанской учительской семинарии). Грозою этого этажа был надзиратель Осип Осипович Галимский, носивший по лысине название «Плешка» – добрейший человек, которого мы изводили своими шалостями. «Останешься!» – бывало, крикнет он, выведенный из себя нашим озорством. Это озорство главным образом состояло в том, что пока Осип Осипович был у третьего класса – шалил второй и первый, когда он без хитрости приближался к первому – шумел третий; угол второго класса, который Осип Осипович мог настигнуть, только войдя в класс, шумел всегда до условного знака от тех же «старших», отбивавшихся от рук и впадавших позднее в полное противоречие своему патрону ради ансамбля с товарищами. В третьем классе «старших» уже не было. В дни, когда мы замечали, что накануне Осип Осипович был в гостях или выпал с утра, нашим шалостям не было границ, и, бывало, приходилось тому же Осипу Осиповичу читать по окончании класса длинные мартирологи, вынимавшиеся им из жилета: «Здесь останутся...», и очень часто, особенно во втором классе: «Смоленский...» – я полагаю, раз пятьдесят, так как в моем поведении уже было «З». Первый класс, как помнится, вел себя сносно лишь до зимней вакации, пока не вступил в ансамбль всех трех классов. Доброта Галимского при его напускном, грозном будто бы окрике скоро раскусывалась первоклассниками, но свободы не было, озорство и злые шалости развивались между нами год от года более и более.

Настоящая гроза был инспектор гимназии Андрей Богумилович Петерман, сущий секутор-истязатель, имевший верного помощника – сторожа-инквизитора Филиппа Маркелыча, столь ненавистного «Филипку». О как жестоко порол этот «Филипка» моих товарищей в карцере на скамье с деревянным изголовьем! Я, к полному моему счастью, не был наказан ни разу в гимназии, но боялся «Филипки» очень. В Первой

гимназии был свой «филипка», какой-то Галкин, поровший при инспекторе Сахарове по субботам.

Я припоминаю низенькую фигуру Ивана Александровича Сахарова уже в качестве инспектора округа и сопоставляю его с бывшим до него окружным инспектором Чашниковым, часто бывавшим у нас в гимназии до 1862 года. Последний – седенький, сладенький старичок – не иначе называл нас, как «деточки, деточки». Говорили мне про него после, что он на самом деле был для многих далеко не сладок. Правда ли это, не знаю.

Сахарова в Казани прямо не любили по памяти о его службе и его жестокостях в Первой гимназии. Сколько помнится, дом его был на углу Николаевской площади рядом с домом Юшкова. Гулял он по улицам всегда один, и едва ли кто бывал у него. Из других посетителей гимназии чаще всех бывал помощник попечителя Иван Михайлович Николич⁶⁰, простодушный, самонадеянный и бестактный, обижавший очень многих, но скоро потерявший кредит у попечителя Шестакова. Николич был, кажется, серб, попал к нам из директоров Митавской гимназии. Он отлично говорил по-немецки. Когда умер заменивший Николича Иван Дмитриевич Соколов, по каким-то комбинациям Николич был помощником попечителя Казанского округа вторично. Я знал его сына Александра – плохого скрипача, кончившего свою карьеру учителем немецкого языка где-то вроде Белой Церкви. Хорошенькая его дочка Ольга Ивановна была замужем за самарским директором Адьясевичем.

Николича сменил наикурьезнейший добряк, недалекий и любивший выпить Михаил Афанасьевич Малиновский, бывший со своею глупою супругою постоянною притчею во языцех в Казани. Малиновский приехал около 1875–1877 годов, даже, кажется, немного и позднее. Мое пение в Учительской семинарии очень нравилось Малиновскому, и он завещал мне в случае его смерти в Казани, чтобы на панихиде и отпевании пел именно хор Учительской семинарии. Мне действительно пришлось исполнить это завещание.

Попечители учебного округа до Шестакова не появлялись в гимназии, и я не знал их, кроме случайной беседы с Молоствовым, вздумавшим посадить меня в коляску и, расспрашивая об учителях, довести меня до дому. Шестаков сначала производил вполне отрицательное впечатление своей строгостью и приверженностью к ненавистному всем, насильно вводимому классицизму. В отношении Шестакова к Н.И. Ильминскому только я и понял, какой это был хотя и политикан, но умный и дальновидный, даже свободомыслящий, хотя и властолюбивый человек.⁶¹ Фигура Шестакова выросла еще более, когда по его увольнению после падения министра Толстого появилась в Казани вполне нелепая фигура недалекого попечителя Масленникова, сначала приведшего всех в недоумение своей грубостью и глупостью, а потом надоевшего всем и опротивевшего всем той же самодурной грубостью, выражавшеюся иногда в самых непозволительных, даже диких формах. Масленникову стали давать сдачи в корректных формах столь внушительные, что он не вынес их. Его разбил паралич, и он, больной, пробыл после этого попечителем что-то года два-три, после чего умер внезапно в Астрахани. Говорят, он был очень милый человек директором в Костроме. Назначение его попечителем сбilo его с толку и сделало каким-то напускным, умышленным анахронизмом, вредным и досадным для всех. Человек этот сам себе вредил без конца и уронил учебный округ вполне. Следующий, уже битый попечитель Потапов был уже после меня. Мне говорили о нем как о безличности.

Наш инспектор [Петерман] именно «драл» нас жестоко «вся дни». К счастью моему, этот дикий педагог, потом бывший директором в Астрахани (и, как говорили, почтенный и добрый человек), ушел из Второй гимназии во время перехода моего во второй класс. Прибывший на его место Петр Яковлевич Ефремов, также поровший детей, но в несравненно меньшей степени, изводил нас своими нервными нотациями до самой последней степени: «Идиотики вы, юродивые, глупенькие, отчего вы не просились в маетеровые или в водовозы?...» и т.п. Только инспектора Кудряшева, учителей Горского и Девица я

ненавидел в степени одинаковой, как и Ефремова. Потом, однако, это впечатление несколько сгладилось при чтении его умной, как кажется, книжки «Геометрия в комнате», где объяснялись геометрические теоремы по самым обычным архитектурным вещам.⁶² Ефремов пробыл у нас год или полтора, не более.

Характерны и фигуры наших учителей, которых, разумеется, я сужу несправедливо, так как для оценки их мною невольно, хотя и в возможной для меня мере, прилагаются мерки нынешнего времени, по которым подробности иной раз выходят прямо забавными. Но откуда же мне взять знание требований, предъявлявшихся педагогам в те далекие годы? Общие положения, конечно, мало разнятся и в отношениях учителя к ребенку всегда должны быть одинаковы, особенно же при миновании каких-нибудь тридцати пяти-сорока пяти лет. Частности же, в которых многие и видят силу школы, конечно, должны носить на себе непосредственное влияние времени. Что же сказать, однако, о педагогах такой гимназии, около которой на Сенной площади палачи совершали казни над осужденными арестантами? Нам не запрещали бегать туда, но я ни разу не был, не решался пойти после первого же рассказа товарищей о виденных ими ужасах... Что сказать о школе, в которой беспощадно пороли розгами? Что сказать о гимназии, в которой [царило] не то казенно-формальное, не то равнодушно-неумелое, не то что-то совсем непонятное по игнорированию в нас не только нашего возраста, ума, чувства, достоинства, но даже и самой простой любознательности? Странно вспомнить, что во Второй гимназии в конце пятидесятих годов не преподавали ни музыки, ни танцев, не было даже гимнастики, даже пения... Странно вспомнить, что у нас были преподаватели, ни слова не знавшие по-русски... Странно вспомнить, что у нас не было ни елки, ни прогулки, ни чего бы то ни было людского, в чем бы наши учителя обошлись с нами как с детьми. Было жестокое «от сих до сих», «без обеда», единицы, двойки, норки, бессердечная канцелярщина, «торжественные акты» с речами учеников на всяких языках и тому подобное.

Библиотека ученическая в мое время помещалась в двух маленьких шкапах, и я помню из нее только два сочинения, которые каким-то образом я достал, быв в третьем или четвертом классе. Это были «Капитолий» и также «Путешествия по святым местам» А.С. Норова.⁶³

Библиотека эта как-то сразу оживилась, когда я был в четвертом классе, когда в дополнение ко всем Херасковым, Хемницерам, Державиным и Коцебу вдруг поставили в те же шкапы (при библиотекаре – учителе латинского языка Василии Ивановиче Дубровском) целую уйму сотни в две книг. Отлично помню, что у нас составила очередь, по которой проциркулировали между нами сочинения Белинского, появившиеся в новой порции книг.

Директор Второй гимназии Осип Антонович Имшеник, математик, русин-униат, был на этом месте – или служил во Второй гимназии, – должно быть, лет пятьдесят. По крайней мере, он скончался очень недавно в Киеве, куда переехал после отставки года за два-три до смерти. Я никогда не вглядывался в этого педагога как весьма не выдававшегося ничем, кроме мастерства во всей строгости исполнения всяких циркуляров и по состоянию «все обстоит благополучно».

Но один раз, когда учебные заведения Казани хотели отметить двадцати пятилетие царствования императора Александра II общим делом, я видел Осипа Антоновича председателем собрания всех педагогических сил Казани, и он опротивел мне до такой степени, что я, боясь сделать скандал, убежал из этого собрания и не был ни на одном из последовавших. Конечно, в силе этого отвращения к Осипу Антоновичу виноват Николай Иванович Ильминский, мой директор в Казанской учительской семинарии, воспитавший вокруг себя людей мысливших и работавших, не имевших в голове и тени представления о казенщине, лени и безнадежном холопстве, царившем вокруг Имшеника. Самодовольная генеральская улыбка и чванство Имшеника, а еще более ансамбль поддакивающих учителей Второй гимназии возмутили меня до самой последней степени. Только тут я впервые понял, что за отец-директор был Николай Иванович Ильминский и

какой свободой пользовались в Учительской семинарии я и мои товарищи. Уроки алгебры я слушал у О.А. Имшеника в пятом классе, из которого я затем перешел в Первую гимназию. Задачи о «двух путешественниках» и о «двух светящихся точках» в преподавании всегда улыбавшегося Осина Антоновича с его постоянными восклицаниями «а почему?» (сделавшимися его прозвищем между учениками), с движением указательного пальца правой руки к носу – были снотворны и мучительны, так как директора мы все-таки очень побаивались. Осип Антонович теперь мне представляется человеком, готовым служить по какой угодно программе – уваровской, ковалевской, толстовской, дялиной⁶⁴, готовым исполнять какие угодно циркуляры, любившим чувствовать себя по какому угодно поводу: двадцати пятилетие, тридцатилетие, тридцати пятилетие то директорства на одном месте, то всей педагогической деятельности или постройки дома гимназии или десятилетие, пятнадцатилетие, двадцатилетие в каком-нибудь комитете, что ли – лишь бы при этом говорили хвалебные (но опять-таки в меру) речи, подносили адреса, альбомы и проч. Может быть, он был и добрый человек, но казенщина заела через него, вероятно, очень многое и в преподавателях, и в учениках.

Понятно, что около такой центральной фигуры все окружающие либо вели дело по-казенному, либо обезличивались до казенщины, если и имели в начале благие намерения. По порядку учебных предметов, усвоенному в гимназических табелях (а их у меня случайно сохранилось до сих пор штук до двадцати пяти-тридцати, начиная с первого класса), я попытаюсь очертить фигуры педагогов, учивших меня когда-то уму-разуму.

Законоучитель о. Андрей Гурьевич (Гурыч) Ласточкин, священник церкви так называемой «Новой Николы», был, как кажется, добрейшим человеком. Он иногда рассказывал нам «следующий урок», но то бывало редко. В его рассказе, достоинства которого я не помню, была, впрочем, одна черта, приводившая меня в дрожь. Андрей Гурьевич говорил всегда тихо и внезапно выкрикивал какое-нибудь отдельное слово...

Зачем он делал это – понять трудно. Но наказывал он нас своим судом прямо жестоко. Бывало, так натрет уши, что из глаз искры сыпятся... Любил он также сажать ученика к себе в ноги на кафедру и мять этого горемыку ногами. Но верх безжалостности его наказаний был в том, что он ставил учеников на колени на стол, и притом в позе проступка, за который последовало наказание. Например, ученик стоит на столе на коленях и держит палец во рту, или чешется, или заложит обе руки за голову, или будто хозяйничает в носу, или (если, например, читал постороннюю книгу) держит высоко в одной руке раскрытую книгу, или (если подрался) стоит, поднявши сжатый кулак...

В богослужении Андрей Гурьевич был оригинален до последней степени. Я знаю это потому, что, будучи юным тенором (лет семнадцати-восемнадцати), пел в хоре в его церкви. Это был единственный случай в моей жизни, когда меня соблазнили участвовать в хоре, содержащемся старостой Зиновием Нестеровичем Чистовым, при котором хор был под управлением некоего глубокого неуча Халдина и его помощника Кузьмина. Я помню, что это пение продолжалось с октября по январь, после чего я не вынес этого искусства и отказался. Меня было переманили в хор Воскресенской церкви, но там я пропел одну или две службы, так как регент-семинарист оказался еще хуже господина Халдина.

Нашему пастырю (как говорят, читавшему романы вместо служебника за всенощными) ничего не стоило крикнуть во все горло на дьячка, или дьякона, шли на певчих, он постоянно перевирал службу, подолгу разговаривал с хорошенькими прихожанками во время обхода церкви с каждением за всенощной и т.п. Обладая железным здоровьем, он страстно любил холодный воздух и в классе всегда стоял у окна под отворенной настежь форточкой. Чему и как учил он нас – решительно не помню. Вспоминаю только, что раз он рассмеялся и натер все-таки мне уши («любя») за то, что я в рассказе выразился, что «Вирсавия женилась на Давиде».

В пятом классе временно сменил Андрея Гурьевича священник Варваринской церкви о. Муратовский, произведший

на нас самое неблагоприятное впечатление даже и после Андрея Гурьевича. Помню, что он обладал слабым, гнусавым голосом, вместо «что» говорил «его» и употреблял неудачные жесты. Например, он, тыкая себя в грудь, толковал нам первую заповедь: «Сими словами Господь Бог указывает, сто яз (тычет в грудь) есмь Бог, что на меня (опять тычет, как и в следующем) уповайте, сто меня призывайте, сто мне поклоняйтесь» и т.п. Понятно, что у такого учителя мы не учились и приводили его в недоумение мерою нелепости нашего поведения и лени...

Учителем русского языка в третьем классе был немец Эдуард Егорович Фишер (потом директор гимназии в Вятке) – очень добрый и умный человек, занимавшийся с нами старательно, более устно и весьма письменно. В четвертом классе у нас преподавал Кононаевич (кажется, сын священника-мученика, пострадавшего в польское восстание шестидесятых годов), но я не помню ничего о нем, кроме того, что он был, кажется, очень хворый человек и занимался с нами мало. В пятом классе его заменил у нас Александр Андреевич Камков, автор известной славянской грамматики⁶⁵, краткой и умной, хотя (как я слышал) целиком будто бы взятой из лекций известного слависта Виктора Ивановича Григоровича.

Александр Андреевич был довольно видным и франтоватым молодым человеком. Он женился на сестре моего товарища Николая Аполлоновича Билетова, Надежде Аполлоновне, бывшей потом вдовою, начальницею Второй женской Ксеньинской гимназии. Другая сестра, Екатерина Аполлоновна – третья жена Илиодора Александровича Износкова, бывшего весьма несчастным в первых двух браках, продолжавшихся, как кажется, не более года каждый.⁶⁶

А.А. Камков, помню, как-то раз показывал нам издание Буслаева, в котором я впервые увидал образцы русской иконописи и услышал образцы древней русской речи.⁶⁷ По его совету, когда он увидал у меня старое издание хрестоматии Галахова, я перечитал ее всю и удивлялся тому, что я понимаю и чувствую старую русскую речь.⁶⁸ По его же указанию я прочитал запоем всю историю Карамзина, как кажется, даже два раза. В пятом классе остался на второй год, и, таким

образом, стал моим товарищем Федя Шишкин, почему-то сильно невзлюбивший Камкова и постоянно ему грубивший. Во время моей жестокой болезни, по которой я не ходил в гимназию месяца два с половиной (тиф со скарлатиной), Шишкин обругал Камкова «подлецом» при рукоплесканиях пятого, шестого, седьмого классов и был, конечно, исключен немедленно. Позднее, через год, Шишкин был со мною в пятом классе Первой гимназии, но затем вышел из нее. Много позднее я встретил его экзекутором Казанского университета, но, кажется, также он был там недолго.

Новое направление преподавания Александра Андреевича сначала нас ошеломило, потом привело к мысли, что оно есть не более как какая-то западня, в которую он нас ловит (тем более что он исполнял в то время обязанности инспектора), а потом, наконец, мы вообразили себе, что он просто дурачится с нами, а не учит нас. Александр Андреевич начал с того, что прочел нам вслух весь роман «Отцы и дети», наблюдая за впечатлениями и по местам толкуя развитие фабулы и делая характеристики. Помню, по крайней мере про себя, что я ничего не понял в этом романе, хотя Александр Андреевич читал превосходно. Мы смертельно боялись, как бы Александр Андреевич не спросил кого-либо из нас повторить содержание романа и были весьма обрадованы, когда он сам повторил содержание каждой главы и давал объяснение вместо нас. Начавшийся затем краткий курс теории словесности, особенно же глава о суждениях и умозаключениях, о тронах, был рассказан, и так просто, что мы, беседуя между собой, находили такое учение прямо плохим, глупым, так как все было ясно и не было ничего угрожающего – ни единиц, ни оставления без обеда... Единственное, что нас совсем сбilo с толку, – предложение написать «сочинение» на какую угодно тему. Я помню, что я написал характеристику Иоанны д'Арк, повергшую и Камкова и товарищей в полное недоумение, так как я отвратительно учился в четвертом-пятом классах и несколько не пользовался кредитом учителей и товарищей, не ожидавших от меня ничего нужного. Я был под впечатлением трагедии Шиллера (кажется, читанной мною в оригинале) и написал что-

то очень для себя горячее и возвышенное. Помню и то, что я был глубоко удовлетворен тем, как Камков поставил мой этюд выше «Бури» Вани Земцева. Над этой «Бурей» Земцева, лучшего нашего ученика, Камков сострил, показывая рукопись, что и внешний вид ответа, весьма замаранного, напоминает что-то бурное; помню и то, что в этот же день была оценка сочинения перифраза по французскому языку, за который я услышал от толстого Матье: «Mal, très mal, parfaitement mal, je vous donnerais «1"». ⁶⁹ Причем Володя Банцеков (наш первый француз) подпустил еще какую-то пику.

Владимира Ивановича Банцекова, сына моей учительницы Викуловой и товарища еще по Kirchenschule⁷⁰, я случайно встретил недавно (1902) в Петергофе дряхлым стариком, членом Петербургской Судебной палаты. Он шел вместе со мною, хотя большею частью в разных классах и курсах гимназии и университета. Как бедняк и умный практик – всю молодость провел капитаном на волжских пароходах, сдавая экзамены во время отпусков. Страстный любитель музыки, он не учился ей и знал все по слуху. Ныне – рухлядь и по пороку сердца, как и по *astma pectoris*⁷¹, близок к смерти, а человек все-таки умный, добрый и порядочный.

Рассказанное сопоставление удачного моего, так сказать, литературного дебюта у Камкова и полной неудачи у Матье врезалось в мою память именно потому, что я, будучи в пятом классе, уже вперед знал весь курс средневековой истории по отличному руководству Шульгина⁷², а характеристику Иоанны д'Арк написал как-то порывисто, почти экспромтом, вовсе не думая о литературности изложения. Опасаясь за неудачу этого изложения у Камкова, я был вполне спокоен за французский перифраз. Помню, что в этот год я особенно увлекался чтением физики сочинения Гано на французском языке⁷³ и что я прочитал сам для себя почти всю хрестоматию Трико.⁷⁴ Такие упражнения не могли не повлиять на мою самоуверенность, почему я вообразил себя настолько сильным в языке, что вздумал с большой развязностью излагать по-французски свои мысли для Матье, за что, конечно, и был достойно наказан баллом «1». Два впечатления в один день были для меня очень

сильной и неожиданной порцией при моем тогда четырнадцатилетнем возрасте. После этого случая я начал писать по-русски и совершенно бросил свои французские упражнения.

Тем не менее нельзя не вспомнить первый луч света в моем гимназическом учении, полученный от Камкова, относившегося к нам с совершенно непривычной для гимназистов доверчивостью и уважением. Конечно, мы ни на волос не понимали смысла такого нового учительства, тем более что другие учителя были старого закала.

Учителем арифметики в первых двух классах, как и алгебры и геометрии в третьем-четвертом классах, был очаровательный Александр Александрович Норман – добрейший, изящный молодой человек, которого мы искренне любили и чтили.

Это был изящный, красивый, высокий блондин, слабого здоровья, с необыкновенно приветливыми глазами. Мы старались учиться у него, но у нас были многие «дворянские дети», вроде Левушки Аристова, Коли Загибалова, которые приводили Александра Александровича в сущее отчаяние. Я помню сам, как Александр Александрович всплеснул руками, когда я, доказывая равенство треугольников, доказывал ему: «Сторона АВ равна стороне ВС, посему и на основании § 83 и § 45 треугольник ABC равен $A^1B^1C^1$ ». «Но что же в этих параграфах заключается, зачем они?» – спрашивал Александр Александрович. Я отвечал самым деловым тоном: «В книжке так сказано, я говорю верно».

А.А. Норман скончался, кажется, в молодых годах. Я знал его сестру, посвятившую себя ослепшему Михаилу Алексеевичу Осокину, сыну и племяннику двух наших предводителей, самых видных деятелей Казани в то время. Она была у Осокиных сначала гувернанткой, потом вышла замуж за несчастного слепца.

Временно преподавал у нас арифметику во втором классе и физику в пятом классе Николай Степанович Чернеевский, читавший на первом пережитом мною гимназическом акте речь «о внутреннем тепле земного шара». На этом акте я получил единственный в моей жизни похвальный лист, который

передали моему отцу, вручившему мне его публично со слезами на глазах. Помню, что после речи Н.С. Чернеевского, которой я, разумеется, не понял и не слушал, так как мне было только десять лет, читали латинскую речь – Паша Галимский (ученик второго класса, где латынь еще не преподавалась), французскую речь – ученик шестого класса Елагин (про которого помню, что он играл на фортепиано «Les Girondelles»⁷⁵ на каком-то музыкальном вечере в университете) и еще два ученика говорили речи по-русски и по-немецки. Зачем болтались эти зазубренные речи – теперь и понять трудно, но тогда по ним делали заключения о процветании знаний учениками языков новых, классических и даже русского языка.

[Чернеевский] был добрейший человек, но всегда раздраженный и иногда потому жестокий без разбора. Его очень любили все и, как кажется, с глубоким сожалением проводили в могилу. Уроки физики у меня остались в памяти. Помню также, как Николай Степанович оценил мой экзамен, говоря, что я знаю именно то, что проходили во время моей болезни, и понятия не имею о том, что он сам старался втолковать мне.

Учителем естествознания в первом классе был Эрнест Эрнестович Баллион. «Голова ты с мозгом», – было его обычным приветствием ученику. Он обращался с нами так строго, что я во всю мою жизнь не испытал большего угнетения от кого бы то ни было, как от него. Целый час мы должны были держать руки на столе ладонями вместе, так как Баллион решительно не позволял другой позы для ученика. Его громовой голос был ужасен.

Естественно-исторический кабинет гимназии соединялся с первым классом стеклянной дверью, так что нам были видны стоящие там чучела фламинго, тюленей и проч. Но ни разу при Эрнесте Эрнестовиче мы не проникали в это святилище. Курс нашего класса состоял в созерцании картинок, на которых были напечатаны довольно крупно слоны, сурки, бегемоты и тушканчики в одинаковом масштабе. Показывая эти картинки, Эрнест Эрнестович рассказывал нам, конечно, без учебника все надобное и доступное. Добрый он был человек, но крикун и строгий в такой мере, что мы считали его каким-то ужасным и

трепетали в его классах, просто тряслись. В третьем моем дневнике вклеена газетная вырезка его некролога⁷⁶, так как он скончался недавно девяностолетним старцем в Новороссийске, отдав все на пользу города, не понявшего доброты этого идеалиста. В этом некрологе Эрнест Эрнестович Баллион рисуется в чрезвычайно симпатичных чертах, между прочим, как и поборник женского образования. Охотно верю гуманности покойного, но как забыть впечатления детства! Как кажется, Эрнест Эрнестович был преимущественно ботаник. По крайней мере, я помню книжку, им напечатанную и посвященную систематике растений.⁷⁷ Я учился у Эрнеста Эрнестовича только один год.

Другим учителем естественной истории был Михаил Михайлович Федоров, очаровавший нас своею добротою, ласкою с первого же урока. Я учился у него три года, то есть во втором, третьем и четвертом классах. Это был живой, увлекающийся, отлично говоривший учитель, сразу овладевший вниманием учеников. Дисциплина в его классах была всегда хорошая, так как он прямо увлекал нас. Курс второго класса (по учебнику, кажется, Симашко⁷⁸) был обзором млекопитающих, третьего класса – птиц, гадов и земноводных, четвертого класса – рыб и беспозвоночных животных. При Михаиле Михайловиче мы не только видели в классе все чучела естественно-исторического кабинета, но даже ходили вместе с ним по праздникам в университетский музей, смотрели разные препараты и всякую живность в микроскоп и, помнится, были даже в заезжем зверинце. Очень любили мы Михаила Михайловича, и никогда он нас не наказывал, да и учились мы у него старательно, легко. Только один раз мы его огорчили очень. Это было в третьем классе в последний день учения перед Рождеством. Какой-то преподаватель не пришел в гимназию, и какой-то преподаватель упросил сделать перемену в расположении уроков. Не пришедшего учителя у нас был четвертый урок, а Михаила Михайловича – третий. Мы неожиданно для себя просидели праздно третий урок и собрались было домой, как вдруг явился не в свое время почтеннейший Михаил Михайлович. Мы подняли бунт, начали

шуметь, кричать. Я сам объяснил Михаилу Михайловичу, что если бы не он, то мы бы теперь уже гуляли, а то вон ушли вместо нас старшие ученики часом раньше. Совестно вспоминать, как я, любивший Михаила Михайловича, грубо объяснял ему нашу обиду... Михаил Михайлович, огорченный впервые оказанным ему неповиновением учеников, ушел из класса до окончания урока. Явившийся инспектор рассудил оставить без обеда весь класс, заставив сидеть каждого на своем месте. По уходе инспектора малыши заварили междоусобие, в котором, помнится, я оказался зачинщиком и обличителем не стоявших горой за общее дело и, кажется, пострадал и от товарищей, кроме внушения еще домашнего, так как из гимназии уже успели дать знать отцу о моем бунте. Позднее, в 1875 году я встретился с Михаилом Михайловичем в качестве сослуживца в Казанской учительской семинарии. Судьбе угодно было, чтобы в его руки попал вновь тот же естественно-исторический кабинет Второй гимназии, ставшей классической. Но Михаил Михайлович был уже безнадежный алкоголик. В светлые месяцы он был прекрасен почти по-прежнему, но грустно и вспомнить, до чего доходил он в продолжительные припадки запоя. В последний из них он едва не сжег семинарию и едва не отправил себя на тот свет, угорев от дыма сгоревшей от папироски своей кровати. Мы выломали дверь и вытащили его бесчувственного. После этого казуса я не видал более этого погибшего, но доброго и даровитого учителя и человека.

При переходе в пятый класс явился новый преподаватель – Добрынин, читавший нам ботанику, но я долго хворал в этом году, да и учитель, кажется, скоро уехал от нас, так что ничего не могу вспомнить о его преподавании, кроме того, что до сих пор разумею с его слов системы Декандоля, Жюсьё и Линнея⁷⁹, достаточно ясно, хотя и примитивно знаю систематику растений, а в свое время имел возможность заняться самостоятельно по книжке Кюри «Руководство к определению растений».⁸⁰ На этих уроках кончился мой курс естествознания, так как отец, видя мою малую успешность, переместил меня в

Первую гимназию, строго классическую, в которой не было и тени естествознания.

Преподавателем столь любимой мной науки географии был Марк Семенович Чулков. Но я полюбил географию уже тогда, когда ее не учил, то есть в университете. До университета я любил географию как-то особенно, необъяснимо теперь для самого себя, так как эта наука в детские годы представлялась мне какою-то выдумкой, хитро сочиненною для навязчивого притеснения учеников, позднее же для упражнения памяти. Я был уверен, что вся география – неправда, что нет никаких Чимборасо, Катманду, Чукисаки, Гваделупы и тому подобных чудищ, что совершенно невозможны такие горы с вечным снегом, как Давалагири и Джумалари, что движение земли есть в своем роде пытка ума, насилие над нашею сообразительностью, вроде задач «о двух светящихся точках» или «о двух путешественниках». Совершенно не представляю себе, что за человек был М. С. Чулков, но помню только его маленькую фигурку в очках и разозленное лицо, когда он утверждал, что никогда не прощает провинившегося и наказанного им. Преподавал он по учебнику Ободовского⁸¹, требовал очень строго, почему и не удивительно, что мы превосходно заучили весь огромный географический календарь и без промаха показывали на немых картах всякие острова, мысы, реки и города, несмотря на их диковинные названия. Эту вызубренную географию я особенно тяжело усваивал себе в третьем классе, где мы штудировали Западную Европу и где мы заучивали во всех подробностях мелкие государства Германского Союза. При моей отличной памяти сил моих все-таки не хватало на усвоение всяких зондерсгаузенгов, ангальтов, рейсов с их столицами, тем более что память утруждалась еще зубрением в жесточайшей степени Катехизиса у о. А.Г. Ласточкина, требовавшего от нас буквального знания со всеми без исключения текстами. Мы так зубрили этот знаменитый Катехизис [митрополита Филарета], как, я думаю, ни один скрипач не зазубривал этюды Крейцера; огромный текст «Из соблюденных в церкви догматов» я помню, кажется, до нынешних дней, ибо натирание ушей и сидение без обеда были

несладки; у нас был даже спорт, состоявший в знании ответа на каждый вопрос Катехизиса, и я помню, что раз выиграл булку, ответив на неожиданный вопрос: «Почему сие важно?». Немедленный ответ: «Потому что при сем самом действии хлеб и вино прелагаются или пресуществляются в истинное Тело Христово и в истинную Кровь Христову» – совершенно не был чем-либо особенным. Это могли проделать очень многие мои товарищи.

Моя любовь к географии почему-то теплилась во мне с самого раннего детства. Я помню, как я сам проштудировал какой-то атлас с объяснительным текстом еще в лютеранской школе, чуть ли не до нее, и потом наслаждался поверкою своих знаний по арабскому атласу, попавшему в мои руки из числа книг, привезенных Н.И. Ильминским из Египта. Позднее только курс Риттера⁸² открыл мне глаза и заставил меня заниматься этою интересною наукою и сделаться ее преподавателем.

Курс Марка Семеновича Чулкова начался в первом классе с того, что «земля круглая, как шар», что на ней имеются меридианы, параллельные круги и эклиптики, одно время представлявшие мне прорытыми канавками; мои мозги решительно не могли усвоить определения широты и долготы места, как и обращения Земли годового и суточного в связи с изменениями дня и ночи. Вскоре, однако, мы в возрасте десяти лет выучили календарь всяких юпитеров, сатурнов, марсов с числами миллионов лет их расстояний, равно и величины их диаметров. Немудрено понять, что значила для десятилетних ребят эта часть географии, на которую мы, кажется, убили чуть не все первое полугодие. Потом следовала часть орогидрографии, потом ужасающий календарь, в котором Мансанарес часто казался городом, Вена – рекой, Катманду – горою, Ориноко – островом, Гваделупа – государством и т.п. Трудно понять, зачем мы учили этот календарь. Черчения карт в первом классе совсем не было, но длинной тоненькой палочкой мы были обязаны показывать на немых картах всякие костарики, матапаны, таймыры без всякого искания, а прямо, без всякого замедления, иначе же – без обеда, так как Марк Семенович был действительно неумолим.

Другой преподаватель географии был в четвертом-пятом классах и проходил с нами географию России. Это был красавец-поляк Адольф Михайлович Беседовский⁸³, высокий, ловкий мужчина, отлично говоривший, задававший форсу странным произношением буквы «н» на французский лад, с весьма громогласным притом ударением и протяжением, например «пространнство». Преподавал ли он плохо или забил в нас М.С. Чулков всякое мышление и всякую любознательность – не помню, но только и осталась в памяти общая улыбка при каждом словечке Беседовского, вроде «пространнства»; помню еще, что однажды, рассердившись на незнание нами определения широты и долготы места, Беседовский великолепно начертил сразу на доске большой круг и в одну-две минуты набросал на нем абрис Африки, Азии с островами и Европы. Мы были прямо удивлены таким мастерством нашего учителя. Помню еще и то, что, перейдя в пятый класс Первой гимназии, я оказался не только лучшим географом между новыми товарищами, но прямо удивлялся их плохим знаниям и даже удивлял своего нового учителя – географа Сергеева.

Приписываю 26 октября 1905 года, когда совершенно случайно встретил имя А.М. Беседовского в числе одесских пансионеров «Убежища тружеников печати с просветительными учреждениями им. А.С. Пушкина», подавших адрес Ф.И. Мирошниченко («Исторический вестник», 1905 год, апрель, л. 247). Здесь мой бывший учитель называет своя «коллежским ассессором, первым сотрудником «Одесского листка». Вот какая, хоть и заглазная, встреча!

Историю преподавал Сергей Дмитриевич Горский, потом директор реального училища в Сызрани. Человек он, как говорили, был очень даровитый и работающий, получивший золотую медаль в университете за сочинение «Князь Курбский и его время».⁸⁴ После я читал это сочинение, но не нашел в нем ничего особенного. С.Д. Горский был нелюбим учениками, по крайней мере мы его боялись, а я ненавидел в такой степени, что меня трясло в его присутствии. Чтобы не промахнуться в

чем-либо, я зубрил историю слово в слово и знал уроки отлично, но я же и упросил отца взять меня из Второй гимназии в Первую, так как Горский срезал меня в пятом классе в латыни. Я счел его экзамен несправедливою придиркой и вспылал в такой степени на Горского, что директор, тут же бывший, отправил меня в карцер с ночевкой в нем и пригласил отца в гимназию. Только француза Девица и инспектора Кудряшева в Первой гимназии, разве потом князя Ширинского-Шихматова в Москве я возненавидел в такой степени, как Горского. Причиной тому были постоянные злые насмешки Горского над всеми нами, бессильными перед ним учениками, и скучнейшее преподавание.

У такого преподавателя мы писали под диктовку в третьем классе биографии, из которых сохранились у меня в памяти «Перикл», «Сократ, Платон и Аристотель», «Юлий Цезарь», «Магомет», «Козимо Медичи и его внук Лоренцо», «Людовик XIV»; в четвертом классе мы учили древнюю историю по курсу Зуева⁸⁵, а в пятом – средневековую по курсу Шульгина, конечно вдолбежку. Интереснее всего, что, желая наставить побольше дурных баллов или, может быть, сорвать на нас же досаду за свое плохое преподавание, Горский устраивал нам так называемые «параллели», то есть спрашивал знание истории в синхронистическом порядке по всем государствам. Понятно, что наши ответы могли раздражать не одного только Горского.

Латинский язык преподавал нам с третьего класса милейший и добрейший Василий Иванович Дубровский, у которого, признаться, мы учились очень плохо. Звали его «Супин», так как он, зная свою кличку и налегая на каталог неправильных глаголов, всегда конфузился от надобности сказать «supinum». Мы усвоили себе манеру отвечать формы Infinitivus Praesens и затем останавливаться, чтобы сам Василий Иванович сказал: «А супин?» – и закрыл свою улыбку книжкой... Это нам доставляло большое удовольствие, переходившее в восторг, когда, перевирая глаголы, отвечали ему: «Sbondeo – сбондил, сляпсил, sbondere...» и тому подобное. Добрейший учитель краснел и смеялся вместе с нами. Вероятно, он сам плохо знал латинский язык. Например, он затруднялся

перевести у Цезаря «Rebus autem afflictis Caesar»⁸⁶ etc., и мы очень любили задавать ему вопросы, сочиненные для нас учениками из старших классов и известные нам в должной редакции ответа. Василий Иванович конфузился и был крайне забавен и оригинален в этом положении.

Греческого языка я миновал в гимназии совершенно, изучав его несколько в университете. Я кончил гимназию еще по старому режиму. Люди, следовавшие после меня одним годом позже, были уже «греки» и затем были в первом наборе по воинской повинности. Я же не был и солдатом.⁸⁷

Конечно, самые типичные учителя были французы и немцы. Французский язык я никогда не мог постигнуть в тонкости, хотя и читал для себя свободно, но говорил вполне омерзительно. Немецким языком я овладел в Лютеранской школе как родным, переводил на восьмом-девятом году десятками страниц с листа первую подаренную мне книжку «Конек-Горбунок» Ершова. Девятилетнее пребывание в гимназии не выучило меня владению французской речью и привело меня лишь к забвению немецкого языка, даже и к «1» на выпускном из гимназии экзамене. Вспылив, я начал запальчиво выражать по-немецки свой протест учителю Раппенгейму, говоря, что незнание или забвение правил грамматики не мешало мне этими днями наслаждаться стихотворениями Гейне, Шиллера в подлиннике, что я напишу жалобу на немецком языке вместо письменного ответа и проч. Директор-немец, милейший Крелленберг сказал тут же учителю-тупице: «Ну, какой же тут «кол», – он и бранится-то по-немецки совсем как немец-мастеровой». Таким образом, к «колу» приставили надобное для четверки.

Первым немцем в первом и втором классах был Эдуард Егорович Фишер, о котором было уже сказано выше, так как он же учил нас и русскому языку. С третьего класса мы попали на выучку к Карлу Петровичу Нею, механику Казанского университета, имевшему потом свое слесарное заведение. Как этот человек попал, подобно другим иноземцам, в наставники русского юношества – понять трудно. Это был нисколько ничему не учившийся слесарь, умевший говорить по-русски, может быть, шесть-пять десятков слов, вроде «дубин», «шкатын»,

«швинья», «асиол» и т.п., без умения согласовать их в роде, числе и падеже. Например, он толковал нам на первом же «уроке» следующее: «В немецкого языка бывает два шлен: определэнии – ein, eine, ein и неопределэнии – der, die, das; zum Beispiel: wo wohnen die Räuber?⁸⁸ Der Hengst– шéребес, die Stute – кабйл». Такого рода «грамматйк» повторялась множество раз и далее этого не шла. Переводили мы ему, благодаря незнанию им русского языка, бог знает, что, перевирая по-русски немецкую поэзию (а он любил переводить стихи и баловал нас богатствами хрестоматии Зейденштикера или Фишера⁸⁹). Помню, что у нас был уговор в классе слушать серьезно, кто бы что бы ни сморозил при таких переводах. Своего рода был спорт в искусстве владения собой. Помню, что и я не раз забавлялся в этом искусстве и однажды не моргнув глазом перевел громко: **«Zu Genuß (кажется, «und Freude»; забыл часть смуха) ist heut' Gelegenheit, weist Du wo Du morgen bist? – flüchtig ist die Zeit»** – «Сегодня прекрасный случай для удовольствия! Только как угадать, где мы будем «сидеть» завтра, если не удастся вовремя вывернуться». Ней, однако, догадался, глядя вопросительно на мое лицо и на лица закусивших губы товарищей: «Клюпий свошшик (то есть глупый извозчик), зальдат-чурак – шорт проклэтен – noch einmal, bitte!». ⁹⁰ Я собрал все самообладание и повторил мой весьма вольный перевод. «Genug, gut»⁹¹, – слышалось мне, хотя и пришлось посидеть в карцере за такую, одну из многих, проделок. За другую мою шалость пришлось вытерпеть сильное наказание. Ней, рассердившись на меня и потрепав меня за что-то, приказал мне: «Склоняй: ich bin, du bin...». Меня взорвало, и я громко воскликнул, воспользовавшись ошибкою Ней: «Склоняется особенно, как исключение: именительный падеж: ich bin дубин, родительный падеж: du bist дубин, дательного и винительного нет, как и множественного числа...». Ней понял злость моей дерзости: «Клюпий калёф!», – кричал он, таская меня за уши, – «обруч нада на такой кадка», «табак куриш» (почему было последнее – решительно не могу представить!), «русский швинья молёдой» и тому подобное. Надобно ли писать еще о таком учителе?

Я был в третьем классе и в начале учебного года в четвертом классе, и это учение у Нея пришлось в последние годы его учебной службы. На это место поступил к нам Казимир Адамович Люстиг⁹², отлично говоривший по-русски и отлично учивший, но больной и умерший в тот же год от чахотки, заставившей его пропустить множество уроков. Этот учитель, может быть, дал нам пятнадцать-двадцать уроков. После него судьба послала нам нечто совершенно невозможное в лице Трауготта Ивановича Каттерфельда – магистра греческой словесности (как я слышал потом – будто бы очень милого человека), но заику, не знавшего по-русски. Судьба меня свела случайно ранее знакомства в гимназии с этим субъектом, как кажется, только что приехавшим из Дерпта учителем греческого языка в Первой гимназии и немецкого языка во Второй. Не помню, в каком это было доме, но я встретил незнакомого немца, нанимавшего вместе со своей «Mäuschen» или «Minnchen» квартиру. Так как объяснения с хозяином были затруднительны, ибо и «Amalchen» также ни слова не знача по-русски, то я, нежданно для будущего моего учителя, услужил ему в качестве переводчика и тут же убедился, как оба супруга желали выучиться говорить по-русски. Уговоренная плата была двадцать четыре рубля в месяц с водой, но без дров, и я услышал затем многократное заучиванье: «Двасать штирь рубель – vier und zwanzig Rubel», «Ишводби – mit dem Wasser», «Na, meine Liebe, was sprichst du «бистроф» und «ишводои»? – sprich изводой», etc. Через несколько дней я, к полному изумлению увидел этого немчуру в качестве своего учителя! Прости, Господи! Чего только мы не проделывали с этим добрейшим магистром греческой словесности! Даже и вспомнить совестно. После нескольких уроков стал ходить к нам на эти уроки инспектор!

С французским было не лучше. В первом классе был нашим учителем старый-престарый Дютрессель, слабый, почти глухой, ничего не делавший. Мы у него только читали вслух и писали без переводов. Во втором классе появился у нас какой-то Кутузов – русский, не умеющий говорить по-русски, франт в кольцах, употреблявший пенсне, невиданное нами и

казавшееся очень смешным в сравнении с толстыми и большими у всех носивших серебряными очками при двух распорках на конце каждого заушника; смешил нас Кутузов и узеньким галстуком, и франтовскими узенькими брюками, столь не походившими на старомоднейшие хомуты и косынки, на «широчайшие», бывшие у всех наших наставников. Крахмальная сорочка у Кутузова была всегда изящна, тогда как приставные треугольные воротнички у наших провинциалов весьма часто были далеко несимметричны. Но тот же франт Кутузов спрашивал нас: «Што снашить **отэсь**? Как сказать французком **mom** (дом)?» и т.п. Немудрено, что единственный курс познаний мы усвоили от Кутузова в ряде восклицаний, начиная от «**Sapristi**».⁹³

В третьем классе появился француз месяца на два-три, Шевре, ни слова не знавший по-русски, отчего мы ему переводили, например, какую-нибудь фразу трогательного, нравоучительного содержания такими словами: «К нам прислали косорылого верзилу» или «Убирайся к черту, глупый проходимец», на что Шевре, судя по уверенности тона переводчика, говорил: «*Bien, très bien! Encore une fois! Assez! Continuez!*».⁹⁴ Понятно, что ученья не могло быть. Меня, почему-то весело разболтавшегося с товарищем, он вздумал наказать, приказав написать: «*Verbe «babiller» – сто fois!*».⁹⁵ Я, несколько не смутясь, подал ему на другой день: «*Babiller, babiller... 100*» – и так проспрягал весь глагол, к полному смеху инспектора Камкова. Наконец убрали куда-то этого странного француза.

Вместо него появилась также какая-то косолапая фигура, которую мы видали на улицах в виде хромого гувернера чьих-то детей, в виде мишени для остроумных мальчишек. Этого убрали чуть не через неделю.

Потом был другой, также хромоногий учитель, кажется по фамилии Сипягин, занимавшийся очень недолго. После него, также очень недолго, занимался с нами кто-то, фамилия которого была, как будто, Жедринский. Но я решительно не помню, как они оба учили нас и почему прекратилось их преподавание.

Появился у нас в ту же зиму пятый учитель M-r Mathien, также не говоривший по-русски, но, как мы догадались с первого урока, бывший учитель и выдавший виды до нас. Он, войдя в класс в первый раз, провозгласил твердо: «Silence, messieurs!»⁹⁶ – затем оттрепал крепко кого-то за уши и ухитрился, не зная еще фамилий, стащить собственноручно чуть не четверых за шиворот к надзирателю Галимскому для оставления без обеда. Этот дебют сразу усталил кредит Матье очень твердо, и, хотя мы рисковали переводить с французского на якобы русский, выговаривая в смысле русского значения (вместо, например, «jamais» – ямайся, вместо «heureux» – гереуксь и т.п.) в подходящих случаях крайней разности орфографии с произношением, но проделывали эти шутки с большой осторожностью. Недоумевающее, вопросительное лицо Матье в подобных случаях было для нас предлогом к самому искреннему, веселому удовольствию, и мы горой стояли за товарищей, если кто переводил верно, а Матье ошибочно думал, что переводят с украшениями... Позднее я узнал, как-то попавши в так называемую «Немецкую Швейцарию», то есть загородную в Казани местность, в которой жили на дачах только немцы, никого из русских не пускавшие к себе в соседство, что Матье был дирижером казанского «Liedertafel».⁹⁷ В этом кружке много лет спустя участвовал и я, распевая всякие хоры под управлением Рудольфа Петровича Детлова. Но довольно о таких учителях! Трудно подумать теперь, что были возможны такие преподаватели, что им платили огромные деньги, что они оставляли недалеко за собою Вральмана в «Недоросле» и врача Ивана Ивановича в «Ревизоре», что мы тратили время и силы не только бесполезно, но даже и вредно для себя!

Искусства во Второй гимназии, кроме чистописания и рисования, не входили в круг нашего обучения, и преподавателем этих двух был благодущнейший, премилый, простой, но и архивнейший старичок Александр Иванович Иванов. Обращался он с нами замечательно любовно, просто, искренно, любя говорил нам: «Ах вы, подлецы, ах, мошейники, мотрай (то есть – смотри), какие оне христопродавцы». Мы очень любили нашего «Акульку» (так называлась действительно

кухарка, приезжавшая на козлах вместо кучера за нашим учителем; Александр Иванович, выходя из гимназии, восклицал: «Акулька!» – хотя возница была всегда под № 1 у самого крыльца), любили за полнейшую незлобливость, за то, что очень нередко бывало, когда Александр Иванович вдруг столбенел от удивления, восклицая: «Господи Иисусе, что за подлецы, а еще дворянские дети!» – и все-таки не наказывал нас. Выручал Александра Ивановича обыкновенно «Плешка», то есть надзиратель Осип Осипович Галимский, бесцеремонно входивший в класс во время занятий и безапелляционно восклицавший кому-либо: «Останешься!». Любили мы и «Савоську», сторожа гимназии, неизменно прислуживавшего Александру Ивановичу и бывшего хранителем музея всяких моделей, рисунков, общих для всех наших же рисовальных карандашей, гусиных перьев, линеек и проч. «Савоська» был невыразимо добр и терпелив. Мы проделывали над этим старичком Бог знает что, и он же, бывало, заступает за нас у Галимского, иной раз и отпустит оставшихся без обеда часом раньше или выпустит их из запретных классов побегать, поболтать вместе либо сбегать за калачами, принести чайку оставленным на ночь. Злейшим врагом «Савоськи» был наш секутор «Филипка», следивший за его баловством и послаблениями. Зато в именины «Савоська» получал много всяких гостинцев, как и после Рождества, и после Пасхи. «Савоська» говорил Александру Ивановичу «ты», как и «Плешке», но только с прибавлением «ты, ваше благородие», так как у последнего был чин, а Александр Иванович был либо из крестьян, либо из мещан.

Перед каждым уроком рисования к музею, что был рядом с карцером, являлась толпа добровольцев, чтобы нести длинную двухэтажную этажерку, высокий пулт, картоны с рисунками, коробки с карандашами, всякие деревянные модели для рисования с натуры. Александр Иванович сам раздавал эти драгоценности, и процессия с необычайною медленностью двигалась в класс, чуть-чуть напевая, чуть не в одну четверть голоса, «Святой Боже...» Налетавший соколом Галимский, конечно, ничего не мог увидеть кроме серьезных лиц, певших

сложенными губами, ссылавшихся, что ноют сзади, задерживают шествие передние и т.п. Пять-шесть минут были все-таки выгадываемы от урока, потом время уходило на раздачу карандашей, неистовую чинку их, разыскивание рисунков, причем часто бывало, что раздававший шли разыскивавший рисунок пускал его винтом под потолок, крича: «Герасимов – твой! », хотя, конечно, рисунок был вовсе не Герасимова...

Александр Иванович сам рисовал прекрасно и умел учить, но, должно быть, был стар или мы, многолюдные классы, сами отбили у него охоту заниматься с нами. Впрочем, многие ученики, интересовавшиеся рисованием, хотя и были «подлецами и мошейниками», то есть изводили Александра Ивановича своими шалостями, все пользовались его самым нежным вниманием. Я не был из числа их. Про меня Александр Иванович говаривал: «Ну и Бог с ним, никакого пути из него не выйдет – вон он какой головорез! Такого и я не запомню, совсем мошейник» и т.п.

Чистописание по так называемому «темпу» меня совершенно изводило до полного изнеможения. Я писал до гимназии очень хорошо, учился дома у отличного учителя, да и немцы требовали красивого готического письма. Особенно било меня по нервам однотонное выкрикивание «раз, два», очень протяжное, длившееся целый час (тогда уроки были по часу с четвертью), одна и та же сто раз написанная пропись «Страх Божий есть начало премудрости» и возгласы: «точка», «перья оботри», «грудь выпрями» или: «слушай», «большая буква», «с новой строки», «Страх Божий...», «раз, два», «раз, два», etc. И так два года без всякого результата, а для меня так даже и с явным ухудшением моего искусства.

Но довольно! Стоит теперь сказать о дисциплине в тогдашней гимназии и о том, как глубоко разнились между собою показная и внутренняя стороны нашей школы. Вполне сознаю, что я не в силах быть беспристрастным и объективным, не могу почувствовать себя во всех пределах школьной педагогики конца пятидесятых и начала шестидесятых годов, не могу отрешиться от школьных требований, ставших в последние

двадцать пять лет моею плотью и кровью. Бессердечие и казенщина, показная мишура тогдашней школы в свое время, может быть, не отравляли в действительности мое детство в той степени, как это представилось моему уму и воображению теперь. Воспитательная часть совершенно отсутствовала в моей школьной жизни и в Лютеранской школе, и особенно в гимназии. Все человеческое, сердечное, участливое, братолюбивое трактовалось как недостойная порядка слабость, над всем висела розга свыше и жестокий товарищеский кулак снизу.

Припоминаю особенно страшных моих товарищей: Николая Степанова (по прозвищу «Кабы не убить»), татарина Курамшина («Алла»), Цветова («Морда-у!»), которые ужасно били младших, в том числе и меня. Я был слабый, малокровный, хотя и большой озорник, и шалун. Во всех почти табелях, сохранившихся у меня за все годы, выставлено поведение «добропорядочное», то есть «три». Но я ни разу в жизни не участвовал в так называемых «стенках» – в битвах во время больших перемен, устраивавшихся каждый день двумя-тремя классами против других двух-трех классов. Побоища эти были ужасны, особенно для упавших, на которых в пылу битвы не обращали внимания и которые нередко бывали под ногами не одну минуту. «Рыжий» Станиславский, бывший старше меня двумя классами, а позднее Николай Степанов – мой товарищ даже не допускались товарищами к участию в этих «стенках» как бывшие уже чересчур жестоко. Интереснее же всего то, что наши преподаватели не раз даже заходили глядеть эти бои и следили за их ходом даже не без увлечения. Я помню, как я усвоил себе золотое правило «лежачего не бьют», то есть прямо падал заблаговременно на землю и тем обезоруживал нападавшего какого-нибудь Курамшина – детину лег восемнадцати-девятнадцати, но бывшего вместе со мною только в четвертом классе. Разумный ответ «от себя», «своими словами» рассматривался как недопустимое свободомыслие, опасное для твердо установленного порядка. Особенно этот церемониальный порядок был свят для случаев, имевших смысл хоть какого-либо события внешнего содержания,

например, при посещении гимназии кем-либо, даже из родителей более богатых дворян или каким-либо начальником.

Я помню, как забегались Галимский, Петерман к моему отцу, как допрашивали в гимназии моего отца, как выпытывали от меня, ребенка, когда какой-то незнакомый мне генерал (оказавшийся потом попечителем округа Молоствовым) пригласил меня сесть к нему в коляску и довез меня до дому, а я ему на расспросы рассказал, как выпороли такого-то, как дерется такой-то, как предпоследних учеников записали на черную доску, а сына генерала Скалона, бывшего самым последним, не записали на доску, как прощают Манассеиных, а Кедрова наказали за то же самое... Акт в университетском зале был превосходно прорепетированной комедией: нас учили выходить, кланяться, целовать руку, избранные из нас сквозь слезы говорили речи и проч.

В повседневной ученической жизни мы были самые жестокие сорванцы, озорники и лентяи, так как ученье нас нисколько не интересовало своей зубрежкой, нисколько не было занимательно. Мы, так сказать, спасались своими выученными уроками от порки, от оставления без обеда и других наказаний. Ни один учитель Второй гимназии, кроме М.М. Федорова, не отнесся к нам или, но крайней мере, ко мне как к человеку, пусть как к ребенку, хотя сколько-нибудь приветливо, ласково, в жадно ожидаемой и ценимой детьми мере, хотя бы и строгой по своей требовательности, серьезной, но участливой, не оскорбительной и полной желания искренно помогать нам, облегчить и осмыслить наш труд. Такие отношения учителей к ученикам создали в наших детских умах непоколебимое убеждение, что злейшие и неисправимейшие наши враги и мучители – это шайка наших учителей с директором и инспектором наверху и с надзирателем и сторожами снизу. Оттого, полагаю, мы встречали с полнейшим недоумением и недоверием всякие попытки говорить с нами по-людски, и затем едва ли ошибусь я, сказав, что те же попытки были энергично подавляемы свыше. Нет сомнения, что между моими учителями во Второй гимназии были превосходные люди, что А.А. Норман, М.М. Федоров, Э.Е. Фишер, А.А. Камков не могли не быть

высокогуманными людьми, но их отталкивали от нас, и мы сами отталкивали их от себя. Наш ученический «мир», лучше сказать, «кагал» отъявленных лентяев и изверившихся в добро мальчуганов, был полон невероятного цинизма, старательно усиливавшегося напускною, виртуозно изображаемою гадостью, и был далеко чужд вере в чистое, благородное, вере в надобность и пользу ученья; под влиянием как начальства, так и этого кагала мы повиновались только плети, страху наказания и не страшились ни стыда, ни лжи, ни низости своих поступков. Прodelать какую-нибудь злую шутку, вполне недостойный обман нам ничего не стоило, и не дрожали наши сердца, когда под игом главарей после изумительного ансамбля в дружном запирательстве в невыдаче виноватых близорукое начальство пороло через двоих третьего или через пятерых шестого, не разбирая, как убивали розги иные натуры, как калечили других и как бесполезны были те же розги для третьих. Даже сейчас, через сорок пять лет, нервы заходили у меня при воспоминании о жестокости и глупости этих экзекуций. Но шестидесятые годы взяли свое скоро, и даже мы почувствовали что-то новое. Я говорю это о времени, когда я был уже в Первой гимназии.

Когда я был в третьем классе гимназии, в наш дом принесли какой-то шкаф, в нижнем ящике которого оказалась забытая там игрушечная детская скрипка. Событие это было, так сказать, первым важнейшим случаем, совершенно перевернувшим мою музыкальную жизнь. Я достал балалаечных струн и, натянув их в строе до, соль, ми, до, вздумал играть на такой скрипке, навошив волосы смычка. Увлечение мое было так сильно, что я даже брал скрипку в гимназию и, идя туда и обратно, играл дорогою на улице. Не помню, сколько времени прошло, прежде чем я догадался о квинтовом строе, подслушав настраивание скрипок в театре. Затем скрипка моя совершенно потеряла всякую цену после того, как я увидал в табачной лавке, на пересечении Рыбной и Проломной улиц, белые большие скрипки в пятьдесят копеек. Я умолил мамашу купить мне такое сокровище и вскоре заиграл на ней так усердно, что бросил уроки в гимназии и, должно быть, совершенно надоел отцу нелепостью своей игры. В это

время я с изумлением услышал в театре Камаринскую и влюбился в фразу скрипок с педалью в валторне.

Я играл эту фразу подряд десятки раз и, вероятно, вывел моего отца из всякого терпения своим пиликаньем всякой дребедени. В один прекрасный для меня день вдруг приходит к нам регент Казанского архиерейского хора священник Петр Диомидович Миловидов.⁹⁸ Пением его хора я уносился на небо еще в Петербурге и затем с первой его службы в Казани, когда я услышал его с вновь приехавшим из Петербурга преосвященным Афанасием.⁹⁹ Хор пел, по-моему, так хорошо, что я бегал в собор постоянно, всегда стоял около певчих. Я знал их всех поименно, знал все пьесы их репертуара, все оттенки исполнения и все слышанное в соборе играл на фортепиано, умея транспонировать во всех тонах. Музыка переполняла все мое существо в такой степени, что я даже не задумывался о мере моей любви к ней, находя мое постоянное и неутомимое влечение к ней не представляющим ничего особенного. Я знал по слуху и играл наизусть фортепьянный репертуар не только мамы, тети Кати, но и наших знакомых барынь, играл самоучкою все, что слышал в исполнении на шарманках, играл всякие марши, слышанные в исполнении военными оркестрами, играл все оперы, слышанные от заезжих артистов, и т.п. Восприимчивость моя выработалась самоучкою, так как я сам выработал себе систему утверждения мелодий и их гармоний в своей памяти. С такой подготовкой вообще, да еще и с некоторым своеобразным знанием скрипки я, конечно, был с первого же урока успешным учеником о. Миловидова, тем более, что учиться мне страстно хотелось, а попавшая мне в руки настоящая скрипка казалась мне какой-то небесною, радостною красотою, самым совершенством; звуки этой скрипки до сих пор мне вспоминаются как доставлявшие мне самые чистые наслаждения. Но о. Миловидов, хотя и превосходный регент, не был скрипачом настоящим, почему мои познания после школы Роде, Бальо и Крейцера завершились у него в области многочисленных дуэтов Мазаса.¹⁰⁰ Года через полтора я стал наигрывать на скрипке уже очень бойко, мои занятия в гимназии ослабели до такой степени, что я едва-едва перешел

в пятый класс, а в этом классе благодаря тяжелой болезни совершенно отстал от ученья, изнервничался и остался на второй год, благодаря же истории с учителем Горским вышел из Второй гимназии и с трудом был переведен в пятый класс Первой гимназии.

В это же лето я не один раз видел на нашем дворе какого-то барина, весьма распекавшего всех и вся за не нравившиеся ему непорядки. Судьбе угодно было, чтобы сын этого барина, Федя Львов поступил вместе со мною в Первую гимназию, но во второй класс, чтобы его искусство игры на скрипке (гораздо большее в сравнении с моим) свело нас за дуэтами Мазаса и, наконец, чтобы Леонид Федорович Львов, заинтересованный рассказами Феди о гимназисте-скрипаче, позвал меня послушать квартеты.

В это же время, хотя и полугодом ранее, случилось другое совпадение. Ильминские наняли квартиру через два дома от нас по направлению к городскому театру в антресолях дома Иосифа Ивановича Мукка, учителя музыки в Первой гимназии, дельного музыканта, кончившего курс в Пражской консерватории. Еще весной и летом я успел, бывая у Ильминских, надоесть Мукку и его семье своим бестолковым треньканьем на фортепиано и малоумелой игрой на скрипке. Очаровательный старик заметил меня раз на своем дворе и, узнав о моем будущем учении в Первой гимназии, приказал мне прийти в класс. Таким образом, полгода до знакомства со Львовым и полгода после этого знакомства, во второй год моего прозябания в пятом классе Первой гимназии, я в зиму 1863/1864 годов впервые и толково занимался на скрипке у Мукка, сделав большие успехи. Мукк же обратил на меня внимание Л.Ф. Львова, столь перевернувшее всю мою жизнь.

Осип Иванович Мукк играл на всех инструментах, главным же образом на флейте, скрипке и фортепиано. Он был отличный музыкант и отличный учитель. С глубокою благодарностью вспоминаю я его уроки и снисходительное ко мне внимание. Он говорил по-русски очень дурно, как чех, не давший себе труда отнестись внимательно к языку своей новой родины, но занимался очень старательно, объяснял все очень тщательно и

подробно. Он был совершенным отрицателем нового смысла того времени. Его симпатии лежали к николаевским временам, к дворянскому режиму. Мукк относился с полным негодованием ко всему окружающему новому движению, начинавшему уже задирать прошлое. Его друзья и ученики – профессора Пахман, Бутлеров, Растовский, много скоротавшие с ним вечеров за квартетным полом и по справедливости считавшиеся (конечно, первые двое) светилами науки, были постоянным сюжетом разговоров и воспоминаний – более всего предлогом для порицания «новых» профессоров. «Они подлёцы, какие они профессёры!» – восклицал мой старец-учитель, вспоминая свой студенческий оркестр с участием профессоров и решительно порицая прекращение деятельности музыкальных классов в Казанском университете.¹⁰¹ «Какóво чéпло было то время, – полно сáло музыкантов-студииозов! – то было блахородно заведéние... А я не ма́гу теперь мимо ходить!». Начавшееся в шестидесятых годах литературное движение Писарева, Чернышевского и других приводило Иосифа Ивановича просто в бешенство. «Это все понечельник, хúdo нача́ло, а не пёнток – добрый почóнток», – говаривал он, вероятно, указывая на поверье, что понедельник – тяжелый и неудачный день, и приравнивая новые влияния, может быть, к шестьдесят первому году. Не помню также, к чему он в переносном смысле приравнивал пятницу.

Андрей Александрович Ра́стовский был женат на Марии Федоровне Львовой, сестре Леонида Федоровича, моего учителя. Она известна как издательница прелестного в свое время детского журнала «Семейные вечера», чтение которого очень живо интересовало детей. Журнал этот по кончине Марии Федоровны продолжался некоторое время под редакцией Кашпировой.¹⁰²

Первые квартеты, мной услышанные, состояли из Феди Львова (пятнадцати-шестнадцатилетнего мальчика в то время, но изумительно способного к музыке и учившегося у Эрнста с большим успехом). Старик Мукк играл вторую скрипку, Леонид Федорович Львов – альт и зять его Александр Львович

Верещагин – виолончель. Я помню, что чуть не сошел с ума от восхищения неслыханною мною еще квартетною стройностью игры и доступностью мне музыкального содержания квартетов Гайдна. Старик Львов, конечно, заметил мое восхищение. Ему сказал тут же Мукк, что я его ученик, и – стыдно вспомнить! – я по приглашению Львова сыграл не без самоуверенности и не без глупейшего апломба первое Allegro четвертого бетховенского квартета с moll. Такта квартетистов хватило даже похвалить мое квартетное крещение, бывшее вечером в среду перед Страстной 1866 года; но в следующей части продолжал в партии первой скрипки уже Федя Львов. После ужина старик Львов сказал мне: «Молодой человек, зайдите ко мне после гимназии со своей скрипкой». Конечно, мне был произведен довольно строгий экзамен. Я проиграл один-два этюда, какие-то соло, не помню какие. После этого Леонид Федорович сказал мне: «Молодой человек, я вижу, вы очень любите музыку, но вижу и то, что вы не имеете о настоящей музыке никакого понятия; хотите, я буду с вами заниматься? Я пройду с вами небольшой курс скрипичной игры, так чтобы вы могли заниматься далее сами, а потом вы познакомитесь у меня с квартетами, которые вам так понравились». Конечно, у меня захватило дух от радости, и я даже не сумел толком выразить Леониду Федоровичу меру моей благодарности. Занятия мои с ним начались тут же. Мы начали прямо с первого этюда Крейцера и трехоктавных гамм. Давно это было, но помню, что этот этюд я великолепно выучил всеми смычками, со всякими нюансами и довел его до очень большой скорости. Меня очень обижало, что почти два месяца по три раза в неделю я должен был отвечать Львову этот один этюд, но я уже чувствовал, что стал чуть не заправским скрипачом с хорошим тоном, с верной интонацией и с достаточным механизмом, что в эти два месяца я сделал огромные успехи. Следующие этюды, после жестокого искуса моей выносливости на номере первом, пошли вдесятеро скорее и успешнее. Всех этюдов Крейцера Леонид Федорович со мной не прошел, а после двадцати-тридцати мы перешли на этюды Роде,¹⁰³ и тем, по последовавшему несчастному случаю с указательным пальцем левой руки (я разбил себе ноготь

молотком при вбивании гвоздя), моя техника на скрипке окончилась. Зато я прошел отличный курс квартетной игры, строгий, очень подробный, ознакомивший меня со всеми классическими квартетами и сделавший квартетную музыку моею самою любимую. После львовского квартета я играл на своему веку очень много. Так как болезнь пальца, лишившегося части подушечки и приобретшего от операции несколько уродливый ноготь, заставила меня прекратить занятия в смысле поддержания механизма игры, то я прошел последовательно (и «диминуэндо») все чины за квартетным столом, то есть был первым скрипачом, потом вторым, потом альтистом, потом даже виолончелистом (вторым) и, наконец, слушателем. В этом последнем чине теперь я нахожусь уже лет двадцать. Скоро стало мне стыдно играть с хорошими музыкантами и скучно с плохими. Одна любовь моя только несколько не ослабела к этому роду музыки – даже окрепла в последние лет пятьдесят. Занятия музыкой, однако, едва не погубили меня в гимназии. Я отдавал музыке все свое время и совершенно бросил учиться наукам и всякой латыни... Самым позорным образом я зазимовал в пятом классе на третий год и срезался затем, чтобы быть изгнанным из гимназии. Спасибо до конца моей жизни директору гимназии Г.И. Крелленбергу, перетащившему меня вполне незаконно в шестой класс с двойкой по немецкому языку (!), который я знал в классе лучше всех моих товарищей, кроме немца Коли Розентретера. В шестом классе я внезапно, подобно блудному сыну, «пришел в себя», очнулся, начал вновь учить уроки и, таким образом, кончил курс в Первой казанской гимназии в 1867 году.

Первая гимназия¹⁰⁴ оставила во мне гораздо лучшие воспоминания, нежели Вторая. У нас был превосходный директор и несколько превосходных учителей. Их разогнала жестокая ревизия нового попечителя Казанского округа П.Д. Шестакова, после которой немногие оставшиеся учителя, наши любимцы, как кажется, очень присмирели, хотя и при уцелевших преподавателях Первая гимназия все же велась много умнее и гуманнее, чем Вторая. Первая гимназия имела общежитие учеников, чего не было во Второй гимназии. Ее помещения

были, как кажется, вдесятеро просторнее, был отличный двор, очень большой сад. В Первой гимназии все мне больше нравилось, чем во Второй: в церкви¹⁰⁵ пел отличный хор под управлением ученика Константина Павловича Соколова – редкого по дарованию (но все-таки погибшего), были музыкальные классы, уроки гимнастики, танцев, были ученические спектакли, было дружное товарищество, был «Крендель», то есть директор Генрих Иванович Крелленберг, которого все любили и глубоко чтили, хотя и боялись как огня, был милейший инспектор Николай Михайлович Степанов, были учителя-друзья, была значительная доля свободы и отсутствие показной казенщины. Собственно, ученье как зубрисгика было в смысле наличности знаний в Первой гимназии много слабее, и это кинулось мне в глаза в первые же дни по переходе в Первую гимназию, но ученье в смысле сообщения знаний, в смысле человечности обращения с нами как людьми – было несравненно выше. Мне бросилось, однако, в глаза, что курение табаку в Первой гимназии было распространено гораздо более, чем во Второй. Припоминаю, как однажды в пятом классе Второй гимназии мы задумали перебрать учеников, курящих во время перемен между уроками, и насчитали их что-то тридцать-сорок из двухсот пятидесяти-трехсот человек. Помню, что мы сами при этом засмеялись однажды какой-то двусмысленности, случайно получившейся от ряда кличек и прозвищ, установившихся за учениками. Прозвища почему-то у нас предпочитались фамилиям. Так и считали: «Скандал» курит, «Нос» курит, «Кабы не убить» курит, «Морда-у!» курит, «Он» курит, «Айда», «Мерси вам», «Алла», «Красавчик», «Патрет», «Ванько», «Поелику», «Рожестрой», «Добчинский-Бобчинский», «Перепонка», «Баронессочка», «У, у, у» – курят... Но все-таки число курильщиков в Первой гимназии было гораздо больше, и было мне вполне противно увидеть впервые, как табак у моего соседа Фишеньки (Феогния) Голубятникова хранился в пакетике из согнутых листов «Православного Катехизиса»; противно было и бывать в «третьем отделении», где от дыма нельзя былодохнуть так же, как в театральных буфетах.

Вероятно, в педагогическом мирке Первой гимназии были две партии: новая – из молодых преподавателей с Крелленбергом, собиравшим себе товарищей по Педагогическому институту добролюбовского направления и вообще людей, относившихся к делу не по-казенному, и старая – из заслуженных преподавателей сахаровского, прости Господи, режима, то есть системы карцера, порки, под предводительством нашего священника о. Лаврова. Служителя Галкина, верного исполнителя и помощника бывшего в Первой гимназии инспектора и директора-инквизитора Ивана Александровича Сахарова, я уже не застал, но помню, что во Второй гимназии мы дразнили нашего «Филипку» «Галкой», и слышал, что в Первой гимназии дразнили Галкина «Филином». Сахарова, как кажется, ненавидели даже и в городе; по крайней мере, я помню, что его похороны не только блистали отсутствием учеников и педагогов при наличии немногочисленных мундиров, но даже были не без злости подчеркнуты в казанских газетах.¹⁰⁶

Только партиями и, может быть, некоторыми подозрениями выше я могу объяснить себе ту расправу, которую учинила в Первой гимназии профессорская ревизия под предводительством Шестакова. Конечно, после покушений Каракозова, Березовского, после польского мятежа¹⁰⁷, после разоблачения старого суда, крепостничества, после воплей всяких генералов и разорившихся дворян на «завиральные идеи» «Русского слова»¹⁰⁸ можно было представить и Первую гимназию очагом, ведущим к гибели своих учеников. Ревизовавшие гимназию профессора университета спросили всех гимназистов по всем предметам, вызывая группами, например, всех имевших по какому-нибудь предмету бал «2» или «3» или по одному ученику на каждый балл.¹⁰⁹ Так, помню я, что меня спрашивал в группе двоек по латинскому языку профессор Угянский, а с товарищами, имевшими «2», «3», «4», «5» (по одному), я отвечал из географии профессору Фирсову. Во время этой ревизии за меня взялся Н.И. Ильминский, понявший, что кроме отвлечения моего от гимназического ученья страстными моими увлечениями и занятиями музыкою,

моя неуспешность страдала более всего от запущенности моих занятий и от недоумения или незнания, за что взяться, что прежде всего привести в порядок. Я, так сказать, растерялся в своих непорядках и неисправностях. Поэтому я с радостью пошел навстречу спасавшему меня «крестному» и в какой-нибудь месяц действительно «пришел в себя». Это было осенью 1865 года.¹¹⁰

Но перед этою горестной для Первой гимназии ревизиею я опять едва не пропал совсем. И во второй раз на протяжении каких-нибудь шести месяцев спас меня Крелленберг. На этот раз он спас меня от нового инспектора Кудряшева. Крутость действий попечителя Шестакова, между прочим, обрисовалась в наших глазах тем, что наш милый инспектор Николай Михайлович Степанов был переведен учителем в Симбирскую гимназию и там так и кончил свою карьеру. На его место был переведен к нам инспектор Петр Николаевич Кудряшев, при котором появился надзиратель – брат Николай Николаевич и три сынка-гимназиста. Независимо от личных недостатков Кудряшева как инспектора, он много и сразу проиграл в наших глазах как подтягивавший нас, употреблявший подслушивание, подкарауливание, ведший предательские разговоры и мстивший нам крайне злобно. Сравнение Кудряшева со Степановым только роняло инспектора в наших глазах. Мы возненавидели Кудряшева всей гимназией с самым дружным ансамблем, и мне, вероятно, как бывшему пылким, неосторожным, откровенным, едва-едва не пришлось «в пример другим» покинуть Первую гимназию. Я помню, что я только что с сущим увлечением поиграл в лапту во время большой перемены и бывшего перед тем «пустого часа» (то есть свободного по неприбытию учителя). Вполне благодушный и, как кажется, только что получивший «5» за ответ по словесности у Логинова, я с ужасом увидел, как в класс явились во время урока директор и двое Кудряшевых. Крелленберг прочитал нам постановление Педагогического совета, в котором шла речь о невозможном поведении и лени ученика Смоленского и о требовании Кудряшева, чтобы меня исключили из гимназии. Помню, что я горько заплакал, а потом как-то одеревенел от

ужаса и, наконец, задрожал от полнейшего негодования. В эти минуты я самым честным и беспристрастным образом говорил себе, что не сделал ничего позорного, начал уже учиться старательно. Между тем чтение продолжалось. Я не слышал середины протокола, в котором, конечно, были изложены мои вины, но я после паузы в чтении, нарочно устроенной Крелленбергом, вдруг услышал, что он, Крелленберг, заступился за меня и спас меня от недоброго Кудряшева. До сих пор говорю спасибо Генриху Ивановичу и до сих пор не могу придумать, чем бы я действительно мог заслужить исключение, но помню, что я возненавидел Кудряшева как-то особенно – я скрежетал зубами, даже видя его издали. Этот человек впервые ознакомил меня с чувством презрения и ненависти.

Ревизия Первой гимназии лишила нас всех самых лучших и самых любимых учителей, почему сейчас же гимназия заметно пала и притихла в состоянии какой-то приниженности. Остались плохие учителя, и вновь появились фигуры вроде выкреста из жидов Владимирова, меня не учившего, однако, какого-то юродивого Боублевского и т.п. Но через год я уже был студентом и потому перестал интересоваться дальнейшим упадком гимназии. Несомненно, однако, что уход Износкова, Аршаулова, Логинова, Желоменского, Ленстрема, Бересфорда и кончина Берга лишили гимназию энергичных, свежих людей, талантливых и старательных, а прибытие новых учителей, даже математика Жбиковского (плохо говорившего по-русски), было встречено нами смехом и каким-то презрением. Мы, так сказать, вымещали гимназии разлуку с нашими серьезными и увлекательными учителями, полюбив их в разлуке еще больше, и подчеркивали новым учителям наше мнение о них, наше сравнение их с бывшими у нас преподавателями. Я особенно любил Износкова, Аршаулова и Ленстрема, нравились мне и Логинов, и Желоменский, – но о всех них после.

Новые товарищи приняли меня в Первой гимназии благожелательно, и я скоро сдружился с ними. Квартира наша в львовском доме была гораздо ближе к Первой гимназии, почему я, поступивший в класс Мукка и скоро сделавшийся регентом хора на левом клиросе, бывал в гимназии и в послеобеденное

время. Моя игра на скрипке с Федей Львовым (жившим пансионером у директора), уроки танцев, ученические спектакли доставили мне много занятий вне дома и отучили от казенщины Второй гимназии. Зато ученические занятия сильно ослабели, несмотря на то, что под влиянием товарищей я начал много читать. Читали мы и вместе, и в одиночку, и с обменом взаимных впечатлений, читали без разбора все, начиная от заполонивших нас Некрасова и Писарева и кончая Боклем, от «Губернских ведомостей», «Сына отечества» до зазорных тогда и гремевших «Московских ведомостей». Как эти годы для меня, так и десяток этих лет был вообще временем какого-то особенного подъема духа. В самом деле, тогда жилось с каким-то подъемом. Довольно вспомнить, что одновременно жили Достоевский, Гончаров, Толстой, Островский, Салтыков, поэт [А.К.] Толстой, Тургенев и масса далеко не бездарных, но горячившихся второстепенных писателей, имена которых так общеизвестны. Книжечки журналов, во множестве получавшихся в Казани, читались нами сообща, товарищескими кучками; обличительные статьи нас приводили в неописанный восторг и воспитывали в нас благороднейшие чувства, а отнюдь не растление нравов и неустойчивость. Эти статьи скорее утверждали нас в порядочности и вырабатывали в нас стойких людей против всякой неправды. Мы не могли, конечно, понимать глубины Достоевского, Толстого, изящества Тургенева, но негодование повседневных листков, голая правда Николая Успенского, Помяловского, Решетникова, печенья Дьяченко для сцены, «Губернские очерки»¹¹¹ и т.п. приводили нас в полное восхищение. Мы сами писали стихи, компанией сочиняли фельетоны, писали обращения к писателям, сочиняли карикатуры на всех и на все, откапывали подходящее нашему возбуждению у Белинского, Добролюбова, Писарева... Такое «умственное движение», конечно, не допускало в нас ничего пошлого, крайне дисциплинировало наше поведение в хорошем для будущего смысле, воспитало в нас уважение к людям, труду и выработало из нас очень многих вполне порядочных людей. Далеко не могу сказать этой похвалы про поколение следовавших за нами «классиков», забитых злосчастною

толстовскую школу¹¹², но всю мою жизнь любовался я на своих товарищей, как и бывших старше меня четырьмя-пятью годами, выросших на моих глазах и проведших свою жизнь достойно и в хорошем труде. И «классиков», и старых гимназистов я помню и в детском, и зрелом возрасте – и какая же разница между нами! Мне невольно вспоминается случайно подслушанная мною фраза почтенного профессора Антона Григорьевича Станиславского на университетском экзамене, бывшем в 1870–1871 году. Я экзаменовался у Юлия Микшевича по политэкономии и слышал, как Антон Григорьевич, только что кончивший свой экзамен, воскликнул, говоря своему ассистенту, профессору Шпилевскому: «Вот я профессором тридцать лет, а никогда еще не видал таких малоразвитых зубрил, как только что бывшие сорок-пятьдесят этих «классиков»! Что за тупость, что за забитость!». Шпилевский сказал ему: «Да, и на меня эти первокурсники произвели самое жалкое впечатление. Они, очевидно, мало читали и только вызубрили лекции». Помню, что я даже остановился в своих мыслях, так как обдумывал в эти минуты предстоявший свой ответ строгому политикозэконому, – до такой степени я был поражен этими суждениями профессоров о «классиках».

Я отлично помню также спор студентов из-за нашей «вспомогательной кассы», в котором столкнулись мы в четвертом курсе с тремя курсами «классиков». Как много мы в свое время передумали, перечувствовали, как мы были спаяны, бодры и энергичны в сравнении с заморышами, вялыми «классиками»! Мы совершенно победили в этом споре, но поняли, что мы были и начитаннее, и более развиты, даже и даровитее; что «классики» не воспитали в себе ни любознательности, ни смелости мысли, что заснули в них, несомненно, бывшие у многих дарования. С тех пор я, благоговейщий перед классической Грецией, совершенно отрицаю классическую гимназию нелепого и безжалостного толстовского склада и считаю, что эта ошибка Александра II задержала у нас очень многое и отворила настежь ворота еще большему. Конечно, вполне понятно, что граф Толстой был, кроме министра «народного помрачения», еще

последовательным обер-прокурором Синода и министром внутренних дел и был вполне верен себе всюду. Конечно, впечатления тех лет в смысле форсированного и впереди реформ движения молодежи должны были вызвать петербургскую канцелярскую реакцию. Но я до сих пор не могу понять бывшего существования двух одновременных течений с 19 февраля 1861 года. Одно – с следовавшими новыми судами, университетским уставом, земством, большею свободою печати и проч.; и другое – с вполне противоположными «фюить», с классицизмом, с полным педагогической лжи порядком управления учебными заведениями, с одновременными повсюду письменными ответами на одни и те же темы, с порядком отношений к детям, полным недоверия и трактования детей чуть не мошенниками и крамольниками. Немудрено, что мало идеалистов выбилось из этой жестокой, бессердечной и безнравственной школы.

Здания Первой гимназии расположены в двух очень больших владениях, между которыми проходит Покровская улица. Кроме огромного главного дома, вдвое, если не втрое большего Второй гимназии, у Первой гимназии имелось еще семь больших каменных домов и каменная же церковь; кроме того, был огромный сад, в котором были отличные беседки, гимнастка, кегли, фонтан и т.п. В таком огромном помещении, понятно, жилось просторнее, вольнее, веселее, учеников было больше. Кроме классов, огромнейшего зала (в нем я, сколько помнится, насчитывал девяносто шагов в длину и тридцать в ширину) у нас были особые «занимательные комнаты», огромная спальня и огромнейшая, до полного простора, столовая. Ученическая библиотека была едва ли хороша, и, хотя я прочел из ней очень много, не припомню сейчас даже, где она помещалась. Зато инструментальный класс и сценические приспособления привели меня в восторг в первую же зиму.

Переберу в своей памяти людей, учивших меня в Первой гимназии. Знакомство с Генрихом Ивановичем Крелленбергом, директором Первой гимназии, началось у меня еще в Лютеранской школе, куда он во время моего там учения

заглядывал не раз. Позднее, по случаю знакомства и дружбы Н.И. Ильминского с известным ориенталистом И.Ф. Готвальдом, я был на свадьбе Генриха Ивановича, женившегося вторым браком на Нине Иосифовне Готвальд.

Почтеннейший Иосиф Федорович Готвальд, старый друг Н.И. Ильминского, был ординарным профессором Казанского университета по (кажется) персидской словесности. Когда восточный факультет был переведен из Казани в Санкт-Петербург, Готвальд остался в Казани библиотекарем университета и начальником единственной в своем роде университетской типографии, в которой могли напечатать какую угодно книгу, хоть китайскую. Готвальд был доктор Бреславльского университета и, как истый ученый, всю жизнь провел в своем кабинете, но печатал очень мало, хотя и пользовался в кругу ориенталистов большим почетом. Его жена Елизавета Андреевна, толстая, малообразованная, но благодушнейшая немка, была вспыльчива, любопытна, нетерпелива и прелестная хозяйка. Я, уже студентом, бывал у Готвальдов очень часто, дружа с подругой Анюты [Анны Ильиничны Альсон] милой Франциской, вышедшей потом несчастно замуж за моего товарища Вильгельма Христофоровича Эккермана – умного и способного, но пьяницу. Франца скоро умерла от чахотки, к которой была предрасположена. Она была очень умна и проста, много читала, порядочно играла на фортепиано и любила музыку. Я играл с ней очень много. Последнее мое воспоминание о почтеннейшем Иосифе Федоровиче, ныне покойном, относится к свиданиям его с Н.И. Ильминским во время предсмертной болезни последнего. Иосиф Федорович, уже вдовый, был в последние свои годы вполне одинок, так как дочери его вышли замуж, сыновья женились, и все разбрелись в разные стороны, частью же умерли. Свидания двух старых, давних друзей, братьев по науке, высоко ценивших и любивших друг друга, были невыразимо трогательны. Иосиф Федорович всегда

крепился при свиданиях с больным Николаем Ивановичем, но затем выходил и не мог удержать слез. Пятидесятилетний юбилей его докторства пришелся как раз в день похорон Николая Ивановича, и Готвальд перенес неизбежное для него празднование на восемь часов утра, так как к этому празднеству, по старому обычаю Бреславльского университета, приехал оттуда депутат с новым дипломом взамен будто истлевшего от времени. После приема депутации Иосиф Федорович приехал на похороны своего старого друга. Пережил он Николая Ивановича очень немного.

Таким образом, и я, и Генрих Иванович встретились, зная друг друга, когда отец подавал ему прошение о переводе меня в Первую гимназию. «Дурак ты, чего не учился», – приветливо сказал мне Генрих Иванович, но в гимназию все-таки принял, хотя и высказал, что много уже «дураков, ослов, негодяев и мерзавцев» было им принято из Второй гимназии. Не без умысла я упоминаю об этом, вспоминая Генриха Ивановича. Этот сущий добряк напускал на себя грубость, стараясь казаться строгим, крикуном. Но гимназисты, очень любившие «Кренделя», хорошо знали его доброту и приветливость, постоянную о нас заботу. Однако мы боялись рассердить нашего любимца, ибо, смотря по степени гнева, формула «дурак ты, осел ты, негодяй ты, мерзавец ты» раздавалась иногда в таком грозном тоне, что и душа в пятки уходила, и сторонились мы по углам, чтобы не попасться грозному директору. Впрочем, та же формула или часть ее, но в указанном порядке выговаривалась иногда с глубокой, полной любви ласкою, с улыбкою, которую и мы особенно любили у Генриха Ивановича. Мы знали, что какую бы ученик провинность ни учинил и в чем бы ни попался, первое средство – бежать к Генриху Ивановичу и каяться ему ранее, чем дойдет жалоба через другое лицо; верная заступка всегда была от него. Смотря по степени вины и по степени его благодушия, раздавалась формула в одной, или в двух-трех частях, или сполна, с прибавкою «пошел вон». Но бывало и одно последнее, без формулы. Это значило, что в будущем предстоит плохое. Но

иной раз стоило сказать что-либо оригинальное, чтобы гнев Генриха Ивановича мгновенно смягчился. Так было со мною в «занимательной комнате» седьмого (самого старшего) класса, в которой однажды мы действительно внимательно занимались математикой и, сами не замечая, накурили жестоко. Вдруг – смотрим – перед нами «Крендель», а я как раз у него под рукой. Высокий крик: «Это что? Говори сейчас: кто?». Мы все знали, что Генрих Иванович, сам не кутивший, терпеть не мог кутивших учеников, хотя и глядел на куренье старших сквозь пальцы. «Говори: кто?» – кричал взбешенный Генрих Иванович, держа меня за шиворот... Не знаю, как я решился, но я ответил: «Это пыль, сейчас только мели...» – «Что? Пыль?... Собака ты...», но вдруг я заметил диминуэндо в голосе и улыбку. «Дурачье, солдаты, отворите форточки сейчас» – и гроза миновала. Генрих Иванович терпеть не мог, когда ему жаловались друг на друга: «Тебя бьют, – отвечал он обыкновенно, – стало быть, тебя можно бить, потому что дурак ты; веди себя так, чтобы тебя не смели бить, вон NN – какой пузырь, а его любят и не бьют. Сам виноват, не задирай, не так бы еще тебя надо...». В более крупных шалостях учеников, особенно же если ему предварительно повинились, воспитателям доставалось жестоко: «Они (ученики) потому и дураки, потому и делают глупости, что вы (воспитатели) плохи, не учите их, не следите за ними; если бы действительно работали, неужели у благовоспитанных детей были возможны такие глупости? Что с них, дураков, да еще таких пузырей, взять, когда за ними не смотрят?».

Нетрудно представить, что должен был выслушать инспектор Кудряшев от не любившего его и глубоко тактичного нашего любимца-директора.

Генрих Иванович вышел в отставку недавно, отпраздновав пятидесятилетие своей службы. **Я вспомнил, что это было действительно так, потому что в первое лето (1901) моего пребывания в Петербурге судьба свела меня, Владимира Ивановича Банцекова (моего товарища с Лютеранской школы, ныне члена Петербургской Судебной палаты) и доктора Георгия Семеновича Второва, врача**

Капеллы. Мы в товарищеской беседе много вспоминали о далеком прошлом и, случайно увидав газетную депешу о юбилее Генриха Ивановича, послали ему приветственную депешу. Он здравствует и сейчас бодрым, веселым старичком, общим любимцем, поминаемым не одною тысячею благодарных учеников. Его простота и прямота при общеизвестной доброте его сердца заставляли всех спускать ему очень многое, особенно же при его обращении с ученицами и классными дамами в женской гимназии и в Родионовском институте. Мне рассказывали, что в заседании советов женской гимназии и института бывали часто презабавные сцены между прямолинейным Генрихом Ивановичем, доброту и ум которого, конечно, знали все, и классными дамами (особенно же престарелыми). Последние, сердечно любившие старика, не выносили все-таки шутливых и трезвых замечаний Генриха Ивановича, приходя от них в своеобразный институтский ужас, особенно когда директор выражался, пожалуй, и грубовато для их стародевических ушей. Он был прямо безжалостен для чопорных классных дам и для начинавших дурить учениц, называя их чопорность и дурь прямо своими именами, несмотря на якобы нежную сентиментальность всяких «страданий». Например, одной барышне (Е.А.Б.), только просватанной, он неожиданно возгласил такую фразу: «Хорошо, хорошо, поздравляю, давно уж не то на уме! Выходите замуж – говорят, он человек ничего себе. Все же лучше, чем учиться у немки по параграфам да долбить исключения! Когда свадьба?». Барышня, конечно, пропадала от стыда. «Чего краснеете, я ведь любя говорю... Вот и такая-то совсем молодец – зимовала в третьем, зазимовала и в четвертом классе, да и надумала хоть за моего дурака (то есть за ученика Первой гимназии) выйти замуж, а ты уж в шестом классе...». Последовавший поцелуй в лоб завершил эту оригинальную сцену перед подругами Е.Л.Б. «Что смеетесь? – продолжил было расходившийся Генрих Иванович, – завидно, что ли, вам? Приходите скорее с женихами, и вас поцелую любя...».

Вместе с О.А. Имшеником, директором Второй гимназии, прослужили эти два старика в Казани, оба на одних местах, по

пятьдесят лет, но Генрих Иванович так и остался для всех учеников высокочтимым, милым «Кренделем», а другой – только Осипом Антоновичем, или «А пачему?», или «Его Превосходительством».

Первым инспектором при мне был математик Николай Михайлович Степанов, вероятно, судя поговору, вятич. Это был добрый, веселый, чрезвычайно снисходительный человек, как кажется, избаловавший и распустивший гимназистов в весьма значительной степени. Мы очень любили его, а приказания его, всегда начинавшиеся словами «Я вас прошу...», мы считали долгом исполнять непременно и даже требовать от других исполнения приказаний, соблюдения тишины и проч. Николай Михайлович очень любил выручать нас в большие перемены – заходить в класс и с увлечением, мастерски разъяснять нам будущий урок географии или алгебры, выручая тем особенно так называемых «греков», или «псевдоматематиков», то есть учивших греческий язык и проходивших потому сокращенные курсы математики. Добрый Николай Михайлович, конечно, мог и вспылить, и очень сильно. В этих случаях он уже не помнил себя от гнева, говорил много лишнего и неправдоподобного (вроде: «Я тебя в солдаты отдам!», «На месяц в карцер!») и «отходил» через 15–20 минут, ласково говоря виноватому: «Хорошо, что ты, мерзавец, утек от меня – я бы тебе задал трезвону». Между тем этот же самый «мерзавец» ни жив ни мертв стоял перед ним все время, пока Николай Михайлович не забывался окончательно и, делая заключения от частного к общему, срывал свой гнев на совершенно неповинных людях по совершенно неожиданным провинностям, даже существовавшим только в разгневанном воображении добряка-инспектора. Отлично помню, что мой товарищ Казимир Петрович Шестакович запустил шаром в кегли так неудачно, что больно, очень больно ушиб какого-то малыша. Конечно, последовало через одну-две минуты: «Собака ты!» и проч., вспылил и Николай Михайлович, вернувшийся уже из больницы, набедокуривший там с три короба и прибежавший в гимназию. Вместо Шестаковича ему подвернулся воображаемый им за Шестаковича, и большого труда стоило вразумить

расходившегося инспектора. Очнувшись, он увидел соболезнующего несчастному случаю поставщика дров и счел надобным отпеть ему сполна все накопившееся и за Шестаковича, и за недоразумения по поставке дров. Мы даже испугались возбужденности доброго Николая Михайловича! Он был просто жалок.

Новый инспектор Петр Николаевич Кудряшев, о котором я уже упоминал не один раз, появился в Первой гимназии осенью 1865 года, когда мы перешли в шестой класс. Кудряшев – бывший товарищ и друг нового попечителя Петра Дмитриевича Шестакова (говорят, они были на «ты») и, конечно, его рукою был переведен к нам, кажется, из Смоленска, затем через два года был отправлен в Самару директором гимназии. К чести Шестакова следует приписать, как уверяли меня, что он вскоре порвал всякие сношения с Кудряшевым, кроме служебных. Потому Кудряшев, выслужив пенсию, может быть и усиленную, вышел в отставку, сопровождаемый далеко не сожалениями об утрате такого начальника. После окончания мною курса гимназии в 1867 году я встретился впервые с Кудряшевым в 1889 году, когда нашел его служащим по найму помощником инспектора в Московской консерватории. Конечно, за двадцать с лишним лет очень изгладилось мое враждебное чувство к этому человеку, но он был неприятен по-прежнему. Это был низенького роста, довольно тучный человек, очень умный и ловкий, но недобрый и, вероятно, мстительный. Он был совершенно лыс, глаза его были какие-то желто-серые, пронизывающие; на тонких губах была всегда какая-то недобрая не то улыбка, не то искривление губ; ногти он носил огромные.

Уже первое появление этого педагога в гимназии показало нам, что прошли наши вольные денечки и наступает время совершенно непривычных нам крутых порядков, в которых мы сразу никак не могли разобраться. Подстерегание, подслушивание, постоянные его появления во время перемен в «третьем отделении» с полным сарказма: «Господа такие-то, позвольте у вас закурить папироску» и затем наблюдение за всеми десятками куривших и не подозревавших о записи их Кудряшевым и его ассистентами-надзирателями – привели нас к

полной ненависти к этому издевавшемуся над нами корректнейшему якобы человеку. Ученики, возмущенные его предательством, говорили ему несколько раз невероятные дерзости, вроде «это подло», и слышали его ответ: «Хорошо-с, так и будем знать, так и запишем в кондуит, а там после увидим, что из этого выйдет». Вскоре по появлении Кудряшева и его сыновей и брата надзирателя мы увидали много новой прислуги. Мы увидали также, что наша свобода (даже тайные совещания делались известными Кудряшеву) – дело прошлое и что нам ничего не остается, как терпеть. Вскоре затем, весною 1866 года, мы увидали грозную ревизию и удаление из гимназии всех лучших преподавателей. Мы окончательно притихли перед Кудряшевым и поникли головами. Мы были бессильны и были оскорблены окружавшим нас шпионством и недоверием. Наша надежда – «Крендель», очевидно, сам не решался вступить в борьбу с Кудряшевым, сильным поддержкою попечителя, и выжидал время, искусно лавируя и заступаясь, где было возможно (как, например, в моем деле); но для нас было очевидно, что ревизия сильно подсекла крылья Генриху Ивановичу, что он обессилел в гимназии с выходом талантливых учителей и даже приуныл, пал духом. Весь 1865/1866 учебный год был тяжелым школьным годом, вероятно, не у одного меня. При переходе в седьмой класс либо мы подбодрились, либо в воздухе гимназии почуялось что-либо новое, но стало легче. Однако потом от этой легкости, а особенно некоторым из нас, пришлось очень тяжело. Новые преподаватели гнули нас прямо в бараний рог, несмотря на наши посильные протесты. У меня вышла (не помню подробностей) какая-то стычка с инспектором Кудряшевым за месяц до окончания мною курса в гимназии, вновь поставившая на карту всю мою будущность.¹¹³ Я только помню, что я резко отказался встать в угол на колени, заявив, что мне уже восемнадцать с половиною лет. Память моя сохранила выражения трясущегося от злости Кудряшева: «Вторично прошу исполнить мое приказание» и «Приказываю третично, в последний раз», и я отказался тем, что молча взял «omnia тесит»¹¹⁴ и ушел домой. Отец мой дома, узнав все, очень

встревожился, но поцеловал меня в лоб и, кажется, немедленно побывал у директора. История эта кончилась выдачей мне табеля за февраль или март 1867 года с отметкою в поведении «два».

Законоучителем и духовным отцом был священник о. Василий Иванович Лавров, у которого я учился только два года. Не знаю, выслужил ли он пенсию или вышел по болезни, но только вдруг вместо него явился старый знакомый, о. Андрей Гурьевич Ласточкин, еще более постаревший, временно занимавшийся кое-как, по вольному найму, впредь до определения постоянного преподавателя.

Мне говорили не раз, что о. Лавров был очень образованный, серьезный богослов, старательно занимавшийся наукою. Я, конечно, не мог, понять меры его знаний, так как уроки его проходили оригинально в высшей степени. Являясь в класс, он сам читал молитву, а затем благословлял каждого ученика отдельно, после чего следовало нечто своеобразное. Батюшка садился на кафедру, нагибался над журналом, ставя локти на колени, и затем только перекликал фамилии учеников, непременно по списку. Мы отвечали ему до тех пор, пока он не скажет (не поднимая головы): «Довольно, такой-то – дальше». Следующий начинал именно там, где останавливался предыдущий. Когда урок, заданный, был отвечен весь, то тот же ученик начинал его сначала и отвечал вновь до слов «довольно, такой-то дальше». Когда отвечал, наконец, последний, то он, окончив доклад урока, восклицал: «Все!». Батюшка брал перо и ставил по вдохновению «четверки» или «пятерки», не подозревая того, что все отвечавшие ему не иначе как слово в слово, на самом деле при внимании батюшки не могли бы издать ни звука, так как не только не знали урока, но даже не учили его, а отвечали либо прямо читая книгу, либо читая книгу на спине или на шее у товарища, либо написанное на ладони или на бумажке, обвернутой около крахмального рукава, и т.п. Простота наших ответов доходила до того, что сидевшие под носом у батюшки часто даже рассчитывали примерно, что им придется отвечать, и писали себе только это. Когда расчеты почему-либо не оправдывались, то с других скамеек

передавали другое написанное. Бывали смельчаки, которые даже отвечали за своих товарищей. У нас училось немного киргизов и башкир. Рассказывали мне, что иногда, будто бы смеха ради, заставляли их отвечать батюшке по книжке вместо православных и что после этого фортеля батюшка был в большом недоумении, что ему ответил лишний по счету ученик. В нашем классе этого не было, так как Валитов и Габидуллин нетвердо говорили по-русски, хотя они всегда были на этих уроках, ибо им некуда было деваться в эти часы.

Но тот же о. Василий Иванович был совсем другой человек в храме Воздвиженья, бывшей приходской хорошей каменной церкви, сделанной, кажется, при Павле I исключительно гимназической. Дьяконом при мне был о. Василий Иванович Благоннадежин (наш учитель церковного пения), а старостой Яков Яковлевич Пухов – бывший учитель географии. О паре этих оригиналов будет речь впереди. Упоминаю здесь о них потому, что они вместе с четырьмя моими товарищами – Петровым-чтецом и с двумя казаками Скрипниковым и Исаенко, священосцами, равно и с Гурячковым, бывшим по части постановки аналая, постановки иконы на середине храма, подачи кадила, – составляли штат о. Лаврова в церкви и постоянно были в чем-либо виноваты вследствие вспыльчивости батюшки, громко отчитывавшего их в алтаре чуть не за каждую службу. Наш законоучитель служил как-то своеобразно, то совершенно восторженно, то равнодушно. Бывали случаи, когда, особенно в великие посты, о. Лавров становился на левый клирос и распевал при пустой церкви вдвоем с дьяконом (славным баритоном) такие удивительные, восторженные рулады, каких я ни у кого в храме не слыхивал. Он носился от басовых нот к высокому фальцетному дисканту с такою свободой и с такою несдержанностью, что трудно было бы поверить его благоговению, если бы он не стоял, поднявши очи и не прижимая иногда руки к груди. Бедный о. диакон, очень опытный обиходный певец, твердо знавший напевы, едва-едва тянул *cantus firmus*, невольно и деликатно следя за руладами восторженного батюшки. Я много раз слыхал эти своеобразные дуэты и помню, что однажды прямо встал в тупик, слушая

вариации о. Лаврова на припеве «Яко с нами Бог». Что это за искусство – может быть, и остаток, по преданию, искусства «excellenter canere»¹¹⁵, – решить не берусь.

О. Лавров был очень вспыльчив; раза три-четыре при мне он позволял себе делать в храме, полном народа, такие непозволительные для священника вещи, которые можно назвать почти скандалом. Например, однажды я видел от начала до конца крайне тяжелую его вспышку и, признаться, был жестоко оскорблен случившимся. Гимназисты стояли в правой арке и во всей правой передней части храма. Поэтому только передние ряды и стоявшие вне последнего из них были на виду у батюшки, задние же ряды, и особенно в арке, были вне всякого контроля. Богомольцы-гимназисты этой половины, конечно, вели себя далеко хуже, чем передние малыши, стоявшие навтыжку и дружно падавшие на колени или кланявшиеся при известных моментах богослужения. В начале каждого учебного года порядки передних рядов скоро устанавливались среди вновь принятых шепотом бывалых учеников: «Все на колени», «Все – поклон» или «Наклоните головы» и т.п. Чем далее было вглубь рядов, тем более замечалось отступлений от указанных знаков богопочтения, а в задних рядах – так иногда прямо стояли с книжками, читали романы, учили уроки и проч. В эти задние ряды начальство и не заглядывало. «Крендель» ходил в церковь редко, более всего в царские дни. Присутствие «немца», «начальника», как, кажется, не ладившего с батюшкой, вероятно, раздражало последнего, особенно в случаях внезапно находившего на него восторга за литургию. Случай, о котором я вспоминаю, был такого содержания: Василий Иванович увидел, что после возгласа «Со страхом Божиим и верою приступите» не все ученики пали на колени. Этого, вероятно, после одной из частых на кого-либо вспышек в алтаре, было достаточно, чтобы крикнуть тут же, крайне резко, из Царских дверей и с чашей в руках: «Ослы!». Поставив чашу на престол, батюшка вместо возгласа «Спаси, Боже, люди Твоя» вышел из алтаря, подошел к «Кренделю» и так его отчитал, грубо, резко, запальчиво, совершенно непозволительно в церкви, что мы все совершенно

растерялись. На беду, старшие ученики, поняв, что выходит что-то неладно, повылезли вперед из арки, чтобы узнать в чем дело. Вероятно, либо кто-нибудь усмехнулся или позволил себе что-либо, только батюшка вдруг, оставив директора, ворвался в кучу старших учеников и произнес совершенно неистовую, бешеную речь, полную даже неприличных слов... Всем тут досталось, даже и «немцу-директору» прямо в глаза были брошены жестокие упреки при полной публикою церкви. «Конечно, – кричал неистово наш батюшка, решительно не помня себя, – ваше превосходительство лютеранин и не может ни знать, ни понимать значение частей нашего богослужения! Ваше равнодушие к нашей церкви уничтожает мой пастырский труд, и в конце концов мы выращиваем либо безбожников, либо вон каких остолопов!». Крелленберг стоял бледный как смерть и не сказал ни слова. Мы окончательно растерялись до такой степени, что я теперь даже не припомню, как кончилась эта злополучная служба, даже кончилась ли. Что-то смутно припоминается, что нас увели или хотели увести. Я был так потрясен случившимся, что не посмел рассказать дома о виденном мною и поведал отцу после того, как слух дошел до него со стороны. Кажется, если не ошибаюсь, это было весной, а осенью о. Лавров либо умер, либо хворал, либо вышел в отставку.

Исповедоваться у о. Лаврова, когда до нас, старших, доходила очередь и когда он был уже утомлен, было сущим мученьем. Неудачный ответ на какой-нибудь его вопрос влек за собою резкую отповедь: «Ты праведник, тебе нечего говеть, исповедоваться и причащаться» или «Пошел вон, ты еретик!». Он гонял нас с исповеди без всякой жалости, иных, как говорили, даже по два-три раза. Мы, мальчишки, не догадывались, что перед нами был нервный, усталый человек... Но – Царство ему небесное!

Другой законоучитель, отец Никандр Александрович Переверзев, был посвящен из доцентов академии, был молод, красив, очень большой франт и, конечно, заставил нас вздохнуть много свободнее после о. Лаврова. Но оказалось с неумолимою ясностью, что мы ровно ничего не знали из

гимназического курса... Ничего не оставалось делать, как наскоро вызубрить главнейшее и с помощью всяких хитростей проскользнуть на выпускном экзамене мимо такого умного и тонкого владыки, как известнейший богослов Антоний, архиепископ Казанский. Не помню теперь верно, но, кажется, мы выбрались благополучно только по неприезде Антония на экзамен. У отца Переверзева я учился только один год. Он мне почему-то не нравился, и я не могу даже вспомнить ясно, что было тому причиной.

Наш учитель словесности Николай Михайлович (кажется, так) Логинов¹¹⁶ был отличный, серьезный учитель, знавший и любивший свое дело. Он был строг и требователен. Из его уроков иногда выходили такие очаровательные беседы, которые глубоко западали в душу и крепко удерживались в памяти. Например, я до сих пор помню его объяснения тропов, беседу «о комическом», «о трагическом», «об идиллии», «об элементах народного эпоса в былинах, сказках» и т.п. Что-то помнится мне, что рассказывали о жестоком потрясении Николая Михайловича ревизиею Шестакова, несправедливости которой он не нашел силы выдержать; будто бы он начал пить, измывался в Пензе – правда ли то, не знаю, так как совсем потерял его из виду.

У Николая Ивановича Шеффера, с которым я встретился этой зимою (1902) в Петербурге, я учился всего только один год и не могу точно вспомнить ничего особенного, кроме того, что однажды я написал ему «сочинение» об Иване Грозном, удивившее его двояко: невозможнейшими грамматическими ошибками и оригинальным для ученика литературным языком... За это сочинение я так и получил странный бал: «??» и «5+». Помню также стычку Николая Ивановича с товарищем Иваном Терентьевичем Орловым (моим конкурентом в регентском деле, очень даровитым, очень серьезным и авторитетным, потом присяжным поверенным в Казани). Шефферу что-то не понравилось в позе или в поведении Орлова, и он, вспыхнув, сказал во время урока: «Потрудитесь вести себя и заниматься, как я требую; вы плохой ученик и корчите забавно из себя разочарованного; на разочарованных теперь все смотрят как на

дураков». И Орлов, и мы все так и вскочили с мест, потребовав объяснения. Воспоминания о Логинове и об обращении с нами бывших наших учителей разом встали рядом с предубеждением к Н.И. Шефферу, действительно уступавшему Логинову во всем. Объяснения были бурные, но чем кончилась эта история – не припомню. Припоминаю еще, что перед самым окончанием нами курса нашу гимназию посетил министр граф Дмитрий Андреевич Толстой¹¹⁷, попавший у нас на урок Шеффера. Шеффер растерялся в такой степени, что не мог говорить – язык дома забыл, и, очнувшись, забормотал какую-то несладкую в забавнейшей позе, стоя одной ногой на высокой кафедре, а другой на полу и трясясь как осиновый лист.

Преподаватель математики Павел Васильевич Аршаулов был мне известен еще в Оренбурге, где я познакомился с ним в прелестной семье Костромитиных. Это был чудесный учитель и отличный человек. После я еще раз видел Павла Васильевича в Гельсингфорсе, где он был директором русской гимназии. Вообще, однако, мои воспоминания об Аршаулове как-то смутны. Я помню, что он не выносил моих товарищей-"греков", проходивших за счет греческого языка сокращенный курс математики; помню, что он иногда очень изящно толковал теоремы, что мы его очень любили, что он никогда никого из нас не обидел, – но все это как-то смутно, без целостного представления.

Я встретился потом только с семьей П.В. Аршаулова, служившей панихиду по своему покойному отцу, скончавшемуся в глубокой старости в своем имении близ Бологого в декабре 1904 года.

Другим учителем математики был милейший Илиодор Александрович Износков¹¹⁸, пользовавшийся совершенно исключительною любовью учеников, самым исключительным уважением, так как он чудный человек, один из очень немногих людей, высокообразованный, добрый, честный и работающий. Как могла быть ревизия так близорука, что не поняла такого удивительного учителя, – понять трудно. Я знаю Илиодора Александровича до сих пор, так, как и сейчас он, уже старец, служит у Константина Петровича Победоносцева чиновником

особых поручений. Помню, что мы любили Илиодора Александровича как-то особенно, культивно, вроде «обожания» (хотя и серьезного), практикуемого в женских институтах. Лично про себя я скажу, что это один из тех очень-очень немногих людей, в которых я всегда только удивлялся их наиполнейшей безукоризненности и какой-то удивительной, заразной изящности. Как я полюбил его в детстве, так год от году сильнее я люблю его и теперь. По выходе из гимназии Илиодор Александрович женился вторично, и мы, бывшие его ученики, поздравили его, из-за чего вышла глупая, неприятная история, поднятая везде совавшимся инспектором Кудряшевым.

После разгрома гимназии, по уходе Аршаулова и Износкова, прибыл сосланный в Вятку, бегавший «до лясу» Антон Ксаверьевич Жбиковский, впоследствии доктор математики, не пробившийся все-таки в профессора университета. Я слушал его уроки только один год в седьмом классе, где он читал нам «Aryphmetica universalis» по своему руководству¹¹⁹, физику и космографию. Судьба привела меня в прошлом (1901) году весною в Казань на один день, и я попал как раз к Антону Ксаверьевичу на панихиду. Конечно, это был отличный, знающий, энергичный учитель, заслуживший потом общее уважение, хотя к старости, как говорили мне, очень изменившийся как человек, который стремился быть много выше, а остался при надобности учить азам шаловливых ребят. Понятно, что учительство, в конце концов, надоело Жбиковскому. Он был в компании учителей-поляков (Балицкого, Боржимовского и др.) страстным картежником и после получения доктора бросил науку. Несмотря на очевидные достоинства нового учителя, мы не могли ему простить то, что он невольно раздражал нас, замещая собою Износкова. Мы очень ценили Жбиковского, но не упускали из виду каждого случая подразнить его, подражая его речи. Мы без стыда говорили ему: «электричество по цёпочке скáкает», «как же ж можно», «пáне» и т.п. Был у нас милейший Илюша Александров, который устроил себе спорт, чтобы корректно злить Жбиковского. Бывало, напутает что-нибудь в формулах: «Боже ж мой! – восклицает Жбиковский, – одна ошибка должна

влечь другую! Ошибемся если, еще раз вот так-то – выйдет верно, давайте же!». А Илюша возьмет (он отлично знал курс), да и сотрет что-нибудь надобное в вычислениях, да и кричит: «Боже ж мой! Как же можно было так ошибиться!» и проч.

Учитель географии был у нас Сергеев. (Я забыл его имя и отчество, а из облика его помню, что у него был огромный шрам на лбу, такой же как у моего брата Александра.) Это был географ, как кажется, плохой, но крайней мере он удивлялся моим знаниям и ставил мне всегда «пять», а я удивлялся тому, что он находил в моих [ответах] что-то особенное, что – мне было уже совсем непонятно.

Учитель истории Николай Исаевич Ленстрем, швед, оставил во мне самые приятные воспоминания как даровитый красавец, преподававший увлекательно, прочитывая нам выдержки из разных сочинений. Его изящный, открытый от лысины лоб, умное, красивое, энергичное лицо всем очень нравились. Он был сердечный друг Износкова. Мы выучили наизусть его «отдельное мнение» о порке, напечатанное в Циркуляре по Казанскому округу¹²⁰, – мнение высокогуманное, обличавшее грубое обращение с учениками, битье, карцеры, зло называвшее вещи подлинными именами, написанное смело и благородно. Ленстрем скончался, как кажется, директором гимназии в Риге.

Заступивший место Ленстрема Павел Васильевич Васильев оставил во мне столь смутную память, что я вспоминаю его как «педагога-неудачника», кончившего курс в университете, но прозябавшего в Казани несколько лет в ожидании места. Конечно, после Ленстрема хорошее впечатление на нас произвести было трудно.

Латинистов у нас было трое: Станислав Игнатьевич Перловский, Александр Степанович Желоменский и Владимир Николаевич Матвеев – каждый по одному году, все трое отличные учителя, прелестные люди, но разнившиеся между собой во многом. Перловский читал по-латыни так изящно, так благозвучно, как я никого никогда не слышал в латинской речи. Язык он знал превосходно; сам он был благодушный учитель, увлекавшийся своей латынью, но учивший нас иногда не

особенно внимательно. Я недолго учился у него, так как Перловский вскоре захворал тяжело, кажется уехал куда-то, и его уроки были переданы Желоменскому. Этот учитель был много строже и требовательнее Перловского и очень часто, досадуя на нашу бестолковость, ставил нам единицы и двойки совсем зря, без толку. Но иногда его уроки были восхитительно хороши и очень увлекательны. Иногда случалось и так, что наш учитель, довольный нами, вдруг скажет: «Давайте болтать! Вот сейчас было сказано то-то...», «По этому поводу я вспомнил...» и т.д., – и начнет, бывало, «болтать», то есть рассказывать все, что приходило ему в его очень ученую и начитанную голову: то о Таците, то о раскопках в Помпее, то о значении нумизматики, то о Добролюбове (это был, вместе с Генрихом Ивановичем Крелленбергом, его товарищ по Педагогическому институту), то о Белинском, о Пушкине, о Грановском... Беседы эти были для нас сущими откровениями. Желоменский знал, что мы увлекались чтением «Русского слова», и косвенно руководил нами, указывая на пересаливания в статьях Писарева, в стихах Некрасова. Мы самым сердечным образом любили Александра Степановича. После погрома этот многосемейный бедняк был, кажется, в Пензе.

Владимиру Николаевичу Матвееву, серьезному, никогда не улыбавшемуся молодому красавцу, превосходно знавшему свое дело, я обязан тем, что читаю до сих пор с листа по-латыни нетрудных авторов. Мы прочитали, учась у него в седьмом классе, почти все, во всяком случае, более половины речей Цицерона. Он не задавал нам уроков, но ни одной минуты у него не пропадало, и с трудом он выучил нас быстро ориентироваться в конструкции цицероновской речи. Он так приучил нас читать с листа, что мы успевали в час или минут пятьдесят пять прочитывать живо и толково по восемь-десять страниц. Сначала он требовал, чтобы мы предварительно товарищескими кучками прочитывали к уроку сколько успеем, чтобы иметь приблизительное понятие, о чем будет речь. Этим способом мы отлично привели в порядок весь запас знакомых уже латинских слов и облегчили себе возможность провести живо и интересно час с Матвеевым. Я отлично помню, что в

один из таких уроков выбор чтеца-переводчика пал на меня, и мы в один час успели прочитать всю сполна речь Цицерона «Pro Archia poeta» так хорошо и легко, что Владимир Николаевич сказам «Вон мы какие стали молодцы!». Приятно и теперь с благодарностью вспомнить такого учителя. Как кажется, он, если не умер, – директором гимназии в Оренбурге.

Немцы и французы в Первой гимназии вели свое дело гораздо лучше, чем во Второй, хотя между учителями и тут были фигуры, которые не испортили бы компании Нея, Шевре и других. Начну именно с такой фигуры Эдмунда Германыча (конечно, Германовича) Раппенгейма, которого потом почему-то также официально звали и Василием Ивановичем. Это был крайне неуклюжий толстяк, совершенно необразованный, узколобый немец, вероятно еврей-выкрест во втором или третьем поколении. Масса анекдотов, один другого забавнее, ходили про недалекого Раппенгейма. Самое забавное, что я могу вспомнить, – столкновение Раппенгейма с французом Леженом в Родионовском женском институте по поводу бывшего погрома Франции в 1870 году.¹²¹ Глупый Лежен не мог хоть на словах отделаться от не менее глупого немца, завеличавшегося победами пруссаков. На помощь французу подоспел наш учитель рисования Василий Александрович Тюфяев (служивший также в институте) – редкий остроумец и отличный карикатурист. Раппенгейм, вспылив, имел неосторожность сказать Тюфяеву: «Ви не понимает, клюп не понимает знашень германский гений и клюпость француз». Тюфяев отместил Раппенгейму иллюстрированной поэмой, в которой Раппенгейм, известный всей Казани как глупый и самохвал, самоуверенный лгун, представлен рисунками и воспет в забавных стихах во всех своих про себя рассказанных небылицах. Раппенгейм фигурирует тут и дуэлистом, и на воздушном шаре, и в виде танцовщицы, и астрономом, и присутствующим при беседе каких-то владетельных германских князей-победителей. Эту поэму с рисунками (чуть не до пятидесяти – один другого смешнее) Тюфяев подарил милейшей Наталье Ивановне Вальер, и вся Казань, музыкальная и педагогическая, знавшая автора и обоих героев поэмы, немало хохотала над героями,

вскоре помирившимися и нисколько и не подозревавшими о жестокой сделанной им отместке, так как, кроме Раппенгейма, и Лежен сумел сказать какую-то глупость Тюфяеву. Да и не мудрено было продернуть пару таких пустоголовых и типичных паразитов! Припоминаю, как же смеялись над Раппенгеймом по следующему случаю. Он иногда позволял себе обидно передразнивать ученика и издеваться над ним. Товарищ мой Мухамедзян Валитов никак не мог усвоить произношение слова «euch» (например: Ihr befindet euch), выговаривая презабавно: «эух». Раппенгейм рассердился, скроил презабавную глупую рожу и, передразнивая Валитова, кричал на смех: «Эух, эух», после чего поставил ему «1». Валитов, вспыльчивый киргиз, так обиделся, что ему сделалось дурно, и он тут же упал на пол в конвульсиях. Раппенгейм прежде всего поправил поставленную единицу на пять, растерялся совершенно... Нашего вышучивания Раппенгейма хватило настолько, что мы сочинили ряд примеров по адресу Раппенгейма на тему «Ihr befindet euch», причем каламбурили и междометиями «э-э-э», «ух», подобрали рифму «треух» и т.п.

Припоминаю про Лежена то, что во время Парижской коммуны выдался там какой-то Лежен, и казанец-француз прожужжал всем не без гордости, что «c'est l'un de notre famille»¹²², весьма отпираясь потом от такой родни, оказавшейся сущим мошенником и мерзавцем. Злости казанских газет хватило подробно пропечатать всю историю парижского Лежена и бывшее признание его своей родней от Лежена-казанца. Но и что же за чучела были эти немец и француз!

Понятно, что учиться у Раппенгейма было нечему, и он мог с нами только переводить с немецкого языка на русский самые легкие статьи из хрестоматии Берте или Эльснитца¹²³ да требовать от нас знания исключений. Как теперь помню, что судьба, приведшая меня кончать курс гимназии у этого педагога, привела меня к «1» за незнание всех исключений из какого-то правила. Я было начал: «Die Bank, die Braut, die Haus, die Maus» – и запнулся... «Unmöglich!»¹²⁴ – вскричал Раппенгейм, которому представлялось недопустимым незнание столь

коренных грамматических вещей. Выше было сказано о забавном конце этого экзамена, но ведь это могло кончиться, пожалуй, и далеко не так забавно, благодаря тупости неуча-учителя.

Зато другой немец, Владимир Карлович Берг, попросту «Бергашка», был превосходным учителем, лучшим из всех французов и немцев, когда-либо меня учивших. Это был настоящий талант, истинный виртуоз-учитель, у которого дело шло живо, интересно, толково и с огромною пользою для учеников. К сожалению, я учился у него только один год. Мы очень любили его и как воспитателя. Маленький, живой, умный и деликатный, Бергашка был из дерптских неудачных математиков и, бывало, часто заходил к нам в класс, очень хорошо проделывая алгебраические задачи, которых нам не задавали, особенно же интересуя нас практической геометрией и приложением алгебры к геометрии. Бергашкин брат, Костя, в уважение памяти покойного, преждевременно от чего-то умершего Владимира Карловича, заступил на его место, выйдя из первого или второго курса университета, и, правду сказать, сколько я слышал, едва ли не превзошел своего брата в мастерстве учить.

Зато французы в Первой гимназии уступали Бергу в очень многом. Типичною фигурою был Перси Иванович Бересфорд – толстяк, весельчак, отъявленный лентяй, отлично владевший, кроме родного ему английского, еще немецким и французским языками, несмотря на то, что он был англичанин. Комизма и самого заразительного благодушия у Бересфорда было всегда через край. Мы очень любили его, но ничего у него не делали. Метода его преподавания была какая-то бестолковая, несмотря на то, что Перси Иванович был человек, несомненно, очень умный. Он был, кроме гимназии, лектором английского языка в университете и Духовной академии. Целый день, с утра до вечера, он разъезжал с одного урока на другой. Его голос – басовая труба, а при его полной бесцеремонности где бы ни было мог сойти за десяток голосов. Его голосище раздавался по улицам Казани так громко, что далеко издали можно было узнать, что едет Бересфорд. Его ум и язык – сущая бритва,

которой он при той же бесцеремонности без всякой жалости критиковал все и вся в Казани. И все ему сходило с рук! Мне давно казалось, что этот человек ошибся, посвятив себя учительству, в котором он совершенно плох. При его уме и дарованиях, как и при несомненных знаниях, из него мог выйти, несомненно, более крупный работник.

Другой француз, Шарль Васильевич Девиц, по совершенно необъяснимой и непонятной мне причине опротивел мне в первый же урок по моем приходе в Первую гимназию. Я боюсь писать о нем, боюсь сказать что-либо несправедливое, пристрастное. Это был намазанный, завитой француз, казавшийся мне парикмахерским подмастерьем, попавшим в учителя русского юношества. Почему он опротивел мне – решительно не умею догадаться, хотя и не раз думал об этом. Прозвище ему было «Шут-с гороховый-с», и почему – опять не знаю. Деланное изящество переполняло его во всем. Даже единицы он ставил [фигурные]; одет он был всегда безукоризненно, но мы все его терпеть не могли. Я вспоминаю мой ужас, когда оказалось, что за выходом Бересфорда, он будет заниматься с нами в седьмом классе. Девиц вскоре после начала занятий умер. Вместо Девица пригласили к нам какое-то юродивое существо, прозанимавшееся с нами два-три месяца, – Клементия Боублевского. Но что вспоминать о смехотворных и бесполезных занятиях? После этого старика появился молодой человек Дютрессель, сын того старика, у которого я начал учиться в первом классе Второй гимназии. Впечатлений от этого преподавателя не помню.

Преподавателем пения у нас был о. дьякон Василий Иванович Благонадежна про которого мы говорили, что он иногда (выпивши) бывает в качестве регента весьма «неблагонадежен». В музыке он был наиполнейший невежда, но как регент-практик-самоучка – весьма опытен. Степень его невежества мы, видя его нетрезвым, очень любили ему напоминать тем, что однажды мы взяли из физкабинета нормальный камертон "а" на деревянном резонансном ящике. Василий Иванович ударил по камертону палочкой с суконным валиком и пресерьезно по регентской привычке приложил к уху

вместо камертона палочку, глубокомысленно сказав: «Неверно: *cis!*». Певец церковный он был очень опытный и очень любил пение, а переплетчик был еще лучше. Конечно, пение гимназического хора, очень хорошее при Константине Павловиче Соколове, упало после него. В мое время завелось пение на обоих клиросах; дирижировали сначала мои товарищи Поликарпов и Петров, потом Орлов и я.

Шесть надзирателей в Первой гимназии были народ совсем иного покроя, чем О.О. Галимский во Второй гимназии. При мне главными надзирателями были Карл Иванович Шмидт и Владимир Карлович Берг, а вторыми – четверо: Павел Агеноров, Осман Узеевич Саинов (татарин), Николай Николаевич Громов, Василий Александрович Тюфяев. Позднее Громова заменил Николай Николаевич Кудряшев, брат нашего инспектора. О Берге и, частью, о Тюфяеве было упомянуто только что. Карл Иванович Шмидт – престарелый преблагодушнейший немец, преплохо говоривший по-русски – был по ремеслу сапожник, зачем-то попавший в надзиратели. Мы очень любили подстергать момент, когда Карл Иванович, стоя против нашего класса с часами в руке, важно говорил служителю в надобную минуту: «Жвони», то есть «звони». Он был очень дряхл. Каков он был в качестве надзирателя, догадаться нетрудно.

Из других надзирателей припоминаю только Павла Егоровича Агенорова, да и то только потому, что как-то на Святках мы ходили «ряжеными», были у него и довольно наплясались под его музыку, так как он довольно бойко играл на скрипке, держа инструмент не у подбородка, а по-татарски, у левого бока.

Последнее обстоятельство напомнило мне нашего учителя танцев, собственно говоря не учившего нас ничему, а только приходившего к нам со скрипачом в определенное время. Многие гимназисты танцевали очень хорошо, большинство же – вполне плохо. Упомяну, наконец, о великом оригинале, старосте нашей церкви, бывшем, отставном уже, учителе географии Якове Яковлевиче Пухове. Говорили мне про него массу анекдотов и всякого рода забавнейших курьезов. Кажется, он был благодушнейший и очень недалекий человек, любивший

лгать, особенно рассказывая о своей поездке на коронацию Александра II. Что-то помнится мне, будто ему приписывалось также описание его петербургских впечатлений от освящения Исаакиевского собора (размеры которого будто бы были, по словам Пухова, так велики, что канонарх не бегал с клироса на клирос, а ездил по амвону на маленькой лошадке), от приема у императора и о том, как Александр II, катаясь с императрицей спустя несколько дней после приема, увидел Пухова в Царском Селе, узнал его и воскликнул: «Смотри, Машенька, ведь это наш милый Яков Яковлевич! Яков Яковлевич, подите сюда! Машенька, поезжай вперед, скажи, чтобы поставили самоварчик, мы приедем после», и тому подобные глупости.

Итак, вот абрисы людей, около которых прошли мои детские и первые юношеские годы. Двенадцать лет – три года в Лютеранской школе, пять лет во Второй гимназии и четыре года в Первой гимназии – я испытывал на себе их воздействия, более же того воздействия мирка товарищей, то упорно и непримиримо враждовавших со своими старшими, то открыто, честно, с глубокою, чистою любовью друживших со многими из этих старших, подошедших к нам доверчиво, по-человечески, без казенщины, без грубого начальнического окрика. Едва ли не в силу именно этого глубоко благодарного чувства к моим учителям и в силу участия к страданию и сиротливой беспомощности ученика от грубости неумелого учителя я посвятил себя учительской деятельности, глубоко полюбил свою миссию и создал себе определенный ряд моих педагогических убеждений. С другой стороны, воздействия той же школы, ознакомив практически мой детский ум случайно не в мере всего курса воспринимаемых там гадостей, уберегли меня от очень многого. Счастье мое создали школьные друзья, давно мною растерянные, с которыми я жил годами душа в душу, любя наивно, по-детски, чисто. Другое мое счастье состоит в том, что я попал в полосу последнего из гимназических курсов, проскользнувших между молотом и наковальней, то есть попал под влияние честнейших и искусных, хотя немногих, учителей-идеалистов, выгнанных из гимназии на моих глазах, но уже успевших вложить в наши юные сердца непоколебимое

служению правде и неодолимое отвращение ко всякой пошлости. Влияние это вполне совпало с духом нашей семьи, где мой отец и друзья его утвердили этот склад моего мышления окончательно и бесповоротно. Я отлично помню то благоговение, с которым я, хотя и живший в университете, впервые перешагнул порог университетской аудитории. Это чувство во мне было искренно и глубоко, как воспитанное многими годами в среде образованных друзей моего отца и моими учителями в Первой гимназии. Конечно, молодость с ее увлечениями, страстная любовь к музыке и недостаточное развитие в восемнадцать лет повлекли за собой много необдуманных проступков в мои первые студенческие годы, но я не могу и теперь укорить себя в них, так как намерения мои были всегда только честны и благожелательны, хотя по неопытности, по непрактичности и по моей горячности результаты этих намерений выходили и глупыми, и непозволительными. Но – «кто молод не бывает!». Совесть моя спокойна до сих пор, так как не кривил я душою и в беде, как в юности, так и в зрелые годы. За это спасибо гимназии и влиянию на меня моего незабвенного отца с его друзьями. Эта стойкость, это «кроткое упорство», указанное мне потом моим милым другом С.А. Рачинским, спасали меня не раз в тяжкие минуты моей жизни.

Глава II. Семья моего отца и друзья нашей семьи

«С поступлением твоим в университет ты мне не только сын, но и дорогой друг», – сказал мне отец по возвращении моем с первой лекции. И в самом деле, детство и первая юность как-то внезапно переменились на начало зрелых лет, прежде всего отозвавшись на моем положении в родной семье. Некоторое, недолгое, впрочем, время я пользовался самою полною свободою, бывал где хотел, проводил время как умел, являлся домой, когда заблагорассудилось и проч. Не хочу этим сказать, чтобы я злоупотреблял своею свободою и позволял себе лишнее, но указываю на это как на взгляд моего отца и отношение его к свободе других, даже своих взрослых детей. Я считаю, что мой отец, кроме своей доброты, удивительной прямолинейной честности, был человек самых положительных, свободных убеждений, высокогуманных, полных самого безукоризненного служения добру и правде. Весь свой век он воевал с начальством, не сдавался ни на йоту, горячо вступался за студенчество, оплатившее «чужаку и оригиналу», как его называли, тем, что на руках донесло его гроб до могилы. Многих из студентов мой отец прямо спас.

Умер он в 1882 году, после шестнадцатилетнего пребывания в должности секретаря по студенческим делам в Казанском университете. Мы жили в самом здании университета, и потому немудрено, что профессорская среда университета, как и профессорская среда Духовной академии (через нашу дружбу с Н.И. Ильминским и ректором Духовной академии А.П. Владимирским), была знакома моему отцу очень близко, с некоторыми же профессорами отец мой был в самой искренней, тесной дружбе.

Конечно, первыми друзьями нашей семьи были Николай Иванович Ильминский, мой и моего брата Василия крестный отец, и его жена, сестра моей матери, тетя Екатерина Степановна, выросшая в нашей семье; другой друг – профессор университета и затем ректор Казанской духовной академии о. Александр Поликарпович Владимирский, жена которого была

искренней подругой моей матери, а дети – нашими самыми милыми друзьями. Семеро нас дружило с семерыми детьми Владимирскими. Часто бывал большой друг отца – вдовый священник, другой профессор университета, о. Михаил Михайлович Зефилов – один из самых восхитительных людей, совершенно благородной, исключительной прямоты ума и доброты сердца. Семьями мы были знакомы мало. Наша семья состояла из отца с матерью и детей – трех братьев и четырех сестер. Мы жили очень небогато, только на скудное жалованье отца. С 1866 года вся семья помещалась в небольшой квартире на университетском дворе против библиотеки. Жилось довольно тесно, но дружно и потому весело. Рояль Дидерихса стоял в комнате, где помещался я с братом Василием. Отдельная комната была у отца, в которой он вне службы проводил свою чрезвычайно регулярную жизнь. Гости у нас бывали чрезвычайно редко, так как друзья нашей семьи понимали стеснение всех из-за тесноты нашей квартиры, когда собиралась молодежь. Поэтому мы жали преимущественно своей семьей, тихо, трудолюбиво, в зависимости от школьных порядков. Утром, за уходом всех в школу, а отца на службу, собирались к моей матери ее подруги или она уходила к ним. К двум с половиной-трем часам собирались все дети и вскоре после обеда и отдыха садились готовить уроки к следующему дню, занимаясь до ужина. В десять часов вечера мы всегда ложились спать, вставали в шесть и семь и так привыкли к этому, что почти вся наша семья до сих пор держится этого порядка.

Музыка в нашей семье любима всеми, но музыкантами сделались из нее только я и старшая сестра Софья – порядочная пианистка и дельная учительница. Все остальные держат у себя музыкальное искусство на втором плане. Все они, кроме сестры Марьи, музицируют совсем недалеко. Брат мой Александр и сестра Ольга – преплохие певцы, брат Василий – горевой виолончелист.

Семья Ильминских была нашей совершенно близкой, совершенно родной семьей, сношения с которой были ежедневны. Отец мой горячо любил Николая Ивановича, как и

моя мать. Николай Иванович, этот очаровательный, редкий человек, столь известный просветитель инородцев, отвечал моим родителям не менее горячим чувством и бывал у нас постоянно. Каждый приход этого неистощимо веселого и приветливого «папа крестного» сопровождался нашею общеою радостью. Я помню время (начало шестидесятых годов), когда Николай Иванович ходил к нам каждый день и, сыграв с отцом пульку в преферанс, зачем-то запирался с ним в кабинете и беседовал подолгу.

Я очень обязан Николаю Ивановичу и всегда горячо любил его, как и он меня. Почти до окончания курса в университете я не понимал его огромного ума и образования, начала его огромной деятельности по инородческому образованию. Мне, как и очень многим, даже и его товарищам – профессорам университета, Николай Иванович казался в то время непроходимым чудачком, весельчаком, неисправимым оригиналом, но вместе с тем все понимали его необыкновенную доброту и смутно представляли себе, что он знает очень многое.

Несмотря на бездетность Екатерины Степановны, Ильминские жили душа в душу, и моя тетя, почитавшая моих отца и мать, воспитавших ее, как за родных родителей, сделала нашей семье массу добра. Она же и устроила старость моей матери; также тетя Катя осталась после кончины матери главою нашей семьи.

Другим старым, испытанным другом моего отца был с конца сороковых годов Александр Поликарпович Владимирский, профессор Казанского университета, перешедший затем, как первый студент первого курса и уже заслуженный профессор, в ректоры родной ему Казанской духовной академии. Старец этот, ныне доживающий свой век в Казани, глубоко любил и моего отца, и нашего друга (второй номер первого же выпуска) и своего товарища Н.И. Ильминского. Елену Яковлевну Владимирскую я помню с малых моих лет в самой наивной обстановке в моей семье. Она со своими двумя сестрами и моя мать с двумя же сестрами (тетей Катей и тетей Ксетой, приезжавшей к нам из богоспасаемого захолустного Кашина

Тверской губернии) часто сходились вместе то у той, то у другой. Собрания эти обыкновенно начинались часов в одиннадцать утра и продолжались до двух-двух с половиной, происходили без мужей, сначала за традиционным кофе, потом в танцах, потом, наконец, в разговорах семейного и интимного свойства. Собрания эти были очень дружны и оживленны, но изредка нарушались в своем спокойствии приходом «кумушки», или «концыстории» – моей крестной матери Марии Дмитриевны Лебедевой. Особа эта была необыкновенно живая, очень умная, неудержимая, неумолчная говорунья в такой степени, что она никому не давала, что называется, и рта разинуть и собраться свое слово вставить. Эта наистаромоднейшая особа считала своею обязанностью всюду занимать внимание всех, знакомить всех с последними новостями в городе, рассказывать, как она удачно «отъелась» от кого-либо, кто на нее «взъелся». Разговоры моей матушки крестной надоедали моей матери и ее гостям, чуть не доводя их до истерик, тем более и потому, что и мамаша, и ее гости также любили не отказать себе в очень оживленных разговорах о всяких разных разностях. Мужья их были дружны между собою, ученые их кабинеты были для жен малодоступным святилищем, детей у всех было довольно... Понятно, что появление моей матери крестной, только и встречавшейся с этой компанией в нашем доме, расстраивало беседу совершенно. Расстраивало это появление и танцы, так как моя крестная мать была гораздо старше собравшегося кружка и, кроме того, отрицала танцы в семейном общении как нечто весьма предосудительное, допустимое разве на «губернских балах», да и то в случае приглашения таким лицом, внимание которого нельзя оскорбить отказом. Чтобы судить о степени старомодности моей крестной матери, достаточно сказать, что она, согласно клятве, взятой с нее умиравшим отцом, «никогда не ездить на пароходах или на каких-то, как писали в газетах, новых железных дорогах», вполне убежденно уговаривала когда-то и мою мать «не грешить напрасно» и ехать в Нижний не на пароходе, а «на конях» или «на дощанике». «Кто их знает, чем и как ходят эти махины; слышать, что капитаны на них все немцы, что и икон Божьих нет у них». При

всех, однако, таких недостатках Марья Дмитриевна была добрейший человек, умный, пользовавшийся очевидным почтением – конечно, только не от молодежи.

Танцы матерей, о которых я упомянул, происходили более чем просто. Музыка некоторых танцев, сколько их сохранила память, несмотря на очень большой *plusquamperfectum* (некоторые вторые части их я так и не мог вспомнить), написана здесь именно в том виде, как она исполнялась когда-то на нашем «старичке» фабрики Дидерихса [см. факсимиле на с. 125–126]. Стоило собраться, бывало, хоть троим подругам, как очередь легко устанавливалась между ними: Л – играет, В и С – танцуют, потом В – играет, а АС – танцуют, потом, наконец, С – играет и т.п. Понятно, что танцы эти значительно оживлялись, когда собирались все шесть молодых дам. Вариации происходили разве только в трех случаях (довольно тогда частых), когда которой-нибудь издам легкие и продолжительные танцы, в силу каких-либо причин, были затруднительны. Тогда эта добровольно не танцевавшая обращалась в тапершу, чтобы доставить своим веселым пока подругам более продолжительное удовольствие. Я помню и то, как, будучи в пятом классе, я по выздоровлении после болезни не ходил в гимназию и в это время был весьма усердным домашним тапером, разыгрывая именно вышеуказанные танцы. Новые танцы, выученные мною по слуху от оркестров (тогда польки и вальсы игрались не только в театрах, но даже и в концертах), не нравились моим дамам. Вальс неизменно танцевался ими в три па, очень медленно, под музыку знаменитого вальса из веберовского «Фрейшютца». Но я уже принадлежал в музыке этого рода к новому поколению. Польку-мазурку я почему-то терпеть не мог; она казалась мне глупою. Зато вальсы, вальсы Штрауса, Лайнера! О, что за поэмы в прошлом были эти вальсы!

Рукодельницы они были все великолепные, сущие артистки во всяком вышиванье, вязанье, шитье, как даже и в кулинарном искусстве, бывшем всегда под их самым строгим присмотром. Понятно, что мужья, поглощенные наукой и службой, мало участвовали в удовольствиях дам и собирались больше по

вечерам, по разу в одну или в две недели, прихватывая с собою и жен. В этих случаях преобладали карты, в которых и дамы не уступали мужчинам. Играли обыкновенно без денег, ради виртуозности разыгрывания, играли горячо, волновались, даже и ссорились иной раз. Иной раз даже и подпевали песенки, давая друг другу шлемы, оставляя без трех и т. п. – так играли в ералаш и в преферанс. Собрания эти обыкновенно начинались часов в семь вечера и редко продолжались позже десяти или десяти с половиной часов. Собравшись, немного толковали о текущих новостях, потом решали, что «золотое время тратить грешно», и садились играть в карты, распивая чай за картами. Дамское общество, не участвовавшее в игре, оставалось за чайным столом. Часов в девять появлялось желание «воодушевиться», то есть выпить по рюмке-другой вина, закусить «чем Бог послал». После самых мирных затем воспоминаний, как «подвели» какого-нибудь короля или «проквасили туза», не без намеков, конечно, что в этом виноваты дамы, друзья благодушнейшим образом расходились, условившись о дне следующего свидания.

Дети, подобно своим родителям, были народ крепкий, здоровый, благодушный. Они собирались иной раз в те же дни, когда собирались родители, только в другом доме, так как квартирки были маленькие. Карточная игра – безденежная – процветала у нас не менее успешно, чем у родителей. Как отцы играли, не меняя мест, постоянными парами, так и дети усвоили себе те же *parties fixes*, жестоко увлекаясь королями, дамами и тузами. Наша детская дружба с Владимирскими скоро обратилась в крепкую любовь и продолжается до сих пор без всякой размолвки вот уже почти пятьдесят лет. Мой самый милый друг в этой семье – старшая дочь, ныне Надежда Александровна Невзорова, теперь уже бабушка и седая старушка. Наши детские дружеские отношения не прерывались ни на один год, несмотря на жизнь в разных городах. Мои братья и сестры также дружат со своими ровесниками из этой семьи.

Но кроме этих, так сказать, неделовых сношений мужей между собой, бывали их собрания и посвященные серьезной

беседе, либо научной, более же политической, либо служебной, так как отец мой, пылкий, несдержанный, постоянно промахивался в чем-либо, воюя с начальством. Николай Иванович Ильминский, высоко чтивший моего отца, часто прибегал к нам или звал отца для совета. Михаил Михайлович Зефирин (сначала профессор академии, потом университета) был пылок и несдержан еще более моего отца. Ему, рано овдовевшему, одаренному нежнейшим и благороднейшим сердцем, высокообразованному и отлично-даровитому, – ему особенно не везло в Духовной академии, где он постоянно воевал с начальством, то грубым, то глупым.¹²⁵ Понятно, что на собрания и совещания этих друзей, куда не допускались иногда даже жены, доступа детям не было, и собрания эти, очень часто начинаясь в квартире, продолжались прогулками по вечерам на улицах, даже и за городом.

Семья Ильминских была нам совсем своя, для меня же с отцом и с матерью гораздо ближе, чем для моих братьев и сестер. Жизнь такого замечательного человека, как Николай Иванович, протекла вся на моих глазах, в самых близких моих с ним отношениях, как родственных, так и служебных, и сотрудиических по делу об образовании и просвещении инородцев.

Кружок профессоров академии и университета был очень близок с Николаем Ивановичем, и оттого и я, и отец мой близко сошлись с очень многими из них, хотя домами знакомы мы не были. Знакомство это было сначала земляческое, так как профессора Митропольский и Некрасов знали мою мать еще девочкой в Кашине, а отца еще холостяком в том же Кашине и в Твери (по отцу мы бежецкие, по матери – кашинские). К этому кружку присоединились сначала земляки Николая Ивановича из Пензы, а потом, через его профессора-товарища Гордия Семеновича Саблукова, патриарха профессоров, чрезвычайно чтимого всеми, сложился интимный кружок, в котором временными членами бывали чрезвычайно почтенные люди вроде знаменитого слависта Григоровича. Ядро этого кружка для нас, Смоленских, все время было одно и то же: Н.И. Ильминский, А.П. Владимирский и мой отец. Нетрудно

представить, сколько образованных людей прошли мимо нас в столь продолжительный и столь знаменательный период времени, примерно лет в тридцать, с 1855 года до 1889-го, когда я уехал из Казани. Сообразно полученной домашней закваске и остальной круг моего знакомства в Казани, сначала в мире музыкантов, потом между юристами, педагогами и, наконец, опять между профессорами (со времени моих занятий историей церковного нения), вводил меня в кружок почти исключительно образованных казанцев. В этом отношении Казань представляла особенные удобства. Небольшой городок этот так был переполнен учебными заведениями и окружною администрацией) (в Казани сосредоточивалось управление округами, то есть несколькими губерниями, – судебное, военное, путейское, учебное и проч.), что масса образованных людей, явившихся после реформ шестидесятых годов, была действительно большим процентом населения в ней сравнительно с другими городами, и сон провинциальной жизни совсем не был так глубок, как, например, в Симбирске и других городах. Вместе с тем отдаленность Казани, например, от Москвы, особенно зимою (так как железной дороги тогда еще не было), привела казанское общество к несколько большей сплоченности, чем в других городах, и к некоторой самостоятельности в своей духовной и экономической жизни. Например, в Казани в мое время было немало всякого рода обществ, кружков, издавалось две, иногда и три газеты, было несколько своих банков, самостоятельных крупных торговых предприятий и т.п. С другой стороны, Казань как передовой пункт восточно-русского мусульманства, как старый город при огромной Волге (как хороша она во время разлива!), как переполненная всякими инородцами имеет своеобразную физиономию. Интересна была здесь и ученая немецкая колония, профессорское ядро которой устроило даже отдельную, исключительно для немцев, «Швейцарию» в верстах трех от города. Интересна в Казани грандиозная «встреча» Смоленской Божией Матери (26 июня), на которую собираются сотни тысяч народа¹²⁶, и многое другое. В семидесятых годах в Казани была отличная русская опера, шедшая прямо впереди

столичных, а за казанским драматическим театром давно уже сложилась в прошлом репутация приготовительной школы для столичных театров. В таком городе можно было и толково жить, и веселиться, и умно и успешно учиться. Чем, например, можно объяснить, как не высокою интеллигентностью Казани, то доверие и радушие, с которыми меня так легко допустили в академии для занятий драгоценнейшими соловецкими рукописями, отпускавшимися мне на дом десятками, вне всяких правил? Только в таком городе и могли жить такие коллекционеры, как Андрей Федорович Лихачев¹²⁷, нумизмат Виктор Константинович Савельев и т.п. Казанская городская библиотека, конечно, стоит впереди любой губернской, несмотря на то, что рядом с нею имеется, кроме университетской и академической, далеко не малое число второстепенных и иногда весьма объемистых библиотек. Такова была Казань в мои годы. Я полюбил мой родной город давно и люблюсь его постоянным ростом.

Из казанской профессорской семьи я ближе знал профессора академии Дмитрия Федоровича Гусева, Гордия Семеновича Саблукова и двух его зятьев – историка Ивана Петровича Гвоздева и словесника Ивана Яковлевича Порфирьева; стороной к этому кружка примыкали историк Петр Васильевич Знаменский, каноник Илья Степанович Бердников, богослов-историк Евламий Андреевич Будрин, славист Алексей Александрович Царевский, историк Дмитрий Васильевич Гусев и др. Из профессоров университета – математик Петр Иванович Котельников, астроном Мариан Альбертович Ковальский, анатом Дмитрий Сергеевич Ермолаев, ботаник Николай Васильевич Сорокин, доктор Николай Андреевич Виноградов, историк Николай Алексеевич Осокин, славист Мемнон Петрович Петровский и мн. др. Портреты всех профессоров академии превосходно очерчены в книге Знаменского «История Казанской духовной академии»¹²⁸, которою я наслаждаюсь, читая этот великолепный труд как историю родного мне заведения – до такой степени мне близко знакомы все ее деятели с конца пятидесятих годов. Я помню П.В. Знаменского еще студентом, в 1858–1859 годах

участвовавшим в спектакле «Доходное место» Островского в роли Белогубова. Этот превосходный историк, написавший массу интересных книг, в том числе и «Памяти Николая Ивановича Ильминского»¹²⁹, скромно не говорит в «Истории академии» о себе более, чем бы следовало, хотя он сам – и это очевидно и признано всеми – есть краса и гордость академии.

Из профессоров университета с превеликим почтением вспоминаю старца Петра Ивановича Котельникова, сын которого Петя был моим товарищем еще в школе. Я часто бывал у них (он жил на углу Черного озера в доме бывшем воскресенского священника Иорданского, ныне Михайлова) и под пальцами Петра Ивановича впервые и много наслушался сочинений Баха. Петр Иванович – математик, товарищ Пирогова – был восхитительный идеалист, величайший оригинал и чудаков, тин чудесного ученого старого закала, профессора всесторонне образованной) и скромного в высшей степени. Доброта и наивность его были предметом массы анекдотов, один другого забавнее. Анекдоты, им сочиненные в качестве иллюстраций к его лекциям по высшей математике, в мое время вписывались в текст лекций на память об этом профессоре, истинно любимом и чтимом студентами.¹³⁰

Едва ли не с большим почтением, наравне с Гордием Семеновичем Саблуковым, я поминаю незабвенного слависта Виктора Ивановича Григоровича, оригинальность которого была, конечно, предметом еще большего числа анекдотов, чем о Котельникове. Этот пылкий рыцарь науки, апостол славяноведения, совершивший огромную массу открытий во время своего знаменитого путешествия по Македонии и другим славянским землям¹³¹, был совершенно необыкновенный человек. Он пользовался более чем уважением всех его знавших. Перед ним просто благоговели. Он был невыразимо рассеян и постоянно попадал впросак, один [случай] забавнее другого. Его Болванка – собачонка, с которой он неразлучно ездил на лекции, была известна всей Казани. Я видел Григоровича последний раз, когда ехал с Николаем Ивановичем на пароходе в Оренбург в 1861 году. Достаточно сказать, что Григорович ехал на кумыс и, сдав в багаж более сотни пудов

«только самых необходимых книг», очутился немедленно чуть не без гроша из-за этого багажа... Это Григорович ехал на «врачебный отдых»!

Семью Мариана Альбертовича Ковальского я знал уже в зрелом возрасте и много лет. В этой семье любили серьезную музыку. Хозяйка дома, изящная пианистка и певица Генриетта Серафимовна Ковальская (сестра известного нижегородского статистика Александра Серафимовича Гациского) была в детстве подругою М.А. Балакирева по своему учителю Карлу Карловичу Эйзриху. Старик Ковальский, известный астроном, был в Казанском университете среди математиков чем-то вроде непогрешимого папы [римского] по своему авторитету. Он работал с утра и до вечера, любил музыку и часто приходил слушать трио из скрипки – меня, фортепиано – его дочери (Софии Мариановны) и виолончели – сына (Александра Мариановича). Иногда вместо дочери играла мать. Кажется, все существующие трио были не раз мною сыграны в этом милом обществе. Александр Марианович (умер 24 июня 1902, старшим астрономом в Пулкове¹³²) потом участвовал во втором моем «студенческом» квартете с Мамонтом Ивановичем Герасимовым и Егором Васильевичем Дементьевым.

Ковальские жили рядом с нами в здании обсерватории; рядом же в отдельном доме жило семейство профессора Ивана Дмитриевича Соколова, бывшего помощника попечителя, но учебнику тригонометрии которого выучилось в Росси и чуть не три поколения, в том числе и то, к которому принадлежали я и два сына Соколова, мои товарищи Андрюша и Николай Ивановичи. Последний отлично играл на фортепиано, очень любил музыку, и я с ним «жарил» – или мы «зажаривали» – в четыре руки, играя целыми днями. Мы сдружились быстро и уговорились для начала выучить как можно лучше, в смысле ансамбля, увертюры «Фрейшюц», «Оберон», «Робеспьер» и «Мелузину»... Этот опыт был началом множества наслаждений, так как я близко сошелся с талантливым Николаем Ивановичем на много лет, и мы, по выражению Андрюши, «молодцами» «зажаривали квартеты Моцарта», «закатывали симфонии Бетховена», «запаливали *Sommernachtstraum*¹³³ Мендельсона»

в бурных темпах и с тонкими оттенками. Даже старик «Пхе, пхе» – Иван Дмитриевич Соколов, сущая гроза в семье (что, конечно, не мешало ему быть добрейшим отцом), говоривший про нас всегда ворчливо, иногда выходил слушать наш «гвалт» и однажды даже соблаговолил сказать про меня жене за чаем: «Душенька, ведь этот, как его, музыкант, кажется, ничего себе, не такой головорез, как остальные... С Николаем у них что-то иногда выходит путное, что иной раз можно послушать». Три хорошенькие дочери Николая Ивановича вскоре повыходили замуж за молодых людей нашего же кружка, только «малюк», то есть младшая, вышла уже после моего отъезда из университета. Но как это было давно! С Андрюшей судьба меня свела вновь в Петербурге через тридцать лет; с Николаем Ивановичем, музицирующим в Уфе не без успеха, я виделся в последний раз года четыре-пять назад. Мы было попробовали тряхнуть стариной и «зажарить» какого-нибудь немца, но уже «укатали сивку крутые горки» и много воды утекло с тех пор, когда мы были «молодцами». Но чего-чего мы не переиграли в эти годы! Мне, не фортепьянисту, эта дружба, как, думаю, и Николаю Ивановичу, была очень полезна в смысле ознакомления хотя бы приблизительно с оркестровыми и органными сочинениями, которых нельзя было услышать в Казани. Мы очень расширили круг своего знакомства от Баха до Оффенбаха, от Генделя до Зуппе; все русские новости «Могучей кучки» я узнал предварительно в четыре руки с Николаем Ивановичем Соколовым. Нот в четыре руки у нас было видимо-невидимо, и старых, и новых, рояль отличный, силы и любви, охоты и интереса к музыке, как и взаимного уважения – хоть отбавляй. Нас называли и «Двумя Аяксами»¹³⁴, и «Близнецами», и проч., но и признавали также за нами, что мы играли многое вполне отлично. У нас было много общих знакомых, радушных, милых, у которых, ухаживая за барышнями, мы влюблялись вновь к весне каждую зиму. В этом кругу я и женился на моей бесценной подруге жизни Анне Ильиничне Альсон в 1882 году, а друг мой Николай Иванович, [по] воздыханиям которого я с Всеволодом Павловичем Накаряковым (моим товарищем по университету, женившимся

на Ольге Ивановне Соколовой, сестре моего партнера) вели точную справку ежегодных увлечений по временам года, так и остался «рыцарем без упрека», не имевшим «никакого успеха», «ни малейшего», обратившегося в «хлам», «завирулю» и т.п. Я отчасти привел эти своеобразные термины, пестрившие когда-то наши молодые, беззаботные речи, в которых мы высмеивали и «Пхе, пхе» и все подвертывающееся на язык.

Понятно, что, кроме разности в годах между мною и следовавшим [за мною] братом Василием, мои увлечения музыкою и знакомства со многими казанскими музыкантами ставили меня особняком в семье и вне дружбы и общения с успевшими потом подрасти сестрами, увлекавшимися высшими женскими курсами в то время, когда я уже давно работал самостоятельно. К этому времени начавший уже стареть отец мой скончался в возрасте семидесяти трех лет. За год до смерти собрался навестить его дядя мой Федор Герасимович, отец известного акушера в Петербурге Ивана Федоровича Смоленского. Сошлись два старых друга, крепко любившие друг друга, два весельчака, не видавшиеся лет сорок-сорок пять, сначала не узнавшие друг друга, а потом залившиеся слезами радости. Конечно, воспоминания их о времени более далеком, о тридцатых годах, проведенных ими в глуши Кашина и Бежецка, имели для нас лишь интерес вида двух одушевившихся старцев, лысых, согнувшихся под бременем лет, забот и нужды, беззубых, хилых, вспоминавших неизвестные нам лица и места. Но юмору у обоих было как у молодых. Оба умные, много читавшие, много перечувствовавшие, окруженные большими семьями, они умели найти и в нас радость, умели подбодрить и нас своим завидным благодушием. Но я уже был вне семьи своей в это время, и новая самостоятельная жизнь успела сложиться под впечатлениями иного склада.

Глава III. Университет

Университет произвел на меня в свое время столь сильное действие, что я воспитал в себе, как к концу моего в нем пребывания, так особенно после окончания курса, какое-то особое чувство – не только глубочайшего почтения, но чего-то еще большего, можно сказать благоговейного. До сих пор 5 ноября, день моей *alma mater*, я чувствую как мой сердечный праздник, благодарно приветствуя родной мне, чудесный в мое время Казанский университет. В нем я совершенно переродился, просветился и заложил в себе твердые основы мировоззрения, развиваемые мною с тех пор с постоянным трудом и с неизменным в них постоянством. Я не могу сказать, чтобы то было прямым следствием прослушанных мною курсов. Скорее это было личным влиянием профессоров на молодую натуру, влиянием общего подъема духа в конце шестидесятых годов и наслаждения впервые испытанною свободою мышления и общения.

Как почти все молодые люди, я затруднился решить летом 1867 года вопрос о направлении моих симпатий и способностей к тем или другим наукам. Кроме того, я не имел еще достаточно определенного представления о содержании курсов некоторых факультетов. Медицина и математика мне были не по душе; естествознание, науки юридические и политические были мне известны в некоторых случаях только по названиям, а в лучших случаях лишь по их программам. Совет отца и Н.И. Ильминского совпал со смутно сознаваемыми тогда моими симпатиями к историческим знаниям, и я поступил на филологический факультет.¹³⁵ Выбор этот, вполне безошибочный по отношению к моим научным склонностям, оказался на самом деле рановременным, так как я был мало подготовлен для уразумения философских курсов, не знал греческого языка и, кроме того, страстно был увлечен музыкою, отнимавшею у меня много времени. Несмотря на довольно добросовестные занятия, я понял к концу первого же учебного года, что моих сил не хватает для успешности моих занятий на филологическом

факультете, как мне ни нравились курсы логики, психологии, русской литературы, русской истории и всеобщей истории. Однако курсы древних языков и славянских наречий были для меня чрезвычайно трудны, а курсы греческой литературы и сравнительного языкознания – прямо непосильны.

Несколько прослушанных мною лекций политической экономии, философии права, энциклопедии права и истории русского права так заинтересовали меня, что я, приняв в расчет желание продолжать занятия музыкою, перешел в 1868 году в студенты юридического факультета по разряду государственных наук. Впоследствии, через три года после окончания курса, склонность к историческим знаниям взяла, однако, свое снова. Практика юриста-криминалиста обуяла меня еще в университете на третьем курсе, когда я проштудировал курсы уголовного права Спасовича, уголовного судопроизводства Таганцева¹³⁶ и посетил, по крайней мере, двадцать пять-тридцать заседаний Окружного суда. Но, несмотря на три года занятий в суде и Судебной палате, симпатии к истории, к географии, в связи с другими причинами, осилили, и я вновь засел за филологические науки, вновь начал ходить в университет. Мне не захотелось, однако, поступать в студенты, и я ограничился сдачею в филологическом факультете экзамена на звание учителя гимназии по всеобщей и русской истории и географии. Это было весной 1876 года. Занятия мои этими предметами с тех пор не прекращаются до сего времени, хотя музыка моя, брошенная в направлении музыкального исполнения, соединилась с филологиею на почве истории русской культуры, в частности на истории церковного пения в России и на изучении древних церковных напевов как самих по себе, так и в применении их для нашей русской «музыки будущего».

Живо припоминаю, как трепетало мое сердце, когда я вошел в первый раз в университет с прошением о принятии меня в студенты, а еще более того – мое волнение, когда я сел в первый раз в аудиторию для слушания лекции. Восхитительная лекция профессора Н.Н. Булича о характере славянской мифологии, ее связи с мифологиями других

народов совершенно поразила меня как мастерством изложения, так еще более того совершенною разностью впечатлений от лекции и гимназического урока. И ранее этого, дома, я сначала не мог долго привыкнуть к тому, что мне нет уже надобности бежать в гимназию к пол-девятому утра, что я свободен, что на меня нет окрика, что у меня нет оглядываний на надзирателя, на инспектора или директора... Свобода в выборе занятий, возможность обойтись без обязательного ответа к данному часу и в данном содержании урока – меня просто удивляли. Слушание лекций, полных не слыханного мною содержания, полных интереса, приводило меня в какое-то особенное, возбужденное состояние, подобного которому решительно ничего не было в гимназии. Лекции профессоров Булича и Фирсова (русской литературы и русской истории) меня увлекали в это время чрезвычайно. Но было и разочарование. Как ни подтянул нас по латыни в гимназии П.Н. Матвеев, я оказался все-таки слабым для быстрого чтения Тацита и усвоения толкования его В.И. Модестовым; не зная греческого языка совершенно, я, несмотря на усиленные занятия им, все же оказался последним между товарищами-студентами из семинаристов и из «греков», то есть учивших этот язык в гимназиях. Кафедры греческой и римской литератур, как и славянских наречий, как и богословие, застали меня несколько к ним не подготовленным. Я именно «слушал» эти лекции, но содержание их было для меня чем-то очень далеким, не имело для меня никакого интереса, не устанавливало никакой связи с моими ожиданиями от филологии. Особенно были скучны лекции по богословию, слушанные в чтении сердечного друга моего отца Александра Поликарповича Владимирского. Я помню, что я нарочно прочитал предварительно несколько глав из книги Макария «Введение в православное богословие»¹³⁷, чтобы не сидеть пеньком на лекциях, называвшихся студентами «весьма снотворными». К удивлению, моему, несмотря на обычный, из года в год повторявшийся экзамен из богословия именно «по Макарию», я услышал у А.П. Владимирского какое-то непонятное мне обличение «Тюбингенской школы», «Бауера», «Штрауса»¹³⁸, о бытии которых я не слыхивал, а об

отношении к курсу богословия для студентов первого курса решительно не мог догадаться. Так как весь первый курс богословия был читан А.П. Владимирским именно в таком критико-толковательном описании новейшего богословского движения в Германии и так как ни я, ни мои товарищи-гимназисты совершенно не были подготовлены к пониманию такого курса и к наслаждению его красотой, а воспринимали из него лишь действительно очень снотворные внешние его качества, то совершенно понятно мое скоро пришедшее равнодушие к богословию и удивление перед семинаристами, находившими курс А.П. Владимирского очень интересным.

Не меньшую снотворность и даже полное недоумение возбудили во мне лекции о сравнительной фонетике славянских наречий в связи с географическим расселением западных и южных славян и о воздействии на состав их наречий от влияний соседних чуждых языков. Горячий, даровитый славист Мемнон Петрович Петровский, с которым много лет спустя я сошелся ближе как с почтеннейшим ученым, друг и ученик Григоровича, так расхолодил меня скучнейшею географиею славянства, рутиною фонетики и множеством примеров из неслыханных мною каких-то хорутанских наречий, моравских, лужицких, что я пришел от этой суши в отчаяние и даже пропустил несколько лекций после четвертой или пятой, показавшейся мне какою-то насмешкою над моим стремлением понять возвышенное мировоззрение славянофилов и услыхать о нем в университете с первых же слов профессора.

Совершенно своеобразное разочарование посетило меня при слушании болтовни профессора Андрея Онуфриевича Угянского. Правда, что мы много хохотали на беседах этого превеликого чудака, но правда и то, что это отнюдь не были лекции истории греческой литературы, а была именно болтовня, и притом в такой мере, что, кажется, сам Угянский не знал, о чем ему сболтнется в предоставленный ему и нам час для занятий историей греческой литературы. Угянский был представитель старомоднейшего типа профессора-холостяка, много занимавшегося, превосходно знавшего греческий и латинский языки; неудачи по службе и в получении докторской

степени, однако, так расхолодили его, что он бросил занятия, бросил лекции и стал угощать нас вместо науки какими-то вполне недостойными университетской аудитории бесцельными экспромтами. Трактуя, например, Геродота, Плутарха в первые десять-пятнадцать минут своей лекции, он внезапно переходил к Нибуру¹³⁹, от него к раскопкам, отсюда к воровству англичан, набравших греческие древности для своих музеев, потом к свободе английской конституции, к Огареву и Герцену, к нигилистам и социалистам и т.п. Такого рода экспромты сначала приводили нас в восторг своею неожиданностью, и два-три часа мы живо слушали Угянского, стараясь уловить развитие основных идей... пока не догадались, что все такие его словоизвержения есть не более как простая лень, простая праздность.

Греческий язык он преподавал нам двояко, то есть как имевший дело со знающими язык со скамьи гимназии или духовной семинарии и отдельно с узнавшими греческую азбуку только что, в числе которых был и я. Нам он попросту задавал уроки, и мы учили их. Занимался он с нами отлично, хотя и тут иногда вместо аористов и аугментов беседа его сбивалась на какой-нибудь экспромт. Угянский говорил студентам «ты» или «экий ты чудак, братец ты мой, – ни черта не выучил к сегодняшнему!». На одной из его лекций с нами, «псевдогреками», внезапно появился попечитель округа Шестаков, отлично знавший греческий язык. Мы струсили, так как знания наши были очень слабы, но нас выручил какой-то субъект, довольно удачно выскакивавший с ответами вместо нас. Выведенный из терпения Угянский спросил наконец его: «Да ты, братец ты мой, какого курса, что больно ловко отвечаешь? Я тебя что-то не видывал среди этих молодцов?». «Пятого», – последовал ответ, и общая улыбка появилась у всех нас, узнавших в выручавшем нас человеке медика-семинариста. Шестаков ушел из аудитории, а Угянский набросился на медика: «Ну не подлец ли ты в самом деле? Здесь университет...» и проч.

Подобные курсы латыни, греческого языка и славянских наречий очень расхолодили мои бывшие мечтания о широких обобщениях, столь нравившихся мне у Карлейля, Бокля,

Грановского.¹⁴⁰ Я стал увлекаться лишь лекциями Булича и Фирсова, затем вновь появившегося доцента по истории XIII века – Николая Алексеевича Осокина¹⁴¹, подумывая, однако, что все же придется отвечать на экзаменах тем же Угянскому, Модестову и Петровскому... Как все студенты первого курса, я перебивал на множестве лекций на других факультетах, слушая и анатомию, и астрономию, и высший анализ, и минералогию, и полицейское право. Особенно ужасно показалось мне «римское право», но прельстила меня политическая экономия. Я, посетив лекций десять-пятнадцать, так увлекся ею, что сообразил о ее интересе в сопоставлении с историей русского права, государственного права общего и русского, равно и нрава международного. Мне представилась во всей ясности картина предстоящего позора на экзаменах по филологии, и я, после совета с отцом и Н.И. Ильминским, не явился на экзамены и затем подал прошение о переводе меня в студенты юридического факультета по разряду государственных наук. Это время совпало с моими прилежными занятиями на скрипке, столь внезапно прекратившимися навсегда, и с моими усиленными занятиями в области теории и истории музыки.

К этому же времени относится мой первый «белый роман», разыгравшийся в моем сердце совершенно неожиданно, доставивший мне случай пережить множество самых восторженных, упоительных мечтаний... но только одних мечтаний. Она – гимназистка в седьмом классе. Я – студент второго курса. Она только что попала на экзамене по теории словесности, вытащив незнакомый билет «Главные условия романа», и наивно ответила, вся вспыхнув: «Какие же могут быть иные условия: «он» и «она» – только всего!». Она нечаянно выдала на этом экзамене свою тайну, не назвав, может быть, дорогое для нее тогда мое имя... Она же, как на грех, отвечая архиерею из Катехизиса доставшийся ей билет «О браке», запнулась на каком-то вопросе, но тут же горячо вступилась за себя засмеявшемуся архиерею: «Я это все отлично знаю, все тексты. Все вопросы, все ответы... Подскажите мне только первое слово"... А я? О, я любил ее так глубоко, так тихо, так чисто, как могут любить только

впервые! Она огорчила меня, играя в четыре руки целую строчку в C dur, без трех бемолей, бывших в ключе, и только после ошибки воскликнув: «Ах, что я наделала!» – она не заметила, что и я, как вежливый кавалер, также играл всю строчку в C dur... Она не понимала той восторженной игры моей на скрипке, которая лилась из-под смычка, рассказывая ей звуком Вьетана, Эрнста, даже Крейцера, как я люблю ее... Она предпочитала Бетховену и Моцарту попури из «Марты» или из «Травиаты»! Что было мне делать с таким милым незнанием? «Поймите же, друг мой, – сказала она мне однажды. – Ваша музыка серьезна, я ее не понимаю, и потому, как ни хочу я вникнуть в ее красоту, она мне несколько не нравится. Толи дело попури из «Фауста»".¹⁴²

Она не была красива, но лишь мила, изящна, главное – очень добра, чутка и умна, совершенно проста и отзывчива; мое сердце затосковало по ней именно под влиянием этих душевных качеств, этой несравненной, неотразимой душевной красоты и приветливости. Мое чувство к ней явилось как-то внезапно, под впечатлением нескольких ее слов. Конечно, отец мой сейчас заметил, что я «страдаю», и пошутил, перебирая «Татьянин день» (а разговор был как раз 12 января) с «новой Татьяной», то есть продергивая мое писанье «NN» на стекле, мою рассеянность, мою задумчивость, которые начали проявляться довольно явно... Повторялся, действительно, «Евгений Онегин», в котором, однако, мне пришлось волею судеб исполнить роль Татьяны, даже и во второй части этого романа. Зато уж и твердо я знаю удивительные строки пушкинского «Онегина», как и твердо знаю и люблю каждый такт оперы Чайковского, именно в память моей первой любви. «Она» – до сих пор мой милый друг, уже седая старушка, даже бабушка... Мы до сих пор сердечно любим друг друга; как-то давно, в веселую минуту, однажды мы вспомнили, поплакали даже... Как жестоки слова «Учитесь властвовать собою», а я их услышал, я их пережил действительно с большим усилием; эти горькие слова были мною в то время выстраданы. Но, между тем как хорош, как прелестен был этот первый мой роман! Самая его безнадежность и полная нелепость, столь здраво

понятая NN, долго мне представлялась ее ошибкой. С тех пор как я пережил эту поэтическую, хотя и оплаканную вскоре страничку моей жизни, я радуюсь, глядя на влюбленных юношей, я усердно молюсь на свадьбах и глубоко сострадаю неудачным романам. Что за прелесть, что за праздник сердца любовь к человеку и отклик на нее любимой души! Когда может быть человек возвышеннее, радостнее, так чист, так непорочен и так добр, как не во время своего первого романа, хотя бы и «белого»?!

На юридическом факультете меня более всего интересовали политическая экономия и философия права, международное право и история русского права. Энциклопедию права читал необыкновенно снотворно приват-доцент Николай Павлович Иванов по старым лекциям, хотя и хорошо составленным, но каким-то сухим, безжизненным, совершенно уступавшим курсу Редкина, с которым я познакомился после.¹⁴³ Необыкновенно плохо также читалась нам так называемая «полиция», то есть полицейское право, Яковом Спиридоновичем Степановым. По книжке Андреевского «Русское государственное право»¹⁴⁴ читал вполне беззастенчиво Николай Константинович Нелидов. Эта компания товарищей доцентов (Иванов, Степанов и Нелидов) с Николаем Александровичем Кремлевым (тогда еще доцентом римского права) тянули друг друга, выводя самих себя по-товарищески в магистры и доктора, в экстраординарные и ординарные профессора. Кремлева я не слушал, но слышал о нем дельные отзывы; что же касается до остальных, то они были положительно плохие лекторы, кроме разве Нелидова, бывшего немного пооживленнее своих сонливых и бездарных, даже и малообразованных товарищей. Знаменитый диспут Степанова был жестоким скандалом для этой компании, избличенной публично «каноником» Алексеем Степановичем Павловым. Компания эта была самую слабую стороною юридического факультета моего времени.

Зато остальные профессора, хотя и имевшие недостатки, хотя и не блиставшие подобно Буличу у филологов, Ковальскому и Имшенецкому с Суворовым у математиков,

Аристову, Ковалевскому, Виноградову, Адамюку и другим у медиков, представляли собою достойных деятелей науки, у которых можно было работать и которые увлекали к работе.

Наш «финансист» Евграф Григорьевич Осокин, ректор университета, читал необыкновенно тихим, беззвучным голосом, но превосходные по содержанию лекции. Говорил он почти шепотом, и его кафедра была придвинута вплотную к первой скамье аудитории. Около этой кафедры теснились мы особенно осенью и весной, так как достаточно было проехать по улице двум-трем извозчикам, чтобы мы видели только шевеление губ нашего старца. Лекции, когда мимо университета проезжала пожарная команда (что бывало часто, так как первая «часть» была рядом с университетом), пропадали для нас совершенно. Отделы его курса «о регалиях», «о податях», «о пошлинах» были разработаны превосходно. Старец был очень скромн, деликатен и даже застенчив. Его высоко чтили и ценили, прощая ему его немалую слабость, вследствие которой он являлся иной раз розовенький, оживленный, красноречивый и особенно любезный.

Совершенно другого типа был профессор Александр Васильевич Соколов – добрейший и благодущнейший цивилист, усердно занимавшийся с нами, но иной раз, как говорили, «задававший лодыря». Мне припоминается моя встреча с писателем П.Д. Боборыкиным в Гельсингфорсе, воодушевившимся при воспоминаниях своих о Соколове. Александр Васильевич был остроумный весельчак, держал себя со студентами необыкновенно просто и был всегда окружен работавшими у него студентами. Это был единственный профессор, который за чем-то всегда носил на лекции очень много книг, из которых он, однако, редко что-нибудь цитировал. Его толстая фигура с неизменно полосатым жилетом (в мое время студенты и профессора не носили форменного платья, у студентов его даже и совсем не было), с десятком книг (в том числе и «с Победоносцевым подмышкой»¹⁴⁵), с постоянной шуткой на устах была очень типична: то у него галстук набок, то пуговицы застегнуты не в те петли, то одна половинка брюк в

сапоге, другая же навывпуск. Александра Васильевича очень любили, хотя он и был на экзаменах очень требователен.

Главная монументальная фигура, наш декан Юлий Антонович Микшевич, политэконом и статистик, читал нам как-то неровно – иной раз превосходно, несмотря на недостатки его речи как поляка, иной же раз прямо скучно. Я помню, что его лекции о разделении труда, о фабричном труде и быте рабочих, о Шульце-Деличе, Лассале, о значении банков, о бирже – были для нас сущим откровением и наслаждением. Но вместе не могу забыть и того, что он зачем-то, читая статистику, приплел к закону повторяемости явлений положение «о свободе воли и необходимости», для чего вполне неожиданно (но потихоньку от нас) читал чуть не три лекции подряд из последней, только что вышедшей, части романа «Война и мир» графа Толстого. На вторую лекцию у нас уже было пять-шесть экземпляров, в которых мы отмечали карандашом чтение и пропуски Микшевича. Забавно было заметить, что в одном месте он, не заметив опечатку, так и прочитал ошибочно «химическое средство» вместо «сродство». Микшевич был здоровый, высокий толстяк, добродушный, вспыльчивый, совершенно не выносивший противоречий и не допускавший, чтобы кто-либо при нем в области политической экономии мог «сметь свое суждение иметь». По-русски он говорил иногда очень неправильно, в гневе же – совсем плохо, а гнев этот вспыхивал у него очень легко, особенно на экзаменах. Я забыл содержание моего сочинения в третьем курсе, но за сочинение четвертого курса «О потреблении благ» мне досталось очень крепко в так называемые «пятницы». (Я вспомнил, что это был разбор «Экономических софизмов», сочинения Бастиа.) Мы собирались по пятницам в аудитории, читали свои работы, и как Микшевич, так и товарищи (ранее просматривавшие работы друг друга) очень пощипали меня за многие промахи, и особенно за высказанную мною склонность к мнению какого-то английского экономиста, второстепенного, отрицавшего «потребление благ» как отдельную, четвертую часть политической экономии. Я совершенно забыл (да и не читал книги), что сам Микшевич имел темой «потребление благ» в одной из своих диссертаций.

Меня разнесли, что называется, вдребезги, и только переделав и значительно увеличив свое наложение, прибавив к нему вполне самостоятельное рассуждение (без всяких источников) «о потреблении художественных благ», я едва добился, что Микшевич зачел мне этот труд за кандидатскую диссертацию. Вспоминая о Микшевиче, я не могу не вспомнить его великодушия ко мне при окончании мною курса. Мне помнится, что я был чрезвычайно утомлен приготовлением к этому выпускному экзамену по моей специальности и все-таки не успел хорошенько повторить билетов «о росте» и «о ренте». Помню, что взял билет именно «о ренте» и отказался отвечать. «Ото странно, ото молодой чловик, ото успевательно занимавшийся, является на экзамент, ото не зная предмета!» – заговорил, краснея, Микшевич. Не помню, что меня заставило, но на предложение Микшевича «ото надо взять другой, добрый билет» я ответил предупреждением, что я не успел так же приготовить «о ренте». После этого я протянул руку и с досадой увидел надпись «о ренте"... «Ото, какая случайность, – уже мягко сказал Микшевич. – Ото я устал, давайте гулять и отвечайте, ходя». В этом хождении по зале он пытал меня так памятно и так трудно, приговаривая «добре, добре», что я утомился и наконец запросил «пардону». Микшевич все-таки поставил мне «5». Но беда была впереди. Кончившийся часов в пять вечера экзамен так утомил меня в связи с предшествовавшими занятиями, что, придя домой, я сейчас же лег и проспал более суток. Я встал на другой день к вечернему нашему чаю, часов в восемь вечера... Оказалось, что мой сон встревожил отца и мать, не подозревавших меры моего утомления. Только придя в себя, уже поздно вечером, я вдруг вспомнил, что проспал экзамен у того же Микшевича по истории политической экономии... Трудно и описать нашедший на меня ужас, и отец едва-едва успокоил меня, уверив, что если Микшевич не уважит моей причины неявки, то он сам пойдет хлопотать за меня. На другой день я, к полному моему изумлению, увидел Микшевича, вполне благодушно и участливо отнесшегося к моему сну. «Ото я сам раз проспал заседание статистического конгресса в Гааге, где должен был читать

реферат», – шутил он и, проэкзаменовав меня всласть, отпустил с миром.

Отмечу и другой курьез из экзаменной поры при окончании курса. Последний экзамен был из русского государственного права, и я помню, как, протянув руку за билетом, я подумал: «В последний раз». Мне досталось отвечать об устройстве земства. Перечисляя предметы ведения «губернских и уездных земских собраний», я говорил названия статей, прибавляя, что то составляет предметы, разрешаемые управой, то и то – губернскими и уездными земскими собраниями. Профессор, уставясь на меня, спрашивает: «Вы, должно быть, утомлены; повторите, что вы сказали». Я повторяю. «Вы понимаете, что вы говорите?». Я сел на стул и сознался, что едва стоял и, может быть, говорил какой-нибудь вздор, но что я знаю свой билет. «Я это вижу и верю вашему утомлению. Поздравляю вас с окончанием курса в университете». Дома меня ждали радостные отец и мать, с которыми я выпил поздравительный стакан вина и затем закатился с товарищами на прощальную беседу, кончившуюся в Свияжске, чуть ли не на четвертый день. Возвращаясь домой рано утром, я встретил отца, отправившегося на утреннюю прогулку. «Откуда так рано?» – только и спросил отец благодушно возвращавшегося новоиспеченного кандидата...

Красою юридического факультета в мое время был блестящий доцент Сергей Михайлович Шпилевский, ныне директор Ярославского лицея. Шпилевский читал нам историю русского права, на четвертом курсе он же читал международное право. Его лекции были необыкновенно живы, занимательны, полны самого животрепещущего интереса, и потому Шпилевский пользовался между нами большим сочувствием и уважением как лектор совершенно серьезный, строго научный. Шпилевский говорил очень выразительно, с ясною, твердою дикцией, твердым голосом, в котором слышались и любовь к своему предмету, и увлечение им. Курс международного права, может быть разработанный не столь самостоятельно, привел меня в такое увлечение этим предметом, что я не шутя подумывал отправиться куда-либо по консульской части. Части

курса истории русского права, особенно о земских соборах, о крепостном праве, о торговле Новгорода, были изложены Шпилевским как-то особенно образно, художественно. Он рисовал нам прямо картины русского быта. Едва ли не Шишлевскому более всех я обязан тем, что начавшие во мне глохнуть симпатии к истории родной земли возродились вновь под впечатлением его очаровательных лекций.

Остается теперь упомянуть о почтеннейшем Антоне Григорьевиче Станиславском, заслуженном профессоре, приехавшем в родной ему Казанский университет после выслуги пенсии в Харьковском университете. Я слушал его курс философии права во второй раз, так как ранее прослушанный мною курс у Н.П. Иванова оставил во мне какое-то неудовлетворенное ощущение. Предмет этот живо интересовал меня, и я, без обязанности держать экзамен, сполна прослушал этот курс у Станиславского. Позднее я часто встречал почтеннейшего Антона Григорьевича (бывшего виолончелиста) в музыкальных кружках Казани.

Я не слушал совсем профессора канонического права Алексея Степановича Павлова, покинувшего университет вследствие забракования его докторской диссертации «Первоначальный славяно-русский Номоканон», но помню, что после скандала, сделанного им на диспуте Степанова, мне говорили, что, по иронии судьбы, в тот же день и час Кремлев в заседании факультета провалил диссертацию Павлова, утверждая, что она не могла бы быть пропущена даже на степень кандидата, а Академия наук присудила Павлову Демидовскую полную премию за то же сочинение.¹⁴⁶

Воспоминания о моей студенческой молодой жизни очень небогаты какими-либо частностями, обычно совпадающими со всякого рода излишествами. Музыка оберегала меня, пожалуй, гораздо строже дисциплины в нашей семье. Я был совершенно трезв в течение всей моей молодости. Поздние возвращения с танцевальных и квартетных вечеров были прекращены строгим требованием моего отца проводить вечера дома и, ложась спать в десять часов вечера, вставать в шесть часов утра. Конечно, исключения допускались свободно, но не могу не вспомнить

моего отца с чувством самой глубокой благодарности как спасшего мое здоровье. Начавшееся у меня жестокое малокровие поддавалось только режиму правильной жизни. Помню, что я старательно дирижировал в кружке студентов, с которым с грехом пополам за фортепиано мы прошли массу хоровых классических вещей; помню мой первый студенческий квартет из Радзеевского, Веймарна и Шлиппера, а также частию Зедерштедта и с благодарностью вспоминаю мое вступление в Панаевский музыкальный кружок, в котором я нашел и множество новых, самых отрадных минут моей жизни и много новых приятелей, людей серьезных, хороших, с которыми музицировать мне было очень полезно.

Некоторые черты старостуденческого быта мне известны из рассказов других и врезались в моей памяти из впечатлений, полученных мною от студентов, занимавшихся со мною еще до моего поступления в гимназию. Львовский дом, в котором мы жили в конце пятидесятых годов, был настолько обширен для нашей семьи, что мне с «господином учителем» отдавалась довольно просторная угловая комната, в которой легко уставлялись для случайных гостей одна, даже и две кровати. Отец мой, всегда друживший с молодежью, смотрел сквозь пальцы на собрания студентов в моей комнате, хотя время то в кругу молодежи было довольно уже возбужденное позором нашей администрации в Севастополе, слухами о предстоящем освобождении крестьян и первыми проблесками русского более свободного и обличительного печатного слова. Известные «Мысли русского» я читал в тетради, написанной рукою моего отца, «Колокол» Герцена уже гудел очень сильно, и номера его часто бывали в столе отца, а всякие «Воззвания к молодому поколению», «Великорусы» и т.п., как и запальчивые стихотворения, прочитывались при мне товарищами моих менторов. Известная щাপовская панихида¹⁴⁷ прошла чуть не на моих глазах, так как под предлогом прогулки на кладбищенскую «куртину» эти менторы взяли меня с собою. Конечно, я ничего не понял из того, что говорилось в восторженно-возбужденных, неудержимых речах, но мой последний «учитель» Аркадий Афанасьевич Бирюков крепко пострадал и, оказавшись

«неисправимым», совсем погиб, несмотря на свои дарования. Я помню и собрание студентов, горестно обсуждавших в моей комнате первое закрытие Казанского университета при попечителе князе Вяземском.¹⁴⁸ Вид университета, оцепленного солдатами, и случайно донесшаяся через открытую форточку фраза тогдашней песни «...становые били» (мне уже знакомой сполна) произвели на меня неизгладимо тяжелое впечатление. Помню совершенно расстроенного моего отца в эти дни. Помню и ошеломившее нас известие об увозе куда-то Аркадия Афанасьевича Бирюкова. Помню и совершенно случайную для меня минуту, когда только что вышедшие из дверей тюрьмы студенты бросились обнимать и целовать всех, чуть не караульных солдат. Они не верили своему освобождению, они братались между собою, не помня себя от радости, они плакали, молились.

Студенты моего времени, конечно не без исключений, вообще занимались старательно и потому вели себя хорошо. В течение пяти лет моего пребывания в университете, как и до того (после известной щаповской истории), так и много лет после 1872 года, в котором я кончил курс, ни разу не было так называемых «университетских волнений» или «беспорядков», что я приписываю прямо тому, что профессора умели заставлять нас работать, не ограничивая свои отношения к университету только слушанием лекций и сдачей экзаменов. Как ни странно по нынешним временам, но вполне справедливо записать, вопреки последовавшему, что в Казани в 60-х и 70-х годах был превосходный губернатор Николай Яковлевич Скарятин и не уступавший ему, но, пожалуй, и превосходивший его полицмейстер Хрисанф Николаевич Мосолов.

Во время войны за освобождение славян¹⁴⁹ в Казанской губернии очень волновались татары-мусульмане, среди которых ходило множество прокламаций из Крыма, Турции, Кавказа и наших среднеазиатских владений. В одно из таких волнений земство вздумало привести в исполнение самую невинную меру для заблудившихся во время зимних метелей – колокольный звон в каждой деревне. Подвешивание колоколов и даже самый слух о

предстоящем подвешивании колоколов в мусульманских деревнях были истолкованы мulloами как первый шаг к крещению всех мусульман. Население поднялось, сменило старост, голов, захватило общественные деньги, волостные правления и, как говорили, обошлось весьма буйно с некоторыми становыми и исправниками. Говорили и то, что экзекуция Скарятина была жестока, но говорили и то, что Бог знает, чем кончился бы этот бунт, крепко инспирируемый из Уфы¹⁵⁰, откуда корреспонденции в газеты описывали «казанского сатрапа» в самых невозможных красках. Сенаторская ревизия Казанской губернии кончилась увольнением Скарятина.

Людей этих, поступавших, может быть, иной раз в ненадобной мере энергично, оклеветали, заплевали и выжили из Казани. Последовавшая, однако, городская и общественная жизнь Казани, как кажется, вновь вернула всех к мнению, что это были отличные люди и отличные работники на своих местах. Губернатор Скарятин был такая гроза мелкой полиции, что она его боялась, как огня и лезла из кожи вон в своей исполнительности, но умной, не озорной, требовательной и целесообразной на благо жителей Казани и ее благоустройства. После длиннейшего ряда увольнений «по третьему пункту» всяких героев-взяточников вроде знаменитых в Казани частных приставов Шляхтина, Алкина и др. Скарятин чрезвычайно энергично вычистил Казань и облагодетельствовал ее отличным порядком улиц. Будучи страстным, неудержимым (к сожалению – буквально!) «любителем пожарной части», Скарятин имел обыкновение скакать сломя голову на каждый пожар и лично заражать всех своею удивительною энергиею. Казанская пожарная команда при Скарятине была так хороша, так энергична и благоустроена, что я, впервые приехавший в Москву и случайно бывший в ней на пожаре, не мог без досады, частью же без смеха, смотреть на дрянную и ленивую, обдерганную команду в Москве. Понятно, что Казань, столь жестоко горевшая в прошлом, даже и на моей памяти (в 1858–

1859), забыла о больших пожарах, начала обстраиваться и очень охорашиваться.

И Скарятин, и Мосолов были большими весельчаками и остроумцами, о чем ходила про них масса анекдотов. Конечно, эти анекдоты шли не из уст тех, которым по делам своим приходилось, может быть, получать от них далеко не веселые и не остроумные воздействия. И Мосолов, и Скарятин были страстными любителями театра, при них вполне процветавшего, дававшего отличные для провинции драматические и оперные спектакли. Так как в области театральной в свое время я пережил немало число восторгов и не раз был приглашаем «к господину полицмейстеру г. Казани, полковнику Мосолову, немедленно» или «по окончании спектакля», так как не раз мне приходилось быть организатором или распорядителем студенческих спектаклей, концертов и бывать в сношениях с Мосоловым и Скарятиным, то я видал не раз их обоих, фигурируя то в качестве провинившегося в неумеренно запальчивом восторге, то в качестве ходатая об устройстве какого-либо концерта или даже в качестве задорного обвинителя какого-нибудь чина полиции, превысившего будто бы свою власть в театре. По первому и третьему разряду мне случалось не раз бывать – конечно, не в одиночку – в гостях у Мосолова, причем в особенно бурных случаях подъезжал из театра и Скарятин. Мы сидели и ходили в его зале, курили, сговаривались для единства наших оправданий или требований и т.п. Приезжавший после спектакля Хрисанф Николаевич обыкновенно говорил: «Господа, я имею обыкновение пить чай после театра, милости просим!». Тут вот и начиналось познание нами жестокого языка Мосолова, с самой убийственной логикой, серьезно, не без тонкого юмора, заставлявшего нас понять нашу неблаговоспитанность, нашу несдержанность, нашу вину перед солдатом-полицейским или околоточным; конечно, мы, спорили, горячились, оправдывались, но в конце концов были прямо вынуждены спокойными доводами Мосолова к немедленной сдаче и к просьбе об извинении. Я помню, что однажды мне было невыразимо стыдно, когда Мосолов кротко, приветливо вышучивал меня и доказал мне, что я, обвинитель,

сам виноват кругом и обязан «помириться» с помощником полицмейстера Остржинским. «Вероятно, вашей порядочности хватит удовлетворить моего уважаемого помощника, – бил Мосолов меня, пропадавшего от стыда. – Вы ведь так неосторожно обидели его...». Я чистосердечно, как и товарищ мой, исполнил справедливое наставление Мосолова, извинившись тут же перед позванным господином Остржинским. «Вот, молодые люди, – добивал нас Хрисанф Николаевич, – поняли, что они неправы, надеюсь, что вашей деликатности хватит, чтобы помириться с ними, в сущности очень милыми, благовоспитанными, но немножко горячими, несдержанными...». Понятно, что Остржинский, знавший Мосолова вдоль и поперек, был с нами еще любезнее и «охотно извинял наши увлечения», «надеялся, что все будет забыто...». «Однако уже почти час ночи, – восклицал Мосолов, – так наше дело кончено? – спрашивал он, глядя на обе стороны. – Да? Ну, спокойной ночи!».

Бывали, конечно, случаи, когда Мосолов, прочитав нам сполна надобное и очень соленое, все-таки удовлетворял нас словами: «Не беспокойтесь, я взыщу с него как надо; благодарю вас, господа! Иногда надо проучить и полицейского солдата; ведь он простой мужик, поэтому, понятно, в сравнении с вами более груб». Помню однажды, как, кажется, на дебюте известного провинциального артиста Милославского в роли Гамлета Мосолов одним словом умиротворил весьма возбужденную историю. Подвыпивший купчик схватил за шиворот слабосильного студента и потрепал его, приговаривая: «Оленя ранили стрелой...». ¹⁵¹ Прибежавшему Мосолову купец с глубокою обидой объяснил: «Хрисанф Николаевич! Он, господин студент, меня два раза дураком называл! Оленя ранили стрелой!». «Успокойтесь, пожалуйста, достаточно одного раза», – сказал Мосолов купцу. Конечно, взрыв общего хохота. «Разберите да уберите его к жене», – распорядился он полицейскому. «И нашли с кем связываться? – наставил Мосолов потерпевшего. – С оленем!».

Со Скарятиним мне случалось объясняться также не один раз, но, конечно, по делам более мирным. Впрочем, однажды в

качестве третьего лица я порядком струхнул у Скарятина, бывшего известным за крайне вспыльчивого и несдержанного губернатора. Я явился к Скарятину с просьбою помочь мне довести до конца устройство большого симфонического концерта, в котором, при участии оперного оркестра, составлялся оркестр вместе с любителями человек в восемьдесят, чего до того времени не бывало в Казани. Мы, любители, усердно выучили симфонию Мендельсона № 3 («Виктория»), увертюру «Прециоза» [Вебера], а для среднего русского отделения – «Камаринскую» [Глинки]. Я был устроителем концерта и много труда положил, чтобы сладить струнный любительский квартет, с которым провел по крайней мере шесть-семь репетиций. Кроме этого труда, я собрал студенческий хор и вышколил его очень удачно, составив три номера немецких для отделения с увертюрой Вебера и три номера русских с «Камаринской».

Сколько могу припомнить, в первом отделении были: марш Беккера, «Песня охотников» Мендельсона и хор Цёльнера «Что призадумалась»; во втором отделении: волжская песня «Подымалась погодушка», песни «Матушка, что во поле пыльно» и «Не белы снеги». В оркестре под управлением умного капельмейстера Клеффеля было 18 первых и 16 вторых скрипок, 12 альтов, 12 виолончелей и 6 контрабасов. Для концерта была устроена огромная новая эстрада. Педели за две билеты были уже все проданы. Концерт этот имел огромный успех.¹⁵² После него я в последний раз провел вечер в обществе казанских студентов.

Слаженный концерт после первой уже бывшей сполна репетиции вдруг стал разлаживаться по разным проискам в театре. Мне посоветовали объяснить все Скарятину и просить его вступить в дело, так как на концерт собрались некоторые из имений, некоторые отложили отъезд ради того же удовольствия... Скарятин не заставил себя и просить. Позвонив, он сказал: «Артиста Львова» (режиссера оперного театра). Прибывший Львов (известный когда-то провинциальный певец-бас¹⁵³) заплетающимся языком вздумал было доложить

Скарятину какую-то хитроумную неправду, которую Скарятин тут же опроверг так внушительно и доказательно (Скарятин, очевидно, знал все, что делается и предполагается делать в оперном театре), что, признаться, его большое крещендо в разговоре, с судорожным покачиванием левой руки, привело и меня, не говоря уже о растерявшемся Львове, в какое-то смятение. «Концерт дорогих моему сердцу казанских студентов я принимаю на себя и, конечно, сумею настоять, чтобы он без малейших – слышите ли, я вам как режиссеру театра в городе, где я губернатор, заявляю безусловно: без малейших – помех состоялся во всем, что обещано господину Смоленскому со стороны городского театра...» (Ко мне:) «Когда должна быть репетиция?» – «Завтра в 12 часов дня». (Львову:) «Я завтра буду за четверть часа. Полагаю, что мною вам порученное все будет совершенно исправно. Стыдитесь, вы должны дорожить студентами, а вы не можете уговорить у себя всяких «основательных и добросовестных» чехов, жидов! Какой вы режиссер после этого! Прощайте!». Моему изумлению не было границ, когда после оглушительного **ff** Скарятин обратился ко мне, говоря вполне спокойно: « Не подумайте, чтобы я рассердился на этого молодца! Он хороший человек, но тряпка, и с ними нельзя иначе, теперь же все будет по-нашему. А завтра на репетицию, конечно, я не приеду. Но если что-нибудь будет неисправно, например, не придет флейта, сейчас же давайте мне знать. Ну, желаю вам успеха, а в концерте у вас буду». Излишне прибавлять, как загорелось мое студенческое сердце после такого приема у всесильного в Казани Скарятина и как успешно прошли не только репетиции, но и концерт. Вообще надобно отдать справедливость и Скарятину и Мосолову, что их предупредительное и чрезвычайно деликатное отношение к студентам чувствовалось нами чрезвычайно живо, а юмор и далеко не сладкие увещания вроде вышеописанных у Мосолова понимались нами как должное – мзда за наши далеко иногда не корректные выходки. Не смея говорить за всех, я все-таки думаю, что в мое время, благодаря талантливости и юмору Мосолова, между студентами и полицией было можно

наблюдать весьма редкие отношения, избавившие многих, конечно, от весьма многого.

Мои воспоминания об университете были бы неполны, если бы я не вспомнил о двух типичных старых служаках – о помощниках проректора А.Х. Зоммере и Л.М. Ситнове, особенно же о секретаре правления университета В.К. Савельеве, равно и о некоторых моих товарищах.

Я затрудняюсь сказать, по сколько лет было Александру Христофоровичу Зоммеру и Лаврентию Михеевичу Ситнову в 1867 году, когда я поступил в университет. Они оба были очень, очень стары, особенно Зоммер. Оба они, если не ошибаюсь, были в университете еще во времена пресловутого попечителя Мусина-Пушкина. Зоммер так и не выучился путно говорить по-русски. Конечно, придя впервые в университет, я знал их обоих, так как я был «тутошний», но меня сразу удивило обращение их со студентами, нисколько не похожее на отношения надзирателей к гимназистам, а совершенно простое, как бы товарищеское, с рукопожатиями, разговорами об опере и проч. Наши старцы, по-видимому, ничего не делали и едва ли могли что-либо делать в их очень преклонном возрасте, особенно же Ситнов. Это не мешало, однако, горбоносому малюсенькому Зоммеру иной раз кипятиться и деланным басиком отчитывать сторожа у входа в аудиторию и сторожа, звонившего к началу и концу лекций (эти служители-старцы вечно сидели у часов в коридоре между аудиториями, вязали чулки и, кажется, кроме своей немноготрудной службы, ничего не могли делать). Сцены между распетушившимся Зоммером и сторожами с чулками в руках («Втроем вам ведь двести с лишком лет», – сказал им однажды кто-то) иногда собирали зрителей-студентов и бывали иной раз забавны, так как сторожа ничуть не уступали «старому немцу», считая и себя не меньшими ветеранами – и все это из-за звонка, данного минутой позже или раньше. Про каждого из них ходила масса анекдотов, относящихся, впрочем, более ко времени общежития в университете казеннокоштных студентов, которые проделывали с Зоммером и Ситновым всякого рода шалости. Благодушия старцев хватало, чтобы рассказывать нам про эти студенческие проказы с особенным юмором,

выгораживая, однако, себя как не бывавших объектами всяких вышучиваний. Память моя сохранила рассказы о том, как в присутствии Зоммера, под предлогом спевок к церковной службе, под управлением студента-регента Годяева распевали всевозможные песни, вновь сочиненные в 50-х годах на всякие животрепещущие темы, и при этом уверяли, что это – «на глас первый» или «на Крещение». Помню легенду и о том, как в общежитии ухитрились перерядить «женское сословие» в студенческие мундиры, засадить их с лекциями за столы, устроить самим танцы и в конце концов сочинить предлинную поэму, в которой, конечно, Зоммер воспевался со всеми проделанными над ним шутками.

Секретарь правления Виктор Константинович Савельев был едва ли не самой типичной фигурой между старцами университета. Несомненно, это был очень даровитый человек, хотя и не получивший образования, но добившийся самоучкою очень многого. Он был страстный нумизмат, имел большие коллекции преимущественно восточных монет и, после известного Френа, считался, как кажется, весьма авторитетным знатоком по этой части, вновь установившим по монетам немало новых исторических данных о династиях Болгар, Куфы, Бухары, Самарканда. Другая особенность «дедушки Савельева» была неудержимая его привычка говорить рифмами, что, при его постоянном благодушии, веселости, несомненном уме и быстрой находчивости, иногда делало его даже и интересным в самых разнообразных обществах, начиная с собравшихся на уличной прогулке и кончая ученым или служебным заседанием. Савельев, нисколько не стесняясь, делал рифмами устные доклады начальству, распекал рифмами же своих подчиненных, а в веселом дружеском кругу даже и удивлял своею находчивостью, иной раз весьма остроумною и изящно выраженною. Конечно, не все рифмы удавались, но иные были известны многим чуть не в ранге пословиц, ходивших по городу либо про кого-нибудь, либо про что-нибудь. Развеселившись, седой длиннородый «дедушка Савельев» иной раз так и сыпал направо и налево свои рифмы без всякой остановки, иногда жестоко продергивая героев дня или неосторожных с

ним собеседников. Как-то за картами у Николая Ивановича Ильминского Савельев, игравший с кем-то в ералаш, маркировал бубновую масть и не получил ответа от партнера, а Николай Иванович подвел короля у Савельева; этого было довольно, чтобы, видя побитого короля, Савельев тут же наградил всех троих партнеров, из которых последний был профессор академии: «Кабы ты был умен, так ходил бы с бубен, а то вот господин Ильминский подвел меня под поступок свинский! Смотри, как этот, чуть не монах, бьет короля: трах, тарарах; уж именно в академии духовной живет народ греховный; хоть и профессор, а почтенья к королям не имея, бьет их без страха, чуть не по шее» и т.п. безо всякого удержу. Помню и то, что Савельев, председательствовавший на какой-то секции Археологического съезда в Казани¹⁵⁴, насмешил всех при обсуждении устава Казанского Археологического общества, но вместе и заставил забыть пререкания и перерешить параграф проекта устава о почетных членах, которых предполагалось удостоивать этого звания за единовременный взнос в 500 рублей. «Прошу слова, – сказал Виктор Константинович и, войдя на кафедру, при всеобщей тишине, происшедшей от понятного ожидания какой-либо шутки, сказал. – Не будет ли слишком форсисто, если назначить даже и триста, пусть будет хоть двести, лишь бы быть вместе». Всеобщий хохот и аплодисменты, кажется, так и решили – 200 рублей членского взноса. Тот же Археологический съезд с председателем графом Алексеем Сергеевичем Уваровым делал на пароходе экскурсию «в Болгары». За табльдотом все выпили, развеселились. Савельев был особенно в ударе. Какой-то юнец воскликнул: «Виктор Константинович, а ну-ка рифму к бутылке?». Савельев тут же: «Стоит тебя по затылку». Граф Уваров: «Да есть ли, наконец, у вас соперники?». – «Их имели и Коперники». Немало хохота было, когда сановитый Савельев случайно сошел первым с парохода, а исправник или становой, приняв его за графа Уварова, вздумал официально представиться. Немедленно и громко отчеканил старец: «Кто вам поведал, тот неправ. Я Савельев, а не граф»; остряк, при общем хохоте, совсем добил полицейского, тут же продолжая:

«Со слов товарищей скажу вам на ушко: немало, говорят, за вами есть грешков». Припоминаю и рассказ отца: он возмутился желанием одного студента немедленно жениться и затруднился деликатно объяснить студенту всю нелепость его домогательства на разрешение этого печального брака, совсем неравного; Савельев, бывший тут и знавший по хлопотам моего отца отказ ректора на прошение, вдруг сказал: «Не следует юнца держать в обмане, когда решение глупости лежит у вас в кармане». Отец немедленно разочаровал жениха и, конечно, благодаря дальнейшей своей настойчивости, спас его от грубой ошибки. Савельев, видя оторопевшего студента, принял за него, рассмешил его, разговорил своими рифмами. Случайно два года спустя этот жених при мне сердечно благодарил и отца, и Савельева за действительно спасший его отказ и образумившие его рифмы.

Конечно, за пять лет моего пребывания в университете у меня было немало товарищей, с которыми я дружил, либо занимаясь вместе науками, либо сидя за квартетным столом шли как-либо музицируя. Немного их осталось в живых, со многими из них, еще здравствующими, так и не видался я по окончании курса в гимназии и университете, с весьма немногими мои встречи были кратковременны, случайны. Я уже упоминал о бывшем нашем кружке пения, о бывших у меня двух студенческих квартетах и долговременной моей игре в четыре руки с Николаем Ивановичем Соколовым. Позднее мое музицирование было более всего в кружке Панаева, в семействах Ковальского и Ханькова, куда перекочевала и часть студентов, товарищей-музикусов. Главное же товарищество мое, конечно, зависело от научных занятий и было связано со всякими работами по составлению лекций, по очередному пользованию всякими книгами и журналами. Из таких товарищей был одно время со мной близок покойный Николай Петрович Кудряшев (сын столь ненавистного инспектора) из Самары, покойный же Виктор Васильевич Варенцов, здравствующий, хотя горемычный Вадим Владимирович Бекетов, Андрей Иванович Соколов, покойный Григорий Петрович Лутновский, Семен Алексеевич Григорьев, Сергей

Александрович Григорьев и Петр Андреевич Аверьянов (он же виртуоз-скрипач, первая скрипка Панаевского кружка). Нечего греха таить, что «потихоньку от родителей» мы иной раз занимались далеко не науками, а резались в преферанс с записями долгосрочного кредита на стенке, причем менялось у нас много кружек великолепного казанского пивозавода «Петцольд и К°». Но надо сказать и то, что кутежи и всякие истории были совершенно нам не причастны и ни разу ни с одним из нас не было никакого скандала, не было «протоколов» и т.п. Не собиралась вышеперечисленная компания вся вместе, так как я жил в ней в разные годы и на разных курсах, но вели себя мы, безусловно, порядочно и учились прилежно и добросовестно. Герои старого типа студентов встречались между студентами моего времени в достаточном числе. Мой первый приход в университет с прошением к ректору о принятии в студенты совпал с лицезрением подъехавшего навеселе студента Богинского (потом часто встречавшегося со мной в студенческом банке), провозгласившего швейцару: «Козловский, отдай этому россинанту двугривенный и скажи, чтобы убирался к черту». Сущей притчей во языцех был горчайший пьяница, буйный медик Игольников, потом, конечно, совсем пропавший, несмотря на блестящие дарования. Игольникова и судили, и сажали, и вытрезвляли... Он все-таки кончил курс и, как я слышал, будучи военным врачом в Пензе, погиб из-за какой-то пьяной стычки на службе. Были другие молодцы, но много уступавшие Игольникову.

Настоящей порой неудержимого нашего студенческого веселья были, конечно, масленица и так называемые «мертвецкие» после наших концертов. Масленица в Казани отличается приездом множества татар, которые на парах в своеобразных санях катали казанцев по улицам и за городом за очень дешевую цену. «Покататься на татарах» есть масленичный обычай каждого чувствующего себя коренным казанцем. В студенческих кружках в мое время устраивались в каждую Масленицу «юридические блины» или «медицинские блины», «естественные блины» и проч., которым веселье молодежи придавало иногда даже неестественные размеры.

Эти «блины», рекомендовавшиеся в приглашениях как «проба выносливости желудков российского юношества» или «генеральное состязание филологов, или математиков, или юристов с медиками по блинной части, не без надежды на врачебную помощь Игольниковова», были многолюдны, шумны, сопровождались поездками за город, катаньем с гор и т.п. «Мертвецкие» были: «постоянные у Лысого», то есть буфетчика с огромной лысиной, горячего друга студентов, очень похожего на Дарвина, – он содержал пивную под Крупениковскими беседками на Николаевской площади, близ университета, и это было местом сближения студентов по вечерам после занятий или после театра. «Временные мертвецкие», или «концертные», устраивались в нижнем этаже Дворянского собрания в дни наших там концертов. Как ни печальны были иногда отдельные эпизоды от излишне выпивших студентов, все же я вспоминаю эти братские беседы, когда душа нараспашку, с самым искренним удовольствием. Полиция и помощники проректора, равно и кто бы то ни было из частных лиц, совершенно не допускались в мое время в эти увлекательные, благороднейшие «мертвецкие». Зато профессора были в них (конечно, только в «концертах») самые дорогие, самые милые гости, которых мы принимали и провожали с аплодисментами, качали, даже и подпаивали тех из них, которые сохранили в себе более живо старостуденческие заветы. Множество курьезов происходило в этих «мертвецких». То начнут усовещивать профессора, что он не следит за литературой предмета, или излишне увлекается тем-то и, тем-то, или не ценит натурфилософов, или не умеет пить пива. Громовые, восторженные «*Gaudeamus igitur*» в несколько сот восторженных глоток были просто очаровательны, крепки, сильны, могучи. «Проведемте, друзья, эту ночь веселей, чтоб студентов семья собиралась тесней» была – с куплетами всякого сорта, и о Чернышевском, и о «свободе» – жаркой песней тогдашней молодежи, и мы пели ее чуть не со слезами. Студент, сын или племянник пострадавшего в «истории» старого студента, вдруг остановил наш хор и восторженно заявил нам, что сосланные студенты времен Петрашевского, Достоевского поют куплет «*Gaudeamus*'''а так:

«Post molestam iuventutem, post iucundam senectutem nos habebit humus»¹⁵⁵ – и они правы! Они, в числе многих, имена коих Ты веши, Господи, да третье отделение с шефом жандармов, были истинными рыцарями правды и свободы. «Господа! За здоровье страстотерпца из «Мертвого дома» Федора Михайловича Достоевского, за здоровье Николая Гавриловича Чернышевского, Афанасия Прокофьевича Щапова и всех пострадавших по жестокому недоразумению – ура!». Едва ли когда-либо со времени построения Казанского Дворянского собрания крепкие своды его нижнего этажа слышали столь громоподобное «ура», как после этого тоста, автор которого уже раз десяток побывал под потолком, прежде чем угомонилось всеобщее возбуждение, чистейшее, благороднейшее, полное самой искренней и твердой веры в торжество правды. «Мертвецкая» в такие минуты была прелестна! Вспоминаю однажды устроенную «мертвецкую» в студенческом спектакле в городском театре, конечно в фойе галереи, или райка. Кажется, шла пьеса «Перемелется – мука будет» из студенческого быта. Во втором или третьем акте ввалилась на сцену толпа студентов и изобразила «мертвецкую» сначала на сцене, пропевши несколько песен с азартным ансамблем, а потом, после спектакля – наверху, в фойе. Этим хором дирижировал Мамонт Иванович Герасимов (второй скрипач из моего второго квартета). Я уже не был студентом год или два, но не вытерпел и побежал на сцену, потом, принятый студентами, побывал и наверху. Это была последняя «мертвецкая», в которой я был. Случай суда полицмейстера Мосолова, оригинально покончившего в минуту стычку купца со студентом, был, как кажется, в этот именно вечер.

Помню великолепный, неожиданный эпизод, случайно повторившийся у меня вдвоем с одним старым студентом на пароходе лет двадцать спустя. Эта встреча трогательнейшим образом уверила меня в бесконечной любви старых студентов к родному университету. 18 октября 1894 года, после похорон моей матери, я сел на какой-то шалый пароход, отправившийся в Нижний Новгород на зимовку. Был осенний ледоход, холод, пароход шел без пассажиров в такой степени, что я оказался

всего единственным путешественником, расположившимся в каюте. Когда пароход отчалил от пристани, я заметил на трапе какую-то бедно одетую фигуру с очень длинными волосами, одетую в два драповых пальто и повязанную у шеи чем-то вроде женской шали. Человек этот, очень высокого роста, оказался весьма благообразным стариком, с тонкими чертами лица, обрамленного сединой. Меня очень заинтересовали непонятные жесты и поклоны старика, который то кланялся, то умиленно всплескивал руками, то бормотал что-то, то крестился, не сводя глаз с Казани. Когда его прощанье с Казанью кончилось тремя поклонами в землю, во время которых он подолгу прикивал лицом вниз и, очевидно, плакал, я, грешный человек, подумал о нем, что он либо расчувствовавшийся и немного выпивший, либо такой же невеселый на душе путник, как и я сам. Дело было под вечер, почему заходящее солнце превосходно освещало белевшую в снегу далекую Казань. Признаться, и я последовал примеру старика, помолился на церкви родного города, поклонился издали свежей могиле моей матери и, продрогнув изрядно, ушел в каюту. Часа полтора-два спустя старик пришел ко мне и вступил со мною в разговор. Мы быстро сошлись. Он оказался Шидловским, бывшим студентом Казанского университета, исключенным за какую-то историю в 50-х годах и испытанным административную ссылку и поднадзорное житье в Варнавине, в котором потом и остался навсегда. Ни бедность, ни глушь уездной жизни в костромских лесах не убили, однако, студенчества в этом старике. Так как я, по знакомствам моего отца и по своим знакомствам, оказался знавшим почти всех, о ком вспоминал старый студент, то немудрено, что он скоро воодушевился и наша беседа сделалась очень оживленной. Чистая красота, достаточная начитанность и огромная энергия старца, особенно пылкая его любовь к родному и мне Казанскому университету скоро потянули меня к старцу. Нас разлучила поздняя ночь. Мы пропели все студенческие песни. Мой коллега, остановившийся во время «Gaudeamus», также пел, заливаясь слезами: «Post molestam iuventutem, post iucundam senectutem...».

Я упомянул о швейцаре Козловском, чуть ли не лет сорок-пятьдесят пребывавшем у парадного университетского крыльца. Козловский заведовал нашею почтовою и товарищескою корреспонденцией) (по передаче между студентами записок, книг, лекций), но не вывешивал наши объявления, бывшие в мое время вне всякой цензуры. В конторке у Козловского бывали всякие воззвания по нашим делам, по студенческому банку, по студенческим факультетским библиотекам, по протестам кого-либо против чего-либо и проч. В марте (кажется, 19-го) ежегодно по случаю именин Козловского (он был католиком, и его, кажется, звали Иосифом) всегда появлялся лист с заглавием: «Господа студенты приглашаются к товарищеской складчине швейцару Козловскому на известную потребность». На этом листе в один-два дня появлялась масса подписей с самыми разнообразными по сумме пожертвованиями, делавшимися нами очень охотно, так как 20–30 копеек у него всегда (но только в уплату им извозчикам) можно было достать. Удовлетворивши свою «потребность», что бывало, конечно, и в дни кроме именин, Козловский делался чрезвычайно разговорчивым и охотно рассказывал нам про времена Мусина-Пушкина, браня и журя нас за то, что нам «куда далеко» до тогдашних студентов. «Вон какие молодцы были: Бутлеров, Булич (следовали, конечно, самые громкие имена) – и, бывало, запрешь его, раба Божия, а он: «Козловский! Друг! Тащи чаю с булками...». А тут синдик Траубенберг (то есть бывший когда-то вместо проректора): «Ты мошенник, Козловский, такой, сякой, потакаешь этим...». А я: «Вашество, а вспомните-ка, кто как не Козловский носил вам потихоньку ужин в карцер, да еще за вами у меня чуть не три или пять рублей ассигнациями сколько лет пропадало? А теперь так важно: «Козловский!». Что Козловский-то заслужил кроме спасибо? Не таких видали: вон, бывало, генерал (знаменитый Николай Иванович Лобачевский), али Симонов, али мирза Казем-бек Козловскому должное почтение отдавали... А вы что (вдруг переметывался старик по нашему адресу) – вы и пить-то не умеете, да и барышни-то на вас не смотрят, да и в церковь-то к нам ходят уже только старухи, не то что прежде...".

Заклучу о Козловском и об университете тем, что умершего Козловского проводили в мундирах все старые профессора, а гроб его донесли студенты на руках до могилы. Если не ошибаюсь, и памятник поставлен на деньги, собранные почитателями маститого швейцара, истинного друга студентов.

Глава IV. В суде (1872–1875)

Я прожил лишь лето и осень 1872 года в колыбели моего музыкального образования – в имении Львова Садилово в тридцати пяти верстах от Казани на северо-восток, недалеко от знаменитого Сибирского тракта. Отдохнув от экзаменного утомления, я переделал осенью свою кандидатскую диссертацию и переехал в Казань после почти трехмесячного пребывания в прелестной семье Верещагиных (Елизаветы Леонидовны, дочери Львова – доньине моего сердечного друга). Если не ошибаюсь, Леонид Федорович Львов с семьей жил в это время в Дрездене.

Я решительно не могу припомнить, каким образом начало моей службы случилось было в Казанской казенной палате. Я пробыл там всего два-три дня и с ужасом бежал, едва окунувшись в мир бумагоизводящих чиновников. Мне помнится, что едва я подал прошение (кажется, управляющему палатой Александру Ивановичу Лебедеву), как мне дали рассмотреть какое-то запутанное дело, от которого я пришел в такое отчаяние, что тут же побежал просить, чтобы мое прошение оставили без последствий, и тут же заявил, что больше не приду в палату. Особенно угнетающее впечатление произвел начальник отделения Малехов, сведший своими замечаниями, вероятно вполне дельными, мою добросовестную первую работу к полному нулю. Я и теперь не могу понять, как я, увлекавшийся уголовным правом, сколько раз и так оживленно следивший за процессами, попал зачем-то в казенную палату...

Из этой палаты я отправился прямо к председателю окружного суда Александру Емельяновичу Лазареву, которого знал в лицо, выдав его в заседаниях. Судебные учреждения были только что открыты тогда в Казани, и заседания нового суда производили большое впечатление своею гласностью и новостью. В составе судебного персонала было много молодых людей, даровитых, знающих дело, отличных работников, некоторые из которых здравствуют до сих пор и очень известны в юридическом мире. Прокурором был столь небезызвестный

теперь Анатолий Федорович Кони.¹⁵⁶ Товарищами прокурора судебной палаты Червинского были Оболонский и Владимир Ромулович Завадский, секретарем у них – отличный пианист и небезызвестный композитор Николай Дмитриевич Дмитриев.¹⁵⁷ Нынешний поэт Сергей Аркадьевич Андреевский был тогда при товарище прокурора окружного суда, а нынешний директор департамента министерства юстиции Николай Дмитриевич Чаплин только что вышедшим из Училища правоведения кандидатом на судебные должности – ведь описываемое мною было тридцать лет назад!

Начало моей службы в качестве «кандидата на судебные должности» было поистине горестным и обидным для кандидата университета, но вместе с тем, как оказалось, и высокополезным. Председатель Лазарев откомандировал меня для занятий в регистратуру, так как его родственник Лазарев просился в отпуск. Месяца полтора я записывал входящие и исходящие бумаги, заклеивал конверты, отправлял повестки и т.п., ходя в свободные минуты в уголовные и гражданские заседания окружного суда и судебной палаты, помещавшиеся тогда в верхнем этаже того же дома. У меня было много университетских товарищей, служивших тут же шли занимавшихся адвокатурою, отчего ежедневные занятия в суде были постоянно освежаемы и отнюдь не походили на затхлую атмосферу казенной палаты. Члены суда и палаты, как и прокурорского надзора, были сплошь образованные люди, кроме так называемых «у-у» (то есть выслужившихся из прежних чиновников и значившихся в списках министерства юстиции «у-у»: кончивших курс в уездных училищах, а не в университетах или лицеях). Откомандирование меня в регистратуру и дальнейшее, хотя и кратковременное мое пребывание в качестве помощника у Лазарева и у другого помощника секретаря Попова, заведовавшего делами председателя, было для меня сущим мученьем как по причине механичности труда, так, особенно, по необходимости подчинения племяннику председателя господину Лазареву, носившему название «Семерка пик».

Этот «Семерка пик» был одноглаз, жестоко некрасив, совершенно необразован, даже и глуп. Он считал, однако, себя чуть ли не привлекательным красавцем, немалым чином в суде и даже играющим далеко не маловажную роль, будучи близким к «Королю пик» и к «Пиковой даме» – к председателю Лазареву и его жене. Название «Семерка пик» взято было из имевшей тогда успех оперетки «Рауль – Синяя Борода», где «Король пик» был окружен всею пиковою мастью – штатом от дамы до двойки; «Семерка» играла тут какую-то роль, которая показалась судебным казанским деятелям похожею на деятельность юркого и всюду совавшегося Лазарева, и он получил это прозвище. И жалко, и забавно было видеть, как этот Лазарев в мундире и треуголке считал надобным проехаться по главным улицам Казани каждый раз в дни так называемых «казней» или «объявления приговоров» на Мочальной площади. Он представлял собою куда-то спешащего чиновника с портфелем. Тот же портфель украшал его на лестнице суда в час сбора публики в заседание суда, когда Лазарев без всякой нужды метался по лестнице, изображая чиновника-хлопотуна, забывающего, однако, свои обязанности, чтобы, встретя красивую даму или барышню, удостоить ее, по остроумному выражению кого-то, «убийственным взглядом».

Мои первые два дебюта публичной судебной деятельности последовали вскоре после 3 ноября, дня моего поступления на службу. Первый дебют был самым жестоким – объявление приговора кому-то на Мочальной площади – фигурирование вместо опротивевшего мне «Семерки» на морозе и надобность окунуться впервые в совершенно незнакомый мне тюремный мир. Я отправился в тюрьму, мне предъявили двоих преступников, я удостоверился опросом в их личностях и затем должен был пропонттировать через весь город в качестве исполнителя гражданской казни. На площади, войдя на эшафот, я прочитал, дрожа от мороза и от волнения, приговор суда и простоял положенное время в молчании, пока преступники были у позорного столба, обвязанные зачем-то цепью, а окружающий народ кидал на эшафот деньги. Это жестокое душевное состояние совершенно потрясло меня в такой

степени, что я тут же, стоя на эшафоте и перебирая почему-то в памяти казни стрельцов, Эгмонта и Горна, воображая около палача в крови с топором в руках, дал себе слово употребить все силы, чтобы отстраниться от участия в церемонии, бывшей столь любезною для самолюбия «Семерки». Мне было обидно, что я, кандидат университета, только недавно увлекавшийся сочинением Миттермайера¹⁵⁸, отрицавшего право одних людей лишать жизни других, сочувствовавший всему свободному, должен был с первых же шагов моей службы участвовать в совершении казни, хотя бы и бескровной... «Ведь они же люди, – рассуждал я на эшафоте, глядя на опустивших глаза преступников. – Ведь это зрелище, как оно ни далеко от когда-то бывших на этом же месте публичных экзекуций, все же развращает зрителей... Ведь царю Александру II, заслужившему почтеннейший титул «Освободителя», еще в колыбели было указано не забыть, что «святейшее из званий – человек». Как же я, Смоленский, стою здесь? Зачем я учился? Где мои убеждения?».

Другой мой дебют был вскоре в качестве «казенного защитника», так как неожиданно захворал какой-то адвокат, а председателю не хотелось откладывать дело, но которому подсудимый сидел в остроге. Я получил «наряд в заседание в качестве защитника такого-то, обвиняемого в том-то» часа за полтора-два до заседания, едва успел сбегать домой, чтобы переодеться, едва успел прочитать обвинительный акт и набросать для себя заметки, чтобы знать, о чем спрашивать того или другого свидетеля. Дело было самое заурядное, вроде «третьей кражи», и весь процесс продолжался едва ли более получаса. У меня появились спазмы в горле перед моментом допроса мною первого свидетеля. Я вдруг забыл подробности обстоятельства, благоприятного для подсудимого, о котором я тоже совсем забыл в эту минуту, забыл даже русский язык... Глядя на свои заметки и видя в них сущность вопроса свидетелю, я не в силах был выговорить хоть бы слово... Председатель Лазарев, конечно, понял, что я совсем растерялся, и допросил свидетелей сам, бросая мне лишь формальное: «Не имеете ли чем дополнить?» Настоящая казнь

моя, конечно, не замедлила вскоре прийти. Я все думал, что будет со мною, когда мне скажут: «Господин защитник, ваше слово!» Но пока я так волновался, допрос свидетелей кончился, и прокурор успел уже сказать свою речь. Я очнулся лишь тогда, когда почувствовал толкание меня в бок судебным приставом и услышал: «Что же вы? Вам говорить...». Я встал, собрал все силы духа и заговорил что-то очень горячо, нервно, говорил до тех пор, пока тот же судебный пристав не посадил меня. Мне говорили потом, что председатель меня останавливал, так как я говорил не относящееся к делу, что будто, и чуть ли не два раза, я обмолвился и вместо «господа присяжные заседатели» сказал «господа подсудимые»! И теперь не могу, как и некоторое время после этого трагикомического дебюта, хорошенько сообразить, что такое со мною случилось в этот раз: ведь я уже десятки раз бывал на концертной эстраде и был далеко не новичок перед публикой, и экзамены перед начальством также никогда не были для меня очень страшны. Помню, однако, что после этой первой защиты преступника я впал в глубокое и продолжительное уныние. Мне казалось, что я своею неумелостью и растерянностью погубил невинного человека и сам толкнул его через тюремную отраву на путь дальнейшего падения, что я был сам смешон, жалок и глуп, что я осрамил университет, что мне надо выйти в отставку и проч. Несколько дней спустя вдруг председатель суда вновь назначил меня защитником каких-то воров. Я явился к Лазареву и сказал, что не могу опомниться и от первой защиты, что я отказываюсь, не желая, чтобы через меня гибли люди, имеющие сказать в свою защиту хоть что-нибудь. «Однако, молодой человек, какой вы несдержанный, – мягко сказал мне председатель. – Перед уходом домой напомним-ка мне, что я вас желаю вновь видеть...». Понятно, что, опамятавшись, я сообразил, что вошел к председателю без доклада, что у него кто-то был кроме меня, что я наговорил глупостей и что мне теперь грозит, пожалуй, дисциплинарное взыскание, зависящее, пожалуй, и от самодурства старого председателя, который к тому же только что «произведен в тайные», следовательно, «зазнался» и обрадуется «проучить молодого студента» и т.д. Оказалось,

однако, что Лазарев отнесся ко мне как к родному сыну и дал совет очень дельный. Он сказал мне: «Начертите на бумаге окошко в четыре стекла и напишите так: а) данные по обвинительному акту, б) свидетельства в пользу подсудимого, в) смягчение улик, обвиняющих подсудимого, и г) вывод с чувствительными словами; потом, молодой человек, помните, что искусство говорить, кроме дара слова, вырабатывается умом и спокойствием, а не никому не надобною горячкою, дающею только путаницу. Прочитайте дело и приходите ко мне перед заседанием сказать вашу речь, которая, предупреждая вас, должна быть не более четырех-пяти минут». Наутро я был у Лазарева, выдержал экзамен и сидел потом в заседании уже настоящим защитником, даже допрашивая свидетелей.

Успехи мои оказались так значительны, что меня полгода спустя взяли в качестве казенного защитника в Козьмодемьянск на сессию вместе с Лазаревым, и я успешно провел в этом городе весь май, когда и Козьмодемьянск даже становится красивым. Но еще более мои успехи оказались значительными в познании собственно канцелярских порядков, уголовного процесса и в усвоении себе практических, а не философских знаний в области уголовного права. Область эта в связи с социальными науками и психологией интересовала меня в живейшей степени, тем более что практическое применение этих познаний мне представлялось прямо особого рода виртуозным искусством, не деловитостью только, а именно искусством. Я засел за логику, за исследование планов речей того же Кони, Завадского, за планы хорошо составленных обвинительных актов, начал читать отчеты о процессах и даже уголовные романы. Занятия мои в канцелярии скоро стали сущим удовольствием, тем более что милый секретарь Александр Евграфович Бенескриптов (или, как дразнили его, «Малелегов») жил у главы нашего квартетного кружка Л.А. Панаева, а помощник его Саша Константинович Брюс был моим приятелем еще с первых классов гимназии. Оба были премилыми людьми. Окна канцелярии выходили на угол тротуара Воскресенской улицы, самой оживленной в этом месте, так что жилось и работалось превесело. У нас завелись –

по примеру книги Бастиа «Экономические софизмы» – «Четверги юридических софистов». В нашей канцелярии при участии даровитого красавца и остроумного весельчака Николая Львовича Владимирова (доктора философии Гейдельбергского университета), при участии многих моих товарищей – Петра Викторовича Филиппова, Николая Михайловича Долгова, Александра Алексеевича Корноухова и Воронина – докладывались экспромтом иногда презабавные рефераты. Их было множество, например: «О предании суду председателя Лазарева за превышение власти», «О доставке в суд архиерея Антония по заявлению защитника «на свой счет"», «О расчислении на членов суда расхода судебных издержек, увеличенных по нерадению окружного суда», «О времени назначения подтасованных распорядительных заседаний и «Общего собрания идиотов» Казанского окружного суда», «О мошенничестве, в котором изобличен член суда NN», «О неправоиспособности товарища прокурора NN по его малограмотности», «О невменяемости члена суда Г-ва, забывшего в ресторане листы с вердиктом присяжных и приговором суда» и проч., что только составляло либо злобу дня, либо действительно предлог к остроумной игре статьями закона. Помню, как Долгов читал реферат о гражданском исправнике, обвинявшемся в унижении суда, так как он нанял присяжных заседателей из чувашей вымыть и выскоблить полы в здании съезда и затем попустил составить акт о том, как присяжный заседатель из чувашей стянул у подсудимого рукавицы и, будучи пойман с ними на руках, был побит тем же подсудимым во время перерыва, или о том, можно ли мерзлый калач, которым едва не зашиб до смерти подсудимый потерпевшую бабу-торговку, считать за «оружие, коим можно нанести смерть или увечие», и следует ли потом считать эту кражу «вооруженною» и т.п.

Весна в Козьмодемьянске, «лежащем», как говорил Долгов, наш стихоплет, «в глубоком сне на берегу Волги, против впадения в нее речки Рутки, и знаменитом как своими корневыми палками из карельской березы, глухим исправником, грязными улицами, так и превосходным воздухом, который

тщетно стараются испортить сами обыватели, плохая полиция и купцы, торгующие тухлыми товарами», – весна в Козьмодемьянске в мае 1873 года удалась просто очаровательная. Мы сделали визиты уездным властям, власти нас угостили великолепным пикником с тонею, погода была отличная, дела шли без особых приключений. Вечера проводились на берегу Волги, грандиозной в своем разливе, новые знакомые были очень приветливы, мы отвечали тем же – словом, было общее благодущие. Припоминаю лишь следующие мелочи: нас предупредили, что исправник совсем глух, а дочка его «так и режет по-французски». Действительно, исправник постоянно попадался в забавных *qui pro quo*, особенно же с такими озорниками, как мы. Дочка, уже немолодая, на мое желание как-нибудь воспользоваться удовольствием сыграть под ее аккомпанемент, спросила меня: «*Par exemple?*».¹⁵⁹

Милый и серьезный Осип Степанович Викторов, товарищ прокурора «Медвежьего участка Казанского окружного суда», из себя выходил, когда присяжные («лесовики») оправдывали сплошь всех полесовщиков, обвиняемых в «слабом смотреии» за порубками казенных лесов и в недонесении «за незнанием имен» о порубщиках. Осип Степанович сказал: «Хоть одного да закатаю в угоду Палаты государственных имуществ, а то бедняжки лесничие пишут, пишут, а все понапрасну». Этого было довольно, чтобы мы в этот день (дела о порубках шли всегда без защитников) взяли себе все защиты. Долгов на другой же день сочинил стих, а я музыку, и мы пропели Викторovu (проигравшему тогда все восемь-десять дел) серенаду на слова речи Викторова: «Господа присяжные! Сидящий перед вами плут в таком деянии сознался, что он сгубил казенный прут и с ним объездчику-лесничему попался», и т.д. В этой речи было подобрано все, что Викторов имел неосторожность сказать присяжным: о растратах казенного имущества, которые из-за оправдательных приговоров могут впоследствии выразиться убытками казны на миллионы рублей; о шатании устоев общества вследствие оправдания явно виновных; о надобности обвинения полесовщика, обязанного по

службе лезть с голыми руками на толпу вооруженных порубщиков; о превосходстве красноречия Викторова перед простыми объяснениями чувашей-полесовщиков, подтверждающих громы обвинения по незнанию русского языка словами «суглас, суглас», а потом «неслыханно грубо» отпирающихся при обвинениях через переводчика...

Помню и забавные сцены в нашем товарищеском кружке. Мы все обедали у «Тибитея», или у «Определяет», в складчину, очень просто и весело. «Определяет» было в нашем молодом кружке прозвищем Лазарева, восклицавшего это слово в приговорах суда в различной степени силы его огромного голоса; если в каторжные работы, то «определяет» было весьма сильно, если в арестантские роты года на четыре или в Сибирь на поселение – много слабее; при незначительном наказании «Определяет» иногда шутил над нами, объявляя вдруг после двух **ff** что-нибудь вроде «выговора по службе» или «ареста на один месяц». Так, однажды «Тибитей» сидел с нами на бульваре, конечно отечески отчитывал нас за промахи в мелочах процесса, а Долгова за то, что он дерзнул «закатить председателя в протокол». Вдруг наш добрейший «Определяет», увидав плывшее по Волге полено, вздохнул и сказал: «Вот ведь и баклажка эта доплывет до нашей милой Казани!» Через полчаса я в компании с поэтом Долговым уже распевал на мотив татарской песни: «Баклажка, баклажка! Зачем ты плывешь на Кузанский стуруна! Скажи Кобцев, скажи Глинка (члены суда, постоянные винтеры у Лазарева в Казани) – Тибитей стал бульна мудрена...». Мы заливались хохотом, распевая эту песенку, не подозревая предстоящей сцены в этот же вечер. За ужином десятилетний сын Лазарева вдруг заговорил: «Папаса, тебя Смоенский и Долгов баклаской назвали». Мы были ни живы ни мертвы. «Неправда, милый, – сказал «Тибитей», – Степан Васильевич и Николай Михайлович никогда не будут меня так называть...».

Не помню, когда именно, но осенью этого же 1873 года я был уже помощником секретаря выездного по сессиям отделения окружного суда, с которым, однако, я успел побывать только в двух сессиях: в Цивильске, которую я едва вынес, и в

Тетюшах, после которой должен был бросить службу в окружном суде. Сессия в Цивильске, начавшаяся скандалом с присяжными заседателями из чувашей, которых исправник нанял вымыть и выскоблить грязные полы в зале наших заседаний, была просто невозможной по чудачествам и буффонству председательствовавшего члена суда Федора Сергеевича Глинки.

Девятого октября 1906 года Ф.С. Глинка, ныне уже свыше чем восьмидесятилетний и очень благообразный старец, неожиданно посетил меня. Я заметил, что он чрезвычайно любит вспомнить минувшее. К тому же он сообщил мне, что он недавно рассорился с женою своего сына Сергея Федоровича (профессора геологии), теперь живет один и скучает. Я уговорил Федора Сергеевича приняться за написание своих воспоминаний. Должно быть, у меня «рука легка» – написав на тетради «Воспоминания Ф.С. Глинки», я уговорил старца при мне же начинать. Федор Сергеевич, воодушевившись, написал первую строку: «Родился в 1826 году в Москве» и т.д., и уже одиннадцатого октября я был обрадован тем, что старец принес мне все шесть листов, исписанных его стареющим почерком. Немедленно поэтому мною были пронумерованы еще три тетради и вручены «начинающему автору».

Сессия подобралась, кроме него, из всех вновь назначенных. Такими были член суда Сергей Викторович Дьяченко (сын модного тогда драматического писателя, потом известный казанский городской глава), товарищ прокурора Нил Николаевич Матери – мой товарищ, я и два совсем неопытных молодых казенных защитника. К этому составу присоединился какой-то пребестолковый почтенный мировой судья, заседавший вместо третьего члена суда. Глинка позволял себе с чувашами Бог знает что. Например, перед приводом заседателей к присяге он говорил приблизительно следующее: «Ну вот, братцы, садись («Лар, лар», «Утор, утор», – говорил он чувашу или татарину), вот присягу приняли, хорошо судить будем, по правде, а то Царь-батюшка сердиться будет, да и грех

будет; а кто чего не поймет, так не говори: «Сугл́ас, сугл́ас» («согласен»), а скажи «Бельмес тебе» («не понял»), я расскажу хорошо, сердиться не буду, с Богом, айда – пошел! Читайте обвинительный акт». Со свидетелями и подсудимыми Глинка обходился еще проще. Например, после присяги свидетелей он держал такую речь: «Присяга́м давал – правду говори. Слышите? То-то, а то царь-батюшка рассердится, в каторжную работу, в Сибирь сошлет; да не врете без толку, а то как разобрать, кто как виноват? Такой-то останься, а остальные ступайте, да, чур, не сговариваться! Господин судебный пристав, такого-то посадите отдельно. Ну, брат, рассказывай, как лошадь-то украли». «"Сюк, сюк» или «сяпла, сяпла» («нет, нет» или «да, да»)? – подбадривал Глинка свидетеля. – «Ка́ла, ка́ла» («говори, говори»). Ну вот так, ну хорошо! А вот это ты уже и соврал! Говори правду! Вот опять врешь. Экой ты бестолковый! Так как же лошадь-то увели? Он, что ли, украл? Говори правду! Да ты не увертывайся! Ишь какой! Где ты его видел? Ах мошенник! И дрался? Или побежал? Что, поймали? А крепко его били? « и т.п.

Товарищ прокурора однажды не вытерпел и запальчиво заявил: «Прошу занести в протокол, что господин председательствующий позволяет себе допрашивать свидетелей с явным нарушением всех порядков допроса, указанных такими статьями». «В протокол? Меня в протокол! Будет вам! Надо дело решить, а не протоколы писать! Я уже старый судья». (Ко мне:) «Не пиши, не позволяю!». (Свидетелю:) «Ну, так как же?... Ей, не ври, ну чего путаешь...».

Сессия в Тетюшах едва не кончилась для меня трагически. Председательствовал в ней больной неврастеник Сергей Александрович Григорьев, необыкновенно забывчивый и раздражительный, с которым, как с властолюбивым и болезненно резким, я рассорился почти в начале сессии. В этой сессии вполне неожиданно для себя я всласть наигрался квартетов в семье секретаря съезда Разумова с детьми казначея Муратовского и всласть же наплясался в семьях Крупиных, какого-то князя и какого-то еще помещика, кажется Горемыкина. (Не далее как в начале 1901 года я вдруг получил

привет из Тетюшей от этих квартетистов и танцоров, которым я играл танцы, через одного ученика Московской консерватории из богоспасаемых Тетюшей.) С.А. Григорьев, как забывчивый и нервный, очень ошибался в процессуальных частностях, а как самолюбивый – никогда не имел мужества сознаться в ошибках и не удерживался от замечаний мне и выговоров даже с внесением в протокол. В сессии были те же С.В. Дьяченко и Нил Николаевич Матерн. Помню, что однажды мы вышли в заседание из комнаты судей после крепкой стычки между Григорьевым и мною, в которой Григорьев был не прав по существу, а я был виноват по неуступчивости. Дело было очень серьезное, «с каторгой», что-то вроде убийства или разбоя. В начале заседания Григорьев, отпустивший какого-то присяжного, сколько помню, Михаила Михайловича Калсанова, забыл сказать о том мне и вынуть билет с его именем. Судьбе было угодно, чтобы при выборе присяжных попал именно этот билет. Конечно, я занес имена в протокол. Но при приведении к присяге вдруг заметили, что присяжных одиннадцать, а не двенадцать. Произошло крайне неловкое замешательство. Присяга была прервана, и я неожиданно услышал: «Господин секретарь, занесите в протокол, что по небрежному отношению к вашим обязанностям произошла ошибка в выборе присяжных, и суд, кассируя выборы, делает новый выбор присяжных». Я в полном недоумении спрашиваю: «В чем была ошибка?» – «Вы представили неисправный комплект билетов присяжных заседателей, в котором оказался невынутым билет с именем такого-то, мною уволенного». – «Мне ничего не известно о действиях по настоящему делу, господин председатель, вне настоящего заседания билеты были исправны и заготовлены вовремя». Григорьев, сильно возвысив голос: «Вы не имеете права возражать мне, занесите в протокол, как я приказываю». Я: «По статье... устава уголовного судопроизводства я как секретарь имею право заносить в протокол кроме приказанного и все надобное по моему усмотрению. Поэтому обо всем происшедшем будет занесено в протокол во всей подробности». Григорьев, крича: «Прерываю заседание окружного суда на четверть часа». Нетрудно представить степень общего

возбуждения после этой внезапно разыгравшейся истории. Милейший Сергей Викторович Дьяченко уговаривал меня, оставшегося на месте в зале, войти для объяснений в совещательную комнату, но я наотрез отказался, соглашаясь прийти только для выслушивания извинений Григорьева, оскорбившего меня публично, по службе и незаслуженно. В совещательной комнате шли громкие споры, не приведшие, однако, к примирению. Через четверть часа заседание возобновилось, и у меня хватило духа прочитать только второй список присяжных, хотя я во время перерыва злобно упивался мыслью, как я прочитаю и первый список, все-таки внесенный в протокол заседания, и ядовито составленную редакцию описания всего случившегося. Заседание пошло было мирно, если не считать замечаний Григорьева во время чтения мной обвинительного акта: «Читайте громче и без ошибок...». Едва сдержав себя, я дочитал обвинительный акт, конечно занеся это заключение председателя. На беду, Григорьев что-то опять напутал, и, сколько помню, я внес все в протокол, но уже по редакциям, письменно, для полной точности составленным для меня товарищем прокурора и защитником Кривцовым. За обедом (а обедали мы все вместе у мирового судьи, заседавшего вместе с нами, Игнатия Ивановича Горемыкина) я объяснил Григорьеву всю меру моих претензий, заметив все-таки, что здесь мы частные лица и потому более свободны в объяснениях, хотя и тут я буду помнить, что я только секретарь, а он председатель. Тщетно нас мирили! По окончании заседания, заключившегося приговором в каторгу, я просидел чуть не всю ночь над тщательнейшим редактированием протокола, который был затем вместе со мною подписан Дьяченко и Горемыкиным, а от Григорьева вернулся разорванным пополам... Это было в 10 часов утра, а в половине одиннадцатого я получил бумагу примерно такого содержания: «Замечая в продлении текущей сессии ваше вполне небрежное отношение к делу, особенно же по отношению к составлению протоколов судебных заседаний, и ваше недопустимое поведение в дисциплинарном смысле во время самих заседаний, предлагаю вам, милостивый государь,

немедленно сдать находящиеся у вас документы, дела, бумаги и вещественные доказательства состоящему при вас чиновнику Чудовичеву. Присовокупляю к сему, что по поводу устранения мною вас от исполнения возложенных на вас Казанским окружным судом служебных обязанностей, мною вместе с сим рапортом от сего числа за № ... донесено г. председателю окружного суда. Председательствующий Григорьев».

Помню, что я сейчас же сдал все и не явился в суд, но пошел обедать все же в нашу компанию. Здесь я заявил Григорьеву приблизительно следующее: «Я уезжаю сегодня вечером в Казань и прежде всего явлюсь к прокурору судебной палаты для возбуждения против вас уголовного преследования за превышение власти, уничтожение протокола и оскорбление меня при исполнении обязанностей службы; понятно, что я употреблю все силы, чтобы по этому делу была подана кассационная жалоба, и тогда посмотрим, что вы будете делать без протокола, которого у вас нет и, конечно, не будет». Нужно было видеть побелевшего от злости, вполне бессильного и виноватого Григорьева! Как кажется, струхнули и Дьяченко с Горемыкиным. Дело, впрочем, уладилось миролюбиво, бумагу председателю вернули с почты, еще не отправившейся в Казань, а нас свели вместе, и мы условились закончить сессию, кончавшуюся через шесть-семь дней. По возвращении в Казань я сейчас же подал прошение о переводе меня в кандидаты на судебные должности при судебной палате. Лет двадцать-двадцать пять спустя я встретился с Григорьевым в Москве, и мы помирились окончательно.

Пребывание мое в судебной палате продолжалось около года и было чрезвычайно бесцветно, скучно, безработно, хотя и спас я чуть ли не от бессрочной каторги бродягу Вафа Абдуллатифова, опознанного за бежавшего убийцу. Докладывая перед заседанием старшему председателю Ивану (Грозному!) Николаевичу Орлову, я был удивлен его приказанием не замедлять заседания по такому бесспорному делу, тем более что после этого заседания было назначено особое присутствие с членами от сословий и губернских чинов. Я решился, однако, заявив, что «на земле, вероятно, в последний раз раздается за

подсудимого голос его защитника», убедить палату постановить приговор о подсудимом как о давшем ложное о себе показание и подлежащем потому только ссылке в Восточную Сибирь. Дело это было выиграно и устало мой кредит в палате, хотя сердце мое уже стремилось вновь к филологии в университете.

В судебной палате я встретился с моим другом за фортепиано Н.И. Соколовым, бывшим помощником секретаря у курьезнейшего из членов Емельяна Федоровича Нагулла, затем с товарищами по университету Иваном Евдокимовичем Швецовым, зятем Чистова, с Леонидом Николаевичем Квасниковым, с милейшим Алексеем Ивановичем Флориановым, над которым мы, как и над курьезнейшим, милейшим архивариусом и регистратором Коверским, проделывали невозможные штуки и шутки, Сергеем Федоровичем Вальднером и др. Типичны были фигуры и членов палаты, и окружного суда, но внимание мое было далеко от этих генералов, из которых, однако, я очень любил Виктора Петровича Траубенберга, бывшего синдика Казанского университета, судившего и меня в бытность его мировым судьей за «буйство» в театре. Это была единственная судимость бывшего юриста Казанского университета, кончившаяся моим оправданием.

Это судьбище в третий раз, как помнится, произошло из-за того же «Гамлета», которого похвалился поставить в свой бенефис известный после антрепренер Михаил Валентинович Лентовский¹⁶⁰, тогда еще молодой человек, но уже с определившимся амплуа легкого опереточного пошиба, весьма далекого от вдохновений Шекспира. Едва ли не «у Лысого» за кружкой пива Михаил Валентинович произнес при мне, Илье Николаевиче Редникове (из Первой казанской гимназии, потом директоре в Самаре) и некоторых товарищах изумившую нас дерзость, которую мы увидели в его похвальбе о возможности для него исполнить роль Гамлета. Мы, дружески возмущенные, однако, серьезно обещали освистать его в такой роли. «Тогда, если так, – воскликнул Лентовский, – то в мой бенефис такого-то числа будет дан «Гамлет». Я поработаю серьезно, и

посмотрим, освищут ли меня, кроме моих приятелей, более серьезные ценители».

Действительно, в бенефис Лентовского был объявлен «Гамлет». Лентовский был непозволительно плох, да и не мог быть хорош после Милославского¹⁶¹ и Ральфа, приучивших нас к серьезному и художественному толкованию трудной роли Гамлета. Товарищеский уговор и беспристрастный суд после второго акта решил исполнить обещанное Лентовскому, тем более что в третьем акте он был также плох, и мы, поддержанные публикою, дружно освищали Лентовского.

Конечно, после театра было «чаепитие у Мосолова». Нас притянули к мировому судье что-то человек шестерых-семерых, в числе их был студент Македонский, над которым судья Траубенберг вполне серьезно и высококомично проделал такую невинную, но злую шутку: «Вы господин Македонский?» – «Да». – «Александр Македонский?». Бедный студент, чуя каламбур, говорит: «Да». – «Вы обвиняетесь в том, что сломали скамейку в театре, шумели и т.д. Признаете ли себя виновным в таком «подвиге»?».

На приговор Траубенберга, присудившего арест на четыре дня, жалобу в съезд писал профессор Александр Васильевич Соколов, и съезд оправдал нас. Помню, что в заседании суда едва не возник новый процесс, когда пылкий Матерн подлетел к помощнику полицмейстера Остржинскому и воскликнул: «Что! Много взяли?». В этом же судьбище я познакомился с очаровательной когда-то талантливой артисткой Екатериной Борисовной Пиуновой-Шмитгоф, воспоминания которой оказались потом столь типичными и интересными. В эту «Катрусю» был когда-то в Нижнем Новгороде влюблен ссыльный Тарас Григорьевич Шевченко.¹⁶²

Глава V. Музыка в Казани в шестидесятих-семидесятих годах

Мои первые музыкальные впечатления в Казани, кроме домашних, относятся к итальянской опере, бывшей в Казани в 1857 или 1858 году. Тогда я слышал в первый раз колоратурное пение певиц Корбари и Мансуи¹⁶³, равно и оркестр под управлением того самого Клеффеля, который упомянут выше. Позднее я заслушивался театральным оркестром, составившимся из бывших крепостных оркестров Толстого и Нейкова. Этот оркестр стал старожилом в Казанском театре, играл и с оперными приезжими труппами, и в концертах, и при театральных драматических сезонах. В его составе было много моих приятелей, с которыми я музицировал множество раз. Это близкое знакомство особенно упрочилось после моей дружбы и знакомства с П.А. Аверьяновым и Л.А. Панаевым, близкими по родству с Толстыми и выросшими с этими музыкантами, между которыми многие были довольно опытны в своем деле.

Любительская музыка, фигурировавшая иногда и в публичных музыкальных вечерах, была в давние годы очень слабая. Я помню концерты, возбуждавшие смех слушателей и пожатие плеч у музыкантов. Игрались в качестве концертных номеров даже вальс Лисберга, очень пустой «Le Fou» ["Безумный"] Калькбреннера, «Молитва девы», «Монастырские колокола» Феклы Бадаржевской, «Пробуждение льва» Контского и т.п. Гремевший по русским провинциям пианист Сеймур Шиф услаждал и казанскую публику своими «импровизациями» на данную кем-либо тему. Помню и презабавные случаи с любительскими хорами, составлявшимися из казанских так называемых «Львовщины» и «Молоствовщины».

«Львовщина» была малочисленнее «Молоствовщины», насчитывавшей в пределах своего «cousinage» [родства] около 250-ти человек. Все дворянские семьи Казани быстро породнились между собой вследствие многосемейности многих из них, еще и по соседству

имениями. В львовских семьях были близки Верещагины, Головинские, Топорнины, Фуллоны, Эшаппары, Самсоновы и др. В молоствовских (очень многочисленных) семьях были близки Мамаевы, Демидовы, Осокины, Наумовы, Колбецкие, Пасмуровы, Пантусовы, Мертваго, Балыгины, Граве, Депрейс, Горемыкины, Кукурановы, Лебедевы, Лихачевы, Толстые, Панаевы и др.

Однажды такой женский хор из казанского высшего общества едва-едва допел известный хор из «Аскольдовой могилы»¹⁶⁴ «Ах, подруженьки, как скучно». Всеобщий хохот сопровождал невыразимо дурное исполнение при словах: «Ах, зачем мы, горемычные, родились на белый свет». В другой раз любительский хор с барынями и генералами рискнул пропеть известный хор Воротникова «Новгород», и рецензент весьма ядовито и правдиво описал исполнение приблизительно так: «Все смуты, раздиравшие новгородское вече, все нестройные партии, старавшиеся в своих собраниях только перекричать друг друга, были наглядно и весьма выразительно изображены хором любителей; «Новгород», раздираемый несогласиями, шумел долго, выродился и почил перед здравым смыслом русского народа, идеи которого сделали такой хор смешным, даже нелепым и недопустимым более анахронизмом».

Концертная деятельность, кроме упражнений в ней местных сил, была в Казани чрезвычайно слаба, так как дважды по четыреста верст зимнего пути – до Нижнего (железная дорога до Москвы от Нижнего Новгорода была уже выстроена) и [оттуда] до Казани устрашали артистов. Поэтому концерты были более всего либо осенью, либо весной с последними или с первыми пароходными сообщениями. Чаще всего артист, попадавший в Казань осенью, зимовал в ней, давал уроки и, уезжая, уступал свое место другому. Эти заезжие артисты в другом случае проживали по полтора-два месяца или ездили, например, между Казанью и Симбирском и обратно и т.п. Таковы, например, помнится, пианист Кортман, скрипачи Иван Карлович Фришман, Василий Васильевич Безекирский, Николай Львович Фриман и знаменитый скрипач Аполлинарий Контский с дочерью-пианисткою Вандою.¹⁶⁵ Последние, по случаю болезни

сопровождаящей их родственницы, пробыли в Казани месяца два. Близкое знакомство мое и всего нашего кружка с Контским оставило во мне неизгладимые впечатления об этом восхитительном артисте. Он был превосходнейший музыкант, хотя и игравший на эстрадах непроходимый вздор ради сбора денег и восторга слушателей. Этот вздор он играл так же неподражаемо, как и серьезную музыку, особенно же квартеты. Я различаю двоих Аполлинариев Контских: музыканта, великого артиста, игравшего классиков вполне великолепно, и того жалкого виртуоза, который ради больших сборов уснащал свои концертные программы невозможными пошлостями своего и якобы Паганини сочинения. Сам Контский однажды высказался так: «Я играю на скрипке и на публике; я – то музыкант с музыкантами, то собиратель тысяч слушателей и их денег». Первый Контский давал нам восторженные упоения, второй удивлял нас только совершенством своей удивительной техники и иногда, непозволительно рекламируя себя в программах как единственного ученика Паганини, а то выходя со скрипкой об одной струне, спускался чуть не до балагана. Все эти «Сон девы», «Каскад», «Рыцарь на свидании», «Венецианский карнавал», «Соловей», «На память о Мицкевиче», вариации на тему из «Моисея» на одной струне и т.п. были и жалки, и иногда совершенно поразительны. Тон инструмента, богатейшее разнообразие звука и неподражаемое совершенство механизма были у Контского прямо первого, высшего разряда. В нашем кружке по субботам Контский играл нам классиков-скрипачей, начиная с Корелли и Тартини, продолжая Бахом и концертами Крейцера и Виотти. Квартеты, особенно Гайдна и Моцарта, Контский играл совершенно неподражаемо, чрезвычайно изящно, серьезно и выразительно. Контский очень любил играть Бетховена и серьезно играл его в концертах, но публика менее слушала, а более ждала «Каскада», или знаменитую «Мазурку», или «Соловья», или всяких петухов, баранов, быков, воробьев в вариациях «Венецианского карнавала». Pizzì-arco у Контского было так красиво и изящно, так звучно, как я ни у кого не слыхал, хотя я знаком с игрою почти всех знаменитых скрипачей моего времени. После этих слов, которыми я так

благодарно поминаю великого артиста, негрудно заключить, как я привязался к нему, тем более что и он снисходительно и весьма внимательно относился к музицированию юного студента.

Ванда Контская дебютировала в Казани Итальянским концертом Баха, Крейцеровой сонатой [Бегховена], g moll'ной балладой Шопена, Концерт-штюком Вебера и множеством мелких вещей, которые она, как и классиков, играла местами очень изящно и очень бойко, но поверхностно, усвоив себе внешние эффекты, колотя иной раз по роялю. Но это была хорошенькая, ловкая полька, кокетливая и притом – сущий сорванец. Не удивительно поэтому, что она стала в скором времени кружить все наши молодые головы, почему невольно прощались ей очень многие ее уступки дешевому художеству ради аплодисментов.

Весьма недавно я встретился с каким-то почитателем Контского, даже, кажется, его учеником на скрипке по Варшавской консерватории, которой он был директором. Я вспомнил из его рассказа, что милая Ванда, так очаровавшая всех молодых музыкантов в Казани, несчастно живет замужем в Одессе в большой бедности. Ее дядя, Антон Григорьевич Контский, будучи 80-летним старцем, вновь прогремел в России недавно, перед самою своею кончиною. Он играл отлично, но слишком уже по-старинному, «что ныне несколько смешно» после Листа, Рубинштейна, д'Альбера и др. То же «Réveil du Lion» ["Пробуждение льва"] и тому подобная дребедень, хотя и отлично исполненная, – все же есть только дребедень.¹⁶⁶

В 1868, или 1867, или 1870 году Львовы уехали за границу, и я, уже опытный квартетист, сошелся с музыкальным кружком Панаева. Случилось это как-то неожиданно. В эту зиму был открыт в Казани окружной суд, и я где-то встретился с товарищем прокурора виолончелистом Федором Карловичем Бруном (чуть ли, кажется, не у Львовых), у него я познакомился с пианистами Николаем Дмитриевичем Дмитриевым и Андреем Николаевичем Островским, со скрипачом Петром Андреевичем

Аверьяновым и альтистом Александром Васильевичем Рустицким. Тем временем в Казани обосновалась впервые русская опера под антрепризою здравствующего доньине старца-артиста Петра Михайловича Медведева¹⁶⁷, в которой оказались потом отличный скрипач Иосиф Львович Розенфельд и виолончелист Ульрих Иосифович Авранек. Я был до этого знакомства в львовском квартете, в котором принимал горячее участие превосходный музыкант – пианист и виолончелист Василий Антонович Больтерман.

Все поименованные здесь лица либо умерли, либо выехали из Казани. Виолончелист Федор Карлович Брун уехал из Казани в Вильно в 1872 году после первых наших «Трех вечеров камерной музыки», данных в зале Первой гимназии. Я даже не знаю сейчас, жив ли он. Пианист Николай Дмитриевич Дмитриев уехал членом окружного суда в Вятку в 1875 году, оттуда в Ростов-на-Дону (или Таганрог), где и скончался в 1897 году; Андрей Николаевич Островский (брат писателя) увлекся литературой XVIII века и сельским хозяйством, застряв в своем чистопольском имении; мой друг и товарищ по университету Петр Андреевич Аверьянов, женатый на подруге жены моей Анфисе Николаевне (ныне Пикерсгиль), скончался после операции в 1875 году; Александр Васильевич Рустицкий (управляющий Государственным банком) скончался в 1891 году. Кроме этих лиц, в нашем кружке немного спустя принимали второстепенное участие Павел Федорович Красовский, купивший превосходную виолончель у Стендера, уехавший вскоре в Пензу, ныне управляющий государственными имуществами в Петербурге, не раз упомянутый Николай Иванович Соколов, Виктор Константинович Александров – член суда, контрабасист, Андрей Федорович Ашане в – археолог и художник, имени которого ныне в Казани основан музей из его коллекции. Позднее вместо скрипача Михаила Петровича Мусорина квартет составил из Розенфельда (ныне репетитора в балетной петербургской труппе Императорских театров), А.В.

Рустецкого, Аверьянова и Авранека (ныне хормейстера оперы в Москве). Этот превосходный квартет, в котором я принимал участие то второй скрипкой, то вторым альтом, был известен в Казани под названием «Старые воробьи», в отличие от «Слепцов», то есть четырех близоруких, в очках, плохоньких музыкантов Кубли, Добросмыслова, Колпикова и Мазинга, и от «Интендантов», игравших у «его превосходительства» интендантского генерала совсем уж плохо двух Григорьевых и Манассеина. Почтеннейший Василий Антонович Больтерман скончался в 1900 году на родине в Гёттингене.

Мне представляется теперь, что идейное и вполне строгое служение искусству, царившее в этом кружке, собиравшемся у гостеприимнейшего Л.А. Панаева, значительные художественные силы этого кружка были явлением совершенно исключительным в жизни университетского губернского города, вполне отрадным и высокоинтеллигентным. Кружок этот существовал почти десять лет, трудился вполне старательно, процветал дружным единением и чисто товарищескою любовью между своими членами, несмотря на постоянные перемены в его личном составе. Этих членов кружка, почти исключительно только из интеллигентных людей и из артистов, собирала в своем доме столь оригинальная, но крупная фигура, страстный любитель музыки и великий неудачник Л.А. Панаев.

В середине зимы 1868/1869 годов Казань много говорила о жестоком скандале, случившемся в семье только что переехавшего из Санкт-Петербурга казанского помещика Лиодора Александровича Панаева. Приехавший перед тем по делам (между прочим, еще и к Львову, жившему перед тем в том самом доме, где этот скандал разыгрался¹⁶⁸) блестящий красавец-гусар Петр Августинович Монтеверде увез жену Панаева и поселился с нею в Казани же, в номерах Желтухина около Черного озера, что в самом центре города. Я никогда не видел госпожу Панаеву, как говорили, очень милую, красивую, молодую барыньку, изящно игравшую на фортепиано, но думаю, зная Лиодора Александровича, что, вероятно, их супружество,

слишком разное по летам, было глубоко несчастно, хотя у Лиодора Александровича было много хороших душевных качеств. Госпожа Панаева бросила, кроме мужа, еще двоих детей – Зину и Ахиллеса (лет десяти и семи) и, сойдясь с Монтеверде, кажется, вышла за него замуж и скончалась очень недавно. Случайно у моего старого друга Федора Леонидовича Львова, не более месяца назад, я встретил Петра Августиновича Монтеверде с его взрослой уже дочерью. Мы тряхнули стариной, перебирая древнее прошлое, так как Монтеверде задолго до казанской истории был свой, с детства, в семье Львовых.

Понятно, что утрата жены совершенно перевернула жизнь немолодого уже Лиодора Александровича и его двоих детей, которые в эти годы были только прелестны. Панаев переехал из своего дома в соседний свой большой флигель и, кажется, года через полтора начал собирать у себя музыкантов-любителей. Состояние Лиодора Александровича было очень достаточное, так как, кроме большого дома с садом, дававших хорошую аренду, у него было два порядочных имения за Камой (в одном из них – в «Городке» – я часто бывал) и немалый свободный капитал. Панаев был математик Казанского университета. Имя Панаевых довольно известно, например, по Ивану Ивановичу Панаеву – литератору, а семья их стародворянская, насколько я успел познакомиться со всем ее составом в 1875 году, была очень образованна и благовоспитанна. В этом году я был в кругу этой семьи два-три дня на их совместной, братской даче в Павловске. Дача эта представляла собой несколько домов на общем участке земли, в которых жили братья и сестра Лиодора Александровича с семьями. Ипполит Александрович Панаев – философ был уже известен своими популярными изложениями немецких мудрецов и, кажется, печатал свои этюды о Канте или Спинозе; Аркадий Александрович – известный гипнолог и «эквитаии Алла»¹⁶⁹, напечатавший свои отличные записки о севастопольском герое Александре Аркадьевиче Суворове¹⁷⁰, – совсем очаровал меня своими лошадьми, которых он действительно дрессировал в своем манеже вполне изумительно; Валерьян Александрович, первый строитель

железных дорог не по сумасшедшим воровским ценам, занимался тогда публицистикой и удивил меня знакомством с теорией мироздания Верона (последователя Лапласа) по принципу взаимного проникновения и механических воздействий сфер и подчинения низших, меньших начал началам высшим и большим.¹⁷¹ Я помню, что в мое пребывание в этой многочисленной родственной семье я познакомился также с Матвеем Ивановичем Лалаевым и другими молодыми членами семьи, из которых удержались в моей памяти скорбный и кроткий облик молоденькой, прехорошенькой барыньки, только что разошедшейся с мужем, и не менее кроткий облик графини Шуленбург-Панаевой, также разошедшейся с мужем. Громкий скандал похищения отцом, ее мужем, своего пятишестилетнего сына, насильно отнятого у няни на улице и увезенного вскачь, случился за день до моего знакомства с павловскими Панаевыми, и едва ли не я познакомил их, как прибывший утром, с газетною корреспонденцией) по этому случаю, не подозревая, что этою неловкостью затрагиваю столь свежую у них рану. Панаевы приняли меня как родного, благодаря дружескому обо мне письму Лиодора Александровича из Казани. Но я сам вполне неожиданно для себя прекратил это знакомство и поспешил уехать из Павловска.

Накануне моего столь курьезного бегства из такой гостеприимной семьи я вместе с Панаевым впервые услышал в чудном исполнении Павловским оркестром под управлением Лангенбаха Девятую симфонию Бетховена. Впечатление было так сильно, что я как бы одурел от этой симфонии, потерял способность складно говорить, как-то приуныл, загрустил, что ли. На другой день за завтраком меня познакомили со статной красавицей Александрой Валерьяновной (после Панаевой-Карцовой), о которой я уже слышал еще в Казани как о хорошей певице.¹⁷² Александра Валерьяновна, только что вернувшаяся от знаменитой Полины Виардо, пропела мне «Ich grolle nicht» ["Я не сержусь"] и «Widmung» ["Посвящение"] Шумана, «Горный поток» и «Шарманщика» Шуберта, «Я помню чудное мгновенье» [Глинки] и песенку a moll с арией E dur Маргариты из «Фауста»

Гуно. Я не в силах описать меру моего восхищения от пения Александры Валерьяновны; чудный голос красавицы, восхитительное мастерство, техника и, главное, неподобная фразировка, глубокое, изящно выраженное чувство так ошеломили меня, и без того потрясенного Девятой, что я успел только сообразить о надобности немедленного «allegro удирато», как говаривал Рустичкий. Я решил, что если я останусь и еще послушаю Александру Валерьяновну, то я безумно влюблюсь в нее. Это скороспелое решение, может быть и благоразумное в тот день, я немедленно привел в исполнение, как кажется, к полному недоумению любезных хозяев, весьма интересовавшихся моими рассказами о казанском их брате и о его житье-бытье, уговаривавших меня остаться, так как «Саша», вероятно, распоеется вечером и доставит много новых художественных наслаждений... Я собрал, однако, всю силу воли и немедленно уехал из Павловска, даже из Петербурга, направившись в Финляндию до Улеаборга. И действительно, с тех пор я и не слышал такого чудного женского пения, столь задушевного и мастерского. Некоторое подобие моему впечатлению от пения А.В. Панаевой я испытал, слушая исполнение m-me Алисы Барби-Вольф, отлично певшей столь милые моему давнему пристрастию к Дуранте, Порпоре, Гайдну, Моцарту, Перголези старые-распрестарые песни моей матери. Но это впечатление было много слабее молодого увлечения, столь бурно охватившего разом всего меня в Павловске. Я видел года три-четыре спустя Александру Валерьяновну мельком в Мурзихе, когда она проезжала мимо, и не рискнул подойти к ней, боясь неотразимости бывшего впечатления. Даже теперь, двадцать семь лет спустя, зная, что она живет в Петергофе, недалеко от меня, я как бы избегаю увидеть ее, чтобы не разрушить давно бывшее очаровательное впечатление.

Л.А. Панаев был маленьким, очень мускулистым, крепким стариком лет пятидесяти пяти. У него была отличная нотная библиотека и – еще лучше того – аматиевская скрипка чудесного тона, редкой красоты и сохранности, страдивариевский альти, нисколько не уступающий волковскому

альту (но темно-красный и немного меньший), и две отличного тона, очень мягкие и сильные скрипки Вильома – одна копия Гварнери, другая же Дерацея («головка с бородкой»)¹⁷³, как и два вильомовских виолончеля. Квартетные собрания наши всегда были серьезны и требовательны. Фортепианную партию чаще всех играл Н.Д. Дмитриев, вполне виртуозно, с отличным смыслом и тоном. Наши успехи подбадривали нас настолько, что в феврале и марте 1872 года мы дали первые в Казани три квартетных собрания, имевшие огромный успех и, конечно, начавшие с нашей легкой руки серьезную музыку в казанских концертах. Программа трех вечеров была следующая: 12 марта 1872 года – Бетховен, ор. 16, Струнный квинтет Фогеля, ор. 10 и Мендельсон, ор. 2; 19 марта – Моцарт, Фортепианный квартет Es dur, Плейель ор. 22 № 1, Квинтет Рейсигера F dur, ор. 209; 26 марта – Секстет Риса, ор. 100 C dur, Гайдн, № 63 E dur, Гуммель, Сеитуор [Септет] d moll. Это был мой дебют в качестве квартетиста. Мне пришлось, как игравшему вторую скрипку, сидеть вполуоборот к публике и на самом краю эстрады. «Вот, – думал, – упаду». Я боялся упасть и разбить скрипку. Виолончелист Ф.К. Врун неожиданно получил перед первым квартетным вечером перевод на службу в Вильно. Мы уговорились сняться на память в фотографии.¹⁷⁴ Случилось, однако, и то, что как-то из фотографии попали в ресторан Коммонена и устроили проводы Вруна, бывшие также моим дебютом, но по винной части. Проводы эти воспеты Панаевым в длинном стихотворении, в котором описаны все довольно живо.

Следствием трех квартетных собраний было составление проекта устава Музыкального кружка в Казани, почему-то разрешенного только много лет спустя.¹⁷⁵ Наше музицирование особенно оживилось, когда в нашу компанию вступили отличные артисты Розенфельд и Авранек. Я уже сильно ослабел механически и ограничивал свое участие только в партии второго альта, зато квартет из Розенфельда, Рустецкого, Аверьянова и Авранека, при Больтермане за фортепиано, был для провинции совершенно исключителен по своим достоинствам. С этим ансамблем я изучил все последние квартеты Бетховена и все тогдашние новости как смычковых,

так и фортепианных квартетов. Игра была очень строгая, серьезная и последовательная, полная любви и уважения к высокому искусству. По отъезде Розенфельда и Авранека заменили первого Леля Панаев, а второго Больтерман, но панаевские домашние вечера прекратились. Вместо них нами был открыт Казанский кружок любителей музыки, успешно просуществовавший несколько лет с самою большою пользою для любителей серьезного искусства. Достаточно сказать, что в члены кружка записались решительно все музицировавшие в Казани. Губернатор предоставил для него залы Императорского дворца, и при нашей энергии кружок пошел не только хорошо, но даже и разбудил многие дремавшие силы. Даже нотный магазин «Восточная лира» сразу окреп до дела обширного и прочного, существующего до сих пор. Особенно поднялись благодаря кружку отличный талант покойного ныне пианиста Алексея Федоровича Ольдекопа, скрипача Лели Панаева, хоровое пение у Детлова¹⁷⁶ и пение соло у некоторых барынь и барышень.

В Казани в течение многих лет были две довольно враждебные, хотя и державшие себя с большим тактом, музыкальные партии – польская и немецкая. Представителем польской партии был довольно способный, хотя и мало учившийся «композитор» *sui generis*¹⁷⁷, пылкий и ловкий Людвиг Казимирович Новицкий.¹⁷⁸ Немецкая же партия имела своих представителей сначала в лице Карла Карловича Эйзриха, потом же – Василия Антоновича Вольтермана.

Новицкий имел дар заставить ученика работать и умел товар лицом показать. Он был божком довольно многочисленного в Казани польского кружка, преимущественно в сферах инженеров путей сообщения, лесничих и, частью, учителей гимназии. Новицкий, будучи видным красавцем, сделался скоро в Казани весьма ловким устроителем дел польского кружка и ревнивым оберегателем себя от всяких и весьма многочисленных покушений вывести его как музыканта на чистую воду. Он вел себя так осторожно, что ухитрился прочно утвердить в кругу своих почитателей мнение о себе как об отличном артисте и педагоге. Припоминая всякий вздор

своего сочинения, Новицкий скоро понял, что такой мякиной можно приводить в восторг только своих учеников и компатриотов, почему и перестал как сам играть свои сочинения для фортепиано, жестоко осмеянный в казанских газетах, так и экспонировать свои «большие вещи» вроде «Ночи на кладбище» для хора и соло с оркестром. Скоро понял Новицкий и свою жалкую несостоятельность в качестве дирижера-аккомпаниатора своих учениц. Он решительно не мог дирижировать, так как не читал партитуры и был очень нетверд в счету. Несмотря на все наши заманивания Новицкого сыграть с нами хоть один квартет, он всегда отзывался неимением времени и тем, что уже значительно отстал в механизме. Однажды, возмущенные его резкими самодовольными и самохвалебными отзывами, мы потребовали от него, чтобы он поучил нас, показав на деле, как надо играть квартеты. Мы предложили Новицкому взять какой угодно квартет и обещали добросовестно подчиниться его требованиям. Новицкий взял какой-то квартет, продержал его месяца два-три и возвратил Панаеву, ссылаясь на неимение времени заняться.

Тем не менее у его учеников пальцы бегали порядочно, и некоторые из более способных, всегда выставляемых напоказ, даже пошли далее в ученье, конечно в Варшавской консерватории. Известная Вера Тиманова, начавшая учиться в Уфе у Новицкого и доведенная им до концерта е moll Мендельсона в возрасте двенадцати-тринадцати лет, была сильною рекламою для Новицкого.¹⁷⁹ Кроме Тимановой как из ряда вон способной, я, однако, не знаю ни одной ученицы или ученика Новицкого, заявивших о себе хотя сколько-нибудь серьезно из его рук. Для меня, собственно, было более всего несимпатично высокомерное самохвальство и умение выставить учеников, уже отравленных тем же самомнением и с дешевейшими эффектами, какими так был несносен сам учитель, работавший много, по-своему добросовестно, но и только.

Однажды проходя мимо окон большого дома, наискосок аптеки Грахе, я увидал в отворенном окне седую голову с неизменным криком на всю улицу: «Машутка! папирос!» и

затем: «Не так, еще раз: чтырэ, раз!». Это были возгласы старого фортепианного учителя из немцев Карла Карловича Эйзриха, известного таким учеником, как М.А. Балакирев. Его отличным учеником в Казани был Ольдекоп. У Карла Карловича, кроме уроков, бывали каждый день, как кажется, ученические упражнения совсем особого сорта. В его большом зале стояло до десяти-двенадцати инструментов, на которых одновременно играли человек двадцать в четыре руки на каждом инструменте. Эти упражнения спланивали учеников, а главное, приучали их великолепно считать и играть с листа, а также прочитывать массу композиций, конечно классических. Старец Эйзрих был основательный музыкант, серьезно знавший и любивший искусство и оставивший после себя массу учеников, несколько не стремившихся прежде всего заявить о себе с эстрады, но учеников отлично начитанных, игравших бегло с листа и твердых в счету. По кончине жены Карл Карлович покинул Казань. Я близко сошелся с Карлом Карловичем только в последние годы его жизни в Казани. Мой товарищ Григорий Петрович Лутновский, влюбленный в какую-то ученицу Эйзриха, ухитрился нанять у него комнату, чтобы видаться «с нею». За «Бендровичем», как называл Эйзрих Гришу Лутновского, попали к старому немцу и я с Н.И. Соколовым, не без «чувств» и не без намерений помочь нашим «предметам» по части счета и исправности игры в четыре руки.

Серьезным артистом и музыкантом был пианист и виолончелист Василий Антонович Больтерман. Я никогда не мог решить, на каком инструменте лучше играл Василий Антонович, хотя, конечно, его репертуар на фортепиано был гораздо обширнее. Особенно хорошо он играл Шумана и Бетховена, великолепно играл сонаты Баха для виолончеля solo, а особенно изящно, умно и по-немецки играл в квартете, но мне всегда казалось, что Василий Антонович был неважным учителем музыки, даже уступал Новицкому в умении заставить ученика работать. Показного он терпеть не мог и никогда не устраивал quasi-концертов, зато горячо сочувствовал в Казани всякому движению вроде нашего квартетного кружка, Кружка

любителей музыки и т.п. Он скончался в 1900 году за границей. Я сердечно любил и высоко чтил этого отличного музыканта.

В последние годы моей жизни в Казани, когда я вновь увлекся наукою, я сильно отстал от музыкальных сливок Казани. Зато с удовольствием вспоминаю мое музицирование в семье Ханыховых, где нашел подругу моей жизни Анну Ильиничну, урожденную Альсон.

Семья Павла Михайловича Ханыхова, нотариуса, приютила меня как хорошего давнего знакомого. Я нанимал в этой семье две отдельные комнаты, в которых можно было спокойно заниматься, но уже наукою, а не музыкою, так как с 1875 года я совсем перестал играть на скрипке в смысле ежедневных упражнений для поддержания своей техники. У Ханыховых все очень любили и ценили хорошую музыку, любили и умели повеселиться, почему и собирался часто в этом семействе свой дружеский музыкальный кружок, в котором между другими бывал Виктор Никандрович Пасхалов.¹⁸⁰ Квартира Ханыховых была расположена в двух этажах (на углу Проломной и Петропавловского переулка), так что мой второй студенческий квартет занимался совершенно спокойно, никого не тревожа, вырабатывал ансамбль, добиваясь хорошего тона и тонких оттенков.

Единственным нашим слушателем был чуваш Ефим Антонович – по крестному отцу Соколов, прислуживавший в моей квартире. Это был хороший, сердечный чуваш, очень любивший музыку, как все чуваша. Он был богомолен очень, в головах его постели всегда горела лампадка у образа, что, однако, не мешало ездить ему «ежекотно с тафариштем» исправлять языческие весенние моления (в начале июня или в конце мая) в заповедных лесах – на так называемые «керемети». В дни своих именин (в конце декабря) Ефим Антонович несколько лет подряд ходил в оперу, и судьба устроила так, что он раза три-четыре попадал на «Аиду». Это привело его к заключению, что в опере показываются только арапы; увидав «Руслана», он нашел, что в нем была только часть оперы, так как арапки являлись только в одном месте.

Иногда мы «поднимались наверх» и услаждали как радушнейших хозяев, так и их гостей, между которыми было немало и наших близких друзей. В качестве музыканта очень выдавался в этом кружке В.Н. Пасхалов, случайно оставшийся в Казани после какого-то концерта и проведший в ней несколько последних лет своей крайне печальной жизни. Пасхалов был очень даровит, учился в свое время очень хорошо и основательно, но горемычная водка сгубила его дарование и его самого. Он был, несомненно, очень добрый человек, желал работать и умел работать. Его неизданные сочинения в стиле Мусоргского были очень интересны. Таковы, например, сцены для фортепиано «Господ дома нет», «Масленица» и т.п. В первой из них на тему подслушанной где-то Пасхаловым лакейской песни изображается отъезд господ в театр и «фигли-мигли» лакея с горничной, внезапное возвращение господ домой из-за отложенного спектакля и «история» с застигнутыми врасплох. Припоминаю, что в этом было очень картинно сделано треньканье лакея на балалайке, спуск горничной по лестнице (гаммы staccato восьмушками), переполох и расправа барыни с горничной [см. факсимиле]. В «Масленице» была схвачена какофония музыки, одновременно раздающейся из нескольких соседних балаганов; здесь были очень талантливо схвачены и объединены марш, Камаринская, «Боже, царя храни», возглас «Пирожков горячих, яблоков, конфет!», а также допрос полицейского «Ты кто такой?» и прочее, взятое из известного горбуновского рассказа о полете портного на воздушном шаре.¹⁸¹

Эти две картинки были написаны чрезвычайно живо и изобразительно, а сам Пасхалов отлично играл их на фортепиано. Но лучше того Пасхалов пел или, лучше сказать, хрипел своей абсолютной безголосицей. Он доводил нас до слез необыкновенною выразительностью своего своеобразного пения. Говорил мне кто-то, что он будто бы подражал Даргомыжскому, но я помню свои сильнейшие впечатления от исполнения Пасхаловым самых заурядных своих романсов «Изобидели сердце малютки», или «Что, моя нежная?», или «Дитятко, милость Господня с тобою», или «Песни о рубашке».

Последнюю иной раз, как и «Дитятко», нельзя было дослушать от бьющего по нервам исполнения. Пасхалов сразу овладевал слушателями и, несмотря на крайнюю простоту сочинения, рисовал картину вполне мастерски. Так и казалось, что в чердаке «швея молодая сидит», «затекшие пальцы болят», так и слышалось невыразимо безнадежное в припеве «работай, работай, работай». Пасхалов пел эти песни очень редко, дорожал ими и даже говорил не раз, что желал бы видеть на своем могильном памятнике надпись: «Он написал музыку к «Песне о рубашке» Томаса Гуда».

Моя память удержала только следующее начало:

Трагическое самоубийство Пасхалова всполошило общие к нему симпатии всей Казани. Масса венков, щитов с надписями, всяких речей проводили Пасхалова в могилу после грандиозных по торжественности похорон. На мою долю досталось управление хором студентов-любителей за службу в новой Покровской церкви. Позднее я очень искал бумаги Пасхалова, нашел его сына, даже рылся на аукционе, где купил немало его книг, но куда-то девалась его маленькая карманная тетрадь с «Масленицей» и другими интересными сочинениями – вполне бесследно.¹⁸²

Опера в Казани, хотя и очень бедная хоровыми и оркестровыми силами, всегда отличалась дельными, хотя и не первостепенными певцами. Я очень увлекался оперой, которую слушал сначала очень внимательно в труппе Дмитриева¹⁸³ (Каролина Гриняски – сопрано, Риго-Горини – тенор, Спалаццо – баритон и Падовани – бас), затем в труппе Серматтеи¹⁸⁴, где первые сюжеты были все из очень хороших певцов: Рубини – сопрано, Больтона – баритона, Кантони и Кампанини – теноров, Фабрини и Читанти – альты. С этими труппами я до последней ноты выучил массу опер, начиная от всяких «Сомнамбулы» [Беллини], «Любовного напитка» [Доницетти], «Марии де Роган» [Доницетти], «Нормы» [Беллини], «Лукреции Борджиа» [Доницетти], «Лючии» [Доницетти] «Эрнани» [Верди] и т.п., продолжая всеми операми Мейербера, «Севильским цирюльником» [Россини], «Фаустом» [Гуно], «Жидовкой» [Галеви] и проч. Певцы этих опер (особенно памятливые мне

сопрано Кантарини, Гриняски, Рубини, баритон Больтон, теноры Камианини и Кантони и бас Падовани) были, без всякого сомнения, выше решительно всех, без малейшего исключения, нынешних певцов в русской опере Петербурга и Москвы. Они умели петь художественно, владели своим голосом без всякого крика и фразировали прекрасно. Ими можно было заслушаться без всяких «высоких нот» и без всяких вольностей в счете, которыми так щеголяют нынешние певцы из жидов и из архиерейских певчих. Со времен итальянцев я уже не наслаждался «bel canto».

Русская опера в Казани (с весьма порядочными Рунич-Давыдовой – сопрано, Эйбоженко – альт, Кадминой – меццо-сопрано, Верни – сопрано, Усатовым – тенором, Белявским – басом, Михиным – басом, Закржевским – тенором и другими) познакомила меня близко с родным богатством и с лучшими иноземными операми, шедшими по-русски в Казани ранее столиц.¹⁸⁵ Капельмейстер Александр Александрович Орлов-Соколовский был отличный работник, ставивший оперы очень тщательно и, иной раз, высокохудожественно. Этот же Орлов-Соколовский устроил первую дельную музыкальную школу, в которую я поступил и преподавателем хорового пения, и, ради примера другим, в ученики теории. Но школа эта, выросшая быстро и отлично установившаяся, вскоре лопнула вместе с вновь открытым отделением Императорского Русского музыкального общества, так как, несмотря на наши уговоры, идеалист Орлов-Соколовский вздумал попытать свои силы в качестве антрепренера.¹⁸⁶ Помню, как нас собрался целый кружок, человек десять, и мы устроили ужин со специальной задачей отговорить Орлова-Соколовского от антрепризы. Мы нарочно пригласили известного бывшего казанского антрепренера-артиста П.М. Медведева. За ужином я говорил речь, указывая на непрактичность Орлова-Соколовского, на неминуемый крах его предприятия вследствие его доверчивости. В конце речи я указал на то, что между нами сидит наш общий уважаемый друг, Петр Михайлович Медведев (доныне здравствующий престарелый комик Александринского театра в Петербурге), которому нельзя отказать ни в уме, ни в

очень большой опытности и дальновидности. В ответ на мои слова Петр Михайлович только и произнес, делая жест по адресу помещения для несостоятельных: «Все там будем, все до единого». Несмотря на наш ужин, Орлов-Соколовский все-таки устроил оперу, бывшую в течение недель трех-четырёх великолепною для Казани. Немедленно, конечно, его обобрали дочиста, и предприятие кончилось жесточайшим разорением с дефицитом чуть не в 100 тысяч. Школа совершенно пала, отделение Русского музыкального общества – также, и Орлов-Соколовский снова обратился в заурядного учителя. Вскоре он умер, не перенесши волнений и тяжести взысканий за долги.

Я упомянул выше, что с устройством Казанского кружка любителей музыки прекратились сами собою музыкальные вечера у Панаева, так как все мы отдали свои силы кружку. В самом же начале деятельности мы сделали было ошибку, избрав в председатели инженера фон Зигерн-Корна, поляка в душе, за которым потянулась и вся польская партия. Но дело скоро наладилось, хотя после двух очень удачных зим кружок понес тяжелую утрату, потеряв уехавшую из Казани семью Панаевых. Неудачное сватовство Зины Панаевой за Александра Мариановича Ковальского и надобность дать Леле высшую скрипичную школу ускорили решение старика Панаева уехать из Казани в Петербург. Здесь, кажется через год, случилась какая-то темная история, которую мне объясняли неузнанным будто бы дифтеритом... Одним словом, Зинаида Лиодоровна скончалась восемнадцати лет. Через год, в день кончины дочери 25 марта, застрелился старик Панаев... Вскоре скончались Пасхалов, Ольдекоп и Рустицкий. Я уже начал собираться в Москву, да и моя музыка успела очень отстать от бывшего. С плохими музыкантами вроде «Слепцов» мне было играть скучно, с хорошими же уже стыдно, так как пальцы мои успели облениться, да и древнее пение, древние рукописи поглотили мое внимание. Музыка моя, в качестве участия в исполнении, в последний раз прозвучала в квартетном собрании в 1886, даже, кажется, в 1885 году, в котором с преподавателями музыкальной школы я сыграл на альте Квартет Чайковского D dur, Фортепианный квартет Шумана и B dur'ный (№ 13) квартет

Бетховена. Последними моими товарищами были Варвара Ивановна Спекторская-Александрова, Иосиф Иванович Русс (2-я скрипка), Николай Николаевич Соколовский (1-я скрипка) и Иосиф Иосифович Штадлер (виолончель). Эта квартетная зима для меня в Казани была последнею. Более я уже не принимал участия в публичном исполнении и вскоре совершенно перестал играть.

Глава VI. Н.И. Ильминский и моя служба в Казанской инородческой учительской семинарии¹⁸⁷

Я уже упоминал, что Н.И. Ильминский был мой крестный отец и что он был женат на сестре моей матери, Екатерине Степановне. Глубокая взаимная любовь давно связала Николая Ивановича с моими родителями и утвердилась между ними на всю жизнь. Мой отец высоко ценил «золотую голову» Николая Ивановича, последний, в свою очередь, чтит в моем отце ясный ум и непоколебимые прямоту и честность. Кажется, что, кроме учебной командировки на Восток в начале 50-х годов и кроме вынужденной почти трехлетней службы Николая Ивановича в Оренбурге, наши семьи были вполне неразлучны, были так близки, как будто бы составляли одну семью, жившую только в двух домах.

Николай Иванович был действительно «золотая голова». Он был необыкновенно даровит, быстр и прилежен. Его удивительная, несравненная доброта и чистота сердца вполне гармонировали с огромнейшим умом и огромнейшими знаниями. Неудивительно поэтому, что Николай Иванович был одним из самых скромных людей; доброта и ум сквозили в нем и в каждом его поступке, а полнейшее самоотречение в труде на пользу возлюбленных им темных инородцев возвеличило его как великого человеколюбца, умно и старательно, неотступно делавшего свое дело. Мне случилось быть свидетелем всей деятельности этого удивительного человека и сотрудником его в течение более двадцати лет. Кроме чисто родственной привязанности, я глубоко любил Николая Ивановича в его труде и с истинною любовью работал вместе с ним, исполнив его приказ составить партитуры обиходов для каждого из инородческих племен.¹⁸⁸

Работа эта заняла у меня много лет. Первые мои опыты по части переложения наших напевов на инородческие тексты были сделаны для алтайцев при участии милейшего о. Макария, ныне епископа Томского. Мы переложили начало всенощной и все гласы на «Господи воззвах», как и главнейшие

песнопения литургии. Для татар партитура была составлена в сотрудничестве с Ефремом (Япрей) Макаровым, для чувашей – с Андреем Петровым и Николаем Александровым, для черемис горных – с Тихоном Ефремовым, Алексеем Ласточкиным и Василием Малиновкиным, для луговых черемис – с [...], для мордвы – с Авксентием Юртовым и Макаром Евсеевым. Для вотяков партитуры сделано не было, так как тексты почему-то изготовлялись на вотяцком языке крайне медленно. Указанные выше партитуры были отлитографированы. Исходным центром этой работы был мой «Курс хорового пения», составленный для преподавания в Казанской учительской семинарии.¹⁸⁹

Когда эта работа была закончена, частью же направлена к исполнению верными руками, для меня настала пора новых работ, и Николай Иванович благословил меня на новый род деятельности в Москве. Я свято чту память этого чудесного моего друга и учителя, много занимавшегося со мною и в школе, и в мои зрелые годы. Судьба привела меня в Казань, чтобы быть при нем в последние дни его жизни и отдать последний долг, поклонившись его могиле.¹⁹⁰

[Вставка на обороте предшествующего листа:] **«Добавить описание панихиды в первую годовщину по кончине Николая Ивановича. Слова Василия Тимофеевича [Тимофеева]: «Не ангелом [ли] был Николай Иванович, когда он отыскал старо-крещена-татарина¹⁹¹, прижал его к сердцу, вразумил его, указал путь истины и довел до учительства и священства? Не ангелом ли был усопший всем крещеным татарам, когда он отыскивал их в Казани, по деревням, вел в свою школу, переводил для них священные книги, радовался, глядя на их уразумение, как радуется пастырь, который отыскал заблудшую овцу?».**

Сцена: в ответ на поучение и вопрос (преосвященного) Павла, поняли ли татары любовь к ним Николая Ивановича и будут ли, поминая, молиться, – ученики дружно и громогласно сказали: поняли и будем молиться.

Во время похорон перед крыльцом школы о. Василий Тимофеев сказал: «Здесь недавно был пустырь, росла

крапива и репейник. Теперь сюда идет торная тропа, и здесь стоит храм веры и ученья. Ужели без тебя зарастет эта тропа? «Я памятник себе воздвиг нерукотворный...».

Николай Иванович был сын строгого, но доброго отца, кажется соборного протоиерея в Пензе. Будучи еще студентом или молодым бакалавром Казанской духовной академии, он сошелся с моим отцом, и это знакомство, обратившееся потом в родство и крепкую дружбу, длилось в течение всей их земной жизни. Я помню Николая Ивановича только что вернувшимся из его путешествия на Восток и гостившим у нас в доме, когда мы квартировали на углу 15-й линии Васильевского острова в Петербурге. Это был совершенно загорелый живчик, постоянно игравший со мною и моей покойной сестрой Лизой. Он часто наряжался в арабский плащ из толстейшей волосяной материи, не скроенной, но сшитой в одно полотнище, имевшее лишь отверстия для головы и для рук, садился на корточки, помусульмански, и неумолчно рассказывал про виденное и пережитое им на Востоке. Следующие мои впечатления и воспоминания относятся к особому случаю, когда он спас мою мать, остановив лошадей, понесших ее, кажется, при проводах моего отца в Петербурге. Помню и свадьбу Николая Ивановича, бывшую в нашем доме. Этой свадьбе, как рассказывала мне моя мать, предшествовал совершенно своеобразный эпизод такого содержания. Был у нас знакомый профессор академии Василий Андреевич Ложкин, человек совсем особых, высоких душевных качеств. Ему приглянулась моя тетя Катя, едва шестнадцатилетняя, и Николай Иванович сосватал эту пару, усиленно хлопоча о свадьбе, для совершения которой, как кажется, не только было все приготовлено, но даже и назначен день венчания. Но в один прекрасный день Николай Иванович поставил мою мать (которая за смертью дедушки и бабушки воспитала в нашей семье свою крестницу Екатерину Степановну) в полный тупик вполне неожиданным разговором: «Мамочка (а так звал Николай Иванович мою мать), расстройте свадьбу Кати и выдайте ее за меня!» – «Как же так, Николай Иванович! Ведь сами же вы устроили свадьбу и так

рекомендовали Ложкина с отличной стороны, да и сами мы видим, что он отличный человек...». Моя мать заплакала и сказала: «Ни за кого бы я с такою радостью не отдала свою сестру, как за вас, наш милый и любимый друг! Вы знаете, и Катя очень вас любит, хотя еще и играет в куклы. Но ведь дело зашло слишком далеко: свадьба объявлена – как обидеть Ложкина?». Как кажется, не было особенного труда уговорить тетю Катю, игравшую в куклы еще и по выходе замуж за Николая Ивановича... Щекотливое дело уступки Ложкиным Ильминскому невесты, мыслимое ныне разве в водевиле, было устроено каким-то образом самим же бывшим сватом, устроившим Ложкину сватовство к другой невесте. Я много раз встречал потом В.А. Ложкина, ставшего священником и пользовавшегося общим почтением всех знавших этого чистого человека.

Свадьба Ильминских была 8 июля 1857 года. Нелады по службе заставили молодых года через два покинуть Казань. Столкновения эти описаны в «Истории Казанской духовной академии» П.В. Знаменского.¹⁹² Я помню только, что первая квартира молодых была в доме Аристова на левом спуске Касаткиной улицы, откуда открывается один из обширных видов на луговую сторону реки Казанки, а вторая квартира – на Булаке, на дворе дома купца Казанкина, бумагою которого напечатана чуть ли не вся сполна ученая и художественная казанская литература. Во вторую зиму по переселении Ильминских в Оренбург Николай Иванович приезжал с женою в Казань для печатания «Самоучителя русской грамоты для киргизов».¹⁹³ Возвращение его в Оренбург совпало с окончанием моих экзаменов в гимназии (в 1861-м), и Ильминские взяли меня в это путешествие с собою. Мы ехали на пароходе до Самары вместе с Виктором Ивановичем Григоровичем, о чем было упомянуто выше. Путь по степи от Самары до Оренбурга мы проехали на лошадях, и эта дорога, как [и] на пароходе, доставила мне массу совершенно новых впечатлений. Оренбург в 1861 (или 1862) году был маленький городок с земляными крепостными валами, служившими местом для гуляний, и с весьма небольшим числом каменных

зданий. Деревянные дома Оренбурга, тонувшего тогда в садах, были все выштукатурены и снабжены ставнями, так как только такую защиту можно было уберечься от жестокого летнего зноя. Нынешняя центральная часть Оренбурга между Чернореченскими воротами, около которых внутри города была наша квартира, и Караван-Сараем была при мне загородным полем. Красота Урала с его великолепным лесом на той стороне реки, как говорили мне недавно, осталась прежняя. Урал еще не обмелел, и роща еще уцелела. С высокой горы у губернаторского дома открывался восхитительный вид на безбрежную степь.

Друг Николая Ивановича Алексей Александрович Бобровников¹⁹⁴, конечно, не замедлил явиться. Я едва узнал его, не видав лет пять, когда он вместе с моим тезкой Степаном Ивановичем Ильминским забавлялся мною, живя с Николаем Ивановичем в академии на одной квартире.

Милейший тезка, как кажется, был одно время чем-то вроде моего гувернера. Он постоянно то дразнил меня, то пугал, то ставил своими рассказами в полное недоумение. Он звал меня почему-то «философом». Припоминаю, что по дороге в академию были дома генерала Корбе, вполне одинаковые по постройке (большой деревянный дом посреди сада и по бокам два флигеля), стоявшие на углах последнего переулочка к Арскому полю, по Грузинской улице. В правом саду помещался зверинец Корбе, в котором тезка показывал мне (уверяя, что так и должно быть) птицу об одной ноге без головы (ауста) или птицу, в которой внутри спрятан ребеночек (попугая), и т.п. Помню также, как, выйдя в поле вместе со мной и ламой Банзаровым, тезка выстрелил из ружья в галку и, убив ее, прицелился в меня; я заревел со страху, а лама заткнул пальцем дуло, и тезка уверял меня, что если бы не лама, не пошел бы «философ» домой...

Тезка был потом в Петербургском университете, но его скоро исключили за непозволительные чудачества. Смутно припоминаю, что за замечание ректору

Благосветлову (или Благовещенскому)¹⁹⁵, что он мог бы почтить какого-то покойного более умною и содержательною речью, а также за брошенный им букет на эшафот Чернышевскому тезку сослали в Белозерск. Оттуда, вероятно в 1866–1867 годах, Николай Иванович выручил его, но в Казани тезка оказался уже алкоголиком... Учительство тезки в Самаре, как кажется, было очень непродолжительно, так как он скоро умер от пьянства.

Вместо прежнего неудержимого веселья, блестящего юмора, столь живо описанных в воспоминаниях Николая Ивановича о своем друге¹⁹⁶, Бобровников производил впечатление пришибленного человека. Помню, что у него было много детей, и при мне скончалась его премиленькая дочка Маргариточка. Николай Иванович горячо любил и высоко ценил своего друга, действительно исключительного по своим превосходным дарованиям. Их занятия над какими-либо монгольскими ярлыками продолжались и в Оренбурге, так как я сам видел их сидящих на корточках перед длинной хартией, привешенной где-то наверху и передвигаемой по прочтении. В нашем доме часто бывали киргизы Мангызовы, которых Николай Иванович почему-то близко знал и к которым мы раза два-три ездили в степь в гости. В эти верховые поездки я выучился сидеть на лошади и вглядывался в интереснейшие черты кочевья. В Оренбурге же я стал страстным рыболовом, благодаря массе рыбы в Урале и в Сакмаре.

Вслед за моим отъездом из Оренбурга в Казань к гимназическому учению Ильминские зимою возвратились в Казань, но уже к университетской, а не к академической деятельности. Летом 1863 года Николай Иванович опять меня взял с собою, но на этот раз мы проехали по Каме до станции Соколки. Оттуда мы побывали в городе Мамадыше и попали в село Тавели того же уезда.

Конечно, я не подозревал тогда, что судьба привела меня быть свидетелем первых лучей христианского света для крещения татар, а за ними и всех, главным же образом, поволжских инородцев. Мне казалось странным, что мы

приехали в какую-то деревню, нашли какого-то плотника Василия, которого так любовно целовал Николай Иванович... Моя тетя Катя не выдержала, кажется, и трех дней проживания в деревне Никифорово, населенной только старокрещеными татарами, так как никто не знал по-русски ни слова, жить было тесно и грязно. Мне что-то помнится, что при нас поймали какого-то вора, притворившегося пьяным и попавшегося будто бы по недоразумению; что между бывшими в лесу верхними и нижними улицами деревни протекала быстрая речка, в которую впадали многоводные, невиданные мною ключи, стекавшие по желобам прямо из каменной горы, падая в речку шумным водопадом; что на второй шли третий день нашего пребывания в Никифорове был какой-то праздник, на котором я видел какие-то непонятные мне игры, слышал незнакомые песни...

Наше переселение в Тавели, что в четырех-пяти верстах от Никифорова, привело нас хоть к русским людям. Мы наняли избу против ворот в деревне Нагашево, перед нами было в тот год ржаное поле, лето было отличное, и я только и ходил за годами, то с тетей, то с деревенскими детьми.

Тавели – большое торговое село на почтовом тракте. В нем оказался для Николая Ивановича славный священник о. Эраст Гаврилович Ястребов, говоривший по-татарски как природный татарин; для меня было приятной случайностью, что у меня нашелся гимназист-товарищ Николай Алексеевич Усольцев. Хор в Тавельской церкви был сборный. Пел дьячок, страдавший впервые виденною мною падучей болезнью, писарь, какие-то любители и тот самый плотник Василий, который стал вскоре известен как своеобразный миссионер, священник о. Василий Тимофеев.¹⁹⁷ Кажется, в бытность мою при первых занятиях Василия Тимофеева с Николаем Ивановичем Василий Тимофеев был уже довольно силен в грамоте. Душевные силы его были огромны и выказывали его полным и драгоценным самородком. Неудивительно, что Николай Иванович, узнавший его в чине водовоза Казанского женского монастыря, потом, кажется, звонарем в мужском Ивановском монастыре, скоро сообразил, какого помощника послала ему сама судьба. Николай Иванович, вероятно, недолго трудился, чтобы

привязать к себе Василия Тимофеева. Он увлек его сначала катехизическими беседами, потом переводами букваря на народный, а не на книжный мусульмано-татарский язык, пестрый от введения в него муллами множества арабизмов. Это простое открытие Николая Ивановича, то есть надобность просветить инородца не точно богословским толкованием христианского богословия и богослужения, а тронуть душу инородца прежде всего проникающею и умиляющею молитвою, простою, не догматическою и тем более не символическою, – это простое открытие, как гениальная мысль, конечно, пришла в «золотую голову» Ильминского после множества всяких размышлений, неудач и, несомненно, после совершенно всестороннего знания всей истории бывших наших миссий, всех причин их неуспеха. Просвещение инородца на его языке, однако, представило для Николая Ивановича такие с первого раза огромные трудности, что перед некоторыми из них он временно отступился сам. Трудность была в том, что, несмотря на превосходное знание Ильминским татарского народного языка, сам язык оказался слишком беден и мало развит для выражения самых простых терминов, самых простых метафор и особенно для объединения больших, логически развитых впечатлений.

К счастью, в это время обнаружился другой талант в Василии Тимофееве – учительский. Талант сразу заблестел во всю ширь, и если и замедлилось дело переводов, то с помощью сделанного Василий Тимофеев успел совершить свои знаменитые поездки, описанные так живо и правдиво в «Дневниках старокрещеного татарина»¹⁹⁸, и успел произвести огромное впечатление не только на крещеных татар, но даже встревожить мулл и, что всего забавнее, местные власти. Я был в пятом классе гимназии, когда первый курс сгоряча открытой Николаем Ивановичем «крещено-татарской школы»¹⁹⁹ дал в одну зиму Япрея (Ефрема Макарова), Кышты-Якау (Якова «малого»), Бориса, Пабала (Павла) и несколько других татарчат восьми-десяти лет – дал таких молодцов-грамотеев, за которыми ни я, ни живший у Николая Ивановича племянник, мой товарищ Иван Павлович Сердобольский, решительно не

могли угоняться в чтении по-татарски русскими печатными буквами. В эту же зиму 1863 года началось православное пение татарчат, совершенно неважное в хоровом смысле, но вполне потрясающее по усвоению ими самосозданных, невероятных по изобразительности оттенков. Впрочем, и понятно происхождение такого пения! Татары вообще очень даровитое племя, в музыке же особенно. Тексты, данные им Николаем Ивановичем, отнюдь не были чем-либо вроде догматика «Всемирную славу» или каких-либо туманных и высокобогословских стихир, понятных только при знании, но крайней мере, священной истории Ветхого Завета и русской истории. Татары пели: «Душе моя, душе моя, восстани, что спиши», или «Буди имя Господне благословено», или «Спаси, Господи, люди Твоя», или «Житейское море», или «Вскую мя отринул еси» и т.п. Нетрудно представить, как при музыкальной даровитости татар потрясающе действовали эти простые молитвы в простом, но вполне оригинальном простом и высоковиртуозном исполнении татарчат. Они проделывали артистические **pp** в избах, чуя их неуместность на открытом воздухе и заменяя их замедлениями с громким подчеркиванием слов, вроде в Великом славословии «Буди, Господи, милость Твоя на нас, якоже уповахом на Тя». Мой хор в Учительской семинарии, в которой я начал заниматься до ее открытия в 1872 году немедленно по окончании курса в университете, совершенно пасовал перед татарчатами, хотя я распевал итальянщину на полное удивление всех казанцев. Я долго думал над причиной этого художественного, на мой взгляд, недоразумения, пока не понял, что татарчаты поют искренно, а мы пели «художественно» – в смысле производства от приличнейшего и даже виртуозного рапорта «все обстоит благополучно». Я, который не мог не любить татарчат еще до открытия Учительской семинарии, не мог, в конце концов, не признать, что сила чувства более всякого искусства. Скверно певшие в хоровом смысле татарчата уничтожали мои художества итальянского пошиба. Мои отличные оттенки в семинарском хоре (чем, конечно, я очень гордился) совершенно уничтожались пением татарчат там, где поражения русского

хора, казалось бы, и нельзя было ожидать. Простой возглас «Един свят» сводил на нет мои хитроумные Херувимские и причастны Бортнянского. Я негодовал, но долго не мог догадаться, в чем, собственно, заключается секрет чувствуемого, но недоступного моему пониманию дела. Самый простой случай объяснил мне это, но уже в 1875–1876 годах, то есть более десяти лет спустя и после трех-четырёх лет занятий с хором Учительской семинарии. «Верблюжья академия», то есть носившая желтое платье верблюжьей шерсти, была доведена мною до возможного для меня в те годы совершенства. У меня был хор в 100–120 человек, ставивший в тупик всех совершенством его строя и подвижностью его оттенков, но простые «Со святыми упокой» и «Вечная память», пропетые татарчатами из моего же хора, уничтожали, по сущей совести, всю представлявшуюся мне прелесть моего искусства. Татарчата пропели «Вечную память» над прахом ученика семинарии безусловно лучше, чем я со своими пианиссимо, крещендо и диминуэндо. В их нении я сам слышал веру и молитву, а у себя я добился только дисциплины...

Но я отклонился от дела. В 1868–1869 годах приехал в Казань для печатания алтайской грамматики миссионер о. Макарий.²⁰⁰ Этот, по выражению малолетней моей сестры Маши, «по фамилии Монашкинский», совершенно праведный инок, великая добродетель перед Господом, ныне епископ Томский и Барнаульский, – этот инок приехал в Казань прямо к Николаю Ивановичу и поселился в новоиспеченной тогда Крещено-татарской школе. В этот год некто Степан Арефьев выстроил доныне стоящую женскую школу для татарок-девочек. В этот же год, понемногу удлиняясь, начали служить в школе сначала вечерни, потом утрени; в этот же год в холодной церкви Богоявленского прихода, рядом с православною церковью, отделявшеюся от нас лишь открытою дверью, о. Макарий отслужил первую заутреню во святую Пасху и затем литургию. За этою обеднею и заутренею по силе возможности пел и я с Маланьей, Федорушкой, Кышты-Якау, Япреем и Пабалом. На меня эти две службы произвели потрясающее впечатление! Видя полную церковь крещеных татар, я вполне обратился в

«их веру», то есть к делу просвещения; помню и другие голоса, как недоумевавшие, так и сочувствовавшие, так и негодовавшие по поводу татарской службы. Нетрудно представить себе, что чувствовали в эту службу Николай Иванович и о. Макарий! На их глазах прошел изумивший их самих Великий пост с трогательно говевшими татарчатами. Они сами видели и чувствовали красоту служб нашего Великого Пятка и Великой Субботы, открытую им простыми, бесхитростными чувствами художников-татарчат.

Но я все отвлекаюсь. В Казани был попечитель округа – грозный П.Д. Шестаков, разносивший Первую гимназию и насаждавший в Казанском округе толстовскую классическую систему более чем энергично.²⁰¹ Как кажется, много труда стоило Николаю Ивановичу «обратить в свою веру» грозного и резкого попечителя, подтягивавшего казанский округ и более всего казанские учебные заведения. Крещено-татарская школа, открытая Николаем Ивановичем, не принадлежала ни к какому министерству, не подходила по своим порядкам и задачам ни к какому учебному заведению, а была сама по себе, вне всяких циркуляров и начальнических воздействий.²⁰² Дело было новое, не похожее на заурядную школу, свободное и оттого жизненное, энергичное и высокоплодотворное. Татарчата установили у себя дисциплину, ретиво учились с утра до вечера, были веселы, умны и неслыханно прилежны. Понятно, что и успехи, и благонравие такой школы скоро стали заявлять о себе с наилучшей стороны. Толпа деревенских татарчат, бедно одетая, озиравшаяся с изумлением на каменный дом, пожарную часть, уличный фонарь, на карету, на монумент Державину, скоро примелькалась в глазах казанских жителей. Благодушие и любознательность создали у них то прелестное детское, но умное выражение глаз, которое так удивило казанского архиерея Афанасия, сразу заметившего отсутствие у татар забитости, или страха, или недоверия к старшим. «Какой у них ясный взгляд!» – сказал Афанасий, долго косившийся на Ильминского, не обличавшего мусульманство силою науки (как следовало бы, по мнению владыки), а дружившего с татарами, не прельщавшего «новых овец забытого стада» высотой

христианских идей, а осмелившегося даже делать выбор между молитвами, бракуя одни и переделывая другие, не просвещавшего прелестью русской службы, но заводящего какое-то татарское богослужение. Судьба, однако, скоро повернулась благополучно в сторону Николая Ивановича. Новый архиерей Антоний (известный богослов, чудный человек, прибывший в Казань из Смоленска) был скоро приведен Николаем Ивановичем «в свою веру», затем они вместе, как кажется, насели на Шестакова и устроили «Братство святого Гурия», то есть опять-таки администрацию, стоявшую вне министерства и заведшую свои порядки.²⁰³ Братство энергично повело дело благодаря привлечению в него лучших казанских сил. Излишне говорить, что душою Братства вскоре сделался Николай Иванович с его школами-отраслями, так как первые учителя из Казанской крещено-татарской школы, достаточно окрепшей, уже были пущены в оборот. Эти «учителя» были вполне оригинальны, и появление их перед патентованными учителями возбудило не только полнейшее недоумение, но даже и противодействие. По этой части в высокой степени интересна напечатанная Николаем Ивановичем «Переписка о трех школах Уфимской губернии» с председателем управы Буниным.²⁰⁴ Новые педагогические силы, двинутые Николаем Ивановичем в дело, были слабы до смешного, до жалкого в общеобразовательном смысле, но они были закалены в желании учить других грамоте, письму и пению молитв. Именно эту закаленность учителей и учительниц из татар и не поняли, не оценили власть имущие, думающие лишь об обязательном для учителей «высшем развитии» сравнительно с их учениками. Но тут-то и вступились за дело Николая Ивановича Шестаков и Антоний, вразумлявшие всяких инспекторов училищ, благочинных и стоявших «на почве закона», «на точном смысле данных из министерства или из Синода указаний или распоряжений». Какой-нибудь пятнадцатилетний Япрей, или Кышты-Якау, или Маланья, или Федорушка оказались вскоре истинными светочами христианства, работавшими до самозабвения и прямо покорявшими сердца темных инородцев пением «Душе моя, душе моя, восстани, что спиши» или

«Покаяния отверзи ми двери». Их ясные детские души, горевшие желанием света своим собратьям, их счастье в своей грамотности и в умении просветить ближнего всем небольшим арсеналом своих знаний, не превышавшем, кажется, тощенького букваря да знания десяти-пятнадцати напевов, – были, как оказалось, огромной силой, завоевавшей сразу симпатии населения. Эти учителя, вполне как Христовы апостолы, ходили всюду, беседовали со всеми, учили каждого. Бедность их была невероятна! Жалованье их начиналось с одного, двух или трех рублей в месяц... Но учили они заразительно, и немудрено, что в Казанскую крещено-татарскую школу, как уже центральную, потянулось множество учеников, кандидатов на такое учительство.

Учителем этой школы был тот самый «водовоз», которого не понял и грубо оскорблял преосвященный Афанасий²⁰⁵, тот самый Василий Тимофеев, понятый уже Шестаковым и преосвященным Антонием, который вырос теперь в своеобразного педагога и первого священника крещеных татар. У меня нет слов, чтобы достойно выразить меру моей любви и уважения к о. Василию Тимофееву! Этот совершенно необыкновенный самородок, гениальный педагог, чистейший человек необыкновенной пламенной веры, необыкновенного трудолюбия и скромности – этот человек был не более как простой крестьянин, нигде не кончивший курса, кроме занятий с Николаем Ивановичем. В его уме и сердце таились огромные духовные силы, он был невероятно прост и непосредствен, удивительно кроток и спокоен. Благодушие о. Василия, как кажется, никогда не покидало его, любвеобильное отношение его ко всем было какое-то совсем необычное. Понятно, что такой человек во главе школы и с такой неудержимой деятельностью, да еще при помощи Николая Ивановича, только и мог работать так, как трудился незабвенный о. Василий Тимофеев. Его незлобливость и ясный ум обезоруживали кого угодно и дали ему ту свободу действий, которая только и разворачивает такие богатейшие дарования. Почти тридцать лет я знал о. Василия и был близок с ним. Чего-чего не было пережито и испытано в такое большое время, каких только

исканий и нападений, иногда грубейших, не было вынесено им в жизни! Никогда ему не изменяли самообладание и ясное понимание значения обстоятельства данной минуты, снисходительное внимание к окружающему и вполне спокойное, кроткое отношение к делу. Я помню о. Василия у гроба его жены... Он не плакал! Покорность судьбе и сильнейшее горе его любящего сердца, глубокая вера переполняли этого человека, ни на минуту не упавшего духом.

Отношение о. Василия Тимофеева к ученикам было какое-то особенное – кроткое, благодушное, лишённое надобности в чем-либо настоять или приказать наперекор другим. Никаких наказаний, как и наград учащихся, в школе совершенно не было, не было и ленивых учеников, не было шалости, озорства – была какая-то особенная идиллическая семейная жизнь, проникнутая вся сполна трудом, кротостью и уважением друг к другу. Прислуги в школе не было, и только позднее, когда расширились и выстроились помещения, появился водовоз, чуть ли не бывший учитель, он же и дворник, он же и воспитатель, он же и репетитор и т.п. Постройка нового каменного дома школы, посещение школы многими высочайшими особами и, наконец, императором Александром II²⁰⁶ быстро и могуче повлияли на расцвет Крещено-татарской школы, ее расширение в составе учащихся и в составе учебных программ. Церковь школы расширила свои службы до полного годового круга, в котором значительная часть текстов излагалась на татарском языке. Школа вполне процветала.

Это время относится и к устройству Учительской инородческой семинарии, открытой осенью 1872 года. Семинария сначала, пока не был готов ее собственный дом, поместилась в школе, стеснив ее чрезвычайно и, как кажется, немало повредив бывшую до того идиллическую жизнь школы. Может быть, Николай Иванович понадеялся, что крепкая, уже сложившаяся жизнь школы повлияет благотворно на быт первого приема семинаристов, но случилось иначе. Молодые люди, набранные из уездных училищ, и молодой состав педагогических сил Учительской семинарии, между

которыми был и я в качестве учителя церковного пения²⁰⁷, как-то не сразу освоились в своих взаимных отношениях и не взялись за эту работу столь дружно у как она пошла через два года, при переходе семинарии в свой превосходный дом на видном месте, на берегу озера Кабан. Учебные занятия шли вяло, дисциплина учеников была прямо недостаточна и жестоко противоречила прелестной татарской школе. Дело очевидно не клеилось, несмотря на усилия братьев Ивана и Александра Павловичей Сердобольских, работавших до самозабвения. Силы педагогические были очень недурны на первое время, но помещение ли или неудачный прием первого курса семинаристов из «уездников», то есть кончивших курс в уездных училищах, – не могу хорошенько припомнить, – а только дело шло туго; по крайней мере, в моем классе оно почти не шло совсем. Может быть, и я сам был слишком неопытным учителем – не знаю, но только все мои усилия завести классы сольфеджио, хоть какой-нибудь хор не привели ни к чему. За неимением при семинарии начальных школ, давших мне потом массу детских голосов²⁰⁸, я должен был ограничиваться беднейшим составом мужского хора. Дело не шло, все мои мечтания приложить свои учительские способности к пению разом рухнули, и я помню, как не один раз я возвращался от семинарских всенощных или обеден в состоянии полного уныния.

Совсем по-другому шло дело в первые же месяцы, когда Учительская семинария перешла в свой дом на озере Кабан и когда в семинарии кроме трех полных классов, давших мне хотя сколько-нибудь опытных, мною же выученных в прошлые два года теноров и басов, в моем распоряжении очутилось до шестидесяти «лопаток» – чувашат, черемисят, вотяков и т.п. Я помню, что я с жаром принялся учить их, сам писал им ноты, сольфеджио, партитуры, морил их на спевках без всякой жалости. Зато к первым же службам семинарский хор, человек в шестьдесят, сразу заявил о себе очень хорошо. Ожил и я, ожили и семинаристы. Вновь назначенный законоучитель о. Никифор

Тимофеевич Каменский (ныне епископ Никанор Екатеринбургский) служил отлично, и, хотя и надоедал мне своими крайне плохими проповедями-экспромтами, но видимо интересовался нашим пением. Церкви в семинарии еще не было, так что мы начали свои службы всенощными и «обедницами» (то есть пропуская от «Елицы оглашения» до «Достойно есть», после чего пели «Отче наш» и отпуст).²⁰⁹ Когда настали пол в церкви, мы, певшие на хорах, перешли вниз, чем, конечно, улучшили качество звука. Освящение церкви, на котором преосвященный Антоний произнес отличную проповедь, было для меня вместе и экзаменом, который я сам себе задал, чтобы уверовать в свои регентские способности. Так как этот экзамен, по общему отзыву всех и по моему внутреннему строгому суду, прошел отлично, то я в этот же день с одобрением моего первого учителя о. Петра Диомидовича Миловидова, регента архиерейского хора, бывшего за этою службою, порешил покончить с своею судебною деятельностью и посвятить себя деятельности педагогической. Решение мое было одобрено Николаем Ивановичем, и мы условились, что я выдержу экзамен на звание учителя гимназии в филологическом факультете и затем он предоставит мне уроки истории и географии в Учительской семинарии. Я немедленно вышел в отставку в судебном ведомстве, начал ходить на лекции в университет и усердно готовиться к экзамену. По счастливой случайности, как раз в это время вышло распоряжение министерства народного просвещения о том, что лица, кончившие курс в университетах, во внимание к тому, что они не проходили курсы классических языков в гимназиях, могут подвергаться в филологических факультетах «сокращенным испытаниям». Это обстоятельство остановило меня от поступления вновь в студенты. Я решился быть вольным слушателем университета и через полтора-два года сдать экзамен. По необъяснимым для меня соображениям я должен был сдавать, кроме общей и русской истории и географии, славянских наречий и латинского языка с его историей литературы, еще почему-то политическую экономию. Факультет задач мне жестокий экзамен, который я сдавал в трех или

четырёх заседаниях. Например, я должен был отвечать по истории более двух часов, причем меня трепали по генеалогиям всяких франконских домов в Германии, по истории географических открытий в Африке с самою очевидною строгостью; немало досталось и по латыни... но экзамен был кончен, и вторая половина моей жизни началась.

Товарищами моими в учительской семинарии были два брата – Иван и Александр Павловичи Сердобольские, о. Никифор Тимофеевич Каменский, потом о. Михаил Николаевич Троицкий, Николай Петрович Остроумов, Владимир Николаевич Витевский, Василий Михайлович Рожанский, потом Николай Алексеевич Бобровников и Михаил Михайлович Федоров. Обо всех я могу отозваться только как о людях талантливых, работавших не за страх, а за совесть, так как, кроме честного отношения к делу, мы были прямо понуждаемы к самой усиленной работе беззаветным трудом нашего директора Николая Ивановича Ильминского и высоким почтением к нему в такой мере, что каждый из нас, как говорится, из кожи лез, только чтобы работать как можно лучше и ничем не огорчить нашего директора. Мы все отлично знали, как плодотворна и важна его просветительская деятельность вне семинарии, как ему просто некогда заниматься в ней мелочами, как надобно было ему постоянное спокойствие духа, чтобы укреплять далекие нити, шедшие из его кабинета не только к поволжским, но и к сибирским инородцам. Ангельская доброта Николая Ивановича, как всегда крайне утомленного работою, легко сменялась вспышками жестокого гнева, хотя и кратковременного, но мучившего его потом продолжительным раскаянием в несдержанности. Эту вспыльчивость мы знали и потому берегли Николая Ивановича как зеницу ока, чувствуя в этом свой долг и гарантию нашего же вполне свободного труда. Авторитет Николая Ивановича в инородческом деле был так высок, что его не касались никакие министерства и попечительские указания и предписания, почему Учительская семинария шла вполне свободно как в преподавании, так и в своей дисциплине. Все мы отлично знали, что Николай Иванович должен быть вполне в курсе работы каждого из нас,

между собой жили дружно, почему и неудивительно, если теперь, двадцать лет спустя, я вспоминаю с глубоким удовлетворением ряд годов, примерно с 1877 по 1885, когда семинария процветала и выпустила множество хороших, закаленных работников для инородческих и русских школ. Николай Иванович чрезвычайно редко делал кому-либо из нас какие-либо замечания, уважая наш труд и нашу свободу. Зато чрезвычайно обильны были его беседы с нами, когда мы сами приходили к нему за разъяснением чего-либо. Приемы у него никогда не носили и тени какого-либо начальствования, а были только дружественные, вполне товарищеские с его стороны и невольно почтительные с нашей. Мы входили к Николаю Ивановичу без всяких докладов во всякое время, и не было случая, чтобы он не бросал свои занятия для выслушивания наших дел.

Николай Иванович вел совершенно правильную, трезвую жизнь. Он вставал обычно около пяти, даже четырех с половиной часов утра и работал до семи, после чего отдыхал с полчаса. Его обед был всегда в два часа, после чего он спал до пяти и затем работал до одиннадцати часов вечера. То был вполне здоровый, никогда не хворавший человек, вполне занятой, серьезный и всегда одушевленный, и радушный, радостный для каждого пришедшего. Он вел огромную переписку со множеством людей, почему его единственным, как кажется, моционом было отнесение писем на почту. Юмор и одушевление, изящная шутка, интересное воспоминание о чем-либо подходящем к теме разговора всегда сопровождали беседу Николая Ивановича, полную ума, содержательности и достоинства. Глубокий такт и огромная его сдержанность, «умение молчать» были в нем прямо удивительны. Замечая, например, что кто-либо «уклоняется от истины» или говорит чересчур откровенно о чем-либо такому лицу, которому лучше бы не знать подробности, Николай Иванович чрезвычайно искусно впутывался в разговор, незаметно переводил внимание собеседников на другие темы и такую «модуляцию», в которой весьма часто употреблялся маневр «о чем, бишь, я говорил?», выручал многих, как и себя самого, от неловких или

нежелательных объяснений. Никогда, кроме минут раздражения и только в кругу своих самых близких, Николай Иванович не отзывался о ком-либо насмешливо или непочтительно. В его беседах, особенно при модуляциях в отдаленные строи, чаще всего бывали воспоминания о том, как он «по простоте своей» попал в то или другое забавное приключение, или как интересно сопоставление одного и того же в формах, выработавшихся у нас, на Востоке и в Западной Европе, или как «в доброе старое время» жила в Пензе и проч.

Вспышки гнева у Николая Ивановича были как-то неожиданно быстры и необыкновенно бурны. Много, например, у нас было перешептываний о тех двух случаях, когда Николай Иванович при нелепом и бестактном посещении Учительской семинарии помощниками попечителя Николичем и Малиновским (конечно, в разные годы) вспыл и, вступившись за ведение дела нами хотя бы и несогласно всяким глупым и все предусмотревшим «мнениям комиссий» или «циркулярам», жестоко выбранил, чуть не выгнал вон из семинарии своих прямых начальников. Однажды в Уфе, придя в гости к инспектору училищ Рыбакову, чтобы обратить его в свою веру (что, впрочем, и случилось потом), Николай Иванович услышал насмешливое и надменное отношение этого «просветителя» к инородцам. ***Сын этого Рыбакова много лет спустя много писал о Николае Ивановиче. Сергей Гаврилович [Рыбаков] был знаток восточных песен и инородческого быта.*** Когда, несмотря на все хитрости и деликатные извороты беседы гостя, хозяин не останавливался в своих глумлениях и имел неосторожность посмеяться над идеализмом некоторых учеников Казанской учительской семинарии, работавших в школах этого инспектора, Николай Иванович неожиданно вспыл и пустил в гостеприимного хозяина стаканом с горячим кофе... Помню также и то, как какой-то отчет о братских школах, составленный Николаем Ивановичем, неожиданно встретил критику вновь приехавшего председателя Братства св. Гурия, викарного епископа Сергия. Новый человек, не знавший ни дела, ни меры любви и труда, вложенных Николаем Ивановичем в братские школы, имел неосторожность гласно, в

общем собрании Братства, жестоко продернуть отчет, действительно слабый с канцелярской, формальной стороны, по несоблюдению в нем каких-то параграфов инструкций. Епископ, выгораживающий себя формально, как бы стоял за порядок и за достижение целей Братства, чрезвычайно бестактно и бессердечно эксплуатируя неловкость возражений ему, епископу-председателю. Николай Иванович после такой грубой, по правде сказать, и глупой выходки только встал (он был товарищ председателя Братства) и ушел при полной тишине всего собрания... Визит к нему промахнувшегося архиерея Николай Иванович не принял, но рассудил, однако, сам побывать у него несколько дней спустя. Но и это условленное свидание кончилось вполне своеобразно. Едва увидел встречавшего и улыбающегося владыку наш добрый, готовый к миру Николай Иванович, как раздался крик: «Я не могу с вами говорить, уйдите, я не могу вас видеть, владыка!». Архиерей догнал не помнившего себя Николая Ивановича уже на дворе, чуть ли не в экипаже, тщетно уговаривал его вернуться, но Николай Иванович тут же уехал... Припоминаю и всплывшего на меня Николая Ивановича: хор учеников в один из учебных годов подобрался у меня как-то особенно хорошо, и масса певцов, обычно бывших у меня свыше ста человек, пела некоторые сочинения с захватывающими дух опенками. В Великую Субботу очень нездоровилось Екатерине Степановне, но я уговорил ее прослушать исполнение «Да молчит всякая плоть». После очень удачного пения этой композиции Екатерине Степановне сделалось дурно, и я внезапно, после того как многие из нас хлопотали около больной, услышал нервный крик Николая Ивановича: «Зачем ты так поешь? Посмотри, что выходит вместо молитвы?».

Немудрено представить, как мучился после подобных вспышек такой деликатный и стыдливый, кроткий и снисходительный человек, как Николай Иванович. Но замечалось иной раз и совершенно обратное. Вспышка была как бы вскрытием внезапно проявившегося обостренного нарыва, отчего получалось немедленное успокоение от мучительной боли. Николай Иванович к таким случаям относился вполне

спокойно и только не любил вспоминать о бывшем. «Да, я тогда нагнул очень», – бывало, отзовется при случае, и тем кончался разговор. Конечно, из всех подобного рода историй выручал Николая Ивановича его общепризнанный авторитет, общее и глубокое к нему почтение, на основании которых и представлялось очевидным, что не без причин следовали такие вспышки, столь противоречившие всему остальному в том же человеке.

Любили мы все Николая Ивановича крепко и понимали, что у такого директора мы сами проходили хорошую педагогическую выучку. К ученикам семинарии Николай Иванович относился как-то двояко, совсем не так, как к излюбленным своим татарчатам в школе. На уроках педагогики, в личных сношениях чуть не с каждым учеником Николай Иванович держал себя на положении если не старшего брата, то отца молодежи, и в этом смысле его влияние на учеников было огромно и благотворно. Более умных и сердечных молодых людей Николай Иванович угадывал скоро и с удивительною прозорливостью воспитывал, так сказать, каждого отдельно. Для того он брал то одного, то другого, то третьего ученика к себе либо для письма бумаг под диктовку, либо для переводов, либо для компании на прогулку, либо для совета о каком-либо деле в селе, откуда был родом ученик, и т.п. С другой стороны, за все семнадцать лет моей совместной с Николаем Ивановичем деятельности в учительской семинарии я могу припомнить, может быть, три-четыре случая его воздействий на всю массу учеников. Осматривая ежегодный прием новичков, Николай Иванович говорил с каждым из них порознь и вместе со всем приемом. Результатом такой беседы были иногда либо его отказ в приеме кого-то, либо его слово за какого-нибудь малыша, нами поставленного под знаком вопроса, либо обращение нашего внимания на мальчиков, показавших себя на этой беседе чем-либо особенным. Я помню поразительные случаи прозорливости Николая Ивановича, изумившие нас категоричностью его приказаний. Например, один красивый, симпатичный мальчик, отлично выдержавший экзамен, был прямо вычеркнут Николаем Ивановичем из списка намеченных нами к приему. Этот

мальчик, сейчас же принятый в Учительский институт, был на моих глазах потом все три года и затем, по окончании курса, совершенно погиб. В институте с ним ничего не могли поделать, несмотря на его блестящие, как кажется, дарования. Тот же Николай Иванович однажды настоял на приеме убогого хромца и другого – с парализованной левой рукой, не выдержавших у нас ни одного экзамена, потом же оказавшихся людьми несравненной душевной красоты, рыцарями-учителями и нашими же общими любимцами.

Главные знания Николая Ивановича, удивлявшие всех, были, конечно, кроме огромного общего образования и начитанности, знания множества языков, преимущественно финских и монголо-тюркских. Отлично зная греческий, латинский, еврейский, сиро-халдейский, арабский, турецкий языки, Николай Иванович в полном совершенстве владел древнеславянским языком – в такой мере, что на закате своих дней написал и напечатал полный текст Четвероевангелия в том виде (особенно же орфографическом), в каком Евангелие должно было бы выйти из-под пера святых Кирилла и Мефодия. Языками татарским, киргизским, башкирским, чувашским, обоими черемисскими (горным и луговым), обоими мордовскими (мокша и эрзя), вотяцким, алтайским, шорским, зырянским и другими он владел хотя и в разной степени, но настолько, что, например, казанские татары были серьезно убеждены, что он родом коренной татарин, учившийся в высших мусульманских училищах Востока и изменивший магометанству... Сделанные Николаем Ивановичем при участии инородцев переводы на множество языков – причем он же поправлял коренных инородцев – свидетельствуют о мере владения им этими языками. Стройность алтайской грамматики, представленной тамошними миссионерами, была отмечена Академией наук еще в шестидесятых годах, когда Николай Иванович не выдывал ни одного алтайца, как «результат несомненного участия Ильминского в ее редактировании». Помню и удивившую нас депешу Дионисия, епископа Якутского, равно и письмо владыки по тому же поводу. Дело в том, что Николай Иванович, бывший даровитым любителем-корреспондентом своих и чужих

инородческих изданий, усомнился в верности или, лучше сказать, в изящности якутского перевода, приостановил печатание и, не решаясь сделать свои поправки, так как никогда не занимался якутским языком, отписал о том владыке Дионисию. В этом письме были и места, приведшие Николая Ивановича в сомнение, и его предполагаемые поправки. Деша владыки сразу решила дело: «Изумляюсь прозорливости вашего превосходительства, благословляю все сделанные и будущие по вашему усмотрению поправки»; в письме этого удивительного по юмору и уму владыки-миссионера мне запомнилась фраза: «Вот и я, сорок лет живущий между якутами, и все батки около меня оказались с очевидностью менее постигающими тонкости языка в сравнении с вами, ни слова не говорящим по-якутски и не выдавшим ни одного живого якута».

***Преосвященный Дионисий, из вдовых священников России, попал в епископы Якутской области и обнаружил там, кроме высоких личных достоинств, совсем незаурядный миссионерский талант. Едва ли не с его слов написан Лесковым прелестный рассказ (что-то вроде «На дальней окраине»).*²¹⁰ По крайней мере, в юморе рассказа так и виднеется как живой прелестный старец Дионисий. Письма Дионисия к Николаю Ивановичу все до одного уничтожены последним перед своею кончиною, так как Николай Иванович не счел, очевидно, возможным оставить к сведению других дружеские письма веселого и благодушного юмориста-архиерея, особенно превосходно описывавшего петербургских чиновников «100-личного града», с которыми ему пришлось быть вместе во время его командировки для участия в заседаниях Св. Синода. «Сегодня наш обер был аки лев рыкающий на скалы бездушный», – писал он однажды Николаю Ивановичу из «100-лицы» про глухое упрямство «батек» перед К.П. Победоносцевым. Дионисий, бывший после Якутска епископом Уфимским, скончался во время командировки в Петербург лет пять-шесть спустя после Николая Ивановича. Письма его и рассказы были прямо**

художественны. Помню, например, как восторгался Николай Иванович рассказом Дионисия о приключении с ним во время бурана в дальней якутской стороне, когда владыка должен был вместе с келейником-якутом закопаться в сене. Келейник, от которого несло «якутским смрадом», начал любовно дышать владыке рот в рот. «Что ты делаешь?» – вскричал владыка. «Я тебе морду грею», – был ответ. Рассказывала мне также Екатерина Степановна Ильминская про письмо, полученное ею от владыки по поводу множества кляуз, которые развел в Уфе «поп-солдат» (бывший солдат) из татар, которому почему-то покровительствовал Николай Иванович. Письмо было написано чуть ли не стихами в таком роде: «Обращаюсь к вашему любвеобильному сердцу по делу о моем «коварном друге» Николае Ивановиче Ильминском, не слушающем моих к нему обращений. Не слушает он меня, так, может быть, у вас найдется путь к его доброму сердцу, чтобы повлиять через него на кляузного «попа-солдата», вредящего делу и мне своими благочестивыми жалобами, на у моление Его Татарского Благословения» и т.п.

Впрочем, кличка «Полиглот» утвердилась за Николаем Ивановичем еще в бытность его если не студентом, то юным бакалавром Духовной академии. Знание множества языков привели его (как Рачинского – к искусству задавать сложнейшие задачи для умственного счета, с нулем в остатке; чрезвычайно живо описал С.А. Рачинский, как он «бессознательно тиснул у себя в мозгу какую-то неведомую мне пружинку, и все деления стали выходить без остатка»²¹¹) к уразумению таинств связи и взаимодействия языков, разности их развития во времени и в пространстве, влияния на языки ровной или горной местности и т.п. Только таким высшим языкознанием и можно объяснить случай с исправлением якутского перевода.

Конечно, Николай Иванович был сама олицетворенная честность, само благородство, непоколебимое мужество и величайшая, даже иногда и непонятная скромность. Под конец жизни, став уже «Никола-бабай» (дед), Николай Иванович

постепенно оставил привычку прикидываться иногда простачком, вводя в заблуждение многих даже умных людей, убежденно и долго считавших Николая Ивановича «простюганчиком», даже и очень недалеким. В числе таких был довольно недалекий и бестактный вообще помощник попечителя Иван Михайлович Николич, кажется не выносивший такого мало покорного ему подчиненного, как Николай Иванович. Николич нисколько не стеснялся иногда, конечно за глаза, хотя и весьма несдержанно, издеваться над Николаем Ивановичем как над своеобразным «генералом», который позволяет себе ездить на ломовых, не надевать ленты через плечо, придумывать «бессмысленные» заглавия вроде «Крещено-татарская школа», зачем-то и что-то делать помимо обязанностей службы, и притом не только без руководственных указаний, но даже без разрешения начальства.

Но рассеянность не покидала его, как иногда бывавшего глубоко сосредоточенным, до самого конца жизни и приводила иногда к высококомичным эпизодам. Мне припоминается, как однажды Николай Иванович, подъезжая к Симбирску ночью на пароходе вместе с женою, вздумал услужить ей, собрав багаж в каюте. Только приехав в гости и разобрав имущество, путешественники догадались, что Николай Иванович подобрал в каюте вполне добросовестно все, что плохо лежало, почему в Симбирске оказались чья-то калоша, чей-то ботинок, чей-то галстук, чьи-то чулки. Нетрудно представить физиономию почтеннейшего человека, учинившего такое оригинальное похищение; нашлись тут же изобразившие картину каюты наутро, когда пассажирам невольно пришлось ходить кому в одном сапоге, кому без чулок. Веселая компания, радостно приветствовавшая гостей Ильминских, не упустила дополнить картину разговором тех же пассажиров, высказывавших недоумение, кому и зачем понадобилась такая кража, и потом решивших, что ее никто не мог сделать, кроме старца, очаровавшего всех свою веселостью и интересными рассказами, но ночью сошедшего с парохода на какой-то пристани. Верх забавного случился, однако, после. Несколько лет спустя супруги Ильминские на пароходе же встретили

какого-то пассажира-говоруна, который, болтая о том о сем, рассказал Ильминским о необыкновенно забавном приключении, случившемся в виде пребестолковой кражи у пассажиров то ботинка, то чулка, и об общем хохоте наутро всех путешественников, у которых уцелели, однако, часы, деньги, платья. Бедный Николай Иванович должен был, поникнув головой, выслушать этот рассказ.

Но память у Николая Ивановича была поразительная по своей точности. У него был свой способ мнемоники, с помощью которого он укреплял в своей памяти что-либо, привязывая случившееся либо ко дню, числу месяца и года, либо к квартире, либо к местности, либо к лицам или обстановке, при которых произошло что-либо. Таким образом, очень часто без всякого умысла Николай Иванович, только давя пружинки своей памяти, производил неподозреваемое и сильное впечатление тем, что он прямо говорил о случившемся там-то и такого-то числа и года, прибавляя: «А это было во вторник» или «Это было в пятницу». Своим же способом в случае, когда память не сразу возобновляла у него время и место чего-либо, Николай Иванович добирался до этого события либо по бывшим своим квартирам, либо по ректорам академии или университета, либо по печатным изданиям – до тех пор, пока мнемоническая комбинация не устанавливала какое-либо новое совпадение фактов, от которого сама собой являлась искомая, но уже точная дата. Излишне прибавлять, как твердо умел запоминать Николай Иванович прочитанное и надолго сохранять не только план и развитие мыслей какого-либо сочинения, но подробности второстепенные. Читал он постоянно и очень много.

Мне всегда казалось, что Николай Иванович не увлекался и, пожалуй, был довольно равнодушен к искусству, хотя и читал дарования, заявившие о себе как в музыке и живописи, так и в современной поэзии. Я никогда не мог уяснить себе отношений Николая Ивановича к искусствам. Но мне помнится, что он вполне равнодушно относился к Некрасову, отрицательно к Щедрину и другим, бывшим в мои молодые годы главарями журнального движения, вместе с Писаревым и прочими. Зато едва ли многим было доступно то восторженное упоение

красотою, например, Псалтири, тонкости поэзии которой были понятны Ильминскому уже по превосходному знанию им как славянского языка, так и самого памятника. Николай Иванович ставил Псалтирь чрезвычайно высоко, увлекаясь ею со всею силою своей нежной души, живо чувствовавшей и скоро приходившей в растроганное состояние. Драматическое искусство он, как кажется, даже не любил. Только один раз на моей памяти Николай Иванович увлекся трагиком, известным английским негром Айрой Олдриджем, великолепно игравшим исторические роли в трагедиях Шекспира. Затем, Николай Иванович никогда не бывал в концертах, в спектаклях, в клубах, проводя время постоянно дома и бывая у своих друзей налетом, по какому-либо делу, а не «в гостях». Визитов Николай Иванович никогда никому не делал и тем, как занятой человек, отводил от себя визитеров. Раз в год, а то и в два года Николай Иванович не без удовольствия играл в карты. Ранее, в 60-х годах, он любил играть с моим отцом, и они играли иной раз очень часто, в 80-х же годах игры в карты, как кажется, совсем не было.

Каков поп, таков и приход. Николай Иванович подобрал себе очень тщательно состав Казанской учительской семинарии, выбирая людей способных, простых, работающих, сочувствующих его педагогическим взглядам. Главными его сотрудниками при открытии Учительской семинарии, несомненно, были братья Сердобольские, родные по сестре его племянники.

Александр Павлович Сердобольский был из ряда вон даровитый, прирожденный учитель. Блестящие его способности позволили ему рискнуть держать вступительный экзамен в Казанский университет (тогда еще были такие экзамены) из шестого класса Пензенской гимназии. Первый курс университета он прожил с молодыми Ильминскими на квартире их в доме Казанкина на Булаке. Затем, по отъезде Ильминских в Оренбург, Александр Павлович перебрался в Московский университет и здесь внезапно увлекся педагогической деятельностью графа Льва Николаевича Толстого – нынешней гордости Земли Русской, вышел из университета и сделался учителем Головеньковской, что у Ясной Поляны, школы,

участвуя в журнале «Ясная Поляна». По административном, как кажется, закрытии Толстовских школ²¹² Сердобольского унесло акцизным чиновником по соляной части в Илецкую Защиту. Оттуда выписал его Николай Иванович в преподаватели Казанской учительской семинарии. Сердобольский был восхитительный учитель и умный воспитатель: характер его был пылкий, живой, проникнутый какою-то особою художественностью. Он был совершенно лишен музыкального слуха, но очень любил музыку и часто по-своему пел, так что у учеников сложилась насмешка: «Поет, как Александр Павлович!». Здоровье его, вначале крепкое, вдруг расшаталось, и он, чувствуя себя от того не в духе, носил в те дни пальто, шитое мехом наружу. Это пальто было вместе и барометром для более осторожного поведения учеников в те дни, так как Александра Павловича, проводившего в семинарии все свое время, и побаивались, и крепко любили. Читал он, особенно же Гоголя, вполне артистически. Александр Павлович во все время своей службы в семинарии был старостою церкви. Он вышел из семинарии, больной, вместе со мною в 1889 году и вскоре, хотя и на месте инспектора училищ Ставропольского уезда Самарской губернии, скончался, приехав умереть в Казанской крещено-татарской школе на глазах Николая Ивановича, очень его любившего. Сад посреди двора, изящный и богатый разнообразием деревьев, был устроен Александром Павловичем лично с помощью копавших под его руководством учеников. Садов в семинарии было три: упомянутый сейчас сад с цветником-зимником – «Сердобольский сад», потом на западной стороне двора с цветником-летником – «Экономский сад» (устроенный экономом Юлием Ивановичем Мазингом – страстным цветоводом) и «Смоленский сад», посаженный мною по восточной стороне в 1878 году в день свадьбы Кати Бобровниковой с Иваном Яковлевичем Яковлевым – известнейшим теперь деятелем по просвещению чувашей.²¹³ Этот сад есть, собственно, пять–шесть рядов елок, пихт и сосен. Цветников в этом саду не было. Я слышал, что вырытый посреди двора колодезь оттянул всю воду из почвы, почему теперь эти сады будто бы очень пострадали. В мое время эти

сады были очень красивы сами по себе и очень красили всю большую усадьбу семинарии.

Иван Павлович Сердобольский был отчасти моим товарищем по гимназии, в университете же кончил курс ранее меня по математическому факультету. Это был также самородок-педагог с особенными наклонностями к технической части. Его трудами были заведены с 1875 года при Учительской семинарии прекрасные мастерские, слесарная, переплетная с брошюровальной и столярной. Мастерские эти, кроме первоначальных инструментов для слесарной и столярной, были spolна оборудованы дома работой мастеров-учителей и наших воспитанников и во все время при мне, то есть до 1889 года, работали превосходно как по обучению воспитанников, так и в смысле большого оборота работы. Мастерская по переплетной и брошюровальной части едва успевала работать на Братство св. Гурия; по слесарно-кузнечной и механико-инструментальной части, кроме починки и работ по семинарии, имела массу заказов со стороны, особенно для гимназии и медиков-студентов, исполняя разные физические приборы, циркули и простые медицинские инструменты; столярная мастерская работала гораздо менее интенсивно, ограничиваясь столярным обучением, починками и надобными по семинарии поделками.

Характером братья были совершенно несхожи, так как Иван Павлович был гораздо менее добр, чем его брат, зато выдержки у него было гораздо больше. Он преподавал арифметику и геометрию главным образом практическими упражнениями в умственном счете и в применении начал геометрии к окружающим ученика предметам и к землемерию. Физика в его курсе была также более всего практическая в смысле истолкования опытов. Иван Павлович внезапно заболел чахоткой и преждевременно умер, кажется, в 1877 году.²¹⁴

О законоучителе о. Никифоре Тимофеевиче Каменском я уже упоминал. Пребывание его в Учительской семинарии было недолговременно, так как его скоро назначили ректором Казанской духовной семинарии. Вместо о. Каменского к нам попал также вдовый священник о. Михаил Николаевич

Троицкий, только что кончивший курс в академии, но уже лет тридцати с небольшим. Этот очаровательной доброты священник, красавец, отличный певец-бас, скоро стал у нас общим любимцем и пробыл в семинарии лет пять-шесть. Судьба его была чрезвычайно печальна. Первые годы своей службы он усердно работал над своею диссертациею. Получив степень магистра богословия, он перестал сидеть дома и вскоре безумно влюбился в одну классную даму. Я читал письмо о. Михаила Николаевича к Николаю Ивановичу, бывшему тогда в Петербурге, – чрезвычайно искреннее, полное высокой к нему любви. О. Михаил писал, что он не в силах побороть в себе чувство любви и желание вступить в брак; что, уважая свой сан, он не может оскорблять его у престола Божия, не имея силы не думать о том, что охватило все его существование; что он надеется умалить свой грех, решаясь расстричься, и проч. Сколько мне известно, Николай Иванович отвечал о. Михаилу полным неодобрением его замысла. Но о. Михаил не послушался, расстригся и сделался мировым судьей где-то на Урале. Не знаю точно, что именно погубило Михаила Николаевича, но он помешался на фразе «Николай Иванович меня не простил», и, как мне говорили, с этою постоянной его фразою скончался в сумасшедшем доме через два-три года.

Новый законоучитель, о. Константин Николаевич Богородицкий (ныне соборный протоиерей в Ташкенте) уступал, прежде всего, в церковной службе своим отличным предшественникам как человек вполне лишенный слуха. Меня, как регента, фальшь о. Константина приводила не только в раздражение, но просто в какую-то злость против него. Мои истрепанные нервы до такой степени не выносили этой искренно прочувствованной, но невероятной по фальши голоса интонации о. Константина, что я бросил ходить к службам... Впрочем, я очень недолго служил с ним, так как уже близилось мое переселение в Москву.

Учителем словесности был при мне способный, но потом распутившийся Владимир Николаевич Витевский, автор многих статей и больших исторических сочинений, из которых мне нравилась его монография «Неплюев и Оренбург».²¹⁵ К

сожалению, пьянство, в которое втянулся Витевский, мало-помалу губило этого человека, и он падал постепенно все ниже. Некоторые его уроки по истории русской литературы были прямо превосходны и приводили старших учеников в упоение от увлекательных характеристик прошлого времени. Я не знаю, что, собственно, затащило Витевского. Его семья, особенно же страдальца-жена, мучилась от буйного Витевского, в сущности очень умного и благодушного, доброго, но также страдавшего душевно от понимания всего и своего бессилия перед обуявшею его отравой. Одно время он очень не ладил с Николаем Ивановичем, заподозрив его, конечно неосновательно, в каком-то недоброжелательстве. Витевский вышел из Учительской семинарии только в прошлом году, в состоянии еще более печальном и болезненном.

Таков же был Михаил Михайлович Федоров, мой бывший учитель естественной истории во Второй гимназии. Несмотря на блестящие качества этого учителя в трезвые месяцы его жизни, Николай Иванович скоро понял свою ошибку и скоро же воспользовался случаем, чтобы освободить семинарию от дурного, хотя бы и временного, примера. В эти годы, чуть не двадцать лет спустя после нашей первой встречи, трезвый Федоров был просто очарователен, пьяный же просто страшен и невыразимо жалок.

Вместо него судьба послала нам Василия Михайловича Рожанского – математика-естественника, потом же доктора медицины (ныне, кажется, главного врача в Самаре). Этот образованный и талантливый человек, с глубоким тактом, принес очень много пользы семинарии и пользовался отличным уважением учеников и товарищей. Его милая жена Авдотья Львовна была всегда желанной гостьей в семинарии. Стоит упомянуть о том, что мои кумовья поженились, бывши 18-ти лет, немедленно после окончания обоими курса в нижегородских гимназиях, и Бог благословил их брак и хорошим согласием, и доброй семьей, хотя и перенесли они нужду весьма жестокую.

Я занял место учителя истории и географии после Николая Петровича Остроумова, которого знал с 1872 по 1875 год, когда я был в семинарии только учителем пения. Николай Петрович

был доцентом Духовной академии и затем уехал директором Учительской семинарии в Ташкент. Я ничего не могу сказать о его достоинствах как учителя, но помню, что Николай Иванович высоко ценил Остроумова и недаром рекомендовал его в качестве пионера в новый для нас край. Мне известно, однако, что честнейший, горячий Николай Петрович много воевал в Ташкенте со всякими алчными петербургскими молодцами, действовавшими чуть не с круговой порукою. Понятно, что эта шайка не оставалась в бездействии и заставила Николая Петровича пережить немало волнений. Глубокое разочарование в людях, назначением которых было служить лучшими примерами русских людей во вновь завоеванном крае, повлияло и на Остроумова, ставшего боязливым, мелочным, подозрительным, даже и чиновником... Я видел как-то Остроумова, жестоко жаловавшегося мне в Москве на «ташкентцев», но не знаменитого «приготовительного класса» (Щедрин), а уже совершенно сформировавшихся в сущий позор русской земли...²¹⁶ Николай Петрович в своих подробных, нервных письмах к Николаю Ивановичу без всякой жалости называл своими именами и «ташкентцев» и дела их. Мы только руками разводили от возможности награждения орденами, арендами и прочим таких молодцов, которых бы надобно было вешать, ссылая в Камчатку или в Соловки либо разжаловать без выслуги в солдаты...

Наконец, скажу и о себе. Время от 1875 по 1887, когда я, полный силы, энергии, любознательности, переменил свою судебную деятельность на педагогическую и с увлечением работал над своими курсами церковного пения, географии и истории (общей и русской), я считаю лучшею порою моей жизни, самую спокойною, полною труда под руководством горячо любимого и достойнейшего человека – Николая Ивановича. В это время я приобрел себе друга – моего очаровательного отца, Василия Герасимовича, сблизившись с которым более тесно и более на нравах взрослого, я понял впервые, что за красота душевная, что за сердце нежное, любящее, что за ум ясный, трезвый, что за честность скрывались в этом удивительном и прелестном старике! Только в эти зрелые уже свои годы я

понял, почему мой отец – сущий бедняк, сущий неудачник по службе – пользовался уважением самых почтенных, самых избранных и притом очень немногих своих друзей, почему он, постоянно бывший в разрозненной массе профессоров и студентов, между которыми и тогда было много грубых, невоспитанных и самомненных людей, все-таки заставил всех уважать себя и почитать его подчас весьма крутую и непреклонную прямооту, даже резкость. Только в эти годы я понял, как глубоко любил и берег меня мой незабвенный друг и благодетель Василий Герасимович, терпевший иногда с семьею большую нужду, но все-таки нашедший в себе силы воли вытерпеть срок моего ученья в гимназии и университете!

Просветление мое относительно моего отца, которого я в детские и даже студенческие годы всегда сильно побаивался, началось с ничтожного случая. И ранее множество раз видели мы, как отец, читая газету, более же всего «Московские ведомости», вдруг вспыхивал, мям газету в комок или рвал ее на клочки, бранился наедине с самим собой и волновался. Однажды мы услышали в комнате отца подобную брань, услышали рванье газеты и шлепок комка, полетевшего куда-то в угол, и затем увидели отца с шапкой в руке, уходящего гулять совершенно не в обычное время. Идя до передней, отец мой ворчал: «Де, де – мерзавец! Куда девалось прошлое! Де, де, – ну, зачем де?» и т.п. Мы, выдавшие немалое число раз вспышки отца, переглянулись, улыбнулись, но я впервые задумался над горячностью отца в Казани из-за московской статьи при камертоне и пульсе из Петербурга. Я отыскал неимоверно злобно изорванные, искомканные остатки номера «Московских ведомостей», сложил их, прочитал весь номер и остался в полном недоумении... Отец мой вернулся домой в обычный 11-й час возвращения своего из «гостей», то есть либо от А.П. Владимирского (ректора академии), либо от Н.И. Ильминского, был благодушен и немало удивлен моим вопросом о причине его вспышки... После ужина в этот день отец мой беседовал впервые со мною как мой друг и старший товарищ. После этой беседы о чистоте русского языка, об обязанности публициста беречь язык и развивать его, а не грязнить, об обязанности

газеты мужественно служить правде и родной земле, а не плясать на задних лапках, развращая пошлой лестью своих же кумиров, вредя им для будущего хуже злейшего врага, – после таких вполне неожиданных для меня откровенных речей моего близкого и любимого человека впервые упала пелена с глаз моих, и я с глубоким умилением, с какой-то благоговейною радостью увидел впервые дивную душевную красоту моего отца; я понял и чуткость его сердца, и его гордую любовь, возвышенную, поэтическую, мужественную. Мне стало стыдно, что я близоруко считал его и самодуром, и отсталым, и даже грубым... Вдруг оказалось, что возле меня жил и мною руководил человек не только совершенно иного склада, но столь нежной и высокой души, настолько полной возвышенного служения родной земле, что мне оставалось еще многое, чтобы вникнуть в подробности мышления такого человека. Меня совершенно уничтожала мысль, что я, уже 25-летний, кандидат прав, подумывавший вновь попасть в университет, ни разу не был удостоен отцом введения в круг его идей, в товарищеское общение с ним, и только мой приход к нему открыл для меня бывшую столь близко вполне новую Америку. Я не вправе описывать в своих воспоминаниях содержание многих бесед моих с отцом, в сущности давших мне, как и беседы с Н.И. Ильминским, а позднее с С.А. Рачинским, гораздо более, чем все университетские курсы. Пожалуй, могу сказать, что университет лишь подготовил меня к усвоению бесед таких моих трех учителей. Беседы эти были вполне откровенны, задушевные, полны самого высокого благоговения перед родной землей, самого возвышенного служения правде и благу людей. Этими беседами, собственно говоря, закончилось мое образование: вскоре после них я покинул квартиру моего отца и стал жить отдельно; потом, когда я устроился, окреп в своей самостоятельности, я женился. Вскоре после моей свадьбы, 4 июля 1882 года, 22 сентября того же года мой почтенный отец скончался на 74-м году жизни.

Мое переселение из родного дома последовало в Учительскую семинарию, где я получил под квартиру одну из классных комнат в восточной половине бельэтажа. Моя

единственная, очень большая и высокая комната имела выход в коридор учеников, была в середине уступа здания, и из моих окон виднелась даль, а под окнами был сад. Я отделал свое новоселье уютно и вплотную засел за приготовление к филологическому экзамену, начав в то же время усиленно работать с семинаристами. Это начало моей новой жизни с сентября 1875 года, после выхода моего из судебной палаты в отставку, было началом счастливейшей, беззаботной и полной труда лучшей поры моей жизни. Мое общение с Николаем Ивановичем Ильминским было ежедневно и более всего руководило мною в области как научных, так и педагогических занятий. Пение семинарского хора поднялось очень значительно в зиму 1875/76, и я составил из своих уроков «Курс хорового церковного пения», осторожно налитографированный мною в самом незначительном числе экземпляров, только для моих учеников. Существующую доныне свою форму этот курс получил позднее, через девять лет моей усердной работы, чисто практически, над каждой главой его теоретической части, особенно не дававшейся мне в классных занятиях с учениками из инородцев. Первая редакция этого курса ныне, конечно, может быть отнесена только к разряду педагогических курьезов, хотя и изложенных вполне добросовестно.²¹⁷

Я потерял в эту зиму моего милого друга и товарища Петра Андреевича Аверьянова, нашего первого скрипача в квартете, человека удивительного музыкального дарования и прелестной доброй души. Кончина его была неожиданностью после операции, вполне благополучной, но кончившейся пиемиею.²¹⁸ На похоронах Аверьянова, в жестокий мороз 8 декабря я встретил в последний раз Константина Павловича Соколова – другой, уже вполне по своей вине погибший от вина крупнейший талант. Эта потеря в связи с хлопотами о сердечно любимой мною милой молодой вдове Аверьянова, Анфисе Николаевне, в обществе которой я встретил ее подругу, мою жену Анну Ильиничну, и в связи с усиленным трудом и экзаменными волнениями привели меня к состоянию, внушившему мне серьезную уверенность в начавшейся у меня чахотке. Грудь моя ныла страшно, а два-три кровохарканья заставили меня

побежать к казанской знаменитости – профессору Николаю Андреевичу Виноградову. Он был великолепный диагност, редкий по талантливости профессор, большой любитель иногда крепко выпить и суще-гореваый скрипач, начавший учиться лет в сорок, да еще после того, как сломал себе левую руку у запястья. Он, благородный, умнейший, изящный, добрый человек, не мог, при всем своем уме, понять меры плохой своей игры на скрипке. Его любовь к серьезной музыке привлекла его к квартетам, в которых он играл только первую скрипку. Все казанские музыканты, как оркестровые, так и любители, особенно же скрипачи, были желанными пациентами этого превосходного врача. Он ни под каким видом не брал с нас денег, но истинно терзал нас натурой, приглашая участвовать в квартете под его игру партии первой скрипки. Н.А. Виноградов внимательно осмотрел меня и велел лечиться очень оригинально: «Никаких книг, особенно же газет, никаких и никому писем; поезжайте куда глаза глядят, но не в шумные и затхлые города вроде Петербурга или Москвы; на юг, в жаркую, знойную температуру ехать воспрещается; лучше всего проехаться между Казанью и Рыбинском на пароходе раз пять; хорошо побывать в Финляндии; срок полнейшего, праздного отдыха и возвращения домой назначаю конец августа или начало сентября, то есть три месяца». В качестве гонорара милейший Николай Андреевич тут же вручил мне скрипку, и мы проиграли два-три дуэта, после которых и расстались.

Про Виноградова, пользовавшегося в Казани огромной репутациею, ходило множество анекдотов. Нельзя было без сердечной горести видеть этого сущего к тому же красавца в пьяном виде... Как образец его проницательности вспоминаю громкий случай его диагноза в одной видной казанской семье, где захворал ребенок внезапно и, по-видимому, безнадежно. Приглашение Виноградова в это семейство застало его в столь пьяном состоянии, что он отказался ехать. Обезумевший от горя отец ребенка приехал к Виноградову и увез его силою к себе, умоляя взглянуть на ребенка. Шатающийся и еле ворочающий языком Виноградов, осмотрев ребенка, удивил всех диагнозом удивительно верным, как оказалось в тот же день: «Ребенок

пьян, пожалуй, больше меня; отправьте кормилицу в больницу для освидетельствования сейчас же, а меня доставьте домой».

Когда я сдал весной 1876 года экзамен в филологическом факультете, я был вынужден провести все лето в путешествиях, во время которых я проехал несколько раз Волгу, впервые побывал в малом Кашине, проехал из Нижнего в Москву, где познакомился с о. Разумовским, с Николаем Рубинштейном, П.И. Чайковским и со всею консерваториею, потом объехал все Балтийское побережье до Ревеля и всю береговую Финляндию до Улеаборга. Это путешествие, оказавшееся как для здоровья, так и для моей учительской деятельности чрезвычайно полезным, было причиною моей подготовки для второго путешествия по России в 1877 году в Москву, Киев, Одессу, Крым и обратно через Харьков и Курск. Третье путешествие, также с подготовкою, я сделал только по Волге от Рыбинска до Царицына и по Каме в 1878 году. Этими путешествиями я вырабатывал для себя курс географии России, который я особенно любил и приготовил для уровня семинаристов в связи с историею окраин очень тщательно.

Уже одно упоминание об о. Димитрии Васильевиче Разумовском, сделанное выше, приводит меня к мысли, что в это уже время я начал задумываться над древними напевами и счел надобным познакомиться со знаменитым автором исследования «Церковное пение в России».²¹⁹ Но я точно не помню, чтобы мои занятия древними русскими напевами касались чего-либо более, кроме синодальных Обиходов. По крайней мере, когда я познакомился с о. Разумовским и сразу догадался, что передо мной стоит отличный археолог и совершенно плохой музыкант, я помню мой спор с почтеннейшим ученым, в котором я стоял за Турчанинова и за переложения Бортнянского и, особенно, Львова. Мы разгорячились оба, и я, как позволивший себе, вероятно, что-либо лишнее, должен был вынести сильнейшую вспышку о. Разумовского, начавшего мне говорить в гневе «ты»: «Если не поешь по крюкам – не об чем с тобой говорить – пошел вон». Я сообразил, что дело выходит совсем неладное, так как я по книге о. Разумовского уже высоко чтил его, да и маститый

старец догадался, что хватил совсем через край. Конечно, мы тут же помирились, но упрек в неумении петь по крюкам запал мне в душу очень глубоко. Мне припоминается, что я в Москве пробыл около четырех-пяти дней, что во второе или третье посещение мною о. Разумовского он сказал мне: «У меня в два часа дня экзамены в консерватории – пойдем вместе, вы кстати посмотрите консерваторию, познакомитесь с Николаем Григорьевичем Рубинштейном и послушаете, как отвечают мои молодцы». Я, конечно, отвечал на такое предложение живейшим согласием, и мы отправились. Не помню точно, как случилось, но только с Николаем Григорьевичем Рубинштейном мое знакомство состоялось оригинально в высшей степени. Я вручил молодому человеку с седым клоком волос (оказавшемуся потом столь известным теперь скрипачом, профессором Варшавской консерватории Барцевичем) свою карточку для передачи Николаю Григорьевичу и вскоре услышал ответ, что Николай Григорьевич сейчас меня примет. Это было на большой площадке бельэтажа в старом здании консерватории, перед дверью в так называемую «круглую комнату». Вскоре я услышал: в этой комнате раздался какой-то неистовый крик, в котором можно было понять, что кто-то вышел из себя и бранит кого-то. Вслед за этим с шумом отворилась дверь, появилась возбужденнейшая фигура Николая Григорьевича, крикнувшая мне как-то злобно: «Сейчас, подождите» – и затем поохавшая из двери учащимся целый поток бранных слов, по которым можно было заключить, конечно, не о том, что в консерватории учились ослы, дураки или идиоты, а о том, как мог вспылить Рубинштейн и до какого каленья могли его довести экзамены так называемой «гармонии для певцов». Так как Николай Григорьевич немедленно пришел в себя, очень внимательно и вежливо расспросил меня, кто я и зачем прибыл в консерваторию, то наше свидание вскоре кончилось приглашением меня на экзамен и приказанием Барцевичу показать мне все здание. При этом осмотре я познакомился с прелестным скрипачом Котеком, игравшим свою экзаменную пьесу. Вскоре по окончании осмотра я встретил на той же площадке о. Разумовского, и затем, по приглашению Н.Г.

Рубинштейна, мы вошли в «круглую комнату». Оказалось тут, что доканчивался экзамен Петра Ильича Чайковского по «гармонии для певцов» и переэкзаменовка моего земляка фортепьяниста Соловцова, ныне продолжающего по музыке только давать уроки, но увлекшегося психологией и шахматной игрой. Земляк был крепко сконфужен, когда, запнувшись на какой-то секвенции, должен был раз пять выслушать от нервно-возбужденного Чайковского: «Ре-бемоль, ре-бемоль...». Забравшись в какую-то ступень потруднее, он не мог сообразить что-то вроде секстаккорда и робко пробовал его то так, то этак. После нового «ребемоль» Николай Григорьевич окончательно вышел из себя. Земляк мой получил с лихвою заслуженные комплименты и, сколько помнится, после энергичного «пошел вон» вылетел из «круглой комнаты». После такого окончания экзамена я познакомился с милейшим Петром Ильичем Чайковским, сейчас же, впрочем, ушедшим, так как он в самом деле был раздражен и утомлен.

Экзамен по истории церковного пения я не могу вспомнить без грустного и досадного смеха. Экзаменовались, сколько помнится, человек пять-шесть. Все они отвечали Бог знает что экзаменовавшему их Николаю Григорьевичу, приговаривавшему ободрительно: «Хорошо, хорошо». «Ну, расскажи, что такое (смотря в программу) де-демественное пение – или нет, нет! (ко мне: «Это не вашей части – казанское знамя?»). Прихвати тут и о малом Знаменском распеве!». Я услышал ответ ученика, просто ни с чем несообразный. «Хорошо, хорошо», – тихо подбадривал Николай Григорьевич и вдруг [обратился] к сидевшему «очи долу» о. Д.В. Разумовскому: «Батюшка, а ведь он недурно рассказывает, должно быть, основательно знает». Признаться, у меня захватило дух при мысли, что любезный Николай Григорьевич может обратиться ко мне как к гостю с каким-либо вопросом вроде сейчас указанного шли предложить мне спросить экзаменующегося самому. Мне живо представилось, как под аккомпанемент «хорошо, хорошо» я должен буду сидеть также «очи долу», но, к полному моему удовольствию, этого не случилось. В этой же комнате пятнадцать лет спустя мне пришлось впервые производить этот

экзамен, но уже в качестве профессора консерватории, получившего кафедру о. Разумовского, так сказать, «по духовному завещанию».

Но я уклонился от Учительской семинарии. Я возвратился из своего большого путешествия здоровым, бодрым, обогатившись массою впечатлений. Учительская семинария начала уже устанавливаться, и близилось уже начало ее цветущего периода деятельности. Николай Иванович был в полной еще силе, опытность и авторитет его были в полном блеске; дружная деятельность преподавателей, постоянное общение с таким светочем, как Николай Иванович, карательный выбор при приеме в семинарию (а для меня и школяров в начальные инородческие школы, где стали принимать только голосистых хотя сколько-нибудь) – все это стало быстро поднимать Учительскую семинарию, и она действительно зацвела в смысле трудолюбия, успешной деятельности и установившейся сама собою отличной дисциплины. Мой хор в это время пел для Казани и для учебного заведения, безусловно, хорошо, и мне удалось в эти годы выучить в семинарии огромную массу (я думаю, 500–600 человек) деревенских регентов, разнесших певческое дело по всему Приуралью и Среднему Поволжью.

Весною 1878 года я попал случайно в казанскую единоверческую церковь Четырех Евангелистов на похороны моего товарища. В этой церкви, как и в другой единоверческой церкви (на Булаке), я бывал и ранее не раз, так как церковь Четырех Евангелистов была по дороге в Учительскую семинарию.²²⁰ Но я как-то был глух к русской красоте древних напевов, и они не производили на меня никакого впечатления, кроме отрицательного. Не так случилось в этот раз, когда я уловил знакомые мне части мелодий и удивился их окончаниям. До этого знакомые по синодальным изданиям мелодии казались мне какою-то отжившею свое время археологическою древностью, нисколько не интересною и имеющею значение не более находимых в курганах черепков... Совпадение, однако, некоторых мелодий с оборотами русских песен, которыми я

всегда страстно заслушивался, удивило меня до самой последней степени.

К этому времени относится случай, когда я встал в совершенный тупик, не сумев гармонизировать самый простой, но прелестный народный напев, «аккомпанемент», или «левую руку», к которому меня просила присочинить Александра Таврионовна Демидова. Как я ни бился с этой задачей, а пришел к полному убеждению, что все мои знания, и теоретические, и практические, решительно не помогают мне и что я стою перед чем-то новым для меня, никогда не приходившим в голову. Меня это и удивило, и очень озадачило. Мне вдруг показалось совершенно ясным, что я, вполне русский человек, искренне православный, притом еще и учившийся в университете, учившийся музыке далеко не без успеха, – я проглядел в своем образовании целую область русского искусства... Я вдруг понял, что русское искусство подлинное, народное для меня даже чуждо, дико, не кажется и родным, а чем-то очень уступающим всяким немцам, жидам, итальянцам... Мне как-то сразу представились дикими и не обещающими ничего оригинального, вроде Глинки, все подражания наших музыкантов чуждым образцам искусства, особенно же в живописи, танцах, в архитектуре, даже и в стихах. Всякие Хлои, Амуры, Купидоны и Аполлоны в стихах и академических картинах опротивели мне сразу; всякие польки, мазурки, кадрили, вальсы, лянсье показались мне нулем перед изяществом нашего казачка, трепака с его задорными коленцами; всякие песенки Liedertafel'ей, романсы и прочее вдруг пали в моих глазах перед красотой внутреннею русской народной песни, знакомой мне, однако, только в нарядах, соответственных пещанам, малорусским платьям, которые тогда носили барышни, а не в здоровом подлинном виде. Помню хорошо, что я внимательно всматривался тогда в впервые увиденные мною свежие русские картины вроде «Бурлаков» [Репина], перечитал внимательно стихотворения Некрасова, рассказы Николая Успенского и, наконец, напал между множества всяких народнических тенденциозных вещей на роман Мельникова-Печерского «В лесах». Этот роман

совершенно взбудоражил меня множеством прелестных страниц совершенно небывалой красоты, полных описанием какой-то своеобразной, изящной и задушевнейшей жизни, прямо русской. Восторгу моему не было границ, когда я однажды, идя из Казани на дачу в деревню Белую (а я любил такие прогулки пешком, в одиночку, верст по двадцать пять-тридцать), случайно зашел в деревне Осиновке к «тетке Надежде Дунавой» (Дунаевой) и получил от нее угощение прелестным квасом. Гостеприимная крестьянка бросилась мне в глаза своим высоким ростом, восхитительно красивым, спокойным и серьезным лицом, особенно же чистотою своего платья (дело было в праздник) и самую удивительную чистотою в простом крестьянском доме, очевидно очень зажиточном, хотя и многосемейном. Надежда Дунава была лет сорока-сорока пяти, властно хозяйничала в своем доме, имела уже внучат, ее «мужик» был сущий красавец, и к «батюшке», оказавшемуся «грамотным по-церковному», семья относилась, как и к «матушке», то есть Надежде Дунаве, как-то совсем особенно, дисциплинированно, тихо, толково. За кваском, на улице, в праздничный жаркий день беседа наша завязалась так оживленно, умно, с таким взаимным удовольствием, что я с трудом вспомнил о надобности идти дальше. «А вот пойдешь мимо, заходи, касатик, кваску попить, гость будешь! Прости Христа ради!» – проводила меня Надежда. Но мне не случилось, да, кажется, попав в Осиновку, я даже был рад, не застав Надежду Дунаву дома; новым посещением, пожалуй, разрушилась бы прелестная иллюзия бывших впечатлений. Излишне говорить, что семья Дунаевых оказалась старообрядческою «по австрийскому согласию».²²¹ Я ли был в ударе, квас ли был хорош, хозяева ли были истовые русские гостеприимные люди, красивая ли, прямо величавая, крепкая крестьянка так поразила меня – хорошенько не помню, но чистота дома, дисциплина семьи, серьезная речь, хотя и очень оживленная и продолжительная, необыкновенно ласковая, гостеприимная, отуманили мою голову неожиданностью и прелестью вновь открытого мною русского мирка. Я невольно сравнил эту красоту с нашими балами, визитами, концертами, нарядами, с нашим пустословием,

лганьем, «тактом», шитым мундиром, глупейшим фраком... Мне захотелось скорее ознакомиться со старообрядчеством как с живым свидетелем русской семейной, общественной и церковной дисциплины, как с сохранившим у себя искусство живое древнерусское, вполне вымершее в городской нашей жизни. Последняя, с ее немецко-полицейскими порядками, с ее чиновною ложью, с ее светскою и напускною пустотою, чванством и глупою спесью, вдруг представилась мне похожею на намазанных барынь, неожиданно попавших под впервые пущенный источник электрического света, которым в качестве сюрприза угостили казанское высшее общество на какой-то публичной лекции. Я отлично помню, что именно 30 августа 1878 года за обедней в соборе я рассуждал и сам себе объяснял всю ложь и обязательность этой лжи в царский день²²², во время обедни и молебна среди всяких лент, мундиров, взаимных приветствий разных чиновников, не слушавших лживой проповеди, глухих к молитве, так как они были более заняты взаимными приветствиями издали друг другу, болтовней с соседями, болтовней с дамами. Особенно поразило меня присутствие в соборе нарядившихся в мундиры католиков и лютеран, стоявший отдельно с пустым полукругом от себя губернатор Скарятин, несколько не молившийся, и презабавная стычка при прикладывании ко кресту между предводителем Петром Гаврилычем Осокиным, приложившимся прежде председателя судебной палаты (кажется). Я был на хорах и сам видел эту высококомическую сцену и возбужденные жесты действующих лиц; помню и рассказ П.Г. Осокина: «Слышу говорящий мне голос: «Па-азвольте, милсдарь!». – «Ваше превосходительство, пожалуйста, вам теперь»; я чмокнул крест и говорю этой «превосходительной морде»: «Извольте-с», а старателю: «Смотрите лучше, дальше-то кто идет''' (это событие было поводом, как мне говорили, для весьма будто бы «серьезных сношений и объяснений» и породило заглавие «кто-то впереди кого-то поцеловал что-то»).

Эти впечатления – как и виденные мною известные всем вору-генералы в летах, казанские интенданты, даже секретарь консистории взяточник Н.В. Разумов, также стоявший в соборе,

– нагнали на меня какую-то хандру. Я не мог толком разобраться в сплетении этой официальной лжи с полной равнодушной службой, с надобностью содержать себя в грубейшем эгоизме (даже и не так, как будто), в самолюбии, чванстве, среди «чиновников» и т.п. Захандрил я также и потому, что уж Александр ли II не повернул многое отбывшего знаменитого до печати прежнего суда, невозможнейшего по тупости солдатского битья и канцелярщины, вконец проворовавшейся при горестном Севастополе? А между тем именно «народа», хоть бы единого богомольца-крестьянина, в соборе, безусловно, не было, а было именно то, что лгало, или обязано было лгать, или не могло не лгать, воровать, обирать и проделывать всю эту преступную гадость, как бы делая по закону, для блага народа. В эти годы ведь лилась кровь к северу от Балканских гор, и я просто исстрадался, читая описания происходящих ужасов.²²³ Интендантов-воров я просто бы повесил всех в один день... Приходила мне несколько раз мысль и о самоубийстве, и об отъезде к Черняеву²²⁴ добровольцем, хотя домашние турки мне казались едва ли не хуже башибузуков. Последние, дикари, по крайней мере резали людей как грубые грабители и вояки, а не пили кровь родную, и не отличали их за это орденами, чинами и даже рукопожатиями, хотя бы и вынужденными. Даже сейчас у меня заходили нервы, когда я вспомнил о бурных моих волнениях. Я начал прятаться от людей, стал перебирать в одиночку и обсуждать все под выбранным мною углом зрения и, по правде сказать, теперь даже удивляюсь, как я уцелел в эти годы, не свихнувшись или не выкинув какое-нибудь коленце.

Роман «В лесах» я прямо изучал в подробностях, так как в них я находил массу совершенно новых для меня материалов и художественных образцов. Или я много труда положил на это изучение прямо списанного с натуры, или мое возбужденное состояние умиротворялось несравненно прелестью своеобразного языка и рассказа Мельникова-Печерского, но помню хорошо мое упоение многими страницами этого романа, необыкновенно живо написанными, считаемыми до сих пор за одни из лучших страниц, изложенных русскою речью.

Про Павла Ивановича Мельникова я слышал следующий забавный рассказ. Он, бывший чиновником особых поручений у нижегородского губернатора графа Кутайсова, был приставлен сопровождать какого-то вельможу из числа приближенных к наследнику Александру Александровичу, путешествовавшему тогда по Волге после своей свадьбы. В этом путешествии был и К.П. Победоносцев, рассказывавший про случай этого забавного недоразумения вельможи. Мельников принялся занимать вельможу и, как красно говоривший, скоро овладел его вниманием. Вельможа, как-то мельком читавший рассказы Мельникова, вообразил, что его занимает отъявленный лгун, увеселяющий его побасенками из книг, выдаваемыми за истинные происшествия. Когда Мельников начал рассказывать что-то знакомое генералу, последний вспомнил, что у рассказа должен быть конец такой-то; когда именно этот конец пришел и Мельников закрепил его личным участием в бывшем происшествии, вельможа не выдержал и сказал: «Рассказываете-то вы красно и занятно, да все это неправда, потому что я все это читал и даже вспомнил у кого: у какого-то Печерского». «Да ведь Печерский – это я!» – возразил Павел Иванович. «Здесь, сударь, не комедия из Ревизора», – сказал вельможа в гневе, – сцены Хлестакова с Юрием Милославским» в повторении невозможны, да и неприличны». Конечно, вскоре, за обедом вельможа говорил Кутайсову: «Хороший краснобай, граф, у вас этот чиновник Мельников, да уж и врет же, прости Господи! Он попался мне в своем лганье как кур в ощип. Я ему говорю: будет врать-то, ведь это все уже читал у Печерского... А он, вообразите дерзость и наглость: да ведь Печерский-то – я сам и есть... А? И давно служит? Ведь вот, очевидно, неглупый, а как такого держать!». **Насилу убедили вельможу!**

Мое постоянное и, может быть, нетерпеливое общение с певцами-единоверцами, мое желание выучиться петь после

стычки с о. Разумовским привели меня через них к знакомству с весьма известными в старообрядчестве членами причта Карповской в Казани моленной «австрийского священства», особенно же с Артемием Прокопиевичем Пичугиным – превосходным певцом по крюкам. Я начал у него учиться после того, как в их кругу угомонились обо мне толки как о каком-то чиновнике, может быть и шпионе, который интересуется пением старообрядцев, и [они,] по-видимому, [пришли к выводу, что «шпион»] ведет себя искренно, стоит доверия и не продаст. После больших усилий, усложнившихся только по моему полнейшему незнанию знаменного распева, крюковая нотация начала как будто проясняться в моих мозгах. Пичугин был, как оказалось, превосходный певец по крюкам, но никогда не учительствовал, а говорили мы с ним на совершенно разных языках. Он сопоставлял мне разные попежки в разных гласах, которых я и не знал, и не мог понять. Все преподаваемое я сейчас же прикидывал по-своему, применяя то гармонические, то контрапунктические к нему правила, то аналогии с Моцартом, Гайдном, Шуманом и Мендельсоном... Я вполне понимал всю нелепость этого пропуска русских мелодий через немецкое горнило, но не находил в своем уме дороги подойти к делу прямо и просто. Когда немного пришли в ясность главнейшие основания знаменной нотации, я вдруг прозрел, читая нотный синодальный Октоих, оказавшийся неожиданным моим и уже очень близким и умным, а не скучным, живым, а не мертвым приятелем. Подошедшая летняя вакация 1879 года, во время которой занятия с Пичугиным временно прекратились, дала мне возможность вызубрить этот Октоих не хуже знакомого когда-то Катехизиса Филарета.

Обосновавшись на, так сказать, переполнении себя звуками знаменных мелодий, на полном и твердом их знании наизусть, по слуху, я сейчас же осмыслил для себя в совершенной ясности все тонкости знаменной нотации. Уроки мои с Пичугиным прекратились по возобновлении не более как месяца через два. «Чего мне тебя учить, – сказал милейший Артемий Прокопиевич, – ты вона какой стал, кабы не твоя трубка (куренье), так и совсем бы к нам в попы – хороший бы поп из

тебя вышел». И действительно, как знания, так и общее развитие теперь позволяли мне смотреть в знаменную книгу совершенно спокойно. В знакомых мне песнопениях, участвуя с опытными певцами, я уже начал интересоваться делаемыми ими подголосками контрапунктического характера, так называемыми «вавилонами», или «завулонами», которые допускаются потихоньку опытнейшими певцами в минуты, когда инстинктивно чувствуется, что *cantus firmus* идет твердо и нанизывать на него можно всякие контрапункты, не ослабляя преобладающей силы главного напева. Но в незнакомых мне песнопениях, например, при пении «на подобен», когда в уме надо было прикидывать разверстку данного напева на любой текст, я еще был очень слаб, так как, собственно говоря, опытности певчего, уставщика в этой области у меня не было совсем. Я ясно понимал слышимые мною ошибки певцов даже в мелочах, но угоняться за ними в беглом чтении с листа, то есть в чисто практическом искусстве, я положительно был не в силах. Я догадался потом, когда мои занятия склонились в сторону истории певческого искусства, что мне, пожалуй, незачем было кончать курс на звание старообрядческого уставщика.

Николай Иванович был в высокой степени, как и мой отец, заинтересован моими занятиями в этой совершенно нетронутой области. Мой же интерес усугубился как неожиданною находкою среди старообрядцев прелестных, степенных людей, отбросивших в сношениях со мною большую часть своей недоверчивости и скрытности, так, особенно, устроенною мне Николаем Ивановичем возможностью заниматься без каких бы ни было ограничений в таком богатом научном кладе, как библиотека соловецких рукописей при Казанской духовной академии.²²⁵ Здесь я нашел для своего любопытства 216 древних рукописей от конца XV до начала XVIII века, знаменных и нотных, одноголосных и хоровых.

Сношения с казанскими старообрядцами «австрийского священства» познакомили меня с некоторыми семьями их, дали мне массу очень интересных наблюдений и открыли возможность сношений и близких знакомств со старообрядцами

Москвы и, особенно, Нижнего. Но об этом после, пока скажу только, что писания Мельникова – художественные и точные фотографии с недавно минувшего, в высокой степени живучего надолго и едва ли не с самого лучшего элемента русского народа, с самой здоровой и симпатичной его части, устоявшей в своей дисциплине, несмотря на всякие воздействия, законные и вполне незаконные. Может быть, в будущем единоверию и старообрядству, живущим гораздо умнее и чувствующим себя вполне русскими, берегущими в себе все родное, придется сослужить России непредвидимую теперь, но важную службу своею здоровою кровью и своим выработанным складом ума и внешних проявлений чувств. Кто знает, на что еще пригодится эта здоровая, умная и обтерпевшаяся в своей стойкости огромная часть русского народа, не мирящаяся ни с нашими наполовину внешними церковными непорядками в службе и в управлении церковном (а о внутренних уже и говорить нечего), ни с нашими наполовину проворовавшимися сверху донизу чиновниками, ни с воздействием на нас жидов, армян, немцев и прочих. Нельзя не сказать, наверное, что время возвращения нашего домой, пожалуй, и не очень уж далеко. Пожалуй, тогда очень пригодятся эти истовые русские умные люди. Сделаю, пожалуй, и забавное сравнение: недавно наши барыни начали носить маленькие возвышения на плечах, устраивая торчком стоящие плечевые швы у рукавов. Совершенно последовательно эти модные украшения увеличивались в фасонах и в объемах, достигли глупого предела и затем разом рухнули, уступив место какой-то новой выдумке. Так точно было с кринолинами, с декольте, с турнюрами – так же точно с умственными движениями народов, с революциями, причем, конечно, вместо считаемых изящными фантазиями парижских модисток действует неумолимый и вполне последовательный исторический закон жизни больших человеческих обществ. Когда кончится век социальноплеменных переворотов в Европе и пора воссоздания и возрождения отдельных славянских племенных единиц, чем может быть Россия между ними, и сама по себе, как не туземным народным царством? Чем могут быть тогда несомненно еще имеющие дожить во всей силе русские

старообрядцы? Кто будет тогда самой здоровою, истинно русскою кровью, как не они?

Мои занятия в Соловецкой библиотеке открыли мне множество горизонтов совершенно новых, вполне неожиданных, о которых мною уже заявлено в печати.²²⁶ В этих занятиях я уверовал, до какой высокой степени был учен и умен Д.В. Разумовский, как он умел разбираться в исторических данных – умел делать широкие обобщения и осмысливать данные, не имеющие, казалось, никакой связи между собою, а порознь, сами по себе, вполне мелкие. Затем, путем этих же занятий я пришел к мысли, что этот великий филолог и чудный работник был не только плохой певец, но и совсем не музыкант. Он проглядел все музыкальное содержание памятников и не коснулся множества материалов самого первостепенного интереса, хотя они несомненно и в изобилии были у него в руках, так как он работал по рукописям Московской епархиальной библиотеки.

Занятия мои рукописями Соловецкой библиотеки начались летом 1882 года, вскоре после моей женитьбы. Мою невесту Анну Ильиничну Альсон Николай Иванович встретил у себя так просто, так ласково, что она и до сих пор помнит, как он неожиданно для нее поцеловал ее. Такую же встречу она нашла и в родной моей семье. Сцену, подобную вышеописанной, проделал с Анной Ильиничной и милый «Крендель»²²⁷ в заседании совета женской гимназии, где она служила классной дамой. Но суть моего рассказа в том, что Анна Ильинична была родом из богобоязненной семьи, в которой крепко придерживались старинки и которая более двадцати пяти лет жила на квартире и была в дружеских отношениях с хозяевами – купцами Фомиными, самыми заядлыми, закоренелыми староверами беспоповщинского толка, Федосеевского согласия.²²⁸ Понятно, что я вскоре познакомился с этими и другими беспоповцами, так как Фоминская моленная была в Казани главная. Знакомство с формою русского церковного пения у беспоповцев, еще более свято соблюдавших даже уродливые для нашего времени формы хомонии (или раздельноречного пения «на он»), осужденные и осмеянные

еще в половине XVII века, было для меня новым и интереснейшим откровением в этой области.²²⁹ Так как мой кредит у старообрядцев был уже достаточно установлен, то немудрено, что и эти последователи старины, всегда сводящие свои разговоры на церковные дела и на внедрение в собеседника уверенности в истинности только их толка и согласия, вскоре посвятили меня во все подробности хомового пения. А так как я слушал толкуемое мне вполне внимательно и уважительно, то немудрено, что и у беспоповцев я стал свой человек, но крайней мере в кругу певцов Фоминской моленной.

В это время (1882–1885) я уже успел проштудировать все соловецкие рукописи и даже напечатать самую трудную часть «Описания» их, то есть 152 страницы снимков самых разнообразных памятников. Снимки эти я делал от руки через прозрачную бумагу с помощью Мирона и Сергея Артемовичей Пичугиных, сыновей моего учителя, отлично певших по крюкам и отлично владевших пером, так как они оба кончили курс в реальном училище, где черчение и копирование процветали. Понятно, что составление «Описания» рукописей привело меня не только к штудированию каждой страницы каждой рукописи, но и к способу сравнительного исследования разновременных и разноместных роспевов на один и тот же текст. В рукописном мире я был уже совсем дома. Случайная, однако, встреча с калачником-старообрядцем Леонтием Васильевичем Елкиным, у которого оказался превосходный экземпляр «Азбуки знаменного пения (Указания о согласнейших пометах) старца Александра Мезенца», совершенно изменила ход моих занятий. Я бросил печатание «Описания соловецких рукописей» и с энергией (даже приятно вспомнить о ней!) принялся штудировать Мезенца, решив его напечатать во что бы ни стало.²³⁰ Я засел за Мезенца так усердно, что даже возбудил забавное подозрение полиции, пришедшей в недоумение, почему это у преподавателя Учительской семинарии ежедневно в пять или полпятого утра уже горит огонь и сам он что-то пишет. Производимое негласное дознание дошло до меня, и я скоро успокоил подозрительную полицию. Над Мезенцем я просидел два года и положил его в стол на полгода «для сушки». Полгода

спустя я переделал его совершенно и получил за него премию митрополита Макария.²³¹ Напечатал я, однако, новую, уже третью редакцию моего любимца Мезенца. «Просушка» моих сочинений, конечно более обширных, была мне приказана моим отцом, взявшим с меня слово, когда я собирался было печатать свой «Курс», что я буду заклеивать наглухо свое сочинение в конверт и потом «сушить» его полгода или год. Этот золотой совет, вроде «утро вечера мудренее», спас меня не один раз от жестоких ошибок.

Понятно, что все указанные занятия по рукописной части охладили меня к распеванию в Учительской семинарии всяких Бортнянских и Турчаниновых. К этому присоединилась жестокая ангина, бывшая у меня несколько лет, которая вместе с надобностью постоянно что-либо показывать на спевках иной раз доводила меня до полной потери голоса. Однажды моя горловая болезнь так осложнилась, что я рискнул съездить на три-четыре дня в Москву с самыми последними пароходами, чтобы выстричь около языка в нёбе какие-то нёбные занавески. Я очень испугался, увидав это осложнение. Петь я совсем не мог. Отличный врач Агапий Федорович Беляев сказал мне, что единственное, да и то едва ли верное, средство хотя сколько-нибудь спасти мое истерзанное горло – прекращение пения безусловно и прекращение или, по крайней мере, сокращение моей преподавательской деятельности. У меня оказался к тому же вполне не подозреваемый мною давний хронический насморк, от которого, как уверил меня доктор Беляев, мой голос должен был пропасть совсем (а я забыл сказать, что обладал довольно звучным и обширным баритоном), почему все мои заботы должны быть направлены на сохранение хотя бы разговорного звучного голоса.²³²

Такие предсказания опытного врача, конечно, были очень невеселы, и потому я очень был порадован вниманием ко мне Ивана Давыдовича Делянова, Саблера и Константина Петровича Победоносцева, вызвавших меня зимой 1886 года в Петербург для участия в комиссии по обсуждению программ пения для городских училищ и духовных учебных заведений. Оба они были в Казани и слушали мой семинарский хор,

произведший на них очень сильное впечатление; вызовом помогла и репутация моего «Курса хорового пения». В эту поездку я впервые после нескольких лет разлуки увидел проездом моего очень постаревшего учителя Леонида Федоровича Львова, поселившегося в Москве. Это было в новый 1886 год. Мое пребывание в Петербурге продолжалось два месяца и было, признаться, довольно скучно и бестолково. Единственный толк, кажется, и вышел только в напечатании моего отдельного мнения о курсе пения для духовных учебных заведений²³³, да в высоком наслаждении, полученном мною в «Исторических концертах» знаменитого Антона Григорьевича Рубинштейна.²³⁴ В эту поездку я получил вполне неожиданное для меня предложение быть директором Синодального хора в Москве. Но место это самым непонятным для меня образом совмещало в себе, кроме управления хором и училищем церковного пения (только что преобразованным), еще и обязанность управлять всеми доходными синодальными имуществами в Москве и ее окрестностях, как то: домами, мельницами, лугами и т.п. Кроме того, по рассмотрению устава училища оказалось, что на самом-то деле директор Синодального хора и училища имеет над собою еще управляющего Синодальным хором и училищем, перед которым директор – сущий нуль, хотя и несет на себе ответственность за все. Понятно, что я, посоветовавшись с Николаем Ивановичем, отказался наотрез от такой прелести.

По возвращении моем в Казань я вновь взялся за рукописи, но, помню хорошо, много раз задумывался о своей дальнейшей судьбе... Петь я решительно не мог, и, во внимание к моему бывшему труду, мой отказ от места учителя пения Николай Иванович отстранил безусловно, ограничив мой труд лишь наблюдением за спевками и службами с передачею занятий сольфеджио моим ученикам, бывшим уже учителями начальных при семинарии школ – Тихону Ефремову и Николаю Александрову. Регентский практический класс я оставил, однако, за собою. В этот же год я напечатал свое «Отдельное мнение по вопросу о преподавании пения в городских училищах» – мой опус второй педагогических исповедей. Я

много думал над этим своим «profession de foi»²³⁵ и не раскаялся в напечатании, сослужившем мне хорошую службу.²³⁶

За два-три года перед тем мой первый дебют был в журнале «Русский начальный учитель» издания Латышева. В этой статье я главным образом критиковал известный учебник Альбрехта, составленный по цифирной системе Шеве для народных школ.²³⁷

Тем не менее я начал все более и более скучать не только на уроках пения, но даже и на столько любимых мною уроках истории и географии. Голова моя ушла вперед, от круга мыслей, меня обуявших, трудно было уделить самое дорогое мне для сообщения будущим учителям... Кривить душой не хотелось, как и говорить многое. Я объяснил это Николаю Ивановичу, исповедуясь ему в своих научных додумках и в моем неумении отделаться от них, поучая юношество. «В таком случае надо бросить учительство совсем, – сказал мне Николай Иванович, – я об этом подумаю, до того же продолжай сколь возможно по-старому». Это было весной 1888 года.

Моя горловая болезнь тяжело отозвалась на моем материальном благосостоянии, так как я вынужден был отказаться последовательно от преподавания в Казанском учительском институте, где я преподавал теорию музыки, методику преподавания хорового пения и игру на смычковых инструментах, а затем и от уроков пения и географии в Юнкерском училище. Последнее мне было особенно жалко, так как в Юнкерском училище мои молодцы пели и учились очень порядочно. От потери этих уроков я потерял более 1.000 рублей, и положение мое, уже женатого и обязанного помогать матери после смерти отца, стало очень стесненным.

Любовь обоих Ильминских ясно выразилась в безграничном желании добра нашей семье сейчас же после смерти моего отца. Коротко сказать, моя мать с сестрами переехали жить к Николаю Ивановичу и Екатерине Степановне и заняли часть большой их квартиры в учительской семинарии. Дело это Николай Иванович, высоко чтивший свою «мамочку», то есть мать мою, устроил так просто, любовно и естественно, что нам и в голову не пришла бы даже возможность какой-либо другой

комбинации. Моя посильная помощь семье, начавшаяся еще с первых моих заработков, должна была значительно увеличиться после смерти отца. Мы потеряли отца как раз во время расстройства моего горла, и положение мое стало вдруг очень затруднительным. Счастливый случай, хотя и через несколько лет терпенья, все-таки выручил меня. Место в Москве, неожиданно предложенное мне вновь, во второй раз, на подходящих относительно условиях, я принял, и таким образом с 6 января 1889 года начался второй период моей жизни – период московский.

Дело это устроилось внезапно. После моей поездки в Петербург, где я познакомился с очень многими, я принял участие в редакционных работах Московской Синодальной типографии по изданию нотных певческих книг. Я взял себе проверку нотного текста Октоиха знаменного распева и составление новой книги Трезвоны (певчие службы на малые праздники). Когда Октоих начали печатанием, Синодальная типография вызвала меня в Москву, и я выехал туда немедленно по окончании учебных занятий в семинарии, около 20 декабря 1888 года. Переписываясь с Д.В. Разумовским и с моими московскими протоиереями, я уже знал о безнадежной болезни маститого Дмитрия Васильевича и не без тайной надежды подумывал о профессуре в консерватории. Приехав в Москву, я навестил болящего старца, но меня не допустили к нему, так как доктора не позволяли никаких посещений больного. Спустя несколько дней, 2 января 1889 года, знаменитый профессор скончался, и я был на его похоронах. Должен сказать, уклоняясь немного в сторону, что между мною и женой моею как-то установился обычай в случае отъезда кого-либо из нас писать друг другу каждый день, хотя бы несколько строк на бланке открытого письма. Таким образом, в Москве, бегая по музеям и библиотекам, работая в типографии, посещая Львовых, Самсоновых, оперу, я отписывал в Казань все мои ежедневные впечатления. Описанием грациозного зрелища крестного хода на Москву-реку было наполнено письмо 6 января 1889 года и отправлено в полвторого дня в ящик. Едва я расположился выпить стакан чая (а жил я в «Большой

Московской гостинице», против Иверской), как вошел ко мне прокурор Синодальной Московской конторы Андрей Николаевич Шишков (он же и управляющий Синодальным хором и училищем) и сказал: «Я совершенно разбранился с директором Синодального хора Добровольским и приказал ему подать в отставку; теперь все неудобства, бывшие при первом моем вам предложении три года назад, устранены, и я приглашаю вас вновь занять это место на таких же условиях. Утешьте меня, старика! Я знаю, что вы отлично знаете это дело, и обещаю вам спокойную, хорошую службу. Скажите мне прямо: «Да!""". Я ответил ему тут же: «На условиях, которые я сейчас от вас слышал, я говорю вам без колебания: да, я согласен». Мы тут же ударили по рукам, и Шишков немедленно ушел, обещая сейчас же написать Победоносцеву.

Не прошло и десяти минут после ухода Шишкова, как в мой номер постучались, и я пригласил войти какого-то совершенно неизвестного мне господина. «Я – профессор и директор Московской консерватории Танеев и имею к вам дело», – сказал пришедший. Я, конечно, объяснил, что, хотя и никогда не видел Сергея Ивановича, но отлично знаю, кто и каков он, почему и сердечно рад видеть у себя такого более чем дорогого гостя. Сергей Иванович объяснил мне, что в предсмертных беседах покойного о. Д.В. Разумовского было высказано им положительное его желание, чтобы после его кончины консерваторская кафедра истории церковного пения в России была передана именно мне, и что он, Танеев, ввиду заседания Художественного совета вечером сегодня, зашел спросить у меня, узнав о моем пребывании в Москве: согласен ли я, несмотря на гонорар за одну только лекцию в неделю 100 рублей в год, быть профессором консерватории и преемником Разумовского? Я пригласил Сергея Ивановича выслушать, что, вероятно, судьба устраивает меня в Москве, так как не более четверти часа назад я ударил по рукам с Шишковым; что я считаю для себя за великую честь быть профессором Московской консерватории и преемником знаменитого профессора как бы по его духовному завещанию, почему без всякого колебания заявляю ему вместе с выражением моего

полного согласия и выражение моей глубокой признательности за оказанное мне доверие. «Так я сегодня доложу Совету и, уверенный в его несомненном сочувствии вам, могу приветствовать в вас моего будущего товарища?» – сказал мне Сергей Иванович, протягивая руку. Я протянул ему свою, и мы скоро расстались. Через десять минут я писал в этот день жене второе письмо, начинавшееся словами: «Милый друг, поздравляю тебя: мы уже москвичи».

Глава VII А. Москва. Консерватория

Мое вступление в кружок музыкальных московских сливок последовало немедленно после избрания меня профессором консерватории. Но это радостное и столь волновавшее меня знакомство немедленно было прекращено жесточайшим припадком ангины, повлекшим за собою еще большее страдание от мучительных операций доктора Беляева. Он прижигал мой нос какими-то мазями вплоть до выхода каналов в рот и производил у меня раз пять-шесть в течение месяца такие невероятные насморки, которые преобразили мой номер в гостинице в какую-то сушильню, где сушилось одновременно по пятнадцать-двадцать платков. По причине истерзанной и оттого опухшей всей носовой полости мне было запрещено сморкаться, чтобы не разорвать сосуды, покрытые новообразовавшейся кожей, и ограничиваться только утиранием носа, ставшего похожим на недовернутый кран... Головные боли были невероятные, бессонница полная, чихания и от них жестокие страдания прямо ужасные. Но кроме этих мучительных операций доктор Беляев раз пять-шесть, вперемежку с носом, выжигал мне каленой платиновой проволокой всю небную занавеску, чтобы обновить вход в горло новыми покровами, не столь раздраженными и непривычными к приливам крови и к восприятиям всякой заразы. Эти операции, кроме болей от припекаемого и обжигаемого тела, столь чувствительного в области зева, были особенно мучительны от распухавшего затем всего зева, не дававшего возможности ни пить, ни пить. Полнейшее молчание и покой были единственно возможными состояниями, когда я, голодный по суткам, коротал время в глубоком уединении за корректурами Октоиха.²³⁸ Я нарочно устроил себе без жены эту сущую пытку при моем одиночестве в Москве. Во второй половине февраля, кончив печатание и окрепнув немного, я выехал домой через Нижний. В жестокий мороз, в два часа ночи мы попали в полынью Волги, промокли и еле спаслись, вылезли через лошадей на лед. Крики о помощи, простуда и мой обморок на льду, во время которого я примерз

мокрой шубой к дороге и был, так сказать, отбит от льда спасавшими нас добрыми людьми, совершенно уничтожили все мое лечение в Москве и заставили озаботиться спасением своей жизни уже не от воды в полынье, а от возможности жестокой простуды. Какие-то два человека, отколотивши лед у валенок и у дохи, подхватили меня под руки и начали со мной бегать, вразумляя мое состояние очень сильными колотушками по шее, по спине, по плечам. Наконец я начал согреваться. Я не помню в жизни более мучительного ужаса, как проведенный мною час у села Юркино, близ Козьмодемьянска. Один раз я беспомощно тонул на Борисковском озере близ Казани (с тех пор я перестал купаться и плавать в открытом месте), но не пережил и одной десятой части моих страданий под Козьмодемьянском.

Между тем в деле о моем переезде в Москву сплелся толстейший узел темных интриг, из-за которых хлопоты А.Н. Шишкова едва-едва не кончились полною неудачею. Началось с того, что к 1 января 1889 года Шишков выхлопотал крест на шею бывшему директору Добровольскому, а 6 января сделал представление об увольнении его же за негодность.²³⁹ Нашлись люди, вступившиеся по счетам с Шишковым за вполне неизвестного им Добровольского, завопившие о надобной последовательности действий, об охране Синода от самодуров, живущих вне Санкт-Петербурга, о надобности дать время Добровольскому (это через три года!), чтобы доказать свою неспособность быть директором (?!), и т.п. Короче сказать, только 22 июля, по депеше Шишкова, я сел на пароход в Казани, чтобы ехать в Москву, но уже прямо на Никитскую улицу в дом Синодального училища, что стена об стену с консерваторией.

Московская консерватория была в 1889 году еще в старом Воронцовском доме, ныне перестроенном чуть не впятеро больше прежнего. Во время перестройки, в течение четырех зим, консерватория помещалась в доме князя Голицына, что против храма Спасителя.²⁴⁰

Я прочитал в консерватории с 1889/1890 по 1900/1901 одиннадцать курсов истории русского церковного пения при

директоре Василии Ильиче Сафонове, выбранном в директоры почти одновременно со мною. Число слушателей, поступавших в мою аудиторию только из специалистов-теоретиков, было всегда очень малочисленно, между шестью и десятью. В один год случилось их трое или двое, почему я отказался читать лекции и уговорился с В.И. Сафоновым, что мой гонорар перечисляется в пользу недостаточных учеников консерватории. Мои заботы об упорядочении Синодального училища, которое я застал в невозможном запущенном беспорядке (однако же намного лучше, чем найденное мною сущее падение Придворной капеллы в 1901 году), задержали начало моих лекций до половины октября, когда я прочитал в актовом зале консерватории мою вступительную лекцию, посвященную памяти Д.В. Разумовского и затем, кроме плана курса, предъявлению руководящих идей в курсе и возможности практического их применения в области русского будущего музыкального творчества.²⁴¹ После этой лекции очень долго говорил с Петром Ильичем Чайковским. Лекцию свою я отправлял на прочтение Н.И. Ильминскому в Казань, так как писали уже мне, что старец, лишившийся в семинарии меня и Александра Павловича Сердобольского, очень скучает, а под впечатлениями петербургских интриг даже и хандрит.

Нетрудно представить силу впечатлений на меня от московской музыки, и в частности от консерватории. В Казани я уже не играл почти десять лет, так как нельзя же считать отдельные случаи за постоянное музицирование, и очень отстал от музыки, за рукописями же, пожалуй, и одичал немного, углубляясь в русские мелодии и мои мечтания о разработке их в русском смысле, а не в немецком. Квартеты консерватории мне показались, однако, совершенно неудовлетворительными (Гржимали, Крейн, Соколовский и фон Глен²⁴²), нестройными и как бы грубыми и бездарными, или, лучше сказать, малоталантливыми, холодными. Зато симфонические собрания и особенно ученические (по средам) вечера дали мне массу новых впечатлений. Я застал конец деятельности Эрдмансдёрффера²⁴³, затем прослушал так называемый сборный сезон (десять собраний под управлением разных десяти

дирижеров) и, наконец, присутствовал при выучке В.И. Сафонова, начавшего дилетантом и развившегося в очень хорошего дирижера. На первом симфоническом под управлением Эрдмансдёрфера (январь 1889 года) бетховенская «Heroica»²⁴⁴ так потрясла меня, что я сейчас же ушел домой и, кажется, не спал всю ночь, перебирая впервые понятые мной ее оркестровые краски. Ничего подобного не было в нашей милой и далекой Казани.

Я не могу себе объяснить в точности, что именно со мною делается в подобных случаях. Один из них, когда я впервые услышал Александру Валерьяновну Панаеву, частью описан выше. Я помню, например, что я точно так же ушел из симфонического собрания, прослушав впервые Шестую симфонию только что скончавшегося П.И. Чайковского, так же ушел из концерта, прослушав бесподобное исполнение известным баритоном Мельниковым романса Глинки «Я помню чудное мгновенье», так же ушел от рафаэлевой Сикстинской Мадонны, так же ушел с Рейнского водопада... На меня находит какое-то восторженное состояние, которое мне вдруг кажется вполне драгоценным и желательным к немедленному прекращению, чтобы сохранить память об этих светлых минутах, столь редких в жизни; я переживаю в эти минуты какие-то особенные, вполне ясные и как-то особенно полные впечатления, какие-то особенно возвышенные наслаждения, которые, однако, зачем-то я сам немедленно пресекаю в их продолжении. Это не есть желание сохранить навсегда обаяние и силу первого впечатления, так как мне случалось видеть и слышать еще раз приводившее меня в этот восторг. Я не могу себе объяснить именно моей торопливости в прекращении пользования чем-либо, приведшим меня в восхищение.

В последующих собраниях я услышал массу новых для меня вещей, заинтересовавших меня в высшей степени, хотя уже и начавших меня коробить некоторою неряшливостью исполнения в сравнении с тем, что я слышал у Эрдмансдёрфера и особенно у француза Колонна.²⁴⁵ Первые шаги В.И. Сафонова за дирижерским пультом были так слабы, что я совершенно прекратил посещение симфонических

собраний, бывая из десяти на двух-трех, и то главным образом, чтобы прослушать какую-нибудь незнакомую или не слышанную мною в оркестровом исполнении симфонию или какого-либо интересовавшего меня артиста. Такое отношение к интересным все-таки для меня, как провинциала, симфоническим собраниям я объясняю еще и чрезмерным утомлением от работ в Синодальном училище.

Курс моих лекций в консерватории я прежде всего обусловил не одной, а двумя лекциями в неделю и составом слушателей только взрослых, только специалистов-теоретиков. Помню, что основная идея моего курса состояла вовсе не в увлечении крюками, а в очерке развития русской культуры и русского церковно-певческого искусства; в часть курса чисто практическую входило подробнейшее ознакомление моих слушателей с несколькими песнопениями знаменного роспева, ознакомление с грамматикой знамен и иллюстрациями образцов всяких шрифтов и особенностей русского письма при помощи составленной мною коллекции фотографических снимков. Хотя у меня и был составлен подробный конспект моих лекций на весь год (потом у меня пропавший), я все-таки читал всегда в форме свободных бесед, без всяких тетрадок или кратких выписок, предпочитая свободную речь и нестеснение себя ничем. Курсы мои, конечно очень слабые в первые годы, потом выработались в довольно стройные, оживленные изложения, и я с сущим удовольствием вспоминаю множество приятных часов, когда мне удавалось держать моих слушателей в полном внимании. Любимыми моими отделами были XVII и XIX столетия, которые мной излагались во всей возможной для учеников консерватории подробности. Состав моих слушателей я мог бы охарактеризовать так. У меня были такие, которые были мне очень неприятны и иногда приводили меня в глубокое негодование своим самомнением; это были считавшие себя большими талантами из мало учившихся юношей, получивших образование из жалких и вполне запущенных научных классов в самой консерватории. Другие мои слушатели, большею частью студенты университетов или уже кончившие в них курсы, напротив того, очень бодрили мою

ретивость самым очевидным и неослабным интересом к моим чтениям. Один из них простер свою ревность до того, что, прослушав чрезвычайно внимательно мой курс, добровольно остался на второй год. Этот мой ученик, Болеслав Леопольдович Яворский, оказался весьма серьезным и читающим человеком, увлекавшимся в эти годы (1899–1901) изучением народных славянских обрядов, народных песен, плясок, поверий и т.п.²⁴⁶ Им в Святки 1900–1901 были устроены поездки замаскированных учеников консерватории, хор которых пел прелестные колядки и святочные песни с танцами. Ездил их человек пятнадцать, между другими они посетили меня.

Высшею наградой за мои чтения в консерватории я был почтен тем, что ученики всех моих курсов, с первого по одиннадцатый, узнав, что я покидаю консерваторию, сговорились между собою и, собрав всех бывших тогда в Москве, снялись со мною в числе 27-ми в фотографии. Замечательно, что в числе моих слушателей за все время была только одна барышня (Н.Я. Брюсова – сестра известного поэта-декадента), бывшая отличной слушательницей. Кроме нее не нашлось [барышень] не только прослушавших курс, но даже поинтересовавшихся моим предметом хотя бы на одной лекции (за исключением Елизаветы Каншеровой, посетившей пять-шесть лекций 1891 года). По переезде моем в Санкт-Петербург преемником моим был выбран священник о. Василий Михайлович Металлов.

Из профессоров консерватории я сошелся более всего с известнейшим теоретиком и очаровательнейшим пианистом Сергеем Ивановичем Танеевым. Чистота душевная, правдивость и прямота этого умного и высокообразованного вообще, превосходнейшего музыканта меня прельстила с первого же моего с ним знакомства в январе 1889 года, когда он еще был директором консерватории. Его доброта и безукоризненная честность, кроме его музыкальных достоинств, создали ему высокий авторитет в среде профессоров и учеников консерватории. Особенно сблизился я с ним в последние лет пять-шесть, когда стал понемногу показывать свои коготки и свое властолюбивое самодурство В.И. Сафонов,

проведенный в директора тем же Танеевым вместо себя. Меня всегда удивляла разносторонность деятельности С.И. Танеева и ненасытная мера его любознательности. Целый ряд «заявлений» Художественному совету, сделанных Сергеем Ивановичем печатно «на правах рукописи», был направлен на возвращение Совету функций его деятельности, утраченных как косностью профессоров, так и возросшею ловкостью, и силою Сафонова, весьма ловко устроившегося вместе и председателем местной дирекции Музыкального общества. Дело о протестующем движении Танеева, в котором я принял живейшее участие, сочувствуя Сергею Ивановичу, началось, собственно говоря, на принципиальной почве лишь под предлогом возмутительнейшего обращения Сафонова с учениками, ставшими довольно безгласными, и с преподавателями, ряды которых Сафонов пополнял всякими бездарностями, сделавшимися, как обязанные Сафонову, не только безгласными при неправдах, но и защитниками его принципа.

Сафонов, сначала подражавший Николаю Рубинштейну, страстно любившему учеников и не имевшему обыкновения сдерживать себя в минуты гнева даже с ученицами, все-таки несколько не походил на знаменитого первого директора, доброго, отходчивого. Постоянная руготня Сафонова приобрела характер не уничтожающего, устрашающего негодования Рубинштейна, которого любили и высоко почитали, огорчаясь приведшим его в гнев и зная скорое возвращение его в обычное благодушие и забвение прошлого, даже и извинение, если Рубинштейн забылся в гнев, – руготня Сафонова приобрела характер грубый, отталкивающий, вполне оскорбительный как вытекшая не из негодования на других, а из злости на самого себя, за свои же с другими неудачи. Оправдалась пословица: «Quod licet Iovi, non licet bovi».²⁴⁷ Репетиция оперного консерваторского спектакля «Фераморс» описана случайно графом Л.Н. Толстым в первой главе его трактата «Что такое искусство».²⁴⁸ Ученик, певший «Я невесту сопровождаю», был наш певчий Синодального хора Веков, учившийся в консерватории. На этой же репетиции, бывшей при полной

публикою зале Большого театра, Сафонов позволил себе сказать хору учениц следующий своего рода каламбур: уставшие ученицы рискнули попросить Сафонова транспонировать трудный и высокий ля мажорный хор полутонем ниже и услышали: «Хорошо, послушаем вас, дур» (то есть «в As dur»). Обиднее всего было то, что нашлись между ученицами такие, которым каламбур показался забавным, и из давно обезличенных барышень не нашлось ни одной возмущившейся грубостью публичного оскорбления, хотя две-три заплакали. Тот же Сафонов получал массу сдач от артистов во время репетиций симфонических собраний за свою несдержанность, но вполне толстокожая фигура обидчивого Сафонова не воспринимала этих гласных по его адресу протестов.

Интереснее всего, что, копируя во многом Николая Рубинштейна, тот же Сафонов всячески выкуривал из консерватории самую память как о знаменитом основателе консерватории, так и о его не менее знаменитом брате Антоне. Первого он ревновал к себе открыто в такой степени, что даже на консерваторском обеде в память Николая Рубинштейна (около 12 марта) высказался, будто он, Сафонов, постоянно и зачем-то получает бестактные напоминания о почему-то незабвенном, золотом веке юности консерватории при Н.Г. Рубинштейне, несмотря на только что начавшееся именно теперь ее процветание... О втором, то есть Антоне Григорьевиче, я сам слышал из уст Сафонова: «Что от него осталось? Дрянные сочинения, воспоминания об игре весьма часто неудачной, ибо он сегодня играет как Бог, завтра как грубая свинья, наконец – ни одного путного ученика...». Мне говорили, что большого труда стоило уговорить Сафонова будто бы дать согласие на помещение медальона Н.Г. Рубинштейна над эстрадой в новом зале консерватории, выстроенном при Сафонове.

Столкновения Сафонова с преподавателем Георгием Эдуардовичем Конюсом перевели дело на личную почву, которую хватило у меня духа предать гласности. В моем Дневнике № 2 вся эта история, чрезвычайно печальная и

оскорбительная, наложена во всей подробности.²⁴⁹ Дело это я рассматриваю и сейчас, несмотря на полнейший его проигрыш благодаря связям Сафонова²⁵⁰ и невозможность свыше поддержать протест подчиненных, как большой шаг вперед. Мой гласный протест, как мне говорили, был первым случаем подобного рода и имел особую окраску в том, что его напечатали «Московские ведомости». Вслед за мной, день в день, появилась страстная полемика, испортившая, вероятно, Сафонову очень много крови.²⁵¹ Судебный процесс о клевете, начатый Конюсом, жестоко разочаровал меня в достоинстве нынешнего суда в сравнении с судом моей молодости, когда не смотрели на лица. В канцелярии прокурора Московской судебной палаты г. Постникова хранятся для потомства, вероятно, документы высокого интереса, отредактированные влияниями всяких Герке, Плесске, Кюи, Направников и прочих, не имевших возможности допустить торжества правды. В моих бумагах, если придет кому-либо охота копаться в них, найдется копия со всех протоколов следствия по делу об обвинении в клевете Конюсом десяти членов Художественного совета. Документ этот пока полон страстного отношения к делу, но его суть высокопоучительна из страниц бедственного для России торжества пронырств всякой бюрократии. Нигде в моей жизни я не встречал большего торжества искусства затереть концы правды и уметь обморочить кого надо под предлогом ненадобности разобраться в подробностях, в которых и была вся суть дела.

Я разошелся с Сафоновым в первые же месяцы второго года службы в консерватории. Мы уговорились выучить Реквием Моцарта и исполнить *viribus unitis*²⁵² это дивное произведение в симфоническом собрании. Я проштудировал этот Реквием так хорошо с Синодальным хором, как, по совести, и сам не думал услышать эту любимейшую мою вещь, которую я знаю до последней ноты вполне твердо. 6 декабря 1890 года, то есть тогда, когда еще допускалось хоть какое-либо памятование о былых именинах Николая Григорьевича Рубинштейна, этот Реквием потихоньку от меня (ибо за две-три недели до того я демонстрировал Сафонову и профессорам консерватории наше

исполнение) был дан консерваторскими только силами в невообразимо скверном исполнении, показавшемся мне каким-то надругательством над Моцартом. Последовавшее, согласно данному слову, исполнение [Синодальным хором] в симфоническом собрании кончилось неплатежом денег (250 рублей вместо 500) и каким-то особо кичливым заявлением Сафонова, что я ему должен быть благодарен за доставление Синодальному хору случая выступить публично и под его, Сафонова, фирмой...²⁵³

Вскоре последовало второе мое столкновение с Сафоновым из-за преподавателя Синодального училища Дмитрия Григорьевича Григорьева. Квартетные собрания консерватории обосновались в зале Синодального училища, только что выстроенном, свеженьком, новеньком и, хотя небольшом, но очень изящном. Поводом к стычке было два обстоятельства: невозможность для Григорьева участвовать в симфонических собраниях, так как время их репетиций совпадало с уроками Григорьева в Синодальном училище, и начавшиеся в классе Танеева занятия регента Орлова в консерватории. Сафонов, не разобрав дела, вздумал накричать на меня приблизительно так: «Если вы будете мне мешать пользоваться услугами Григорьева, которым я дорожу, то, кроме того, что я все-таки сделаю по-своему, я выгоню Орлова вон из консерватории». Я помню, что я был страшно взбешен и оскорблен этою дерзостью, тем более что на мое желание объяснить Сафонову, в чем дело и в чем его ошибка, я вновь услышал: «Мне не об чем с вами говорить». Последовавшее затем мое приглашение Сафонову в мой кабинет было так внушительно, что Сафонов не решился не принять этого приглашения и должен был тут же выслушать от меня надлежащее поучение. Случайно вошедшему Танееву я объяснил, к полной досаде Сафонова, угрозу выгнать Орлова из консерватории, и бедный Сафонов получил прибавку еще и от Сергея Ивановича. После этого случая я вполне расстался с В.И. Сафоновым и начал сближаться с Танеевым. Несколько раз после того мне приходилось выслушивать сожаления, что меня не согревают лучи восшедшего нового светила и что я

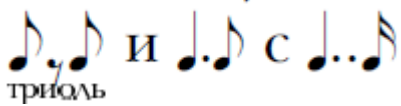
поступаю нетактично, избегая бывать в свите Сафонова, который легко бы заметил мое возвращение на путь истинный, – но я остался при своей независимости, вел себя вполне сдержанно, как бы предчувствуя, что без баталий в будущем обойтись не может. Так прошло лет семь-восемь, до тех пор, пока не разыгралась история Конюса, в которой я убежденно встал на его сторону и принимал самое деятельное участие, гласное, так как мой протест был № 1, и настолько спокойное и корректное, что Сафонов не решился мне сказать ни одного слова до самого моего выхода из консерватории, последовавшего через два года. Должно быть, иной раз и вполне бессильные, но правые маленькие люди делаются неприкосновенными от ловких силачей именно влиянием независимой и открытой правды. Уцелел и милый Сергей Иванович, наговоривший в «Московских ведомостях» самые поразительные разоблачения, какие сделать я никогда бы не решился. И его защитило общее признание за ним репутации вполне честного человека, впавшего грудью за правду.

Все эти истории произошли, конечно, только потому, что Сафонов – далеко не заурядный человек, от которого мы были обязаны требовать вполне и во всем самой безукоризненной деятельности. Не будь Сафонов талантливый, умный и ловким человеком, не приноси он множества пользы консерватории и сумей он различать людей действительно бывших вполне готовыми энергично помогать ему от людей, плясавших лишь на задних ланках, – ничего подобного жестоким междоусобиям в консерватории не было бы, и тот же Сафонов скорее, легче и основательнее достиг бы несравненно большего. Но непомерное властолюбие, жажда большой славы, заносчивость Сафонова соединились в нем с казацкой грубостью и самодурством, смотревшими на все только под углом отношений к его гордому и неразборчивому в средствах, самоуверенному «я». При всей своей талантливости, самой изумительной энергии в работе, здоровый казак, богатый человек, талантливый, образованный музыкант, Сафонов скоро отравился мишурой всяких аплодисментов, хвалебных рецензий, смешался в умении различать свое дело от будто бы

своей усадьбы «Консерватории» и умных и правдивых людей от суще-жалких, пошлых льстецов; скоро консерватория начала лишаться всего талантливое, начала внутренне падать с самой полной очевидностью, и хотя Сафонов стал лучезарнее на своем посту, заведенная им гниль все-таки начала проявлять себя уже с сущею холопскою наглостью. Сафонов, как это и случается, так занесся, что забыл о ненадежности своих новых друзей, которых он сам нисколько не почитал и которые стояли у него не более как на положении высокомерных лакеев, негодных самих по себе, вредных как консерватории, так и самому Сафонову. Невозможность делать все самому и малоспособность всего окружающего, скоро привившиеся к этому персоналу невозможные чванство и лень, малознание, пошлость заставили Сафонова, однако, схватиться за ум – именно благодаря истории с Конюсом, раскрывшей все заведенные порядки с самою безжалостной и правдивой ясностью. Неудача Сафонова в попытке продолжения своей политики в новом, выстроенном им доме настолько вразумила его, что он благоразумно умерил свои поездки для дирижирования за границу и в Петербурге, засев за домашнюю работу над вычисткой своей же авгиевой конюшни. Вот уже почти три года работает он с прежнею энергиею над выпалыванием своих же, насаженных своею рукою терний, но трудно ему, бедняге, работать! За это самовразумление, как и за талантливость, работоспособность Сафонова, я охотно помирился с ним в душе моей, но мы все-таки не видимся.

Положение мое в консерватории определилось очень скоро после моего знакомства с составом преподавателей и моей аудиторией. Привыкнув в Казани к профессорскому кружку и к музыкантам-любителям, поголовно кончившим курс либо в университетах, либо в академиях, я скоро разочаровался односторонностью консерваторских деятелей, с которыми ни о чем нельзя было говорить вне событий дня, вне событий музыкальной жизни Москвы, так как умственные горизонты огромного большинства новых моих товарищей были очень скудны. Двукратные в неделю мои встречи с ними скоро обнаружили, что интересом их бесед были либо вчерашний картеж и суммы выигрыша или проигрыша, поздний час возвращения после ужина с возлияниями, либо удача или неудача какого-либо концерта, либо перенос нового анекдота, либо воспоминания, более всего комические, о разных приключениях, о своей ученической жизни в консерватории и о воздействиях в случаях надобности пылкого Николая Григорьевича Рубинштейна, разные анекдоты об известном Л.И. Дюбюке... Наука, свет прогресса, увлечения какими-либо учениями разных школ даже в области музыкального искусства были вполне чужды этим людям, ограничившимся в своем образовании консерваторскими научными классами (бывшими и при Н.Г. Рубинштейне и много лет после него в непозволительно жалком состоянии), чтением уличных газет и менее серьезных журналов. В консерватории не выписывались даже лучшие заграничные издания, посвященные музыке... Понятно, что такой умственный сон отражался в глубоко разочаровавшем меня ходе консерваторского обучения и, более того, в самомненном поведении не только моих новых товарищей, но и старших учеников. По этой причине я не успел сойтись ни с кем из моих консерваторских товарищей, кроме С.И. Танеева. Несколько более развитые артисты из иностранцев, например, Пабст, Гржимали, Веттинг, были мне, вне их музыкального исполнения, как-то чужды. Пальцеломная рутина, допускаемая мною в пределах надобного, совершенно поглощала весь труд ученика, все его время и выпускала, в свою очередь, юношу, гордого не более как возможностью для него играть с апломбом

и без запинки трудные вещи. Уже первый год моих лекций и бесед с моими слушателями разделил консерваторию в моих глазах на две половины: вполне ремесленную и высокохудожественную. Полагаю, что к первой можно без преувеличений отнести весьма наибольшую часть учивших и учившихся, ко второй же – самую наименьшую. Несомненно, и в первой половине было очень много милых людей, но и я им, и они мне были чужды, искусственные же сближения не могли быть крепкими. Меня особенно коробила слабость в Московской консерватории даже общего для всех курса музыкальной теории и поголовная вполне жалкая музыкальная малоначитанность учеников, даже и моих старших слушателей, что при фанаберии и самоуверенности более глупых из них было даже и досадно. Верх безобразия в консерватории были ученики классов пения. Впервые в жизни я убедился, что пословица «глуп как тенор» вполне справедлива. Моя деятельность в экзаменную пору как-то сложилась в форму постоянного ассистентства на испытаниях певцов и певиц по части истории музыки, эстетики, сольфеджио, элементарной теории и своеобразной «гармонии для певцов». Эти экзамены были каким-то хроническим оскорблением науки и каким-то непонятным для меня третинованием знаний, столь необходимых для всякого не только певца, но просто интересующегося музыкою. Мне были противны не только учащиеся, из которых теноры, владевшие высокими нотами, и знать-то ничего не хотели, но и сами учившие этих теноров, глядевшие на такое отношение к делу сквозь пальцы. Как-то вспомнилась при этом фраза А.А. Эрарскому известного баритона Павла Акинфиевича Хохлова (да еще университетского, но, как оказалось, не понимавшего



разницы между трио), возгласившего: «Очень мне это надо! Я прохожу [номер] с аккомпаниатором, влеплю высокую ноту, мне хлопают, подносят венки, да еще и деньги платят». Не бывшие еще на сцене консерваторские певцы и певицы совершенно усвоили себе заблаговременно именно такое отношение к делу. Профессора пения в консерватории были не более как репетиторами номеров репертуара своих

учеников и вырабатывали у них именно искусство «влепить ноту, сорвать аплодисменты, пожалуй, и забрать вперед деньги», чего даже и «душка Хохлов» не делал.

Научные общеобразовательные классы подтянулись, как кажется, немного только в самые последние годы, до того времени это было что-то совсем непонятное, что-то дикое, так как не могли же не подумать хоть когда-либо заправили консерватории о невозможности выпускать артистов-невежд, и притом грубых, глубоких невежд, хотя и выделяющих на инструментах все надобное. Полагаю, что Н.Г. Рубинштейн, сам бывший московским студентом, не мог заняться этой частью в консерватории внимательно, ибо был более всего занят симфоническими собраниями и музыкальной деятельностью учеников; но едва ли тот же Рубинштейн игнорировал общее образование учеников, хотя мне и говорили, что он глядел на его прозябание сквозь пальцы. Между тем, какой это был жестокий промах в воспитании господ артистов! Немудрено представить, как трудно было С.И. Танееву, по его словам, приняться за эту часть после бурно-междоусобного времени по смерти Н.Г. Рубинштейна. Первые преподаватели консерватории, набранные из своих же питомцев первых выпусков, стали угнетать общеобразовательные классы еще больше, требуя пальцеломных трудов, чтобы отличиться своими преподавательскими успехами, наглядно доказывая, что и при глубоком невежестве и самомнении все же можно не только «выйти в люди», но даже и «пожинать лавры». Грустно и вспомнить, что такое были экзамены по истории музыки, по эстетике, на которых случалось слышать, что Гвидо д'Ареццо жил до Рождества Христова, что Греция была в Азии, что Бетховен жил в XIV столетии и т.п. Несомненно, что Сафонов, как образованный человек, понимал значение какого-либо артиста или «тенора», утверждавшего, что Петр Великий жил до Ивана Грозного, что «Медный всадник» Пушкина – средневековая германская легенда, Пергамские древности относятся к римскому искусству, что даже Глинка жил в XVIII столетии... Зло это слишком укрепилось в консерватории, несмотря на привлечение Сафоновым хороших

преподавательских сил, и, вероятно, долго еще будет вопиющим злом, пока консерватория не поймет свои общественные цели и не отбросит горделивое стремление быть только фабрикой наивысших артистов, хотя бы и невежд, никому не надобных в количестве, ею заготавливаемом, – пока не поймут и преподаватели и ученики возможности и надобности быть музыкантами и восторженно любить свое искусство, а не ненавидеть его или смотреть на него ремесленно, достигать результатов, достаточных для профессии, трудами и временем меньшим сравнительно с ныне установленным. Никакой нет надобности так сильно лезть вперед и предъявлять непомерные требования людям, не желающим и не могущим быть артистами, и большой процент выпускаемых виртуозов, больных нервами, полных невежд, вовсе не свидетельствует о высокой успешности и даже процветании консерватории, как не свидетельствуют даже и случаи, когда отличные ученики-пианисты Московской консерватории брали призы на международных конкурсах Антона Рубинштейна. Артистические классы должны быть только для немногих избранных, как докторские степени в университетах, так как «артиста» нельзя смешивать с пианистом или скрипачом, играющим великолепно двадцать пьес пальцами и нервами, менее того головою и еще менее сердцем. Между тем именно и только это и достигается огромным большинством учащихся в Московской консерватории из тех страдальцев-неврастеников, которым хватило сил и здоровья хоть как-либо удовлетворить непомерным требованиям от самых заурядных людей. Преимущественно все сказанное относится до фортепьянистов, затем скрипачей, виолончелистов. Певцы и певицы как-то отвоевали себе возможность почти ничему не учиться даже и у Сафонова.

Вот, вместе с грубым самоуправством Сафонова, причины, по которым я отшатнулся от Московской консерватории, особенно же после дела об увольнении Г.Э. Конюса, когда это дело, подлейшее из подлейших дел в области искусства, было проиграно благодаря ловкости и связям Сафонова. Я пришел в консерваторию с полным желанием добра и посильного моего служения русскому искусству и людям, высоко ценившим

прогресс искусства. Не найдя в консерватории ничего подобного, встретив многое совершенно не согласное моим взглядам, я начал уединяться с некоторыми моими слушателями из университетов, потом начал борьбу в обществе с Сергеем Ивановичем Танеевым, Иваном Алексеевичем Булдиным и Сергеем Михайловичем Ремезовым, но проиграл ее... Мой уход из консерватории совпал с моим переездом в Петербург.

Может быть, мое нервное возбуждение или случайное совпадение привело меня одновременно и к неладам моим в Синодальном училище с князем Ширинским-Шихматовым – точно решить не умею, но, во всяком случае, вполне случайному моему перемещению в Придворную капеллу предшествовали вполне твердые и задолго обдуманые решения покинуть вместе с Москвою обе мои там службы в двух соседних заведениях на Большой Никитской улице. Дальнейшее пребывание в консерватории стало мне противно по неладам с Сафоновым.

Глава VII Б. Москва. Синодальный хор и училище церковного пения

Судьба снабдила меня тремя начальниками, имеющими одинаковые начальные буквы в своих именах и фамилиях, то есть А. и Ш. Таковы: Андрей Николаевич Шишков, затем – князь Алексей Александрович Ширинский-Шихматов и, наконец, граф Александр Дмитриевич Шереметев.

С первыми двоими я служил в Москве, с последним – в Петербурге. Из последующего, думаю, будет видно, что это за люди, каково было служить с ними и успевать делать свое дело, даже спасая его от непонимающих дела самодурных и самомненных начальников. Охотно признаю себя заранее виноватым в том, что я, невзирая на служебную дисциплину, вел дело совершенно самостоятельно (конечно, в пределах возможного) и давал моему начальству самые безжалостные сдачи на их выходки, стоя горой за дело и оберегая его от глупо-озорных воздействий.

Оправдательными документами ко всему последующему, до самого конца моих воспоминаний, будут служить четыре тома моих записок²⁵⁴, веденных иногда изо дня в день, иногда же под впечатлениями только что случившегося, записанного для памяти и точности относительно времени и мелких подробностей всякого рода. Понятно, что эти записки мною велись с возможным беспристрастием, так как иначе в них не было бы никакой достоверности и никакой ни для кого ценности. Я вел их нарочно в некоторых случаях с достаточной подробностью, так как понимал и состояние дела, попавшего в мои руки, и всего моего труда, моей доходившей до самозабвения работы. Работа моя от этого ее энергичного качества, может быть, и от сильного знания дела и моей достаточной опытности, приобретенной в школе Н.И. Ильминского, всегда спорилась как-то особенно легко и удачно. Но каждый раз, сколько их ни припоминаю, успех моего труда, даже не в главном, всегда кончался преткновениями с начальством, путавшимся не в свое дело и всячески ставившим

на вид свою обиду в том, что успехи достигаются не им одним. Особенно был несносен в этом отношении князь Ширинский-Шихматов, которого для краткости буду означать Ш². Никто во всю мою жизнь, даже «сумасшедший старик», по словам К.П. Победоносцева, то есть А.Н. Шишков, не испортил мне столько крови, не унес столько здоровья, как вполне жалкий Ш². Этот человек оскорбил меня до глубины души, отнял у меня любимое дело и едва-едва не погубил меня совсем. Все мои уступки этому мелочному и бессердечному человеку не повели ни к чему, и я с болью в сердце должен был бросить свое малое Синодальное училище и Синодальный хор совершенно оплеванным. К счастью, нашлись добрые люди, вступившиеся за меня, и правда взяла свое сполна.

Судьбе угодно было, чтобы в мое заведование попали два вполне сходные учреждения, разнящиеся между собою лишь в незначительных мелочах по своим задачам, но имеющие огромную разность между собою в их положениях и в денежных средствах. Синодальный хор и училище при нем были вполне сходны в 1889 году с тем, что я застал в Капелле в 1901 году, с тою только разницею, что насколько же я был удручен, даже до состояния растерянности, от состояния Синодального училища, то настолько же я был вполне возмущен и взбешен неимоверно подлым, невероятно скверным и вполне, наиполнейше распущенным состоянием Придворной капеллы. Подробности, впрочем, полагаю, будут очевидны из следующих описаний, в которых я буду сколь возможно сдержан и беспристрастен.

Синодальное училище и хор я застал в виде двояком. Училище было совершенно расстроено как в учебном, так и в дисциплинарном отношении; хор был относительно сложен, пел довольно стройно и звучно, но в то же время был глубоко невежествен по незнанию элементов музыки и по репертуару и глубоко недисциплинирован по так называемому «халтурянью» (пение потихоньку в чужих хорах) и полному упадку поведения певчих. Бедность хора и училища была совершенно полная во всех без исключения отношениях. Благоустройства не было решительно ни в чем.

Вспомню прежде об училище. Синодальное училище до конца 1886 года было обыкновенным уездным духовным училищем, в котором учились через пятое в десятое малолетние певчие Синодального хора. Учение все-таки хоть какое-нибудь да было, так как бывало немало учеников, которые хотели по окончании курса и по спадении с голоса продолжать ученье в семинарии. Средства, отпускавшиеся Синодом на содержание малолетних певчих, были просто нищенские. Хор дополнял их, нанимаясь петь по московским церквам на целые годы, равно и на отдельные службы. Оттого, при конкуренции с частными хорами, особенно же с гремевшим тогда Чудовским хором, певшим много лучше под управлением учеников талантливейшего Багрецова²⁵⁵, Синодальный хор измельчал до последней степени, сбивал цены и, наконец, дошел до того, что стал посылать на «казенные службы» (то есть в Успенский собор) самых плохих певцов, хороших же певчих администрация хора гоняла по церквам к ранним и поздним обедням, но свадьбам, похоронам, панихидам за самую ничтожную плату. Несмотря на то, что мальчикам чуть не ежедневно приходилось вставать чуть не в пять часов утра и петь по три, даже по четыре службы в день, делая по Москве огромные концы пешком, мальчики все-таки старались петь как можно более продолжительнее, то есть переставая участвовать при полнейшей потере голоса, ходя даже на службы «для счета», то есть когда вознаграждение выдавалось по числу певцов. Понятно, что такое ремесленное отношение к делу, постоянный расчет на деньги, постоянные чаепития в трактире вместе с большими певчими в промежутки между ранними и поздними обеднями, пением «на балах» после свадеб глупейших кантов, вроде «Слава браком сочетанным» и тому подобное, не могли не уронить уровня развития мальчиков до того же несчастнейшего положения, в котором находятся эти певчурки и сейчас в московских частных хорах. Попросту сказать – это белые негры, которых эксплуатируют, которым почти совсем не платят, отделяясь от них грошами. В Синодальном хоре, разве только по высоте фирмы в сравнении с частными хорами, положение малышей было все-таки

несколько зажиточнее и подчинено некоторому контролю. Добрый, однако, человек нашелся и тут в лице Ивана Дмитриевича Бердникова, бывшего инспектором Синодального хора 25 лет и заведшего при вопиющей бедности все же хоть какие-нибудь порядки, хоть какое-нибудь ученье.²⁵⁶ Вполне заслуженно, сколько мог я судить по рассказам стариков, портрет этого благодетеля и заступника за малышами украшает зал Синодального училища. Но по его, как говорили мне, мученической кончине дело попало в руки совершенно неумелого педагога Николая Феофановича Добровольского и быстро пошло к упадку, пока начальство училища не увидало, наконец, надобности удалить господина Добровольского. Это удаление было задумано при самом преобразовании училища, когда мне в первый раз предложили место директора, от которого я наотрез отказался.²⁵⁷

Преобразование Синодального училища было вызвано желанием улучшить пение в Успенском соборе и совершенно переустроить самое училище, превратив его в рассадник будущих знатоков древнего церковного пения и место образования для регентов и учителей пения в духовно-учебных заведениях. Для первой цели были возвышены оклады певчих и совершенно прекращены (то есть на бумаге) заработки Синодального хора на стороне; для второй цели, как это ни странно, училище прежде всего было лишено прав (в этом бесправном состоянии оно, но вине санкт-петербургских канцелярий, пробыло 13 лет) и преобразовано без всяких программ, только на бумаге. Понятно, что порядки под шумок и потихоньку от начальства остались прежние, и по совершенной неопределенности дела, по бездарности г. Добровольского училище быстро покатилося вниз по наклонной плоскости. Нового ничего не было вложено в старое, безотрадное содержание. Бывшие заработки все же сократились, и к непорядкам прибавилось недовольство настоящим и полнейшее непонимание возможности лучшего будущего, даже и самих задач в этом будущем. В таком состоянии полного разложения я застал Синодальное училище в июле 1889 года. Состояние это я, не бывший до того времени начальником и

мало видевший разные учебные заведения, невольно приравнял к привычным мне порядкам Казанской учительской семинарии, к которым я привык давно и твердо. Существенным улучшением Синодального училища по его преобразованию было только расширение его помещений, так как из дома училища была удалена квартира прокурора Московской Св. Синода конторы и в училище нашлись хоть комнаты для классов. Во всем остальном, внешнем, это состояние было просто невозможно. В училище были какие-то совершенно невиданной системы столы для учеников, шатавшиеся и легко опрокидывавшиеся, не было вообще в достаточном количестве ни мебели, ни белья, ни учебных пособий, ни хоровых нот, ни инструментов, ни библиотеки, ни даже сносной одежды...

Вот рисунки этих столов в сложенном и обыкновенном их виде:

Конечно, при такой возможности опрокидывания весь пол училища был залит чернилами; столы, как крайне легкие и подвижные, стояли всегда вместе со скамейками в самом недопустимом беспорядке.

Нечистота была совершенно невероятная. Достаточно сказать, что училище не ремонтировалось даже побелкою потолков лет восемь-девять в спальнях, даже в больнице, а ремонт бывшей квартиры прокурора, не ремонтировавшейся и при нем много лет, так и не был произведен при переходе в нее училища. Достаточно сказать, что весь нижний этаж училища был занят переплетчиком, шляпником, сапожником и весьма откровенною модною мастерской «M^{me} Caroline», а на дворе стояло длинное здание старых служб, брошенных за опасностью входа в них, причем одним из первых услышанных мною отказов на ходатайство о сломке этого здания, хотя бы ради безопасности и очистки места, было приказание «подоприте как-нибудь».

Дисциплины учеников не было совершенно, так как воспитатель Никольский ничего не мог поделать один без помощи директора, а помощник воспитателя Гиляров прямо ничего не делал. Господствовали и держали свою дисциплину крепкие кулаки всяких «солистов», старших мальчиков, спавших

с голоса, и зуботычины регента Орлова, не стеснявшегося бить учеников даже в Успенском соборе. Ругань учеников, так сказать, висела в воздухе этого несчастного училища; мальчики-страстотерпцы ходили в синяках, чистили старшим и «солистам» сапоги, отрекались из-за их угроз от воскресных порций пирога, платили старшим подати из так называемых «чаевых денег» (то есть дававшихся старостами церковей синодальным певчим «на чай») при дележе этих денег, и [старшие] совершали над этими детьми даже преступные неистовства. Куренье, карты, пьянство этих «солистов» и «старших» были открыты и заведомо известны. Тайные пороки были написаны на лицах многих 16–17-летних разбойников.

Но все это, по сущей совести, было все-таки много слабее и много менее бесстыже и безнадежно, чем то, что я с ужасом вспоминаю при первом знакомстве с Придворной капеллой.

Я застал Синодальное училище в учебном отношении еще на прежнем его положении, то есть с четырьмя классами, и пятый класс образовался уже при мне, после моего проверочного экзамена, приведшего меня в недоумение. Ученики этого пятого класса были мною выбраны в количестве только четверых, конечно наилучших между теми, которые в возрасте пятнадцати лет не знали таблицу умножения, «писали корову через а» – по характерному заявлению мне воспитателя Никольского. Этого уже примера достаточно, чтобы судить о степени процветания научного образования в Синодальном училище. В пятом классе по общему плану преподавания в училище должен быть первый курс гармонии, а лучший ученик Алексей Петров отказался мне сыграть на скрипке гамму ля мажор, ссылаясь на незнание «диезов и бемолов» на скрипке...

Алексей Алексеевич Петров, кончивший в 1893 году первым в первом курсе, записанный на «Золотую доску» училища, ныне состоит экономом Придворной капеллы, куда я взял его немедленно по моем прибытии, так как он заявил о себе с этой стороны как знающий, умный и расторопный человек. Он превосходно учился в училище, и с его именем связан следующий рассказ. Когда Чайковский, заинтересовавшийся начавшим подниматься

Синодальным училищем, зашел ко мне вместе с Танеевым, то попросил работы лучшего ученика по контрапункту и фуге. Даны были задачи Алеши. «Тут никаких отметок нет, – воскликнул Петр Ильич, – дайте мне просмотренные задачи!». «Отметок нет потому, что ошибок нет, – ответил Алеша, – а в концах задач есть несколько отметок Сергея Ивановича». И действительно, в конце многих задач стояло: «5, С.Т.» «Это другое дело, это можно смотреть!» – сказал Петр Ильич. «Зачем смотреть? – впутался тут подошедший Сергей Иванович, – Степану Васильевичу ничего не стоит позвать первых встречных учеников, и они споют тебе с листа какую угодно фугу». «Быть не может!» – возразил Чайковский... Я немедленно позвал первых встречных учеников, конечно из старших, и они пропели Чайковскому партитуру фуги Алеши. Я был удовлетворен вполне тем, что изумленный Петр Ильич заявил мне: «Однако, как же вы их мастерски школите! В консерватории ничего подобного не услышишь!». Чайковский взял с собою тетрадь Петрова и, просмотрев ее, вернул ее через несколько дней с приветствием как автору, так в отдельном письме и мне с Орловым.²⁵⁸

Во всем училище был только один экземпляр школы Берио²⁵⁹, и он составлял собою всю библиотеку скрипичного класса; по фортепиано вся библиотека состояла в двух «школах» и в одном экземпляре «сонáтин» Клементи и затем нескольких «собственных нот», более цыганской литературы. Библиотеки фундаментальная и ученическая заключались в шкапике аршина два с половиною – три вышины и аршина четыре длины, причем большая часть этого помещения была из благочестивых журналов, названия которых один остряк перевирал в «Бесполезное чтение» (то есть «Душеполезное»), «Странника» (от «странный») и т.п. Детских книг было штук 30–40. Роялей было четыре, из которых два допотопных какого-то Зандберга, один роялино Шредера никуда не годный, а новый рояль Беккера отпирался только для регента во время спевков, мальчики же к нему не подпускались. Скрипок, с

«собственными», было штук семь-восемь. Чтобы понять, как учили игре на скрипке в Синодальном училище, достаточно сказать, что немец Поль учил играть разом по пять-семь человек кучей, и что плата за обучение полагалась учителю по расчету на каждого ученика по десять минут в неделю (два раза по пять минут)... Другой учитель-пьяница был мишенью насмешек учеников, так как учитель имел неосторожность несколько раз сказать, что он страдал зубами, выдергивал их; ученики, считая пропущенные уроки, уверяли пьяного учителя, что он успел выдернуть шестьдесят зубов, после которых успели вырасти новые.

Нетрудно после сказанного понять, как я задумался о предстоящей мне миссии в училище. Но судьбе угодно было просветить меня двумя вполне неожиданными и выразительными столкновениями в первые же дни моей службы.

Был в училище «солист» Саня Хохлов (потом все-таки кончивший курс, хотя и отъявленный лентяй, глубоко отравленный певческим мирком), обладавший таким очаровательным альтином, каких я ни до него, ни после не слышал. Хохлов был очень способный мальчик, пел умно, выразительно, но зато и пользовался всеми сполна привилегиями «солиста», то есть бил всех, обирал всех, озорничал как хотел, никого не боялся, был невероятный, наглый лгун, курил в 13–14 лет и совершенно не учился. Я все-таки ухитрился довести Александра Павловича Хохлова до окончания курса, несмотря на всю его лень и невозможное озорство. Конечно, слабый запас знаний, не приобретенных в юности, очень мешает Хохлову во всем, почему он, как получивший место учителя пения в Заиконоспасском духовном училище, сейчас же по окончании курса (1893) не только не пошел далее, но даже забыл и то, что знал. Лень и лживость Хохлова были так велики, что он, например, на слова Эрарского «приготовьте следующую гамму», будучи уже в последнем классе, «приготовил» вместо Fis dur гамму Ges dur... Хохлов даже не писал задачи по контрапункту, платя за них писавшему вместо него Алеше Петрову, и т.п. Вот почему из довольно

живого, способного вообще и к музыке Александра Хохлова, несмотря на все мои труды, в сущности ничего не вышло. К довершению описания этой фигуры следует сказать, что он пользовался самым ласковым покровительством одного бывшего высокопоставленного лица (обратившегося, однако, потом в одного из существующих еще в Москве «свадебных генералов»), – но «товарища К.П. Победоносцева...».²⁶⁰ Этого было довольно, чтобы Хохлову до моего приезда сходило все с рук. Однажды, через несколько дней после моего приезда, помощник регента Соколов²⁶¹, которого Хохлов просто не выносил, вдруг приносит мне свою шляпу, всю заплеванную и испорченную внутри, прося взыскать надобное с Хохлова. В это же время я услышал на дворе (был конец июля) невозможнейшую громкогласную брань Хохлова с прислугой, не остававшейся, конечно, у Хохлова в долгу. Поскольку, так сказать, раздраженный Хохлов отказался придти на мой зов, сказав «подождет!», то я велел привести его силою. Хохлова, конечно, как бы сказать, принесли, что ли, ко мне, и тут я услышал целый фейерверк дерзостей, сказанных мне прямо в глаза при толпе мальчиков. Я самым спокойным образом велел Хохлова раздеть и в одном белье (именно как сумасшедшего) посадить в карцер. Тут случилось что-то не предвиденное и мною: «Как? Меня в карцер? Да ведь я «солист»!? Да ведь Павел Николаевич (это вышеуказанный генерал) – товарищ Победоносцева, и они тебе покажут, кто ты такой, сякой...». Не помню хорошо, что со мною случилось, но через полминуты дравшийся «солист» в бешенстве стучал ногами в дверь карцера, ломал дверь, орал во все горло, чуя, что его престиж совершенно лопнул сразу. Это случилось утром в субботу, и я имел твердость продержатъ моего ученика безвыходно, не пуская даже на спевки и службы, и все воскресенье. После обедни, за которой генерал узнал о наказании своего любимца, я получил его карточку с карандашной надписью: «Хохлов имеет быть отпущен ко мне до вторника». В ответ на эту карточку была послана моя с карандашной же надписью: «Хохлов наказан и отпущен не будет впредь до моего усмотрения». После объяснений с генералом на тему «вы

должны понимать, кто я» я вынужден был уверить генерала, что до выхода моего в отставку я буду директором Синодального училища, невзирая ни на какие вмешательства, даже и самого Победоносцева... Генерал совсем был удивлен.

Другое столкновение было в ту же субботу с певчим Гончаровым, ныне довольно известным оперным певцом, и одновременно с певчим Алексеем Павловичем Кокиным, печатавшим на своих карточках «солист-бас Синодального хора», но написавшим мне на адресе: «Господину С – Моленскому». Певцы эти имели отличные голоса, но первый был отъявленный лентяй, певший шепотом ради сбережения голоса, а второй был феноменальный неуч, грубый, самомненный и пьяница. Эти молодцы вздумали покапризничать, почему Гончаров тут же был уволен мною за сделанную мне реплику: «Не имеете нрава»; Кокин же, не будь плох, заявил мне: «Я – артист-солист». Я объяснил, как Кокину, так и всем певчим, что все мы не более как певчие, да еще притом плохие, что, конечно, всем очень не понравилось. Певчие были взбунтовались, но я их успокоил тем, что худой мир лучше ссоры и что я приехал в Москву только за тем, чтобы довести Синодальный хор до полного совершенства, а для того надобно безусловное послушание и самое полное повиновение, чего я сумею достигнуть. Сцена эта взволновала и меня, открыв мне глаза на очень многое, еще не бывшее в моей жизни.

Мое управление Синодальным училищем началось с того, что я поверил знания всех учеников сам, как беседуя с ними, так и испытывая их то в том, то в другом предмете. Труд, почти месячный, был поверяем с отзывами преподавателей и воспитателей о каждом мальчике отдельно же. Затем мы собрались в заседание [педагогического] Совета, продолжавшееся три или четыре вечера, и самым подробным и беспристрастным, но коренным образом решили вычистить Синодальное училище от всех, но самых нетерпимых только плевел, безнадежных по лени, отсталости и прямо вредных по поведению. Я помню, как, прочитав постановление Совета, я услышал шепотом сказанное мне на ухо: «Ныне отпускаеши» – «Вполне заря нового дня» – «Теперь можно будет работать».

Нетрудно догадаться, что такие слова можно было услышать лишь из уст человека, исстрадавшегося от плачевного состояния училища, желавшего работать и действительно обрадовавшегося началу энергичного подъема ученья. Следующие затем недели были сущей мукой, постоянным шантажом учеников и их родителей, ни за что не хотевших расставаться с насиженным местом. Началась подача жалоб, чтобы приостановить удаление всяких великовозрастных лентяев, наконец, началось воровство... Кралось решительно все: карандаши, книги, фуражки, смычки, певческие ноты, вилки и прочее, чтобы выйти из училища с возможно большим, хотя бы и ненужным. Наконец-то пришлось расстаться со всеми молодцами, и наша жизнь пошла относительно потише.

Но ученье с первого же раза встретило со стороны учеников самый дружный отпор. Главари из старших прямо били учивших уроки, умышленно отвечали учителям всякий вздор, забрасывали книги, ломали смычки, рвали ноты, выдумывали нарывы пальцев, головную боль, непонимание толкуемого урока и т.п. Ученики прямо не умели учиться, не умели выгодно распределять свое время, очень страдали от незнания прежде пройденного и уже забытого, еще же более тормозили дело отъявленной ленью главарей и самую повальную нелюбознательностью. Так пришлось промучиться все первое полугодие 1889/90 учебного года.

Между прочим, получив от директора Добровольского кипку бумаг пуда в полтора, я с изумлением узнал, что в этом только и заключается весь архив Синодального училища... Оказалось, что множество учеников было принято не только без прошения, но даже без документов, что не только не было дневных журналов дежурств воспитателей, но даже не велись совсем экзаменационные ведомости, совсем не было классных журналов, так что вполне было неизвестно, почему, например, ученик сидел в четвертом классе, а не в третьем, когда и как он был принят и т.п. Нетрудно сообразить, сколько хлопот было с приведением этой части в порядок.

Но в этой же кипе бумаг я встретил очень любопытную книжечку, величиною в квадратный вершок, под заглавием

«Правила для учеников Синодального училища» издания 70-х годов.²⁶² Единственный экземпляр этой книжечки, каким-то чудом уцелевший, я передал потом в библиотеку училища как документ, свидетельствующий об уровне развития учеников, о запрещениях ученикам делать то-то и то-то (вызванных, конечно, обычностью таких проступков) и о предложении быть благонравными в определенном, указанном направлении. Но некоторые события мелкого содержания, с точки зрения учеников, совершенно удивили меня и заставили задуматься и дать значение этой маленькой книжке. События эти случились, конечно, в первые же дни моего директорства в Синодальном училище. Например, я заметил в столовой, как потихоньку от меня один ученик, пришедший в столовую с фуражкой, наклал в нее во время обеда ломти хлеба, кусок говядины (помню, что он даже посолил ее) и затем всю несъеденную им гречневую намавленную кашу. Я нарочно не сказал ни слова, желая поглядеть, что будет далее. Оказалось, что ученик, выйдя на двор, покрыл весь запас провизии бумагой, затем надел фуражку на голову и начал играть с товарищами. Другой ученик сделал такой же запас в расправленный носовой платок (а пара таких платков, то есть сдаваемый в белье и получаемый «чистый», была мною опечатана на память потомству) и положил в блузу за пазуху, из которой, благодаря поясу, этот запас не мог вывалиться. Кроме того, я заметил, что ученики решительно не умели прилично сидеть во время еды, не умели прилично держать ложку, вилку, ножик, обнаруживали самые неудержимые стремления нахватать себе побольше всего и прежде других и т.п. В столовой было шумно, в высшей степени нечисто и неряшливо... В те же дни, провожая учеников в Успенский собор, я услышал на тротуаре по Никитской улице неожиданные для меня приветствия ученикам (ученики выходили парами на тротуар и, пройдя несколько шагов, останавливались, поджидая выхода всех) от извозчиков, мастеровых, уличных мальчишек в таком роде: «Аминь съели», «Аллилуйю проглотили» и т.п. Мальчики отвечали руганью... Однажды, в эти же дни, мальчик Сергеев, лет четырнадцати, прибежал ко мне минут пять спустя после отправления

учеников ко всенощной весь в слезах и с вполне почерневшим виском и всего окружавшего левый глаз. Оказалось, что он, идя в парах, имел неосторожность задеть ногою за пятку шедшего впереди ученика Соколова (ныне священник в Полтаве, о. Александр Николаевич Соколов), и Сашенька, оказавшийся впоследствии отличным и благодушным мальчиком, «засветил ему разá» так ловко, что Сергеев упал с тротуара в грязь чуть не в обмороке... Удовольствие товарищей, оценивших сразу, как «сволочь-Сашка саданул» или «тенькнул по башке Сережку», было полное; мальчики как ни в чем не бывало дошли до собора, пропели всенощную и были очень удивлены, что «по таким пустякам Сережка наябедничал», и т.п. Несмотря на помощь врача, мальчик пролежал в больнице чуть не две недели... Но «ябеда» ему все-таки не прошла даром, хотя я всячески старался о том, вразумляя учеников и не наказывая их, с трудом заставив Соколова «помириться» (!). Бедному Сергееву устраивали не раз «салазки» и даже однажды «темненькую»... «Салазки» есть жестокое истязание, состоящее в том, что у человека, лежащего на постели на спине, пригибают ступни ног почти к голове и потом бьют его. Истязание это может быть сделано не менее как тремя-четырьмя против одного... «Темненькая» состоит в том, что ночью человек пять-шесть придерживают одеяло на спящем ученике; один упирает голову страдальца в подушку, чтобы не было слышно крика, остальные свободной от одеяла рукою бьют его сквозь одеяло чем и как попало и затем по условленному знаку разом разбегаются во все стороны. Это есть один из самых страшных товарищеских самосудов, редко обнаруживаемых и обставляемых с большою осторожностью. «Темненькая» бывает очень редко, в исключительных случаях злобы товарищей и при каких-либо особо благоприятных для ее совершения условиях. В Синодальном училище долго хранилось предание о «темненькой», которую сделали с инспектором – добродетельнейшим Иваном Дмитриевичем Бердниковым, в которой, как говорил мне один из имевших несчастье участвовать в этом злодеянии (Розов), приняли участие даже взрослые певчие Синодального хора. История эта, о которой

мне также рассказывали В.С. Орлов и А.Г. Полуэктов, была, конечно, потушена, как очень многое, была так жестока, что будто бы именно вследствие этой дикой и преступной расправы почтенный старец вскоре умер. Историю эту, конечно, потушили и замяли, а портрет Бердникова повесили. В надписи под портретом Бердникова указаны и день юбилея, и день его скорой после того кончины:

«Инспектор училища при хоре Синодальных певчих Кандидат Московской Духовной Академии Иван Дмитриевич Бердников.

Сын протоиерея города Вятки, родился 19 сентября 1827 года. Окончил курсы Московской Духовной Академии в 1852 году. Поступил на службу в училище при хоре Синодальных певчих 7 сентября 1853 года.

По разрешению Святейшего Синода юбилей его двадцатипятилетней непрерывной службы при училище празднован 8 сентября 1878 года. После кратковременной шестидневной болезни умер 7 ноября 1880 года. Погребен на кладбище Данилова монастыря в Москве.

Портрет его поставлен в рекреационном зале училища при хоре Синодальных певчих в память его заслуг на основании указа Святейшего Правительствующего Синода от 1 сентября 1880 года за № 3242».

Последняя ["темненькая"], в связи с последующей историей и дружно уговоренным между мальчиками противлением в учебных занятиях, вывела, наконец, меня из терпения, и я начал уже жестокую войну с лентяями и празднотлюбцами. История заключалась в следующем: уже было упомянуто, что у нас были никуда не годные надворные службы, соприкасавшиеся с соседним домом консерватории, бывшим князя Воронцова. Компания моих молодцов заметила какую-то щель в каменной стене, настолько большую, что рассудила, увидав там винный склад, расширить щель и поживиться винами князя Воронцова. Несмотря на всю осторожность, с которой велся этот подкоп, я узнал про этот замысел по постоянному отсутствию учеников, уже бывших у меня на очень

дурном счету, и компания – конечно, из отъявленных лентяев – попала вся сполна.

Книжка «Правил», в связи с наблюдениями за строем жизни учеников, раскрыла мне глаза на вещи, возможности которых, по правде сказать, я и не подозревал в Синодальном училище. Особенно, помнится, меня удивило благожелательное пустословие многих из этих правил, как монашеский тихоструй, наложенный рядом с запрещениями самых диких проявлений жестокости по отношению к младшим, всякого рода произвола и всякого рода неблаговоспитанности. В связи со сделанными мною наблюдениями я понял, что такое значат, например, запрещения ученикам хватать руками говядину с тарелок соседей-товарищей, рвать ее руками, а не резать ножом, или биться в драках, зажимая руками камни, или разбивать оконные стекла в соседних зданиях и т.п. Меня удивило изложение в «Правилах» таких наставлений, которые только и могли быть отпискою педагогов начальству, что вот де что мы внушаем юношеству, нас, однако, не слушающемуся и позволяющему себе вести себя до надобности писать им запрещения вроде только что указанных. И в самом деле, что можно сказать о параграфе, в котором говорится о таком будто бы случайном, невероятном грехе, как употребление неприличных слов: «Боже сохрани ученика унизить себя и товарища хулою на устах» и прочее – а ругань не сходила с уст не только каждого ученика, но и прислуги, и воспитателей, и старших певчих... Или: «Входя в храм в страхе Божиим, помни, что каждый православный стоит перед престолом Всевышнего для молитвы и умиления, певец же наипаче...» – а этого же певца тыкали и били в том же храме; самые «жрецы» этого храма служили полупьяными даже литургию, а голосистые дьяконы Успенского собора подрались и поругались в его алтаре даже в присутствии прокурора, заявив ему: «Ваше превосходительство, у вас на Никольской свой кабинет, а у нас здесь свой кабинет».²⁶³

Священники и особенно дьяконы Успенского собора произвели на меня, привыкшего в Казани видеть довольно сдержанное и степенное духовенство, вполне отталкивающее впечатление, так как грубость, постоянная нетрезвость,

постоянно неприличное содержание их бесед между собою, постоянный рубль во всем и особенно неряшливость в службе при фарисейской на глазах народа молитвенности – были просто отвратительны. Мое первое посещение так называемой «палатки», то есть сборной комнаты духовенства Успенского собора, ознакомило меня с массой священников и дьяконов Москвы, собравшихся 28 июля для крестного хода из Кремля в Новодевичий монастырь.²⁶⁴ Здесь я впервые увидел не одну кучку протоиереев, священников (кажется, даже и монахов) поголовно с папиросами или с сигаретами в зубах, одетых в ризы, оживленно беседовавших о вчерашнем винте, о ремизах, о прикупках, о хорошо справленных именинах с богатым ужином... Чтобы судить о мере распущенности, достаточно сказать, что протоиерей Беляев, выходя вместе со мной из собора после литии (а перед ней, как и перед полиелеем, вся не служащая в очередь эта долговолосая и басистая орда только и приходила в собор, немедленно уходя толпою вон из собора в палатку после литии или полиелея) сказал мне с сожалением: «Трудно вам работается – все мы видим это... Совсем не то, что нам! Вот я, например, три недели пью, как хочу, а четвертую служу...». Конечно, в минуту такой речи протоиерей был пьян, как всегда. Помню и то, как совершенно пьяный громадина-протодьякон А.З. Шаховцев²⁶⁵ за всенощной под Воздвижение (13 сентября 1890 года) упал на левом клиросе, идя говорить ектению, и передавил запищавших под ним моих дискантов и альтистов. Помню и такой случай с весельчаком Сережей Пузенковым, лет двенадцати: его встретил пьяный дьякон Н.П. Росляков (однажды возгласивший в алтаре: «И черт меня дернул пойти в дьякона, пел бы теперь я в оперетке и получал тысяч десять в год!») и спросил: «Правда ли, что сегодня в Синодальном училище отлично прошел экзамен с архиереем?». «Правда!». «А ну-ка, скажи мне, как читается одиннадцатая заповедь?» – спросил отец дьякон, бывший с сигарою. «Не кури табак и не ходи в кабак», – ответил мальчик, давая стрекача. «Ах ты, такой сякой», – воскликнул дьякон, пустившись в погоню... Впрочем довольно об этом истинно печальном духовенстве. Конечно, были между

ними и почтенные люди, но огромное большинство было прямо грубо, дико и производило впечатление чего-то далеко не порядочного.

Понятно, что подобная атмосфера заставляла задуматься, тем более и по причине совершенного отсутствия программ преподавания общеобразовательных и музыкальных предметов. Конечно, программы, если взять их готовыми с чужих образцов, могли бы успокоить начальство немедленно, но следовало выработать программы по крайней мере для трех старших классов года на три-четыре, чтобы успеть приготовить будущих регентов, учителей пения и хоть чему-нибудь выучить неучившихся людей. Забвение и незнание пройденного ранее, совершенная неразвитость и неподготовленность учеников к музыкальным курсам, даже неимение в виду надобных хороших преподавателей ставили большие препятствия самым лучшим намерениям. А к этому еще и лень, и противодействия! К этому и моя неопытность!

Но удаление из училища всего негодного и безнадёжного все-таки сделало то, что от того ожидалось, хотя сполна это почувствовалось только через год, когда в умах учеников и учителей окрепла вера в успешность будущего, когда ученики выучились владеть распределением своего времени и установилась хоть какая-либо дисциплина. В этот первый год имело место характерное, хотя и кратковременное явление ученической жизни. Это были так называемые «послушания», то есть взаимные товарищеские уговоры лучших, более кротких учеников в каждом классе отдельно, с целью самовоспитания и взаимопомощи во всем, но с упованием безусловного подчинения товарищескому суду и своему выборному на каждый месяц «старшему». Понятно, что я обеими руками ухватился за этот своеобразный подъем духа учеников и своеобразный их дружный протест против прошлого, скоро сблизился с этими учениками и всячески помогал им во всем. Дела наши наладились сразу тем более хорошо, что вскоре «послушания» завелись из пяти классов с приготовительным (шестым) в четвертом, третьем и втором классах, и таким образом, равно и с помощью воспитателей Константина

Андреевича Никольского и вновь принятого Ивана Ивановича Серебrenицкого, был образован первый кадр учеников, отнесшихся к нам доверчиво, а не враждебно. Вместе с тем мы дружно взялись за первый младший класс и за открытый уже мною пригoтовительный класс: скоро приобрели доверие малышей, всячески защищая их от какого-либо насилия и помогая им разобраться в своих делах и в своих впечатлениях. Малыши вновь принятые были, конечно, дики и боялись всего, скучали по родным семьям, не умели учиться и не успели приглядеться к незнакомым для них порядкам. Дружба наша установилась скоро, и таким образом вскоре же началась и борьба с безголосыми старшими мальчиками как бывшими «солистами», героями кулака, усвоившими себе, кроме лени, эксплуатации малышей, еще и господство над ними решительно во всем, до отдельного покровительства какого-нибудь «солиста» над каким-либо «сироткой».

Борьба открылась, конечно, немедленно. «Прежде нас били, – заявил мне Михаил (старший, ныне уже покойный брат здравствующих будущих композиторов Павла и Александра Григорьевичей Чесноковых²⁶⁶), – и мы вытерпели все, теперь пришла наша пора, и мы будем бить всех, кого захотим». Тщетно я втолковывал этим молодцам, что в жизни людей есть многое более интересное, радостное и достойное, кроме битья людей, – Чесноков, Хохлов и К° так и не поверили мне и воспитателям, обращенным уже в мою веру. Они начали, сплотившись вместе, в количестве человек двенадцати-пятнадцати дразнить членов «послушания» монахами, а «старших» – игуменами, не забывали дать пинка и тычка при всяком случае сколько-нибудь удобном, заводя прежний террор и знакомя вновь принятых со всеми формами существовавших истязаний. Но это была уже последняя попытка «солистов» вернуться к своей старине, так как новые порядки уже брали свое и обличения, проделывавшиеся иногда мною по адресу родителей, бывали для этих молодцов очень вразумительны. Обличения эти создались вполне случайно, так как я поймал одного старшего мальчика в покушении обмануть своих родителей. Он писал открытое им письмо, извещая, что не

приедет в обещанный отпуск по причине множества уроков и головной боли. Меня до такой степени возмутила эта ложь, что я заставил ученика собственноручно написать на этом же письме примерно так: «Милые мои родители! Я обманул вас, написав о головной боли. На самом деле причины моей неявки в том, что я ленюсь и бью товарищей, за что и оставлен без отпуска» и т.п. Это первое «пиши письмо к родителям», повторенное потом несколькими учениками, хотя и не покушавшимися письменно обмануть родителей, но уверявшими их, что дела учебные идут отлично, оказалось весьма внушительною педагогическою мерою, тем более производившею сильное впечатление, что в некоторых случаях делу придавалась значительная гласность. Положение «солиста», собственноручно выводившего на письме: «Простите меня, милая мамаша! Я понимаю, как вы заплачете, читая это письмо...» – было действительно не из сладких. Авторам, проливавшем в эти минуты горькие слезы стыда и досады, было уже, как оказалось, недалеко до слез покаяния и до начала воздержания.²⁶⁷ С благодарностью вспоминаю многих родителей, верно понявших меру своих воздействий на своих детей (хотя бы и лет пятнадцати-шестнадцати) и помогших мне вразумить их. Мои обличения всяких проступков в области лени и кулака были всегда гласны и безжалостны по их прямолинейности, но я никогда не оскорбил ученика в его непременно публичном наказании, а врачевал его душу всегда один на один в беседе, после которой он уходил от меня с умиротворенной хотя сколько-нибудь душою и с моим обещанием полнейшего забвения случившегося. Этот способ моих воздействий на учеников я выработал для себя в Москве, так как в Казани решительно не было случаев, когда бы я мог подумать в учительской семинарии о надобности каких-либо внушений. Оберегая достоинство ученика, укрепляя в нем веру в свои силы, прибавляя ему энергии в беседах один на один, я в то же время пришел к мысли, что наказания, в которых была хотя бы тень издевательства над самолюбием ученика или хотя бы тень возмездия, мстительности, равно хотя бы тень эксплуатации лишения ученика его свободной воли, – только

вредны. Те же наказания, прежде всего не унижительные, не оскорбляющие, – безусловно необходимы и безусловно полезны в школе. Обнаружение проступков и обсуждение их в огромном большинстве случаев должны быть непременно гласны. Например, за нечистоту рук и платья я всегда наказывал тем, что заставлял ученика прежде всего подряд раза три-четыре привести надобное в должный порядок, оставаясь недовольным вымытыми, предположим, руками. Ученик, доведенный до досады моей требовательностью, понимал впервые меру должной чистоты рук и затем уже наказывался тем, что должен был со стыдом идти к дежурному воспитателю, и даже некоторым ученикам, показать ему чистые, небывало чистые у него руки. Например, припоминаю случай езды друг на друге, наказанный мною тем, что я велел продолжить езду, пересадив слабого на сильного, и сам обошел с ездоками половину классов, показал ездовых случайно попавшимся учителям, даже, кажется, Анне Ильиничне и т.п., – после чего это лошадиное удовольствие сразу вывелось. Понятно, что от разности натур, от разности восприимчивости, стыдливости, возраста, ума, самолюбия и прошлого ученика мои воздействия, увещания и наказания носили характер вполне различных взысканий за вполне одинаковые проступки. Ивана нельзя наказывать так же, как Петра, но разности мотивов совершения вполне одинаковых проступков, но уравнивание атмосферы ученического общежития есть непременно обязанность воспитателя. Поэтому мне всегда казалось справедливым наложением разных взысканий даже на проступки, совершенные толпою, скопом. Осторожное и деликатное великодушие при всяком наказании именно и врачует волю ученика за счет его совести, а не досады на самого себя. Но наказания необходимы, и чем виртуознее, неожиданнее порыв великодушия – тем целебнее он для ученика, которого всегда надобно привести в состояние «пришедшего в себя» блудного сына. Вполне спокойный суд в большинстве случаев бьет ученика по нервам очень сильно, но вместе и умиротворяет его душу. Неожиданность меры, иногда чрезвычайно мягкой, иногда чрезвычайно крутой, но никогда не

подлой, не злой, не мстительной, применялась мною особенно часто и иногда с отличным успехом. Помню, как я наказал Сашу Соколова, предложив ему в часовой срок придумать, сидя у меня в кабинете, достойное для себя наказание. Дрожащий Сашенька придумал себе порку у дяди-певчего и был очень изумлен, когда я его заставил, якобы перед поркою, помолиться усерднее до чая и подумать о возможности примирения с обиженным... Саша долго был в убеждении, что я готовлю ему засаду и положение «семь бед – один ответ», но его приводило в полное недоумение неисполнение придуманного им себе наказания и мое замечание, сказанное спустя два-три дня мимоходом: «Ах, какой ты смешной!». Этим недоуменным состоянием и началось исправление мальчика, достигшего в 14–15 лет невероятной грубости... «Сволочь-Сашка» скоро духовно обмылся и скоро стал неузнаваем. Но натуры, оскорбленные до школы грубостью в семье, особенно же пьянством отца, насилием и битьем, поддавались моим внушениям чрезвычайно туго и чрезвычайно медленно. Понятие о наказании как возмездии вполне рассудочно анализировалось их умишками по меркам боли телесной, испытанной дома, без заглядывания в свою совесть и при игнорировании чувства стыдливости. Страх и боль совершенно притупляли эти натуры, долго понимавшие ласковое с ними, соболезнующее обращение как слабость и даже как потворство, попустительство. Потребовался немалый срок воздействий всякого рода, прежде чем эти бедняки оценили значение ласки и внимания, понимавшиеся ими как заигрывание и даже некоторого рода хитрость со стороны старших, а потом уже понятые ими в подлинном их смысле. Но многие мальчики так и не уверовали в чистоту намерения образумить их...

Образовательные курсы, как уже сказано, несколько не были урегулированы в 1889 году; тем более стояли открытыми вопросы о создании курсов регентских и чисто практических занятий по регентской части. Обычная шаблонная программа музыкально-теоретического образования не была развита далее перечисления предметов, но и тут оказались самые невозможные пропуски, свидетельствовавшие, что за

разъяснение и подробное истолкование основной мысли Синодального училища принялись канцелярские умы в Петербурге, только воображавшие себя знатоками и глубоко понимавшими значение мысли и условия ее практического осуществления. Короче сказать, мысль К.П. Победоносцева, подхваченная угодливым Шишковым, распевалась канцеляриями на все лады, но определенного, точного выражения этой мысли совершенно не было, так как нельзя же было считать «Временное положение», по которому мы жили с 1886 по 1892 год, за что-либо хорошо обдуманное. Война из-за уставов 1892 и 1898 годов в сущности своей чрезвычайно характерна и оригинальна. Основная тенденция этих уставов заключалась в нежелании дать Синодальному училищу и хору хоть тень какой-либо свободы от дисциплинарных воздействий прокурора Московской Св. Синода конторы, точно Синод как будто бы доверял это специальное дело более своему чиновнику, чем людям, специально посвятившим себя певческому и педагогическому делу. Из этого недоразумения вытекают все страдания дела вплоть до настоящей минуты.²⁶⁸

Мои отношения с Шишковым, как и с Ш², были вначале самыми наилучшими, но потом пришлось невольно, несмотря на всякие уступки, на всякое самоотречение, вступить на дорогу противодействия начальству именно в силу специальности самого дела и в силу непонимания начальством подробностей, частью же и по причине немалой доли начальнического самолюбия и властолюбия, не допускавшей бесцветности своего начальствования. И Шишков, и Ш² никак не могли понять и сдержать себя на той вполне определенной позиции, что они были начальниками **только надо мною**, а не над моим делом. Постоянные и непосредственные вмешательства этих обоих «прокуроров Московской Св. Синода конторы» прямо в быт, прямо в деятельность хора и училища помимо их директора всегда вносили только разлад либо досадные, глупые, иной же раз забавные недоразумения. Канцелярия, педагогика, музыка и хозяйство – вот были четыре области, в которых вращалась вся деятельность моя как директора. Я вполне понимал полную надобность моего подчинения в первой области, то есть в

канцелярии, охотно допускал надобность **помощи мне от прокурора** в последней, то есть в хозяйстве (а не в хозяйничаньи самого прокурора), но зато я самым безусловным образом не допускал прокуроров в педагогическую и музыкальную части деятельности в хоре и училище. Когда в последние годы, вследствие постоянных покушений на эти части Ш², мы разошлись уже довольно возбужденно, открылась неожиданно область новой моей деятельности – научной и собирательской по части древнепевческих рукописей, их описания и каталогизации. Наскоки Ш² на это дело, несколько уже не подчиненное прокурору, несколько не обязательное для меня по службе, но созданное моею любовью к науке и желанием дать ей действительно хорошую память о себе, привели меня к надобности наконец показать Ш² его место в деле рукописей.

Но я отвлекся. Шла речь о создании совместно существующих программ по общеобразовательным и музыкальным предметам обучения в Синодальном училище. Дело это было трудно тем, что надобно было и создать удовлетворительный, целесообразный учебный план сам по себе, и суметь взять во внимание возможность постепенного его осуществления при запущенности учебного дела в Синодальном училище. Я рассчитал, что время, которое понадобится на волокиту дела по всяким синодским канцеляриям, даст мне возможность довести в три-четыре года Синодальное училище до того состояния, когда одобренные свыше программы будут возможны к исполнению как естественный, доступный порядок, представляющий не более как продолжение уже начатого и окрепшего дела.

К сожалению, я ошибся в расчетах. Петербургские канцелярии оказались не более как простыми мельницами, способными перемолоть только на тот номер размола, на который их поставят, а номер этот поставили для Москвы в Петербурге всякие миропольские, соловьевы и прочие «знатоки древнего пения», инспирируемые московским прокурором, бывшим не более как специалистом по акцизно-соляной части и «сумасшедшим стариком», по словам К.П. Победоносцева.²⁶⁹

Компания эта сочла ненадобным для себя, даже (как говорили мне) и неуместным и неудобным для своего достоинства хотя сколько-нибудь вникнуть в суть нашего вполне своеобразного дела, осложненного обязанностью петь в Успенском соборе массу служб (до 350-ти в год), и вымолола такой неудачный во всех отношениях Устав 1892 года, который вскоре создал надобность его неисполнения на деле и замены новым уставом.

В таких тисках, между запущенностью училища, между огромною тратой времени и сил на пение в Успенском соборе и при «сумасшедшем старике», приходилось создавать училищные порядки, вырабатывать программы и двигать дело вперед во всех статьях. Считаю долгом прежде всего помянуть с чувством глубокой благодарности регента Синодального хора В.С. Орлова (ныне директора – моего преемника), относившегося, вне хора, к училищу с величайшею халатностью к делу, но при мне внезапно воспрянувшего духом и заработавшего вполне превосходно как по прилежанию к труду, так и по производительности этого труда. В наблюдениях моих за Василием Сергеевичем, как и во многих вполне откровенных и дружеских беседах, мне было нетрудно убедиться, как тяжело страдал этот редкий регент-художник от грубости Добровольского и от беспомощности своего положения в хоре, особенно же ввиду интриг покушавшегося занять его место его помощника Н.И. Соколова. Этот опытный регент, несмотря на прошение всех больших певчих Синодального хора, все-таки должен был уступить В.С. Орлову, заручившемуся, вполне по заслугам, рекомендацией П.И. Чайковского. Содержательное письмо Петра Ильича мною даже было отпечатано в свое время и помещено в витрине, посвященной памяти Чайковского, украшенной его письменными и нотными автографами. В этом письме Петр Ильич горячо вступается за своего ученика, и эта рекомендация устроила надолго службу В.С. Орлова.²⁷⁰

Несомненно – это крупный, даже очень крупный регентский талант, хотя и имевший немало недостатков. Василий Сергеевич необыкновенно был чуток к звучности и равновесию хора, но был вообще очень малообразованный человек и очень малоначитанный музыкант. Превосходнейшие его дирижерские

способности и его прилежание развились уже при мне. Ни разу я не позволил себе руководить им, помня пословицу, что «ученого учить – только портить», и уважая свободу всякого труда, но однажды в дружеской беседе я высказал ему угаданное мною его стремление расширить свое музыкальное образование. Степень свободного художника (по классу фагота) не удовлетворяла Василия Сергеевича как отличного регента-практика. Я предложил ему устроить его занятия с С.И. Танеевым по контрапункту строгого стиля, мотивируя это предложение для него как мое желание иметь именно его, Орлова, в качестве преподавателя контрапункта в Синодальном училище. Занятия эти, неожиданно прерванные в консерватории, все-таки продолжились домашним путем и выработали в Орлове как отличного контрапунктиста, так и первоклассного регента, ибо за этим курсом я сейчас же начал с Синодальным хором пение Палестрины, Лассо и Жоскена де Пре, Моцарта, Баха и Бетховена, после чего образованному уже в музыкальном смысле Синодальному хору, существу артисту, лучшему из всех хоров, когда-либо мною слышанных, стали нипочем для исполнения наши духовно-музыкальные произведения. Орлов работал все двенадцать лет вполне горячо, искренно, вполне мастерски, и неудивительно поэтому, если при своем даровании и знаниях выработался сам в превосходного регента. Помощь мне такого художника сняла с меня половину труда, и я занялся потому преимущественно училищем, помогая Орлову всячески и дав ему не только полную, но полнейшую свободу и оставив себе только высшее, так сказать, программное руководство занятиями Синодального хора. Последним номером этой программы было изучение дивной *h moll'*ной мессы Баха, последним же публичным признанием за Синодальным хором значения первоклассной художественной величины было торжество хора в Вене²⁷¹ и затем высокая его репутация в Москве.

Понятно, что, имея такого превосходного помощника, как В.С. Орлов, помогая ему в свою очередь, оберегая его от глупых и грубых прокурорских начальнических наскоков, я постепенно вел хор по здоровой, твердой дороге и вскоре

обеспечил себе ту показную и более понятную всем, красивую сторону моего дела, которая, кроме своей эффектности, только и могла производить впечатление именно своим серьезным, здоровым содержанием, не мишурою, а действительно виртуозным искусством. Эту именно сторону я и взял на себя вполне, подняв в Синодальном училище обучение в общеобразовательных и музыкальных курсах, уставив крепкую, но любовную дисциплину, полную труда и взаимного товарищеского уважения, полную строгости жизни, строгого порядка и оттого при них самой полной свободы и самого полного взаимного облегчения в труде.

Да не покажутся противоречием и взаимно исключаящими положениями, например, строгая дисциплина и свобода, строгость и любовь, полная свобода и труд. Моя школа у Н.И. Ильминского и мои приготовительные занятия в области педагогики, может быть и весьма поверхностные, выработали у меня целую систему обращения с моими учениками и полный, законченный план воспитания юношей-музыкантов и вместе молодых людей. Основная их идея – полнейшая, совершенно свободная любовь и дружба к малолетним ученикам, полнейшее к ним доверие и полнейшая при том строгая к ним требовательность в исполнении ими своих несложных обязанностей.

Выработанная мною система воспитания учеников прежде всего основана на самостоятельности ученика, на его вере как в свои силы, так и в дружбу и неотложную помощь каждого из старших над ним, в чем бы эта помощь ни потребовалась; затем эта система держалась именно на строгой любви, на строгом взаимном уважении между старшими и младшими, **на вполне семейной** школьной жизни, на самом безусловном изгнании из нее всякой казенщины и канцелярщины. Никогда не увлекаясь шумихой провозглашения «всестороннего развития» и тому подобного, я давал развиваться свободно каждому своему ученику, уберегая его от дурного и направляя его к хорошему, но все же заставляя работать его самого, и притом изо всех его сил, вырабатывая в нем самостоятельного работника, опытного и привычного, выносливого в самом упорном труде,

непривычного к праздности. По этой системе я вырастил сотни людей, ставших почтенными работниками, не отказывающих мне до сего дня в своей дружбе и любви. Эта система была мною ведена в Синодальном училище и хоре во все двенадцать лет моего ими заведования.

Программа обучения будущих регентов в общих чертах состояла в том, чтобы дать молодым людям наилучшее **общее** образование и при нем такой запас музыкальных познаний, с которым бы молодой человек, кончивший курс Синодального училища, мог легко сделаться отличным регентом-практиком и учителем пения в школе. Мои два положения, которыми я отрицательно доказал для самого себя единственную возможность именно этой дороги, состоят в следующем:

1. Всякая школа готовит человека к жизни, не имея возможности, да и надобности, вырабатывать в нем преждевременного дельца, но имея обязанность сообщить ученику все учительное, все помогающее, чтобы после школы вышел из нее человек со светлой головой, могущий сам рассудить, куда бы направить ему свои частные способности и свои отдельные склонности. Поэтому ни одна школа не выпускает готовых врачей, готовых мировых судей, инженеров, техников и т.п. Поэтому между врачами, получившими общее образование в медицине, вырабатываются окулисты, хирурги, терапевты, специалисты по нервам, ушным, горловым и другим болезням. То же с присяжными поверенными, судебными следователями, прокурорами, судьями. После и с регентами, учителями пения, преподавателями теории пения, истории пения и прочими. Получение предварительного возможно широкого образования только и может создать мастера своего дела, так как сила высокого мастерства именно и состоит не в его ремесленности, а в широком взгляде на дело. Понятно, что это образование должно быть приноровлено к будущей специальности, но нет расчета отнимать время на слишком усиленные практические занятия в те годы, когда ум человека всего более склонен к усвоению знаний, и нет надобности упускать эти знания из виду, так как позднее приобретение их в нешкольные годы почти недостижимо, или по крайней мере

вполне неудобно и трудно, да и время уже упущено. По этому рассуждению в Синодальном училище было отведено самое последнее место так называемым «практическим занятиям» и сведению разных общемузыкальных предметов на степень лишь служебного их значения.

2. Опыт учит, что даже сущие неучи-регенты иногда ведут дело так прилично, что их хоры можно слушать. Эти неучи-практики сами загородили себе художественную дорогу своим незнанием и навсегда остаются ремесленниками, кроме случаев самого сильного дарования. Другой вывод из опыта тот, что для возможности прилично вести регентское дело, собственно говоря, даже и нет надобности в больших музыкальных познаниях. Но этот вывод годен именно только для регентов-ремесленников, которых искусство основано лишь на подражании и на смутном музыкальном чутье. Для регента-художника, для учителя пения, а еще более того – для **русского** регента, а не для пережевывающего лишь Бортнянского, надобно именно наилучшее музыкальное образование и возможно высшее общее развитие. Мои многолетние наблюдения и собственный регентский опыт (а я регентовал около 25-ти лет, с гимназической скамейки) привели меня к самому положительному убеждению, что регентская опытность имеет такие стороны, которые могут быть усвоены только годами и путем огромнейшего множества всяких, самых разнообразных случаев в практических занятиях, также многолетних, имеющих доступ в сознание учителя только в совершенно зрелые, а не ученические годы.

Самая трудная часть опытности регентской – **богослужебная**, то есть точнейшее знание и затем умение быстро ориентироваться в любом случае применения этих знаний, например, при гласовом пении, при священнослужителях без музыкального слуха или при незнании ими устава (что более чем часто), при ошибках хора, при наиболее сложных службах, например Страстной и Пасхальной недель, отпевании священников, праздничных службах по Триоди и Минее и т.п. Огромнейшая масса текстов (например, самая элементарная схема только воскресных всенощных

требует от регента знания на каждый из восьми гласов по восемь стихир на «Господи воззвах», по две стихиры на стиховне, тропарь на «Бог Господь», прокимен на утрени, по восемь ирмосов и по две хвалебные стихиры, то есть $22 \cdot 8 = 176$ текстов; затем, трудно представить регента, который бы не знал по крайней мере еще двойное количество текстов, употребляемых при богослужении), огромнейшая масса разнотональных напевов, часто перемежаемых, – все это такой материал, которым всякий регент должен владеть вполне твердо и безукоризненно.

Вторая часть регентской опытности – знание певческой литературы, как сколько-нибудь серьезной, так отчасти и той, мною вполне отрицаемой, в которой заключена столь симпатичная русскому слуху отличная хоровая звучность при полнейшей музыкальной бессодержательности, все-таки за эту звучность очень любимой богомольцами и церковными старостами, более же того начальниками духовно-учебных заведений.

Третья часть регентской опытности относится к борьбе нового направления с двумя старыми: к борьбе со всякими Дегтяревыми, веделями, викторами²⁷² и, как ни странно сказать, к борьбе с ревнителями за «Знаменский» (вместо знаменного) распев. В этой области приходилось воевать со «знатоками», одинаково не понимающими ни пустоцветов первых, ни пустословия вторых, – этого довольно для этой статьи.

Наконец, четвертая часть регентской опытности касалась столь простой, но не культивировавшейся области постановки голоса и курсов самых элементарных сольфеджио, надобных для учителя пения, особенно же церковного и притом русского. Для этого – кроме выработанных в Синодальном училище курсов В.С. Тютюнника и А.Д. Кастальского, доведшего свой курс до степени образования **русских** певцов (то есть с помощью составленных сольфеджий из древнерусских церковных напевов, из русских народных песен и из образцов Глинки, Мусоргского, Бородина, Балакирева, Римского-Корсакова и др.), в курсе училища была выработана особая подробная и методически последовательная учительская

программа изучения древнего церковного пения, с помощью знания которой являлась возможность умного отношения к программам курсов пения в духовно-учебных заведениях. Я отношу это, по соглашению с моими товарищами, к расширению моими учениками здравомысленных параграфов тех программ и к вполне умному игнорированию многих частей тех же программ, нелепость которых очевидна всякому учителю.

С другой стороны, ничто не учит так молодых регентов находчивости и разносторонности, владению собой перед хором, как стыд и горький опыт, скоро приносящий пользу ученической неопытности. Охотно признаю, что ученики первых выпусков Синодального училища обнаруживали относительно значительную малосостоятельность в качестве регентов, так как ни средства училища, ни отсутствие практики не могли выработать в них именно «регента» немедленно при окончании курса. Но я совершенно убежденно утверждаю, как *a priori*, так и по знанию мною первых шагов моих учеников, что стыд и горький опыт проходилась ими несравненно легче, скорей и плодотворнее, чем я смел предполагать.

Уже теоретические мои додумки и откровеннейшая со мною переписка и личные сношения с учениками первого и второго выпуска утвердили меня в верности моего взгляда на дело и в практической выгоде для учеников и для самой жизни училища именно усиления теоретических и общеобразовательных курсов. Я представлял себе моих учеников по окончании курса именно как **учителей русского пения**, как борцов с заполнившей наши клиросы дребеденью вроде сочинений Виктора, Феофана, Багрецова на севере и Веделя и Дегтярева на юге Русской земли, – как будущих бедняков, имеющих (при бесправии-то самого училища!) всего лишь 280 рублей годового оклада (да еще без квартиры) в должности учителя пения в духовном училище. Для этой именно указанной уставом **учительской с детьми** деятельности надобен был именно учитель пения, а не опытный, набивший руку регент. С другой стороны, я предполагал, что мой ученик, заехавший в какую-нибудь Елабугу или в еще более глухой городок, спасет себя от голода уроками на скрипке, фортепиано, виолончели, создаст себе

этим положение надобного человека, вполне выдающегося там своим искусством. Эти предположения вполне оправдались. Мои ученики, очень много испытывавшие в первый год в области регентской практики, скоро стали умными регентами, но вместе и желанными людьми. Так как начальство до времени не путалось в порядки Синодального училища, не умничало, то и дело вскоре начало устраиваться дружно, весело и энергично, по определенному плану, но все же считаясь с живыми людьми, с тормозившим дело наследием от бывшей неурядицы. По всем этим соображениям, в связи с требованиями устава, в связи с деятельностью хора в Успенском соборе, в связи с ходом улучшения внутренней жизни училища, был выработан учебный план образовательных и музыкальных курсов Синодального училища. Этот план, так сказать, общий, принципиальный, был, кроме того, разработан и для каждого из классов на предстоящие три-четыре года, в которые было надобно навести и наверстать опущенное в прошлом. Самые младшие классы, то есть пригласительный, первый и второй, начали свои курсы по этому плану с 1890/91 учебного года, классы третий, четвертый, пятый и вновь затем открытый (1890/91 учебный год) шестой класс проходили свои программы в несколько форсированной форме, слабой в третьем и очень усиленной в шестом классах.

Чтобы судить, в какой степени прокурор А.Н. Шишков совершенно не понимал ни задач училища, ни своих отношений к нему, достаточно упомянуть о столь прославивших нас «всенощных». Эти всенощные в зале училища я завел в первые же месяцы моего директорства именно для практических занятий старших учеников в управлении ученическим хором. Всенощные эти предполагались вполне домашними, без доступа на них кого-либо из посторонних лиц, так как предполагалось избежать простуды мальчиков, отправлявшихся в церковь сейчас же после вечернего чая, и такой же простуды от духоты в маленькой, душной и тесной церкви Малого Вознесения, тогда еще не перестроенной. Я застал в ней пение вполне оригинального хора за всенощными: пело зараз 60 голосистых мальчиков Синодального хора с одним басом и

одним тенором из больших певцов, посылавшихся по очереди. Так как среди больших певчих, ученье которых уже было мною начато, было уже несколько намеченных мною в качестве будущих регентов для отделений Синодального хора, то я устроил ученический хор из них и из спавших с голоса старших учеников, прибавив к ним по несколько более опытных дискантов и альтов. Для этого хора были устроены особые «дирижерские спевки» (то есть **все** участники этого хора приучались во время этих спевков к управлению хором, перенимая движения В.С. Орлова и слушая его объяснения тех или иных движений, планов задания тона, переходов из одного гласа в другой и т.п.), а самые службы были распределены между участниками хора, причем, конечно, львиная часть доставалась будущему первому выпуску Синодального училища.

Но случилось нечто неожиданное. Шишков нашел надобным сделать из наших всенощных нечто не только не отвечающее нашим нуждам, но прямо что-то вредное для нас, частью же даже и неприличное. Он начал приглашать на эти всенощные всяких графинь и княгинь, всякое генеральское старье, для которого, конечно, пение ученического хора было недопустимо по своей слабости, почему и было заменено пением Синодального хора. Таким образом были лишены ученики надобной им регентской практики, а на хор Синодальный (несмотря на то, что часть его в эту же ночь пела заутреню) было взвалено по крайней мере 40–45 лишних служб, что, конечно, было очень обременительно. Вскоре затем наши почетные посетители были рассортированы на стоящих в зале и приглашенных на ковры, где для них ставились кресла; затем наша публика нашла, что почти час с четвертью для всенощной очень долго, а в шесть часов начало всенощной мешает их обедам – мы стали начинать наши всенощные в восемь часов вечера и сокращать их наподобие придворных; наконец, публика постепенно начала скучать за всенощными напевами, спрашивая, «что будет пропето новенькое», – мы стали писать программы всенощных, петь всякий вздор, так что на третий год, в новом уже зале Синодального училища, наши всенощные

обратились в какие-то рауты высшего общества. Всякая старость и дряхлость прямо сидела в креслах всю всюнощную от начала до конца, синодальные певчие старались сделать всюнощные музыкально интересными, молодые люди дошли до того, что под предлогом длинной службы и т.п. прямо прохаживались парами по всем классам и коридорам училища, шушукая, составляя без умолку хохотавшие кружки, создавшие даже надобность устраивать каждый раз особую курительную комнату. Публика наша стала собираться значительно заблаговременно (конечно, молодежь), а расходиться значительно позже окончания всюнощных. Я воспользовался однажды приездом К.П. Победоносцева, рассказал ему подробности наших всюнощных и пригласил его взглянуть самому, что делается под предлогом молений нашими малodelикатными гостями. Конечно, всюнощные были прекращены немедленно. Это было уже при Ширинском-Шихматове. Возобновление всюнощных по моему плану, то есть с целью регентской практики для наших учеников, пришлось уже на долю второго курса 1894 года. Три года были пропущены. Это желание угодить всем чужим богам, не рассуждая о нуждах хора и училища, проходило через все действия Шишкова. Но даже и это было бы терпимо, если бы к такому режиму не примешивалось иногда грубое самодурство, глупейшее генеральство и еще более глупейшее ханжество... Понятно, что о совете и о содействии к устройству научных и музыкальных программ со стороны такого начальника не могло быть и речи. Приходилось лавировать, делая свое дело и глядя в оба глаза, чтобы не вооружить «сумасшедшего старика».

По первоначальному плану Синодальное училище разделялось на два отделения, певческое и регентское, с четырьмя классами в каждом. Младшее отделение, усиленное при мне еще подготовительным классом, состояло из шестидесяти казеннокоштных вакансий, на регентское же отделение полагалось всего пятнадцать, то есть почти по четыре человека в каждом классе. Кроме казеннокоштных учеников, допускались еще пансионеры с платою по 135 рублей (то есть за цену содержания каждого казеннокоштного ученика).

В младших классах полагалось общее начальное обучение с усиленным курсом церковного пения и с началом обучения сольфеджио и игра на скрипке и на фортепиано разом в третьем классе. В четвертых классах регентского отделения науки доводились до курса учительских семинарий, а музыка была указана огулом: основания гармонии, контрапункта, история церковного пения и игра на инструментах. В пределах всех этих вех постепенно были организованы курсы обоих отделений со значительно расширенными программами. Основная мысль певческого отделения была развита в смысле не только подготовительного курса к отделению регентскому, но и ввиду надобности образовать отличного малолетнего певца для Синодального хора. Поэтому в курсы певческого отделения, кроме общеобразовательных предметов по программе трехклассных городских училищ (приблизительно), введены в подготовительном классе: постановка голосов и курс элементарнейших сольфеджио, главнейшие песнопения литургии и всенощной, равно и начальный курс фортепиано. Кроме постановки голосов (класс даровитого Василия Саввича Тютюнника), все эти курсы проводились под руководством старших учеников. В первом и втором классах: курсы церковного пения, сольфеджио и (второй класс) элементарной теории под руководством преподавателей и курс фортепиано и (со второго полугодия второго класса) скрипки под руководством старших учеников. В третьем классе: первый курс древних знаменных напевов, гармонические сочетания из употребительнейших в обычном простом хоровом пении (так называемая «элементарная гармония за фортепиано»), курс двухголосных контрапунктических и канонических сольфеджио и курсы скрипки и фортепиано под руководством преподавателей. В четвертом классе: продолжение курса древних роспевов (греческого, болгарского, киевского), главнейшие основания контрапункта в легчайших общеизвестных примерах из духовно-музыкальных произведений и кратчайшая энциклопедия на таких ее примерах и из фортепианных простейших сочинений; дальнейший курс сольфеджио с примерами более трудного контрапунктического склада и курс скрипки и фортепиано. В

пятом, то есть первом регентском классе: повторение всей элементарной теории и первый курс гармонии; курс мелодических и контрапунктических сольфеджио из русских песен и сочинений Глинки, Бородина, Балакирева, Римского-Корсакова, Чайковского и других. Начало практических занятий по церковному пению с учениками приготовительного класса. В шестом классе: вторая гармония, продолжение курса сольфеджио пятого класса и практические занятия с учениками приготовительного и первого класса по фортепиано; репетиторство сольфеджио с учениками первого класса. В седьмом классе: подробно курс строгого контрапункта, история церковного пения и, в частности, изучение знаменной нотации; практические упражнения в чтении партитуры и управлении хором; практические занятия в преподавании фортепиано и скрипки с учениками первых и вторых классов; участие в классе постановки голосов и курс методики пения. В восьмом классе: энциклопедия, продолжение курсов истории церковного пения, знаменной нотации и все остальные практические курсы седьмого класса с прибавлением дидактики.

К этим курсам регентского отделения прибавлялись продолжения курса фортепиано, курса скрипки (или, для желающих, виолончели), участие в ученическом оркестре и, при нении классиков, участие в спевках Синодального хора. О пределах научных курсов в регентском отделении было уже сказано, что они приближались к курсам в учительских семинариях. Такое сочетание художественных, научных и практических занятий выработалось в течение ряда учебных годов, причем в курсах отдельных классов, главным образом старших, так сказать, сгущались подробности этих программ, большая настойчивость в точном их прохождении и в основательности их усвоения. Значительная малая подготовленность старших учеников, их неумение распоряжаться экономно своим временем, даже неумение учиться, в связи с разными остатками дореформенного быта, конечно, не допускали (по крайней мере, в течение пяти лет) такого состояния учебного дела в Синодальном училище, при котором бы успешное обучение было делом простым,

спокойным и вполне последовательным. Дело шло медленно, неторопливо, но основательно, так как переродить атмосферу училища, связанного с хором, вычистить старую грязь и заставить работать как учеников, так и наверху стоящих, было очень трудно, и было надобно немало всякого рода уступок, чтобы обратить наконец все и вся на обдуманную и понятную, удобную и целесообразную работу.

В этой работе с начала и до самого конца был моим неоценимым помощником В.С. Орлов и затем целая группа учеников, желавших учиться и воспользоваться освобождением их от тяжелого гнета всяких «солистов». Вскоре к этому движению присоединились воспитатели, потом один за другим – преподаватели, и дело вступило на новую дорогу. Лишь прокурор Шишков, несмотря на свои седины, да «солисты» остались в числе самых упорных противников нового порядка и блюстителями своих действительных и мнимых прерогатив. Насколько было труднее осилить последних – решить не умею. Но первого, ни за что не отвечавшего, во все путавшегося, во всем мешавшего только потому, что он начальник и что он должен же чем-либо проявить свое начальствование, – осилить было не только трудно, но в некоторых случаях прямо и невозможно. За него стояла служебная власть, полномочия, моя обязанность беспрекословного повиновения; в частности, кроме служебной подчиненности я чрезвычайно затруднялся в случаях надобности вразумления моего «сумасшедшего старика» тем, что всякая грубость, всякий окрик, всякое начальническое озорство приводят меня прежде всего в состояние растерянности, безнадежной временной ненаходчивости даже и теперь.

В 1889, 1890 и 1891 годах я еще был сам неопытным начальником, неуверенным распорядителем и не обладал смелостью и находчивостью в решениях при отдельных случаях училищной жизни. Мое положение в Москве как человека ей совсем чуждого, как не приглядевшегося, в свою очередь, к той же Москве было иногда вполне беспомощно, а при натиске прокурора, при запущенности во всем всего дела – иногда тяжело в высшей степени. Только твердое убеждение в

верности выбранной и вполне обдуманной дороги, благословение из Казани от Н.И. Ильминского, благословение моего нового, к этому времени уже испытанного друга в Татеве – С.А. Рачинского и через него простые внеслужебные сношения прямо с К.П. Победоносцевым утвердили меня в решимости энергично взяться за работу. Я так и сделал немедленно после того, как огляделся кругом. Это было осенью 1889 года.

Изложение этой упорной борьбы разделяю в двух характеристиках: «Прокурор А.Н. Шишков» и «Прокурор князь А.А. Ширинский-Шихматов». Синодальному хору как художественному учреждению посвящается отдельный очерк, в котором, кроме музыкальных подробностей, кроме своеобразных частных его быта и особенностей службы, попытаюсь объяснить план обучения и перевоспитания Синодального хора из хора обыкновенного церковного в хор артистически образованный, выработавший в себе отличную технику, дисциплину и вполне новый образ жизни, приведший Синодальный хор, благодаря труду его превосходного регента В.С. Орлова, к самому полному процветанию и к самой завидной, блестящей репутации. Вероятно, я буду писать этот параграф моих воспоминаний с особым удовольствием, так как я переживал вместе с этим удивительным Синодальным хором самые упоительные наслаждения, испытывал случаи самого глубокого удовлетворения. Синодальный хор был моя радость, моя гордость. Отдавая сполна всю заслугу В.С. Орлову в доведении этого хора до высокого совершенства, принимаю на себя только то, что я способствовал свободе труда Орлова, оберегал певчих и подбадривал дело лишь в случаях, когда то было неизбежно надобно. От этой моей заслуги по отношению к хору я, по сущей совести, не отрекаюсь и радуюсь, что сумел ее сделать в надобной мере, особенно же в первые годы моей деятельности в Москве.

Прокурор А.Н. Шишков

Первые впечатления, которые произвел на меня Андрей Николаевич Шишков еще в самом конце 1885 года, когда я познакомился с ним во время моего приезда в Санкт-Петербург, были самые очаровательные. Старец, из хорошей семьи, довольно благовоспитанный, очень хотел, чтобы я принял его предложение быть директором только что преобразованных Синодального хора и училища. Понятно, что он был со мною крайне любезен. Дело, однако, не устроилось, так как устав Синодального хора мне совсем пришелся не по душе – положение директора отягчалось, кроме заведования художественною, учебною, хозяйственною частями в хоре и в училище, еще зачем-то управлением недвижимыми имуществами Св. Синода в Москве и ее окрестностях. Я посоветовался о предложении Шишкова с Н.И. Ильминским и отказался. Мотивами моего отказа я выставил то, что, занимаясь музыкой и учебным делом, я решительно не в состоянии быть заведующим арендаторами и смотрителем зданий, а также и то, что положение директора, как то было видно из устава, представляется чрезвычайно бессильным, хотя и вполне ответственным, в сравнении с всемогущим по отношению к директору, хору и училищу прокурором, не несущим никакой ответственности. Так дело и не сладилось, и единственный толк из бывших переговоров был тот, что через три года, когда мне предложили место директора во второй раз, уже не было и речи о надобности директору Синодального хора управлять какими-то мельницами, лугами, лавками и т.п.

Я уже упоминал, как неожиданно случилось второе предложение мне места директора 6 января 1889 года и как затянулось мое определение до июля этого года. Прописано выше и о состоянии училища во время моего приезда. Когда я, после наблюдения в течение двух-трех недель, успел достаточно вникнуть в окружающее, сила вещей заставила меня повести разговор с прокурором о том, где начинаются его полномочия как высшей инстанции после власти директора. Я

заметил прежде всего сопение старца, выражавшее (как потом уверился) высокую степень его неудовольствия, и затем услышал, что он как начальник имеет право входить во все, распоряжаться всем, руководить всем, оставляя директору только исполнение его, прокурора, приказаний. Я возразил, что при таком неразмежевании областей ведения мне представляется вполне непонятным его, прокурора, название: «управляющий Синодальным хором и училищем церковного пения», тем более что при управляющем состоит и юридически установленное «управление» теми же учреждениями из нескольких лиц (управляющий, директор, регент, смотритель за недвижимыми имуществами и делопроизводитель); но мне представляется в то же время совершенно непонятным, как должно толковать слово «директор», если он «как несущий ответственность за благоустройство и благопреуспеяние Синодального хора и училища во всех частях» (§ устава), по словам прокурора, есть только исполнитель его приказаний, а не главный начальник, «прямой» (directeur) начальник всего? «Как согласить, – спрашивал я Шишкова, – ответственность директора при его положении только исполнителя ваших приказаний и вашу неотвеченность ни в чем при праве распоряжаться всем?». Шишков ответил мне, что он, конечно, понимает надобность самостоятельности директора «в известной мере», но затрудняется объяснить мне между между его и моею служебною компетенцией). «Не беспокойтесь, пожалуйста, – говорил он, – мы всегда сумеем столкнуться». На деле, однако, оказывалось другое.

Впрочем, сначала о Шишкове как о человеке. Это был (1889) старец почти под 70 лет, вполне здоровый, трезвый, добрый относительно своих любимцев и очень недобрый по отношению к людям почему-либо ему не понравившимся, необыкновенно вспыльчивый и вполне нелепый в эти минуты, начавший сильно стареть и от того лениться и обезволивать. Шишков, которого К.П. Победоносцев прозвал «сумасшедший старик», был богомолен, но вполне своеобразно. Он говел каждый пост, почти ежедневно ходил к обедне то в ту, то в другую церковь. Во время присутствия при богослужении он

решительно не мог простоять на месте хотя бы четверть часа, а всегда гулял по церкви, разговаривая с любым встречным в ней, даже с незнакомыми. Мысль его как-то не могла сосредоточиваться долго на одном предмете.

Например, вот почти картинка с натуры в продолжение десяти или двадцати минут: Шишков стоит в церкви и, охая, приговаривает, вспоминая сегодняшнего святого: «О-хо-хо! О-хо-хо! Святителю отче... моли Бога о нас! Пресвятая Богородица, спаси нас! (К соседу:) Вот этот священник – такой-сякой, то-се, так и так. (Подпевая:) Господи, по-ми-луй... (Приговаривая про себя вслед за дьяконом:) Христианския кончины живота нашего, безболезненной, непостыд... (К соседу:) У священника в прошлом году было в семье то-то, а он ведь сам-то пьяница, картежник и сутяга, табак курит... О-хо-хо... Подай, Господи. Тебе, Господи. (Соседу:) Где Вы теперь служите? (Или:) Не знаете ли, кто эта барышня (или барыня), какие миленькие у нее дети!». И Шишков сейчас отходил от соседа, шел к детям, ласкал их, говорил даме комплементы, спрашивал, давно ль она замужем, как ее фамилия и прочее. Сейчас же, оставив даму, Шишков шел в алтарь принять благословение от того самого священника, которого только что описал незнакомому соседу как весьма непочтенного; потом смотрел различные иконы или делал выговор псаломщику за невнятное чтение... «О-хо-хо, о-хо-хо, а вы слышали, батюшка... впрочем, нет!... Где у вас в храме икона Тихона Задонского?» и тому подобное.

Совершенно другой был Шишков в надобных случаях, когда он чувствовал себя «тайным [советником]» или вообще в положении крупной административной единицы, особенно же если Шишков в кругу присутствующих оказывался старшим. При своей живости и подвижности, вспыльчивости и даже бестактности Шишков был способен к действиям явно несправедливым, пристрастным, мстительным, даже и к фальшивым, если к тому представлялась надобность для достижения каких-либо целей. Эксплуатация им своего генеральства и своего служебного положения, способность к внезапным переменам фронта, к забвению только что бывшего

своего слова и к толкованию его в ином смысле совсем уже не гармонировали с седой старостью. Старец бывал в этих случаях невыносимо груб, дерзок, криклив и затем весьма злопамятен и мстителен, а при своей болтливости и подвижности – очень зловреден, вполне оправдывая кличку Победоносцева «сумасшедший старик». Его нисколько не останавливала невозможность вступаться и впутываться в чужие дела, в отношения людей, нисколько его не касающиеся; он начинал задирать людей совершенно посторонних, сначала удивлявшихся его непрошеному вмешательству, потом же возмущавшихся его грубым и назойливым генеральством. Понятно, что в таких случаях Шишкову постоянно случалось сталкиваться с умными, независимыми и благородными людьми, дававшими ему жестокие отпоры. Тогда Шишков не задумывался уже перед действиями, не приносящими ничего, кроме обнаружения его же самодурства, его же неразборчивости в средствах, ставившими его в положение и жалкое, и прямо грубое, подлое.

[К числу таких людей,] между многими другими, считаю долгом занести на страницы своих воспоминаний высокообразованного и очень развитого, симпатичного Михаила Васильевича Никольского, инспектора Синодальной типографии и единственного, кажется, знатока гвоздеобразных ассирийских письменных памятников. Конечно, в последних я ничего не понимаю, но решаюсь осудить Шишкова и, особенно, Победоносцева за то, что оба не дали себе труда оценить и удержать в своем ведомстве такого выдающегося по уму и образованию человека. Слов нет, Михаил Васильевич был горяч, правдив и резок, но его голова стоила десятка голов, а его честность и порядочность могли бы избавить Шишкова от многих бед и грубых ошибок. Я немало приглядывался к Никольскому, знал его письма-выходки к Ильминскому из-за «излей меч»²⁷³ и все-таки остался при самом высоком уважении к его порядочности, учености и служению правде. Протест Никольского против назначения безличного «не вора» Войта в управляющие Синодальной типографией совершенно покорило мое сердце к этому рыцарю науки и правды. Никольский

доезжал Шишкова бумагами, требуя, чтобы нелепые приказания Шишкова были изложены ему письменно.

Вот еще несколько примеров.

До своей московской службы Шишков был управляющим акцизными сборами во Владимире и близко сошелся там с добрым, но нетвердым по характеру архиепископом Феогностом (ныне Киевским митрополитом). Это сближение повело к тому, что Шишков, преобразившись в так называемого «архиерейского кота», в «трисвятую песнь припевающего», стал припутывать к своим акцизным ревизиям но уездам обзоры церквей, монастырей, передачу жалоб владыке, перенос сплетен ему же и, конечно, свои воздействия на бесхарактерного архиерея. Таким образом выработался понемногу во Владимире «акцизный викарный», получивший весьма значительное, а благодаря личным отрицательным качествам, и весьма вредное влияние, от которого вскоре застонала вся епархия. Нетрудно понять, как скоро раскусили Шишкова люди, устраивающие свои делишки, а не служащие правде, имеющие способности пролезать вперед за чужой спиной, поглаживая эту спину. Шишков был особенно податлив на уступки всякой лести ему и услужливости его слабостям. Немудрено, что сейчас же появились люди, выдававшие себя за богомольных и сочувствующих Братству св. Александра Невского во Владимире, и церковно-приходским школам, и восстановлению древней иконописи и прочее, прочее. Вскоре полезла вперед всякая дрянь, подделывавшаяся под роли всякого рода воздыхателей и ревнителей, но в то же время бойко обделывавшая свои делишки по денежной части, по части получения всяческих чинов, орденов и проч. Благодушнейший и действительно благочестивый Феогност вскоре оказался окруженным дружною тучею казнокрадов и взяточников, и епархия застонала... Конечно, сам Шишков вполне свободен от всяких упреков по части всякого воровства, но зато и вполне виновен в неуменье сколько-нибудь разглядеть и оценить людей и в неуменье понять всю мерзость всякой лести и ханжества.

Вскоре после оправдались слова петровского указа, что «около высоких особ бывают незримыя превеликия скотины».

Появились такие утонченные взяточники и воры, торговавшие всем святым без зазрения совести, что встали в тупик и Шишков и Феогност. Они оба поняли наконец, что ревновавшие о какой-либо суздальской живописи и о сохранении и восстановлении традиций истового русского иконописного искусства или об истинном благочестии монашеского жития и подвига были, по правде сказать, простые мошенники, хотя и изстоявших перед престолом Божиим... *Nomina sunt odiosa*²⁷⁴, но за такое благочестие Шишков все-таки попал в прокуроры.

Не менее выразителен весь ход истории с отцом Николаем Васильевичем Благоразумовым, одним из восхитительных людей, вполне чистосердечных, вполне безукоризненной жизни, но из скромно чистых и вполне высокочестных и благовоспитанных людей, которые не сочли надобным даже и подумать о какой-либо обязанности забежать вперед, чтобы выслужиться перед Шишковым. В это время он [Благоразумов] кончал свою 25-летнюю службу ректором Московской духовной семинарии, окруженный общим почтением и общою преданностью как товарищей, так и учеников. Ученики, конечно, часто нарушали душевный покой своего застенчивого ректора и иногда очень волновали его чистую, строгую и добрую душу. Мне рассказывали такой случай: однажды после какого-то общего в двух-трех классах происшествия о. Благоразумов взволнованно ходил перед успокаивавшими его преподавателями и восклицал: «Ах, негодяи, ах, бездельники! Вот я их, посмотрите, как я их побраню сейчас же в столовой...». Войдя в столовую, о. ректор некоторое время ходил, не решаясь начать свой выговор. Наконец решимость пришла к нему. «Господа, вам должно быть очень стыдно», – конфузливо произнес старик, спеша тут же уйти из столовой. Он вошел к преподавателям вполне сияющим. «Я их сейчас сильно распекал, – были его первые слова, – покончимте эту историю».

Жестокая борьба митрополита Иоанникия Московского (вполне заслуженно почитавшего о. Благоразумова как достойного ректора Московской духовной семинарии) с К.П. Победоносцевым дала повод Шишкову разыграть впоследствии вполне жестокую расправу с этим достойнейшим идеалистом.

Пущено было в ход все: и обвинения в не православии, и обвинения в склонности к лютеранскому богословию, и даже в непочтении к власти имевшим. Нужно сказать правду, что этот о. Благоразумов, вполне чистый, безукоризненный священник, был близорук и необыкновенно застенчив; его глупая и бестактная жена, справедливо чуть не молившаяся на своего мужа, вредила много ему своей взбалмошностью. Однажды и мне, совершенно незнакомому с этой особой, пришлось испытать меру ее бестактности и взбалмошности. Я познакомился с о. Благоразумовым уже в бытность его протопресвитером Успенского собора, и мне пришлось быть впервые у него как раз в день его именин (6 декабря) и во время самого разгара его неприятностей с Шишковым. Понятно, что я стоял совершенно вне этих неприятностей. Жена о. Благоразумова, однако, приняла мой приход за какое-то соглядатайство и, признаться, наговорила мне при большом обществе ее гостей, незнакомых мне, такую кучу дерзостей, что я совсем растерялся и не знал, что предпринять. Сидевший рядом со мной о. Благоразумов сначала пробовал унять свою супругу, потом сам растерялся и чувствовал себя, конечно, более способным провалиться сквозь землю. Гости также растерялись... Сначала, когда разговор был еще не резок, я кое-как возражал хозяйке дома, считавшей меня за одного из агентов Шишкова в Успенском соборе против ее мужа, наконец она вспылила и заявила мне, что смешно, жалко и глупо директору Синодального хора быть на побегушках самодур-прокурора и врываться под предлогом поздравления с днем ангела в дом честного человека. Как я ни уверял матушку, что она ошибается, она продолжала пылить еще более, так что я, наконец, извинился перед гостями и ушел, увидав слезы на глазах о. Благоразумова. Конечно, спустя некоторое время произошедшее недоразумение выяснилось само собою.

Дело было поведено так, что близорукость о. Благоразумова и разглядывание разговаривавших с ним лиц были трактуемы Шишковым как демонстративное неуважение к «нему», Шишкову – «правой руке Победоносцева в Москве», что застенчивость о. Благоразумова была истолкована за

нежелание давать объяснения (хотя бы и не требовавшиеся по закону и нисколько не обязательные) самому «прокурору», да еще «тайному советнику» Шишкову. Коротко сказать – празднование 25-летия ректорства о. Благоразумова было обрисовано Шишковым как нечто вроде бунта, инспирированного Иоанникием, уже бывшим в Киеве.

Иоанникий, митрополит Московский, был, сколько я наблюдал его, очень добрый, простой и умный человек, хорошей, строгой и деловой жизни. Служение его в храме было великолепно, величаво и молитвенно. Он очень воевал в Синоде с «чиновниками», в сущности вертевшими за спинами архиереев всеми делами Синода. Так как чиновники не желали выпускать из рук властное положение, то они весьма ловко выбирали архиереев, вызываемых в Санкт-Петербург, ссорили их между собою, награждали покорных и давали чувствовать более самостоятельным всю силу своего влияния. Таким образом более умные архиереи Иоанникий, Антоний (нынешний Санкт-Петербургский митрополит), Никанор Уфимский и другие занялись устройством ансамбля святителей и началом войны с весьма выдрессированным полчищем чиновников с ловким Саблером во главе их и с подставным добряком Победоносцевым, в которого, минуя Саблера, попадали все архиерейские стрелы и атаки. Будущему историку Синода придется написать про эту страстную и напряженную борьбу очень интересную страницу. Ума и ловкости с обеих сторон сколько угодно, но «святительство», «сосуд Святого Духа» и прочие воображаемые прерогативы архиереев оказались отжившими свое время среди тех же архиереев-людей, на которых наконец Саблер с К^о стал разыгрывать всё надобное чиновникам, как на фортепианных клавишах.

Самой несимпатичной, предсмертной страницей деятельности Иоанникия я считаю его настояние в деле тайной выходки Синода против писателя графа Л.Н. Толстого, о лишении которого христианского погребения я сам читал секретный указ Св. Синода в виде секретного же указа по церквам из Владимирской духовной консистории. Зачем это было нужно (1898), как и последовавшая гласная выходка

(1901) против того же писателя – мне не понятно.²⁷⁵ Я сужу об этом спустя почти два года, принимая во внимание и последствия всего бывшего.

Жесточайшая, полная ненависти борьба Победоносцева с Иоанникием (то есть, в сущности, обоих их как подставных лиц) кончилась «повышением» последнего в Киевские митрополиты и сопровождалась в Москве рядом вполне неприличных выходок всякого рода всяких людей. После такого удаления главара-святителя рушился их ансамбль, и опять началось обезличение Синода и торжество шайки дельцов, про которую как-то Победоносцев выразился: «Уж на что интендантство, но и там, кажется, нет такого воровства, как у нас в «святейшем, правительствующем» и в наших знаменитых консисториях».

Понятно, что после «повышения» Иоанникия из Московских митрополитов в Киевские легко устроился, но уже по уходе Шишкова, перевод заслуженного о. Благоразумова сначала в протопресвитеры Успенского собора, но с лишением его места члена Синодальной конторы, а потом во второстепенный приход Москвы (церковь на Пресне около Зоологического сада). Нетрудно догадаться, что о. Янышев вскоре вступился за своего товарища и, к полнейшей досаде московских и петербургских дельцов, устроил его вполне почетно в начальники московского придворного духовенства, где он был вполне гарантирован от всяких прокуроров и обер-прокуроров, как и от преемников стойкого митрополита Иоанникия. Нетрудно представить, что был принужден пережить и перечувствовать этот удивительный протоиерей, незлобивый и благороднейший о. Благоразумов.

Не менее характерна история с Эрарским. Для характеристики этого чудного артиста-педагога прилагаю мою брошюру, посвященную его памяти.²⁷⁶ Подчеркиваю лишь то, что в мое отсутствие (а я уезжал по семейным делам на зимнюю вакацию в Казань) Шишков обнаружил, так сказать, на свободе мерку своего понимания такого тонкого и изящного явления, как «Детский оркестр» Эрарского. Я хорошо помню, и в моих дневниках хранится прекурьезная афиша первого концерта «Детского оркестра» в Синодальном училище. Шишков внезапно нашел, давно косясь на наши затеи, что «он» еще

может, пожалуй, допустить такие оркестровые занятия дома, но заявить публично, на афише, о предстоящем исполнении «Мазурки» Шопена или «Полонеза» Шуберта – есть полный скандал для «духовно-учебного заведения». Поэтому вновь напечатанная афиша гласила, что 31 декабря 1891 года будет «детское музыкальное утро» («Детский оркестр Эрарского» – было найдено «неудобным» выражением), на котором будут исполнены «Allegro» Шопена (Мазурка), «Пьеска» Эрарского (изящнейшая «Кукушка»), «Allegretto», «Lento» Шумана, «Maestoso» (Полонез) Шуберта... Даже «Песня норвежских рыбаков» почему-то показалась Шишкову подозрительною в своем названии, и была пропечатана «Норвежская мелодия»...

Около этого же времени скрипач Крейн²⁷⁷ (крещеный еврей) с какою-то также еврейкой-пианисткой задумали посетить Шишкова и обеспокоить его просьбой о разрешении им дать концерт в зале Синодального училища. Попали ли они в минуту дурного расположения духа Шишкова или другое что, но только прием их сразу начался криком, руготней, всякими издевательствами в такой степени, что бедная пианистка заплакала, а взбешенный Крейн вдруг остановил Шишкова словами: «Вы, ваше превосходительство, – просто старый дурак... Пойдемте-ка, Люси». «Вон отсюда», – заорал Шишков на уходивших уже артистов. В передней Крейн зачем-то спросил лакея: «Неужели ваш полоумный генерал всегда такой?». «Никак нет-с, – последовал ответ. – Они не пьют, не курят и каждый день куда-нибудь к обедне и ко всенощной ходят».

Но достаточно было Победоносцеву и Рачинскому по моем возвращении в Москву посетить Эрарского²⁷⁸, как тот же Шишков (ни разу до того не посещавший занятия этого оркестра) уже подпевал так: «Я давно говорил, я всячески поддерживал; мне казалось, что Степан Васильевич не достаточно ценит Эрарского», и т.п. Достаточно было В.И. Сафонову однажды лестно похвалить Шишкову того же Крейна, и стал Крейн хороший человек.

Не менее характерна и стычка Шишкова с Чайковским, совпавшая с кандидатурою в директоры Синодального училища

Семена Николаевича Кругликова. Это случилось незадолго до начала переговоров со мною.

Незабвенный Петр Ильич живо интересовался Синодальным хором, куда по его рекомендации поступил регентом В.С. Орлов²⁷⁹; часто ходил в Успенский собор (он становился всегда у правой задней колонны, с правой ее стороны), писал в это время свою Всенощную, несмотря на знаменитый бахметевский скандал с его Обеднею. ***Интереснейшее дело об Обедне Чайковского и о дикой выходке Бахметева находится в архиве Капеллы до сих пор. В октябре 1903 года я напечатал выдержки из того дела в «Русской музыкальной газете».***²⁸⁰ Но тот же Чайковский, по суждению Шишкова, потряс основы русского благочестия и поколебал остатки векового почтения к духовенству созданием комической роли дьячка в своей опере «Кузнец Вакула» («Черевички» тож). Шишков, как говорят, позволил себе сделать грубое замечание в этом смысле Чайковскому, требуя исключения номеров из оперы, где фигурирует этот дьячок... Знаменитый фельетон об унижении духовенства Чайковским принадлежит профессору Петербургской консерватории Николаю Феопемптовичу Соловьеву. «Я верующий», – сказал он на упреки Римского-Корсакова. Мне говорили, что будто бы существует по этому поводу письмо Шишкова к Чайковскому.²⁸¹ Нетрудно представить, как отвернулась «мимоза» от Синодального хора, на который так любовался Чайковский еще во время его первоначальной выучки. Но судьбе было угодно, чтобы этот случай совпал со временем переговоров о кандидатуре Кругликова на место директора Синодального училища. Кругликов в простоте душевной зашел к Шишкову в один из жарких летних дней одетым в летнее платье. Такое «вольнодумство» якобы «просителя» у него, «тайного советника», возмутило Шишкова, и когда вольнодумец высказал свое полное недоумение об опасениях Шишкова по поводу соблазна, производимого «Черевичками», – провалило кандидатуру Кругликова совершенно. Об этом «репортере» Шишков даже избегал говорить, но сказал мне однажды, что он

едва-едва не сделал ошибки, думая о кандидатуре Кругликова, который «и одеться-то не умел порядочно», «мог бы понять, к кому пришел», и т.п.²⁸²

К этому ряду штрихов, которыми я обрисовал фигуру Шишкова, можно добавить еще то, что он, твердо помнивший и заставлявший других памятовать о его чине «тайный советник», весьма часто терялся от какой-либо неожиданности, а в гневе от нее только усугублял какой-либо происшедший неловкий случай и сейчас же обвинял лиц ни в чем не повинных, если виноватые почему-либо были у Шишкова в фаворе. За несколько месяцев до моего приезда раскапризничались в Синодальном хоре «солисты» и вздумали вышутить Орлова публично только потому, что в течение поста Шишков вздумал рекламировать хор, и без того измученный службами, еще даровыми домашними концертами, на которые Шишков приглашал всякое богомольное старье из высшего московского общества. Тщетно Орлов просил Шишкова хотя бы не часто устраивать такие концерты. Один раз такой концерт совпал с брожением между недовольными солистами, и случилось вот что. Начали петь концерт Львова «Приклони, Господи, ухо Твое», вторая часть которого начинается квинтетом солистов; когда пришло время, чтобы раздался первый аккорд этого квинтета («Сохрани душу мою...»), Орлов вдруг увидел спокойно молчащие фигуры солистов, заложивших руки за спину... пели только два сопрано, алыт же Хохлов «растерялся» и также не начал петь. Орлов живо нашелся и, внушительно сказав: «С самого начала», – ловко начал концерт. Когда опять подошло пение для квинтета, солист опять устроили молчание. Орлов до такой степени вспылil, что ударил дирижерской (и довольно толстой) палочкой по стоявшему перед ним роялю... Палочка разлетелась вдребезги, и осколки, перелетев через зал, впились в княгинь, графинь, ударив кого-то и очень больно, чуть ли не по лицу... Конечно, замешательство вышло полное, так как после удара палочкой Орлов почему-то не продолжил пение, а прямо ушел с эстрады. И что же? Господа солисты, несмотря на требования Орлова, не были сейчас же удалены, бедный же, оскорбленный Орлов получил наижестокий нагоняй.

Солистов этих (в их числе были известный после оперный баритон Гончаров и тенор Добровольский) прогнал уже я в первые месяцы моей службы в Москве.

В другой раз почти подобная история вышла со мною на съезде врачей. Шишков вдруг вообразил, что будет очень мило и трогательно для иностранцев-врачей, если во время их вечера в «Славянском базаре», где назначено было собрание для начала взаимных знакомств, Синодальный хор познакомит их с древним пением...²⁸³ Нам пришлось долго стоять на эстраде, прежде чем уgomонились расхаживающие и разговаривающие по зале гости, несколько не расположенные к чему-либо церковному, особенно же в послеобеденный час. В соседней зале вдруг раздались восторженные крики и аплодисменты по случаю приехавшего Вирхова, и наши слушатели-иностранцы прямо начали уходить от нас. Я воспользовался этим и отправил хор домой после третьего номера из десяти, назначенных по программе. Совестно вспомнить о том унижении, ненадобном и глупом, какому мы подверглись благодаря желанию Шишкова угодить нашими певцами какому-то распорядителю съезда – кажется, Анатолию Петровичу Богданову. Совестно вспомнить и о том, как было неуместно наше пение перед такой аудиторией. Тут были и подвыпившие люди, и люди, несколько не интересовавшиеся церковным пением, и кричавшие «ура» входившему Вирхову в то время, как мы разводили какое-нибудь «Свете тихий»... были и такие, которые откровенно попросили нас бросить наше пение («мы ведь не монахи, здесь трактир, а не Успенский собор») и исполнить лучше плясовую песню или хоры из опер. Когда я увел хор домой, приехал Шишков и был очень удивлен нашим отсутствием. Я получил жестокий выговор за то, что не сумел заинтересовать такую публику и поставил его превосходительство в ложное положение... Не помню, что именно я ответил ему, но он никак не мог понять, что именно он нас, а не мы его поставили в ложное положение. Шишков долго дулся на меня, упрекая в неповиновении, в «излишней обидчивости», и успокоился только тогда, когда на его

сетования в Петербурге внушили, чтобы бесплатное пение Синодального хора в такой обстановке более не повторялось.

Перед самым уходом Шишкова мы разом поссорились по двум пунктам: я поймал Шишкова во лжи, к которой он прибегнул, думая вывернуться из неприятности, почти скандала, который устроил Победоносцеву в заседании Синода его лютей враг – Московский митрополит Иоанникий. Последнему попался на глаза номер «Московских ведомостей» с объявлением, что 20 января 1893 года назначен в зале Синодального училища концерт Алисы Рейнсхаген. «Доколе же в духовном Синодальном училище, в том самом зале, где служат всенощные, разные жидовки будут играть всякие ненадобные вещи, как то мазурки, вальсы Шопена? Ваше превосходительство, Синодальное училище подчинено вам, чего смотрит там Шишков? Слыхать и то, что хор поет ненадобные католические сочинения, и мои священники и дьяконы ходят слушать их у Смоленского... Когда же будет тому конец?». Победоносцев написал жестокое письмо Шишкову, а этот прикинулся, что от него все делается потихоньку (!), отписал так Победоносцеву, а мне прислал преглупую бумагу. В ответ на это я послал 21 января 1893 такую отповедь Шишкову, что Ф.Ф. Львов сам благословил проучить моего генерала, дабы впредь не лгал и не валил с больной головы на здоровую.²⁸⁴ Второй пункт нашей ссоры вышел из-за того, что Шишков вскипел на меня за позволение многим моим ученикам ходить в театр, ибо «театр только развращает, в нем часто бывает, что духовное сословие поднимается на смех, часто изображаются неверные супружества, влюбленные пары». Наскучив этим вздором, я спросил Шишкова: «Могу ли я, за недосугом более быть у вашего превосходительства, отправить учеников на оперу «Жизнь за царя», билеты на которую присланы от великого князя?». «Нельзя, не позволю», – закричал на меня Шишков. Я попросил генерала остепениться и, оставив его опешившим от такой сдачи, ушел. После этого мы не видались ни разу, так как Шишков вскоре вышел в отставку.

Конечно, служить с таким начальником, да еще после Н.И. Ильминского, было очень тяжело, особенно по моей тогда

малоопытности. В первый год, когда моя работа была так нужна Шишкову, когда и я сам, работая как три вола, с утра до ночи, не замечал косых взглядов Шишкова на подозрительную ему мою «самостоятельность», – мы еще ладили кое-как, так как я прямо требовал от Шишкова не «разрешений», как бы ему хотелось, а его сотрудничества мне во всем надобном, его содействия, помощи. История № 1, в которой Шишков впервые увидел твердость моих требований и мое полнейшее желание быть свободным в своих действиях, разыгралась по следующему поводу. Шишков очень любил хорошенькие детские личики и постоянно одаривал нравившихся ему мальчиков, отталкивая в то же время всякие курносые, некрасивые фигурки, особенно же рыжих, с веснушками или рябых. Приходя в училище, Шишков постоянно раздавал своим любимцам, более же всего «солистам», а также обладавшим смазливенькими рожицами, то конфетки, то картинки (которые тут же, почти на глазах Шишкова, продавались), то гривенники, пятиалтынные, двугривенные... Любимцы его непременно ходили с серебряными часами, подаренными тем же Шишковым. Мальчики курносые или не наглые, не способные к подлейшей в устах детей лести, к сплетне на товарищей, недостаточно бойкие на язык, не толкавшиеся в плотной кучке около Шишкова с протянутой рукой, были им прямо отталкиваемы, прямо обходимы в таких дележах и одариваниях. Я помню, что Шишков пришел однажды в Синодальное училище с дюжиной трехкопеечных кондитерских печений и, раздавая их своим любимцам, не дал некоторым мальчикам, просившим у него, а передал, отводя просивших рукою, те печенья другим, выбирая любимцев в окружающей его толпе учеников. На беду, какой-то бывший «солист» отнял у заревевшего от обиды малыша пирожное чуть не изо рта и даже, кажется, ударил этого малыша. Я не вытерпел и сказал Шишкову вполне возбужденно: «Прошу ваше превосходительство никогда впредь не угощать моих учеников; в школе не может быть ни любимцев, ни обделенных, ни поводов к самому явному и справедливому неудовольствию незаслуженно оскорбляемых учеников... В какое положение ставите вы меня? Я только что отчитал

(помню, что то были Хохлов и алыт Вася Недзельский) этих двоих, а вы их угостили... Посмотрите вот на этих двоих и посудите сами, в какой мере в школе нетерпима такая сцена: один ест, другой с завистью смотрит ему в рот... На что пойдут раздаваемые вами гривенники? Я убедительнейше прошу ваше превосходительство совершенно прекратить ваши подобные отношения к моим ученикам».

Помню, что я так вспылил, что даже убежал от Шишкова, испугавшись возможности в случае, если вспылит и Шишков, наговорить ему что-либо совсем неладное. Мне говорили после, что Шишков совершенно оторопел после этой неожиданной и резкой моей отповеди. Мы бегали друг от друга по крайней мере месяц, хотя я заставил себя на другой же день извиниться перед Шишковым. Но затем как-то по совершенно неожиданному и незначительному поводу Шишков вспылил на меня в свою очередь и отпел меня на тему: «Теперь я не знаю, зачем я буду бывать в Синодальном училище. Прокурор там теперь – «пришей кобыле хвост». (Я, признаться, до сих пор не могу понять, что значат такие три слова.) Вы должны понимать, кто вы и зачем я вас поставил в директоры. Даже назначения певчих на службу, то есть командирования тех или других, в моей власти, а не директора. Всякий новый порядок может быть введен только с моего разрешения, всякое ваше распоряжение должно быть сделано с моего ведома и согласия, так как управляющий хором и училищем **я – прокурор**, а вы только исполнитель моих приказаний и указаний; вам принадлежит только домашняя мелочь, а не общее направление дела и не распоряжение им; вы не более как совмещение старшего регента, старшего воспитателя, главного эконома, старшего учителя, отвечающего за все передо мною; оттого у вас даже отнято право сношений с другими учреждениями, предоставленное только прокурору; оттого для Синодального училища есть особое «управление», состоящее в моем ведении; оттого именно я, прокурор, разрешаю и утверждаю все для Синодального училища по своему, а не по вашему усмотрению; оттого я имею право не разрешать вам все, что бы

вы ни запросили у меня, а вы обязаны исполнять все, что бы я ни приказал...».

Я возразил Шишкову, что прежде всего мне надо делать свое дело, вполне специальное, требующее и особых познаний и особого умения, которых от прокурора совершенно не требуется; затем указал я на пословицу, что ученого учить – только портить; потом, что пример Добровольского, вполне подчинявшегося прокурору, ясно доказал всю опасность для дела распоряжений прокурора, нисколько не обязанного быть ни музыкантом-певцом, ни педагогом; наконец, что все претензии прокурора суть просто произвольные вымыслы, так как власть прокурора с достаточною ясностью указана уставом, положение же директора как непосредственного начальника хора и училища указана там же вполне положительно и что все недоразумение происходит только в непроведенной меже, за которую прокурор зачем-то хочет влазить непременно, не рассуждая о вреде для дела своих неумелых воздействий и о совершенно ненадобном и незаконном, произвольном уменьшении значения директора, ответственного к тому же за все. Я указал Шишкову самый простой выход из нашего столкновения: он – начальник надо мной, я – директор надо всем; он – прокурор, и только между прочими своими делами управляет и Синодальным хором и училищем через директора только в главнейших денежных и административных делах, педагогическая же и художественная часть его, прокурора, нисколько не касается; прямые воздействия прокурора, помимо директора, на хор и училище, особенно в педагогической и художественных частях, ни в коем случае не допускаются, так как в непосредственности власти директора заключается весь смысл этой должности, а в высшем посредственном наблюдении – весь смысл отношений прокурора к хору и училищу.

Конечно, Шишков полез на стену. Он вскипятился до того, что начал на меня кричать. Я выждал конец вспышки и ответил ему: «Ваше превосходительство! Уважая ваши годы и положение, я, конечно, оставляю только что выслушанный окрик без всякого отпора. Раз вы изволите сердиться – значит, вы

бессильны спокойно опровергнуть мои доводы. Докладываю вам также, что я одинаково могу понимать русскую речь и спокойную, и беспокойную, но кричать на себя я не позволю никому, в том числе и вам. Надеюсь, что на будущее время вы изволите быть вполне сдержанным, я в то же время прошу вас, вместо наших словопрений, представить вопрос о размежевании наших областей ведения на решение Св. Синода. До того времени я по-прежнему буду вести свое дело сам, кроме тех областей, которые требуют ваших распоряжений, если же вам то не угодно – прошу мне прислать подробное предписание с изложением пределов вашей власти. Не скрою от вашего превосходительства, что я буду протестовать и жаловаться, так как при ваших претензиях нельзя вести дело». На этот раз крика уже не последовало.

Итак, вот в каких чертах обрисовывается мой бывший начальник, вскоре покинувший пост прокурора из-за полной неурядицы в делах Синодальной типографии.

Потеря Шишковым своего места произошла из-за нелепого его сына Сергея, кутилы, промотавшего вместе с фактором типографии Головиным множество казенных денег. ***Злоупотребления эти были организованы очень просто. Или книги прямо воровались, или отсылались в большем числе, чем заказывались торговцами, или, после соглашения с бумажными фабрикантами, печатниками, переплетчиками, книга печаталась в большем, чем требовалось для казны, количестве экземпляров, и продажа шла именно этих «своих» экземпляров. Мне говорили (не знаю, конечно, правда ли то), что главные доходные по этой части статьи – мелкие издания, брошюры, венчики, разрешительные грамоты, метрики и прочее, так как подсчитывание таких изданий трудно, а цены на них особенно высоки.*** В первый раз, когда открылась целая организация по части незаконной продажи казенных изданий с присвоением денег за книги, Шишков-отец выпутался кое-как, уплатив растраченное; во второй раз, вскоре после первого, Шишков оказался вынужденным уступить свое место князю Ширинскому-Шихматову.

Последняя, перед выходом Шишкова в отставку, моя история с ним состояла в том, что я вынужден был наконец вразумить Шишкова и заставить его понять, что в Синодальном училище могут быть дела, не подлежащие его ведению и попечению. Мы устроили между собой товарищескую ссудо-сберегательную кассу, проект которой, после некоторого опыта, я представил Шишкову, в качестве передаточной инстанции, с просьбой представить на утверждение обер-прокурора. Злые языки, к которым был достаточно доверчив мой генерал, внушили ему, что наша касса проектирована на началах чуть-чуть не революционных. Шишков пришел в негодование оттого, что наша касса управляется «общим собранием», которое выбирает кассира, членов ревизионной комиссии и тому подобное – не представляя своих протоколов на утверждение его, прокурора. «Даже директор, – воскликнул Шишков, – есть рядовой член кассы, которого могут не выбрать в председатели... совсем «государство в государстве»". Тщетно и долгое время я уговаривал Шишкова не поднимать себя на смех ради исповедания им бюрократической системы. Когда я прослышал, что Шишков пишет свой проект, в котором он назначался председателем, утверждающим или не утверждающим постановления общего собрания кассы, в котором членам кассы (обязанным к участию) придавалась солдатская подчиненность, я заговорил с Шишковым по-другому. Я сказал ему, что «мы вольны делать или не делать свои сбережения без воли начальства, так как в заработанных уже нами деньгах распоряжаться не может никто; что он, Шишков, напрасно трудится над составлением проекта кассы, так как мы его о том не просили и не подпишемся под тем проектом; что все-таки затем он, Шишков, обязан дать ход нашему проекту, так как в этом деле прокурор есть не более как передаточная инстанция, к которой мы обратились вполне законно, не справляясь, угодно или негодно наше предприятие его превосходительству». Понятно, что Шишкову только и осталось уступить, так как я погрозил ему жалобой.

Но довольно о такой скучной и малоинтересной фигурке, как А.Н. Шишков. Отношение его к этим запискам вполне

второстепенно.

Когда я занял место директора Синодального хора, мне пришлось очутиться сразу и в новом положении, и в новом для меня таком своеобразном городе, как Москва, и в новом для меня ряде размышлений о надобности прямо создать новое дело в Москве, которое бы имело внутреннюю и внешнюю стороны. Разумею под этими сторонами училище, выучку хора и деятельность самого хора публичную, как и деятельность моих будущих учеников и соединенные с училищем и хором научные задачи. Понятно, что в связи с распущенным в 1889 году состоянием хора и училища мое внимание часто перемещалось, но новости для меня других сторон дела, то в ту, то в другую сторону. Подробности схватывались мною, как оказалось после, далеко не сразу, а основные положения уставлялись на деле еще того медленнее. Кроме суммы идей, выработавшихся в мое «исповедание», приходилось иметь дело и с людьми, бывшими около меня, и с темной поповской средой, и с еще более инертной толпой московских благочестивых ревнителей Успенского собора. Кроме неясных для меня самого некоторых частей в своем отношении к древнепевческому искусству, которое я знал лишь книжно и отчасти в старообрядческой практике, хотя и твердо, которое я собрался непременно культивировать в Успенском соборе, я с превеликими предосторожностями взялся за обращение в свою веру людей, не желавших учиться, глядевших на все с точки зрения рубля и затем весьма тупо, весьма упрямо отпаивавших свою старину, не восходившую далее начала XIX века. «Новую старину» надобно было вводить потихоньку, осторожно, с такою постепенностью, чтобы ни певцы, ни попы, ни толпа не заметили своего перехода к другому пению. Конечно, «новая старина» при этом должна была завоевать сначала певчих, и это первое завоевание было самым трудным, особенно же в среде малышей.

Москва – вполне своеобразное явление. Пушкин в немногих словах гениально очертил без всяких определений то, что чувствуется каждым русским сердцем при одном звуке этого

слова – «Москва». До сих пор никто, даже Гоголь в своих противоположениях Москвы с Петербургом, не выразил меру обаяния этого города, в котором так много выразительной старины во всем – от святынь Кремля, старых церквей, старого замоскворецкого купца, или из Таганки, или из Рогожской, до полового в белой рубашке с голубеньким пояском, до крестного хода, до свадебной кареты, до купчих, сидящих в санях на катанье по Тверской или по Девичьему полю на морозе с вывернутыми полами их меховых шуб... Необыкновенная свобода башенной архитектуры, столь близкой к виденной мною в Праге, необыкновенная способность взять все из всех художественных вкусов и сохранить при том все надобное свое в той же якобы «винегретной безвкусице» – вот главная черта Москвы архитектурной, церковной, общественной, житейской, благотворительной, самодурной, невежественной, грязной, беспорядочной, высоко-религиозной и грубо-суеверной, колоссально богатой и жалко-бедной, глубоко русской и безжалостно высасываемой всякой жидовой и иноземщиной. В Москве живут рядом и процветают, не идя за веком, несколько не отступая от старины, самые удивительные архаизмы, совсем не думающие о высокой своеобразности своего житья, отставшего от нынешнего времени решительно во всем. Ничего похожего на некоторые московские тины вроде двадцатипятирублевых «свадебных генералов» или «адвокатов у Иверской», московской еды, полиции, переулков, трактиров нельзя найти решительного нигде, ни в каком захолустье, так как державной, многострадальной, властной и богатой жизни на Руси нигде не было, кроме Москвы, так как ни один город, бурно и долго поживший, не вынес столько бед, столько преград, столько ответственных перед страной моментов, как именно и только Москва.

К моей прежней любви, которую я имел к родной «Белокаменной», присоединилось новое, сознательное, еще более крепкое чувство почтения к сердцу Земли Русской. Я перечел почти все, что только можно достать о Москве, и полюбил ее еще горячее, а обозрение города, изучение архитектурной Москвы, от Крутицких ворот и Симонова

монастыря до Ваганькова кладбища и Кунцева, от Донского и Новодевичьего, от Воробьевых гор до Сокольников и Черкизова, воспитало во мне живую способность вообразить минувшее, стоя на месте совершавшихся событий. Оттого меня бросало в дрожь каждый раз, когда я шел по Красной площади, рисуя себе сцены Ивана Грозного, Смуты и Петра I; оттого я едва ли не сто раз обошел кругом и побывал внутри храма Василия Блаженного, который я считаю за одно из величайших произведений русских, наиболее просветивших меня в области теорем нашего ритма, как сходством, суммой и произведением отдельных частей, так и общею моделью, планом всей композиции; оттого мне так милы чудеса архитектуры вроде западной Кремлевской стены с ее Троицкой башнею; оттого я выработал в себе умение читать по оконным карнизам, по капителям, по старине Успенского собора, по прелести техники парой рукописи и ее роспева, по своеобразной физиономии даже Охотного ряда, Балчуга, темного доныне Замоскворечья и седого Рогожского кладбища. Все эти «божедомки», замененные нынешними воспитательными домами, все бывшие «богданы», замененные воспитанниками по деревням, указывали мне, при сравнении самых роскошных нынешних типографических изданий с очаровательными по технике и по прилежанию писцов древними рукописями, на исключительную даровитость русского народа, на его талантливую творческую деятельность даже и в тех отраслях, где я вижу теперь прямую отсталость современного в сравнении с давно минувшим. Смешно сказать, отдавая дань должную пару, электричеству, что народ далекого прошлого был несравненно, невообразимо проще, умнее, прямолинейнее и здравомысленнее, а главное – честнее, религиознее и искреннее нынешнего, еще более того – гораздо энергичнее и гораздо предприимчивее. Оттого я так высоко ценю уцелевший у нас архаизм – кровно-русское старообрядчество, которое, вероятно, только и осталось у нас здоровым и истинно русским семенем будущей русской страны. Его твердое, глупо-упрямое для немца-чиновника и для вора полицейского мировоззрение, его русская жизнь и красота, непонятная, к сожалению, нашему попу, есть тот уцелевший

остаток русского племени, который вытерпит еще многое, в том числе и натиск конца XIX и начала XX веков, в котором **временно** ослабевает его нравственная дисциплина. Я вижу в старообрядчестве величайшее благо Земли Русской, сохранившее устои нашего мирского общежития несмотря на обобравшую и проворовавшуюся множество раз нашу администрацию, несмотря на множество измен родной земле всяких правительств со всякими остерманами, биронами и целой кучей всякой мерзости, от которой отреклись Суворов, Пушкин, «просимся в немцы» Ермолов, страдали славянофилы. Выносливость русского народа мне представляется прямо изумительной именно благодаря этой силе крови, веры, свободного веча-мира, богатству земли, родящей хлеб, и [богатству] ума, кроткого, любвеобильного здравомыслия этого народа. В среде старообрядцев, в среде самых восхитительных по твердости духа раскольников, вроде «нетовщины», «бегунов», таятся еще огромные русские силы, решившие ненадобность спора и борьбы с нашим «Polizeistatt», не имеющим силы dokonать русскую народность, несмотря на почти двухсотлетний гнет немца. Татарская неволя у нас, как кажется, была для своего времени легче гнета нашей проворовавшейся и изолгавшейся администрации. Та хоть оставляла свободными веру и труд, была лучше хоть по кадастровой технике.

Грибоедовская Москва, как явление временное, нерусское, легко отошла в область преданий, Москва же православная, земская, торговая еще долго сохранит, минуя ее гадости, свою родную нам, своеобразную и поучительную прелесть. Ее закалили века, время собирания Руси, Смутное время, патриаршество, раскол, 1812 год, славянофилы, центральная торговля. Такой старый закал очень крепок и вынослив, проникает и в привычки, и в мирозерцание людей, создает стойкость и постоянство.

Мои впечатления от Москвы, конечно, всего более получены из того мирка, с которым я имел всего более сношений, то есть с мирком Успенского собора. Что это за своеобразный мирок! Начну с его певчих.

Певчие Синодального хора – был тот мирок, в который я окунулся с головой впервые в моей жизни и в котором я впервые увидел вполне типичные и своеобразные, чисто московские фигуры. Вникая в общий характер профессионального московского певчего, нельзя не отметить, что кадр их всего более составляется из неудачников в школе, выброшенных из нее почему-либо и ухватившихся за неожиданно для них оказавшийся налицо хороший тенор или бас. Судя по почти поголовному незнанию певчими даже нот и судя по способности таких певцов петь под управлением неуча-регента иногда даже очень порядочно, следует признать, что в рядах профессиональных певчих остаются только люди с выдающимися музыкальными дарованиями, очень выносливые и очень восприимчивые. И действительно, мне случалось много раз наблюдать, как несомненные и очень сильные музыкальные таланты, стойко развитым вкусом, попадались между самыми заурядными певчими, даже из тех, которые спустились до разряда только провожающих покойников на кладбища и поющих на морозе «Святой Боже». Я видел этих певчих в числе слушателей духовных концертов и прямо удивлялся той живости и верности впечатлений, какие были очевидны на их восторженных, хотя и испитых лицах. Я припоминаю многих «солистов», совершенно не знавших нот, но певших высокохудожественно, знавших наизусть множество сложных сочинений, интонировавших и фразировавших вполне безукоризненно. Припоминаю и такие вполне исключительные и изумительные по даровитости натуры, как октавист Иван Гаврилович Сугробов, обладавший необыкновенною памятью и певший как сущий артист. Припоминаю тенора Лазарева, припоминаю и других регентов-самоучек, просветление которых курсами для певчих вывело их на сознательную и очень почтенную художественную деятельность. Но праздность певчих, ничего не делающих кроме пения в церкви и на спевках, низкое образование и нервность труда погубили множество художественных сил в певческом мирке. Неразлучные с этими отрицательными свойствами большинства певчих пьянство и необеспеченность вырабатывают из певцов под старость лет

нечто никуда не годное, не приученное ни к какому труду и не способное заняться ничем кроме пения в церковном хоре и уменья всячески выпросить побольше денег.

Немалым подспорьем к процветанию певческой профессии в Москве служит масса пламенных любителей пения между купцами, особенно между церковными старостами, не жалеющими ничего, чтобы наградить певчих. Шалые деньги, бросаемые купцами за угождения их вкусам, приучили московских певчих (конечно, выдающихся) к своеобразным певческим, весьма грубым и дешевым эффектам, к попрошайничеству, к своеобразному гонору и самомнению, равно и выработали в Москве только и существующее, только и возможное в Москве, с легкой руки Багрецова, своеобразное отношение к церковному пению.

В качестве иллюстрации нравов я вспомнил разговор с одним из таких старост, приглашавших Синодальный хор для пения свадьбы его сына в замоскворецкой церкви, реставрированной на его средства. Этот толстопузый толстосум предупредил меня депешею о предстоящем его посещении, после того как регент Орлов отказался явиться к этому купцу на дом для выслушивания приглашения. Так как меня предупредили о самодурстве, то понятно, что и я надумал держать себя более чем осторожно. Однако разговор с первых же слов приобрел вполне неожиданный оборот.

Купец **(входя)**: Директор? А? Говори громче, не слышу! вели дать мне зельтерской, заплачу!

Я: Здравствуйте, дорогой гость. Чем прикажете угодить? Подайте воды поскорее!

Купец: Певчих... свадьбу, сына женю...

Я: Сколько? Полный хор?

Купец **(передразнивая)**: Сколько? – гляди-ко: сколько? Понятно, всех, вместе с подставными безголосыми, чтобы для счету, значит... Не знаю, что ли, я вашего-то брата – сами в старостах бывали ... Требуется нам, значит, свадьба полная, чтобы «Отче наш» Сarti было, концерты – как полагается: «разгонный» (то есть концерт, который поется после благодарственного молебна, во время разъезда) чтобы был

двухорный, потом в трактире «Слава браком сочетанным» (таков есть старомоднейший кант, вроде «Гряди, гряди, голубице», распевавшийся после многолетия по первом тосте за новобрачных), потом, значит, «Боже, царя храни», потом «Многая лета», потом...

Я (**перебивая**): А велик у вас капитал? В миллионе состоите?

Купец: Больше... тебя зову с Орловым, чтобы в мундирах быть с орденами. Владимир есть ли на шее? У меня ведь генералы четвертные (то есть по 25 рублей) с лентами будут...

Я: Так сто тысяч...

Купец: Голова! Сказал ведь тебе, что больше...

Я: Нет, не то: за свадьбу с вас сто тысяч!

Купец (**в полном недоумении, не зная что сказать**): Чего ты мелешь?

Я: Изволите рассудить: ведь надо свадьбу пропеть, в трактире дождаться, пожалуй, и до поздней ночи.

Купец: Понятно, до тех пор, пока не придет время... скажем часа в два-три пополуночи.

Я: Так как же за сто-то человека взять дешевле?... Ждать так долго, скучать, ведь мундир чего-нибудь стоит.

Купец (**поняв дело**): Сейчас видно, что ты человек новый в Москве и наших порядков не знаешь. А я тебе скажу так: без московского купца вся ваша братия в неделю, значит, пропала бы с голоду, а потому и купец любит свою линию вести; так ты и ввинти в свою голову: московского купца уважь прежде всего; это ведь не генерал какой, у которого кроме ленты нет ничего; а уважишь купца, как ему желательно, чтобы он тобой был доволен, не покаешься, «по пятерке на голову» – значит, в казну тебе 500 рублей, а уважишь – «катерину» на чай да тебе с регентом за расшитые мундиры экипаж взад и вперед и по куверту за ужином, а пей сколько хочешь; у нас стеснения не будет, шампанское настоящее, музыка и все такое...

Нетрудно сообразить, что пение свадьбы на условиях купца состояться не могло, но я привел эту сцену именно для иллюстрации того, в каком положении приходилось мне бывать в Москве и в каких отношениях могли бывать московские певчие

(конечно, более всего частные хоры) ко всяким богобоязненным толстосумам-любителям. Невольно вспоминаю мою стычку с Шишковым, вздумавшим было командировать меня к посещению передних у более высокопоставленных лиц с пригласительными билетами в концерт Синодального хора в декабре 1889 года. Его превосходительство был в немалом недоумении, когда я ему сказал, что я послал эти билеты со сторожем Синодального училища и от имени его превосходительства... Невольно вспоминаю также и то, что я не сумел одолеть «святочное славленье» синодальных певчих, все-таки состоявшееся при мне в последний раз в Святки 1889/90 года. Синодальный хор, несмотря на мое запрещение, «чтобы не обидеть невниманием», потихоньку разделился на три партии и потихоньку объехал по условному плану всех своих «почитателей», конечно рассчитывая по улицам и переулкам, по чинам и капиталам возможно больший сбор денег... В следующем году этого же не было, к явному неудовольствию многих заскоружлых старых певчих, не стыдившихся никаких способов получения денег, и к полному негодованию многих якобы «обойденных» почитателей Синодального хора. Те и другие, нисколько не стыдясь, высказывали мне сожаления о нарушаемых мною старых обычаях Москвы, об убытках или, лучше сказать, недополучениях денег, на которые были уже заранее сделаны расчеты, и об «убыли чести» тех лиц, которые привыкли, чтобы Синодальный хор являлся к ним на поклон и с поздравительным славлением. Всего характернее было то, что в эти Святки 1890/91 года я получил много пакетиков, адресованных «Синодальному хору», со вложенными в них деньгами (3 с полтиной, даже 10–15 рублей) от настоятелей загородных монастырей, кладбищенских церквей, куда будто бы за дальностью расстояния синодальные певчие не успевали попадать со своим «славленьем» и откуда, попросту сказать, откупались от этих посещений прямо и заблаговременно на Никитской. Этою мерою и податью избегалась и ошибка выдачи «славленных» не по надлежащему адресу подставным лицам, выдававшим себя за синодальных певчих, или за

«уполномоченных», или за «доверенных» к получению или взысканию таких денег.

В кругу взрослых синодальных певчих я застал много образчиков прежнего московского певческого житья-бытья. За несколько лет до моего приезда московская полиция, потерявшая терпенье с хозяйничаньем святых отцов, силою выселила всех взрослых певчих из флигелей при доме Синодального училища и заставило Св. Синод ремонтировать, наконец, невозможные помещения этих певцов. То, что я застал в начале моей службы в Синодальном хоре, было, по-моему, прямо непозволительно, но меня уверили, что это вполне хорошо, так как в сравнении с прошлым перестроенные помещения были действительно разделены на отдельные для каждого певчего квартиры и были уничтожены невозможные «общие квартиры», в которых одна семья отделялась от другой либо ширмами, либо занавесками, и было также уничтожено проживание в одной комнате нескольких холостяков, причем эта комната была в отношении к некоторым певчим не их углом, не их жильем, а, так сказать, ночлежным их помещением. Нетрудно представить, что за жизнь была в таких помещениях, чего-чего только не видели от взрослых певчих стены этих домов... Старики-певцы прожившие по 20–30 лет в этой ужасающей обстановке, рассказывали мне многое, мало отличавшееся от очерков «Петербургских трущоб» [Крестовского], от сообщений из быта Хитровского рынка или «Бурсы» Помяловского. Нетрудно представить, как царили здесь чахотка и тиф, как страдали тут несчастные жены певчих и что видели с нежных младенческих лет их дети... Я застал только последствия этой жизни: я видел много бессмысленных лиц всяких басов и теноров, лысых в 20–25 лет, развинченных нервами, глубоко павших и обреченных на апоплексию или прогрессивный паралич с тридцатилетнего возраста; я видел беспробудное пьянство, безнадежно разбитую жизнь, безграничную жажду жизни только на текущий день, самую жестокую нужду, самую отчаянную беспомощность этих людей, работающих действительно без усталости, работающих днем, ночью, работавших до последнего изнеможения, прямо нуждавшихся в

подбадривании себя алкоголем. Эта беспросветная жизнь, полная всякого горя, всякого произвола, всякой тьмы, требовала постоянно напряженного труда, вставания к заутреням и к ранним обедням после пропетых с вечера всенощных, требовала по крайней мере шести часов ежедневного стояния на ногах, постоянного внимания к хоровому ансамблю, пешего хождения по Москве из одного дальнего ее конца на другой, провожаний мертвых на кладбища и пения свадеб в тот же день, постоянного питания в трактирах в часы между службами и прочее и прочее. И ко всему этому недостаточный заработок, грубая среда, шалые иной раз деньги, конкуренция других хоров, горемычный запой, битье и т.п. Неудивительно, что иной раз случалось видеть с сущей болью в сердце то, о чем мне и в голову не могло прийти в Казани. Жестоко вспоминать о мере падения людей!

Эти впечатления, полученные мною в Синодальном хоре после того, как перед тем Шишков уже разогнал из него все наиболее ужасное, и после того, как дома певчих были уже перестроены, – эти впечатления заставили меня жестоко страдать и вникнуть в возможность перемены быта певчих Синодального хора. Ко времени моего приезда уже было уничтожено главное зло – беганье по церквям для частных заработков, было повышено и жалованье певчим, не была лишь затронута их умственная жизнь, не была устранена беспросветность этой жизни, не были указаны дороги к лучшему труду. Именно за это я и принялся с самою горячею настойчивостью, с сущим убеждением правоты, блага и легкой возможности осуществления моих мыслей. Основное мое положение состояло в том, что каждый певчий, не успевший выучиться в детские годы, полагает все свое обеспечение только в своем голосе и в относительном знании певческого искусства. При потере голоса, как учили очевидные примеры, каждый певчий обращался в беспомощного нищего, ибо незнание никакого другого дела и непривычка к какому-либо другому труду лишали безголосого певчего возможности эксплуатировать и бывший перед тем певческий опыт, и знания певческого дела. Поэтому я предложил каждому из взрослых

певчих сделаться впоследствии регентом – и для того учиться и обеспечить себе на старости лет труд более почетный и выгодный, чем труд рядового голосистого певчего. Толкуя с певцами и с их женами, я упирал на то, что учебные занятия будут, кроме просветления голов, кроме умягчения сердца, радостною надеждою – будут устранять то, что, собственно, губит певчих, то есть праздность; что знания, мною предлагаемые, заставят певчих быть более дома, за тихим умственным трудом, и не могут вскоре же не доставить певчим не подозреваемые ими радости в таком труде, не ожидаемый ими душевный покой и совершенную перемену их жизни, перемену к большему достоинству и обеспечению.

Нетрудно понять, что мои речи произвели в мирке взрослых певчих небывалое брожение. Все, что было помоложе, поэнергичнее, – встало (хотя и в очень немногом) сразу на мою сторону. Зато менее энергичное и умное большинство заняло положение выжидательное, так как огромная партия старых и заскорузлых певцов ответила на мои слова не только противодействием, но и шантажом. Противодействие этой партии было, так сказать, в стенах Синодального хора на всякой спевке, на всякой службе в соборе, где мне подчеркивалась при случае якобы нелепость моей затеи; шантаж нашел себе место в массе самых невероятных сплетен в певческом мире всей Москвы, в газетных статьях и в целой туче доносов и анонимных писем всякого сорта. Все это было мною испытано впервые в моей жизни и, по правде сказать, было очень тяжело и обидно. Осложнившиеся отношения с певчими, надобность вести дело среди всяких палок под ногами, надобность даже оправдываться в Петербурге заставили меня вновь и во всей подробности вникнуть в быт Синодального хора и обсудить как слабые стороны моего предприятия, так и средства, с помощью которых я мот бы довести дело до конца.

Слабые стороны заключались в том, что я не поставил предварительно в курс дела как мое непосредственное начальство, так и высшее в Петербурге, отчего мои начинания имели вид неожиданного для них и самовольного реприманда, в котором они, под давлением жалоб, доносов и анонимных

сообщений, не сумели толком разобраться; а с другой стороны, я не принял в расчет то, что за прекращением пения Синодального хора по московским церквам, за недостаточным увеличением жалованья по новым штатам хора быстро создан в Синодальном хоре тайный промысел участия наших взрослых певчих в чужих хорах за зимними всенощными и за ранними обеднями. Мои требования занятий, таким образом, били по карману таких тайно промышлявших певцов и, не давая им, кроме лишнего труда, никакого нового рубля, лишали возможности зарабатывать хотя бы тайно и лишали возможности и надобности продолжать привычное уже вставание к ранним обедням и беготню из одного конца Москвы в другой, общение с певчими других хоров, общение с толстосумами-старостами, произведение эффектов в пении всяких сарти, веделей, дегтяревых и проч.

В скором времени я, извинившись перед своими начальствами, вразумил их и стал пользоваться их поддержкою, так как мне ничего не стоило ясно изложить план моего предприятия и ясно же осветить смысл всяких жалоб и корреспонденций. Не менее легко, с помощью растолкования двух случаев (о чем будет сейчас рассказано) и с помощью более практического и целесообразного изменения в деле обучения взрослых певчих, удалось мне поправить сделанную мною было ошибку и сразу, твердо уже, начать усовершенствование взрослой половины Синодального хора. Я отделил от устроенных мною классов тех взрослых певчих, которые по своей заскорузлости и глупости, равно как престарелости и наглости, казались мне безнадежными к ученью. Оставшиеся слушателями этих классов были мною особенно поощрены всякими способами: я достал многим из них уроки, устроил поочередное регентование за малыми службами в соборе, повысил некоторых в окладе жалованья, воспользовавшись тем, что из стариков некоторые успели промахнуться и дали мне вполне законный и вполне справедливый повод не только подвергнуть провинившихся взысканиям, понижениям по службе, но даже и уволить самых негодных.

Два случая, о которых было упомянуто, были вскоре один за другим, и притом с самым уважаемым и хорошим человеком, уставщиком левого клироса Алексеем Кузьмичем Беляевым, выслуживавшим уже пенсию. Судьбе было угодно, чтобы этот отличный октавист проходил мимо меня, когда я пробовал голос плохого октависта, желавшего поступить в хор. Желая показать этому кандидату, каковы могут быть хорошие октавы, я остановил Беляева и попросил его пропеть гамму от «до» вниз. Беляев, ничтоже сумняшеся, пропел мне так:

У меня не хватило духа остановить такого «уставщика» и опытного певца, и я, не без сердечного облегчения, заметил, что не только кандидат-проситель, но и бывшие тут певчие не заметили ошибки Беляева, кроме двух-трех, поднявших потом Беляева на смех. Оказалось, что и сам Беляев не скоро смог понять суть своей ошибки, так как совсем не знал нот.

Другой случай был не без большого и публичного за всеобщую замешательства. Тот же Беляев, вполне опытный певчий-практик, за вторую или третьей домашней всеобщей запел на первый глас «Бог Господь» роспевом на «Господи воззвах», то есть так:

Напев этот на текст «Бог Господь» уложился довольно еще удачно, но при исполнении тропаря получилась такая путаница и такой вздор, что хор остановился... К довершению неудачи, случившейся при избранном обществе Москвы, растерявшийся Орлов вдруг заметил смеющиеся лица взрослых певчих, которых такой срам для хора не огорчил, а даже как бы развеселил. Орлова взорвало... Коротко сказать, на следующий же учебный день, после предварительной нотации всем певчим, из которых старикам-неучам досталось круче всего, все отобранные мною певчие сидели в классах сольфеджио, элементарной теории и церковного пения, а все **недопущенные** в эти классы поняли, что дни их службы в Синодальном хоре сочтены, что в случае какого-либо их противодействия или шантажа их увольнение может быть и ускорено, что вообще в Синодальном хоре наступило вполне твердо и бесповоротно совершенно новое для него время ученья и деятельности. Это было 4 ноября 1889 года. Помощниками моими были В.С.

Орлов и Л.Г. Полуэктов, я сам впрягся в корень и повез это дело на своих плечах изо всех сил.

К этому времени я уже успел довольно близко взглядеться в многие типичные фигуры. Например, я уже упоминал об Иване Гавриловиче Сугробове как о человеке вполне удивительном. Он пел октавою. Я не слыхал во всю мою жизнь лучшего голоса и не видел лучшего дарования. Сугробов был вполне необразованный и ничему не учившийся человек, умевший лишь подписывать два слова: «получил Сугробов», ибо его искусства в письме не хватало, чтобы записать, что им получено столько-то рублей или копеек. Память у него просто феноменальная; он вполне твердо и разумно, точно помнил решительно все, что только он видел, слышал, читал, пел. Пел он своим чудесным голосом так хорошо, как украшает оркестр умный артист на литаврах, буквально поднимающий мощью и уменьем весь смысл исполнения. Сугробов был сущий артист в душе, горчайший пьяница, величайший чудака и самодур, человек с самой ангельской, самой кроткой душой, с самым отзывчивым сердцем. Он страстно любил церковное пение, никогда не был способен подчиниться хоровой дисциплине, всегда стоял отдельно от певчих аршина на полтора-два, между ним и певчими было всегда свободное место, и отсюда он с глубочайшим артистическим тактом именно украшал исполнение Синодального хора. Он был глубоко привязан к хору и высоко почитал Орлова, но вместе с тем решительно не мог даже в малой степени поступиться своими взглядами и своими требованиями в хоровом пении. Пустая неудача вроде ошибки в тоне, фальши при исполнении, изменения темпа и т.п. так огорчала Сугробова, что он тут же уходил с самых ответственных служб или говорил тут же замечание Орлову и т.п. Высказав свои неудовольствия и не допуская даже и возможности возражения или сомнения в основательности его замечаний, Сугробов обыкновенно дулся, пропуская спевки, чаще же отправлялся не в очереди в баню. Сугробов был колоссального здоровья, с огромной грудью, необыкновенно крепкою. Он выпил на своем веку столько вина, что о нем говорили как-то, будто открытый на это количество винный

погребок мог бы торговать целый год. Пьянство доводило его раза по три-четыре в год до белой горячки и полной потери голоса, наконец довело его до удара. Необыкновенная сила голоса и умение виртуозно владеть им создали Сугробову заработок чтения Апостола на похоронах и особенно на свадьбах. Читал это Сугробов вполне превосходно и получал за то от купцов по 25–50 рублей, почему жил всегда в достатке и всегда имел деньги на все, в том числе и на беспробудное пьянство. Благодушие Сугробова иной раз было просто неисчерпаемо. Однажды доведшего Орлова до белого каления самостоятельностью своего поведения и критикою его действий Сугробова хотели пугнуть и уговорили Шишкова вызвать его к себе для внушения по службе. Сугробов, сказавший: «Некогда быть мне у него в этот час», все-таки явился к Шишкову и, выслушав выговор Шишкова, ответил: «Какая у вашего превосходительства хорошенькая новая люстра! У кого купили?». Оторопевший было тайный советник вновь накинулся на Сугробова, но тот с достоинством ответил: «Будет вам! Я думал, что вы дело скажете! Если бы я не любил Василия Сергеевича (то есть Орлова), зачем бы я ему стал делать замечания? А вы говорите, что я обижаю его! Это я-то, да Василия Сергеевича! Будет вам сплетни-то разводить!» – и т.п.

Больной Сугробов не пел при мне уже года два, и я помню единодушный порыв Синодального хора, пожелавшего в полном составе петь заупокойную по нем литургию. Сугробова, как вполне почтенного человека, любили все мы совершенно искренно и проводили в могилу с любовною молитвою. Это был действительно замечательный, даровитый, добрый человек, вполне оригинальный, высоко выдававшийся между людьми. Его знала решительно вся Москва, прощала ему все именно ради его голоса и нравственных достоинств, глядя на его недостатки вполне снисходительно. Да и в самом деле, что бы был Сугробов, если бы учился он в молодости и хоть бы немного был отшлифован?

Не менее типично соборное, как и вообще, духовенство. Его можно разделить на половины: старую и новую. В новой половине – равнодушие к своему сану, маловерие, погоня за

рублем, несмотря на большую ученость, весьма нередки. В старой половине – неимоверно грубой, неимоверно невежесгвенной, набранной из феноменальных великорусских басов, – царят сполна все недостатки поповской жадной среды, самоупоеание своими голосами, преданиями недавнего голосистого же прошлого, самоупоеание какими-либо дикими выходками, восторг от созерцания какой-нибудь ловкой проделки или грандиозной по нелепости штуки и т.п. Недаром даже такой осторожный в выражениях С.А. Рачинский говорит об этом «беспутном» духовенстве только резко. Вот несколько образчиков уровня поведения и развития этих ионов и дьяконов из их разговоров в алтаре Успенского собора. Отец протоиерей Беляев: «Хорошо нам живется: ней сколько хочешь, потому я три недели пью, четвертую служу...». Отец дьякон Росляков: «И понесли меня черти в дьякона... был бы теперь я бас-буфф в оперетке, куда было бы выгоднее и веселее...». Отец протодьякон Шаховцев (во время службы идя мимо певчих): «Благочестивейшего, самодержавнейшего, великого государя... (певчим:) что вы, черти, куда тон подняли, да и службу тянете – ...да помянет...».

Но довольно, пожалуй, этих примеров! Тяжело и писать о таких представителях духовенства в святейшем храме самого сердца России.

Протопресвитером Успенского собора в первые годы моей службы в Москве был известный журналист, профессор Московского университета о. Николай Александрович Сергиевский. Тонкие линии его умного и серьезного лица были как-то особенно строги и изящны. До службы в Успенском соборе университетский профессор-священник был весьма свободомыслящим человеком и славился в обществе своих прихожанок и почитательниц за весьма любезного священника, болтавшего с дамами по-французски (он отлично знал французский язык) во время каждения храма или прикладыванья ко кресту и т.п. Успенская соборная братия, конечно, сразу огорошила образованного начальника мерою своей грубости и своего открытого цинизма. Вскоре о. Сергиевский к изумлению всех обратился в строгого святошу, в

упрямого ревнителя преданий и устава Успенского собора, начал потихоньку говорить, с воздыханиями читать, протяженно служить и т.п. Я застал его уже привыкшим к некоторой доле ханжества и святошества, производивших на меня прямо отталкивающее впечатление. Однажды случайно мне удалось увидеть его в попытке быть строгим начальником. Отцы дьяконы, конечно в нетрезвом виде, вздумали разодрататься между собой в алтаре во время последней всенощной, то есть под 14 сентября... Нисколько не стесняясь присутствием моим и прокурора Шишкова, отцы начали крепко бить друг друга и рассвирепели сильно... «Осатанели, черти!» – воскликнул начавший их разнимать отец сакелларий Росляков... «Что вы, что вы делаете! Ведь здесь алтарь, ведь вы в ризах!» – вмешался Шишков. «Вот что, ваше превосходительство – у вас на Никольской свой кабинет, а у нас здесь свой кабинет...». «Отец протодьякон! – нежно заговорил Сергиевский. – Побойтесь Господа...». «Чего бояться-то! – последовал ответ. – Мне нельзя не пить... вы, ваше высокопреподобие, вон какая щепка сухая, а во мне девять с половиною пудов, да и работаю я по купцам, иначе бы я своей семье у вас в соборе на подметки бы не заработал, чего вам надо, здесь алтарь, никто ничего не видит и соблазну народу нет, ведь это не то что в храме...». Сергиевский совсем опешил от такой отповеди. «Что мне с вами делать!» – воскликнул он. «А ничего не делать, только и всего», – последовал ответ, на который Сергиевский отмолчался.

Конечно, Сергиевскому, именно по его уму и по его образованию, следует поставить в вину его пересаливания по части всякого очевидно напускного ханжества. Таковы были всякие его выходки показного свойства, которыми он, как мне кажется и теперь, ничего не достигал кроме обратных результатов, то есть либо получения грубых отпоров, либо безрезультатности своих воздыханий. Припоминаю однажды, как он пришел на левый клирос во время пения на кафизмах скороговоркою: «И ныне и присно... Аллилуйа, аллилуйа, аллилуйа. Слава Тебе, Боже...». Сергиевский – старик, вероятно выведенный чем-либо из себя в алтаре, – обратился к

регенту и дрожащим голосом, как бы умоляя, держал такую речь: «Господа певчие! Хоть Имя-то Божие произнесите молитвенно! Дайте богомольцу русскому хотя бы в сем древнем храме услышать благоговейные славословия между псалмами пророка Давида!». За такими словами последовал глубокий поклон недоумевающему помощнику регента и певчим... Припоминаю также чтение Сергиевским Покаянного канона на первой неделе Великого поста – со всякими воздыханиями и уменьшениями силы своего и без того слабого голоса, со всякими замедлениями, производившими, по крайней мере на меня, впечатление деланного и глубоко фальшивого. Легко может быть, что Сергиевский, попавший из профессорского круга в суший омут духовенства Успенского собора, действительно додумался быть противоположностью всем чинам этого омута и на старости своих лет сам сбросил с себя к тому же всевольности, которые он позволял себе во время своего священства в университетской церкви. Я хорошо помню отзывы людей, знавших прежде Сергиевского очень близко и совершенно недоумевавших о перемене им своего поведения при переходе в Успенский собор. Ничего не зная об истинных причинах такой перемены, я все же не могу забыть о том, что пересаливания в благочестии отца Сергиевского производили на меня досадные впечатления. От бывшего бойца-журналиста и отлично образованного профессора, вполне благовоспитанного и тонко-умного, можно было ждать чего-либо более глубокого и сильного, чем многое очевидно деланное.

Еще более отталкивающее впечатление производили монахи, особенно же архиереи и архимандриты, то есть из учившихся, к которым есть основания требовать соблюдения своих обетов, хотя бы внешнего, и заботы об оберегании достоинства монашеского сословия. Нечего говорить о рядовых монахах, набранных Бог знает из кого, начиная со всяких неудачников в духовных школах и с людей, спасших себя кlobуком от какой-либо чуть не уголовщины. Например, монахи Троицкой лавры и главных монастырей Москвы, особенно же в центре ее, поголовно набраны из совершенно необразованных людей в такой степени, что должности, например, казначея,

ризничего, келаря и другие нельзя заместить в них людьми учившимися хотя как-либо в своей юности. Нетрудно потому представить, что за жизнь таких людей в монастырских стенах, что наполняет их огромный досуг, что удовлетворяет их духовные потребности при наличности дарового жилья, хлеба и денег. Впрочем, и что можно требовать от таких людей, испорченных с детства, еще во время житья в монастырских послушниках, продолжавших свои годы в полнейшей и бесполезнейшей праздности со всеми ее последствиями и кончающих свое долгое никому не надобное наимногогрешнейшее житие в старости? Откуда можно почерпнуть им те силы, которыми бы они могли противостоять вконец испорченной монастырской жизни? Откуда может придти на помощь к более искренним и добрым из этих натур хоть какой-нибудь умный и строгий совет? Институт монастырских послушников есть что-то нецензурное само по себе, а между тем именно из них, послушников, пополняются ряды монахов. Нетрудно и объяснить по этому исходному началу, почему наше монашество так невежественно, так грубо, лживо и так предано самым неистовым порокам, самому беспробудному пьянству, самому ужасному разврату. Это монашество вместе с тем выработало и большое искусство скрывать свою греховную жизнь, выдавая ее иногда даже и за праведную.

Понятно, что и в этом монашестве приходит время, когда лучшие по душевным силам вразумляются перед судом своего стыда и голоса совести. Этих лучших есть, может быть, один на тысячу. Большой процент бывает разве там, где попадает умный и строгий настоятель, но таких, пожалуй, один на тысячу.

Несколько лучше наши женские монастыри, так как женская натура мягче, искреннее и праведнее, пожалуй, и стыдливее. Каламбур неправильного выговора Ивана Васильевича Биркбека²⁸⁵, однажды насмешил многих, засмеявшихся, в сущности, над горьким явлением. Он произнес «Страстный монастырь» вместо «Страстной», а К.П. Победоносцев подшутил тут же над Саблером, что он недаром любил в юности женские монастыри, где ему поют [из «Руслана»]: «О, мой Ратмир, приди, приди, любовь и мир тебя зовут...». А что

проделывают с этими монастырями архиереи, благочинные и прочие!

Но что во мне вызывало лишь одно отвращение – так это так называемое образованное монашество, дорого продающее свои ограничения от обетов и вреднейше вымещающее на других людях свое властное беспутство под покровом своего административно-иерархического строя. Грязь эта – вне всяких границ, выше всякой мерзости и покрывается свыше самым старательным образом при всяком скандале, как бы он вопиющий ни был, ибо престиж монашества, совершенно упавшего, поддерживается искусственно... Самые отъявленные негодяи между нашими архиереями, архимандритами покрываются Синодом, состоящим на девять десятых из таких же изолгавшихся ханжей, проделавших совершенно то же самое до своего возвышения и не могших не проделать того по самому строю этого гнуснейшего мира. Генералы в рясах из такого приготовительного курса выносят отличное знание этого мирка, затем они – рясы, затем они – генералы!

Такие невозможные, преступнейшие люди, как, например, Исидор, бывший инспектор Санкт-Петербургской духовной академии, выгнанный за позорнейшие проступки по требованию студентов, не только не попал в каторгу, но попал в миссионеры, посланные вразумлять кавказских старообрядцев (как бы на смех!), затем его не законопатили в Соловки или в Суздаль, а поставили настоятелем Златоустова монастыря, а теперь этот мерзавец – архиерей в Чернигове.

Такая невозможнейшая и преступнейшая штука, как ограбление монахами Чудова монастыря своей же ризницы на сумму более миллиона, раскрытая полицмейстером Власовским, обнаружила вполне, кто такой Лаврентий (известнейший тогда в Москве под именем «Лаврушка») сего (стыдно сказать!) семьей, открыто привезенной им из Варшавы... Неожиданный обыск Чудова монастыря, конечно, не был предусмотрен братиею, протестовавшею вместе с митрополитом и Лаврушкой и указывавшею на автономию помещения монастырей вне компетенции полицмейстерской власти. Масса женщин, сряду несколько дней захватываемых

полициею в кельях братии Чудова монастыря, участвовала в грабеже, добыча которого пряталась под престоломи и жертвенниками... И ничего! И все обошлось шито-крыто! Разослали монахов, а они переменялись именами и опять вернулись в Москву... И ни суда, ни настоящей расправы! И по-прежнему тот же Чудов живет так же весело, так же богато, так же беспутно, наружно же – архиблагочестно...

Стяжательность, жадность образованных монахов, более того у архиереев и архимандритов, особенно же у молодых монахов, которых настригли видимо-невидимо из студентов академии, когда обнаружился скудный круг людей, надобных для замещения архиерейских кафедр, – не поддается описанию. Им нужны деньги, чтобы откупаться в случаях скандалов, и чтобы покупать кафедры и настоятельства в монастырях у синодальных чиновников, – и они, монахи, копят эти деньги усиленно.

Монахов у нас обирают чиновники, архиереи, полиция, настоятели и, наконец, сами они друг друга. Места высшие, вроде архиерейских кафедр, известны в Синоде по своей доходности, как и все места главных настоятельств, почему получения таких мест таксированы вполне определенно и вполне бесцеремонно; также таксированы приемы в штатные иеромонахи, обираемые и в консисториях, и архиерейской челядью. Нет таксы на отдельные случаи, когда понадобились архиерею или какому-либо большому синодальному чиновнику крупные суммы, – обирание и всякое беззаконие совершаются в таких случаях совершенно безапелляционно. Так, например, митрополит Палладий в бытность свою епископом обобрал в Казани Седмиозерную пустынь, найдя удобным приписать ее к архиерейскому дому. Нет удержу в обирательствах всякими ревизорами, гласными и негласными, нет удержу в обирательстве монастырей всякими почтенными богомольцами вроде Саблера, без конца ездившего прежде на всякие освящения храмов, юбилеи, открытия чего-либо и прочее. Теперь, кажется, этот типичный делец начал вести себя несколько сдержаннее.

Понятно, что такой строй далек от душеспасительного идеала произносящего монашеский обет, и прозаическая трезвость и алчность всего составляющего и окружающего монашество совершенно далеки и даже противоположны всякому спасительному подвигу. А жить надо, следовательно, и платить надо, надо и урывать для себя... В такой тяжелой и удушливой, даже, пожалуй, и безнадежной атмосфере только и могут вырабатываться всякие исидоры, или лаврушки, или михеи (то есть только что посвященный в епископы моряк, при мне изгонявший бесов из больного в церкви Двенадцати Апостолов в Москве), или александры, шли павлы и тому подобные уроды – благочестивые снаружи только, эксплуатирующие последние остатки детской веры простого народа. Недаром «Декамерон» Боккаччио такая настольная книга во множестве мужских и женских монастырей.

А попробуйте задеть монаха! Попробуйте назвать подлинными словами его поведение и атмосферу, его окружающую! Самые злые волки окажутся милостивее и беспристрастнее этих людей, не могущих забыть дорогую цену, которую пришлось им уплатить за их праздность и даровой хлеб, которую приходится оплачивать спокойное будущее, особенно же при каких-либо нечистых делишках. С другой стороны, с искренней, убежденной – только дьявольская изобретательность монаха и могла выдумать инквизицию и иезуитский орден, Торквемаду и Лойолу. Таким образом и прозаическое, и восторженно-болезненное мышление выработало и у нас, как на Западе, целую армию людей-паразитов, совершенно не только бесполезных, но прямо вредных, невозможных к выздоровлению. Я понимаю монашество вроде того, какое наложил на себя Рачинский, я понимаю жестокую борьбу с неизбежным проигрышем, какую столь неразумно начали монахи-князья, монахини-графини, монахи-профессоры, монахини-барыни. Те (подобные Рачинскому) и другие и не подозревали грязь, унижение, которые им пришлось бесплодно узнать от соприкосновения с девяносто девятью из ста [лиц] существующего монашества. Борьба совершенно безнадежная и неразумная. Надо начать

удовлетворение чистых душ изобретением нового монашеского православного подвига вместо выродившейся в пародию и в зло бывшей когда-то идеи, давшей такой восхитительный ряд героев чистого идеализма служения Богу и народничества. Смерть нынешнего монашества, как ни замалчивают его вырождение, совершенно неминуема вследствие утраты им внутренних его нравственных начал и внедрения вместо них бюрократического элемента со всеми гадостями последнего. Монашество есть неизбежная надобность общежития, как своеобразная психиатрическая больница усталых душ, либо исстрадавшихся, либо уж слишком возвышенных. Пачкать эти больные и великие души ради сохранения престижа когда-то бывшего за счет существующего негодного, даже стараться охранять это негодное – совсем бесцельно, да и нехристианское это дело. Ложь есть ложь, топить в ней существующую сотую долю правды – все равно что потакать лжи. Энергично взяться за расчистку этого болота, с целью усилить уцелевшую правду, неудобно нашей бюрократии и совершенно невыгодно для самодовлеющего болота. Для этой правды, столь надобной для народа, столь святой в своем содержании, надо принести героическую жертву, перед которой не остановился бы, например, Петр Великий. Найдите, с другой стороны, в монашестве, кроме ратующих за него органов, силы к его возрождению? Их прямо нет, нет им поддержки и в общественном мнении, да и кому, кроме подонков, надобно такое нездоровое монашество?

Другая среда Успенского собора – его завсегдатаи-богомольцы, которых можно разделить на две группы: на любителей соблюдения устава, длинной службы и древнего благолепия самого собора и на любителей слушать чтение Апостола и Евангелия или пения. Первые любители самым аккуратным образом ходят в собор, становятся на определенных местах, превосходно знают все подробности службы и иногда грубо протестуют против малейших ошибок в порядке службы. Они горячо молятся, но по-своему. В их молитве есть какое-то любованье собою, своею истовостью, своею требовательностью, своими знаниями. Они, при удобном

случае, печатают весьма фарсированные фельетоны, корреспонденции, пишут анонимные письма, даже и прямо ругаются. После службы все они, обыкновенно стоящие у правого и левого свечных ящиков, отправляются пить чай в трактире. Эти богомольцы – купцы, приказчики, хозяева всяких магазинов и т.п. Из них я знал конфетчика Максимова, портного Емельянова, печника Гнусина и некоторых других. Центр их занимали квази-композитор, булочник Урусов и известный автор заграничных брошюр Дурново. Самомнение их беспредельно, невежество – также, смелость, наглость и фанатизм много раз подвигали их на самые грубые выходки.

Другие богомольцы ходили в Успенский собор с камертонами и, прослушав чтение Апостола и Евангелия или пение Херувимской, немедленно уходили в храм Спасителя, чтобы послушать там то же самое. Они по минутам знали, как куда поспеть, у них часто стояли готовые извозчики, и они бегом бежали от дверей храма, чтобы поспеть вовремя в другой храм. Они знают все тексты читаемых Апостолов и Евангелий, знают, где надобны остановки, повышения голоса. Они спорят при выходе из храма о том, что последняя нота у прокричавшего дьякона была **"цыс"**, или **"де"**, или **"дис"**, что Херувимскую в **"же моль"** или **"же дур"** «спустили» на одну четверть шли на полтона, или – «такие молодцы: к концу даже подняли», что басы здорово взяли **"це"**, а тенор – **"же"** и тому подобное. Я припоминаю некоторых из этих ярых любителей церковного чтения и пения, воспитавших свои вкусы на бывших когда-то громоподобных дьяконах, на вдохновениях Багрецова, Феофана, Виктора, Велеумова, Подгородинского и проч. Эти совершенно своеобразные любители, вместе и глубочайшие неучи, все же пламенно любят своеобразные церковно-московские искусства и относятся вполне нетерпимо ко всему, что хоть сколько-нибудь не согласно с их вкусами. Типичны они до самой последней степени, искренни, убежденны и правдивы, но вместе и довольно глухи ко всякому новому слову, к какой бы ни было новой мысли. За этих именно хороших, упрямых и пылких людей я взялся, исподволь приводя их в свою веру, как

и самих синодальных певчих, вместе с их регентом Орловым. Но об этом как-нибудь после.

Теперь же я припоминаю, как, изучая эти фигуры, я терпеливо выслушивал их твердые и полные уверенности речи, как много раз я ходил с ними (особенно же после какой-нибудь удачно пропетой службы) в Большой Московский трактир (что против Иверской) пить чай или наблюдал за их словопрениями между собою. Особенно мне казались интересными их споры между собою о текущих политических событиях. Принимая их близко к сердцу и понимая их по-своему, эти люди бывали иногда прямо забавны в своей наивности, в своей вере в удивление всех и всего перед «Святою Русью», перед «Белым Царем» и в надобность снисходительно смотреть на «дурь немца», или «верхоглядство француза», или на «глупость австрияка», особенно же когда «Господь испытует сердце Царя-Батюшки», посылая на нас слепых и малоразумных врагов, не понимающих православия. И мне не один раз казалось, что «мы», «велик Бог Земли Русской» или «шапками закидаем» и т.п. в иных случаях могут быть далеко не пустыми словами. В рассуждениях этих простых, но полных веры и силы людей я слышал не один раз очень могучие и не преувеличенные ноты, те самые, которые были слышны в пульсах движений именно народных, когда это движение вызывалось бессилием бывшей администрации и побеждало губившую было беду. Припоминаю также я, как меня била лихорадка при одном из таких чаепитий, когда обсуждалось этими людьми значение падения в Болгарии Стамболова.²⁸⁶ Помимо забавных обобщений и соображений насчет будущего, эти доморощенные политики из Замоскворечья или Таганки были в сущности дела вполне правы, а их одушевление живо напоминало мне потрясающие впечатления, которые я сам пережил при поклонах Александра III народу с Красного крыльца и во время коронации Николая II. Я помню, что задрожал при этой беседе так же, как тогда, увидав звонившие колокола на Ивановской колокольне и не слылав их звона из-за удивительного, непередаваемого «ура» сотен тысяч народа...

Именно эта сила, скрытая, огромная, не подозреваемая многими, вполне здоровая и независимая, снисходительно смотрящая на всю гниль и ложь нашей администрации, нашей культуры, – именно эта сила, столь неожиданно и очевидно бросившаяся мне в глаза, поразила мой ум. Она подтвердилась моему уму в своем существовании и в своей несравненной мощи со стороны для меня неожиданной. Я верил в эту силу, дойдя до сознания ее существования с помощью исторических обобщений, теперь же я наяву сам увидал и почувствовал ее беспредельную мощь. Тихие пульсы этой силы бьются у нас перед глазами. Что такое, как не служение родине – этот одинокий священник или монах, служащий утрению в какой-нибудь захолустной пустыньке, вдвоем с чтецом-сторожем при совершенно пустом храме? Я помню одну такую заутреню, к которой я попал неожиданно для себя в темную ночную метель. Что такое тот же Рачинский, похоронивший себя в своей любви к свету и своей родине? Что такое тот же московский толстосум, хотя бы тот же оригинал – Солодовников, в ту минуту, когда растворится его сердце и вспомнит он, что он русский? Как дороги мне мои невольные слезы, когда находили на меня минуты сладчайшей любви к родной земле! Как выразительны те глухие, но величественные народные движения, которых до сих пор уцелели повсюду сотни, тысячи, – вроде «встречи» в Казани иконы, приносимой 26 июня из Седмиозерной пустыни, или вроде нескончаемых верениц богомольцев к Сергиевой лавре, или в Киев, или на Соловки! Кто, например, спас Болгарию, Сербию или нашу «Русь святую» в жестокие 1612 или 1812 годы, как не вера – та самая, слепая, нерассуждающая, обрядовая богослужебная вера, о которую разбились все ужасы турок, татар, поляков, французов, все ужасы нашего 350-летнего и южного 500-летнего ига? Затрудняясь определить словами и даже приблизительно назвать эту силу, столь оживляющую и бодрящую народные способности, вырабатывающую в нем выносливость и долготерпение, могу ли я отрицать в ней то, что отрезвляет народ и спасает его в години бедствий?

Например, французы – пламенные католики. Как не признать католицизм за ту могучую силу, которая в ряду других все-таки была под номером первым и прямо спасла Францию, например, в 1870 году, когда о вере стыдились говорить ее передовые патриоты вроде Гамбетты? Нетрудно уловить общий смысл и истерзанной жизни этого даровитейшего народа после Людовика XIV, когда у французов «остались глаза только для того, чтобы плакать»; последовавшие горемычные времена Людовиков XV и XVI, справедливо приведшие к еще более преступной поре Наполеона I и смутной, жалкой, убогой поре «второго декабря», к самой вопиющей, унижительнейшей и наиподлейшей поре Наполеона III, – разве это не волны народной болезни, из которой все-таки встала даровитейшая нация здоровою, крепкою и выносливою для будущей борьбы? Меня всегда умиляла и удивляла скрытая сила народа зрелой поры, еще не старого, способного вынести чуть не семи-десяти-восьмидесятилетние бури, в которых, к стыду «цивилизации», именно наука, знание, философия являются первыми жертвами грубого насилия, а «прогресс» – первым по объему преступлением в смысле извращения света науки и цвета искусств. Животные проявления натур (Робеспьер, Марат, Коммуна 1870 года и т.п.) прежде всего – верные отражения болезней и прежде всего обрушиваются смертельным для себя исходом на истинное тепло народной веры и на испытанный свет прогресса. Фальшивые, мишурные проявления якобы «цивилизации» могут ли дать что-либо кроме пресловутой и горькой насмешки над нею в виде Второй империи? Разве ряд из Коммуны 1870 года, Панамы, буланжизма, изгнания орденов, убийства Карно и т.п. не есть совершенно стройное явление после Наполеона III? Какою мелочью отзываются все волнующие нас политические осложнения, если представить себе здоровое, хотя и очень страдавшее тело народа, над которым герои дня проделывают свои недаленовидные эксперименты? Может быть, и эти последние представляют собою своего рода необходимость, неотвратимый результат предыдущего, но сила, спасающая народные организмы, есть сила высшего порядка и, несомненно, сила духовная,

религиозная, перед которой падают всякие изолгавшиеся правительства, проворовавшаяся администрация, выдохшиеся знания, науки и искусства, вымершие и выродившиеся привилегии, все привыкшие считать мишуру за золото, «его величество» за действительное величие, наглость за талант и т.п. Придет время расплаты, отдастся должное всему этому, и найдутся свежие силы новому времени, вначале всегда глубоко искреннему, полному действительного добра, веры и прогресса, одушевленному действительной любовью, действительной верою и надеждою. Франция ли не была на краю гибели в 1870 году? Что ее оздоровило после невозможно грубого погрома от пруссаков, как не народная вера и богатые душевные силы, столь утраченные бывшим до того французским правительством? Разве не величавы потому имена действительных героев-патриотов, героев науки и художеств, за кликом которых доверчиво и искренно пошли миллионы?

«Клинья», о которых я упомянул в начале этих записок, есть несомненное и необходимое явление государственной и общественной жизни в их взаимно отрицательных, непримиримых соприкосновениях. Здоровая, крепкая, искренняя вера только и возможна в здоровом духовными силами народе, над которыми «клинья» могут проделывать какие угодно эксперименты до поры до времени, пока не лопнет народное терпение. Поучительно вспомнить знаменитое недоумение Меттерниха, его классическое «Warum?». В 1848 году, с другой стороны, можно ли было подумать серьезно о будущем столь длинном последствии «второго декабря»? Но и эти жестокие «клинья» разве не были выбиты одним вздохом страны, да еще в таких тяжких обстоятельствах 1870 года? Я часто недоумеваю над вопросом: почему правительства, почти все без исключения, точно стараются, чтобы страна заплатила за свои революции как можно тяжелее и как можно мучительнее? Отчего вышибание «клина» правительство не берет само на себя и не обеспечивает само себе лучшей, свободной и широкой деятельности? Казалось бы, что могло бы быть проще заботы о самосохранении с помощью дальновидных мер и умных уступок, с помощью хода вперед, а не сзади

текущих обстоятельств текущей жизни? А между тем именно правительства надо признать отсталою силою, тормозящею на свое же горе и на горе народа всякие шаги вперед. Я не говорю о русской смуте текущих лет, но вообще о смуте во всяких отношениях правительств и народов, когда последние исстрадались, первые растерялись, когда народы живут еще инертно, последними силами нервов, здоровья и запасов, а правительства только и думают о паллиативах либо о частных экзекуциях, умышленно закрывая глаза на будущее, не смея заговорить об этом будущем вполне прямо и честно. Такие предреволюционные отношения повторяются по одинаковым рецептам во все века и в историях безусловно всех государств. Сказала же инокиня Марфа: «Русские люди измалодушесгвовали», очертив этими тремя словами всю сумму революции бурного времени Ивана IV до избрания Михаила. Кто были эти малодушные, как не те самые, которым был брошен в глаза такой упрек?

Укажу на малый, но внушительный пример того, как чутко и как ясно, благородно отзывается народ на что-либо ему благожелательное. Например, кто не знает, что такое были русские судьи до реформы незабвенной памяти 20 ноября 1864 года? Кто не знает, как вострепелась Россия в первые годы ее земств при Александре II? Кто не знает, как роскошно развернулись наши литература и искусство при первых признаках не свободы, а лишь возможности свободнее думать и говорить?

Русская земля сразу дала тьму благороднейших, честнейших судей, судебных следователей, мировых посредников – без всякого усилия. Эти люди были и ранее, но они стояли «потупя очи долу», их не звали. Гениальному Александру II стоило только крикнуть клич – и люди нашлись сразу и в огромном числе. Нашлись также и благороднейшие земцы, оказавшие России огромные услуги. Нашлась ослепительная, изумительная плеяда художников, сразу поднявших русское искусство в ряд всемирного, прямо в первый ряд, с такими великанами, как Достоевский, Толстой, Чайковский, наши живописцы. Все это дала наша земля только

потому, что после Севастопольской войны, после пресловутых закревских, дубельтов, бенкендорфов хватило ума у Александра II встать впереди и по-русски, с доверием к русским людям стряхнуть ярмо проворовавшейся и отжившей свое время всякой дряни.

Другое дело и другие речи о том, почему не хватило характера и ума выдержать до конца эти благодетельные реформы, взглянуть великодушно и дальновидно на горячность молодых и закипевших порывов и [почему понадобилось] скомкать трусливо это воскресение России, вернувшись опять к недоверию и канцелярщине. Полагаю, что трудно отрицать самому предубежденному уму великолепие порыва 60-х и 70-х годов, достойно доказавшего богатства наших народных сил. Другие речи и о том, как горько расплачиваемся мы за возвращение «все обстоит благополучно», «не могу знать» и т.п. Найдись и теперь гениальный человек – появился бы и теперь новый порыв, проявились бы и теперь огромные духовные силы России, имеющие снасти ее от грядущих треволнений, – огромные таланты, которые указали бы наименьшую расплату и прямую дорогу, встречу этих народных бедствий, встречу открытую, благородную, покаянную. Не чем иным, как величайшим восторгом, величайшим самопожертвованием, полнейшим доверием ответил бы народ на такое к нему отношение. Но нет пока такого бесценного, твердого духом и умом, горячего любовью к родине гениального русского человека!

Я считаю крайним преувеличением все речи о печальном, будто бы все обнимающем значении бывшего крепостного права, на которое сваливают чуть не девять десятых всего. Самый простой арифметический счет – 20 миллионов освобожденных из 80 миллионов всего населения – указывает на иной процент, на иную долю значения крепостного права, которого не знали у нас целые окраины, притом не знали совершенно, разве только соболезнуя по слухам. Гораздо большее зло было в истощении народного здоровья, в разорении народного благосостояния, запасов его зажиточности и особенно в небрежении его нравственными устоями, его

семейной и религиозной дисциплиной. Славянофилы, в свою очередь, чрезмерно преувеличивали будто бы вред реформ Петра I, присосавшего все-таки к нам немца. Народного ума, при народных привычках, хватало и тут для размежевания между лежащим будто бы малахаем, широкополой шубой, теплой избой, столь противоположными более короткому и удобному в работе немецкому платью.

Немного надо сообразить, что никакая власть в мире не осилит подчинения человека его климату и местности, не заставит принять то, что не согласно с народным умом, с переходящими по возрастам и здоровью всякого рода привычками и мировоззрениями. Гораздо проще взглянуть на то, что и как воспринимает народ из напора на него правительственных воздействий или бездействий. Как именно в разных концах страны канцелярски обточенные меры перерождаются сами собою в нечто совсем не предусматриваемое в каком-либо министерстве! Как мало принимается во внимание рост народной жизни или упадок какой-либо части ее благосостояния при издании распоряжений из одинакового размола мельниц, снабжающих одинаковыми распоряжениями и Иркутск, и Тифлис, и Петербург, и Москву! Старая Русь с поместными самодействовавшими организмами, с надобною и разумною централизацией управлялась куда разумнее, чем при режиме, столь удобном для маленькой когда-то Германии при сухом, немецком, обезличивающем административном уме. И там славянство отбилось рядом вольных городов, бывших когда-то народоправств Гамбурга, Любека и Бремена. У нас еще до сих пор стоят, слава Богу, сельский «мир», городская «дума» с их исконным духом народоправств, отлично уживающимся с народною же верою в единодержавного царя. Отрицать последнего могут только верхогляды, а оберегать – глупо и обидно для него, обидно для самой страны – только чиновники, также не глядевшие далее возможного для них и предписанного чиновниками же. А между тем как все это просто, как возможно к любовному и прочному, долговечному общению! Какая огромная, неисчислимая сила в руках царя в этой исторически окрепшей любви народа к

самодержавию, несмотря на отвращение того же народа к опутавшему страну проворовавшемуся и бессердечному чиновнику! Я думаю, что сам царь не знает, как он тверд и силен массою любви народа.

Я считаю, что для России еще есть огромное счастье в том уцелевшем коренном, старозаветном, многомиллионном населении, которое волею судеб и силою духа сохранилось у нас в полосе от Соловков на Урал, Каспийское побережье, Кубань и Дон, то есть в том староверстве, которое и выучилось стоять за себя, и выучилось откупаться от воздействий администрации. Считаю и то, что временное ослабление городского староверства, поддавшегося в своей молодежи влиянию школы городской же, нисколько не умаляет значения этой здоровой части русского народа, уцелевшей неизбежно в своей жизни не только в городах, но даже и среди немцев, литвы и поляков в Прибалтийском крае, даже в омуте фабрик Владимирской, Ярославской, Тверской, Московской и соседних с ними губерний. Огромна и серьезна эта часть нашей Руси! Огромно и счастье в том, что чиновники проглядели будущее влияние старообрядчества как здоровой, свежей русской крови, как твердой дисциплины! Спасибо и Синоду, что проглядел то же самое!

Эта твердость, это здоровье есть приговор нашему изолгавшемуся духовенству, опустившему себя лишь до рубля и до самозащиты от консисторий и генералов в рясах. Двадцать миллионов штунды, выросшей в последние тридцать-сорок лет, есть неопровержимый обвинительный акт, последствия которого в области каких-либо социальных осложнений в Южной и Юго-Западной Руси трудно и представить в размере горести и тревоги этих последствий. Степь, огромные минеральные богатства, немец, иностранные влияния через южное побережье, рабочие неустройства и штунда – слишком сложное явление, уже начавшее о себе заявлять очень внушительно дома, без участия внешней войны. Последняя, если она случится в какую-либо из злых годин, может осложниться, пожалуй, очень большими и еще не бывалыми новостями. Но кроме административной расшатанности, как тормозит еще

общее спокойствие – народное обеднение, болезненная общая нервность! Еще на памяти у всех стариков живы воспоминания о здоровом, зажиточном, благодушном русском крестьянстве! Сколько сил унесли у нас водка и болезни, фабрики и отсутствие столь надобной теперь учительной, народно-религиозной проповеди, хоть какого-нибудь церковного света!

Между тем простое вразумление нашего духовенства могло бы принести огромную пользу России, если бы это духовенство было в состоянии взять на себя действительную службу своему делу. Как могло бы оно поднять дух, как могло бы оно оздоровить нравственность народа, пока последний еще не отпал от родной веры и не отшатнулся от этого недостойного своего дела сословия! А у нас – одна продажная консистория и всеобирающий Синод! У нас и тут проворовавшаяся канцелярщина!...

Но я опять отвлекся от Синодального хора и училища, в которых протекала сполна вся моя жизнь со всеми моими додумками. Уже из многих подробностей, ранее записанных, можно видеть, что я задался целью совершенно переработать жизнь и задачи хора и училища. Передумав немало по существу дела, обсудив окружающее меня внутри этих учреждений, вне их, как со стороны моего начальства, так и самой Москвы, я приступил к исполнению моих мыслей не без совета с близкими мне друзьями. В числе людей, с которыми я счел надобным посоветоваться, был и К.П. Победоносцев, у которого я урвал благодушную минуту во время моей с ним встречи в Гурзуфе. Здесь я услышал от него такие речи: «Вы создали себе обдуманый план и считаете его хорошим и осуществимым? – «Да» – «Если так, не спрашивайте никаких ни у кого разрешений к приведению своего плана к исполнению. Если будете спрашивать невежду – можете услышать ответ неудобный для себя, а между тем властный невежда своим ответом стеснит вашу свободу надобностью хотя немного принять во внимание властность его разрешительного совета. Если спросите знающего человека, но не сильного в знании самых тонких подробностей дела шли, спаси Бог, упрямого, каковы все «специалисты», – еще более горько может быть стеснение

вашей свободы, не только ненадобное, но и прямо вредное. Всякий спрашиваемый, особенно из власть имущих, начинает рассуждать так: меня спрашивают, стало быть, меня надо спросить и ответ мой надобен; что мне (а не делу!) лучше: наложить крючок или два крючка. Советуйтесь как можно больше со своими помощниками, чтобы ваше с ними дело было вполне общим, даже советуйтесь со знающими людьми, не сочувствующими вашему делу, но зато и не имеющими власть над вашим делом. А то подумайте: вон какие деревяшки (следовали имена архиепископов, генералов, даже и власть имущих в учебном деле Синода) берутся авторитетно рассуждать о древних напевах, о школьном деле – только потому, что один святитель пел когда-то и что-то, другой только потому, что «он чином от ума избавлен», а третий потому, что он обязан знать, но на самом деле – прости его, Господи! И все ведь они думают, что в церковном пении, в школьном деле всякий может рассуждать, как ему вздумается. Но в чем я предупреждаю вас, это запомните и исполните: не спрашивайте совета у власть имущих «специалистов» – ибо «крючками дни утыканы и крючки суть», затем не ссрамливайте между собою двух деревяшек, так как это бесполезно для дела, а для вас все равно как бы вы познакомили двух заек, ваших потому двух будущих злейших врагов. Работайте сами, и своя голова, свой опыт укажут лучше всяких чужих советов, что именно и как надо делать свое дело, своим умом и своею радостью».

Признаться, я так и сделал, поставив, однако, в курс всего дела самого Победоносцева. Не утруждая его подробностями, я объяснил ему приблизительно, как, считаясь с обстоятельствами, предполагается обратить училище в детскую семью, предварительно вычищенную от всякой дряни и праздности и приученную к труду, а хор и сослуживцев-сотрудников – в тесный товарищеский кружок, но также предварительно вычищенный от всякой безнадёжной дряни, просветленный учением среди певчих и взаимным доверием в кругу тех и других. Так как этот разговор был осенью 1890 года, то есть после того, как я уже в течение года успел взглядеться в дело, успел немало уже наработать и направить многое с

достаточную твердостью, то понятно, что второй год моей службы в Москве был менее тревожен, менее хлопотлив, так как и ко мне уже успели приглядеться, успели понять, хотя бы некоторые, выгоды новых порядков – выгоды немедленные и будущие. Доброе мое товарищество с В.С. Орловым, А.Г. Полуэктовым, А.Д. Кастальским, с воспитателями И.И. Серебrenицким и К.А. Никольским, равно и доброе же товарищеское соглашение с очень небольшим кружком взрослых певчих, не отстававших от ученья, было тем корнем, от которого скоро пошли здоровые и свежие корешки, захватившие все в свое распоряжение. Мы махнули пока рукой на товарищей-преподавателей и на заскорузлых взрослых певчих, не пожелавших понять или не могших понять наших целей; мы решили дать свободу и им, то есть или присоединиться к нам тогда, когда им вздумается, или вести борьбу с нами, или расстаться с нами. Самая главная часть – начало этого движения, составление первой кучки работников и достаточное впечатление от нашей энергии – была уже сделана в прошлом году и уже заметно разделяла всю паству, то есть сослуживцев, взрослых певчих и учеников, на успешно примкнувших к нам и противлявшихся во имя прежнего и во имя недостатка веры в наши нововведения. Так как безвредность для нас всяких доносов и анонимов была уже доказана, а мои воздействия на эти вещи отличались гласностью и немстительностью, то скоро ослабела и часть закулисного противодействия. Осталось, следовательно, делать новое только так, чтобы не обращенным в нашу веру ничего не оставалось кроме обращения, которое мы не навязывали никому, предоставляя каждому примкнуть к нам, когда ему вздумается, или бороться с нами (что я особенно ценил и поддерживал, разумеется кроме закулисных действий, столь обычных в духовном ведомстве), или расстаться с нами с благодарною за то помощью от нас же, чтобы проститься не врагами и вполне по-хорошему.

Легче всего было устроить школьное общежитие, за которое мы принялись так дружно, что и сейчас приятно вспомнить о такой работе. Мы обшили, обули учеников, завели белье,

зубные щетки, купили одеяла, кровати, повесили термометры, картины, географические карты, сделали классную мебель, завели учебники, ученическую библиотеку для чтения, купили несколько роялей, несколько десятков скрипок, затем по несколько альтистов, виолончелей и даже контрабас. Первая елка в Синодальном училище, сделанная от начала до конца вся, во всех комнатах, убранных каждым классом по-своему, была устроена только ученическими силами с нашей помощью и была спрятана для будущего года вся сполна в своей несъедобной части. Первая детская симфония была разыграна учениками с такою семейною радостью и гордостью, что покачивавшие ранее головами преподаватели и взрослые певчие, ждавшие разгрома елки «нашарап» (интересна этимология этого, кажется, турецкого или румынского слова) или на «ура», и те признали порядочность поведения наших учеников, которые вели себя как хозяева, принимавшие своих гостей, то есть своих отцов, матерей, братьев и сестер. Елка, признаться, и меня очень, очень порадовала.

Этот детский праздник был действительно хорош с внешней стороны и с внутренней... Благодаря тому, что только что отстроенный концертный зал училища увеличил наше помещение, мы устроили праздник в нем, пустив в ход все, что только было под руками. Таким образом, пригодилось даже и полотно в количестве почти тысячи аршин, неразрезанное еще на простыни. Из этого полотна артист-эконом Павел Петрович Засецкий сделал огромный шатер, накроил флаги-простыни; ребята наклеили несколько верст бумажных цепочек из цветной, золотой и серебряной бумаги, множество фонарей всякого сорта, щитов и проч. Я купил после гулянья в Манеже около полутора сотен елок, с помощью которых мы обратили все училище в сад, перенесенный после на двор для украшения катка. Каждый класс потихоньку друг от друга устраивал убранство своей комнаты – и, надо сказать правду, не без остроумия и не без изящности. Были тир, буфет, лавка для раздачи угощения, лавка для подарков и сюрпризов. Елку украсило также и концертное отделение с участием хора. Хотя и дороговато обошлась такая елка училищу, но дорог был именно

подъем духа, труд учеников по ее устройству, впервые призванный к устройству своего праздника. Ранее это все делалось, так сказать, чужими руками, и дети были гостями в своем доме, глядели на елку сточки зрения цены полученного угощения и подарка и т.п. Таких елок у нас было три; так как последняя очень не понравилась Ширинскому-Шихматову, то эти детские праздники были прекращены «за неимением средств», ибо на сто рублей нельзя же было устраивать бывшее, несмотря на то, что за три года накопилось елочных украшений достаточно. Ш² нашел ненадобным наше общение с родителями, братьями и сестрами учеников; он находил, что мы должны были бы завести «детские школьные игры» по команде учителя, почетные места для посетителей, встречи их, декламацию стихотворений...

Уже из перечня приобретений видно, чего были лишены перед тем мои ученики и вместе с тем – до какой степени они не были приучены хотя к какой-либо бережливости и аккуратности. Ведь и раньше были заводимы и книги, и белье, и прочее, но вскоре все эти вещи были, как «казенные», растрачиваемы с какою-то безжалостностью, без всякого желания иметь около себя что-либо исправное. Теперь, кроме требовательности, наставления, вразумления, взыскания, мы дружно и неумолимо начали заводить в Синодальном училище обязанности разумного и деликатного обращения с вещами, стали требовать чистоту платья, рук, порядок в столах, чистоту стен, исправность в книгах, тетрадях и прочее. Очень было трудно добиваться, чтобы все делалось хорошо, а не кое-как, чтобы хорошо делалось ради самого хорошего, а не ради ответа за неисправность. Еще труднее было заводить исправность ученья и приучение учеников экономить время. По преобладанию поповской крови в учениках и по воздействию жестокой жизни недавнего прошлого, ученье учеников, особенно же уже спавших с голоса, нисколько не интересовало их в тех частях науки, которые не могли иметь немедленного практического применения, не могли быть немедленно утилизированы в их жизни. Поэтому с величайшею неохотой они учили уроки, например, Священной истории, гражданской

истории, географии и т.п., несколько лучше шли, например, упражнения в умственном счете, черчение карт, письмо разными почерками, игра на скрипке и особенно нотное письмо. Зато оказалось, что переписка нот за деньги для московских хоров, как оплачиваемая, была давно доведена некоторыми учениками прямо до совершенства, особенно же в письме партитур. Поощряя это искусство как обязательное и как средство запастись в школе партитурами, я все-таки зорко следил и за возможностью зла от скопления денег в руках ученика. Убеждения мои, опять-таки под давлением прошлого быта, были бесплодны, и мальчики с деньгами приобретали себе и табак, и сласти, ходили в трактиры и прочее. Средства мои были бессильны. Мне представлялось, что не занятое чем-либо серьезным, интересным и ласковым вниманием учеников само создавало в минуты праздности что-то такое, что имело вид придуманного запретного плода, принимавшего, смотря по натуре и уровню развития, то тот, то другой характер удовлетворения какого-либо пустого желания. Наблюдения за праздностью у разных учеников и за разностью отношения их к тому или другому способу моего внимания к ним, моего желания занять их свободное время вскоре привели меня к множеству заключений о порядке общежитий, ученья в них, а главное, к сближению с учениками, к сплочению их в семью. Лучшим средством для достижения такого сближения мне всегда казались простые, частные беседы, совершенно лишенные какого-либо учительного, умышленного содержания, но содержательные сами по себе и оттого интересные для детей. Я никогда не затруднял во время этих бесед детские умы требованиями что-либо соображать или сделать умственное усилие для какой-либо теоремы или для плана беседы, но всегда вел эти беседы по всякому поводу и по всякому случаю, вполне просто и доступно, помня, что ведь в сущности это есть время детского отдыха. Чаще всего мы беседовали, ходя по залу кучкой в самое разнообразное число лиц, или по двору училища, или в садике, толкуя весело, оживленно, вполне дружески. Я знал, что ребяташки очень любили такие беседы и что с помощью такого общения наша семья действительно

сплачивалась искренне и тесно, отчего быстро смягчались нравы, росло взаимное доверие, а гласность начала все более и более проникать в нашу товарищескую жизнь. Отсюда сами собою отпали все недостатки строя бурсацко-чиновничьей школы, вся мерзость скрытности и недоверия, взаимной расправы, все дикости прежде царивших нравов, сменившиеся действительною затем семейною школьною жизнью. Я считал это улучшение Синодального училища одним из самых удачных проявлений моей учительской деятельности. Смешно вспомнить, однако, что Ширинский-Шихматов, читая мой отчет о состоянии училища, сухо заметил мне, что не было циркуляра Учебного комитета при Св. Синоде, которым разрешались такие самовольные нововведения, и, что он, Ш², недовольный изложением моих педагогических воздействий, свыше не предусмотренных, не допустит в будущем году отступлений от установленных форм наложения отчета. Я, удивленный такою тупостью Ш², просил его дать мне предписание и был еще более удивлен, когда получил такое действительно. Шишков был много умнее по этой части Ш² и глядел на дело проще и человечнее, без сухости и казенщины всеубивающей. Рачинский, однако, похвалил мой отчет.²⁸⁷

Одною из временных подробностей первых лет ученической жизни Синодального училища были «послушания», заведенные самими учениками.

«Послушания» были заведены в третьем классе по мысли ученика Сугрובה, племянника нашего октависта Ивана Гавриловича Сугрובה, сына горького пьяницы Алексея Гавриловича, также певчего Синодального хора. Сугробов, ныне горемычный вдовый священник в Красностокском женском монастыре, отлично учился, был мало способен к музыке и сильно забит в детстве, так как видел в семье отца и дяди множество всякого неопишемого горя и самой ужасающей бедности. Каким-то чудом уцелела, однако, в этой пылкой и совершенно скрытной от забитости душе ребенка удивительная стойкость и кротость его матери, сущей страдальцы. Я пригнул Ваню Сугрובה, устроил его, безголосого и никогда не певшего, в казеннокоштные ученики и таким образом дал ему хоть какую-

нибудь возможность не переживать домашние ужасы. Первая мысль «послушаний» состояла в тайном немногочисленном братском единении товарищей, в их взаимопомощи и послушании очередному между ними старшему, как бы распорядителю с ведома всего братства. Так как членами братства были 12–13-летние мальчики, то немудрено, что область их «послушаний» сначала выработала дружный надзор за чистотой рук, платья, за порядком в их учебных столах, за общим приготовлением уроков, даже надзор за поведением «послушников» во внеклассное время. Понятно, что я сейчас же заметил «послушание» и стал его заступником в случаях столкновений его членов с какими-либо «солистами». Мы уговорились пока не принимать в «послушание» новых товарищей, кроме испытанных уже 10–12 мальчиков и не только не драться, но даже и не обороняться при столкновениях с посторонними нам, держать свое братство в секрете и не отказывать в помощи любому из посторонних, даже «солистам». Я догадался сохранить секрет «послушания» не только от учителей, но даже от воспитателей, или, лучше сказать, от людей, называвшихся воспитателями. Понятно, что через месяц мы были замечены всеми и пережили, кроме радости наших внутренних успехов, кроме радостей братства, кроме удовлетворения душевного, еще и атаку птенцов старого закала, напавших на нас с самой непримиримой ненавистью. Очередных «игуменов», как прозвали их всякие «солисты», начали дразнить, бить, всячески подводить под всякие школьные неприятности решительно повсюду. Но за нас вступился уже авторитет нашего прилежного ученья и отлично выдерживаемого поведения, почему стали на нашей стороне как учителя, воспитатели, так и вся наименьшая братия, особенно терпевшая от терзаний ее старшими учениками. Пришло время вскрытия нашей организации, товарищеского суда над «большаками» и «солистами» и предложения избранным нами ученикам вступить в наш союз, но после месячного испытания. Тогда «послушание» стало гласным обществом, строгим и истинно благотельным для училищных порядков. Нетрудно представить, что за скорым после того

удалением из Синодального училища всяких нестерпимых большаков «послушанье» само собой обняло всю массу учеников и создало ненужность малых кружков. Период всей истории «послушаний» продолжался около двух лет, но истечении которых мы зажили семейно, мирно и трудолюбиво.

Такие же «послушания» в кругу больших певчих впоследствии выразились в учреждении «Общества трезвости». Самое появление ученических «послушаний» есть, конечно, одно из колец цепи коллективных душевных движений, вызванных в общежитии увлечением новыми порядками и протестами против таких увлечений. К таким же характерным явлениям следует отнести проступки учеников, которые были обдуманы сообща, носили явно демонстративный характер, рассчитанный на авторитет прецедента, на силу впечатлений от такого случая. Эти вспышки и попытки вернуть прежнюю «волю» были проявлены, конечно, только старшими учениками и действительно заставляли меня задуматься, так как их грубость и резкость были для меня вполне непривычною новостью. Молодые люди долго не хотели понять, что добровольная дисциплина, действующая не извне, а изнутри, порядок и взаимное уважение одинаково выгодны во всех отношениях и всем без исключения, что истинная свобода может быть выработана. «Мы были малы – нас били, теперь пришел наш черед бить малых», – говорили мне вполне искренне и с сознанием как бы «права» отомстить за бывшее и за перенесенное безответное унижение. Все мои доводы о ласке и внимании к слабым детям, о радости иметь таких чистых душою друзей встречались старшими учениками не только с недоумением, но прямо даже с насмешками, как какая-то невозможная затея, обидная и незаконная. После множества бесед со старшими учениками я убедился, что только пример и строгие требования внимания, если уже не ласки, помогут смягчить бурсацкие нравы. Поэтому я принялся за малышей и скоро сдружился с ними, скоро устроил с ними оборонительный союз и, так сказать, свою оборонительную полицию. Это сближение с маленькими детьми, кроме достигнутой цели, вскоре ввело меня в прелюбопытный детский чистый кружок и

дало возможность выправлять и членов этого же кружка, изуродованных до школы грубыми семьями. Меня поразило множество последних и огромная разница между детьми восьми-девяти лет битыми дома и не битыми. Только в зиму 1889/90 года я понял впервые, что значит битье детей дома, что значат для этого возраста грубая мать, пьяный отец, или жестокосердный старший брат, или грубый работник в семье. Таких детей втрое, впятеро тяжелее учить по их черствости, недоверию, запутанности и отупелости в сравнении с детьми небитыми, хотя бы и меньших способностей. Я перечитал вновь знакомые мне курсы педагогики и встал в тупик перед тем рядом детей, которые были забиты слишком сильно и не верили доброму с ними обращению, в случае же столкновения с товарищами были особенно грубы и жестоки, повторяли в меру своих сил все пережитое и испытанное ими самими. Конечно, наказания в Синодальном училище отсутствовали совершенно, и только в случаях каких-либо особых провинностей мальчики отсылались домой. На увещания и внушения, не сопровождавшиеся телесною болью, ученики из битых до школы смотрели только со смехом, любясь ловкостью своего притворного раскаяния, притворных слез и издеваясь над поверившими им воспитателями. Тогда я пришел к мысли устроить с каждым из таких птенцов педагогическое *diminuendo* наказаний, соблюдая при том осуществление такого же *diminuendo* для всего заведения и ведя это дело вполне гласно и в высшей степени сдержанно и осторожно. Я начал с отцов и матерей, вызывая их в надобных случаях к себе, вразумляя их о суеде бывших наказаний, ставя их в полную известность относительно всех провинностей ученика и воздерживая их от бывших воздействий. По правде сказать, эти беседы с родителями просветили меня более, чем всевозможные сочинения по педагогике, и научили меня искусству твердо вести школу, выправлять кривое и выращивать почти безнадежное. Я научился общению со всякими своеобразными родительскими умами и сердцами; я понял, что под гнетом жестокой нужды, под наслоениями многолетнего порока, грубейшего произвола крайне легко найти в каждом, без

малейшего исключения, родительском сердце самые нежные, самые трогательные струны любви к своему ребенку, прямо дрожащие, трепетные при виде любовного и сердечного участия к их детищу. Даже мачехи, особенно же имеющие погодков-детей, и те не могут устоять против участливого общения с ними по поводу их пасынков – товарищей их родных детей. Просьбы о ненаказании детей, возбуждающие сначала недоумения таких родителей, потом вспоминались с каким-то особенным восторгом, с каким-то душевным просветлением и невыразимо трогательными проявлениями благодарности. Много отцов и матерей целовали мои руки, многие приходили с подарками, было несколько случаев, когда матери и отцы приводили ко мне остальных детей и уверяли меня при них, что и этих они перестали бить.

Так открылась для меня эта совсем простая школьная Америка, давшая возможность очень скоро привести Синодальное училище до степени хорошего общежития, до хороших успехов. Памятуя старую притчу о разности десяти пальцев на руках и о драгоценности каждого из них, я был все время безусловно строгий, требовательный, но не грубый учитель; я ловил в каждом ученике решительно все хорошее, что только удавалось подметить в нем в каком бы ни было отношении, и, развивая это хорошее, уменьшал тем самым дурное и недоброе, предоставлял более сильным воздействиям только самое последнее место, только в самых редких, исключительных случаях. Практика выработала у меня затем те два приема, с помощью которых я наказывал в надобных случаях моих учеников иногда более всего.

[Первый] – возможно полная гласность и разумное, возможно забавное объяснение нелепости какого-либо проступка. Отличная польза от таких наказаний, то есть полное и снисходительное осуждение проступка всем нашим мирком, достигалась, однако, при непременном условии меры таких воздействий. Ученик никогда не испытывал оскорбления, издевательства, но, смотря по чувствительности его самолюбия и его сообразительности, должен был быть предметом общего внимания, обличения, осуждения, более всего благодушного

смеха. Семья училища особенно крепла и спланивалась этими минутами общего поучения и своего суда. Ум и такт руководителя таких воздействий, конечно, всегда требовал понимания ученика, попавшего под такую беду. Девяносто пять процентов товарищеского благодушного и веселого суда были удивительно умны и подробны. Пять процентов были очень строги – и все же вполне справедливы и, безусловно, терпимы.

Другой прием был случайно подсказан мне известным адвокатом Ф.Н. Плевако, однажды запавшим меня во время беседы с только что провинившимся мальчуганом. Федор Никифорович со свойственным ему комизмом рассказал о забулдыге – купеческом сынке, обратившемся к нему после «подвигов» где-то и «протокола». «Пиши письмо к родителям», – осенило меня после слов Плевако, и я выдумал попробовать эту меру на мальчике. Собственноручное писание покаянного письма, после того как содержание его было на словах выработано вместе с учеником, оказалось наказанием очень сильным и сложным по душевным воздействиям на разные натуры. Оказалось, что самые заурядные натуры не выносили, когда им приходилось с глазами, полными слез, выводить слова: «Простите меня, мила! мамаша! Я вас так огорчаю...». Впоследствии этот прием был мною разработан и с жалостью к родительским сердцам, так как получение такого письма было также невесело и для старших. Очень часто мы уговаривались в том, чтобы родители не придавали дома цены таким письмам и прямо жгли их, так как для меня было довольно и тех трех-пяти минут, которыми я наказывал ученика, заставив его под диктовку писать такое письмо. Более всего такие письма попадали на долю маленьких хитрецов, и, конечно, в письме им приходилось излагать про самих себя немало неприятного, прося извинения у родителей. Были мальчики, написавшие даже три-четыре письма. После такой меры исправление достигалось. Понятно, что писание писем не было мерою, предпринимающеюся неосторожно и без разбора. В том и состоит искусство учителя-воспитателя, чтобы уметь вовремя и в меру повлиять на ученика тем или другим способом.

Иногда я позволял себе действовать по какому-то особенному вдохновению, по какому-то безотчетному самовнушению, которое потом я и сам не мог объяснить себе. Купив новые ложки для учеников, я был возмущен тем, что тринадцати-четырнадцатилетний мальчик пробил в одной из ложек дыру в ее дне и затем расширял эту дыру подпилком. Я объявил, что мальчик, должно быть, сошел с ума, и отправил его в лазарет, где доктор якобы должен несколько дней наблюдать, какого рода у него помешательство... Прием этот произвел самый полный эффект, и мальчик вернулся дня через три-четыре действительно неузнаваемым, сразу бросил все свои невыносимые шалости и упрямую лень. Однажды две пары мальчиков вздумали ездить друг на друге и наткнулись на меня. Я приказал им продолжить их занятие и провел эту группу по всем классам, потом к Анне Ильиничне, на спевку, к жене Орлова, на случившиеся в это время уроки скрипки и фортепиано, при общем хохоте и удивлении всех. Почему я так поступил – не могу объяснить и сейчас, но я чувствовал, что именно в этом случае и именно с этими мальчиками мне надобно было поступить именно так. И я не ошибся. Кому из взрослых людей придет в голову, что вдруг был выдуман учениками (десяти-одиннадцатилетними) такой спорт: горчичник бумажный разрезался на восемь частей и одновременно прикладывался на руку подмышкою; четверо более выносливых получали доли воскресного пирога от не вытерпевших этой пытки. Я угостил пирожным все сто человек моих учеников, предав гласности и посмеянию обе партии проигравших и выигравших за сладкой едой. Однажды ученики расшалились на молитве, два-три даже и подрались – мы устроили тут же училищное покаяние, и после моей проповеди, после условленного тут же молчания минуты три-четыре я сам прочитал молитвы; затем я при всех простил, благословил и поцеловал виновных. Почему я поступил так и сделал ли бы я то же второй раз – не знаю.

Минуя другие стороны моей практической педагогики, я могу лишь сказать, что смотрю на это занятие как на одно из высших искусств, в котором находчивость и виртуозность, после

знания и осмотрительности, занимают первое место, а радость труда и любовь к людям – все содержание. Не могу себе представить большей радости, большей заслуги перед людьми, как возможность сказать спокойно и с достоинством про ряд достойных людей: это мои ученики, я их вытащил чуть не за уши, я их заставил учиться, я вырастил, воспитал их и выучил их. Немного надо ума, чтобы не впасть тут же в грех самомнения и ненадобной гордости: стоит только подумать, что эти же люди могли быть еще лучше, еще образованнее... Отделив это и памятуя свой труд, не трудно уяснить себе долю доброго участия, которая пришлась на каждого бывшего ученика. Это и есть радость и награда стареющего учителя. В мои годы эта радость делается уже счастьем, так как я имею сотни любящих меня и любимых мною учеников, старшие из которых – почтенные люди и хорошие работники.

Довольно будет этих строк, чтобы покончить с воспоминаниями о Синодальном училище как школе при прокуроре Шишкове. Обидно будет начать писать о Ширинском-Шихматове, совершенно не сумевшем понять бывшую уже к его приезду нашу прелестную школьную идиллию и попытавшемся упрямо и недобро всячески разрушить ее как непредусмотренную циркулярами. Время 1892–1897 годов – лучшее время и моей жизни с моими учениками.

Синодальный хор

Синодальный хор как церковный хор я застал в 1889 году слаженным довольно удовлетворительно как в смысле уравниженности голосов, так и в смысле стройности исполнения. Оттенки хора были иногда также достаточно изящны, звучность же прямо хорошая. Орлов, поступавший было вместе со мною в 1886 году, упредил меня на три года и успел к моему прибытию вышколить хор весьма значительно. По крайней мере я помню, что они пели мне концерт Львова «Приклони, Господи, ухо Твое» почти безукоризненно, звучно, стройно, довольно легко и местами даже изящно; затем помню и то, что в первые же недели моей службы в Москве мне пришлось узнать ряд совершенно диких сочинений московского изделия. Последнее обстоятельство, по правде сказать, очень меня озадачило, так как я оказался вполне несведущим в области этих сочинений, а это был любимый цикл москвичей. Я дал себе труд пройти с Орловым всю эту литературу (конечно, из так называемых «ходовых» сочинений, то есть более других любимых и чаще исполняемых) и подивился архинеграмотному их наложению. Вместе с тем я задумался над вопросом: почему же эти вещи так любимы? Несомненная простота, звучность и хороша! мелодичность многих этих сочинений убедили меня, что этот ряд сочинений именно и есть та средняя дорога, которую надо выбрать между итальянской сладостью и виртуозностью, с одной стороны, а с другой – знаменным и древними расппевами; найденная мною впервые «Разоренная» Херувимская (то есть сочиненная и исполняемая после того ежегодно в день октябрьского крестного хода в память 1812 года) открыла мне глаза, в связи с другими соображениями, на возможность не мудрствуя лукаво использовать почти все готовое, придав ему лишь художественную форму. Сближение всяких «разоренных», «ипатьевских», «старо-симоновских»²⁸⁸ и прочих с гармоническими и контрапунктическими приемами Глинки, Мусоргского, Римского-Корсакова и возможность остаться дома своим же художником, пользуясь новыми и

разумными средствами при старых и уже излюбленных материалах, – вот та дорога, которую я указал Орлову, к счастью моему, своему и Синодального хора понявшему дело сразу и правильно. Я помню, как у Орлова блеснули глаза, когда я ему сопоставил отдельные части мелодий так называемой «Алекسانдро-Невской» «Милости мира» с песней «Вдоль по матушке, по Волге» и «Матушка, что во поле пыльно». Мы решили после этого разговора заняться упорядочением нескольких лучших напевов этого рода и неуклонно исполнять их вместо сочинений Бортнянского по воскресным дням, когда Успенский собор бывает полон «простым народом». Сходство мелодий, о котором только что сказано, я сейчас забыл и только припоминаю, что я очень удивил Орлова такими указаниями. Если я не ошибаюсь, в числе примеров тогда мною были указаны:

Это было так давно, а теперь таких примеров, даже и более выразительных, можно подобрать сколько угодно.

Таким образом, ранее, чем началась собственно выучка Синодального хора, его техническое развитие, было начато ослабление в программах всякой итальянщины, безусловное удаление всякой дряни из репертуара воскресных и будничных служб и внедрение в эти программы сочинений именно вроде «ипатьевских», в которых мы подчеркивали тонко и осторожно русские мелодии. Службы наши, таким образом, сами собою разделились на «умные» и «глупые», причем под последними разумелись те, в которых середина Успенского собора отделялась перегородками для помещения между ними в царские дни мундирных генералов в лентах. Этих богомольцев мы начали угощать «нашими» Херувимскими разве с 1896–1897 годов, глупейшие же сочинения вроде Есаулова, Давыдова и прочих даже и в «глупые службы» были изгнаны еще с 1890 года. Зато в воскресные дни вскоре народ заметил новую нашу струю, и вскоре и я, и Орлов стали получать выражения живейшего нам сочувствия. Тогда мы условились между собою, не спрашивая начальства и не советуясь с попами (так как в репертуарной части, как то ни дико, синодальные певчие были подчинены отцам протопресвитеру и дежурным сакеллариям),

петь свое и начать наш дебют с одиннадцати Евангельских стихир, переложенных А.Г. Полуэктовым.²⁸⁹ Эти стихиры «большого» распева, то есть со всеми «фитами» и «лицами», мы начали петь вместо причастных стихов. Гармонизация их была, конечно, слаба, так как Александр Гаврилович не блеснул талантом, а отличался лишь прилежанием и быстротой в работе, но коренной напев все-таки был выдержан довольно точно и гармонизирован гораздо лучше, чем у Львова. Нетрудно себе представить, как наострили уши всякие «любители», молившиеся у свечных ящиков собора... Чаепития с ними в Большом Московском трактире памяты мне бурными прениями, в которых я, конечно, не принимал участия. «Нечего сворачивать Успенский собор на Рогожское или Преображенское кладбище (то есть на раскольниковую дорогу), – вопили одни, – то, что уже умерло, не может воскреснуть, да и хорошего-то в нем ничего нет». «Ладно, – возражали другие, – что и так мы слышим родное, уцелевшее на Рогожском и целое еще по будням в Успенском соборе, а то иной раз войдешь в храм Божий – чуть-чуть не кажется, что попал либо в «Яр», либо в «Эрмитаж» (то есть загородные рестораны), а все ваши багрецовы, строкины и «крепостные» их...».

«Вы иногда попутайте, – сказал мне раз потихоньку на ушко сакелларий, – что есть указание устава церковного: «Аще водит настоятель...». «Прошу мне заблаговременно присылать на утверждение программы пьес, которые вы предполагаете петь в соборе. Я буду прослушивать и по своему усмотрению разрешать или запрещать», – говорил мне прокурор Шишков.

«Ах уж эти крюки! Ах, ох-хо-хо этот знаменный распев, – сокрушался милейший К.П. Победоносцев. – Заведут: у-у-у-у-у-у – конца нет, только что какое-нибудь слово скажут, и опять: ууу-ууу-ууу! Да ведь (то есть про меня) и упрям же этот народ! – именно «специалисты», именно «знатоки», вон и у меня в Петербурге Соловьев²⁹⁰ – надоед совсем со своими «фитами»; а Саблер – упрям, совсем как старый осел, ведь ничего не понимает, нот не знает – а сам: «Прекрасно! Превосходно!». А в это время ему: у-у-у-у-у-у – ну скажите сами, ну, на что похоже? Вот я понимаю, например, Турчанинов или ирмосы пятого гласа

Львова – это меня трогает, я с детства это слышу и привык молиться... Нет, при мне не пойте...».

Разговор этот происходил перед обедней в один из дней Пасхи в гостинице «Славянский базар». Я вспомнил, что дело шло о «Тебе одеющегося», где на слове «увы» действительно тянется «у-у-у-у-у...», столь не понравившееся Победоносцеву. Собираясь в собор, Победоносцев не подозревал, что я нарочно укажу петь во время запричастного стиха именно «Тебе одеющегося», указанное на этот день по уставу и исполнявшееся Синодальным хором восхитительно, оживленно и с особой силою выражения. Победоносцев пришел в полный восторг и, обратившись ко мне, сказал: «А ведь хорошо! Вот у вас и «у-у-у» тянут, а не скучно, хоть и знаменный распев». Тщетно я уверял Победоносцева, что это не русский, а болгарский распев. «Нет, – отвечал он, – как только начнут тянуть – так это и есть знаменный распев».

«Вот, спаси Бог, удостойте чайку в компании, – говорили мне совершенно незнакомые, но с «гуменцами» и «в кафтанах», то есть старообрядцы. – И как они, братец мой, «пятогласную-то» развели..., потом слышу и «кудрявую» ведут – совсем как у нас в Гавриковом!²⁹¹ – не обессудьте-с, пожалуйста-с, вот близехонько у Василия Блаженного... Наслышаны ведь о вас еще из Казани от Карповых"... и т.д., и т.д., и т.д. А я все слушал, соображал, продумывал и наблюдал. Мне казалось совершенно ясно в этой разногласице, что и слабая попытка осторожно начать свое дело всколыхнула многое, что эта мера нововведений бьет многих по самым разнообразным струнам, даже и не имеющим ничего общего с делом восстановления древних напевов, предписанным через тех же прокуроров, что и даже слабое начало окрыляет многое затаенное и ведет к фантастическим обобщениям и расширениям. Слушаться кого-либо в деле мне привычном и надобном вообще не в моей натуре, осторожность же и благоразумное «кроткое упорство» были мне всегда свойственны. Я и решил потом идти своим путем, прямо и твердо, не дразня никого, лавируя между ветрами и подводными камнями и не кадя никому, но исподволь и не меняя общего курса утвердить принятое направление. Я

решил прежде всего заставить Синодальный хор забыть ту дребедень, которую он знал, любил и к которой приучал других, потом выучить Синодальный хор древним напевам в той мере, с помощью которой эти напевы прямо бы пленяли своею русскою, родною красотою, и, наконец, поднять технику и художественный уровень Синодального хора с помощью музыкального общего образования и ознакомления с образцами истинного мастерства и истинного вдохновения. Конечно, Орлов был посвящен во все подробности этого плана и сам участвовал в его разработке, более же всего в его осуществлении. Конечно, и самое дело только и могло быть осуществлено с таким умным, опытным и прилежным художником, как В.С. Орлов.

Для осуществления плана, кроме разделения служб на «глупые» и «умные» (с соответственным потому подготовлением пьес), мы разучили вновь всякие «Ипатьевские» Херувимские, подчеркнули в них русские нотки, отделили их возможно изящнее; затем мы выбрали из итальянщины Львова и Бортнянского только самое лучшее и ограничились только этим, сдав в архив всю остальную дрянь; последними звеньями в этом плане были курсы для взрослых певчих и ряд таких вещей, как Реквием Моцарта, С dur'ная месса Бетховена, весь сборник «Musica sacra»²⁹², несколько месс Палестрины, «Stabat» Жоскина де Пре, пенитенциарные псалмы Лассо и прочее. Ряд этот был выполнен в течение нескольких лет и при мне закончился изучением всех хоров h moll'ной мессы Баха. В этот ряд, благодаря советам С.И. Танеева, вошли многие другие сочинения, которых мы не имели сначала в виду.²⁹³ Изучение этих сочинений, в связи с теоретическими курсами взрослых певчих и особенно малолетних (для которых мы выдумали своеобразные краткие курсы элементарной теории, гармонии, контрапункта и формы для детей от 10 до 13–14 лет), чрезвычайно подняли интеллектуальность Синодального хора, начавшего петь **умно** и выработавшего превосходную голосовую технику. Начало этого совершенства относится к зиме 1893/94 годов, когда оно разбудило талант Кастальского, а затем П. Чеснокова,

начавших писать под впечатлениями древних напевов и приемов старого мастерства.

Трудно представить себе ожесточенность борьбы, которую пришлось мне вести в деле обучения взрослых певчих Синодального хора! За таких «притесняемых» вступились всякие «любители» и «знатоки», настойчиво и злобно подчеркивавшие всякую мелочь, придавшие всему извращенный смысл, воевавшие и гласно, и анонимно, и в стенах училища, и в пределах московского певческого мирка, и в кабинетах сильных мира в Петербурге. Например, по поводу Реквиема Моцарта и мессы Бетховена – стыдно вспомнить – приняли к сердцу обвинения в соблазне «синодальных» певчих латынью и *filioque*²⁹⁴; или вопили про стремления мои уронить «высочайшее» одобрение сочинений Бортнянского, про расшатывание мною традиций Успенского собора, про «извращение» мною смысла древних напевов, про склонность мою к расколу, про неуважение мое к опытным заслуженным певчим, которыми любитесь вся Москва, про неуважение мое и легкомысленное отношение к вкусам Москвы, воспитанным «незабвенными» «песнотворцами» Багрецовым, Виктором, Феофаном и т.п. Особенно были возбуждены статьи в «Гражданине» кн. Мещерского, либо озаглавленные «Для чего же, наконец, существует Синодальный хор в Москве», либо подписанные «Один из девяти тысяч оскорбленных» и т.п. Не менее пылки были всякие анонимные памфлеты, весьма объемистые и крайне запальчивые, под заглавиями «Старое и новое в церковном пении» или «Упадок Синодального хора и злобредность его нынешнего направления» и т.п.²⁹⁵ Настойчивость нападений всякого сорта вынудила меня однажды заявить К.П. Победоносцеву, В.К. Саблеру и Шишкову, что всякое содержание всякого доноса может иметь двойное значение: либо такого сообщения о чем-либо малозначительном, о чем я не счел надобным сообщить им сам, либо столь скорого сообщения, что я не успел еще сообщить о чем-либо по каким-либо причинам; третье значение всякого доноса и шантажа понятно само собою. Последний донос на меня был из-за «Московского трио», которое я особенно

сердечно и всячески оберегал и поддерживал, предоставляя им всякие льготы для их концертов в зале Синодального училища. На этот раз вместо укрывавшихся имен всяких урусовых, хитрово, дурново, гнусиных, емельяновых, ревнителем избежания соблазна выступил официально (хотя и секретною бумагою) обер-полицмейстер Власовский, находивший «неудобными» для «Синодального» училища концерты «трех некрещеных евреев» на той самой эстраде, на которой Синодальный хор «поет во время всенощных», и проч.

Дурново Николай Николаевич – издатель всяких заграничных брошюр о состоянии Православной церкви в России, издатель журнала в Бухаресте («Православный вестник» – кажется) – лютый враг Победоносцева и ярый защитник того режима народной управы в избрании пастырей, которая так уничтожена синодальною чиновною бюрократиею.²⁹⁶ Я читал почти все его писания, и они производили на меня неприятное впечатление своею крайнею резкостью и малою при том убедительностью. Автор, как мне казалось, в пылу личных отношений и в пылу фанатизма не различал общее от частного и местами говорил брань целыми страницами, точно будто бы только с целью облегчить себя, выбравшись во всю меру своей злости и досады. Мне никогда не удавалось разобраться, читая за границею писания Дурново, в точном смысле его отношения [к конфликту] между болгарскою схизмою и греческою патриаршею; также трудно было разобраться и в его воплях по поводу чествования армянского католикоса Мрктича I, внимания правительства к старообрядцам Белой Криницы и русским их общинникам, в отношении Дурново к [старообрядцам] «окружникам» и «противоокружникам». Было в писаниях этого автора что-то неприятное, пристрастное, нечистое.

Мне вспоминаются также некоторые забавные курьезы из области музыкальной и театральной критики. Записываю о том на память именно для того, чтобы показать, кто бывал в цехе самородившихся рецензентов и какие штуки выходили от такой

самозванщины. Мне вообще казалось, что чем далее отстоял какой-либо борзописец от понимания им искусства, тем резче были его заметки, тем требовательнее были его внушения артистам и категоричнее его суждения. Особенно жалки рецензенты-репортеры, бывавшие в один вечер в трех-четыре-х местах, не успевавшие попадать в пятое-шестое место и пишущие либо наугад, либо с чужого голоса. У приятеля моего В.С. Тютюнника много лет носилась в бумажнике маленькая рецензия, подписанная известным Николаем Дмитриевичем Кашкиным, о спектакле «Фауст» с участием Мазини. Спектакль был отменен по болезни Мазини, и в Большом Московском театре дали в этот вечер совсем другую оперу, а Кашкин описал, какие номера Мазини повторил, какие подношения были этому артисту, как плохо и с обычными недостатками пела Маргарита, сколько раз вызывали Мефистофеля и т.п. У Тютюнника упомянутая вырезка производила [тем больший] эффект, что случайно на обороте этой бумажки пришлась «Хроника дня», в которой было сказано, что «поклонницы Мазини» были вчера огорчены отменой спектакля, так как по болезни вместо «Фауста» был дан балет такой-то, то есть этот репортер перепугал, очевидно получив сведения лишь от капельдинеров, хотя и этот тоже упомянул о каких-то особенностях небывалого спектакля.

Но в провинции, например, в Казани, дело было много проще. Я припоминаю хромого рецензента (из кончивших университет, однако), подписывавшегося «Веди-Он» и сидевшего олимпийцем всегда в первых рядах кресел. Однажды в обществе хорошенькой дамы, за которую ухаживал хромой рецензент, случилось быть и мне. Играли какую-то миленькую, благозвучную пьеску в театральном антракте, и дама попросила рецензента узнать ее название. «Веди-Он» проковылял до первого пюпитра в оркестре и, возвратившись, сказал даме, что пьеса называется «Piccolo». И такого молодца в опере казанской побаивались многие артисты, так как иногда он писал очень резко и самоуверенно.

Припоминаю я также, что однажды в Синодальном училище ученики прибежали ко мне, передавая на перерыве, что пришел

пробоваться к поступлению в хор человек, очень похожий лицом на поэта Пушкина. Придя в зал с малышами, я действительно увидел человека лет тридцати, одетого по моде московского памятника Пушкина и лицом очень на него похожего, как и складом всей фигуры. Вскоре оказалось, однако, что Пушкин не смог ответить на обычный у регента вопрос, то есть попасть с **до** на **ля...** Второй вопрос Пушкину, то есть попасть с **ля** на **фа#**, не был предложен за неразрешением первого вопроса. Это было летом 1895 года.

В ноябре-декабре этого же года я увидел Пушкина опять, но в квартетном собрании, где он подошел к знакомой мне барыне. Барыня была равнодушна к красотам квартетной музыки. Ее тянуло более в оперетку или в театр-фарс, но в квартетные ее таскал муж-старичок, и она, очевидно, скучала, так как к тому же аудитория квартетных собраний прямо страдала отсутствием молодежи. «Как приятно бывать здесь, – напевал этой даме какой-то лысенький меломан, только что вдохновившийся звуками последнего бетховенского квартета. – Всегда одни и те же слушатели, умные, знающие... Приходишь сюда точно в свою семью, в круг близких знакомых, наслаждающихся совершенно полно, искренно». «Да, – ответила, цедя сквозь зубки, скучающая барыня, – ведь это все неизлечимые». Понятно, что Пушкин пришелся для такой дамы в квартетном собрании совсем подходящим кавалером. Он смеялся, смешил даму, очевидно проезжаясь насчет престарелых слушателей, и следует сказать, что болтал не без соли, помахивая маленькой квартетной партитурой. Я очень удивился, услышав от этого Пушкина ряд изумительно самоуверенных суждений, и отошел от дамы. «Боги! – воскликнул, здороваясь со мной, один музыкус. – Как ты неосторожен! Знаешь ли ты этого сущего зоила? Ведь он – гроза всех здешних артистов! Почитай-ка его рецензии в «Музыкально-театральном листке"...».

Но судьба свела меня с Пушкиным еще раз в Ярославле, и уже в области самой неожиданной. Разыскивая певческие рукописи по разным ярославским церквям, я вдруг увидел большую афишу о бывшей незадолго лекции по истории церковного пения с программой примеров из всяких Сарти,

Дегтярева, Строкина, Старорусского, Ведедя... Не было пределов моему изумлению, когда читаю фамилию того же зоила. Говорили мне, что и успех денежный был в этот вечер для Ярославля огромен.

Типичен был и так называвшийся «Коробка» – репортер московских газет по духовной части, то есть по крестным ходам, престольным праздникам, архиерейским службам, похоронам, свадьбам. Эта фигура могла лгать не задумавшись целыми часами, могла описать по выработанным шаблонам в одну четверть часа какое угодно церковное торжество, перевирая имена людей, названия церквей, заглавия певческих сочинений, фамилии покойников и проч. В его «коробке» укладывались репортерские заметки, которые он успевал писать на верху вагона конно-железной дороги, на извозчике, на спине богомолки в соборе, за стаканом чая в «палатке» Успенского собора, в трактире с купцами. «Я – врач», – сказал он мне однажды, вскоре по моем приезде в Москву, но судьба подшутила над «Коробкою»! Сзади него стоял колоссальный дьякон и, ударив его по плечу, прямо возгласил: «Вон отсюда, шушера!». «Коробки» – как не бывало...

Гнусин и Емельянов, сначала пылкие мои враги, под конец моего пребывания в Москве вдруг перешли в мою сторону и заставили меня взглянуть в них. Только в Москве и могут быть такие фигуры, как эта компания.

Но в стенах училища, от своих иной раз было не легче. Как ни энергичен был мой труд с усилиями Орлова, Полуэктова и первой кучки взрослых певчих, уверовавших в силу учения, то же ученье отнимало время (а, следовательно, кроме траты сил, и возможность заработка пением в чужих хорах) у отобранных мною лучших певчих и в случае их неуспешности уже обрисовывало вполне ясно дальнейшую ненужность таких певцов в Синодальном хоре. Не отобранные мною старые и безголосые певцы частью примирились с моими хлопотами за них о предоставлении им возможных пенсий и мест псаломщиков, частью же соединились с «писателями» и воевали со мною всевозможными способами – то дружно захворают, то начнут весьма дружно фальшивить, то дружно

опоздают к службе. Снаружи и в пределах всевозможных приличий эти люди были удивительно сдержанны, сухи, официально корректны, но едва ли кто больше их истрепал в ту пору мои нервы. «Солисты», как [из взрослых, так и] из мальчиков, были самыми невыносимыми между ними. Увольнение мною Добровольского-тенора, Гончарова (баритона, теперь поющего в опере) и временное удаление превосходнейшего баса Кокина вызвали чуть-чуть не революцию в Синодальном хоре. Оказалось, что гораздо труднее удалить певчего из квартиры, даже с помощью мирового судьи. Оказалось, что такие молодцы, как невозможнейший по дерзости тенор Хлебодаров, способны делать самые невозможные вещи. Он внезапно уехал в Крым и действительно вынудил меня пожалеть брошенную им без куска целую семью, вынудил меня держать ее на казенной квартире почти год, кормить ее и... отписываться на доносы.

Тем не менее ученье взрослых певчих все-таки шло своим чередом, и Реквием Моцарта уже штудировался довольно твердо, несмотря на всевозможные, иногда прямо артистически брошенные под ноги препятствия. К 1892/93-му число старичков уже очень ослабло, а число молодых сил уже очень значительно окрепло, и дело вступило на вполне твердую дорогу. Заведенное мною пение хора не по отдельным голосовым партиям, а не иначе как по литографированным партитурам (которых к этому времени уже образовался большой запас) сделало хору незаменимую пользу, начав готовить отличнейших чтецов партитуры, умело слышавших все голоса в хоре и умело же знавших свою долю в ансамбле. К этому же времени первый набор взрослых певчих знал вторую гармонию и начал строгий стиль; к этому же времени подготовилась и окрепла опытностью целая партия отличных малышей, дискантов и альтов. Признаться, к этому же времени созрели и сами руководители дела. Подучился Орлов, прошедший вновь курс у С.И. Танеева, начал я собирать библиотеку, и проснулся А.Д. Кастальский.

А.Д. Кастальского я застал в Синодальном училище преподавателем игры на фортепиано, ведшем этот класс при самых горемычных условиях. Немного понадобилось времени,

чтобы разгадать этого очень умного, образованного и доброго человека, весьма самостоятельного в суждениях и весьма прилежного в работе. Талантливость Кастальского для меня несомненна, хотя и невелика – знания же его прямо огромны. Кастальский – большой любитель живописи, любит цветы и чтение. Его жена Наталья Лаврентьевна – очень умна и образована; оба они честные и добрые люди. В первые годы после женитьбы они были очень незажиточны, даже бедны. В молодости Кастальский как-то не доходил до самого конца в ученье. Например, он прошел гимназию до 8-го класса и вышел перед окончанием курса; потом в консерватории дошел до второго года свободного сочинения и опять вышел, поступив за чем-то военным капельмейстером в уездный город Козлов. Я начал свой поход на Кастальского тем, что, прогнав из Синодального хора вполне нетерпимого помощника регента Соколова, сущего лентяя и негодяя, ухитрился устроить милейшего «Кузьку» (так было прозвище любимца Кастальского в консерватории) «сверхштатным канцелярским чиновником Московской Синодальной конторы, откомандированным для занятий по должности помощника регента Синодального хора». Такое длинное название потребовалось для того, чтобы Кастальский имел права службы, так как он, как не кончивший нигде никакого курса, не мог занять место помощника регента и как не имевший к тому же никакого чина. Полученное таким образом лучшее обеспечение при казенной квартире приподняло дух Кастальскому и дало мне возможность приступить к дальнейшей атаке. Я начал напевать в уши Кастальскому, что на него начинают косо смотреть в Санкт-Петербурге как на не имеющего диплома «свободного художника», что мои переговоры с Сафоновым и Танеевым рисуют полную для него, Кастальского, возможность выдержать в консерватории выпускной экзамен по композиции. Два года тянулось мое лганье и пуганье Кастальского, равно как большее и большее забирание его в наш училищный мирок. На беду, Кастальский оказался преплохим регентом, склонным более к классным и кабинетным занятиям, чем к энергичному управлению хором.²⁹⁷ Тогда я напер на него еще сильнее,

требуя окончания курса и выставляя надобность защитить хотя меня от упреков в ошибке моего выбора... Я упросил и убедил Кастальского приняться за композицию в направлении разработки древних роспевов. Наконец-то милейший Кузька засел за работу, сдал блестяще экзамен и написал «Милосердия двери» и опыты гармонизации сербского роспева. Последние только и спасли Кастальского от упрямых и жестоких попыток Ширинского-Шихматова удалить Кастальского от службы, несмотря на всякие мои заступничества. Ш² никак не мог понять значение опытов Кастальского и все глядел на него как на никуда не годного помощника регента. Только великолепное исполнение Синодальным хором этих сочинений и вполне серьезные газетные рецензии вразумили наконец Ш², и он оставил Кастальского в покое. В этом покое Кастальский развернулся, окреп и вышел на свою дорогу, то есть не композитора, а ученого археолога, где его имени предстоит несомненное и блестящее будущее. Зачем он теперь регентом – понять трудно, как все у Ш.

Это время было самое счастливое в моей жизни в Москве. Все работало искренно, энергично и очень успешно. Очевидные успехи дела заметили наверху, оценили в Успенском соборе и дома. Поэтому несколько лет прошло в тишине, в дружбе, во взаимном полном доверии и потому в радостном труде, во взаимной поддержке и в светлых упованиях на будущее. Шишков совершенно устранился от дела, а затем, по своим неладам в Синодальной типографии, ему было совсем не до нас, да и мы окрепли сами по себе и в мнении других. Но недолго продолжалась наша идиллическая трудовая жизнь. Явилась персона, нашедшая, что мы совершенно виноваты в очень многом, и потому решившая разрушить наш душевный мир.

Прокурор князь А.А. Ширинский-Шихматов [Ш²]

Я познакомился с Ш² задолго, но крайней мере за год от назначения его моим начальником. Помню, что как-то в разговоре с директором [консерватории] В.И. Сафоновым зашла у меня речь о пристройке здания консерватории и о том, как по халатности бывшего владельца князя Воронцова у превосходного консерваторского участка земли, на две улицы, Синодальное училище незаконно оттягало участок земли сажень в 100 (см. на чертеже – А), а причт церкви Малого Вознесенья – сажень в 150 (см. Б.). У меня явилась мысль продать дом Синодального училища консерватории и выстроить для училища и хора новое помещение, вполне приспособленное к нуждам училища, к быту певчих и к роду нашей деятельности. Так как летнее в Москве проживание хора, особенно же детей, оказалось неизбежным, то я решил купить место где-либо вблизи Москвы-реки, недалеко от Кремля, непременно большое и, если можно, со старым садом. Таких мест представилось два – на Берсеневке около дома Археологического общества и на Большой Ордынке у церкви Черниговских чудотворцев. Дело налаживалось еще и потому, что я убедил Победоносцева как в возможности выгодно (за 450 тысяч) продать наши владения консерватории, так и выстроить нам вновь на новоселье именно так, как бы было нам удобнее. По этому именно случаю Ш² приезжал в Москву, и я познакомился с ним при начале одной из наших зимних училищных всенощных. Ш² обошел все здания, справедливо удивился их неустройству и запущенности, но вместе и справедливо высказался, что уезжать с Никитской было бы жалко, а лучше перестроить все здесь же и хлопотать об отпуске на то денег. Окончательный отказ Сафонова, затруднившегося найти [средства для покупки нашего здания], едва-едва не погубил и отпуск нам денег из Синода. Но новая неожиданная комбинация опять подняла дело о перестройке Синодального училища.

Именно в это время у меня случилось, но уже по отъезде Шишкова, вполне особенное происшествие, не имевшее удачи,

разыгравшееся помимо меня и уже при прокуроре Ш², но, как я слышал, очень ускорившее перестройку училища на Никитской и перевоз певчих во вновь выстроенный для них дом на Воздвиженке. Не помню в точности, с чего именно началось, но вскоре по приезде Ш² явилась ко мне какая-то фигура и объяснила, что до одного очень богатого лица, купца-генерала, дошел слух о надобности перестроить наш дом и что эта перестройка может быть легко устроена, если за пожертвование около 200 тысяч рублей этому толстосуму будет выхлопотана Станиславская звезда. В случае моего предварительного согласия меня просили в установленный час побывать под предлогом покупки в каком-то магазине Солодовниковского пассажа. Я рассудил, что, хотя это дело интересное для меня своею новизною, но оно в своей сущности гадко, продажно. Не знаю и не помню, что я еще пораздумал, но в конце концов я встретился в указанном месте с Солодовниковым, владельцем 40 миллионов, знаменитым московским скопцом – стариком с выкрашенными волосами и всячески державшим себя по купецко-генеральски. Солодовников даже не говорил о себе иначе как «мы» и, признаться, был очень противен. Я объяснил ему, что могу лишь довести до сведения кого-либо о таком его желании, так как сам совершенно не могу уяснить себе, в какой мере я мог бы способствовать благополучному исходу такого дела. Мы и уговорились, что я передам о том Ш². Мне известно было затем, что это дело не удалось только потому, что случайно Александр III остановил внимание на фамилии Солодовникова, бывшей в докладе о наградах в куче с другими, и собственноручно вычеркнул этого пожертвователя.²⁹⁸

Первые месяцы моей совместной службы с Ш² были очень мирны, а предупредительно-любезное с его стороны внимание и содействие были, в свою очередь, поводом с моей стороны платить ему тем же. Не надобно было, однако, много времени, чтобы убедиться в его наиполнейшей некомпетентности в музыке и его достаточно высоком по этой части самомнении. Вскоре же определилась его редчайшая самоуверенность в области церковного пения и крайняя настойчивость, вполне бесцеремонная и, по правде сказать, глупая и вредная, которую

Ш² проявил в желании во что бы то ни стало быть вполне «Управляющим» Синодальным хором и училищем. Желание Ш² быть самым полным хозяином во всем было высказано нам вполне ясно, и затем прокурор стал держать нас всех при себе разве только на посылках и на побегушках, в роли безответных исполнителей его приказаний, в роли совершенно ограничиваемых в какой бы то ни было инициативе и в роли обязанных трепетать от помысла как-либо не угодить своему начальнику, как-либо не подслужиться... К чести Ш² следует признать, однако, прежде всего, что болото, в виде его собственно прокурорской области ведения, было им дренажировано весьма энергично, а в воровстве, практикуемом под любыми видами в Синодальном ведомстве, Ш² решительно не причастен.

Только люди из иного мира, попавшие, как я, в общение со всякими попами и монахами, люди, так сказать, свежие, не видавшие их с детства и окунувшиеся в зрелом возрасте в омут этого невозможного полицейски устроенного духовного болота, в омут этого виртуозного взяточничества, продажности, всякого воровства, всякой лжи, всякого неверия в Иисуса Христа, всякого самого ужасающего разврата и невыносимого лицемерия, – только люди свежие могут судить о мужестве и честности Ш², о мере его настойчивости и систематичности, с которыми он принялся за управление делопроизводством ставропигиальных монастырей, за дисциплинарные дела о всяких святых отцах, за управление московским синодальным имуществом, за производство следствий и ревизий. Эти ревизии и отчеты, заведенные Ш², ждут, несомненно, будущего историка-юмориста, так как в них сначала по простоте душевной, затем по неумению скрыть настоятели монастырей прописывали параграфы высококомического и правдивого притом содержания. «Съедено за март два пуда свежей осетровой икры» – пишет один; «куплено (будто бы для хранения) 20 дюжин шампанского» – пишет другой; «послано обер-прокурору» – пишет третий; «за доставку посылок в Санкт-Петербург» – пишет четвертый; «примите от трудов братии семги, сельди...» – пишет пятый.

Немалую заслугу, хотя и не полную, еще не удавшуюся к разверстанию, оказал Ш² Синодальному хору в деле о Теплых рядах (на Ильинке), подаренных еще патриаршим певчим царями Иваном и Петром Алексеевичами. Акционерная компания, решившая арендовать гостиницу «Славянский базар», принадлежавшую Синодальной типографии вместе с Теплыми рядами, воспользовалась тем, что синодальные чиновники решили о «единообразии кассы Св. Синода», то есть что плата за то и другое поступает в один карман Синода. Так как прокурор Московской конторы был (до Шишкова) и заведовавшим Синодальным хором, то плату за «Славянский базар» в 60 тысяч переименовали в плату 180 тысяч, бывшую на самом деле за Теплые ряды, и наоборот. Эту штуку проделали потому, что синодальные певчие были безответны, а чиновники типографии, вместе с прокурором, были заинтересованы в увеличении «типографского капитала», ибо проценты шли прямо в их карманы. Понятно, что акционерному обществу не было никакого дела до того, как распределяется его плата в 240 тысяч. Этот фортель относится к тому времени, когда так называемый «Давыдовский корпус» (на углу Дмитровки и Газетного переулка) мог быть выстроен без капитальных стен и мог приносить убыток (!) чуть не двадцать лет подряд. Ш² следует отдать полную честь в том, что он хоть обнажал это воровство, выстроил новые дома и если не отвоевал похищенное у синодальных певчих, то хоть обстроил их и Синодальное училище. Когда я добивался возвращения хору всего незаконно отнятого у него типографией, мне ответили в Синоде не без остроумия: «Чего вы добиваетесь? Синодальная типография наша, синодальные певчие тоже наши, следовательно, и деньги тех и других также наши, а в каком кармане эти деньги лежат у нас или как расходуются – никому нет дела».²⁹⁹

Как я ни оскорблен Ш² в моем беззаветно любимом деле, как ни пострадали Синодальный хор, училище, как ни исстрадались разбежавшиеся от Ш² мои бывшие товарищи, как ни жалка гибель Орлова – следует признать, что упорная, суходеловая война этого прокурора, может быть напрасная по

безднадежности к исправлению духовного ведомства, была полна упрямого порядка и если и не вывела около себя взятки и воровство, то все-таки обнаружила их и заставила быть несколько сдержаннее. Кроме того Ш² должен быть по всей справедливости признан чрезвычайно энергичным работником по строительной части и в этом отношении сущим, незабвенным благодетелем Синодального училища. Здания собственно училища, здания для певчих, дома доходные, деньгами которых Синодальное училище существует, есть самая неоценимая заслуга Ш², стоившая ему массы труда, энергии и всяких тревог и неприятнейших сюрпризов. Помещения Синодального училища до Ш² и по перестройке им же – земля и небо. Такая заслуга Ш² должна быть признана и оценена по великому ее достоинству.³⁰⁰

Еще до перестройки мало-помалу в доме Синодального училища освобождался нижний этаж по Никитской улице, в котором я застал мастерские сапожника, шляпника, переплетчика и гнуснейший модный магазин «Мадам Caroline». Освободив этот этаж от квартирантов, я все же не мог добиться того, чтобы переплетчик Тарчигин был удален из дома, так как святые отцы не могли понять возможности и надобности «отказаться от дохода». Ш² после моих убеждений и после неудачи с предприятием Солодовникова предпринял перестройку училища и выполнил ее превосходно. Но и тут мне стоило немало труда устроить самое главное удобство в применении моей бывшей квартиры к музыкальным занятиям учеников, то есть в том, чтобы квартира была разгорожена на тринадцать маленьких комнаток. Ш² никак не хотел устраивать эти комнаты, желая поместить тут библиотеки и церковную школу, ссылаясь на утвержденные планы. Но я остановил работы и рапортом Ш² потребовал устройства этих комнат. И что ж? Оказалось, что Ш² уступил, так как никаких утвержденных планов не было... И он даже не покраснел! Ему не было стыдно, как и в тех случаях, когда

он, попавшись в какой-либо проделке, вдруг узнавал о ее неудаче и о приказании из Санкт-Петербурга сделать что-либо не по его [желанию], а по моему. Он продолжал рассуждать о перемене дела так же спокойно, как будто ничего не случилось. Конечно, и я отвечал ему тем же тоном, но разговоры эти был и сухи и кратки.

Но падает, однако, это светлое, с одной стороны, имя при воспоминании, как не хватило у этого человека душевных сил, чтобы понять беззаветную любовь, бескорыстный труд других людей и не хватило ума и сердца, чтобы понять смысл нового художественного движения в области церковного пения, понять душу, теплую детскую душу ученика и теплую душу в пении запевшего по-новому Синодального хора. Теперь (конец 1902 года), через девять лет своего гнета, Ш² понял и сознался в своей ошибке, но дело уже почти убито, живет инертно, работники разбежались, а новые люди уже далеко не те, какие были! Но хвала Ш² хотя бы и за позднее сознание своей ошибки, за стыд, за признание своих несправедливых и бессердечных, частью же и предательских, даже и вполне непорядочных действий. Само дело, сами сотрудники наказали моего бывшего начальника.

Еще задолго до назначения Ш² прокурором Московской Св. Синода конторы я случайно слышал о нем отзывы как о человеке несимпатичном, властолюбивом, самоуверенном и чрезвычайно сухо-канцелярском, преданном всякой формалистике. Ко времени переезда Ш² в Москву, в возрасте 34–35 лет, в незначительном чине, Ш² вдруг разбогател, получив вместе с женою разом три-четыре крупных наследства; затем ему повезло по службе влияниями родни (Озеровых у императрицы Марии Федоровны, по жене – Мезенцовых, но своей родне – фон Мекк³⁰¹ и т.п.), так что в 34 года Ш² стал и камергер, и генерал, и богач, и очень авторитетный чиновник Синода в области не ворующих и действительно работающих. Такое быстрое превращение недавно назначенного чиновника, мало учившегося правоведа в крупную фигуру для Москвы и для духовного ее мирка разом испортило Ш². На моих глазах в какой-то год Ш² стал прямо неузнаваем и опошлился до самой

противной степени. Несомненно, для меня, что в душе и этого неглубокого человека были стороны, вполне способные к развитию доброму, благожелательному для людей, но внезапность ли в перемене своего служения и материального положения, недостаточность ли душевных сил у Ш², мои ли выстраданные чувства любви к делу и людям и моя неудача сколько-нибудь вразумить и наставить Ш² по этой части произвели в конце концов его раздражение против меня и мое глубокое сожаление о своем начальнике. Ш², как истинный петербургский чиновник, был в надобных для него случаях какой-то особенно бессердечный, бумажный, даже глупый человек, пошло-жесток и не мог никогда догадаться, что производил впечатление жалкое, прямо прискорбное, огорчительно-отталкивающее. На все увещания и вразумления он отвечал каким-то упрямым усилением формального отношения и подчеркиванием своей обязанности быть настойчивой деревяшкой. Мое первое столкновение с Ш² произошло в простом частном разговоре, вполне неожиданном, вполне случайном, перешедшем так же неожиданно на дело по службе и кончившемся хотя и невысказанным, но почувствованным нами обоими отчуждением.

Я зашел как-то в кабинет к Ш² и говорил с ним о всяких делах вполне мирно и благодушно. Разговор наш кто-то прервал на несколько минут, в течение которых я успел прочитать в подвернувшейся газете возмутительный случай в Рижской таможне. Не сообразив, что в эти несколько минут Ш² был взбешен чем-то и продолжение нашего разговора могло быть под влиянием его раздражения, я в простоте сердечной высказал Ш² все негодование, появившееся у меня по поводу случая в Риге. «Что такое?» – сухо спросил Ш². В ответ я прочитал ему о том, как в день отхода из Киля в Ригу парохода какого-то богатого рижского купца у последнего захворал дифтеритом сын, и купец, приказав купить вновь открытую антидифтеритную сыворотку и приказав бросить всякие мелочи и поскорей приехать в Ригу, явился в таможню с просьбою не ставить ему таможенных препятствий только относительно пузырьков с этою сывороткою. На беду, таможенный чиновник

из-за личных счетов, стоя на формальной почве, отказал в этом. Тщетно отец оставлял в обеспечение пошлины за сыворотку все корабли, тщетно он бросился на колени перед жестокосердечным чиновником, умоляя дать ему лекарство, так как дорог каждый час, – чиновник отказал вновь, ссылаясь, что законом не указаны соглашения, а пошлины, как бы она не была мала, он не может взыскать до получения разрешения из министерства, так как «товар – антидифтеритная сыворотка доктора Ру» не значится еще в списках новых товаров, разрешенных к привозу в Россию. Коротко сказать затем: сын умер, отец помешался... Нетрудно представить мое изумление, когда Ш² с искривленным злою улыбкою ртом процедил мне: «Я вполне одобряю действия чиновника и, несмотря на вопли отца, сам поступил бы в аналогичном [случае] совершенно и только на точном основании закона; если бы я был начальником таможни в момент описанного случая и при мне чиновник осмелился бы выдать сыворотку, я отдал бы его под суд...

– Но ведь суд, без сомнения, оправдал бы этого чиновника?

– Я подал бы жалобу в Сенат на суд...».

Разговор этот затем перешел на вопрос о выдаче платья (дело было зимой) двоим уволенным ученикам. Ш² высказал мне так: «Если даже у мальчиков нет родителей, нет средств к приобретению своего платья, – казенное имущество не может быть передано в частное владение; вы должны снять с них все, а если затрудняетесь сделать лично – отправьте при бумаге обоим мальчиков в полицию с требованием возвратить казенное платье, оставив мальчиков хоть нагишом.

– Я **(в недоумении)**: Сомневаюсь, чтобы я мог исполнить подобное с моими бывшими учениками, – даже не думаю, чтобы вы сделали такое распоряжение и приказали мне исполнить его в указываемой точности.

– Ш² **(вспылив)**: В таком случае я вам приказываю...

– Я **(также негодуя)**: Я заявляю вам, что отказываюсь от исполнения таких приказаний и не исполню их ни в каком случае, а поступлю по-своему, то есть самовольно отпущу учеников сполна в казенном платье».

Я почувствовал, что в душе моей лопнула в это время какая-то струна, еще привязывавшая меня к Ширинскому-Шихматову. Мы расстались вполне холодно, не кончив даже переговоров о текущих делах. Следующие дни показали мне ясно, что и Ш² отвернулся от меня и обращается со мною только сухо-официально, не разговаривая ни о чем внеслужебном. Впервые в эти дни я увидел со стороны Ш² его способность мстить всячески и пользоваться своим служебным положением ради личных счетов. Была пора представить ему программу духовного концерта, которая обыкновенно до этих пор обсуждалась заблаговременно мною с Орловым, затем представлялась прокурору в виде ходатайства дать концерт и сделать надобные к тому всякие от него предварительные распоряжения. В промежутке между этими двумя моментами выработанная нами программа разучивалась и, смотря по надобности, несколько изменялась. Я был, признаться, очень встревожен затем, когда в первый же праздник после моей размолвки с Ширинским-Шихматовым зашел ко мне после обедни Орлов и вполне неожиданно залился слезами. На мой вопрос Орлов вдруг вспыхнул и сказал мне: «Его сиятельство, конечно, может делать мне какие ему угодно замечания и выговоры, но оскорблять меня при подчиненных мне певчих он не имеет никакого нрава; сейчас он сказал мне: «Синодальные певчие пели сегодняшнюю обедню как сапожники». И в буквальном и в переносном смысле такие слова суть неправда и дерзость, так как Синодальный хор есть артист, да и сам князь-то в музыке не более сапожника. Если князь не извинится передо мною и хором, я уйду со службы, так как нельзя работать в таких условиях».

Не более как через полчаса после такого пассажа я получил обратно свою бумагу с программой концерта, в которой некоторые номера были вычеркнуты, заменены другими, вроде излюбленных Ш² Херувимской Бахметева № 7, «Душе моя» Виктора и тому подобных сладостей, уже выкуренных нами из репертуара Синодального хора. Возмущенный такою выходкою, я поехал к князю, но на доклад швейцара о моем приезде услышал крик: «Завтра, в Синодальной конторе, в час дня».

Вернувшись домой, я собрал Орлова и Кастальского, чтобы посоветоваться, как быть далее. Мы решили воспользоваться приездом в этот день Саблера в Москву и переговорить с ним об ограничении Ширинского-Шихматова после имевшейся в виду моей с ним на завтра беседы в Синодальной конторе. Но, увы! Беседа в конторе обнаружила только упрямую требовательность Ш² и полнейшее, без всяких уступок, желание его быть альфой и омегой в нашем деле, учить нас и приказывать нам, поставить нас в положение лишь исполнителей и лишить нас всякой инициативы вне ведома и разрешения Ш² как «Управляющего». «Не могу же я, – сказал мне Ш², – обратиться только в подписывающего на ваших бумагах «согласен»? Должен же я помнить, что я управляю действительно, а не разрешаю только, не ною с чужого голоса"...

– Я: Но ведь каждая буква, прежде ее написания, обсуждается совместно с вами и редактируется по нашему соглашению; что же остается вам писать поэтому, кроме слова «согласен»? Недоумеваю я и о том, что вам угодно вновь возбуждать вопрос не о нашем размежевании, а лишь об усилении, и притом безграничном и безапелляционном, вашей власти, о возможности для вас игнорировать директора и регента? Стоит ли тогда служить делу, если люди, специально приставленные к делу, вполне самовольно и без всяких специальных указаний свыше обезличиваются и низводятся до простых исполнителей данных поручений?

– Ш²: Если вы все не довольны – можете жаловаться, но до получения ответа на ваши жалобы вы обязаны подчиняться моим приказаниям.

– Я: Понятно, что жалоб на вас подано не будет, так как неужели же без вмешательства начальства мы не в состоянии уговориться? Представим себе, что наши жалобы будут удовлетворены, – к чему нам ставить вас в совершенно неловкое положение? Ведь ваши претензии на власть прямо незаконны!

– Ш² (**сухо**): Как вам угодно.

Разговор мой с Саблером в этот день показал, что Ш² уже успел завязать тут надобные узелки и что Саблер, «ради спасения надобной и общей дисциплины», был против нас... Так началась скорбная нора моей жизни в Синодальном училище. Я замедлил ее напряженность письмом к К.П. Победоносцеву, копия которого была передана Ш², получившему вследствие того надобное внушение. Отношения наши испортились окончательно и более уже не поправлялись, временами же достигали какой-то взаимной травли, в которой мои выходки против князя были бурны и прямо дерзки в дисциплинарном смысле, так как были вызываемы какими-либо его возмутительнейшими действиями; выходки же князя были всегда, с внешней стороны, холодно-законны, сдержанны, но бесконечно наглы и прямо бессовестны в смысле умышленно лгать и передергивать факты. Я несколько раз писал Победоносцеву, прося его ограничить князя, и только этим доставлял себе три-четыре месяца относительного спокойствия, так как после внушений из Петербурга Ш² действительно оставлял меня на некоторое время в покое.

Но самое ужасное в Ш² было то, что он нисколько не ценил людей и нисколько не гнушался игрой на низменных интересах, которые можно [если] не откопать, то прямо развить в двух душах их трех. Системою своего благоволения, системою подачек всяких чинов, орденов, денежных наград, системою оказания как бы особого доверия Ш² совершенно сбил с толку Орлова и Серебrenицкого и на скрипке под названием «divide et impera»³⁰² оказался сущим виртуозом. Этому приема я, давно уже и равнодушно-сожалительно вспоминающий о Ш², не могу ему извинить, как и манеры Ш² быть изысканно любезным при посылке какого-либо пакета за номером с какой-либо гадкой бумагой. «Князю» неприлично вести себя таким образом, особенно же из «богомольных». Самые простые, порядочные люди, живущие простым умом, простою совестью, не могут позволить себе такого развращения людей и такого предательства, как то проделал сотни раз князь, считающий себя кровным аристократом.

Было бы скучно и длинно вспоминать и перечислять ту смуту, то уныние и тот упадок всего, которые постепенно повели прежде всего к упадку нашу товарищескую семью, потом же училище и особенно преподавание в нем музыкальных предметов. Надобные копии бумаг по мере их появления занесены в мои дневники, и там же записаны многие описания всяких фортелей Ширинского-Шихматова, которыми он изводил нас и наконец заставил бросить Синодальное училище. Как на характеристику умственных сил и восприимчивости князя Ш² можно указать [хотя бы на] то, что после моего ухода, после того как он изломал в Синодальном училище ненавистные ему неказенные порядки и разогнал все дерзавшее не сочувствовать его руководству, – только через год после разгрома им училища Ш² понял грубость своей ошибки и почти непоправимость ее.

Я до сих пор не могу объяснить себе причины этого столкновения и помню, что в свое время объяснил его, не зная еще характера князя, его косвенною на меня досадою из-за болгарина Анастаса Николова. Считая теперь этого, тогда еще мальчика, человека за одного из крупных будущих деятелей для болгарской музыки, считаю удобным рассказать эту историю.

Как-то, еще до приезда князя в Москву, болгарский Св. Синод обратился ко мне с предложением принять в Синодальное училище ученика шестого класса Салоникской гимназии Анастаса Николова. Я ответил (с ведома Победоносцева), что следовало, и дело заглохло почему-то. Вдруг через год, по весне, Николов явился. Мои первые впечатления от него были неудовлетворительны. Он был совершенно не подготовлен в музыкальном отношении и привез с собою только желание учиться. Он не знал даже ног, хотя ему было 19 лет. Докладывая князю, я не подозревал, в какую западню я поставил сам себя по обвинению в том, что, «не доведя своевременно до его, прокурора, сведения, допустил приезд в России молодого человека, которого нельзя принять в Синодальное училище по его иностранному подданству, по его 19-летнему возрасту и по негодности подготовки». «Поэтому, – писал князь, – надобно или возвратить его домой, или просить

Синод Российский назначить Николову особую стипендию, притом довольно значительную, ввиду особых расходов на его обмундирование и обучение». Я еще не знал в то время, что князь Ш² виртуозно передергивает данные в надобных для него случаях, а бумага о Николове в Санкт-Петербург держалась в секрете. Так как дело было уже летом, то я поместил было Николова в училище временно, но князь пригласил меня изъять его из спальни учеников. Тогда я приютил Николова к себе. Вдруг я получаю бумагу с предложением высчитать путевой расход для возвращения Николова домой, как как Синод отказал Николову в утверждении стипендии... К счастью Николова, в эти дни проезжал Москву Тырновский митрополит Климент, знавший Николова и ехавший в Санкт-Петербург просить государя быть крестным отцом новорожденного князя Бориса, сына Фердинанда Болгарского. Я вцепился в этот случай, отправил Николова в Санкт-Петербург, а затем, с помощью Климента, был утешен депешей Победоносцева, что по его приказанию Николова принять казеннокоштным учеником Синодального училища.

Князь и бровью не повел, получив такой «неожиданный реприманд». Но Николову, несмотря на то, что все четыре года он во избежание неприятностей все-таки жил у меня, отдельно от учеников, больно доставалось это поступление вопреки интриге князя, даже и при моей защите. «Братушка», однако, начал упорно работать и успевать, а так как оказался умным и добрым, то его и полюбили все очень скоро. Вторая проделка князя, задумавшего притеснить Николова по окончании курса в деле пособия ему на выезд домой, также не удалась его сиятельству. Я дал Николову заимообразно денег, и мы не поклонились недоброму князю.

Сейчас Николов в Петербурге, вторично командированный ко мне из Болгарии, где уже успели понять, что он толков и работающ. На желание болгарского правительства выработать археологическим путем хотя бы остатки народного болгарского церковного пения, которое могло бы заменить господствовавшее там пение на распев древнегреческий, введенный влиянием греческой иерархии, Николов отозвался,

что всего вернее можно достать требуемые материалы из библиотеки рукописей Синодального училища. В Софии не знали, конечно, что готовится мой переезд в Санкт-Петербург, и командировали Николова на два года ко мне лично, для занятий уже не под покровительством Ш². Открытия Николова были так удивительны, по правде сказать, для меня самого, что я счел себя обязанным отписать о том князю Фердинанду и Софийскому Синоду, прося помочь Николову деньгами. Николов работает и сейчас очень усердно. Он устроился еще и преподавателем в Петербурге, у него уже двое детей, а жена учится пению в консерватории. В час, когда я пишу это (25 января 1903 года), идет этнографический народный концерт (болгарский целиком), написанный при участии Николова Кленовским, разученный Николовым, в пользу македонцев. Теперь Николов уже вырос в будущего серьезного работника. Он – умный, страстный патриот и уже снискал себе общую любовь и уважение от своих соотечественников. Думаю вообще, что время его деятельности на родине – очень недалеко, ибо он умен, знающ и трудолюбив. Таланта у него немного, но дар увлекать других и заставлять работать – несомненен.

Но, впрочем, несмотря на мои нелады с Ш², я всячески не подпускал его к делу, и потому это дело все еще продолжало прогрессировать до начала 1897 года, когда был нанесен первый и жестокий удар Синодальному училищу предложением сократить преподавание музыкальных предметов. Удар был мне так тяжел, что я слег и побаивался за свою не бывалую у меня до того жестокую хандру. Душа моя болела невыразимо. Ряд клевет, гнуснейших передергиваний, искусно скомбинированных, поддерживали предписания князя Педагогическому совету. Несколько долее удалось продержаться вне грубых же воздействий князя хоровую часть, высшая степень развития которой приходится на Вену и успешное изучение h moll'ной мессы Баха, то есть 1899–1900.

Коренная разница во взглядах на учебное дело между мной и Ш² состояла в том, что я нисколько не гнался за практическим умением моих учеников в регентском деле, тем более что придуманные мною домашние всеобщие уже были испорчены

в форму домашних концертов. Я полагал в то же время всю силу регентского образования в наилучшем научном и музыкальном курсе, особенно же теоретическом, и в практических занятиях направления ланкастерской школы. Я рассуждал и по собственному регентскому 17-летнему опыту, и но местным на Никитской условиям, что для будущего моих учеников гораздо выгоднее набить в училище свою голову, чем набить руку. Князь предполагал, конечно, наоборот. Поэтому во все годы моей совместной службы с Ш² мне приходилось спасать Синодальное училище от всячески навязывавшейся мне ремесленности и уберегать заведенное мною в нем художество. Только близорукое незнание и непонимание могло требовать от Синодального училища немедленно по окончании курса мастерства в регентском деле, ныне якобы достигаемом его учениками, обездоленными по части музыкальных курсов. Я полагаю и сейчас с полным убеждением, что цель учебного заведения – учебное дело, воспитание людей в их детстве и что, подобно тому как университеты не дают ни практиков-врачей, ни судей, ни судебных следователей, ни филологов или математиков-преподавателей, как всякие академии не дают готовых практиков-инженеров и т.п., так и регентское дело, как искусство практическое, может и должно быть усвоено в школе учениками лишь отчасти и только в главнейших своих чертах. Ведь нетрудно понять, что для выработки из ученика опытного регента нужны хор и церковные службы, а не практические уроки, отнимающие притом массу времени. Эту массу времени, эту разницу между тратой на усиленные или на только необходимые занятия для развития дирижерской находчивости, ясности и умеренности указаний, я и употреблял на развитие общее как в научно-образовательном, так и в музыкальном курсах. Мои ученики кончали курс в 18–19 лет, то есть в возрасте, не допускавшем для них возможности быть преподавателями духовных семинарий (ибо семинаристы оказались бы старше годами и вообще развитее, и образованнее своего учителя пения), и в возрасте, при котором было бы нелепо окунуть юношу в омут и грязь любого архиерейского хора. Поэтому, ввиду обязанности шестилетней

службы по духовному ведомству за обучение в Синодальном училище на казенном содержании, я вел своих учеников возможно широкою образовательною дорогою, намечая для них деятельность сейчас же по окончании курса не более как в роли учителя пения в духовных училищах, с возможностью притом иметь частные заработки уроками теории, игры на фортепиано, скрипке и виолончели, с возможностью притом учиться далее самому. Этого взгляда я держался в то время, когда я должен был приготовить первые выпуски из кое-как на первые годы налаженного Синодального училища, которое я застал для своих целей в 1889 году совершенно неподготовленным решительно ни в чем. В верности этого взгляда я утвердился и в последующие годы, когда наблюдение и руководство деятельностью моих учеников по окончании ими курса убедили меня, что они стали достойными и умными работниками. Наконец, я стою за верность этого направления теперь, когда я более не в Синодальном училище и когда ошибки ремесленного направления, то есть якобы «ведущие прямо к указанной (да еще «высочайше») цели», успели уже заявить о себе с достаточною горечью. Мои ученики, ныне мои товарищи в Капелле – Саша Чесноков, Павел Толстяков и Миша Климов – разве не мастера своего дела?³⁰³

Конечно, личные отношения мои с Ш² были виною, кроме его упрямства и близорукости, в том, что Синодальное училище поплатилось дорого, несмотря на все мои старания уменьшить цену этих отношений за счет учеников. ИТ – убежденный бюрократ и упрямый начальник, я – самый отъявленный враг канцелярщины и очень плохой «подчиненный»... Найдись у Ш² побольше ума и поменьше озорства, пожалуй, нашлось бы и у меня побольше покорности и поменьше самостоятельности. Конечно, и я стал дурным.

В моей школе было немало слабых отдельных мест, и наиболее мутила мою душу наличность нескольких бездарных учеников, которых, уже запоздалых годами, я получил в наследство и не имел возможности пристроить хоть куда-нибудь. Этими учениками и во время их ученья и по окончании ими курса Ш² травил меня, и безжалостно, и ловко, и без

всякого перерыва, без упущения какого бы ни было удобного случая весьма демонстративно мотивировать негодность моего направления и надобность усвоить его, Ш², указания. В первые годы, к сожалению, таких учеников было несколько, и я жестоко страдал, видя их неуспешность и находясь в необходимости краснеть за них, так как они действительно и не хотели, и не могли учиться, а девать их было некуда. Отрицательные эффекты, ловко проделываемые с такими учениками Ш² в присутствии посторонних лиц, изводили меня совершенно. Такие невозможные ученики, как Геннадий Троицкий, Яков Петров, Левшинский, были моею раню, которую Ш² бережил постоянно и бессердечно, делая на впечатлениях от их незнания и бездарности самые мотивированные заключения от частного к общему. Принятая было мною система обучения таких неудачников чисто практическому искусству также не привела ни к чему, так как бесталанность их была прямо ужасна и нежелание учиться музыке было даже позволительно, спустить же их на какое-либо другое занятие не было никакой возможности.

Другое слабое место моей школы состояло в том, что, как я ни усиливал научные курсы, бывшая распушенность преподавания, особенно же по части русского языка и по части умения письменного и устного изложения, все-таки крайне тормозила поднятие, главным образом, старших классов. На беду мне достался заслуженный, но очень плохой учитель Константин Иванович Соловьев, спустить которого было жалко, исправить же невозможно.³⁰⁴ Как ни бодрил я эту часть – ученики писали и говорили в иных случаях более чем неважно. Синодальное училище, в котором, по замечанию какого-то остроумца, «писали корову через а», к полному моему стыду имело в первых выпусках несколько малограмотных питомцев.

Наконец, третья, такая невольная, но самая плачевная часть Синодального училища была его вопиющая бедность и обездоленность решительно во всем, что было надобно для ученья. Обзаведение училища мебелью, книгами, учебными пособиями, инструментами, платьем, бельем, посудой, кроватями, даже лампами, шторами и т.п. – стоило огромных

денег, которых сполна не давали, огромных забот, хлопот и беготни, на которые не хватало ни времени, ни сил. Постепенное обзаведение Синодального училища едва-едва кончилось сколько-нибудь прилично к 1900 году, когда все главнейшее было куплено то на Сухаревском рынке, то у букинистов, то после обанкротившегося или умершего торговца, то после закрытой школы и т.п. Нетрудно представить, как было трудно создавать Синодальное училище, в котором не было ни программы учебных курсов, ни необходимейших учебных пособий. Впрочем, к чести Ш² надо сказать, что я ни разу не слышал от него ни одного укора, особенно же после одной стычки из-за покупки книг и нот. Эта единственная стычка, бывшая вместе и последней в этой области, так устыдила Ш², что он оставил меня по этой части вполне в покое. Стычка произошла вследствие покупки на вербном базаре нескольких томов сочинений Реклю и Гельвальда (по географии), Костомарова [по истории], равно и многих опер и собраний романсов и четырехручных переложений, конечно менее чем за полцены. Ш² вздумал не платить мне денег (я обыкновенно покупал на свои деньги), так как по его понятию в Синодальное училище должны были приобретаться только книги для детей, а не для преподавателей, «которых мы учить не обязаны», а ноты – только те, которые имеют прямое отношение к непосредственным целям училища, то есть к церковному пению. «Поэтому я отрицаю надобность для Синодального училища заводимой вами «учительской библиотеки», а в ученическую библиотеку прошу покупать книги с моего ведома».

– Я: Значит, мое и Серебrenицкого добровольное мученичество на морозе вы считаете ни во что? Значит, найдя подходящую книгу, надобно, несмотря на покупку нами только книг, разрешенных Святейшим Синодом в его индексах, бежать еще к вам за разрешением и потом опять на мороз, чтобы убедиться, что книгу уже успели перехватить? Значит, вы отрицаете для Синодального училища даже надобность фундаментальной библиотеки, имеющейся в каждой даже сельской школе?

– Ш²: Да! Я стою на своем! Например, в сегодняшнем вашем счете вижу: Павленков – биографии знаменитых людей: Галилей, Конфуций и т.п. Что же, вы по ним контрапункту, что ли, будете учиться? Зачем училищу нужны оперы, романсы?

– Я: Князь, я прошу наконец говорить со мной серьезно... Мне просто совестно слушать такие речи из уст начальника... Постыдитесь наконец! Ведь вы же сами из порядочной семьи и бывали в порядочной школе. Как вы можете отрицать надобность библиотек? Хотя я и подчинен вам, но ведь годами я много постарше вас и в своем деле, конечно, имею право требовать признания моей опытности и моей свободы!

Я вспылil и ушел. С этого дня я приобретал книги свободно. Дополню к этой сцене то, что случилось почти в это же время со скрипачом Крейном. Ш² вызвал его к себе и увещевал так: «Смоленский, знаете ли, увлекается в преподавании игры на скрипке, так как он сам скрипач. Но для Синодального училища совсем не нужны ни школы, ни этюды, ни пьесы, а вы учите их игре прямо аккордами, чтобы, знаете, ученик мог на четырех струнах разом играть всю четырехголосную партитуру, знаете – аккордами, как на фортепиано...». Курьезно отметить здесь, что Ш² выдавал себя любителем-виолончелистом. Нетрудно представить ответ Крейна.

Одним из главных тормозов в развитии Синодального училища было то, что по вине Синодальной канцелярии, частью же и потому, что в самом Синоде смутно представляли себе суть нашего дела, вопрос о правах учеников, кончивших курс в Синодальном училище, задержался разрешением с 1886 вплоть до 1898 года. Такое двенадцатилетнее бесправное состояние Синодального училища чрезвычайно тяжело отразилось в судьбе всех его бывших учеников по отношению к воинской повинности. Ученики должны были поступать в солдаты наравне с неграмотными, так как бывшие права училища (как духовного низшего) были уничтожены, новые же права не утверждены.³⁰⁵ Все дело тормозилось тем, что программ ни научных, ни музыкальных предметов предварительно выработано не было, и учрежденное училище попало затем в

период наиболее обостренных отношений между рясами и фраками в Св. Синоде. Первые, то есть архиереи, отрешивались от Синодального училища как от подчиненного не им, а прямо обер-прокурору, а фраки тянули дело и из-за своей лени, и вследствие выжидания хоть какого-нибудь умиротворения, так как без ряс они одни решить дело не имели права. Таким образом, первые «Временные правила» 1886 года глухо упомянули, что права служащих и учеников Синодального училища будут определены особым положением. Почти то же было буквально повторено в уставе 1892 года. Когда бесправное состояние Синодального училища стало уже грозить крупными лишениями для кончивших курс, когда мне пришлось бегать, хлопоча чуть не за каждого мальчика, когда пришлось прибегать чуть не к подлогам, чтобы спасти наших учеников от солдатчины, – я взмолился в Санкт-Петербурге и упросил Победоносцева вступиться наконец за нас и ускорить дело. Результатом этого, как и моих требований от князя, был новый проект устава, составленный Ш² и державшийся от меня в тайне. Но у меня хватило настойчивости, несмотря на все уловки Ш², вытребовать себе этот проект для прочтения и представления замечаний. Как и следовало ожидать, этот проект во весь рост обрисовал степень непонимания Ш² педагогического дела и всю ширину его мечтаний о будущем существовании, так сказать, Синодального училища при прокуроре, а не наоборот. Я, прочитав устав, возмущился столь глубоко, что просил Ш² разрешить представить замечания не одному мне, а вместе с главными моими сотрудниками. «Пожалуйста, – сказал Ш², – только к чему это поведет?». Помню, что когда мы прочитали главу проекта о правах прокурора по отношению к Синодальному училищу, то старший воспитатель воскликнул: «Да что он в самом деле: белены объелся или с ума сошел? Ведь это вздор какой-то: «ведь я, я, я» – когда же мы-то будем хоть писк издавать в своем же деле? Ведь прокурор-то должен быть работник в Синодальном училище, а тут выходит, что Синодальное училище его усадьба, а мы его безотрадные и бессловесные крепостные». Помню и то, что я крепко возмущился и в несколько дней написал не

только возражение и подстрочно опровергающие примечания на проект устава Ш², но набросал вместе и свой проект устава Синодального училища, в котором вопрос об удалении прокурора от управления училищем был поставлен в первую голову, взамен же того была дана самостоятельность директору. Со времени подачи мною этого проекта, где я, конечно, не стеснялся нисколько и имел в виду лишь надобности действовать прямо и откровенно, мне и Ш² ничего не оставалось кроме самого полного, безнадежного к примирению разрыва, даже разрыва в смысле прекращения сколько-нибудь сносных наружных общений. Князь прекратил посещения Синодального училища, я прекратил посещать Синодальную контору, при встречах мы либо молча здоровались, либо отворачивались друг от друга, либо я ограничивал ему свои ответы словами: так точно, слушаюсь, не могу знать и т.п. В это время начат был поход под знаменем «divide et impera», обнаружившийся только потому, что нашлись и между моими товарищами такие люди, которые не поддались ни на посулы, ни на подачки и имели мужество убеждать князя во всей неблагоприятности его действий. Вскоре оба проекта устава были пропущены через горнило синодских канцелярий, прошли через руки такого хамелеона, как член Учебного комитета ревизор Петр Иванович Нечаев, и дело вернулось в Москву для обсуждения на месте. Это обсуждение происходило в ряде заседаний в квартире князя при участии Нечаева и Саблера. Это было в октябре 1896 года.

Я не помню в своей жизни более жестоких дней, как эта бурная неделя. На первом же заседании, затянувшемся с семи часов вечера до двух часов ночи, я воевал с моими тремя оппонентами, и, измученный их упрямою канцелярщиною и нежеланием не только отстранить прокурора от Синодального училища совсем, но даже и отмежевать ему административную часть, я заявил наконец так: «Сжигаю свои корабли! Если параграф устава, вполне гарантирующий самостоятельность директора в учебной, воспитательной и художественной частях, не будет изложен без всяких уверток и недомолвок, если прокурору не будет совершенно категорично **воспрещено**

путаться не в свое дело – нечего мне больше делать в этом заседании, и обещаю вам в день утверждения устава подать прошение об отставке. Ни один уважающий себя директор Синодального училища, то есть умный учитель и художник, не будет иметь возможности при своей бесправной ответственности и при безответственной власти прокурора вести свое дело успешно и достойно. Я говорю эти слова вполне твердо и безусловно, измученный двумя прокурорами, и не могу идти в этом вопросе на какие бы то ни было уступки. Если вы все желаете доставить будущее Синодальному училищу – оберегите его от ненадобного и вредного начальства и доверьте все дело доверенному директору; если нельзя обойти прокурора – дайте ему место № О в областях, которые нечего и поручать ему, хотя бы и косвенно. Прокуроры были и будут чиновники, могли и могут даже не знать нот – зачем же им давать в руки высшее руководство специальным делом?».

Нетрудно представить лица моих собеседников, не ожидавших такой резкой категоричности. Начались уговоры, сопоставления, аналогии параграфов устава и всякие канцелярские увертки. Наконец я встал... «Как вам будет угодно, господа, – сказал я. – Мне нечего более делать с вами, так как мое требование вполне безусловно». Простившись со всеми, я ушел из заседания в величайшем волнении и не спал всю ночь, обдумывал дальнейшие атаки, ибо предчувствовал, что все-таки меня обойдут мои оппоненты.

Так действительно и случилось. Заседание следующего дня было ведено Ш² по рецепту ошельмования всего направления деятельности Синодального училища с помощью обычного у Ш² умолчания о хорошем и искусного комбинирования всего неудачного. К полному моему огорчению и вполне для меня неожиданно, моим оппонентом, за которого укрылся князь Ш², выступил В.С. Орлов. Правда, вид Орлова был довольно растерянный, и ему было стыдно говорить против меня... Тем не менее собранию надо было выслушать возражение и понятным всякому большинством голосов присоединиться к нему... Правда и то, что Орлов захворал после этого «бессонницей», много раз удостоился совместных прогулок с

Ширинским-Шихматовым и избегал меня, но поле сражения мною было совершенно проиграно.³⁰⁶

Новый устав, утвержденный государем 8 июня 1898 года, значительно все-таки сократил (к сожалению, лишь на бумаге) права прокурора, хотя и не размежевал области ведения его и директора. Хорошо было по крайней мере хоть то, что Синодальное училище получило права среднего учебного заведения, а преподаватели – права службы. Промахов – конечно, масса, что доказывается тем, что сейчас (1902 год) на практике уже существует множество отступлений от этого непрактичного устава.

Душа моя заболела от огорчения. Любимое мое дело было ошельмовано, и о дальнейшем сопротивлении компании из Ш², Нечаева и Саблера нечего было и думать. Даже и теперь стыдно и больно вспомнить про этот один из самых горьких дней моей жизни, про овладевший мною упадок духа и нашедшую на меня апатию. Последовательность всяких канцелярских записей, в которых чрезвычайно искусно умалчивалось об одном, упоминалось вскользь о другом и подчеркивалось тенденциозно о третьем, в общем же проводилось то, что будто бы било наповал мое дело, выставляло его несостоятельность и устанавливало вместо того новую полосу, якобы «всесторонне обдуманную, прямо ведущую к указанной Синодом цели», – все это, при наступившей на меня норе бессилия и угнетения духа, довело меня просто до отчаяния. Душа моя ныла без перерыва, я затворился в комнате и лежал целые дни, не имея сил ни видеть кого-либо, ни читать что-либо, ни думать, ни говорить. Я не помню в своей жизни более горьких слез и тяжелых дней.

С этих дней я, убедившись в бесполезности дальнейшей борьбы с Ш², убедившись в его умении гарантировать себе поддержки и в Петербурге, и в среде, меня окружавшей, – я решил выйти в отставку, если только обстоятельства не повернутся благоприятно по какой-либо случайности. С этих же дней начались всевозможные придирки князя ко всякой мелочи и не иначе как корректнейшими бумагами, на которые я отвечал жестоко, изобличая передергивания его сиятельства. Но оказалось, что мои ответы тонули в глубине ящиков

прокурорского стола, нисколько не останавливая похода против меня, а, наоборот, служа накоплением доказательств моей же «неуживчивости», «неуменья подчиняться», «непочтительности» и т.п. Я упивался мыслью, как должна исказиться от злости физиономия Ш² при получении каждого моего вполне безжалостного ему щелчка бумагою за номером, а он день ото дня становился со мною суше один на один, любезнее при других и злее и изобретательнее в своих бумагах по моему адресу. Наконец я не выдержал и поехал в Петербург, надеясь личными объяснениями прочистить атмосферу и выяснить положение дел. Эта поездка, главным же образом объяснение с Саблером, добила меня окончательно. Все оказалось на стороне Ш², я захворал от полученного унижения, бросил работать и, воспользовавшись впервые появившеюся своею болезнью печени и восстановившимся малокровием страдалицы жены моей, горевавшей не менее меня, уехал за границу.

Между тем два года, предшествующие этому злополучному 1897 году, и два последующие были временем высшего развития Синодального хора, поставленного моими же трудами совместно с Орловым, но толкуемого мне же в укор, как будто бы я же тормозил деятельность Орлова, и я же мешал «сохранению традиций». Мне прямо в лицо говорили упреки в увлечении старыми напевами, в увлечении новыми течениями мною же подбадриваемых Чеснокова, Кастальского и Гречанинова, в увлечении хора классической католической музыкою, одним словом, во всем я был виноват, даже в увлечении Орлова.³⁰⁷ «Помните, что вы все не более как самые простые певчие, – резко воскликнул однажды Саблер, – нам не нужны ни исторические концерты, ни новые веяния, ни ученые работы! Нам нужны хорошие певчие в Успенском соборе!». Что оставалось делать при таких натисках!

Между тем новые дороги уже были найдены, обдуманы и частью даже и привычны. Я уже упоминал, как был выработан план развития Синодального хора и как была осторожно протоптана первая тропинка в приучении богомольцев Успенского собора. Несколько лет упорного и строгого

последовательного труда сделали свое дело, так что направление окрепло, нападки же стали запоздалыми. Личная почва этих натисков вынуждала к личной обороне, в пылу которой натиски Ш² и Саблера попадали только в меня, делу же, собственно, даже и не могли вредить очень сильно. Приходилось лавировать, пришлось даже дать два-три глупых концерта, пропеть пять-десять глупых обеден, и тем дело покончилось, так как здоровая дорога уже была крепкою и надобною.

Главными моими сотрудниками в этом деле, как выяснилось впоследствии, [были] Паша Чесноков, начавший писать еще бывши учеником Синодального училища, и Александр Дмитриевич Кастальский, менее других – Александр Тихонович Гречанинов. Начали было сотрудничать мои ученики в консерватории – Корещенко, Гольденвейзер, Рахманинов, Глиэр, Сахновский, но они не были певчими и не уловили характера, да и не были тверды в знании напева. Из них горячо было взятся Сергей Васильевич Рахманинов, написавший даже симфонию, затем Глиэр, принявший близко к сердцу церковные знаменные напевы и разработавший уже многое, затем Сергей Никифорович Василенко (в «Сказании о граде Китеже») и другие. Но пока толку из них для моего дела еще не вышло. Писали также С.Н. Кругликов, А.А. Ильинский, Ипполитов-Иванов, но без особого успеха.³⁰⁸

Паша Григорьевич Чесноков несомненно талантлив, знает хор, но школа его пошла немногим далее Синодального училища, а хлопоты мои двинуть его далее не удаются, да и меня к тому же вытащили из Москвы. Я считаю Пашу выше Кастальского по дарованию. Милейший Александр Дмитриевич Кастальский долго упирался, пока я не заставил его держать выпускной экзамен в Московской консерватории, который он и выдержал блестяще в качестве теоретика. Мои занятия с ним по истории церковного пения не шли далее консерваторского курса, но по окончании экзамена я ухитрился заставить Кастальского заняться композицией, и таким образом появились все его сочинения, из которых лучшие, то есть три свадебных концерта, он не решается печатать почему-то.³⁰⁹ Некоторые

строки удались Кастальскому удивительно. Гречанинов, также хорошо чувствующий русский напев, начал мудрить и злоупотреблять красками. Придет время – опростится и, Бог даст, запоет хорошо. Пока же «младая кровь играет». Мои птенцы, которых я перетащил в Капеллу, то есть Саша Чесноков (брат Павла младший), Паша Толстяков и Миша Климов, еще молоды. Очень было начали меня радовать ученики мои в консерватории Клечковский и Яворский, но ненадолго, ибо их увлечения склонились более на почву этнографии славянской.

Главные, вполне определенные мысли о значении для будущего и самих по себе русских древних напевов сложились у меня еще в Казани, при занятиях в библиотеке Соловецких рукописей. Приехав в Москву в год самого разгара моих занятий, сейчас же по напечатании мною Азбуки Мезенца, я невольно почувствовал себя сиротою и как без рук, не имея возможности работать по памятникам. Это лишение и было причиною того, что вскоре после приведения Синодального училища в порядок я начал понемногу собирать рукописи для Синодального училища. Мои лекции в консерватории понуждали меня в надобности иметь под рукою полный подбор подлинных памятников. Три удачи навели меня на мысль о возможности для меня в Москве собрать хорошую библиотеку, а неожиданно явившиеся рукописи хорового пения XVII-XVIII веков открыли мне вполне новые горизонты, так как мои бывшие до того сведения именно по этой части были недостаточны и даже не точны. Эти три удачи и новости сильно подбодрили меня, и я взялся за соби́рание рукописей со всею своею энергиею.

Первая удача была в том, что мой бывший товарищ, законоучитель Казанской учительской семинарии отец Никифор Тимофеевич Каменский, ставший Никанором, епископом Архангельским, вдруг вспомнил обо мне и прислал мне для определения достоинства с десятков прелестных рукописей из какого-то дальнего монастыря. Я ухватился за случай и упросил Никанора циркулярно предписать по епархии выслать, что найдется, к нему, а его – передать все в Синодальное училище. Следствием моих горячих писем к Никанору явилось прибытие нескольких тюков с рукописями. Упоенный прибывшим

богатством, в котором нашлось несколько самых восхитительных экземпляров, я кинулся по московским монастырям и по первому разу, прибыв в Новоспасский монастырь, просто отнял у добродушнейшего Нафанаила, старца-епископа, целую уйму хороших рукописей, которую тут же и увез на двух-трех извозчиках. В этот же поход, явившись в Андрониев монастырь, я нашел известного ученого Сергия, архиепископа Владимирского, и горячо просил его собрать мне рукописи его епархии. «Бумажку позвольте с изложением дела», – сказал он, улыбаясь моей горячностью. Оказалось, однако, что и он сам был не холоднее меня. Вследствие моей «бумажки» было дано предписание по епархии о доставлении в месячный срок в архиерейский дом всех рукописей, какие только найдутся. Через полтора-два месяца я ездил во Владимир и вернулся оттуда не только подавленный массой приобретенных рукописей, но еще более того невообразимой массой новостей самого выдающегося интереса. Я упросил Ш² уступить мне комнату рядом с швейцарской по Никитской улице, уступить мне старые шкафы из Синодальной конторы, и таким образом библиотека рукописей, весьма уже внушительная по объему, более же того упоительная по содержанию, устоялась как-то сразу. Не помню, чтобы когда-либо в моей жизни я работал так одушевленно и так много, как в эту пору. Я вставал ежедневно в пять-шесть утра и работал буквально целые дни. Своими расширенными знаниями древнего одноголосного и хорового пения я обязан работе именно этого времени, когда я тщательно разобрался в содержании всех рукописей и начал составлять каталоги. Новостей для науки в это время было констатировано множество.

Эта необыкновенная удача, однако, только раззадорила меня. Я принялся за московские монастыри, обобрал с помощью архиереев епархии Вологодскую, Олонецкую, Ярославскую, Тульскую и Полтавскую, съездил сам в Тверь, в Новгород, в Ярославль, Кострому, стащил везде все. Аппетиты мои так разгулялись, что я, наконец, стащил весь певческий отдел Московской епархиальной библиотеки. Огромное уже количество рукописей, их порядок и составляемые каталоги

подросли к времени перестройки училищного дома, и я убедил Ш² сделать для библиотеки нынешнее ее помещение в том виде, в каком я передал библиотеку со всем моим трудом в собственность Синодального училища.

Эта каменная комната была и раньше в юго-восточном конце дома синодальных певчих. Она очень старой постройки и имела каменный свод. Я упросил Ш² отдать эту комнату под библиотеку рукописей как стоявшую в углу здания, то есть до некоторой степени более изолированно. Ш² предложил мне старые железные оконные ставни и такую же дверь, оставшиеся после ремонта Мироварной палаты, затем в комнате был сделан пол из каменных плиток. Полки-шкафы были устроены мною, после чего по форматной системе были размещены рукописи. Сюда же я стащил старомоднейший диван со столом красного дерева, свой большой рабочий стол, гармониум и прибавил ко всему маленький умывальник. Помещение это было сухое, маленькое, но очень уютное, выглядывавшее даже красиво. После эта комната была еще дополнена витриной вдоль окон, чтобы демонстрировать более интересные рисунки и разные экземпляры для посетителей.

Неприятные мои отношения к Ш² повели к тому, что мой дар был принят молча. Мне не только не сказали «спасибо», хоть что ли, но даже назначили комиссию для проверки – все ли состоящее налицо внесено в каталоги и не записано ли мною в них чего-либо не существующего. Один остряк по поводу такого распоряжения Ш² даже заметил, что, пожалуй, за неумелое в чем-либо ведение Ш² отстранит меня от заведования библиотекою и назначит кого-либо с целью учесть меня за растрату, так как в самом деле имущество, переданное мною, уже стало казенным и я заведовал им без получения надобного от ИГ разрешения. В последние годы моей жизни в Москве этот благодатный для меня уголок, в котором я забывал все, в котором я чувствовал себя вполне свободным и отдыхал душою, был для меня сущою отрадою. Масса богатейших материалов, особенно же по части хорового пения XVII и XVIII веков, доставила мне возможность каталогизировать совершенно новые страницы в истории церковного пения.

Общий облик библиотеки и общий очерк ее научного значения был мною напечатан в «Русской музыкальной газете» (1899 год) в виде «Краткого предварительного сообщения».³¹⁰

Эту статью я, сколько помнится, начал писать после своеобразного моего торжества в полном одиночестве 18 июня 1898 года: записывая в каталог новые получения, я дошел до номера 1.000. Меня вдруг охватило непонятное и чрезвычайно сильное волнение. Надобно было записать номер 1.001, но я буквально не мог, руки дрожали, сам я почему-то начал ходить по библиотеке и даже благословил ее, высказывая ей добрые пожелания всякого успеха в руках будущих работников. После этого я написал письмо к К.П. Победоносцеву, приглашая его разделить мою радость. Судьбе угодно было, чтобы в этот день около меня решительно никого не было, даже ученики ушли в загородное гулянье со всей прислугой.

Я озаглавил так эту статью потому, что, по правде сказать, мне и в голову не приходила мысль, что я мог когда-либо расстаться с Синодальным училищем; я предполагал написать по готовым уже материалам большое сообщение с приложением тематического лексикона и всей суммы моих наблюдений над множеством рукописей, часть которых по своему содержанию даже и не была в виду ранее по совершенной их прежней неизвестности. Судьба, как и с Соловецкими рукописями, устроила мое преждевременное удаление и на этот раз. Я выехал из Москвы, так же как и из Казани, все приготовив, все сделав, но не напечатав своей работы.³¹¹

Перед отъездом моим в Санкт-Петербург я надумал все-таки продолжать свои занятия по древним рукописям и потому отобрал себе из всей библиотеки (то есть более из двух с половиной тысяч переплетов и тетрадей) тридцать четыре номера хороших рукописей, более мне знакомых и привычных, так как я и ранее работал по ним. Мои переговоры с Ш² кончились тем, что, во внимание к моему пожертвованию и к моему труду, не может быть отказа в присылке рукописей, но что дело это следует провести бумагами через Правление Синодального училища. Поэтому я подал заявление по форме,

ссылаясь на бывший мой разговор с прокурором Ш². Нетрудно представить мое удивление, когда я вдруг получил бумагу из Синодального училища, в которой было прописано, что сообразно порядкам, принятым в музеях, мне могут быть высланы по очереди, по три номера, указанные мною рукописи на трехмесячный срок в архив Св. Синода, где я могу пользоваться ими в часы, указанные начальством архива. Дома, то есть в Москве, Ш² объяснил свой маневр происшедшим будто бы недоразумением, то есть будто бы он согласился дать мне те разрозненные рукописи и разные лоскутки и обрывки, не внесенные мною в каталоги по их относительной малоценности. Ш² будто бы понял, что я хотел не работать далее вообще, а закончить разбор всякого хлама, почему и отказал мне, поставив предварительно [в известность] Правление Синодального училища. Зло меня взяло! Я поехал к Победоносцеву и объяснил ему игру Ш², признаться, столь недостойную и бесцельную. Победоносцев предложил мне подать ему докладную записку, по которой он обещал приказать Синодальному училищу отпустить рукописи сроком на три года, с правом моим возобновлять этот срок по моему желанию. В ответ на приказание Победоносцева последовало распоряжение Ш², ввиду будто бы важности и ценности отправляемых мне рукописей, составить самое подробное описание их прежде отправления все-таки в архив Св. Синода. Когда я решил вторично открыть Победоносцеву маневры князя, последовало распоряжение: «без промедления» отправить рукописи. Упрямый князь все-таки отправил их не ко мне, а в архив Синода. По третьему распоряжению Победоносцева, наконец-то, рукописи водворились в мой кабинет на Мойке.³¹²

Характернее всего после этой истории, что даже Ш², понявший пересол в своих отношениях ко мне *post factum*, вздумал замять эту историю предложением мне через В.С. Орлова повесить мой портрет в Синодальном училище. Я ответил на частное ко мне обращение Василия Сергеевича, что очень тронут и благодарю... Позднее я узнал, однако, и наконец увидел сам в мой приезд в Москву (ноябрь 1902 года), что моя фотография украшает ту комнату, в которой я так любовно и

много работал и в которой я оплакал мою разлуку с любимым делом. Но затем Ш² все-таки не унялся. Вдруг я получаю бумагу из Правления Синодального училища о том, что по рапорту Металлова оказалась недостача немалого числа рукописей. Этот неосторожный шаг о. Металлова был надлежаще объяснен Правлению уже Преображенским, и, таким образом, мои сношения с Ш² через третьих лиц покончились к новой их досаде на неудачу и на полученное обличение.

Сегодня, 8 октября 1904 года, я случайно узнал в переписке по канцелярии обер-прокурора Святейшего Синода о бывшем Дмитрию Николаевичу Соловьеву письме Ширинского-Шахматова по поводу отдачи мною библиотеки и по поводу выдачи мне в Петербург тридцати трех рукописей. Это письмо от 19 ноября 1901 года ж № 2526. В нем Ш² с привычным ему мастерством и с превеликою убедительностью снаружи, но только для не знающих дела, говорит, что библиотека начата собиранием еще до меня, что мне оплачивали поездки, что покупали рукописи по моим представлениям и проч., что немало посторонних лиц по его, Ш², стараниям жертвовали в библиотеку, почему он, Ш², считает мою претензию быть жертвователем «по меньшей мере странною». Такой пошлости от Ш² я уже совсем не ожидал. Следующее мое столкновение из-за рукописей в Синодальном училище см. в Дневнике 1904 года, сентябрь-октябрь.

Тем не менее, при первом же получении хоровых сборников [в Синодальном училище] я задался мыслью, имея в виду и сборники Епархиальной московской библиотеки, что в Петровском монастыре, утилизировать немедленно новые страницы из истории русского церковного пения и преподнести их вниманию публики в виде серии Исторических концертов. Я проиграл с учениками моими (то есть смычками вместо горл) по хоровым партиям массу вещей и наконец составил программу шести Исторических концертов. Это было осенью 1894 года. Смерть Александра III помешала дать их, почему историческая часть была значительно сокращена, и вместо шести мы дали

три концерта (3 февраля, 3 и 20 марта 1895 года). К этим концертам мною написана брошюра под заглавием «Обзор Исторических концертов», в которой между строк было напицкано мною множество всяких намеков во все стороны.³¹³

Я очень увлекался мыслью о том, что Исторические концерты должны составить прототип всех концертов Синодального училища на много лет вперед, и, признаться, очень подробно обдумывал как программы, так и объяснительные к ним тексты. Подобно первой брошюре об Исторических концертах 1895 года, мною тогда же была заблаговременно написана вторая для концертов 1896 года, но... Ш² нашел, что он не занимает в Исторических концертах первого места, что он только прокурор, хотя и «управляющий» Синодальным училищем и хором. Масса рукописных хоровых сочинений была так разнообразна и содержательна, что концерты 1896 года вырисовывались еще интереснее, чем 1895 года. Мне помнится, что я намечал для них «Стихотворный календарь» Симеона Полоцкого, несколько кантов и псалм Василия Титова, двенадцатиголосную обедню Березовского («Верую» из которой поется до сих пор всюду), концерт Рачинского («киевского»), «Тебе Бога хвалим» с оркестром сочинения Сарти, заимствования из сочинений немецких классиков, глупые сочинения русских extra-итальянцев и, наконец, после Львова, Бахметева – нашу московскую новизну... Но мы уехали в Петербург и, вернувшись, давали зачем-то пустопорожние концерты, оказавшиеся столь неудачными, что после четырех-пяти сам Ш² догадался прекратить их.

Исторические концерты Синодального хора были первым серьезным дебютом хора, так как в этих концертах были показаны и способность хора исполнять сочинения всякого стиля, всякого времени, и вместе с тем вся уже весьма внушительная хоровая техника, так как некоторые сочинения были включены в программу ввиду именно легкости победы хора над любыми техническими трудностями. Приготовлены эти концерты были вполне великолепно, и я помню, что некоторые

труднейшие места, например, в концерте Маурера, были выучены прямо удивительно.

Техника Синодального хора, умение петь с листа в это время (то есть в 1894 году) были уже очень внушительны. Я припоминаю, что я познакомился в это время с Архангельским, который с первого раза удивил меня техникою своего хора, распевавшего очень хорошо старых немцев и итальянцев.³¹⁴ Обедая у меня, Архангельский не без удивления услышал, что и Синодальный хор поет с листа все что угодно. Когда на лице Архангельского выказалось какое-то недоверие к моим словам, я сказал ему, что для него нет ничего легче, как изобличить меня в преувеличении. «Приглашая вас завтра утром на спевку, я прошу вас принести с собою все, что вы выберете сами, предполагая, конечно, что-либо трудное и незнакомое Синодальному хору». Архангельский принес наутро свою новую вещь, затем взял от Юргенсона только что напечатанные партии ораторий Генделя «Иевфай» и «Иосиф в Египте». Конечно, все эти вещи были исполнены Синодальным хором тут же без всякого затруднения, с листа, прямо со словами и с оттенками.

Быстрые пассажи в концерте Веделя «На реках Вавилонских», труднейшие по интонации переходы Эсаулова были в это время уже нипочем Синодальному хору. Нетрудно представить поэтому и успех хора, и быстро потому поднявшуюся его репутацию. Концерты были осмыслены, кроме моей брошюры о них, еще и выставкой весьма значительного количества старых рукописей, снабженных объяснительными записками, по которым был виден порядок всех главных художественных движений в области церковного пения, как крюкового и нотного одноголосного, так и хорового в XVII и XVIII веках. Единственное, однако, огорчение, которое я, признаться, и ожидал, состояло в том, что пение итальянцев (Сарти, Галуппи, Сапиенцы), сочинения итальянцев из русских (Дегтярева и прочих) понравились публике всего более и, как звучные и сладкие, произвели впечатление, не отталкивающее по своему виртуозному пустомыслию, а чарующее от превосходного исполнения. Мне было, впрочем, досаднее повторение этого впечатления, когда Историческими концертами

заинтересовался московский генерал-губернатор великий князь Сергей Александрович и слушал концерт, данный специально для него с великою княгиней и для их приближенных, как и для высшего московского общества. Наибольшее впечатление произвели Сарти, Галуппи, Виктор, Ведель, Дегтярев и тому подобный вздор. Эту досаду я испытал при первом случае, когда их высочества удостоили вниманием Синодальный хор и посетили училище. Впоследствии оказалось, однако, что впечатления были так сильны, что такие посещения стали ежегодными и внимание великого князя стало высказываться при всяком удобном случае, что, конечно, было очень выгодно для Синодального хора и впоследствии косвенно отразилось даже и на мне, так как помогло в деле перемещения меня в Придворную капеллу. С другой стороны, Исторические концерты возбудили интерес к Синодальному хору в Петербурге, и только этим можно объяснить поездку хора для концерта в зале Победоносцева, бывшего 7 марта 1896 года.

Между этими событиями техника Синодального хора стала подниматься еще более, так как мы, осилив весь сборник «Musica sacra», выучили знаменитую палестриновскую «Мессу папы Марчелло», открывшую всем нам глаза на очень многое, так как мы уже привыкли петь по партитурам. Для меня эта месса была сущим откровением, и по ней я убедился, что за разница между ученьем таких вещей за фортепиано и ученьем по партитуре, проследив каждый номер раз 15–20. Только тут я понял, как велик Палестрина и как недостижимо его восхитительное мастерство, полное вдохновения, встречаемое разве только у Баха. Синодальный хор после выучки такой мессы вырос в первоклассного хорового артиста, и техника такого хора, сколько я помню себя, стала выше всего, что только мне приходилось слышать в моей жизни. В хоре появилось благороднейшее сознание своего мастерства, ничего не имевшее общего с самомнением, но, наоборот, развивавшее в хоре ту скромность, которая присуща хорошему артисту, – появились удивительно тонкая дисциплина и, кстати сказать, вполне неожиданное улучшение жизни самих певчих, улучшение их поведения вообще и отношения к службе. Певчие

(то есть взрослые) поняли, что они участвуют в хорошем, выдающемся деле, и оценили это дело вполне по его достоинству. Они оценили и музыку серьезную, и своего регента Орлова, положившего в них весь свой прилежный труд. Нетрудно понять, как быстро продвинулась после такой подготовки техника и начитанность Синодального хора.

Но это же исполнение мессы Палестрины, которое я понимал для музыкальной Москвы как редкий случай, когда можно было бы услышать такое сочинение, дало мне урок вполне неожиданного содержания. Я заготовил для вечера 10 октября 1896 года изрядное число лишних наших литографированных партитур этой мессы, предполагая дать их слушателям-музыкантам. Приглашения мои, адресованные директору консерватории Сафонову и наиболее видным музыкантам Филармонии, были встречены вполне недружелюбно. Сафонов попросту спрятал мое приглашение под сукно и не оповестил о нем ни учеников-теоретиков (бывших, однако, всем классом с С.И. Танеевым), ни преподавателей, а музыкусы Филармонии, не желая встретиться с В.И. Сафоновым, поголовно блистали отсутствием... Характернее всего то, что Сафонов грубо высказал мысль, что «не идти же консерватории учиться у Синодального хора», а князь Ш² истолковал мне отсутствие музыкантов как самое убедительное доказательство полной нелепости моего направления...

Одним из наиболее интересных гостей в этот вечер был у нас несравненный художник Виктор Михайлович Васнецов³¹⁵, с которым, как и с Дмитрием Алексеевичем Хомяковым и с Павлом Васильевичем Жуковским, я близко сошелся у Федора Федоровича Львова. Давно, еще в эскизах Васнецова, я почувствовал, что этот удивительный человек понял либо только почувствовал какие-то неоткрытые законы русского стиля, столь же противоречащие западному искусству, как натуральные гаммы противоречат темперированному строю со всеми последствиями этого «усовершенствования» в виде развития диссонирующих гармоний и запрещения неблагозвучнейших квинт и октав, с допущением, однако, кварт

и тому подобного. Меня давно заставляли задумываться якобы нелепые по художественному замыслу старые русские иконы, в которых, несмотря на изображение рек над лесами и воинов над церквями, несмотря на отрицание перспективы, я все-таки чувствовал какую-то особую прелесть. Но я решительно не мог догадаться, в чем скрыта и в чем проявлена тут красота рисунка и художественной композиции. Мне казалось, что Васнецов овладел этим секретом в своем «Страшном Суде», в «Преддверии рая», угадал русские мотивы в группировке ангелов, в деталях всяких арабесок. Особенно меня трогали, подобно заунывной русской нотке в песнях, некоторые позы в фигурах васнецовских картин, например, Богоматерь в «Страшном Суде», Мария Магдалина, Антоний Печерский, Богоматерь (в куполе [Владимирского собора], более – в иконостасе), Бог – Отец Скорбящий и Распятый Сын, херувимы, Нестор и другие. Я сравниваю «неправильность рисунка» с несимметричным ритмом, с вольным стихом, и давно мне уже кажется все тверже и убедительнее, что рисунок таланта – есть правило, а не ошибка, что свободный ритм напева и вольный стих суть проявления высших форм в произведении гения и народа, не справляющихся, в какой мере мы заоченели в рутине. Ошибки, разногласица толкований не то что подробностей, а самого фундамента народных произведений всегда казались мне следствием нашей забитости рутиною и схоластикою. И вдруг Васнецов! – чудный, теплый, тонкий художник, второй акт бунта, после первого, репинского, в Академии художеств, столь знакомого мне со слов конференц-секретаря Академии в те годы, то есть Федора Федоровича Львова. Я догадался уже лет 18–20 тому назад о рифмовании строк в стихирах знаменного распева. Секрет этот я увидел во сне, после нескольких лет напряженной работы, после того как с отчаяния бросил заниматься ритмикой и формами знаменных стихир. Я вскочил и записал тут же свой сон, отлично оправдавшийся на деле немедленно, то есть открывший мне дорогу к исследованию сложнейших форм, далеко оставляющих за собою всякие рондо, сонаты, оды, ораторские речи и прочее. Но точку над і поставить не удастся мне до сих пор, несмотря на

то, что и доныне я не оставляю этой работы, увлекаясь ею от времени до времени. А между тем я чувствую, что это дело не мудрее Колумбова яйца, и все еще надеюсь на какой-либо будущий светлый момент для моего ума.

И опять: вдруг Васнецов, которого «неправильность рисунка» я сравниваю с вольностями Рафаэля и Микельанжело, с прибавкою к ним родного мне душевного элемента. Не трудно представить, как, по прочтении («Русское обозрение», 1894) статьи Шервуда³¹⁶, по взглядывании в эскизы Васнецова я вновь впился в басни Крылова, в «Горе от ума», в «Душеньку» Богдановича, в знаменные стихиры, в симфонии Гайдна (ультраславяно-хорватские), в последние сочинения Бетховена, в ритмы и формы Вагнера и, особенно, Шопена. Моему душевному страданию от постоянных неудач до сих пор еще нет конца, хотя я нарочно посвящаю во все подробности моих работ достаточно способных для того людей, но «точка над і» еще не ставится. Мне решительно не удастся открыть секрет этого просто-мудреного, но высокохудожественного, полного всякого разума и простоты курса теории нашей народной поэзии. Конечно, и я мог бы написать что-либо вроде теории Голохвастова о древнерусском народном стихе, пожалуй, не менее Римана и Праута о ритмике и формах родной мне поэзии, но «точки над і» все-таки не будет пока в таком писании. Я еще не знаю этой точки.³¹⁷

И я принял приглашение Васнецова посетить его и не без восторженного упоения вспоминаю и сейчас его дом в стороне от Троицкого переулка (рядом с домом митрополита) – не крашеный, не обитый обоями внутри, где видны только бревна и пакля, где комнаты обставлены на старинный лад лавками, столами, поставцами, где лестница в верхний этаж имеет поручнем самую простую, толстую, но великолепно уместную веревку, протянутую вдвое. Васнецов меня ждал. Он провел меня прямо в свою мастерскую, где я увидел «Плащаницу» Владимирского собора, «Илью Муромца» и множество всяких этюдов, «Сириня» и прочее.³¹⁸ Он показал мне рисунки знаменитых сикстинских и флорентийских фресок того же «несимметричного ритма», нескольких чудных икон русского

письма такой же композиции, но либо не мог, либо не открыл, либо говорил мне малопонятное, туманное, малоопределенное. Конечно, о законе третьего пропорционального я знал до этого посвящения, как и о длинных и коротких слогах, как и о цезуре в русском стихе. Статья Шервуда также мне была достаточно известна в приложении ее выводов к моей задаче. Посещение, от которого я ждал для себя так много, кончилось двояким впечатлением: полного восхищения самим Васнецовым как художником, живущим в художественно-просторном русском доме, и затем полного неудовлетворения моей жажды услышать от него хотя бы намек на тропинку к решению обуревавших меня вопросов. Оказалось, что Васнецов и не думал о сближении законов разных искусств к одним тезисам и говорил лишь о живописи и законах сумм, симметрии и подобия, но не касался именно «точки над *i*», а мне эта точка только и была надобна. Когда я ехал от Васнецова домой, мне вдруг представилась ясною теорема свободных цезур, например, в баснях Крылова, укладывающихся в квадратный рисунок, и теорема твердых акцентов на последнем времени в музыкальных периодах.

Этот пример я сравнивал, кроме квадратуры его рисунка, главным образом сходством его сильнейшего ударения в слове «квартет», например, с следующими мелодиями:

Каюсь, я никогда не мог понять ритма Камаринской, даже ее счета:

Попробуйте почти сплошь все начало знаменитой фантазии Глинки дирижировать (кроме некоторых таинственных запятых, в логическом объяснении которых и есть весь секрет дела) вместо $\frac{2}{4}$ на $\frac{3}{4}$, а самую тему Камаринской вместо $\frac{2}{4}$ на $\frac{3}{2}$ (опять-таки с некоторыми «инде», как говорит Победоносцев), – и вы увидите, что над ритмикой этой общеизвестной вещи придется очень задуматься, пожалуй, и встать в тупик; если допустить, что Глинка ошибался очень часто, то над этим вопросом стоит поработать.

Голова моя просто горела при возвращении от Васнецова. На Тверском, кажется, бульваре я услышал вдруг такую

забубенную песню (кажется, она есть в «Русском карнавале» Венявского):

Тут же мне вспомнился казанский напев:

И вдруг блеснула мысль о законченности формы такой стихиры, как «Да воскреснет Бог», о чем я позволил себе заявить печатно. Впрочем, если я не дождусь нового светлого дня в моей жизни, то в моих рабочих тетрадках есть десятки, пожалуй – сотни таких примеров, а «точки над i» – все-таки нет! Но я опять отвлекся. Ведь рассказ шел о мессе Палестрины.

Достойно упоминания и то, что на одну из репетиций я пригласил великого писателя графа Льва Николаевича Толстого, живо интересовавшегося палестриновской музыкой, которой он никогда не слышал. Старца я, конечно, принял под великим секретом у святых отцов, но он совершенно не понял Палестрину. «Это что-то дикое, инквизиторское, – что-то странное, непонятное, – какая-то музыкальная пытка», – был отзыв моего гостя... Конечно, этот гость был в грязной блузе, высоких валяных сапогах, волосы его были нечесаны... но глаза! Боже мой, что за глаза, что за блеск этих глаз под густою тенью нависших бровей!

В связи с ходом хора вперед стоит поездка Синодального хора в Петербург. Мысль об этой поездке не нравилась Победоносцеву, но очень улыбалась Ш², которому хотелось рекламировать хор, уже достаточно заявивший о себе в Москве. Ш² принялся за Екатерину Александровну Победоносцеву, посулил ей выручку с ее концерт в пользу ее школы, и дело тут же уладилось.

Эта школа находится около Новодевичьего монастыря, на конце Забалканского проспекта в Петербурге. Я много раз бывал в ней, и она производила на меня всегда лучшее впечатление. Я всегда любовался отличной дисциплиной этой школы и порядочностью ее. Поют в ней превосходно. Курс ее вроде женской учительской семинарии, так как «учительница церковноприходской школы» – вот цель каждой ученицы. Екатерина Александровна Победоносцева вложила в эту школу всю душу, все свое доброе сердце и все свое влияние через мужа. Лучшие педагогические силы потрудились в этой школе и,

конечно, поражая Победоносцевых своим бескорыстием и усердием, легко повели школу к ее отличному процветанию, так же, как и легко составили себе карьеру по синодальному ведомству.

Поездка наша, дружеская, товарищеская, обратилась в какую-то живую поэму идиллического свойства. Я живо помню, как Ш², уже очень не ладивший со мною, был удивлен дисциплиной моей школы, в которой не было ни крика, ни наказаний, но был дружный и точный, вполне благодушный, веселый порядок и наиполнейшее повиновение. В нашу компанию увязался милейший Сергей Андреевич Комаров, очень украсивший всю поездку своим неудержимым весельем.

Сергей Андреевич Комаров – ученик Дюбюка, из зажиточной, богобоязненной семьи – всю свою жизнь отдал бесплатной педагогической деятельности в качестве учителя фортепианной игры. Этот восхитительный по доброте сердца человек познакомился со мною при самом моем приезде на Никитскую и вступил в число необычных преподавателей Синодального училища, то есть бесплатных. Занимался он всегда безукоризненно и был всегда общим любимцем и учеников, и сослуживцев. На товарищеских собраниях Сергей Андреевич был совершенно незаменим по своему веселью, остроумию и благодушию. Его любящая, добрая душа привлекала к себе решительно всех, и, признаться, все очень любили такого умного и благовоспитанного товарища. После моего отъезда Сергея Андреевича посетила тяжкая болезнь, потребовавшая две тяжелые операции, – почему вместе с его подвижностью отлетело и его благодушное веселье. Я навестил его в ноябре 1902 года – от бывшего Сергея Андреевича не осталось и половины...³¹⁹

Поездка эта, в сущности, была обставлена в самые невозможные условия, отягчившиеся к тому же невообразимо скверной погодой. Достаточно сказать, что мы, никогда не ездившие, волнующиеся от новых впечатлений и от концерта в незнакомой зале, перед незнакомой публикой, должны были

дать этот ответственный концерт в день приезда, не отдохнув от бессонной ночи. Общее состояние духа, однако, было очень энергичное, так как, кроме уверенности в себе, мы порешили еще в Москве, что ездить в Петербург с целью дать заурядный концерт было бы бессмысленно; что поэтому если уже петь в Петербурге, то надо так объединиться в дружном желании петь отлично, чтобы удача вышла сама собою. В беседе о таком объединении, о взаимопомощи и о взаимном контроле во всем прошло у нас минуты три-четыре, когда мы собрались в залу училища перед самым отъездом. Нетрудно представить, как была усердна наша молитва после бывшего сейчас же взаимного обещания. Молебен в путь шествующим был пропет энергично, и мы, полные энергии, отправились на железную дорогу. В вагонах уже, по месту расположения, учредилась своя администрация, и веселье забило ключом. Я помню из этого путешествия, как очаровательны были в детском вагоне наши вечерние и утренние молитвы, вполне семейные, вполне искренние и высокоблагочестивые. Само собою разумеется, что во все путешествие не было ни малейшего случая нарушения дисциплины. Общее дело, общее благодушие и веселье береглись всеми с самою строжайшею тщательностью.

Мы остановились в Петербургской духовной семинарии и вскоре после завтрака, по предложению ректора³²⁰, собрались в зале и, так сказать, проверили сохранность своих голосов, пропев изящное скерцо из концерта Полуэктова «Слуху моему даси радость и веселье», «Господи помилуй» Львовского (то есть поемое при Воздвижении Креста, с большими *crescendo* и *diminuendo*) и «Свыше пророцы» Балакирева. Замер дух у семинаристов, и мы сами чувствовали, что поется отлично... «Пропали у меня теперь все занятия! – воскликнул о. ректор. – Что это такое? И не слыхивали мы ничего подобного! Посмотрите сами на лица семинаристов!». И действительно – лица эти были очень возбужденны, жесты наших слушателей, только что проаплодировавших нам со всею горячностью молодого восторга, были сильны, энергичны и показывали, что семинаристы совсем не ожидали такой степени художественного совершенства. Гул голосов, горячо

делившихся полученными впечатлениями, ясно указывал силу возбуждения наших слушателей.

Но концерт вечером этого дня едва не погиб от впечатлений совершенно неожиданных. 7 марта под вечер была самая невозможная сырая, ветреная погода. По темным загородным улицам, по невозможнейшей ломовой, рытвенной снежной дороге поплелись мы из духовной семинарии в дом Победоносцева на Литейной. Наши кучера оказались пьянее вина, один кучер задел что-то, и объяснения с полицией задержали фургон, другой заехал в такую яму, что все должны были вылезти и выпачкаться, у третьего фургона сломалась ось и т.д. Все мы иззябли, изнервничались, опоздали, явившись не вовремя, не успели передохнуть перед выходом на эстраду, не успели заблаговременно до концерта, так сказать, прицелиться к акустике зала... В довершение нашего смущения зал оказался зачем-то натопленным, душным, и едва мы вышли на эстраду и начали устанавливаться, как вдруг потухло электричество, и все очутилось в полных потемках... «Tous les mauvais augures!»³²¹ – сказал кто-то около меня, и, по правде сказать, суеверный страх охватил и меня. Тот же, скоро узнанный мною голос продолжил мне в темноте: «Поделом, поделом этому изменнику – у меня хорошо служил, а потом взял, да и ушел не простившись, поделом, так и надо!». Конечно, несмотря на темноту, я узнал, что такие речи говорил столь благосклонный ко мне Иван Давыдович Делянов (то есть тогдашний министр народного просвещения), случайно очутившийся около меня и узнавший меня.

Но, несмотря на все эти неудачи, хор вздохнул, собрался с духом и дружно грянул **ff** «исполла эти деспота» благословившему нас митрополиту, едва только опять зажглось электрическое освещение. Достаточно было этой краткой песни, чтобы вернулось присутствие духа, и концерт прошел вполне удачно, при самом полном впечатлении на наших слушателей.

Живо припоминаю, как нервно читались на другой и третий день рецензии о нашем дебюте в Петербурге. Возбуждение было общее. Мы хорошо понимали, что концерт был удачен по-нашему, но боялись, что пение могло быть не во вкусах

петербургской публики. Благоприятные отзывы в газетах, так сказать, окрылили нас. С утра, однако, пришлось пережить множество впечатлений, вполне для нас необычных, и как для москвичей, и как для приезжих, и как для певчих. План дня был таков: панихида на могиле Чайковского, панихида у могилы Александра III в Петропавловском соборе, посещение Монетного двора, Придворной капеллы, второй концерт в зале у Победоносцева в два часа дня и гулянье по Петербургу в виде отдыха после понесенных трудов. Погода 8 марта была еще хуже, чем 7-го. Поэтому мы, приложившись к мощам Александра Невского в лавре и пройдя к могиле Петра Ильича, только пропели у его могилы «Со святыми упокой» и «Вечную память». Дождь прямо лил на нас, и я приказал даже не снимать шапок, почему мы только приподняли их. После панихиды в Петропавловском соборе мы подивились множеству новостей для нас в устройстве всяких операций на Монетном дворе – действительно интересных. Посещение Придворной капеллы ожидалось всеми с самым страстным нетерпением и с глубоким интересом. Имя Капеллы давно окружено ореолом недостижимого для других совершенства, и только со времени ее бездарнейшего директора Бахметева, заполонившего ее репертуар своими неграмотными писаниями, после потери Капеллою такого даровитого регента, как Рожнов, блестящая репутация Капеллы начала тускнеть. Я слышал Капеллу за год перед визитом в нее Синодального хора и, конечно, понимал, что услышат в ней мои птенцы.³²² Поэтому я уговорил всех моих вести себя сколь возможно предупредительно, похваливать все и держать себя с самою безусловною скромностью. Мы действительно были очень неприятно удивлены тем, что услышали и увидели в Придворной певческой капелле, Сдавленные голоса детей, хрип октав, недостаточная чистота интонации и недостаточная гамма всякого рода нюансов удивили нас не менее неприятно, как и выслушанные нами «Господи воззвах» первого гласа, несколько ирмосов, кажется, пятого гласа, «Отче наш» обычного напева из чередования аккордов тоники и доминанты, равно как и слушание таких заурядных вещей, как Бортнянского «Ныне

силы небесная» и «Достойно есть», Херувимская Львова № 1. Мы были в некотором недоумении и полагали, что Капелла, державшая себя чрезвычайно высокомерно и вицмундирно, просто не пожелала дать себя послушать в чем-либо более интересном. Я, конечно, молчал о том, что репертуар Капеллы именно и состоял из этих вещей и что Капелла в своей лени, в своем чванстве и в бездарности своих учителей отстала от всего и опустилась непозволительно. Мне было на руку то, что в Капелле были готовы для Инвалидного концерта хоры Кюи (из них два детских), и эти хоры были исполнены действительно превосходно. По окончании такой экспозиции нас стали просить показать свое искусство, и мы, глубоко волнующиеся, вошли на эстраду... Общий вид Синодального хора (нас было только шестьдесят), вставшего кучкой около Орлова, много проигрывал после развернутого фронта Капеллы почти в 100 певцов. Растерявшиеся было сначала мои певцы пропели очень стройно «Тебе ноем» Полуэктова, потом, ободрившись, – Херувимскую Музыкальную и, наконец, очень уверенно и выразительно «Верую» Чайковского. Конечно, как мы в начале усердно хлопали Капелле, так и хозяева снисходительно аплодировали потом своим гостям, и я заметил, стоя у задней стены, что к нам относились весьма высокомерно, не вникая в достоинства нашего звука и нашей дисциплины. Только некоторые чины Капеллы, как кажется, поняли, как пели московские гости, и недоуменно иногда почесывали свои затылки. Тем не менее мы, торопившиеся к исполнению целого концерта, назначенного в два часа дня, сошли с эстрады со смутным представлением о значении случившегося, о бывшей как бы дуэли, кончившейся взаимным непризнанием и выстрелами в стороны... Конечно, нам были высказаны взаимные любезности, оказано было всякого рода взаимное внимание, но наивных моих ребяташек, альтов и дискантов, провести на этой мякине было нельзя, и после, как оказалось, эти бесхитростные, простые умишки обличили наш «такт» и наше вполне ненадобное добровольное унижение перед Капеллой. Эти мальчуганы, но уже в Москве, высказали мне, как бы можно было обставить появление Синодального хора в Капелле и прямо выиграть состязание с

более глубоким тактом... «Ведь вы знали, что они будут нам петь? – говорили мне малыши Потоцкий, Теремецкий, Зайцев, Клипин, Климов и другие, прямо нападая на меня за мой, Орлова и Ш² «такт». – Чего стоило пропеть им десять номеров таких, чтобы они прикусили языки? Пропеть бы им «Credo» или номер из «Stabat Mater» Палестрины, либо «Kyrie» из Реквиема Моцарта, либо даже концерт Львова «Приклони, Господи» – куда бы они девались?» и т.п.

В 1902 году я как-то завел разговор об этом посещении с мальчиками Капеллы и был отчасти удивлен, отчасти и раздосадован теми их суждениями, которые, очевидно, были внушены им тогда же о пении Капеллы и о пении Синодального хора. Этим мальчикам теперь уже по 17–18–19 лет, почему, если предположить некоторую долю личных их воспоминаний об этом состязании, то следует все же признать, что общее вполне одинаковое ими изложение их впечатлений было, должно быть, вложено в них весьма крепко. Даже до сегодня, когда Капелла уже слишком развенчана мною и когда с нее уже очень сбита спесь, еще сильная, однако, до сих пор, – даже до сих пор эти юноши никак не могут вообразить себе, чтобы на свете могло быть что-либо выше Капеллы, что ученье в понимаемом мною смысле совсем не надобно и что было какое-то странное появление в Капелле Синодального хора, осмелившегося о себе думать что-то и затем блистательно провалившегося на безумной попытке сопоставить свое пение с искусством Капеллы. Юноши меня пресерьезно уверяли, что они отчетливо помнят, как Синодальный хор, исполняя на эстраде Капеллы Херувимскую Музыкальную, ухитрился спуститься на один тон и даже едва ли не более, как мы пели какие-то «неграмотные регентские сочинения» и т.п.

Второй концерт был еще удачнее первого, и я был глубоко удовлетворен, увидав, как во время пения «Вечери Твоея» [Львова] заплакал великий князь Константин Константинович... Вечером же в этот день, после трогательнейших оваций расхаживших семинаристов, временами принимавших

довольно бурный характер в виде неистовых и многократных «качаний», мы выехали домой. Ликование и удовольствие наше от удачи было просто безгранично – это был сущий праздник. Насколько все подтянулись до часа отъезда из дома обер-прокурора после последнего концерта, настолько же все развернулись, и началось такое веселье, такое одушевление, что я счел за лучшее отпустить мою команду на самую полную свободу. Поэтому я остался в Петербурге. Я воспользовался и тем, что остался здесь же и Ш², которого я вызвал наконец на объяснения по поводу всяких его шпилек... Несмотря на мою вполне откровенную беседу с ним и по поводу наших prelimинарных споров о проекте устава училища, несмотря на все мои доводы и уговаривания, Ш² не сдавался, и недавнее мое ликование от удачи концерта выродилось в глубокое уныние.

Самое трогательное, однако, ожидало нас впереди. Оказалось, что мы, так волновавшиеся в Петербурге, забыли жен и товарищей в Москве. Никто из нас не собрался не только написать, но даже и телеграфировать о наших успехах. Такое отсутствие сведений сначала беспокоило, а потом привело всех в сущее волнение... Оказалось, что всего более волновались наши старшие ученики; они бегали к Иверской, ставили свечи, служили молебны, совершенно бросили учиться и прибежали заблаговременно на вокзал, чтобы встретить нас первыми. Первые прибывшие в училище мальчуганы побежали прежде всего к моей жене и сообщили ей, что «в Капелле дисканты не умеют [переходить] с грудного регистра на фальцетный, что в семинарии все время их кормили по три блюда, была отличная рыба, а последнее было сладкое, и всего давали помногу...». Нет надобности упоминать о том, что ученье в этот день было невозможно! Всех отпустили к родным, и, таким образом, вместе с подросевшими петербургскими газетами были разнесены по Москве известия о первом в Петербурге успехе Синодального хора. Позднее в память этого события была поставлена в зале Синодального училища мраморная доска с соответствующею надписью.

Последовавшая вскоре после того коронация принесла нам, вместе с массой разных новых впечатлений, и массу разного рода волнений и огорчений.³²³ Огромный репертуар Синодального хора (до 100 пьес), техника хора и отличное пение с листа и оттого возможность приготовить какую угодно пьесу в одну-две репетиции привели Ш² к политике «чего изволите? когда прикажете? слушаюсь», с помощью которой он, в качестве «управляющего», легко мог выдвигаться на нас, безжалостно заставляя давать чуть не ежедневные концерты для одного или двух-трех приезжих знатных слушателей, заставляя нас петь то всякий сладко-итальянский вздор вроде «Отче наш» Сарти, «Душе моя» Виктора или Херувимской № 7 Бахметева, обезличивая нас, оскорбляя нас до самой последней степени. Забыть не могу того концерта для нескольких иностранцев, когда он заставлял нас петь все, что приходило ему в голову или в голову какому-либо адъютанту при каком-либо шлезвиг-нассауском и ангальт-кеттенском генерале. Получались вздорные, экспромтные программы, вызывавшие в свою очередь бешенство самолюбивых исполнителей, ремесленное и обезличенное исполнение и выговоры за него, общие обиды, унижительные выжидания приказаний пропеть то или, то, пока столкнутся между собою всякие адъютанты... Особенно изводила нас бестолковщина в назначениях: то прикажут пропеть «Со святыми упокой», то концерт Бортнянского, то «Ave verum» Моцарта, то знаменную стихиру, то показывание канонархов, то одни октависты пропоют свои самые низкие ноты, а англичане смотрят им прямо в рты, то заставят хор стоять минут двадцать молча, пока наболтаются между собою знатные гости, и т.п. При таких порядках особенно тяжелы были назначенные, хотя и бестолково, программные концерты, к которым мы готовились, на которых не было тех, кого мы ждали, а являлись нежданные гости. В угоду последним не раз были отменены многие номера, перековеркано все и пропето экспромтом, с чрезвычайным риском многое давным-давно не петое, вроде труднейшего номера Палестрины «Esse, quomodo moritur» или восьмиголосного «Crucifixus» Лотти; стыд и срам вспомнить, как Ш² заставил нас после того петь «Душе

моя» Виктора и, увидев входившую при конце какую-то даму, заставил нас повторить эту дрянь!

Коронационные истязания кончились, однако, совсем неожиданными беседами: 1 июня Ш² вызвал меня в контору Св. Синода и сухим сдержанным голосом объяснил мне, что он совершенно недоволен всеми, начиная с меня и кончая малолетними певчими. Заметив мое полное недоумение, Ш² сказал примерно следующее: «Каждый знак моего внимания к подчиненным должен иметь их ответом выражение их признательности, хотя бы этого чувства даже и не было в их сердцах, – этого требует простое служебное приличие и дисциплина. Я выхлопотал всем, начиная с вас, разные подарки и требую, чтобы вы с сослуживцами и все певчие явились ко мне если не «in corpore» все сполна, то в виде внушительной по количеству лиц депутации, чтобы поблагодарить меня в надобных и приличных случаю выражениях». Признаться, моей находчивости только и достало на то, чтобы заявить князю, что ни я, ни Орлов, ни Кастальский, ни певчие решительно еще не получали подарков, хотя я и слышал о предпринятом в этом направлении ходатайстве князя, и потому, не ручаясь за остальных, я недоумеваю, за что, например, я должен благодарить. «Но, – прибавил я, – раз ваше сиятельство изволите требовать, то сегодня же о том будет объявлено всем...». Действительно, я объявил о желании князя видеть депутацию, но мое объявление было встречено полным недоумения молчанием, и, как мне положительно известно, никто не ходил благодарить князя.

Другая беседа, некоторое время спустя, была не менее курьезна и столь же безрезультатна, как и первая. Я вдруг получил приглашение князя с Орловым в Синодальную контору. Нарядившись в вицмундиры и пождавши немало его сиятельство, мы вдруг услышали такие речи: «Я нахожу в репертуаре хора большой пробел в том смысле, что хор совершенно не поет русских народных песен, образцовых хоров из русских опер. Некоторые песни прекрасно гармонизованы и желательно было бы, «в интересах сближения в понимании учеников древнерусских церковных, киевских и знаменных

распевов с народными песнями», выучить самые главные из песен, например, «Вниз по матушке по Волге» или, например, хоры из «Русалки»... Впрочем, мое дело дать вам мысль и указать желательное в будущем направление; считаю этот вопрос важным и для будущей деятельности наших учеников по окончании курса, когда им придется, например, готовить семинаристов или учеников духовных училищ, например, к елке, домашнему концерту и т.п.».

Развели мы руками от таких речей! На совещание притащили и милейшего «Кузьку», то есть А.Д. Кастальского. Орлов сказал: «Что его травить? Выучим штук пять-шесть песен, пропоем ему разок – сам увидит, а потом и отстанет...». Кузька отнесся суровее: «Да плюньте на него, черт бы побрал!». Так мы песен и не учили. Но третья беседа, бывшая уже при начале осенних учебных занятий, кончилась скандалом, на который, по обыкновению, князь не обратил никакого внимания, повернув вину на потерпевших... Уже не один раз Ш², демонстративно игнорируя меня и Орлова, посылал певчих за набором мальчиков в школы, подчеркивая тем как бы наше неумение выбирать голоса и нашу недостаточную энергию в этом деле. Особенно, признаться, доставалось мне это демонстративное и неприличное, на виду всех товарищей, игнорирование в дни моего разлада с князем по тому или иному поводу. В описываемом случае, услышав о каких-то голосистых мальчиках в двухклассном училище Павловского Посада (за шестьдесят верст от Москвы по Нижегородской железной дороге), князь, минуя меня, командировал Орлова, Тютюнника и воспитателя Смирнова для набора мальчиков в этом училище. Но умный учитель, прочитав бумагу к нему от прокурора Московской Синодальной конторы, ответил вполне резонно, что он не обязан исполнять требования постороннего лица, не имеет права нарушать порядок классных занятий и вообще без указаний своего начальства (по министерству народного просвещения) даже не пустит господ приезжих в училище. Так и вернулись «командированные» из этой досадной и глупой поездки. У Ш² хватило глупости выразить Орлову: «Вы должны были объяснить учителю, кто я! Можно было даже и пугнуть».

Орлов: «Я объяснял и пугал, а он, учитель, не обратил никакого внимания и не пустил в училище, чуть не выгнав нас из своей квартиры».

Нелады и тысячи историй всякого сорта довели наконец до того, что я заболел печенью, жена моя – неврастением, почему мы, ввиду перестройки [здания училища], уехали летом 1897 года за границу. После курса в Франценсбаде мы были в Швейцарии, потом в Париже, а оттуда попали в Вену. Из Вены я отправил Анюту домой, а сам проехал через Пешт, Сербию, Болгарию в Константинополь. Множество впечатлений и записей, множество интереснейших приобретений и самый мой отдых были вполне отравлены по возвращении моем тем же Ш². Самое обидное было то, что, уехав на три месяца за границу, я, так сказать, бежавший от своего недуга, рассчитывал, что его мстительность сколько-нибудь уймется. Неожиданное обстоятельство внесло в мои дела немалую путаницу. Я неожиданно для себя получил в Франценсбаде в казенном конверте из Синодальной конторы тысячу рублей, прямо только 10 сторублевых билетов без всякой бумаги, из которой можно было бы узнать, что это за деньги. Частным образом один товарищ писал мне, что из Синода пришла бумага, в которой была расхвачена моя деятельность по училищу, и, во внимание к моей болезни, Синод определил выдать мне пособие в одну тысячу рублей. Для большей верности дела я решил обратиться к Победоносцеву, бывшему в это время в Мариенбаде (один час езды от Франценсбада), и Победоносцев подтвердил мне известие о пособии. Тогда я зашил Победоносцеву, что, не нуждаясь в деньгах и не имев в виду этой тысячи рублей, я с удовольствием куплю для Синодального училища все надобное для него по более дешевой цене прямо у издателей в Лейпциге, а также все то, что найду возможным приобрести в славянских землях и в Константинополе. Победоносцев одобрил мое решение и дал мне от себя рекомендации в Сербию и Болгарию. Таким образом, я заказал и частью истратил немало денег на покупки для училища. Но меня вскоре же по получении тысячи рублей обескуражило то, что в срок жалованье мое ни за май, ни за

июнь не было мне выслано, а письма мои оставались без ответа. Беспокойство мое, однако, прошло, так как я был с запасом денег, хотя и тратил их на училищные покупки довольно щедро. В Москву я приехал с грошами и был непомерно удивлен, узнав, что ввиду требований закона по приказанию Ширинского-Шихматова выдача мне жалованья была приостановлена не на один только третий месяц, а за все три месяца. Ш² утвердился в таком толковании закона и тем, что Синод, выдавая мне тысячу рублей, тем самым как бы покрыл это удержание жалованья. Объяснения мои с князем были просто отчаянные. На мои указания полной незаконности его действий он сухо ответил: «Жалуйтесь», на мое желание видеть бумагу, при которой была выдана мне тысяча рублей, он ответил распоряжением от конторы не показывать мне никаких вообще бумаг иначе как с особого каждый раз его повеления. Стыдно вспомнить, что я вытребовал от князя бумагу Синода с помощью прошения, оплаченного гербовыми марками, и таким образом вывел его же распоряжение на чистую воду; затем я подал ему же жалобу на его незаконные действия по удержанию жалованья и принудил его уплатить мне следующее, что и было исполнено уже присланным из Петербурга директором Хозяйственного отделения Св. Синода, приезжавшим ко мне дать мне и нравственное удовлетворение за счет князя, получившего в свою очередь нагоняй от того же директора Остроумова.

Эти бешеные нелады происходили среди целой бури возможных сплетен о моем уходе, о полученных мною выговорах, о непринятии моих подарков Синодальному училищу по цензурным условиям (так как всякие заграничные издания действительно не были в цензуре), об уезде от меня Анюты к матери, с которою случился удар вследствие наших семейных неладов, и т.п. Вся эта буря сплетен была делом нескольких дней, в которые накопилась целая туча всякого смрада. Жена моя сообщила мне еще в Одессе, что с ее матерью был удар и что она узнала о том скрывавшемся от нее горе по приезде в Казань прямо из Вены, при суточной остановке в Москве. В Москве же не пожалели ее горя, отказали в получении денег по

моей доверенности, оскорбили всякими намеками. Нетрудно представить потому, как падали на мое сердце все неприятности, посыпавшиеся на меня от Ш². Одна из них переполнила мое оскорбленное сердце, и я, отчитав князя грубо и резко, сказал ему, что теперь уже он может жаловаться на меня, если захочет. Дело, как всегда при раздражении обеих сторон, началось по самому пустому поводу. Не получив приглашения на молебен по случаю освящения дома для взрослых певчих, только что выстроенного в Крестовоздвиженском монастыре, и узнав об этом торжестве лишь час спустя по его совершении, я, конечно, не мог быть, и мое отсутствие объяснили «демонстрацией», не думая о том, что в такой демонстрации с моей стороны не было бы ни надобности, ни самого простого смысла. Вернувшийся с молебна эконоом А.П. Вершинский, предварительно извиняясь всячески, передал мне, что он получил от Ш² крайне тяжелое и неприятное поручение выразить «полное неудовольствие его сиятельства по поводу моего не присутствия на молебне по случаю акта, прямо относящегося к предмету, касающемуся моих служебных обязанностей». Вершинский предупредил меня, что он, зная о моих неладах с Ш² и понимая всю щепетильность такого поручения ко мне как начальнику того же Вершинского, повторил князю его слова для полной точности редакции посылаемого выговора. Я, признаться, нашел в себе силы уехать сейчас же на Воробьевы горы, чтобы не сделать чего-либо под первым впечатлением от полученного оскорбления. На другой день я был в конторе и объяснил князю вполне сухим и злым тоном, что я считаю его не имеющим никакого права делать мне какие бы ни было выговоры и замечания ни лично, ни письменно, а тем более в [столь] неприличной, незаконной и бестактной форме, как через подчиненное мне лицо. На последовавшую тут же увертку Ш², пославшего мне будто бы передать о его «удивлении», а не о «полном неудовольствии», я высказал, что не в первый уже раз князь Ш² попадаетеся мне в злой выходке, пытаюсь вывернуться из нее грубой ложью на других, и что, служа делу и совершенно не думая быть прислужником прокурора, я, в связи настоящего

случая с цепью всех его гадостей, найду в себе силы, если он не уймется сам и немедленно, унять его так, что он очень пожалеет о бывшем, так как оскорблять себя я не позволю никому, а тем более князю Ш²: «Ваше сиятельство поступите благоразумнее и осторожнее, если изволите оставить меня в покое; если вам не нравятся мои внушения, – вы заслужили их, а если считаете их несправедливыми и дерзкими, – можете жаловаться, но еще раз предупреждаю вас: прошение об отставке я не подам пока ни в каком случае, так как обязан оберегать свое дело до конца, и покой мой выгоднее для вас, чем какие-либо ваши новые выходки, как бы они ловки ни были». Вероятно, мои слова подействовали на Ширинского-Шихматова; может быть, и отрицательные ответы на его хлопоты в Петербурге помогли мне – но только мы не видались после этого разговора более полугода, сносясь только бумагами.

К этим же дням относится выходка князя по адресу покойного Эрарского. Грустно записывать конец этого дела! После А.А Эрарского не нашлось человека, который бы мог продолжить занятия с детским оркестром так же энергично и умно. Инструменты и партитуры Эрарский, лежа на смертном одре, передал мне в присутствии своей жены, сделав о том твердое распоряжение. Я привел их в порядок и спрятал в Синодальном училище там же, где они всегда хранились. Князю Ш², однако, не было желательно, чтобы эти инструменты были в училище даже после того, как я заявил ему, что я жертвую их Синодальному училищу в память занятий такого незабвенного художника с нашими учениками и ради желательного продолжения таких занятий, если найдется преемник Эрарскому.

Но я получил от Ш² сухой ответ, что всякие пожертвования в Синодальное училище, как и всякие занятия вроде детского оркестра, должны и могут иметь место только с его, Ш², разрешения. Удивлению моему не было границ, когда по отъезде Ш² в отпуск ко мне пришла в слезах скорбная К.Н. Эрарская и предъявила мне такую бумагу, доставленную ей через московскую полицию (!):

*Исп. об. Прокурора
Моск. Св. Синода Конторы, 16 сент. 1897, № 1733. Вдове
Острогжского мещанина
Анатолия Александровича Эрарского,
Клавдии Николаевне Эрарской.*

По возбужденному в Московском Сиротском суде делу об инструментах и нотах детского оркестра покойного Вашего мужа³²⁴, находящихся ныне в Синодальном училище церковного пения, по поручению г. Прокурора конторы Князя А.А. Ширинского-Шихматова, имею честь сообщить Вам, милостивая государыня, что занятия детского оркестра в Синодальном училище Его Сиятельством были разрешены исключительно под руководством Анатолия Александровича, почему, за последовавшей его кончиной, и должны прекратиться. Вследствие сего мне предоставлено просить Вас принять из училища все означенные инструменты и ноты в семидневный срок от настоящего числа.

*Исп. об. Прокурора
И.д. Секретаря
В. Дрофеев
Н. Попов*

Во избежание какой-либо выходки Ш² я уговорился с С.Н. Кругликовым, что ноты и инструменты временно побудут у него. Добавлять к вышеприведенному документу нечего.

При переезде моем на новую квартиру в новом доме я получил инструменты опять к себе. К несчастью, когда эти инструменты были перевозимы в Петербург, артельщики поставили их в вагоне вверх ногами, и потому нетрудно представить, в каком они виде сейчас у меня, тем более что здесь я не могу найти мастера, который взялся бы за их починку.³²⁵ Так спустя лишь две недели Ш² изгнал Эрарского по его кончине оттуда, где работал этот несравненный педагог, где он принес столько добра, любви и пользы детям.

Каюсь, я давал и по мелочам князю самые жесткие сдачи, воспрещая исполнение его распоряжений в Синодальном училище и хоре, если такие распоряжения давались помимо меня. Таким образом, например, я не допустил осуществления

уроков «практического церковного пения» делопроизводителя конторы Попова, явившегося на уроки без моего ведома, и пригласил его передать князю, что директор училища – я, а не прокурор, не имеющий никакого права распоряжаться в области моего ведения, назначать преподавателей и выдумывать предметы обучения. Таким образом были отклонены мною еще некоторые выходки князя. Я уходил к себе в кабинет при его приходе; он спрашивал, приходя к нам: «Где Смоленский?». Только в марте 1898 года Ш² не утерпел и вернулся было вновь к своим выходкам, но в училище уже успели успокоиться, объединиться и собраться с духом, зажечь вновь дружной семьей товарищей-сотрудников. Энергичный отпор вновь уgomонил князя. Один из отпоров ему дан был всем училищем чрезвычайно дружно и вполне неожиданно для самого училища. Накануне дня моих именин, 28 октября, я как-то проговорился, что 26-го исполнилось двадцати пятилетие открытия Казанской учительской семинарии и [что я] посылал туда депешу. Этого было достаточно, чтобы в этот же день составилось дружное, экспромтом празднование двадцати пятилетия моей педагогической деятельности, сопровождавшееся самыми трогательными оациями. Спешно, в одну ночь был составлен адрес, наутро был куплен бювар к нему, послана была депеша бывшему в отъезде князю с просьбою освободить учеников от занятий, устроен был молебен в зале училища со всеми речами-многолетиями, хлебом-солью, просвирами и прочим. Дружный ансамбль, общее одушевление под предводительством Орлова, свихнувшегося было от влияний князя, были так сильны, так выразительны, что одно место речи было особенно подчеркнуто аплодисментами, как осмыслившее весь день, все значение пережитого случая: «Возрождение нашей дружной семьи».

Зато и поплатились главные устроители этого демонстративного юбилея от сообщений всех бывших на нем соглядатаев из Синодальной конторы, явившихся также «выразить свое сочувствие» в лице почти всех ее чиновников под предводительством Попова. Князь же не постыдился обойти этих устроителей лишением их награды к зимним

праздникам, но, вероятно, задумался над нашим ансамблем, тем более что надлежащие из Петербурга внушения за его сентябрьские выходы уже были получены.

Весьма характерною подробностью этого дня может служить следующее: после вечера у меня (а в моей семье гости, уважая мою привычку ложиться рано спать, никогда поздно не засиживались) некоторые мои товарищи, с Орловым вместе, отправились в ресторан, так сказать, докончить торжество дня самым простым кутежом. В эту компанию увязался и некто Василий Петрович Дорофеев – factotum князя, бывший преподаватель, способный, умный, бывший товарищ некоторых из наших по Московской академии, но криводушный и не симпатичный. Подвыпившая компания услышала несколько бестактных слов Дорофеева по поводу отношений Ш² ко мне и без всяких околичностей выпроводила его вон, докончив свой кутеж без такого товарища. Одно время, в периоды наиболее острых отношений, Дорофеев, частью же делопроизводитель Попов, дежурили на всякий случай перед кабинетом князя, когда я объяснялся с ним. Однажды нечаянный кашель последнего дал возможность чуть-чуть не сцене Гамлете с Полонием – конечно, без убийства, но с убийственным взглядом на князя, совершенно растерявшегося от неудачного поведения спрятанного предателя.

Одним словом, зима 1897/98 года, в смысле отсутствия всякого рода резких стычек, была несравненно спокойнее, чем можно было думать по ее началу. В эту же пору случилось событие, оказавшее, как выяснилось впоследствии, решительное влияние на мою судьбу. Я получил от графа Сергея Дмитриевича Шереметева предложение устроить пение на свадьбе его дочери, вышедшей замуж за графа Гудовича. При личном свидании с графом Сергеем Дмитриевичем еще задолго до этой свадьбы я решился, в свою очередь, предложить ему, как вполне русскому человеку, устроить пение на свадьбе его дочери также русское, православное, и поэтому просил его пожаловать в Синодальное училище, чтобы прослушать свадебные концерты Кастаньского, тропарь венчания, прокимен и ектении. Граф приехал в тот же день и

был совершенно удивлен и очарован; заметив такое благоприятное впечатление, я затащил графа в библиотеку рукописей, и здесь мы провели с ним в самой оживленной беседе гораздо большее время, чем предполагалось заранее. Свадьбу эту мы пропели так удачно, что Шереметев в письме ко мне охарактеризовал впечатление от нее как «потрясающее», а от разговоров библиотечных возникла напечатанная йотом моя статья «О русских древнепевческих нотациях».³²⁶ Оба эти обстоятельства, как оказалось впоследствии, привели меня в Придворную капеллу, так как Синодальный хор успел в то же время обратить на себя внимание государя. Он был в Москве на открытии памятника Александру II, прослушал обедню и на другой день пожелал еще раз слушать Синодальный хор при посещении им Патриаршей ризницы. Здесь, подойдя к хору, государь сказал: «Не могу пожелать усовершенствования этому хору, так как в художественном отношении, кажется, некуда идти более, вы поете превосходно, и я желаю вам остаться такими, каковы сейчас». Помог тут и великий князь Владимир Александрович, сказав: «Вы поете вполне удивительно! У нас в Петербурге совсем не поют того, что вы поете, да, признаться, и не умеют петь так хорошо».³²⁷ Не думал я, чтобы и эти события были также ступенью к моему переходу из Москвы в Петербург. Мои мысли более были склонны к тому, что, получив такие одобрения и заручившись кроме того общим признанием о хорошем состоянии моей школы и неизмеримой к лучшему разнице между ее бывшим и настоящим, я почувствовал себя более вправе стоять за свое дело. Я надумал просить К.П. Победоносцева избавить меня от Ш² как человека для нас прямо вредного, мучающего нас, не понимающего нашего дела, мстительного и упрямо-настойчивого в своих иногда нелепых воздействиях. Я полагал, что его, Ширинского-Шихматова, как карьериста и уже сидевшего шесть-семь лет на одном месте, можно было бы весьма благовидно повысить по службе, убрав его из Москвы. Оказалось, однако, что обо мне уже составилось заботами Ш² представление как о человеке неуживчивом, непокорном, беспокойном и т.п., что успехи хора приписаны исключительно Орлову, не знающему будто бы, как бы ему от

меня отделаться, и что для преуспевания училища при новом директоре надобно именно оставление Ш² в Москве, чтобы не производить ломки в порядках, насилу-то уставленных тем же Ш².

А между тем Синодальный хор все-таки сильно шел вперед. А.А. Ильинский написал на текст «Всякое дыхание да хвалит Господа» труднейший мотет с самыми запутанными по мелодической трудности темами, с самыми сложными фугированными изложениями, и Синодальный хор, к полному удивлению автора, пропел это сочинение довольно удовлетворительно к концу первой же спевки. Кастальский, Гречанинов и Чесноков написали в этот год много вещей, значительно раздвинувших репертуар концертов, и, наконец, была начата изучением знаменитая h moll'ная месса.

Александр Александрович Ильинский, профессор свободного сочинения в Филармоническом училище, – милейший человек, необычайно добрый и простой, отличный музыкант, небольшого творческого дарования, но хороший техник, немец насквозь.³²⁸

Александр Тихонович Гречанинов – более даровитый, но менее техник, знает русскую песню и владеет хорошо хоровыми массами, недурной мелодист. Добр, но мелочен и самолюбив до невозможности. Мои приятельские с ним отношения дали мне привычку говорить ему правду в глаза. Оттого мы спорим и ссоримся постоянно, хотя и очень любим друг друга, но говорим взаимно немало всяких вещей. Теперь Гречанинову 36–37 лет, а мне 55 – остальное понятно.

Павел Григорьевич Чесноков, мой ученик, очень даровит, но мало учился, пройдя курс Синодального училища и занимаясь потом с Ипполитовым-Ивановым. Отлично знает хор, умен, скромен, но совершенно невоспитан, почему, несмотря на всю свою добрую душу, все-таки груб и самомненин по молодости своих лет. Некоторые его хоровые вещи написаны очень живо и умно.

В этот год случилось самое знаменательное событие при мне в жизни Синодального хора – поездка в Вену для участия в освящении посольской церкви и концерте в зале Венского

Музыкального общества. Мысль об этой поездке впервые блеснула в одном из январских моих разговоров с Победоносцевым в Петербурге, и я тут же горячо упросил его устроить это дело, обещая приложить все старания к тому, чтобы Синодальный хор произвел в Вене наилучшее впечатление, особенно же если удастся дать в Вене один или два концерта. Победоносцеву понравилась эта мысль, и он обещал подумать, так как от этой заманчивой поездки могли не отказаться и петербургские певчие, тем более что заграничные церкви находятся в ведении митрополита Петербургского. Оказалось, потом, что это дело было трудно устроить, и понадобилось высочайшее повеление относительно командирования Синодального хора. Но оказалось потом, что еще труднее было устроить дело в Москве, так как это предприятие застало меня в самый разгар наиболее обостренных моих отношений с Ш². Я только что уличил его во лжи и занес все его проделки в протокол заседания Правления училища, а протокол отправил к нему же на утверждение.

Как ни досадно писать о таких вещах, заново все-таки это событие в страницы своих воспоминаний. Дело все было поднято из-за покупки у Юргенсона мною в счет библиотеки рукописей одной дести нотной бумаги партитурно-оркестрового формата ценою в 75 копеек. Составляя тематический нотный каталог древних мелодий в рукописных обиходах библиотеки рукописей, я разрезал эту бумагу на полосы и, вклеивая их на левые страницы каталога, вписывал туда мелодии, оставляя половину или две трети левой страницы и всю правую для отметок, где именно эти мелодии встречаются в разных рукописях. Этот каталог есть моя главная работа в Москве.³²⁹ Князь много раз видел и знал, что я не раз уже покупал и ранее особо толстую для него [каталога] нотную бумагу, так как я пишу довольно толсто, твердо, особенно же старый нотный шрифт. Ранее купленные для этого каталога несколько дестей той же бумаги как-то проскользнули от внимания князя, а последняя десь злополучно попала к нему на глаза

вместе с одновременно поданным счетом поставщика Тарчигина на нотную же бумагу для учеников по 45 копеек за десть. Этой разницы в цене 75 и 45 копеек было достаточно для князя, чтобы прислать в Правление училище грубую бумагу с указанием на надобность покупать бумагу не дорогую и не «в 26 линеек», и не у разных торговцев, а у одного, притом одинакового формата, одинаковой цены, не отягчая бюджета училища, и т.п. В той же бумаге, подобно бывшему уже случаю, были прописаны соображения князя, что по счету Юргенсона видно, как приобретаются для Синодального училища ноты, «не имеющие прямого отношения к задачам Синодального училища». Возмущенный этой наглостью моего начальника, его передергиванием фактов и совершенно недопустимым в дисциплинарном смысле его глумлением надо мною как директором, притом же в бумаге, адресованной в Правление училища и отредактированной во всеоружии правоведческого мастерства писать такие вещи, я внес в журнал Правления целиком мое жестокое для князя наиполнейшее объяснение, в котором все его передергивания выводились живьем на чистую воду. Этот журнал, так и оставшийся под кличкой своего номера («№ 17»), был подписан нами всеми и отправлен на утверждение его сиятельству. Раза два-три Ш² убеждал меня в надобности переменить редакцию журнала, но встретил с моей стороны самый полный отказ. Я имел удовольствие сказать князю: «Я желаю, ваше сиятельство, чтобы следующие поколения узнали, с кем я служил и мучился в Синодальном училище, если журнал № 17, как и другие подобные бывшие и будущие бумаги, испытает судьбу «Versunkene Glocke»³³⁰ в глубине стола прокурора Московской синодальной конторы, даже если вы предадите их сожжению, то все-таки это дело, вместе с другими вашими проделками, будет описано мною и появится когда-нибудь на страницах журнала вроде «Русской старины» или «Русского архива». Я

отказываю вам, князь, в вашем требовании и обещаю вам исполнить только что сказанное». Побелевший от злости Ш² только скрипнул зубами.

Полгода спустя был сделан на меня наскок, чуть не граничивший с намеком на обвинение меня в представлении двойных счетов, попросту сказать, в покушении на воровство. Случилось, что тот же Тарчигин, поставщик письменных для училища и хора принадлежностей, подал летом через меня счет в контору на какие-то гроши и, по лености конторы, не мог добиться уплаты до глубокой осени. Осенью (как раз перед ревизией) Тарчигин подал, опять через меня же, другой счет, в котором переписал вновь к уплате летние у него покупки, да на грех еще напутал из них что-то (помнится мне что-то, что вся торговая операция была либо в четыре, либо в семь рублей). Этого было достаточно, чтобы из конторы сейчас же пришла уличающая меня бумага и требование объяснений. Когда я объяснил прокурору, что канцелярия не имеет права требовать от меня объяснений, так как я ей не подчинен, что неисправность канцелярии не есть повод, чтобы ловким маневром замаскировать свою бездеятельность и атаковать меня прямо с грубого обвинения, так как дело улаживается самою простою поправкою в счете, – то мне стало известно великое смущение от неудачи канцелярии в своей атаке и появление было намерения вновь проучить меня. Намерение это, однако, было благоразумно отложено, хотя ревизору этот случай был расписан в желательном для Ш² свете.

Прежние предположения о командировании всего сполна Синодального хора в Вену были отринуты за дороговизною и за невозможностью будто бы пригласить на одно воскресенье в Успенский собор хотя бы певчих Чудовского хора. Затем над программю концертов в Вене, втихомолку уже обдуманною мною с Орловым, была проделана целая комедия, в которой Ш², прикрываясь полученными будто бы от Победоносцева и Саблера точными указаниями, наставил всякого вздора. Мы

рассчитывали на звучную, техническую сторону концертной программы, имея в виду слушателей из венских немцев и не оставляя без внимания мелодии западных славян, то есть переложения болгарских и сербских мелодий, так как Вена, да еще по случаю освящения православного храма и приезда московских певчих, не могла не быть набита православными юго-славянами. Ш², угадывая симпатии Саблера, не забывая и своих симпатий к сладостям вроде сочинений Бахметева, перекроил наши программы, намекая на надобность иметь в виду указания из Петербурга. Случившаяся перед тем насильственная смерть австрийской императрицы в Женеве привела Ш² к мысли подчеркнуть в нашем концерте в Вене пение «Со святыми упокой» и «Вечной памяти» под видом будто бы образца «малого киевского роспева». Как я ни убеждал князя Ш² не помещать такую прозрачную демонстрацию в программе нашего концерта, а тем более предлагавшееся им пение гимна русского и австрийского, Ш² стоял на своем и несколько дней спустя вновь попался в проделку. Письмо Победоносцева ко мне от 22 марта изобличало Ш² в том, что он, желая быть в Москве хозяином и разнюхивая в Санкт-Петербурге, приписал мне все затевавшиеся им нелепости. Я имел жестокость прочитать это письмо Ш², а он и глазом не моргнул, сказав только: «Да и я так думал, что затея Орлова (!?) неудачна...».

Картина эта дополнилась тем, что уже в Вене Саблер мне сказал: «Как жалко, что благодаря вашему пристрастию к древним напевам пришлось поместить в программу такие скучные для немцев вещи, как «евангельская стихира пятого гласа»; трогательнейший ее текст – вся сила этого произведения – непонятен немцам, а глубина роспева чужда даже и славянам». – Я: «???! Но ведь эта стихира помещена в программу, как намекал не раз Ш², именно по вашему указанию, несмотря на просьбы мои и Орлова не ставить этот номер в концерте, а пропеть лишь в виде причастного стиха за литургией?». – Саблер: «Ничего подобного я не указывал! Это – недоразумение».

Случайный приезд в Москву известного венского дирижера Ганса Рихтера³³¹ оказал нашему предприятию самое

незаменимое и сильное, авторитетное подспорье. Рихтер, пользующийся в Вене общеою любовью и уважением, был у нас в училище, слышал Синодальный хор и совершенно оторопел от полученных им впечатлений. Он и плакал, и изумлялся, и говорил нескладные слова, и в конце концов подарил меня таким восторженным отзывом, какой он потом пропечатал в Вене перед нашим туда приездом в виде письма к своему другу (доктор Батка в Пресбурге – городской глава, приезжавший вместе с Рихтером и бывший вместе же в училище): «Lieber Freund! Der Synodalchor aus Moskau kommt nach Wien und gibt ein Konzert. Komme hieher! Du wirst einen ungeahnten, grossen Genuss haben. Diesen Chor und der der Kaiserlichen Hofkapelle in Petersburg – beide gleich ausgezeichnet – habe ich gehört, und zwar in kirchlichen, wie auch im weltlichen Musikstücken; ich erkläre Dir, dass ich nie und nirgends einen grösseren und vollkommeneren Kunstgenuss gehabt habe. Komme hieher und überzeuge Dich selbst, dass ich nicht übertrieben habe, als ich Dir jüngst von diesen beiden Chören in Ausdrücken der höchsten Bewunderung sprach. Wien. 8 April 1899».³³²

Это письмо, как и последующие выдержки из венских газет, списано мною из книжки, в которой были собраны нашим антрепренером концерта (Гутманом) все рецензии. Книжка эта в количестве четырех экземпляров была любезно выслана мне в Москву. Я отдал по экземпляру Орлову, Ш² и в библиотеку Синодального училища. В своем экземпляре я приложил всякие сообщения русских газет и всякие письма и подходящие подробности. В этой книжке записаны и мои заметки.

Нетрудно представить, какую рекламу для нашего концерта составило появление такого отзыва от уважаемого и авторитетного Рихтера. Письмо это было сейчас же перепечатано во всех других газетах и доставило нам в огромном зале Венской консерватории совершенно полный сбор публики. Я со своей стороны уполномочил Гутмана разослать билеты решительно всем более известным артистам Вены, приглашая их быть нашими гостями...

Но я отвлекся. Устройство нашего путешествия из Москвы до Варшавы и обратно отлично удалось благодаря любезному

содействию начальника Брестской железной дороги г. Чаплина, предоставившего в наше распоряжение огромный новый вагон третьего класса, в котором мы разместились все с полным удобством. Мы взяли с собою всякой провизии, всякую необходимую рухлядь для чаепития, сна, чтения, детских забав, и таким образом устроили все довольно удобно и достаточно. Гораздо менее удобно было путешествие от Варшавы и еще хуже от Границы до Вены. Нас ехало четырнадцать дискантов, восемь альтов, восемь теноров и десять басов; с певчими поехали: дядька – друг моих детей Егор Евстратович Андреянов, делопроизводитель Н.П. Попов – в качестве распорядителя и казначея, частью же и в качестве «сих дел мастера» от Ш², В.С. Орлов и я – всего сорок четыре человека. Стыдно вспомнить, как мне не хотели давать на поездку более трех тысяч рублей, как я простым расчетом цен доказывал князю, что три тысячи рублей на сорок четыре человека, то есть на шестьдесят девять рублей [на одного], нельзя сделать одиннадцатидневное путешествие от Москвы до Вены и обратно, что нельзя заставить меня и Орлова ехать при наших заботах и волнениях, при нашей ответственности в третьем классе и без запасных денег при таком числе людей, что нельзя рисковать и скупиться без всякой нужды в таком исключительном и важном для Синодального хора предприятии, исполняемом притом по высочайшему повелению. С трудом сдался Ш², и поездка наша была оценена в четыре тысячи с разрешением раздать часть чистой выручки от концерта в награду певчим и Орлову, с разрешением мне, в случае экстренной надобности, распорядиться всею свободною выручкою от концерта. Как бы ни было, несмотря на все мои просьбы побережь силы хора, Ш² заставил нас в Москве, накануне отъезда, 28 марта, дать концерт³³³ и измученных, тревожных, не успевших толком подготовиться к венскому концерту отпустил 29 марта 1899 года с пассажирским поездом. Время было распределено так: 29–30-го – путь до Варшавы, 30–31-го – до Вены с приездом туда 1 апреля утром; 1 апреля – спевка в венской церкви, 2-го – то же и репетиция в зале концерта, 3-го – большая всенощная накануне освящения храма

(Саблер со своими требованиями исполнения устава ухитрился растянуть эту всенощную почти до четырех часов), 4-го – освящение храма, обедня, молебен, 5-го – концерт в зале консерватории, 6-го – литургия, 7-го – сбор в обратный путь и 8-го утром – отъезд, чтобы поспеть к 11-му на службу в Москву к Вербному воскресенью, а то так и к обедне 10-го, то есть к Лазаревой субботе. Тщетно просил я отменить хотя бы литургию 6 апреля или позволить всем нам пробывать в Вене хотя бы два-три свободных дня и дать возможность хотя бы немного посмотреть город и его окрестности, доехать хотя бы до Земмеринга, повидать красоту горной природы, – нам было отказано под предлогом надобности петь в Успенском соборе. Безжалостный Саблер, желая угодить посланнице графине Капнист, заставил нас, совершенно утомленных, все-таки дать домашний прощальный концерт высшему венскому обществу, на котором мы едва вытянули из себя 12 номеров перед болтавшими без умолку слушателями. Было больно и обидно за такое истязание хора-художника, только что с честью отличившегося и тут же водворенного по формуле: «Помните, что вы – не более как певчие».

Тем не менее в моих впечатлениях от венской поездки успех концерта 5/17 апреля превзошел все самые смелые ожидания и был действительно кульминационным пунктом всего нашего путешествия.³³⁴ Я не сумею достаточно живо описать этот успех и меру наших волнений. Это был такой особый, возбужденный, полный веры в свои силы, очаровательный концерт, полный самых восхитительных воспоминаний, полный каким-то упоением, каким-то небывалым восторженным вдохновением, полный сознанием и гордою радостью, что за нами стоит русское имя и что мы вполне достойные представители русского искусства, изумляющие и восхищающие самую избранную, самую музыкальную публику, восхищающие родных нам славян... Перед выходом на эстраду мы перекрестились трижды, я благословил хор, и мы вышли на подвиг, на завоевание, на оправдание рекомендации, данной нам Рихтером, на взятие приза № 1. Я не помню, чтобы Синодальный хор в половинном составе пел когда-либо так

восхитительно, звучно, стройно и с такою массою удивительных оттенков, с таким одушевлением и с такою необыкновенною по точности интонацией. Это пение было какою-то упоительною поэмою, какою-то радостью, какою-то небесною красотою, которая получалась сама собой от величайшего счастливого вдохновения и от превосходной дисциплины и техники хора. В этом концерте не было ни одной малейшей ошибки, ни одного малейшего невнимания, никакого недостатка. Все **ff** звучали полно, сильно, ясно, а **ppp** достигали до выразительности и подвижности, удивлявшей самих певчих.

Понятен после этого гром рукоплесканий и одобрительный рев шести-семитысячной толпы, не слышанный никем из нас до этого случая – вполне исключительного. В первый раз в моей жизни я заплакал, заплакал Орлов, заплакали и певчие под впечатлением опьяняющей силы восторга слушателей, слушателей чужих нам по языку, племени и вере, но ставших своими, завоеванных нами в какие-нибудь два часа. В Вене только хлопают артистам, мы же слышали оглушительно дружные аплодисменты, рев толпы... Уже в конце первого отделения, во время исполнения «Господи помилуй» Львовского с артистическим *diminuendo*, какой-то немец не вытерпел и во время **ppp** тихо, но слышно для всей затаившей дыхание залы сказал: «Kolossal». Я сам видел потом выражения полнейшего восторга на лицах слушателей, когда после этого **ppp** началось не менее артистическое крещендо, выросшее в великолепное **ff**. Оглушительный взрыв аплодисментов и оглушительное требование повторения этого «unübertreffliches Meisterstück, welches bei Musikfreunden grenzenloses Erstaunen und Bewunderung erregt»³³⁵, показали нам, что впечатление было произведено очень сильное, и нас сразу признали «eine ganz eigenartige Erscheinung», так как «schon mit dem ersten Chor «König des Himmels» hatten die Sänger die Hörer in Staunen und Spannung versetzt»³³⁶).

Второе отделение концерта началось после того, как мы едва пришли в себя от толкотни в артистической комнате, наполнившейся всякими рецензентами, репортерами, музыкантами, с удивлением рассматривавшими наши костюмы,

расспрашивавшими через переводчиков о всяких интересующих их вещах, глядевшими даже, как «русские» пили кофе, как обращаются друг с другом и т.п. Один рецензент даже пропечатал обо мне после этого антракта: «Es war interessant zu beobachten, wie väterlich der Direktor von Smolensky für alle aber namentlich für die kleinen Sopran und Altsänger sorgte»³³⁷, что удивляло его бесконечно, так как наша дисциплина и выучка в интонировании представлялись ему «wohl nur im Lande der Knute und der slawischen Unterordnung möglich».³³⁸ Другой рецензент нашел, что мы вполне русские, так как красны во всем, начиная с наших костюмов, продолжая красными пультами, красными щеками мальчиков и взрослых и т.п. Забавно было потом читать, как все без исключения рецензенты подробно описали певческие костюмы, мой и Орлова мундиры, даже наши шпаги, упомянули, что вместо «Taktstock»³³⁹ у нас употребляется «Stimmschlüssel»³⁴⁰, что певчие не кланялись на аплодисменты, а вместо них кланялся только Орлов, и то «едва заметно», что Орлов дирижирует всего менее руками, удивительно показывая разные нюансы глазами и производя «einen innigen Kontakt», причем он «alle Worte mitsprach, weshalb alle Sänger die Augen unentwegt auf seinen Mund richteten».³⁴¹ Один из рецензентов ухитрился даже объяснить, что архиепископ Иероним, благословивший хор перед началом пения из своей ложи, «schlug den Takt (вероятно, на 4/4)» «und der Chor sang ihm den Lobspruch»³⁴², то есть «исполла эти деспота». Другой пришел к непониманию, каким образом мы могли выучить детей петь так правильно, и, упоминая вместе о мундирном одеянии, пишет: «Es ist ein merkwürdiges Geheimnis des Herrn Stephan von Smolensky, welcher als Direktor des Moskauer Sinodalchores fungiert und militärisch gekleideten und mit Degen geschmückten Dirigenten Herrn Wassili von Orloff – wie es gelingen konnte, diese Knaben, diese erwachsenen Männer mit ihren phänomenalen Tenoren und bis in die tiefsten, unglaublichsten Abgründe reichende Bässen zu solch transcendentalen Klangwirkungen zu disziplinieren! «Hut ab» vor diesem Geheimnis!». «So feine dynamische Abstufungen haben wir noch nirgends beobachtet, von anderen Dingen, als Exaktheit, Wärme, Rhythmus,

tadellose Reinheit der Intonation gar nicht zu reden».³⁴³ Заметили немцы даже, что «Weltberühmte russische Bässe» доходили у нас «auf dem **g** der Kontraoktave (!!!) und nicht etwa mit den Allüren eines Bierbasses, sondern mit glockenreinem orgelschönem Tönen», etc.³⁴⁴

Достаточно этих небольших выписок, чтобы утвердить отзыв, что «die Vollkommenheit dieses a cappella-Gesanges machte auf jeden Hörer einen mächtigen Eindruck und verhalf den Russen zu einem Sieg in der Musikmetropole».³⁴⁵ Нетрудно представить себе, в каком восторженно-спокойном состоянии духа мы вышли на эстраду для исполнения второго отделения концерта. Это отделение было исполнено еще лучше первого, и слушатели, разогретые впечатлениями, уверовавшие в достоинство нашего исполнения, слушали нас с самым напряженным вниманием. Это был центр сильнейшего впечатления на венскую публику. Я помню, что после бешеных, восторженных рукоплесканий мы едва-едва добрались до артистической комнаты. Здесь мне представилась какая-то депутация, пригласившая меня в ложу, в которую были собраны все выдающиеся музыкальные силы Вены. Ложа эта находилась, глядя от публики на эстраду, на левой стороне хора и имела большой около ложи зал. Меня встретили аплодисменты, после которых все выстроились в полукруг, и какой-то глубокий старец, оказавшийся композитором Гольдмарком, приветствовал меня такой примерно речью: «Милостивый государь, я, как видите, глубокий старик; мне приятно заявить вам перед лицом всех господ артистов Вены, что я не только не слыхал пения, подобного тому, каким мы наслаждаемся, слушая несравненное пение Синодального хора, но я даже не думал, чтобы люди могли так петь! Вы гоете вполне изумительно! Bravo! Bravo! Bravo!» – заключил он, начав аплодировать. Легко представить себе, что должен был я почувствовать после такой речи. Я собрал все остатки когда-то бывшей у меня свободной немецкой речи и ответил, как Гольдмарку, так и окружающим его артистам выражениями глубокой признательности за такое внимание к Синодальному хору. Мне было трудно говорить от охватившего меня волнения,

но меня выручили вновь раздавшиеся аплодисменты и звонок, возвещавший конец антракта.

Третье отделение концерта было так же удачно, как и первые два, но хор уже устал от духоты, нервного напряжения и неожиданных сильных впечатлений. Мы даже пропустили среднюю часть концерта Бортнянского («Господи, силою Твоею»), чтобы скорее кончить концерт. Целая буря прощальных аплодисментов, крики, махания платками были наградой нам за доставленное слушателям удовольствие. Орлов и певцы собрали последние силы и вышли вновь, пропев грациозное «Достойно» сербского роспева в быстром темпе и чрезвычайно изящно. Только после концерта за этот номер и за пропетое ранее «Тебе одеющегося» болгарского роспева мы поняли, как ударили по сердцам сербов и болгар родные им звуки! Только вернувшись поздно домой, я узнал, как оживленно вели себя депутации от славянских студентов, явившихся чествовать нас в отель «Бельведер», где мы жили и где закипел пир горой.

Орлов вместе со мною принял приглашение Рихтера «скромно поужинать». С этой «скромности» мы вернулись, признаться, немного нескромными, чуть ли не в три часа ночи... Войдя в отель, я не верил своим глазам, глядя на свою паству до малышей включительно. Мне бросились рассказывать про множество бывших гостей, говоривших на непонятных языках благодарственные приветствия, из которых наши певцы только и понимали слова: «Царь», «Москау», «Синодаль хор», «музик» и т.п. Было шампанское, «ура» и прочее в такой степени, что администрация гостиницы убедилась в бесполезности каких-либо увещаний для водворения спокойствия. Она было обратилась к менее возбужденным из приехавших депутаций, но встретила такой отпор, что опустила руки. Певчие кстати вспомнили австрийский народный гимн «Gott, erhalte Franz den Kaiser», затем пропели «Боже, Царя храни», и ликование началось самое неудержимое. Наше прибытие возобновило общий энтузиазм. Мы послали пространные депеши в Петербург и родную Москву, и затем с превеликим трудом я упросил всех лечь спать часов около четырех утра. Большие певчие заявили мне, что они не могут спать, почему и просили моего согласия

на их прогулку по городу, обещая быть вполне степенными, так как, собственно говоря, возлияний винных у нас почти не было, но нервы у всех без исключения ходили ходуном. Уложив мальчишек спать, я сам увидел, что певчие были правы... Несмотря на все усилия заснуть, начавшееся весеннее теплое утро и не проходившее возбуждение заставили меня встать и приняться за писание писем. Первое из них на нескольких листах было к К.П. Победоносцеву, где я, благодаря его за случай, приведший нас к такому счастливейшему и незабвенному дню, описал ему в общих чертах венский концерт. После писем к Анюте и Рачинскому я почувствовал, что письма меня только волнуют и что благоразумнее всего последовать примеру певчих, то есть отправиться на прогулку. Здесь один, сидя в Stadtpark, затем забравшись на могилы (бывшие) Бетховена и Шуберта в Währinger Friedhof, я несколько пришел в себя. На меня напало сентиментальное настроение. Заливаясь слезами, я пропел у могилы Бетховена множество его тем из столь любимых мною его последних квартетов и фортепианных сонат, из 9-й симфонии, а у Шуберта – «Ständchen» и «Wanderer»³⁴⁶, d moll'ного квартета и т.п., – набрал цветочков и только затем почувствовал меру моего утомления... Кажется, я попал домой что-то около 11 часов утра, едва ли не выспавшись по дороге в экипаже, так как от кладбища до отеля, через всю почти Вену, пришлось проехать добрых 7–8 верст; что-то припоминается, что я даже не попал к какой-то службе.

Впечатления от концерта были так сильны, торжественны в наших сердцах, что мы забыли всякое утомление, всякие ограничения нашего любопытства в таком интересном городе, как Вена. Я еще не так рвался на прогулки, потому что был в Вене уже пятый раз, но мне было жалко певчих, силы которых эксплуатировались ежедневно, почему нельзя было сделать хотя бы поездку в Шёнбрун или на Земмеринг. Но мы все-таки ухитрились погулять по Вене. Чтобы не потеряться, я дал каждому певчему карточку отеля и написал на каждой «Synodalsänger» такой-то. Эти карточки, как оказалось потом, после концертов, помогли некоторым в возможности добраться

до старого города и оттуда уже по изученной дороге через Stadtpark, Rennweg и Fasangasse – домой. Было при этом, по популярности клички «Sinodalsänger» и по незнанию ни одним из них немецкого языка, несколько забавных *qui pro quo*; розданные мною деньги я предложил истратить на покупки подарков на память себе о нашей поездке и нашим близким в Москве. Мы разбрелись по Вене самостоятельно составившимися группами, сделали покупки, побывали кой-где, начиная с церкви Св. Стефана. Кто-то попал даже в парламент; все мы слушали музыку при разводе в полдень дворцового караула, видели престарелого императора Франца Иосифа, посетили оба великолепных музея против Volksgarten и тому подобное. Наша семья собиралась домой с удивительной точностью, главным образом для еды, которая сопровождалась питьем венского пива, пришедшегося всем нам очень по вкусу. Нас осаждали в эти сборные часы фотографы, корреспонденты, рецензенты, студенты-славяне, приезжие русские и прочие. Какой-то немец, вероятно из получивших мою русскую визитную карточку и из затруднившихся прочитать ее, был так любезен, что прислал мне сотни моих визитных карточек, напечатанных по-немецки; вскоре любезный Гутман прислал очень удачную фотокарточку моего с Орловым портрета, уцелевший экземпляр которого приклеен здесь. Мы развеселились, отдохнули и забыли все тревожения, оставив себе лишь глубокое удовлетворение в удаче концерта.

Только вечером 6/18 апреля, то есть на другой день, мы высказали друг другу, то есть я и Орлов, на какой в сущности безумный риск посылало нас начальство в Вену с программой такого концерта. «Представьте себе, – сказал Василий Сергеевич, – что перед концертом занездоровилось ну хоть двум альтам или двум тенорам, что бы стали делать ввиду надобности уравновесить голоса убавлением хора на три дисканта и хоть на два баса? Ведь тридцать певцов для такой залы было бы горевой, жалкой силой, которая, ну может быть, пропела бы два отделения концерта! Ведь и сорок человек выполнили концерт только благодаря самому крайнему возбуждению, благодаря действительно превосходной

дисциплине и опытности хора. Что стали бы мы делать, если бы концерт вышел неудачным? Как бы вернулись мы в родную Москву после неудачи и кто бы поверил нашим хотя бы самым убедительным оправданиям? Мне кажется, и эта мысль несколько раз мелькала у меня во время концерта, что в случае какой-либо, хотя бы случайной неудачи, мое сердце тут же бы лопнуло, и я повалился бы на самой эстраде...».

Действительно, прав был Орлов, и мы оба смутно чувствовали еще ранее, что за нами стоит ребром русское имя, что накануне лишь нашего концерта на этой же эстраде католичество выдвинуло превосходно обставленную огромным хором и оркестром ораторию Перози «Воскрешение Лазаря» под управлением красавца-аббата...³⁴⁷ Припомнились нам наши мольбы отпустить в Вену хотя бы 60 человек и грубый отказ в том, скудность отпущенных денежных средств и, наконец, безжалостная эксплуатация наших сил Саблером, приказавшим нам завтра или послезавтра дать еще домашний концерт за обедом у нашего посла, чуть-чуть не на положении музыкантов, играющих для увеселения обедающих и любезничающих между едой со своими соседями, интересующихся нашим искусством разве для избежания молчаливых моментов за такой трапезой...

Признаться, зло меня взяло, и я, когда каждому из нас раздали на память по бронзовой медали, выбитой по случаю освящения венской церкви, заявил графу Капнисту так: «На нашей товарищеской беседе решено в память такого исключительного случая, как поездка хора на освящение церкви в Вене, и в память нашего первого в Вене и столь удачного русского духовного концерта, – поставить в зале Московского Синодального училища и хора мраморную доску с надлежащею надписью и украсить ее медалью...» Граф Капнист, конечно, догадался сразу, в чем дело, и сказал так: «Прибытие Синодального хора на освящение церкви так украсило наше торжество, а концерт так удивил Вену, что я считаю справедливым принять участие в постановке памятной доски в Москве; в память освящения храма выбита только одна золотая медаль для государя, но я обещаю вам похлопотать, чтобы

была изготовлена другая такая же и передана на память Синодальному хору». Спустя некоторое время эта медаль была мною получена. С согласия Ш² и с согласия хора я поднес эту медаль В.С. Орлову, так как именно ему мы обязаны силою успеха в Вене, а в мраморной доске, не без расчета на воров, поместили лишь густо вызолоченную бронзовую.

Обратный путь наш был сущим отдыхом и прошел вполне благополучно. Можно лишь упомянуть об оригинальном концерте в зале русской таможни на границе, данном нами в четыре часа утра и освободившем нас от таможенного осмотра, да о курьезнейшем голодании нашем на какой-то станции между Брестом и Минском, где нашу депешу, заказывавшую обед на сорок человек, сочли за шутку и не приготовили никакой еды... Зато, спустя два часа, на следующей станции мы упросили даже задержать поезд минут на пять, так как дорога же была отчасти виновата в нашем волчьем аппетите. Как при дороге в Вену, так и обратно, в Смоленске позаботилась о кормлении нашей орды милый друг мой Ольга Леонидовна Львова. В Москву мы вернулись веселыми, здоровыми, без всяких приключений, сущими именинниками.

Упомяну и о последовавшем нашем возвращении. Все мы отлично понимали, что в глазах венской публики письмо и внимание к нам Ганса Рихтера оказали нам отличную услугу и были самой громкой и полной порядочности авторитетной рекламой. Поэтому мы уговорились в Москве отделить часть нашего концертного сбора и послать Рихтеру подарок. Ширинский-Шихматов согласился с нами, и мы сочинили адрес, подписались под ним все без исключения, до малолетних учеников пригготовительного класса, приложили фотографическую группу полного состава Синодального хора и училища и, вместе с превосходно сделанным набором в древнерусском стиле большой братины с двенадцатью ковшами к ней, послали все к Рихтеру в Вену. Конечно, Рихтер был очень доволен таким сюрпризом, но тут же при поднесении ему через нашего священника о. Александра Васильевича Николаевского вышло и курьезное недоразумение: приспособление для жженки с растопляющимся от огня сахаром оказалось не только не

известным немцам, в том числе и Рихтеру, но и нашему пастырю, так и не сумевшему объяснить цель и назначение серебряного мостика через братину. О таком недоразумении написали мне, но и я оказался мало сведущим по части приготовления жженки. Пришлось обратиться к специалистам, из которых мы остановили наше внимание на офицерах какого-то полка; они дали нам рецепты и подробные указания способа варки этого напитка. Мне писали потом из Вены, что Frau Richter была весьма и не раз недовольна пробами приготовления жженки в артистическом мирке Вены. После по поводу такой же братины, изумившей своею роскошью и ценностью сухопарых немцев, ко мне приезжал соглядатай с политичными распросами: неужели она сделана вся сплошь из серебра? где работали такую вещь, неужели в России? за сколько можно было бы приобрести такую же?

Другой эпизод не менее забавен, но несколько в другую сторону. Перед нашею поездкою в Вену я обратился, по совету знающих людей, к антрепренеру по части устройства концертов Грюнфельду (брат известного пианиста), и мы условились в главном по телеграфу. По приезде в Вену, однако, оказалось, что Грюнфельд либо не рискнул, либо перепродал антрепризу нашего концерта Гутману. Понятно, что последний обобрал нас, как лучше не мог бы обобрать самый наглый еврей, выдав нам всего 2.100 гульденов, хотя он получил их, вероятно, не менее 10–12 тысяч, так как у нас был совершенно полный сбор. Гутман, конечно, ссылаясь на мое распоряжение выдать бесплатные билеты венским артистам, которых оказалось превеликое множество... Но Гутману показалось мало и этого. Умилительно закатывая глазки, он с глубоким чувством просил меня походатайствовать о возможности пожалования ему русского ордена, ссылаясь на массу своих хлопот и заслуг по поводу удачного устройства нашего концерта. Я просил Гутмана обратиться письменно помимо меня к Саблеру и к послу графу Капнисту, обещая упомянуть при случае, что у меня разговор об этом деле уже был. Долго ли, коротко ли – не помню, только вдруг я получил от Грюнфельда чрезвычайно обиженное письмо, в котором излагалось, что такой-сякой Гутман выманил

у него выгодную аферу нашего концерта, обманул и обобрал нас, да еще и орден получил; а он, Грюнфельд, старался вот как, сделал решительно все, передав Гутману готовое и выхлопотанное предприятие, – и ничего не получил, так как Гутман обманул и его, Грюнфельда. Поэтому, пишет Грюнфельд, нельзя ли и мне хоть такой же орден выхлопотать? Мы много смеялись в Москве, узнав, что действительно Гутман чуть-чуть не подрался с Грюнфельдом из-за ордена. Уж именно: «Вор у вора палку украл». Я отписал Грюнфельду, что письмо его передано Саблеру и чтобы он ходатайствовал далее уже помимо меня.

В Москве наш успех произвел в сфере любителей церковного пения и в сфере духовенства впечатления самые благоприятные. Повернулись в нашу сторону даже и упрямые приверженцы Чудовского хора, так укорявшие нас в сухости, «оперности» нашего пения, в небрежении нами композиции Багрецова и в еретичности нашего собственного направления, выраженного сочинениями Кастальского, Гречанинова и Чеснокова. Подъем репутации хора и авторитет Орлова уже заставили смолкнуть критиков вроде Урусова, Гнусина, Дурново, а усиленное пение древних роспевов в Успенском соборе утвердило наше направление еще устойчивее. Как и в петербургскую поездку, Синодальный хор по возвращении из Вены как бы присмирел, притих, сделался еще скромнее, еще симпатичнее, умно поняв всю нелепость какого-либо самомнения и начав работать еще настойчивее. Понятно, что пение такого хора стало еще лучше, и вскоре эта лучшая пора была замечена и оценена всеми.

Но я крепко устал в эту поездку и не успел отдохнуть за лето 1899 года, так как к тому же отношения с Ш² продолжались по-прежнему самые натянутые и не без стычек, иногда довольно резких. С весны же началась история Конюса, так сильно разыгравшаяся осенью в ряде статей в «Московских ведомостях».³⁴⁸ Мое появление в этом деле в качестве застрельщика № 1, как оказалось, было культивировано в Петербурге на Литейной как новое доказательство моей строптивости и неумения почтительно обращаться с

начальством. За зиму также не удалось передохнуть, и здоровье мое начало портиться очень от утомления и постоянного возбуждения. К тому же эту зиму я провел на новой квартире в только что выстроенном доме на Кисловке, что также осталось не без влияния на состояние духа и здоровья. Тяжело бывает жить в неладах, а в неладах с начальством, да еще с таким, прости Господи, как Ш², – сущая каторга! Если что и спасало меня – так занятия в библиотеке рукописей. В эту зиму, благодаря выставке в Археологическом институте в Петербурге, я усиленно занимался составлением коллекций фотографических снимков с образцов всякого рода и времени русских певчих рукописей. Эту коллекцию я экспонировал на выставке и делал о ней сообщение при самом открытии. Этой же поездке я обязан и подробным ознакомлением моим с благовещенским кондакарем Императорской Публичной библиотеки, равно и поисками за надобными материалами в московских библиотеках и Румянцевском музее.

В эту же зиму я сдружился с милым Ливерием Антоновичем Саккетти и познакомился с одним из очаровательнейших людей – Михаилом Алексеевичем Веневитиновым, допустившем меня к своей библиотеке, где я в два-три приема написал статейку «80 и 60 лет назад».³⁴⁹ Но я знал Михаила Алексеевича только несколько недель... Нельзя считать за общение наше дальнейшее знакомство, так как больной Михаил Алексеевич был уже получеловек, без языка... В окружавших его родных, до того времени мне совершенно незнакомых, пришлось мне принять участие хотя бы моим сердечным соболезнованием.

Ужасы конца 1900 года в семье Коссиковских сблизили меня с Софьей Сергеевной Волковой, особенно после того, когда я увидал, как умилительно она причастилась в церкви Румянцевского музея, где за несколько дней перед тем были два гроба трагически умерших матери и сына Коссиковских. С прелестной семьей Волковых (мать и две дочери) я познакомился давно, но как-то не близко. Теперь, с моим переездом в Санкт-Петербург и после кончины С.А. Рачинского, это знакомство стало теснее. Софья Сергеевна была первая, которой осенью 1900 года я открыл, после уговора с Анютой,

мое решение уйти из Синодального училища. Этот тяжелый для меня разговор происходил в библиотеке рукописей. Я помню, что я едва удержался от слез, вдруг представив себе время, как я больше не буду работать в этой библиотеке. Сочувствие Софьи Сергеевны моей горести приблизило меня к ней еще более. Между тем здоровье ее дяди шло на убыль, и все с большей ясностью определялась близость полной разлуки. Кончина Михаила Алексеевича Веневитинова последовала во время моего житья уже в Петербурге.³⁵⁰

«Italiano di Tambov»³⁵¹, как значится в почетном дипломе Болонской академии, Ливерий Антонович Саккетти, бывший виолончелист, догадался променять виртуозную деятельность на науку. Он очень умен, но точность в работе привела его к сухости и компилятивности. Будучи отличным музыкантом, обладая огромною начитанностью, Саккетти увлекся эстетикой и философией, успел составить преинтересный курс в приложении их к музыке. Саккетти читал о церковном пении и о Синодальном хоре и училище рефераты свой и мой на съезде в Париже.³⁵² Для занятий именно этою работою он был командирован в Москву дирекциею Музыкального общества. Вместо Москвы, воспользовавшись возможностью передохнуть три-четыре дня, я уехал с Ливерием Антоновичем в Троицкую лавру, в Черниговский [скит], где мы занимались перепатетиками, гуляя в лунные вечера по лесу. Тут, к полному изумлению Саккетти, я выучил его петь по крюкам с листа в несколько часов, открыв ему совершенно новые для него дороги к музыкальному мышлению. С тех пор мы подружились. Саккетти читает теорию и историю музыки в консерватории и, кроме того, состоит помощником такого библиотекаря Императорской Публичной библиотеки, как всем известный неугомонный Владимир Васильевич Стасов – глубокий, живой, умный старец, вечный воин и жестокий спорщик, работающий и сейчас с юношеским пылом.

Кто не знает Стасова? Тургенев окрестил его в одном из своих «Стихотворений в прозе»: «спорь с дураком – спорь с умным...» – «не спорь с Владимиром Стасовым».³⁵³ Я знал Стасова давно по его писаниям, которыми он горой стоял,

энергично воюя за новое русское искусство, отстаивая Балакирева, Римского-Корсакова, Бородина, Мусоргского, Антокольского, Репина. Помню, что мое знакомство с ним началось такой оригинальной сценой (1875 год в Императорской Публичной библиотеке).

Мне нужны были двухголосные сольфеджио Дуранте, и я пошел к Стасову, уже зная его заочно по его статьям и, по слухам. Владимир Васильевич, поговорив со мною, вдруг неожиданно повернул свою речь так: «Вижу я, что вы малый смышленный! Меня интересует узнать, откуда вы и где учились?». – Я: «Из Казани, скрипач, регент, учился у Леонида Федоровича Львова». – Владимир Васильевич: «Да ведь это же дурак!». – Я: «??». – Владимир Васильевич: «Ну, если не дурак, так старый осел!». – Я: «??!!». – Владимир Васильевич: «Чему он мог выучить вас кроме пиликанья всякого старья, вроде Гайдна или первых квартетов Бетховена? Ведь ума и у его брата Алексея, имевшего глупость написать «Боже, царя храни» в качестве «народного» гимна, не хватало, да и не могло хватить ни на что русское, новое...» – Я: «Согласитесь, Владимир Васильевич, что как бы ни был ограничен мой учитель, я не могу не питать к нему чувства признательного ученика и потому недоумеваю, отчего вы, даже при начале нашего знакомства, начинаете беседу со мной, прямо ударяя меня по очень дорогому мне человеку?». – Стасов: «Дело не в том, дорог или не дорог он вам! Он – тупица! Из вас, может быть, вышло бы что-нибудь дельное, а вы вон моете старые тряпки вроде Дуранте!». Признаться, тут уж и я вскипел и накинулся на Стасова во всю мочь, вступившись за горячо любимые тогда вещи. Вскипятился и Стасов. Мы крепко поборанились тогда для первого знакомства и разошлись совершенно. Но на прощанье Стасов сказал мне: «Я не ошибся в том, что вы можете мыслить и любите искусство, но как жалко, что вас учил Львов, а не кто-нибудь поумнее».

Но судьбе угодно было дать мне в зиму 1899/1900 года новое утешение в виде внимания государя к Синодальному хору. Правда, эта же радость очень парализовалась тем же Ш², но я уже так успел привыкнуть к его выходкам и приписыванию

всего самому себе, к его распоряжениям только по одному его усмотрению, к его грубой настойчивости и упрямству, что во мне выработалось какое-то равнодушие к происходящему; выработалось также и не тревожное более ожидание чего-либо нового и оригинального, кроме уже достаточно пережитого как мною, так и моими товарищами. Прибытие государя в Москву на Страстную и Пасху неожиданно затянулось гораздо более и привело к возвращению придворных певчих в Петербург ранее срока, а нас – к пению в присутствии государя одиннадцать раз подряд.³⁵⁴ В первую же обедню (Вербное воскресенье, 2 апреля 1900 года) государь, прикладываясь к мощам после службы, шел мимо правого клироса и, остановившись, милостиво похвалил пение в самых лестных выражениях, бывших еще более ценными по полной их неожиданности. Затем, в Великую Пятницу, к заутрени в полтретьего ночи вдруг в собор, полный народом, пришли государь с государыней и великий князь Сергей Александрович с великой княгиней Елизаветой Федоровной. Появление их было так неожиданно, что негде было постлать им, за теснотою, ковер – жена Орлова стояла всю службу чуть не рядом с императрицей и впереди ее, а государь зажег свою потухшую свечу у портного Емельянова, стоявшего рядом с ним. Цари простояли до конца всю службу, усердно молились, обошли в торжественнейшем в Московском Кремле крестном ходе вокруг собора с Плащаницею и запросто ушли из собора через малое крыльцо, что против дверей Успенского собора.

Этот портной-старик [Емельянов] был довольно типичная фигура. Выбившись из бывших крепостных в состоятельные люди, побывав несколько раз за границу, он заменил полнейшее отсутствие образования тонким наблюдательным умом, удивительною памятью и умением спокойно анализировать. Так как при таком головном очень сильном аппарате в нем одновременно уживались необыкновенно горячее, искреннее и усердное богомолье, вспыльчивая фанатичность и самая бурная любовь ко всему русскому и православному (что, он, конечно,

смешивал с Москвой и с попами в рясах), так как к этому же следует прибавить и самую сердечную доброту этого человека, то немудрено представить, что беседы с подобным самородком иногда были высоко-своеобразны и полны самого глубокого интереса. Это был хилый старичок, необыкновенно подвижный, очень любивший поговорить, более же того – слушать и спорить чуть ли не до слез и самых неожиданных выходов. Суждения его иногда поражали меня своею широкою обдуманностью и основательностью. Однажды мы говорили о значении [русско-турецкой] войны 1878 года, и я был прямо удивлен убедительностью и последовательностью его мыслей. Что вышло бы из такой головы, если бы он учился?

Большой приятель Емельянова, как и мой, был известный в Москве букинист Афанасий Афанасьевич Астапов, горбун, торговавший в так называемом «Проломе» (между Владимирскими воротами и Третьяковским проездом). Астапова знали все книжные люди, а толкнула его на торговлю старыми книгами неудержимая страсть к историческому знанию и к хорошо напечатанной и переплетенной книге. Сзади жалкой лавчонки в Проломе у Астапова была «келья» и «хибарка», в которой постоянно можно было найти какого-либо профессора или «чернокнижника». Однажды, зайдя к моему приятелю, я встретил очень умное лицо с тонкими очертаниями и глубокими глазами. Между нами, после того как Астапов нас познакомил, произошла такая краткая сцена: «Вы, – спросил я, – тот самый Ефремов, который редактировал Пушкина, Лермонтова... Вы Петр Александрович?». «Тот самый, тот самый! А вы, – спросил он, – тот самый Смоленский Степан Васильевич, который...». «Тот самый, тот самый» – перебил я его в свою очередь. «Ну, те самые – оба пойдем вместе со мной чай пить», – перебил нас книголюбивый горбун. В «келье» Астапова помещалась отборная библиотека самых лучших и редких изданий, почему и было неудивительно встретить в ней то Стороженку, то Веселовского, то

Карша, то Ефремова и др. К Буслаеву и особенно к Бодянскому Астапов относился с благоговением. Начитанность, вроде, однако, раскольникового начетчика, была у Астапова огромна, память – удивительна, сам же он был благодушный, теплой души человек, благоговевший перед знанием и глубоко жалевавший о том, что не было у него в свое время возможности учиться. Беседа с Астаповым и Емельяновым часто доставляла мне много удовольствия.

На второй или третий день мы внезапно услышали, что придворные певчие уезжают домой и что нам, синодальным, будут случаи петь у государя. Действительно же внимание государя выразилось в словах рескрипта митрополиту еще в первый день Пасхи. Немного было нелогично мотивировать награду митрополита нашим хорошим пением, но мы были счастливы и этим вниманием государя. Митрополиту косвенно была поставлена в заслугу «величавая красота древних напевов в умирительном исполнении Синодального хора...».

Но дома, в стенах Синодального училища, это милостивое царское внимание было истолковано несколько иным способом. При чтении следующей бумаги ко мне следует иметь в виду, что прошло уже два года, как уставом Синодального училища (1898) была отменена и исключена совсем из штата должность «Управляющего Синодальным хором и училищем» и прокурор поставлен в гораздо более тесные границы, чем по уставу 1892 года. Следует также иметь в виду и наши обозленные отношения, надоевшие нам и вспыхивавшие ненавистью при каждой обиде от Ш², несмотря на наш уговор держаться совершенно сдержанно и представить Ш² величаться и дурить сколько ему угодно. Бумага была прислана ко мне в 9–10 часов вечера перед пасхальной заутреней, написанною от начала до конца рукой Ш², и я прежде всего позвал Орлова и Кастальского для объявления им новости и совещания, как быть с певчими. Мы решили создать хор перед отправлением в собор, объявить ему содержание бумаги и послать князю самое сухое, канцелярское извещение об исполнении мною его бумаги. В совещании этом Орлов высказался так: «Да плюньте на него,

черт с ним, пускай приписывает все себе! Ведь повыше-то знают же и о нас что-нибудь?». Кастальский объяснил проще: «Вот что, братцы, напьетесь-ка ради Светлого Праздника и царской милости, а вместо нас пусть-ка «управляющий» поуправляет хором хоть одну службу». Конечно, нам втроем было досадно читать между строк и в строках Ш² его самовозвеличивания, но нам ли было исправить или вразумить князя? Вот этот типичный документ:

«Прокурор Московской Синодальной Конторы.

9 апреля 1900 г.

№ 973 Директору Синодального хора

В 9-й день сего апреля Его Императорскому Величеству благоугодно было почтить Его Высокопреосвященство Митрополита Московского Владимира Высочайшим рескриптом, в коем высокомиловитивные слова Его Величества имеют и непосредственное отношение к вверенному моему управлению Синодальному хору. Выражение рескрипта – «величайшая красота» – является высоким для хора одобрением как выбора песнопений, так и самого исполнения в присутствии Их Императорских Величеств.

В твердой уверенности, что приведенные высокомиловитивные слова являются высочайшей наградой для всех прикосновенных к Синодальному училищу и хору, будут с особой радостью восприняты всеми, до кого они касаются, во всерадостный день Светлого Христова Воскресенья, поставляя себе в долг поспешить препровождением к Вам копии Всемиловитейшего рескрипта, дабы Вы, объявив таковой управляемым мною хору и училищу, присоединили к сему и мои искренние и радостные поздравления.

Управляющий Синодальным хором и училищем церковного пения прокурор Московского Св. Синода Конторы А. Ширинский-Шихматов».

Случай 12 апреля, при котором Синодальный хор впервые за это время пел у великого князя Сергея Александровича, был совсем особенный. Между разными увеселениями высшего московского общества надумали устроить во дворце великого князя «историческую карусель» – нечто вроде маскарада с

танцами якобы из «Владимирова цикла"... Музыкальным иллюстратором этой затеи явился услужливый музыкус Симон, составивший винегретное попури, в котором были и Глинка, и Куликов, и Римский-Корсаков, и многое другое. Под звуки «былины», гармонизованной и петой Синодальным хором, московские артисты танцевали (! – это былины-то!), покорно подчиняясь режиссерству господ Симона и какого-то балетмейстера из театра... У меня не хватило духа пойти посмотреть на такое оригинальное сочетание всего перечисленного, тем более что певчие и Орлов, оскорбляемые и униженные пришедшею на их долю позорною партией в такой дикой затее, рвали и метали от ярости и стыда... На мои протесты Ш², без удержу участвовавшему в этом «чего изволите», – «Не правда ли, как мило, как переносит это в трогательную старину», «Очень счастлив угодить Вашему Величеству», «Синодальный хор гордится тем, что и он не без участия в таком празднестве» и т.п. – Ш² успокоил меня тем, что уже поздно, что все налажено, что в газеты не попадет ни одна строка об участии Синодального хора, только что отмеченного за «умилительное пение древних распевов» и сейчас же занявшего место только что увеселявших в Дворянском собрании на «завтраке» цыган и балалаечников, отличавшихся всего только вчера, 11 апреля... Действительно, только наш «управляющий» мог забыть о бывшей несколько дней назад чудной симфонии великих для верующих дней Страстной и Пасхи, только он и мог направить нас к участию в такой «карусели». Ведь и сам он был в ней «ряженный» участник... Характерно то, что 13-го, 14-го, 15-го мы же, ничтоже сумняшеся, пели печальные панихиды по только что скончавшейся в Киеве «инокине Анастасии», то есть великой княгине Александре Петровне³⁵⁵, и Ш² был очень озабочен, как бы безнадежная к выздоровлению не вздумала умереть не вовремя и помешать тому, что стоило стольких трудов, заботы, денег... Как и стоило ожидать, мои певцы наслушались в этот памятный им вечер всяких окриков Симона, балетмейстера, выражений неудовольствия за недостаточно быстрый для танца темп былины, за ненадобные оттенки и т.п.

Но довольно об этой печальнейшей забаве! Мы получили вскоре несравненное удовольствие в том, что государь пожелал вновь послушать всю обедню, слышанную им 2 апреля (Вербное воскресенье), конечно с теми изменениями, какие требуются уставом пасхальной службы. Нечего и говорить, что 60 певцов великолепно пропели 16 апреля эту службу, в которой для государя было новостью решительно все, от начала до конца. Это были мои ектении, прокимны и «Аллилуйя» по Римскому-Корсакову, Херувимская на «Радуйся» Чеснокова, «Милость мира» Кастальского, мои стихиры Пасхи и «Буди имя Господне». Эта служба была у Спаса за Золотой решеткой. После нее Государь очень похвалил певчих, а за завтраком имел большой разговор с Ш², сообщившим о том нам бумагою. Но сущим экзаменом для хора был неожиданно назначенный у великого князя Оргия Александровича концерт вечером 21 апреля. К счастью нашему, удалось как-то легко составить для этого экспромта хорошую программу из звучных и хорошо знакомых номеров, почему после одной спевки мы пошли вполне спокойными и уверенными. Перед началом концерта великий князь представил меня государю, наговорившему мне после деловых расспросов много любезного о впечатлениях, им полученных ранее от пения Синодального хора. По окончании первого отделения вдруг кому-то вспомнилось, что когда-то в одном из концертов Капеллы государю понравился хор Чайковского «Был у Христа младенца сад» и что как было бы интересно послушать эту пьесу в исполнении Синодального хора... «Пожалуйста, пожалуйста, поскорее торопитесь, пошлите домой за нотами...». Последние мои волосы стали дыбом, когда побелевший от ужаса Орлов, подойдя ко мне, сказал: «Что делать? Лет шесть-семь уже не пели этого хора, никто из мальчиков не знает, из старших же певчих, может быть, хорошо помнят это сочинение человек 12–15». Я ответил Орлову, что попрошу великого князя как-нибудь занять внимание государя минуты на три-четыре, чтобы успеть пробежать разок слова и ноты. Тем временем принесли ноты, великий князь предложил государю выкурить папиросу, «пока раздадут ноты». В эти три-четыре минуты мы успели с зажатыми

ртами пробежать разок всем хором почти три четверти сочинения. Вдруг государь вошел и предложил начать. От нервного ли внимания или вообще от волнения – я не умею решить того, – но только Синодальный хор отлично исполнил сочинение Чайковского прямо с оттенками. Конечно, сочинение было бы еще законченнее, если бы удалось пробежать хор раза два-три, конечно, не могло не быть заметным различие между только что исполненными знакомыми вещами и сочинением Чайковского, не могло укрыться от глаз наше общее возбуждение. Этот казус был, однако, большим *tour de force*³⁵⁶ для хора, и я помню, как у меня точно гора с плеч [свалилась], полегчало на душе, когда кончилось памятное теперь сочинение «Был у Христа младенца сад»³⁵⁷! Последнее наше пение перед государем было 23 апреля, когда мы вновь пели обедню только древними роспевами. Так кончилась эта трехнедельная эпопея, из которой, как оказалось потом, многое пригодилось мне в Петербурге. Конечно, к бывшему утомлению прибавилось немало новых недомоганий, от которых тем не менее можно было получить облегчение вследствие продолжавшихся неладов или, лучше сказать, прекращения сношений с Ш².

Окончание моей службы в Синодальном училище было решено мною 6 сентября 1900 года, когда, после долгих размышлений и соображений о возможно безбедном житье последних моих лет, я отписал Победоносцеву, что я решил лучше прожить беднее и свободнее, записать все новости мои по рукописной части, прожить в каком-нибудь покое, чем в переживавшейся мною тревожной и непрерывной травле от Ш².³⁵⁸ Милая, сердечная помощь товарищей, всячески бодрившая мой утомленный дух, сочинившая второй, весьма произвольный юбилей, то есть празднование зачем-то десятилетия моего директорства и опять с демонстративным адресом – не могли уже поднять мое исстрадавшееся сердце. Я прямо болел, видя, как систематично рушится мое дело и как бесцеремонно и бессердечно оскорбляют во мне и в моем деле решительно все. Поэтому я решил выйти в отставку и посвятить себя библиотеке рукописей. Но на мое письмо Победоносцев ответил уклончиво, а Ш² задумал тем временем добить меня

окончательно ревизией училища с помощью такого флюгера, как П.И. Нечаев. Не зная за собой никаких грехов, я принял бумагу с известием о назначении ревизии вполне равнодушно, но появление г. Нечаева с Ш² через 20 минут по получении бумаги почему-то показалось мне новым предательством и возмутило меня до самой последней степени. Я заявил, что чувствую себя несколько нездоровым и возбужденным, почему и прошу производить ревизию в мое отсутствие. Несколько времени спустя Ш² уехал, и Нечаев явился ко мне с вопросами или заявлениями, которые я имел бы сделать ему «как ревизору». Я заявил ему, что мною уже писано обер-прокурору о моем намерении покончить службу в Синодальном хоре и училище; что вместе с тем я заявляю г. Нечаеву по службе, как ревизору, что я могу остаться на службе в Синодальном училище только при условии немедленного удаления отсюда Ш² каким угодно способом, как чиновника, безусловно вредного для нашего дела и надоевшего нам всем своим высокомерием, фальшью и непониманием дела, при упрямом желании руководить нами, мешая нам работать успешно свое дело, интригуя между нами и недостойно мстя неподдающимся его влияниям.

Началась ревизия, о которой обидно вспомнить, ибо мы после нее и секретно от нас оказались кругом виноватыми в очень многом, нами неподозреваемом, сообщенном кому надо лишь на словах; мы были виноваты и в полном неведении и даже неимении циркулярных распоряжений по духовно-учебному ведомству. Я со злостью заявил прокурору, что по смыслу его должности и отношений по службе к Синодальному училищу это была его прямая обязанность, которой он не исполнил и напрасно старается свалить на меня; ревизору Нечаеву тут же мною было заявлено, что учебное ведомство должно знать, в каком виде было принято мною Синодальное училище в 1889 году, как я создал «училище церковного пения», лишенное тогда решительно всего и бывшее вполне беспризорным, бесправным, без программ, без ученья, без дисциплины, без библиотеки и учебных пособий, без канцелярского хоть какого-нибудь порядка, без инвентарей, без прихода-расходных книг и тому подобное. Судите поэтому, каких

трудов стоило завести все, упорядочить и, наконец, спасти от неумелых и грубых вмешательств прокуроров Ш¹ и Ш². Охотно признаю себя виновным в несоблюдении циркуляров, которых я и не получал к тому же, потому даже и не знаю о их существовании, не то что уже о их содержании. Если ревизия будет склонна не ценить сделанное, а только критиковать с точки зрения совершенно для меня не установленной никакими прежними распоряжениями, то я отрицаю такую ревизию, так же, как и требую вместе с тем, чтобы ревизия вполне строго отнеслась к действиям прокурора по отношению к Синодальному хору, училищу и их директору. Нетрудно представить затем ход ревизии, неожиданно украсившейся тайными свиданиями некоторых более слабохарактерных лиц... Финал этой комедии разыгрался в конце духовного концерта 17 декабря, когда опять, по возникшему «недоразумению», пришлось дать отпор официальной бумагой Ширинскому-Шихматову, снова возмущившему меня своею бесцеремонною наглостью. Этот отпор был уже последний и имел место после такого запроса:

«Прокурор Московской Св. Синода Конторы

21 декабря 1900 года,

*№ 2887 г. Директору Синодального училища и хора
Статскому Советнику Смоленскому*

17 декабря, по окончании концерта Синодального хора, в присутствии Члена Учебного Комитета при Св. Синоде Действительного Статского Советника Нечаева я сообщил Вам мое распоряжение о прекращении учебных занятий в училище. Между тем до сведения моего дошло, что уроки в училище продолжились до 18 декабря.

Ввиду этого предлагаю Вам, милостивый государь, сообщить, верен ли дошедший до меня слух и, в случае его справедливости, доставить мне объяснение, почему не исполнено данное мною распоряжение о прекращении занятий 17 декабря?

Прокурор Ширинский-Шихматов».

Конечно, мой ответ (№ 794) последовал немедленно и состоял в том, что 1) распоряжения вашего дано мне не было,

ибо нельзя же считать за таковое демонстративное и публичное игнорирование директора прокурором в разговорах последнего с моими учениками, а не мною по поводу освобождения учеников от занятий, и что 2) было, наоборот, специальное распоряжение господина ревизора устроить 1-й урок 18 декабря утром, так как г. ревизору были надобны еще некоторые наблюдения; когда утром 18 декабря специальное распоряжение г. ревизора было им отменено, тогда, после 1-го данного урока в ожидании прибытия ревизора, занятия в Синодальном училище были прекращены по его, ревизора, распоряжению.

Все это было бы смешно, если бы не было грустно, а в свое время мучительно и досадно. Случай этот после попытки Ш² разобрать его далее кончился тем, что одним «потонувшим колоколом» стало более в прокурорском столе, но нам всем было и обидно, и больно, тем более что программа концерта 17-го была составлена одним Ш², минуя меня и Орлова, и была так, как и следовало ожидать, мало удачна, что во время самого концерта по распоряжению Ш² была дополнена тремя вставными номерами. В неудаче программы оказались виноватыми же мы, так как обязаны были будто бы «предупредить» Ш², чтобы его действия не оказались в чем-либо указывающими на неумелость его распоряжений и т.п.³⁵⁹

В эти горькие и обидные дни, однако, загорелась у меня неожиданно новая надежда на удовлетворение – сношения с графом Сергеем Дмитриевичем Шереметевым и вполне неожиданная надежда на возможность получить место управляющего Придворною капеллою. Лучшего удовлетворения себе и лучшего щелчка Ш² невозможно было представить именно в столь специфическую пору. Я кончил в эти дни мой этюд «О древнерусских нотациях» и, повидавшись с Шереметевым в Москве, невольно рассказал ему свое положение, после его вопроса: что с вами? вы больны? С редкою сердечностью и участием расспросил Шереметев о подробностях моего служебного положения и затем, ввиду расстройств Капеллы и общего признания А.С. Аренского за неудовлетворительного управляющего ею, предложил мне свои

услуги, так как государь меня уже знает и так как ему, Шереметеву, бывшему начальнику Капеллы, очень с руки устройство меня в Капеллу ввиду предположения сделать начальником Капеллы его брата Александра. Не помню, что именно ответил я графу Сергею Дмитриевичу, но удержались в моей памяти слезы на глазах моих и обещание ему в том, что он не ошибется во мне, устроив мое новое назначение. Вскоре после этого Шереметев известил меня, что прелиминарные его зондирования в Аничковом дворце и в Ливадии были приняты вполне сочувственно, и – я ожил духом. Мне вновь являлась возможность энергичной работы, прекращалось время тоскливого уныния и бессилия, устранялась немало заботившая меня добровольная сдача себя в архив и малообеспеченное житье хотя бы в Казани, родной сердцу, но уже чужой по людям не моего поколения. Конечно, дело держалось в глубокой тайне до поры до времени, так как, в сущности, ничего положительного не было.

Нелады после развития улеглись сами собой в форму полного отчуждения от меня Ш², чему я, конечно, был только рад. Но в этом взаимном отчуждении, как оказалось вскоре, только я оставался в хандрящем бездействии, а Ш² обнаружил весьма энергичные попытки к эксплуатации ревизии училища в свою пользу и к проведению своего проекта о новом преобразовании учебной части в училище в, так сказать, практическом направлении. Мысли о таком преобразовании бродили у князя и раньше, почему он не один раз «советовался» со мною, высказывая свои соображения в виде «желательных к осуществлению», так как видимые будто бы им некоторые частности в созданном мною и разработанном в течение нескольких лет плане ведения дела производили на него «совершенно удручающее впечатление». Я объяснил Ш², что мною нисколько не руководит желание удручать или не удручать его, что не мое дело втолковывать ему частности моих учебных планов, если при том он, не желая понимать и принимать их, думает лишь о своем самолюбии и о своем желании сделать по-своему. Подобные внушения, конечно в деликатной форме, делались князю каждый раз, когда он не

скупился на разработку какого-либо случая, вроде неудачного ответа ученика, или мало-успешности отдельного ученика по какому-либо предмету, или делал мастерские логические построения от частного к общему. Ревизия, как потом оказалось, была итогом тщательно собранных воедино всех моих погрешностей, вплоть до того преступления, которое я сделал, написав в одной бумаге **«Вследствие отношения** (то есть как бы равного себе) **имею честь сообщить»** (а не «вследствие предложения доложить») и т.п. Когда по окончании ревизии я более всего отдыхал в своих занятиях с Саккетти, гуляя с ним по лесу у Черниговского скита в Троицкой лавре и думая о предстоящем моем реферате в Обществе любителей древней письменности, тогда шла тайно от меня большая переписка с Победоносцевым, где обдуманый Ш² вместе с Нечаевым ревизионный отчет эксплуатировался в связи с моим ультиматумом об удалении Ш² от Синодального училища или о моей отставке. Чтобы доказать вместе с моею строптивостью, вместе с замечаниями ревизионного отчета надобность пожертвовать лучше мною, Ш² выдвинул вместе и проект о надобности нового преобразования учебной части Синодального училища. Красными чернилами мною обозначены все нелепости преувеличения, передергивания и недоразумения этого проекта при попытке Ш² спрятаться сначала за спину Кругликова.³⁶⁰

По предложению Ш² Наблюдательному совету (в январе 1901 года) и по отзыву Кругликова, остановившему осуществление этого предложения во всем его объеме, можно судить, до какой степени Ш² даже через восемь лет своего начальства над Синодальном хором и училищем церковного пения не мог понять ни механизма обучения, ни задач наших учеников по окончании ими курса. Вот эти два интересных документа, списанные мною в свое время с автографов, доставленных мне С.Н. Кругликовым. По ним можно видеть, как по видимости мог умно писать Ш².

[Письмо к С.Н. Кругликову:]

«Искренно уважаемый Семен Николаевич! Прилагаю при сем свои мечтания. Хотел бы сам доставить Вам, да к сожалению не застал Вас. Будьте добры – уделите немного

времени прочтению сей записки и сообщите ваши мысли.
Искренно вам преданный А. Ширинский-Шихматов.

Прокурор Московской Синодальной конторы В
Наблюдательный совет

Московского Синодального училища церковного пения

Предложения

Мои личные наблюдения (т.е. **недоумение**) над жизнью Синодального училища и сношения с начальством учебных заведений, где окончившие курс проявляют свою деятельность (**умалчивая о похвалах тех начальств**), более и более приводят меня к убеждению, что выпускаемые училищем воспитанники не имеют желательной практической подготовки к исполнению регентских обязанностей и надлежащего навыка, необходимого для целесообразной и осмысленной передачи знаний другим в должности учителя церковного пения. Эти причины, в связи со сложным трудом, который несут дети, и с недостатком времени для удовлетворения самых насущных умственных потребностей (например, чтения), заставляют меня обратиться к Наблюдательному совету с нижеследующими предложениями, касающимися некоторых перемен (**т.е. ломки всего учебного плана**) в ведении учебных занятий в училище и даже переработки существующих в нем программ преподавания различных предметов.

Не будет ли признано желательным, чтобы воспитанники училища, все без изъятия [то есть и спавшие с голоса. – **Сост.**] участвовали как во всех спевках Синодального хора, так и во всех службах его в Успенском соборе (**по какому праву собор будет снабжен пением учеников?**), а по прекращении всенощных бдений в этом храме – в богослужениях приходской церкви, где школьно-училищный хор должен петь службу под управлением очередного воспитанника. (**Но ведь уже шо существует пять лет**)? Такое участие приучало бы будущих регентов к богослужебной обстановке, с которой им придется иметь дело в должности регента, знакомило бы их с приемами и правилами, необходимыми для регента (например, когда начать входное «Достойно» и каким размером петь его (**это есть дело одной службы**)), чтобы его хватало на все

время поклонения предстоятеля святыне и т.п.) а главное, сроднило бы их с подробностями богослужения, внимание к которым неизбежно для регента, не желающего своими действиями нарушать общий богослужебный порядок. При теперешнем же положении вещей ученик, видевший, например, архиерейское служение в первые годы своего пребывания в училище в качестве участника хора, забывает это служение к выходу из училища, то есть к такой поре, когда ему особенно нужно знать его по обязанности регента? **(Но зачем же? Все это вздор, т.к. к тому же цель наша – учителя духовно-учебных заведений.)** Представляя себе эту службу и другие богослужебные чины в бледных и неясных очертаниях (?), будущий регент испытывает страх и беспокойство (?), не зная, что и как делать, и вообще теряет ту уверенность в своих приемах (?), которая безусловно необходима для порядочного регента.

2) Не представляется ли возможным положенную для первых трех классов программу церковного пения проходить на спевках Синодального хора под руководством регента и его помощника, вместо особых занятий этим предметом в классных комнатах **(что за нелепость для специальной цели Синодального училища)** под надзором отдельного преподавателя? При хоровой спевке в два часа **(полтора, а не 2 часа; Ш² не знает даже этого!)** для этого, казалось бы, вполне возможно отделить полчаса; в таком случае воспитанники училища приучались бы не к механическим упражнениям над разными напевами, как это может и, пожалуй, должно быть (?) в классе, а к настоящему хоровому и мелодическому изложению (?) в живом общении со всеми участниками хора (?). Ввиду основной задачи училища ознакомить своих воспитанников как можно обстоятельнее с принятыми в церкви обычными напевами и с характером (?) большого знаменного распева, такой способ изучения курса церковного пения является особенно желательным (?), потому что при нем курс повторится по крайней мере 9 раз, полагая по 1 году обучения на каждый из девяти классов училища, а

известно: повторение – мать учения. **(Экая прелесть! Ну, а что же хор-то?)**

Того же приема, казалось бы, можно держаться и при изучении курса сольфеджио, с отнесением на этот предмет другого получаса из времени общей хоровой спевки и с оставлением на самую спевку лишь одного часа. Объем курса сольфеджио при этом условии легко представить себе, взяв во внимание, что Синодальный хор в одно учебное время имеет до 183-х спевков; за основательность же, ровность и прочность усвоения и за достижение мастерства в чтении нот малыми и большими воспитанниками говорит то обстоятельство, что курс будет проработан, как указано по поводу церковного пения, не менее девяти раз в течение его (?) пребывания в училище. **(Это десятикратное сольфеджирование еще прелестней девятикратного курса церковного пения!)** При подобной перестановке дела для особых классов сольфеджио довольно по два часа в неделю со специальным назначением этого времени для диктантов.

3) Так как на всех своих спевках Синодальный хор уже имеет дело с партитурой, то имеет ли основание уделять для чтения партитуры особые два занятия в неделю, раз ученики, все без изъятия, будут участвовать в хоровых занятиях? В таком случае было бы полезно связать прохождение названного предмета с «обычным хоровым пением в установленной гармонии за фортепиано» так, чтобы эти предметы изучались совместно, начиная с шестого класса. **(Но почему же именно с шестого, а не ранее или позднее?)** Вследствие того, что материал, проходимый в классах чтения партитуры и обычного хорового пения, всем ученикам с шестого по девятый классы более или менее известен, прохождение этих предметов совместно всеми классами будет очень целесообразно. (?) Оно внесет в занятия живость и разнообразие (?) и, главное (?), даст возможность воспитаннику выйти из училища под самыми свежими впечатлениями в предметах, знание и понимание которых является насущной нуждой для каждого регента. Для такого приема изучения достаточно на оба предмета двух занятий в неделю, по одному часу на каждое. (?)

4) Не следует ли преподавание скрипки и фортепиано заканчивать в певческом отделении, то есть в пятом классе, так как для прямых и непосредственных задач регента и учителя церковного пения совершенно достаточно того умения в игре на этих инструментах, какое можно приобрести за 4–5 лет обучения в первом отделении училища; вырабатывать же учителей фортепиано и скрипки, в ущерб своим прямым обязанностям (?) училище не призвано и не должно. (!!)

Кроме того, совместная игра квартетами хоровых партитур и внеклассное свободное время дадут полную возможность для наиболее ревностных и талантливых учеников достигнуть особого мастерства или даже виртуозности в игре на означенных инструментах. **(Это дети-то! Это при школе, да при пении в соборе).** При этом совместную игру до действующей в училище методе следует вести небольшими группами с тем, чтобы доставлять всем воспитанникам старших классов возможно частую практику регентования. Подобная работа являлась бы одним из действительных способов (?) практической подготовки будущих регентов. **(Ш2 не может понять, что смычковый квартет не есть хор).** Здесь, на деле, воспитанник должен исполнить весь труд регента (?), ознакомиться с назначенными на его часть музыкальными произведениями, создать себе ясное представление о способе их исполнения, дать (?) практические указания исполнителям относительно различных оттенков исполнения, затем провести все эти замечания в совокупном исполнении и, наконец, добиться единства и отделки во всех подробностях избранного для исполнения музыкального сочинения.

Чем чаще будет исполнять эту работу воспитанник, тем больше оснований надеяться, что она действительно поможет ему привыкнуть в трудном (?) деле регентования и связанного с ним умения преподавать исполнителям необходимые указания **(Совсем «Губернские очерки» в речах губернатора или правоведа в «Ташкентцах пригласительного класса».)** Казалось бы, что для таких занятий всего пригоднее внеклассное время **(но кем же будут управлять воспитанники в это время?),** которое в настоящее время

уделяется на приготовление фортепьянных и скрипичных уроков; при этом вместо механического (?) заучивания фортепианных и скрипичных уроков следовало бы организовать чтение за фортепьяно нот преимущественно духовно-музыкального содержания по партитурам и возможно малыми группами на струнных инструментах по возможности ежедневно, причем было бы вполне достаточно двух часов **(ну почему?)** на все четыре класса. (??)

5) Самые необходимые элементарные приемы управления своим голосом могли бы сообщить мальчику, принятому в училище, регент в хоре и его помощник, а остальное сделало бы опять внимательное отношение к спевкам в связи с прохождением курса сольфеджио. Поэтому (?), казалось бы, нет заметной нужды в особом преподавании постановки голоса у новопоступивших учеников, тем более что принятая в училище постановка прямо противоположна **(? это просто великолепно!)** требованиям, которые предъявляются мальчику как участнику хора (?) В классах постановки голоса он с своим голосом является отдельной и независимой от других единицей (?), а в работе хора он должен как бы утратить эту свою независимость (?) и обособленность и слиться с другими в общем совместном деле; там выдвигается индивидуальность (?), здесь преследуются коллективные цели и стремления; там каждый голос работает в одиночку (?), здесь – совместно с другими, – вот почему подготовка к одной и к другой работе могут не только расходиться между собою, но и взаимно исключать одна другую. Вместо постановки голоса при первом вступлении мальчика в училище желательно преподавание этого предмета оканчивающим курс воспитанникам, то есть девятому классу. **(Это уже вне конкурса.)** К этой поре у ученика уже формируется тот голос, которым он должен будет владеть всю жизнь и которым ему необходимо будет пользоваться в должности регента и учителя для того, чтобы показать другим, как следует исполнять то или другое музыкальное место. Ввиду этих-то ближайших целей училища для взрослых воспитанников, как будущих регентов и учителей церковного пения, постановка голоса гораздо важнее, чем для

начинающих учеников, которые поставленный голос теряют безвозвратно и выходят в жизнь с не поставленным как следует голосом. Подобная постановка голоса для оканчивающих курс важна и в том отношении, что давала бы им, как достигшим известного развития, ряд правил и приемов, с помощью которых они сами, в своей регентской и учительской деятельности, могли бы ставить голоса (!) у мальчиков, вверенных их руководству и обучению.

P.S. Чтобы выгадать время для регентских занятий, следует уроки сольфеджио в 6–9 классах заменить чтением хоровых партитур на хоре (?) всех учеников этих классов совместно, причем по очереди ученики восьмых и девярых классов обязаны смотреть за верностью чтения, для чего готовить назначенную каждому преподавателем пьесу и доводить исполнение лучших произведений до возможного совершенства. Таким образом, на это дело пойдут все уроки сольфеджио. Вместо двух занятий по чтению партитуры за фортепиано довольно одного (?), а другое на хоре. Сольфеджио в младших классах должно быть соединено с чтением обихода, которое в этих классах не может быть (??) не чем иным, кроме простейших сольфеджий (!!).

Совершенно отсутствует в программах училища очень важный предмет: разбор музыкальных произведений во всех отношениях. **(Ну, уж будто и отсутствует? Что же преподаватели-то, молчат, что ли? Экая прелесть!)** Без него не может быть развития вкуса у будущего регента и учителя. Он должен быть веден устно и письменно. Фортепьяно как таковое и скрипка могут быть сохранены в старших классах или совсем опущены. (!!!) Вместо сего способные могут брать уроки в консерватории (??), что будет дешевле (?) и целесообразнее. (??) А это время (?) должно быть посвящено регентству и постановке голоса. **(Это тоже недурно!)** Уроки алгебры и пасхалии и в семинарии – по три в первый год и одно (?) в третий год (??). А на геометрию трех уроков мало. Алгебру, физику (с обязательным подробным отделом акустики) и геометрию можно передвинуть на класс ранее, сократив общее число уроков арифметики, окончив ее в первых четырех классах. То же можно сделать и относительно гражданской

истории. Изучение крюковой семиографии можно начать с шестого класса, закончив сольфеджирование обихода пятым классом. Это дело очень простое (?), как обычно ведется (?), и очень трудное, если добиться музыкального понимания». **(??!! Браво! Ш² уже и тут компетентный судья!)**

Вот эта столь складная бумага могла свидетельствовать лишь о том, что Ш² грамотен, самоуверен и совершенно не способен понимать даже то, что у него было под носом восемь лет. Желание быть хозяином и распорядителем, при ограниченном уме ведет к упрямству и настойчивости. Время появления этого документа, то есть сейчас же после ревизии Нечаева, также дает колорит всему делу. С.Н. Кругликов, вполне понимая меру нелепого разгрома Синодального училища, который задумал Ш², и меру надобной осторожности подле такой выросшей после ревизии фигуры, как тот же самолюбивый Ш², долго обдумывал ответ и, наконец, послал его 14 января 1901 года, передав мне его копию. Вот этот ответ, полный достоинства, ума и искреннего желания спасти хор и училище от нелепых «мечтаний» Ш².

[Примечание С. Н. Кругликова]: «Все это получено при прилагаемом выше письме кн. А.А. Ширинского-Шихматова, принадлежит его авторству и было мне прислано им для того, чтобы я сообщил ответные свои мысли. Черновую ответа своего тоже прилагаю. Сем. Кругликов. 14. 1. 1901 г.».

«Глубокоуважаемый князь Алексей Александрович! Могу ответить на все ваши соображения только мыслями музыканта-специалиста и музыканта-педагога с опытностью в двадцать лет. Поэтому не коснусь преподавания общеобразовательных предметов, как математика, физика, история и т.д. Смотрю на Синодальный хор и училище как на учреждения взаимно соприкасающиеся, но имеющие каждое свое самостоятельное значение. Синодальный хор – прекрасное художественное целое, гордость Москвы, а может быть, и всей России. Пусть он стремится к еще большему совершенству, хотя может остаться и таким, каков он теперь. Но Боже сохрани, если его художественный уровень понизится!

Исходя из этого положения, от хора можно требовать лишь такой помощи училищу, которая бы не наносила ущерба самому хору.

Качество хора – в прямой зависимости от его спетости, ансамбля, но и от красоты входящих в него голосов. Чрезвычайно важно также для хорового тембра, для хоровой интонации, если эти голоса, помимо данных природою приятных свойств, не обедняют умением давать звук, правильно распоряжаться дыханием, то есть если они до известной степени поставлены. Последнее я часто наблюдаю в хоровых классах Филармонического училища: бесконечно красивее, тоньше, правильнее звучит хор, составленный из обучающихся пению соло, чем хор, хотя и из свежих и крепких голосов, но не посвятивших себя изучению сольного пения, – в таком хоре всегда интонация не безупречна, а общий тембр не кругл и не полон. Поэтому считаю для хора полезным ставить голоса малолетним, вступающим в хор, и вредным для него участие спадышей. Кстати сказать, спадыши эти, участвуя в хоре, не только принесут ему вред, но и себе выгоды не достанут. Вряд ли вместе с ними уместится хор на клиросах Успенского собора. Чтобы покончить с вопросом о постановке голоса, скажу еще, что ее только и можно предпринять или по отношению к детскому голосу, или к голосу вполне физически сложившегося взрослого человека. У ученика девятого класса Синодального училища голос лишь формируется. Здесь о постановке голоса не может быть серьезной речи. Таким образом выпускному ученику остается довольствоваться понятиями о голосовой постановке, приобретенными в детские годы.

Дурно может отзываться на хоре, если бы во имя чего бы то ни было сократить вдвое длительность спевков.

Мне довольно часто приходилось встречаться с бывшими учениками Синодального училища. В лице их я находил всегда таких отличных чтецов нот, каких почти не имело и не имеет среди своих учеников Филармоническое училище. Для меня это доказательство, что в Синодальном училище класс сольфеджио стоит очень высоко. Рядом с констатированием подобного факта бледнеет вопрос, какова собственно система

преподавания в этом классе, дающем такие блестящие результаты.

Имею основание думать, что изучение древних церковных напевов в классе, при унисонном исполнении, полезнее, чем на спевках хора, поющего их гармонизацией общепринятой и употребительной, но все-таки итальянско-немецкой. Надо помнить, что духовная музыка русских богата лишь тематически, а не в смысле художественной обработки превосходного мелодического материала. Обработка эта все еще обретается в младенчестве, и русская православная церковь не перестает ждать своих истинно национальных композиторов. Но как светские композиторы наши выработались, изучая произведения русского народного творчества песенного, так истинные композиторы русской духовной музыки вырастут путем воспитания в себе древнего церковного напева во всей его чистоте, а не в западно-музыкальной оправе.

Умению читать хоровые партитуры надобно тоже учиться в классе, а не на спевке, и вот почему: Синодальный хор давно сформировался и идет в своем учении музыкальных творений все дальше и дальше, а не начинает своих изучений в конце каждого августа с начала, как это делает ученик низшего класса, знакомящийся с партитурой, скажем, литургии придворного роспева, давно хору знакомой.

Хотелось бы мне также, чтобы Синодальное училище выпускало из среды своих воспитанников не регентов старого типа, так много повредивших делу русской духовной музыки, не регентов-ремесленников, а регентов-музыкантов, с развитым вкусом, с действительными знаниями. Для такой цели надо, конечно, ввести в программы занятий устный и письменный разбор музыкальных произведений, подробный во всех отношениях, если такой предмет еще там не практикуется, но и не надо сокращать объем преподавания игры на скрипке и фортепиано. Тот и другой инструменты сослужат большую службу будущему регенту в деле его служения и в деле его художественного развития. С техникой, дающей возможность осилить на скрипке голос какой-нибудь Херувимской, а на

фортепиано что-нибудь вроде седьмого номера Херувимской Бортнянского, далеко не уйти. Кстати и практический вопрос: чем жить регенту далекого провинциального захолустья, если он свое ничтожное жалование не сможет увеличить уроками на скрипке и фортепиано?

Мои мысли далеко не отвечают на вопрос: что надо делать, чтобы из Синодального училища выходили готовые опытные регенты. Но ведь он аналогичен вопросу: что надо сделать, чтобы учебные заведения других соответствующих специальностей образовывали сразу по окончании курса готовых к деятельности врачей, адвокатов, инженеров и т.п. На тот и другой вопрос могу ответить одно: не знаю. Да вряд ли можно иначе ответить. Мне кажется, цель Синодального училища такова: окончивший там курс должен быть серьезно образован, развит и обладать положительными музыкальными знаниями. Все остальное сделают талант, свободно-разумный труд и постепенно приобретаемый опыт. Мне даже кажется (развивая несколько вышесказанную мысль), что от Синодального училища надо ждать чего-то еще более важного. Регенты без особенно разностороннего образования могут выходить из музыкальных классов при духовных и учительских семинариях, из специальных регентских классов, имеющих в разных епархиях. Таких питомников в России много. Московское Синодальное училище на все наше обустроенное отечество – одно. Ему одному под силу заботиться об образовании композитора русской духовной музыки, перед которым теперешние передовики в этом отношении покажутся лишь сынами переходного времени.

С совершенным почтением преданный и всегда готовый к услугам

Сем. Кругликов».

В мою поездку в Санкт-Петербург к 26 января, когда было назначено заседание для заслушивания моего реферата в Обществе любителей древней письменности, я приехал немного ранее, и тут, храня свою тайну, я узнал еще раз, как мог неумоимо и архизаконно мстить мне Ш², мастерски завязавший с Нечаевым все надобные узелки. Вскоре, через приятеля моего

Н.К. Невзорова, члена Учебного комитета, узнал я ту предательскую западню, на которую тревожно указал мне Рачинский в письме от 11 января 1901 года. Я писал Рачинскому о своем удовольствии, с которым я, как казалось мне, весьма убедительно для Нечаева разоблачил проделки Ш², и, не требуя личного удовлетворения, был уверен по речам ревизора о действительно возможном после ревизии «повышении по службе» Ш², с удалением его из Москвы. «Перестаю понимать что-либо в делах Синодального училища, – пишет мне Сергей Александрович 11 января. – Вы пишете, что довольны ревизией Нечаева, я же совсем недоволен тем, что пишет по поводу этой ревизии Победоносцев...». Нетрудно представить, как встревожили меня эти слова.³⁶¹ Но вскоре же через указанного Н.К. Невзорова я узнал подробно и сполна по копии с подлинных документов ту окраску ревизионного отзыва, которая возмутила даже членов Комитета, вступившихся за мою порядочность и заслуги и прямо поставивших на вид Нечаеву умолчание о чем бы ни было хорошем и усердное расписывание всего нехорошего, начиная с несоблюдения нами циркуляров. Я, впрочем, узнал в это же время, что, несмотря на настроения Ш², Нечаев постыдился и воздержался все-таки упомянуть о неудовлетворительности моей экономической операции, но умолчал, свалив все-таки на меня, что собственно продовольственная часть давно была в самом постоянном наблюдении Ш², так как я более чем безнадёжный хозяин и давно уговорил Ш² снять с меня эту обузу.

Выписка из отчета ревизора П.И. Нечаева о состоянии Синодального училища в 1900 году, по журналу Учебного комитета при Св. Синоде, присланному в копии в правление Синодального училища уже в мое отсутствие:

«Училищные помещения содержатся опрятно и оказываются вполне приспособленными для учебно-воспитательных целей. Для музыкальных занятий на скрипке и фортепьяно устроено 15 небольших отдельных комнат с необходимыми приспособлениями. Сверх того, администрация училища озабочена изысканием средств для устройства бани и прачечной и для улучшения больничного помещения. Учащихся,

обучающихся в училище, только 78 человек, и кроме того в церковно-приходской при училище школе состояло 15 мальчиков. По плану в училище полагается 100 казеннокоштных воспитанников, но их в действительности было только 80. 14 свободных вакансий замещены учениками церковно-приходской школы, а 6 остались незанятыми.

Учебная часть

Наличный состав преподавателей общеобразовательных предметов удовлетворительный. Большинство из них люди опытные, усердно и успешно занимающиеся делом, только учитель гражданской истории Румянцев, как служащий еще первый год, не обладает достаточным умением вести классные занятия, излагает урок в форме лекции, не следит за вниманием учеников в классе и своевременно не проверяет того, насколько усвоятся учениками разъяснения учителя. Ревизор просил господина директора поручить неопытного учителя в деле преподавания. По Закону Божьему в 6-м классе (на уроке церковного устава) воспитанники оказались незнающими ни того, когда именно за литургией совершается пресуществление Св. Даров, ни самих слов молитвы, произносимых при этом священником. На это ревизор обратил внимание законоучителя о. Цветкова и господина директора. Преподаватели русского языка – Преображенский и Серебrenицкий – очень способные и старательные, но в своих классных занятиях делают некоторые отступления от нормальной программы без предварительного разрешения училищного правления в порядке, указанном в Уставе. Вообще при ближайшем ознакомлении с училищем чувствуется некоторая недостаточность непосредственного наблюдения со стороны училищного начальства за ходом учебного дела. Особой книги для записи отпускаемых учителями уроков нет. Во время отсутствия учителей не назначалось ученикам никаких определенных классных занятий. Господин директор письменно заявил ревизору, что он не видит ни возможности, ни надобности в таковых занятиях. Успехи учеников можно признать вообще достаточными, но при обсуждении ведомостей со средними баллами училищным правлением не уяснялись действительные причины малоуспешности учеников; в отдельных же случаях это выяснение поручалось только воспитателям училища, которые наблюдали за ходом учебных занятий лишь воспитанников, но не учителей, нередко

бывающих небезупречными в неудовлетворительности ученических успехов. На письменные упражнения воспитанников недостаточно обращалось внимание. Некоторые воспитанники (особливо в третьем классе) пишут небрежно. Учитель церковной истории о. Арбеков перечитывает сочинения по своему предмету очень бегло и ни на одном из них не пишет своих заметок и руководственных рецензий, ограничиваясь только выставлением оценочного балла. Сроки для домашних письменных работ установлены одинаковые и в старших и в младших классах, промежутков между этими сроками вовсе не полагалось. За своевременной подачей сочинений учениками не усиливается строгое наблюдение со стороны училищного начальства. Поэтому поводу ревизор делал на месте необходимые разъяснения в своей беседе с господином директором училища, о чем сообщил и господину прокурору Синодальной конторы. Но приятно и то, что в сочинениях воспитанников очень редко встречаются грубые грамматические ошибки, а тетради по чистописанию в младших классах отличаются замечательной опрятностью и каллиграфией. Заслуживает упоминания то, что учитель Кокорин в видах побуждения учеников к выработке наиболее правильного и красивого почерка, при балловой оценке ученических успехов по чистописанию, принимал во внимание не только представленные специально ему тетради, но и пересмотренные им для этой цели письменные работы, подаваемые учениками. Мера эта оказывается вполне целесообразною. В ученической библиотеке желательно пополнение отделов религиозно-нравственного и исторического содержания. Физический кабинет небольшой, но достаточный для учебных целей.

Воспитательная часть

За поведением учеников непосредственно наблюдают четыре воспитателя: священник Никольский и г.г. Серебrenицкий, Смирнов и Сокольский, исполняющие свои обязанности внимательно и умело. Судя по документальным данным, также по отзывам училищной инспекции и личным наблюдениям ревизора, нравственное настроение воспитанников вообще доброе. Случаев грубого нарушения воспитанниками училищной дисциплины и правил благоповедения было немного. Если принять во внимание, что воспитанники училища происходят частью из нижнего сословия, нередко перегружаются вследствие ежедневных занятий музыкою и пением, почти всегда бывают с несколько приподнятыми нервами, то количество замеченных за ними проступков следует признать сравнительно незначительное. Меры, употребляемые для вразумления и исправления провинившихся учеников, найдены ревизией педагогическими, кроме следующих:

1) Высшим наказанием в училище считается предложение виноватому ученику отправить собственное письмо к родителям с описанием своего проступка и с просьбою извинения. Одновременно с этим извещением директор такого ученика пишет родителям о желательном ответе с их стороны по поводу случившегося. Здесь орудием взыскания избирается сыновнее чувство ученика и вместе с ним допускается некоторое двоедушие начальства. И то и другое едва ли уместно в системе здорового воспитания.

2) Господин директор училища находит возможным в большей части случаев наказывать учеников весьма вразумительно такими средствами, таким добродушием и ласковым вниманием, какие в другой школе показались бы прямо наивными и ни к чему не ведущими (отчет за прошлый учебный год). Мне это представляется неясным и во всяком случае не должно противоречить принятым в духовном ведомстве началам воспитания. Воспитанники регентского

отделения ходят к богослужениям в ближайшую Вознесенскую церковь, где они поют и читают. Но господин прокурор и регент хора г. Орлов, в целях более практической подготовки воспитанников училища к исполнению регентских обязанностей, выражают желание, чтобы все воспитанники участвовали как во всех спевках Синодального хора, так и в пении последнего при всех службах в Успенском соборе. По указанию опыта, ученики, видевшие архиерейское служение первые годы своего пребывания в училище в качестве певчего хора, забывают порядок этого служения ко времени выхода своего из училища, когда им больше всего следует знать обязанности регента. Физическое воспитание учеников училища вполне удовлетворительное. Заболевания бывают преимущественно простудные. Больных пользует врач Тутолмин и, по засвидетельствованию училищного начальства, исполняет обязанность исправно.

Хозяйство училища и деятельность правления

Хозяйственная часть ведется экономом училища Горским почти бесконтрольно. Не только не определяется, чего сколько следует выдавать из кладовой на приготовление каждого блюда согласно с наличным количеством учеников, но нет даже книги для записи количества принимаемых съестных припасов и ежедневно выдаваемых из кладовой. Не сохранилось и расписание блюд за минувшие месяцы текущего года. Ко времени ревизии не было установлено ни количество вещей, выдаваемых ученикам из одежды, обуви и белья, ни сроков пользования ими. Деятельность училищного правления по введении нового устава значительно усилилась. Достаточно указать на то, что до реформы училища число заседаний правления было только не более 4 в год, но в первый же год реформы их было уже 28, а журнальных статей по разным делам было 126. Из перечисленных ревизией журналов правления видно, что члены правления относились к своим обязанностям внимательно и, в большинстве случаев, решали дела согласно с уставом. Желательно только, чтобы на будущее время правление: а) в отсутствие прокурора конторы не входило в обсуждение таких вопросов, которые касаются существенного изменения установленных порядков в той или другой части училища, б) обстоятельные обсуждения действительных причин ученической малоуспешности и в) не допускало приобретения для ученической и фундаментальной библиотек учебных пособий без предварительного рассмотрения списка их в педагогическом заседании правления. Журналов особого присутствия по делам училища не оказалось, так же как, по словам господина прокурора конторы, доселе не встречалось надобности в самих заседаниях этого присутствия, кроме ежемесячной проверки денежных сумм, удостоверяемой подпискою членов присутствия в приходно-расходной книге. Наличность денежных сумм по проверке их ревизором оказалась вполне согласно с книгою.

Определено:

Из отчета усматривается, что учебно-воспитательная часть в училище находится вообще в состоянии удовлетворительном; по поводу же оказавшихся в ней частных недостатков представляется необходимым сверх уже сделанных ревизором разъяснений и указаний тех мест, некоторые мероприятия и со стороны центрального духовно-учебного управления. Физическое воспитание учеников училища вполне удовлетворительно, но ведение училищного хозяйства найдено недостаточно упорядоченным. Для устранения усмотренных ревизором недостатков в училище учебный комитет полагал бы просить господина прокурора конторы...» [Здесь копия отчета обрывается – **Сост.].**³⁶²

Нетрудно представить, что этот, якобы спокойный и беспристрастный для будущего историка, отчет ревизора сопровождался такими словесными к нему прибавлениями, которые произвели на К.П. Победоносцева впечатление, надобное для Ш², выгораживавшее недостаточность ведения им, Ш², хозяйственной части за мой счет, напиравшее на мелочи, будто бы и вредные в педагогическом смысле. Никакого другого директора при таком ревизорском отчете не вздумали бы поставить в надобность бросить свое любимое дело, если бы атмосфера сторонних воздействий не была искусственно подогрета со стороны Ш², Нечаева и Саблера, вызывая меня к ультиматуму по отношению к Ш². Я понимаю и теперь, что мой ультиматум был невозможностью в бюрократическом смысле, но ведь и Победоносцев мог же рассудить о том, что человек любящий и работавший был доведен до надобности такого действия. Умный Победоносцев знал меня уже двадцать лет, и знал близко, так как я и беседовал с ним, и писал ему множество раз; да и цвет самого дела, особенно развернувшегося, благодаря именно процветанию училища, разве не доказывал правоту и страдания моей изболевшейся души? Как же умный человек не поверил очевидности и логичности ради ловкой интриги? Обиднее всего было то, что

доверчивый К.П. Победоносцев не рассуждал потом еще раз, противодействуя, как мне говорили, делу о переводе меня в Капеллу. Он будто бы покался, однако, когда его вразумили по этой части, объяснив ему значение доверчивости в моем деле Ш² и значение той печальной эпопеи, которая началась же после меня в Синодальном училище. Впрочем, ведь правда возьмет свое хоть когда-нибудь! Отпадут от дела волнующие подробности, сравняются резкие угловатости, и останется одна простая, любовная правда.

Окраска отчета Нечаева так возмутила меня мерою неблагодарности к моему труду представителя высшей власти, что я порешил немедленно выйти в отставку, чтобы не оставаться в духовном ведомстве ни единого лишнего дня. Я явился к Победоносцеву и заявил ему, что ввиду отчета ревизора Нечаева и отсутствия протеста его высокопревосходительства я не хочу быть более на службе и прошу сделать, хотя бы в уважение нашего более чем двадцатилетнего знакомства, ему доклад о размере возможной для меня пенсии, так как состояния у меня нет, а работать для науки я еще могу. Я упирал на то, что Синод, обманувший меня обещаниями, должен же оценить меня хоть сколько-нибудь за бесплатное десятилетнее цензорство духовно-музыкальных произведений, за массу бесплатно же исполненных особых поручений в области моей науки и искусства, за пожертвование библиотеки, в которую я положил столько труда.

Это негласное десятилетнее цензорство состояло в том, что Наблюдательный совет при Синодальном училище, в числе обязанностей которого была и цензурная экспертиза духовно-музыкальных сочинений, оказался неспособным даже к появлению на свет, несмотря на учреждение его, утвержденное при первом преобразовании Синодального училища в 1886 году. Как обходился Св. Синод с цензурой до меня – не знаю, ибо мой предместник Добровольский был совсем не музыкант и не певец. С моим приездом в Москву на меня обрушилась неожиданная обязанность эксперта всех духовно-музыкальных сочинений, представлявшихся с просьбами о разрешении к напечатанию. Рассмотрение нескольких тысяч таких

бумагомараний познакомило меня по крайней мере с именами курьезнейших неучей-регентов и с уровнем развития этого рода художников.³⁶³

Конечно, я твердо помнил оба «послания к цензору» Пушкина и разобрался в правовом, так сказать, надобном порядке своего отношения к этому делу и к мере надобной в нем свободы и ненавязывания авторам какого-либо стеснения. Огромный круг авторов (я думаю, свыше 200–300 человек) поражал меня полным неумением писать хоть сколько-нибудь грамотно для хора, удивлял забавною склонностью к воровству из области давно забытых певческих тетрадей (таковы, например, господа Лирин, Григорьев, свящ. Георгиевский и др.), возмущал своим пустомыслием и бездарностью, главное же – огорчал самым полным отсутствием участия в этом деле вполне серьезных и образованных музыкантов, в число которых трудно поставить и пресловутого г. Архангельского – человека с отличным знанием хора и не без поэтического дара.

Отдельную часть в этой армии авторов составляли архиерейские регенты, монахи, увлекавшиеся вошедшим в моду стремлением вернуться к «древним напевам» и к снабжению их «гармонизацией в духе древних ладов». Нетрудно представить, что приходилось мне прочитывать у таких того или другого сорта усердных и плодовитых авторов. Чтобы судить о них, привожу на память два-три примера.

№ 1: Преосвященный Александр (в миру о. Андрей Светлаков) – викарий Московский, знакомый мне по Казани в бытность его казанским студентом, из вдовых священников. Чтобы судить о глубине этого в сущности очень доброго, но и недалекого человека, достаточно указать на следующий случай, когда стоило большого труда внушить ему справедливость однажды полученного им отказа. Дело было в том, что, получив орден Владимира III степени, преосвященный Александр очень хлопотал, чтобы ему, как родителю, дали дворянство или дали возможность приписать к дворянству его сына. Как ни толковали владыке, что он монах, что у него был сын только до монашества, что он получил орден как архиерей – так и остался обиженным владыка-родитель. Чтобы судить о музыкальности

Александра, достаточно сказать, что он формулировал свое церковно-певческое авторство так: «Я – архиерей, пастырь и учитель, обязанный поучать данную мне Богом паству всеми моими силами; в числе моих сил есть дар песнотворчества, в области которого я, как архиерей, не могу подлежать никакой цензуре, как суду светских людей; считаю за особое благо совпадение во мне знания на слух древних (?) напевов из уст достопочтенных знатоков из престарелых дьячков-любителей и носителей народного творческого сокровища с моим полным незнакомством с инославной «музыкальной теорией», построенной, кроме ее нечестия, на извращенном темперированном строе. Первое ставит меня как архиерея-певца и учителя, второе – как поющего из чистого источника, третье – как русского и только русского православного певца, излагающего по сим основаниям, как и следует ждать, совсем не во вкусе итальянского художества». Конечно, я пал бы на колени перед таким композитором, если бы он был гений или что-либо вроде Мусоргского, а не «полено», по меткому об этом владыке отзыву Победоносцева.

№ 2: Герасим Гаврилович Урусов – булочник и затем сборщик думских в Москве налогов, необыкновенно живой, весьма музыкальный, чрезвычайно мало учившийся, страстный поклонник багрецовских сочинений и способа сентиментального их исполнения. Творческий дар у него несомненно был, но он заглох в бессилии выглянуть из мирка бывшей у него обаятельной певческой литературы указанного сорта. Гораздо сильнее был литературный дар, не пошедший, однако, за неимением образования далее ловких и вполне ругательных рецензий.³⁶⁴ Урусов мне напоминал, как автор тех и других своих писаний, самолюбивого раскольникового начетчика, памятующего цену усилий, с какими давались его самостоятельно приобретенные знания, и потому гордого этими знаниями в кругу своих людей, импонирующего перед другими ради той же своей аудитории. Жестокие его и самоуверенные фельетоны и корреспонденции были полны запальчивости и самых наивных заблуждений. Seriously толковать о них было невозможно, ибо резкость есть свидетельство

маловоспитанного темперамента, но не убеждения просвещенного человека, умеющего быть выше общего уровня. Над Урусовым однажды много смеялись, так как он, строго критикуя, написал: «Бас все время идет фугой».

№ 3: Иеросхимонах Иннокентий из Новоафонского монастыря – глубокий старец и глубочайший невежда, мнящий себя знатоком вне конкурса. Чтобы поверить мне, как он поносил меня за забракование его сочинений, сделаю выписку из его двух наихудших брошюр, которыми он бранил меня, полагая уничтожить меня совершенно. Вот, например: «Сочинение Смоленского (то есть «Азбука Мезенца») пересыпано какими-то круками, какими-то попевками, какими-то «квадратными нотациями». Мы не понимаем, что под этими нотациями Смоленский понимает; погано есть слово латинское – замечать, направлять, выговаривать с целью исправления. На русском языке слово это выговаривается «нотация». Говорят, например, такой-то такому-то дал добрую нотацию. В музыке же слово это не употребляется, а есть слово «интонация» – искусство управлять голосом, давать ему нежность чувства...» [Или:] «[Сочинение Смоленского] пересыпано пресловутыми правилами к пению, которые вовсе не существуют в певческих школах и консерваториях, и все это в сложности составляет ученую фунду, не имеющую ни малейшего смысла. Если критически разобрать сочинение это, немало потребовалось бы времени и труда к ниспровержению его по пунктам. Но мы скажем кратко, указав, так сказать, почку незнания Смоленским древнего знаменного пения, которое ему вовсе недоступно». «Почка» эта состоит, по мнению о. Иннокентия, в незнании мною нот цефавного ключа и в моем стремлении «уничтожить одним взмахом богатейший труд предшественников и создать новое пение на каких-то пресловутых попевках, которые и сам сочинитель едва ли постигает». Но довольно о таком композиторе и критике!³⁶⁵

Итак, вот в каком мирке пришлось мне быть цензором! Наблюдения мои свелись к тому, что у нас много способных людей, очень мало учившихся, и еще менее писателей настоящих. Немудрено, что при всей терпимости, при всем

моем стремлении к большому простору всякой свободы и я не пропускал 95% всякого вздора, который истязанием от его прочтения вразумил меня на многое. С поручением этого бывшего в моих руках цензурного дела Наблюдательному совету при Синодальном училище правка последнего стала предметом горестных противоречий. Это освобождение меня от тяжелых и неприятных обязанностей, к тому же и добровольных, но не снимавшихся с меня, произошло сейчас же после введения устава 1898 года, когда Ш² открыл Наблюдательный совет. В пустословии заседаний этого курьезнейшего заведения мне удалось, однако, с первого же раза устроить нечто вроде порядка, то есть устроить размежевание цензурного труда по ряду сочинений между членами, более склонными по своим занятиям к той или другой области своего ведения. Таким образом, С.Н. Кругликов и В.П. Войденов взяли на себя оригинальные композиции, В.С. Орлов и А.Д. Кастальский – переложения древних роспевов, Василий Федорович Комаров (так называемый «**Же дур**»)— педагогические сочинения и я с о. Василием Михайловичем Металловым – археологические сочинения. Мы уговорились относительно полной свободы мнения и возможности для большего беспристрастия и взаимной между нами передачи сочинений еще до доклада. Но после первых заседаний обнаружилось, что мы ставимся в положение людей безгласных и полная свобода мнений допускается Ш² лишь в виде нашей «болтовни» и «не идущих к делу рассуждений музыкально-теоретического или археологического содержания»; оказалось возможным, что оставшийся при отдельном мнении был смеряй глазами с головы до ног, а протокол с подписями всех членов без надписи утверждения прокурором есть не более как исписанный лист бумаги, за который господам членам был сделан очень прозрачный намек на желательное в будущем «единомыслие».

Одна из функций Наблюдательного совета, к сожалению, не удалась совершенно. Член Совета, «заведующий надзором за частными певческими хорами Москвы» В.П. Войденов, как и все мы, скоро был поставлен Ш² в положение деятеля, обязанного работать в пределах, указываемых и обязанного (неполучением

будущей санкции) воздерживаться от самостоятельных или неуказываемых действий. А сколько бы можно было сделать тут благодеяний певчей детской армии Москвы, безжалостно эксплуатируемой всякими «содержателями хоров»! В конце моей службы я перестал ходить в заседание этого противного Наблюдательного совета. Теперь это – притча во языцех, которую поняли и в Синоде, почему и обходят его прямым разрешением здешнею санкт-петербургскою цензурою с предварительною моею подписью как управляющего Капеллою.

Последние подвиги Наблюдательного совета, возбудившие недоумение и в Синоде, заставившие и в Петербурге призадуматься над дебрей, куда завела всякая канцелярщина судьбу всяких духовно-музыкальных сочинений, обнаружились опять-таки благодаря неугомонному властолюбию Ш², действующему по обыкновению за спиною других и с передергиваниями крайне очевидного и бесцеремонного свойства. Ш² напал к тому же и на Училищный совет при Св. Синоде. Но тут уже объяснили Ш², кто и что он есть и должен быть в цензурном смысле и как неблагоприятно с его стороны подводить Синод под гласные неприятности. Ш² забыл совершенно о назначении Наблюдательного совета как эксперта, а не как решающего дело судьи-цензора, и ему объяснили.

Не одно негодование возбуждал во мне характер заседаний обезличенного Ширинским-Шихматовым Наблюдательного совета. Бывали и смешные и прямо жалкие подробности. Прикидываясь на словах «не более как любителем», Ш² на самом деле настойчиво проводил решения Совета к исполнению своих мнений, так как противоречие или несогласие кого-либо из нас наказывалось тут же, в заседаниях, а отдельные мнения только прикладывались к протоколам с выражениями явного неудовольствия его сиятельства, иногда прямо не утверждавшего наши общие решения. Мой протест против первого же протокола не был принят и не был приложен к делу, а произвел лишь новый протокол, взамен бывшего. Я опротестовал выражения «Наблюдательный совет постановил: одобрить к напечатанию или разрешить к употреблению при

богослужении» и тому подобное. Так как я был вполне прав и указал на превышение Советом своих функций, состоявших не более как в бытии на побегушках у канцелярии Св. Синода, то Совету только и пришлось проглотить пилюлю и отменить протокол, уже утвержденный Ш². Таким образом я попортил немало крови Совету, указывая на то, что он напрасно топорщится изобразить из себя какое-то художественно-цензурное судилище. Вскоре обнаружилось, что этот Совет вполне покорно становится в положение нуля и, таким образом, в сущности выходило, что Ш² становился на место Совета, а все мы – его подручными. Тогда начался ряд невообразимых глупостей. Кругликов говорил мне: «Какое мне дело до того, что делает князь? Я получаю 500 рублей за более чем легкое занятие – пускай его величается сколько ему угодно!». Металлов вообразил, что пришло время проведения в жизнь его суровых требований. Почему Совет ничтоже сумняся постановил: не допускать (?) на будущее время сочинений на тексты, к которым в церковных книгах имеется указания роспева на какой-либо глас; не допускать сочинений с хроматическими ходами, ибо «строгий стиль» желателен к водворению в нашем пении. Комаров – нес обычную свою чепуху. Войденов – чего изволите... Орлов и Кастальский всячески маневрировали. Совет не задумался над таким подвигом: были вытребованы все без исключения издания Юргенсона, и начали баллотироваться сочинения (?), придерживаясь, по Металлову, рубрик: рекомендовать, одобрить, запретить – то есть то, что давным-давно было напечатано и о чем мнения Совета никто не спрашивал. Получились сцены такого рода:

Приносят кучу сочинений разных авторов на букву А (при мне только ее и «рассмотрели»). Начинается разбор:

Аллеманов – Стихира на Рождество Христово. Голоса: «В третью категорию, ибо стихиры должны петься на глас».

[Аллеманов] – Канон на Благовещение: «Опять в третью категорию по той же причине».

[Аллеманов] – Херувимская: «Не одобряется, ибо слова произносятся неодновременно и есть хроматические ходы и т.п.».

[Аренский] – Херувимская: «Не одобряется по той же причине».

Я: «Господа! Что мы делаем? Кому нужны такие определения? Правы ли мы в предъявлении таких требований? Что мы будем делать, когда дойдем до буквы Б, на которую имеется лишь имя Бортнянского? Ведь, чтобы быть последовательным, надо будет «запретить» все сочинения Бортнянского, ибо они полны хроматизмов и более чем часто написаны на гласовые тексты. Например, вы должны будете запретить и Херувимскую № 7 по наличности в ней квинт, и «Ангел вопияше» по обязательному распеву «Светися» на первый глас? «.

Ш²: «Конечно, я не специалист! Одобряет Совет».

Я: «Но что нас заставляет заниматься таким сортированием духовно-музыкальных произведений? Ведь Синод не спрашивает нас, и Цензурный комитет также, так что же мы стараемся?».

Нетрудно угадать, что Ш² только и оставалось прекратить это глупое занятие. Но он все-таки подвел Совет под неприятность, то есть, когда понадобилось Придворной капелле издать чуть не пятое-шестое издание Ломакина, Совет «запретил», мотивируя наличностью хроматизмов. Хорошо, что хватились в Синоде и не послушались Наблюдательного совета, уведомив его, однако, что сочинения Ломакина разрешены Синодом. После такого казуса я перестал бывать в этих глупых заседаниях...

Я объяснил Победоносцеву, что, разговаривая с Нечаевым, я узнал, что «по закону» мне за 28 лет моей службы могут дать лишь 280 рублей в год и что смешно говорить о таком применении закона по отношению ко мне. Победоносцев сказал тут же, что о пенсии в 280 рублей не будет и речи, что он живо помнит и ценит мою «бывшую» службу, что он не в силах, да и не желает убрать Ш² из Москвы как человека вполне необходимого и даже незаменимого для управления имуществами и распустившимися монастырями, и такими законниками, как пресловутые консистории.

– Я выхлопочу вам пенсию до 2.000 рублей – будете ли вы довольны?

– Вполне, и сердечно благодарю ваше высокопревосходительство, особенно же если мне будет по-прежнему предоставлена в заведование библиотека рукописей Синодального училища. С двумя тысячами в год с женой могу прожить в Москве, не тратя сил на посторонний заработок и предавшись любимому труду, который, конечно, более всего будет полезен Синодальному училищу.

– В таком случае вот что: сегодня четверг, и я успею заняться этим делом, зайдите ко мне в субботу или в понедельник, и тогда я дам окончательный ответ.

Разговор этот был 25 января; 26-го я читал реферат, после которого Шереметев «за чаепитием» шепнул мне: «Я могу вам сообщить хорошие вести, о которых в этом многолюдстве говорить неудобно; зайдите ко мне завтра утром пораньше, часов в 9–10». Наутро я действительно узнал, что дело о перемещении меня в Капеллу государем решено окончательно. В связи с таким известием я спросил Шереметева: «Как мне быть с Победоносцевым?» – «Поезжайте сейчас к нему, передайте по секрету о вашем будущем назначении и просите дать вам продолжительный отпуск, хотя бы по болезни». Я так и сделал. Конечно, отпуск по приезду в Петербург был мне сейчас же дан, но... на две недели. Оказалось, что Победоносцев не поверил возможности моего назначения, а Ш² пустил в ход через Озеровых в Аничковом дворце решительно все, чтобы затормозить дело. Мне писал о том С.А. Рачинский, бывший в это время в Петербурге и лично слышавший про меня чудесные вещи (вроде того, что я стар и дряхл, что я пьяница, что я неблагонадежен, плохой музыкант даже и в области церковного пения, что бью детей и т.п.). Но Рачинский и Шереметев сочли надобным вступить за меня.³⁶⁶ Между тем, несмотря на мое молчание, в Москве заговорили о моем переходе в Капеллу сначала глухо, а потом уже и прямо мне в глаза. Пришлось открыться товарищам, пришлось назначить последнюю лекцию в консерватории и подумать о начале полной ликвидации моей жизни в Москве, прощальных визитах, о перевозке вещей, о

продаже всякого домашнего скарба, о сдаче должности, о здоровье своем и жены и т.п.

Осталось теперь пережить в Москве расставание с Синодальным училищем и хором. Я чувствовал, что я всем своим существом слился с ними и люблю их горячо, но я не предчувствовал меры боли этой разлуки, меры моей привязанности к Москве, к ее Кремлю, к ее музыкальному миру, вдруг объявившихся резко, мучительно, скорбно. Я не мог ходить по Синодальному училищу, и особенно в кучке с мальчиками, чтобы слезы не навертывались на глаза; я перестал слушать Синодальный хор, я перестал ходить в библиотеку рукописей, так как мои нервы не выносили и мысль о предстоящей разлуке просто терзала меня. И раньше, живо представляя себе картину былого-давнего, я испытывал драмы, проходя по Красной площади и кругом Кремля; в первые дни даже примелькавшаяся глазам местность Кремлевских соборов волновала меня, теперь же я прямо начал бояться вида на Замоскворечье от решетки над Тайницкими воротами... Сердечно жалел я и консерваторию, в которой мои лекции были, так сказать, прѣдухом моих занятий наукою, живейшим общением с некоторыми моими слушателями; наконец, я расстался со столь любимым мною многоуважаемым С.И. Танеевым, дружбой которого ко мне я всегда радовался и даже гордился.

Нечего рассказать о трогательнейших проводах, которых я удостоился в Москве. Меня глубоко взволновала орация моих учеников в консерватории, которые, собравшись в группу слушателей за все двенадцать лет, предложили мне сняться вместе с ними. Краткая надпись на детском альбоме Синодального училища «директору-отцу»³⁶⁷ и такая же почти надпись на складне с васнецовской Богоматерью от сложившихся, списавшихся между собою бывших учеников Синодального училища были достаточно выразительны. Меня наградили подарками на память и товарищи-сослуживцы, и взрослые певчие, даже дамы, даже и прислуга училища. Верхом удовлетворения было заочное празднование моих именин 28 октября в Москве. Грустно закончить перечень этих

трогательных оваций замечанием, что в кабинете Ш² велась им запись и проделывалась в свою очередь система возмездия. Не имея возможности уберечь от расплаты Ш² некоторых коренных москвичей из моих бывших сослуживцев (о. Арбеков, о. Цветков, В.С. Тютюнник, Н.И. Соболевский и другие), я удовлетворился тем, что перетащил к себе Л.К. Смирнова, Н.П. Румянцева и А.В. Преображенского. Моя переписка с товарищами да объяснит будущим ученикам Синодального училища горький смысл переживаемого ими теперь времени. Пропадающий сейчас горемычный В.С. Орлов, которого я горячо убеждал не брать место директора, тяжело поплатился уже за свою и Ш² ошибку. Мне говорили, что сознался в ней, наконец, и Ш², сказав: «Да, я вижу теперь сам, что мы потеряли и регента, и директора и не приобрели ни того, ни другого». А еще застряли в Москве милейший «Кузька» – А.Д. Кастальский и даровитый Паша Чесноков, взывающие ко мне сюда на тему: «Изведи из темницы душу мою!». Как вытащить их – пока не могу придумать.

Глава VIII. С.А. Рачинский и Татево

Сергей Александрович Рачинский, мой последний учитель, сделал мне много добра, более всех в период моей зрелой и установившейся жизни, почему я вспоминаю о нем с глубокою любовью и благодарностью, ставя его имя в ряду моего отца, матери, Н.И. Ильминского и Л.Ф. Львова.³⁶⁸ Понятно, что участие во мне Рачинского проявилось сообразно моему зрелому возрасту в форме, вполне отличающейся от помощи других моих учителей. Я встретил в Сергее Александровиче столько сердечности, столько ума и знания, сочувствия и содействия, что во мне воспиталось по отношению к нему чувство какого-то благоговения. В последние годы Рачинский прямо спас меня от московской беды, вовремя сказав слово в мою пользу, превратив грозившую беду в самое полное удовлетворение.³⁶⁹ Но и кроме этого случая я не могу не ценить участия во мне именно такого человека.

Недавно, 2 мая 1902 года, мой милый друг и учитель скончался, и я был в последний раз в Татеве, поклонившись Рачинскому, лежавшему в гробу.

Кончина Рачинского последовала в день и час его рождения, то есть утром в 8 часов 45 минут 2 мая, когда ему исполнилось ровно 69 лет. Сестра его, Варвара Александровна³⁷⁰, не разлучавшаяся с ним более пятнадцати лет, вздумала съездить в Тамбов. Утром 2 мая, вспомнив о дне рождения брата, она послала в церковь вынуть о его здравии просфору. Пришедший после обедни священник покаялся Варваре Александровне, что он вынул частицу ошибкою «за упокой». Так как это было по тамбовскому времени в 9 часов 30 минут, то вышло, что первое поминовение Рачинского случилось сейчас же по его кончине. В утро 2 мая Сергей Александрович встал совершенно здоровым, пил чай, разговаривал со всеми в обычное для него время; потом вздумал после занятий выпить кофе. Он прилег после того, начав читать газету, и, не замеченный никем, тихо скончался. Смерть его была замечена домашними через несколько минут.

Еще далеко не остыла боль моего сердца от утраты! Я не могу писать спокойно о Рачинском. Запишу лишь немного фактическое о нем, что видел в Татеве, и немного же о самом Рачинском. Когда успокоюсь, напишу более.³⁷¹

Должно быть, в моей натуре лежит потребность иметь постоянного старшего над собою друга, живущего вне моих занятий, работающего отдельно от меня и над другим делом, разнящегося от меня решительно во всем. Таковы были более всего Николай Иванович Ильминский и Сергей Александрович Рачинский, сходные между собою и со мною разве в том, что все мы отдали свои силы обучению других людей. Но и эта, казалось бы, одинаковая по содержанию деятельность на самом деле сходна разве по значительной доле церковности и бескорыстного служения правде в заглавиях нашей деятельности: Н.И. Ильминский был миссионер-администратор и неутомимый переводчик, мало учивший непосредственно, но умевший заставить других работать в школе и в кабинете; С.А. Рачинский был идеалист-народник, сам виртуозно учивший народ, писатель и глубокий артист в душе, удивлявший при своей жизни, увлекший многих своею проповедью, но не оставивший по себе достойных себя последователей, так как стать плечо в плечо с Рачинским оказалось в его области непосильным решительно никому; я – певчий, копающийся в рукописях, учитель наполовину по Ильминскому, наполовину по Рачинскому, выработавший в приложении к своему делу немногие свои приемы, так как не имею в себе и малой части ума, дарований, образования и опытности тех, у кого я учился. Если в чем и вижу сходную черту с моими учителями, то в воспитанной ими же во мне любви к людям и к свету правды и знания. Но во мне нет ни чистоты, ни геройского мужества моих учителей, нет ни их дальновидности, ни их удивительной законченности и мудрой осторожности. Эти их качества были для меня всегда предметом полного удивления. Трудолюбие и самоотречение их обоих было безусловно, честность была вполне безукоризненна. Где найти теперь мне таких людей!

Имя Рачинского, знакомое мне раньше по его переводам общедоступных естественно-исторических сочинений³⁷², вдруг

прогремело вследствие газетных сообщений о директоре училищ Смоленской губернии Викторе Станиславовиче Новицком (бывшем потом в Москве), заставившем Рачинского держать экзамен на степень учителя сельской школы, несмотря на докторскую степень и звание профессора Московского университета.³⁷³ Но я не думал, чтобы с именем Рачинского была связана такая глубоко содержательная деятельность, и никак не предполагал, чтобы мне пришлось встать с нею в достаточно близкие отношения. Поводом к началу последних послужили восхитительные «Заметки о сельских школах», и особенно глава об искусстве, появившаяся на страницах аксаковской «Руси».³⁷⁴ Для меня эти «Заметки» были таким же откровением, как роман Мельникова-Печерского «В лесах», я выучил эти заметки чуть не наизусть, продумал и уверовал в Рачинского. Не помню теперь я, насколько отчетливо представлялась мне деятельность Рачинского как учителя, но трезвость его суждений о русском искусстве прямо удивила меня, и я, только что пришедший к его образу мыслей с крюковой, рукописной и старообрядческой стороны, отписал ему о совпадении наших суждений, выработанных разновременно и под разными углами наблюдений. Сергей Александрович ответил, и мне смутно припоминается, что этот ответ расхолодил меня.³⁷⁵ Я, вообще горячий и живущий под влиянием первых, живо воспринятых впечатлений, вообразил себе, что он, Рачинский, отрекшийся от столицы и ушедший в деревню, «ушедший в народ», должен так же увлекаться старым пением и старообрядничеством, как и я, влюбившийся тогда накрепко в противоречия между режимом симпатичной мне жизни старообрядцев с «интеллигентною» и особенно с противною мне чиновною, генеральскою жизнью. Странно сказать, я подкреплялся в этом писаниями Щедрина-Салтыкова, которыми я увлекался до самой непозволительной степени, ненавидя нашу администрацию, начиная с нелепого казанского попечителя Масленникова, сочувствуя выведению на чистую воду всяких старых грехов и отживших режимов. Как во мне вспоминается теперь это обличительное время, в которое, благодаря совпадениям разных на меня впечатлений,

вырабатывались мои мысли и отношения из далекой провинции к существовавшим тогда порядкам и непорядкам. Признаться, жилось мне в эти годы, обуреваемые сильнейшими воздействиями и моею впечатлительностью, очень трудно. В эти годы я еще не отрекался от немца, еще не веровал в русского, так как моя мысль бродила без всякого порядка и наблюдения беспристрастного. Я более страдал, чем рассуждал спокойно, более воспринимал, чем разбирался в разности между прежде усвоенным и воспринимаемым.

Н.И. Ильминский искусно своротил меня с нелепой судебной дороги, на которую я попал по непонятному теперь для меня недоразумению. Он же, как именно любящий и просвещенный человек, вместе с пылким моим отцом подбодрил меня в занятиях и в увлечении старообрядчеством. В эту же пору во всем блеске цвели Казанская учительская семинария и крещенотатарская школа – самые прелестные учебные заведения, когда-либо мною виденные до этого. И вдруг я читаю и чувствую – восторгаюсь «Заметками» Рачинского, да еще в прелестнейшей «Руси» Ивана Сергеевича Аксакова.³⁷⁶ Мне было бы стыдно прочитать теперь мое восторженное письмо к Рачинскому, которое он умно и тактично оставил без ответа...³⁷⁷ В тогдашнем моем возрасте такие письма были уже непозволительны, но самая их бестолковость указывает на переживавшиеся душевные брожения.

Сегодня, начиная эту главу, я пересмотрел поверхностно и умышленно не читал пачку писем Рачинского ко мне, числом до 250-ти. Живые впечатления говорят мне более этих страниц, которыми иногда мой милый друг только отписывался по моему адресу. Я пополнял эти письма живыми беседами с ним в Санкт-Петербурге и особенно в Татеве, так как Сергей Александрович, имевший обычай отвечать, хоть бы кратко, на каждое письмо каждому корреспонденту, помнил мою просьбу не затруднять себя подробными ко мне письмами. Я знал и радовался тому, что Сергей Александрович искренне любил меня, и объясняю то только тем, что его чуткая душа, его чистое сердце не могло не чувствовать мою любовь к нему и мое

постоянное желание не затруднять его моею к нему привязанностью.

На время заглохшие, первые наши письменные сообщения возобновились самым неожиданным образом. В 1886 году я вдруг получил от Сергея Александровича предложение насадить мою методу преподавания церковного пения³⁷⁸ в Татеве присылкою на вакансию какого-либо из моих учеников. Я отвечал ему, что не могу пропустить такого случая и прошу позволить приехать вместо ученика самому учителю.

Поэтому 22 июля 1886 года под вечер я подкатил к крыльцу татевского дома, бросился на шею встречавшему меня и был весьма сконфужен тем, что на мои беспорядочные речи услышал смущенный ответ: «Я – брат Сергея, Владимир Александрович; Сергей Александрович случайно не дома, а в школе и ждет вас...». Свидание в школе, конечно, не замедлило. Не справившись с татевскими обычаями, я болтал с Сергеем Александровичем чуть не до трех часов утра...

Наутро я был введен в очаровательную, чистую семью Рачинских, жившую с молодежью в «большом доме».³⁷⁹ Высокий уровень образования и благовоспитанности этой семьи бил в глаза; аристократическая изящная простота была очевидна с первых впечатлений. Два поколения жили для третьего, и трудно было бы сказать, как тогда, так и теперь, какое из них было симпатичнее друг другу, несмотря на мою чуть не с первого дня обнаружившуюся большую склонность к Сергею Александровичу и особенно к его величавой старушке-матери Варваре Абрамовне. О последней я знал еще в Казани по моему знакомству с семьей ее племянника – сына поэта Баратынского.³⁸⁰ То была семья Николая Евгеньевича Баратынского, женатого на Ольге Александровне Казем-бек и жившего летом в селе Шушарке, на реке Казанке, близ львовского Садилова, в 25-ти верстах от Казани.

Семья Рачинских увеличивалась в гостеприимном Татеве каждое лето и уменьшалась разъездом каждую зиму. Потом на моих глазах эта семья вымерла почти вся, и так как живущие еще сейчас последние из молодых Рачинских бездетны, то скоро придет время, когда род Рачинских будет считаться

прекратившимся. При мне летом 1886 года в Татеве под главенством матери Рачинских жили ее дети – Владимир, Сергей, Григорий³⁸¹, Константин Александрович, Варвара Александровна, дети Константина – Александр Константинович и Мария Константиновна, дядя Алексей Антонович Рачинский с дочерью Анною Алексеевною (из Бобровки), тетка Екатерина Антоновна Рачинская и наезжали из соседней Меженинки кузина Софья Николаевна Рачинская со своей сестрой Екатериной Николаевной Юргенсон.

Из этой большой и необыкновенно дружной семьи к старшему поколению относились Варвара Абрамовна, Алексей Антонович и Екатерина Антоновна. Все они были почти ровесники, лет по 80–85. Младшее поколение составляли дети Константина, из которых ныне уже нет в живых Марии Константиновны, несчастно бывшей замужем за сыном поэта-писателя Сергеем Львовичем Толстым.³⁸² Единственный сын их теперь наследник всех состояний всех Рачинских.

Я узнал милую Марию Константиновну, когда она кончила курс в классической гимназии Фишер (поставленной очень умно и хорошо здраво мысленною ее директоршею) в Москве³⁸³ и проводила в Татеве свою первую «свободную» вакацию. Мария Константиновна была очень миловидная, стройная, изящная барышня, одевалась просто и умно, говорила серьезно, читала много и толково. Ее ум был склонен более к точным наукам, чем к художествам. Она поехала года через два-три после вихря балов в английский женский университет (кажется, около Кембриджа) и окончила там курс по математическому факультету. После того я услышал, что она выходит замуж за графа Сергея Львовича Толстого, которого я не раз перед тем видал случайно и который несколько раз производил на меня впечатление как бы отталкивающее. Мне казался он человеком грубым, бессердечным и нетрезвым. Брак тот оказался совершенно неудачным. Молодые люди разошлись чуть ли не через полгода после свадьбы. Единственный сын их родился уже тогда, когда семейная жизнь была нарушена.

Вслед за тем у Марии Константиновны явилась чахотка (ее мать, урожденная Дараган, умерла в чахотке), и, хотя муж навестил больную, но отсутствовал на ее похоронах и даже на заупокойной литургии в Москве, отслуженной для ее знакомых в приходской церкви на Поварской. Эту литургию пели синодальные певчие, я был на ней. Позднее как-то случайно я разговорился об этом браке с графиней Софьей Андреевной [Толстой] и услышал от нее причитания, вроде того, что «жизнь моего сына разбита, эта свадьба была жестокою ошибкою обоих молодых людей» и т.п. поздние речи, когда Мария Константиновна была уже в могиле около Татевской церкви.

Сюда же следовало причислить только что принятую в семью крестницу Варвары Александровны еврейку Ольгу Львовну Хигерович и гостью Анастасию Степановну Ешевскую (дочь известного профессора-историка Степана Васильевича Ешевского). Ольга Львовна Хигерович была премилая еврейка, умненькая, очень способная, добрая, но... еврейка, несмотря на образование и достаточно хорошее воспитание. В это лето она кончила курс гимназии в Москве и, шестнадцатилетняя, только что приняла православие в Татеве. Перемена веры была решена ею под влиянием целого ряда семейных обстоятельств и при случайном участии в этой (кажется, бывшей весьма зажиточною) красавице еврейского типа, приехавшей в Москву по делам Варвары Александровны Рачинской. Ольга Львовна прожила несколько зим в Татеве, не умея толком разобраться в своих разносторонних способностях. Потом она пробовала быть учительницею, фельдшерицею, консерваторкою; наконец, она окончила курс медицины в Монпелье (на юге Франции). Теперь она, выйдя замуж за крещеного еврея-врача, кажется, живет в Баку. Она отлично играла на фортепиано и была очень толкова в музыке, но ленива и, если ей что-либо не удавалось, не была настойчива.³⁸⁴

К среднему поколению относились все остальные, из которых на первом месте был владелец Татев Владимир Александрович и, так сказать, вне места – краса и гордость Татева Сергей Александрович. Кроме этих двоих, коренными

татевцами, жившими в Татеве постоянно, безвыездно, были мать их, старушка-тетка и сестра Варвара Абрамовна. Все остальные гостили в Татеве подолгу, летом собирались иногда в таком большом количестве, что и в «большом доме» (а этот дом действительно велик) бывало иногда очень тесновато. При мне таких наездов был всего один, когда к вышеперечисленным прибавились еще Дельвиги (то есть Антоновичи – от поэта) из Тамбова и Мамоновы (Эммануиловичи – от художника), также из ближайшей родни Рачинских. В этот наезд за столом сидело, кажется, до двадцати, пожалуй, и больше. «Большой дом» был просто, но зажиточно обставлен, и книги в шкафах очень теснили его обитателей, почему «тутошные татевцы» ежегодно придумывали, куда бы еще экономнее для места поставить новые шкафы с книгами.³⁸⁵ Эти «благородные» обоим действительно придавали татевскому «большому дому» вид вполне благородно обставленного жилья, тем более что «садовник» был также свой, то есть бывший профессор ботаники Сергей Александрович Рачинский, а цветов в Татеве, и в доме, и около дома, было видимо-невидимо.

Татевое – лесное хозяйственное имение тысяч в десять-одиннадцать десятин земли – береглось Рачинскими для будущего. В то время, когда я узнал его, железная дорога была только что проведена до Ржева, при мне ее протянули далее до Вязьмы, и, наконец, лишь теперь Московско-Виндавская дорога³⁸⁶ прошла у самого Татева, значительно повысив цену этого сбереженного имения.

Эта дорога прошла мимо Дугина, известного имения князей Мещерских (от Панина), и мимо имения Сковородкина (станция Касня) моего приятеля Засецкого. В Дугине я как-то раз был, не помню хорошо, по какому-то делу, бывшему более предлогом посмотреть знаменитое имение на живописной Вазузе да еще раз взглянуть на милую княжну Наташу Мещерскую, часто бывавшую в Синодальном училище, чтобы слушать хор. Провеличайшего из оригиналов, даровитейшего комика и самодура Петра Павловича Засецкого, женатого на умной Екатерине Львовне Верещагиной, сестре мужа Елизаветы Леонидовны Львовой-Верещагиной, нужно было бы написать несколько

страниц. Сын их, Павел Петрович, мой товарищ по Казани, скончался экономом Синодального училища. На старике Засецком, когда-то ездившем из Вязьмы в Москву на «конях», «с подставами» лошадей по дороге, можно было видеть, до чего железные дороги изменили наши сообщения после доброго старого времени. Он проклинал те 7 верст, которые приходилось ему ехать (вместо 230-ти) до станции Мещерской, после же, когда станция Касня была в пяти минутах ходьбы от дома, ворчал на неудобства в том, что на какой-то из поездов надо было садиться ночью.

Но я ездил в Татеве еще на лошадях из Ржева, через знаменитую «Рачинскую гать» и только миновал один раз эти злополучные 65 верст, доехав до новой железнодорожной станции Оленино. Но этот один раз я ехал на похороны дорогого Сергея Александровича.

Эта дорога была сносна в сухую погоду и совершенно трудна в распутицу. «Рачинская гать» была выстроена Алексеем Антоновичем Рачинским у сельца Тарасово (30 верст от Ржева), стоила огромных денег и была отдана земству. Так как лесное болото, протяжением в пять-шесть верст, никогда не пересыхало, то нетрудно представить, какова была эта гать в распутицу. Рачинские шутили над дядюшкой, что до его гати имя Рачинских было всегда и у всех в чести, а с проведением гати нет человека, который не побранил бы их фамилию; они шутили, что гать неправильно зовется «Рачинской», так как ее следовало бы называть «Алексей Антонычевой», тогда бы поношение падало на одного строителя, а не на всю фамилию. Эту шутку Владимира Александровича над дядей я слышал за тем же обедом, за которым старушка Варвара Абрамовна, встревоженная нападением короеда на часть какого-то леса в Татеве, услышала от Константина Александровича такое утешение: «Не тревожьтесь, маменька, если и разоримся, то у нас есть богатая статья: мы будем возить Сергея из города в город и показывать за деньги». Грубость такой шутки была смягчена необыкновенным юмором, с каким она была сделана.

Усадьба Татеве, безусловно, великолепна, велика, изящна, живописна и благоустроена. Богатые, образованные художники

чувствовались в этой усадьбе на каждом шагу.

Мне особенно нравились четыре местечка в Татеве: скамеечка из старого мельничного жернова, устроенная на удачно выбранном бугорке, но дороге в правой стороне от «большого дома» и церкви; дорожка по правому берегу реки от прудовой плотины, два островка на пруду, искусственно устроенные при чистке того пруда, и высокий бугор за школой с совершенно открытым видом вдаль. Художественно были обрублены несколько ветвей у далеких берез в стороне от большой террасы главного дома. «Окошечко», получившееся оттого, чрезвычайно оживило круг зелени, густо окружавшей Татеву издали. Прелестно стоял в зелени у дома бюст Глинки. Очень красив был автоматический фонтан под плотиною.

«Большой дом» окружен в Татеве превосходным садом и затем парком; с разных мест этого парка открываются великолепные далекие панорамы, так как Татеву расположено на возвышенности, опускающейся к северо-западу довольно круто. Склон на восток, где собственно и усадьба, окаймлен живописным горным крутым и лесистым берегом реки. Села Татеву, как деревни, тут нет.

Итак, с 23 июня я немедленно приступил к занятиям с устроенным для меня учительским съездом самого разнообразного состава. Кроме учителей и учительниц, тут были дьякон, фельдшер, японец, еврейка, цыган, баронесса и такой слушатель, как Сергей Александрович. Я воодушевился и задал моим ученикам такую, именно «смоленскую» выучку, что в две-три недели мы успели пройти очень многое и вполне твердо, а хор я вымуштровал настолько хорошо для Татевы, что на 5 августа [Преображение Господне] мы выучили задостойник в одну спевку. В эти три недели я близко сошелся с Сергеем Александровичем, перетолковав с ним о множестве всякого рода предметов, и с тех пор наше сближение росло и не нарушалось ничем. Понятно, что я держал себя в отношениях к нему как почтительный ученик, так как мы были далеко не пара во всем, и потому последовавшие внимание и участие Сергея Александровича я ценил еще больше. В это же время я познакомился и со всею семьею Рачинских, из которых мне

более всех по душе пришлась высоко почтенная старушка Варвара Абрамовна и двоюродная сестра Сергея Александровича – Софья Николаевна. Варвара Абрамовна была миниатюрная, беленькая, чистенькая, чрезвычайно слабая старушка, огромного ума и удивительной доброты. Она пользовалась в семье полным авторитетом, и, кажется, без нее ничего не предпринималось из дел более крупных. Я видел эту хилую старушку по кончине Владимира Александровича и, признаться, подивился силе ее духа. Ее постоянный беленький чепчик был прелестен.

Софья Николаевна Рачинская, жившая в Меженинке, посвятила себя, подобно Сергею Александровичу, народному образованию. Конечно, ее симпатии более склонны к обучению девочек, и им она отдает все свои силы и средства. Школу для мальчиков у нее ведет несравненный Михей.

Этот «Михеюшка» – человек совершенно не виданной мною доброты и скромности. Он, правда, не особенно далек, но и не бездарен. Кротость его обнаружилась еще в бытность учеником Татевской школы. «Михей преуспевает в добродетели», – писал мне не раз Сергей Александрович. В судьбе этого Михея разыгрался неожиданный роман. Он собирался идти в монастырь и готовился к этому. Как раз в это время в Татеве приехал швейцарец-сыровар с дочкой, конечно не говорившей по-русски ни слова. Как возникла любовь Михея к дочери и взаимно, как они объяснились между собой, понять трудно, но однажды будущий монах пришел к своей «маме», то есть к Софье Николаевне, и со слезами объяснил ей, что он без швейцарки жить не может. «Мама» была немало удивлена, когда, заговорив с швейцаркой о любви к ней Михея, узнала о той же силе чувства к Михею и с ее стороны. Эти счастливейшие супруги живут в удивительном согласии до сих пор. Теперь уже несколько лет, как Михеюшка диаконствует в Меженинке.

Меженинская школа с Софьей Николаевной привела меня в полное восхищение. Мне даже показалось, что она лучше Татевской по той дисциплине и деликатности, какую могла завести только такая изящная, умная и кроткая, просвещенная

и любящая учительница, как Софья Николаевна. Имя Софьи Николаевны известно и в области собирания русских песен, где она сотрудничала известному Шеину.³⁸⁷

О самом Сергее Александровиче как учителе я могу сказать лишь немного, так как я лишь мельком видал его в школьных, собственно учебных занятиях. Несколько уроков, случайно и незаметно для Рачинского слышанных мною из другой комнаты, были классически просты, совершенно артистичны, особенно же по арифметике и славянскому чтению. Но слышанные беседы с народом, которые Сергей Александрович вел между утреней и литургией в праздники, были верхом искусства говорить с народом. В тех беседах Сергей Александрович при мне читал и объяснял Апостол и Евангелие, которые читались в те дни. Я не могу сказать, чтобы Сергей Александрович хорошо говорил, но содержание бесед, умение толковать с непостижимой простотой и ясностью были прямо удивительны. Так же был удивителен Сергей Александрович как старший брат в общежитии своих учеников, живший только для них, пивший и певший вместе с ними и проводивший со своими учениками все время, с утра до утра, кроме краткого посещения «большого дома» утром и вечером, чтобы поздороваться и проститься со своими. Я еще застал Сергея Александровича жившим в Татевской школе.

Летом Татевская школа тонула в зелени по своему фасаду против церкви, а полоска земли сажени в полторы ширины вдоль всей школы представляла собою изящный цветник. По дороге от школы к «большому дому» был огород с пчельником, около которых был целый ряд разных гряд с медоносными растениями. Здесь конался Сергей Александрович, занимаясь огородничеством, выпалывая гряды и доставляя себе вместе с доступным ему моционом и умственный отдых, и «солнечные ванны». Но центр жизни у школы все-таки был на террасе школы, очень обширной и облюбованной для бесед и чаепитий. Тогда общество помещалось и на ступеньках террасы, и за столом, беседы же лились рекою. Кажется, и Сергей Александрович очень любил эти собрания, как и питье на воздухе двух-трех чашек крепчайшего чая, просто темного, чуть

не черного. На лето собирались почти все старшие ученики Рачинского и гостили в родной школе иногда и неделями. Это были или учителя школ, или семинаристы, уже понимавшие, что сделал для них Рачинский и как много обязаны ему не только они, но и вся татевская округа. Немудрено поэтому представить трогательную, любовную идиллию этих продолжительных бесед, особенно в хорошую летнюю погоду. Прилагаемая фотография³⁸⁸ отчасти рисует такую беседу на крыльце Татевской школы в яркий летний полдень среди массы цветов и зелени.

С левой стороны стоит подбоченившись Миша Емельянов (он же «Менелай»), а затем Сергей Никодимыч Сеодзи (японец)³⁸⁹, затем Семен Толстой (ныне священник в Крыму), затем наверху – ?, затем внизу Антон Захарович Ольховиков.³⁹⁰ Сидит С.А. Рачинский, против него с бородой – учитель Воскресенский, стоит – ?, внизу направо сидят левый – ?, правый – Адриан.

Зимой Татевская школа была похожа на улей, так как была битком набита детьми. Живших ребят, то есть из дальних деревень, было так много, что спальное помещение было устроено для них в два ряда, один над другим, а холод заставлял детей сидеть дома и, конечно, работать без усталости. Подобно своему учителю, отдыхавшему лишь от перемены труда, и дети, в меру своего возраста, усвоили себе такую же привычку, почему праздности в Татевской школе не только не было, но и не могло быть. Игра в умственный счет была чем-то совершенно поразительным и достойно увековечена Богдановым-Бельским в Третьяковской галерее в Москве.³⁹¹ Ученики, подобно учителю, то писали ноты, то рисовали, то отгребали снег, то кололи и приносили дрова и т.п. Сергей Александрович был у них всегда под рукой. Его помещение состояло из маленького кабинета и такой же спальни. Здесь он работал, лишь отдыхая от школы. «Я учу 12 часов в день и совершенно истощен», – писал он мне в те годы, и, по правде сказать, было удивительно, как мог находить в себе силы для такого труда такой слабый и болезненный человек! Но надо помнить еще, что его отдых состоял лишь в

кратковременном уединении и приведении себя (но с книгой в руках) «в горизонтальное положение». К последнему Сергей Александрович был вынуждаем двумя тяжкими своими недугами, приступы которых были очень мучительны. Только видевший Рачинского в школьном его житъе, только проведенный с ребятами ряд годов может понять меру труда этого «монаха в миру», как иногда выражался о себе Сергей Александрович; только видевший Рачинского на обширном крыльце его школы, в кругу учеников, в беседах его по всякому поводу может почувствовать меру служения Рачинского на благо «малых сих», меру его любви к людям и его наиполнейшего во всем самоотречения. Татевская школа была какая-то идиллистическая школа, в которой работали с утра до вечера, отдыхали полной радостью отдыха, не знали ни принуждения, ни руководства со стороны, а работали столько, сколько кому успевалось. Отлично помню глупейшее положение приехавшего ревизора-инспектора, нашедшего школу хорошо, хотя и не выполнявшую какие-то министерские распоряжения. Довольный инспектор, думая «поддержать учителя в глазах учеников и их родителей», возгласил: «Дети, освобождаю вас сегодня от занятий!». «За что же?» – услышал горемычный инспектор... «Что такое!?» – спросил инспектор Рачинского и получил ответ: «Они просят не лишать их ученья и просят тем не наказывать их».

Мне рассказывали, что инспектор, не понявший возможности поучиться уму-разуму у Рачинского, позволял себе не раз являться в Татевскую школу и предъявлять свои суждения в мере и даже свыше меры своих полномочий. Вероятно, не без влияния Сергея Александровича наконец его убрали и назначили другого, по фамилии Цапинка. Новый инспектор счел долгом побывать в Татеве и как бы смягчить неудачные и неуместные воздействия своего предшественника. В беседе по этому случаю Цапинка сказал что-то неосторожное, а Сергей Александрович, забыв, что «Цапинка» есть фамилия его гостя, неожиданно вспылil при упоминании гостем своей фамилии и счел это слово за намек на бывшие по его адресу выходки. «Ни цапинки, ни царапинки не потерплю я в этой

школе от вас, господин инспектор», – вскричал он, выйдя из себя... Конечно, *qui pro quo*³⁹² вскоре объяснилось, и инцидент тут кончился.

В этой школе я увидел в несколько иной, однако, форме ту же прелесть, которая приводила меня в восхищение в Казанской крещено-татарской школе. Разница была огромна лишь в обстановке и личном составе, но пламень ученья, неподражаемая внутренняя дисциплина были вполне одинаковы. В Казани учились татары, непостижимым для меня образом понявшие силу ученья в возрасте ребячьем, иногда семи-восемилетием. Эти татарчата с какою-то силою отшатнулись от мрака беспросветной и обидной жизни полуверов, когда-то крещенных, но потом брошенных и лишь обираемых духовенством и полицией. Их опутала мусульманская пропаганда, оттолкнула русская племенная рознь, и только простой бывший плотник Василий Тимофеев да длинные потом нити из кабинета Н.И. Ильминского подогревали и направляли эти удивительные по силе духа, истинно просветительные для инородцев, христианские школы. В них учили немногому, но огонь в них горел, и тысячи людей грамотных, горячо верующих, крепких духом вышли из этих школ и создали для инородцев совершенно новое, небывалое еще у них молодое поколение, создали целую литературу инородческого богослужебного рода, целую литературу инородческого искусства.

Никакого «монастыря» или, противоположно тому, «смутного желания выйти в господа», указываемых Рачинским в своих «Заметках», в инородческом образовательном движении, созданном Н.И. Ильминским, решительно не было; не вышло в нем ничего сходного с художником Н.П. Богдановым-Бельским³⁹³, но, наоборот, все инородцы, получившие высшее образование, ушли в своей жизни в то же инородчество, а не на сторону.

Татевская школа была основана первою ее учительницею Варварою Александровною Рачинской сейчас же после 19 февраля 1861 года. Позднейший ее учитель, Сергей Александрович, отдал школе свои силы после выхода своего из

Московского университета вследствие известной борьбы молодого со старым.³⁹⁴ Обстановка школы в барской усадьбе, ученики из детей бывших крепостных, учитель-профессор из местных помещиков и, наконец, денежные средства совершенно не соответствовали татарской школе на выезде из Казани с учениками, не знавшими крепостного права, с учителем-крестьянином и с делом, начатым прямо без гроша. Общее у этих школ – великая любовь к свету и ближнему – дала общую же им неудержимую, твердую службу на благо людей. В Татевской школе было более художества, в казанской – миссионерства. В Татевской школе работал большой человек с чудной душой, **не думавший о будущем**³⁹⁵, работавший сам до самозабвения и со всею силою своей любви, опытности, знаний и средств. В казанской школе, бывшей сердцем целой системы «школ-отраслей», посылавшей первых своих восторженных, хотя и мало ученых учителей, «сам» «Никола-бабай», не уступавший Рачинскому в любви к людям, в уме и самопожертвовании, работал только для будущего в своем деле; он не давал уроков, не жил в школе, а только руководил делом издали и не был тот артист-учитель, каким, несомненно, был с головы до ног художник Рачинский. Оба эти удивительные народолюбца – оба идеалисты – были совершенно различны между собой. Они сторонились немного друг друга, и, хотя высоко чтили друг друга, но не встретились ни разу. Вот несколько строк Рачинского ко мне, посланных в Казань, куда я ездил проститься и похоронить Н. И. Ильминского. 11 декабря 1891 года: «Последнее письмо из Казани отнимает всякую надежду на выздоровление Николая Ивановича, и увы! даже грешно желать продления этой драгоценной жизни, до того жестоки последние страдания от мучительного недуга, похищающего его у нас»; 26 декабря: «Письмо из Казани утешило меня. Мне было отрадно узнать, что святой наш старец угасает без тех ужасных страданий, коих я опасался. «Жив» ли он еще? Едва ли! Но нужды нет! Для меня он вечно останется живым, хотя его никогда не видал. Долгое отчуждение от мира приучило меня мало отличать умерших от отсутствующих. Николай Иванович, наравне с Аксаковым, Хомяковым,

Самариным, для меня умереть не может»; 3 января 1892 года: «Получил номер «Московских ведомостей» с телеграммой о кончине Николая Ивановича. После отправки вашего письма он прожил еще 4 дня! Дай Бог, чтобы они прошли столь же безболезненно, как предыдущие. Потеря велика, и, как каждая из потерь последних лет, она заставляет оглядываться на молодое поколение, искать тех новых сил, которые могли бы заменить наших угасающих старцев. Увы! их не видно, или я становлюсь так стар, что разучаюсь ценить молодое и новое?»; 24 января: «Благодарю за трогательные подробности, которые вы сообщаете о кончине незабвенного Николая Ивановича. До конца он для всех нас [был] великим учителем, и самая смерть его – величайший из его уроков...».

Переписка их была незначительна и кратковременна.³⁹⁶ Они поняли разность своих дорог от условий их личностей и влияний окружавших обстоятельств. И действительно, художник-ботаник и аристократ был совершенною противоположностью лингвисту и администратору-либералу, и притом малоодаренному по отношению к искусству, – но оба были людьми вполне исключительными по талантливости, уму, образованию и самой симпатичной деятельности. Оба они сполна отрешились от себя и сполна отдались своему делу.

Приблизительно такое сравнение выработалось у меня после моего первого пребывания в Татеве. В это время я близко знал Н.И. Ильминского, начал отставать от инородчества, увлекался рукописями и мало знал Рачинского. Такое же суждение, но с большим развитием в сторону Сергея Александровича как художника, я имею о нем теперь, дополняя лишь от себя удивление свое перед ним как перед человеком. Сокращая труд своего письма, прилагаю здесь мою небольшую статью о Сергее Александровиче, написанную сгоряча и неожиданно для себя [напечатанную] в «Русской музыкальной газете».³⁹⁷

Нетрудно угадать, с каким поучительным для себя интересом я провел в Татеве первые мои там три недели. Я работал с каким-то увлечением и привязался к своей аудитории, видя и ее внимание к моим занятиям с нею. Привлекала меня и

семья Рачинских в «большом доме», где я нашел умное понимание серьезной музыки, преимущественно классической, и где я ознакомил Рачинских с казавшимися для них недоступными последними вдохновениями Бетховена. Варвара Александровна оказалась ученицею отца Клары Шуман, известного Вика, знающею Баха, Генделя, Моцарта весьма основательно. Мое искусство играть в четыре руки с барынями, тогда еще не утраченное, пригодилось и для игры с Ольгой Львовною Хигерович, оказавшеюся бойко играющею с листа и восприимчивою пианисткою, а многие из обитателей оказались охотно слушавшими игру в четыре руки. Вскоре наступившее мое сближение со всеми дало мне возможность отдыха между ними во время перерывов в школьных занятиях.

Хорошо устроена была домашняя жизнь в большом татевском доме. Вставали (разумеется, кроме молодежи) в 6–7 часов утра, обедали в час дня, пили чай в 5 и ужинали в полдесятого вечера. После обеда все татевцы, кроме молодежи, отправлялись спать часа на полтора-два, так же, как и сейчас после ужина, то есть в 10 часов вечера. При полной свободе жизни чувствовалось, что все работают много и серьезно, так как все сидели по своим углам, и только за общим столом собиралась вся семья, оживленная, довольная, дружная. Домашнюю жизнь Рачинских можно назвать только высоко-порядочною и зажиточною, даже довольно широкою, без всякой надобной роскоши и без всякого излишества.

Почва сношений моих с Сергеем Александровичем в области русского древнего искусства оказалась для меня глубоко поучительною в смысле его способности к широким обобщениям и получения от него множества замечаний общего характера об искусствах вообще и подробностях русских искусств в частности. Огромное образование Рачинского, художественное чутье и теплая любовь ко всему русскому давали ему возможность делать иногда самые остроумные сближения и увлекаться самыми неожиданными подробностями. В церковном древнем пении, особенно же в крюковой нотации, он не имел никаких сведений, но, слушая мои о том и другом посильные ему пояснения, он иногда самым поразительным

образом вдруг угадывал подробности, тут же сближал их, воодушевлялся и читал мне экспромтом целую лекцию о предмете, знакомом мне ранее его, но не разгаданном мною в новом для меня значении.

Странно записывать о том, но я помню свое изумление, когда Рачинский объяснил мне различие кириллицы и глаголицы, когда попавшаяся ему под руку брошюра Библейского общества («Священное Писание на языках вселенной», где стих «Тако бо возлюби Бог мир...» напечатан всевозможными шрифтами разных языков) дала ему возможность сразу сделать ряд блестящих замечаний о географическом распределении шрифтов, об удержании их различными отраслями одного племени, несмотря на расселение, о влиянии климата и поверхности на языки и о применении к последним форм шрифтов, об изменениях шрифтов во времени и т.п. От письменной речи Сергей Александрович перешел к нотной, и тут также пошла цепь блестящих остроумных сближений... В другой раз мы как-то разговорились о сохранности в нашем языке древнейших словооборотов и как бы системы в умении народа последовательно сберегать красоты языка; наша беседа (я отлично это помню) повернулась в сторону мотивов русской архитектуры по поводу сближения Сергеем Александровичем конька на школьной крыше и могильного крестика с русской покрышкой – и тут воодушевившийся Сергей Александрович прочитал мне экспромтом целую поэму. Он был невыразимо прелестен в состоянии такого воодушевления, его радостные вспышки были какие-то совсем особенные. Вспоминаю я также и тот глубокий интерес, с которым он только что прочитал и потом рассказывал нам о способности животных, особенно же насекомых, видоизменяться в применении к обстоятельствам их жизни, даже изменять свою наружность, искать соседство неодушевленных предметов, сходных с ними по окраске или очертаниям, чтобы избежать опасности, и т.п. В отдельной беседе наши [речи] дошли до «жестов, краски стыда, выражения ощущений» (Дарвин) и вдруг перешли к политике, международному праву и т.п. Любил я Сергея Александровича

слушать в этих беседах, полных содержания и блестящего остроумия.

Один раз в этот мой приезд (но и никогда после) я случайно увидал Бачинского всплывшим на одну барышню... Чем она его прогневала, не знаю, но, вероятно, чем-либо незначительным, так как она сердечно любила Сергея Александровича и, вероятно, пересолила в желании угодить ему. Вспышка продолжалась не более полминуты и была резка, даже несдержанна. Придя в себя, Сергей Александрович просто не знал куда деваться и долго ходил хмурый, хотя давно сгладил свою вину немедленными извинениями.

На меня, близко знавшего Сергея Александровича и особенно тщательно изучавшего его педагогические статьи, личные сношения с ним производили каждый раз самое благотворное, успокаивающее действие. От этого я охотно ездил в Татеву, иногда на очень короткое время, даже на один день, из Москвы, чтобы, так сказать, приобщиться к татевской тишине и чистой душе Рачинского. От этого же я очень любил вполне искренне и подробно писать ему о всяких делах своих и писал ему часто в такой степени, что, вероятно, более 300 моих писем имеется в том «обозе к потомству», который теперь хранится в Императорской Публичной библиотеке.³⁹⁸ И в самом деле, татевская зимняя тишина и беседы с таким человеком, как Сергей Александрович, врачевали мою душу, особенно же в пору моих служебных невзгод с Ширинским-Шихматовым. Уже одна зимняя дорога от Ржева до Татевы в 65 верст давала мне случай подышать много свежим воздухом и тем успокоить расхолодившиеся нервы. Беседы же с Сергеем Александровичем умиротворяли меня, как и его советы, очень надолго. Я думаю, что я был в Татеву раз до пятнадцати, так как бывали годы, когда я ездил туда по два раза. Особенно утихло Татеву после кончины Варвары Абрамовны...

Татевский священник о. Петр [Григорьевич Марков] служил превосходно, с какою-то ясностью и особою простотою, трогательно читая молитвы и как-то особенно интонируя. Этот глубокий старик, поступивший в Татеву со школьной скамьи, тут

же кончил свои дни, прослужив, кажется, около 50-ти лет, пользуясь общим уважением всех.

Совершенно противоположностью отцу Петру был сосед японского епископа Николая по школьной скамье дьячок Иван Алексеевич Каченовский, горчайший пьяница, потерявший способность оттого управлять своими голосовыми связками в начале какого-либо пения. Этот певец, прежде чем утвердиться в тонике напева, непроизвольно выделял какую-то непонятную громкую руладу и затем уже пел как следует (разумеется, говоря относительно), проделывая, однако, такие же рулады при каком-либо новом и трудном для него интервале. Попробую приблизительно записать это пение. Например, Иван Алексеевич поет хоть «Аминь» и «Господи воззвах» восьмого гласа:

Продолжение напева не представляло уже таких прелюдий и шло обычным порядком, так как горло Ивана Алексеевича уже успевало утвердиться в желательном для него звуке. Я помню, что в первый момент, когда я услышал такие рулады, я вообразил, что посыпалась штукатурка или за окном очутились два-три старых козла, так как трудно было представить что-либо подобное слышавшемуся из горла церковного служителя. Благородные татевцы снисходительно терпели Ивана Алексеевича, привыкли к нему и в веселую минуту называли его «особенностью» и «знаменитостью», «солистом» и т.п. Если не ошибаюсь, Иван Алексеевич все-таки был о себе как о певце мнения довольно высокого... Терпения Рачинских, однако, хватило лишь до 1892 года, так как с каждым годом слабели связки «феноменального дьячка», и его рулады стали прямо невозможны.

Одной из особенностей татевской жизни и жизни окружавшей Татеву местности было впервые основанное здесь Общество трезвости, нашедшее по призыву Рачинского такой широкий отклик повсюду. Признаться, сначала я как-то не вник в это дело, хотя статья Рачинского, конечно, была мне знакома. В первое же воскресенье после обедни я видел, однако, простой обряд присоединения к Обществу трезвости двух или трех новых членов. Эти люди в присутствии Сергея Александровича

отслужили молебен и дали первое обещание быть трезвыми на один год.³⁹⁹

Я разговорился со вновь принятыми добровольцами-трезвенникам и узнал от них, что они решили дать зарок **после** достаточного уже воздержания, убедившего их в выполнимости обета трезвости.

Оказалось, что число членов Татевского общества было далеко за несколько тысяч человек и самыми энергичными проводниками трезвости были крестьянские бабы, особенно же грамотные. Нетрудно представить нравственное и даже экономическое влияние Татевского общества трезвости на околотатевскую местность. Нетрудно представить и войну, предпринятую против трезвенников содержателями винных лавок и даже, странно сказать, полицией и акцизным ведомством; в некоторых случаях воевали против трезвости даже духовенство, сельские сходы с их мироедами и кулаками, компании наезжих гостей, находившие, что сельские праздники, мирские приговоры, свадьбы выходят сухими и скучными. Были даже голоса о противогосударственном значении Общества трезвости в смысле уменьшения государственного дохода; кто-то доболтался до того, что трезвенники нарушают свой обет святым причастием и питьем после того теплоты и т.п. Оригинальнее всего были рассуждения, не без серьезной и даже многозначительной подкладки, о неимении никем права произносить в церкви обеты перед каким-то «обществом», не утвержденным надлежащею властью, обходя эту власть и прикрываясь молебном и услужливостью священника, зависимого от помещика, не испросившего благословения архиерея, и тому подобный вздор. Что может засвидетельствовать такое умничающее пустословие, кроме некультурности наших «образованных», а иногда и «власть имеющих» людей?!⁴⁰⁰ Обидно вспоминается вполне аналогичный случай, когда Академия наук начала умничать в изменениях русского алфавита для письма на инородческих языках. Н.И. Ильминский ввел в своих изданиях несколько означений, например, **Н** (то есть Н и Г) или **Њ**, **Ѓ** и т.п. Ученые начали «всесторонне» обсуждать вред, пользу, будущее, политическое значение,

сепарацию инородничества и т.п. – не хуже мудрствований о трезвости. Забавней всего то, что самолюбивые «специалисты», споря между собою, часто спускаются до ссоры, даже брани не столько за правду, сколько из желания поставить на своем... И это культура!

Немудрено представить, что кроме учебных занятий в школе, кроме ведения Общества трезвости, переписка о котором вдруг разрослась у Сергея Александровича до вполне неожиданных по величине размеров, тот же Сергей Александрович в мирке своих учеников и их отцов был вынуждаем к самой разнообразной деятельности. Этот, в сущности, вполне хилый и даже больной человек был без всякой жалости эксплуатируем каждым во всей мере нужды каждого. Оттого Сергей Александрович был постоянно то врач, то сват, то юрисконсульт, то мирил какую-нибудь семейную рознь, то вразумлял какого-либо забулдыгу. Слабые силы его надрывались обыкновенно к декабрю-январю, когда он уезжал в Санкт-Петербург, чтобы сколько-нибудь передохнуть в квартире своего друга К.П. Победоносцева. Но истощение наступало в злые зимы гораздо ранее. Еще в 1886 году (стало быть, в возрасте 53 лет) он писал мне в начале ноября: «Один я (то есть в школе) никуда не гоюсь, – дошел до такой подлости, что мечтал (и, конечно, не осуществил) о поездке в Петербург, чтобы дней 10 полежать на диване с книгою в руках: здесь от 6 часов утра до 10 часов вечера никакой отдых невозможен». Позднее, когда Сергей Александрович стал заниматься школою гораздо меньше, петербургские отдыхи стали нужнее от упадка сил. Но и тут Сергей Александрович не мог отдыхать! Он был слишком интересным гостем и имел в Петербурге много старых привязанностей. То и другое, при всевозможных и упорных ограничениях с его стороны, все-таки заставляло его либо ездить с визитами, либо принимать посетителей. «Отдых» обращался собственно во временную перемену татевской жизни на светско-петербургскую жизнь, причем последняя в области синодальных дельцов иной раз изводила Рачинского своею столичною специфичностью, лживостью и попытками

эксплуатировать дружбу Рачинского с Победоносцевым для своих делишек и личных счетов.

Между тем татевская семья начала получать тяжелые испытания, которые, конечно, не обходились дешево и моему новому другу. В злополучную зиму 1886/87 тяжело болела престарелая мать семьи, каким-то чудом выздоровевшая, но и ставшая, зато совсем уже дряхлой старушкой; вслед за тем хозяин Татев Владимир Александрович Рачинский безнадежно захворал раком на языке и, пострадав после операции около года, измучив всех любивших его, оставил заботы о Татеве таким плохим хозяевам, как престарелая мать, идеалист-педагог и никогда не хозяйничавшая Варвара Александровна Рачинская. «Как сложится моя «будущая жизнь», еще не знаю, – писал Сергей Александрович, – остается благодарить Бога за истекшие 12 лет и уповать на Его святую помощь»; 10 апреля: «Вы еще не имеете ясного понятия о той мышеловке, в которую я сам себя поймал. Вот, например, наступающая весна (1887): до первого мая – уроки в школе; от первого до Троицына дня – экзамены в 10-ти школах; тотчас после Троицына дня – летние занятия; надлежит двух молодцов приготовить к учительскому экзамену в сентябре, нескольких птенцов подготовить к роли помощников учительских, и опять все лето школа будет полна духовных мальчиков, художников, etc. А главное – конца всему этому не предвидится». Пополню эти строки штрихом из другого письма этой поры, 17 апреля: «Больные наши (матушка и брат) все еще в состоянии неудовлетворительном; вчера мы праздновали 80-летие Алексея Антоновича – увы! без обедни, ибо причт застрял в приходе по «нездоровью» отца Петра. Вечером был преферанс, в котором участвовал и я». Или 28 июля: «У меня нет ни минуты свободной, и чтобы набросать эти строки, пропускаю обедню. Покос кончился, и у меня на руках три разряда учащихся, три живописца, два японца, etc. Школа полна как улей и всего дела не переделаешь... а здоровье мое плохо и все идет на убыль».

Почтенный отец Петр, великолепно служивший, не был членом Общества трезвости, почему понятно сообщение, что разумеется под словом «причт» по

адресу колоратурного певца Ивана Алексеевича и чем в пасхальный объезд заболел о. Петр. Нетрудно также представить преферансное трио из 80-летнего юбиляра, его старшей сестры – восхитительнейшей Екатерины Антоновны и такого партнера, как Сергей Александрович, не имевшего об игре никакого понятия, безумно рисковавшего, подводившего вистовавших с ним и потому сердившихся старцев-добряков. Я видал не раз эти уморительные преферансы, кажется, только и возможные в Татеве. Конечно, такие спектакли были каждый очень непродолжительны, так как Сергей Александрович рвался в школу, а старцы скоро утомлялись от живо принимавшихся ими впечатлений. Понятно, что игра была безденежная, и развлекали этих игроков всюю силою юмора поочередно почти все летние татевские гости. Стоит упомянуть и о том, что 80-летний Алексей Антонович был живописец, владевший в эти годы хорошо только одним глазом. Его картины потихоньку подправлялись то Владимиром Александровичем (хорошо рисовавшим), то Сергеем Александровичем, то Николаем Петровичем Богдановым-Бельским (тогда еще мальчиком). Это называлось «игрой в четыре руки». Не подозревавший такой помощи старец-живописец был в восторге от своих картин и покалывал их своим же сотрудникам, радуясь удаче того или другого местечка в картине и не представляя себе их помощи именно в этих удавшихся ему местах.

Отрадно вспомнить таких людей, когда они составляли целый кружок, дружный, полный взаимной любви и высоко отличавшийся от окружающего какою-то особою, вышею, мирною, умною жизнью. Доживавшие свои спокойные дни, глубокие старики и старушки были мне как-то особенно милы своею прозрачною чистотою, наивною и вместе глубокою, строгою мудростью, необыкновенно любовным отношением к молодому (50-летнему) своему поколению и еще более к «детям», то есть к женатым внукам и замужним внучкам. Они

снисходительно и терпимо уступали обоим поколениям в разногласиях своих катехизисов, но и имели многое такое, в чем пасовали перед ними те же поколения, долее их учившиеся и долее знакомые с последними успехами науки и техники. В свою очередь, оба поколения нашли в себе *modus vivendi*⁴⁰¹ со стариками в каком-то культе почтения перед их житейскою опытностью и любвеобильным, строгим мышлением. Видал я на своем веку немало людей, но под пару Варваре Абрамовне Рачинской могу подобрать разве Гордия Семеновича Саблукова в Казани, учителя такого ученика, как Н.И. Ильминский.

Последний мотив о здоровье проходит через все письма Рачинского и действительно свидетельствует, как бодрый его дух выискивал в его хилом теле хоть какие-нибудь силенки, чтобы отдать их сейчас же любимой школе. По письмам можно судить о столь изводившей его постоянной хвори, постоянной надобности «принимать горизонтальное положение», урывать у себя минутки труда во время «расставания с инфлуенцей». Даже отдыхи в Петербурге начали не удаваться: «Я пробыл здесь 9 дней, а путного ничего не сделал, ибо я сделался добычею дам, – пишет он мне. – Все подруги моей юности встретили меня с полным дружелюбием». Развитие внешкольной деятельности в виде заботы о соседних школах, основанных тем же Рачинским на свои средства, заботы о подросших уже и готовых учителях из старших учеников Рачинского совпали со временем, когда здоровье пошло сально на убыль, а работ и забот прибавлялось с каждым годом. Кончина брата, а затем и матери подкосила и Сергея Александровича. Он понял необходимость постепенной ликвидации своего дела, и с этих пор скорбная нотка о постоянной убыли здоровья звучит почти в каждом письме. «Могу еще давать по два урока в день», – пишет в 1891 году тот, кто несколько лет назад учил по 12 часов в день; 12 марта 1890 года: «Сколько еще у меня юношей, за которых я несу ответ перед Богом! Вижу теперь, что я действовал до сих пор с смелою отвагою и что только особая милость Божия может

довести до вожделенного конца все предпринятое мною»; 30 мая: «С кончиною матушки Тате во вдруг постарело...»; 13 августа: «Я начинаю заниматься «подкидыванием» моего многочисленного потомства, в предвидении близкого времени, когда меня уже не будет»; 21 ноября: «Здоровье мое плохо, и вообще житью моему в школе приближается конец»; «чтобы не даром бременить землю, езжу, когда возможно, по школам, число коих растет», «сам же учить положительно не в силах», «способен лишь на работу полумеханическую» – «хорошо, что еще хватает меня на посещение моих школ», а то «рисую узоры для ткацкой в Тархове либо переписываю ученикам ноты...»; «Татевская школа скоро обратится в школу самую заурядную», «но вы понимаете, что оборвать вдруг 18-летнюю деятельность мне невозможно...». Так началось постепенное сокращение школьно-учительской деятельности Рачинского, почти за десять лет до его кончины. Его учительство, его дух поселился в даровитейшего Василия Александровича Лебедева, и бывшее в Татеве беззаветное служение перешло в Дровнино, развернувшись там в более широкой форме учительской школы. В Татевской школе беззаветно же трудились ученики-продолжатели, но, конечно, это было далеко не то ученье, какое вел сам виртуоз-учитель. Ослабела постепенно и посещаемость школ. Сначала Рачинский, живший уже в «большом доме», но все еще не находивший в себе возможности отрываться от своего детища, посещал школу во всякую удобную для него минуту. Но вскоре понадобилось устроить по дороге новую садовую скамеечку для отдыха старца-педагога, силы которого были уже слабы даже для столь недалекого перехода...

Зато развернулась во всю ширь новая сторона деятельности Рачинского – деятельности руководителя других своим опытом и мудрым советом. Нетрудно было эксплуатировать Рачинского по этой части. Он был доброжелателен, высокообразован, чистосердечен и опытен, а такой советник был годен для всякого. Общество трезвости, сферы духовно-учебного мира, родня, друзья, всякие знакомые – все это ухватилось за Рачинского обеими руками, писало

множество писем, образовавших столь большой «обоз к потомству».

Трезвость была для Рачинского как бы заповедью для нашего быта, исполнению которой он придавал огромное общественное значение. Сам он был абсолютно трезв. Его чистая душа болела и скорбела не только при виде омерзительно выпившего человека, но даже при виде людей, пьющих вино без всякой надобности. Можно, конечно, спорить против крайней трезвости, но нельзя не согласиться с тем, что мы, русские, сберегли бы огромные богатства, материальные и духовные, если бы были более трезвы, даже бы пили, но толковее... Понятно, что известное воззвание о трезвости, так сильно вырвавшееся из глубоко огорченной души Рачинского, имело такой изумительный успех только по нашей восприимчивости исстрадавшейся, изнервничавшейся народной души, давно споенной нелепою политикою тех же правительствовавших сфер. Остатки здравого смысла, остатки здравого стыда, уцелевшие в наших полупьяных мужских головах, в больных слабостью воли мужских душах, встретились с энергиею горемычной, но трезвой женщины, с вразумлениями самой очевидной и всесторонней пользы от трезвости. Чистая любовь, чистая вера, руководившая Рачинским при писании этих пламенных страниц, не могли не произвести огромного впечатления, и дело началось само собой, вне воздействий и вне содействий людей, которым бы первым надо было ухватиться за горячее слово Рачинского.

Стыдно вспомнить, что первыми не понявшими это слово были наши священники и монахи, затем министерство народного просвещения и всякие умники...⁴⁰² Оттого никому так не доставалось в пламенных речах Рачинского, как этим изуродованным у нас руководителям всякого просвещения. Рачинский, тот самый Сергей Александрович, которого я знал за деликатнейшего человека, обладавшего величайшею терпимостью, терял самообладание, был груб и резок каждый (без исключения) раз, как только мысль его, труд его сталкивался с представлением о вмешательстве, о помощи в деле трезвости какого-либо сана или чина, вооруженного

циркуляром или силою своего прогнившего казенного мышления. И в печати, и в письмах, и в разговорах, частных и официальных, благовоспитанный, чистый, незлобивый, любвеобильный Рачинский не владел более собою, как только речь шла о пьяном грубом монахе, или попе, или растерявшем свой ум чиновнике-педагоге. Понятно, что выражения Рачинского не были грубы, но разве мало того, что из-под пера или из уст такого человека невольно вырвались слова, скажу, малосдержанные? Какие страдания должна была пережить эта душа, чтобы, как бы забывая себя, записать: «наше беспутное духовенство» или «министерство народного просвещения обладает привилегиею непонимания» и т.п.? Но после об этой скорби Рачинского... Проповедь трезвости, почин в этом деле есть не менее великая заслуга перед родиною, как и проповедь умной (а не синодской) народно-церковной воспитательной школы. Ума народного, ума лучших людей хватило, чтобы понять силу, кротость, любовность мысли Рачинского, несмотря на ее перевираание всякими властью имущими комитетами и нелепо выслуживающимися мелкими сошками.

Modus vivendi был найден в двух словечках – «кроткое упорство», с каким он наконец бросил борьбу с вразумлявшими его, иногда «шедшими далее», «развивавшими блестящую мысль» шли «всесторонне обсуждавшими"... Рачинский выработал в себе способность миновать этих людей, а при их воздействиях на него обнаруживать «кроткое упорство» и все-таки вести свое дело по-своему. Это не походило на «обращение в свою веру», которым занимался Н.И. Ильминский, намечавший себе нужного ему человека или такого встретившегося на дороге, который мешал ему по незнанию, либо по недоразумению, либо по излишней самоуверенности. Мне представляется именно по существу характера деятельности Ильминского, обладавшего административным даром, что Сергей Александрович и не нуждался в чем-либо большем, кроме «кроткого упорства». Его уважение к свободе других людей, его глубокая, благородная убежденность в правоте и надобности своей мысли заставляли его скромно ограничиваться провозглашением своей мысли и затем

культивированием ее в обществе только тех людей, которые сами подходили к Рачинскому. «Кроткое упорство», таким образом, предназначалось Рачинским для себя при встречах с подходившими к нему недружелюбно или несочувственно, если беседы и препирательства Рачинского все-таки не вразумляли их и мешали ему вести продолжение и утверждение своего дела. Рачинский был слишком мягок, скромен, слишком артист, да и окружавшие его школы и их администрации не давали ему в руки такое дело, в котором могли бы развернуться его организаторские способности. В школьной его деятельности вырабатывалась его артистическая природа, внесшая именно личный элемент в первую голову всего дела. Он заменил превосходный административный дар Ильминского своим самопожертвованием, самоотречением, поверхностным, так сказать, высшим, принципиальным руководством над другими школами, развитием в своих учениках тех же личных элементов, той же виртуозности. Ильминский, например, совсем не ездил по школам, терпеть не мог экзаменов...

Понятно, что деятельность Рачинского в области трезвости представляет собою дальнейшее, высшее проявление его учительства, в котором он неминуемо должен был встретиться с надобностью организовать дело и руководить им, по крайней мере на первых порах. Дело было в сущности своей делом огромной важности, и огромное, еще большее значение имела бы неудача такого дела, создававшего Рачинскому тяжкую ответственность перед самим собой. Живо, немногими словами, но полно обрисовал Рачинский свое душевное состояние, увидав пьяного ученика: «... он был совершенно пьян. У меня захватило дух от раскаяния и стыда. Оказалось вдруг несомненно, неопровержимо, что для этого юноши, столь счастливо одаренного... я не сделал ровно ничего... не закалил его воли...». Для Рачинского вдруг выяснилось (около 1880 года), что ему возможна более широкая, более плодотворная деятельность высшего учительства в виде проповеди трезвости. Конечно, он не задумался взять ее на себя, начав дело потихоньку, в том же тесном татевском кругу. Семь лет прошло между встречей с учеником и первым публичным проявлением

этой проповеди. Страстное, убежденное, любвеобильное слово Рачинского тронуло сердце, и автору вдруг, может быть и в неожиданной для себя мере, пришлось очутиться в положении, при котором «кроткое упорство» было даже и ненужно... «Я поймал сам себя в ловушку, – пишет он, – моя корреспонденция принимает непосильные для меня размеры...».

На самом Рачинском оправдались его же слова: «Всякое евангельское слово, сказанное с любовью, в состоянии моего бессилия, принесло плод сторицею». Общества трезвости быстро начинали расти и укрепляться силою духа, силою евангельскою, силою, оградно заявившею о себе каждому трезвеннику восставшей в нем твердой волей.

Первые шаги этих обществ стоили Рачинскому невероятных трудов. Он, художник, писал всем, потом начал печатать свои письма, влагая в свою проповедь ту же свою обаятельную личность, которая создала и Татевскую школу. Общества трезвости начали роиться, и движение приняло огромные размеры. Пришлось вспомнить вновь о «кротком упорстве», ибо в дело вступились всякие непрошеные канцелярии. А годы шли, хилые телесные силы слабели, сильнее только светились прелестные глаза Сергея Александровича из-под густых и уже седых бровей. Маленькая, хрупкая фигурка старичка становилась все величавее, чувствовалась в ней сила мощного духа, обладавшего духовною красотою, вполне неотразимою! Старичок начал ходить уже несколько согнувшись, голова его побелела, и он стал приобретать наружное сходство со своей несравненно матерью Варварою Абрамовною. Постоянное и светлее стало его спокойствие, его изящная сановитость стала своеобразною, движения стали медленнее, речь раздельнее, благодущная улыбка на строгом лице была уже бессменной, пустой...

Глава IX. Придворная певческая капелла

1 января 1903 года

Я помню неясно Придворную капеллу очень давно, еще в детские мои годы, когда мы жили в Петербурге. Конечно, впечатления от ее пения, до сих пор мне памятные, относятся более всего к поразившему меня множеству красных кафтанов и к впервые услышанному мною стройному хоровому ***pianissimo***. Я даже не помню, где я слышал тогда Капеллу и слышал ли ее один или несколько раз.

Я основательно ознакомился с Капеллою в 1875 году, когда, уже будучи учителем и достаточно опытным регентом, я прожил в Петербурге полтора месяца и ходил в Капеллу на каждую ее спевку, поучаясь ведению дела у Александра Ивановича Рожнова. Я вникал в красоту хорового звука отличных голосов: Капелла пела в это время совершенно восхитительно, точно, верно, ритмично и с целой лестницей самых удивительных оттенков. Мне особенно нравилось ее ***fortissimo*** – оглушительной силы, ясного звука, без малейшего крика, совершенно ровное во всех голосах. Затем в Капелле был неподражаемо мягкий хоровой звук, зависевший, конечно, от отличных голосов. Наконец, ***ppp*** Капеллы было какое-то волшебное, удивительно легкое и подвижное. Нечего прибавлять, что все степени силы звука были усвоены тогда Капеллою в полном совершенстве. О стройности – нечего говорить, такого строя голосов я не слыхал нигде, даже и в цветущее время Синодального хора. Но ***ff*** Капеллы было изумительнее всего. Это полуторамесячное слушание пения Придворной капеллы было для меня полезно тем более еще и потому, что Капелла готовилась в это время к празднованию 50-летия службы Бахметева. Поэтому я слышал и множество общеизвестных сочинений и, кроме того, ознакомился со способом разучивания Капеллой новых для нее вещей. Сам я был уже настолько знаком с музыкою, чтобы не быть в восторге от сочинений Бахметева.

А.И. Рожнов был великолепный регент и учитель. На его спевках не пропадало ни одной минуты даром, и он добивался

желаемого скоро, сначала толково разъяснив то, чего он желал бы, а потом требуя безукоризненного исполнения. Он вел спевки, сидя за фортепиано.

Капелла тогда помещалась в старых домах, несравненно худших, чем существующие теперь. Помещения были тесны, грязны, очень запущенны и мало приспособлены к удобствам жизни, хотя нельзя не отметить, что тогда при Капелле был отличный большой сад, ныне уничтоженный и застроенный. Несмотря на тесноту и грязь, в Капелле тогда работали исправно, и в память Бахметева следует сказать, что дисциплинарные порядки при нем были довольно строги. Книга его «приказов» переполнена отправлениями на гауптвахту провинившихся в чем-либо. Режим был старый, военный, николаевский – Львова и Бахметева. В тех же домах я видел начало применения другого, отнюдь уже не военного режима, а свободно-художественного, русского управления, так сказать, «гуманного», заведенного М.А. Балакиревым и помощником его Н.А. Римским-Корсаковым. Я приветствовал в самом начале их вступление в Капеллу и видел первые шаги их деятельности.⁴⁰³ Помню и время перестройки зданий Придворной капеллы, столь обязанной попечениям о ней ее тогдашнего начальника графа Сергея Дмитриевича Шереметева.⁴⁰⁴

В этот период моих нескольких посещений Капеллы я, уже учитель, заметил начало ее дисциплинарного упадка как в хоровом, так, особенно, в учебном отношении. Очень сильно лишь поднялся инструментальный класс Н.А. Римского-Корсакова, признаться, даже удививший меня своими успехами еще во второй половине 80-х годов. Но в то же время было видно вполне ясно не только непонимание, но даже и забвение главной мысли Капеллы как хора и как художественно-воспитательного заведения. Нисколько не обвиняя таких первоклассных русских музыкальных деятелей, как Балакирев и Римский-Корсаков, русских симфонистов по преимуществу, следует сказать, что и нельзя было ожидать от них для Капеллы ничего другого, что они могли дать и действительно дали. Оба высокопочтенные, русские, вполне передовые деятели были не чиновники, не педагоги и совсем не знали церковного пения,

даже относились к этому исконному русскому искусству свысока, даже отрицали возможность его восстановления с помощью провозглашенных ими же принципов свободного русского нового искусства. «Могучая кучка» держала вожжи в своих руках, ехала в экипаже церковного пения, на его лошадях, но по своей дороге, не заботясь ни об исправности и ремонте экипажа, ни о здоровье и выносливости лошадей. Выехав за город, кучера поссорились и разошлись, экипажем же и лошадьми начал управлять случайно бывший с ними человек, совсем уже не знавший дороги и кучерского искусства. Этот человек завез свой воз в болото, завяз в нем и утонул вместе с возом и лошадьми. Мне выпало на долю вытаскивать этот воз, уже успевший загнить и развалиться. Пришлось пачкаться в грязи, рисковать решительно всем, употребить все усилия, натянуть все нервы, перенести на себе весь смертельный бой людей, уже привыкших к грязным делишкам и не желавших работать, даже и разучившихся работать в засосавшем их болоте. Жестоко было наипечальнейшее полнейшее расстройство Придворной капеллы в то время, когда пришлось вступить в нее после злополучного, хотя и доброго, честного, но совершенно неумелого и незнающего А.С. Аренского.

Само собою разумеется, что управляющий Придворною капеллою должен быть музыкантом, администратором, придворным чином, певчим и педагогом. Если еще можно признать кое-какие способности к администрации у таких сильных музыкантов, как Балакирев и Аренский, даже у первого (хотя и очень малые) и к педагогике, то, по сущей совести, я вполне отрицаю у обоих хоть какое-либо знание церковного русского пения. Выделяю из их среды почтеннейшего Н.А. Римского-Корсакова как внутреннего работника Капеллы, занимавшегося лишь инструментальными классами – очень усердно и успешно, регентскими классами – поверхностно, а «нотным складом» (то есть торговыми оборотами Капеллы по продаже своих изданий) – вполне неудовлетворительно. Николай Андреевич, так сказать, учился на своем инструментальном классе, понимал со своей точки зрения регентское образование (на практике, в доме [по адресу] Мойка,

20) лишь как прохождение хорошо исправленных музыкально-теоретических классов; вполне доверился людям, заведовавшим нотною торговлею и прямо грабившим Капеллу... От увлечения Николая Андреевича инструментальным классом получилась краса Капеллы того времени – ученический оркестр, хорошо вымуштрованный за пюпитрами, игравший многое, но полный людьми, только и бывшими не выше оркестрового музыканта, далекими от какой бы ни было науки, от тени благовоспитанности, но полными самого глупого и пошлого самомнения. От поверхностного отношения Николая Андреевича к регентским классам получились те бумажные музыканты, которые писали всякие фуги, но не знали восемь гласов на «Господи воззвах», никогда не дирижировали и совсем не были регентами. В частности, здесь развилось взяточничество в виде «частных уроков», которые необходимо было брать у преподавателей регентских классов тем приезжим, которые являлись за регентским дипломом.⁴⁰⁵ Это вопиющее и вреднейшее беззаконие, открыто практиковавшееся при Бахметеве, сократилось при Балакиреве и Римском-Корсакове, но приняло вместе с тем другую форму. При Бахметеве – глубоком невежде-гофмейстере – выдавались дипломы регентам-практикам за те же взятки минимальных размеров, попросту за несколько завтраков и ужинов в ресторане, ну, разве еще за 25 рублей или за поднесение, ну, хоть порядочного альбома, что ли; не требовались ни фуги, ни чтение партитур, так как ни директор, ни экзаменаторы сами не были сильны в этой мудрости, по правде сказать, и не надобной для какой-нибудь Калуги или Самары. При Балакиреве и Римском-Корсакове, ничего не понимавших в церковном пении, но требовавших знания весьма хорошего теоретического курса, прежние регенты-практики не захотели упускать привычной уже им дани с добывающихся диплома приезжих провинциалов. Добавив к своему кадру еще практиков-теоретиков, они повели прежние делишки лишь в более скрытых, но зато и в более дорогих для провинциалов размерах, зорко глядя, чтобы не попасться в продажности и мошенничестве столь наивным и доверчивым художникам, как строгие и неподкупно честные в

искусстве идеалисты Балакирев и Римский-Корсаков. Нетрудно потому представить, какие регенты выходили во время начавшегося упадка при Балакиреве и какие двух сортов регенты выходили за время Римского-Корсакова.

Большим поклоном, однако, надо почтить попытки гармонизаций древних роспевов, сделанные в это время, в эти счастливые для русского пения минуты, когда головы таких умных мастеров додумались написать хоть несколько превосходных страниц, появившихся между всяким старым хламом изданий Капеллы. Таковы Всенощная, «Тебя Бога хвалим» Римского-Корсакова и другие.⁴⁰⁶ Но красноречивым комментарием и к этой светлой точке времени Балакирева и Римского-Корсакова все-таки служит то, что огромное число древненевческих драгоценнейших рукописей, собранных для гармонизаций в Капеллу при А.Ф. Львове, ко времени Балакирева сгнило и было вывезено М.Ф. Гейслером по настойчивому приказанию Балакирева на городскую свалку... Два воза рукописей!!! Олэ! Олэ!

Наконец, непростительною доверчивостью Римского-Корсакова к издательской деятельности была размножена истинно хищническая система печатания: например, 600 экземпляров для казны и при них 1.200 экземпляров для заведовавших нотным складом Придворной капеллы. При огромной дороговизне цен на издания Капеллы, при отсутствии хотя какой-либо конкуренции, начатой едва-едва в недавние годы Юргенсоном⁴⁰⁷, нетрудно представить размеры сумм, уплывших мимо Капеллы в карманы хозяйничавших в ее нотном складе.

О Милии Алексеевиче Балакиреве можно сказать кратко: этот управляющий Придворною капеллою не пожелал воспользоваться полагающеюся ему казенною квартирою, которую он предоставил сначала Римскому-Корсакову, а потом такому архимошеннику и негодяю, как господин Бражников... За четырнадцать же лет церковнопевческое искусство получило от Балакирева три интересные маленькие странички: Херувимскую песнь, подписанную на «Ave Verum» Моцарта (автограф этот, особенно характерный именно для Балакирева, сохранен мною

в библиотеке Московского Синодального училища), «Достоинство», сочиненное Балакиревым из общеизвестной [мелодии]:

и, наконец, сладкое «Свыше пророцы», протяжением в четыре строки...⁴⁰⁸ Когда-нибудь появится биография столь крупного деятеля, как М.А. Балакирев, и воздастся ему должное за его крупные заслуги в деле создания и утверждения нашего русского музыкального искусства, не имеющего, однако, в руках «Управляющего Капеллою Балакирева» решительно никакого к ней отношения. Зато вполне спокойно записываю я свой самонадеянный, пожалуй, суд, которым я обвиняю Балакирева в самой полной распушенности Придворной капеллы, в привитии ей, особенно же ученикам инструментального класса, глубочайшего самомнения и самого непозволительного невежества и, наконец, в отдаче Капеллы в руки такого мерзавца, как Бражников... Я высоко почитаю Балакирева как пьяниста, знатока русской песни, огромного деятеля и энергичного предводителя «Могучей кучки», даже и композитора. Но я не могу простить Балакиреву падения Капеллы, гибель множества ее учеников и разгром имущества Капеллы, блестяще было заведенного, оплаченного кучею денег и при нем же, Балакиреве, расхищенного в то время, когда он писал свои композиции. Понятно, что сам Балакирев не воровал, но он совершенно не мог понять весь вред своей «гуманности» и всю пошлость, получавшуюся от привития своего самомнения к мальчикам, разработавшим у себя это самомнение совсем уже по-своему. Немудрено, что у Балакирева не хватило и дальновидности в выборе регентов Капеллы, оставленных им в коллекции, о которой можно говорить только с горьким смехом. Немудрено и то, что у Балакирева хватило ума вовремя догадаться о надобности ухода из Капеллы, не пожалев при том, что дело попадет в поганые руки Бражникова.

Много анекдотов слышал я про печальнейшее время последних лет управления Балакирева. Говорили мне и серьезные люди, видевшие эти порядки уже в зрелых годах, и бывшие мальчики, понявшие всю силу утраты Римского-Корсакова для учеников инструментального класса и всю меру

упадка Капеллы в те годы, когда Балакирев совсем уже забросал Капеллу.

Фигура Константина Павловича Бражникова, кандидата Петербургского университета, в некотором отношении, пожалуй, даже и интересна. Я видел его только один раз, почему пишу только со слов рассказов о нем, слышанных от очень многих. Заметив, что Балакирев, переживший психический период богомолья, есть на самом деле только самолюбивейший артист и доверчивый, ничего не видящий под носом идеалист-начальник, Бражников начал свою кампанию хождением в те церкви, в которые Балакирев ходил чуть не ежедневно к ранним обедням. Вскоре один богомалец познакомился с другим, поведал ему о бурях своей жизни, жестокой якобы своей судьбе – и вскоре очутился экономом Придворной капеллы. Общие отзывы рисуют Бражникова чрезвычайно ловким дельцом, проворным, предусмотрительным, умевшим прямо очаровывать людей до тех пор, пока они были ему надобны. Не удивительно, если вскоре Бражников получил место инспектора классов вместо ушедшего Назимова (слывшего, кроме длинного носа, всюду совавшегося, за свое руководство Капеллою под ученическою кличкою «Руль»); затем Бражников сумел поссорить Балакирева с Римским-Корсаковым; затем он же, сплавив в отпуск Балакирева, обошел графа Оргия Дмитриевича Шереметева и с его помощью вытеснил их же ссорою [Шереметева с Балакиревым] Балакирева из Капеллы; затем он же был исправляющим должность управляющего Придворною капеллою... В это время развернулись его настоящие таланты, то есть он обобрал всех и вся, в том числе и своего ставленника эконома Манькова из промотавшихся дворян, жег свою свечу с обоих концов, пока, наконец, не был уволен от службы без прошения, по знаменитому «третьему пункту». Два с небольшим года продолжалось управление Бражникова Придворною капеллою, пока Балакиреву, опустившему руки, пришлось уйти, ушел Шереметев, и не появлялось еще назначения Аренского.

Случайно попала в мои руки вырезка из газеты «Новое время», в которой изложен шуточный адрес Капеллы,

сочиненный известнейшим Иваном Федоровичем Горбуновым, собутыльником Бражникова, по поводу ухода графа Сергея Дмитриевича Шереметева, у которого Горбунов был, как говорится, «свой человек». В этой вырезке от 23 ноября 1897 года Бражников пишет, что, когда в 1894 году разнесся слух об уходе графа «по неизвестной причине», явилась мысль просить его не покидать службы в Капелле. Горбунов посоветовал подать графу «челобитную», которая, однако, «по некоторым причинам» не была подана графу. В этой сочиненной Горбуновым челобитной было наложено следующее: «Благочестивого корени отрасли благоцветущей, ветви позлащенной, благоразумному и благоизрядному и пресветлому, благочестием сияющему, по царской милости заступнику нашему от сильных врагов, добронравному благочестию, Господину честнейшему, нелицемерному о нас печальнику, графу Сергию Дмитриевичу. Мы, Государевы певчие всех станиц, вершники, нижники, демественники и путники, Константин Бражников, Сергей Ляпунов, Степан Смирнов, Евстафий Азеев, Евгений Маньков, Константин Варгин, Немчин Гейслер, Юрья Второв, Олександр Копылов, Вася Панков, низменно касаясь честным твоим стоном, много челом бьем и просим тебя держать нас, Государевых сирот, в своей милости до скончания живота и никоим обычаем нас не оставлять». Ловкая речь Бражникова при поднесении им графу фотографии его бывших сослуживцев была сказана 5 мая 1895 года и напечатана на другой день в том же «Новом времени».

Появился гениальный проект оставления Бражникова управляющим административную и хозяйственную частью Капеллы с освобождением его как не музыканта от какой бы то ни было музыки, предполагавшейся к передаче целиком в руки С.М. Ляпунова, преемника Римского-Корсакого. Какой добрый человек расстроил эту комбинацию внезапно назначенной ревизией Капеллы, я не знаю, но ревизия вскрыла лишь немногие темные стороны этой свистопляски и обобрая как Капеллы, всех имевших в ней хоть какие-нибудь залежные деньги, так равно и растраты сбережений учеников. Ведь нельзя же было обнаруживать и трогательный ансамбль Бражникова с

чинами Контроля и Кассы... Тем не менее время управления Балакирева при начальнике графе С.Д. Шереметеве следует считать поворотным пунктом в жизни Капеллы, хотя бы по постройке нового дома и по попытке парализации царившей итальянщины, но преобразованию штатов Капеллы и по деятельности Римского-Корсакого.

Дома Капеллы, независимо от ценности занимаемого ею сквозного на две улицы участка земли, представляют огромную ценность сами по себе. Неудобство расположения зданий Капеллы, как говорили мне, появилось от желания Александра III сохранить по Мойке бывший фасад старого здания Капеллы и по возможности же сохранить крепкие стены старых зданий, достроив, так сказать, на них существующие теперь. Пятый этаж на корпусе между третьим и четвертым дворами был выстроен (как и коридор в моей квартире) уже хлопотами Бражникова. Другое неудобство, так сказать, выросло в Капелле само собою, и теперь трудно сказать, как удастся устранить его. Когда строили дом, то рассчитывали комплект учеников инструментального класса в 15 человек; число это доросло вместе с долгами Капеллы почти до 70-ти человек и потом утверждено в новой норме – 40 человек. Следовательно, я должен ухитриться поместить где-либо 25 человек громогласных инструменталистов. Затем в Капелле поселились люди, которым не полагались квартиры, затем две квартиры соединялись в одну, или одним помещениям давалось другое, не бывшее в виду назначение, а другим жилым помещениям пришлось роль подвальных, нежилых вследствие повторяющихся в них наводнений; наконец, появилась надобность в семи квартирах для воспитателей, для инспектора научных классов и проч., то есть бывшие назад тому пятнадцать лет предположения о личном составе Капеллы ныне совершенно изменились и требуют новых распоряжков, новых помещений, пожалуй даже и новой достройки кой-чего.

Несмотря на общеизвестную деятельность М.А. Балакирева как русского художника, попытка его хоть сколько-нибудь вычислить сладости львовской гармонизации древних напевов и изгнать полуграмотную паточную дребедень Бахметева

кончилась самой полною неудачею. Главные мысли и главные работы Римского-Корсакова, Азеева и самого Балакирева я узнал от последнего лично в одной из моих бесед с ним в 1885 году, когда мы с достаточною подробностью говорили об этом деле и, признаться, достаточно горячо поспорили. Балакирев, как оказалось, совершенно не знал древних напевов, представляя себе из них стоящим внимания только то, что показалось ему кусочками с первого раза оригинальным и стоящим введения разве что в качестве новых тем в оркестровые сочинения. Древнее пение было ему известно только по впечатлениям, полученным им при заглядывании изредка в нотные издания Св. Синода. О крюковом пении он не имел решительно никакого представления. Избежание септаккордов (если я только не ошибаюсь теперь) представлялось Балакиреву тою надобностью, которою только и достигалась бы правильность гармонизации некоторых более красивых древних (и то кратких) напевов.⁴⁰⁹ С другой стороны, и отзыв Александра III о пропетой ему Всеночной [в новой гармонизации]: «У меня есть немало неприятностей, кроме церковных древних распевов в новом переложении» – очень охлаждал Капеллу к своей затее, а привычка той же дворцовой публики к сладостным нонаккордам Бахметева далеко не утратила своей силы. Признаться, вероятно, и сами певчие, да и регенты не были в восторге от новых переложений... Так дело и заглохло.

Зато преобразование штатов Капеллы действительно поставило обеспечение этого учреждения на твердую почву и с благодарностью поминается многими. Деятельность Н.А. Римского-Корсакова следует отнести к самым блестящим страницам в истории инструментального класса Капеллы. Николай Андреевич работал очень много, с увлечением, работал тщательно и с широкими взглядами на дело. Он устроил инструментальные классы вполне строго, разумно, и сформированный им оркестр проходил весьма серьезную программу. В 1885 году я слышал один его урок в смычковом оркестре и был, признаться, очень порадован исполнением Квартета A dur Мендельсона. Позднее я слышал ученический

оркестр Капеллы и остался им очень доволен. Отдельно игравшие ученики производили также прекрасное впечатление и, как и следовало предполагать, нашли себе для жизни верный заработок.

Но все эти впечатления все-таки туманились, конечно, не по вине Николая Андреевича, очевидно малым уровнем образования и благовоспитанности учеников Капеллы. Такое отсутствие настоящего и необходимого основания для всякого хорошего художника не обещало для учеников Капеллы чего-либо выше хорошо-ремесленного. В сущности, так и вышло.

Для регентских и инструментальных классов Николай Андреевич составил, кажется впервые в Капелле, программу музыкальных предметов. Как ни односторонни эти программы, особенно для регентских классов, как составленные художником-инструменталистом, все же это была попытка привести эти классы к серьезному порядку.

Но недолго продолжалось благодетельное участие Римского-Корсакова в Капелле. Бражников ухитрился раздуть искру разлада между двумя композиторами, из которых Балакирев отличался действительно тяжелым и упрямым самодурством и самомнением. С уходом Римского-Корсакова, которого сердечно проводила Капелла, дело еще кое-как продолжал Краснокутский, заведовавший собственно оркестровым классом. Вскоре Краснокутский скончался, оркестр попал в руки сущего новичка Николая Николаевича Черепнина, и дело упало сразу и надолго.⁴¹⁰ [Затем] преемником Римского-Корсакова сделался Сергей Михайлович Ляпунов из Балакиревского кружка, кончивший курс Московской консерватории, даровитый и умный, но болезненно самолюбивый и недобрый человек, недостаточно прилежный и совершенно неопытный педагог и администратор. Непомерное самомнение Ляпунова еще сколько-нибудь сдерживалось при Балакиреве, с уходом же его и водворением Аренского проявилось в такой нетерпимой форме, которая повела инструментальные и регентские классы только к полному расстройству.

Я упомянул выше, что выход Балакирева из Капеллы последовал после его ссоры с Шереметевым, столь подогретой Бражниковым, составившим план нового управления Капеллой и оставлением себя ее управляющим. К полному счастью Капеллы, план этот не удался, хотя Шереметев еще оставался достаточно время под впечатлениями совершенств и любезности Бражникова. Достаточно выразительно то, что Капелла, сердечно проводившая Римского-Корсакова, почтившая адресами Шереметева (хотя бы из уст Бражникова), не проводила Балакирева никакой акцией.

Назначение Аренского развязало Капеллу от надобности разобраться в невозможном хозяйничанье Бражникова. Аренский сделал глубокую ошибку, приняв предложенное ему, по мысли Римского-Корсакова, место. Я помню свою беседу с милым Антоном Степановичем в профессорской комнате Московской консерватории, когда слух о назначении Аренского стал весьма гласным. «Зачем же мне отказываться от почти 6.000 рублей в год при казенной квартире? – возразил мне Аренский. – Разве церковное пение такая мудрость, чтобы я не усвоил ее в полгода?». Нетрудно догадаться, что я, после вопроса Аренским у меня о чем-то насчет церковного пения, добросовестно высказал ему, как товарищу, мое полнейшее недоумение по поводу принятия предложенного ему места управляющего Придворною капеллою. Аренский не поверил мне, как не поверили и другие товарищи из профессоров Московской консерватории, услышавшие вместе с Аренским мои слова: «Попомните, Антон Степанович, вы беретесь не за свое дело и горько раскаетесь в этом». Как ни грустно сказать, но слова мои сбылись в более жестокой форме, чем я думал. Капелла встретила Аренского в состоянии полного расстройствa, не только дисциплинарного, учебного, но и художественного и хозяйственного.

Аренский имел несчастье взять в инспекторы научных классов, вместо покойного «руля» и его «уволенного по третьему пункту» преемника Бражникова, даровитейшего помощника инспектора Московской консерватории, кандидата прав Московского университета Казачкова, нетрезвого, пылкого,

хотя и очень умного человека. При всем своем уме Казачков не догадался, как надо приняться за улучшение дисциплины учеников Капеллы, и вскоре же опротивел ученикам, начавшим досаждать ему всякими способами, притом, конечно, только и возможными в столь распушенной школе, как тогдашняя Капелла. Взбешенный однажды такую непозволительную выходкою ученика второго класса «губернского регистратора» Пономарева (10 января 1896 года), о которой совестно и писать, Казачков высек его и донес рапортом о том Аренскому. Последний не нашел ничего лучшего, как дать по Капелле такой приказ (11 января):

«Докладной запиской от 10 сего января инспектором общеобразовательных классов донесено мне, что того же числа за нарушение классной дисциплины применено было к одному из воспитанников телесное наказание, именно, дано было пять ударов розгами.

Хотя в узаконениях, относящихся к Капелле, нигде не находится ни запрещения, ни дозволения применять телесные наказания, а практика моих предшественников и инспекторов классов не только не исключала применения и этой формы дисциплинарных взысканий, но и часто практиковалась, тем не менее я считаю ее недопустимою на будущее время, почему и приглашаю гг. инспектора и воспитателей с сего числа не применять ее вовсе, изъяв из употребления все меры и формы взысканий, как причиняющие физическую боль, так и могущие сильно угнетающим образом действовать на самолюбие и состояние духа воспитанников».

Обратная сторона этого приказа состояла в том, что у ученика Пономарева была мамаша ли, тетушка ли горничною или кухаркою у известного Хиса, который не преминул доложить о случившемся императрице Марии Федоровне, вследствие чего случившееся «animalité»⁴¹¹ и подверглось немедленной и весьма энергичной «разработке». Вспомнили всякую философию, даже о том, что «губернский регистратор» есть чин, и напали на Аренского, защитившего приказом и живьем выдавшего Казачкова на съедение. Забыли только о Капелле и не указали, как бы выбрался из случая с учеником

Пономаревым не только Хис, но даже и его мамаша. Понятно, что после ухода Казачкова и после неумелых воздействий в указанном Аренским направлении дисциплина Капеллы пала окончательно, и сборище малолетних певчих вместе с толпой учеников инструментального класса сейчас же обратилось в одичавшую, своевольную и грубую среду, вскоре усвоившую себе все подробности острога, старой бурсы, «мертвого дома» и т.п. Наступила самая печальная пора для Капеллы – пора самого глубокого упадка решительно во всех отношениях, так как к тому же Капелла была уже разворована, ученье было давно забыто, а мелкие счета сослуживцев при бесхарактерном и неумелом Аренском не давали никакой надежды на какой-либо ансамбль к улучшению дела.

Аренский, в сущности отличный, хотя и не глубокомысленный композитор, очень добрый и порядочный человек, был совершенно не на своем месте в такую пору Капеллы. Любя пожить, поиграть в картишки, иногда и кутнуть, Аренский как глава, начальник Капеллы не только не мог, но и не умел быть начальником, не знал ни педагогики, ни административного дела, ни хозяйства, ни церковного пения. Вскоре дельцы из болота Капеллы поняли Аренского каждый по-своему, и Капелла начала быстро падать. Главные элементы этой печальной истории были распределены следующим образом.

1) Ссора Балакирева с Римским-Корсаковым отразилась при выходе Балакирева из Капеллы тем, что Балакирев рекомендовал на свое место Ляпунова, не подозревая, что уход из Капеллы Римского-Корсакова был зачтен ему, Балакиреву, в очень большой минус (что, конечно, и вполне справедливо) и что Ляпунов уже успел показать себя во всей неприглядности своих недостатков. Через Сергея Дмитриевича Шереметева искали хоть какого-нибудь порядочного человека-музыканта и, по рекомендации Римского-Корсакова, остановились на Аренском, едва отбиваясь от массы кандидатов всякого сорта. Между тем Ляпунов с действовавшим за кулисами Балакиревым были настолько близоруки и самоуверенны, что составили уже приблизительно будущий список сослуживцев

Ляпунова-управляющего. Назначение Аренского разбило вполне их планы и жестоко уязвило самолюбивого и злопамятного Ляпунова. Его ума хватило лишь на самое непозволительное, грубое и вредное для дела, демонстративно враждебное отношение к Аренскому чуть не с первого дня их совместной службы. Ляпунов не спускал Аренскому решительно ничего, ставя каждую мелочь ребром и на официальную бумажную почву, а Аренский, новичок, деликатный и неопытный, часто давал самые невинные поводы при случае к таким выходкам и не имел не твердости, ни умения с первого же раза вразумить Ляпунова и показать ему его место. Обширная переписка Аренского с Ляпуновым даст будущему историку Капеллы много пикантных страниц. Вскоре около Аренского, совершенно не умевшего выбирать людей, доверчивого и доброго, собралась кучка сущих негодяев с подсунутым ему экономом Глебовым во главе, только что проворовавшимся в Ксеньинском институте и притворившимся сумасшедшим. Затем отшатнулось от Аренского все бывшее самостоятельным и начавшее себя вести по-казенному, то есть лишь бы не потерять заработка. Наконец, прочно организовалась около Ляпунова дружная партия, выместившая Аренскому всю досаду за свою неудачу с его появлением.

2) Огромным злом в Капелле была целая коллекция бездарных или вполне обленившихся людей, совершенно безнадежных к труду для подъема Капеллы. Таковыми были: множество старших учеников, по крайней мере 15 из 58-ми взрослых певчих (вполне безголосых и самых полных невежд), все воспитатели, кроме лучшего из них Михаила Григорьевича Григорьева (талантливого, но мило знающего), и все четыре регента, из которых только и работал один С.А. Смирнов, прилежный, но архибездарный и совершенно необразованный старый служака. Не трудно представить, как тянул к застою такой огромный, вполне ненадобный балласт.

3) За этими неладами и за подбором бездарностей и бесполезностей грозною стеною стояла придворная сфера сплетен, лжи, интриг и колоссальная обворованность Капеллы. Аренскому предстоял выбор – или энергично взяться за дело и,

вырвав все зло, твердо вести его самому, или плыть по течению, закрывая дыры и прорехи, показывая вид полного во всем благополучия. Отсталость Капеллы в художественном отношении была какая-то непонятная, просто отчаянная. Лень, незнание, распушенность были прямо непозволительны и нетерпимы. При обворованности Капеллы и полном упадке дисциплины и ученья нетрудно представить, как растерялся Аренский в омуте неприятностей и противодействий.

Подобное, вероятно, неожиданное по размерам, грустное наследство после Балакирева и Бразникова могло, конечно, смутить и не такого доброго новичка, как Аренский. Крутая расправа ревизионной комиссии с Бразниковым, сведенная потом все-таки всякими сторонними его друзьями с увольнения «по третьему пункту» на увольнение будто бы «по прошению, вследствие расстроенного здоровья», не вразумила никого в Капелле, но, напротив, утвердила веру в то, что при энергии и связях всякое дело можно в конце концов оборудовать безвредно по дальнейшим последствиям, платя лишь временными неприятностями. Неожиданное вскоре после увольнения получение Бразниковым чина через четыре ступени выше, неожиданная победа Хиса, ходатая за негодяя-мальчугана, кончившаяся изгнанием Казачкова, раскрыли дорогу всему пожелавшему поставить на своем, и омут Капеллы забушевал всевозможными интригами, занявшими внимание всех вместо труда и ученья.

Это горькое время Капеллы продолжалось шесть лет, и на мою долю выпало улаживать его последствия. По правде сказать, я удивляюсь, как вытерпели гнет этого упадка и непорядка все стороны, как не догадались внутри Капеллы взяться за ум, чтобы устроить себе хоть сколько-нибудь мирное житье и хоть какое-нибудь удовлетворение. Злорадная междоусобная травля заставила всех забыть самое дело; все изнервничались, израсходовались на пустяки и рассорились между собою до такого мальчишеского озлобления, что только и глядели друг за другом, сплетничали, интриговали, доносили и т.п. Множество мальчиков Капеллы попортились в эти плачевные годы, и общежитие мальчиков обратилось в какую-то

неприличную вредную бурсу, где не было ученья, но был жестокий свой режим кулака, рубля и полнейшей разнузданности. О Капелле как хоре можно сказать, что она возбуждала в сравнении с ее прошлым только одно недоумение. Такое общее печальное состояние Капеллы вызвало, наконец, вторичную ревизию ее особою комиссиею. После этой ревизии последовало мое назначение.

Первая ревизия Капеллы в 1895 году была произведена генералом Сперанским, и ее благодетельным результатом было удаление Бражникова. Вторая ревизия была произведена особою комиссиею под председательством гофмейстера Смельского. Эта ревизия перебрала Капеллу решительно по всем швам, не коснувшись, однако, Капеллы как хора. Двенадцать протоколов и заключительный вывод этой ревизионной комиссии суть документы первостепенной важности для истории Придворной капеллы, читаемые с глубоким интересом. Главнейшими результатами этой ревизии следует считать:

1) Полное осуждение порядка учеников как живших на получаемое жалование и предложение взамен того принять всех учеников на казенное содержание.

2) Предположение о сокращении срока службы певчих с 30-ти лет до 20-ти.

Я уже рассказал историю перевода своего в Капеллу. Дополню ее тем, что в дни, когда уже дело казалось налаженным совершенно, все-таки была подведена какая-то новая мина, временно затормозившая подписание приказа государем о назначении графа Александра Дмитриевича Шереметева начальником, а меня – управляющим Капеллою.⁴¹² Кем была подведена эта мина, какова была ее начинка – не знаю. Приказ был наконец подписан 8 мая, и 12-го в полдень я с Шереметевым (которого далее буду означать – Ш³) впервые явились в Придворную капеллу, чтобы познакомиться с нашими будущими сослуживцами и послушать ее пение.

С Ш³ я познакомился перед тем месяца за два, в один из моих приездов в Петербург. Я отлично помню, что первое знакомство с Ш³, несмотря на всю его любезность и живость,

нагнало на меня жесточайшую хандру. Ш³ казался совершенно не деловым человеком, не способным рассуждать о делах и действующим прямо под влиянием первого впечатления, именно «без царя в голове». Тут же, в первую же беседу, оказалось, что мне в третий раз грозит вновь не размежеванная область ведения с третьей, столь преследующей меня комбинацией букв «А.Ш.», но уже с тою разницею, что Ш³ глубоко убежден в своей будто бы музыкальности, в своем дирижерском и композиторском таланте и всевластности своего богатства. Ш³ решительно не может представить себе отказа в чем-либо. К счастью, у него умная жена, управляющая всеми делами, и, к счастью же, в Ш³, как кажется, сохранилось отмеченное Пушкиным родовое благородство. Несмотря на прославленные по всему Петербургу его самодурства, чудачества, создавшие ему клички «шального», «полусумасшедшего», все же оказалось, что с ним жить можно. Во всяком случае, про Шереметева следует сказать, что он вполне порядочен, благовоспитан и очень добр. Совершенно не понимая ничего в делах и не имея возможности вникать в подробности, Ш³ так жив, подвижен и быстр, что у него решительно не хватает терпенья, например, прочитать длинное письмо, или выслушать подробные объяснения, или обсудить какое-либо дело со всех сторон. Затем, конечно, следует признать, что Ш³ вообще очень даровит, быстро восприимчив, но портит часто многое, не умея противостоять своей склонности действовать по первому увлечению, по постоянному желанию быть везде и во всем под № 1. Самолюбив он до невозможности и, попадая впросак довольно часто, платился иногда за свою необдуманность очень больно. Про колоссальное его богатство говорили мне, что будто бы он имеет годового дохода более миллиона рублей, а его инвентарь и движимость стоят колоссальных денег. В формулярном списке в графе, где перечисляются родовые и приобретенные имения, где у меня стоит коротенькое «нет», у Ш³ имеется длинейший перечень всяких деревень, угодий, лесов, заводов, фабрик, приисков, домов и проч., имеющих чуть не во всех губерниях и в весьма крупных цифрах. Мне припоминается, что

у Шереметева в одной Московской губернии 280 тысяч десятин, а в Москве до 50-ти домов... Впрочем, чего стоит только один «Шереметевакий переулок»⁴¹³ в Москве! Немудрено, что при таком богатстве он способен иногда представить себе возможность купить все, заплатить за все. Гораздо, впрочем, мудренее понять, как при недостаточном развитии и при вполне скудном образовании у Ш³ все-таки уцелели многие душевные качества прямо симпатичные, и в числе их – правдивость, именно шереметевское благородство.

Служебная карьера Ш³ шла какими-то скачками, почему в 43 года он состоит в чине не более штаб-ротмистра. Ш³ несколько раз выходил в отставку, ссорясь с начальством, пока брат его, граф Сергей Дмитриевич, не устроил его начальником Капеллы. В первый же год по получении этого места Ш³ получил звание флигель-адъютанта.

До меня Ш³ имел у себя большой духовой оркестр, стоивший ему до 60–70 тысяч в год. В один прекрасный день этот оркестр вдруг был наряжен в придуманную графом затейливую форму, оказавшуюся и очень дорогою и некрасивою. Форму тут же бросили. В другой день вдруг граф взял, да и распустил свой оркестр, заплатив ему годовое жалование... В третий день вдруг граф вздумал завести симфонический оркестр и стал его дирижером. Эта затея продолжается вот уже седьмой год и теперь начинает походить на нечто путное, приняв форму общедоступных концертов.⁴¹⁴ Но дирижер этих концертов, то есть [сам] Ш³ бывает иногда высококоmicен и жалок. Он не учился музыке и любит ее, а как способный к этому искусству, дирижирует только идя за превосходно выученными хором и оркестром. Софронов и Владимиров так вышколили свои ведомства, что граф, например, дирижирует вместо $\frac{3}{4}$ – $\frac{4}{4}$, дает не вовремя самые решительные вступления (остающиеся, конечно, без ответов), и пьесы все-таки идут хорошо, иногда даже и отлично...

В моих отношениях с графом до сих пор все идет отлично, и я с глубокою благодарностью чувствую силу его помощи, например, в деле очистки Капеллы от Ляпунова, Азеева и К°. Зато и граф удовлетворяется успехом Капеллы и моим трудом,

как и моею ему уступчивостью во всем. Успехи Капеллы оправдали в его глазах помощь, которую он оказал мне, а общее внимание к Капелле дает ему, как кажется, полное удовлетворение, тем более что я охотно уступаю ему всякие знаки внимания от всех считающих, что Капелла поднимается именно Шереметевым.

Но все-таки было и у меня с Ш³ одно небольшое столкновение. Ш³ спит и видит, чтобы государь познакомился со всеми его духовно-музыкальными сочинениями, достоинство которых более чем посредственно... Достаточно, например, сказать, что его «Отче наш» начинается в D dur, кончается в B dur, и он ни за что не уступал моему приглашению переделать это сочинение. Я уговаривал графа лучше подождать, когда изъявит кто-нибудь желание прослушать его вещи, чем рисковать, чтобы получилось какое-либо нежелательное отношение слушателей, столь избалованных Бортнянским, Львовым, Бахметевым и др. У графини, а не у графа хватило ума внять моим словам.⁴¹⁵

Не менее характерно увлечение графа Ш³ пожарной частью. Его команда в Ульяновке стоит ему огромных денег, превосходно оборудована паровыми машинами. Тем не менее находившиеся в 60–80-ти саженьях от команды, всего через дорогу, кухня и конюшня в Ульяновке сгорели дотла, весьма сконфузив владельца команды, носящегося со своими пожарными, как с институтками. Первые воздействия Ш³ на Капеллу (но только не более словесных) были его стремления обезопасить Капеллу в пожарном отношении, так как эта часть действительно у нас не только плоха, но прямо равна нулю. Конечно, на все планы Ш³ устроить всюду пожарные краны, переодеть всю нашу прислугу на пожарный манер, обучить ее маневрам, завести паровую машину и прочее – последовал самый положительный отказ в отпуске денег из министерства... Сочтя этот отказ за интригу, Ш³ не уgomонился было и вздумал пойти выше, чтобы добиться своего, но его остановили тут уже повнушительнее. На этот раз Ш³ понял, что Капелла не усадьба, в которой он может осуществлять на казенный счет свои затеи. У меня был [не] один десяток случаев, когда, я, столь

проученный в Москве Ширинским-Шихматовым, тревожно думал о какой-либо предстоящей выходке Ш³, если к тому по примеру Москвы могли бы представиться зацепки, более или менее приличные, и я во все случаи был просто умилен наивностью и неделовитостью Ш³, равно и откровенною простотою его обращения со мною (я держал себя вполне, конечно, откровенно и сердечно). Таким образом, установился между нами *modus vivendi*: взаимно уважительный и доверчивый, ведущий потому только к взаимному нашему удовольствию и спокойствию. Ш³ знает, что я работаю усердно, что я не делаю пересаливаний и во всем с ним вполне откровенен, не скрывая от него решительно ничего, говоря ему правду прямо в глаза и прося его совет и помощи во всех надобных случаях. Полтора года нашего знакомства еще не омрачились никакими недоразумениями.

12 мая утром я едва-едва уговорил Шереметева воздержаться от речи разгромного характера, которою он хотел отрекомендовать себя Капелле, чтобы сразу огорошить всех, предупреждая, что он, «как пожарный, как военный», не остановится ни перед чем, что он сумеет поставить на своем, что если кто... «А хорошо было бы сразу их, по-военному! Я люблю говорись речь экспромтом, вполне по вдохновению! У меня удавались всегда такие из них, в которых я начинал, не подумав о конце, даже о середине речи. Находчивость всегда меня выручала! Уж очень мне хочется осадить Капеллу сразу, чтобы знали, что имеют дело с человеком решительным!». Но спасибо Ш³ он послушался меня и не сделал глупости с первого же раза.

Впечатления первого моего знакомства с Придворной капеллой я могу назвать только самыми тяжкими. Мы прослушали оба отделения, подготовившиеся к службе на завтра у государя в Александрии и императрицы Марии в Гатчине, а затем и полный хор Капеллы. Я собрал все силы, чтобы и виду не показать о мере моего огорчения. Пение было совершенно нестройное, без сколько-нибудь сносных оттенков, ленивое, совершенно небрежное.

Когда мы обходили помещение Капеллы, мне бросилась в глаза не виданная мною загрязненность помещения, запачканные чернилами потолки и полы, вымазанные стены, сломанные изразцовые печи, битые стекла, изрезанные столы, невероятный вид роялей: совершенно невероятный по неряшеству, поломкам, исцарапанным и изрезанным крышкам, вырванным струнам, демпферам, выломанным клавишам, по кучам пыли внутри, по залитым чернилами огромнейшим пятнам и прочее... Во всех классах на стенах не было никаких карт, картин, таблиц, не было ни термометров, ни барометра; часы висели всюду под потолком, знаменитые портреты Бортнянского, Львова и Турчанинова были прострелены во множестве мест; скатерти, вилки, ножи, ложки в столовой были просто невероятны по своему непорядку и грязи; лица мальчиков были избитые в такой степени, что я насчитал до 23-х синяков; одежда – рваная, у многих без пуговиц, не застегнутая; сапоги – невычищенные; волосы на головах у старших учеников – длинные и нечесанные; в помещении этих учеников был полнейший беспорядок, невыметенная пыль и туча табачного дыма, неприбранные кровати с валявшимися на них нотами и инструментами; в другой комнате валялись на полу два сломанных пюпитра и лежал на окне фагот без футляра, а на полу была масса окурков; весь верхний этаж был кроме кроватей заставлен большими сундуками с имуществом каждого ученика отдельно.

Не менее печально было впечатление от хозяйства моего помощника С.М. Ляпунова, где я прежде всего увидел какой-то странный хаос в его кабинете, а затем массу битых, исцарапанных, изломанных инструментов в пыли, в грязи, в величайшем непорядке и неисправности; массу нот рваных, изломанных, разрисованных, перепуганных, без переплета, валявшихся и кучами и отдельными тетрадками где попало; неполные, неправильные в ведении каталоги, кучи инструментальных принадлежностей без всякого порядка (колки, подставки, подгрифы, канифоль, волос, трости для духовых деревянных, мундштуки для медных, палки для литавр, камертоны, раштры, сурдины и т.п.); пустые футляры,

кучи поломанных смычков, скрипок, сломанные пульта и проч. Весь кабинет Ляпунова был какою-то нелепо содержимой кладовой, никогда, как кажется, не убиравшеюся, пыльной, грязною, вполне беспорядочною...

Но еще более огорчило меня хозяйство, бывшее в заведовании эконома «статского советника» Федора Павловича Глебова. Об этой фигуре меня предупреждали еще из Симбирска и из Рязани как о самом отъявленном мошеннике, самом бесстыжем воре и притом лентяе. Аренский же предупредил меня как раз наоборот: «честнейший из людей, образцовый эконом"... Такое впечатление от Глебова сложилось у Аренского от двух причин: от постоянного напевания Глебовым в уши Аренского таких речей, например: «Вы композитор, у вас первая и самая главная часть в Капелле – хор. Где вам вникать в хозяйство! Скажите мне все, что только вздумается, и все будет вам в точности доставлено, все будет сделано, все исполнено. Если я был бы плохой эконом, то на меня бы стали вам жаловаться, а то ведь нет жалоб на меня, так чего же и смотреть вам? Пишите свои оперы и квартеты со спокойным сердцем...». Другой резон, очень выгодный для Аренского, был в том, что Глебов действительно верой и правдой служил ему по части предупреждения от всяких выходов Ляпунова и других, действительно угождал всем мелким нуждам Аренского, тщательно освобождая его от разных забот, но зато и не пуская его в свое хозяйство. «Да что вам тревожиться-то? Скажите, что вам надо, и все будет вам сделано»; «да что вам ходить по кухням, проверять счета? Когда вам заниматься такою сутолокою? Пишите лучше свой квинтет...».

Правою рукою Глебова был всесильный в Капелле повар Стешов, необычайно ловкий, множество раз битый учениками, но как-то ловко выскакивавший из каждого пассажа с какою-либо неудачею по кухне. Впрочем, так называемые «брюшные бунты» бывали в Капелле очень редко, так как и Глебов, и Стешов хорошо знали, как мало церемонны бывают ученики Капеллы в случае их неудовольствия в столовой. Глебов был также бит учениками в какой-то пивной, но историю эту замял

сам «статский советник», боясь дальнейших скандалов и разоблачений у Аренского... Но достаточно было одного часа ревизии хозяйства этого молодца, чтобы убедиться в существовании у г. Глебова великого мастерства мало делать и уметь в мутной воде ловить рыбу, причем еще более искусно запутывались всякие концы его операций. Прислуга в Капелле была, так сказать, круговая, то есть каждый служащий не имел специально порученную ему часть, но проходил целый круг их, потом получал день отдыха, потом опять получал очередь. Таким образом, вчера Семен убирал спальню, сегодня столовую, завтра классы, послезавтра дежурил в швейцарской, потом что-либо новое, потом другое и т.д. Понятно, что ни с кого ничего взыскать было нельзя, так как один ссылался на другого, а дело делалось кое-как, нисколько не интересуя служащего своим благоустройством. Понятно, что и воровство было систематично и не было возможности уследить за чем бы то ни было. Но верх непорядка был у самого Глебова, который не вел никаких ведомостей, никаких инвентарных и материальных книг, не подавал ни дневных, ни месячных отчетов. Как можно было допустить до такой бесконтрольности – потерялся я даже в догадках. Было очевидно что-то очень многотысячное и очень разворованное, но приступить к уяснению размеров этой беды не было возможности за неимением никаких документов...

Следует отметить одно обстоятельство, давшее полный простор именно такому хозяйничанью г. Глебова. Кроме всяких сумм, поступавших в его руки по годовой смете, в руках Глебова должны были быть **деньги воспитанников Капеллы**, на самом деле к нему не поступавшие. В этом темном пункте хозяйства Капеллы Глебов и хоронил концы своих операций, ссылаясь на запущенность этой части задолго до его поступления.

В самом деле это было темное царство. Дело в том, что все ученики Придворной капеллы (до 1 марта 1902 года, когда этот непорядок был уничтожен) считались чиновниками, придворными малолетними певчими, получающими жалованье во все время их пребывания в числе так называемых «штатных певчих». Жалованья этого было два рода: для 30-ти человек по

240 рублей и для 20-ти человек по 300 рублей в год. Деньги эти на руки мальчикам не выдавались, а записывались на их счет в особые книжки сберегательной кассы. До окончания времени Бражникова эти деньги хранились в Капелле на руках эконома, почему не трудно представить себе, что было проделано с этими суммами после того, как ослабел военный режим Бахметева и переменялось несколько экономов вроде Бражникова или Манькова. Ревизия Капеллы перед вступлением Аренского так и не смогла разобраться в этих запутанных деньгах, указав лишь новый порядок их сбережений не на руках эконома, а в кассе министерства Двора. Поэтому кой-как подведенные счета были сданы туда и оттуда же выдавались обратно. В эти же книжки записывались и все случайные от Дворца поступления на счет мальчиков, например, выданные по 100 рублей каждому бывшему на коронации, выдающиеся по 100 рублей каждому певшему «Да исправится» перед государем во второй год и по 30 рублей в первый год своего пребывания в числе «штатных певчих» и т.п. Так как от всех подобного рода поступлений получалась сумма довольно значительная, то понятно, что при содержании гуртом всех **штатных певчих**, у каждого из них, платившего за все расходовавшееся во время его пребывания «на штате», все-таки оставались значительные сбережения. На эти именно сбережения, по спадении с голоса, мальчики и содержались в Капелле для продолжения своего образования в инструментальном классе. Но так как все-таки мальчики пели разные сроки (бывали, например, случаи, что малороссы, привезенные из теплого юга в сырой и холодный Петербург, хрипли, теряли голоса и пели «штатными певчими» всего два-три месяца), то и получались разные суммы их сбережений, иногда столь малые, что прилежно учившегося и способного к музыке мальчика приходилось содержать в долг казне, разумеется в долг без отдачи. Этот долг безденежных учеников и был тем темным царством, где хозяйничал г. Глебов, то есть, с одной стороны, он забирал для содержания безденежных учеников остатки сбережений у имевших сбережения, а на самом деле платил своими получками долги Капеллы купцам-

поставщикам, а с другой стороны, тот же Глебов, потакая вместе со своим начальством франтовству и мотовству старших учеников (то есть, конечно, не имевших уже своих сбережений), шил им дорогую одежду, обувь, белье... Так как все вещи, выдававшиеся ученику на руки, считались его собственностью как изготовленные на лично ученику принадлежавшие сбережения или в счет его личного долга «фонду учеников инструментального класса» (прибавлю от себя: не существовавшему ни юридически, ни практически), то понятно, что при распушенности старших учеников Капеллы молодые люди при нужде в деньгах совершенно открыто продавали друг другу «свои» блузы, брюки, пальто, сапоги и прочее, заявляя начальству о их «пропаже»... Тогда немедленно шилось новое, вскоре опять пропадавшее. За эти вещи деньги не платили, хотя от имевших сбережения все-таки удерживались экономом, говорившим: «Ну, что платить порознь за каждого! Вот выхлопочем пособие, разберемся в нашей путанице, тогда и получите по вашим счетам». Купцы, не получая денег, конечно, ставили дурной товар по дорогой цене. Молодые люди устроили такие непосредственные соглашения с ними, что стали «форсить во всем новеньком», отлично сшитом и новомодном, сейчас же «пропадавшем» куда-то... Нетрудно поэтому представить, что скоро в Капелле образовался целый список юношей, оказавшихся должными «ученикам инструментального класса» по 500–600, даже 800 и 900 рублей каждый. Эти юноши уходили из Капеллы «за окончанием курса», и с них, как имевших такой удивительный долг, ничего и нельзя было получить, что и понятно, так как и Капелла не могла разобраться – должна ли она за ученика купцу, или оставшимся у других мальчиков сбережениям, или должен туда или сюда Глебов, или должен туда или сюда сам юноша лично... Одним словом, ко времени моего приезда в мае 1901 года такого долга было 48 тысячи рублей, Глебов продолжал шить «господам студентам» из лучшей материи всякие тужурки, брюки со штрипками, поставлять шикарные ботинки «на семь пуговиц», лайковые перчатки и т.д., не подавая отчетов ни дневных, ни месячных уже что-то года за два или три, не ведя ни приходно-

расходных книг, ни инвентарей. Была какая-то самая полная неразбериха, вполне мутная вода... В эту воду, однако, попадала ежемесячно целая уйма денег, и г. Глебов был весьма удивлен, когда при окончании мая 1901 года я попросил его представить мне отчет расходов за истекший месяц. «Какой отчет? – наивно спросил он. – Я не могу дать отчета и не могу составить его, да и никогда этого от меня и не требовали». И действительно, с Глебова не требовались отчеты, сам он принял запутанные дела, запутал их еще более, запустив, а под конец и совершенно бросив ведение книг. Бились мы бились с хозяйством Глебова и решили поставить на нем крест, предварительно уволив его от службы. Новый эконо́м завел сразу порядок, но только по той наличности, какая имелась. Задолженность Капеллы также удалось выяснить с помощью затребованных от всех поставщиков их счетов и оправдательных к ним документов. Мы указали поставщикам, что никакие последующие их счета на Капеллу за время Глебова более принимаемы не будут, и таким образом наш долг определился сразу цифрой весьма внушительною и сулившею лишь множество хлопот для удовлетворения кредиторов.

Нетрудно сообразить, что такой непорядок в хозяйстве Капеллы зависел частью и от полнейшего беспорядка в канцелярии Капеллы, запущенной до самой невозможной степени. Дело дошло до того, что бумаги, приходящие в Капеллу, перестали доставлять управляющему, а стали копить, иной раз нераспечатанными, у делопроизводителя Александра Александровича Федорова, совершенно изленившегося, потом запутавшегося и растерявшегося в своей путанице. Началась потеря и пропажа бумаг, начались неприятнейшие объяснения с просителями и получателями, начались эпизоды самых непозволительных опозданий, неисполнений по бумагам срочным, даже незаписи бумаг во входящие реестры. Писались несколько исправнее лишь ассигновки для всякого рода получений... Долго я копался в канцелярии, усиленно приводя ее в порядок и доводя ее до исполнительности день в день, то есть чтобы поступившие бумаги (конечно, возможные к тому) исполнялись сейчас же в тот же день. В канцелярии Капеллы

оказались не сданными в архив дела ее не более, не менее как с 1827 года, то есть почти 75 лет жизни Капеллы можно будет с удобством описать по хранящимся дома документам. Это, конечно, пригодится скоро мне и Антонину Викторовичу Преображенскому для предполагаемых нами к составлению очерков Капеллы по архивным документам⁴¹⁶, из которых многие дела представляют огромный и пикантный интерес, – но все же какой это непорядок с канцелярской точки зрения!

Но самое тяжелое впечатление произвело на меня состояние учебной части общеобразовательной и музыкальной, равно и самая последняя неблаговоспитанность учеников Придворной капеллы.

13 мая я был представлен государю перед обеднею в церкви в Александрии. Выходя из церкви, государь мне сказал: «Очень рад вас видеть здесь! Прошу устроить мне то же, чем я так любовался у вас в Москве в Синодальном хоре». В этот же день уехал [я] в Москву проститься с товарищами в прощальной застольной беседе... 15-го я был с утра в Капелле, ходя по всем классам, знакомясь с учениками и слушая их рассказы про житье-бытье. 2 мая в Капелле был сделан взрыв водопроводной трубы, которую зарядили бертолетовою солью и порохом. От этого увеселения увезли в госпиталь ученика Судакова с раздробленною ногою и пропечатали Капеллу в газетах. На другой или на третий день был назначен отъезд Капеллы [на летний период] в Петергоф, ежегодно отмечавшийся битьем стекол. И на этот раз было разбито в полтора-два часа 145 стекол... Оказалось, что переводные экзамены в эту весну были зачем-то отменены, и потому в Капелле царила самая полная праздность, дети и юноши, не занятые ничем, вели себя Бог знает, как. Наскоро я занялся подысканием себе дачи в Петергофе и сейчас же перебрался туда, начав присутствовать в Капелле решительно с утра до поздней ночи.

Здесь оказалась хорошая возможность взглядеться в Капеллу. Я проверил голоса и знания всех больших и малолетних певчих, равно как и знания и искусство всех учеников инструментального класса. Мне было некогда, да и

показалось излишним проверять знания мальчиков, учившихся в младших классах, так как вид их учебных книг и тетрадей, множество их ответов на мои вопросы, множество их рассказов об их жизни в Капелле, о занятиях с ними учителей, об обращении с ними старших учеников нарисовали мне вполне ясную и определенную, вполне достаточную картину неприглядного их житья, уровня развития и воспитания.

Большие певчие жестоко удивили и огорчили меня. Я опросил каждого о его происхождении, полученном общем музыкальном образовании, о посторонних заработках, о семейном положении и о времени службы каждого из них. Оказалось, что я всех их обидел и поставил в недоумение, так как они считали, что мне нет никакой надобности знать все это, что я даже не имею права узнавать, сколько у кого детей, кто, где и чему учился, играет ли кто-либо из певчих на фортепиано или скрипке, не дает ли уроков и т.п. Но проверка голосов, знаний теории музыки и церковного пения навела «титularных советников» на мысль о надобности сделать мне намек на полную неуместность моих дознаний. «Мы – хорошие голоса (?), ходим аккуратно на спевки и службы, знания «теории» испокон веку от нас не требовали, а ненадобность знания «теории» у певчих доказывается всем знаменитым и многолетним прошлым Капеллы; не надобен также и тот размер знания церковного пения, который вы требуете, так как регент успевает к каждой службе твердо проходить с нами все надобное; мы только должны исполнять исправно свое дело по указаниям регента, беречь свои голоса, а вы должны заботиться о нашем благоденствии и спокойствии, чтобы мы могли поддержать репутацию знаменитого прошлого Капеллы; мы отдали государю свои молодые силы и свои голоса и вправе требовать спокойной старости за свою службу; зачем утруждать нас исполнением небывалых еще требований? – все равно из нового порядка ничего не выйдет, да еще и допустят ли наверху введение новых порядков? Озаботьтесь-ка лучше исходатайствованием нам повышения окладов да сокращения срока службы на пенсию». Но ведь недаром же я был столько лет директором Синодального хора! Предвидя такие речи от

старых, безголосых невежд, нетрудно было тут же посеять первые семена в души молодых, еще не успевших совсем опошлиться певцов, имевших еще впереди лучшее будущее, но не умевших додуматься до возможности его лучшего устройства. Поголовное, буквально поголовное, то есть из 38-ми всеми 38-ю, незнание большими придворными певчими нот, незнание самых простых гамм, незнание самых простых интервалов, незнание не только голосовых ключей, но даже нотного ключа своего голоса, умение петь только под наигрывание на скрипке, незнание не только самых обычных церковных текстов (вроде воскресных ирмосов), но даже и незнание напевов восьми гласов по Обиходу Бахметева – вот картина из взрослых, ожиревших, изленившихся, грубейших невежд, так называемых «больших придворных певчих». Из этих 38-ми печальнейших моих сослуживцев нашлось около десяти инвалидов совершенно безголосых, таких, каким в любом частном хоре не дали бы и 10 рублей жалованья в месяц, нашлось также человек 10–15 с голосами разве посредственными (на «тройку») и лишь по двое-трое хороших теноров и басов. И это была знаменитая когда-то Капелла!

Ш³ не поверил мне, когда я сообщил ему о мере такого печальнейшего состояния кадра больших певчих Придворной капеллы. Да и действительно! Можно ли было допустить что-либо подобное? Я уговорил Ш³ приехать как-нибудь на спевку и заставить Капеллу пропеть в его присутствии что-либо с листа, конечно, взяв что-либо самое легкое для большей наглядности и выразительности результатов такого испытания. Ш³ приехал на другой день же день и попал на спевки Капеллы так называемые «по церквам», то есть отдельно для государя со Смирновым, отдельно для императрицы Марии Федоровны с Азеевым и отдельно для так называемой «Большой церкви» с Варгиным. Был выбран нарочно самый легкий концерт Бортнянского С dur с легчайшим делением нот не далее осьмушек. Первый хор, несмотря на подыгрывание Смирнова на скрипке, встал на первой же строке, второй хор – также, третий – на третьем такте. «Совершенно определенная картина! – воскликнул Ш³. – Это какой-то позор, а не Капелла».

Малолетние певчие были по уровню знаний, пожалуй, немногим хуже больших. Мальчики совершенно не знали нот, не знали самых обыкновенных текстов и напевов, у них не было и в заводе ни классов сольфеджио, ни классов церковного пения! Вся их выучка состояла в самом поверхностном усвоении азбуки Рожнова, в участии в пении на спевках под скрипку. О классе постановки голосов в Капелле, не только о надобности, но даже о самой возможности такого класса, господа регенты Капеллы говорили со мною с самым полным недоумением и недоверием.

Учителя пения Капеллы произвели на меня такие впечатления. Смирнов – крайне исполнительный и заботливый по службе певчий старого закала – пожалуй, спас Капеллу по мере своей стойкости и прилежания. Ему обязана Капелла тем, что она не распустилась совершенно и не стала никуда не годною. Способности к музыке у этого учителя можно назвать самыми посредственными, но опытность – весьма значительною, как и уважение среди певчих и способность поддерживать дисциплину. Знания Смирнова хороши и точны только в объеме бахметевского Обихода и скуднейшего репертуара Капеллы. Теоретические его сведения, как и музыкальная начитанность, даже и в области нового русского церковного пения – совершенно слабы. Общее развитие и начитанность в литературе, истории и т.п. – слабы не менее музыкальной стороны. Но Смирнов был труженик, очень опытный и знающий по части всяких церемоний, этикета, и я очень дорожу им пока.

Совсем другое – Азеев, отъявленный лентяй, растерявший в своей лени все свои, несомненно, бывшие способности, не менее отъявленный негодяй и интриган, ведущий свои мины чрезвычайно искусно. Азеев давным-давно перестал вкладывать в свой труд хоть какое-нибудь старание и так опустился, что стал самым простым небрежным ремесленником.⁴¹⁷ Огромное бывшее самолюбие и самомнение Азеева переродились в обидчивость и глупейшее чванство, что вместе с ленью составило вполне отталкивающую фигуру. Почему-то с первых же дней по моем приезде Азеев счел

надобным заявить мне весьма демонстративно и вызывающе свое несочувствие моим планам. Он кончил свою некраткую речь [так]: «Я отлично помню, что говорю, и помню, что мне говорят; полагаю, что вам надо держать себя на страже существующих порядков и не делать нововведений, так как у нас есть свои традиции, которые нарушать вам не позволят». С первых же дней нашей совместной службы я просил Азеева делать спевки для гатчинского хора не по 20 минут, а по 2 часа и исполнять те указания, какие считал надобными ему делать, ибо хор его пел фальшиво и небрежно. Азеев не обратил никакого внимания на мои требования и продолжал лениться. Он, наконец, уехал на дачу в Сестрорецк и оттуда приезжал по пятницам утром в Петергоф на краткую спевку; оттуда же, из Сестрорецка он приезжал в Гатчину прямо к службе и пел, не делая спевок... При переезде осенью Капеллы домой такой порядок продолжался без всякого стыда и, наконец, повлек за собою после многочисленных скандалов увольнение Азеева от службы. Как учившийся только в Капелле, Азеев был мало образован, зол и груб, успокоился на своем регентском дипломе, ничего не читал и совершенно опустил умственно, забыв в своей лени даже музыку.

Помощники учителя пения, также из питомцев Капеллы – Варгин и Попков не имели даже и школы своих патронов. Варгин гораздо умнее и даровитее Попкова, непроходимо глупого, бездарного. Дерзости и наглости у обоих было через край, только Варгин был тише и злее, а Попков – грубее и вспыльчивее. Варгин – пьяница (хотя и молодой), холостой, Попков – трезвый и многосемейный. Оба давали уроки всевозможного рода, лишь бы получить больше; оба делали, подобно Азееву, только то, чего уж нельзя было не делать; оба – глубокие невежды, самомненные, гордые и самые отъявленные лентяи в своей службе, без какой бы ни было надежды на исправление и вразумление. Но, впрочем, чего же можно было ожидать иного от балакиревского печенья?

Суцая язва Капеллы был помощник управляющего Ляпунов – умный и способный, знающий музыкант, но больной по своей безграничной злости, мстительности, самомнению и самой

отъявленной лени. Ляпунов буквально ничего не делал в Капелле, доверил все своим приближенным, которые раскрасили в хозяйстве Ляпунова решительно все, доведя инструментальный класс до состояния не хуже глебовской экономии. Ляпунов посвящал Капелле в будние дни с сентября по начала мая по два часа, приходя в два-полтретьего часа дня и уходя в четыре-полпятого. Жестокие нелады Ляпунова с Аренским были сущим вредом для Капеллы. Ляпунов, работавший непозволительно плохо, не допускал никого к своему делу, оберегая тем свою свободу даже и в отлучениях каждому за что бы то ни было. Чтобы судить, как велись инструментальные классы, достаточно сказать, что у Ляпунова кончали курсы скрипачи, гобоисты и прочие, не проходившие сольфеджий и не знавшие элементарной теории; он никогда не бывал на уроках, при нем не бывало ученических контрольных музыкальных вечеров, и видал-слыхал он своих учеников только на экзаменах, да разве, когда вышедший из терпения учитель требовал у Ляпунова, чтобы он вступился наконец в свое дело. Совершенно обвиняя Ляпунова в таком непозволительном отношении к своим обязанностям, я утверждаю, что именно упрямству и лени Ляпунова Капелла обязаны тем, что бывшие блестящими при Римском-Корсакове инструментальные классы дошли до полного упадка.

Нелады Ляпунова с Аренским, кроме личных счетов, имели подкладку ту же самую, как и семь лет назад, то есть Ляпунов опять рассчитывал, спихнув Аренского, занять место управляющего Капеллою. Давая уроки наследнику, Ляпунов вместе с тем плел свои кружева и паутины в общении с Балакиревым, Бороздиным и другими членами кружка. Не было меры его досаде, когда, попавшись в грязной интриге против Аренского, Ляпунов был жестоко выведен на свежую воду и позорно обличен в шантаже. Как всегда, Ляпунов вел свое дело тонко и через третьих лиц, построив интригу на том, чтобы наследник вступился у государя за своего учителя, притесняемого будто бы Аренским.

А.С. Аренский рассказывал мне об этом эпизоде так. В один из праздников после завтрака государь сказал ему: «Наследник

желает с вами о чем-то поговорить». Явившись к наследнику, Аренский должен был выслушать, к немалому своему удивлению, хотя и деликатное, но довольно твердое приглашение не притеснять его учителя и не мешать Ляпунову в его занятиях. Отправившись к министру [императорского двора], Аренский, совершенно не ожидавший ничего подобного, просил барона Фредерикса научить его, как быть в таком случае. Министр посоветовал Аренскому пригласить к себе Ляпунова и в присутствии двух-трех свидетелей прямо рассказать ему о случившемся и предложить, в свою очередь, высказать, в чем состояла жалоба его наследнику и каким образом она была принесена. Оказалось и то, что Ляпунов совершенно отрекся от всякой жалобы, **лично** высказанной наследнику, и был в претензии, что его допрашивают в присутствии свидетелей. Оказалось и то, что жалоба Ляпунова была доложена наследнику через «третье лицо"... Но из этого подвоха под Аренского только и получалось то, что его обеспечили при увольнении небывалой пенсией, а при увольнении Ляпунова ускорили развязку его дела скорей и решительней, чем предполагал Ляпунов. Наследник после этой истории перестал заниматься у такого своего учителя.

Одновременно подводилась мина по обвинению Аренского в возможных непорядках, причем указывалась надобность ревизии. Во второй раз ревизия разгромила Капеллу. Во второй раз Ляпунов не попал в управляющие, и разлетелись в прах все уже намеченные замещения вакансий... Судьба послала Ляпунову вместо Аренского меня с Шереметевым, и у Ляпунова, несмотря на мои предупреждения не травить Шереметева, не хватило ума вести себя дальновиднее и деликатнее. Выходка Ляпунова по адресу Ш³ из-за дирижера Владимирова повлекла за собой небывалую в истории Капеллы катастрофу. 1 января 1902 года одновременно было предложено, с разрешения министра, подать в отставку Ляпунову, Азееву, Попкову и Варгину. Удар этот был оглушителен по первому впечатлению, но разрешение этой операции представило для меня вполне неожиданную и чрезвычайно тяжелую гамму всяких огорчений и оскорблений, заставивших и меня, наконец, энергично

ополчиться против этого кагала. Капелла в самом деле нуждалась в хорошей встряске и во внушительном вразумлении.

Но расскажу предварительно о так называемых «скубентах», то есть самых старших учениках Придворной капеллы. Все они переехали в петергофский Английский дворец и с первого же раза открыли мне свои карты. Грубейшие юноши знать никого не хотели и держали себя совершенно независимо, например, от воспитателей. Некоторые из воспитателей прямо-таки побаивались более грубых «скубентов». Юноши в Капелле вздумали было вести себя и при мне по-прежнему, то есть вполне не признавая над собою возможности каких-либо ограничений. Они ходили куда хотели, возвращались домой по ночам, когда им угодно было, пили, ели, ложились спать и вставали также когда им было угодно, сидели в столовой за едой и за чаепитием с невозможной неблаговоспитанностью, занимались на инструментах, сколько хотели и как хотели, и т.п. Требования их от прислуги были полны дерзости и надменности; небрежение к какому-либо порядку – самое полное.

Учебно-музыкальная часть у этих молодых людей, конечно понимавших надобность владеть своим инструментом, находилась в каком-то непонятном для меня запущении и непорядке. Ученик, например, заявлял, что он желает учиться на скрипке, и делал действительно попытку к учению, занимаясь с учителем, когда ему, ученику, приходило на ум удостоить урок своим посещением. Конечно, задаваемые уроки не учились, и более чем часто случалось, что приходивший на занятия учитель ходил по коридору Капеллы в отведенные ему часы, а ученик гулял по Невскому проспекту... Затем ученик заявлял, что он не желает более заниматься на скрипке, не чувствуя к ней призвания, а желает учиться, например, на кларнете. Начиналась та же история, кончавшаяся переводом в класс трубы или контрабаса, и проч. Класса обязательного фортепьяно не было совсем, как и классов сольфеджио и теории. Наконец, надоевший всем учителям ученик заявлял, что он, не чувствуя в себе призвания быть инструменталистом,

желает быть регентом... Здесь была уже гораздо большая свобода, так как посещения уроков регентского класса требовали надевания пальто и шапки, чтобы перейти двор Капеллы. Так как ученикам Капеллы не возбранялось при том оставаться по два года в каждом курсе, то немудрено, что немногие из учеников лишали себя этой льготы, не являлись ни на уроки, ни на экзамены, так же как и в инструментальном классе. В ответ на такое поведение учеников Капеллы «знаменитости» вроде преподавателей Анатолия Константиновича Лядова, Соколова, Азеева пропускали уроки в таком количестве (до 65–70%), что возмутились сторонние слушатели регентских курсов (приезжие и платившие по 100 рублей в год за право слушания лекций) и подачи Аренскому прошение «о понуждении преподавателей давать им уроки».

В параллель с такими порядками стоит упомянуть об оригинальном «учителе пения соло» для больших певчих – «гвардии штабс-капитане Брагине». Этот глубочайший неуч, получавший по 800 рублей в год, ухитрился создать себе прозвище «мифическая фигура», «невидимка» и т.п., так как «болел» целыми месяцами, с сентября по май, либо «состоял в карантине» по случаю заразной болезни у кого-либо в его семье. Само собой разумеется, что и те, и другие болезни сопровождались выдачами пособий на лечение. В редких случаях Брагин являлся в Капеллу и «за неявкою на занятия господ больших певчих» получал кстати жалованье. Наконец и эти посещения прекратились, так как жалованье привыкли посылать Брагину на квартиру.

Понятно, что я немедленно пригласил Брагина прекратить свое преподавание в Капелле. По превосходно написанной по сему случаю жалобе ему выдали за летние занятия 400 рублей пособия, но с условием, чтобы подобная просьба о подачке не повторялась. Несмотря на последнее, Брагин год спустя подал вторичную просьбу, но на этот раз безуспешно.

Соколова и Лядова я было вздумал усовестить, а они на меня взяли, да и обиделись. А я взял, да и не испугался угрозы, что они не удостоят более регентские классы своими услугами. Угроза была, оказывается, страшна Аренскому, а я простодушно

объяснил этим «знаменитостям», что они обязаны работать и должны быть свободны от справедливых на них жалоб, если они действительно имеют в себе сознание своего достоинства. Я объяснил им вполне твердо, что мои требования вполне законны, а исполнение своих обязанностей выгодно для их же репутацией. «Знаменитосги» подтянулись немножко... Но трудно было вразумить тех, которые давно изменились и оправдывают себя своим великодушным вниманием к каким-то «регентским классам», где плата за уроки «не помню какая». Понятно, что при слабой подготовке в смысле начитанности в музыке ученики регентских классов не могли понять величия этих «профессоров» и представляли собой в лучшем случае «бумажных музыкантов», пишущих всякие задачи, в опальном же – таких музыкусов, у которых некоторое представление о теории музыки не имеет ни малейшего отношения к музыке и, в частности, к хоровому церковному пению. Если прибавить к этому, что церковное пение преподавалось такою прелестью, как Азеев, и только в объеме Обихода Бахметева, а церковный устав таким недоумком, как Попков, то нетрудно представить, что, при прилежании учеников Капеллы, выходило из них при получении аттестатов второго и первого разряда.

Мое желание проверить искусство каждого из них было встречено ими с каким-то удивлением и недоумением, а моя, признаться, довольно строгая критика их ответов и беспощадное обличение, с которым я стыдил молодых людей, мнивших себя виртуозами, за незнание элементарной теории, за неумение правильно держать смычок, за неверную интонацию вследствие непонимания интервалов, – была для них полною неожиданностью. После многих бесед и испытаний я уговорил некоторых, наиболее удивительных по огромному росту, прекратить дальнейшее посвящение себя инструментальному искусству, и такой мой совет был принят учениками как бы за непозволительную по их адресу дерзость. Совет мой был дан некоторым «дяденькам», ничему не учившимся и жившим в Капелле «в долг». Эти юноши приписывались либо к контрабасу, либо к трубе, месяцами не ходили на уроки и жили «в долг» в полное свое удовольствие.

На первое же, после сделанной проверки, приглашение дать мне отчет в минувших двухнедельных занятиях самым дружным образом не явилось ни одного юноши. Мой приказ по Капелле, вывешенный за моею подписью в раме за стеклом, был найден скомканным на полу и растоптанным... Я написал второй экземпляр приказа и пригласил господ «скубентов» подписаться в прочтении и исполнении. На следующий срок отчета в двухнедельных занятиях опять не явилось ни одного юноши. В связи с подобного рода выходками стали замечаться выходки малолетних певчих самого дерзкого характера по моему адресу, носившие в себе явные признаки умышленного уговора со старшими. Наконец, после того как за величайшую дерзость я отправил ученика Аладьина с урока гимнастики прямо на вокзал для водворения к родителям в Гатчине и с воспрещением возвращаться в Капеллу, началась довольно уже крупная игра. Это случилось между 15 и 21 июля.

Самый отъявленный вор и величайший негодяй Владимир Александров, которого боялись уволить из Капеллы, решительно не исполнял отданных мною по Капелле приказаний, в том числе и приказания быть всем дома в 10.30 часов вечера. Это мое распоряжение господам «скубентам», конечно, очень не понравилось, ибо нарушало их бессрочные *parties de plaisir*⁴¹⁸ с особами всякого сорта. 15 июля Владимир Александров явился домой около часа ночи, не подумав на другой день ни об извинении, ни об оправдании. Впрочем, при объяснении со мной на другой день Владимир Александров заявил мне примерно так: «Ведь можно же было догадаться, что я был вчера именинник! Впрочем, и вы, и инспекция Капеллы сами отчасти виноваты в происшедшем недоразумении: я заходил к вам заявить, что я вернусь домой поздно, – мне сказали, что вас нет, дежурного по обыкновению не было на своем месте – не искать же его!». Заметив Александрову, что он, хотя и 22-х лет, все же не более как ученик Капеллы, я разъяснил ему, что тон ответа мне лишь убеждает меня в справедливости всего, что я уже слышал о нем, и что, несмотря на значительную долю связности его ответа, я все же считаю такие ответы ученика мне вполне недопустимыми. «Это как вам

будет угодно», – ответил Александров. «Молодой человек! На что вы бьете? На эффект? На ваше желание, чтобы я удалил вас из Капеллы? Как вы не можете понять, что эффект вашего поведения совершенно незначителен, а потерять Капеллу для вас нет расчета?». «Это вас не касается», – был ответ Александрова. «В таком случае я приглашаю вас сегодня же оставить Капеллу». – «Вы не имеете права уволить меня, вы обязаны держать меня до окончания курса». – «Я не считаю надобным объяснять вам свои и ваши права; я приказываю вам оставить помещение Капеллы сегодня же, и наши объяснения уже кончены».

Мое приказание было выслушано с закусыванием губ, то есть со специально выработанной в Капелле гримасой, выражавшей усилие ученика удерживаться от смеха. Через полчаса я был удивлен тем, что Александров, вполне в костюме Адама под предлогом жары, играл этюды на виолончели, ведя себя как ни в чем не бывало. На мое приглашение немедленно одеться – он оделся, но через полчаса вновь играл нагишом... На мое вторичное приглашение одеться последовало и приказание немедленно оставить Капеллу. «Хорошо, посмотрим!» – крикнул было Александров, но получил в ответ мое приказание воспитателю: «Если г. Александров не оставит Капеллу немедленно, прошу вас удалить его, арестовав и отправив в городское полицейское управление, в случае надобности вы можете силою удалить Александрова, даже связать его».

Вскоре после этой сцены Александров сложил свое имущество и уехал из Капеллы (Английского дворца), остановившись временно на квартире у большого певчего Крыжановского, что было за железной дорогой, то есть не в городе, а в уезде Петергофа. Я потом только понял, как были житейски опытны обитатели Капеллы в знании формальностей.

Розанов, из чухонцев, решительно ничего не делал в Капелле и жил воровством и кулаком. Про свою игру на контрабасе он сам сказал мне, что он, ставящий в недоумение преподавателей своим отношением к занятиям, числится в классе контрабаса лишь для того, чтобы иметь право жить в

Капелле «в долг». Чтобы охарактеризовать этого 18–19-летнего, но уже очень пожившего и истрепанного юношу, запишу его столкновения с зрителем зданий Капеллы М.Ф. Гейслером. Последний, идя по двору весной 1901 года, увидел юношу, делавшего бомбочки из талого снега и старавшегося разбить ими высоко расположенные цветные (и дорогие) окна в концертном зале. «Послушайте, что вы делаете?». – «Бью стекла...». – «Но зачем?». – «Какое вам дело?...». – «Я сейчас же заявлю управляющему!». – «Пожалуйста!». – «Как ваша фамилия?». – «Узнайте от воспитателя... впрочем, скажу: моя фамилия Розанов, но не смешайте с другим: я – Розанов первый, а не второй».

Не менее характерна следующая проделка, но уже не одного Розанова, а всей компании господ «скубентов» летом 1900 года. В Английском дворце, заметив, что одно дерево мешает видеть пожарную часть Нового Петергофа из спального окна, наиболее безопасного от надзора, молодцы Капеллы спилили верхушку этого, очень далекого от дворца, большого, старого дерева. Затем была заготовлена пропитанная керосином масса газетной бумаги, и эту бумагу в темную ночь зажигали по два-три листа и выбрасывали за окно. Ветром или теплом бумагу несло кверху, с пожарной части ударили тревогу – прискакал (по охране дома как дворца) весь персонал команды, даже из Стрельны и из Ораниенбаума... Господа «скубенты», конечно, улегшиеся спать, были в сущем восторге от отличной удачи своей выдумки.

Чтобы покончить уж кстати с характеристикой старших учеников Капеллы, достаточно сказать, что публика перестала гулять по вечерам около Английского дворца, дачники перестали держать домашнюю птицу (которую, как и голубей, пристреливали и ранили ученики Капеллы из так называемых «рогатов») и завели собак... Начальник станции «Новый Петергоф» приходил в отчаяние от наших молодых людей, постоянно мазавших скамейки платформы то смолой, то вареньем, то всякими неудобно сказываемыми веществами... «Святой Ключ», в который на глубину одного-полутора аршина холодной воды народный обычай утвердил бросание

мелких денег, был однажды обобран и затем осквернен старшими учениками Капеллы. Впрочем, довольно этих печальных примеров! Ни до чего лучшего и не могли прийти ученики Капеллы, которых не учили, не воспитывали, держали на даровом хлебе, на даровых деньгах. Людей этих не пожалели в свое время ни пресловутый Балакирев, ни Аренский, а сколько их погибло там, где можно было бы вполне легко вывести каждого в люди!

Конечно, были и исключения из этой дикой толпы учеников. И я заметил вскоре после моего первого знакомства со старшими учениками нескольких между ними юношей, каким-то чудом уцелевших в этой грязной сфере, полной всевозможных отрицательных качеств. После познакомился я с некоторыми из бывших до меня учеников, кончивших уже курс, прошедших тяжелый курс всевозможного издевательства и развращения в течение нескольких лет. Трудно поверить, до чего одичало это беспризорное юношество, не согретое ни лаской руководителей, ни умным, добрым советом воспитателей, ни даже хоть каким-либо светом знания. Грубая чувственность, цинизм, тайные и явные пороки, воровство, пьянство, картежная игра и полная, разгульная праздность, кулак, самоуправство, самосуд царили в этом кружке молодых людей, скоро узнававших почти все несвойственное их возрасту. Как могли уцелеть между ними юноши вроде Васи Алексеева или Миши Васильева, оставшиеся чистыми после многолетних влияний такого рода, – понять трудно. Как устояла их чистота, их сила отвращения – не могу ясно себе представить. Дикие товарищи, например, сажали таких юношей на горячую печь и не позволяли слезть оттуда до тех пор, пока истязуемый нравственно юноша не проделывал в их присутствии какой-либо приказанной ему мерзости... Я много раз содрогался, когда мне рассказывали про такие вещи. «Бывало, плачешь, а сам выговариваешь под диктовку Бог знает, что или делаешь у всех на глазах то-то и то-то...». Право, нечто не записанное Достоевским в его «Мертвом доме»...

Весьма характерными фигурами между учениками Капеллы были Николай и Иван Слатинцевы – братья 19-ти и 12-ти лет, сыновья чиновника Конюшенного ведомства и племянники

«камердинера его величества», некоего Катова. Оба были, несомненно, очень даровиты, но глубочайше развратились в Капелле, особенно же старший. Младший брат успел совершенно облениться и усвоить себе полный курс грубости и наглости, всякого насилия и обмана. Когда его невозможное поведение вынудило меня вызвать к себе его отца для совещания и разузнать о предшествовавшей поре ребенка, я был впервые удивлен мерой наглости и самоуверенности самого родителя. Он не давал мне сказать ни одного слова, только высказывая претензии и упирая на то, что он не без всяких связей при дворе. Наскучив слушать всякий вздор, я наконец осадил этого родителя и заставил его выслушать весьма нелестные вещи об обоих сынках с предупреждением о возможности скоро расстаться. Родитель был весьма озадачен и, не сдаваясь, сказал внушительно: «Надо принять меры против возможности такого увольнения, так как это не входит в мои расчеты». Тут терпение мое лопнуло, и, признаться, я крепко отчитал родителя, указывая ему надобность знать свое место.

Старший Слатинцев, Николай, оказался совсем потерянным человеком. Я не помню в своей учительской практике, чтобы мне приходилось встречать когда-либо столь лживого юношу. Без всякого представления о чести, какой-либо благовоспитанности, стоящей выше манер лакея. Глубоко павший юноша не останавливался решительно ни перед чем. Ему ничего не стоило обмануть, солгать, дать заведомо лживое «честное слово», побожиться всем святым, налгать на отца, мать, сестру и проч. Возможность перехватить, выманить деньги не останавливала его ни перед кражей, ни перед мошенничеством... Даже Ляпунов, и тот потребовал удаления Слатинцева после покушения стащить виолончель из Капеллы. А всему виной дядюшка «камердинер его величества», на мощь протекции которого Слатинцевы полагались как на каменную гору. Противно вспомнить, как мне пришлось объясняться с этой канальей, вздумавшей повеличаться не только передо мной, но и перед графом Шереметевым. Этот негодяй решительно не мог понять, что он не более как простой лакей, до тех пор как я,

наконец, не решился объяснить ему то, несмотря на его полную оторопь. По удалении Слатинцева из Капеллы он начал свою карьеру тем, что заключил в качестве виолончелиста одновременно два контракта, сославшись менее выгодному антрепренеру (Вольф-Израэлю) на то, что начальство Капеллы не разрешило ему принять участие в его оркестре. Как ни было стыдно, но пришлось объяснить Вольфу, что он имеет дело с мошенником... Слатинцев после такого пассажа вздумал было как ни в чем не бывало посещать Капеллу, но получил приглашение воздержаться от таких посещений.

Недурна также и характерная сценка между учеником Мартыновым (18-ти лет) и воспитателем, осмелившимся сделать ему какое-то замечание. «Убирайтесь к черту, – воскликнул взбеленившийся юноша, – мы не товарищи». Бедный воспитатель не нашелся что ответить. Этот же юноша на вывешенном распоряжении инспектора Варыпаева написал: «Дурак».

Так как одновременно с Александровым уходил Розанов, поддавшийся на мои убеждения бросить музыку и взяться за труд и заработок куска хлеба, то я, приняв якобы кающегося Александрова, выдал ему для занятий бывшие у него виолончель и трубу, а обоим им дал на первые расходы по 25 рублей. Но вечером в этот же день, или на другой, во время гулянья на музыке в Монплезире был разговор между какими-то сидевшими, переданный мне, и трактовавший мои действия в Капелле с такими невообразимыми комментариями и заключениями, что я был уже очень встревожен этим слухом. Обо мне говорили, что я неистово бью и истязую малых детей, что я вгоняю в чахотку требованиями играть на духовных инструментах по 7–8 часов в день, что морю голодом, наказываю тем за самые малые шалости, что я лишил детей отдыха, что, пожалуй, мои чудачества продолжатся еще недели две-три, так как уже нашлись люди, вступившиеся участливо за детей и сумевшие вразумить надобные сферы о немедленном удалении Смоленского, что уже доведено до сведения императрицы Марии Федоровны обо всем, что пишется прошение старшими учениками и обещано им добиться

удовлетворения по этому прошению и т.п. Нетрудно было сообразить связь слышанного с некоторыми анонимными письмами, извещавшими меня о готовящемся скандале, с поездками главарей в Гатчину к Ляпунову для получения надобных внушений. В связи же со всем этим находилось брожение, начавшееся между большими певчими вследствие моего ошеломившего их приказа от того же 15 июля, перед написанием которого я жестоко отчитал господ взрослых певчих, бежавших из храма к экипажам и гоготавших вполне неприлично. Вот этот приказ:

«Пение отделения Придворной капеллы под управлением господина помощника учителя Варгина за литургиею 15 июля в церкви на Собственной Его Величества даче было столь непозволительно плохо, недружно, даже нестройно, что представляло собою исполнение совершенно недопустимое для Капеллы и требующее немедленного улучшения. Кроме того, господа большие певчие позволяют себе на виду у богомольцев обмахиваться нотами как веером, переминаться с ноги на ногу, держать кое-как руки, оглядываться на публику, смеяться, даже зевать. Относя такой упадок пения и непорядок поведения к недостаточному вниманию и к недостаточной требовательности Варгина и к небрежности господ больших певчих, приказываю: 1) устроить спевки вдвое более продолжительные и самые тщательные до времени приведения отделения в полный порядок и 2) немедленно устранить недостатки поведения больших певчих этого отделения. Назначаю слушание мною этого отделения в последнюю спевку 1 августа».

Карандашом к этому приказу у места расписок в его прочтении мною было приписано предостережение, чтобы певчие не позволяли себе росчерков, вполне неприличных, имеющих под бывшими до сего приказами. Варгин всячески подбивал певчих на заседании их после спевки 18-го не подписываться под приказом, но певчие рассудили, что они действительно были виноваты и не их дело выгораживать своими спинами Варгина. Конечно, обе стороны, то есть старшие ученики и большие певчие (из «непримиримых»)

соединились между собой для единства выстрелов в одну цель. Первые решили подать прошение императрице, вторые выбрали депутацию, чтобы требовать от меня взятие приказа назад и, в случае моего отказа, подать на меня жалобу министру.

Я помню, что я дирижировал в оркестровом ученическом классе Вторую симфонию Бетховена, когда в дверях класса появился П.В. Жуковский (сын поэта) и князь Шервашидзе – секретарь императрицы Марии Федоровны. Это были самые нужные для меня люди. Из них с Жуковским я был знаком уже десять лет. Я рассказал им состояние температуры Капеллы и мои ожидания в предстоящие дни. После только оказалось, как пригодились эти два визита.

Наконец 21 июля вечером ко мне позвонили каких-то два темных господина, из породы так называемых «ботаников», или «перипатетиков» – проще сказать, сыщиков, и сообщили мне, что незадолго перед тем два ученика Капеллы подстерегли императрицу Марию Федоровну у так называемой «Фабричной канавки» и подали ей прошение. Когда по отъезде императрицы сыщики арестовали одного из них (Тимофеева), другой (Александров, только что уволенный) догнал императрицу на велосипеде и сказал: «Моего товарища арестовали и бьют: ваше величество! заступитесь!». Императрица возвратилась, остановила сыщиков, приказала освободить обоих юношей, и те немедленно уехали на велосипедах в Английский дворец. После я узнал, что оба молодца, сообщив товарищам о своей удаче, немедленно уехали по железной дороге в Ораниенбаум, где собрались все «непримиримые» из старших учеников и больших певчих. Признаться, как ни крупна была эта игра, я все же сказал «спасибо» героям этой истории, сделавшим мне такую услугу. Немедленно я телеграфировал министру двора о случившемся (помнится, что депеша была слов в триста), чтобы предупредить его на случай спроса государя, так как наутро была по случаю именин императрицы служба в Александрии, и министр легко мог быть спрошен. Как и следовало ожидать, Капелла, слишком уже оскандализованная ранее, только подтвердила этим случаем свою печальную репутацию.

Утром 22 июля я собрал всех учеников инструментального класса и спросил их, ознакомив с историей подачи прошений, кто из них участвовал в этом деле: все или некоторые? Мне ответили, что подписалось за неимением места только 25 человек, но прошение было подано от всех вполне единодушно, кроме двоих, не пожелавших участвовать в товарищеском деле. Я объяснил ученикам, что не в моих привычках мстить людям, делающим глупости и безрассудства, хотя бы и скопом, что я заблаговременно обещаю ученикам, если их поведение будет далее сколько-нибудь прилично, не только не мстить, но даже просить и заступиться за более виновных. В уяснение же дела я поручил инспектору Варыпаеву опросить всех учеников, выяснить их претензии и желания, так же, как и содержание прошения. В этот же час я уехал к службе в Александрию, а ко времени моего возвращения главные воротилы всей истории были уже опрошены. Никто из них, однако, не выдал хотя бы намеком тайные пружины, двигавшие все дело. «Я это объяснить не могу или не желаю», – говорили более простодушные, а более осторожные прямо отрицали существование внешних тайных влияний, мне уже ставших известными по разным намекам, впоследствии подтвердившимся.

Между тем в Капелле по этому случаю было полнейшее ликование, нисколько не скрывавшееся. Вечером ученический оркестр устроил публике даже даровой концерт, вызвавший привлечение публики довольно многочисленной и узнавшей истинную причину такого ликования. Случайно сев на прогулке после обеда на одну из скамеек парка, я не без удивления прочитал на ней жестокую руготню по моему адресу, сообщаемую публике вместе с уверенным извещением, что Капелла празднует 22 июля как день, с которого будет праздноваться ее от меня освобождение.

Судьбе угодно было, чтобы на другой день приглашенный графом для занятий с оркестром Капеллы М.В. Владимиров назначил час своего знакомства со своими будущими учениками. Этому, по-видимому, простому событию, однако, было суждено сделаться новым выразительным свидетельством

того, с кем приходится иметь дело в Капелле, как бывают неосторожны и шиты белыми нитками проделки тайных руководителей юношества Капеллы.

Оркестровым классом Капеллы заведовал после смерти Краснокутского около двух лет Николай Николаевич Черепнин, сейчас же по окончании им курса консерватории у Римского-Корсакова. Способный музыкант взялся за дирижерскую палочку впервые в оркестровом классе Капеллы и, так сказать, выучивался сам на своих уроках. Мягкий и деликатный, образованный Николай Николаевич, конечно, прошел с учениками Капеллы весьма тяжелую школу, тем более оскорбительную, что Аренский имел неосторожность пригласить Н.Н. Черепнина без ведома, а может быть, и в пику Ляпунову. Нетрудно себе представить, что проделывали с Черепниным, еще совершенно неопытным, ученики Капеллы и как Ляпунов, заявив Аренскому о снятии им с себя ответственности за дело, порученное лицу, не им выбранному (!), злорадно эксплуатировал всякий случай, чтобы всячески кольнуть и Черепнина, и Аренского. У меня сохранилась высококурьезная пикировка в виде официальной переписки Ляпунова с Аренским из-за столкновения Черепнина с учеником Зинченко. Случай этот ничего не стоил сам по себе, но выставил Ляпунова со всею мерою его злости и небрежгования никакими средствами (к этой переписке, полученной мною от Аренского, были приложены два не менее курьезных письма из-за ссоры зрителя Гейслера с инспектором Варыпаевым и по случаю обличения в мошенничестве воспитателя Капеллы Павла Григорьевича Григорьева, попавшегося пароходному обществу во взятии половинных детских билетов, вместо целых, при переезде певчих в Петергоф). Ленивому Ляпунову была, конечно, на руку детская наивность Аренского, не имевшего силы воли осадить Ляпунова так, чтобы он прикусил свой язычок и самовольно без всякого права не «складывал с себя ответственности», то есть, попросту сказать, не облегчал бы еще более *minimum* своих отношений к Капелле, даже в области, составлявшей самое сердце его дела – оркестр.

По моем приезде в Капеллу я познакомился с Черепниным и нашел, что он очень милый человек, опытный и знающий музыкант, но далеко не оркестровый учитель. И сам Черепнин глядел вон из Капеллы. Я переговорил с ним вполне откровенно, прямо, и мы расстались вполне дружелюбно. Ляпунову показалось, что он и со мной сумеет проделать такие же штуки, как с Аренским, тем более что я, не без задней мысли, сказал ему о моем совершенном незнакомстве с петербургским музыкальным миром и потому о затруднении для меня лично остановиться на каком-либо подходящем вместо Черепнина артисте. Прося Ляпунова подумать о выборе преемника Черепнину, я все-таки остановил его внимание на том, что граф Александр Дмитриевич Шереметев мнит себя дирижером, пожалуй, будет путаться в дело и, пожалуй, будет настаивать на своем дирижере Владимирове. Ляпунов сказал мне, что он давно обдумал дело, предвидя недолгие по уходе Аренского занятия Черепнина в Капелле, что он имеет достаточное представление о Владимирове как о самой заурядной посредственности и что он уже остановил свой выбор на г. Казанли, столь близком к Балакиреву, уже известном в Петербурге и за границей. Я ответил Ляпунову, что я не имею никакого понятия и ни разу не видел ни Владимирова, ни Казанли. Недалекий Ляпунов сказал, что он желал бы настоять на Казанли, ибо может «нести ответственность» только при поручении классов людям им выбранным.

Между тем Шереметев, прослушав оркестр учеников Капеллы, решил в своем уме, что ему будет приятно самому дирижировать им, после того как Владимиров будет делать для него все надобное так же, как то происходит в существующих симфонических Шереметевских концертах. Тщетно я убеждал Ляпунова в ненужности для него встать сразу в оппозицию графу Шереметеву как начальнику и в самой полной возможности взять в руки того же Владимирова, заставив его вести дело по-нашему. Ляпунов уперся и требовал себе Казанли, протестуя против Владимирова. Я ответил Ляпунову, что ведь для Капеллы на год-другой достаточно авторитетен и Владимиров и что я умываю руки в столкновении Ляпунова с

Шереметевым, по-моему совершенно для Ляпунова невыгодном.

Несмотря на заранее вывешенное объявление о часе приезда графа Шереметева с Владимировым, оркестр собрался с чрезвычайно демонстративною неряшливостью. Оказалось, что один не возвратился из отпуска, у другого болит голова, у третьего зубы, у четвертого внезапно испортилась трость, у пятого лопнула контрабасовая струна или куда-то в нотах потерялись две-три партии и т.п. Собравшиеся музыканты, под предлогом предварительного просмотра партий, продумывания и настраивания инструментов, устроили громогласнейшую какофонию. Начавшееся исполнение под управлением Владимирова сопровождалось то игрою на полтакта вперед, то вставками нот с диезами или бемолями, то фальшью фаготов или цуг-трамбонов, то громом литавр и т.п. Когда после получасовой подобной пытки, после начинания одного и того же несколько раз Владимиров сухо сказал, что он составил себе довольно определенное понятие о мере искусства и дисциплине такого оркестра и не считает надобным продолжать ознакомление, граф Шереметев, взбешенный наглостью учеников Капеллы, вздумал сказать им жестокую речь, поставив только что случившееся в связи с общею малою успешностью и неблаговоспитанностью Капеллы и с грубою выходкою в виде прошения. Ввиду высокого для меня педагогического интереса столь неожиданного объяснения, я наблюдал за лицами учеников-слушателей и не нашел на них ничего, кроме знакомых уже закусываний нижней губы и переглядываний между собою; упала во время речи графа табуретка, потом другая, временами было слышно тихое хихиканье, даже и шиканье... По окончании речи (по правде сказать, крайне резкой и нескладной) ученики демонстративно ушли и, когда я догнал их, обратились ко мне с заявлением, что они оскорблены, кроме речи графа, тем, что к ним привели какого-то «садового дирижера», которого граф даже не позаботился «представить им» – «оркестрантам», чтобы они по крайней мере знали, «как зовут этого господина», что «они просят заявить их протест и уходят с репетиции, бывшей у них с каким-то таинственным незнакомцем без рода и

племени». Я собрал все свое присутствие духа и сказал, что мне незачем принимать на себя исполнение поручений моих учеников и что нет ничего легче и прямее, чем подойти им самим к графу и сделать ему лично свои заявления. «Но, – прибавил я, – не советую вам обращаться к графу в такую минуту и с подобными заявлениями, так как это для вас же нерасчетливо, да, по правде сказать, и не умно». Я помню, что мне сказал кто-то: «С нас достаточно заявления вам, и вы обязаны передать графу наши слова». На это я ответил: «Молодые люди! Я веду себя с вами осторожнее и деликатнее, чем вы со мною. Я – старый учитель и знаю, как надобно вести себя и как поступать в подобных случаях. Оцените то, что я вам обещаю пока: до поры до времени граф не узнает о вашем мне заявлении. Прошу вас всех немедленно разойтись и быть дома». Ума учеников хватило на этот раз, и инцидент кончился.

Но сейчас же начался другой эпизод. По выходе учеников мне доложили, что меня желают видеть большие певчие Леплинский и Капитонов. Вошедшие затем два вицмундира объяснили мне, что они – депутаты от группы больших певчих, оскорбленных моим приказанием от 15 июля, и пришли предложить мне взять свои слова назад и извиниться, в случае же получения от меня в том отказа – сообщить мне о их намерении обратиться за удовлетворением к начальнику Капеллы графу А.Д. Шереметеву. Я ответил на подобную речь, что словесные объяснения считаю неуместными и отвечу только на письменные, что же касается до желания их обратиться к Ш³ то они вольны обращаться всегда и куда и к кому бы ни было им угодно. Тогда Леплинский и Капитонов, корректнейше расшаркиваясь, вышли и обратились к Ш³. Нетрудно угадать ответ графа, так как довольно растерянные лица депутатов были ясным доказательством полученного ими от Ш³ значительного внушения.

Печальна судьба обоих этих депутатов. Спившийся с кругу, споивший свою жену до безнадежности полнейшей алкоголички, Леплинский, когда-то богатый приданым своей жены, живший широко, державший лошадей, устраивавший медвежьи охоты, кончил свою жизнь внезапно, на охоте в августе 1902 года.

Бедная жена-алкоголичка была сущей мученицей в руках такого мужа. Теперь ее отстранили от детей. Я хлопочу об устройстве этих сирот – двух девочек, жизнь которых пока устроена у певчего Черемховича.

Капитонов, высоко мнивший о себе как теноре, был неразлучный друг старших учеников Ляпуновского кружка, без всякого стеснения открыто интриговал в Капелле и вел себя вполне демонстративно, не стесняясь присутствия кого бы то ни было. Застав его во время одной из бесед со старшими учениками, я попросил его немедленно удалиться из корпуса, несмотря на его протесты. Певчий Капитонов объяснял мне, что он в Капелле «свой» и может без всякого стеснения бывать в обществе старших учеников, как только ему понадобится. Я объяснил Капитонову все неприличие его позы передо мною, держа «руки в брюки» и стоя на одной ноге, затем объяснил также, что он, как певчий, может являться в зал для спевков, а не в общежитие учеников, что для посторонних лиц есть приемная комната, в которой свидания учеников могут происходить только с ведома дежурного воспитателя. На всякие прикусывания губ, пожатия плечами я объяснил бывшему «депутату», что если он не удалится сейчас же, то его выведут, пожалуй, и вынесут из Капеллы, пожалуй, даже затем и не пустят более не только на первую спевку, но даже и в переднюю Капеллы. Побледневший Капитонов, корректно расшаркнувшись, немедленно ушел. Месяц спустя он был уже в труппе частной оперы или оперетки, выйдя из Капеллы. При подаче прошения Капитонов счел надобным объяснить мне, что он уходит со службы потому, что для него, молодого артиста, желающего посвятить себя сцене и временно, по интригам не попавшего в артисты Императорской оперы, не место быть певчим и он, не сочувствуя заводимым мною порядкам, покидает службу, несмотря на недавнее поступление в Капеллу. Я объяснил Капитонову, что меня не интересовали эти подробности и я не приглашал сообщать их мне; что дело, но существу, состоит в его прошении и в моем по нему приказании. Тем дело и кончилось. Слыхал я потом, что Капитонов очутился в бродячих труппах около Порт-Артура и

Владивостока и горько каялся за проявление своих добровольных протестов в Капелле.

Между тем в кругу учеников и даже малолетних певчих возбуждение продолжало подогреваться весьма энергично. Вследствие особенностей по сему агитации Александрова оказалась бессильною против него, как жившего в уезде, а не в городе Петергофе, не только дворцовая, но и городская полиция. Когда Александров целыми днями ходил вокруг Английского дворца и находился в постоянных общениях с нашими «скубентами», был выхлопотан приказ о его административной высылке, с предварительным отображением казенных инструментов. Жестоко поплатившись в объятиях полицейских за попытку скрыть инструменты и за отказ указать, где они находятся, Александров был выслан немедленно в Петербург и обязан подпискою о невыезде. Тут через 10 минут узнавшие о расправе с Александровым впервые позадумались наши молодые люди и повесили носы, но... но не более как на два-три часа. Нашлись немедленно давшие советы не обращать внимания на случившееся с Александровым и вести свою линию, тем более что о высылке будет немедленно доложено императрице, и она вступится за Александра как «служившего» Александру III. Одна выходка следовала за другой по моему адресу, и кучки «скубентов» были в постоянных совещаниях, а летучая их почта в виде пяти-шести велосипедистов-учеников поддерживала самые оживленные отношения с Ораниенбаумом и Придворным оркестром, где масса бывших учеников Капеллы следила за нашими делами с величайшим интересом и посильным содействием своим бывшим товарищам.

В высших сферах наши волнения по подаче прошения не были встречены хоть каким-либо вниманием, и только министр Фредерикс одобрил мое уведомление его подробною депешою, успокоив меня к тому же, что подобные выходки при дворе никогда не пользовались каким-либо снисходительным вниманием. Успокоили меня также А.А. Мосолов да граф Олсуфьев. Оригинален был последний, присоветовавший «надеть мокрые замшевые перчатки и хлестать по щекам», так

как знаков даже от сильнейших ударов не остается будто бы от такого приспособления, – «а таких башибузуков только и следовало бы, – прибавил он, – драть лозой да бить в морду». Успокоили меня и оба Шереметевы, обещая в случае надобности вступить во всю мочь.

Между тем от императрицы Марии Федоровны не было ни ответа, ни привета недели две с лишком. Вдруг я получаю депешу в день назначения ее отъезда явиться в Гатчину с самым ранним поездом для подачи объяснений по поводу прошения учеников. Это было 9 августа. Я волновался очень и был еще более взволнован, когда мне сказали, что я уже опоздал, так как был какой-то поезд в 6–6.30 часов утра, с которым я и должен был выехать вместо восьмичасового. Тем не менее императрица меня сейчас же приняла. Она стояла посреди своего кабинета и стоя же расспросила меня обо всем довольно подробно. Я отвечал императрице вполне твердо и сказал, что могу представить в свою защиту лишь общие соображения, так как мне в точности и в подробностях содержание прошения учеников Капеллы вполне неизвестно. На обвинение меня в том, что я будто бы жестоко обращаюсь с детьми, плохо их кормлю, морю работой и т.п. я ответил, что всего лишь два месяца назад я удостоился получить перед отъездом из Москвы альбом учеников Синодального училища с выразительной надписью «директору-отцу» и что кончившие курс всех выпусков в том же училище списались между собою, сложились и поднесли мне складень почти с такой же надписью. «Согласитесь, ваше величество, что я, заслуживший такой отзыв за свою деятельность в течение двенадцати лет, не мог же испортиться в какие-нибудь два месяца до того, чтобы на меня можно было жаловаться как на изверга. Что касается до плохого стола в Капелле, то, – продолжал я, – он несколько не хуже бывшего, но сам по себе действительно плох, так как Капелла обворована до самой последней степени, не платит долгов поставщикам и получает от них по этой причине плохие товары за дорогую цену». Относительно того, что я будто бы морю детей работою, я сказал: «Это очень преувеличено, так как я действительно заставляю учеников работать, прямо жалея

их самих и желая сколько-нибудь наверстать время, проведенное ими в самой позорной лени и праздности, приведшей к тому, что у меня есть много молодых людей, в 17–20 лет ничего не знающих, не умеющих даже грамотно писать, не знающих даже элементарной теории музыки, не годных даже в заурядные для провинции оркестры, нисколько не благовоспитанных и потому прямо обреченных в будущем на голодную жизнь». Вероятно, моя речь была так горяча и искренна, что императрица пожелала узнать подробности быта Капеллы; она села на диван и пригласила меня сесть и рассказать ей подробнее об общем уровне состояния Капеллы. Получив от меня, вероятно, вполне убедительный ряд примеров, видя мое волнение, императрица успокоила меня, сказав, что мои объяснения вполне удовлетворительны и потому прошение учеников будет оставлено без уважения. Когда я возвратился от императрицы к князю Шервашидзе, ее секретарю, то он подчеркнул мне значение некоторых особенностей бывшего приема (я забыл теперь их этикетное значение) и сказал, что, судя по всему, он может только поздравить меня с благополучным окончанием этого дела.

Возвратившись домой, я нарочно написал и объявил на другой день краткую речь ученикам такого содержания: «Вчера, утром 9 августа, по приглашению ее императорского величества, я имел счастье давать некоторые объяснения государыне императрице Марии Федоровне как о состоянии Капеллы вообще, так и по содержанию прошения, поданного ее величеству за подписями учеников Капеллы. Ее величество, милостиво одоблив мой доклад, изволила выразить мне, что прошение учеников оставляется ею совершенно без всякого уважения. Вместе с тем я исполнил мое данное вам 22 июля утром обещание, то есть я просил за учеников вообще и уверил императрицу в близком предстоящем оздоровлении Капеллы и во вполне твердом направлении мною ее жизни к порядку, труду и полному повиновению. Поэтому приглашаю вас – работать и слушаться. Успокойтесь и верьте моей полной справедливости, желанию вам добра и соблюдению мною надобной степени снисхождения к более виновным».

Я прочитал эту речь по моей записной книжке, пригласив двоих глядеть за читаемым и затем еще раз прочитать ее вслух для лучшего усвоения ее содержания. Но, увы! Нравы господ «скубентов» требовали действительно крутых мер. Несмотря на чтение речи перед собранием всех учеников, воспитателей, учителей пения, я вдруг услышал возглас: «Да еще правда ли то, что прошение учеников оставлено без последствий?». «Самая полная правда», – ответил я твердо, и собрание наше разошлось, повеся носы.

Но – опять ненадолго. В этот же день пропали на ночь из Капеллы несколько человек, Бог знает где бывших, несомненно, однако, совещавшихся и в Петербурге, и в Гатчине, и в Ораниенбауме... Вызывающее поведение появилось вновь, и выработалась новая форма неповиновения и стремления все-таки жить вольно и работать, когда кому и сколько вздумается. На назначенную мною спевку летних занятий 16 и 26 августа вновь не явился из старших учеников решительно никто. Наконец ученик Вилон, дававший уже уроки на фортепиано, проговорился так: «Я не сочувствую заводимым в Капелле порядкам, и мое достоинство не позволит мне подчинение им, поэтому я решил уйти из Капеллы прежде, чем мне предложат уйти, тем более потому, что я давно уже «живу в долг», и не один я намерен протестовать своим уходом...». Тут я уже махнул рукой на выходки всяких Вилонов, Розановых, Черногооровых и прочих, дав их последним дням в Капелле прежнюю свободу.

Некоторая попытка заинтересовать любознательность старших учеников и показать им меру их малых знаний о самых простых вещах, о самых общедоступных и общеизвестных естественно-исторических, биологических науках, географии, истории, политической экономии и т.п. была мною сделана в виде начала моих бесед с этими учениками.⁴¹⁹ Я – неплохой учитель и умею владеть полным вниманием учеников, но те 29 бесед, которые я добровольно провел с ними, совершенно убедили меня в кидании зерен на безнадежно каменистую почву. После почти полуторамесячного опыта я прекратил эти беседы, изверившись в возможность иметь дело с такими

молодцами. Мало-помалу кружок наш сокращался, и я, к полному удовольствию большинства старших учеников, спросил их однажды: интересуют ли их, например, данные хотя бы из истории музыки? «Зачем? – спросили меня они в свою очередь. – Ведь артисты должны только играть, отнимать же у себя время в ущерб специальным занятиям можно лишь ради чтения последних новостей в газете для необходимого общения в обществе, ради прогулки на Невском». Я махнул рукой, услышав такое рассуждение после моего курса, и мы расстались.

Было объявлено по Капелле, что в этом году, как и во все при мне будущие годы, Придворная капелла возвращается домой от службы в Александров день, 30 августа, из Невской лавры не в Петергоф, как прежде, а на Мойку, 20; что 31 августа будет молебен пред началом ученья, а 1 сентября – начало классных занятий.

Это лето 1901 года в Петергофе, особенно же зиму 1901/02 года до дня увольнения Азеева, то есть 24 июня, я считаю самую трудную годиною в моей жизни. Мне пришлось пережить множество самых тяжких, самых мучительных страданий, мне приходилось быть твердо-жестким администратором, гнать людей вон со службы, огрызаться на всевозможную травлю, разбираться во всевозможной интриге, лжи, наглости, лени, предательстве, клевете, и все это среди самого упорного труда, иногда в совершенно беспомощном, вполне одиноком положении. Я шел прямо на смертный бой с давно привычными порядками, с дружно сплотившимися от опасности людьми, между которыми были люди сильные связями закулисными, люди неглупые и настойчивые, самолюбивые люди разных возрастов и положений, всегда имевшие возможность самым корректным отношением к делу косвенно способствовать провалу самого правильного и самого благодетельного начинания. Бой этот был неумолим, и я не мог проиграть в этом бою даже милых отдельных операций, я должен был победить по всему фронту, чтобы спасти Капеллу и вывести ее на дорогу труда и добра, знания и порядочности. Задача моя была на первое время двойная: мне надобно было, разобравшись в делах и людях, ведя служебное дело Капеллы как хора,

выполоть тернии и выходить уцелевшие злаки. Терний и плевел было видимо-невидимо, и, кроме их множества, вырывание и выпалывание их было трудно как от их сопротивления, так и от множества пущенных ими старых и крепких корней; злаков было мало, они были слабы, не энергичны, не верили еще в силы правды и света, они были под тяжким гнетом сильных плевел. Прошло много времени, пока злаки увидели свет и тепло, пока уверовали в возможность для них лучшей и достойной жизни, сбросили с себя бывший привычным беспросветный гнет плевел.

9 января [1903 года]

Пишу эти строки в дни, когда год тому назад началась самая тяжелая пора наивысшего напряжения этой борьбы, то есть удаления из Капеллы разом Ляпунова, Попкова и Варгина. Да не посмеется читатель, если я скажу, что в моей грешной ежедневной молитве я до сих пор поминаю имена Сергия (Михайловича Ляпунова), Евстафия (Степановича Азеева), Василия (Илларионовича Попкова) и Константина (Константиновича Варгина), прибавляя сюда [имена] Алексея (московского Ш²) и рабы Божией Софии [Волковой], научившей меня делать эту молитву за моих недругов. Я поминаю их и молюсь искренно за них, ставя впереди только одно имя моей жены Анны, так как на мою долю выпала необходимость заставить ее и их пережить много огорчений и лишений. В этой горестной и тяжелой истории жена поддержала меня, и я чту все-таки на самом первом месте ту, счастье жизни которой есть вместе и мое глубокое, редкое между людьми, самое полное и достойное счастье.

Удаление четырех моих ближайших сотрудников было обдуманно мною совершенно строго, хладнокровно, сначала в одиночку, потом со спокойными, умными и власть имущими людьми. После решения вопроса о безнадежности этих четверых к исправлению, после обсуждения вопроса о годности их знаний и достаточности их опыта для будущей работы был обдуман путь расставания с этими ненадобными более людьми, как и выбор новых людей, которые были бы их заместителями.

Начало этой жестокой борьбы относится к целому ряду разочарований и грубых, упрямых противодействий, которые пришлось испытать с первых же дней по моем появлении в Капелле. Девятнадцатого мая, то есть через неделю, я случайно встретил, идя с набережной Невы, возвращающегося домой Азеева и разговорился с ним по поводу плохого пения хора. В дневнике моем записан этот разговор так:

«Господин Азеев не без возбуждения сказал мне без всякого с моей стороны повода: «Что там ни говорят, а все-таки

это первый хор в мире; как ни учите певчих, а все-таки на слух наши певчие споют лучше кого угодно; никаких нам теорий и обучений не надо. Приходите к нам не врагом существующего порядка, а хранителем его – тогда увидите, как запоют все. А мальчиков действительно подтянуть надо. Я ведь отлично помню все, что вы говорите и что сам говорю”””.

Таким образом, наиленивейший из учителей пения, успевший уже в лени утопить свои незаурядные способности, сразу обнаружил свое несочувствие тому, что мне представлялось с первого же раза самым необходимым для хора Капеллы, то есть обучению певчих и тем самым прекращению пения Капеллы под наигрывание на скрипке; я говорил еще с Азеевым о необходимости расширения репертуара Капеллы, о надобности завести пение по партитурам, а не по отдельным голосовым партиям, о надобности освободить Капеллу от толпы безголосых старцев – все мои предположения сводились весьма возбужденным почему-то Азеевым к весьма резкому отрицанию, даже к дерзости, если принять во внимание недавний мой приезд и положение начальника. Нисколько не смешивая характера этого разговора с вполне радостною для меня и всегда поощряемою свободою высказывания мнений, я не мог ошибиться ни тогда, ни потом (по продолжениям таких разговоров), что меня ждали и встретили в Капелле в высшей степени непримиримо и враждебно, как какое-то оскорбление ее достоинства, мне ставили в вину даже то, что я москвич и не композитор. Связь последовавших событий с этою несвоевременною выходкою Азеева мне представилась вскоре доказанною. Азеев держал себя все время вполне демонстративно, ленился до отвращения и, стыдно сказать, интриговал между большими и малыми певчими до сущей гадости и подлости. Понятно, что в скором времени я стал обдумывать вопрос об увольнении столь злобного товарища. Азеев был когда-то и автором, подававшим некоторые надежды в области композиции. Ленъ Азеева, не говоря уже о спевках и службах, дошла, например, до того, что он брал себе композиции на цензуру и держал **по три года** и иногда даже терял их, или, например, он получил

вперед деньги за корректуру Ирмосов (издание Капеллы со старых досок), также продержал и, ничего не сделав, даже не потрудился возвратить корректурный экземпляр. Я уже упоминал о том, что летом Азеев проживал на даче не около Петергофа, а (весьма выразительно!) в противоположной стороне – в Сестрорецке. Какой работник мог позволить себе подобное удаление от места своей работы? Какой работник, после целого ряда самых деликатных внушений, все-таки ограничивался бы вполне упрямо и грубо только тем, чего уже нельзя было не делать? Куда годен такой сотрудник, да еще при аллюрах своего самолюбия и виртуозного искусства в интригах? Азеев занимал в Капелле место второго учителя пения и, понятно, враждовал со Смирновым постоянно, как два медведя в одной берлоге; хор, поющий у императрицы Марии Федоровны, всегда находился в его ведении, равно как и приготовление Капеллы к трем пьесам для Инвалидных концертов.⁴²⁰ Первая выходка Азеева, проделанная им, заключалась в том, что во время одной обедни в Аничковом дворце вдруг упал мальчик, якобы в обморок, и было ловко пущено, конечно, через третьих лиц, такое объяснение: «Что же можно ожидать теперь от Капеллы? Прежде мы учили петь, теперь начали учить вместо пения наукам, да кроме того, что морят ученьем, еще бьют и плохо кормят». Такая версия после только что бывшей неудачи с прошением учеников была, конечно, рассчитана на известное и довольно сильное впечатление. И цель была достигнута с помощью всяких лакеев Аничкова дворца без промаха, хотя Азеев остался «во всей этой подлой сплетне решительно ни при чем».

Не менее печальное явление представлял собой Варгин – помощник учителя пения, очень способный молодой человек, но совершенно заленившийся и усвоивший себе манеру делать только то, чего уж никоим образом нельзя не сделать. Как и все опальные его товарищи, но только в еще меньшей мере, Варгин не имел никакого, даже и малейшего понятия об искусстве пения в смысле знания курса постановки и развития голоса, так что в «учителях пения» он, как и его товарищи, были самые полные нули, самые полные невежды. Знания их не шли далее

Обихода Бахметева и скудного репертуара Капеллы, то есть того, что было необходимо нужно спавшей и изменившейся Капелле, официально отвергавшей все новое в церковном пении как Капеллою «нерассмотренное» и потому не удостоенное ее одобрения. Малая компетентность Варгина в качестве преподавателя была мне блестяще доказана, когда летом 1901 я поручил ему пройти обычный в Капелле подготовительный для хора курс со вновь принятыми мальчиками. Мальчики эти оказались лишь выученными подпевать под скрипку главнейшие тексты литургии и панихиды, но не знающими нот... И это был успех двух месяцев! И это в Капелле! Кроме того, Варгин, из глубочайше пьяной семьи, оказался способным на самую величайшую наглость, способным ко всякой гадости. Это был к тому же вполне необразованный, хотя и неглупый от природы человек, очень гордый, самомненный и грубый. Семья его состояла из глубочайшей пьяницы-матери, вдовы после отца Варгина, также жестокого алкоголика, и сестры – изрядной вертушки.

Другой помощник регента – Попков, также из учеников Придворной капеллы, был какой-то бездарнейший недоумок, притом крайне грубый, наглый, также воображавший о себе очень многое. И этот, как и Варгин, приготовил мне для хора второй прием (осенний) мальчиков, но гораздо хуже даже Варгина. Попков был многосемейный, женатый на дочери купца. Про столкновение Попкова с Аренским я слышал от последнего. Попков требовал себе квартиру, находя за собой какие-то заслуги, и, когда Аренский резонно отказал ему прямо по неимению свободных квартир, пылкий Попков воскликнул: «Если вы, господин управляющий, не изволите дать подходящую мне квартиру, то вас заставят дать» – и ушел, не простившись с Аренским. Со мной у Попкова столкновений решительно не было, исключая странной подачи им мне прошения такого содержания, полученного мною вскоре по моем приезде в заказном письме. Прощение было кратко: «На основании таких-то статей закона ваше высокоблагородие имеете представить меня, как прослужившего 12 лет, к получению ордена Анны III степени. Василий Попков». Я

объяснил Попкову после справки в законах и его службе, что он ошибся в счете лет своей службы (только 11 лет) и в самовольном себе зачете в службу того, что по представлению и усмотрению начальства, при подобных пожалованиях, зачитаемо в срок выслуги быть не может. Вместе с тем, заинтересованный таким неожиданным прошением, я спросил Попкова, отчего он не говорил предварительно со мною, а предпочел, чтобы в деле о его службе остался на память такой оригинальный документ? В ответ на это я услышал буквально такие слова: «Когда начальство само не делает то, что оно обязано делать, я считаю себя вправе указать на то своему начальству». – «Но ведь вы знаете, что я только что приехал и что срок представлений назначен в январе?». – «Мне это все равно, хоть бы вы вчера приехали. Вы обязаны и не сделали представления, я вас проучил». – «Но ведь вы могли позаботиться о том, не ошиблись ли вы в применении к себе указываемого вами в прошении закона?». – «Это не ваше дело!».

Наконец, не излишне будет упомянуть, что Попков терпеть не мог Варгина и Азеева, со Смирновым же чуть-чуть ладил; Азеев терпеть не мог Смирнова, Попкова и Варгина, а последний терпеть не мог Смирнова, Азеева и Попкова. Понятно, что при таком незавидном ансамбле, да еще при лени и глубоком невежестве подобных учителей пения (кроме рутинного ремесленника Смирнова, работавшего по-своему исправно), Капелла падала из года в год. Наконец, догадался об этом, и по-видимому давно, сам государь, живо подтвердивший доклад Ш³ о надобности обновить свежими талантливыми силами состав руководителей хора и выразивший полное неудовольствие от очевидного из года в год падения хора Капеллы. Известие как нельзя подбодрило мою решимость настоять на удалении из Капеллы таких троих молодцов, как Азеев, Варгин и Попков. Одновременно с этим я остановился в своих мыслях, руководствуясь и словами государя, сказанными мне 13 мая, на моих учениках из Синодального училища Саше Чеснокове, Паше Толстякове и Мише Климове. Первые двое служили в Петербурге: Саша – в

Училищном совете при Святейшем Синоде, Паша – в Экспедиции заготовления государственных бумаг; Миша был преподавателем в Тамбовском женском епархиальном училище. Все трое умны, способны, музыкальны, отлично учились, а для меня притом все равно как родные мне дети. Другая половина моей борьбы в Капелле была направлена на увольнение Ляпунова, на которого главным образом обиделся Ш³ из-за игнорирования Ляпуновым капельмейстера Владимирова. Как я ни уговаривал Ляпунова и как я ни доказывал ему, что для него ничего не стоит взять Владимирова в руки, так как сам Владимиров нисколько не подавал повода к каким-либо неудовольствиям, вел себя с большим тактом и занимался очень умело, Ляпунов упрямо стоял на своем, трактуя о невозможности для него «принять на себя ответственность» за занятия в области его ведения «не приглашенного им лица». Ляпунов с сентября по январь самым демонстративным образом ни разу не был в оркестровом классе. С другой стороны, я полагал, что Ляпунов, во внимание к моим требованиям, хотя сколько-нибудь забудет свою лень и, хотя сколько-нибудь энергичнее примется за дела. Я просил Ляпунова устроить в Капелле еженедельные ученические музыкальные вечера, на которых бы можно было контролировать успехи, поощрять лучших, приучать к эстраде и вообще иметь возможность более, кроме посещения уроков, следить за успешностью занятий учеников. Самолюбивому Ляпунову не понравилось уже то, что в Капелле делается нововведение не по его почину, и потому дело началось с того, что сначала не успел он заготовить книгу для записей преподавателями назначаемых ими учеников и приготовленных пьес, потом он забыл о вечере (мы уговорились о средах), потом отговорился тем, что записаны только двое, почему не стоит назначать вечера, и т.п. Как бы то ни было, но я настоял, чтобы вечера пошли в ход. Но спустя несколько вечеров вдруг на одну из сред ни один из преподавателей не записал ни одного ученика, а на следующую среду такая демонстративная незапись повторилась снова.

Другой пункт моих разногласий с Ляпуновым состоял в том, что он, держа себя барином, решительно не хотел сколько-нибудь сократить то воровство, которое так беззастенчиво и открыто производил около Ляпунова «воспитатель» Николай Николаевич Седых. Воровство это было в области инструментального класса и в области нотного склада. За воровство это казна еще прибавила этому «воспитателю» «добавочное вознаграждение за занятия», а Л[япунов] даже просил меня об увеличении этого вознаграждения. Воровство это было мною открыто случайно и сполна в один день по вполне неожиданному поводу. Гуляя около Синего моста, я увидел магазин заложенных и просроченных вещей и в окне этого магазина виолончель. Мне вдруг захотелось купить себе виолончель взамен бывшего у меня когда-то прекрасного, но погибшего инструмента, и я зашел в этот магазин. Здесь, к моему удивлению, я нашел виолончель № 5 с отчасти стертым клеймом Придворной капеллы. Виолончель этот можно было выкупить за 35 рублей, хотя он был хороший и очень старый. Вернувшись в Капеллу, я к полному удивлению нашел в ней виолончель также № 5, но базарный десятирублевый. Справка в инвентаре удостоверила лишь запись № 5 – «виолончель со смычком и футляром» без означения величины, цвета лака, достоинства, цены и т.п. Очевидно, что такому инвентарю была, как говорится, грош цена и что бывший налицо виолончель базарный заменял украденный. Общий смотр скрипок, альтинов и виолончелей сейчас же убедил меня в том, что в области этой замена старых инструментов старыми же, но базарными практиковалась вполне бесцеремонно. Подсчет инструментов и проверка их по инвентарю вдруг обнаружила наличность шести скрипок с номерами и клеймами Капеллы (разумеется, грошовых), которые еще не успели вписать в инвентарь. Дальнейший осмотр обнаружил, что как только ученику были надобны деньги и как только ему хотелось полениться, так сейчас ломался якобы какой-нибудь клапан у кларнета или фагота, или надобно было «почистить» трубу (наши «медные» считали для себя невозможным и неслыханным унижением мое требование самим держать свой инструмент в порядке), или

ломалась педаль у арфы, головка у скрипки или смычка, падала дужка у виолончеля и т.п. Ученик тотчас же получал билет на проезд туда и обратно до мастера или до магазина Юргенсона или Циммермана (конечно, к каждому порознь), потом ездил, чтобы «поторопить», потом ездил, чтобы «получить» свой инструмент. Конечно, бывало, как мне говорили, и так, что никакой поломки не было, как и никаких поездок, так как деньги прямо шли в пивную. Но затем «починка» ставилась в счет мастера, конечно, по цене, какая только ему приходила в голову после соглашения с «воспитателем» Н.Н. Седых. Таким образом, например, упавшая в скрипке дужка обходилась в три-четыре поездки к мастеру – рубля в три, самому мастеру еще рубля три, а если этот пассаж случался летом, то сюда приписывалась и стоимость железнодорожного билета второго класса. Точно то же проделывалось со струнами, нотами...

Не менее характерно и хозяйство в нотном складе. Я пугнул господина Седых еще летом, указав ему на отсутствие записи поступивших заказов в книге склада. Седых поправил дело до 31 мая, но потом опять бросил записи, хотя посылки нот и присылки денег шли безостановочно. Наконец я узнал, что однажды был на днях «приходящий» покупатель и увез из склада значительную пачку нот на извозчике. Седых объяснил, что он еще не успел записать предыдущих продаж, потому не записал в книгу и эту, чтобы «не нарушать порядка записи», что деньги, выручаемые от продажи, обыкновенно представляются в кассу министерства «кучками», по мере их накопления.

В связи с этим порядком нетрудно было вспомнить о давнишнем способе изданий Капеллы – сначала для продажи «своих экземпляров» и сообразить, откуда после шестисемилетнего заведования инструментами и нотами г. Седых, бывший малолетним певчим, женатый на дочери кастелянши Капеллы, мог найти средства, чтобы купить на Охте место и выстроить «домик». Но самое трогательное, так сказать, во всем этом порядке было то родственное единение, которое составляло полицию кружка господ Григорьевых, кастелянши и господина Седых. Старший Григорьев (Павел, попавшийся в мошенничестве с пароходными билетами, «воспитатель»,

откомандированный после этой истории в регентские классы «для занятий») кругом обошел Ляпунова, работая за него решительно все, так что Ляпунов в регентских классах появлялся только на переводных экзаменах.

История эта [мошенничества с пароходными билетами] чрезвычайно характерно обрисовывает мягкость и нерешительность, а также и уступчивость Аренского. Изложу ее по подлинным хранящимся у меня документам. 27 мая 1897 года в Капелле была получена бумага из Товарищества Петергофского пароходства, в которой было объяснено, что «при поездке Капеллы 20 мая в 4 часа пополудни, лицо сопровождавшее Капеллу, в составе которой не было детей ниже 10-летнего возраста, позволило себе обмануть кассира, взяв 20 детских билетов вместо 20-ти полных», что «если лица, сопровождающие Капеллу, позволят себе недостойные проделки, остается одно средство – обращаться к содействию полиции для задержания лиц, позволяющих себе заведомый обман кассиров». Общество просило возвратить ему недоплаченные по сему случаю 6 рублей. Конечно, сейчас же явился на сцену Глебов, который терпеть не мог Павла Григорьева. Из объяснения его с директором Пароходного общества получилась Капелле вторая пощечина в виде отказа директора «что-либо убавить или изменить в присланной бумаге» и, наоборот, в твердом намерении «снова подтвердить содержание бумаги в полном составе».

По произведенному затем дознанию инспектора Варыпаева последовало полное обличение Григорьева, получившего вперед деньгами 12 рублей, истратившего за чем-то 6 и прикарманившего у себя остальные 6 рублей. Григорьев ухитрился, после слезных упрашиваний не губить его, многосемейного, уехать в отпуск. Варыпаев в рапорте от 30 июня пишет: «Хотя г. Григорьев перед отъездом в отпуск для лечения и выразил желание добровольно оставить Капеллу по прошению, однако, на случай если бы он вздумал изменить свое намерение, я полагал бы, что г. Григорьев, по возвращении своем из отпуска, ни в коем случае (даже временно) не должен быть допускаем к исполнению служебных обязанностей ни как

воспитатель, ни как преподаватель приготовительного класса». 13 июня на рапорте явившегося из отпуска Григорьева Аренский пишет: «Считаю долгом предложить подать прошение об увольнении от службы и до подачи прошения не вступать в исполнение служебных обязанностей». 4 августа Аренский пишет Григорьеву: «Несмотря на словесное мое предложение, сделанное вам 14 июля, вы до сего времени не подали мне прошения об увольнении, поэтому я считаю долгом написать вам, что прошение должно быть подано в двухмесячный срок от настоящего числа» (!!!). 6 октября бедный Аренский пишет тому же Григорьеву: «Я нахожу возможным оставить вас на службе и предлагаю вам исполнять обязанности воспитателя в регентских классах» (NB: такой должности в Капелле нет), «находясь в распоряжении господина заведующего этими классами С.М. Ляпунова». Таким образом, «щуку в наказание за ее грехи бросили в реку». Ляпунов приобрел преданнейшего ему великого интригана, служившего ему верой и правдой и бывшего шефом всех исполнительных действий по тайным махинациям Ляпунова, утопившим, наконец, Аренского. Теперь этот гусь лапчатый, quasi-воспитатель оставлен мною за штатом с 6 декабря 1902-го и хлопочет об усиленной пенсии, за что – Бог весть. Пожалуй, ведь и дадут!

Младший Григорьев – Михаил, воспитатель Капеллы – был так же умен и ловок, как и его старший брат; надеясь на вразумление этого воспитателя, дельного и деятельного, привычного (хотя иногда и очень пьяного и грубого), я оставил его в Капелле и на будущее время. Младший Григорьев женат на дочери кастелянши. Седых женат на другой дочери кастелянши. «Сама» маменька вполне бесцеремонно клала кирпичи и камни при взвешивании казенного белья и была весьма сконфужена, когда однажды оказалось, что ученики Капеллы носят множество юбок, кофт и других дамских принадлежностей, не только принадлежащих кастелянше, но и заимствуемых ею от посторонних Капелле лиц. К этой же плеяде примыкал и убогий воспитатель Языков, молодой человек из малолетних певчих, архибездарнейший, попавший в обучение часовому мастерству, а потом в воспитатели. Кроме

такого родственного кружка к этому обществу примыкала дружная своя полиция из швейцара-латыша (очень умного и ловкого), которого «папенька Милий Алексеич» обратил из лютеранства в православие, и целая рать из старших учеников, ухаживавших как за «мамой», так и за ее не выданными еще дочками. У этих учеников, конечно, всего чаще ломались и чинились всякие инструменты, а главными из них были ученик Илья Седых (брат «воспитателя») и два брата Амосовы – все трое очень даровитые и беззастенчивые. Понятно, что при такой шайке, да при соответствии ее деятельности лени и беспечности Ляпунова, его доверчивости и нежеланию беспокоить себя – шайка эта предъясляла Капелле дикие счета на покупку нот, струн, починку инструментов, проезд на извозчике и проч. Один из учеников, именно – Амосов Николай, даже состоял в должности помощника библиотекаря инструментального класса и получал даже жалование.

Итак, вот мирок, которому вполне верил Ляпунов и который он оберегал всячески, как помогавший ему ничего не делать и оберегавший его, Ляпунова, от чего бы то ни было ему неприятного. Конечно, Ляпунову можно было спокойно писать и печатать свою последнюю симфонию при дружной помощи такого мирка, даже не докладывавшего ему о текущих по Капелле делишках, и Ляпунов действительно не заботился о своем хозяйстве, думая, что если оно и не процветает, то опять-таки виноват во всем... Аренский.

Как бы ни было, но 4 декабря 1901 года у меня была совершенно случайная беседа с Ляпуновым, записанная в моем дневнике так:

«После обеда долго говорил я с Ляпуновым и подивился необыкновенному, неслыханно самоуверенному самомнению этого музыкуса. Он даже не допускает, чтобы можно было что-либо думать о негодности творящегося в области его ведения; он игнорирует все, выставляя его [за] мелочь, о которой нечего и говорить, когда существует такое величие, как он, Ляпунов; он говорит, что всякое воровство, всякая лень, всякое незнание – все это насажено Аренским, даже и тогда, когда Аренский ничего не предпринимал в области ведения Ляпунова; что он,

Ляпунов, принципиально устранился от каких-либо воздействий там, где он не полнейший хозяин, не подлежащий ни критике, ни служебным отношениям. Так, по подлинным словам Ляпунова, он не считает себя обязанным иметь хоть какое-нибудь отношение к оркестровому классу (а это ведь есть самый центр забот и деятельности Ляпунова), ибо [дирижер] Владимиров есть ставленник Ш³. В сущности выходит то, что в регентские классы Ляпунов не входит потому, что теперь туда позволяет себе совать нос Смоленский; в окружающее воровство в области нот, покупок и починков инструментов Ляпунов не входит потому, что такому величию нечего спускаться до таких мелочей; в окружающее незнание и неуспешность Ляпунову нечего вникать, так как сюда всмутился еще Аренский, дерзнувший сажать своих учителей. «Конечно, если бы все было в моих руках (подразумевалось: если бы я был управляющим Капеллю) – то все и исповедовало бы великие принципы «Русской школы» ["Могучей кучки"]. «Московская консерватория, – как выразился Ляпунов, – не дала мне решительно ничего; в ней нет решительно никого, на ком стоило бы остановиться; даже Танеев есть не более как кабинетный ученый и плохой педагог» и т.п. Одним словом, выходило то, что достаточно, если в Капелле чувствуют, что я, Ляпунов, тут, что [если] ежедневно с двух до четырех часов мой глаз может увидеть все, то и этого достаточно для снисходительного моего внимания к Капелле. Просто несносно писать такие вещи. О моих планах Ляпунов говорил, улыбаясь на их наивность и неимение в них никакого величия вновь открытых истин русского народного искусства, а также смеясь над полной якобы несостоятельностью моего педагогического мышления. Лучше ничего не знать, чем копаться в таких мелочах, философская сторона которых прямо жалка и глупа, как и моя школьная система, вполне отвергаемая Ляпуновым.

Впечатление от этой беседы с Ляпуновым было так сильно, что я даже слег в постель от душевного утомления и какой-то хандры. Вечером этого дня я поехал к графу Александру Дмитриевичу Ш³ и заявил ему о полной безнадежности успеха в

ведении дела с Ляпуновым и о надобности взять другого вместо него».

Вечером на другой день после долгих размышлений поехало в Тифлис мое первое письмо к Н.С. Кленовскому.

Николай Семенович Кленовский завоевал меня в какие-нибудь полчаса первым отделением Этнографического концерта 11 марта 1893 года, в котором я впервые в жизни услышал превосходно гармонизованные и разработанные русские песни. Я познакомился с ним в этом концерте. Потом он был преподавателем гармонии в Синодальном училище, но я был недоволен им за его неаккуратность. После он очень сильно заявил о себе в качестве директора Тифлисского музыкального училища и дирижера. Оттуда я перетащил его к себе в Капеллу, хотя и побаиваюсь его нелюбви к черной работе, некоторой степени барства. Кленовский – очень хороший и способный музыкант и дирижер, даже и композитор, энергичный и знающий, но временами склонный к лени и неспособный отказывать себе ради дела. Он был долгое время «композитором и дирижером балетной музыки в Большом Московском театре», но его выжили оттуда, не давая ему хода, Альтани, немцы и всякие «основательные, добросовестные» чехи, невзлюбившие такого кровного русака. Кленовский, еще учеником консерватории, учил с оркестром только что написанного тогда «Евгения Онегина». Ему же принадлежит львиная доля в издании Мегульнова «Русские народные песни, записанные с голоса народа». Он же написал в высокой степени интересный «болгарский» этнографический концерт, «Грузинскую литургию» и прочее.⁴²¹ Нетрудно представить, сколько всяких хлопот и неприятностей пришлось принять Кленовскому от своего бывшего товарища по консерватории Ляпунова.

Вскоре после этого Ш³ имел доклад у государя по записке такого содержания (по редакции Ш³):

«Весьма желательно, чтобы Придворная капелла стала первым церковным хором в России, важнейшим художественно-

административным центром в области церковного пения и образцовым певческим учебным заведением. Для этого необходимо обновить ее силы свежими людьми, так как в настоящее время многие из личного состава администрации Капеллы, в силу недостаточных познаний в области музыки вообще и церковного пения в частности, безусловно не могут быть полезными деятелями в Капелле и никоим образом не могут содействовать ее процветанию. К таковым следует причислить помощника управляющего Капеллою Ляпунова, учителя пения Азеева и помощников учителей пения Попкова и Варгина.

Ляпунов совершенно незнаком с церковным пением. Поэтому находящиеся в его заведовании регентские классы находятся в состоянии полного расстройств; точно так же заведваемая им издательская деятельность Капеллы снизилась до простой торговли старыми трудами Капеллы. Вместе с тем необходимо упомянуть и о том, что он относится к своим служебным обязанностям крайне неусердно. Замена Ляпунова другим лицом, знающим церковное пение, энергичным и прилежным, крайне необходима. Азеев, Попков и Варгин – люди совершенно необразованные, немзыкальные и незнакомые с древнерусским пением. Замена их свежими силами также безусловно необходима. Учитель пения Смирнов немногим отличается от вышеупомянутых лиц, но, ввиду его долголетней службы и усердия к делу, может без ущерба для дела временно продолжать свои занятия. Замена его новым лицом в настоящее время не представляется безусловно необходимой. Из числа взрослых певчих более одной трети должны быть причислены к спавшим с голоса. Замена их, дослуживающих лишь до пенсии, новыми лицами обновит Капеллу свежими голосами, придаст пению красоту, звучность и вообще облегчит обучение хора».

Государь вполне одобрил этот доклад, и таким образом первый рубикон убежденного начала ломки Капеллы – начало «времени великих реформ» – был перейден. Вскоре после этого последовала бумага от министра Двора от 31 декабря 1901, бывшая ответом на рапорт графа от 19 декабря. Вот эта бумага:

«Вследствие рапорта от 19 сего декабря предоставляю Вашему Сиятельству уволить от службы Придворной певческой капеллы: учителя пения Азеева и помощников учителей пения Попкова и Варгина, по подаче ими прошения, о чем и сообщить в канцелярию министерства Двора для отдачи в приказе по сему министерству. Что же касается до исполняющего должность помощника управляющего Капеллою Ляпунова, то предлагаю Вашему Сиятельству объявить ему, чтобы он подал прошение об увольнении его от службы в течение определенного Вами срока и затем, по получении от него прошения, войти установленным порядком с представлением о его увольнении. Министр барон Фредерикс».

На этом «Ныне отпускаеши» для Капеллы Ш³ написал: «Поручаю господину управляющему Капеллою предложить Азееву, Попкову и Варгину подать прошение об отставке **немедленно**. Помощнику же управляющего Ляпунову объявить, чтобы он подал прошение об отставке в месячный срок». Таким образом пришлось мне начать один из самых тяжелых годов моей жизни объявлением этого ультиматума четверым моим сослуживцам зараз. Год этот – 1902-й, первая его половина, был для меня одно сплошное страдание.

Впервые же я встретил этот новый год дома, вдвоем с Анютой, рассуждая о делах наших, полных всякой тревоги. Глубокое сожаление посетило мою душу, когда я попал в положение хирурга, делающего вполне честно и убежденно тяжелую операцию, тяжкая боль от которой у пациента невольно мутит и самого врача. Тяжелое раздумье и анализ своих действий, боязнь неудачи начатого дела, неудачи его для Капеллы и для себя совершенно истомили меня в самом начале дела об увольнении моих сослуживцев. Мне приходилось впервые в моей жизни увольнять со службы, и, признаться, эта операция оказалась тяжелою в высшей степени, а при увольнении зараз четырех – еще того более мучительною. И нервы мои натянулись до самой последней степени. Но и в этом раздумье, в этой величайшей осторожности я все же не угадал множества гадостей, на которые оказались способны мои обреченные на отставку сослуживцы. В их положении,

конечно, горьком, досадном и обидном со всех сторон, была все-таки та сторона, что я рассчитывал пригодиться им решительно всем, что только можно было бы придумать для смягчения наносимого им удара. Для Попкова, как многосемейного, я уже подготовил отличное место, для Варгина – также, для Азеева я уже выхлопотал вполне не заслуженную им пенсию... Но оказалось, что мне было сначала суждено выпить целый ряд горьких чаш, полных всякого издевательства и оскорблений, полных всякого ряда подспудных для самой Капеллы мин, взрывы которых ставили несколько раз меня и Капеллу в жестоко-критическое и крайне рискованное положение. Увольняемым терять было нечего, мстить было их удовлетворение, интрига – самая привычная вещь в придворном ведомстве и вдруг... жестокая, непростительная ошибка графа Ш³, от обнаружения которой зашаталось все дело, приободрилась противная сторона!

Оказалось, что Ш³ весьма легкомысленно забыл об императрице Марии Федоровне, у которой постоянно регентовал Азеев, и о наследнике, которому когда-то, до истории с Аренским, давал уроки Ляпунов... Ш³ вполне неосторожно (и упрямо) не хотел потом сам начать объяснение с императрицей и с наследником по поводу дел об увольнении столь привычных императрице людей. К тому же Ш³ в эти дни разошелся из-за чего-то со своим братом графом Сергием Дмитриевичем Шереметевым, а в Аничковом дворце уже успели взвинтить все надобное... Внезапно императрица вызвала Ш³ к себе и, задав ему изрядную гонку за «нападки на людей», резко и категорично заступилась за тех, к которым она привыкла, которые служили Александру III, которые давно и отлично служат, которыми она вполне довольна, которыми она и у себя во дворце не позволит никому распоряжаться, которых она «просит» не трогать и оставить служить по-прежнему. Припомнила императрица и историю с прощением учеников в Петергофе, вспыхнула вновь и резко рассталась с оторопевшим Ш³ тут только понявшим былую надобность исполнить совет своего брата еще недели полторы-две назад и потом уже начать свою кампанию. Я был у Ш³ и советовался с ним, когда его

вызвали по телефону к императрице, приглашая прибыть немедленно. Я дождался возвращения Ш³ домой из Аничкова дворца и сам увидел оторопевшее лицо графа. «Большая, очень большая была баталия, – говорил он, – как при Бородине: обе стороны остались на своих местах, не умея понять, победила ли их сторона или разбита?». До этого свидания Ш³ предполагал, что было достаточно слова государя, ибо Капелла – его, теперь же и Ш³ понял, что в Аничковом дворце в малых делах чувствуют себя хозяевами и требует ведения дела Капеллы со своего ведома и согласия. Положение стало внезапно очень серьезным и напряженным, так как перед этим днем (7 января) уже дважды была разыграна в моем кабинете с наинولнейшим ансамблем целая трагедия предварительных с увольняемыми объяснений. Объяснения эти с Варгиным, Попковым и Азеевым были 2 и 6 января. С Ляпуновым объяснений не было, так как по поручению графа мною было послано ему 2 января за № 1 предложение подать в отставку в месячный срок. Зато с остальными троими объяснения вышли во многих подробностях вполне неожиданными, особенно же по части их резкости со стороны Попкова и Варгина.

Я пригласил к себе 2 января их обоих, а 3 января Азеева. Варгин держал себя как деревяшка-министр, с необыкновенною сухостью и важностью. Свидание наше продолжалось минуты четыре-пять. «Больше ничего?» – спросил Варгин и, получив соответственный ответ, ушел не простясь. Зато свидание с Попковым длилось более часа, и бывали в течение этого времени столь запальчивые минуты, столь не сдержанные со стороны Попкова, что мне пришлось прямо ломать себя, чтобы не вспылить в свою очередь, и употребить все свои усилия, чтобы сдержать его бешенство. Оба эти свидания так сильно и так неожиданно утомили меня, что я вдруг начал бояться, как бы со мной не случилось апоплексии. Поэтому я не без страха ждал объяснения с Азеевым на другой день. Пришлось опять выдержать целый ряд самых бесцеремонных дерзостей, опять ломать себя и опять увидеть уходящую не простившись фигуру. Все трое не дали мне никакого положительного ответа.

6 января, не получая прошения, я, по поручению Ш³ вновь вызвал к себе всех троих и, приняв их по очереди, не без труда увидал уже вполне установившийся ансамбль. Приведу из дневника запись о свидании с Варгиным. О других у меня записано только то, что даже в отдельных выражениях эти три беседы были сходны между собою.

«Варгин: «Позвольте узнать, что вам еще от меня угодно? Какой смысл в новом свидании после бывшего 2 января между нами разговора по службе?»».

Я: «Я не получил еще от вас ни прошения об отставке, ни словесного заявления о сроке, когда оно будет вами подано; вместе с тем, продолжая нашу беседу 2 января и желая быть вам полезным в наилучшем обеспечении вас по случаю выхода в отставку, я жду встречных тому заявлений». Варгин: «Заявляю вам, что покидать службу в Капелле я не желаю, но желаю продолжать ее. Считаю предложение подать прошение об увольнении в отставку несправедливым, незаконным, так как мне не объяснены причины, по которым мои услуги Капелле не надобны, а сам я не знаю за собою вины по службе. Прощение я не подам, пусть увольняют меня без прошения. Найдутся люди, которые заступятся». Я: «Вы знаете, что я говорю с вами по поручению господина исполняющего должность начальника Капеллы и обязан донести ему о содержании нашего разговора. Не потрудитесь ли, во избежание недоразумений, письменно заявить мне о своем отказе подать прошение и о мотивах такого отказа?». Варгин: «Достаточно и словесного заявления». Я: «Позвольте закончить служебную беседу и продолжись ее с вами частно. Я предложил вам мое участие в вашем дальнейшем обеспечении...». Варгин (перебивая): «В ваших услугах я не нуждаюсь, так как я место свое не теряю. Может быть, еще что?». Я: «Послушайте, Константин Константинович, говорю вам просто, по-товарищески: что вы делаете?». Варгин: «Это вас не касается. Больше ничего?». Я: «Ничего». Варгин встает и, не прощаясь, уходит».

В связи с оказавшимся на другой день разговором императрицы с Ш³ оказалось, что все трое подали ей прошение, в котором, указывая на увольнение Аренского, «выражали

согласие» оставить Капеллу, но с условием, чтобы им было оставлено в пенсии все получаемое ими содержание и были бы прибавлены к тому пожизненно же так называемые «наградные» деньги и добавочные деньги в виде вознаграждения за утрату ими казенных квартир. Если такая бессмыслица еще была сколько-нибудь объяснима относительно Азеева, прослужившего 34 года, то после четырехлетней службы Попкова и Варгина такие претензии были просто глупы и совсем уже не расчетливы. Вариация слов императрицы об Азееве, чтобы в случае отставки он «не потерпел бы значительного убытка в разнице между получаемым содержанием и будущей пенсией», уже дошедшая через горничных до нашего кружка героев, была и своевольна, и самонадеянна, ибо, право же, нельзя было равнять их с Аренским.

Затем начался целый ряд всевозможных доносов, анонимных писем... Заседания увольняемых, при участии большем или меньшем членов всех секций их кружка, были постоянны, и потому решительно все, что только ни случалось в Капелле, немедленно иллюстрировалось с надлежащим освещением во все стороны, в том числе и в Аничков дворец. Шервашидзе однажды даже вызвал меня к себе для переговоров на тему: «Расскажите же, наконец, откровенно, что такое за ужасы у вас творятся в Капелле чуть не каждый день? Про вас пишут, на вас наговаривают Бог знает, что! Все это так противоречит сложившемуся о вас представлению, на основании которого вас пригласили в Капеллу. Мы с вами носим оба черный университетский значок. Объясните мне правдиво, вполне откровенно, правда ли, что вы бьете детей, что морите их голодом, что ругаете подчиненных, что вы клевете на вполне честных людей, обвиняя их в воровстве?».

Я ответил Шеваршидзе так (17 февраля): «Я рад, князь, что именно сегодня мне приходится говорить с вами по поводу всяких на меня жалоб. Представьте себе, что случилось третьего дня. Я давно уговорился с А.А. Мосоловым (правителем канцелярии министра двора), что, как человек новый в Капелле и Петербурге, я не сделаю ни одного шага, не посоветовавшись с ним, чтобы не ошибиться самому и не

поставить министра, лично заинтересованного теперь Капеллою, в положение узнавшего новое со стороны. Например, третьего дня мы, то есть Мосолов, Ш³ и я, только что посоветовавшись между собой, как бы деликатнее узнать, когда уволенные от службы могут очистить казенные квартиры, порешили послать к Попкову и Варгину смотрителя зданий Гейслера с таким именно вопросом (написанным Гейслеру, для большей точности факта): «Когда можно надеяться, что вы очистите казенную квартиру?». Это было решено в 2 часа. Между тем в полдень перед тем Попков (у которого за час или полтора до того врач Капеллы, приглашенный Попковым же, констатировал дифтерит у больного ребенка и присоветовал немедленно, ради безопасности других, отправить его в больницу) уже был с воплями в Аничковом дворце: «Помилуйте! Заступитесь! Больного ребенка швыряют на мороз, на улицу гонят семью, Смоленский просто злодей, убийца...». Вопли были такие отчаянные, что генерал Озеров (дядя Ш³) поехал к Мосолову и просил его унять меня, но Мосолов резонно ответил ему: «Ничего подобного не может быть, так как только сейчас Ш³ и Смоленский были здесь и толковали о квартирах совсем в другом тоне, а о дифтерите даже не было и помина...». «Вот вам, князь, – сказал я, – образец маневров Попкова, Варгина, Азеева и Ляпунова. Достаточно ли будет для вас убедительно, если я, в смысле примера моей терпимости, скажу вам, что ученик Тимофеев, подавший прошение императрице 21 июля, до сих пор вполне спокойно учится в Капелле? Что я, никогда не хворавший, доведен Капеллой в какие-нибудь восемь месяцев до совершенной неврастении и камней в печени? Что другой начальник на моем месте прямо бы уволил, на свой сграх, этих господ, а я с ними еще вожусь, деликатничаю и, наконец, попал в состояние какого-то «постоянного подсудимого»? Когда же, наконец, кончится эта травля и когда поймут в Аничком дворце, как пачкается имя императрицы, заступающейся за таких людей, у которых нет ни стыда, ни совести, а есть наглость, ложь, месть и в виду только рубль?

Ведь могут же понять и в Аничковом дворце разницу между правдой и ложью, между честными людьми и негодьями, между

действительно взявшими на свои плечи тяжкий и ответственный труд и сущими лентяями интриганами? Я заявляю вам и прошу вас передать при случае ее величеству, что я служу ради пользы дела и не кривлю душой, что, кроме увольняемых теперь четырех, надобны и в будущем увольнения, даже и многих. Болото надо высушить, оздоровить, и только после такой тяжелой операции, надобной для вполне оскандализованной и вполне распущенной Капеллы, возможно думать о ее лучшем будущем».

Шервашидзе, кажется, даже растерялся от таких речей, принялся меня успокаивать, уговаривать, обнадеживать. Я ответил ему, что нет противоречия между взволнованным временным состоянием моей исстрадавшейся души, сто раз уже оскорбленной, и теми сейчас высказанными словами, которые суть ряд суждений, обдуманных много раз вполне спокойно и вполне честно; что не будь волнующего меня состояния «постоянного подсудимого» вне Капеллы, не будь ежечасно в стенах Капеллы постоянного подбрасывания палок под ноги, я в спокойном состоянии духа сказал бы ему, Шервашидзе, совершенно то же самое, как повторю сказанное еще раз кому угодно; что, промахнись я в самом деле в чем-либо серьезном, неопровержимо доказывающем мою виновность, давно уже были бы в ваших руках факты, в наличии которых мне надобно было бы только признать свою непригодность к ведению дела. Вопли господ Попковых не суть факты, от меня исходящие, а только вопли, скоро умолкающие при перемене декорации, показывающие виртуозность вопящих, пускающих в дело все, даже дифтерит ребенка, даже всевозможную с моей стороны осторожность, выставляемую за слабость в исполнении закона по отношению к тем же Попкову и Варгину, трактующим мою терпимость и деликатность за вынужденную будто бы невозможность обойтись с ними круто. «Представляете ли вы себе, князь, – спросил я, – что значит ежедневное хождение в Капеллу, в круг мальчиков господ Попкова и Варгина до самого их увольнения? Что проделывает сейчас и подстроит вперед господин Азеев в кругу тех же певчих, на которых он может разыграть десятки случаев,

подобных падению мальчика в обморок, так как детей в Капелле «бьют и не кормят»? Или, например, что-либо вроде предполагавшегося свиста в концерте Капеллы 29 января после исполнения «Отче наш» сочинения Ш³? Или, например, вроде подстраиваемого теперь скандала в предстоящем Инвалидном концерте? Или, например, вроде того, как в минувшее воскресенье явились ко мне все шесть первых дискантов за минуту до отправления их в Аничков дворец и заявили, что они охрипли, в доказательство чего с очевидным ансамблем пропели мне петухами половину гаммы, отказываясь петь дальше? И тому подобное. Вот где, князь, откликаются всякие внимания к Попковым и Азеевым, и вот где придется еще очень долго лечить Капеллу после их удаления от службы. Вот где развращаются дети без всякой к ним жалости, и вот почему, кроме пользы для Капеллы как хора, я упорно добиваюсь удаления негодяев, страдая и за самое дело и за находящихся у меня детей».

Как бы ни было, но Попков и Варгин, так и не подавшие прошения, были уволены от службы приказом от 5 февраля, и на их место были определены Паша Толстяков и Саша Чесноков. Мои бедные мальчики-москвичи должны были выпить горчайшие чаши открытых протестов, неповиновения, всякого озорства, прежде чем удалось смирить эту невозможную орду «малолетних певчих», проделывающих над ними полный круг всяких дисциплинарных бесчинств, подогреваемых к тому же извне – и за их счет, и за мой счет – как Азеевым с К°, так и «студентами», так и большими певчими.

Сашу Чеснокова я пригласил в Капеллу еще в декабре 1901 года для курса сольфеджио большим певчим. Я отделил «старичков» и особо мнивших себя «артистами», назначил им три урока в неделю и был истинно обрадован, когда увидел, что Саша сразу забрал в руки этих «титularных советников» своими толковыми, интересными уроками.

Менее успешно пошло дело у более мягкого Паши Толстякова, начавшего классы сольфеджио с приготовительным и первым классами Капеллы. Ребята, усиленно подогреваемые Варгиным, Попковым и Азеевым, отчаянно озорничали,

умышленно притворялись непонимающими, совершенно не учили уроков, «теряли» учебники, «позабывали» о часе урока, «хрипли» и даже повторяли заявление мне Азеева и К° о том, что от класса сольфеджио портится слух, портятся голоса и т.п. В описываемые дни неистовство мальчиков дошло до того, что некоторые из них подбежали к Азееву во время его беседы со мной и спросили его при мне: «Сегодня во второй час спевки начинать ли опять вчерашнее?» – то есть всякое мяуканье, умышленную фальшь, крик. Растерявшийся Азеев только и сказал: «После, после! Я приду и скажу! Вы видите, я говорю теперь с господином управляющим!».

Воспитатели, то есть Седых, Григорьев, Языков, Спиридонов, явно потворствовали мальчуганам и отговаривались, что «не видали», «не удалось узнать» и т.п. Дело, наконец, дошло до того, что я сам начал готовить с Капеллой три хора (два Гречанинова и один Кюи для Инвалидного концерта) и принял на себя неудачи моих учеников из Москвы. Конечно, и на мне была проделана всякая комедия, так как малыши и не думали униматься. Когда, однако, минут через двадцать после начала спевки мои замечания продолжали встречаться озорством, умышленно фальшивым пением, мяуканьем, выкрикиванием, смехом, я остановил внезапно спевку, стукнул сильно по крышке фортепьяно, крикнул на Капеллу и велел прислуге немедленно развести по домам родителей человек пятнадцать главнейших сорванцов, а человек пять малороссов посадить в разные углы Капеллы под арест... Капелла притихла сразу, и хоры прошли стройно и учебно. Я привязывался к каждой мелочи в оттенках, услал по домам еще двух-трех и показал хору более чем внушительно, что шутить со мной небезопасно и что я не останавливаюсь иной раз перед мерами, для Капеллы совершенно непривычными. Оказалось, однако, что и такая сильная демонстрация подействовала ненадолго. Перед отправлением в Мариинский театр на концерт Инвалидов я вновь должен был арестовать уже одетых в шубы девять сорванцов, и концерт прошел благополучно...

Описываемая пора вступления в должность Кленовского, Толстякова и Чеснокова отразилась и на мне, и на Алеше Петрове (экономе) надобностью вытерпеть длинейший ряд всевозможного озорства как со стороны младших и старших учеников, так и со стороны потакавших им во всем воспитателей, которые уже были преуведомлены мною о предстоящем для них увольнении из Капеллы. Делались вещи прямо невозможные. Например, новые одеяла были порезаны в куски, и затем поднялся вопль: в спальне холодно, нечем одеваться... Мальчик Армашов (ныне уже отличный ученик) кинул в тарелку с супом окурки и завопил, поднимая скандал в столовой: «Нас кормят окурками, это черт знает, что такое!». Редкий день проходил без скандала в столовой: кидались на пол котлеты, билась посуда, проливалась на скатерть всякая жидкая еда, квас, чай. Ни один трубач, тромбонист не проходил мимо моего кабинета, чтобы не угостить меня какофониею; в спальне учеников (что над моею квартирой) ставился очередной часовой, дававший знать о моем приближении, до того же времени через пол угощали меня даже поздней ночью топаньем, визгом, криком. Воспитатели, конечно, «не имели возможности заметить виновных».

Между тем приехал Кленовский, и началась комедия приема имущества от уволенного уже от службы Ляпунова. Я знал в общих чертах состояние ляпуновского хозяйства, знал несколько отдельных мелких подробностей, знал намерения увильнуть от сдачи, свалить все на Кленовского и выгодно эксплуатировать свое якобы незаслуженное увольнение. Ляпунов был слишком опытным и бессердечным врагом, чтобы его не бояться, и чтобы по неосторожности дать ему повод к каким-либо выходкам, столь знакомым мне по делам его и переписке с А.С. Аренским. Поэтому, и чтобы не дать сразу опутать эту неурядицу ни в чем не повинного Кленовского, чтобы дать последнему возможность начать свою деятельность в объеме принятого и, следовательно, наличного имущества, я назначил комиссию для приема имущества отдельно по инструментальному классу и отдельно же по нотному складу. Ляпунову тем временем было дано знать, кроме сведений о

начале действия обеих комиссий, еще и о том, что выдача ему обещанного годового оклада жалования ставится в зависимость от срока и удовлетворительности сдачи бывшего у него на руках имущества. Дело вступило в период взаимных предосторожностей. Хотя, конечно, суть его обнаружилась с первого раза. Ляпунов являлся в условленные часы, ничего не сдавал, так, как и не мог сдавать, ибо все вел Седых, и ограничивал значение своих приходов лишь тем, что, так сказать, «являлся» и видел, как работают за него другие. Деликатничая с Ляпуновым относительно поверки наличности, комиссия, однако, пришла вместе с ним к простодушному решению, что нечего в самом деле чересчур уж деликатничать, проверять никуда не годные ведомости и инвентари, а лучше всего составить прямо новые описи находящегося налицо и выяснить задолженность в хозяйстве Ляпунова всяким Юргенсонам, Циммерманам и прочим. Сдача имущества сразу вскрыла суть дела: имущество было в постоянном обращении в руках учеников, постоянный его ремонт, пополнение, убыль требовали ежедневного учета, кроме главного, так сказать, ревизионного констатирования наличности. Понятно, что Ляпунову и Седых было выгодно всячески тянуть время и дожидаться того удобного дня, когда живучесть и надобность ежедневного обращения имущества между учениками и значительную долю вновь сделанных распоряжений можно было бы, по крайней мере, назвать «отстранением его, Ляпунова, от заведования бывшим на его ответственности имуществом и хозяйничанием новых лиц». Неявки к сдаче были объясняемы со стороны Ляпунова нашими же неточностями данных ему сообщений, окрещенных им впоследствии так: «Кленовский уклонялся от личного им приема имущества, ссылаясь на неимение времени, вследствие чего и я, Ляпунов, видя, что в бывшем моем заведовании имуществом заведомо распоряжаются другие, счел себя вправе снять с себя ответственность за целостность и исправность этого имущества». Забыл только Ляпунов о том, что все такие речи и имели бы смысл тогда, когда бы он приготовил бы все к сдаче и действительно сдал бы хоть что-нибудь, ну хоть инструменты,

счета, что было уже совсем не трудно и не хлопотливо. Забыл также Ляпунов и о том, что в самом начале получения от него имущества он заявил о невозможности им сдачи по описям вследствие их неисправного ведения г. Седых (занимавшимся, однако, по вольному найму) и вследствие «полной для него, Ляпунова, неожиданности требования о сдаче имущества, необязательной для него уже потому, что нет в Капелле документа о приеме им, Ляпуновым, имущества от Римского-Корсакова». Посоветовавшись между собой, посоветовавшись с контролером из кабинета, мы решили докончить начатые нами описи и завести, так сказать, новое дело, новую запись, как будто хозяйство Капеллы началось с этого времени. Ведь и в самом деле жизнь училища не ждала и не могла ждать оттягиваемого всякими преткновениями получения и возможного упорядочения ляпуновского хозяйства.

Но Ляпунову показалось мало того, что мы не имели никакого намерения топить его, а старались лишь о будущем ведении дела в сколько-нибудь ясном виде. Ляпунов захотел обвинить косвенно в растрате нас самих и, выгородив себя, поскорее получить обещанный ему годовой оклад. Не являясь в Капеллу уже более полутора месяцев, Ляпунов вдруг подал министру двора следующее заявление:

«Безвыходное положение, в которое поставлена моя семья, состоящая из жены и пятерых детей, со времени увольнения моего от службы в Придворной капелле, заставляет меня обратиться к вашему превосходительству с почтительнейшей просьбой. При личном объяснении по поводу оставления мною службы с вторым исполняющим должность начальника я услышал от него, что получаемое мною содержание мне будет сохранено в течение года, равно как и пользование казенною квартирою до лета. То же самое от имени вашего превосходительства было мне повторено вторым заведующим канцелярией) Министерства Императорского Двора. Тем не менее, по увольнении моем (приказом 21 февраля) выдача мне содержания прекратилась с того числа и по наведенным справкам поставлена в зависимость от срока сдачи бывшего в заведовании моем казенного имущества.

Между тем, получив уведомление от господина исполняющего должность начальника Капеллы от 22 февраля за № 222 о том, что допущенному к исполнению моих обязанностей коллежскому асессору Кленовскому предложено принять от меня бывшее в заведовании моем имущество Капеллы, я неоднократно обращался к нему с просьбами о скорейшем принятии от меня означенного имущества и лишь шестого марта был приглашен [???] канцеляриею Капеллы явиться для этой цели. В течение трех дней г. Кленовский занялся приемом имущества, но затем прекратил его за неимением будто бы времени и более к приему имущества не приступал, хотя я несколько раз являлся в Капеллу в назначенные им же самим часы [?], мотивируя свой отказ той же причиною, то есть неимением свободного времени.

При таких обстоятельствах мне оставалось только просить уведомить меня, когда может быть возобновлен [?] прием имущества, но такого уведомления я до конца апреля не получал, а на письменное мое обращение по этому поводу к господину управляющему ответа не последовало. Между тем бывшее в заведовании моем имущество Капеллы фактически находилось уже в полном распоряжении г. Кленовского [!], и чем далее откладывался срок принятия его от меня, тем менее мог я брать ответственность за него. 30 апреля я получил наконец от г. Кленовского уведомление о том, что сроки передачи имущества, которым я заведовал, могут быть назначены по взаимному между нами согласию. Такое позднее предложение о назначении сроков я не мог принять, так как не считаю возможным брать на себя ответственность за то, чем около трех месяцев распоряжаются другие.

Из вышеизложенного ваше высокопревосходительство изволите усмотреть, что я лишен был возможности своевременно передать моему преемнику находившееся в моем заведовании имущество Капеллы по не зависящим от меня обстоятельствам и даже вопреки моему желанию и моим настояниям. Посему имея в виду, что наступает время, когда я должен оставить занимаемое мною в Капелле помещение, имею честь представить объясненные выше обстоятельства на

ваше благоусмотрение и просить разрешить производство мне в течение года, со времени увольнения моего от службы, содержания и, во внимание к моему затруднительному положению и сопряженным с выездом значительным расходом, назначить мне единовременное пособие на переезд с казенной квартиры».

Этот документ, полученный 12 мая, есть образец ляпуновских писаний, хорошо знакомых мне из его претыкания с Аренским. На свежего человека, не знающего всех передергиваний, подчеркиваний и умалчиваний в подробностях этой характерной истории, такое заявление Ляпунова, конечно, не может произвести никакого иного впечатления, кроме требования им правды, мотивированного толково, серьезно и вполне корректно, а потому и убедительно. Но стоит немного расширить это искусное плетение, чтобы правда предстала совсем в другом виде и встала против Ляпунова.

Охотно признаю, что мой ответ не может идти в сравнение с изложением Ляпунова, так как я написал его сгоряча, наскоро и тут же услали на просмотр Мосолову, а тот, пробежав разок, одобрил, сказав: «Сойдет и так». Меня надобно будет так же судить, как и всякого другого, поэтому вписываю сюда и свою нескладницу:

«Вследствие [того-то и того-то] я не имею и не могу ничего иметь против выдачи Ляпунову обещанного ему годового оклада жалования. Особо сведущие люди на основании существующих указаний уверили меня, как то известно и вашему высокопревосходительству, что мое представление о выдаче Ляпунову годового оклада возможно только после получения мною донесения о сдаче Ляпуновым и о приеме Кленовским казенного имущества. Это представление еще не последовало от меня потому, что Ляпунов не только не сдал, но, как выяснилось, даже и не может сдать его по казенной форме. В объяснение последнего я утверждаю, что Ляпунов решительно не озаботился сделать для сдачи хотя какие-либо приготовления вроде пополнения описей, приведения в порядок денежных документов, установления подлинности некоторых инструментов, после чего только и мог последовать прием.

Так как беспорядок в имущественном хозяйстве Ляпунова уже был с достаточной ясностью очевиден еще в бытность Ляпунова на службе, то совершенно понятно, что прием от него имущества был обставлен особенно осторожно. С этой целью была назначена особая комиссия из делопроизводителя, бухгалтера и эконома, которым поставлено в обязанность вместе с состоявшим в распоряжении Ляпунова воспитателем г. Седых всячески облегчить труд сдачи имущества Ляпуновым Кленовскому.

Но в самом начале своей деятельности эта комиссия встретила со словесным заявлением Ляпунова об исключительной возможности приема от него имущества только по существующей наличности, а не по надобным документам. Господин Ляпунов нисколько не скрывал и неоднократно заявлял, что, как и имущество, как описи, так и документы давно находятся в беспорядке по случаю будто бы малого состава сотрудничавших ему лиц и что сдача имущества представляется для него полной неожиданностью.

И действительно: достаточно указать немного, чтобы судить о мере беспорядка в имущественном хозяйстве Ляпунова. Например, я сам вынул из аукционного зала (у Синего моста) просроченный в закладе и назначенный там к передаче виолончель, принадлежащий Певческой капелле по ее клейму и известности многим играющим на нем; инструмент этот с клеймом № 5 даже и не значится в инвентаре; например, членами комиссии найдено 8 скрипок, не значащихся в описи, неизвестно, когда и за какую цену купленных, может, даже и не оплаченных; например, при первом же приступе к проверке главной книги нотного склада оказалась последняя запись от 31 мая 1901 года, почему очевидно, судя по сроку подания Ляпуновым прошения об отставке, что эта книга совершенно не была ведена восемь с половиной месяцев, что она и поныне не закончена за 1901 год; например, оказывается, что несколько неоплаченных документов, предъявленных Ляпуновым приемной комиссии, относятся к 1900 и 1901 гг., то есть к сметам, давно законченным в их исполнении, что некоторые счета не были своевременно занесены в книгу и не были

предъявлены г. контролеру, или, например, счета не засвидетельствованы в своей правильности даже самим Ляпуновым. Излишне прибавлять, в каком печальном виде находится значительная часть наличного имущества, то есть нот и инструментов растерянных и изломанных...

Так как Ляпунов явно уклонялся от формальной сдачи, даже от присутствия при труде за него других лиц, утверждая за последними только надобность переписать наличность, то совершенно понятно, что ежедневная работа, постоянная надобность в нотах и инструментах, а также некоторая надежда на деликатность Ляпунова и на понимание им своего положения заставили всех нас с разрешения исполняющего должность начальника и с моего соглашения начать пользование имуществом Капеллы и допустить к распоряжению им г. Кленовского. Все мы, по крайней мере на первое время, были убеждены в надобности увещаний и товарищеских воздействий и в том, что г. Ляпунову будет угодно принять немедленные меры по крайности хоть к упорядочению надобных для сдачи документов. Этим только и объясняется перерыв посещений Ляпунова в то время, как члены комиссии продолжали почти три недели поверку наличности в его, Ляпунова, отсутствие, о чем, конечно, г. Ляпунов знал отлично.

Оказалось, однако, совершенно иное отношение к делу со стороны г. Ляпунова. Возвращаемое при сем прошение, конечно, вполне легко в случае надобности может быть опровергнуто в каждой подробности. Оставляя на совести г. Ляпунова, написавшего столь искусное прошение, умолчавшего об одном, подчеркнувшего другое, переиначившего третье, я утверждаю, что едва ли можно заподозрить бывших сослуживцев Ляпунова в желании продолжить с ним столь тяжелые и неприятные отношения. Трудно было предположить, что вместо доброй оценки сделанного, вместо возможности представить документальную и наличную часть имущества г. Ляпунов позволил себе ловким маневром усвоить позицию вне ответственности и даже косвенно бросить намеки на других, будто бы виновных в несдаче им отчета.

Я вполне оправдываю благоразумную и корректную осторожность Кленовского и трех членов приемной комиссии. Нисколько не обвиняя Ляпунова в чем-либо по службе, я утверждаю, что простое снисхождение, оказанное столь деликатно Ляпунову в сдаче имущества, оказавшейся будто бы для него неожиданностью, отнюдь не может быть трактуемо им как мотив, освобождающий его от всякой ответственности, хотя бы нравственной. Капелла вела себя в этом деле по отношению к Ляпунову вполне осторожно и вполне благородно.

Обращаясь к практической стороне дела, я не думаю, чтобы по разборке в будущем могли оказаться утраты имущества или злоупотребления. Полагаю также, что едва ли возможны возмещения с Ляпунова убытков, так как он человек нуждающийся и малосостоятельный. Не касаясь нотного издательского склада Капеллы, в порядках которого не разобралась вполне, как кажется, и недавно бывшая ревизия гофмейстера Смельского, я полагаю, что в остальном имуществе теперь только и возможно констатирование наличности и упорядочение долгов по счетам Капеллы. Нотный склад, конечно, должен быть обревизован при участии лица, командированного Министерством. По связи вышеизложенного с моими личными отношениями к делу и к Ляпунову, я не могу не заявить, что я считал бы за лучшее извинить Ляпунову несомненную его малоисправность и небрежность по службе. Ляпунов, известный в области разработки народной песни и композиции свободного стиля, едва ли и мог быть исправным и умелым в ведении очень трудного и кропотливого хозяйства и отчетности. Я, достаточно знающий Ляпунова по делам Капеллы за опытного автора многих бумаг, могу лишь подтвердить о совершенной нестяжательности Ляпунова. Полагая его более музыкантом и менее опытным распорядителем, считаю своим долгом заступиться и за то, если будущее расследование констатирует убытки казны в области имуществ инструментального класса. Будет вполне справедливо отнести этот убыток на многолетнее неумелое и малобережливое обращение с нотами и инструментами бывших учеников Капеллы.

По всему вышеизложенному я полагал бы справедливым освободить Ляпунова от дальнейшей сдачи имущества и выдать ему как обещанный годовой оклад, так и какое-либо пособие на переезд с казенной квартиры, столь надобной для г. Кленовского.

В заключение я считаю долгом заявить, что крайний беспорядок в инвентарной части Придворной капеллы был замечен мною сейчас же при моем переселении в ее здание. После нескольких заседаний, посвященных обсуждению мер об упорядочении имущества и его описей, подробное представление о том в министерство было 6 января за № 16».

Нетрудно представить, что следствием такого объяснения было назначение новой ревизии, и опять под председательством гофмейстера С.Е. Смельского. Таким образом, бедный Ляпунов, попросту сказать, утопил сам себя, надеясь на совершенно обратный результат своего искусного маневра. Ревизия приступила к своим действиям немедленно и принудила Ляпунова выпить немало горьких капель, заставив и сознаться во многом, и выслушать многое очень невеселое для его бешеного самолюбия. Ревизия эта кончилась жестокой резолюцией, освобождающей Ляпунова «от уголовной ответственности» во внимание к «бывшим» заслугам. Годовой оклад был затем выдан, но о пособии на выезд Ляпунов не рискнул вновь даже и заикнуться. Это было в июне 1902 года.

В эти же дни кончилась комедия с увольнением Азеева, столь затянувшаяся тем, что за него, как «носителя традиции» доброго старого времени, вступилась императрица Мария Федоровна. «Носитель традиций», однако, оказался таким мучителем всех нас, такую язвою, что подчас я просто не знал, что с ним делать. История с Инвалидным концертом, в котором Азеев всегда дирижировал, а на этот раз был заменен Чесноковым и Толстяковым, грозила скандалом на весь Петербург, так как Капелла прямо не поддавалась никаким увещаниям, никаким воздействиям, умышленно фальшивила, прямо озорничала и заставила всех нас переживать много самых горьких минут, когда тот же Азеев как ни в чем не бывало стоял перед глазами... Предложение 2 января подать в

отставку «немедленно» было исполнено Азеевым только через полгода, когда, по словам Шервашидзе, «слишком натянутые струны лопнули и ударили прежде всего в самих игравших». Когда неповиновение певчих хора императрицы Марии Федоровны достигло самого крайнего предела и не было возможности сдержать озорство Азеева, распорядившегося ими как марионетками, тогда Ш³ упросил наконец или, лучше сказать, вразумил кого надо, чтобы убрали наконец этого негодяя. Я помню, что мною была послана Азееву бумага, вызывающая его к Ш³ для объяснений. На предложение Ш³ Азееву подать в отставку Азеев предъявил свои условия денежные, по которым выходило, что мы должны были обратить ему в пенсию решительно все, не только то, что он получал в Капелле, но и то, что он мог бы получить, например, за уроки в регентских классах. Недоставало в этих требованиях, пожалуй, перевода на деньги тех огорчений, какие терпел Азеев, покидая Капеллу.

Последняя моя стычка с Азеевым, после которой я потерял всякую робость в моих требованиях об увольнении Азеева из Капеллы, произошла 20 мая в заседании Педагогического совета, куда мною были приглашены и оба учителя пения, чего не бывало до того в Капелле, так как эти господа привыкли только требовать и распоряжаться, а не слушаться. Я мотивировал приглашение учителей пения в Совет тем, чтобы: 1) выслушать их мнение о степени даровитости некоторых учеников, которые уже были близки к спадению с голоса и относительно которых возбуждался вопрос: оставлять их далее в Капелле или нет? 2) выслушать мнение о приблизительно надобном для учителей пения количестве новых мальчиков, которых предстояло принять в Капеллу, подготовить к участию в хоре и еще летом обучить для наилучшего обеспечения успешности научного курса с сентября, и 3) выслушать мнение о возможности, без особой убыли для хора, удаления из Капеллы нескольких мальчиков еще поющих, но особенно нетерпимых по своему поведению и малоуспешности. Вместо порядка поставленных к обсуждению вопросов Азеев начал свою речь приблизительно такого содержания: «Я желаю прежде всего

узнать от вас, господин управляющий, какой смысл придается тому, что меня зовут на какой-то «совет», вместо того, чтобы обсуждать к исполнению то, что нам, как учителям пения, надобно требовать в помощь себе от вас или от «совета»? Потом я полагаю, что не может быть и разговора об изменении Придворной капеллы в какое-то учебное заведение с какими-то «советами». Капелла есть государев певческий хор, и, следовательно, в процветании этого хора, вверенного нам, учителям пения, только может быть забота всех служащих в Капелле. Капелла существует давно и выработала условия своего процветания, следовательно, никто не имеет права ни изменять этих условий, ни делать какие-либо нововведения без нашего согласия или указания. Я не желаю быть совещательным членом этого собрания, а собрание должно обсуждать наши требования. Науки и всякие музыкальные курсы нужны мальчикам после Капеллы, так как только во время периода пения Капелла эксплуатирует мальчиков и в это время только на пение и может быть обращено все их внимание. По третьему вопросу, полагаю, нет никаких оснований и рассуждать кому бы ни было. До тех пор, пока учителя пения не заявят об окончании мальчиком его службы при высочайшем дворе в качестве певчего, никто не имеет нрава вторгаться в эту область ведения учителей, а самое появление в настоящем собрании такого вопроса есть только свидетельство неумелого ведения воспитательной части Капеллы, до которой учителям пения нет никакого дела. Поэтому же я подам рапорт, когда то будет надобно, по вопросу второму, то есть о количестве надобных к приему мальчиков. По первому вопросу я отказываюсь отвечать, так как мне все равно – останется или не останется в «общезитии на Мойке, 20» мальчик, не поющий более под моим управлением».

Конечно, я дал Азееву высказаться сполна и попросил занести в протокол его заявление в возможной точности. В ответ Азееву я сказал сухо, что «Капеллою как государевым хором заведу по высочайшему повелению я, а отнюдь не учителя пения, которые суть не более как учителя пения, исполняющие мои приказания и под ответственностью передо

мною; что вполне ошибочно игнорирование учителями пения научной и инструментальной частей в Капелле, так как и то и другое указано к исполнению, наравне с пением, тою же высочайшею властью; что подчиненные мне лица обязаны по службе делать мне заявления, «когда то будет надобно», но в этом же термине заключается обязанность для подчиненного отвечать мне и тогда, когда я считаю необходимым иметь такие ответы. Прошу занести в протокол».

Нетрудно представить, какая мертвая тишина стояла во время моего ответа и как побледнел прикусивший язычок Азеев. После этого пассажа заседание прошло в полном порядке, но дальнейшая служба с Азеевым стала прямо невозможна, и я заявил о том Ш³. Мы решили, что надо дотерпеть срок пребывания императрицы Марии Федоровны в Гатчине и воспользоваться ее переездом в Петергоф, когда для Азеева наступала пора полного бездействия. Поэтому после всяких претканий и комедий наконец-то 24 июня состоялось увольнение Азеева. Общая уверенность в невозможности этого увольнения была так велика, что не хотели верить новости. Инспектор научных классов Варыпаев, которому была предназначена квартира Азеева, даже заключил контракт со своим домохозяином, а я уже в августе держал пари, что у Варыпаевых будут 1 декабря угощать меня кофе на новоселье. В действительности оказалось, что пари, к полному изумлению Варыпаевых, было выиграно мною гораздо ранее.

Но пора покончить с этими скорбными речами о Придворной капелле. Труднейшая работа все же понемногу производила впечатление на всех, и выздоровление Капеллы в разных ее частях, хотя и очень медленное, все же началось и в отдельности стало даже заметным. Только благодаря моему здоровью и окрылявшей меня надежде на успех, я нашел в себе силы вновь подняться духом, укрепить в себе веру в лучшее будущее по тем крупинкам добра, которые уцелели в Капелле и начали светиться все чаще и чаще. Считаю время, когда я начал вести Капеллу по новой дороге, со дня нашего переселения в Петергоф в 1902 году, то есть с 24 мая, когда были отправлены в Английский дворец **только** поющие

мальчики и ни одного непоющего. Вскоре и из этого состава убыли самые невозможные экземпляры в числе пяти-шести человек. На новоселье у нас стало тихо, просторно, завелась детская жизнь, дисциплинированная, в которой вакации как отдыху был придан смысл только перемены труда, а не полной, как было, праздности. Я принялся за моих ребят, как голодный, давно не бывший в их обществе, столь милым моему сердцу. Вскоре подросли кандидаты в будущие воспитатели, принявшиеся за дело энергично и с более широкими для детей, более умными и ласковыми приемами, чем то было у [прежних] крикунов-воспитателей вроде Языкова, Спиридонова, Григорьева, архибездарнейших и совершенно необразованных. Отсутствие дикой орды старших учеников Капеллы сразу пересоздало нашу летнюю жизнь в Петергофе, избавив нас от всевозможного своеволия и позволив нам сразу завести желанные, хотя и не особенно требовательные на первое время училищные порядки. Мы завели именно перемену труда, заменив учебную комнату на учебную прогулку, на толкование окружающей нас природы в беседах совершенно академического характера. Полная бывшая праздность с раннего утра была покрыта правилом «Капелла работает до обеда». Послеобеденное время было свободно, но проводилось, кроме игры, либо в чтении книг, либо в учебных прогулках до самого вечера. К несчастью, лето 1902 года было из рук вон сыро, холодно и дождливо. Мы едва насчитали 12 полных солнечных дней и около 20-ти, в которых солнце светило отчасти. Такая погода заставляла кутаться в сукно вместо льна, дача мало купаний и часто оставляла дома вместо условленного гулянья.

Особенно горячо я принялся за вновь принятую партию мальчиков, обставив ее вполне отдельно в спальне, в столовой, в учебных занятиях и в наблюдении новых воспитателей. Эти воспитатели, так сказать, держали экзамен и вместе с тем получали от меня первые главные указания той педагогической системы, какую я желал бы ввести в общежитие Капеллы. Обстановка лета 1902 года в смысле отсутствия старших учеников и наличности только поющих мальчиков, равно и

старания новых людей зарекомендовать себя с лучшей стороны повели за собою нетрудное перерождение общежития учеников и начало влияния на оставшихся все-таки солистов всякого рода, конечно, более податливых, чем заскорузлые и грубые натуры старших воспитанников. Нетрудно представить и внешний эффект такой перемены. Совестно вспомнить минуты, когда после надоевшей всем в Петергофе орды старших учеников мне приходилось выслушивать выражения благодарностей от совершенно незнакомых лиц, прибавлявших постоянно: «А то, бывало, идем по парку, или мимо дворца, или по платформе станции железной дороги, а «они"...» – и при этом рассказывалось что-либо сугубо дикое, грязное. Наше общежитие в это время сразу стало детским, тихим по отсутствию озорства и веселым по благодущию детей. Появились игры, появились чтение, беседы, прогулки, сразу приобретшие свободный характер, полный интереса и поучительности для детей. Стало понемногу исчезать всякое битье, всякая нелепость и озорство, взамен же того понемногу стала появляться самая обычная, самая простая школьно-семейная жизнь, стали создаваться общешкольные интересы, обыкновенное общежитие, дисциплинируемое изнутри, а не извне. Снова я увидел веселые детские глазки, беззаботную детскую игру, снова услышал веселую детскую болтовню, доверчивую, ласковую; у нас уже не было ни истязателей, ни вымогателей, ни других негодяев, столь безжалостно портивших наших вновь принятых детей. Мы поставили дело так, что нашей лаской, нашей заботой восполнялась в их умах и сердцах их разлука с родными. Поэтому дети начали привыкать к нам, слушаться не из-за страха наказания, ставшего ненужным, а веря в благожелательность каждого данного им указания и совета. Труднее, много труднее было перевоспитывать мальчиков, пробывших в Капелле два-три года и прошедших уже жестокую житейскую ее практику. Они уже изверились в старших, бывших жестокими не менее даже грубых воспитателей Капеллы. Наше ласковое общение казалось им предательскою ловушкой, которой надобно избежать ловким наружным подчинением и строгим

памятованием прелестей бывшего, то есть возможности проделать всякое насилие над младшим, выместить на нем когда-то вынесенные оскорбления. Я уже упомянул, что в течение этого лета пришлось выместить из Капеллы еще пять-шесть самых жестоких из таких мальчиков, не поддавшихся никаким вразумлениям и прямо портивших наше общежитие постоянными протестующими выходками самого грубого и иногда не детского свойства. Что же делать! Надо же сознаться иногда в бессилии борьбы с такими молодцами, как Слатинцев, или Дорохов, или Молодцов-первый, усвоившими себе доктрины знаменитых в истории Капеллы Мячина, Ожина, братьев Боголюбовых и никак не находившими в своих головах возможности хоть сколько-нибудь образумиться. Пришлось прийти прямо к необходимости удалить эту вконец испорченную дрянь, чтобы не заразить вновь принятых мальчиков, на которых они напускались сущими вампирами.

Не беспокоили меня и старшие ученики, поселившиеся во множестве около Петергофа, то на дачах со своими, то (вопреки данным приказаниям) нанявшись играть в Ораниенбаумский оркестр у Вольф-Израэля; посещение ими Английского дворца, конечно, сопровождалось самым внимательным надзором с нашей стороны на случай возможности каких-либо новых затей, вроде прошлогодних, но благоразумие их, малое развитие оставшихся певунов вскоре показало, что прошлогодние штуки совершенно отошли в область печальных преданий.

И вот пришло, наконец, время, когда я мог сам приняться за хор Придворной капеллы. Поуспокоился немного трепетавший за себя и уверовавший в меня работающий Смирнов, удалился из Капеллы Азеев, попривыкли и уже осмотрелись Саша Чесноков и Паша Толстяков. Пригляделись и поверили друг другу, и я с Ш³. Курс сольфеджий был также немалой помощью в моем первом натиске на Капеллу.

Однажды, во время приготовлений к ежегодно совершаемому поминовению композиторов (26 июня)⁴²², я был совершенно изумлен ленью и попугайной медлительностью под наигрывание Смирнова на скрипке, с которыми преплохо шло изучение концерта Львова. [То же было] при изучении «Достойно

есть» сербского роспева Кастальского. Быстрые движения совершенно не имели никакой легкости, об оттенках говорить нечего – Капелла оказалась совершенно не умеющей делать *crescendo* и *diminuendo*, даже в течение одного текста (то есть *Adagio*), не то что уж более мелкие нюансы; о **pp** не могло быть и разговора... Должно быть, под впечатлением только что объявленного освобождения Капеллы от Азеева, присутствуя на спевках всей Капеллы, я вдруг приказал раздать тот самый концерт Бортнянского, который так изумил в его чтении с листа Ш³. Удивлению Капеллы не было границ, когда под мой аккомпанемент на фортепьяно этот концерт прошли весь, сначала «по солям», а затем со словами. В третий раз я уже потребовал исполнения оттенков, в смысле некоторого различия **f** от **p**. Оказалась полная победа классов сольфеджий: слушавшие эти классы подталкивали старичков, «освобожденных» мною в минувшую зиму от этих классов, а сопраны и альты совершенно побили больших певчих на этом совершенно неожиданном для них испытании. Положение «старичков» было высококоomicно и жалко: «Этак и сам Смирнов (регент) в тупик станет! никогда не требовалось пение с листа, да и не надобно оно; Капелла не первый год знаменита, уже на что Александр III...». Это событие случилось 2 июля 1902 года и, сколько я слышал, совершенно озадачило старичков и глубоко порадовало всех остальных. Воодушевился и я, проведя затем несколько спевков в упражнениях в пении с листа и заставив Капеллу уверовать, что это искусство вовсе не так недостижимо и притом имеет у нас и будущее. Но «Достойно есть» Кастальского в быстром темпе было совершенно недоступно Капелле и даже в медленном движении напоминало собою тяжеловоза-битюга, неуклюжего и малоподвижного. Совершенно также оказались недоступными Капелле более строгие оттенки, которые я потребовал от отделения, певшего у государя. Последовавший ряд новых для Капеллы сочинений сразу обновил репертуар, подбодрив тех ее певцов, которые, несомненно, любили музыку и тяготились надоевшею им ленью и рутиной. Я рискнул остановиться на спевке Смирнова и потребовать (а пели «Вечери Твоя» Львова), чтобы хор в

словах «не бо врагом Твоим» и далее сделал большое crescendo и дошел до полного хорошего **f**, а со слов «но яко разбойник» и далее – большое diminuendo, но совершенно ровно, дойдя до звучного **p**. Немало побился я, заменив Смирнова и поучая государево отделение Капеллы, как и когда надо владеть дыханием, как надо петь **pp**, чтобы не было сдавленного, спертого звука, а получалась хорошо окрашенная спокойная звучность, даже и при **ppp**. В конце этой спевки певчим, заинтересовавшимся такими небывалыми на их памяти опытами, удалось раза два услышать весьма удачные **pp** и почувствовать красоту этого нюанса.

Но на другой день те же нюансы были забыты, и, как ни бился Смирнов, не удавалось получить ровного хорового звука и ровного выполнения оттенков – то вылезет наружу тенор, то испортят грубо-хриплые октавы; певчие никак не могли вспомнить вчерашнее и слушать, что выходит, а не показывать свои нотки, упиваясь только своею партией. Пришлось мне опять приняться за ту же «Вечери Твоя», выправить дело в десять минут и заставить вспомнить способ делать оттенки. Певчие вновь удивились, когда я показал им возможность на буквах **y, ю** (в словах «исповедую Тя») достигнуть вполне легко diminuendo даже и после **pp** с помощью самого простого сжатия губ. После такого нехитрого маневра певчие воодушевились от своей удачи, и мы стали гораздо легче слушать, что выходит в нашем исполнении, гораздо легче добиваться исполнения этого оттенка. Но crescendo решительно не удавалось, так как усиление звука собственно голоса отнимало часть внимания, почему остального не хватало на ансамбль: получался либо неровной силы аккорд, либо нестройный, либо слишком непоследовательный. Басы и теноры Капеллы решительно не представляли себе этого нюанса на высоких нотах и долго не могли взять в толк ни владения дыханием, ни способов перехода из одного регистра в другой. Мы бились, должно быть, недели две над получением хорошего, ровного, звучного crescendo, которое нам так портили всякие старички и особенно «солисты». Тем временем устоялось пение с листа, которому посвящались последние полчаса у каждой спевки, и мы стали

успевать в них прочитывать по два, даже ухитрились однажды три концерта Бортнянского, проделывая при том и главные нюансы. Такой успех, достигнутый недели в три-четыре, усугубился тем, что мы выучили новых пять-шесть Херувимских, отделили тщательно Херувимскую, «Верую» и «Тебе поем» из Литургии Чайковского, несколько новых причастных стихов, и успехи наши были замечены не раз в Александрии. Первые раза три похвалил государь, а потом однажды подошла после обедни великая княжна Мария Николаевна (трех лет) и сказала при смеющейся императрице Александре Федоровне: «Как халясё сегодня пели».

После такого хорошего начала Капелла была мною взята в руки, и мы заработали энергичнее и успешнее. От наступившего благодушия, от успокоения по прекратившимся интригам и сплетням Азеева и К° началась хорошая трудовая полоса, и к концу августа 1902 года мы уже чувствовали себя сделавшими значительные успехи, вышедшими уже на хорошую, определенную дорогу, имевшую уже далекие перспективы. Появилась некоторая доля радости и художественного удовлетворения в своем труде, некоторая доля досады на более бестолковых и особенно на самомненных певчих. Но дело, конечно, было еще далеко не налажено. Это был лишь приступ к хорошему началу, первое признание полной негодности бывшего и первое признание того, что со мною Капелле действительно можно ждать успехов.

Между тем приближалось и обратное переселение в Петербург. Дисциплина малышей была уставлена гораздо лучше, чем то было весной, а возвратившиеся с вакации старшие ученики так сильно поредели в своих рядах, что о былом быте господ «скубентов» перестали даже и вспоминать. Отдельное общежитие их было уничтожено, спальня их стала общею со всеми остальными учениками, а дневное пребывание было переведено в этаж с классными комнатами. Так как я постарался еще весной спустить из Капеллы под предлогом окончания курса четырнадцать главарей, а человек десять наиболее отъявленных и бездарных дармоедов исключил из числа казеннокоштных учеников Капеллы, предоставив им быть

приходящими учениками, то, понятно, оставшиеся старшие мальчики, лучшие из бывших, присмирели совершенно и принялись за работу совсем уже не по-прошлогоднему. Из этих учеников, сначала к полной их обиде, потом же к полному их удовольствию, был составлен «дополнительный класс», в котором я, Варыпаев и новые воспитатели принялись академическим путем чинить прорехи бывшего жалкого учения. Мы увлекли своих учеников интересом наших бесед, и, таким образом, от бывшего студенчества Капеллы осталось лишь убежденное сожаление, что оно было и притом так долговременно. Забавный случай убедил наших старших учеников приняться вновь за письменные ответы по русскому языку. Писали они отчаянно, в смысле не только изложения, но даже и простой грамотности. Разузнали мы, что один из наших большаков страдает отвергнутой любовью, и в товарищеской шутке вздумали пофантазировать, какое бы впечатление могло произвести на барышню письмо от ее обожателя, как на грех – особенно малограмотного даже между учениками Капеллы; потом я пошутил над учениками, в том смысле, что, пожалуй, и не одному из них в будущем придется написать такое письмо, которое хорошенькая умненькая барышня может встретить пожиманием плеч только уже по одной орфографии... Потом я предложил ученикам написать мне по письму с каким угодно содержанием, и у меня хватило умения самым благодушным и безобидным образом, с согласия авторов, разобрать эти письма вполне откровенно. Мы провели за этим разбором превеселых два-три урока, и письменные ответы по русскому языку были добровольно приняты как действительно необходимые, хотя бы для выражения нежных чувств и избежания пожимания плечами читателями-мужчинами. Это был, конечно, очень крупный шаг в моей попытке самого живого общения со старшими учениками. Я с трудом начал заниматься с ними, так как мне были памятны выражения их лиц в течение всей прошлой зимы и мера их участия во множестве всяких гадостей того времени.

Новые воспитатели оказались (кроме скоро удаленного Вс.А. Гаврилова) подобранными довольно удачно, и как общежитие, так и ученье сразу пошли совсем по-другому. С 9

октября мы начали вставать в шесть с четвертью утра, и притом все, вместе со старшими, вставать живо, чтобы через полчаса уже кончать утреннюю молитву, не задерживать начало уроков с 8 часов утра и успеть повторить надобное в промежутке между утренним чаем и этими уроками. Новые воспитатели вскоре приобрели доверие учеников, и уже самая разность приемов их обращения с учениками, самая содержательность их бесед вскоре, в связи с вводимыми новыми порядками, переделали наше общежитие совершенно на другой лад. Началось у нас учение уроков, появилась участливая помощь неумеющим учиться, не успевающим идти вровень с товарищами, началась и взаимопомощь – гуртовое самообученье, гуртовое приготовление уроков, началось мало-помалу исчезновение непримиримого, враждебного отношения между нами и учениками, так как мы сами избегали карающего начала, внеся вместо него участливое и ласковое во всяких вразумлениях менее поддававшихся нам натур. Туго и очень недоверчиво, даже и не без попыток сводить на прошлое, шли ученики на новое отношение к ним воспитателей, но мы не отчаивались, так как были уже далеко не на первой ступеньке нашей лестницы. Наглость поступка, дерзость в объяснениях, упорство в нежелании учиться, пропускание уроков, опаздывание из отпуска, даже и уход из дому без спроса начали появляться все реже и менее резко, уступая место здравомысленному отношению к людям и делу. Неупотребление нами окрика, возмездия досадного, наказания возбужденного, взамен же того спокойное и достойное вразумление начали побеждать и приверженцев старого вольного времени. Все более и действительнее начали влиять стыд при спокойном истолковании сделанного проступка и *reductio ad absurdum*⁴²³, которого не выносили старшие ученики. После двух-трех месяцев такой мирной, но последовательно выдержанной войны наступило, наконец, и для нас более спокойное или, но крайней мере, хоть не возбужденное, не тревожное время. Порядки начали заводиться исполнительностью самих учеников, дисциплина стала приобретать характер внутреннего упорядочения, действующего снизу, от самих учеников, а не

сверху, от распоряжений и внушений. Стены Капеллы были доверчиво украшены разными картинами и картами, что было вполне невозможно в прошлом году. Теперь мы завели в классах даже цветы и начали учиться заботливо ходить за ними. Наша попытка в прошлом году сколько-нибудь заставить стены Капеллы говорить ученической любознательности кончилась печальною неудачею – картины были сейчас же вымазаны чернилами, исчерканы карандашом, испещрены надписями и даже изрезаны ножами. Столь же печально кончилась прошлогодняя попытка освободить стены Капеллы от всяких невозможных надписей и иллюстраций; нам пришлось вытерпеть целый ряд возобновлений таких надписей и карикатур, дошедших до невероятной наглости и цинизма, столь гадких, что стыдно и описывать.

Эти гадости относятся ко времени между выходом Ляпунова и приготовлениями к Инвалидному концерту. Старшие ученики, жившие этажом выше меня, изводили меня то умышленным стуком в пол в течение чуть не всей ночи, то прямым беснованием, не давая спать ни мне, ни жене. Наконец, они стали рисовать на стенах, на столах масляными красками такие гадости и писать крупными малярными кистями такие пасквили по моему адресу, что я счел себя обязанным вразумить их примерно так: «Вы совершенно ошибаетесь, думая оскорбить меня подобными вещами и, наоборот, вполне доказываете, с кем в вашем лице я имею дело. Ваше поведение совсем развязывает мне руки и дает право поступить с вами, для оберегания дисциплины в остальной части Капеллы, может быть, и очень круто. Только жалея некоторых из вас, я не приму пока строгих мер и желаю вразумить вас так: меня, уже почти старика, могут оскорбить только равные мне или люди старшие надо мной, а не молодые люди. Вы, думая оскорбить меня, только унижаете самих себя и показываете отношением ко мне свое умственное бессилие и отсутствие сколько-нибудь соленого остроумия. Если бы ваши выходки были не менее злы, вполне ядовиты, но лишены всякой грубости и гадости, то, пожалуй, я еще бы позадумался бы над таким уровнем развития моих учеников, а в том, что

воспроизводите вы, даже подновляете, когда, стыдясь за вас, прислуга счищает ваши рисунки и надписи, вам могут явиться соперниками только остроумцы и обозленные самого невысокого уровня, вроде украшающих заборы в деревнях... Гораздо более достоинства обнаружите все вы, как вы ни были бы мною недовольны, если будете вести себя именно безукоризненно, отнимая у меня всякие поводы упрекнуть вас в чем бы то ни было. Даю вашему благоразумию срок – один час, по истечении которого я приду к вам, чтобы лично убедиться: поняты и приняты мои слова или нет». Через час после этой речи, которую я говорил вполне сухо, не возвышая голоса, но совершенно искренне, все надписи были уничтожены самими учениками и не возобновлялись более. Но, памятуя мои слова и о том, что через несколько лет образумившиеся ученики будут со стыдом вспоминать о бывших надписях (считая, что они лишь уступили требованиям товарищества), что я, по совести, не подал ученикам повода глумиться надо мною, что, может быть, в самом недалеком будущем, не далее предстоящих выпускных экзаменов и хлопот о месте, я же могу очень пригодиться моим недальновидным ученикам, что я первый подаю им внушительный пример умения забыть и простить заслуженные обиды, – мои ученики все же не выдержали характера по своей неблаговоспитанности и неумению быть сколько-нибудь сдержанными. Я, решивший сколь возможно помочь «кончившим курс», удаляя их в возможно большем числе, подкупил их только после того, как семеро из них поступили в Придворный оркестр, трое – в оркестр графа Шереметева и остальные шестеро, также не без моих хлопот – в частные оркестры. Теперь, полагаю, уже нет у нас молодежи, способной на что-нибудь подобное. С каждым месяцем наше общежитие становится более порядочным, а ученье – лучшим, хотя еще далеко Капелле до Синодального училища. Теперь наши стены покрыты неврединно висящими портретами, видами и всякими рисунками, усердно читаемыми и изучаемыми.

Затем все меньше и меньше приходится прибегать к помощи родителей, круг которых, при посещении ими Капеллы, невольно сблизился, так как приглашать приходилось между

ними, так сказать, «избранных», то есть породивших мальчуганов, наиболее часто заставлявших меня обращаться к помощи и к вразумлению через родителей. В приемной комнате Капеллы, разумеется, вновь вводимые порядки проходили сквозь критику всякого рода. Именно родители, прежде даже новых воспитателей, помогли мне повернуть училище Капеллы на новую дорогу. Для избежания недоразумений и сплетен я завел в этой приемной комнате «гласное судопроизводство», особенно вразумлявшее всяких лакеев, мнивших себя всемогущими по службе у великих князей, министров, гофмейстеров. Беседы и толкования значения, случившегося для будущего, при некоторой моей опытности, приобретенной в первый год службы между такими родителями, скоро обратили их в мою веру. С другой стороны, и родительские воздействия оказывали на детей именно те впечатления, которые вывели Капеллу на истинный путь. Таким образом, с помощью внутренних и внешних влияний на учеников началось приучение Капеллы к труду и порядочности. Водворение мирного житья само собою крепло и шло рядом с усилением простой дисциплины и с начавшей уже радовать учеников успешностью их занятий. Всем стало легче дышать, все стало благодуще, и труд, радостный, благодарный труд, водворился в Капелле уже довольно прочно.

Я пишу эти счастливые слова 18 января 1903 года. Год назад в моем дневнике в этот день записано: «Утром – речь ученикам: что значит их мешание урокам сольфеджио у больших певчих. Им показалось и тут удобным внести свое растлевающее озорство. Они являются кучками и под предлогом прохождения в регентские классы шли на занятия останавливаются по дороге, как бы заинтересованные уроком сольфеджио. Разные ошибки «больших учеников» принимаются за предлог к смеху и вышучиванию. Певчие обещали записать имена этих нахалов». 19 января 1902 года [записано:] «Война началась с утра! Приведенный в Капеллу от родительского наказания Таросов Николай (12-ти лет) был встречен учеником приготовительного класса Тимофеевым, побежавшим по Капелле с криком: «Изменник вернулся!». Воспитатель

арестовал его, а я отправил его с дядькой Воронцовым в Москву». Ничего подобного нет теперь! Сегодня я слушал [на уроке] весь Реквием Моцарта, совершенно немыслимый к изучению в прошлом году! Я вижу теперь лица, не выражающие усиленно казенное делание, терпимое угнетение, полное равнодушие, исполнение несносного приказания! Нет, я вижу певчих, купивших партитуру Реквиема и поющих с увлечением, умно следящих за исполнением и наслаждающихся. Немного еще таких певчих в Капелле, но что за радость, что уже есть такие! Что за прекрасная заря будущего! Сегодня же, 18 января, я имел сорок пятую беседу с учениками дополнительного класса: о материнстве у птиц, о языке птиц, о пении птиц, об осенних маневрах к отлету, переселениях и т.д. Внимание этих молодых людей [заглушает] остатки печальной памяти того общежития, которое так изводило меня в прошлом году! Как много значит удалить плевелы из поля, способного к обработке и урожаю! Ничего похожего на наши столь печально недоконченные прошлогодние беседы – совсем новое дело, совсем другие радости! Сегодня же, 18 января, отец Якимова, вразумленного мною мальчугана, целовал мои руки, и мы поплакали от радости, веруя в светлое будущее этого умненького, но было избаловавшегося ученика. Это ли не радость учителя, это ли не дает силу и крепость к продолжению учения сего. В час добрый!

30–31 января [1903 года]

Пора кончать эти записки, доведенные до обозревания текущих дней. Пора дать отдых от вновь пережитых по памяти волнений, вновь утомивших меня настолько, что после ежедневных вписываний в эту книгу понадобился неожиданный 12-дневный перерыв, указывающий на надобность успокоиться и кончить это дело, предоставив будущему времени вновь пересмотреть, поправить, провеять и привести в порядок изложение этих воспоминаний. Писаны они урывками, между делом, почему и не может быть в них развития тем, выдержанных наложений, даже и спокойной передачи недавних и слишком волновавших меня столкновений. Предполагаю, что после значительного перерыва – например, около года – я спокойно прочитаю написанное и сумею дополнить многие левые страницы этих двух тетрадей, чтобы придать наложению большую легкость в чтении.

Если этим воспоминаниям придется увидеть свет в печатном издании, то, конечно, это может быть допущено не ранее, как лет через десять после моей смерти, и не иначе как по кончине князя Алексея Александровича Ширинского-Шихматова, о котором невольно, несмотря на всю искреннюю мою о нем сдержанность, пришлось написать немало далеко не лестных для его самолюбия страниц. Мы разошлись, и я давно примирился в душе с этим человеком, которого судьба привела стать мне поперек дороги и много мешать успешности и радости моего труда. Все мои усилия быть вполне спокойным, объективно разобраться в подробностях наших столкновений и борьбы в Москве, каюсь, не увенчались успехом при изложении этих воспоминаний. Борьба эта была так недавно, она была так непримирима, так резка, так безнадежна и наконец кончилась так неожиданно для меня и так больно для любимого мною дела в Москве, что трудно пока, пожалуй, и невозможно для меня большее беспристрастие, чем то, с которым я писал десятки страниц с постоянным упоминанием «Ш²». Мы – клинья разных деревьев и [разных] направлений.

Сегодня я случайно попал на похороны Леонида Владимировича Бекетова и увидел там его брата, моего милого товарища по Казанскому университету – Вадима. Мы не видались 31 год, расстались юношами и встретились почти начинающими стареть. Милый сердцу Вадим хуже и дряблее меня. Он оказался искалеченным жизнью более меня. Мы не узнали друг друга в первые минуты, потом в краткой беседе в церкви Александро-Невской лавры перекинулись словечком, дающим мне повод написать последние страницы в этой книге. «Представь себе, – говорил мне Вадим Владимирович Бекетов, – что я, семидесятник, судья, дворянин, отец честной семьи, сын того, который с гордостью подписывал под многим когда-то очень свободомысленным «Цензор Владимир Бекетов», я под судом и... за взятки! Я – отдавший людям все, служивший правде – я взяточник... Это меня доводит до того, что я стал оскорбленная и бессильная старая рухлядь, вышибленный из колеи человек, думающий уже не о других, а о себе». Я протянул Вадиму руку и поцеловал его, сказав: «Если бы даже и суд осудил тебя – я скажу тебе вперед: мы не того закала люди, вот тебе моя честная рука и мой честный товарищеский поцелуй. Мой дом – твой дом, приходи ко мне, а, чтобы успокоить тебя вполне, завтра же я твой гость по далекому прошлому». Из дальнейшего выяснилось, что у Вадима нашелся свой Ш².

И в самом деле! Мы – «семидесятники», выросшие в великолепнейшие шестидесятые годы и крещенные в первой службе людям и правде в не менее великолепные семидесятые годы, – кто мы такие? Возможны ли обвинения нас (конечно, памятуя и о «в семье не без урода»), выросших в кругу честнейших людей, выросших в среде успокоившихся от волнений шестидесятых годов, прочувствовавших всем своим существом великую трагедию освободительной войны, протрадавших всю напряженность борьбы бюрократии с новой гласною правдою, – возможны ли обвинения нас в том воровстве, которое так неразлучно, в разных его формах и видах, с противною нам недавнею стариною? Чем отличается подобное обвинение, например, от усилия «вразумить» хотя бы

Ивана Сергеевича Аксакова, будто бы «изменявшего России»⁴²⁴, или от обвинения «ухода в народ», или от обвинения «потрясения основ», столь настойчиво распеваемого всякими недальновидными и вреднейшими патриотами и бюрократами? О! я – «семидесятник»! Самый отъявленный, непримиримый, неисправимый, самый безнадежный в глазах таких нетерпимых мною людей, для которых любы полиция, жандармы, прокуроры и всякие генералы, графы и князья, живущие для себя, живущие по бумагам «за номером», живущие в забвении о человеческом достоинстве каждого и о своих обязанностях к людям и родной земле. Судьба приставила меня к людям самого нежного и гибкого возраста, к людям, так сказать, отобраным по одному из двадцати, к школам художественным, свободным более других школ. Дважды, то есть в Москве и Петербурге, в мои руки попали совершенно расстроенные и упавшие школы, дважды же мне пришлось пережить огромные напряжения, выводя Синодальное училище и Капеллу на путь истинный. Обе эти школы случайно, к их счастью, во время их исправления мною не были обременены попечительством свыше. Десять лет назад я, уже с выработанною практикою по указаниям моих учителей и своего опыта, вывел на хорошую дорогу Синодальное училище, но преуспевание на этой дороге в руках семидесятника оказалось недопустимым для бюрократа-князя. Меня прогнали, и нынешнее состояние Синодального хора и училища только убедило меня в верности моего направления еще тверже. Теперь в моих руках – оздоровление учреждения знаменитого когда-то, но упавшего еще более, чем принятое мною в 1889 году Синодальное училище и хор. И теперь я не могу идти иначе как по испытанной мною дороге, и тем более потому, что Капелла двинулась к успеху скорее ожидаемого и вернее, толковее, чем я думал. Но, несмотря на всю радость начинающегося – последнего, вероятно – успеха в моей деятельности, предчувствую, что остается ждать мне того же, чем были так огорчены последние годы Ильминского с казанскими попечителями после Шестакова, последние годы Рачинского, не удовлетворенные высочайшим рескриптом, которым не вразумились окружающие Татеву земцы, и

последние мои годы в Москве, столь отравленные Ш². По логике трех проигрышей в трех делах надо ждать четвертого проигрыша в моей совместной деятельности с Ш³. Что же бодрит и делает меня твердым и энергичным, как не те же «семидесятые годы»? Несомненный проигрыш около себя, несомненный ряд самых тяжелых волнений и огорчений не отвлекают меня от сладости моего труда, столь непонятной всякому заморышу духом, всякому чиновнику.

Эту сладость бодрят во мне для будущего моя опытность в ведении дела и колоссальные средства, которыми обладает Капелла и с помощью которых вполне нетрудно, гораздо легче, чем в Москве, сохранить в Капелле и артистическое исполнение, и хорошую, даже отличную школу. Теперь, когда мною уже пройдены все испытания, когда уже началась и обозначилась успешность Капеллы как хора и как училища, – теперь моя опытность и сдержанность начинают признаваться и цениться, начинают получать отовсюду всякое содействие. Силы мои еще крепки, энергии моей, пожалуй, хватит еще надолго.

Средства Капеллы, несмотря на полную разворованность ее решительно по всем статьям, так велики по количеству рублей, что в один год Капелла, несмотря на долги, оборудована по части научных и музыкальных пособий лучше, чем когда-либо прежде. Мы уже начали быть прихотливыми по этой части и начали покупать такие вещи, которые недоступны к приобретению в других школах. И теперь, только год спустя, Капелла начинает производить впечатление училища, в котором успели подумать и позаботиться об очень многом.

Средства для обучения учеников музыке так хороши, что я теперь начинаю уже мечтать с Кленовским о возможности устроить в будущем очень многое, комбинируя хор Капеллы и оркестр учеников. Даже в этом году, после разгрома в рядах «господ скубентов», после одного года класса сольфеджий, даже при лени и ворчании всяких безголосых старцев и самомненных «титularных советников», возможно было, хотя и с величайшим трудом, сбить спесь Капеллы и заставить ее выучить весь Реквием Моцарта. Что же можно предположить в

будущем, когда вместо безголосой и самомненной дряни будет бодрая силами и отлично выученная Капелла? Что же можно ожидать от соединения этой Капеллы с вымуштрованным оркестром? Считаю я, что еще года два-три, и Капелла может подумывать о том, чтобы быть вне конкурса по исключительности своих средств и начинать совсем новую деятельность. Впрочем, подождем и увидим. Все дело в воспитании духа, в подготовке подрастающих будущих работников.

Вся педагогика есть искусство выращивания людей не только по своим рецептам, но и сообразно способностям каждого ученика. Оттого это искусство высокоинтересно и есть лучшее наслаждение само по себе, как в своей удаче, так особенно в труднейших случаях. Только смелый врач разве может поспорить в сумме блага, приносимого им людям. Умный священник, пожалуй, может поспорить с учителем в сумме получаемого утешения от удачи своих воздействий. Сравниваю учителя и с цветоводом: я вырастил прекрасный цветок, подобный которому можно купить в магазине за деньги, пожалуй, и небольшие. Но разве сравнится прелесть даже лучшего цветка, купленного с прелестью менее красивого, но своего цветка, который удалось вырастить самому? С чем можно сравнить чувство радости и удовлетворения при виде умного и достойного человека, про которого я имею право и возможность сказать: этот цветок – мой цветок, этот достойный человек – мой ученик? Этот ученик не пропадет в житейской борьбе и не отречется от своего учителя, он помянет меня в своей молитве, помянут меня и его дети! Конечно, на житейском базаре цена такому цветку не более обычной повсюду, так как сознание исполненного долга перед людьми и родной землей не котируется на житейской бирже. О, наслаждение это высоко и радостно само по себе, особенно же при начинающейся старости. Оно превышает текущие и ожидаемые волнения и страдания, с ним смотрится мирно назад и бодро вперед. Такое наслаждение, удовлетворяющее во всяком горе житейском, заставляющее забыть всякую текущую и бывшую невзгоду, окрыляющее душу к бодрой, радостной надежде в будущем,

можно сравнить и с теплым чувством счастливого отца. Как глубокомысленно констатировано начало величайшей любви у матери, забывающей муки ради явившегося на свет ее ребенка! Сколько у нее упования в успешности будущего своего труда над воспитанием этого ребенка! И эта мать отдает своего сына мне! Сколько бы ни давили это чувство матери ее нужда, ее беспомощность, ее житейские невзгоды – под этою ферулою все же не иссякает чувство матери даже тогда, когда она выбилась из сил и гибнет сама. С такими матерями (а их 99%) приходится иметь дело учителю, приходится иногда глубоко огорчать их, притом невольно и их же любовью, их же страданиями, их радостями, огорчать иногда прямо жестоко, страдая, соболезнуя, недоумеая, несмотря на все свои усилия, на всю свою опытность! Очень [редко], даже и едва ли возможна мать, не проливающая над своими детьми множество самых горьких слез! Очень мало число более счастливых матерей. Чего-чего я не наслушался от страдалиц – жен и матерей! Какие только степени любви не видывал я у матерей-неудачниц! А отцы? Между этими петухами, часто нелепыми, грубыми, измотавшимися от житейских невзгод, попадаются не реже матерей очаровательные любящие люди, с которых легко снимается их петушиный задор и с которыми затем можно говорить, лишь любуясь на их душевную красоту. Встречаются и отцы гораздо менее энергичные и умные, чем матери. Отцы мне кажутся более добрыми, дальновидными и уступчивыми, чем матери, особенно из вдов или несчастных в своей семье. Мои постоянные сношения с родителями учеников, особенно же начинающими отставать в ученье, с не умеющими скоро привыкать к порядку, или с начинающими прежде времени отбиваться от подчинения порядку – выработали у меня целые ряды наблюдений, в которых приходилось разбираться с неменьшим интересом, меняя детей на родителей. Здесь новый мир, новые толкования фактов, новые приемы внушений и подчинения их воли себе ради блага их же детей. Диагноз каждого отдельного случая в деятельности ученика я всегда производил гласно, в присутствии ученика и (конечно, за исключением неудобных случаев) родителей как его, так и его

товарищей. Такая гласность, кроме ее непосредственной пользы, облегчала мне и сумму моего труда, так как мое общение с родителями учеников, особенно же более ненадежных и непокорных, было постоянно и очень часто. Это общение было для меня вместе с тем и выгодно, так как избавляло меня от многого, но большей части весьма возбужденного, оберегавшего мой авторитет в школе и утверждавшего мое значение в семьях учеников. Я не могу не утверждать, что именно это общение выработало во мне лучшую часть моей педагогики. Оно научило меня, научило отцов с матерями и научило детей, оно сближало всех нас и приводило в большинстве случаев к желаемому успеху и взаимному удовлетворению. Таким образом, выращивание человека производилось мною с ведома его семьи, но ознакомлении с нею в надобной подробности и в наших взаимных заботах о ребенке.

Но иногда это выращивание, особенно детей алкоголиков, дегенератов, и еще более того – особо даровитых детей, представляло огромные трудности либо от пассивного, либо уже от слишком активного отношения родителей, либо глупых, либо грубых и невозможно требовательных. (Я всегда удивлялся, что последними, то есть самыми требовательными как родителями, так и детьми, были самые бедные, более всего обязанные школе. Из детей, особенно бесприютных сирот, я видел множество таких, которые были даже несносны в резкости и настойчивости своих претензий.) Итак: детский и родительский мирки – вот поле наблюдений!

Но самая трудная и самая радостная часть моей педагогической деятельности, конечно, в области общения с молодыми людьми, рассудочная деятельность которых уже пробудилась, теплое же сердце еще не успевало остыть, оскорбиться. Мои беседы с ними, мое постоянное общение с ними имели целью выработку из них крепких духом **русских людей**, крепких волею и сознательных работников для других. Здесь моя дружба с учениками врачевала меня более даже, чем уединенные занятия над рукописями. Эти беседы не носили характера курса, были свободны, любовны, вполне доверчивы и

очень многократны. Они завершались перед окончанием курса прощальною беседою на тему: будьте чисты в самом строгом смысле, будьте вполне трезвы, не приучайтесь курить табак и играть в карты; будьте сильны духом, отдавайте все всем без всякой корысти, ибо вы еще не мастера, да и деньги лучше узнать после людей и с добрым уже своим именем.

Мои ученики, несмотря на зловредный мой пример, почти все не курят табак и еще более того – трезвы. Первое достигнуто было в Москве, достигается и теперь в Капелле позволением курить явно и запрещением курить тайно, вразумлениями каждому из более слабонервных и из начавших баловаться. Трезвость достигается после школы подтверждениями опыта и иллюстрациями пьяного состояния, толкованиями его вреда, греха и позора. Гораздо труднее [изгоняется] игра в карты. Но и здесь я знаю лишь очень немногих из моих учеников, позволяющих себе только умеренно играть в добродушный винт. Картежника из моих учеников я не знаю ни одного. Игра целыми днями или целыми вечерами, по моему, есть свидетельство скудости мышления, ибо игра не может интересовать в долгий срок работающих людей, игра же денежная глупее и недостойнее всякого другого занятия. Дети – страстные картежники до начала зрелости, когда прекращается игра в «дурачка», «свои козыри» и проч. В зрелом 17–18-летнем возрасте карты перестают интересовать мыслящих юношей, и простое вразумление их, простое сравнение наслаждений от Пушкина, оперы, картинной галереи, прогулки, умной беседы с наслаждением от винта или рамса окончательно [отрезвляют] юношу, бывшего страстным игроком в детстве. Клятвенно обязывал я учеников памятовать о «кротком упорстве» и обращении ко мне в беде, где бы я ни был; затем шли части беседы об отношении к церкви, о самом твердом и неуклонном служении правде и родной земле и о самом безусловно честнейшем, неподкупном, бескорыстнейшем и самоотверженном браке непременно на бедной, доброй, здоровой и умной девушке. Беседа эта обыкновенно тянулась часа полтора-два, конспект ее записывался, и кончалась она взаимным прощанием. Я благословлял каждого ученика, часто

имел с которым-либо из них особую вполне искреннюю беседу по каким-либо особым его обстоятельствам, и затем ученик кончал курс. Молодые люди выходили на самостоятельную деятельность робко по отношению к людям, но уверенно относительно своего труда в будущем, и я не без удовлетворения душевного могу записать здесь, что ученики мои не посрамили своего учителя ни как мастера своего дела, ни как русские люди. Между ними нашлись и даровитые мне помощники, которых я взял теперь к себе, чтобы вернее вести Капеллу и обеспечить большой покой моей начинающейся старости.

Пора кончать эти записки, чтобы после перерыва в несколько лет спокойнее перечитать их и дополнить впечатлениями последовавшими, вновь проверить и подписать всякие пропуски, вновь выправить изложения, в которых невольно сказалась боль моего оскобленного сердца, особенно после решения покинуть Москву. Успокоится, вероятно, и резкая боль, уйдут и тяжелые волнения первого года моего пребывания в Капелле. Тогда выброшу, может быть, многое и запишу новое, теперь опущенное. В последних же словах этих воспоминаний мне все-таки хочется сказать и то: как трудно быть совершенно спокойным, беспристрастным! Как отрадно переживать вновь былое без волнений этого былого, с пером лишь в руке, с всепрощением в глубине души и с благодарною мыслью о возможности наконец поставить точку на последней строке этих воспоминаний.

23 января 1904 года

Мне случилось вновь перелистать эту тетрадь. Мне бросились в глаза строки на 271-й странице [рукописи] с такими словами: «По логике трех проигрышей в трех делах надо ждать и четвертого проигрыша в моей совместной деятельности с Ш³». Так как эти слова были написаны ровно год назад, а эти строки я пишу, уже не живя в Капелле, то очевидно, что мое предсказание сбылось гораздо скорее, чем можно было бы думать. Пожалуй, мое удаление из Капеллы было неожиданностью не только для меня, но даже и для настоявшего на том самого Ш³. Пишу эти строки после увольнения моего (17 августа 1903 года) всего через пять месяцев, когда оскорбленная душа не умирилась еще совершенно, несмотря на полное прощение всего Ш³. Моя жизнь изо дня в день – в дневнике.

Мне бросился в глаза также беспокойный, даже резкий, желчный оттенок описаний окружающего меня сверху. Поэтому я заключаю, что продолжение моих описаний преждевременно, так как может еще мною руководить в них чувство досады и трудность быть вполне беспристрастным. Поэтому же, совершенно подтверждая фактическую сторону всего записанного, в будущей переработке моих Воспоминаний я охотно разбавил бы на многих страницах невольно сгустившиеся краски как вредящие точному значению событий и их последствий. Спокойным, оказывается, быть трудно вскоре после житейских бурь, даже и через несколько лет после более сильных бурь. Откладываю переделку обеих тетрадей моих Воспоминаний еще впредь на несколько лет. Пусть пока эти обе тетради будут не более, как только материалом для будущего более спокойного и благодушного изложения.

Приложения

Приложение I. Памяти В.Н. Пасхалова

Из «Воспоминаний»

Скоро будет двадцать лет, как хор казанских студентов пел «Вечную память» Виктору Никандровичу Пасхалову... Стук посыпавшейся мерзлой земли о крышку его гроба больно отзывался в сердцах окружающих его безвременную могилу. В тот день, то есть 4 марта 1885 года, стояла чудная весенняя погода. Яркое солнце освещало только что прибывшую на казанское кладбище небывалую похоронную процессию. В огромной толпе народа высились на шестах всякие венки, шесты с эмблемами, с надписями, с рисунками вроде разбитой арфы и т.п. Оказалось вдруг – порывисто, нервно, горестно, – что Казань искренно любила покойного певца-поэта, что Казань глубоко взволновалась его неожиданной, трагической смертью, что в Казани нашлась не одна сотня его друзей, не одна тысяча его почитателей...

Я припоминаю также, как через несколько часов после смерти Пасхалова у меня уже была депутация казанских студентов, и мы живо кончили спешные уговоры о программе первой спевки студенческого хора. Вечером в тот же день созданся отличный хор, чуть не в 100 человек. Нас сразу объединила общая тяжелая утрата, и сразу установилась отличная дисциплина. Много раз на своем веку я управлял всякими хорами, но пение казанских студентов на похоронах Пасхалова памятно мне до сих пор. Из этого хора лепилось все, как из теплого воска: звук хора был как-то особенно искренен, а стройность и чуткость – как бы нервная. Я помню, как и меня прошибала слеза при управлении таким чудесным хором. «Любители» пели на этот раз очень одушевленно, местами же – вполне артистически.

Я познакомился с Пасхаловым в первый же день приезда его в Казань. Он, сколько помнится, приехал к нам раннею весною для концертов.⁴²⁵ Из ранних романсов Пасхалова в Казани были известны и нравились очень многие; помню, что и я приходил в восторг от двух талантливых тактов со словами «песню спою про лучину-лучинушку». Романс «Дитятко», с

легкой руки артистки Пусковой, сразу стал очень популярным в Казани.

По окончании концерта, в кругу немногих старых и новых приятелей, Пасхалов поужинал с нами, потом развеселился, перешел с нами опять на эстраду, начал петь, играть на фортепиано, рассказывать анекдоты и проч. В результате – позднее возвращение домой после очень оживленного вечера и затем неожиданное избрание Пасхаловым Казани как своего нового места жительства. Говорили потом много, и не без соли, как товарищи-артисты Пасхалова искали его по Казани, чтобы ехать дальше на концерты в других городах Поволжья, но Пасхалов, так сказать, «застрял» в Казани.

Судьба вскоре сблизила нас. Неожиданно я встретился с Пасхаловым в одной дружеской семье, где любили музыку, потом крепко полюбили Пасхалова. Первые впечатления от нового гостя были необыкновенно сильны, хотя и казалось, что Пасхалов, так сказать, выложил все, что только мог показать.

Он всего более пел в этот первый вечер. Пение Пасхалова было своеобразно до самой последней степени. У него не только не было никакого голоса, но и самая безголосица его была какой-то постоянной хрипотой, скрипом, совершенным отсутствием звука. Но зато он великолепно позировал и мастерски правдиво рисовал маленькие музыкальные картины; я помню, что мы не сразу разобрались в полученных впечатлениях. «Козел, он совсем дребезжащий козел!» – возмущался среди нас поляк-профессор, он был альтист в нашем квартете. Но в тот же вечер профессор нервно мигал и утирал слезы: «Ото-ж невозможно... ото-ж ничего в горле нет, а как поет!». Это было сказано после того, как Пасхалов только что пропел свою «Песню о рубашке» на знаменитые слова Томаса Гуда... «Затекшие пальцы болят...» – задребезжала разбитая безголосица Пасхалова, и слезы брызнули у всех нас; «Работай, работай, работай!» – доколачивал нас по нервам художник, бесподобно рисуя трагедию молодой швеи.

Пасхалов, однако, не всегда бил слушателей по нервам, хотя значительная часть его романсов толкует о погребальных «свечах», «мертвецах», о всяком горе и печали. Кроме своего

известного «Дитятки» и целого ряда именно «жесточких романсов», у него был немалый запас изящных мелочей, полных грации, самого забирающего юмора. Особенно живы были его программные вещицы для фортепиано. Мне припоминаются из них музыкальные картинки: «Господ дома нет» и «Масленица». Содержание первой в том, что «господа» только что уехали в гости и горничная «наверху» слушает серенаду лакея, тренькающего на гитаре: «хочешь – любишь, хочешь – нет, хозяина дома нет»; уморительный ход восьмушками рисует «тапы-тапы-тапы» горничной вниз по лестнице, прямо в объятия возлюбленного... Вдруг звонок, прерывающий пресладкую картинку: господа неожиданно возвратились домой, и негодующая барыня расправляется своеручно с горничной, а барин – с лакеем, следуют пощечины; восклицание барыни: «Вообразите!!! – туда же смеет чувствовать любовь», как и беготня лакея от барина были очень рельефны. И надо было видеть, и слышать Пасхалова, живая физиономия которого невольно отражала рисуемое им в звуках: он играх эту вещицу великолепно, задорно подчеркивая пикантные мелочи изложения. «Масленица» – такая же картинка из музыкального сумбура, происходящего из одновременно играющих оркестров в двух-трех соседних балаганах. Музыка тут не только комбинирует (как на бале в знаменитом «Дон Жуане» [Моцарта]) разные ритмы, но и разные тональности, причем как бы на заднем фоне картины местами слышится отдельными тактами народный гимн. Эта пьеска была, сколько помнится, написана технически еще лучше, чем «Господ дома нет». Она представляла собой совсем незаурядное мастерство в плане композиции и местами была написана прямо блестяще в смысле фортепианных требований.

Иной раз развеселившийся Пасхалов проигрывал нам чуть не всю свою «книжку», которую он бережно хранил и, как кажется, всегда носил с собою. Книжка это, примерно 4*5 вершков, заключала в себе все его сочинения, изложенные Пасхаловым «для себя», то есть в сокращенном виде, в виде только надобных набросков существа каждой композиции, но картинки «Господ дома нет», «Масленица», «Свадебная

телега», «Яблоков садовых – яблоков» и другие были здесь написаны полностью, как и «Песня о рубашке», «Дитятко» и другие более удачные вещи. Здесь же были и записи народных песен, разные «комические куплеты» – а на них была тогда большая мода – марши, польки, всякие наброски и проч. Куда девалась после смерти Пасхалова эта драгоценная книжка, так и не удалось узнать никому.

Развеселившийся Пасхалов, особенно же после ужина, пел всякого рода сатирические куплеты (особенно памятны из них куплеты графа А.К. Толстого «Благоразумие», то есть «Поразмыслив аккуратно, я избрал себе дорожку...») или говорил краткие якобы проповеди немецкого пастора, с пафосом текстуемого алфавит: например, после глубокомысленного и кроткого «И каэль, эм-эн» следовал взрыв «О! пэку, эрэсту» и т.п. Я не скажу, чтобы Пасхалов был хорошим пианистом, но он отлично умел аккомпанировать и еще лучше того – играть в четыре руки. Его любимые композиторы были Шуберт и Моцарт; он высоко ценил Бетховена, но старики-классики, сколько помнится, ему были знакомы весьма мало.

Ложные шаги в искусстве возмущали его душу, и он резко высказывался, без всяких обиняков. На первой же поре моего знакомства с ним он однажды, сейчас же после концерта, в присутствии хора, «отдергал» меня без всякой жалости. Я пропел с хором студентов несколько звучных вещей и услышал примерно такие слова: «Поете-то вы отлично, да я не могу понять, кто вы такой: русский или немец? Поете вы со студентами русские песни, переделанные на немецкий лад, черт знает зачем!». А полчаса спустя: «Вы же поете глупый немецкий марш, еще более глупый немецкий «танец» (то были «Würzburger Stützenmarsch» сочинения Беккера и «Tanz» «Heiter mein liebes Kind» сочинения Цёльнера). Люди стремятся, чтобы инструмент приближался к человеческому голосу, а вы коверкаете голос, уподобляя его трубе, барабану... Что за нелепость? Да еще со студентами! Ну на что походят ваши исковерканные «Не белы снега» шли «Матушка, что в поле пыльно»! Стыдно! Ведь вы русский, да еще и в университете

курс кончили! Музыканту можно было публично заявить себя посерьезнее» и т.д. И до сих пор я не раскаялся в том, что послушался тогда всплывшего на меня Пасхалова.

После таких указаний будет понятен общий склад Пасхалова как человека и художника. Последний в Пасхалове представлял все данные к блестящей деятельности, и потому понятно, как хотела заполучить Пасхалова знаменитая тогда «Могучая кучка». Пасхалов был ей известен уже довольно близко. Здравствующий доныне старец – Владимир Васильевич Стасов усиленно звал его в Петербург, чтобы заняться саморазвитием в кругу Балакирева и К°. «Нас всего сильнее поразил, – писал с обычной горячностью Пасхалову Стасов, – и ваш могучий свадебный марш (приходящийся сродни *S dur'*ному и другим инструментальным великолепиям Франца Шуберта), и мчащаяся с колокольчиками телега, наполненная поющими и хохочущими девками. Вот где ваш талант сидит, сила, национальная жилка, юмор, широкий размах. Мусоргский запомнил лучшие места, и, хотя играл их приблизительно верно, однако же тут можно было настолько заметить вашу натуру и способность, что весь наш музыкальный кружок был в восторге, и тут не было ни одного человека, который бы не признал в вас сильного и оригинального таланта, заставляющего ожидать от вас очень многого».⁴²⁶

Такое письмо, и притом не одно, можно было вынудить в те годы у Стасова, вероятно, только с общего согласия членов очень энергичной тогда (1872) «Могучей кучки». Но Пасхалову, как его самого ни тянуло к Мусоргскому, все-таки почему-то не пришлось поселиться в Петербурге, и он не развился около энергичных новаторов. Я никогда не слыхал ни одной ноты из отчасти написанных опер Пасхалова, то есть из «Демона» и из «Первого винокура». В Казани Пасхалов почему-то всегда отнекивался на все просьбы познакомить нас с этими отрывками. Между тем эти отрывки были играны им в кругу «Могучей кучки». Рукописи этих отрывков, как и указанной выше «книжки», как кажется, утрачены без всякого следа к их отысканию.⁴²⁷

Пасхалов имел в Казани много уроков пения и фортепианной игры; он часто аккомпанировал в концертах, терпеливо вынося пение «любителей» всякого сорта. Еще более он музицировал в немногих семьях, где его дружески любили и где он сам чувствовал себя в подходящем и симпатичном ему кругу. В одном из таких семейств мне случалось встречаться с Пасхаловым особенно часто. Здесь же я более всего вгляделся в его отзывчивую, добрую натуру, чрезвычайно мягкую, деликатную, даже порой и наивную. В сущности, он был человеком весьма слабой воли. Жил он в Казани, как птица Божия, – сущим артистом, не пекущимся о завтрашнем дне. Есть ли деньги, нет ли денег у Пасхалова – можно было узнать только по его езде на извозчиках или по пешему хождению, а никак не по настроению духа. Есть деньги у Пасхалова – он был готов их спокойно отдать первому встречному, нет денег – он занимал их у первого же встречного, конечно в обоих случаях без отдачи.

Временами, однако, находила на него сильная хандра, и тогда он поддавался тому же недостатку, который сгубил так много всяких дарований. В сущности, жизнь Пасхалова была жизнью глубокого неудачника, чувствовавшего, что из него не вышло того, что легко могло бы выйти при лучшей школе и при большей настойчивости в труде. В один из таких припадков хандры, под впечатлением от известия о кончине матери, мы лишались Пасхалова. Выше уже было указано, как почтила Казань своего любимого артиста совершенно необычными по торжественности похоронами. Не исполнено было, кажется, только неоднократно высказанное им желание, чтобы на памятнике была надпись: «Он написал музыку к «Песне о рубашке»». Куда девались автографы Пасхалова, никто из его друзей не мог добиться в то время. Мы тщетно искали их и перебрали все на аукционе вещей и книг, оставшихся после художника. Автографов тут, безусловно, не было. Присутствие в числе вещей всякой мелкоты ясно указывало на сохранность всего оставшегося, но ни расспрос среди казанцев, ни позднейшие поиски автографов не привели ни к чему. Много позднее попала в мои руки консерваторская работа

Пасхалова «Kyrie» – она хранится теперь в библиотеке
Синодального училища в Москве.⁴²⁸

Русская музыкальная газета, 1905, № 9/10. Стлб. 257–263

Памяти С.А. Рачинского

Из частного письма

2 мая в Татеве (Бельского уезда Смоленской губернии), в своем родовом имении скончался Сергей Александрович Рачинский – один из даровитейших и своеобразнейших русских деятелей, который и в истории, и в жизни нашего народного музыкального искусства знал и провидел больше, чем многие и многие, даже посвятившие себя специально музыке... Я не хотел ограничиться одним официальным некрологом с указанием даты рождения (2 мая 1833 года) и смерти Рачинского; поэтому я счастлив, имея возможность посвятить памяти Рачинского следующие строки из частного письма ко мне Ст.Вас. Смоленского, другого русского музыкального деятеля, слово которого нельзя не уважать. Это слово в настоящем случае тем более искренно и ценно, что С.В. Смоленский был одним из наиболее близких и горячо сочувствующих друзей покойного Рачинского. В следующих строках светлый образ последнего вырисовывается с наибольшей справедливостью и верностью, которых, к сожалению, до сих пор не доставало едва ли не всем статьям и заметкам, посвященным памяти С.А. Рачинского.

Ник. Финдейзен

...Рачинский был человек серьезный, горячий, тонко чувствовавший и провидевший далеко вперед. Он умел различать здоровые корни истинного искусства общечеловеческого и русского; он понимал временность нынешнего, во многом жалкого, пустопляса и временность серьезного, хотя и одностороннего увлечения излишним, тенденциозным реализмом и народничеством; понимал и некоторую, невольную для него, суровость его осуждений современных кумиров и некоторое свое недоумение перед совершающимся на наших глазах как бы односторонним ростом русского искусства. Рачинский во многом и для многих был отрицательным типом, но для меня он был одним из больших

русских людей – из тех, которым присваивается почетное звание «соль земли». Рачинский объединял в своем уме не только успехи русского музыкального искусства последних лет, но и всех вообще наших художеств, в связи с подъемом образования и с вычетом отсюда как болезней века и малодушных шатаний скороспелых умов, так и стремительности, и развязности многих малоподготовленных и малодаровитых художников. Огромный и изящный ум Рачинского, трогательнейшая его любовь ко всему родному не раз бурно волновались в его беседах о даровитости русского племени, о колоссальности бывших русских художников, начиная с Пушкина, Гоголя, Глинки, наших живописцев, скульпторов, архитекторов, наших Аксаковых, Крыловых, Суворовых, Скобелевых и проч. Рядом с этими поразительными художниками Рачинский благоговейно ставил сродство с русскою душою поэзии Евангелия, Псалтири, нашей церковной службы и ее роспевов, наших остатков трогательнейших старинных обрядов, наших песен, былин, живопись, русский орнамент архитектуры, даже и элементы рисунка народной ткани и народного платья. Рядом с тем же его оскорбляло нынешнее увлечение многим, столь одуряющим народный ум, как пьянство, печать в образе органов, вопиющих всякий вздор и расслабляющих наше народное здоровье всякой никому не надобной гадостью и цинизмом, как оперетка, калечение народных сокровищ и т.п. Нельзя не верить во многие самые чистые, самые неудержимые народные добрые силы, говорил он; силы эти в народе скрыты, они огромны, здоровы и только поганятся недостойной частью тонкой пленки, покрывающей народ. Явятся новые художники, пройдет нынешняя свистопляска, подсохнет часть этой пленки, и засветлеет русское искусство XX века.

И как глубоко и искренно верил, как восторженно верил мой прекрасный друг в эти упования! Рачинский был человек необыкновенно чистой, живой, восприимчивой русской души, он гордился своей родиной и служил ей всем своим существом, душой и телом, денно и ночью, отдавая все всем – более же всего народу, который он любил пламенно, возвышенно,

заразительно и с глубочайшей верой в свои силы. Только огромные душевные силы Рачинского, его огромная начитанность и тонкая наблюдательность, его несравненная чистота и чуткость могли создать такую любовь и такую веру в свою родину и воспитать такой долг и подвиг, с какими он служил родной земле столь беззаветно. Художник-Рачинский, разумеется, составлял немалую часть в его жизни и немалую долю в его мышлении, в его душевных волнениях. Он не был ни музыкант, ни живописец, ни пластик, ни поэт, но гармонично соединял в себе высшие ступени понимания всех искусств и осмысливал шаги русского искусства в своем уме с самой удивительной ясностью в их взаимных отношениях. Он радовался недоступной многим мерой радости и предвидения, угадывая появляющийся талант. Его нельзя было провести мишурой и шумихой, и он безжалостно обличал их. Зато настоящее дарование приобретало в нем самого искреннего, неизменного друга, самого горячего помощника и советника. В длиннейшем ряде талантливых людей, его друзей, начиная от людей старше его годами, чинами и положением, начиная незабвенным Чайковским, кончая скромным сельским учителем и дьячком, Рачинский умел находить самые разнообразные дарования, а у себя – ответ на них в богатой душе своей. Его ответы были всем одинаково дружественны и содержательны, вполне бескорыстны, чужды всякой зависти и полны всякой радости общения с каждым. Я не раз читал многие письма к нему от множества людей, приобщавшихся чистой его душе и исцелявшихся духовно этим общением. Тут, в этом «обозе к потомству», то есть в сотне с лишним томов его переписки, находятся письма и учителя, и министра, и светской барыни, и монаха, и алкоголика, и художника, сироты и богача, озлобленного и восторженного, верующего и неверующего, жадного хитреца и бессребреника-идеалиста... «И ни одно из этих писем, – говорил он мне неоднократно, – не оставлено мной без посильного моего ответа; как искренно пишу мне, так и искренно и любовно, большей частью экспромтом, я ответил каждому». Иногда его письма были рядом маленьких поэм,

вроде стихотворений в прозе Тургенева. Таковы, например, его 39 писем о трезвости к студентам академии.

Как сильны его педагогические статьи, сущие бичи, которыми он жестоко бил столь ненавистные ему все предусматривающие программы, проекты, инструкции и прочие измышления разных комитетов и комиссий! Тут Рачинский был и пророк, и художник, скорбный мститель, говорящий жестокую правду в глаза всем, гласно и твердо. Здесь все силы его ума, знания, опытности и беззаветной любви вооружали его, художника и народолюбца, до завидной доли великого учителя, смело, наперекор всем говорящего грозную правду. Вот где Рачинский художник. Вот где значение его бурных и резких речей и обличений для будущих русских художников всякого рода, начиная от художника-педагога, продолжая художником-священником, кончая живописцем, музыкантом и певчим. Только глубокая скорбь, только глубокое убеждение могли водить его руку, писавшую эти обличения. Они совершенно исключительны по своему превосходному, художественному изложению, по своей выстраданной резкости, совершенно невозможны для другого по своему отрицанию общеподобренных и даже узаконенных порядков; только пылкая душа внутреннего художника, жившая в удивительно воспитанном и деликатном человеке, могла так горячо и правдиво вступаться за любимое дело.

Статьи Рачинского о народном образовании, о народном искусстве, о массе дарований среди русских людей полны высокого художественного интереса вообще и полны множеством самых тонких и изящных суждений о настоящем и будущем русского искусства, более всего русской живописи и музыки. Это уже поэмы более значительного объема, чем письма о трезвости, более отделанные и захватывающие иногда очень большие горизонты. Он носится в них от Листа, от римских студий к нашему древнему церковному напеву, к иконописи, к величавому содержанию псалмов Давида, от театра с Сарою Бернар к Пушкину, от умилительной первой недели [Великого] поста и говения в школе к пророчеству судеб русского искусства на народных основаниях, от общества

трезвости к женскому образованию и к жестоким уязвлениям многих и многих... От интереснейшего «умственного счета» к неожиданно высказываемым самым беспощадным обличениям: «О, если бы в наших образованных классах замечалась хоть тень прямого, бескорыстного, духовного отношения к делу, хоть тень истинной веры в пользу просвещения»; или: «Я твердо верю в будущность этой бедной, темной, едва возникающей школы, ощупью создаваемой на наших глазах безграмотным народом. Ибо – не нужно обольщаться – все, что в ней есть живого, доброго, внесено в нее не нашими просвещенными стараниями, не мерами правительства, а здравым смыслом и нравственным строем этого безграмотного народа»; или: «Глохнут и гаснут в народе народная песня, народная сказка, эти живучие отголоски иной веры, иного мирозерцания... И если в настоящее время, в минуты пробуждения в нашем народе сознательного христианства соперником церкви является кабак, если пьяный разгул слишком часто заглушает всякое движение духа, если в этой борьбе не произойдет скорый, решительный поворот, – то вечный позор всем нам, людям досуга и достатка, мысли и знания, печатного слова и правительственной власти! Позор и проклятие нашему мертвому образованию, нашей праздной болтовне, нашей духовной пустоте и бессилию»; или: «Цвет русского искусства впереди. Вся громадная художественная работа России в XIX веке – работа подготовительная. Вся эта дивная выработка языка, все эти смелости и тонкости музыкальной и живописной техники, все это глубокое усвоение народных форм творчества, вся эта горячая и искренняя правдивость в изображении действительности – все, что восхищает нас с детства и начинает изумлять Европу, – все это есть наш драгоценный материал, из коего будет воздвигнуто величавое русское искусство XX века».

Степень компетентности и прозорливости Рачинского в области музыки, а особенно же русского искусства достаточно ценилась в нем при его жизни, ныне же может быть установлена вполне точно. Известно, что, стоило Сергею Александровичу прослушать только одно сочинение Чайковского, он мог приветствовать его, тогда еще юного, как будущую гордость

России. Растроганный Петр Ильич ответил Рачинскому посвящением своего Квартета D dur, певучее, русское Andante которого общеизвестно. В отрывке из «Записок сельского учителя» Сергей Александрович сам рассказывает о своем знакомстве с артистом... Но наибольшую долю его заслуг все же придется отнести к области сельского церковного пения, где ряд его суждений, заявленных почти двадцать лет назад, свеж и поучителен и теперь для очень многих. Суждения эти, конечно, могли быть высказаны умом, вооруженным точными и обширными сведениями. В статье «Наше родное искусство и сельская школа»⁴²⁹ Рачинский высказывает целый ряд дальновидных мыслей и суждений, логически выводя их из самых простых положений, подкрепляемых самыми очевидными доводами, высказанными вполне общедоступно. Глубокомыслие и верность суждений в области наших песен и церковных напевов, их гармонизаций, их значения для будущего, конечно, есть результат и больших способностей, и большой подготовки, и беззаветной любви к искусству, особенно же к русскому. Сила его обобщений была именно в тонком понимании отношения разных искусств между собой, связи и взаимодействия в объяснении их, в верном предчувствии значительного прогресса всех русских искусств, сделанного на глазах Рачинского. Собственно говоря, лучшие годы своей жизни он провел преимущественно с художниками. Он, благоговевший перед Пушкиным, Глинкою, Брюлловым, – он или дружил, или внимательно следил за всеми нашими художниками, радовался появлению талантов, бодрил их при случае, помогал чем только мог... Художник сказывался в нем самом сполна при первой же встрече с выдающимся дарованием, особенно музыкальным. Фуга Баха, соната Бетховена, чистые вдохновения Моцарта или родные звуки Глинки скоро электризовали Рачинского, скоро вылечивали его от недомоганий или грустной задумчивости... Он страстно любил их, твердо знал и высоко ценил.

Кто же не знает, наконец, что за артист был Рачинский-учитель, что за трогательная идиллия была Татевская школа с таким несравненным учителем!

Рачинский всегда удивлялся огромности художественных способностей русского народа, столь выразительных как в мотивах нашего орнамента, нашей архитектуры, нашего вышивания, так и в наших народных мелодиях, древних церковных роспевах, в чудесном богатстве нашего языка, в удивительнейшей русской народной памяти прошлого. Не менее удивлялся он и строгости мышления, стыдливости народной, степенности устоев его внутренней жизни, так мало поддавшихся воздействиям всякого рода и всякой силы. Здесь он, может быть, увлекался многим, но его речи были полны такой упоительной гармонии, такого блестящего остроумия, такой теплейшей веры в будущее величие нашей родины, что забывал он сам свои же громы на «образованное общество», на всякие комитеты и министерства. Он – маленький, худенький, с блестящими глазами, сущий пучок нервов – вдруг начинал светлеть, одушевляться, и откуда только являлась у него, вообще плохо говорившего, восторженная речь... Пробуждался художник, пробуждался в нем пламенный, присущий ему внутренний неугасимый огонь, полный веры и самых радостных ожиданий. О, как прекрасен был этот старец в эти минуты! Какой чудный, искренний, великий русский художник-народолюбец был в этом болезненном, слабосильном человеке! Мир его праху и бурной, страстной душе его! Мир его скромной могиле в прелестном Татеве!

P.S. Рачинский, бывший профессор ботаники Московского университета, посвятил себя деятельности в сельской школе и провел в ней последние 25 лет своей жизни, уступив только своим недугам в самое последнее время, когда жизнь со школярами стала для него невозможной. Он, бывши очень зажиточным, отдал народному образованию не только все свое состояние, но и всего самого себя. Учительская деятельность высокообразованного человека, конечно, не могла не привести к потребности высказать печатно свои наблюдения, упования, столкновения... Ряд статей Рачинского выдержал несколько изданий в известном сборнике «Сельская школа». Для музыкантов особенно интересна его статья: «Народное искусство и сельская школа» и первый отрывок из «Записок

сельского учителя». Из Татевской школы, в которой впервые, как кажется, было устроено сельское ученическое общежитие, вышла масса учеников-грамотеев, масса трезвенников, столь благотельно поднявших грамотность, зажиточность и трезвость населения кругом Татева; немало вышло и образованных людей, закончивших свое образование, благодаря Рачинскому, в высших учебных заведениях; вышло немало священников, дьяконов, сельских учителей. Из художников-учеников известен Н.П. Богданов-Бельский.

Русская музыкальная газета, 1902, № 30/31. Стб. 714–719

Знакомство со старообрядцами

Отрывок

Единоверческая церковь Четырех Евангелистов в Казани была первою, в которой я услышал древнерусские церковные напевы и увидел как старообрядческую службу за литургиею, так и два таких различных обряда, как погребение и венчание. Я был в первом классе гимназии, а сын священника этой церкви, мальчик Петя Никольский был в нашем классе так называемым «подстаршим». Мне помнится только, что виденное и слышанное мною произвело крайне тяжелое впечатление чего-то грубого, нехудожественного. Это впечатление было так сильно, что впоследствии, когда я ежедневно ходил в Учительскую семинарию мимо этой церкви, меня не потянуло ни разу зайти в нее. Только много лет спустя, когда я уже владел знанием древнерусского церковного пения, я понял, как много я потерял для своего развития, упустив возможность слушать какого-то уставщика этой церкви, бывшего очень известным между старообрядческими певцами. Церковь Четырех Евангелистов находится в Казани на берегу озера Кабан, очень недалеко от 2-й гимназии. Еще ближе к последней была Никольская церковь на берегу Булака, строившаяся на моей памяти. Эта церковь строилась на том же месте, где во времена Екатерины II была одна из немногих в восточной России гласных старообрядческих церквей. Я видел в одной купеческой казанской старообрядческой семье живописную картину с изображением этого храма во время крестного хода «посолонь», то есть по направлению из притвора на север, восток и юг, а не на юг, восток, север, как то принято в господствующей церкви. В этой церкви был очень большой и хороший подбор новых колоколов, в которые звонил большой мастер своего дела. И в этой церкви мне случилось получить неожиданное и тяжелое впечатление. Двери ее на улицу были почему-то всегда закрыты, несмотря на свет свечей внутри, ясно слышимое пение и большой при церкви съезд экипажей. Однажды я увидел двери этой церкви открытыми и вошел в храм. Через несколько минут я увидел, как какие-то люди в

кафтанах грубо выводили из церкви какую-то даму, одетую очень хорошо. Дама плакала от наносимого ей оскорбления, заявляла, что она приезжая, что она русская, православная... Я вступился за даму, но и меня постигла та же участь... нас чуть не вытолкали из церкви, чуть не столкнули с крыльца паперти. Только после, много лет спустя, я понял причину этого насилия: дама была в шляпке, а не в платке, дама позволила себе молиться в этой церкви...⁴³⁰ Понятно, что такое неожиданное и неприятное происшествие еще более отвернуло меня от старообрядчества. Я начал отрицательно относиться к древнему пению как одноголосному, первобытному, гнусавому, закоренелому в своих упрямых традициях и нисколько не интересному с музыкальной стороны. Но строгость стояния старообрядцев за службу, перебирания лестовки, уставные «метания» – мне нравились всегда, как и чистота, богатство этих церквей и какое-то особенное, истовое благоговейное моление, то есть все то, чего я не находил в желаемой степени в наших православных храмах.

В ту же церковь Четырех Евангелистов я попал на похороны моего товарища, оказавшегося единоверцем. Это было в 1878 году, когда я уже успел познакомиться с древнерусскими церковными напевами и мог разобраться в слышимом за единоверческой службой. Впечатление от этих похорон было так сильно, так потрясающе подействовало на мой ум, что я шел домой в каком-то растерянном состоянии. Сохранность некоторых обрывков наших похоронных напевов, всегда казавшихся мне образцами недостижимой глубины и красоты, совпадение многих только что услышанных напевов с оборотами нашей народной песни удивили меня до самой последней степени. Я почувствовал, что у меня спадает с глаз пелена и открываются мне совсем новые горизонты. (...)

Я вдруг понял, что подлинное русское искусство, народное, для меня даже чуждо, дико, не кажется и родным, что его красота мною чувствуется как-то смутно, лишь относительно, что сравнения со всякими немцами и итальянцами наших композиторов, Глинки, Даргомыжского, Серова совершенно невозможны, а русские композиторы на иноземный лад – какие-

то изменники родной земле. К последним я быстро причислил Бортнянского, Львова и Бахметева. Затем моя мысль пробежала по областям подражательной русской литературы, академической живописи, общеупотребительных тогда танцев, по области казенной архитектуры и т.п. (...)

Продолжу потом о буре, разыгравшейся в душе моей. В эти дни я дал себе труд разобраться в волновавших меня подробностях и решил прежде всего засесть за синодальные певческие издания, которые я знал все, хотя и недостаточно твердо. Мне казалось, что красота русских песен, которую я узнал уже во многих подробностях напевов, слышанных у старообрядцев, не записана еще ни в одном сборнике народных песен, что именно знаменный церковный распев как результат возвышенно-сосредоточенного художественного русского мышления должен был мне раскрыть русскую красоту гораздо всестороннее. Тут, рассуждал я тогда, и скорбные напевы Страстной, и торжественно-радостные напевы Пасхи, тут и остроумие толкования одного и того же текста (например, Херувимской) разными напевами, и незыблемое толкование текстов Октоиха только одним «большим», «столповым» распевом; тут, думал я, и умение «поскорее» пропеть наши длинные стихиры по данным формам «на подобен», тут же и все разнообразие творческих форм, как больших, так и малых. Одним словом, я засел вплотную за синодальные издания и при каждом удобном случае стал заходить к службе в попутные мне по дороге в учительскую семинарию церкви Четырех Евангелистов или Никольскую единоверческую. Мне кажется, что я долбил Октоих, Обиход и Праздники около года, или, по крайней мере, целую зиму, увлекаясь лишь мелодической их стороной и разумностью их декламации по отношению к данному тексту. В эту же зиму я вновь проштудировал книгу Разумовского «Церковное пение в России». Второе чтение этого превосходного труда навело меня на ряд мыслей, какой ранее не мог даже и прийти в голову. Знакомство с пением единоверцев и подготовка в области древних распевов по синодальным изданиям подготовили меня к более полному пониманию сочинения о. Разумовского и к решимости пойти «в

ученье» к старообрядческим певцам. Я не ошибся в это время, обдумав все главные положения моего катехизиса, по которому живу и до сих пор в области моей науки. У меня лишь не хватало, прямо по незнанию, представления о высокой цене крюкового письма, с помощью которого только и можно изучить тонкости строения древних напевов. Мне все еще казалось достаточным для дела подробное знание напевов и лишь приблизительное знакомство с крюковым письмом как грамотою, отжившею свое время и только примитивною.

Случайная моя поездка в Москву летом 1879 года привела меня к беседе с о. Разумовским именно на эту тему. Ряд мыслей, достаточно, по моему тогдашнему мнению, обоснованных и связных, дал мне странную решимость заспорить с почтенным ученым и настойчиво утверждать, что для анализа напевов достаточно знания их в нотном изложении, что мудреная крюковая нотация есть только нелишнее подспорье для уразумения подробностей, могущих быть понятными и без пения по крюкам, но при более широком и свободном взгляде на дело. О. Димитрий Васильевич заспорил со мною, вскипятился и, наконец, вероятно возмущенный моею самоуверенностью, вспылил: «Ведь ты, чертов сын (а так он в минуты гнева бранил и учеников консерватории), не умеешь петь по крюкам? А? Чего с тобою спорить? Пошел вон!». Только тут я понял свой промах. Ублажив всячески вскипевшего ученого, я пошел на уступки. Добрый старец сейчас же спохватился, и беседа наша опять наладилась мирно. Ученый собеседник развил мне некоторые подробности крюковой нотации так ясно, так вразумительно, что я лишь окреп в решении учиться у старообрядческих певцов. Это учение, однако, началось не сразу. По приезде домой я обошел весь состав певцов обеих единоверческих церквей и не остановился ни на одном из них, так как сведения их показались мне недостаточными. Мои знания напевов требовали уже большей отчетливости, а не одной только практической наметки учителя. Поэтому прошло еще года полтора-два, прежде чем я добрался до настоящего знатока дела, уставщика Карповской моленной австрийского согласия – Артемия Прокопиевича Пичугина. В это

время я только продолжал самостоятельное изучение синодальных изданий и участил хождения в единоверческие церкви.

На половине дороги между Казанью и так называемой Раифскою пустынью, лежащею в 30 верстах вверх по Волге, находится деревня Осиповка. Мы жили по летам около пустыни в деревне Белой, и пешие прогулки в Казань для меня ничего не стоили в те годы. В одну из таких прогулок я случайно остановился отдохнуть у крестьянского дома, хозяйка которого угостила меня квасом. «Тетка Надежда Дунава» (то есть Дунаева) бросилась мне в глаза своим высоким ростом, спокойным, серьезным лицом, особенно же чистотою своего платья (дело было в праздник). Продолжительная беседа как с хозяйкою, так и с ее семьею скоро уяснила мне, что я попал к так называемым поморцам – придерживающимся беспоповщинского толка небракоборного, не отвергающего брачной семейной жизни. Дом Дунаевых показался мне простым, зажиточным и очень дисциплинированным. Чистота в доме, хотя и крестьянском, порядок во всем были удивительны. Тетке Надежде было около 40–45 лет. Она, очевидно, властвовала в своей большой семье; ее «мужик» был сущий красавец, и как к нему – «батюшке», так и к ней – «матушке» дети относились с какою-то особенною почтительностью. В семье уже были и малыши-внуки. Порядки в доме были какие-то тихие, толковые, сановитые. Оказалось, что вся семья «грамотна по-церковному», что в «Божьем углу» был том Иоанна Лествичника, беседы Златоуста, домашняя ладанка, с которою, «придерживаясь старинки», семья служила дома вечерни и утрени. В первый раз в моей жизни я окунулся в этот строгий, религиозно-дисциплинированный мирок и впервые был так неожиданно обласкан совершенно незнакомыми людьми. Чтобы не «обмирщиться» со мною в посуде, тетка Надежда угостила меня своим вкусным квасом из особого ковша, форму которого я запомнил и усвоил при сношениях с другими беспоповцами. Признаться, я затянул нарочно свою беседу в этой семье, запоминая все подробности, бывшие перед

глазами. Мы потолковали и об «отлетевшей благодати», и о Никоне, и о пении «на он» (хомовом) (...)

Охотно допускаю, что вполне возможны и даже нередки за такую дисциплиною грубое самодурство, превеликая косность, но неотразимая прелесть такой семьи несомненна; в ней так много старинной Руси, так много такого, что совершенно утрачено в семьях русских привилегированных сословий, даже в семьях духовенства. Такие дисциплинированные семьи дают людей стойких, сильных духом, дорожащих всем родным и не падких без разбора на чужеземное. Позднее я видал старообрядческие семьи и за границу, видал и югославянские семьи, также крепко дисциплинированные церковным строем, и не мог не найти между ними очень много общего. (...)

Значение современного старообрядчества для желающих изучить древнерусское церковное пение

Появление старообрядчества, или, как прежде говорили, «раскола», объяснялось разными писателями совершенно различно. Духовные писатели громили этот раскол своими обличениями, доказывая одновременно пребывание церковной правды и истины только в области так называемой «господствующей церкви». Писатели эти давно умерли; но книжки их остались и теперь поучительно наставляют нас тому, в какой мере были слабы их обличения и как были бесплодны их попытки «вразумить» старообрядцев, как были невысоки цели писания таких обличений.

Светские писатели оставляли чуть не на третьем плане религиозно-догматическую сторону раскола, ставя на первый план политическое значение раскола, толкуя его появление как огромный шаг русского просвещения, подчеркивая глубоко народные черты старообрядчества и отклонения от бытового русского склада в среде не только политической России XVII века, но и в самой «господствующей» церкви. И эти писатели давно умерли. Как всегда бывает в случаях подобных споров и взаимообличений, правда занимает золотую середину между двумя непримиримыми сторонами. Оказалось много правды и неправды с обеих сторон не только в религиозной стороне дела, но еще более в озлобленности взаимных отношений, разъединивших то, что при некоторой обоюдной дальновидности и справедливости могло бы вовсе и не враждовать между собою.

Но жестокие преследования раскола и внутренние в его жизни [...] события заставили его последователей перестрадать, продумать и выработать очень многое, стоящее не только внимания, почтения, но и тщательного изучения. Наши неизмеримые северные и сибирские леса, дающие возможность сделаться недосыгаемым для воздействий правительственной администрации, продажность и медленность нашей полиции, наша твердость духа в чем-либо нами накрепко воспринятом –

давно выработали в последователях старообрядчества не только твердое, мужественное стояние за «старину», но и благоразумный, симпатичнейший образ жизни по правилам этой «старины», совершенно отвергнувшей всякие «табели о рангах», подчинения «подлежащим властям», «последним указам» и т.п. В исключительных, и притом в очень многих, случаях так называемые «раскольники» дошли в своих отрицаниях «государственных основ» до таких пределов, что в нашем законодательстве появилось, наконец, и деление сект на «вредные» и даже «очень вредные» кому-то. Я лично не могу постигнуть такое деление сект, появившихся вследствие глубокого невежества их последователей, вследствие воспринятого от своих отцов и дедов восторженно-нервного упования на какое-нибудь облегчение от страданий, хоть в будущей жизни, от истинно жестоких преследований со всех сторон. Я лично знал немало последователей «вредных сект». Эти сектанты, все без исключения, оказались прекрасными, высоконравственными, трудящимися людьми. Кому и чем именно могли бы быть «вредными» их существование и верования – понять трудно, но в последние 50 лет, по их словам, многим из сектантов, по понятным причинам, жить стало с нашей администрацией, духовною и светскою, «много способнее». Прочитавшему известные романы Мельникова-Печерского «В лесах» и «На горах» должна быть понятна правдивость моих слов.

В истории церковного пения особенное значение следует придать тому, что древне певческое искусство первой половины XVII века до сих пор, и притом во всей полноте, сохранено у так называемых единоверцев и еще у «старообрядцев-поповцев», или «приемлющих австрийское священство». Более старое древне певческое искусство, примерно еще половины XVI века, той поры, когда еще не начиналось известное нам художественное движение, сохранилось в такой же чистоте и в поучительной, трогательной красоте у так называемых «беспоповцев». Таким образом, благодаря стойкости «раскола», мы имеем еще в настоящее время в живом изложении два рода нашего древнего певческого искусства: «переведенного на

речь», или «наречного», по редакциям, бывшим в нашей церкви при первых патриархах до патриарха Иосифа включительно, то есть пение единоверцев и русских старообрядцев «австрийского священства», и пения более древнего «раздельноречного», или «хомового», или пения «на он», сохраненного у «беспоповцев».

Пение других сект, более рационалистических, более отклонившихся от цельности «древнего благочестия», сохранилось гораздо менее. Богослужение этих сектантов непублично, проникнуть к ним на их молитвенные собрания иногда не только очень трудно, но и прямо невозможно. Здесь для историка церковного пения в России обширна и интересна только область духовных и «покаянных», «умиленных» стихов, да и то позднейшего сочинения, XVIII и даже XIX столетий.

Первые годы раскола русской церкви обставлены такими сильными и влиятельными тогда сферами, как родные царицы Марии Ильиничны Милославской, первой жены «тишайшего» царя Алексея Михайловича, бояре Морозовы со страстотерпицею из них – боярынею Феодосией, князя Голицыны, князя Хованские и многие другие.

Среди них возвышается монументально-величественная фигура протопопа Аввакума. Далее идут выгорецкие деятели, известные Андрей и Семен Денисовы, они же в миру князя Мышецкие, и уже позднейшие, менее импонирующие фигуры, но все же из высших сфер – царевича Алексея Петровича, царицы Евдокии Федоровны Лопухиной и проч. Уже эти немногие имена указывают на то, что «раскол», ставший вскоре народным движением и утвердившийся всего более в великорусском крестьянстве и купечестве, появился прежде всего в самых высших слоях русского общества...

Отрывки хранятся:

первый – в РГИА, ф. 1119, оп. 1, ед. хр. 4,

окончание – в ОР РПБ, ф. 816, оп. 3, ед. хр. 2665;

второй – в РГИА, ф. 1119, оп. 1, ед. хр. 21, без окончания

Приложение II

Н.Ф. Финдейзен

Степан Васильевич Смоленский

Биографический очерк⁴³¹

Среда, в которой вырос и воспитался С.В. Смоленский, дала прочную основу всей его будущей жизни; под ее влиянием постепенно складывалось и его мировоззрение. В своем родительском доме – в детстве, а далее, в годы учения – в кружке интеллигентных друзей и учителей своих Смоленский почерпнул ту настойчивую потребность любви – к людям, к знанию и труду, – которая вывела его из провинциальной тиши на широкий путь служения русскому искусству и русской науке. В своих воспоминаниях о родной Казани Смоленский с глубоко проникновенным чувством говорит о влиянии на него этой счастливой родительской среды. «С сущою любовью, с безграничною благодарностью поминаю я здесь моего удивительного, доброго отца, Василия Герасимовича Смоленского – рыцаря чести и свободной мысли, неумолчного заступника-секретаря по делам казанских студентов; не менее благоговейно поминаю я знаменитое имя просветителя инородцев – Николая Ивановича Ильминского, моего крестного отца и дяди по матери. Этим двум сильным умам я обязан складом всей моей жизни, направленной именно ими, вместе с руководившим меня Казанским университетом. Я вырос под гармоническим сочетанием семейных и учебных влияний, живших, в свою очередь, под впечатлениями огромных надежд, самых пылких упований, самого неудержимого служения правде и просвещению». Несомненно, с этой стороны характер Смоленского складывался под благотворным влиянием светлой эпохи 60-х годов, оправдавшей стойкое служение правде старших членов его отчего дома. Точно так же воспринятой с детства, или по наследству, оказалась другая отличительная черта характера Смоленского – непокорность и настойчивое проведение однажды решенных и выработанных взглядов на жизнь и цели своей научной деятельности. Степан Васильевич с

таким же почтительным уважением вспоминал величавую фигуру своего деда со стороны матери, С.Д. Колерова, бывшего профессора Санкт-Петербургской духовной академии, впоследствии сосланного в родной ему Кашин.⁴³² Наконец, уже в более позднюю пору жизни, серьезное влияние на будущую деятельность Смоленского имело его сближение со средой казанских беспоповцев, совпавшее с периодом его женитьбы и столь укрепившее его ревностную любовь к родной заветной старине. Родина Смоленского – старая Казань, с ее своеобразным укладом старинной провинциальной общественной жизни, вполне благоприятствовала формированию той обособленной среды, в которой выросл Степан Васильевич. Этой милой «старой Казани» он посвятил немало любопытных и живописных страниц в своих Воспоминаниях.

С.В. Смоленский родился в Казани (8 октября 1848 года; Степаном он был назван в честь своего деда Ст.Дм. Колерова), но первые годы детства протекли в Петербурге, где отец его служил в университете.⁴³³ После отставки В.Г. Смоленского, в 1855 году, семья Василия Герасимовича переехала в родную Казань; здесь он получил место сначала у местного архиерея, затем смотрителя Казанского училища для девиц духовного звания и, наконец, место секретаря правления Казанского университета. В Казани же протекли детство, юность и первый период самостоятельной деятельности старшего сына В.Г. Смоленского – будущего музыкального ученого.

Минуем воспоминания Степана Васильевича о его школьной поре; мы занесем попутно в наш краткий очерк лишь несколько отрывочных фактов, наиболее характерных для его биографии. Достаточно указать здесь на солидность и постепенность его общего образования. Первое обучение он получил в Kirchenschule при Евангелической церкви (1855–1858), затем поступил во Вторую казанскую гимназию (1858–1863), оттуда перешел в Первую гимназию (1863–1867) и, наконец, окончил Казанский университет по юридическому факультету (1867–1872). Не ограничиваясь дипломом юриста, доставившим ему место в казанском Окружном суде и Судебной

палате (здесь он прослужил 3 года), Степан Васильевич в 1875 году выдержал еще экзамен по филологическому факультету. Судебная карьера оказалась противной его непокорному нраву, и он с более свободным сердцем посвятил себя педагогической деятельности в качестве преподавателя Казанской учительской семинарии.

За этими голыми хронологическими датами кроется молодая, мятежная натура, которая не мирится с будничным отбыванием школьной и служебной повинностей, но пытливо озирается вокруг и собирает богатый запас наблюдений и знания для будущего опыта и слепки собственной, столь же мало будничной, наступающей самостоятельной деятельности. Подводя на склоне лет итоги впечатлениям юности, Степан Васильевич так определял то доброе и дурное, что он мог вынести из своего гимназического периода. Первое – от доброго в самом своем содержании, от научных познаний, от нравоучительно-доброго и умного отношения старших и от «доброго товарищества». Дурное – от казенного ведения дела, от большой программы гимназического учения, от бессердечного чиновничьего отношения многих учителей, наконец от влияния дурного товарищества. Рассказывая о проводившихся публично экзекуциях (мимо гимназии часто возили преступников на высоких черных телегах «под надрывающий душу барабанный бой»; сзади шел палач с плетью), Степан Васильевич пишет: «На каждую такую казнь, в большую перемену, бегала чуть не половина гимназии. Я ни разу не видал исполнения казни, так как жестокий нервный припадок с одним товарищем-малышом, возвратившимся с Сенной, испугал меня, а узнавший о том отец мой взял с меня слово никогда не ходить на такие зрелища. Впрочем, в миниатюре проделывалось у нас в гимназии то же самое». Такое истинно злое начало в учебной жизни могло бы лечь тяжелым бременем на вырабатывавшийся характер молодого Смоленского, если бы на страже его человеколюбивых инстинктов не стояли его отец и крестный Н.И. Ильминский. То, чего не могла дать гимназия, дала отеческая среда. Горячие порывы молодости сталкивались с бессилием и

невозможностью разобраться в них. Гимназия – в то время, как, увы, пожалуй, еще более в наши дни – оставляла юношество одинаково неподготовленным и к науке, и к жизни, даже и к службе. Недостаточный уровень развития гимназистов сказался на поверхностном знакомстве даже с крупными творцами русской литературы, Пушкиным и Гоголем, не говоря уже об отечественной истории. В своем докладе «О реформе в предметных планах народного образования в русских школах» (1907) Смоленский высказал немало наболевших и узанных на опыте истин. Немудрено, что в свое время, в дни юности, недостаток школьного образования возмещался увлечением обличительной литературой и страстным поклонением Щедрина, Писареву, Некрасову и др. Но это литературное самообразование шло вразброд, бессистемно, а главное, вразрез тому, что проповедовалось со школьной кафедры. Гораздо более светлые воспоминания сохранил Степан Васильевич о своем университетском периоде. Бодрая «новь» освободительной александровской эпохи обновила и Казанский университет. «В мои студенческие годы, – читаем мы в Воспоминаниях Смоленского, – моя «mater» была именно «alma». Такова эта «mater» в моем сердце до сих пор, и с этой любовью и почтительной благодарностью лягу в могилу. Университету я обязан более всего развитием во мне чувства широкой терпимости и уважения ко всему существующему – преходящему, как подчиненному законам высшим, управляющим судьбами скрытого в нас стремления к самоуглублению...».

Познакомимся теперь с теми фактами поры детства и юности, которые вырисовывают нам **музыкальную сторону** биографии Смоленского. Здесь, на первых шагах, мы сталкиваемся с впечатлениями народно-песенного и духовного мира, то есть с той областью, которая навсегда осталась наиболее милой и близкой Степану Васильевичу. Вот отрывок из тех же воспоминаний о старой Казани:

«По окраинам города весною водились многочисленные и многолюдные хороводы. Казань была очень певуча вообще; песни пелись втихомолку у многих ворот почти каждый вечер;

свадьбы сопровождалась сполна всем циклом песен, красота которых была прямо поразительна». Точно так же твердо запечатлелся в памяти Смоленского казанский «колокольный звон». «У меня была устроена на чердаке своя колоколья из цветочных банок и глиняных корчаг, – рассказывает С.В. в своем прекрасном очерке «О колокольном звоне в России», – и я практиковался дома в звонарном искусстве очень усердно. Я умел уже по-своему воспроизводиться «встречный» и «проездной» архиерейские звоны, теперь неупотребительные. Мой братишка скакал верхом на палке по условленным дорожкам нашего сада. Он изображал либо приезжавшего к нам, либо проезжавшего вдали, но мимо нас, казанского архиерея. Руководясь таким архиереем, я приветствовал его появление своими горшками, но, конечно, со всеми узорами «встречного звона»".

Все складывал в своей памяти пытливый мальчик: и народную песню, в то время еще не испорченную влиянием фабрики, и церковные песнопения, слышанные им в раннем детстве в Придворной капелле в Петербурге, а затем от архиерейских певчих в Казани; прошел он и своеобразную школу колокольного звона у самородка-звонаря Покровской церкви в Казани, благодушнейшего, но искуснейшего «Семена Семеныча». Из этих детских и юношеских впечатлений, накапливаясь, вырастал впоследствии любопытнейший, ни с чем не сравнимый материал для его будущих исследований. Покуда же важнее всего то, что музыкальное чувство Смоленского **воспитывалось** на своеобразной мелодике, на гармоническом и ритмическом строении **народного** творчества, совершенно исключительным знатоком которого Смоленский и проявил себя впоследствии. Достаточно познакомиться в этом отношении хотя бы с упомянутым здесь очерком о колокольном звоне.

Параллельно с музыкальными восприятиями в церкви и народе шла постепенная музыкальная подготовка Степана Васильевича и дома. И в этом отношении значение музыкальной домашней и знакомой среды было также благоприятное. Музыка была здесь настолько серьезным

фактором в деле воспитания и образования, что впоследствии, по предложению известного просветителя инородцев Н.И. Ильминского – дяди и крестного отца Степана Васильевича, последний написал несколько обиходных партитур для инородцев Казанского округа. Близкое знакомство Смоленских с чрезвычайно образованным Леонидом Федоровичем Львовым, имевшим свой домашний квартет, имело настолько благотворное влияние на Степана Васильевича, что он посвятил Львову, своему «доброму и многолюбимому учителю» свой первый крупный труд «Курс хорового пения». Наконец, здесь еще следует упомянуть о тогдашней казанской опере, о которой С.В. в своих Воспоминаниях признается, что «русская опера была в свое время так хороша и так энергична в своей предприимчивости, что ставила казанскую сцену, после столичных, прямо в первый ряд русских сцен». А меломаном Степан Васильевич был из впечатлительнейших.

Первой учительницей музыки Смоленского была «тетя Катя» (Екатерина Степановна Ильминская); благодаря занятиям с ней он скоро познакомился с фортепианной литературой, операми «Норма», «Лукреция Борджиа» и др. Вслед за тем Степан Васильевич принялся также за скрипку; первым учителем его здесь был местный скрипач Мукк, а затем просвещенный Львов. Одновременно Степан Васильевич с удовольствием заслушивался органной музыкой, благодаря знакомству со старым пастором Пундани. Фортепиано (юношей С.В. немало «таперствовал» на домашних собраниях), скрипка, орган могли только развивать пробуждающиеся музыкальные способности юноши. Мы знаем, что в университете он дирижировал студенческим хором, неоднократно выступая с ним в концертах; участвовал Смоленский нередко впоследствии, в качестве скрипача, и в любительском оркестре под управлением Клеффеля, в публичных концертах. Одной из первых собственных композиций его оказалась скрипичная фантазия, вернее вариации на тему «Вот мчится тройка удалая» (1871). Наконец, в качестве преподавателя Казанской семинарии Смоленский не только организовал там вполне образцовый хор, но и выступил, почти одновременно, педагогом

и композитором, составив, кроме упомянутых раньше обиходных партитур, обширный «Курс хорового пения», первый и солиднейший труд, которым Смоленский сразу же завоевал себе имя в музыкально-педагогической литературе.

Первый и наиболее продолжительный период общественной деятельности Смоленского принадлежит также его родной Казани. В 1872–1875 годах молодой кандидат прав занимал судебную должность. В его автобиографии, несомненно, занесено немало любопытных фактов об этом трехлетии, в течение которого, между прочим, Степан Васильевич явился сотрудником А.Ф. Кони, вводившего в то время в Казани судебную реформу. Мы уже знаем, однако, что служба в суде не удовлетворила Смоленского: сдав экзамен по филологическому факультету, он перешел преподавателем в семинарию, в которой и остался (1875–1889) вплоть до приглашения на пост директора Синодального училища церковного пения в Москве.

Параллельно со служебной и педагогической деятельностью Смоленский принимается в 1872 году за изучение основ старинного русского церковного пения. В этом отношении он нашел серьезную поддержку в знакомстве и сближении с двумя выдающимися личностями: прот. Д.В. Разумовским и С.А. Рачинским. Оба они, в особенности Рачинский, сыграли крупную роль в жизни Смоленского. Одной из причин изучения Смоленским старинного церковного пения было сближение с местными старообрядцами, а потом также знакомство и разбор нотных рукописей известной обширной Соловецкой библиотеки, находящейся в Казанской духовной академии. Не забудем также, что незадолго до этого в печати появился исключительный для своего времени труд ученого прот. Д.В. Разумовского «Церковное пение в России» (три выпуска – Москва, 1867–1869), впервые давший более или менее ясное и обстоятельное толкование нашей древней крюковой нотации. В лице Смоленского прот. Разумовский нашел себе совершенно исключительного по дарованию и трудолюбию единомышленника и последователя. В 1875 году они познакомились, вероятно, в одну из поездок Смоленского в

Москву. В краткой речи, написанной ко дню номинальной трапезы через год после кончины Разумовского (2 января 1889 года), Смоленский с благодарностью вспоминает «отечески ласковое внимание» достойного протоиерея к его научным трудам. Сближение их ограничилось все-таки исключительно обсуждением научных вопросов.

Совершенно иной характер и значение для Смоленского имело знакомство, вскоре перешедшее в дружескую связь, с просвещенным педагогом С.А. Рачинским. Несомненно, Рачинский узнал и полюбил Смоленского сначала как педагога, старательно выбивавшегося из обычной учебной колеи – таким же был и чудесный татевский «сельский учитель». Затем, знакомясь все более с расширявшимся горизонтом ученого-исследователя не менее любезного Рачинскому церковного пения, последний в этой области стал крепким единомышленником и пособником Смоленского. Поездки Степана Васильевича в Татев, свидания и беседы там с Рачинским были истинными «праздниками души» для обоих корреспондентов. После первого такого личного свидания (июль-август 1886) Рачинский писал Смоленскому через три дня после его отъезда из Татева: «Все мы ежечасно вспоминаем о вас с благодарностью и любовью. И в школе, и в большом доме вы оставили пустоту, словно век жили с нами». Здесь кстати упомянуть, что Степан Васильевич написал для татевской церкви «Обедню», которая затем (в 1893-м), по желанию К.П. Победоносцева, была напечатана (вместе с предисловием Рачинского) в «Церковных ведомостях».

Добросердечный татевский педагог нередко являлся руководителем и заступником Степана Васильевича в его дальнейшей служебно-педагогической карьере. Несомненно, он оказался и благодетельным связующим звеном между последним и всесильным К.П. Победоносцевым, по протекции которого Смоленский получил субсидию на издание «Азбуки» Мезенца, а впоследствии и директорский пост в Синодальном училище в Москве. Памятником этих дружеских сношений осталась обширная переписка между Рачинским и Смоленским; на нее мне придется в дальнейшем ссылаться.

При такой дружеской поддержке нескольких выдающихся личностей (Н.И. Ильминский и Л.Ф. Львов – в Казани, С.А. Рачинский и Д.В. Разумовский – в Москве) Степан Васильевич из скромного преподавателя учительской семинарии скоро стал вырастать в выдающегося русского педагога и ученого. Его известность в качестве педагога-практика и писателя мало-помалу стала устанавливаться и за пределами родного города. Неоднократно приглашали Смоленского в Петербург для участия в разных комиссиях, созывавшихся министерством народного просвещения и Св. Синодом, как, например, (в 1880-м), в комиссиях по изданию церковно-певческих книг и по обсуждению программ школьного пения. Одновременно он выступает по этим же вопросам и в печати. Его статьи печатаются в журнале «Семья и школа» (заметка об обучении пению в учительских семинариях и народных хорах, 1881), в «Церковных ведомостях» («По поводу предполагаемого преобразования программы преподавания уроков пения в духовных семинариях и училищах», 1886), а также в официальных циркулярах Казанского учебного округа. Свои взгляды на метод преподавания пения Смоленский практически приложил в своем крупном и популярном труде «Курс хорового пения», первое литографированное издание которого вышло в 1885 году, а затем в 1888–1904 годах вышли еще пять повторных, во многом дополненных изданий. Две особенности отличают этого обширный и обстоятельный труд. Ссылаясь на практику инородческих школ Казанского края и свой личный 15-летний опыт, автор «Курса» нашел наиболее практичным употребить цифирную нотацию для начального обучения русскому церковному пению (светское – исключено из «Курса»). Если справедливость утверждения, будто цифирная нотация наиболее практична и пригодна хотя бы только для начального обучения нотной грамоте, оспаривалась некоторыми критиками – все-таки всякий обучившийся пению в дальнейшем должен переучиться для уразумения обычной пятилинейной нотации, в которой изложена вся музыкальная литература, – то другая особенность «Курса» заслуживала глубокого внимания и подражания: именно – его требование хорового исполнения не

по отдельным голосовым партиям, а по партитуре. Несомненно, это требование вызывает более сознательное отношение поющего к исполняемому произведению. «Изучение главных оснований гармонии и ясных пониманий самых простых музыкальных построений, – говорит Смоленский в начале своего «Курса», – дает возможность учащимся хоровому пению не только сознательно изучать музыкальные произведения, но и получать истинно художественное наслаждение. Без знания начал гармонии хоровые исполнители успевают ознакомиться обыкновенно каждый только со своей партией, запоминая вскользь партии других голосов; наслаждение таких исполнителей вызывается лишь слуховыми ощущениями, а не полным сознанием красоты формы и содержанием исполняемого произведения; они не могут точно судить о достоинстве музыкального сочинения как в целом, так и в частностях». Все это устраняется прохождением курса начальной певческой грамоты и исполнением по партитуре. Мы знаем, что Смоленский постоянно и с неизменным успехом проводил свой принцип и в дальнейшей своей деятельности, в бытность директором Синодального училища и Придворной капеллы.

Изданием во многом образцового «Курса хорового пения» Степан Васильевич как бы решил первую из основных задач своего назначения: прийти на помощь любимому им с детства делу хорового церковного пения, то есть дать художественно образованного и подготовленного церковного певчего. В дальнейшем он мог только практически наблюдать (а где нужно, дополнять и совершенствовать свою систему) за проведением ее в жизнь. Он более не возвращался к ней в своих музыкально-литературных трудах. Другая, не менее важная и любимая им задача была – выяснение исторически верных основ самого круга церковных песнопений, переданных русскому народу по наследству седой стариной. И этой задаче он теперь мог со спокойной совестью посвятить свой досуг. Отныне жизнь Смоленского делится почти равномерно между практикой – преподаванием, а затем и административной

деятельностью, и научными изысканиями в области старинного православного церковного пения.

Мы уже знаем, что с первых шагов своей самостоятельной деятельности Смоленский занялся изучением памятников нашего древнего музыкального искусства. Этому способствовали также многие обстоятельства, указанные выше: сближение со своеобразным миром старообрядцев, составлявших коренное население Казанского (Поволжского) края, – сближение, ставшее особенно заметным и благоприятным со времени женитьбы его в 1882 году на Анне Ильиничне Альсон, долгое время жившей, вместе с матерью своею, в доме купцов Фоминых, «самых закоренелых главарей беспоповщицкой секты в Казани», как рассказывал Смоленский; богатая Соловецкая библиотека «певчих рукописей» и любовное сочувствие в деле изучения церковно-певческой старины, встреченное Смоленским со стороны авторитетного московского прот. Д.В. Разумовского, а затем и С.А. Рачинского. Все эти обстоятельства не могли не подкреплять Степана Васильевича в его неустанных серьезных трудах в данной области.

Почти одновременно с изданием «Курса хорового пения» он подготавливает к печати два новых капитальных труда: каталог Соловецкой библиотеки и издание «Азбуки знаменного пения Александра Мезенца». Судьба этих трудов весьма любопытна. Уже в 1885 году было закончено Смоленским «Описание знаменных нотных рукописей церковного пения, находящихся в Соловецкой библиотеке Казанской духовной академии», заключающее «руководящий и критический указатель содержания» 152-х нотных рукописей. Это была первая крупная научная работа Смоленского, но она и до сих пор осталась неизданной, несмотря на все хлопоты автора и желание видеть ее напечатанной! Рукопись ее сохранилась в бумагах Смоленского; на титуле ее имеется даже разрешение к напечатанию духовной цензуры (помечено 8 октября 1885 года). Тогда же в надежде, что найдутся средства для напечатания этого важного для музыкальных исследователей каталога, автор приступил даже к литографированию наиболее любопытных и ценных образцов – снимков с рукописей Соловецкой библиотеки

(у меня имеется оттиск такого «приложения» к описанию, без титула, 152+IV страницы, печатанные в литографии Данилова в Казани); но это оказалось преждевременным. Через 20 лет Смоленский возобновил свое ходатайство перед Казанской духовной академией об издании «Описания» на счет последней, но представление Совета Академии, отнесшегося, по-видимому, благоприятно к предложению Смоленского, об ассигновании 2.500 рублей на это издание было отклонено. К сожалению, и в настоящее время трудно предсказать судьбу этого ценного каталога Смоленского.

Вместо него мы имеем только небольшой «Общий очерк исторического и музыкального значения певчих рукописей Соловецкой библиотеки и «Азбуки певчей» Александра Мезенца», напечатанный в 1887 году одновременно с другой подобной же работой – «Краткое описание древнего (XII- XIII вв.) знаменного Ирмолога». Обе эти статьи должны были служить как бы предвестниками указанных раньше двух крупных трудов Смоленского. Более самостоятельное значение имеет вторая из них, в которой автор дал научное исследование любопытного древнего Ирмолога, принадлежащего Воскресенскому монастырю, с объяснением знамен и 34-ю снимками.

Через год после этих первых этюдов из области древнерусского церковного пения в печати появляется «Азбука знаменного пения старца Александра Мезенца» (1668 года); этот замечательный труд доставил Смоленскому известность и укрепил за ним авторитет в этой области, а также во многом повлиял на его дальнейшую служебную карьеру. Издание и исследование трактата Мезенца в литературе по истории русской музыки имеет столь же крупное значение, как и «Церковное пение в России» прот. Д.В. Разумовского. Помимо точной перепечатки интересного старинного учебника церковного пения по крюковой нотации, Смоленский дал весьма тщательное разъяснение этой нотации, тщательно объяснил ее основу и сделал доступным ее понимание. Не менее важное значение имеет особое приложение на 14-ти листах, в котором представлено постепенное развитие крюкового нотного письма

и церковных напевов – с XII века до нашего времени. Для этого Смоленский совершил сложную и кропотливую работу, расположив в семи последовательных таблицах тексты и напевы по рукописям: 1) XII-XIII веков, 2) конца XV века, 3) филаретовского текста, 4) иосифовского текста, 5) азбуки Мезенца (XVII век), 6) перевод строк Мезенца и 7) позднейшего Синодального Ирмология.

Трактат Смоленского был удостоен Макариевской премии. Самый труд был им посвящен С.А. Рачинскому с тем большим основанием, что последний в это время стал принимать более близко к сердцу все касавшееся деятельности Смоленского. Из переписки Рачинского со Степаном Васильевичем мы знаем, что Сергей Александрович еще в конце 1886 года хлопотал лично у К.П. Победоносцева о средствах для издания двух крупных научно-археологических трудов Смоленского; в конце концов последнему удалось получить субсидию лишь для издания «Азбуки» Мезенца. Письма обоих друзей именно за этот период освещают нам биографические мотивы деятельности Смоленского. Незадолго до окончания издания Мезенца Рачинский, известясь о посвящении ему этого труда, писал (17 марта 1888 года): «Вы оказали мне незаслуженную честь; вы доставили мне неожиданное удовольствие, связав мое имя с трудом, судьбами коего я так глубоко заинтересован. Странное стечение обстоятельств! Имя человека, не имеющего ни малейших музыкальных заслуг, перейдет к потомству благодаря вниманию к нему музыкантов. Лист написал хор на слова моего сочинения, Чайковский посвятил мне свой первый квартет, вы посвящаете мне книгу, которая составит эпоху в истории нашего музыкального самосознания! Очень, очень рад я также тому, что вы решились представить вашу книгу на соискание премии, и не сомневаюсь, что вы ее получите».

Благополучное завершение выдающегося труда тем самым вызвало у Смоленского подъем к дальнейшей деятельности. Из переписки его с татевским отшельником мы знаем о новых широких замыслах Степана Васильевича. «Одно из ваших пожеланий, – пишет Сергей Александрович в августе 1888 года, – издание круга богослужебного пения в подлинной, знаменной

нотации – осуществимо⁴³⁴; другое (учреждение при Казанской академии кафедры истории и теории церковного пения) несбыточно – по взглядам на это дело лиц, власть имущих». Вскоре затем переписка оживилась благодаря участию, принятому Смоленским в обсуждении программы преподавания церковного пения в духовных семинариях, составленной одним, ныне покойным, известным петербургским педагогом [С.И. Миропольским]. «Нет сомнения, – пишет Рачинский в октябре 1888 года, – что К.П. [Победоносцев] прочтет с интересом и вниманием все, что бы вы ни сообщили ему по вопросу о программе преподавания пения в духовных учебных заведениях, но затем, весьма вероятно, что влияние М. пересилит ваше, ибо М. умен и ловок и находится на месте. Признаюсь вам, что особенной важности такому исходу дела не придаю. Программы эти не исполняются... Не программами может быть изменен и улучшен характер пения в наших духовных учебных заведениях, а следующими мерами: 1) изданием пригодных учебников (это в ваших руках); 2) учреждением рассадника учителей, способных пользоваться этими учебниками... Как это устроить, в моей глуши, конечно, придумать невозможно. Невольно приходят на мысль Москва, Шишков⁴³⁵, Синодальный хор...».

Насколько Рачинский оказался прозорливым и в этом случае, показывает одно из его следующих писем (начало января 1889 года, вскоре после личного свидания обоих корреспондентов в Татеве, где Смоленский провел рождественские праздники и где, очевидно, были разговоры о его дальнейшей судьбе). «С радостным волнением прочел я оба ваши письма, – писал Рачинский. – Итак, вы имеете выбор между двумя положениями, равно отвечающими вашим вкусам и талантам, – и от вас зависит занять оба зараз... Принимайте предложение Шишкова. Я убежден, что это не помешает вам в то же время читать лекции в консерватории...». К этому можно еще добавить следующую записку К.П. Победоносцева, адресованную (12 января 1889 года) тому же Рачинскому и пересланную последним Смоленскому: «Вчера получил я подробное письмо от Смоленского из Москвы от 10 января. Еще

раз повторяю, что поступление к нам Смоленского считал бы важным и единственным в своем роде приобретением...». Мы видим, что судьба Степана Васильевича изменялась коренным образом: перед ним открывалась деятельность в столице, на видном и ответственном административно-художественном посту. Казанский период был закончен.

Будущая подробная биография, а еще того более – Дневники и Воспоминания С.В. Смоленского откроют нам причины того «неудержимо возмущившегося чувства», которые заставили его искать разрыва со старой родной Казанью. Впоследствии эти чувства мало-помалу угасли, и Степан Васильевич вернул родному городу прежнюю благодарную признательность. Часто в дни отдыха или вакационное время он навещал Казань и, как мы знаем, незадолго до кончины посвятил ей немало страниц своих Воспоминаний. Здесь следует еще указать на один факт, любопытный для биографии Смоленского: каждая более или менее решительная перемена в его жизни и деятельности сопровождалась переживаниями того же «неудержимо возмущавшегося чувства». С таким именно чувством впоследствии расставался Смоленский и с Синодальным училищем в Москве, и с Придворной капеллой в Петербурге...

С осени 1889 года после вторичного приглашения (первое, в 1886 году, он отклонил, о чем впоследствии весьма сожалел) Степан Васильевич занял место директора Синодального училища церковного пения и одновременно получил кафедру истории церковного пения в Московской консерватории. Здесь он занял место незадолго перед тем скончавшегося профессора прот. Д.В. Разумовского, по указанию и рекомендации последнего. Синодальное училище Степан Васильевич застал в степени полной распушенности. Все, чем гордится в настоящее время это учреждение, чем оно продолжало работать в течение целого десятилетия после ухода из него Смоленского, оно едва ли не всецело было обязано ему.

С какой бы стороны ни подойти к деятельности Синодального училища за период 1889–1901 годов (время директорства Смоленского), в каждой можно видеть его умную,

серьезную и дальновидную инициативу, его любовное неустанное и упорное проведение в жизнь своих заветных, давно обдуманых и решенных планов. Степан Васильевич был одинаково стойкий и убежденный строитель жизни, как и верующий в свое призвание художник и ученый. Несмотря на кажущиеся колебания и выжидательность, он решительно и твердо шел к раз намеченной цели. Таковым может быть только человек внутреннего убеждения, твердой воли, не уклоняющийся от бури, но идущий ей навстречу и лишь в редких случаях, когда для спасения налаженных начинаний требуется молчаливое и осторожное выжидание, соглашающийся на дипломатические обходы и компромиссы...

Крупная созидательная работа Смоленского в Синодальном училище дала столь же серьезные результаты. Из дезорганизованного церковного хора, растерявшего при последних директорах-регентах свои старые «патриаршие» традиции, московский Синодальный хор постепенно, при директоре Смоленском и талантливом регенте В.С. Орлове, сформировался в первоклассный художественный ансамбль. Его ежегодные духовные концерты (во главе их нужно поставить превосходные по замыслу и исполнению Исторические концерты 1895 года), выступления в Петербурге, во время коронации в Москве в 1896 году, а также в Вене (1899), где концерт хора прошел с торжественным успехом, показали, какой исключительной художественной высоты достигло исполнение Синодального хора в период директорства Смоленского. То же случилось и с Синодальным училищем за это время: из заурядной певческой школы с 4-годовалым курсом оно превратилось в серьезный музыкально-педагогический институт с 9-классным курсом, во многом сравнявшимся по объему с консерваторским. Одновременно с училищным хором (нередко исполнявшим под видом сольфеджирования произведения Баха, Палестрины, Орландо Лассо и других гениальных мастеров) Смоленский создал и ученический оркестр. Подбор преподавателей был тщательный и серьезный; Смоленский умел находить себе деятельных и даровитых помощников. Такой внутренней организации отвечало и изменившееся

положение училища, получившего новый высочайше утвержденный устав (1892), новые штаты и перешедшего в новое обширное помещение (рядом с Московской консерваторией). Венцом этой редкостной по энергии и трудолюбию созидательной работы явилось устройство богатейшей **библиотеки певческих рукописей**. Она собиралась Степаном Васильевичем в течение ряда лет на его личный страх и риск: он не имел на это официального поручения и не получал, вместе с тем, никаких субсидий. Сколько было потрачено им труда, времени, материальных средств на библиотеку, видно из обширности этого исключительного по значению и богатству рукописного собрания, а также из того, что эти памятники музыкальной старины приходилось разыскивать и добывать (а иногда даже прямо-таки отбирать, пуская в ход хитроумную дипломатию!) не столько в Москве, сколько в провинциальных монастырях, храмах и молельнях; приходилось разыскивать их даже за границей. Надежную поддержку в этом деле находил Смоленский и в своем друге-защитнике Рачинском. «Желаю вам ограбить местные библиотеки, в коих музыкальные богатства, конечно, лежат втуне», – писал Рачинский во время поездки Смоленского к Балтийскому морю летом 1895 года. «Напрасно вы вините себя в том, что обираете разные монастыри и архиерейские дома, – читаем мы в другом письме Рачинского. – Это единственное средство для спасения от гибели уцелевших нотных сокровищ». Любопытно, что, при посредстве Рачинского, Смоленский хлопотал даже о переводе в Москву нотной части известной Соловецкой библиотеки в Казани, но, несмотря на полное сочувствие своего татевского друга, неудачно.

С какой любовью шло дело собирания этих бесценных памятников нашей музыкальной старины и какое значение имеют последние, показывают письма самого Смоленского. В марте 1898 года он писал мне, между прочим: «Вообразите, что я достал из Ярославля не более как 12-хорную (48-голосную) обедню и к ней 2 концерта конца XVII или начала XVIII [века]. Вот каковы были русаки-то!». Через два месяца, ввиду обещанного им «предварительного оповещения»,

предназначавшегося для «Русской музыкальной газеты», Смоленский писал: «В благодарность вам я усердно выписываю надобное о библиотеке рукописей, хотя и медленно, но верно работаю для этой статьи. Например, чтобы уверить всех о пределах концертной литературы прошлого времени, пришлось просидеть чуть не неделю. Зато теперь спокойно записал в статью, что 12-голосных композиций конца XVII и начала XVIII имеются 31 «Служба Божия» и 514 концертов. Но ощущаю и великую пользу от статьи, так как добираюсь до всего основательно и пишу не с ученой только целью, но именно с публицистическою – с целью окрестить нового найденныша и, не отдавая его на смерть в Воспитательный дом, найти и заинтересовать умных и добрых людей. Моя любовь к найденному заставляет меня с любовью писать о нем, а то, несомненно, будет почувствовано и читателями...». Наконец, вот еще одна выписка из июльского письма того же года: «Недавно я устроил сам себе юбилей: в библиотечный каталог древних рукописей вписан № 1000 и потом, весьма довольный собой, пошел погулять по Тверскому бульвару. Ой! Трудна была эта первая тысяча! Зато и насладился же я за нею, лишь перекладывая рукописи. Боже мой, что за бездонная масса материалов будущим работникам, и музыкантам, и филологам!».

Этот богатырь – «найденныш», как называл свою библиотеку Смоленский, был им официально окрещен в превосходной статье «О собрании русских древнепевческих рукописей в Московском Синодальном училище церковного пения», выяснившей историческое и художественное значение созданного Смоленским музыкального древнехранилища. Во второе или третье мое «московское свидание» со Степаном Васильевичем (1898) я уже нашел его любимое детище в особом помещении, под каменными сводами, расположенное в шкафах и витринах. В России появилась **первая** музыкальная (рукописная) библиотека.

Но и этим не ограничилась деятельность Смоленского – художественного строителя в Москве. Он сумел возбудить интерес к духовномузыкальному творчеству не только своих

ближайших и даровитейших помощников и учеников (Кастальского, П. Чеснокова и др.), но и многих московских композиторов. Н. Соловьев в своем очерке, посвященном деятельности Смоленского, справедливо замечает: «Несомненно не без следа влияния идей С.В. Смоленского возникли все новейшие духовно-музыкальные произведения, представляющие их себя художественную разработку древних напевов в началах своеобразной народной музыки».⁴³⁶ В этом отношении любопытным и показательным является следующий отрывок из письма Степана Васильевича ко мне (24 февраля 1898 года): «Скоро у нас будет концерт – дебют многих композиторов, в том числе и мой; ставлю вновь написанные вещи Корещенко, Ипполитова-Иванова, Чеснокова, Кастальского, Ильинского и Гречанинова. Я перемутил здесь всех москвичей, способных писать партитуру, – написали разные вещи...».

Вся эта бодрая, кипучая работа не мешала Степану Васильевичу посвящать свой досуг литературным занятиям. С 1897 года завязываются весьма близкие и дружеские сношения с редакцией «Русской музыкальной газеты», в которой он с тех пор ежегодно стал печатать свои новые статьи; первая из них, посвященная «Памяти Александра Александровича Эрарского» – преждевременно погибшего талантливого устроителя и дирижера «детского оркестра» при Синодальном училище, – появилась в декабрьском выпуске «Русской музыкальной газеты» за 1897 год; крупнейшей работой за этот период была указанная раньше статья «О собрании русских древнепевческих рукописей» 1899 года. Кроме содержательного «Обзора исторических концертов» 1895 года, вышедшего отдельной брошюрой, по поводу упомянутых раньше концертов Синодального училища, Смоленский напечатал ряд статей в разных изданиях. Из них следует упомянуть, во-первых, статью «О русском церковном пении», явившуюся официальным ответом на запрос протопсалта церкви св. Фотинии в Смирне, Миссаеля Миссаелидеса, об основаниях русской церковной музыки и отношениях ее к древнегреческой. В данном случае любопытен не столько самый ответ Смоленского на «каверзный

запрос» со стороны греков (Смоленский излагает давно уже сложившийся у него взгляд на этот предмет: «Мы действительно получили через византийцев теоретические основания нашего церковного пения и сохранили их в точности до сих пор; может быть, мы получили и значительное число напевов, но развили их сами и усовершенствовали мелодическое содержание этого пения и его письменное изложение вполне независимо от византийцев, только своими силами»), сколько факт признания авторитета Смоленского Синодом и приглашения его быть «официальным ответчиком»; как известно запрос М. Миссаелидеса был получен через посредство Смирнского митрополита, а ответ Смоленского опубликован в «Церковных ведомостях» (1893). Другая любопытная статья Смоленского касалась оздоровления программ духовных концертов в Москве («Московские ведомости», 1900). Несомненно, она была вызвана той же реформаторской деятельностью Синодального училища и откликом на призыв Смоленского к московским композиторам. Если для последних нужно было очистить место в засоренных программах духовных концертов, то, с другой стороны, надо было и пристыдить регентов, дремавших в своей дилетантской тиши. Вот почему Смоленский и решил выступить с обличительным фельетоном, в котором заявлял:

«Крепко засели в наших ушах и сильно привычны нашему богомольному чувству многие никуда не годные сочинения всяких неучей, ежедневно распеваемые в угоду «любителям» совсем особого сорта.

Недавно пишущий эти строки, возмущенный до глубины души исполнением неприличных храму сочинений Багрецова и Васильева, дал себе труд терпеливо прочитать ряд самых излюбленных и употребительных сочинений Багрецова, Алабушева, Строкина, Скворцова, Козырева, Турчанинова (не протоиерея П.И.), Велеумова, Побединского, Васильева, Урусова, Иванова и др., наполнивших наши храмы самым нетерпимым пустомыслием, криком и неграмотностью. Когда эта огромная порция увеличилась еще прочтением сочинений (излюбленных же) всяких Сарти, Галуппи, Сапиенцы, Веделя,

Маурера, псевдо-Гайдна, псевдо-Моцарта, Виктора, Есаулова, Дегтярева, Моригеровского, Старорусского, также композициями вроде «Ныне отпускаеши» (для тенора с хором), или со столь дикими названиями, как «Херувимская – лодочка», «Отче наш – птичка», «Тебе поем – с чердака» и проч., – то стало на душе как-то страшно и жалко.

Пришла в голову мысль: неужели так безнадежна к оздоровлению и развитию наша удивительная способность к хоровому пению, очутившаяся в руках регентов, еще доныне увлекающихся таким вздором для русского слуха и, что еще хуже, так увлекающих и других, жаждущих света и молитвы? Неужели нет возможности, хотя бы постепенно, свести на нет всю эту недостойную храма литературу и заменишь ее печальное господство постепенным же наслаждением лучших новых образцов нашего творчества?».

Выступая, вместе с тем, защитником в области русского духовно-музыкального творчества нового направления, «имеющего быть надолго руководительным для гармонизации и для разработки древних напевов», Смоленский убеждал регентов «бросить никуда не годное и отжившее», приглашая их в то же время к энергичной работе в деле «возвращения домой» в области нашего церковного искусства, «столь ярко и искренно обновляющегося с легкой руки Чайковского».

Однако именно эта сторона деятельности Смоленского и стала вызывать нарекания на директора Синодального училища. Оздоровление программ церковных концертов, возбуждение вопроса о новом направлении в области духовно-музыкального творчества и осуждение отживавшей, но милой сердцу большинства невзыскательной приходской публики старой литературы – все это прибавляло и накапливало неудовольствия против Смоленского. Конечно, к этому прибавились и иные мотивы, чисто домашнего, служебного характера. Замечательно, что параллельно возвышавшемуся значению Смоленского в области церковного пения – значению, признававшемуся даже в наиболее высоких сферах, – так же постепенно вырастала волна недовольства им, с одной стороны, и бурного протеста, с другой. Иногда, правда, эта

волна, под влиянием «благоприятных ветров и течений», на время замирала и стихала, но взаимное недовольство директора Синодального училища и его непосредственного начальства, начавшееся после первых мирных лет совместной работы над устройством училища, рано или поздно должно было кончиться устранением стороны подчиненной в иерархическом смысле. В одном из писем Рачинского 1897 года, вызванном присылкой духовной композиции молодого московского автора – ученика Смоленского, Сергей Александрович, указывая на нецерковность стиля этого произведения, прибавляет: «Начинаю понимать недоумения, возбуждаемые деятельностью вашего училища. И будут они продолжаться до тех пор, пока не будет достигнута цель этих упражнений, пока ваши композиторы не дадут нам вещей, могущих служить к украшению нашего богослужебного пения. **Вы, на свой риск, расширили задачи вашего училища:** оправдать вас может только успех. В ожидании такового таите, по возможности, ведущие к нему ступени». Это письмо показывает, что недовольство просветительной и реформаторской деятельностью училища проникло уже в более широкие круги общества. Правда, на него Смоленский отвечал высокой постановкой певческого ансамбля Синодального хора и привлечением к делу известных композиторов, но закулисные влияния и трения все более и более стали вызывать в нем упадок духа и желание покончить со своей – блиставшей наружно, внутренне же заставляющей его страдать – московской деятельностью. Еще в 1893 году Рачинский писал ему: «Слава Богу, что вы не последовали первому своему движению и не подали в отставку». Не раз приходилось и мне видеть Степана Васильевича, столь крепкого по натуре, в минуты и дни горестного раздражения и упадка духа. Не раз высказывал он то, что наболело у него, в письмах. «Удивительно мое положение! – писал он мне однажды. – Приходится не только работать с позволения какого-нибудь... господина, но даже с бою брать возможность работать и отбиваться от непонимающего начальства». «Что же мне делать как не терпеть!» – читаем в другом письме. А волна

недовольства и обидной горечи все росла. «От всей души жаль мне N – пишет Смоленский в Татево, – но сил нет с этим чванством и начальствованием. И вот опять начались мои первные терзания, бессонные ночи; продолжительные задумывания над будущим моим и моего дела...».

Невольно пришлось мне однажды (в начале 1901 года) быть свидетелем того же «неудержимо возмущившегося чувства», которое когда-то отвернуло Степана Васильевича от родной Казани, а теперь – отвертывало и от сердечно полюбившейся ему Москвы. Опережая здесь некоторые биографические факты, приведу отрывок из письма Степана Васильевича начала того же 1901 года: «Пережил я со времени последнего с вами свидания очень многое и очень трудное. Как утенку, пришлось неожиданно то нырять, то выплывать, то дрожать, то воспрянуть духом. Положение, в котором вы меня видели, когда ловко обратили во вред мне даже и то чистое, святое, что удалось мне сделать для Синодального училища и хора, – положение это внезапно и совершенно переменялось...».

«Московский период» Смоленского кончился для него неожиданным торжеством: по воле государя императора он был назначен управляющим Придворной капеллой, после выхода в отставку оттуда А.С. Аренского. Здесь еще следует добавить, что, незадолго до оставления Синодального училища Смоленский покинул и кафедру истории церковного пения в Московской консерватории вследствие «резких отношений» к В.И. Сафонову, тогдашнему директору консерватории, вызванных участием Степана Васильевича в печатных протестах и служебных столкновениях после известного инцидента с увольнением проф. Г.Э. Конюса.

Сношения Степана Васильевича с Петербургом начались давно, еще со времени его наездов сюда для участия в разных комиссиях. Главным официальным центром для него являлся, конечно, К.П. Победоносцев, покойный обер-прокурор Св. Синода, участие которого в служебной карьере Смоленского мы видели уже из переписки с Рачинским. Вслед за тем начинается сближение его с графом С.Д. Шереметевым, председателем

Императорского Общества любителей древней письменности, в царствование императора Александра III занимавшего пост начальника Придворной капеллы. Несомненно, что петербургский период деятельности Смоленского в значительной мере освещается сношениями с просвещенным С.Д. Шереметевым. Одно время после ухода из Певческой капеллы Степан Васильевич, как известно, жил даже в прелестном садовом домике Шереметевского дворца на Фонтанке. Таким образом, не без основания можно предположить, что в деле перехода Смоленского в Капеллу граф С.Д. Шереметев принял весьма близкое участие. Это выясняется тем более, что одновременно Степан Васильевич становится деятельным сотрудником Общества любителей древней письменности: сюда он из Москвы приезжает еще в январе 1901 года, чтобы прочесть в заседании общества свой первый реферат «О древнерусских певческих нотациях».

16 мая 1901 года Рачинский писал, между прочим, Смоленскому: «Наконец узнал я вчера из «Православного вестника» о назначении вашем и графа А.Д. Шереметева». Младший брат С.Д. Шереметева, известный меценат и учредитель «общедоступных концертов», был одновременно назначен начальником Придворной капеллы. Однако дальновидный Рачинский в том же письме высказал и справедливое опасение. «Но радость эта, – добавляет он, – сопряжена с немалым страхом. Подводных камней много».

Близость этого заключительного «петербургского» периода и другие, вполне понятные, обстоятельства заставляют нас лишь в общих чертах обрисовать деятельность Степана Васильевича за это время. Она распадается на три самостоятельных отдела: директорство в Придворной капелле (1901–1903), участие в научных работах Общества любителей древней письменности и основание собственного Регентского училища (1907).

Кратковременное, всего лишь двухлетнее, управление Смоленским Придворной капеллой, конечно, не могло дать таких осязательных результатов, как его 12-летнее директорство в Синодальном училище. Тем не менее и здесь он предпринял

реформу застоявшейся учебной и хоровой жизни; и здесь он с первых же шагов показал весьма серьезную административную энергию. Однако именно задуманная «радикальная реформа», по образцу перестроенного им Синодального училища, вместе с другими событиями, которые освещать покуда преждевременно, и оказалась камнем, о который должна была разбиться энергичная инициатива Смоленского. Поэтому, несмотря на утешительное известие, которое мы находим в февральском письме 1902 года Рачинского: «Вполне понимаю, до какой степени вы измучены всеми передрыгами последних месяцев. Однако из вашего же письма вижу, что вы одержали ряд блистательных побед, сулящих лучшее будущее», – уже осенью 1903 года Степан Васильевич должен был выйти в отставку.

Первые месяцы управления Капеллой Смоленским (оставляя в стороне его административную деятельность) ознаменовались устройством, в сентябре 1901 года, торжественного чествования памяти Д.С. Бортнянского по случаю исполнившегося 150-летия со дня его рождения. Обедня в храме и панихида на могиле гениального духовного композитора на Смоленском кладбище, концерт из его произведений в Капелле с двумя вступительными речами, прочитанными Степаном Васильевичем, наконец, устройство небольшой, но весьма интересной выставки рукописей Бортнянского и его предшественника Сарти – все это было делом рук Смоленского. Чуткий историк и в данном случае оказал немаловажную услугу, разыскав в кладовых Капеллы ряд ценных автографных рукописей и документов. В прежние времена на них не только не обращали внимание, но возможно, что часть их уже была потеряна. Это дело напоминало заботы Смоленского о создании музея-библиотеки в Синодальном училище в Москве. Так же стали напоминать прежнюю московскую деятельность программы концертов Капеллы, освеженные новым репертуаром.

Литературные статьи Смоленского этого двухлетия также были связаны более или менее с его капелльской деятельностью. В «Русской музыкальной газете» им были напечатаны: речь «Памяти Бортнянского», статьи «О литургии

ор. 41 соч. Чайковского» и «О теноре Иванове» – последняя на основании материалов архива Капеллы. Еще одна статья Смоленского в «Русской музыкальной газете» приходится на то же время – «Памяти С.А. Рачинского». «Милейший из людей, сердечнейше-любимый Сергей Александрович» (такую приписку сделал Смоленский на последнем письме, полученном им от Рачинского) скончался 2 мая 1902 года в Татеве, и Степан Васильевич откликнулся на эту горестную для него утрату обширным письмом ко мне, предоставив напечатать его в извлечении на страницах «Русской музыкальной газеты».⁴³⁷ Отзывчивый и одобряющий татевский друг уже не мог поддержать Степана Васильевича в минуты снова и неудержимо «возмутившегося чувства»: через полтора года Смоленский уже должен был покинуть Капеллу.

В следующее затем четырехлетие (1903–1907) это «возмутившееся чувство» утихало постепенно, в особенности под влиянием усилившегося влечения к научной работе, но вместе с тем уже и стала подкрадываться старость, а порой и разочарование...

В это время Смоленский избирается председателем отдела для разыскания и издания памятников старинного русского певческого искусства в Императорском Обществе любителей древней письменности. О широкой и значительной деятельности Смоленского в Обществе, состоящем под председательством графа С.Д. Шереметева, свидетельствует целый ряд научных докладов и лекций, прочитанных им в заседаниях Общества или в доме графа Шереметева⁴³⁸ и отчасти появившихся в печатных изданиях Общества. Но наиболее выдающимся делом в этот период является руководство Степана Васильевича научной экспедицией, снаряженной Обществом **на Афон** (попутно были захвачены Вена и София) летом 1906 года, в которой приняли участие: проф. П.А. Лавров, А.Н. Николов и А.В. Преображенский. Экспедиция привезла более 2.000 фотографических снимков с древнегреческих рукописей местных монастырей (IX–XI веков), то есть новый громадный материал для изучения древнегреческой певческой нотации и сличения ее с русскими певческими рукописями. В этих

снимках, быть может, заключается ключ неразгаданного донныне кондакарного знамени. Любопытное описание этой научной поездки и наблюдения свои Смоленский дал в статье «Из дорожных впечатлений» («Русская музыкальная газета», 1906). Собранный экспедицией материал, переданный в Общество любителей древней письменности, послужил уже для нескольких докладов Смоленского и одного из участников поездки, А.В. Преображенского, в том же Обществе. Последним делом Смоленского в Обществе была редакция приготовленной им к печати «Музыкальной грамматики» Н. Дилецкого. Но печатание «Музикии» Степану Васильевичу уже не удалось довести до конца: издание вышло только через восемь месяцев после его кончины.

Однако деятельность Смоленского в это время не ограничилась научными работами в Обществе любителей древней письменности. Оправившись после «ударов судьбы», нанесенных ему Капеллой, он снова ищет более широкой, разнообразной деятельности. Так, он выступает в Обществе ревнителей русского исторического просвещения в память императора Александра III с обширным докладом «В защиту просвещения восточно-русских инородцев по системе Н.И. Ильминского» (СПб., 1905); в 1906 году приглашается приват-доцентом Петербургского университета и читает здесь обширный курс лекций по **истории русского церковного пения**; в 1908 году избирается председателем временного комитета по постановке памятника Бортнянскому, Львову и Турчанинову и выступает на первом публичном собрании комитета с чтением об А.Ф. Львове; вскоре, однако, Смоленский отказался от председательствования здесь ввиду далеко не деликатных газетных выпадов на него одного из членов комитета. Литературная деятельность Степана Васильевича также не остывает в это время. Он печатает ряд статей в «Русской музыкальной газете» (в том числе одну из лучших и изящнейших по языку своих статей «О колокольном звоне»), в «Музыкальном труженике», «Хоровом и регентском деле» и других изданиях. Последний журнал был предпринят при близком участии Смоленского и, по-видимому, явился одним из

этапов намеченного им пути, исходным пунктом которого было учрежденное им в 1907 году **Регентское училище**. Но и здесь преждевременная кончина Степана Васильевича не позволила ему развить и довершить начатое им дело: только два первых учебных года прошли под его опытным руководством, причем он успел даже выхлопотать своему училищу субсидию от Св. Синода. Регентское училище было открыто им вслед за закрытием для частных лиц регентских классов Придворной капеллы.

Настоящий очерк окажется неполным, если не упомянуть о **композиторской деятельности** Степана Васильевича. Мы уже знаем о его первых опытах в этой области в Казани; знаем также, с каким интересом, даже с восторгом, отнесся к «Обедне» Смоленского его татевский благодетель; тогда же, как было сказано, «Ектения» Смоленского была издана «Церковными ведомостями» и получила известное распространение. Точно так же были изданы им «Главнейшие песнопения Божественной литургии, молебного пения, панихиды и всенощного бдения», сокращенных напевов: знаменного, греческого и киевского (для мужских голосов). Впоследствии появились в печати новые произведения. Из них некоторые были изданы самим автором (стихиры Св. Пасхи, «Хвалите имя Господне», Ектения и «Буди имя Господне» – СПб., 1905), а «Панихида на темы из древних роспевов для хора мужских голосов», исполненная на годовом собрании 26 февраля 1904 года Общества ревнителей русского исторического просвещения с участием автора (Степан Васильевич пел партию вторых басов), была издана этим Обществом. Простота голосоведения и благоговейное настроение более всего отличают эти композиторские опыты Смоленского. Воспользуемся здесь, кстати, отзывом Рачинского о переложениях Смоленского: «Главнейшие достоинства этих переложений (читаем мы в заметке Рачинского) заключаются в следующем: они с безусловной точностью воспроизводят напевы обиходные. За это ручается имя их автора – постоянного справщика синодальных нотных изданий. Гармонизация их ведена в стиле простом и строгом, без тех,

сомнительного свойства, архаизмов, которые специалистам могут показаться интересными, но, в сущности, для слуха невыносимы. Она сплошь благозвучна и прозрачна и местами возвышается до редкого изящества».

Последний год деятельности Степана Васильевича проходил в той же не знавшей усталости работе, хотя его здоровье, его крепкая натура уже стали сдавать, стали требовать хотя бы временного отдыха; а последнего он точно знать не хотел. Правда, в будущем он рисовал себе поездку на юг, освобождение от хлопотливых занятий по училищу. Но в этот последний сезон 1908/09, как мы видели, он продолжал хлопотать и в комитете по постановке памятника Бортнянскому и другим композиторам, и в своем училище, и в Обществе любителей древней письменности; продолжал писать статьи, читать доклады и лекции; продолжал работать и дома, и в Публичной библиотеке (здесь он собирал материал для обещанного им редакции «Русской музыкальной газеты» нового исследования о контрапунктических сложениях в трехголосных крюковых партитурах XVII века), и над отзывом о книге свящ. Металлова для отчета о 49-м присуждении наград графа Уварова в Императорской Академии наук; наконец, следая за печатанием «Музикии». Как и раньше, рабочий день Степана Васильевича начинался чуть ли не в 6 часов утра и также обычно с записи в его **Дневнике**, семь [точнее – восемь] толстых переплетенных томов которого за 20 лет (Дневник был начат Смоленским со времени переезда его в Москву в 1889 году) составят любопытный материал не только для будущей биографии автора, но и для характеристики его эпохи. Как и прежде, Степан Васильевич умел наполнить свой день десятками дел, хлопот, распоряжений и писаний. Достаточно сказать, что в литературном наследстве его, кроме обширных Воспоминаний, весьма значительной переписки и других собранных и тщательно классифицированных им документов, нашелся ряд законченных или только начатых трудов. Упомянем здесь хотя бы приготовленный к печати «Сравнительный текст догматиков воскресных в знаменных и нотных изложениях с XIV-XV по XIX вв.» (1907) и др. Сколько

нашлось набросков всевозможного содержания: научного, социального (например, «Проект устава певчей артели») или даже просто беллетристического!

Многим лелеемым планам не суждено было осуществиться. Многим работам суждено было остаться незаконченными. Милый, небольшой, уютный кабинет Степана Васильевича в его последней квартире (на 8-й Рождественской улице, № 25), с широкими книжными шкафами, наполненными собранной им довольно обширной библиотекой (нотной и книжной), с подвесными полками на стенах со старыми, любимыми рукописями, с портретами старых усопших друзей и учителей его (Ильминского, Львова, Рачинского, Чайковского и др.), с обращенным к окну простым письменным столом, всегда тщательно прибранным, несмотря на не прекращавшуюся за ним работу, – вскоре все это опустело – опустело навсегда...

Непрочитанным остался пришедший из типографии 10-й корректурный лист «Мусикии», когда Степан Васильевич уехал в Москву на 2-й Регентский съезд (14–21 июня 1909 года). Там он в последний раз волновался и поучал, там он схватил и сильную простуду. Понадеявшись на свой крепкий, выносливый организм, он все-таки отправился в родную Казань, но не доехал до нее. В соседнем маленьком Васильсурске его болезнь осложнилась воспалением в легких; отсутствие надлежащей медицинской помощи сказалось быстро, и 20 июля 1909 года⁴³⁹ Степана Васильевича уже не стало. Он вернулся в родную Казань – в гробу. Далеко не все было завершено им в жизни, в любимом деле, в любимой науке, которую он с такой беззаветной преданностью и восхищением заставил служить родному церковному пению и народному творчеству. Но выстраданный им земной круг был завершен: родные колокола, которыми в дни детства он так заслушивался, так восторгался, теперь творили печальный перезвон о своем большом, светлом и крепком русском человеке.

1 мая 1910 года

Приложение III

Каталог опубликованных работ С.В. Смоленского с данными о местонахождении сохранившихся автографов и подготовительных материалов⁴⁴⁰

1. **Ст.** С. Оригинальная опера на Казанской сцене [об опере Ф. Вальнера «Граф Глейхен»] // 1879, февраль.

Вырезка из газеты – РГИА, ф. 1119, ст. 1, ед. хр. 49, л. 2.

2. Голосовые упражнения из уроков хорового пения в Казанской учительской семинарии учителя **С.В. Смоленского**. Казань, 1876. Литография И. Перова.

3. Замечания наставников Казанской учительской семинарии на напечатанный в приложении к № 8 Циркуляра по управлению Кавказским учебным округом отчет г. директора Закавказской учительской семинарии Дм.Дм. Семенова об инородческих и русских учительских семинариях, осмотренных им в 1880 году. Учителя истории и географии и хорового пения **С. Смоленского** // Циркуляр по Казанскому учебному округу. Казань, 1881, № 10. С. 369–371.

4. Заметка об обучении пению в учительских семинариях и народных школах // Семья и школа. II. Учебно-воспитательный отдел для родителей и воспитателей. 1881, № 8/9. С. 182–197.

5. Курс хорового церковного пения, составленный для преподавания в Казанской учительской семинарии. Ч. 1–2.

1-е литографированное изд. – Казань, 1885;

2-е изд., испр. и дополн. – Там же, 1887;

3-е изд., вновь испр. и дополн. – Там же, 1897;

4-е изд. – Москва, 1898, 1900;

5-е изд. – Там же, 1900–1901;

6-е изд., вновь испр. и дополн. – СПб., 1904–1905;

7-е изд. – Там же, 1911.

Автограф (б/д) Главы 17 «Несколько главнейших методических указаний о преподавании церковного пения» – РГИА, ф. 1119, оп. 1, ед. хр. 33.

6. К вопросу о программе преподавания хорового пения в городских училищах (отдельное мнение преподавателя

Казанской учительской семинарии **Ст.В. Смоленского**) // Приложение к Циркуляру по Казанскому учебному округу, 1885, № 10. С. 1–34. Опубликовано в сокращении под названием «Церковное пение, народная песня и школьные хоры (мысли С.В. Смоленского о пении в школе)» // Хоровое и регентское дело, 1915, № 2 (С. 25–32), № 3 (С. 57–64).

Автограф без заглавия (1885) – РГИА, ф. 1119, оп. 1, ед. хр. 16, л. 17–23 об., 30–33 об.

7. **Ст. С.** Новая гармонизация литургии древнего напева [Д.Н. Соловьева] // Церковный вестник, 1886, № 2. С. 33.

8. По поводу предполагаемого преобразования программы преподавания церковного пения в духовных училищах и семинариях // Церковный вестник, 1886, № 5 (С. 84–85); № 6 (С. 104–107). То же – отдельный оттиск.

Автограф (1884, 1886) – РГИА, ф. 1119, оп. 1, ед. хр. 16, л. 36–50, 69.

Корректурa статьи с замечаниями Д.В. Разумовского – ОР РГБ, ф. 380, оп. 10, № 8.

9. Краткое описание древнего (XII–XIII века) знаменного Ирмолога, принадлежащего Воскресенскому, Новый Иерусалим именуемому, монастырю. Казань, 1887.

10. Общий очерк исторического и музыкального значения певчих рукописей Соловецкой библиотеки и «Азбуки певчей» Александра Мезенца // Православный собеседник (Казань), 1887, февраль. С. 235–251. То же – отдельный оттиск.

Черновой автограф без заглавия (30 января 1887) – РГИА, ф. 1119, оп. 1, ед. хр. 16, л. 76–84, 86–91.

Авторграф предисловия к описанию знаменных и нотных рукописей Соловецкой библиотеки – РГИА, ф. 1119, оп. 1, ед. хр. 16, л. 154–156.

11. Снимки с певческих рукописей к Описанию соловецких рукописей (152 оттиска). Казань. Литография Н. Данилова. Без титула и года (в продажу не поступало).

12. Азбука знаменного пения (извещение о согласнейших пометах) старца Александра Мезенца (1668 года). Издал с объяснениями и примечаниями **Ст. Смоленский**. Казань, 1888.

13. Рецензии на спектакли Театра Горевой // Артист, 1889, кн. 2–4; 1890, кн. 5.

14. Воспоминания о протоиерее Д.В. Разумовском профессора Московской консерватории **С. Смоленского** // Душеполезное чтение, 1890, ч. 1. С. 127–130.

Материалы к биографии Разумовского – ОР РНБ, ф. 816 (Финдейзен), оп. 3, ед. хр. 2690.

15. Дополнение к статье свящ. И. Кипрского «Уставное письмо» // Прибавления к «Церковным ведомостям», 1891, № 14. С. 459–460.

16. Последние дни жизни и кончина Н.И. Ильминского // **Н.И. Ильминский**. Избранные места из педагогических сочинений, некоторые сведения о его деятельности и последних днях его жизни. Казань, 1892. С. 118–131.

Автограф (1892) – ГЦММК, ф. 148, ед. хр. 32.

17. О русском церковном пении. В ответ г. Миссаелидесу, протопсалту церкви св. Фотинии в г. Смирне // Прибавления к «Церковным ведомостям», 1893, № 9. С. 354–359. То же (вместе со статьей Ю.К. Арнольда) – **Joirij d'Arnold**. Reponse ap R[everend] P[ater] Missael Missaelides.

Черновой автограф и рабочие материалы (июль, октябрь 1889) – РГИА, ф. 1119, оп. 1, ед. хр. 18, л. 1–5, 7–15.

18. Обзор Исторических концертов Синодального училища церковного пения в 1895 году. М., 1895.

19. Памяти Анатолия Александровича Эрарского // РМГ, 1897, № 12. Стб. 1653–1670. То же – отдельный оттиск.

Автограф (сентябрь 1897) – РГИА, ф. 1119, оп. 1, ед. хр. 23, л. 1–6.

20. О собрании русских древнепевческих рукописей в Московском Синодальном училище церковного пения (краткое предварительное сообщение). Посвящается памяти профессора Московской консерватории прот. Дм.Вас. Разумовского // РМГ, 1899, № 3 (стб. 79–83), № 4 (стб. 110–114), № 5 (стб. 141–147), № 11 (стб. 337–342), № 12 (стб. 362–368), № 13 (стб. 397–402), № 14 (стб. 425–431). То же – отдельный оттиск.

21. Красный звон (из письма С.В. Смоленского [к С.А. Рачинскому], Казань, 26 июня 1896 г.) // Татевский сборник.

СПб., 1899. С. 257–259.

22. 80 и 60 лет назад. Заметки по документам семейного архива М.А. Веневитинова // РМГ, 1900, № 15/16 (стб. 425–435), № 17 (стб. 469–477). То же – отдельный оттиск.

23. По поводу увольнения г-на Конюса (письмо в редакцию) // Московские ведомости, 1899, № 272 (3 октября).

24. Об оздоровлении программ духовных концертов в Москве // Московские ведомости, 1900, № 306 (5 ноября); сокращенная перепечатка – РМГ, 1900, № 47 (стб. 1145–1148).

План и черновой автограф статьи (б/д) – РГИА, ф. 1119, оп. 1, ед. хр. 51.

Черновой автограф (отрывки) – ОР РНБ, ф. 816, оп. 3, ед. хр. 2640, 2626, 2627, 2628.

25. О древнерусских певческих нотациях. Историко-палеографический очерк, читанный в Обществе любителей древней письменности 26 января 1901 года // Памятники древней письменности и искусства. Вып. СXLV. СПб., 1901.

Черновые автографы и подготовительные материалы – ОР РНБ, ф. 816, оп. 3, ед. хр. 2637, 2638, 2639.

Фрагменты статьи – РГИЛ, ф. 1119, ап. 1, ед. хр. 24.

26. Памяти Д.С. Бортнянского. Из речи, произнесенной 28 сентября 1901 года на торжественном собрании в Придворной певческой капелле в память Д.С. Бортнянского // РМГ, 1901, № 39 (стб. 917–925), № 40 (стб. 949–955). То же – отдельный ОТТИСК.

Корректурa с авторской правкой (1901) – ОР РНБ, ф. 816, оп. 3, ед. хр. 2643.

Черновые автографы (1901) – ОР РНБ, ф. 816, оп. 3, ед. хр. 2642.

Рабочие материалы (1901) – РГИА, ф. 1119, оп. 1, ед. хр. 23, л. 32–33, 34–35.

27. Памяти С.А. Рачинского (из частного письма) // РМГ, 1902, № 30/31. Стб. 713–720.

Автограф (29 июня 1902) – ОР РНБ, ф. 816, оп. 2, ед. хр. 1852.

Гранки – РГИА, ф. 1119, оп. 1, ед. хр. 8, л. 16б-16к.

28. О «Литургии» ор. 41 соч. Чайковского (из литературно-юридических воспоминаний) // РМГ, 1903, № 42 (стб. 991–998), № 43 (стб. 1009–1023). То же – отдельный оттиск.

29. О теноре Иванове, сопутствовавшем Глинке в Италию // РМГ, 1903, № 47. Стб. 1155–1166. То же – отдельный оттиск.

Автограф (11 ноября 1903)– РГИА, ф. 1119, оп. 1, ед. хр. 26.

30. Из воспоминаний о Казани и о Казанском университете в 60-х и 70-х годах // Литературный сборник к 100-летию Императорского Казанского университета. Казань, 1904. С. 237–273.

31. О ближайших практических задачах и научных разысканиях в области русской церковно-певческой археологии // Памятники древней письменности и искусства. Вып. СLI. СПб., 1904.

Автограф (1903) – РГИЛ, ф. 1119, оп. 1, ед. хр. 27, л. 126–145.

32. Памяти В.Н. Пасхалова (из Воспоминаний) // РМГ, 1905, № 9/10. Стб. 257–263.

33. В защиту просвещения восточно-русских инородцев по системе Ник.Ив. Ильминского // Издание Общества ревнителей русского исторического просвещения в память императора Александра III. Вып. XIV. СПб., 1905.

Доклад о системе преподавания в школах для «магометанствующего» населения России, прочитанный 12 и 13 апреля 1905 года в заседании комиссии по вопросам образования инородцев – РГИЛ, ф. 1119, оп. 1, ед. хр. 34.

34. [Мнение Смоленского о будущем магометанских школ в связи со школьной системой Ильминского] // Труды Особого совещания по вопросам образования восточных инородцев. Издание Министерства народного просвещения. Под ред. А.С. Будиловича. СПб., 1905. С. 89–97.

35. Из «дорожных впечатлений» [об экспедиции на Афон] // РМГ, 1906, № 42 (стб. 935–941), № 43 (стб. 961–969), № 44 (стб. 998–1007), № 45 (стб. 1025–1033), № 46 (стб. 1057–1061). То же – отдельный оттиск.

Автограф – РГИА, ф. 1119, оп, 1, ед. хр. 11, л. 170–1956; ед. хр. 29, л. 9–35.

Фрагмент четвертой части (1906) – РГИА, ф. 1119, оп. 1, ед. хр. 85, л. 22–23.

36. Оратория Степана Аникиевича Дегтярева «Минин и Пожарский, или Освобождение Москвы» // сб. Музыкальная старина. Под ред. Н.Ф. Финдейзена. Вып. IV. СПб., 1907. С. 67–90. То же – отдельный оттиск.

Гранки с авторской правкой (20 мая 1907) – ОР РНБ, ф. 816, оп. 3, ед. хр. 2641, л. 2.

37. О колокольном звоне в России // РМГ, 1907, № 9/10. Стб. 265–281. То же – отдельный оттиск.

38. Ответ **Смоленского** на вопрос редакции о женщинах в церковных хорах // Музыкальный труженик, 1906/07, № 14. С. 3–6.

39. Памяти духовного композитора Алексея Федоровича Львова // Памяти духовных композиторов Бортнянского, Турчанинова и Львова. Сб. статей. Издание Временного комитета по увековечению памяти названных композиторов. СПб., 1908. С. 47–58. То же – отдельный оттиск.

Рукопись с пометой Смоленского «первоначальный оригинал статьи» – РГИА, ф. 1119, оп, 1, ед. хр. 23, л. 3–14.

40. О Первом Всероссийском в Москве регентском съезде // Хоровое и регентское дело, 1909, № 1. С. 8–13. То же – отдельный оттиск.

41. О Регентском училище в г. Санкт-Петербурге // Хоровое и регентское дело, 1909, № 2 (С. 33–39), № 4 (С. 105–109). То же – отдельный оттиск. То же – отдельный оттиск вместе с Кратким обзором деятельности Регентского училища за 1907–1909 учебные годы (без подписи) и Уставом Регентского училища.

42. О памятнике Бортнянскому, Турчанинову и Львову в Санкт-Петербурге // Хоровое и регентское дело, 1909, № 3. С. 65–70. То же – отдельный оттиск.

43. [К статье г. Г.С. Серебрякова «Резонанс в церквях и его влияние на качество пения»]// Музыкальный труженик, 1909, № 4. С. 3–5.

44. Об указаниях оттенков исполнения и об указаниях музыкально-певческих форм церковных песнопений в крюковом письме // Церковное пение (Киев), 1909, № 3 (С. 65–83), № 12 (С. 314–317). То же – отдельный оттиск.

Автограф (без окончания, 2 апреля 1908) – РГИА, ф. 1119, оп. 1, ед. хр. 32.

45. К вопросу о постановке преподавания церковного пения в духовноучебных заведениях России // Прибавления к «Церковным ведомостям», 1909, № 7 (С. 333–338), № 10 (С. 470–473). То же – отдельный оттиск.

46. Ответ на статью Н. Компанейского «К вопросам церковного пения» // Новое время, 1909, № 11919 (20 мая).

47. О реформе в предметных планах народного образования в русских школах // РМГ, 1909, № 32/33 (стб. 694–701), № 34/35 (стб. 727–733), № 36/37 (стб. 765–768), № 38 (стб. 795–799).

48. Отзыв на сочинение В.М. Металлова «Богослужбное пение Русской церкви. Период домонгольский». М., 1906 // Отчет о 49-м присуждении наград графа Уварова. Издание Императорской Академии наук. СПб., 1909. С. 545–588. То же – отдельный оттиск.

49. О русской хоровой церковно-певческой литературе с половины XVI в. до начала влияния приезжих итальянцев // Хоровое и регентское дело, 1910, № 1 (С. 2–7), № 3 (С. 57–61), № 5/6 (С. 113–121).

Автограф (1905) с приложением нотных и крюковых примеров – РГИА, ф. 1119, оп. 1, ед. хр. 27, л. 63–98.

50. Чтения из истории русского церковно-певческого искусства (читаны в 1905–1906 гг. в Обществе любителей древней письменности) // РМГ, 1910, № 3 (стб. 71–76), № 4 (стб. 107–110), № 11 (стб. 273–279), № 12 (стб. 314–318).

Черновые автографы, отрывки (15 августа 1906, 19 октября 1906) – ОР РНБ, ф. 816, оп. 3, ед. хр. 2649, 2650, 2651, 2652, 2653.

51. Мусикийская грамматика Николая Дилецкого. Посмертный труд **С.В. Смоленского**, изданный на средства

председателя Императорского Общества любителей древней письменности графа С.Д. Шереметева. СПб., 1910.

Рукопись (июль-сентябрь 1905) с приложением двух писем редактора Московской духовной академии епископа Евдокима от 1 февраля 1907 года и библиотекаря Московской духовной семинарии К. Попова от 29 января 1907 года о розыске подлинника «Мусикии» – РГИА, ф. 1119, оп. 3, ед. хр. 69.

Подготовительные материалы – там же, ед. хр. 27, л. 13–25; ед. хр. 30, л. 1–7.

52. Вступительная лекция по истории церковного чтения (читана в Московской консерватории 5 октября 1889 г.) // Хоровое и регентское дело, 1911, № 6/7. С. 133–149.

Автограф – РГИА, ф. 1119, оп. 1, ед. хр. 22, ед. хр. 27, л. 146–161.

53. Значение XVII века и его «кантов» и «псалмов» в области современного церковного пения так называемого «простого напева» // Памяти **С.В. Смоленского** [Музыкальная старина. Вып. 5]. СПб., 1911. С. 47–85. То же – отдельный оттиск.

Автограф (без окончания) – РГИА, ф. 1119, оп. 1, ед. хр. 20.

Программа лекции, составленная 23 марта 1908 г. в доме гр. С.Д. Шереметева (машинопись) – ОР РНБ, ф. 816, оп. 3, ед. хр. 2685.

Примеры к статье (корректуры и литографированные экземпляры с правкой автора, 1908) – ОР РНБ, ф. 816, оп. 3, ед. хр. 2632.

Черновой автограф (30 марта 1908 года) – ОР РНБ, ф. 816, оп. 3, ед. хр. 2631.

Рукопись под заголовком «О [значении] 3-х голосных русских кантов и псалмов конца XVII в. в области нынешнего церковного пения так называемого «простого напева»" (до 17 февраля 1908 года) – РГИА, ф. 1119, оп. 1, ед. хр. 29, л. 1416, 145а-б-163; подготовительные материалы – РГИА, ф. 1119, оп. 1, ед. хр. 62.

Рукопись под заголовком «О трехголосных кантах и псалмах по рукописям конца XVII и начала XVIII веков», с пометой Смоленского: «Сообщение, читанное Ст.В. Смоленским 7 декабря 1907 года в Обществе любителей древней письменности» – РГИА, ф. 1119, оп. 1, ед. хр. 29, л. 50–62.

Фрагмент лекции о кантах и псалмах (февраль 1908 года) – РГИА, ф. 1119, оп. 1, ед. хр. 30, л. 7–15.

54. Управление хором. Опыт программы преподавания // Хоровое и регентское дело, 1912, № 5/6. С. 109–117.

55. Несколько новых данных о так называемом кондакарном знамени (доклад, прочитанный в Обществе любителей древней письменности 14 апреля 1906 г.) // РМГ, 1913, № 44 (стб. 973–977), № 45 (стб. 1007–1010), № 46 (стб. 1039–1044), № 49 (стб. 1132–1136).

Черновой автограф – ОР РИБ, ф. 816, оп. 3, ед. хр. 2636.

Подготовительные материалы – РГИА, ф. 1119, оп. 1, ед. хр. 44.

56. Вступительная лекция [к курсу истории русского церковного пения] (читана в Петербургском университете в октябре 1905 г.) // Хоровое и регентское дело, 1914, № 5/6 (С. 83–89), № 7/8 (С. 125–131).

Автограф (9 октября 1905) – РГИА, ф. 1119, ап. 1, ед. хр. 28.

57. Клавесинная музыка в России второй половины XVIII века // РМГ, 1916, № 28/29 (стб. 529–535), № 30/31 (стб. 562–566), № 32/33 (стб. 596–598).

Черновой автограф доклада, прочитанного в Обществе любителей древней письменности 5 декабря 1908 года – ОР РНБ, ф. 816, оп. 3, ед. хр. 2634.

Рабочие материалы – РГИА, ф. 1119, оп. 1, ед. хр. 47, 48.

58. Программа курса лекций по истории русского церковного пения // Петербургский музыкальный архив. Вып. 3. СПб., 1999. С. 106–109. Публикация З.М. Гусейновой.

Автограф (12 апреля 1901) – ОР РНБ, ф. 1050, оп. 1, ед. хр. 1.

Копия Н.Ф. Финдейзена (5 мая 1899) – ОР РНБ, ф. 816, оп. 3, ед. хр. 2683.

59. Вступительная лекция в курс истории церковного пения, читанная в С[анкт]-Петербургской консерватории Ст.Вас. Смоленским сентября 1903 // Петербургский музыкальный архив. Вып. 3. СПб., 1999. С. 110–112. Публикация З.М. Гусейновой.

Автограф (сентябрь 1903) – ОР РНБ, ф. 816, оп. 3, ед. хр. 2629.

Музыкальные переложения и сочинения

1. Хоровые церковные песнопения на чувашском языке. Издание Православного миссионерского общества. Казань, Типолитография Н.Д. Данилова, 1887.

2. Хоровые церковные песнопения на татарском языке. Издание Православного миссионерского общества. Казань, Типолитография И.Ф. Молдавского, 1889.

3. Хоровые церковные песнопения на черемисском языке. Издание Православного миссионерского общества. Казань.

4. Главнейшие песнопения Божественной литургии, молебного пения, панихиды и всенощного бдения, переложенные для хора мужских голосов Ст.В. Смоленским. Вып. I-III. СПб., 1893. Издание журнала «Церковные ведомости».

Вып. I. Песнопения Божественной литургии.

Вып. II. Песнопения благодарственного молебного пения и литургии.

Вып. III. Песнопения всенощного бдения.

5. Ектении и некоторые краткие песнопения на Божественной литургии (Ектения великая, Ектения малая, Ектения сугубая, Ектения просительная, «Буди имя Господне»). Переложение Ст. Смоленского. СПб., Синодальная типография, 1900. Приложение к журналу «Церковные ведомости».

«Буди имя Господне» – автограф, партитура для женского и детского хора дев сопровождения, б/д: ОР РНБ, ф. 816, оп. 3, ед. хр. 2654.

6. Стихиры Св. Пасхи. СПб., 1905. Издание автора.

7. «Хвалите имя Господне». СПб., 1905. Издание автора.

8. Панихида на темы из древних роспевов для хора мужских голосов. СПб., 1905. Издание Общества ревнителей русского исторического просвещения памяти императора Александра III. Вып. XIII.

Последование панихиды древними роспевами – одноголосная запись, гектографированный оттиск с

пометами Смоленского (26 февраля 1902): ОР РНБ, ф. 816, оп. 3, ед. хр. 2658.

9. Великий прокимен на Рождество Христово, Пасху и Троицын День // Хоровое и регентское дело, 1909, № 1. Приложение.

«Кто Бог велий» – автограф, партитура для смешанного хора без сопровождения (24 апреля 1908 с посвящением С. Каблукову): ОР РНБ, ф. 816, ап. 3, ед. хр. 2655; автограф для того же состава (28 апреля 1908): ОР РНБ, ф. 816, оп. 3, ед. хр. 2656.

10. «Хвалите имя Господне» древнего роспева // Хоровое и регентское дело, 1910, № 7/8. Приложение.

Литографии

1. «Тебе поем»
 2. Догматик 5-го гласа знаменного распева
 3. Херувимская № 2 для смешанного хора (1898)
 4. «Не имамы иныя помощи»
 5. «Милость мира» на литургии Василия Великого
 6. «О Тебе радуется»
 7. «Со святыми упокой» и «Вечная память»
-

Примечания

¹ - Финдейзен Н.Ф. Памяти С.В. Смоленского // Русская музыкальная газета, 1909, № 32–33, об. 689–694.

² - Русская музыкальная газета, 1910, № 3, об. 65.

³ - Преображенский А.В. Два посмертных труда С.В. Смоленского // Хоровое и регентское дело, 1911, № 2, с. 40.

⁴ - Например: более ранний биографический очерк самого Финдейзена «Профессор С.В. Смоленский» (РМГ, 1901, № 17); биографический очерк А.В. Преображенского в его «Словаре русского церковного пения» (М., 1896); статья «С.В. Смоленский» за подписью С.М.Л. [Священник Михаил Лисицын] в журнале «Музыка и пение» (1901, № 9–12) и т.д.

⁵ - Литературный сборник к 100-летию императорского Казанского университета. Казань, 1904, с. 237–273.

⁶ - ОР РНБ, ф. 816, оп. 3, ед. хр. 2680.

⁷ - РГИА, ф. 1119, оп. 1, ед. хр. 3, л. 1.

⁸ - ОР РНБ, ф. 816, оп. 3, ед. хр. 2670.

⁹ - Волкова С.С. Вместо предисловия к Воспоминаниям С.В. Смоленского – РГАЛИ, ф. 723, оп. 1, ед. хр. 29, л. 1.

¹⁰ - Имеется в виду так называемый Парижский камертон 1858 года (в виде большого деревянного ящика с кнопками), полученный в подарок директором Придворной капеллы А.Ф. Львовым (ныне хранится в ГЦММК имени М.И. Глинки).

¹¹ - РГИА, ф. 1119, оп. 1, ед. хр. 8, л. 264–265.

¹² - ОР РНБ, ф. 816, оп. 2, ед. хр. 1852.

¹³ - Дневник № 4 – РГИА, ф. 1119, оп. 1, ед. хр. 8, л. 266.

¹⁴ - Письмо от 4 марта 1900 года – ОР РНБ, ф. 816, оп. 2, ед. хр. 1852.

¹⁵ - Книга эскизов Бетховена за 1802–1803 годы / Исследование и расшифровка Н.Л. Фишмана. М., 1962.

¹⁶ - Письмо Смоленского к Финдейзену от 23 ноября 1897 года – ОР РНБ, ф. 816, он. 2, ед. хр. 1852.

¹⁷ - РНБ, ф. 816, оп. 2, ед. хр. 1851.

¹⁸ - Письмо Смоленского к Финдейзену от 22 октября 1897 года – ОР РНБ, ф. 816, оп. 2, ед. хр. 1851.

¹⁹ - Цит. по: Преображенский А.В. С.В. Смоленский в его историко-археологических работах по церковному пению // Хоровое и регентское дело, 1912, № 7/8, с. 150.

²⁰ - Письмо к Н.Ф. Финдейзену от 28 сентября 1897 года – ОР РНБ, ф. 816, оп. 2, ед. хр. 1851.

²¹ - РГИА, ф. 1119, оп. 1, ед. хр. 95, л. 2–7.

²² - РГАЛИ, ф. 725, оп. 1, ед. хр. 29, л. 15.

²³ - Об истории библиотеки древнепевческих рукописей Синодального училища и работе с ней Смоленского см. подробнее во втором томе серии «Русская духовная музыка в документах и материалах». – Ред.

²⁴ - См.: Коллекция печатных русских церковно-певческих книг: Каталог. Московская государственная консерватория им. П.И. Чайковского. Научно-музыкальная библиотека им. С.И. Танеева, Отдел редких изданий и рукописей. М., 1997.

²⁵ - Статья опубликована в сб.: История русской музыки в документах и исследованиях, т. 1. М., 1924.

²⁶ - Цит. по: Космовская М.Л. Наследие Н.Ф. Финдейзена. Курск, 1997, с. 15–16.

²⁷ - РГИА, ф. 1119, оп. 1, ед. хр. 3, л. 1.

²⁸ - РГИА, ф. 1109, оп. 1, ед. хр. 116, л. 65.

²⁹ - РГИА, ф. 1119, оп. 1, ед. хр. 52.

³⁰ - Цит. по: Космовская М.Л. Наследие Н.Ф. Финдейзена. Цит. изд. С. 15.

³¹ - Письмо к А.Н. Римскому-Корсакову от 1 августа 1917 года – РГАЛИ, ф. 723, оп. 1, ед. хр. 43.

³² - РГАЛИ, ф. 723, оп. 1, ед. хр. 29, л. 8–13.

³³ - Там же, л. 6.

³⁴ - РГАЛИ, ф. 427, оп. 1, ед. хр. 1253.

³⁵ - РГИА, ф. 1119, оп. 1, ед. хр. 128, л. 50–53.

³⁶ - РГИА, ф. 1119, оп. 1, ед. хр. 128, л. 65–67.

³⁷ - Письмо Смоленского от 15 июля 1904 года – ОР РНБ, ф. 1050, оп. 1, ед. хр. 4.

³⁸ - Памяти С.В. Смоленского// РМГ, 1909, № 32–33, стб. 690.

³⁹ - РГАЛИ, ф. 723, оп. 1, ед. хр. 43.

⁴⁰ - ГЦММК имени Глинки, ф. 723, оп. 1, ед. хр. 4.

⁴¹ - ОР РЫБ, ф. 816, оп. 2, ед. хр. 1231.

⁴² - ОР РНБ, ф. 816, оп. 2, ед. хр. 1007.

⁴³ - Понятие «кошкарровщина» относится к грубым проявлениям крепостничества. Пензенский дворянин Кашкаров, известный как обладатель уникального рогового оркестра, который вызывал всеобщее восхищение, отличался также невероятной жестокостью в обращении с крепостными музыкантами. См.: Долгорукий И.М. Журнал путешествий из Москвы в Нижний 1813 года // Изборник. М., 1919.

⁴⁴ - С.Н. Терпигорев опубликовал в 1880 году в «Отечественных записках» серию очерков «Оскудение. Очерки, заметки и размышления тамбовского помещика», в которых показал распад дворянского уклада после отмены крепостного права.

⁴⁵ - Имеются в виду деятели государственного аппарата Николая I: А.Х. Бенкендорф – шеф жандармов, курировавший прохождение дел, относящихся к декабристам, студенческим кружкам, польскому восстанию 1830–1831 годов, крестьянским волнениям 1840-х, проводивший политику усиления цензуры; Л.В. Дубельт – ближайший сотрудник Бенкендорфа, устанавливавший тайное наблюдение за А.С. Пушкиным, надзор за Н.А. Некрасовым, славянофилами; П.А. Клейнмихель, с именем которого связана одна из трагичнейших страниц русской истории: находясь на посту главноуправляющего путями сообщения (август 1842-ноябрь 1855), он выступал против строительства крымской железной дороги, за что в период войны 1853–1856 Россия поплатилась разрушением Севастополя и уничтожением Черноморского флота.

⁴⁶ - На углу 15-й линии Васильевского острова в 1898 году по заказу Киево-Печерской Лавры был построен храм в честь Успения Пресвятой Богородицы по проекту архитектора В.А. Косякова (ныне – подворье Оптиной пустыни).

⁴⁷ - Николаевская железная дорога, связавшая Москву с Петербургом через Тверь, была открыта 1 ноября 1851 года; Казань была соединена с общей сетью железнодорожных путей лишь в 1894 году.

⁴⁸ - «Лукреция Борджиа» (1833) – опера Г. Доницетти на либретто Ф. Романи (по пьесе В. Гюго).

⁴⁹ - «Три шлепка» (нем.).

⁵⁰ - «Тихо, каналья, иди сюда! Итак: 1, 2, 3, дурак!» (нем.)

⁵¹ - «Отче наш» (нем.).

⁵² - «Ладно, ладно! Погоди-ка» (нем.).

⁵³ - Похожий забавный эпизод, случившийся в жизни Смоленского много лет спустя, записан С.С. Волковой со слов встреченного ею «в глуши, в приволжской губернии» архимандрита, воспитанника Казанской семинарии, где Смоленский преподавал в 80-е годы. Архимандрит «вспоминал его с любовью, – пишет Волкова, – однако в младших классах любили посмеяться над живыми жестами учителя; однажды перед уроком будущий архимандрит, взобравшись на кафедру, стал перенимать учителя и не заметил, как тот вошел. Учитель же обнял его и поцеловал, сказав: «Какая ты у меня славная обезьяна!» (РГАЛИ, ф. 723, ед. хр. 29, № 1, л. 5).

⁵⁴ - «Книги песен» (нем.).

⁵⁵ - «Казанские губернские ведомости» издавались с 1 января 1838 года. Их официальная часть включала указы губернского правления, предписания губернатора, сведения о торгах, о перемещениях и увольнении чиновников и т.д. С 1843 года выходила вторая часть газеты – «Прибавление», где публиковались исторические, этнографические, статистические и другие материалы, относящиеся к Казанской губернии.

⁵⁶ - То есть собачку.

⁵⁷ - На обороте листа Смоленский записал карандашом: «Бон на Кабане», «Ходули», «Катанья в Кошачьем переулке», предполагая, видимо, развить эти темы.

⁵⁸ - Статья Смоленского «Красный звон (из письма С.В. Смоленского. Казань, 26 июня 1896 г.)» вошла в «Татевский сборник» С.А. Рачинского, изданный в Петербурге Обществом

ревнителей русского исторического просвещения в 1899 году. Впоследствии она публиковалась в «Русской музыкальной газете» в переработанном виде под заглавием «О колокольном звоне» (1907, №№ 9–10; отд. оттиск – СПб., 1907).

⁵⁹ - Напев изложен Смоленским цифровой нотацией. В переводе на итальянские ноты выглядит так:

⁶⁰ - У Смоленского неправильно – Иван Николаевич Николич. См., напр.: Владимирова В. Историческая записка о Первой казанской гимназии. Ч. 1–3. Казань, 1868. С. 502.

⁶¹ - Служба П.Д. Шестакова в Казани совпала со временем правления министра народного просвещения Д.А. Толстого и всяческого укрепления «классической» системы образования, основанной на изучении двух древних языков (латинского и греческого) и культуры, с ними связанной. Будучи сам знатоком этих языков, автором ряда печатных трудов по педагогике, классической литературе, русской истории, Шестаков, однако, придерживался убеждения, что «воспитать молодое поколение, отрешаясь от национальности, религии и вообще от основных, выработанных отечественною историей, начал, значит обезличивать питомцев». В своей работе «Мысли Н.М. Карамзина о воспитании» (Казань, 1866) Шестаков выступал против распространенного в России с предшествующего века воспитания русского юношества под руководством иностранцев. Н.И. Ильминского и его методику обучения инородцев, основанную на бережном сохранении их народного языка и культуры, Шестаков всячески поддерживал.

⁶² - Вероятно, Смоленский упоминает книгу П.Я. Ефремова «Наглядное преподавание предварительных сведений из геометрии», вышедшую в Казани в 1859 году.

⁶³ - Имеются в виду книги: Делакура И.И. Капитолий, или Собрание жизнеописаний великих мужей с их портретами. СПб., 1841; Норов А.С. Путешествие по Святой Земле. Путешествие по Египту и Нубии в 1834–1835 гг. СПб., 1840.

⁶⁴ - Смоленский перечисляет программы обучения по фамилиям министров народного просвещения.

⁶⁵ - А.А. Камкову принадлежит работа «Начертания этимологии церковнославянского языка» (Казань, 1856), а также ряд статей в «Санкт-Петербургских ведомостях», в «Русском педагогическом вестнике» и других изданиях.

⁶⁶ - Об И.А. Износкове см. сн. 118.

⁶⁷ - Капитальный труд знаменитого филолога и искусствоведа Ф.И. Буслаева «Исторические очерки русской народной словесности и искусства» в двух томах был впервые издан в 1861 году.

⁶⁸ - В пятом-седьмом классах Второй гимназии читались отрывки из памятников славянского и древнерусского языка по «Исторической хрестоматии» А.Д. Галахова, употребление которой было рекомендовано Министерством народного просвещения с 1859 года.

⁶⁹ - «Плохо, очень плохо, совсем плохо, ставлю вам единицу» (фр.).

⁷⁰ - церковной школе (нем.).

⁷¹ - грудная астма (лат.).

⁷² - Учебники истории В.Я. Шульгина, в частности «Курс истории средних веков» (1858), отличались тем, что автор стремился дать «как можно менее голых чисел и безличных имен и как можно более живых людей».

⁷³ - Работа А. Гано была известна в России в переводе под названием «Практический курс физики. Для средних учебных заведений, женских институтов и вообще для людей, не имеющих предварительных сведений в математике» (Одесса, 1862).

⁷⁴ - «Новая французская грамматика. По системе лучших авторов: Ноэля и Шапсаля... и прочих с прибавлением замечаний о языке французском, сравнительно с русским, составлена И. Трико, наставником-наблюдателем по преподаванию французского языка в Павловском и Морском кадетских корпусах и проч ». Ч. 1–2. СПб., 1840.

⁷⁵ - «Ласточки» (фр.).

⁷⁶ - Дневник № 3 Смоленского хранится в РГНА, ф. 1119, оп. I., ед. хр. 7.

⁷⁷ - Баллион Э.Э. Ботаника. Ч. 1–2. Казань, 1857.

⁷⁸ - Симашко Ю. Русская фауна, или Описание и изображение животных, водящихся в Империи Российской. Ч. 1–2. СПб., 1850–1851.

⁷⁹ - Шведский естествоиспытатель Карл Линней создал систематику растительного и животного мира, которая стала завершением огромного труда ботаников и зоологов первой половины XVIII века. В своей книге «Система природы» (1735) он ввел в употребление бинарную номенклатуру (обозначение каждого вида двумя латинскими названиями – родовым и видовым). Впоследствии естественную систему развил французский ботаник Антуан Жюсье: расположил растения в виде восходящей лестницы, начиная с водорослей и грибов и кончая цветковыми; ввел понятие семейства. Огюсту Декандолю также принадлежит одна из первых естественных систем растений. Начатое им издание обзора всех известных видов покрытосеменных («Введение в естественную систему царства растений», т. 1–7, 1824–1839) было завершено его сыном А. Декандром.

⁸⁰ - Кюри П.Ф. Руководство к определению растений легким и точным способом. М, 1861.

⁸¹ - «Ученая книга всеобщей географии» А.Г. Ободовского выдержала тринадцать изданий.

⁸² - В 1867–1879 годах в Петербурге был частично издан в переводе главный труд одного из крупнейших европейских географов – Карла Риттера под заглавием «Земледелие Азии. География стран, входящих в состав Азиатской России или пограничных с нею». В 1894–1895 годах под тем же названием последовало продолжение этого издания. На русский язык переводились также лекции и очерки Риттера по вопросам географии.

⁸³ - По другим источникам – Адольф Иванович Беседовский. См., напр.: Гвоздев П. Историческая записка о Второй казанской гимназии. Казань, 1876. С. 335.

⁸⁴ - Книга С.Д. Горского «О жизни и сочинениях князя Андрея Михайловича Курбского» была издана в Казани в 1858

году.

⁸⁵ - Имеется в виду «Учебная книга всеобщей истории» Н.И. Зуева (СПб., 1856) или его же «Начертания древней географии и истории древних азиатских и африканских государств» (СПб., 1855). Упоминание о курсе Зуева в рукописи сопровождается припиской Смоленского, сделанной позднее: «Тот зуевский учебник (а может быть, и Кайданова) отметил остроумный Иван Федорович Горбунов, смотри его замечания – «темна, как история мидян», и проч.».».

⁸⁶ - «Но поскольку положение ухудшилось, Цезарь...» (лат.).

⁸⁷ - Первая казанская гимназия была преобразована в строго классическую с двумя древними языками в 1865 году, в связи с уставом от 19 ноября 1864 года (латинский язык по новому уставу начинали преподавать с первого класса, греческий – с третьего). 1 января 1874 года вышел устав, по которому все мужское население империи, без различия сословий, подлежало воинской повинности. Под действие этого устава попадали юноши, поступившие в гимназию в 1868 году.

⁸⁸ - «к примеру: где живут разбойники?» (нем.).

⁸⁹ - Популярное учебное пособие, издававшееся многократно в 1850–1890-е годы, – «Элементарный учебник немецкого языка для русского юношества, составленный по строго-прогрессивному методу А. Фишером, директором Ларинской гимназии. Курс 1–2».

⁹⁰ - «еще раз, пожалуйста» (нем.).

⁹¹ - «Хватит, хорошо...» (нем.).

⁹² - У Смоленского неправильно – Константин Адамович Люстиг. См., напр.: Гвоздев П. Историческая записка о Второй казанской гимназии. Казань, 1876. С. 337.

⁹³ - «Черт возьми» (фр.).

⁹⁴ - «Хорошо, очень хорошо. Еще раз! Хватит! Продолжайте!» (фр.).

⁹⁵ - «Глагол «болтать» – сто раз! « (фр.).

⁹⁶ - «Тихо, господа» (фр.).

⁹⁷ - Певческого общества (нем.).

⁹⁸ - П.Д. Миловидов, регент архиерейского хора, принимал самое живое участие в просвещении инородцев. В 1870 году он открыл певческо-регентскую школу для черемисов и чувашей, целью которой было приготовление не только регентов, но и учителей для школ этих народностей. Как писали «Казанские губернские ведомости», преподавал Миловидов на уроках пения «еще не слыханным до сих пор способом – по пальцам... изобретенным им самим» (1871, № 68).

⁹⁹ - Смоленский имеет в виду 1859 год, когда преосвященный Афанасий (Соколов), официально назначенный архиепископом Казанским еще в 1856 году, прибыл в мае в Казань из Петербурга, куда вызывался для присутствия в Св. Синоде.

¹⁰⁰ - П. Роде, Р. Крейцер и П. Байо – скрипачи, представлявшие так называемую парижскую школу; совместно в 1802 году они создали «Méthode violon» (в русском переводе – «Скрипичная метода», 1812), классическое учебное пособие XIX века.

¹⁰¹ - Музыкальные классы в Казанском университете закрылись в связи с введением нового университетского устава 1863 года.

¹⁰² - Детский журнал с картинками «Семейные вечера» был основан Марией Федоровной Ростовской совместно с В.Н. Майковым. С 1865 года М.Ф. Ростовская издавала журнал одна, с 1870 года издательницей-редактором являлась С.С. Кашпирева (у Смоленского – «Кашпирова»).

¹⁰³ - Дополнительная запись Смоленского в рукописи: «Том этюдов Роде и Кампаньоли прислал мне в подарок и благословение Алексей Федорович Львов, переставший играть и передавший мне книгу, по которой он сам занимался со своим учителем Роде. Па этой книге есть подпись Алексея Федоровича: «Подарок папеньки и маменьки, 1820 года». Эту книгу я в свою очередь передал ученику моему, талантливому Павлу Григорьевичу Чеснокову, думая, что из него будет толковый скрипач. Дальнейшее место этой книги – музей Придворной капеллы». А.Ф. Львов пользовался репутацией

блестящего скрипача. Известно замечание Р. Шумана после исполнения Львовым Скрипичного концерта Ф. Мендельсона в Лейпциге: «Если в России играют так, как господин Львов, то всем нам надо ехать в Россию не учить, а учиться».

¹⁰⁴ - Первая казанская гимназия, одна из старейших в России, была основана в 1758 году по повелению императрицы Елизаветы Петровны как образовательный центр для русских, татар, чувашей и других народностей Казанского и Оренбургского краев и Сибири. Программы гимназии составлялись с целью подготовки учащихся к дальнейшему обучению в университете, который возник на основе Первой гимназии в 1804 году. Параллельно с университетской кафедрой восточных языков в этой гимназии, единственной в России, продолжительное время (1836–1854) преподавались восточные языки. В 1868 году Первой гимназии был присвоен высокий титул «Императорской» (впоследствии пожалованный также Николаевской Царскосельской гимназии).

¹⁰⁵ - По указанию Николая I, посетившего Первую гимназию в 1836 году, к ней была причислена Крестовоздвиженская церковь.

¹⁰⁶ - Один из воспитанников Первой казанской гимназии 1850-х годов писал о И.А. Сахарове: «Четырнадцатилетнее управление его, с 1847 по 1861 год, как инспектора и как директора, поистине оставило в бывших питомцах Первой гимназии самое тяжелое воспоминание. Он был мучителем нескольких поколений учащейся молодежи...» (Овсянников А.Н. Из воспоминаний старого педагога // Русская старина, 1899, т. 98, № 5–6. С. 426). Ту же дурную славу Сахаров снискал в качестве инспектора Нижегородской гимназии, где служил до назначения в Казань (см.: Ляпунов С.М., Ляпунова А.С. Молодые годы Балакирева // М.А. Балакирев. Воспоминания и письма. Л., 1962. С. 15).

¹⁰⁷ - Имеются в виду покушения на жизнь Александра II, совершенные в апреле 1866 года Д.В. Каракозовым и в июне 1867 года А.И. Березовским, а также польское восстание 1863–1864 годов.

¹⁰⁸ - Ежемесячный журнал «Русское слово» издавался в 1859–1866 годах в Петербурге при активнейшем участии Д.И. Писарева.

¹⁰⁹ - Описываемой ревизии предшествовала ревизия отдельных петербургских гимназий, проведенная попечителем Санкт-Петербургского учебного округа с одобрения царя. В официальных бумагах эти действия обосновывались «необходимостью удостовериться, в какой мере познания учеников гимназии соответствуют тем классам, в которых ученики находятся». Руководствуясь таким предписанием, 10 января 1866 года попечитель Казанского учебного округа издал предписание о проведении ревизии в Первой гимназии. Ранее, 9 декабря 1865 года министром народного просвещения А.В. Головниным была назначена экзаменационная комиссия, куда вошли профессора А.О. Угянский (латинский язык) и преподаватель университета Н.А. Фирсов (история и география). Экзамены начались 11 января и закончились в марте. Результаты ревизии освещались в «Циркуляре Казанского учебного округа» (1866, № 22, 23, 24 и 1867, № 1, 2, 3, 6, 8, 13, 14).

¹¹⁰ - Смоленский ошибается в дате, так как «осень 1865 года» предшествует ревизии в Первой гимназии.

¹¹¹ - «Губернские очерки» М.Е. Салтыкова-Щедрина печатались «Русским вестником» в 1856–1857 годах и в 1857 году вышли отдельными книжками, выдержав два издания на протяжении года. Историк П.В. Знаменский так писал об увлечении казанского студенчества, в частности студентов Духовной академии, «Губернскими очерками» и вообще литературой «реального направления»: «В 1857 году студенты целыми партиями собирались читать знаменитые «Губернские очерки» Щедрина; каждая книжка «Р[усского] вестника», где они помещались, ожидалась с нетерпением и читалась на расхват или в общих собраниях. С этими очерками соперничали печатавшиеся тогда же рассказы Печерского (Мельникова). Развитие новых литературных вкусов, поддержанное и русской критикой, стало отодвигать прежние эстетические идеалы уже на задний план. Вместе с тем стало слабеть изучение

иностранных литератур, и все внимание академических читателей постепенно поглотила одна русская литература с ее разнообразными родными злобами. Кстати к этому же времени в среде студентов созрело и новое историческое направление, обратившееся к изучению истории русской жизни» (Знаменский П.В. История Казанской духовной академии. Вып. 3. Казань, 1892. С. 273).

¹¹² - Насаждение классической системы обучения в гимназиях при министре народного просвещения Д.А. Толстом (1866–1880) завершилось изданием нового устава 1871 года, дававшего доступ в университеты лишь из классических гимназий. Реальные гимназии, обучавшие естественным, физико-математическим наукам и новым языкам, переименовывались в реальные училища, и окончившим их доступ в университет закрывался. Преподавание древних языков в гимназиях было почти исключительно грамматическим: высшим критерием зрелости учащихся считались переводы с родного языка на древний. Салтыков-Щедрин в «Господах-ташкентцах» остроумно иронизировал по поводу «так называемого классического образования, то есть такого, которое имело свойство испаряться немедленно по оставлении пациентом школьной скамьи»: «Еще Грановский подметил это странное свойство российского классицизма: «Студенты (...) занимаются хорошо, пока не кончили курса», или другими словами, до тех пор, куда может потребоваться сдача экзамена. После сего, как и следует ожидать, наступает полнейшая «свобода от наук''' (Салтыков-Щедрин М.Е. Господа-ташкентцы // Собр. соч. Т. 3. М., 1988. С. 99).

¹¹³ - По правилам тех лет от полученных при окончании гимназии отметок зависело поступление в университет в пределах своего округа без экзамена. Плохая отметка по поведению автоматически лишала гимназиста возможности стать студентом университета.

¹¹⁴ - все свое (то есть свои вещи) (лат.).

¹¹⁵ - В своей статье «Значение XVII века и его «кантов», и «псалмов» в области современного церковного пения так называемого «простого напева''' Смоленский писал об

искусстве «excellenter canere»: «Эти басовые рулады составляли в старину особое искусство – так называемое «эксцеллентование», то есть искусство превосходно петь, «excellenter canere». Эксцеллентование было, вероятно, очень любимо и очень распространено. Почти все бесчисленные у нас переложения древних роспевов снабжены партией эксцеллентирующего баса. Известно, что император Петр I, этот «Питер-бас», очень любил эксцеллентовать, становился прямо на клирос и пел по тетрадкам певчих. Поэтому и сохранилось много тетрадей именно партии эксцеллентирующего баса с подписями: такого-то числа и года в таком-то храме «по сей книге изволил петь сам великий Государь, Царь Петр Алексеевич, а голос он держал тенор-бас», по-нынешнему – баритон» (сб. «Памяти Степана Васильевича Смоленского». СПб., 1910. С. 66).

¹¹⁶ - Правильно – Владимир Николаевич Логинов, преподаватель русской словесности в Первой гимназии с 1863 по 1866 год.

¹¹⁷ - Вскоре после назначения министром народного просвещения (14 апреля 1866 года) Д.А. Толстой совершил поездку по Волге, посещая гимназии в губернских городах Астрахани, Саратове, Самаре и Симбирске. Казанскую Первую гимназию Толстой посещал 3, 5 и 8 сентября.

¹¹⁸ - И.А. Износков принадлежал к дворянскому роду, берущему свое начало от известного в XII веке боярина Степана Ивановича Кучки (на месте богатых селений Кучки князь Долгорукий заложил Москву). Износков пользовался известностью как талантливый педагог и этнограф. В Воспоминаниях Смоленский упоминает о несчастных браках Износкова. Первая его жена – Аделаида Гавриловна Шестакова умерла в 1864 году; вторая – Наталия Дмитриевна Руднева в 1869 году.

¹¹⁹ - Наряду с математическими исследованиями А.К. Жбиковский опубликовал ряд педагогических пособий, в частности – «Основания общей арифметики для гимназии» (СПб., 1862).

¹²⁰ - «Особое мнение учителя Первой казанской гимназии Николая Ленстрема по вопросу о мерах взыскания за проступки учеников» было напечатано в «Циркуляре по Казанскому учебному округу» за 1866 год (№ 12. С. 95–99).

¹²¹ - Имеется в виду Франко-прусская война 1870–1871 годов, в которой Франция потерпела полное поражение.

¹²² - «это один из нашей семьи» (фр.).

¹²³ - Эльснитц Л.И. Руководство к практическому изучению немецкого языка. Ч. 1–2. 2-е изд. М., 1857–1861.

¹²⁴ - «Невозможно!» (нем.).

¹²⁵ - Причиной увольнения профессора М.М. Зефирова из академии в ноябре 1862 года и последовавшей затем долгой опалы явилось его столкновение с архиепископом Казанским Афанасием. Спустя годы, вернувшись из Тамбова и став профессором Казанского университета, Зефиров избирался почетным членом Казанской духовной академии. В деле инородческого образования он выступал сторонником Н.И. Ильминского, участвовал в организации его Крещено-татарской школы. В Богоявленской церкви Казани, где Зефиров служил священником, было положено начало православному богослужению на татарском языке.

¹²⁶ - Божия Матерь Одигитрия (Путеводительница) Смоленская – одна из особенно почитаемых на Руси икон. Начало почитания этой древнейшей православной святыни в Казанской губернии относится к началу XVII века, когда инок Евфимий благословил ею основанную им под Казанью монастырскую обитель – Седьмиозерную Богородицкую пустынь. Во время эпидемии чумы 1654 и 1656 годов икону обносили вокруг стен города, заносили в дома жителей, и чума стихала. В память чудесного избавления Казанский митрополит Лаврентий II (1657–1672) установил 26 июня празднование в честь иконы Смоленской Божией Матери и крестный ход из Седьмиозерной пустыни в Казань. Это событие всякий раз обставлялось очень торжественно. 24 июня архиепископ Казанский совершал в соборном храме Седьмиозерного монастыря всенощное бдение с акафистом Пресвятой

Богородице. На следующий день после литургии и молебна торжественным крестным ходом при участии духовенства двенадцати церквей Казани и множества стекавшегося народа икона доставлялась в Кизический монастырь, расположенный на пути к Казани, утром 26 июня крестный ход направлялся в город. Из Благовещенского собора Казанского Кремля выходила встречная процессия. Людьюми, съезжавшимися к празднику за десятки и сотни верст, был заполнен весь путь шествия – подъем от реки Казанки, Проломная улица, Ивановская площадь. В течение месяца икона находилась в Благовещенском кафедральном соборе. Ее обносили по церквам города и домам жителей, а 27 июля так же торжественно возвращали в Седьмиозерную пустынь.

¹²⁷ - Андрей Федорович Лихачев происходил из старинного дворянского рода Лихачевых, обосновавшегося в Казанской губернии в XVII веке, известного своими замечательными коллекциями фамильных портретов, гравюр, икон, фарфора, оружия и т.п. Эти коллекции, а также уникальное собрание монет, книг и рукописей научных работ самого А.Ф. Лихачева, были подарены после смерти ученого городу Казани и образовали так называемый Лихачевский музей.

¹²⁸ - Знаменский П.В. История Казанской духовной академии. В трех выпусках. Казань, 1891–1892.

¹²⁹ - Знаменский П.В. На память об Н.И. Ильминском. Казань, 1892.

¹³⁰ - П.И. Котельников, будучи преемником Н.И. Лобачевского в Казанском университете, поддерживал математический факультет на столь же высоком уровне. Кроме математики, он с 1854 года безвозмездно преподавал физику в Родионовском институте, состоял членом Казанского общества любителей русской словесности, читал публичные лекции по прикладной механике и общедоступной астрономии, занимался философией Гегеля, был хорошим пианистом.

¹³¹ - В 1844–1847 годах В.И. Григорович совершил свое легендарное путешествие по славянским землям, находившимся под турецким владычеством. Основная цель

состояла в собирании и копировании памятников славянской литературы. За время путешествия Григорович обнаружил тысячи греческих и славянских памятников (в частности, Номоканон XIII века и старейший евангельский текст – глаголическое Четвероевангелие), сделал множество копий с грамот, хранившихся в монастырях, рассмотрел и описал «целые кодексы глаголицы». Параллельно он занимался этнографией, записывал песни в Македонии, на берегах Дуная. Драгоценные коллекции рукописей, доставленные в Россию, сам Григорович не успел приготовить к печати; они стали известны в изданиях ученых более позднего времени. О своей поездке Григорович рассказал лишь в кратком сообщении – «Очерке о Европейской Турции», опубликованном в Ученых записках Казанского университета за 1848 год.

¹³² - В Дневнике от 23 июня 1902 года Смоленский сделал запись: «В 3 часа получил внезапное известие о кончине Александра Мариановича Ковальского в Пулкове. Как-нибудь запишу свои отношения к этой семье, с которой был когда-то очень близок. (...) Одно время я был очень влюблен в Софью Мариановну. Припоминаю и хоровое пение у них, когда я дирижировал любительским хором, исполнившим Херувимскую № 7 Бортнянского, концерт «Приклони, Господи, ухо Твое» [Львова] и еще что-то. Это было в половине 70-х годов, любителей же было человек до 30-ти, а пели мы в университетской церкви. У ныне покойного Александра Мариановича разошлась свадьба с Зиной Савельевой. Б его жизни был не один роман с знакомыми мне барышнями... Софья Мариановна вышла замуж уже в годах (1884) за учителя Шведенберга сейчас же после смерти ее отца (он, как и Александр Марианович, скончался от грудной жабы), во время моей первой поездки за границу. Елена вышла замуж вполне неудачно, разойдясь с мужем вскоре после свадьбы. Я видел в последний раз Александра Мариановича в прошлом году в Пулкове, где встретился чуть не через пятнадцать-двадцать лет со старушкой Генриеттой Серафимовной – дряхлой и полуслепой, вместо бывшей очаровательной женщины. Александр Марианович, росший вместе с братом моим

Василием, казался седеньким старичком низенького роста, несмотря на свои 45 лет. Мы перебрали в это свидание (7 октября) многое из казанской старины, такой хорошей, чистой, полной истинного служения науке, искусству. Упомяну и о том, что дочь Софьи Мариановны обладает, сколько могу судить, из ряда вон музыкальным дарованием, склонным более в сторону композиции. В старой семье Ковальских в здании обсерватории собиралось очень интересное общество образованных людей и музыкантов. Припоминаю из них Больтермана, Пенинских, Нефедьевых, Панаевых, Скворцовых, Догелей, Износковых, множество всякой веселой молодежи, к которой, когда было особенно весело, показывался всегда серьезный и приветливый старик-астроном. Терраса на юг и садик при обсерватории также были свидетелями многого веселья в далеком прошлом. Перед моим знакомством с Ковальским, как я слышал, я так надоел им моей игрой на скрипке с утра до вечера, что, наконец, получил от них кличку «сосед-Орфей». Чрезвычайно трогательно, как мне передавали, покойный пожелал исповедаться и приобщиться у православного священника, несмотря на свою принадлежность к лютеранскому исповеданию. Он, будучи в полной памяти, простился со всеми незадолго до кончины и, воскликнув: «смерть идет, вот она», тихо скончался. Похороны его, по случаю неприезда из Казани Софьи Мариановны, были в четверг 27 июня в 6 часов вечера по лютеранскому обряду. Софья Мариановна заболела в дороге и вернулась домой из Нижнего» (РГИА, ф. 1119, оп. 1, ед. хр. 8, л. 9 об.–10).

¹³³ - «Сон в летнюю ночь» (нем.).

¹³⁴ - «Два Аякса» – по аналогии с двумя героями «Илиады» Гомера, которые были неразлучными друзьями.

¹³⁵ - По уставу от 18 июня 1863 года Казанский университет имел четыре факультета: физико-математический, юридический, медицинский и историко-филологический, выбранный Смоленским при поступлении в 1867 году.

¹³⁶ - «Учебник уголовного права» В.Д. Спасовича (СПб., 1863) был первым общим руководством по уголовному праву, вышедшим после реформ 1860-х годов. «Курс русского уголовного права» профессора Петербургского университета

Н.С. Таганцева публиковался в 1874–1880 годах. Позднее был переработан автором: в 1887–1892 годах издан под заглавием «Лекции по русскому уголовному праву» и в 1902 году в двух частях под заглавием «Русское уголовное право».

¹³⁷ - «Введение в православное богословие» (1847) – один из капитальных трудов историка и богослова митрополита Макария (Булгакова).

¹³⁸ - Так называемая «Тюбингенская историческая школа», или «Новая Тюбингенская школа» – направление в немецкой протестантской теологии, основанное профессором богословия Тюбингенского университета Фердинандом Бауром (у Смоленского – Бауэром). Исходным пунктом послужила книга ученика Баура Давида Штрауса «Жизнь Иисуса» (1835–1836, русский перевод – 1907). В изучении истории христианства и его памятников Тюбингенская школа применяла методы исторической критики, в результате чего появился ряд гипотез – в частности, о Евангелии от Марка как первоначальном, о позднейшем происхождении ряда посланий Павла, истолкование раннего христианства как синтеза стоицизма и эллинизированного иудаизма и др. Тюбингенская школа распалась в 1860-е годы.

¹³⁹ - Вероятно, Смоленский имеет в виду знаменитого немецкого историка Бартольда Нибура (1776–1831).

¹⁴⁰ - К этому времени на русский язык были переведены следующие работы английского историка и философа Томаса Карлейля: «История французской революции» (т. 1), «Исторические и критические опыты», «Герои и героическое в истории» («Современник», 1856), «Нибелунги» («Библиотека для чтения», 1857). В русском переводе вышел главный труд английского историка Генри Бокля – двухтомная «История цивилизации в Англии» («Отечественные записки», 1861; отд. изд. 1863–1864). Дважды издавался двухтомник сочинений Тимофея Николаевича Грановского (М., 1856; М., 1866).

¹⁴¹ - Николай Алексеевич Осокин, бывший студент Казанского университета, в 1867 году был утвержден в звании приват-доцента (представив в качестве диссертации изданную в

1863 году в «Ученых записках Казанского университета» работу «Савонарола и Флоренция») и прочел в Казанском университете свой первый курс по истории XIII века.

¹⁴² - «Марта, или Ричмондский рынок» – опера Ф. фон Флотова; «Травиата» – опера Дж. Верди; «Фауст» – опера Ш. Гуно.

¹⁴³ - Сводный курс лекций профессора Московского и Петербургского университетов П.Г. Редкина под названием «Лекции по истории философии права в связи с историей философии вообще» в семи томах вышел в Петербурге в 1889 году. Остальные семь томов из-за смерти автора не были изданы.

¹⁴⁴ - Имеется в виду кн.: Андреевский И.Е. Русское государственное право (Введение и ч. 1). СПб., 1866.

¹⁴⁵ - Константину Петровичу Победоносцеву, состоявшему профессором Московского университета по кафедре гражданского права (1860–1865), принадлежит четырехтомный «Курс гражданского права» (СПб., 1868; переиздан с дополнениями в 1873–1875).

¹⁴⁶ - Докторская диссертация «Первоначальный славяно-русский Номоканон» была защищена А.С. Павловым в 1869 году, тогда же издана в Ученых записках Казанского университета и удостоена Уваровской премии (у Смоленского ошибочно – Демидовской).

¹⁴⁷ - 16 апреля 1861 года на казанском Куртинском кладбище студентами университета и Духовной академии была устроена панихида по крестьянам, взбунтовавшимся после объявления манифеста 19 февраля 1861 года (об освобождении крестьян) и расстрелянным в селе Бездна Спасского уезда Казанской губернии. Наименование «Щаповской» панихида получила в связи с участием в ней известного профессора университета, историка А.П. Щапова: он произнес в кладбищенской церкви речь, за которую подвергся высылке. О влиянии Щапова на казанское студенчество историк П.В. Знаменский писал: «Каждая лекция Щапова, которую он хоть сколько-нибудь успевал обработать, дышала поэзией и

жизнью и давала или яркое освещение целой группе исторических фактов, или поэтически рисовала какой-нибудь исторический тип. Он был тенденциозен, имел множество недостатков и допускал пропасть научных ошибок, но студенты слушали его с увлечением и прощали ему все ради того только, что он давал им общие руководительные идеи и образцы, которыми с известными ограничениями и корректурами они могли воспользоваться в собственных работах по истории, расшевеливал их историческую мысль и своей искренней восторженностью возбуждал в них одушевленный исторический интерес и любовь к своей науке» (Знаменский П.В. История Казанской духовной академии. Вып. 3. Казань, 1891–1892. С. 243–244).

¹⁴⁸ - Университет закрывался в связи со «Щаповской историей» в 1861 году, при попечителе Казанского учебного округа князе П.П. Вяземском.

¹⁴⁹ - Имеется в виду русско-турецкая война 1877–1878 годов.

¹⁵⁰ - С 1788 года, по разрешению Екатерины II, в Уфе имели пребывание муфтии Оренбургские.

¹⁵¹ - Фраза из «Гамлета». – Ред.

¹⁵² - В архиве С.В. Смоленского сохранилась афиша этого концерта (РГИА, ф. 1119, оп. 1, ед. хр. 205).

¹⁵³ - Можно предположить, что речь идет об артисте оперы (басе) Федоре Кирилловиче Львове (Ермакове). Известно, что он пал в Казани, принимая участие в антрепризе П.М. Медведева в 1875–1880 годах.

¹⁵⁴ - Археологические съезды регулярно проводились в России в 1869–1911 годах по инициативе Московского Археологического общества. Казанский съезд был четвертым по счету и состоялся в 1877 году.

¹⁵⁵ - Вместо: «Post iucundam iuventutem, post molestam senectutem nos habebit humus»; то есть вместо: «После удовольствий юности, после тягот старости обратимся в прах» – «После тягот юности, после удовольствий старости обратимся в прах». – Ред.

¹⁵⁶ - Целью назначения А.Ф. Кони в Казань на должность прокурора окружного суда (с 16 июля 1870 по 20 мая 1871 года) было создание новых судебных учреждений, предусмотренных реформой 1864 года.

¹⁵⁷ - Последние годы жизни Н.Д. Дмитриева прошли в Таганроге. Впоследствии по просьбе Смоленского А.В. Преображенский посетил там побочного сына Дмитриева – Алексея Николаевича Пестова и сообщил Смоленскому 4 февраля 1898 года, что тот имеет собранные произведения своего отца и «охотно расстался бы с этим наследством, особенно в вашу пользу, так как называет Дмитриева вашим учителем. Посему я сообщаю вам его адрес, по которому вам, вероятно, удастся получить [если] не то, чего вы ищете, то может быть сведения более подробные об оставшемся после Дмитриева» (РГИА, ф. 1119, оп. 1, ед. хр. 154). В архиве Смоленского в папке с материалами о Пасхалове и Эрарском (РГИА, ф. 1119, оп. 1, ед. хр. 23), ставшими основой его изданных статей, хранятся и отрывочные записи о Дмитриеве.

¹⁵⁸ - Известный немецкий криминалист К. Миттермайер выступал за смягчение западноевропейских уголовных кодексов; отмена смертной казни, внесенная в «основные права» немецкого народа в 1848 году, во многом обуславливалась влиянием его идей.

¹⁵⁹ - «Например?» (фр.).

¹⁶⁰ - М.В. Лентовский с 1865 года работал в провинции – в Курске, Казани, Пензе и имел большой успех в опереточных ролях. С 1871 года служил в московском Малом театре. Помимо московской оперетты (так называемого «Фантастического театра», переименованного позднее в «Антей»), Лентовский организовал несколько опереточных театров в Петербурге и Нижнем Новгороде, в 1882 году открыл «Новый театр» в Москве. В бытность его режиссером Частной русской оперы С.Н. Мамонтова (1898–1901) на сцене этого театра были поставлены «Сказка о царе Салтане», «Чародейка», «Хованщина».

¹⁶¹ - Антрепризы П.К. Милославского (в частности, в Казани в 1852–1858 годах) отличались высоким уровнем актерской игры и оформления спектаклей, обращением к лучшим произведениям классической драматургии. В роли Гамлета, как отмечала театральная критика, Милославский отошел от эффектной манеры знаменитого трагика В.А. Каратыгина и трактовал роль скорее в ключе семейно-психологической драмы.

¹⁶² - Т.Г. Шевченко в сентябре 1858 года в Нижнем Новгороде познакомился с Н.А. Брылкиным, главным управляющим одной из пароходных компаний, и его семьей. В доме Брылкиных он повстречался с актрисой Екатериной Борисовной Пиуновой, которая чуть было не стала его женой; впоследствии она играла на сцене в Казани и вышла замуж за актера М.К. Шмитгофа. О ее воспоминаниях см.: Юшков Н.Ф. К истории русской сцены. Е.Б. Пиунова-Шмитгоф в своих и чужих воспоминаниях. Казань, 1889.

¹⁶³ - Итальянские оперные труппы начали посещать Казань с 1851 года; первое турне по городам Поволжья было устроено итальянской петербургской труппой, организованной А.Л. Неваховичем, помощником директора петербургских Императорских театров. В труппу входили Амалия и Луиза Корбари (обе сопрано; особым успехом пользовалась Амалия). В 1860 году антрепренер фон Бергер привозил в Казань из Одессы итальянскую труппу, в которой выделялись Мансуи – сопрано, Фискетти – тенор, Финокки – баритон. Краткое, без подробностей, упоминание о гастролях итальянской оперной труппы в Казани в 1858 году имеется у Н.П. Загоскина в его книге «Спутник по Казани» (1895).

¹⁶⁴ - «Аскольдова могила» – опера А.Н. Верстовского (1835) на либретто М.Н. Загоскина.

¹⁶⁵ - Аполлинарий Контский был хорошо известен современникам благодаря многочисленным гастролям по городам Польши, России, Европы, начатым им в самом раннем возрасте. Об игре юного Ап. Контского с похвалой отзывались Г. Берлиоз, Дж. Мейербер; Н. Паганини завещал ему одну из своих скрипок и ряд рукописных произведений, ставших известными в

исполнении Контского. В 1852–1860 годах Контский служил придворным солистом в Петербурге, в камерных концертах выступал вместе с А.Г. Рубинштейном, А.С. Даргомыжским, Т. Лешетицким. Обосновавшись с 1861 года в Варшаве, Контский создал там Музыкальный институт (консерваторию) и руководил им до конца жизни. В ансамбле с дочерью пианисткой Вандой Контской гастролировал в 1870-х годах в Туле, Воронеже, Киеве, весной 1873 года в Казани.

¹⁶⁶ - Пианист Антон Контский большую часть жизни прожил в России и погребен в местечке Иваничи Новгородской области. Его концертные выступления пользовались особым успехом в провинции. Среди многочисленных фортепианных сочинений Антона Контского одно время была популярна эффектная пьеса «Пробуждение льва» («Le réveil du Lion»), написанная композитором под впечатлением событий Французской революции 1848 года.

¹⁶⁷ - Крупнейший русский антрепренер, актер, режиссер Петр Михайлович Медведев впервые появился в Казани со своей самарской труппой летом 1866 года, выступив на сцене Александровского сада. В 1867 году, с восстановлением каменного здания театра на Театральной площади (прежний деревянный театр на Арском поле сгорел), медведевская труппа обосновалась в Казани вплоть до 1872 года. По истечении пятилетнего контракта артисты перебрались в Орел и вновь вернулись в Казань в 1874 году. Антреприза Медведева продлилась до 1887 года.

¹⁶⁸ - Дом этот, стоящий вместе с флигелем в лучшей части Казани, на Лядской улице, до сих пор еще каким-то образом цел в руках моего приятеля «Лельки Панаева» – Ахиллеса Лиодоровича. К дому примыкает большой двор и огромный сад, сделавшийся потом местом леших увеселений и гуляний казанцев под названием «Панаевского сада».

¹⁶⁹ - «Эквитация» от латинского equitatio (верховая езда); очевидно, выражение надо понимать как «бог верховой езды». – Ред.

¹⁷⁰ - Эту работу разыскать пока не удалось. А. А. Панаев, в прошлом адъютант князя А.С. Меншикова, выпустил книгу о нем «Князь А.С. Меншиков (1853–1869). Рассказы А.А. Панаева». СПб., 1877.

¹⁷¹ - Валериан Александрович Панаев по окончании Корпуса инженеров путей сообщения 26 лет занимался железнодорожным делом: он служил в партии по изысканию, постройке и эксплуатации Николаевской железной дороги (1844–1854), изучал эксплуатацию и организацию подвижного состава железной дороги за границей, участвовал в строительстве Грушевской (1860) и Курско-Киевской (с 1866) железных дорог в качестве подрядчика и инженера, ответственного перед предпринимателями и правительством. Валериану Александровичу принадлежит также заслуга строительства в Петербурге так называемого Панаевского театра. В период знакомства со Смоленским Панаев находился уже в отставке и работал над вскоре вышедшими книгами «Восточный вопрос» (1877) и «Финансовые и экономические вопросы» (1878).

¹⁷² - Замечательная артистка оперы, камерная певица и педагог Александра Валерьяновна Панаева-Карцова обладала голосом чарующего тембра, ярким сценическим талантом и внешностью редкой красоты. Она восхищала Э. Золя, А. Апухтина, Ф.М. Достоевского, А.Г. и Н.Г. Рубинштейнов, Г. Флобера, И.С. Тургенева, П.И. Чайковского. Впечатления Смоленского от ее пения относятся ко времени, которое было для Александры Валерьяновны лишь началом большого творческого пути. По совету Тургенева она совершенствовалась в вокальном искусстве в Париже у Полины Виардо (1874–1877), работала над партиями Миньон (из одноименной оперы, под руководством автора, А. Тома), Маргариты («Фауст», под руководством Ш. Гуно) и дебютировала на оперной сцене в Пицце. Впереди был дебют в Петербурге, выступления на лучших оперных и концертных сценах Милана, Неаполя, в Триесте, Вероне, Венеции, Флоренции (с А. Мазини), Москве (Частная русская опера С.И. Мамонтова), Лондоне, Варшаве. Панаева-Карцова стала первой исполнительницей многих

романсов П.И. Чайковского (семь романсов ор. 47 посвящены ей) и исполнила партию Татьяны в первом концертном исполнении «Евгения Онегина» (1879, салон Ю. Абазы).

¹⁷³ - Модель скрипки с резной головкой в виде мужской головы. – Ред.

¹⁷⁴ - Эта фотография сохранилась (ГЦММК, № 29.214/V).

¹⁷⁵ - Устав Казанского кружка любителей музыки был утвержден министерством внутренних дел в 1881 году и тогда же опубликован. Кружку покровительствовал губернатор А.К. Гейнс, большой меломан, предоставлявший для камерных и симфонических собраний дворец в Казанском Кремле. Дирижировал оркестром М.П. Мусорин. Кружок учредил в Казани первую бесплатную музыкальную школу под руководством В.Н. Пасхалова. По увольнении губернатора Гейнса кружок располагался в неудобном помещении и в 1884 году распался. (См.: Кантор Г.М. Начало профессионального музыкального образования в Казани и его связи с оперным театром и любительским музицированием // Вопросы истории, теории музыки и музыкального воспитания. Казань, 1970. С. 88–89).

¹⁷⁶ - Вскользь упомянутая в мемуарах фамилия Детлов встречается в дневниковых записях Смоленского. Так, 9 октября 1902 года Смоленский записал о кончине в Риге Рудольфа Петровича Детлова – «бывшего учителя немецкого яз[ыка] в Казани, оч[ень] дельного как в этой части, так и в хоровом пении, которое он очень любил и знал, особенно же в немецкой его л[итерату]ре». «Детлов, – продолжает Смоленский, – был очень недурной дирижер. Я виделся с ним в последние разы случайно дважды – в Берлине и на вершине Риги у Люцерна. Человек был узколобый немец, но добрый и прилежный, желал и делал добро людям по хоровой части. Учитель был, как говорили, прекрасный» (Дневник № 4 – РГИА, ф. 1119, оп. 1, ед. хр. 8, л. 54).

¹⁷⁷ - своего рода (лат.).

¹⁷⁸ - О Людвиге Казимировиче Новицком известно немного, а именно, что в 1870 году он открыл в Казани частную платную

музыкальную школу, которая с перерывами просуществовала около пятнадцати лет.

¹⁷⁹ - Вера Викторовна Тиманова, пользовавшаяся славой одной из лучших пианисток своего времени, игре на фортепиано обучалась с 6-летнего возраста у М. Игнатович, в 1863–1865 годах – у Л.К. Новицкого в родной Уфе. Здесь же, в Уфе, под руководством Новицкого она подготовила программу своего первого концертного выступления (1864). Впоследствии училась у П.Л. Петерсена в Петербургской консерватории (1865), К. Таузига в Высшей музыкальной школе в Берлине (1868–1870), у А.Г. Рубинштейна в Петербурге и у Ф. Листа в Веймаре (1872–1873). В течение семидесяти лет выступала с концертами в России и странах Европы.

¹⁸⁰ - Виктор Пикандрович Пасхалов был известен как автор романсов на стихи Н.П. Огарева, А.К. Толстого, А.Н. Плещеева, А.А. Григорьева, М.Ю. Лермонтова, Я.П. Полонского, как составитель сборника русских народных песен, записанных с голоса певца А.Ф. Макарова-Юнева (не опубликован, утерян). В Казань Пасхалов попал в расцвете творческих сил, после посещения им в Петербурге музыкальных собраний Балакиревского кружка (1872). Он давал уроки фортепианной игры, возглавил первую в Казани бесплатную музыкальную школу, студенческий хор, пользовавшийся успехом у молодежи. Жизнь музыканта прервалась трагически – самоубийством в припадке мании преследования. Смоленский посвятил ему статью «Памяти В.Н. Пасхалова» в «Русской музыкальной газете» (1905, № 9/10. Стб. 258–263). Вырезка этой статьи вклеена Смоленским в рукопись Воспоминаний и приводится в Приложении I к данной книге. На газетном поле вырезки Смоленский сделал надпись: «Сегодня был у меня сын Пасхалова Вячеслав Викторович и радостно сообщил мне, что по моему указанию (см. дневники) он получил автографы отца от Макарова-Юнева, в том числе и вещи, бывшие вполне неизвестными. 23 апреля 1905 г. ».

¹⁸¹ - Имеется в виду рассказ И.Ф. Горбунова «Воздухоплаватель» // Избранное. М.; Л., 1965. С. 27–30.

¹⁸² - О судьбе автографов Пасхалова см. в комментариях к статье о нем Смоленского в Приложении I.

¹⁸³ - Казанский купец М.М. Дмитриев, будучи страстным театралом, в 1865 году перекупил у купца Зурина здание деревянного зимнего театра на Арском поле и набрал две труппы: драматическую и итальянскую оперную (последнюю – лично за границей). В состав итальянской труппы входила Каролина Гриняски, оставшаяся затем в Казани и основавшая музыкальные классы и курсы вокального мастерства, просуществовавшие вплоть до XX века. Итальянская труппа Дмитриева пользовалась большим успехом, но выступала лишь год – 3 августа 1866 года театр сгорел (см.: Кантор Г.М. Предыстория Казанской оперы // Вопросы истории, теории музыки и музыкального воспитания. Казань, 1970. С. 52–88).

¹⁸⁴ - Итальянская оперная труппа под управлением Серматтеи гастролировала в Казани в конце 1860-х – начале 1870-х годов; в ее постановках принимала участие К. Гриняски.

¹⁸⁵ - Известная актриса П.А. Стрепетова говорила, что «в безбрежной русской провинции 70-х годов существовало всего восемь хороших театров – киевский, харьковский, одесский, тифлисский, воронежский, ростовский (на-Дону), саратовский и казанский», «среди них театр Медведева в Казани был чуть ли не единственным, где новые актерские силы получили возможность наилучшим образом обнаружить и развить свои дарования, тем самым совершенствуя искусство отечественной сцены» (цит. по кн.: Крути И. Русский театр в Казани. М., 1958. С. 162). Петра Михайловича Медведева современники называли «собирателем русского актера, русского театра, своего рода Иваном Калитой от театра» (Медведев П.М. Воспоминания. Л., 1929. С. 8).

¹⁸⁶ - А.А. Орлов-Соколовский по окончании Московской консерватории работал в театральных оркестрах в Астрахани и в Москве – в Малом театре и Кружке любителей музыки. В 1884 году переехал в Казань; в театре П.М. Медведева дирижировал оперными спектаклями, с 1887 года был директором Казанского отделения Русского музыкального общества и руководил симфоническими концертами. В 1886 году открыл

общедоступную музыкальную школу, в которую вложил все свои сбережения. Школа стала значительным явлением в жизни города, к концу 1880-х годов в ней насчитывалось около трехсот учащихся. Одаренные дети из бедных семей обучались бесплатно либо вносили половину платы. В школе существовали классы фортепианный, оркестровый, пения и драматического искусства. Практические трудности привели Соколовского к краху возглавляемой им театральной антрепризы (1888–1889), а затем и школы, расход на содержание которой превышал приход от платы за обучение. Несмотря на поддержку попечителей и частные займы, долги росли. После отъезда Орлова-Соколовского из Казани школа постепенно угасла.

¹⁸⁷ - Крупнейший ученый-ориенталист и педагог-миссионер Николай Иванович Ильминский был, так сказать, вычеркнут из ряда советских и постсоветских изданий. Между тем своей деятельностью он вписал одну из самых светлых страниц в историю просвещения многочисленных восточных народов, в особенности народов Поволжья. Сын пензенского протоиерея, Н.И. Ильминский окончил Пензенскую духовную семинарию и физико-математический факультет Казанской духовной академии, где, помимо основных наук, с большим успехом изучал арабский и татарский языки. По окончании курса (1846) был оставлен в академии как бакалавр восточных языков. В 1847 году вошел в комитет по переводу богослужебных книг на татарский язык вместе с известными учеными-ориенталистами А.К. Казем-беком и Г.С. Саблуковым. Направлялся в Египет и Сирию для изучения ислама и арабского, турецкого и персидского языков. По возвращении преподавал на вновь открытом противомусульманском отделении Казанской духовной академии. С 1858 года служил переводчиком в Оренбургской пограничной комиссии и занимался изучением тюркской филологии. Позднее вновь преподавал в Духовной академии и на кафедре арабско-турецкого языка в Казанском университете (1862–1872), редактировал «Известия» и «Записки» университета. Переводческая и педагогическая деятельность Ильминского прочно связана с историей русского

миссионерства в Поволжье. В эпоху Ивана Грозного Казанское ханство представляло собой воинственную мусульманскую державу с тенденцией к распространению ислама среди окружающих народностей. Эта тенденция сохранялась и под властью России, так как татарское ханство, потеряв политическое господство, сохранило экономическое влияние. Знание строя внутренней жизни разных поволжских народов позволяло татарам продолжать захват инородческих земель и подчинение себе их населения. Тысячи инородцев (чуваши, вотяки, башкиры, черемисы и другие), принимая мусульманство, бесследно растворялись в татарском этносе. Насколько широко насаждался ислам и насколько быстро шло отатаривание инородцев Казанского края, видно на примере чувашей. Сопоставление данных ревизий за семьдесят лет, с 1826 по 1897, свидетельствует, что в XIX веке произошла татаризация нескольких сотен тысяч чувашей, при этом они усваивали язык и быт татар до полного слияния с ними, то есть исчезали как самобытная народность. Такой успех мусульманской пропаганды объяснялся, с одной стороны, близостью языков и непрерывностью общения, а с другой – доступностью ислама как религиозной системы. Ильминский писал, что «сила мусульманская в лице школ, мулл, почти поголовно магометан обоего пола, с замечательным беспримерным единством и неотступностью старается водворить во всем инородческом населении магометанство и все инородческие племена втянуть в татарскую народность» (журнал «Сотрудник Братства св. Гурия», 1910, № 11. С. 171). Ильминский замечал, что у татар есть «какая-то моральная сила, какая-то национальная стойкость», которая «дает оттенок и тон смешанному населению»: «Недаром, где чувашаи, черемисы, вотяки и т.д. соседятся с татарами, эти инородцы отлично говорят по-татарски, а татары немногие умеют говорить языком иноплеменцев. Вся сила, кажется, в умственном развитии и в характере» («Сотрудник Братства св. Гурия», 1911, № 15/16. С. 242). Таким образом, к XIX веку татары-мусульмане представляли собой прочно организованную религиозно-гражданскую общину внутри русского государства.

Многочисленные члены ревностно оберегали свою общину от чуждых влияний, имели массу мечетей и школ. Основная власть сосредоточивалась в руках духовенства и богатых татар. С момента завоевания Казани русскому правительству было ясно, что внешнего прикрепления инородцев к России отнюдь не достаточно. Первому казанскому архиепископу Гурию было «наказано» «привлекать народ ласкою, кормами, заступлением перед властями, печалованием за вины перед воеводами и судьями», «тихо убеждать» к принятию христианства и крестить только добровольно. Дальновидный владыка обладал государственным мышлением и главным в деле христианизации считал просвещение через школьное обучение. Он устраивал при открывающихся монастырях первые школы для детей крещеных татар, черемисов, чувашей и вотяков. Вероятно, они представляли собой тип русских монастырских школ, где обучали азбуке, затем чтению Часослова и Псалтири. В XVII веке миссионерское дело почти заглохло, и ранее крещеные инородцы массами отпадали от православия. В начале XVIII века митрополит Казанский Тихон пытался возродить школы Гурия, устроил школу при архиерейском доме в Казани (1707) «в надежде священства», то есть обращения в христианство народов при помощи священников из их среды. К середине XVIII века подобные школы были открыты в Казани, Цивильске, Елабуге, Царевококшайске, Свияжске. Однако результаты были ничтожны: дети не усваивали школьной науки на чужом языке, и установилось мнение, что они не способны к развитию и просвещению. В 1764 году Синод и Сенат после совместного обсуждения решили закрыть инородческие школы. Предпринимались и иные меры по христианизации народов Поволжья. Так, в 1713 году было предписано «отписать на государя земельные владения тех некрещеных мурз, которые в течение полугода не примут крещения»; в 1720 году было велено давать льготы новокрещеным «во всяких государственных сборах и в изделиях на три года»; в 1722 году крещеные инородцы освобождались от рекрутчины. В 1731 году с целью организации миссионерского дела была учреждена «Контора новокрещенских дел». В 1740 году возглавлявший ее

архимандрит Димитрий (Сеченов) сообщал, что в Казани и в Нижегородской губернии «все до единого человека святым крещением просветились». Между тем подобные успехи были чисто внешними и временными. Действующим без знания родной речи и бытовых условий жизни инородцев, русским миссионерам приходилось прибегать к принудительным мерам по отношению к не понимавшим их проповеди новокрещеным. Это вызывало озлобление и жалобы на миссионеров. Значительно ослабло миссионерское дело в Казанской епархии в связи с указом Екатерины II от 1773 года о водворении в России веротерпимости. К 1799 году деятельность миссионеров-проповедников была совсем упразднена и поставлены муфтии – Оренбургский (1788) и Крымский (1794) с особыми при них мусульманскими духовными собраниями. Мусульманская типография в 1802 году была перемещена из Петербурга в Казань. В первой половине XIX века массовость отпадений крещеных инородцев начала угрожать исламизацией всего инородческого мира Поволжья. Русская церковь и правительство находились в большом затруднении. Болезненно острый характер приобрел вопрос инородческого просвещения. Указом 1820 года Св. Синод разрешил перевод богослужебных книг на инородческие языки. В 1847 году при Казанской духовной академии был образован комитет по переводу богослужебной литературы на татарский язык. Именно в нем и начал свою деятельность Н.И. Ильминский. Серьезно изучая восточные языки, ислам и непосредственно общаясь с инородцами, Ильминский пришел к убеждению в необходимости переводить богослужебные тексты на простой народный разговорный язык, а не на книжный татарский, малопонятный народу и прочно связанный с мусульманством. Он доказал необходимость в случае недостатка в разговорном татарском языке нужных слов употреблять слова русские, а не арабские, отказаться от арабского алфавита как не соответствующего фонетическим особенностям различных тюрских наречий. Об ошибках, сделанных переводческим комитетом в первые годы его работы, Ильминский писал: «Мне тягостно сознаться, но должно сказать, что нами тогда (в 1840-х годах) взято было

ложное направление, так сказать, ультрамагометанское; мы приняли за норму язык татарских магометанских книг, преисполненных арабскими и персидскими словами и оборотами, не употребляемыми простым народом, писали алфавитом арабским, и собственные имена писали по употреблению также магометанскому. Это обуславливалось... тогдашним состоянием науки, занимавшейся исключительно языком книжным и презрительно смотревшим на язык простонародья как ни к чему не пригодный и для высших истин христианства унижительный... После уже, когда я ознакомился ближе со старокрещеными татарами, киргизами и другими не книжными племенами, когда и в нашей общественной жизни пало крепостное право и возвысилось положение крестьянина, а в литературе заговорили довольно уважительно о поселянах, тогда я радикально изменил понятие о татарском языке, с уважением и исключительностью стал смотреть на народный татарский язык... Народность языка делает наши переводы доступными для всякого, старого и малого; наши переводы... содействуют сближению крещеных татар с русскими и облегчают им изучение русского языка и народности» (цит. по: Знаменский П.В. На память о Н.И. Ильминском. Казань, 1892. С. 255–256). Статья «Об образовании инородцев посредством книг, переведенных на их родной язык» («Православное обозрение», 1863, март) открывает ряд работ Ильминского об устройстве инородческого образования и о переводах. К ученому протянулись миссионерские нити со всего Поволжья, Приуралья и Сибири. В 1866 году в Алтайском крае была совершена первая служба на языке инородцев. В Казани в 1869 году прошло полное церковное богослужение на татарском языке при участии алтайского миссионера иеромонаха Макария (Невского). За этим последовали и первые опыты Смоленского по переложению церковных напевов на инородческие тексты. Ильминский разработал систему образования, в корне отличавшуюся от предшествовавших, где исключалось обучение инородцев на родных языках «во избежание сепаратизма». По мысли Ильминского, первоначальное обучение проводилось на родном языке по книгам,

печатавшимся русской графикой (кириллицей). Со второго-третьего года вводился церковнославянский, затем русский языки. Начало организации сети таких школ было положено открытием в Казани в 1863 году Центральной крещено-татарской школы. В 1872 году Ильминский, с целью подготовки учителей для миссионерских школ, открыл и возглавил Казанскую русско-инородческую учительскую семинарию с начальными чувашской, марийской, удмуртской и мордовской школами при ней. Бессменным директором семинарии он оставался до конца своих дней. Перу Ильминского принадлежит ряд учебников для инородческих школ и методические руководства для их учителей, переводы на татарский язык Книги Бытия (1863), Евангелия от Матфея (1855), Пасхальной службы (1869) и др. Многочисленные его статьи, посвященные народной словесности, обычаям и обрядам, а также лингвистические исследования печатались в Известиях Археологического общества, Бюллетенях Академии наук, Ученых записках Казанского университета, журнале «Православный собеседник», выходили отдельными изданиями. Блестящий знаток церковнославянского языка, Ильминский подготовил и издал Учебный Часослов, Учебную Псалтирь, Учебный Октоих. Он осуществил и издание текста Четвероевангелия, в котором учтены грамматические и орфографические особенности древнейшего Остромирова списка. Знаменитый славист И.В. Ягич в рецензии на этот труд заметил: «Во всех духовных заведениях такое Евангелие должно бы употребляться для упражнения в действительно высоком церковнославянском языке». Записка Ильминского, составленная в 1882 году и поддержанная К.П. Победоносцевым, прекратила деятельность специальной комиссии Синода, занимавшейся «поновлением церковного текста Евангелия». После смерти Н.И. Ильминского его школы стали испытывать давление со стороны как государственных чиновников, так и мусульманской духовной власти. Особенно интенсивным это давление стало после кончины К.П. Победоносцева (1907), покровительствовавшего Ильминскому и его делу. В 1907 году представители мусульман обращались к

П.А. Столыпину с требованием закрыть школы Ильминского, упразднить кириллицу, вернуть прежнее значение арабскому алфавиту и восстановить мусульманские училища. В связи с этой тенденцией Смоленский опубликовал статью «В защиту просвещения восточно-русских инородцев по системе Н.И. Ильминского» (СПб., 1905). Школы Ильминского окончательно были упразднены после революционных перемен в России.

¹⁸⁸ - Участие Смоленского в работе над переложениями богослужебных песнопений на инородческие языки имело эпохальное в истории миссионерства значение. Архив Смоленского содержит два интересных документа, освещающих подробности этого труда. В 1875 году Смоленский в «Докладной записке» Н.И. Ильминскому так описывал особенности своей работы: «Первоначально сравнивалось количество слов в той и другой редакции и затем самым тщательным образом исследовалось сравнительное расположение предложений и слов в предложениях. Затруднения, встречавшиеся при этом сравнении, заключались главным образом в том, что основная мысль молитвы, поставленная в русском тексте в начале, или в конце, или, наконец, в середине, не приходилась в соответствующем месте в переводе татарском. Другое затруднение состояло в том, что иногда одно слово нашего текста требовало в татарском переводе употребления многих слов, часто даже целого предложения, и наоборот; ввиду законов музыкального ритма и заключительного каданса немало затруднений встречалось также и с ударениями в словах. При всем этом было принято за безусловное правило сохранить самым точным образом церковный напев – ритм и число периодов. Последнее обстоятельство (периоды) было особенно затруднительно... Опыт поверялся исполнением с фортепиано и затем отдельно хором мальчиков-учеников из татар. Последние иногда делали свои замечания, совершенно инстинктивно, вроде того, что «здесь неладно»; удивительнее всего то, что впоследствии, уже хорошо вслушавшись в переложение, приходилось убеждаться в безусловной верности этих замечаний...» (Черновой вариант «Докладной записки от 19 декабря 1875 года директору Казанской учительской семинарии

от учителя пения Смоленского» – РГИА, ф. 1119, оп. 1, ед. хр. 16, л. 2–4). В «Докладной записке председателю Переводческой комиссии при Братстве св. Гурия Н.И. Ильминскому» от 23 февраля 1883 года Смоленский писал: «... На татарском языке уже имеются две партитуры Макарова и Емельянова, содержащие в себе возможно полное собрание всего переведенного и уже употребляемого при богослужении на татарском языке... Такое же полное собрание всего готового материала на чувашском языке есть в рукописи у воспитанника II класса Каз[анской] уч[ительской] семинарии – Николая Александрова, содержащей в себе пения из всенощного бдения... пения из литургии... Пения на черемисском языке, сборник которых есть у воспитанника II класса Каз[анской] уч[ительской] семинарии Ивана Фадеева, представляется таким же неполным собранием, именно: пения из всенощного бдения... пения из литургии (...) Когда составленные и совершенно исправленные партитуры будут готовы, то весьма удобно переписать их литографическими чернилами и отпечатать в числе примерно до 50-ти экземпляров. Эти партитуры полагаю весьма целесообразным разослать наиболее известным и знающим пение инородческим учителям и священникам, чтобы, применяя их на практике в школе и церкви, они могли по прошествии будущего учебного года прислать эти же партитуры со своими на ее листах замечаниями. Таким же путем следует испытать чувашскую и черемисскую партитуры в начальных школах Каз[анской] уч[ительской] семинарии, а татарскую в Каз[анской] крещено-тат[арской] школе. В будущем 1884 году упомянутые выше лица вновь соберутся в Казани, чтобы проверить все полученные замечания и затем окончательно редактировать, и напечатать партитуры, причем считаю необходимым, чтобы корректура была сделана самими составителями... [Они] большей частью сами регентуют хорами, занимаются переводами и переложениями... даровитые и знающие... Во всех них есть горячая любовь к церковному пению и самое искреннее желание распространить пение между инородцами. Двое из них – Макаров и Емельянов доставили мне каждый по весьма

объемистой, до 200 страниц, партитуре на татарском языке. Николай Александров и особенно Матвей Михайлов составили весьма много переложений, совершенно безукоризненных, на чувашском языке. Переложения Андрея Петрова (преподавателя Симбирской чувашской школы) – музыканта весьма редких способностей – уже в большинстве получили право гражданства. Мы имели кроме того бумаги покойного Василия Захаровича Малиновкина, заключающие в себе также весьма много хорошего материала на черемисском языке. Переложения Ивана Фадеева и Михаила Любимова также всегда мне казались совершенно удовлетворительными. Все эти господа учились в Каз[анской] уч[ительской] семинарии, связаны одною школою пения и одинаковым эстетическим развитием – при таких условиях, конечно, можно вполне надеяться на их усердие и готовность послужить на пользу своих братьев-инородцев» (РГИА, ф. 1119, оп. 1, ед. хр. 74, л. 1–2).

¹⁸⁹ - О «Курсе хорового церковного пения» см. сн. 217.

¹⁹⁰ - Об этом Смоленский писал в статье «Последние дни жизни и кончина Н.И. Ильминского» в сб. «Н.И. Ильминский. Избранные места из педагогических сочинений, некоторые сведения о его деятельности и о последних днях его жизни» (Казань, 1892). Материалом для статьи послужило письмо к К.П. Победоносцеву, написанное Смоленским непосредственно под впечатлением кончины Ильминского. Позднее Смоленский указывал, что Н.А. Бобровников, редактировавший сборник, самовольно переделал его статью, многое выпустил и многое вставил как бы от его имени.

¹⁹¹ - Старокрещеными татарами принято было называть татар тех местностей, население которых приняло крещение в XVI веке, а новокрещеными – тех, кто крестился, начиная с XVIII века, когда миссионерство вновь активизировалось. См. об этом: Можаровский А.Ф. Изложение хода миссионерского дела по просвещению казанских инородцев с 1552 по 1867 год. М., 1880. С. 21–22.

¹⁹² - П.В. Знаменский, подробно разбирая причины ухода Ильминского из академии и отъезда в Оренбург, указывает на принципиальные различия в понимании Ильминским и его

начальством целей противомусульманского отделения, на котором тот преподавал. «Ни ректор Иоанн, ни архиепископ Афанасий, – пишет Знаменский, – не понимали важности дела; первый по своей ученой гордости и презрению к исламу, второй по глубокой твердости в православной вере не могли себе и представить, чтобы мусульманство имело такую крепкую силу, как это изображал Ильминский. Им представлялось, что Ильминский просто раздувает эту силу, на самом деле не стоящую внимания серьезного человека». Мнения ученого о необходимости коренной реформы переводческой и просветительской деятельности противомусульманского отделения (замены книжного языка разговорным, арабского алфавита русским) они не разделяли; в развернутом преподавании мусульманства по его источникам видели увлечение Ильминского исламом. С целью «спасти студентов от пропаганды ислама» Ильминского перевели на кафедру математики, оставив за ним лишь преподавание татарского языка. Ильминский ответил уходом из академии. Вскоре, получив нарекание от обер-прокурора Св. Синода, а от митрополита Григория сожаление о потере «столь дорогого для академии человека», владыка Афанасий в журнале правления сделал запись: «Ильминского постараться задержать при академии». Однако было уже поздно» (см.: Знаменский П.В. История Казанской духовной академии. Вып. 2. Казань, 1892. С. 406–416).

¹⁹³ - Находясь в Оренбурге, Ильминский увлекся изучением языка киргизского народа, не имевшего своей письменности и испытывавшего сильное татарское влияние. Дети киргизов в школах учились татарской грамоте, писали по-татарски, то есть арабским алфавитом. В результате изучения и систематизирования Ильминским народной киргизской речи появился первый словарь киргизских слов с грамматическим очерком киргизского языка, а также «Самоучитель русской грамоты для киргизов» (Казань, 1861).

¹⁹⁴ - Алексей Александрович Бобровников одновременно с Ильминским окончил Казанскую духовную академию (1846) и был оставлен при ней бакалавром монгольского и калмыцкого

языков. Принимал непосредственное участие в организации противобуддийского отделения и преподавал на нем. Бобровников составил «Монголо-калмыцкую грамматику», введенную в употребление по указанию Синода во всех учебных заведениях, где изучался калмыцкий язык. За этот труд Академия наук присудила ему Демидовскую премию. Однако столь активно начатая научная деятельность вскоре была прервана. В 1855 году Бобровников уехал в Оренбург, где служил в пограничной комиссии под руководством известного ученого-ориенталиста В.В. Григорьева и после приезда в Оренбург Ильминского сотрудничал с ним в лингвистических работах. После смерти Бобровникова Ильминский взял на себя заботы о его семье. Впоследствии сын Бобровникова, Николай Алексеевич, заменил Ильминского на его директорском посту в Казанской учительской семинарии.

¹⁹⁵ - Вероятно, имеется в виду профессор Александр Абрамович Воскресенский, известный русский химик, «основатель самостоятельного развития химических знаний в России» (Д.И. Менделеев), который был ректором Петербургского университета с 1863 по 1867 год.

¹⁹⁶ - «Воспоминания о А.А. Бобровникове» Ильминского печатались в Ученых записках Казанского университета за 1865 год.

¹⁹⁷ - Коренной татарин, сотрудник Ильминского, проработавший с ним в течение тридцати лет, Василий Тимофеевич Тимофеев стал легендарной личностью в истории христианизации татарского народа. Он происходил из татарской семьи деревни Никифорово Мамадышского уезда, известного массовыми отступлениями старокрещеных татар от христианства. Мальчиком Василий, почувствовав тягу к православной вере, поступил в послушники Ивановского монастыря, где выучился русской грамоте. Его заметил профессор Духовной академии Гордий Семенович Саблуков и указал на него Ильминскому. Первая встреча Василия Тимофеевича с Ильминским была короткой, и вскоре Тимофеев вынужден был вернуться в родную деревню. Ильминский вспомнил о нем в 1862 году, когда начал первую свою

переводческую работу – букварь на татарском языке в новом, народном направлении. В Воспоминаниях описывается как раз тот момент, когда, с трудом разыскав Тимофеева, Ильминский поселился на летнее время в соседнем сече Тавели и начал «проверять» на Василии свой букварь. В следующем, 1863 году Ильминский помог Тимофееву перебраться в Казань, выхлопотав ему место практиканта татарского языка при миссионерском отделении Духовной академии. С этого времени Тимофеев – постоянный помощник Ильминского в переводческой, педагогической, миссионерской деятельности. Ильминский писал, что вместе с Тимофеевым они составляют «одного порядочного человека, как слепец и хромец в старинном русском апокрифе. Я лингвист и переводчик, имеющий однако же постоянную нужду в Тимофееве, как живописец в натурщике» (Отец Василий Тимофеевич Тимофеев. Некролог. Казань, 1896. С. 6). С помощью Тимофеева, с годами приобретшего большой опыт в переводческом деле, Ильминский создал целый ряд художественных переводов на татарский, а также организовал Казанскую центральную крещено-татарскую школу и многочисленные школы на периферии. Как первый учитель татар из их среды, Тимофеев за ревностное распространение образования получил медаль на Владимирской ленте (1866). Первым из инородцев он принял священный сан (1869), совершал богослужения в церквях Казани и в татарских селениях.

¹⁹⁸ - В автобиографических «Дневниках старокрещеного татарина», издававшихся под редакцией Ильминского в журнале «Православное обозрение» (1864), а затем включенных в сборник «Казанская центральная крещено-татарская школа» (Казань, 1887), Тимофеев подробно рассказывает о своей жизни. В частности, он описал поездки с учениками крещено-татарской школы во время летних каникул по татарским селениям, где они читали книги и пели церковные песнопения на родном языке, беседовали с населением о христианской вере. В результате у крещеных татар возникало доверие к школе Ильминского, и они с охотой посылали своих

детей учиться в Казань. Тимофеев устраивал школы и в самих татарских селах, оставляя там учительствовать своих учеников.

¹⁹⁹ - С началом службы в Духовной академии (1863), получив в академической слободе маленькую квартирку, Тимофеев вскоре поселил в ней трех татарчат из своей родной деревни и начал обучать их грамоте. Ильминский поддержал эту частную школу материально. Официальное открытие крещено-татарской школы произошло в 1864 году.

²⁰⁰ - Библиографию многочисленных переводческих и оригинальных трудов о. Макария (Невского) по 1895 год см. в «Томских епархиальных ведомостях» (1895, № 5). В 1899 году под его редакцией был напечатан полный Служебник на алтайском языке. В 1908 году Макарием был предпринят перевод всего Четвероевангелия на алтайский язык; к 1911-му были переведены и напечатаны Евангелия от Матфея, Марка и Луки и начато печатание Евангелия от Иоанна. В 1914 году вышло в свет «Полное собрание проповеднических трудов» Макария. Свидетельством теплых дружеских отношений Смоленского и Макария, не прекращавшихся и в последующие годы, являются два письма Макария, сохранившиеся вклеенными в книгу его духовных стихов, озаглавленную «Лепты» (изд. 4-е; Бийск, 1890 – Библиотека Петербургской духовной академии, № 31358) и содержащую дарственную подпись: «Его высокородию статскому советнику Степану Васильевичу Смоленскому от начальника Алтайской миссии Макария, епископа Бийского». К музыкальной части этого сборника, изданного в цифровой нотации, Смоленский имел некоторое отношение, что следует из упомянутых писем к нему Макария 1891 и 1892 годов, когда Степан Васильевич был уже директором Синодального училища и хора. «Томск, 26 апреля 1891 года Глубокоуважаемый и незабвенный Стефан Васильевич! Христос воскрес! Сердечно благодарю Вас за любезнейшее письмо Ваше, которым Вы доставили мне великое удовольствие, сообщив много интересного и полезного для меня об Алтайских Лептах. Простите мою косность в ответе: при всем желании моем, я не мог исполнить скоро долг благодарности. Приношу Вам глубочайшую благодарность за

распространение сведений о Лептах и лестные отзывы о них. Для публики, привыкшей слушать театральную музыку, напевы Лепты едва ли могут особенно нравиться. Лепта наша – для школ, внебогослужебных собеседований и простого народа. Там она прививается, распространяется и приносит пользу. О, если бы напевы Лепты получили право гражданственности в наших семинариях и епархиальных училищах! Оттуда они разнеслись бы по церковно-приходским школам, а отсюда – в народ. Какая здоровая и приятная пища для последнего! Не подобными ли песнопениями, только не с православным учением, распространяют свое учение наши сектанты и привлекают к себе массы простого народа. Я рад, что публика все более и более ознакомливается с Лептами. Закljučаю об этом из того, что московские и киевские книгопродавцы стали помногу брать на комиссию Лепты, особенно в последнее время. Да воздаст Господь Своею великою милостию Константину Петровичу [Победоносцеву] за его ревностное попечение о благе Церкви и мощное покровительство миссиям. С большим интересом ожидаю появления переложений избранных кант из Лепты на круглые ноты, о чем любезно Вы сообщили мне. И знаменные напевы я весьма люблю. Широким употреблением их в нашем училище и церкви мы едва ли кому уступаем. Вашим трудом в этом даже весьма интересуюсь. Если что появится в печати изготавливаемых Вами знаменных напевов, благоволи́те прислать мне или распорядитесь о присылке с наложным платежом. Посылаю Вам, дорогой мой Стефан Васильевич, заметку о Лептах, напечатанную в Томских епархиальных ведомостях: может быть Вам для чего-либо и пригодится. Я весьма рад, что наш образцовый церковный хор состоит теперь под Вашим образцовым управлением. Характер Вашего пения мне весьма нравится. Закljučаю об этом по пению некоего Ташкинова, учившегося в Казанской учительской семинарии, состоявшего в Вашем хоре и теперь регентующего в Улалинском хоре. (*) Сибирь в регентах имеет большую нужду. Нам для миссии нужен бы хоть один такой, который мог бы преподавать пение в нашем Катехизаторском училище и был бы знаком сам с теорией музыки. (*) Имеется в виду Николаевский

Улалинский монастырь близ Бийска. – Сост. Нельзя ли бы определить в одну из Ваших школ пения какого-либо из наших питомцев? Если Вам представится возможность дать на этот вопрос положительный ответ, то я был бы весьма благодарен. Еще раз приношу Вам, глубокоуважаемый Стефан Васильевич, сердечную благодарность за участие в деле, меня весьма интересующем. Призываю на Вас благословение Божие, с отличным уважением и преданностью имею честь быть Вашим покорнейшим слугою. Начальник Алтайской и Киргизской миссии Макарий, епископ Бийский». «Томск, 10 апреля 1892 года. Глубокоуважаемый и незабвенный Стефан Васильевич! Христос воскрес! Примите мою глубочайшую благодарность за труды по переложению стихотворений Лепты на круглые ноты. Вы проложили путь распространению Лепты во все пределы православного отечества и употреблению ее во всех школах, а через них и в привнебогослужебных собеседованиях, совершающихся не в храмах. Сколько людей получит назидание через труд Ваш! Но простите мою откровенность: Вы почему-то не включили в Ваш сборник такие песнопения, которые я считал, и теперь так признаю, наилучшими по содержанию, по напеву и приспособленности к Евангельским чтениям. Я разумею: 1) Из 1-й Лепты: «О, день гнева» [помета Смоленского: «№ 15"']. Эта канта в первом издании 1847 г. была положена на ноты с аккомпанементом фортепиано. О. Макарий [Глухарев] особенно любил эту песнь, чего она вполне заслуживает. 2) Песнь о Лазаре убогом [помета Смоленского: «№ 10«]. Она приспособлена к Евангельскому чтению. Пение ее возбуждает в мягких сердцах слезы, следовательно, у людей есть соответствующая напеву этой канты сердечная струна, которая при пении приходит в движение и производит в слушателе умиление. 3) Пение о таинстве [помета Смоленского: «Это ошибка (см. из 2-й Лепты: «Царица моя преблагая"', № 13]. 4) Песнь Св. В[еликомученику] Пантелеймону, благоговейно чтимому по всей России. 5) Канта «Суетен будешь ты, человек» (XXII) к сожалению, в отсутствие мое положена была моим регентом не на те ноты, на которые она была положена сперва автором (Виктором Ипатьевичем Аскоченским): она изменена к

худшему до неузнаваемости. Надеюсь, что если бы Вы услышали подлинный напев, то предпочли бы его не только нашему, в Лепте искаженному, но и Вашему исправленному. За всем тем – глубочайшая Вам благодарность. А Константина Петровича не знаю, как и благодарить за напечатание Лепты круглыми нотами. Как дело идет по переложению знаменных напевов? Я с радостью жду появления их, ибо весьма люблю их. Теперь слово о дорогом человеке. Вот не стало и Николая Ивановича [Ильминского]! Незабвен он для миссии Алтайской по редактированию грамматики алтайской, по школам алтайским, в которые перенесен дух из школ казанских, по переводам книг священных и богослужебных и других. Дух Николая Ивановича прошел почти через все наши переводы. Ни одна книга, напечатанная в Казани, не прошла корректурой мимо рук Николая Ивановича. Если у Вас, дорогой мой Стефан Васильевич, есть напечатанные переложения знаменного напева, то, сделайте милость, пришлите с накладным платежом. Я с любовью вспоминаю о нашем первом знакомстве с Вами в Казани в доме незабвенного Николая Ивановича. Помните ли Вы, как перелагали со мной на ноты алтайское «Хвалите имя Господне»? Но теперь Вы уже не тот Стефан Васильевич, образ которого врезался в моей памяти по впечатлениям того времени. То был молодой человек, теперь он, вероятно, стал уже мужем, едва ли не со сребристыми струнками среди волос. Будет празднословить. Простите. Не забывайте от всей души преданного Вам алтайца, ныне недостойного епископа Томского, убогого Макария». Сборник «Лепты» был первый раз издан в 1847 году с приложением в конце линейных нот и гармонизации первых восьми тактов нескольких кантов; последующие два издания сборника печатались вообще без нот; последнее, четвертое издание, упоминаемое в письме о. Макария, было выпущено с цифровыми нотами (все песни в гармонизации для четырех голосов). Издание «Лепт» на линейных нотах (в котором, судя по письму, принимал участие Смоленский) нам не известно. Некоторые песни «Лепт» входили в репертуар Синодального хора: так, в концерте 16 декабря 1890 года под

управлением В.С. Орлова им посвящалось все второе отделение, обозначенное в программе как «Псалмы и канты из сборников «Лепта» и «Вторая лепта в пользу Алтайской миссии"" (всего восемь номеров). Возможно, что переложение песен из «Лепт» на линейные ноты было сделано Смоленским для этого концерта.

²⁰¹ - О Шестакове и толстовской классической системе образования см. в комментариях к первой главе.

²⁰² - С образованием в Казани Братства св. Гурия (см. следующий комм.), куда вошел и главный его создатель – Ильминский, Крещено-татарская школа стала числиться в ведении Братства. Однако Ильминский стремился заинтересовать нуждами школы также разные министерства: хлопотал о пособиях в министерстве государственных имуществ, к ведомству которого, как казенные крестьяне, принадлежали все воспитанники школы; привлекал министерство народного просвещения, построившее главное каменное здание школы с церковью. Обер-прокурор Св. Синода Д.А. Толстой содействовал школе денежными пособиями из церковных средств. Среди частных лиц большую помощь оказал казанский купец С.А. Арефьев, выстроивший для школы двухэтажный деревянный дом на Арском поле за городом. Значительные средства жертвовались также членами царской семьи.

²⁰³ - Братство св. Гурия – одно из многочисленных церковных братств, которые начали возрождаться и создаваться после выхода в 1864 году закона о православных братствах. Целями их являлись: христианская благотворительность, строительство и украшение храмов, распространение и утверждение духовного просвещения, а также противодействие иноверцам и раскольникам. Братство св. Гурия было основано 4 октября 1867 года при казанском кафедральном соборе. Призванное продолжать деятельность первого просветителя инородцев архиепископа Гурия, оно занялось, главным образом, устройством школ. К началу XX века братских школ насчитывалось свыше полутора сотен. Братство содействовало переводам на инородческие языки богослужебных книг,

пользуясь для их печатания мастерскими Учительской семинарии Ильминского.

²⁰⁴ - См.: Ильминский Н.И. Переписка о трех школах Уфимской губернии. К характеристике миссионерских инородческих школ. Казань, 1885.

²⁰⁵ - Забрав в 1863 году Василия Тимофеева в Казань, Ильминский пристроил его поначалу на черные работы в Казанский женский монастырь (Тимофеев возил воду и топил печи). Затем Ильминский стал хлопотать для него о месте практиканта татарского языка в Казанской духовной академии. Ранее на эту должность приглашали ученых мусульман, Ильминский же настаивал, что язык во всей его чистоте может передать лишь крещеный татарин, не знакомый с мусульманской книжностью. «Рекомендуемый мною Василий, – писал Ильминский, – по-русски грамотен, даровит и, имея вообще ревностное желание образоваться и содействовать христианскому образованию своих соплеменников, должен, по всей вероятности, с полным усердием, от души заниматься со студентами». В сентябре это предложение было утверждено Синодом. Один престарелый владыка Афанасий относился к Ильминскому с упрямым предубеждением. На определение в академию Тимофеева он недовольно отозвался: «Вот уж ныне и водовозов стали в профессора академии брать». А когда Ильминский и Тимофеев явились к Афанасию в загородный архиерейский дом за архипастырским благословением на преподавание на миссионерском отделении, он принял их сурово, а Тимофеева просто выгнал, закричав на него еще при входе: «Ты куда, мужик, лезешь?». «Ильминский вышел с этой аудиенции взволнованный и, оставив своих спутников, пустился бегом в поле размыкать обиду. Но, успокоившись, он все-таки почел долгом рассеять неприятное чувство к архипастырю в Вас. Тимофееве, разъяснив ему, что владыка был усталый, что они сами виноваты в таком его приеме, потому что явились к нему не вовремя, уже после обеда, когда он, может быть, думал отдохнуть и проч.» (Знаменский П.В. На память о Н.И. Ильминском. Казань, 1892. С. 155–158).

²⁰⁶ - Школу посещали великий князь Алексей Александрович (1868), цесаревич, будущий император Александр III, с цесаревной, будущей императрицей Марией Федоровной (1869). В июне 1870 года школу осматривал великий князь Константин Николаевич. Основательно зная турецкий язык, он обратил внимание на употребление в переводах вместо арабского – русского алфавита. Ильминский писал впоследствии великому князю о подробностях своей системы переводов на народный татарский язык и убедил его в целесообразности этого метода. 27 августа 1871 года школу посетил император Александр II в сопровождении наследника и великого князя Владимира Александровича. «В последнее четырехлетие, – сообщали «Казанские губернские ведомости», – Казанская крещено-татарская школа ежегодно удостоилась посещения августейших членов царской семьи и даже самого государя императора ... Такого счастья, такого постоянного внимания не удостоивалось ни одно учебное заведение не только в Казани, но, вероятно, и в целой России» (1871, № 68).

²⁰⁷ - С 1872 по 1875 год Смоленский служил в судебном ведомстве и параллельно – учителем пения в семинарии. Из официальных документов Казанской учительской семинарии следует, что уроки истории и географии Смоленский получил уже после увольнения из судебного ведомства, с мая 1876 года («Дело об определении Смоленского С.В. преподавателем географии» – ЦГА Татарии, ф. 93, оп. 1, арх. 14).

²⁰⁸ - Певцов-мальчиков Смоленский брал из начальных инородческих школ, которые начали возникать при семинарии с 1874 года по образцу Центральной крещено-татарской школы. Сама же Учительская семинария состояла наполовину из русских, наполовину из инородцев, большей частью из татар.

²⁰⁹ - Обедница (от слова «обедня») совершается в определенные дни года вместо литургии; в случае, описываемом Смоленским, обедница служилась потому, что храм еще не был освящен. В обеднице пропускается ряд центральных песнопений литургии, в том числе Херувимская, «Верую», «Милость мира», «Тебе поем».

²¹⁰ - Имеется в виду непревзойденный шедевр Н.С. Лескова – повесть «На краю света»; в нее вошла, в частности, история, о которой рассказывает далее Смоленский со слов преосвященного Дионисия.

²¹¹ - О С.А. Рачинском и его методе преподавания математики см. в главе VIII и комментариях к ней.

²¹² - Яснополянская школа Л.Н. Толстого, открытая им в 1859 году, просуществовала три года и была закрыта самим писателем после бесцеремонного обыска, учиненного в его отсутствие полицией в Ясной Поляне и окрестных толстовских школах. Никаких «предосудительных бумаг» не было найдено, кроме частных писем, свидетельствующих о близком знакомстве Толстого с Герценом. Но за педагогическим журналом Толстого «Ясная Поляна» продолжал следить сам министр внутренних дел, считавший, что Толстой распространяет вредные идеи, ниспровергающие основы религии и нравственности.

²¹³ - Иван Яковлевич Яковлев сблизился с Ильминским в 1870 году, по приезду в Казань для поступления в университет. К этому времени он имел опыт работы в созданной им маленькой частной школе для чувашских мальчиков в Симбирске. В ту пору Яковлев был противником употребления чувашского языка в школах и находился под влиянием идей «обрусения инородцев с помощью русского языка во избежание сепаратизма». Ильминский убедил его примером своей Крещено-татарской школы в пользе и необходимости первоначального обучения на родном языке. В 1870–1871 годах под руководством Ильминского и при содействии профессоров Г.С. Саблукова и Н.Н. Булича Яковлев составил первый вариант чувашского алфавита на основе русской графики. Совместно с Ильминским он работал над переложениями крещено-татарских переводов на чувашский язык. В дальнейшем Ильминский постоянно поддерживал Яковлева в его многосторонней просветительской деятельности.

²¹⁴ - И.П. Сердобольский умер 7 мая 1878 года (см.: Письма Николая Ивановича Ильминского. Казань, 1895. С. 10).

²¹⁵ - Работа В.Н. Витевского «И.И. Неплюев и Оренбургский край в прошлом его составе до 1758 года (биографическо-исторический очерк)» впервые печаталась в «Уральских войсковых ведомостях» за 1873, 1874, 1875 годы. Последующая работа над очерком привела автора к созданию обширной монографии под заглавием «И.И. Неплюев и Оренбургский край в прежнем его составе до 1758 года», изданной, при субсидии Николая II, в Казани в 1889–1897 годах в пяти выпусках с приложением рисунков, портретов и карт. Большая часть территорий Средней Азии была присоединена к России в 60–70-е годы XIX века. Ташкент стал центром нового Туркестанского генерал-губернаторства. Сюда, кроме людей, направлявшихся с целью истинного просветительства, ринулась и целая орда чиновников-"цивилизаторов», занявшихся откровенным грабежом местного населения и присвоением денег, ассигнованных на казенные нужды. Все чаще и чаще Ташкент упоминался в уголовной хронике, хотя либеральная пресса затрагивала случаи лишь крайнего произвола чиновников.

²¹⁶ - Большая часть территорий Средней Азии была присоединена к России в 60–70-е годы XIX века. Ташкент стал центром нового Туркестанского генерал-губернаторства. Сюда, кроме людей, направлявшихся с целью истинного просветительства, ринулась и целая орда чиновников-"цивилизаторов», занявшихся откровенным грабежом местного населения и присвоением денег, ассигнованных на казенные нужды. Все чаще и чаще Ташкент упоминался в уголовной хронике, хотя либеральная пресса затрагивала случаи лишь крайнего произвола чиновников. Все это послужило материалом для книги М.Е. Салтыкова-Щедрина «Господа ташкентцы» (публиковалась в «Отечественных записках» в 1869–1872 годах), где фигурирует сатирически обобщенный тип «ташкентца» – «просветителя, свободного от наук», хищника алчного, наглого, не признающего никаких законов и нравственных норм. Из двух задуманных частей книги – «Ташкентцы приговорительного класса» и «Ташкентцы в

действии» – была осуществлена лишь первая, где показаны предыстория и генезис «ташкентцев».

²¹⁷ - «Курс хорового церковного пения» Смоленского был единственным в своем роде учебным пособием, нашедшим в конце прошлого и начале нынешнего столетия широкое практическое применение в народных школах Поволжья и, при посредстве С.А. Рачинского, в смоленских и тверских сельских школах. Предназначенный первоначально только для Казани, курс под заглавием «Голосовые упражнения хорового пения в Казанской учительской семинарии» был налитографирован в количестве 300 экземпляров в 1876 году. В декабре 1882 года Ильминский, хлопоча о повторном издании, писал обер-прокурору Св. Синода К.П. Победоносцеву, что «оканчивающие курс семинаристы, умеющие петь, снабжаются этим учебником, дабы они могли составить хор и обучать своих сельских учеников церковному пению», а также о том, что первое издание уже разошлось и поступают отовсюду требования на него (ОР РПБ, ф. 631, Письма к С.А. Рачинскому, декабрь 1882 года). В 1885 году Курс вышел в литографированном виде вторично; впоследствии издавался типографским способом в Казани (1888, 1897), Москве (1898, 1901) и Петербурге (1901, 1911).

²¹⁸ - Пиемия – общая гнойная интоксикация организма.

²¹⁹ - Протоиерей Димитрий Васильевич Разумовский с 1866 года начал читать на основанной им единственной в России кафедре истории церковного пения в Московской консерватории соответствующий курс. Труд Разумовского «Церковное пение в России» (Вып. 1–3. М., 1867–1869) стал первым фундаментальным исследованием в этой области.

²²⁰ - В основу официально принятых общих правил единоверия были положены условия из 16-ти пунктов, выдвинутые частью московских старообрядцев и регламентированные митрополитом Московским Платоном в 1800 году. По этим условиям разрешалось: двуперстное сложение и другие старые обряды, использование старых, дониконовских книг; поставление священников и диаконов по избранию прихожан, но с благословения епархиального

архиерея и с подчинением ему в делах судебных и духовных, минуя консисторию. В заключительном пункте говорилось: «Распри, раздоры и хулы ни с единыя стороны да не слышатся на содержание разных обрядов и книг». Учреждая единоверие, синодальная церковь предполагала, что «единоверцы Богом просветятся и в ни в чем не разнствующее с церковью придут согласие». Однако в среде старообрядцев вскоре появилось недовольство: единоверие обвиняли в лживости и двуличии, и на самом деле ряд переходов старообрядцев в единоверие имел социальные, а не религиозные основания. Митрополит Платон не принял выдвинутое старообрядцами условие о принятии в единоверческую церковь отпавших от синодальной церкви священников (так называемого «беглого священства») и вычеркнул пятый пункт условий, где старообрядцы просили не требовать своих священников к соборным молениям в синодальную церковь и не заставлять старообрядцев допускать в их храмы знаменующихся тремя перстами. Старообрядцев, в свою очередь, не устраивало зависимое положение единоверия в выборе священства. В царствование Александра I старообрядцы получили разрешение иметь беглых священников. При Николае I этот указ был отменен и против старообрядцев приняты суровые меры: в них видели церковных мятежников, и более того – «тайных мятежников вообще». В 1864 году часть старообрядцев объединилась под руководством петербургского единоверческого священника Иоанна Верховского и подала государю просьбу об уничтожении правил 1800 года и самого единоверия, прося дозволения образовать единое старообрядчество с самостоятельной иерархией, независимой от Синода. На эту просьбу был получен категорический отказ. В царствование Александра III единоверцы добились частичного исправления правил 1800 года. Так, согласно определению Св. Синода от 8 мая-17 июня 1881 года, дети, рожденные в смешанных браках, могли быть крещены по соглашению родителей в церкви единоверческой; к единоверию могли быть присоединены все, кто в течение пяти лет уклонялся от участия в таинствах Православной церкви; православные могли в уважительных случаях обращаться к

единоверческим священникам для исповеди и причащения. В 1886 году Синод издал «изъяснения о содержащихся в полемических против раскола сочинениях прежнего времени порицаниях на именуемые старые обряды». Профессора Московской духовной академии Н.Ф. Каптерев и Д.Ф. Голубинский выдвинули мнение об историческом равноправии двух форм крестного знамени – двоеперстия и троеперстия. IV миссионерский всероссийский съезд в Киеве и VI отдел Предсоборного присутствия в 1906–1907 годах признали равночестность древнего и нового обрядов. В числе прочего, у единоверцев, как и у всех старообрядцев, сохранялись (и сохраняются) устные и письменные традиции знаменного пения, утраченные синодальной церковью в начале XVIII века. Рассказ о своем знакомстве со старообрядцами и их пением Смоленский изложил еще раз в отдельном рукописном варианте, дополнив некоторые моменты. Этот вариант под заглавием «Знакомство со старообрядцами», вместе с неоконченными записками Смоленского «Значение современного старообрядчества для желающих изучить древнерусское пение», приводится в Приложении I.

²²¹ - Значительная часть приемлющих священство старообрядцев (в отличие от старообрядцев, не приемлющих священства – так называемых беспоповцев) образовала в 1840-х годах собственную церковную иерархию на территории Австро-Венгрии – в Белой Кринице (Буковина, ныне Черновицкая область Украины) во главе с бывшим митрополитом Босно-Сараевским Амвросием. Отсюда – названия «австрийское согласие», «белокриницкое согласие». Духовным центром белокриницкой иерархии стало Рогожское кладбище в Москве. Правительство пыталось ликвидировать эту организацию: ее руководители заключались в монастырские тюрьмы, на Рогожском кладбище была открыта единоверческая церковь, в белокриницких храмах опечатывались алтари. Однако ощутимых результатов эти меры не принесли.

²²² - «Царские дни» – дни восшествия на престол и коронации императора, рождения и тезоименитств императора, императрицы, наследника цесаревича и прочих особ

царствующего дома. 30 августа (12 сентября) празднуются именины Александра в связи с перенесением в этот день мощей святого равноапостольного князя Александра Невского из Владимира в петербургскую Александро-Невскую Лавру (1724).

²²³ - Во второй половине 1870-х Россия напряженно следила за освободительным движением против турецкого произвола в Боснии, Герцеговине и Болгарии. Сербия и Черногория в 1876 году выступили в защиту Боснии и Герцеговины. Черногорцы вели войну успешно, но сербская армия, возглавляемая добровольцем, русским генералом М.Г. Черняевым, была разбита после нескольких месяцев упорной борьбы. Император Александр II попытался достичь мирного соглашения путем дипломатических переговоров. Однако турки, надеясь на поддержку Англии, отказывались пойти даже на небольшие уступки, и Россия вынуждена была вступить в войну. 3 марта 1878 года между Россией и Портой был заключен Сан-Стефанский прелиминарный договор, по которому Турция признавала: независимость Черногории, Сербии и Румынии; образование из Болгарии (с Восточной Румелией, Македонией и частью Фракии до Салоник и Эгейского моря) автономного княжества под протекторатом Турции; введение в Боснии и Герцеговине преобразований, указанных константинопольской международной конференцией; «добросовестное» введение на Кипре органического статуса 1868 года; военную контрибуцию в пользу России в размере 1.410 миллионов рублей, с заменой большей ее части территориальными уступками. Мирный договор был ратифицирован императором Александром II в Санкт-Петербурге 4 марта 1878 года. Вслед за этим ряд держав (Англия, Австро-Венгрия, Германия, Франция, Италия, Турция), ревниво следивших за успехами России в этой войне, созвали Берлинский конгресс, решения которого, по сути, отменяли Сан-Стефанский договор.

²²⁴ - Генерал Михаил Григорьевич Черняев был известен своим участием в Крымской и Кавказской войнах, в покорении Средней Азии. Горячо сочувствуя восстанию в Герцеговине и Боснии, он вступил в тайные сношения с сербами,

задумавшими кампанию против Турции. Русское дипломатическое ведомство стремилось предупредить его выезд за границу, но Черняев обошел преграды и в июне 1876 года прибыл в Белград. Назначение его главнокомандующим основной сербской армии вызвало в России сильный резонанс: в Сербию устремилось из России множество добровольцев, сочувствие общества выражалось массой добровольных пожертвований.

²²⁵ - Соловецкая библиотека была переведена в Казанскую духовную академию в 1854 году ввиду появления вблизи Соловецкого монастыря английской эскадры (Крымская война). Перемещение ценных рукописей именно в Казань произошло благодаря настойчивому ходатайству просвещенного архиепископа Казанского Григория (Постникова). В созданном в 1855 году по его же инициативе периодическом издании «Православный собеседник» началась публикация памятников русской словесности с комментариями молодых бакалавров и профессоров академии. В связи с работами Смоленского над певческой частью рукописного собрания предполагалось и его участие в этом издании, что видно, например, из письма Ильминского к Победоносцеву от 25 октября 1884 года (см.: Письма Николая Ивановича Ильминского. Казань, 1895. С. 129).

²²⁶ - Результаты своих занятий соловецкими рукописями Смоленский изложил в «Общем очерке исторического и музыкального значения певческих рукописей Соловецкой библиотеки и «Азбуки певчей» Александра Мезенца», опубликованном в «Православном собеседнике» в феврале 1887 года. Основной же его труд на данную тему – «Описание знаменных нотных рукописей церковного пения, находящихся в Соловецкой библиотеке Казанской духовной академии» (1885), не был издан и ныне считается утраченным.

²²⁷ - Речь идет о Генрихе Ивановиче Крелленберге (см. Главу I и комментарии к ней).

²²⁸ - В отличие от старообрядцев, приемлющих священство, беспоповцы ведут церковную службу с помощью начетчиков и уставщиков. Беспоповцы разделяются на многие толки, или согласия. Федосеевское согласие в первой половине XIX века

было одним из наиболее значительных; его организационным центром являлась Преображенская община (располагалась на территории Преображенского кладбища в Москве).

²²⁹ - Хомония (раздельноречие, «наонное пение») – произнесение при пении дополнительных гласных между согласными и после заключительной согласной. При этом окончания глаголов множественного числа в прошедшем времени приобретают суффикс «хомо» – например, «согрешихомо» «беззаконовахомо»; отсюда и название – хомония. Хомония получила распространение с конца XV века. Существуют разные точки зрения на происхождение этого явления. Согласно одному из объяснений, особый способ огласовки текстов был порожден стремлением к продолжительному распеванию текста, что, в свою очередь, соответствовало характерному для XVI века стремлению к торжественности церковной службы. Церковный собор 1666–1667 годов постановил «гласовое пение пети на речь» и соответственно исправить тексты и напевы в книгах. Эта реформа позже была принята и частью старообрядчества, кроме некоторых беспоповских толков, в том числе федосеевцев.

²³⁰ - «Азбука знаменного пения», составленная старцем Александром Мезенцем в 1668 году, является едва ли не самым замечательным теоретическим руководством по чтению знаменной нотации. В приложениях к комментированному научному изданию «Азбуки» Смоленский опубликовал таблицы, демонстрирующие постепенное развитие крюкового письма и самих напевов, начиная с XII века. Издание (Казань, 1888) вышло с посвящением С.А. Рачинскому, который поддерживал Смоленского в его занятиях и принимал живое участие в изыскании средств для издания как «Описания» Соловецкой библиотеки, так и «Азбуки».

²³¹ - Речь идет о премии, учрежденной знаменитым русским богословом и церковным историком Макарием (Булгаковым), автором 13-томной «Истории русской церкви». Макарий пожертвовал 120.000 рублей, полученных им в качестве наград за свои сочинения, на премии за лучшие ученые труды.

Макариевские премии назначались поочередно Академией наук и Св. Синодом за сочинения по светским и церковным дисциплинам.

²³² - Ильминский писал Победоносцеву 8 октября 1887 года: «Смоленский нажил какие-то нелады в горле, почти совсем охрип. Он ездил в Москву, являлся к профессорам Склифосовскому и Беляеву. Они ему сказали, что у него расстроены голосовые связки от крайнего утомления (напряжения), и это не со вчерашнего дня, а издавна у него, и присоветовали ему воздержаться от пения и даже от сколько-нибудь громкого разговора. Поездка его в Петербург в 1886 году, участие в комиссии по обсуждению проблем пения для городских училищ и для духовных учебных заведений его сильно воодушевила и поощрила, и он с удвоенной горячностью принялся за обучение хора и спевки чуть не каждый день; притом, когда он преподает, он не щадит себя и своего голоса. Ну и надсадил горло» (Письма Николая Ивановича Ильминского. Казань, 1895. С. 237).

²³³ - См.: Смоленский С.В. По поводу предполагаемого преобразования программы преподавания церковного пения в духовных семинариях и училищах // Церковные ведомости, 1886, № 5–6. О содержании и обстоятельствах появления этой работы см. подробнее в третьем томе серии.

²³⁴ - Цикл «Исторических концертов» А.Г. Рубинштейна проводился в Петербурге в 1885–1886 годах, затем был повторен в Москве, Вене, Берлине, Лондоне, Париже и Лейпциге. Семь концертов цикла охватывали историю мировой фортепианной музыки от ее истоков до творчества современных Рубинштейну русских и западноевропейских композиторов. 16 ноября 1902 года Смоленский присутствовал на открытии памятника А.Г. Рубинштейну в Петербурге и в связи с этим оставил в Дневнике воспоминания об А.Г. Рубинштейне – пианисте и композиторе: «... мне всегда казалось, что совершенно не сравнимый ни с кем, совершенно неподражаемый и величайший пьянист, игра которого иногда была каким-то небесным откровением, был вместе лишен могучего творческого гения. Из множества его великих, больших

и малых сочинений ни одно, буквально ни одно не захватывало меня силою творчества. Игра Рубинштейна на фортепьяно – совсем другое дело, особенно, когда он был в ударе и исполнял Баха, Бетховена, Шумана и Шопена. Ничего подобного нет до сих пор решительно ни у кого. Это был недостижимый, величественный художник. Это был действительно гений! Никто не играл так изящно, глубокомысленно, просто и вполне захватывающе, – никто не заставлял, по крайней мере меня, так глубоко чувствовать силу музыки, как Антон Григ[орьевич] за фортепьяно. Знаменитые «Исторические концерты» дали мне столько незабвенных впечатлений, как никакие другие во всей моей жизни» (Дневник № 4, л. 75).

²³⁵ - исповеданием веры (фр.).

²³⁶ - См.: Смоленский С. В. К вопросу о программе преподавания пения в городских училищах // Циркуляр по Казанскому учебному округу, 1885, № 10; отдельный оттиск – Казань, 1885.

²³⁷ - Смоленский имеет в виду «Заметку об обучении пению в учительских семинариях и народных школах», которая была напечатана в журнале «Семья и школа» (1881, № 11). Причиной появления заметки стал поступивший в Казанскую учительскую семинарию запрос Министерства народного просвещения о применении в семинарии рекомендованного с конца 1860-х годов учебного пособия К.К. Альбрехта «Руководство к хоровому пению по цифирной методе Шеве с приложением 70-ти русских песен и 41-го трехголосного хора, преимущественно для народных школ». Критикуя «Руководство...», Смоленский указал на то, что в семинарии не удобно употребление преимущественно светского музыкального материала.

²³⁸ - В течение нескольких лет, начиная с марта 1887 года, Смоленский, по приглашению Д.В. Разумовского, помогал ему в работе над сверкой и дополнением в очередной раз переиздававшегося Московской Синодальной типографией полного круга певческих книг на квадратной ноте (подробнее об истории и задачах исправленного переиздания см. в третьем томе серии). Письма к С.А. Рачинскому передают некоторые подробности этой мало освещенной стороны деятельности

ученого. Приводим письмо, отразившее первые впечатления Смоленского о постановке дела в Синодальной типографии: «7 ноября [1887 года](...) Недоумение Ваше по поводу изданного недавно «Обихода учебного» я разделяю вполне, но стою к этому делу в совершенно странных отношениях. Мне показали его только по отпечатании и с приглашением дать возможно одобрительный отзыв, прибавив, что Обиход был уже причиной стычек между о. Разумовским и [Д.Н.] Соловьевым, а также между пр[отоиереем] Никанором и Шишковым. Я воздержался сказать что-либо немедленно, ибо имел в руках книгу не более трех часов и не желал огорчить жахавших одобрения. Но меня жестоко удивило, что глупейшая Азбука (*) перепечатана до последней буквы и с изменениями нотации, несомненно, к худшему. О[тец] Разумовский, которому я лично высказал это, развел руками, сказав в ответ: «Что с ними поделаешь! Не хотят взяться серьезно, все хотят тратить бумагу, но чтобы можно было утверждать: мы, мы подвинули, воскресили, привели в порядок все дело». (*) Имеется в виду так называемая Азбука на цефавтном ключе, об устарелости которой к тому времени неоднократно говорилось в печати, поскольку Обиход учебный продолжал служить одним из руководств по изучению церковного пения в духовно-учебных заведениях. – Ред. Мои доводы А.Н. Шишкову и особенно его главному справщику М.В. Никольскому (весьма умному) разбились вдребезги о несокрушимые по их словам условия печатания нотных книг. Что они не хотят взять для этого дела отдельного человека – это однако правда. С другой стороны, правда и то, что пр[отоиерей] Никанор далеко не судья в этом деле. Я хорошо помню пр[отоиерея] Никанора по Каз[анской] академии, распевавшего Херувимские, переделанные им из «Creation» ["Сотворения мира"] Гайдна и «Requiem» Моцарта. Он дилетант из самых слабых, древнего пения не знает, как кажется, совсем. Выходит, что та и другая сторона кипятятся, произносят ученые и трогательные выражения, якобы ревнуют о деле, но в сущности только борются между собою, не желая соглашения. Ссылка в этих случаях на специалистов окончательно портит дело, вызывая одних – отличиться и затоптать других, а других

отойти в сторону. У нас в России вообще не решаются вполне доверить что-либо одному знающему, но всегда обставляют призанного или неумелым, или злым контролем. Нет такого знания и дела, в котором не было бы спорных сторон; с другой же стороны можно утверждать, что спорные стороны, указываемые дилетантами, хотя и важны, но ведь не разрешаются же ими, а только запутываются. Без сомнения, Моск[овская] Син[одальная] типография приступила к делу печатания нотных певчих книг не только без понимания частных древнего пения, но даже без понимания заглавий певчих книг. [Справщик] М.В. Никольский, отличный ученый и человек, но отнюдь не церковный певец, с изумлением убедился, что они собирались издать отрывки великопостного Обихода под именем «Постной Триоди», то есть пропустили целую особую певческую книгу и предполагали под этим названием все содержание этих песнопений из полного нотного Обихода; что же сказать Вам о его изумлении, когда я возможно вежливо высказал, что они пропустили в плане издания нотную «Минею общую»? Когда я самым горячим образом убеждал их слушаться во всем о. Разумовского – мне возразили, что есть некие сомневающиеся в его знаниях; кто – не сказали. Беда, если это издатели московского обычного распева, то есть Комаров, Кашперов и компания. (...)Кланяюсь вам искренно и от всей души желаю Вам всего лучшего.Любящий Вас Ст. Смоленский»(ОР РНБ, ф. 631, Письма к С.А. Рачинскому, 1887, октябрь-декабрь, л. 73–75 об.).В последних строках письма нашел отражение конфликт между Д.В. Разумовским и другими московскими знатоками, членами Общества любителей церковного пения, в частности упомянутыми Смоленским В.Ф. Комаровым и В.Н. Кашперовым. Общество к этому времени уже выпустило в свет три части «Круга церковных песнопений обычного напева Московской епархии», которые ставили своей целью отразить современную певческую практику: песнопения Круга записывались с голоса знатоков. Разумовский считал, что подобный подход способствует разрушению древнего канона. Подробнее об этом см. в третьем томе серии.

²³⁹ - О Н.Ф. Добровольском и его деятельности в стенах училища см. в комментариях ко второй части главы VII – «Синодальный хор и училище церковного пения».

²⁴⁰ - Здание консерватории перестраивалось в конце 1890-х-начале 1900-х годов по инициативе директора В.И. Сафонова, в том числе заново построены были Большой зал и правое крыло.

²⁴¹ - Вступительная лекция курса истории церковного пения, прочитанная Смоленским в Московской консерватории 5 октября 1889 года, была посмертно опубликована журналом «Хоровое и регентское дело» (1911, № 6/7).

²⁴² - В указанном составе – И.В. Гржимали (1-я скрипка), Д.С. Крейн (2-я скрипка), Н.Н. Соколовский (альт), А. Э. фон Глен (виолончель) – квартет Московского отделения Русского музыкального общества в 1890 году дал первые свои концерты.

²⁴³ - Немецкий дирижер Макс Эрдмансдёрфер работал в России в 1882–1889 годах: дирижировал симфоническими концертами ИРМО и вел в Московской консерватории классы инструментовки и ансамбля. В 1889 году уехал в Бремен, где дирижировал в филармонических концертах и концертах Певческой академии. Еще раз приезжал в Россию в сезоны 1895/96 и 1896/97, для выступлений в концертах ИРМО в Петербурге, в октябре 1899 года гастролитировал в Москве.

²⁴⁴ - Имеется в виду Третья, «Героическая» симфония Es dur Бетховена.

²⁴⁵ - Французский дирижер и скрипач Эдуард Колонн, гастролитировавший в России в 1890 году, широко исполнял музыку современных ему французских авторов.

²⁴⁶ - О Б.Л. Яворском см. в комментариях к следующему разделу VII главы.

²⁴⁷ - «Что дозволено Юпитеру, не дозволено быку» (лат.).

²⁴⁸ - «Фераморс» (1862) – опера А.Г. Рубинштейна по Т. Муру.

²⁴⁹ - Композитор и музыкальный теоретик Георгий Эдуардович Конюс по окончании Московской консерватории (по композиции у А.С. Аренского, по теории у С.И. Танеева)

преподавал там же с 1891 года гармонию и инструментовку. Б 1899 году был уволен директором В.И. Сафоновым. Танеев, Смоленский и ряд других профессоров выступили в защиту Конюса в печати и на Художественном совете консерватории. Другая группа профессоров, поддерживавшая Сафонова, подала в дирекцию ИРМО заявление о невозможности совместной работы с Конюсом, что и послужило формальным поводом, оправдывающим увольнение. Подробности этого дела освещаются в таких изданиях, как, например: М.М. Ипполитов-Иванов. Письма. Статьи. Воспоминания (М., 1986. С. 101–102); П.И. Чайковский. Литературные произведения и переписка. Т. 16а (М., 1978. С. 113); Г.Э. Конюс. Статьи. Материалы. Воспоминания (М., 1965. С. 24–27); С.И. Танеев. Дневники. Т. 2 (М., 1982. С. 378, 380, 382–389).

²⁵⁰ - Сафонова поддерживали руководители Главной (петербургской) дирекции ИРМО. Кроме того, он имел связи «в высших сферах» через свою жену, дочь министра финансов И.А. Бышнеградского.

²⁵¹ - Статья Смоленского «По поводу увольнения Г. Конюса» была опубликована 3 октября 1899 года газетой «Московские ведомости» (№ 272). Подробное изложение этой статьи появилось вскоре в «Русской музыкальной газете» («Из московских нравов» – 1899, № 44, стб. 1095–1099). Вслед за статьей Смоленского «Московские ведомости» 5 октября напечатали статью Танеева; затем появились публикации Н.Д. Кашкина, М.Ф. Ушакова, М.И. Чайковского, Г.А. Лароша, А.Н. Корещенко. Приводим фрагмент из упомянутого Смоленским его Дневника № 2: [23 октября 1899 года] «Достойна внимания и обстановка случившегося: г. Сафонов воспользовался 1-м симфоническим собранием как 25-летием концертмейстерства И.Б. Гржимали и вышел на эстраду, будучи как бы на втором плане. Овации почтенному скрипачу были огромны. Но тем резче был переход к общему почти шиканью прямо в тот момент, как Сафонов встал за дирижерским пультом. Это шиканье продолжалось 5–6 минут, прерываемое хлопаньем первых рядов и возобновлялось перед каждой из трех пьес, не давая г. Сафонову начать исполнение. Вполне понятно, что

часть публики, сначала прямо недоумевавшая о причинах такого порицания (ибо московские газеты вполне отмалчивались на весь инцидент Конюса (...)), начала настаивать на исполнении симфонии как цели, для которой все явились в этот вечер (...)Сафонову нельзя отказать в удивительной стойкости, с которой он вынес весь этот небывалый и редкий скандал. Обладание собою он показал полное. Но тем не менее это было мужество человека, которому только и осталось отмалчиваться, так как, минуя неуместность протеста по делу Конюса именно в симфоническом собрании, ему только и можно было показывать свою позицию убежденного абсолютиста, действующего несмотря ни на какие протесты, ни на какие законы, ни на какие предостережения и увещания. Для Сафонова решение сдаться было бы равно самоотречению и сдаче себя в полное ничтожество и забвение, равно отречению от веры в надобность деспотизма начальника и бесправия подчиненного, равно выражению публичного преклонения перед отрицаемым им судом общества. Вполне понятна поэтому изумительная стойкость и выдержка этого убежденного генерала, хотя, по злой иронии судьбы, вместе и александровского лицеиста («пушкинского одноклассника» – по словам В.И. [Сафонова]), казака и старообрядца... Но и сила протеста, хотя и неуместного, была весьма выразительна и поучительна для очень многих, еще недоумевавших, что грубый начальник, превышающий свою власть, попирающий закон и страдающий заблуждением, что ради спасения порядка и дисциплины ему простится все, – есть сущий анахронизм; что прежде бывшие битые начальники не остаются на местах (в глазах публики), хотя бы и имели могуче-глупую поддержку из Питера ради принципа «порядка и законности». Поддержка эта, между прочим, выразилась в давлении цензуры, не пропустившей в подведомственных ей изданиях (...) ни одной статьи по делу Конюса, где бы толковалось против Сафонова, или в угрозах прекратить печатание объявлений Музыкального общества и т.п. Меры были предприняты и в Москве и в Петербурге весьма энергично, даже и «кумой» Сафонова с ее сыном, то есть великой княгиней Александрой Иосифовной и Конст[антином]

Константиновичем [Романовым]. Последний лично выразил желание, чтобы «Нов[ое] вр[емя]» молчало».

²⁵² - соединенными усилиями (лат.).

²⁵³ - Реквием Моцарта был исполнен Синодальным хором 15 марта 1891 года в Восьмом симфоническом собрании Московского отделения ИРМО (в память Н.Г. Рубинштейна) под управлением В.И. Сафонова, вместе с хором учащихся Московской консерватории.

²⁵⁴ - Речь идет о первых четырех томах Дневников, которые охватывают период 1889–1903, то есть время службы Смоленского в Синодальном училище и в Придворной певческой капелле. Ныне хранятся в РГИА, ф. 1119, оп. 1, ед. хр. 3, 5, 7, 8.

²⁵⁵ - Чудовские певчие – хор митрополита Московского, созданный в середине XVIII века и получивший свое название по кремлевскому Чудову монастырю, в котором тогда находилась резиденция московских архиереев. Федор Алексеевич Багрецов был певчим, солистом, а потом регентом этого хора; при нем (1840–1874) слава чудовских певчих достигла наивысших вершин (см. подробнее во втором томе серии).

²⁵⁶ - При И.Д. Бердникове, который отдал училищу 28 лет жизни, началось формирование Синодального училища как самостоятельного учебного заведения со своей образовательной программой. Подробнее см. во втором томе серии.

²⁵⁷ - В 1880 году, после кончины Бердникова, инспектором Синодального училища был назначен преподаватель греческого языка Петр Семенович Соколов. Н.Ф. Добровольский, служивший до того «младшим учителем», был перемещен на должность «старшего учителя». Инспектором Добровольский стал по инициативе Шишкова в 1885 году, после ухода Соколова. По утверждению нового штата училища в июне 1886 года Добровольский стал директором (утвержден в этой должности в октябре того же года), должность инспектора оставалась вакантной, пока не была совсем упразднена. В

декабре 1885 года Смоленский был вызван в Петербург министром народного просвещения И.Д. Деляновым и К.П. Победоносцевым для участия в комиссии по обсуждению программ пения для городских училищ и духовных учебных заведений. Тогда же ему впервые было предложено место директора Синодального училища.

²⁵⁸ - 8 марта 1893 года Чайковский возвратил тетрадь Алексея Петрова с письмом следующего содержания: «Многоуважаемый Степан Васильевич! Возвращаю при сем тетрадь контрапунктических работ А. Петрова, которую я просмотрел с великим удовольствием. Хвала и честь вам и Василию Сергеевичу! Я вынес из вчерашнего посещения вас самое отрадное впечатление» {Чайковский П.И. Полн. собр. соч. Т. 17. М., 1981. С. 60).

²⁵⁹ - Имеется в виду «Скрипичная школа» («Méthode violon», 1858) известного бельгийского скрипача, композитора и педагога Шарля Берио.

²⁶⁰ - Павел Николаевич Зубов, «тайный советник» и «ордена Святой Анны первой степени кавалер» – фигура очень типичная. Он был с Победоносцевым «на ты» и эксплуатировал это товарищество более всего на обедах по случаю престольных праздников, где пил и ел вволю, сплетничал и собирал сплети. Он был отставной бездельник, полный праздности и болтовни. Каждый приезд Победоносцева в Москву он не отходил от него ни на минуту, пользуясь бесхарактерностью Победоносцева. Во всех торжествах, даже несколько его не касающихся, Зубов был постоянный посетитель, невзирая на неимение приглашений. «Свадебным генералом» назвал его в лицо при всех Владимир Ромулович Завадский на торжестве при закладке Городской думы в Москве (у Иверской).

²⁶¹ - Помощник регента Николай Иванович Соколов был также очень типичной фигурой регента львовской выучки, отличный практик, очень плохой музыкант, пожалуй и совсем неуч, но считавший за собою многие достоинства, выражавшиеся в забавно-министерской физиономии этого сущего холопа, но в известных случаях гордого и злого.

Интриган он был самый нетерпимый, а насчет неотдачи денег, которые он занимал всюду, – еще того более. Человек этот был способен на всякий донос, на всякую ложь, но держал себя совершенно министром и недостаточно оцененным гением. Лентяй он был прямо № 0. Он способен был проводить часовые спевки, решительно ничего не делая, болтал зачем-то о септаккордах, задержаниях и т. п. перед певчими, не знавшими нот. При таких беседах он сам, видимо, слушал себя, любовался собою и был от того совершенно пошл и противен. Попавшись в разных гадостях, он заставил Шишкова выгнать его наконец из Синодального хора. Некоторые его сочинения – «Милость мира» (В dur), «Ныне отпускаеши» (солотенора с хором) – были любимы в Москве. Они отлично звучат, но не более.

²⁶² - К сожалению, ни одного экземпляра этого издания не удалось разыскать.

²⁶³ - На Никольской улице, в здании, где ныне расположен Историко-архивный институт, находилась Московская Синодальная типография, управляющим которой был прокурор А.Н. Шишков.

²⁶⁴ - Крестный ход из Кремля в Новодевичий монастырь 28 июля совершался в честь иконы Смоленской Божией Матери.

²⁶⁵ - О знаменитом московском протодьяконе Андрее Захаровиче Шеховцеве (Шеховцове) см. подробнее в первом томе серии.

²⁶⁶ - Михаил Григорьевич, старший из братьев Чесноковых, был в первом выпуске реформированного Синодального училища (1893), затем служил регентом в Ташкенте (1893–1895), скончался двадцати лет от туберкулеза. В Дневнике Смоленского за 1893 год есть две короткие записи: «Чесноков М. отправлен мною в Ташкент на видное место с хорошим жалованьем»; «Чесноков М., как я опасался, действительно нагнул в Ташкенте в первые же недели, почему не далее, как через 2–3 недели по приглашению ему было отказано от Учит[ельской] семинарии» (Дневник № 1, л. 78–78 об.). В период пребывания М.Г. Чеснокова в Синодальном училище (28

февраля 1891 года) Смоленский писал С.А. Рачинскому: «... вспоминаю свою молодость и сравниваю восприимчивость своих товарищей со своими нынешними учениками и иногда просто развожу руками от удивления. Есть, напр[имер], фамилия Чесноковых, которых отец был когда-то певчим в Син[одальном] хоре, все же девять сыновей (10-й и 11-й еще дома) прошли наше училище. Сейчас у меня налицо четверо из них – и все они просто изумительные таланты и наимилейшие из мальчуганов. Все Чесноковы – альты, по виду – братья, учатся превосходно, одинаково добры, и упрямые, и самые неисправимые любители музыки, готовы музицировать с утра до вечера. Младший из них, Сашурка, уже незаменимый литаврист в нашем оркестре и педантичный оркестровый инспектор-библиотекарь. Старший, Миша – хороший скрипач, переведен мною в виолончельный класс и через два дня играх уже половину виолончельной школы и все свои скрипичные этюды изобразил на виолончели... теперь он держит в своих руках квартет 6-го класса и очевидно руководит смыслом исполнения. Боже мой, до чего было запущено бедное Синодальное училище! Вообразите себе, что двоих средних Чесноковых я едва не исключил по моем прибытии как самых грубых и безнадежных лентяев! Павах Чесноков просидел по два года во 2-м и 3-м классах, и я насильно заставил его на 15-м году выучить таблицу умножения – это было с очаровательнейшим ныне моим Павлушкой! Судите хоть по этому, как велик грех Добровольского!» (ОР РПБ, ф. 631, Письма к Рачинскому, 1891, январь-февраль, л. 218–219 об.).

²⁶⁷ - В архиве Смоленского сохранились подобные письма учеников Синодального училища. Приводим одно из них, письмо ученика А. Гостева: «Милые мои родители, я совершенно изленился: бросил учиться, начал лгать и сделался каким-то паяцем. Несмотря на мои 16 лет и большой рост, несмотря на то, что я в четвертом классе и отстал от своих товарищей только по лености, я дошел до такой низости: я выкрасил себе лицо, подрисовал усы и так ходил по училищу, потешая мальчиков, из которых самые маленькие смеялись надо мной, как над шутком, а старшие недоумевали и пожимали плечами;

или, например, сегодня моего бесстыдства хватило настолько, что я не выучил урока по лени, начал уверять учителя, что была спевка, хотя, как вам известно, я уже не пою в Синодальном хоре; мошенничество мое тут же открылось: учитель меня устыдил, потому что мои товарищи, которые поют в Синодальном хоре, все-таки выучили урок. Несмотря на такую вину, несмотря на то, что именно в это самое время в училище был его императорское величество князь и директор приказал нам сидеть на местах, я все-таки вышел на середину класса и имел бесстыдство плясать перед товарищами, думая их распотешить и не замечая того, как я оскорблял их таким балаганом, и в таком роде от моей лени и напускной глупости состоит все мое поведение. Много раз уговаривали меня воспитатели, учителя и сам директор, но я не знаю, что со мной делается и почему я не могу образумиться. Я понимаю хорошо, что не многим достается счастье учиться в превосходном училище, да еще на казенный счет, но у меня нет желания дальше учиться. Мне все кажется, что выключать будут других, а меня все-таки оставят в училище, и поэтому я избегаю думать, что будет со мной, куда пойду, как блудный ленивый сын и глупый человек, на что я годен и чем заработаю кусок хлеба. Милые мои родители, я пишу это письмо под диктовку Степана Васильевича». В конце письма сделана приписка Смоленского несвойственным ему размашистым нервным почерком: «Гостев из рук вон ленится, и трудно надеяться, чтобы остался в училище. Ст. Смоленский» (РГИА, ф. 1119, оп. 1, ед. хр. 178, л. 3–4).

²⁶⁸ - Об уставах Синодального училища см. подробнее в специальном разделе второго тома серии.

²⁶⁹ - А.Н. Шишков был ранее управляющим акцизными сборами во Владимире (см. подробнее: Косаткин В.А. Н. Шишков. Биографический очерк. Владимир, 1909). С.И. Миропольский и Д.Н. Соловьев являлись членами Учебного комитета при Св. Синода.

²⁷⁰ - С уходом из училища в 1886 году регента Д.Г. Вигилева на его место, в обход первого помощника регента Соколова, был назначен В.С. Орлов. Имевший в Москве репутацию

серьезного музыканта, Орлов был поддержан ходатайствами Чайковского, обращенными к Победоносцеву и Шишкову (см. посвященный Орлову раздел в первом томе серии, а также раздел «Периодика» во втором томе).

²⁷¹ - Имеются в виду выступления Синодального хора в Вене в апреле 1899 года на освящении посольской церкви и в зале Венского Музыкального общества (см. далее).

²⁷² - Идея «борьбы со всякими дегтяревыми, веделами, викторами» развивается в целом ряде статей Смоленского (например, в печатаемой в третьем томе статье «Об оздоровлении программ духовных концертов в Москве»), а также в его письмах. Приведем для образца фрагмент из письма к Рачинскому от 28 августа 1894 года: «Между дел играю смычками с моими ребятами старинные хоровые композиции. Есть и дельные между ними, но вообще очень удивляюсь той нескладице и пустяковине, которую распевали в русских церквях 200 лет назад. Какое-то малодушие и необъяснимая развязность, лучше – несдержанность мыслей и погоня за самыми глупыми и дешевыми эффектами весьма характерны для времени послепетровского, когда не понимали еще глубины целей этого царя русского и бросились в лапы немцам. Строгой школы в этих произведениях решительно нет, напускного чувства и разнузданности, полнейшего невнимания к своему пению – необъятная масса. (...) Невольно соображаю, как силен был протест Глинки его «Жизнью за царя», как было тупо непонимание нашими русскими музыкантами «Руслана». Впрочем и теперь разве не то же самое? (...) Разве всякие «Паяцы», «Сельская честь» не аттестируют здешнюю дирекцию со всеми ее чехами и немцами, когда «Игорь», «Псковитянка», «Снегурочка», «Мазепа», «Опричник» лежат в магазинах, а мы слушаем зачем-то «Зигфрида», единодушнейше освищенного, и слушаем «Телля», в котором знаменитое трио распевалось ныне зимой так: тенор пел по-французски, баритон – по-итальянски и бас – по-русски... и это в Москве, на императорской сцене! А наше бедное церковное пение! Я просмотрел недавно вновь партитуры знаменитых лет сорок назад Багрецова, Феофана и Виктора. Трудно мне подобрать

слова для характеристики этих неучей, но какие необыкновенные способности к композиции у всех троих! Напевы так и льются прямо из души, но состряпаны с такою дикою и неумелою гармониею, что только на удивление! А ведь как знамениты эти певцы были в свое время, и сколько вреда принесли они, портя вкусы и насаждая вопиющую безграмотность?» (ОР РПБ, ф. 631, письма к Рачинскому, 1894, июль-декабрь, л. 149–150 об.).

²⁷³ - Из молитвы по 5-й кафизме Псалтири: «... излей меч и заключи сопровитв гонящих мя». – Ред.

²⁷⁴ - Не будем называть имен (лат.).

²⁷⁵ - Смоленский имеет в виду циркулярное секретное письмо «О запрещении поминовения и панихид по Л.Н. Толстом в случае его смерти без покаяния», разосланное митрополитом Иоанникием по всем епархиям. Появление этого письма было связано с разнесшейся вестью о болезни Л.Н. Толстого.²⁴ февраля 1901 года «Церковные ведомости» опубликовали «Определение Святейшего Синода от 20–22 февраля 1901 года о графе Льве Толстом», в котором было открыто заявлено, по сути, об отлучении его от церкви (дословно – об «отпадении его от Церкви»). В ответ на «Определение» графиня Софья Андреевна Толстая обратилась к трем митрополитам и К.П. Победоносцеву с письмом от 25–26 февраля 1901 года. Смоленский записал 7 марта в Дневнике: «Письмо гр. Толстой ходит всюду по рукам, но производит на меня слабое впечатление в логическом и, особенно, литературном смысле. Резкость письма даже и противна, несостоятельность же некоторых положений не нуждается в доказательствах. Я ожидал более обстоятельности и солености, большей деликатности». Тут же приводится упомянутое письмо – его копия рукой С.А. Толстой. Далее Смоленский пишет: «При свидании с граф[иней] С.А. Толстой я сказал ей, что в ее письме есть два слабых пункта: 1) Например: клуб, управляемый советом старшин и общим собранием членов и обязанный заботиться о спокойствии и благонравии клуба, имеет право исключить неудобного для него члена. Так и Церковь, в лице Синода, имела право прекратить общение с гр[афом] Л[ьвом]

Н[иколасви]чем. 2) Отлучение от Церкви есть действие, направленное лично против отлучаемого, а не против его близких, хотя бы и жены с детьми. Поэтому молитвы за какого угодно отлученного и даже проклятого допустимы в той же церкви при жизни его и по смерти. Поэтому и определение Синода, не заключающее буквально ни отлучения, ни проклятия, оканчивается именно словами молитвы и желанием вразумления. Бывший при этом разговоре С.И. Танеев добавил, что он еще видит неясность в терминах о Церкви и принадлежности графини к ней, когда идет речь о «благословении именем Божиим» в Церкви, «от которой никогда не отступлю», и «но мне этого и не нужно», «для меня Церковь есть понятие», etc.» (Дневник № 2, л. 86а, 90). Имеются в виду выражения в письме графини: «... с точки зрения той Церкви, к которой я принадлежу и от которой никогда не отступлю... для меня непостижимо определение Синода»; «Неужели для того, чтобы отпевать моего мужа и молиться за него в Церкви, я не найду или такого порядочного священника, который не побоится людей перед настоящим Богом любви, или непорядочного, которого можно подкупить большими деньгами для этой цели?»; «Для меня Церковь есть понятие отвлеченное, и служителями ее я признаю только тех, кто истинно понимает значение Церкви».

²⁷⁶ - Статья Смоленского «Памяти Анатолия Александровича Эрарского» была опубликована «Русской музыкальной газетой» в 1897 году (№ 12) и тогда же вышла отдельной брошюрой, которая и вклеена автором в рукопись Воспоминаний. О деятельности А.А. Эрарского в Синодальном училище см. в первом и втором томах серии.

²⁷⁷ - Речь идет о скрипаче Давиде Сергеевиче Крейне, окончившем в 1888 году Московскую консерваторию, выступавшем в струнном квартете Московского отделения НРМО (1885–1898), а с 1894 года – в известном Московском трио (Д.С. Шор, Д.С. Крейн и Р.Н. Эрлих). Программы концертов Московского трио в сезоны с 1893 по 1903 год вклеены в Дневник № 2 Смоленского (между л. 66 и л. 67). Здесь же находится запись от 3 ноября 1902 года, связанная с

посещением Смоленским Москвы: «Потом я попал на юбилей несравненного Московского трио в Большом зале консерватории и прослушал Шуберта В dur и Чайковского а moll. Видел все овации таким достойным артистам, как Шор, Крейн и Эрлих, поздравил их и вспомнил с ними время, когда и мне пришлось быть им полезным, облегчая и утверждая возможность их концертов в Синодальном училище. Играли отлично, местами же прямо прекрасно» (л. 66).

²⁷⁸ - Это событие, происшедшее в 1892 году, Смоленский описал в Дневнике № 1 (л. 52): «7 и 8 марта посетили училище К[онстантин] Петрович П[обедоносцев] и несравненный мой друг С.А. Рачинский. Конечно, всенощная 7-го была исполнена очень тщательно, но затем мне удалось уговорить К.П. прибыть 8-го утром на оркестровые занятия А.А. Эрарского. Полное удовольствие К.П. было очевидно во время и потом было подтверждено им несколько раз даже и без меня в частных беседах. Зато милый С[ергей] А[лександрович] сразу и тонко понял, в чем дело, и пришел в совершенный восторг от нашей затеи. Да, действительно и есть чему радоваться. Ныне этот оркестр есть нечто очень изящное, очень порядочное, благовоспитанное, оказывающее отличное нравственное влияние на наших учеников». Отзыв заметки С.А. Рачинского о детском оркестре см. в разделе «Статьи и заметки» второго тома серии.

²⁷⁹ - Письмо Чайковского к Шишкову с рекомендацией Орлова в регенты Синодального хора попало в мои руки в подлиннике и по кончине Чайковского было помещено вместе с печатным оттиском всего его текста в первую витрину вместе с портретом и другими автографами Петра Ильича. Это замечательное и очень большое письмо есть ряд мыслей Петра Ильича о значении прошлого и о желательном направлении будущего русского церковного пения. Вторая витрина, с первоначальными автографами «Был у Христа-младенца сад» и «Отче наш», равно и с письмами Чайковского ко мне, была устроена мною в Синодальном училище позднее. Вообще только с удалением Шишкова удалось мне хотя немного и исподволь знакомить Москву с сочинениями Чайковского. Из-за

покушения моего пропеть за одну из наших раутов-всенощных некоторые сочинения Петра Ильича вышел целый скандал с Шишковым.

²⁸⁰ - Имеется в виду история судебного разбирательства иска директора Придворной капеллы Н.И. Бахметева к издателю П.И. Юргенсону, который напечатал Литургию св. Иоанна Златоустого соч. 41 Чайковского без цензурного разрешения главы Капеллы. Тяжба завершилась в пользу Юргенсона и имела результатом ограничение монополизированных Капеллой прав на цензуру духовно-музыкального творчества. Судебный процесс был описан Смоленским в статье «О Литургии, ор. 41, соч. Чайковского (из литературно-юридических воспоминаний)» (РМГ, 1903, № 42–43). К моменту написания этой статьи Литургия оставалась «официально не одобренною для употребления за богослужением». В Дневнике Смоленский отметил: «Не без гордости записываю, что Синодальный хор всегда знал при мне Литургию Чайковского и помянул ее исполнением покойного Петра Ильича в третий, девятый, двадцатый, сороковой и полугодовой дни в 1893 году, поминая затем ежегодно этого великого человека в храме Большого Вознесения около 25 октября, и именно исполнением Литургии его сочинения, прибавляя к ней его же запричастный стих «Блажени, яже избрал''' (Дневник № 2, л. 50).

²⁸¹ - «Знаменитый фельетон об унижении духовенства», написанный петербургским критиком и композитором, профессором Петербургской консерватории Н.Ф. Соловьевым, относится не к опере Чайковского «Кузнец Вакула» (во второй редакции – «Черевички»), а к опере Римского-Корсакова на тот же сюжет, то есть «Ночь перед Рождеством», поставленной значительно позже, в 1895 году. Любопытно, что вскоре после ухода Смоленского из Капеллы Н.Ф. Соловьев стал там помощником управляющего. Упоминаемое письмо Шишкова к Чайковскому неизвестно.

²⁸² - Семен Николаевич Кругликов – очень толковый музыкант, отличный мастер в преподавании гармонии и вполне добрый, порядочный, благовоспитанный человек, был преподавателем в Филармоническом училище и затем одно

время его директором. В 1895–1898 преподавал гармонию в Синодальном училище, но ушел потому, что Ширинский-Шихматов вздумал потребовать от него диплом, чтобы увериться в его познаниях... Кругликов был в это время директором Филармонии [то есть Филармонического училища]. Позднее они как-то помирились, так как Ширинский-Шихматов понял, что он хватил через край, и Кругликов продолжал свою прикосновенность к Синодальному училищу, состоя членом Наблюдательного комитета.

²⁸³ - Имеется в виду выступление хора перед делегатами Международного конгресса доисторической археологии и антропологии, состоявшееся в Русской палате ресторана «Славянский базар» 31 июля 1892 года (см. раздач концертных программ во втором томе серии).

²⁸⁴ - Здесь Смоленский упоминает Федора Федоровича Львова (брата фигурировавшего ранее в Воспоминаниях Леонида Федоровича Львова), директора Строгановского училища. В Дневнике в день смерти Ф.Ф. Львова (1895) Смоленский записал: «31 марта утром скончался последний из стариков Львовых – Федор Федорович, директор Строгановского училища. «Львы теперь все перемерли, – сказал мне на панихиде Фед[ор] Алексеевич Львов, – осталась из Львовых одна шушера». Я очень любил старика, не отказывавшего и мне в своем расположении. Федор Федорович был чрезвычайно живой и разносторонний по дарованиям человек. Он был отличный акварелист, чуть ли не первый в России гончар; назначение его в Строг(ановское) у[чили]ще выдвинуло в нем превосходный педагогический талант; музыку, но только классическую и, главным образом, камерную, запомненную им с детства, он любил страстно и весьма хорошо разыгрывал ее самоучкою на фисгармониуме под аккомпанемент рояля. Его поговорка «отец родной» обратилась в Строг(ановском) училище ему же в почтительное прозвище, ибо все искреннейше любили его. Похоронили его рядом с Леон[идом] Ф[едоровичем] в Донском мон[астыре]» (Дневник № 1, л. 94).

²⁸⁵ - Биркбек Иван Васильевич – выдающийся английский церковный деятель, неоднократно посещавший Россию (в том

числе в составе официальных делегаций) и общавшийся со Смоленским, о чем свидетельствуют письма самого Биркбека (РГИА, ф. 1119, оп. 1, ед. хр. 120) и следующие строки из письма Смоленского к Рачинскому от 24 августа 1890 года: «Две недели, начиная с 13-го, возился с англичанином Биркбеком, археологом и отличным музыкантом, побывавшим и в Соловках, и в Киеве, и на Валааме. Он уже в четвертый раз в России, и, по правде сказать, хотя он и отнимает у меня время, но преинтереснейший гость, много знающий и общительный» (ОР РПБ, ф. 631, Письма к Рачинскому, 1890, июль-декабрь, л. 213–214 об.).

²⁸⁶ - С. Стамболов вместе с немецким принцем Фердинандом I Кобургским находился у власти в Болгарии с 1887 по 1894 год и проводил враждебную России политику. Установленный им диктаторский режим вызывал недовольство болгарского общества. Новое правительство страны восстановило в 1896 году дипломатические отношения с Россией.

²⁸⁷ - Смоленский предварительно посылал свои отчеты о деятельности Синодального училища и хора Рачинскому, что видно из их переписки, например, за 1891 и 1894 годы: «22 сент[ября] [18]91 года Дорогой Сергей Александрович! Пишу после продолжительного и непростительного молчания, но зато посылаю Вам на прочтение толстое письмо. Последнее – мой отчет об училище и хоре, который я сочинил и переписывал весь август и начало сентября до сих пор. Вас убедительнейше прошу не отказаться прочитать его и сказать мне Ваше верное для меня слово: подавать такой отчет начальству или нет? (...)». «9 окт[ября] [18]91 года Дорогой мой Сергей Александрович! Отлично порадован Вашим одобрением моего отчета, хотя и удивлен тем, что Вы считаете мой труд по хору и училищу даже «богатырским» (...)». «27 февраля [18]94 года (...) Пишу сейчас очень усердно свой 2-й отчет, который пришлю Вам на предварительное прочтение, ибо, кажется, только до одного Вашего сердца доходят мои горькие сетования и Вы одни разделяете мой взгляд на мое дело. Горько и обидно вспомнить, как грубо был не принят мой первый отчет, в

котором я выложил всю свою наболевшую душу!» (ОР РПБ, ф. 631, Письма к Рачинскому, 1891, январь-декабрь, л. 63–64, 119–120; 1894, январь-июнь, л. 214–214 об.).

²⁸⁸ - Крестный ход вокруг Кремля в память избавления Москвы от вражеского нашествия в 1812 году совершался во второе воскресенье октября. См. его описание во втором томе серии. В творчестве композиторов Нового направления представлено множество обработок любимых в Москве сравнительно поздних напевов Херувимских песен и иных песнопений местной традиции. Например, Кастальский переложил роспевы Херувимских песен «софрониевской», «старо-симоновской», «на разорение Москвы» (иначе – «разоренной»), «владимирской», «Московского Успенского собора», «Милости мира» – «Ипатьевской» и т.д.; у П.Г. Чеснокова есть переложения Херувимской на «Радуйся», «стрелецкой», на «Видя разбойник», «софрониевской», «симоновской» и т.д.

²⁸⁹ - Рукопись Евангельских стихир А.Г. Полуэктова, так же как и другие автографы его духовно-музыкальных сочинений, находится ныне в фонде Смоленского в ОПИ ГИМ.

²⁹⁰ - Имеется в виду Дмитрий Николаевич Соловьев – автор духовных композиций и учебников по церковному пению, с 1892 года состоявший председателем Комиссии для обсуждения вопросов о постановке преподавания музыки и пения в средних учебных заведениях Министерства народного просвещения, а с 1896-го – директором канцелярии обер-прокурора Св. Синода.

²⁹¹ - В Малом Гавриковом переулке в доме И.И. Шибеева находилась одна из самых известных в Москве той эпохи молелен старообрядцев белокрыницкого согласия. Позднее, в 1911 году, здесь был возведен великолепный храм Покрова Пресвятой Богородицы.

²⁹² - Имеется в виду сборник «Musica sacra. Sammlung berühmter Kirchenchöre. Herausgegeben von A. Dörffel mit Vortragsbezeichnungen von C. Riedel» – сборник известных церковных хоров под редакцией А. Дёрффеля с пояснениями К. Риделя в двух тетрадях: первая – сочинения на латинском

языке, вторая – на немецком языке. Сборник был выпущен лейпцигской фирмой «Peters».

²⁹³ - 22 июня 1894 года Танеев писал Смоленскому: «С полным сочувствием отношусь к Вашему намерению познакомить московскую публику с образцовыми произведениями композиторов вокального стиля (...) Относительно программы замечу, что наряду с интересом эстетическим, следовало бы сообщить ей также интерес исторический. Для этой цели было бы желательно: а) исполнить несколько сочинений нидерландских предшественников Палестрины и Лассо, между коими первое место должно быть отведено Жоскину де Пре (укажу на его *Stabat Mater* (...) и на мессу «*Homme armé*») (...) из сочинений самого Палестрины исполнить также и более ранние, где он является прямым последователем нидерландцев и пользуется их приемами сочинения (например, месса «*Esse homo*» и другие из 1-й книги месс полного собрания его сочинений изд[ательства] Брейткопфа и Гертеля). Таким образом эпоха строгого стиля будет представлена в ее историческом ходе, а сочинения Лотти, Скарлатти и Аллегри, в свою очередь, явятся следующим звеном с композициями тех итальянцев, которые писали нашу церковную музыку. в) Что касается до композиторов протестантских, то одного Шютца мало и уже без Баха ни в каком случае не следовало бы обходиться (например, 5 его превосходных мотетов *a capella*)» (РГИА, ф. 1119, оп. 1, ед. хр. 168).

²⁹⁴ - *Filioque* (лат.) – догмат католической церкви, утверждающий исхождение Св. Духа не от Отца, как в православном учении, а от Отца и Сына. – Сост.

²⁹⁵ - При самом начале преобразований в училище и хоре Смоленский, по его собственным словам, оказался «окруженным целым сонмом обозленных людей, которых или прогнал из хора или не отдал которым надлежащего почтения». В газетах стали появляться анонимные заметки. Одну из них, напечатанную 28 декабря 1890 года в петербургской газете «Гражданин» под заглавием «Для кого существует Синодальный хор?», Смоленский характеризует в Дневнике как написанную

«весьма полуграмотно и ядовито-зложелательно»: «Я советовал А.Н. Шишкову пренебречь эту заметку как написанную, очевидно, пристрастным человеком. Андрей Николаевич думает, что такую заметку написали или Гнусии (певчий Синодального хора), или бывший наш певчий Добровольский» (Дневник № 1, л. 27). О наиболее агрессивном из критиков реформ – Г.Г. Урусове Смоленский сделал в Дневнике специальную запись: «Герасим Гаврилович Урусов, человек не без способностей и не без любви к музыке, самоучка наисамолюбивейший и негодяй еще более того, не снискал достоинствами своих сочинений чести быть исполняемым в Синодальном хоре и оттого обратился в злющего нашего врага, по временам продергивающего всех нас то в «Русском листке», то в «Гражданине», то в «Курьере». Суть его иногда весьма зазорных писаний, на которые я упорно отмалчиваюсь, состоит в том, что мы поем отлично, но сухо; что мы орган, а не живой голос; что мы стоим дорого, а не дешево; что наши увлечения крюками (?) есть возврат к старообрядчеству; что мы испечены на «жидовских, консерваторских дрожжах» и не чествуем «неучей» – то есть истово русских певцов, каков он сам, Урусов, последователь Виктора, Феофана, Багрецова; что сочинения Кастальского – разврат, опасный для церкви и т.д. Урусов написал брошюру под заглавием «Церковь и музыка (старь и новь)», с которою цензор М.В. Никольский прибежал ко мне, испугавшись ее ругательного содержания и не зная, как обойтись с ней в смысле разрешения к напечатанию. (...) М.В. Никольский почему-то настоял в цензурном комитете на запрещении статьи, хотя я нисколько не противился ее выходу в свет, вполне веря, что, увеселивши один ряд читателей, та же статья неминуемо вызовет возражения несогласных с нею людей. На днях, однако, мне пришлось убедиться, что эта статья, воспроизведенная машиною Ремингтона, гуляет по Москве во множестве копий, конечно, в певческом кругу. Таким образом, цензурный непрошенный отказ оказался лишь к выгоде сочинения г. Урусова и к нашей беззащитности от врага хотя и не опасного, но все же досадного – вроде блохи, кусающей не вовремя или очень прыткой. (...) Не одному нашему хору

приходится терпеть от этого писателя! Бедный регент Чудовского хора С.А. Солнцев также испытал все содержание докладной записки г. Урусова митрополиту, где доказывалось, что чудовские певчие обратились в «песельников», и рекомендовались в регенты всякие неучи, охотно обещавшие г. Урусову пение его сочинений. Митрополит говорил по сему со мною, и я, вступившись за Солнцева, невольно подивился пакостной деятельности г. Урусова. И такого-то человека вполне серьезно думал наш князь [Ширинский-Шихматов] пригласить в члены Наблюдательного совета! Конечно, и я, и Орлов полезли на стену и с превеликим трудом уговорили сиятельного не удостаивать Синодального училища такой компании.¹⁴ сентября 1899. К удивлению вышеупомянутая статья, хотя и с большими урезками, напечатана в «Новом времени» (Дневник № 2, л. 4 об.). Подробнее об этом см. во втором и третьем томах серии, в частности в разделе «Периодика» во втором томе.

²⁹⁶ - Николай Николаевич Дурново – церковно-политический деятель, публицист, в 1879–1886 годах издатель газеты «Восток» в Москве, автор брошюр, которые частью публиковались за границей.

²⁹⁷ - Различные отзывы о регентских способностях А.Д. Кастальского см. во втором и третьем томах серии.

²⁹⁸ - См. раздел «Архивные документы» во втором томе серии.

²⁹⁹ - Описанное Смоленским положение дел с собственностью синодальных певчих не подверглось существенным изменениям и в последующий период. См. в очерке В.М. Металлова и в разделе «Периодика» во втором томе.

³⁰⁰ - О результатах хозяйственной и строительной деятельности Ширинского-Шихматова см. также в «Воспоминаниях» А.К. Смирнова и в комментариях к ним в первом томе.

³⁰¹ - Связь Алексея Александровича Ширинского-Шихматова с семьей фон Мекк шла по линии его брата Андрея

Александровича, женившегося в 1889 году на младшей дочери Надежды Филаретовны фон Мекк, известной меценатки, в течение многих лет поддерживавшей П.И. Чайковского. Вскоре после свадьбы дочери, 1/13 июля 1889 года, Надежда Филаретовна сообщила Петру Ильичу о полном разрыве с зятем, который, «как показало дело, женился ради состояния и разлучил мать с дочерью». Чайковский отвечал: «Очень возмутительно и печально то, что Вы пишете о кн. Шир[инском-Шихматове]! Я живо сочувствую Вам и понимаю, как Вы должны страдать от столь наглого и оскорбительного поведения человека, связанного с Вами столь близкими узами» (Чайковский П.И. ПСС. Т. 15а. М., 1976. С. 155–156). На следующий год Надежда Филаретовна сообщила Чайковскому, что теряет свое состояние и вынуждена прекратить выплату стипендии композитору. Одной из причин тревоги о возможном разорении семьи явилась растрата Андреем Александровичем Ширинским-Шихматовым приданого жены.

³⁰² - «разделяй и властвуй» (лат.).

³⁰³ - Указом от 5 февраля 1902 года П.Н. Толстяков и А.Г. Чесноков были определены помощниками учителя пения в Капеллу на место уволенных В.И. Попкова и К.К. Варгина. М.Г. Климов поступил в Капеллу в качестве учителя пения в декабре 1902 года на место Е.С. Азеева (подробнее см. в Главе IX).

³⁰⁴ - Яркий портрет Константина Ивановича Соловьева оставил в своих «Воспоминаниях» А.К. Смирнов (см. в первом томе).

³⁰⁵ - Льгота по воинской повинности была утверждена в 1898 году. В 1893 году Смоленский попытался добиться от Победоносцева решения этого вопроса, но безрезультатно. В августе 1896 года Смоленский, стремясь защитить лучших своих учеников, обратился с письмом к Ширинскому-Шихматову: «Я не получил никакого ответа на секретную бумагу, в которой просил предпринять какую-либо меру для отвращения солдатчины, грозящей многим нашим ученикам в предстоящую осень, и той паники, которая смутно чувствуется уже в училище, если наши ученики, как не имеющие никаких прав, наравне с неграмотными, подпадут солдатчине в самой тяжелой ее

степени. Училище и хор разом треснут по всем швам, если мальчики и их родители узнают о нашей бесправности и неприятии нами каких-либо мер к отвращению грозящей беды (...) Позволю себе вновь просить Вас об оставлении при Синодальном училище кончивших у нас курс немедленно, а не через два-три года практики, как Вы изволите предполагать. Я мотивирую свою мысль тем, что оставляю при училище самых даровитых молодых людей, имеющих в числе своих способностей еще и такую, в которой нуждается училище, которую можно специально развить по окончании курса и потому получить надобного работника. (...) Всех этих молодых людей как специалистов, как людей, отмеченных уже выдающимися к чему-либо способностями, следует учить еще после окончания курса в Синодальном училище. (...) Я имею в виду с помощью своих учеников создать в училище круг своих же учителей, которые бы служили Синодальному училищу именно так, как не могут служить чужие, то есть выученные по-немецки и с виртуозными идеалами ученики консерватории и ничего на понимающие ученики Капеллы» (Дневник № 1, л. 122). Ни один из названных в этом письме учеников (П.Г. и А.Г. Чесноковы, П.Н. Толстяков, Н.М. Данилин и другие) не был оставлен в училище, кроме Павла Чеснокова, которого, однако, тоже пытались «выпроводить» в Томск.

³⁰⁶ - «Оказывается, что князь подхватил его за обедней и, гуляя вдвоем, настоял на том, чтобы Орлов высказал особое мнение относительно надобности перемены в направлении обучения в Синодальном училище. Так как мысли В.С. Орлова, вследствие многочисленнейших за семь лет бесед, были мне известны, то я был несказанно удивлен, услышав нечто новое в их частностях, тут же подхваченное князем такими словами: «Вот это именно то, что я всегда думал и желал для Синодального училища, но не умел как немусыкант ясно высказать. (...) Я всегда настаивал, что нам не надо плохих виртуозов на фортепиано и скрипке, плохих композиторов, не умеющих, однако, ни проиграть на фортепиано «Тебе поем», ни продирижировать обедню; тяжкие, удручающие впечатления я вынес от ложного, по моему мнению, направления обучения в

училище, стоящего дорого, обставленного богато и дающего не то, чего все ждут и что именно надо, то есть регентов». Слова Орлова, конечно, не подали повода ни к чему подобному, потому что заключали в себе мысль, чтобы преподавание было основано на церковном пении и курсе сольфеджио в самых обширных размерах, чтобы к этой «оси» училища были приноровлены все остальные курсы, в которых он полагал бы только выделить особо сильно теорию музыки и ослабить инструментальную игру за счет практических занятий хором пением и для придания классам инструментальной игры более (но не исключительно) служебного значения и применения к целям учительским и регентским. Хотя это именно и расходилось с моим мнением, заключавшим в себе мысль о надобности для наших учеников сильного общего образования – научного и музыкального, следствием которого (разумеется, при наличии надобных регентских курсов) являются регенты, способные лишь выработаться в будущем в отличнейших мастеров и учителей. Я допускал укоризненность этого плана, но настаивал, что он даст менее самоуверенных людей, более убежденных в надобности работать над дальнейшим самообразованием. В частности, по моему плану достигалась и лучшая музыкальность, от которой имеется свободная дорога во все стороны, и, наконец, обращение Синодального училища не в регентскую школу, а в музыкально-певческую и единственную в России академию. Между тем прения были повернуты в сторону ошельмования всей моей деятельности и констатирования моих якобы увлечений» (Дневник № 1, л. 117–119). Подробнее об этой ситуации см. во втором томе.

³⁰⁷ - Из воспоминаний современников известно, что В.С. Орлов страдал запоями. Смоленский деликатно избегает говорить об этом прямо. Однако сотрудники училища указывали, что именно при Степане Васильевиче Орлов воздерживался от своих «увлечений» и, наоборот, полностью подпал под их власть, лишившись опеки Смоленского.

³⁰⁸ - Смоленский неоднократно и настойчиво обращался к ряду московских композиторов с предложением писать для Синодального хора. Ряд новых сочинений должен был

исполняться в специальном концерте 15 марта 1898 года, но вмешался Ширинский-Шихматов, который, говоря словами Смоленского, «заменял эту программу всякими Викторами, Бортнянскими и прочим». Лишь 7 октября того же года директору удалось устроить «на свой риск» вечер премьер, чтобы «хоть сколько-нибудь удоалетворить... обидившихся авторов и уговорить их писать еще для Синодального хора». В этом концерте исполнялись: псалом «Се ныне благословите Господа» М.М. Ипполитова-Иванова, «Отче наш» А.А. Ильинского, Херувимская А.Б. Гольденвейзера, «Тебе, Господи, единому» А.Н. Корещенко, «Не имамы иныя помощи» И.Г. Чеснокова, «Сам Един» А.Д. Кастальского, главнейшие песнопения из Литургии № 1 А.Т. Гречанинова. Как отмечает Смоленский в Дневнике, по желанию профессоров консерватории концерт был повторен 16 октября. Что касается Рахманинова, то под симфонией подразумевается написанная в 1895 году Первая симфония композитора. В Дневнике Смоленского есть и более ранняя запись: «В этом 93/94 учебном году... привлечен к нам также и даровитый С.В. Рахманинов» (Дневник № 1, л. 80). Речь идет о духовном концерте «В молитвах неусыпающую Богородицу», написанном Рахманиновым по просьбе Смоленского летом 1893 года и исполненном в духовном концерте Синодального хора в декабре того же года. Из переписки Рахманинова со Смоленским видно, что композитора приглашали на педагогическую работу в училище в 1896 году, но он отказался. Тем не менее связь Рахманинова с училищем и хором не прервалась, достаточно напомнить, что знаменитое Всенощное бдение посвящено памяти Смоленского. Сочинениями, в которых отразилось увлечение Р.М. Глиэра древнерусскими напевами, возможно, является его Первая симфония (1899–1900), а впоследствии Третья симфония – «Илья Муромец». Что касается оперы-кантаты С.Н. Василенко «Сказание о граде великом Китеже и тихом озере Светлояре» (1901), то в ней непосредственно использованы подлинные древние песнопения, выбранные по совету Смоленского. М.М. Ипполитов-Иванов впоследствии создал немало добротной и

пользовавшейся известностью духовной музыки. Архивные документы свидетельствуют, что С.Н. Кругликов тоже пробовал свои силы в этой области, хотя и совсем немного.

³⁰⁹ - О свадебных концертах Кастальского см. подробнее в его статье «Моя музыкальная карьера...» и комментариях к ней в первом томе.

³¹⁰ - Имеется в виду статья «О собрании русских древнепевческих рукописей в Московском Синодальном училище церковного пения (краткое предварительное сообщение). Посвящается памяти профессора Московской консерватории прот. Дм. Вас. Разумовского» (РМГ, 1899, № 3–5, 11–14). Самым подробным образом история собирания и исследования библиотеки древнепевческих рукописей в Синодальном училище освещается во втором томе серии. Там же см. комментированную публикацию данной статьи Смоленского.

³¹¹ - Об оставшейся неизданной казанской работе Смоленского, посвященной описанию певческих рукописей Соловецкой библиотеки, см. в Главе IV и комментариях к ней.

³¹² - Подробнее об этом см. в предисловии к Воспоминаниям, а также в комментариях к публикации статей Смоленского и в разделе «Архивные документы» во втором томе.

³¹³ - Брошюра «Обзор Исторических концертов Синодального училища церковного пения в 1895 году» была издана к концертам. См. комментированную публикацию этой работы во втором томе серии и там же – программы концертов и рецензии на них.

³¹⁴ - Имеется в виду знаменитый петербургский регент и композитор Александр Андреевич Архангельский; несколько его сочинений входило в репертуар Синодального хора.

³¹⁵ - Виктор Михайлович Васнецов не единожды посещал Синодальное училище, о чем свидетельствует, например, его письмо от 28 января 1897 года: «Глубокоуважаемый Степан Васильевич! С искренней благодарностью принимаю Ваше любезное приглашение. Тронут очень Вашим вниманием.

Пользуясь Вашим разрешением, позволю себе прийти в пятницу вместе с художником Мих[аилом] Васильевичем Нестеровым, большим почитателем серьезной, особенно духовной музыки. Еще раз примите мою признательность за столь любезное внимание. Желаю Вам успеха и здоровья. Искренно и глубоко Вас почитающий В. Васнецов» (РГИА, ф. 1119, оп. 1, ед. хр. 125).

³¹⁶ - Имеется в виду работа В.И. Шервуда «Опыт исследования законов (живопись, скульптура, архитектура, орнаментика)», опубликованная в № 7–12 «Русского обозрения» за 1894/95 годы (имеется отдельный оттиск). В числе прочего автор выражает мысль о пользе создания школы церковного искусства под руководством В.М. Васнецова.

³¹⁷ - Теория древнерусского народного стихосложения изложена П.Д. Голохвастовым в его работе «Законы стиха русского народного и нашего литературного» (СПб., 1885). Смоленский, несомненно, был знаком с трудами Э. Праута «Музыкальная форма» (М., 1900), Г. Римана «Систематическое учение о модуляции как основе учения о музыкальных формах» (М.; Лейпциг, 1898). Перевод книги Праута был сделан С.Л. Толстым при помощи С.И. Танеева.

³¹⁸ - О композиции упомянутой стихирь Смоленский пишет в статье «О собрании...» (см. второй том). Сохранилась также рабочая тетрадь в 145 листов (из них 51 чистый) и отдельные листы с ритмическими записями, чертежами, фотографиями, нотными примерами и словесными текстами (ОР РНБ, ф. 816 (Финдейзен), оп. 3, ед. хр. 2644, 2645).

³¹⁹ - В архиве Смоленского сохранилась оставшаяся не изданной статья памяти Сергея Андреевича Комарова и материалы к ней (РГНА, ф. 1119, оп. 1, ед. хр. 23, л. 17–33).

³²⁰ - Печальна была судьба этого ректора, архимандрита Павла, после его епископства в должности викарного Тверской епархии. Его сгубило то, что губит у нас многих епископов из бывших вдовых священников, и система обязательной служебной дороги для достижения епископства. Многосемейный священник, поступающий из села после многих лет,

проведенных вне школы, переживший множество впечатлений от рождения детей до вдовства и жизни в течение многих лет самостоятельным хозяином и служителем алтаря, – такой священник вдруг вспоминает науку не как чистое знание, не как самоусовершенствование, а как средство к дальнейшей честолюбивой карьере; такой священник бросает семью, поступает с превеликим трудом в академию, постригается в монахи и твердо помнит цену своего несвоевременного труда, своего отречения от семьи и от приобретенных уже привычек. Его самоограничение требует, в случае мелкоты душевной, удовлетворения всего бывшего, иными только способами. Его окружающая сфера учит немедленно всему потаенному в достижении бывшего. Отсюда выработанное притворство и самый ужасающий упадок духа, отсюда мучения совести и самый малодушный самообман. С другой стороны, я не знаю более честолюбивых и грубых людей, как архиереи из бедных вдовых священников. Жестокая по отношению к духовно-учебным заведениям система неременной надобности для монаха быть сначала педагогом и пройти должности ректора духовной семинарии или училища породила целый ряд возможно скорейших перемен лиц в этих должностях, чтобы пополнять ряд епископов. Отсюда получается ряд самых недостойных, самых преступных начальников нашего духовного юношества, доведших теперь наши семинарии до постоянных бунтов и самой полнейшей распущенности по части дисциплины и ученья. Эти начальники, смотря на свои места как на коротко временные ступени в лестнице к архиерейскому сану, употребляют все силы на избежание бунтов и «политики». Понято, что самолюбивые и неопытные педагоги, особенно попавшие в ректоры после таких распустителей, легко доводят семинарии своею строгостью до бунта и неумело и жестоко мстят молодежи, чтобы водворить хоть что-нибудь в распущенном предшественниками хозяйстве. А тут и натура берет свое! Немудрено, что семинаристы бьют своих ректоров и инспекторов и производят грубейшие беспорядки. Немудрено и поверить пьянству и разврату ректоров и инспекторов-монахов! Павел погиб в Твери после позорнейшего скандала. Пожалуй,

впрочем, и опять будет где-либо епископом – в Синоде все можно.

321 - «Все дурные предзнаменования!» (фр.).

322 - Смоленский на протяжении многих лет следил за пением Придворной капеллы. Так, к 1890 году относится интересное сравнение синодальных и придворных певчих, положения Синодального хора и Придворной капеллы: «Правда, Капелла поет лучше нас, но зато там каждая служба стоит чуть не три тысячи рублей, а наша около ста пятидесяти рублей. Такая пропорция денег, однако, совершенно не выдерживает сравнения при суждении о качествах и достоинствах Капеллы и Синодального хора как музыкальных учреждений. По сумме денег мы поем неизмеримо лучше Капеллы, а теперь, после курса больших певчих и начавшегося учения малых, мы, конечно, скоро начнем тягаться совсем серьезно. Разница между нами будет соответствовать различию Москвы и Петербурга. Мы, конечно, уступим в средствах и силе репертуара, во внешнем блеске, но возьмем свое в выучке и в ряде вырабатываемых идей. Предоставим Петербургу выпускать из певчих хорошо выученных музыкантов, годных куда угодно, но флейтистов, контрабасистов, учителей пения а саррелла, капельмейстеров и т.п., так как ни Балакирев, ни Римский-Корсаков, в сущности превосходнейшие музыканты, не суть сами по себе «церковные певцы». Мы, хотя и пахнем ладаном, кутьею и проч., все-таки лучше знаем свое дело и стоим на древнем пении, которое в Питере неизвестно и изгнано совсем, даже не может быть искусственно воссоздано, а у нас в Москве еще живо и популярно. Эти две почвы совершенно различны и несовместимы. За Петербургом стоит музыкальное прозябание и перемалыванье из пустого в порожнее, но с властною рукою и в шитом богатом кафтане, а у нас новая музыкально-зарождающаяся жизнь, полная самых блестящих надежд и борьбы» (Дневник № 1, л. 20–21). Спустя несколько лет, в ноябре 1895-го, Смоленский, посетив Петербург, записал: «Попал на простую спевку [Капеллы] и был очень раздосадован, услышав недостаточно совершенное ее пение. Ныне это только хороший хор, и не более того.

Синодальный хор поет, без всякого сомнения, лучше Капеллы, несомненно одушевленное и изящнее. Про образование Синодального хора уже говорить нечего. Пение с листа Капелле совершенно недоступно. Мертвечина и вицмундирность пения Капеллы подействовали на меня вполне неприятно, и тем более, что вся атмосфера этого хора проникнута каким-то чванством и нелепейшим самомнением. Я всегда подозрительно выслушивал комплименты Синодальному хору, но теперь сам вижу, что Синодальный хор поет в самом деле лучше Капеллы» (Дневник № 1, л. 99).

³²³ - Основные коронационные службы пела Придворная капелла, прибывшая в Москву. В самый день коронации, 11 мая 1896 года, Синодальный хор пел литургию в Архангельском соборе Кремля, в то время как в Успенском соборе, где происходила коронация, пела Капелла. 25 мая, в день рождения императрицы Александры Федоровны, Синодальный хор пел в присутствии царствующих особ литургию на два клироса в храме Христа Спасителя (в Успенском соборе в это время пел Чудовский хор). Известны некоторые песнопения, прозвучавшие за этой службой: Херувимская песнь «царская», «Милость мира» Виноградова, концерт Бортнянского «Господи, силою Твоею возвеселится царь» («Московские церковные ведомости», 1896, № 20, 22).

³²⁴ - Такого дела, собственно говоря, не было и быть не могло.

³²⁵ - В Дневнике № 4 есть запись, сделанная в Петербурге 25 сентября 1903 года и касающаяся дальнейшей судьбы инструментов А.А. Эрарского: «Передал Ракееву инструменты Кл[авдии] Ник[олаевны] Эрарской за 200 руб. в рассрочку платежа на восемь месяцев и платежом мне для отсылки ей в Москву» (л. 276).

³²⁶ - Сообщение «О древнерусских певческих нотациях» было прочитано Смоленским в Обществе любителей древней письменности 26 января 1901 года по приглашению председателя Общества Сергея Дмитриевича Шереметева и тогда же издано (СПб., 1901).

³²⁷ - Торжества открытия памятника Александру II в Кремле и закладки Музея изящных искусств имени Александра III состоялись в Москве 16 августа 1898 года. Император Николай II с императрицей Александрой Федоровной прибыли в Москву накануне и вечером посетили Успенский собор, где Синодальный хор встретил их тропарем «Спаси, Господи, люди Твоя». На следующий день утром хор пел литургию в Успенском соборе (в том числе «вечную память» Александру II) и молебен у памятника. В молебне при закладке музея участвовали чудовские певчие. Вечером 18 августа состоялось посещение императором и императрицей Патриаршей ризницы (она располагалась в новом несгораемом помещении у подножия Ивановской колокольни). Здесь снова пел Синодальный хор.

³²⁸ - К этому периоду относятся два сохранившихся письма А.А. Ильинского к Смоленскому. Вот одно из них: «10 ноября 1897 года Многоуважаемый и добрейший Степан Васильевич! Позвольте от души поблагодарить Вас за лестное для меня предложение принять участие в вашем питерском концерте Синодального хора. Только к моему величайшему огорчению у меня сейчас нет ничего подходящего. Поэтому попрошу Вас выбрать мне какой-нибудь текст, на который я и поспешу написать что-нибудь. Хотелось бы с Вами побеседовать, – но как это сделать? Ведь мы оба заняты. Может быть Вы улучите время вечером, – я бываю каждый день после 8 часов веч[ера] дома. Если же это время Вам неудобно, то тогда назначьте мне время, когда я могу Вас застать. А еще лучше, может быть, Вы соберетесь как-нибудь утром часов в десять выпить кофейку, как, помните, Вы раз и сделали. В таком случае я все дни, кроме среды и четверга, не занят и буду вас ожидать между 10–12 часами утра. Жду с нетерпением ответ. Тронут Вашим ко мне любезным отношением и шлю Вам сердечный привет. Жена моя жмет Вашу руку. Искренно преданный Вам А. Ильинский. Гранатный пер[еулок], дом Риттих, бывший Микулина, кв. 14. P.S. Если можете, пришлите мне поскорее какой-нибудь текст и сообщите, в каком роде и какого характера должна быть музыка, а там обтолкуем подробно» (РГИА, ф. 1119, оп. 1, ед. хр. 182, л. 32).

³²⁹ - Ныне упомянутый Смоленским каталог хранится в ОПИ ГИМ (подробнее см. в комментариях к статьям Смоленского во втором томе).

³³⁰ - «Затонувший колокол» – название популярной тогда пьесы Г. Гауптмана. – Ред.

³³¹ - Австрийский дирижер Ганс Рихтер известен как один из лучших интерпретаторов произведений И. Брамса и Р. Вагнера. Дебютировав в Брюсселе в 1870 году в «Лоэнгрине» Вагнера, в 1876 году он ставил вагнеровские оперы в Байрейте, в 1877-м вместе с Вагнером руководил концертами из его произведений в Лондоне, ставшими началом ежегодных Оркестровых фестивальных концертов (позднее называвшихся «Рихтеровскими»). В 1903–1910-м ставил оперы Вагнера в «Ковент Гардене» и завершил свою дирижерскую деятельность в 1912 году в Байрейте блестящей постановкой «Нюрнбергских мастерзингеров». В описываемый Смоленским период Рихтер был дирижером Венской придворной оперы (1875–1900), возглавлял «Халле-оркестр» в Манчестере (1897–1911), руководил музыкальными фестивалями в Бирмингеме.

³³² - «Дорогой друг! В Вену прибывает Московский Синодальный хор на один концерт. Ты не представляешь, сколь большое наслаждение ожидает тебя. Я слышал этот хор и другой превосходный хор из Петербурга, Императорскую Придворную капеллу – как в церковном, так и в светском репертуаре. Я заявляю тебе, что нигде и никогда не получал большего наслаждения от искусства. Приезжай, и ты убедишься сам, что я не преувеличивал, когда говорил тебе об этих хорах с таким восхищением» (нем.).

³³³ - Программу этого концерта см. во втором томе; во многом она совпадала предназначенной для выступления хора в Вене.

³³⁴ - В печатной программе венского концерта в зале Музыкального общества (Musikvereinsaal) обозначено 15 песнопений: 1-е отделение Царю небесный (обиходного роспева) А. Кастальский Милосердия двери М. Глинка Херувимская Благослови, душе моя, Господа (старого напева) Г.

Львовский Господи помилуй 2-е отделение Господи, спаси
благочестивых. Святый Боже (обиходное) А. Полуэктов Тебе
поем А. Гречанинов Волною морскою П. Чайковский Верую 3-е
отделение М. Балакирев Свыше пророцы П. Турчанинов Тебе
одевающегося (болгарского роспева) А. Львов Херувимская (№
1) Евангельская стихира 5-го гласа (древнерусская мелодия) Д.
Бортнянский Господи, силою Твоею Д. Бортнянский Херувимская
(№ 7) На бис: А. Кастальский Достойно есть (сербского
напева) Подробный отчет о поездке Синодального хора в Вену и
рецензии на концерт см. во втором томе серии.

335 - «непревзойденного шедевра, который вызвал у
взволнованных поклонников музыки безграничное удивлением
восхищение» {нем.}).

336 - «за абсолютно своеобразное явление», так как «уже
своим первым хором «Царю небесный» певцы привели
слушателей в изумление и напряжение».

337 - «Было интересно наблюдать, как по-отечески директор
Смоленский заботился обо всех, особенно о юных сопрано и
альтах».

338 - «достижимыми только в стране кнута и славянского
долготерпения».

339 - «дирижерской палочки».

340 - «камертон».

341 - «внутренний контакт», причем он «проговаривал все
слова, и поэтому певцы не сводили глаз с его рта».

342 - «отбивал такт» (вероятно, на 4/4), и «хор пел ему
восхваление».

343 - «Это удивительная тайна господина Стефана фон
Смоленского, директора Синодального хора, и господина
дирижера Орлова, одетого по-военному и украшенного шпагой,
— как им удалось добиться от этих мальчиков и усатых взрослых
мужчин с феноменальными тенорами и басами, достигающими
невероятно низких тонов, такого чистого слияния голосов.
Снимем шляпу перед этой тайной. Таких тонких динамических
переходов мы еще никогда не слышали, не говоря уже о
точности, глубине, ритме, безукоризненной чистоте интонации».

³⁴⁴ - «всемирно известные русские басы» доходили у нас до соль контроктавы, «и не подобно кабацкому рычанию, а с колокольно чистым, подобным органу, звуком».

³⁴⁵ - «совершенство этого пения а *carrella* произвело на слушателей огромное впечатление и помогло русским победить в столице музыки».

³⁴⁶ - «Серенаду» и «Скитальца» (нем.).

³⁴⁷ - К первым впечатлениям в Вене относится знакомство мое с известным композитором священником Перози, который дирижировал 2/14 апреля своею ораториею «Воскрешение Лазаря». Я просматривал еще в Москве все дошедшие до меня его сочинения и, признаться, не был в восторге от них. Красавец-попик дирижировал отлично и обнаружил себя отличным музыкантом и дирижером, но во всем погоня за эффектами сквозила и подавляла деланное же вдохновение, деланное верование, деланное исполнение... В общем, впечатление было очень слабо. Я помню, как отскочил от меня Перози, когда заговорил со мною октавист Лебедев своими низкими ногами. Перози не слышал ничего подобного и был совершенно поражен звуком *contra g*, который Лебедев пропел ему. «*Mais c'est parfaitement impossible! Voilà un «famoso basso»!*» ["Но это просто немыслимо! Вот так «прославленный бас»!"] – восклицал удивленный Перози. Исполнение огромного хора и оркестра у Перози были нам на руку. Мы, бывшие в концерте все сполна, убедились, что наше искусство немцам недоступно в такой аристической отделке, которая у нас на первом плане.

³⁴⁸ - Историю увольнения Г.Э. Конюса см. в первой части данной главы и в комментариях к ней.

³⁴⁹ - Статья «80 и 60 лет назад. Заметки по документам семейного архива М.А. Веневитинова» была напечатана «Русской музыкальной газетой» в 1900 году в № 15/16 (стб. 425–435) и № 17 (стб. 469–477), а также вышла отдельным оттиском (1900).

³⁵⁰ - Примечание С.С. Волковой: «Три неточности: двух гробов зараз не было, а звучит будто гак. Приобщалась я до

второй смерти. М.А. Веневитинов не дядя, а троюродный брат, но ведь все это интереса общего не имеет никакого».

³⁵¹ - «Итальянец из Тамбова» (итал.).

³⁵² - Профессор Петербургской консерватории Ливерий Антонович Саккетти происходил из старинной итальянской семьи музыкантов, но всю свою жизнь был связан с Россией: родился в Тамбовской губернии, окончил консерваторию в Петербурге по классу виолончели (1874) и теории композиции (1878), здесь же преподавал историю музыки, сольфеджио, гармонию. Впервые ввел в консерваторский курс лекции по эстетике, читал их и в Академии художеств (1887–1891). В 1888 году избран почетным членом Болонской филармонической академии. С 1895 года работал помощником В.В. Стасова, заведовавшего отделом искусств в Публичной библиотеке, с 1916 года сам заведовал этим отделом. Оставил ряд трудов по истории музыки, музыкальной теории, сольфеджио и эстетике, использовавшихся как пособия в консерваториях. 14/27 июля 1900 года на конгрессе по истории музыки в Париже Саккетти читал свой реферат «De moments principaux de l'évolution de la musique religieuse en Russie», опубликованный затем в сб. «Congrès international d'histoire de la musique tenu à Paris à la Bibliothèque de l'Opéra du 23 au 29 Juillet 1900. Documents, mémoires et vœux publiés par soins de M.J. Combarieu, Solesmes, 1901» (в русском переводе – «Главные моменты в развитии русского православного духовного пения» // Журнал Министерства народного просвещения, 1901, № 8). Там же Саккетти прочел реферат С.В. Смоленского «О крюках древнерусской церковно-певческой нотации» («De la semeiographic des anciens chants religieuse russes»), позднее переросший в работу «О древнерусских певческих нотациях». Свидетельством общения двух музыкантов являются также сохранившиеся письма Саккетти к Смоленскому. Приводим одно из них, от 19 ноября 1899 года: «Вопрос о моей командировке в Москву решен в положительном смысле. (...) Мне хотелось бы воспользоваться моим пребыванием в Москве, чтобы поработать под вашим руководством и, если позволите, научиться у вас. В вашей превосходной статье «О собрании

русских древнепевческих рукописей в Московском Синодальном училище церковного пения» вы утверждаете «несравненное превосходство в данной области именно крюков"... Тем большее мне сознавать пробел в моих знаниях: крюки меня крайне затрудняют. Но так как учиться никогда не поздно, то я не теряю надежды когда-нибудь проникнуть в эту область (...) Впрочем, главная цель моей поездки в Москву – познакомиться с многочисленными произведениями XVII и начала XVIII веков, о которых вы упоминаете в 14-м номере «Русской музыкальной газеты» 1899 года. Так как разобраться в массе материала мне будет очень трудно, то, может быть, вы мне укажете наиболее характеристические и интересные памятники. Я вас попрошу позволить мне кое-что переписать, а с некоторых памятников сделать фотографические снимки. (...) Русское Музыкальное общество желает, чтобы я, по возвращении из Москвы, прочел реферат об изученных мною произведениях. Мне хотелось бы иллюстрировать этот реферат исполнением произведений, наиболее интересных и характерных» (РГИА, ф. 1119, оп. 1, ед. хр. 161, л. 5–6).

³⁵³ - Имеется в виду стихотворение в прозе И.С. Тургенева под названием «С кем спорить?»: «... спорь даже с глупцом; ни славы, ни выгоды ты не добудешь; но отчего иногда не позабавиться? Не спорь только с Владимиром Стасовым!».

³⁵⁴ - «После блестящего выступления в концертах перед венской публикой в 1899 году, Синодальный хор вскоре после того удостоился высокой чести петь за богослужением в Большом Успенском соборе в присутствии их императорских величеств; 2 апреля 1900 года в Вербное воскресенье, 9 апреля на Пасху и 16 апреля в церкви Спаса за Золотой решеткой и во всех этих случаях был удостоен особенного внимания и восхищения высочайших особ художественным исполнением церковных песнопений. В высочайшем рескрипте на имя митрополита Московского 9 апреля 1900 года, между прочим, было сказано: «Благолепие службы в неделю Ваий в первопрестольном всероссийском храме – московском Большом Успенском соборе, величавая красота древних напевов в умильном исполнении Синодальным, бывшим

патриаршим хором и пережитые нами в Московском Кремле дни Страстной Седмицы навсегда оставят в нас неизгладимую память». После службы, пропетой хором в церкви Спаса за Золотой решеткой, государю императору было благоугодно осчастливить г. управляющего Синодальным хором князя А.А. Ширинского-Шихматова беседой, относящейся к прекрасному пению Синодального хора: «Синодальный хор пост прекрасно и производит самое лучшее впечатление»; «все звучало очень красиво». О высочайшем внимании к исполнению хора 2 апреля регент В.С. Орлов рапортовал г. управляющему, что государю императору было благоугодно почтить его милостивыми словами: «Отлично вы пели». После исполнения ряда песнопений в доме генерал-губернатора великого князя Сергея Александровича [21 апреля] регент В.С. Орлов также рапортовал г. управляющему, что государю императору было благоугодно снова осчастливить его милостивой беседой: «До совершенства хор доведен, – только бы вам остаться на этой высоте, дальше идти вперед еще нельзя. Одну вещь, третью в программе – «Вечери Твоя тайныя» – вы пропели мою любимую, а последнюю («Был у Христа младенца сад») вы давно не пели, а сейчас пропели без репетиции. Отлично, отлично, сердечное вам спасибо» (Металлов В.М. Синодальное училище церковного пения в его прошлом и настоящем. М., 1911. С. 78–79; см. комментированную публикацию этой работы во втором томе серии).

³⁵⁵ - Великая княгиня Александра Петровна, перешедшая в православие в 1856 году, стала единственной представительницей дома Романовых, принявшей монашество (с именем Анастасия). Раздав все свое состояние, последние годы она провела в основанном ею Киево-Покровском монастыре, где ныне у алтаря Свято-Покровского храма находится ее могила.

³⁵⁶ - фокусом (фр.).

³⁵⁷ - В Дневнике Смоленского имеется вклеенная программа концерта 21 апреля 1900 года: 1. Подобны на «О преславного чудесе» киевского роспева, переложение Кастальского². «Свыше пророцы», сочинение Балакирева³.

«Вечери Твоея тайныя», сочинение Львова***4. Ектения (по рукописи XVII века)5. Херувимская песнь знаменного роспева, переложение Кастаньского6. «Тебе поем», сочинение Полуэктова***7. Херувимская на «Радуйся», сочинение Чеснокова8. «Волною морскою», сочинение Гречанинова9. «Господи помилуй» на воздвижение Креста Господня, сочинение Львовского. На полях Смоленским сделана надпись: «Этот концерт был дан во дворце в[еликого] к[нязя] Сергея Александровича в присутствии их имп[ераторского] величества и человек 40–50 слушателей, 21 апреля, пятница, от 19 до 11 ч. вечера». Рядом с программой запись, тоже относящаяся к концерту: «Этот духовный концерт был дополнен между № 8 и 9 «Тебе поем» Чайковского (из Литургии) и «Помощник и Покровитель» (песни 1, 6 и 9) Бортнянского и после № 9 – легендою «Был у Христа младенца сад». Последний номер был исполнен совершенно неожиданно, хор не пел это сочинение по крайней мере 5–6 лет и все-таки исполнил с достаточною удовлетворительностью, можно сказать, даже сравнительно с приготовленными номерами программы очень хорошо. Немногие мои волосы на голове стояли дыбом в эти 2–3 минуты» (Дневник № 2, л. 29–30).

³⁵⁸ - «6 сентября я написал письмо К.П. П[обедоносце]ву, в нем, посылая Ектении, только что вышедшие в приложении к «Церк[овным] ведом[остям]», и мою статью [вероятно, первоначальный вариант статьи «О древнерусских певческих нотациях"], трактуемую мною как мою исповедь и завещание, изложил о моем желании выйти в отставку, но не удаляясь от собранной мною библиотеки рукописей в Син[одальном] училище» (Дневник № 2, л. 48).

³⁵⁹ - В концерте 17 декабря 1900 года по официальной программе исполнялись следующие песнопения: 1-е отделение С нами Бог Тропарь и кондак Рождества Христова (оба песнопения – знаменного роспева: унисоном и в гармонизации А. Кастаньского) П. Чайковский. Свете тихий (киевского роспева) П. Чайковский. Херувимская (С dur) А. Гречанинов. Благослови, душе моя, Господа 2-е отделение П. Турчанинов. Задостойник Рождества Христова Е. Азеев. Господи, спаси благочестивыя.

Святой БожеП. Чесноков. Херувимская (стрелецкая)А.
Кастальский. Милость мира (знаменного роспева)А.
Кастальский. Блажен муж (напева Большого Успенского собора)

³⁶⁰ - Замечания Смоленского даются курсивом в угловых скобках. – Ред.

³⁶¹ - ОР РГБ, ф. 178, оп. т. VII, № 10795.

³⁶² - В приведенном отчете П.И. Нечаева, ревизовавшего деятельность Синодального училища по поручению Синода, отмечается, что учебно-воспитательная и хозяйственная части находятся в удовлетворительном состоянии и в них можно найти лишь частные недостатки. Однако большинство частных замечаний было направлено именно против самостоятельности директора и на усиление власти прокурора Синодальной канцелярии (например, директор не мог самостоятельно решать вопросов приобретения книг в библиотеки, установления мер наказаний для воспитанников и вообще не имел права в отсутствие прокурора хоть в чем-то изменять заведенные ранее порядки). В отношении Смоленского ревизор вынес также особое определение, где говорилось: «Смоленский при хорошем знании церковного пения, а также любви к нему и к музыке был бы весьма полезным деятелем, если бы при этом обладал надлежащим административным тактом, внимательнее относился к внутренней стороне училищной жизни и не размерял задач училища введением в учебные занятия воспитанников некоторых музыкальных требований, уместных более в консерватории, чем в строго церковно-певческом училище». Далее Смоленскому ставилось на вид стремление к самовластию и превышение прав директора: «И хотя в действительности уставом с точностью определены права и обязанности директора училища, а равно и указанные подчиненные его отношения к прокурору Синодальной канцелярии, г. Смоленский доселе не может примириться со своим положением и при каждом удобном случае пытается выходить из пределов полномочий, предоставленных ему уставом» (Металлов В.М. Цит. изд. С. 81).

³⁶³ - Подробнее о деятельности Наблюдательного совета за все годы его существования (вплоть до 1918-го) см. во втором

томе серии. Впоследствии Наблюдательный совет оказался гораздо более трудоспособным и полезным органом, чем то показалось на первых порах Смоленскому.

³⁶⁴ - Образцы литературно-критического творчества Г.Г. Урусова см. в разделе «Периодика» второго тома серии.

³⁶⁵ - О. Иннокентием изданы статья «Заслуги Бортнянского и Львова для церковного пения» («Церковный вестник», 1890, № 47) и брошюра «Древнее русское знаменное пение и о разумном исполнении его» (1890), в которых он выступил с критикой работ Смоленского. Подробно см.: «Духовно-музыкальная полемика между схимонахом Ново-Афонского Симоно-Кананитского монастыря Иннокентием и директором Московского Синодального хора Ст. Смоленским по поводу уничтожения им цефавного ключа древнего знаменного пения и вообще о характере церковного русского пения» (Новочеркасск, 1897).

³⁶⁶ - Сергей Александрович Рачинский по возвращении в имение Татево из Петербурга, где он, как обычно, останавливался у К.П. Победоносцева, писал Смоленскому 12 марта 1901 года: «Дорогой Степан Васильевич. Пишу вам в крайнем волнении. До меня дошла неясная весть о покушении на жизнь Константина Петровича и лишь завтра могу узнать подробности. Из Петербурга я выехал в день безобразий, происходивших в Казанском соборе, после коих заезжал на Литейную Зверев. Читал правительственное сообщение, а также студенческие бюллетени (гектографированные), которые почему-то мне высылаются. О вашем деле могу сообщить лишь следующее. Государь неоднократно выражал желание видеть во главе Капеллы Шереметева и вас (следовало приказать). Противодействует Рыдзевский, заменяющий отсутствующего Фредерикса – под предлогом, что до новых назначений необходима ревизия Капеллы для выяснения возникших в ней беспорядков. Что Р[ыдзевский] – тут орудие других лиц, видно из следующего. Накануне моего отъезда у меня была А.Н. Нарышкина. Перед тем ее посетил государь. Зашла речь о Капелле, и государь спросил А[лександр] Н[иколаевн]у, знает ли она вас? Она отвечала, что не знает, но что старинный ее

друг С.А. Р[ачинский] отзывается о вас с безусловною похвалою. На это государь сказал: «Так Р[ачинский] его знает? Его хвалит? – Очень этому рад». Далее. За несколько дней перед тем С.Д. Шереметев встретил в Аничкове [дворце] фрейлину Озерову, которая сказала ему: «А я иду к государыне. Нужно предупредить ее насчет Смоленского, которого прочат в Капеллу. А я слышу, что он такой-сякой». – «Помилуйте, – отвечает Шереметев, – знаю его с наилучшей стороны. Еще лучше знает его Р[ачинский], который ручается за него во всех отношениях». – «Если так, – сказала Озерова, – ничего государыне не скажу». Вы видите, что пущена в ход клевета, источник коей определить не берусь. Надеюсь вскоре получить дальнейшие вести от С.Д. Шереметева. Во всяком случае, если состоится назначение А.Д. Шереметева и ваше, вам обоим предстоит задача нелегкая. Придется вам очищать авгиевы конюшни. Да хранит вас Бог. Преданный вам С. Рачинский» (ОР РПБ, ф. 855 (Шереметевы), ед. хр. 30, л. 18–19 об.). В газетах сообщалось, что чиновник из Самары Н.К. Лаговской «сделал четыре выстрела в окно дома Победоносцева» («Московские ведомости», 1901, 11 марта). 4 марта на площади у Казанского собора в Петербурге была подавлена демонстрация студентов.

³⁶⁷ - Альбом, подаренный Смоленскому учениками Синодального училища в 1901 году, сохранился и находится в архивном фонде Музея-квартиры Н.С. Голованова в Москве (филиал ГЦММК имени М.И. Глинки). О его судьбе см. в предисловии к книге.

³⁶⁸ - Глава «С. А. Рачинский и Татев» была написана Смоленским в расчете на читателей, достаточно хорошо знакомых с деятельностью этого великого русского просветителя. Идеи Рачинского, в течение долгого времени преданные забвению, ныне вновь вызывают самый живой интерес. Поскольку же чтение данной главы предполагает знание некоторых обстоятельств жизни Рачинского, было сочтено целесообразным в первом комментарии дать развернутую справку о нем. Сергей Александрович Рачинский (1833–1902) происходил из древнейшего дворянского рода, корнями своими уходившего в земли Великой Польши.

Известно, что к этому роду принадлежал Михаил-Казимир Рачинский – воевода калишский и познанский, бывший дважды послом в Вене. Его внук Казимир являлся маршалом надворным коронным и маршалом постоянного совета, генералом великопольским и одним из сторонников России в последние годы самостоятельного существования Польши. Граф Эдуард Рачинский (1786–1845) вошел в историю как ученый и общественный деятель, составитель прекрасной топографической карты Познанского герцогства, устроитель в Познани первого водопровода. Он основал в собственном дворце публичную библиотеку и подарил ее городу, а также вложил большие средства и много сил в издание материалов по истории Польши, собранных в архивах польских и заграничных (около двухсот томов). Ян Рачинский получил от Владислава IV земли в Бельском уезде, а дети его – Даниил и Ян приняли в 1656 году подданство России. Род Рачинских был внесен в VI часть родословной книги Смоленской губернии. Польские отрасли Рачинских внесены в родословную книгу Виленской, Витебской, Волынской, Подольской и Санкт-Петербургской губерний. Антон Михайлович Рачинский (1769–1825), дед Сергея Александровича, женатый на Александре Николаевне Потемкиной, был крестником Павла I. Он обосновался в селе Татево Бельского уезда Смоленской губернии (ныне Оленинский район Тверской области), выстроив здесь барскую усадьбу. Его сын Александр Антонович (1799–1866), отец Сергея Александровича, служил капитаном Муромского полка. Состоявший в свойстве с В.К. Кюхельбекером, он во время пребывания в Петербурге был дружен с А.А. Дельвигом и другими поэтами пушкинского круга и входил в преддекабристскую организацию «Священная артель». По показаниям декабриста М.П. Бестужева-Рюмина, А.А. Рачинский знал о существовании Южного общества, но членом его не был. Уволенный в 1827 году от службы «по домашним обстоятельствам» в чине майора, он в 1838 и 1841 годах избирался бельским уездным предводителем дворянства. Александр Антонович достроил татевский дом, заложил садово-парковый ансамбль, начал собирание богатейших татевских

архивов, библиотеки и коллекции картин русских и европейских художников. Он всячески способствовал развитию местных ремесел и рукоделия, а в 1861 году построил школу для крестьянских детей. Мать Сергея Александровича, Варвара Абрамовна (1810–1891), сестра поэта Е.А. Боратынского, знала несколько иностранных языков, получила блестящее музыкальное образование. Сергей Александрович Рачинский родился 2 мая 1833 года в Татево. Школьные его годы прошли в университетском городе Дерпт (Тарту). В 20 лет он блестяще окончил физико-математический факультет Московского университета, параллельно занимаясь биологией у профессора К.Ф. Рулье, создателя первой научной школы зоологов-эволюционистов. Продолжал учебу за границей, в Германии (1856–1858), где под руководством Г. Шахта и М. Шлейдена занимался ботаникой, общался с историком-философом Куно Фишером, посоветовавшим ему обратиться к изучению философии, с ученым-естественником и географом Александром Гумбольдтом. Серьезное увлечение историей искусства и музыкой сблизило Рачинского в Веймаре с Ференцем и Листом. Под влиянием знакомства с деятельностью профессора Йенского университета К. Стоя, основателя нескольких учебных заведений, Рачинский пишет свою первую статью на педагогическую тему – «Институт Карла Стоя в Иене», опубликованную в «Русском вестнике» (1857, № 9). В эти годы появляются его статьи, заметки, эссе, знакомившие русских читателей с книжными новинками Запада. В Германии Рачинский опубликовал свой перевод на немецкий «Семейной хроники» С.Т. Аксакова (Лейпциг, 1858). В 1858 году Рачинский возвращается в Москву, защищает магистерскую диссертацию «О движении высших растений» и получает (по сути – основывает) кафедру физиологии растений Московского университета. Вместе с братом Константином Александровичем он жертвует ежегодно из своего жалованья по 500 рублей серебром на заграничные поездки выпускников университета для усовершенствования в математических и естественных науках. В широком круге общения Рачинского, куда входили семья Аксаковых, братья Киреевские, А.С. Хомяков, семьи

Тютчевых и Сушковых, Т.Н. Грановский, С.П. Шевырев, К.П. Победоносцев, М.П. Катков, П.И. Чайковский, Л.Н. Толстой, складывается его мировоззрение. Разделяя отдельные убеждения западников (в частности, по вопросам освобождения крестьян, роли западноевропейской науки и культуры в развитии России), Рачинский, человек глубоко религиозный, живо воспринял идеи А.С. Хомякова – его апологию православия как ядра русской культуры, прозрение исторической миссии и судьбы России. В это время Рачинский пишет несколько богословских работ, оставшихся неопубликованными: «Божественная воля как источник существования движения во вселенной», «Религиозные воззрения А.С. Хомякова», «Христианство в Индии». В 1866 году, защитив докторскую диссертацию «О некоторых химических превращениях растительных тканей» и получив звание ординарного профессора, Рачинский неожиданно выходит в отставку, оказавшись в числе шести молодых профессоров, которые выступили с протестом против вмешательства в автономные права университета министра народного просвещения графа Д.А. Толстого (подробнее см. ниже). Рачинский уезжает в Татеву, где постепенно основным его делом становится педагогическая деятельность. Народное образование к этому времени оставалось областью новой и неразработанной. В 1850-е годы, в преддверии отмены крепостного права, страницы печати пестрели спорами о пользе или вреде грамотности для крестьян: высказывались опасения, не ухудшит ли просвещение экономического положения крестьянства, не повредит ли народной нравственности. После реформ 1861 года народное образование стало рассматриваться как одна из самых насущных общественных проблем. Об этом времени Рачинский писал: «Историческая минута, переживаемая нами, – минута великая и страшная. При вашей жизни, на ваших глазах завершится приобщение путем быстрого распространения грамотности многочисленного из христианских народов мира к первым ступеням жизни сознательной» (Из записок сельского учителя. СПб., 1890. С. 15). В 1875 году Рачинский строит в Татеву новое школьное здание с общежитием для

крестьянских детей из дальних деревень, сам поселяется рядом, разрабатывает программы и учебники. «С осени 1875 года занят исключительно делами начального образования. Все это время по зимам преподавал в Татевской начальной школе, летом же способных из своих воспитанников приготавливал на звание учителя, а также к другим жизненным поприщам, сообразно их личным способностям», – пишет Рачинский в автобиографии (РГАЛИ, ф. 247, оп. 1, ед. хр. 719). Помимо Татёво, Рачинский устроил школы и в других селах Бельского уезда. К 1895 году он создал и содержал на собственные средства десять школьных зданий, а также больницу для крестьян; добиваясь открытия школ для девочек, с 1885 года стал попечителем женских училищ Бельского уезда. В большинстве школ учительствовали бывшие ученики, родственники и единомышленники Рачинского. Таким образом, Татевская школа, возглавляемая известным ученым, превратилась в настоящий умственный и педагогический центр широкой сети начальных школ. Важно подчеркнуть: школа Рачинского стала особым типом русской национальной школы, созданной на основе народных традиций. Ее своеобразие притягивало многих интересующихся педагогикой. В «Заметках о сельских школах» («Русь», 1881, № 45–53) и последующих статьях, вошедших в сборник «Сельская школа», Рачинский изложил свои мысли и практические наблюдения. Хорошо зная западную педагогику, он выступил с критикой главного направления просветительного движения в России, выразившегося, по его мнению, в рабской пересадке западных начал на русскую почву и в пренебрежении народной верой и народными идеалами. Рачинский считал, что народная школа должна быть «не только школой арифметики и элементарной грамматики, но переее всего школой христианского учения и добрых нравов». В 1882 году Рачинский принял участие в работе созданной при Синоде комиссии по возрождению церковно-приходских школ. В 1891 году он был избран в члены-корреспонденты Академии наук по отделению русского языка и словесности. В 1899 году вышел беспрецедентный высочайший рескрипт, давший оценку заслуг Рачинского в деле народного

образования. Подробнее о деятельности Рачинского в области церковного пения см. ниже, а также в третьем томе данной серии.

³⁶⁹ - Рачинский принял участие в переводе Смоленского в 1901 году из Синодального училища в Придворную певческую капеллу, используя при этом свои дружеские отношения с близким к государю бывшим начальником Капеллы графом Сергеем Дмитриевичем Шереметевым.

³⁷⁰ - Варвара Александровна Рачинская (1836–1910) – младшая сестра С.А. Рачинского, постоянная его помощница в школьном деле. Руководила Татевской школой с момента ее основания в 1861 году и до 1875 года, когда преподавание целиком взял на себя Сергей Александрович.

³⁷¹ - Видимо, предполагая продолжить записи о Рачинском, Смоленский в рукописи Воспоминаний после главы «С.А. Рачинский и Татев» оставил несколько десятков чистых пронумерованных листов, однако это намерение не было осуществлено.

³⁷² - Среди естественно-исторических сочинений наибольшей популярностью пользовался сделанный Рачинским впервые перевод на русский язык книги Ч. Дарвина «Происхождение видов» (1864). Кроме того, также впервые, на русский язык Рачинским были переведены «Физиология обыденной жизни» Дж.Г. Льюиса (совместно с Я.А. Борзенковым, 1861–1862), «Растение и его жизнь» М. Шлейдена (1864), «Простые беседы о научных предметах» Дж. Гершеля (1868).

³⁷³ - Газета «Русские ведомости» (со ссылкой на «Смоленский вестник») писала: «Недавно бывший профессор Московского университета С.А. Рачинский блестяще выдержал экзамен в уездном училище города Белого, Смоленской губернии, и удостоился звания сельского учителя. (...) Чтобы открыть деревенскую школу, профессорского звания оказалось недостаточно, и г. Рачинский вынужден был ехать в город Белый и сдавать экзамен на звание сельского учителя» («Русские ведомости», 1879, 21 января).

³⁷⁴ - «Заметки о сельских школах» печатались первоначально в редактируемой Н.С. Аксаковым газете «Русь» в 1881 году (№ 45–53), затем были изданы отдельной брошюрой (СПб., 1883). Под «главой об искусстве» Смоленский подразумевает статью Рачинского «Народное искусство и сельская школа», опубликованную на страницах «Руси» в 1882 году (№ 40–42) и отдельной брошюрой (М., 1882). Обе работы вошли в многократно переиздававшийся сборник педагогических трудов С.А. Рачинского «Сельская школа» (1-е изд. – 1891). Комментированную публикацию статьи «Народное искусство и сельская школа» см. в третьем томе серии.

³⁷⁵ - На первое письмо Смоленского от 12 октября 1883 года (см. комм. 10) Рачинский отвечал 25 октября: «Многоуважаемый Степан Васильевич, с величайшим интересом прочитал я Ваше письмо от 12 октября, затрагивающее столько важных и спорных вопросов. Но увы! Вы преувеличиваете себе мои музыкальные знания: так, например, я никогда не вникал в крюковую нотацию, и раскольничье пение известно мне лишь понаслышке. Позвольте мне пока воздержаться от всякого ответа. На днях еду в Петербург. Состояние моего здоровья таково, что краткий отдых необходим. Возьму с собою Ваше письмо, покажу его Балакиреву и сообщу Вам его суждения о поднятых Вами вопросах – суждения действительно ценные. Извините краткость этих строк и отсрочку действительного ответа. Я учу двенадцать часов в сутки и совершенно истощен. Времени на писание обдуманного письма положительно нет. Итак, получите от меня послание в ноябре. С глубочайшим уважением остаюсь преданный Вам С. Рачинский» (ОР РГБ, ф. 178 (Смоленский), оп. т. VII, № 10795, ед. хр. 10).

³⁷⁶ - Еженедельная газета «Русь», основанная в Москве И.С. Аксаковым и выходившая под его редакцией с ноября 1880 года, служила выразительницей славянофильских воззрений. Последние номера газеты (31–38) вышли в 1886 году после смерти Аксакова (27 января) под редакцией Д.Ф. Самарина.

³⁷⁷ - Приводим текст «восторженного письма» Смоленского к Рачинскому. «Казань, 12 октября [1883 года] Милостивый

государь, Сергей Александрович! Многоуважаемый директор семинарии, в которой я состою преподавателем хорового пения, – Н.И. Ильминский передал мне содержание Вашего письма к нему, в котором Вам угодно было высказать Ваш отзыв о составленном г. Миропольским мнении о «Курсе хорового пения» [см. сн. 378. – Ред.]. Ваше благосклонное внимание к моему труду и краткие сообщения о мнении г. Миропольского заставляют меня обратиться к Вам с просьбой принять выражение моей искренней признательности. Замечания г. Миропольского заставили меня задуматься. Мне давно и, думаю, вполне известно направление его литературной деятельности и степень его музыкальной компетенции. Замечания о неимении в «Курсе хорового пения» рассуждений о квадратных нотах осуждено Вами именно так, как я полагал. Потребность же, косвенно указанная этим замечанием, давно чувствуется. «Азбука простого нотного пения в цефавном ключе» в настоящее время представляет невозможный анахронизм, нисколько не оправдываемый постоянным перепечатыванием ее в изданиях Св. Синода при Сокращенном Обиходе и в отдельных брошюрах. Вам, как вполне компетентному знатоку музыки (в чем я убедился из Ваших сочинений), – я считаю возможным представить мои мысли о предполагаемой мною «Азбуке церковного пения», имеющей послужить пособием для изучения древних пений, напечатанных в синодских изданиях. Рассматривая превосходное «Руководство» Потулова, впервые разложившего на строки наши древние напевы гласов и указавшего их соотношение между собою (*), я нашел, что все его голосовые упражнения составлены только для навыка в чтении нот, для приучения к переходам от простых следований интервалов к более сложным; что упражнения эти, на манер г. Альбрехта (**), составлены (хотя гораздо лучше) по шаблону, по примеру всех школ пения нашего времени. (*) Имеется в виду труд Н.М. Потулова «Руководство к изучению древнего богослужебного пения Православной Российской Церкви», изданный в 1872 году и рекомендованный в качестве пособия при изучении церковного пения в духовно-учебных заведениях; подробнее об

этом см. в третьем томе серии. – Ред.(**) Имеется в виду «Курс сольфеджий» профессора Московской консерватории К.К. Альбрехта, изданный в 1880 году. – Ред. Я убежден, что такого рода упражнения ни в каком случае не могут составить введения к изучению наших древних церковных напевов. Наше древнее пение, преимущественно же знаменный распев, есть действительно «несравненная красота», «неисчерпаемое разнообразие» – «мир строгого величия, глубокого озарения всех движений человеческого духа». Смею прибавить к Вашим искренним и вдохновенным словам: духа русского, святого и дорогого для нас, забытого ныне в этих песнопениях, родных нам. Наша обязанность – восстановить это пение по мере сил во всей его красоте, всеми средствами искусства нашего времени. Восстановление это есть дело весьма сложное и, во всяком случае, весьма трудное. Я думаю, что оно требует появления трудов какого-либо весьма сильного таланта с самой серьезной эрудицией. Пока еще такого таланта нет, – наша наука блуждает в потемках и не нашла истинную дорогу. «Азбука» должна быть выразительницею древних напевов настолько, чтобы прошедший ее уже должен успеть полюбить эти напевы и сродниться с ними. Я предполагаю, что большой знаменный распев вполне выражается в тех «лицах» и «фитах», которые так правильно повторяются в восьми гласах этого распева и устанавливают удивительное соответствие их между собою. Уверен также, что ни киевский распев, ни демественное пение, ниже болгарский и греческий распевы не выражают так полно оснований русской музыки, как большой знаменный распев. Неисчерпаемое богатство мелодических оборотов в этих «лицах» и «фитах» дает возможность составить полный ряд мелодических упражнений в духе древних напевов, сопровождая их указаниями в тексте. Изучение такого руководства, взамен «Азбуки в цефаутном ключе», состоящей из изучения только гаммы в целых нотах, половинных, четвертях и восьмых, должно приготовить, конечно, более совершенную технику певца – ознакомить его с существом распевов и, что самое главное, воспитать слух учащегося в оборотах церковных ладов, столь свойственных нашему

древнему пению. В моем «Курсе» практикуется этот прием только отчасти, потому что нет надобности внедрять в учащиеся господствующие ныне мажор и минор; в предполагаемой же азбуке этот прием должен быть исключительным. Мысль моя отчасти подтверждается планом учебников «Поучение учителя к хотящим учиться», а также «Азбука доброгласного пения» – столь употребительных у наших раскольников, сохранивших у себя дивную безлинейную семиографию. Квадратные ноты синодских изданий не удовлетворили меня потому, что недостаточно выражают дух напева. Я решил изучить пение нашей церкви по крюкам и теперь убедился в бесконечном превосходстве безлинейных знаков над квадратными нотами. Все оттенки напева, ясно выражаемые знаменами, даже подкрепление поющего названиями этих знамен: «голубчик», «умильна», «благосердна», «громосветла» и т.д. – все это пропадает бесследно в бездушных квадратных нотах, выражающих только величину, последовательность звуков и затем решительно ничего более. В настоящее время я еще недостаточно подготовлен для указанной выше работы, потому что пою не довольно свободно по крюкам и не дошел еще до полного понимания всех тонкостей безлинейной семиографии. Учитель мой – головщик-уставщик, глубокий знаток своего дела – обещает довести меня в скором времени до полного ознакомления как со знаменами, так и с письмом демежественного пения. Но даже и теперь мне, по собственному опыту, представляется ясным все удобство предполагаемого мною приема обучения. Мне нужно только слово уважаемого мною компетентного лица, чтобы приобрести уверенность и энергию для этой работы. Я прошу Вас, глубокоуважаемый Сергей Александрович, не отказать мне в Вашем просвещенном совете и сообщить Ваши указания по этому поводу. Второе замечание г. Миропольского о неимении в «Курсе» главы о гармонизации церковных ладов мне кажется несправедливым, ибо, не говоря уже о том, что этот вопрос еще не разрешен в науке, рассуждения об этом предмете в руководстве для юношества мне кажутся вполне неуместными. Немногие же Ваши слова по

этому поводу заставляют меня обратиться к Вам с вторичною просьбою. Здесь мои сомнения еще сильнее, воззрения еще более шатки, чем в предыдущем вопросе. Прежде всего мне представляется неясным: следует ли или не следует гармонизовать на четыре голоса древнее пение. Народное творчество, создавшее дивные мелодии церковного пения и светских песен, – воздержалось от их гармонизации и сохраняет их в редакции одноголосного распева. Много раз случалось мне вслушиваться в исполнение крестьянами своих песен и в пение раскольников. Места напевов, не подлежащие многоголосию, поются всегда унисоном, затем разложение напева то на два, то на три голоса повторяется с поразительною правильностью во всех сходных между собою голосовых ходах разных песен, но ни разу не удалось мне заметить четырехголосие – точно оно противно русскому уху! Попытка переложений Мельгунова утверждает меня в этом мнении. Переложения эти никуда не годны. (*) (*) Имеется в виду сборник Ю.Н. Мельгунова «Русские народные песни, непосредственно с голосов народа записанные...» (М., 1879–1885), где была впервые предпринята попытка воспроизведения подлинного крестьянского многоголосия. – Ред. Манера исполнения гласов у раскольников вполне воспроизводит все приемы русской песни: то же пение то одно-, то двух- или трехголосное, и, сколько мог заметить до сих пор, никогда не четырехголосное; чисто русская широкая волна, упоительная – не деланная, а задушевная. Почему народ, создавший чудные мелодии, не поет их гармонически? Почему не следует принять только указанную им меру гармонизации и воздержаться от изложения этой поэзии непременно в четырехголосной «западной» форме? Вопрос этот остался, между прочим, без ответа (не считая слов Воротникова) на Археологическом съезде 1871 года. (**)(**) О выступлениях музыкантов на Первом археологическом съезде в Москве и об особой точке зрения, выраженной в выступлении П.М. Воротникова (а также публикацию этого выступления), см. в третьем томе серии. – Ред. Мне представляется весьма важным вопрос: будет ли принята народом предполагаемая четырехголосная редакция? Глядя на попытки разрешения этого

вопроса в трудах Глинки, Потулова, Арнольда, обсуждая редакции четырехголосия XVII века («Церковное пение в России», 212–222 (**)) – мне представляется прежде всего знаменательным самый факт появления этих попыток. (**)
Указанные страницы относятся к первому выпуску книги Д.В. Разумовского «Церковное пение в России» (М., 1868). –
Ред. Мне известны почти все эти переложения (кроме Литургии Глинки – которую только видел (*)). (*) Вслед за Разумовским Смоленский говорит о Литургии Глинки; до нашего времени дошли только три духовных хора классика, судя по дальнейшему тексту, Смоленский был знаком с двумя из них – Ектенией первой и «Да исправится». – Ред. Откровенно говоря, они мне не нравятся. Глинка лучше всех, но он выбрал самые легкие напевы и гармонизовал на три голоса; Потулов (с переложениями которого меня познакомил о. Д.В. Разумовский, сопровождавший каждую их страницу своими мудрыми и глубокими объяснениями) – показался мне педантично и упрямо следовавшим составленному им якобы закону «прямого трезвучного аккорда», который должен неизменно быть в каждом моменте напева; Арнольд – без сомнения, весьма ученый музыкант – зарылся во всякие «каталексисы», «энналаги» и т.д. и с помощью их воспроизвел переложения еще мертвее Потулова. (**)(**) О Ю.К. Арнольде и его трудах по изучению связей между древнерусским и византийским пением см. в третьем томе серии. – Ред. Во всех этих трудах нет жизни, стихийности древнего пения, которые так сильно чувствуются в знаменном и других распевках; нет русского духа, родственных нам музыкальных оборотов, а есть только как бы решение по правилам. Такие попытки слишком мало говорят душе и, конечно, не могут быть приняты. Мысль о возможности украсить наше древнее пение настолько же хорошою гармониею, насколько хороши сами напевы, всегда казалась мне делом трудно осуществимым в наше время, даже едва ли возможным. Я полагаю, что церковные лады, столь очаровательные в западной музыке и удивляющие нас, воспитанных в правилах нынешней гармонии, своею якобы оригинальностью, – не годны для нас в той форме теории и практики, в какой мы знаем их на

Западе. Русского духа там, конечно, искать нечего, а следует предположить своеобразное пользование этими ладами, сообразное с основными законами русской мелодики и ритмики. Варианты, помещенные в «Сборнике» Мельгунова, как кажется, весьма верный шаг к изучению в этом направлении. Не аналогичны ли с ними «лица» и «фиты»? С другой стороны – неужели гармонизация церковных ладов на Западе исчерпана? Неужели нет возможности ввести в них все богатство ныне употребляемого голосоведения и диссонирующих аккордов? Ведь некоторые предположения у Турчанинова вполне могут доказать эту совместимость; написал же Бетховен (ор. 132) «Благодарственную песнь», а Глинка достаточное количество образцов в церковных ладах (в своих операх) – и сам того не подозревая? Если отбросить свободу действий и средства современного искусства, – то что другое может явиться, как не переложение вроде Потулова или Арнольда? Простите, глубокоуважаемый Сергей Александрович! Мое письмо вышло длинным, написанным без приглашения и, может быть, совершенно неуместным. Желание работать с более светлым взглядом, уверенность, что Вы не откажете мне и на сей раз в Вашем благосклонном внимании и дадите мне Ваши просвещенные указания, заставили меня писать Вам. Я прошу Вас поверить чувствам моего к Вам самого глубокого уважения. Ст. Смоленский, преподаватель Каз[анской] уч[ительской] семинарии» (ОР РНБ, ф. 631, Письма к С.А. Рачинскому, 1883, сентябрь–декабрь, л. 90–95). В письме Смоленского затронут целый ряд важных вопросов (об азбуке, соответствующей стилистике подлинного русского церковного пения, о разных методах его преподавания, о способах гармонизации древних роспевов), которые широко обсуждались современниками и деятелями предшествующего и последующего поколений. Эти вопросы являются одной из главных тем третьего тома серии.

³⁷⁸ - «Метода Смоленского» изложена в его «Курсе хорового церковного пения» (см. сн. 217), с которым Рачинский познакомился в ноябре 1882 года. Находясь в Петербурге у К.П. Победоносцева, он неожиданно получил из Казани от Н.И.

Ильминского посылку. В сопроводительном письме, адресованном К.П. Победоносцеву, Ильминский писал: «Статья С.А. Рачинского в номерах 40–42 «Руси» («Народное искусство и сельская школа») привела меня и моих сослуживцев положительно в восторг. Изложенные в ней взгляды и направление С[ергея] Александровича не чужды Казанской учительской семинарии (...) Еще в прошлом году, не имевши никакого понятия о личности С.А. Рачинского, я случайно прочитал его статьи в «Руси» же, и они произвели на меня сильное и самое симпатичное впечатление; а нынешняя статья меня взволновала». Ильминский просил передать Рачинскому просьбу проверить «наши идеи и наше дело». «... Я желал бы убедить Вас и его [Рачинского], что Казанская учительская семинария вовсе не солидарна с официальной педагогикой, которую так не любит С[ергей] Александрович», – писал он. Среди прилагаемых «некоторых документальных и фактических сведений» о семинарии находились «Курс хорового церковного пения» и статья «Заметка об обучении пению в учительских семинариях и народных школах» Смоленского («Семья и школа», 1881, № 11). В последней Смоленский критиковал методику К.К. Альбрехта и его книгу «Руководство к хоровому пению по цифирной методе Шеве», настойчиво рекомендовавшуюся министерством просвещения для народных школ. «Из Курса пения, – писал далее Ильминский, – Вы можете усмотреть, что наш учитель хорового пения преподаст воспитанникам Казанской учительской семинарии и будущим народным учителям исключительное церковное пение, а в статейке своей Смоленский рассуждает о непригодности для сельских народных школ тех песенок, которые им навязывает официальная педагогика» (ОР РПБ, ф. 631, Письма к С.А. Рачинскому, 1882, август-декабрь, л. 1–2 об.). Рачинский, ознакомившись с «Курсом», дал ему высокую оценку: «Учебник г. Смоленского, насколько могу я судить, превосходен, и уже по одним своим нотным приложениям будет истинным кладом для сельских школ. Несколько затруднит его повсеместное распространение цифирная нотация, еще далеко у нас не распространенная. Но при нотации линейной такое богатство

приложений было бы совершенно невозможно. Надеюсь, что этот прекрасный труд явится в печати. В высшей степени важно в нем уже перенесение Литургии в тон соль, столь значительно облегчающий исполнение, и прекрасный выбор дополнительных песнопений» (письмо к Н.И. Ильминскому от 24 ноября 1882 года – НАРТ, ф. 968, оп. 1, ед. хр. 142, л. 78а-78б). Не без влияния этого отзыва «Курс» в 1885 году вышел в литографированном виде и был приобретен Рачинским для своих школ. Всякий раз, когда выходило новое издание учебника, Степан Васильевич отправлял Рачинскому несколько десятков экземпляров. Традиция эта сохранялась и после смерти татевского подвижника. В письме к Варваре Александровне Рачинской от 6 февраля 1907 года, препровождая очередное издание, Смоленский пишет: «Высокоуважаемая Варвара Александровна! Недавно, после невозможных затруднений из-за рабочих беспорядков [забастовок в Петербурге], наконец-то вышла в свет моя книга. Это случилось в начале января сего года, а на обложке книги напечатан 1904 год, на первой странице – 1905 год. Первые экземпляры я просил отправить в Татеву, в количестве 100 экземпляров II части и к ним 25 экземпляров I части...» (Письма С.В. Смоленского к В.А. Рачинской – РГАЛИ, ф. 427, оп. 1, ед. хр. 1253).

³⁷⁹ - Имеется в виду усадебный дом Рачинских, строительство которого было начато дедом Сергея Александровича Антоном Михайловичем и завершено отцом Александром Антоновичем. В годы Великой Отечественной войны дом был сильно разрушен.

³⁸⁰ - Фамилия этого древнейшего рода, по преданию, происходила от первоначального «Боратын» («Божья оборона»), а на письме передавалась по-разному.

³⁸¹ - Родители С.А. Рачинского, Варвара Абрамовна и Александр Антонович, имели трех дочерей: Александру, Ольгу, Варвару и четырех сыновей: Владимира, Сергея, Александра и Константина. Вероятно, Смоленский имеет в виду Григория Алексеевича Рачинского, двоюродного брата Сергея

Александровича. Блестящий портрет этой незаурядной личности дан Андреем Белым в книге «Начало века».

³⁸² - Сергей Львович Толстой женился на Марии Константиновне Рачинской в июле 1885 года; 24 августа 1897 года у них родился сын Сергей Сергеевич Толстой. Заболев туберкулезом легких, Мария Константиновна умерла 2 июля 1900 года. В своем Дневнике Смоленский записал 9 июля: «Скончалась милая Мария Константиновна Толстая-Рачинская в Англии от чахотки. Все было дано этой женщине: красота, богатство, изящность, ум, огромное образование (доктор математики Кембриджского университета), не далось только здоровье» (Дневник № 2 – РГИА, ф. 1119, оп. 1, ед. хр. 5, л. 42).

³⁸³ - Женская классическая гимназия Софьи Николаевны Фишер была открыта в Москве в 1872 году; ее программа совпадала с программой мужской классической гимназии, и ученицы, прошедшие все восемь классов, получали аттестат, равный аттестату зрелости, и право преподавать учебные предметы в четырех низших классах мужских гимназий и прогимназий, во всех классах женских гимназий (ведомства Министерства народного просвещения). В 1895 году окончившим гимназию Фишер было предоставлено также право поступать в Петербургский медицинский институт без всяких поверочных испытаний.

³⁸⁴ - Запись Смоленского в Дневнике от 23 ноября 1903 года поясняет и дополняет характеристику О.Л. Хигерович: «Мне вдруг вспомнилось, какую бы можно было написать хорошую повесть на тему о крещении еврейки Ольги Львовны Х[игерови]ч, воспитанницы В[арвары] А[лександровны] Рачинской. Если проследить постепенное раскрытие себе ее умом отрицательных сторон еврейского быта, особенно же кагала, если принять во внимание расцвет ее 16-летней красоты, дарований, сильнейшего впечатления от того, как приняли ее (подругу по гимназии М[арии] К[онстантиновны] Рачинской) в новой ее семье, как затем шла внутренняя борьба между брошенным еврейством и не сполна прочувствованным христианством, – получится отличная канва для психологического очерка. Особенно улыбается мне тут глава о

столкновении благородного чувства к Р[ачинск]им с неудержимым порывом к самостоятельности молодой натуры, тайный роман и все-таки помощь Р[ачински]х к отправке Х[игерови]ч в Монпелье, где она кончила курс медицины. Выход замуж за крещеного еврея и равнодушие двух натур к христианству – новая глава на темы о том, что: 1) образование не влияет на мирозерцание и 2) религия с детства помнится неискоренимо, как бы ни был логично доказан перевес принятого потом культа. 3) Натура берет все свое в свои годы, заставляя забывать все ради любви. 4) Религиозный подъем души проявляется различно и влияет на свою продуктивность различно же, смотря по его первоначальному стимулу, либо тесноте молодой, неосмотрительной и не идущей на компромиссы, благородной души, либо протесту установившегося взрослого ума» (Дневник № 5 – РГИА, ф. 1119, оп. 1, ед. хр. 9, л. 14).

³⁸⁵ - В рукописи к данной главе приложена статья В.В. Розанова «С.А. Рачинский и его Татево» («Новое время», 1902, 22 мая). В ней, в частности, рассказывается о «громадной, в несколько тысяч томов», библиотеке Рачинских, собранной предками Сергея Александровича. Выборки из хранившихся в Татево рукописных сокровищ, редких художественных изданий и автографов замечательных людей (52 письма Е.А. Боратынского к И.В. Киреевскому, 5 писем В.А. Жуковского к князю Д.В. Голицыну, А.П. Елагиной и И.В. Киреевскому, статья В.Ф. Одоевского «Жить–действовать», воспоминания Ю.Ф. Самарина о А.С. Хомякове, письма Ф. Мендельсона-Бартольди к А.Ф. Львову, А. Гумбольдта к К.К. Павловой и неизвестные ранее стихотворения Е.А. Боратынского, И.П. Мятлева, Н.Ф. Павлова, В.А. Жуковского, В.А. Соллогуба, А.А. Фета и др.) составили «Татевский сборник», изданный Обществом ревнителей русского исторического просвещения в 1899 году.

³⁸⁶ - Московско-Виндавская железная дорога соединила Москву и Виндаву (прежнее название портового города Вентспилс в Латвии).

³⁸⁷ - В 1877 году этнограф П.В. Шеин напечатал в «Виленском вестнике» приглашение к содействию в собирании

памятников народного творчества. Известно, что оно было встречено сочувственно, и в дальнейшем Шеин работал при помощи нескольких корреспондентов.

³⁸⁸ - Эта фотография, вероятно, была сделана в 1890–1892 годах, так как запечатленный на ней священник и учитель школы в селе Гремячево (ныне Калужская область) А.Д. Воскресенский впервые посетил Татев в 1890 году, а с 1891 года в течение полутора лет преподавал в Татевской школе. Из дневниковых записей Воскресенского (Из дневника учителя Татевской школы // Народное образование. Т. I, кн. 3. С. 280–281; кн. 5/6. С. 573) следует, что фотографией среди обитателей Татев увлеклся бывший воспитанник Рачинского, художник Н.П. Богданов-Бельский.

³⁸⁹ - О запечатленном на фотографии воспитаннике и крестнике Рачинского японце Сергее Никодимовиче Сеодзи, в то время студенте Петербургской духовной академии, интересно рассказывает А.Д. Воскресенский в своем дневнике. Н.П. Богданов-Бельский изобразил Сеодзи на картине «Крестник». О своем обращении в христианство С. Сеодзи написал воспоминания, которые были опубликованы с предисловием Рачинского («Русский вестник», 1891, ноябрь).

³⁹⁰ - Антон Захарович Ольховиков – бывший ученик Татевской школы. После посещения Татева Смоленским Рачинский отправил его в Казанскую учительскую семинарию с целью обучения в регентском классе (1886). В переписке с Рачинским Смоленский часто упоминает Ольховикова, проявляя о нем отеческую заботу. В архиве Смоленского имеется также письмо Ольховикова более позднего периода, от 2 ноября 1903 года, из которого следует, что обремененный большой семьей и материальными трудностями Ольховиков оставил Татев, найдя другое место службы, но с годами начал тяготиться своим «отступничеством»: «С самой смерти Сергея Александровича засело мне в голову, что я непременно должен бросить скитания и возвратиться в Татев. А по летам даже испытываю угрызения совести при виде пустующей запертой Татевской школы и слушая недовольство крестьян школой и пением, которое действительно расстроилось. (...)

Перечитывание писем Сергея Александровича и Ваших еще больше побуждает сделать этот шаг, то есть бросить все и проситься в Татев. Вы пишете: «Завещаю тебе работать из всех сил, чтобы успехами утешить незабвенных твоих Сергея Александровича и Николая Ивановича [Ильминского] и иметь возможность трудом своим воздать им сторицею за сделанное тебе добро». (...) Вот еще Вы говорите: «От всей души желаю тебе успешно продолжать занятия и в будущем послужить родине». (...) Это будущее не есть ли теперь « (РГАЛИ, ф. 427, оп. 1, ед. хр. 3582). Смоленский переслал письмо Ольховикова Варваре Александровне Рачинской в Татев, сопроводив его такими строками: «Затрудняюсь что-либо сказать по поводу письма, предпочитая, ввиду множества окружающих Татевскую школу обстоятельств всякого свойства, лучше поступить прямо и без желательных Антону prelimинарий» (письмо от 6 ноября 1903 года – РГАЛИ, ф. 427, оп. 1, ед. хр. 1253).

³⁹¹ - Картина Н.П. Богданова-Бельского «Устный счет» (1896, Третьяковская галерея, несколько вариантов) запечатлела уникальные, поражавшие посетителей математические уроки-импровизации Рачинского, во время которых взрослым образованным людям было трудно состязаться с детьми в быстроте устных вычислений. Свою оригинальную систему начального математического образования Рачинский изложил в учебных пособиях «1001 задача для умственного счета», «Арифметические забавы» и «Геометрические забавы», не утративших своего значения и сегодня.

³⁹² - недоразумение (фр.).

³⁹³ - Известный живописец, академик Николай Петрович Богданов-Бельский ребенком был взят Рачинским у крайне бедной крестьянки и воспитан в Татевской школе. Позднее Рачинский направил его в иконописную мастерскую при Троице-Сергиевой лавре. Затем последовали занятия у В.Е. Маковского, В.Д. Поленова, И.М. Прянишникова в Московском училище живописи, ваяния и зодчества, занятия у И.Е. Репина в Академии художеств, у Ф. Кормона и Коларосси в Париже, участие в выставках Товарищества передвижных

художественных выставок (с 1890 года). Богданов-Бельский писал преимущественно жанровые картины на темы из крестьянской жизни. Многие из них созданы в Татево и посвящены Татевской школе. Богданову-Бельскому принадлежит также портрет Рачинского (1900), находящийся в Смоленском краеведческом музее.

³⁹⁴ - Об инциденте в Московском университете, после которого Рачинский вышел в отставку, см.: Чичерин Б.Н. Воспоминания. Московский университет. М., 1929. С. 98–246.

³⁹⁵ - А.Д. Воскресенский в своем дневнике передает диалог с Рачинским, из которого становится ясен смысл выделенной Смоленским фразы «не думать о будущем»: «Рачинский: Конечно, с моею смертью моя школа пропадет; никто не поддержит ее, и она замрет. Я умру – все распадется, мои десять школ опустеют и мое детище умрет. Не могу же я быть уверен, что найдется мое второе «я», которое будет вместо меня. Воскресенский: Но как это страшно, Сергей Александрович, как тяжело смотреть вперед!... Рачинский: Вот оттого вы и падаете духом, что все смотрите вперед. А вы делайте дело, смотрите на настоящее и сделаете больше, чем если будете забегать вперед» (Воскресенский А.Д. Из дневника учителя Татевской школы // Народное образование. Т. I, кн. 2. СПб., 1911. С. 436).

³⁹⁶ - Действительно, переписка Рачинского и Ильминского невелика по объему. Однако сохранившиеся 12 писем Рачинского за 1882–1889 годы (НАРТ, ф. 968, оп. 11, ед. хр. 142; ответные письма Ильминского – в ОР РПБ, ф. 631) являются важными документами, восполняющими рассказ Смоленского. Большая часть этих писем приходится на время первого посещения Татева Смоленским и касается вопроса о приеме в Казанскую семинарию Антона Ольховикова. Так, 1 августа 1886 года Смоленский и Рачинский одновременно обращаются к Ильминскому: «Татево, 1 августа 1886 года Дорогой Николай Иванович! Не буду Вам описывать несравненного Татева, милейшего Сергея Александровича и прочих Рачинских, прелестную школу и ее учеников – об этом много и после; скажу только, что меня здесь просто на руках носят и занимаются

моими уроками беспримерно хорошо. Для Вас готовлю много всяких подробностей. Я здесь пробуду до 14 августа. Выставляю этот срок потому, что мы решаемся с С.А. просить Вас о принятии в Казанскую семинарию одного здешнего мальчика – Антона, 14 лет и 7 месяцев, чрезвычайно даровитого вообще, а к пению в особенности. Я наблюдал его все дни, проведенные здесь, ибо он с первого раза кинулся мне в глаза свою восприимчивостью. Мальчик скромный и сердечный. Я припоминаю о согласии Вашем (года 3–4 назад) послать сюда одного из наших воспитанников; несмотря на то, что дело не устроилось тогда и принимая во внимание всю ценность Антона как будущего регента и учителя в Татево, я позволяю себе уверить Вас, что Антон действительно стоит внимания. Рачинский был в совершенном восторге, когда я ему сообщил, что у нас принимаются мальчики не из одной Казанской губ[ернии]. Он пишет Вам об Антоне – если Вы почтете возможным не отказать ему – телеграфируйте, и я возьму Антона с собой. Повторяю, мальчик вполне надежный и стоящий внимания. Что за милейший и удивительнейший человек С.А.! Какое наслаждение беседа с ним! – Но после. Целую Вас от всей души. Милейшую тетюшку крепко, крепко целую. Не будет ли от нее поручений в Москве. Я пробуду там 3 дня. Азбука, вследствие певческого азарта в школе, совсем остановилась, а кондакарные знания раскусываю. Всем мой сердечный привет. Ваш Степан. Извините за бумагу – не нашлось белее» (НАРТ, ф. 968, оп. 11, ед. хр. 142, л. 83). «Татево, 1 авг[уста] 1886 г[ода] Высокоуважаемый Николай Иванович, Степан Васильевич внушил мне дерзновение обратиться к Вам с просьбою, с коею я бы уже давно обратился к Вам, если бы эта просьба не была бы столь нескромна... Дело идет о приеме одного из воспитанников Татевской школы, мальчика, очень способного к пению, в Казанскую учительскую семинарию. Вы поймете, как трудно мне решиться беспокоить Вас столь незаконною просьбою, но искушение столь велико, что не могу удержаться от этой попытки. Только Вам могу я передать моего воспитанника с полной уверенностью, что все доброе в нем не заглохнет, а окрепнет и возрастет; только в Вашей семинарии

может он получить то музыкальное образование, которое мне по душе и ему на потребу. Будьте уверены, что отказ меня не удивит: прошу об одолжении необычайном, о деле, может быть, неисполнимом. Не можете себе представить, в какое радостное напряжение, в какой музыкальный восторг привел мою школу приезд Степана Васильевича. Да благословит его Бог за благодеяние, которое он оказывает и мне, и всем моим ребятам. Но он сам расскажет Вам, сколько удастся ему делать с ними в это краткое время. Учитель он – гениальный и человек золотой. Да хранит Вас Бог. Всею душою Вам преданный С. Рачинский» (Там же, л. 82–82а). Вскоре, получив положительный ответ, Рачинский писал вновь: «Татеву, 15 августа 1886 года. Высокоуважаемый Николай Иванович, от души благодарю Вас за позволение прислать к Вам моего питомца, позволение, коим я поспешил воспользоваться еще до получения Вашего письма – и за отеческие Ваши заботы о его дальнейшей судьбе. Об этом последнем предмете выскажу Вам тотчас же мои задушевные желания. По моему крайнему разумению, всего полезнее было бы для него пройти полный курс (со включением приготовительного класса) Казанской учительской семинарии и каждое лето приезжать на вакации в Татеву. Желая я этого по многим причинам. Во-первых, мой Антон, при всех его добрых качествах, еще мал и глуп, и разве через четыре года будет не грешно возлагать на него, вместо ученических обязанностей – обязанности учительские. Самое музыкальное образование будет несравненно прочнее, если будет усвоено с должною постепенностью, наряду с другими знаниями, необходимыми учителю. Во-вторых, та должность, которую я имею для него в виду – должность не только учителя пения при Татевском училище, но и руководителя, по части пения, учителей соседних школ, организатора при них хоров, требует большего нравственного и умственного авторитета, чем может его иметь 16-летний недоучка. В-третьих, все это может не сбыться, и я могу скоро умереть, ибо здоровье мое плохо. Нужно, чтобы Антон имел и звание учителя, и подготовку, необходимую для исполнения учительских обязанностей, чтобы и в этом случае не быть лишенным куска хлеба. Наконец, и это

важнее всего. Каждый лишний год, проведенный Антоном в сфере Вашего нравственного влияния, для него дороже всякой музыки, всяких свидетельств. Неужели Вы думаете, что если бы я имел счастье жить в районе Вашей деятельности, я стал бы брать на себя тяжелую ответственность создания сельских учителей? Всех своих учеников, к учительству способных, я поручал бы Вам. Это свидетельство в одном лице и учителя начальной школы, и инспектора училищ, и целой учительской семинарии в миниатюре – дело неестественное, вынужденное местными обстоятельствами, сложившееся помимо моей воли, силою вещей. Да и учителей моих (я их натворил до двадцати) я не создал, как может казаться со стороны. Я только тщательно их выбрал из сотен детей, проходящих через мои школы (в нынешнюю зиму в них училось более 300 человек).

Относительно Антона я еще колебался. Меня смущали в нем некоторая рассеянность и торопливость, при несомненной восприимчивости к учению. Не замечал я в нем и той охоты учить младших товарищей, которая у крестьянских мальчиков обнаруживается весьма рано. Но, по крайнему моему разумению, из него может развиться именно учитель пения – в этой среде внимание его никогда не ослабевает. Для окончания же его личного развития необходимы еще несколько лет постепенного и правильного учения. Все сказанное мною ближе разъяснит Вам Степан Васильевич, коему теперь известна вся подноготная Татевской школы. Если возникнут затруднения из того обстоятельства, что Антон, окончив курс в Вашей семинарии (на казанский счет), поступит на должность вне Казанского учебного округа, я готов его выкупить – ибо он нужен именно здесь, в нашей гимназии. Паки и паки благодарю Вас от души. Неизменно Вам преданный С. Рачинский» (Там же, л. 84–84а).

³⁹⁷ - Здесь в рукопись вклеена статья Смоленского «Памяти С.А. Рачинского» («Русская музыкальная газета», 1902, № 30/31). На ней сделана надпись рукой Смоленского: «"Вы знаете, – писал он мне однажды, – что втайне сердце мое лежит не к арифметике и грамматике, а к живописи и к музыке; знаете, что я – человек очень старого пошиба, из тех, которые признают

непрерывную связь между истинным искусством и красотой нравственной». И действительно». Статья публикуется в Приложении I.

³⁹⁸ - Письма Смоленского к Рачинскому находятся в ОР РНБ, ф. 631.

³⁹⁹ - Рачинский организовал Общество трезвости в Татево в 1882 году. Объясняя необходимость создания подобного Общества, он писал: «Для меня стало очевидным, что для ограничения моих учеников от окружающего нас зла нужны средства более сильные, чем простые увещания и поучительные речи, и единственное средство, которое я мог придумать, было устройство в тесном кругу моих учеников (из коих многие в то время были уже взрослые) Общества трезвости, то есть воздержания от спиртных напитков» (сб. Сельская школа. СПб., 1892. С. 188). 5 июля, в день именин Рачинского (день памяти Сергия Радонежского, который стал почитаться и как покровитель Общества) после молебна произносился учителем и его учениками обет воздержания сроком на один год. Через год обет возобновлялся. Со временем обеты были отменены – служился молебен, где в ектениях вставлялись нарочитые прошения о трезвенниках. Общество скоро приобрело широкую известность и к 1890 году насчитывало 1.018 человек. Рачинский подчеркивал: «Преобладающим мотивом присоединения к обществу трезвости всегда является мотив религиозный; отнюдь не желание лишь вести жизнь экономически более выгодную, а зажить жизнью «Богу угодною»; и только церковная форма отречения от пьянства в этом деле оказывалась более, чем формой, а духовным актом, связующим совесть» (сб. Сельская школа. С. 195).

⁴⁰⁰ - «Слышал я стороной о казанском арх[иепископе] Павле, – писал Смоленский Рачинскому, – и подивился его тупости по отношению к пониманию Вашей мысли. Правда ли то, не знаю. Если правда, что... Павел резко и бестактно возразил, будто бы церковь не допускает обществ трезвости, ибо христиане предполагаются трезвыми и сам И[исус] Хр[истос] благословил вино на брак и проч., – если правда,

дивлюсь очень, не понимаю узости формального взгляда, самой надобности его, точно как будто бы страшного зла нет и борьба с ним не надобна» (ОР РПБ, ф. 631, Письма к С.А. Рачинскому, 1889, октябрь–декабрь, л. 145–146 об.).

⁴⁰¹ - образ жизни (лат.).

⁴⁰² - Наряду с неприятием, мысли Рачинского встречали и поддержку в правящих кругах, в частности у обер-прокурора Св. Синода К.П. Победоносцева, имевшего влияние на Александра III. В письме к нему от 30 июля 1883 года Победоносцев указывал: «Смею обратить внимание вашего императорского величества на прилагаемое письмо Рачинского. Это один из бесчисленных воплей, раздающихся теперь повсюду, из всех концов России. Во время коронации особенно слышался этот всенародный зов к правительству об исцелении этой ужасной язвы, разъедающей народ, об освобождении от кабака, перед всеильною властью коего бессилен народ, бесплодны и отдельные усилия лиц, вступающих в борьбу с кабаком и кабатчиками. Рачинскому, живущему безвыездно в деревне, посреди народа, виднее чем кому-либо все это зло. Он успел сделать у себя многое, привлекая и детей, и отцов крестьян, и местное духовенство к союзу трезвости; но все эти усилия разбиваются о кабачную силу. Кабак есть главный у нас источник преступлений и всякого разврата умственного и нравственного – и действие его невообразимо ужасно в темной крестьянской и рабочей среде, где ничего нельзя противопоставить его влиянию, где жизнь пуста и господствуют одни материальные интересы насущного хлеба. Кабак высасывает из народа все здоровые соки и распространяет повсюду голое нищенство и болезнь. Необъятная Россия состоит из пустынь, но нет такой пустыни, нет глухого уголка, где бы не завелись во множестве кабаки и не играли бы первенствующей роли в народной жизни. И чем дальше, там хуже. Уничтожение кабака есть решительно первая потребность, есть необходимая мера для спасения России» (Письма К.П. Победоносцева к Александру III. Т. 2. М., 1926. С. 38–39).

⁴⁰³ - Увольнение Н.И. Бахметева и назначение Милия Алексеевича Балакирева управляющим Придворной капеллой,

а Николая Андреевича Римского-Корсакова помощником управляющего и инспектором музыкальных классов были следствием изменений в государственной политике по отношению к церкви. В «Летописи» Римского-Корсакова читаем: «Перемены, возникшие со вступлением на престол Александра III, коснулись и Придворной капеллы, директором которой был Бахметев. Последний получил отставку. Положение Капеллы и штаты ее были выработаны вновь. Начальником Капеллы сдelaй граф С.Д. Шереметев (даже и не дилетант в музыкальном искусстве). Должность эта была как бы только представительная и почетная, а в действительности дело возлагалось на управляющего Капеллой и его помощника. Управляющим Шереметев избрал Балакирева, а последний своим помощником – меня. Таинственная нить такого неожиданного назначения была в руках Т.И. Филиппова, бывшего тогда государственным контролером, и обер-прокурора Победоносцева. Балакирев – Филиппов – гр. Шереметев – связь этих людей была на почве религиозности, православия и остатков славянофильства. Далее следовали Саблер и Победоносцев, Самарин, пожалуй, и Катков – древние устои самодержавия и православия. Собственно, музыка играла незначительную роль в назначении Балакирева; тем не менее нить привела к нему, действительно замечательному музыканту» (Римский-Корсаков Н.А. Летопись моей музыкальной жизни. М., 1982. С. 194). Подробнее об обстоятельствах назначения Балакирева и Римского-Корсакова в Капеллу и об их деятельности там см. вступительную статью М.П. Рахмановой в издании: Н.А. Римский-Корсаков. Полное собрание духовно-музыкальных произведений // Памятники русской духовной музыки. Под ред. В. Морозана. Musica Russica (USA), 1999.

⁴⁰⁴ - Перестройка здания Придворной капеллы осуществлялась в период управления С.Д. Шереметева (1883–1894). Начатая в 1886 году по проекту Л.Н. Бенуа, она была завершена в 1889 году открытием нового концертного зала.

⁴⁰⁵ - Капелла в тот период (до 1886-го) обладала монополией на выдачу регентского диплома, который могли

получить не только прошедшие в ней обучение, но и лица «со стороны», сдавшие соответствующие экзамены.

⁴⁰⁶ - Имеется в виду Всенощное бдение древних напевов (1888) – собрание гармонизаций традиционных роспевов, осуществленное Римским-Корсаковым, Лядовым и учителями Капеллы, и «Тебе Бога хвалим» (1883) – двухорный духовный концерт Римского-Корсакова. О реальном объеме и значении церковного творчества композитора см.: Рахманова М.П. Духовная музыка // Музыкальная академия, 1994, № 2.

⁴⁰⁷ - Речь идет о падении издательской монополии Придворной капеллы, после чего стало возможным печатание духовно-музыкальных произведений частными издательствами; пионером и лидером в этой области все дореволюционные годы являлось московское издательство П.И. Юргенсона.

⁴⁰⁸ - Смоленский, вероятно, не был знаком со сборником «Духовно-музыкальные переложения и сочинения М. Балакирева», вышедшим в 1900 году, куда вошли шесть хоров: три переложения (Херувимская песнь, «Да молчит всякая плоть», «Достойно есть») и три сочинения («Свыше пророцы», «Да возрадуется душа твоя» и «Со святыми упокой»). Позднее, в 1906 году, П.И. Юргенсон издал еще четыре духовных хора Балакирева («Ангел вопияше», «Днесь иже на разумнех престолех», «Благослови, душе моя», «Христос воскрес»). См.: Ковнацкая Л.Г. «Иже херувимы» (о неизвестном авторском наброске М.А. Балакирева)// Балакиреву посвящается. Сб. статей. СПб., 1998.

⁴⁰⁹ - В обширном письме-"исповеди» Рачинскому от 12 октября 1883 года (см. в комментариях к Главе VIII) Смоленский подробно изложил свои взгляды на существовавшие к тому времени гармонизации обиходных церковных напевов и указал на необходимость изучения древних песнопений в первоначальной знаменной нотации как на залог верных решений. Рачинский показал это письмо Балакиреву и 21 января 1884 года сообщил Смоленскому: «Балакирев вместе с Римским-Корсаковым сами заняты гармонизацисю Обихода (известные мне образцы их труда превосходны) – и поэтому нет возможности их заинтересовать какою-либо другою

гармонизацию (...) Балакирев не разделяет ваших симпатий к крюковой нотации...» (ОР РГБ, ф. 178, т. VII, № 10795).

⁴¹⁰ - Николай Николаевич Черепнин возглавлял оркестровый класс Придворной певческой капеллы в течение двух лет (1899–1901), сразу по окончании Петербургской консерватории (у Н.А. Римского-Корсакова по композиции, у К. Фан-Арка по фортепиано). Впоследствии Черепнин зарекомендовал себя как великолепный оперный, балетный и симфонический дирижер; в 1905–1918 годах он вел в Петербургской консерватории основанный им (первый в России) класс дирижирования. Черепнин является автором ряда талантливых духовных композиций в стиле Нового направления.

⁴¹¹ - зверство (фр.).

⁴¹² - См. об этом сн. 366.

⁴¹³ - Ныне Романов переулок. – Ред.

⁴¹⁴ - Граф Александр Дмитриевич Шереметев, продолжая меценатские традиции своего рода, учредил в Петербурге церковный хор (с 1884, некоторое время под управлением А.А. Архангельского, затем под управлением упоминающегося Смоленским Н.М. Сафонова) и симфонический оркестр (с которым работал также упоминающийся далее М.В. Владимиров). С 1898 года Шереметев устраивал со своим оркестром общедоступные (или «народные») концерты, имевшие важное просветительское значение; позже было учреждено Музыкально-историческое общество имени графа А.Д. Шереметева, которое кроме устройства концертов организовывало лекции о музыке и бесплатное ее преподавание. А.Д. Шереметев был автором нескольких оркестровых и, главным образом, духовных хоровых произведений.

⁴¹⁵ - После увольнения из Капеллы Смоленский указывал, что одной из причин разлада его отношений с А.Д. Шереметевым стали именно негативные отзывы о духовных сочинениях графа. См. подборку дневниковых записей Смоленского в журнале «Музыкальная академия», 1998, № 2.

⁴¹⁶ - Задуманный большой труд по истории Придворной капеллы не был осуществлен ни Смоленским, ни Преображенским. Последним опубликован ряд работ о деятелях Капеллы – в частности, об А.Ф. Львове и П.И. Турчанинове; кроме того, оценка деятельности Придворной капеллы в целом содержится в книге Преображенского «Культовая музыка в России» (Пг., 1924).

⁴¹⁷ - Е.С. Азеев был, несомненно, опытным регентом и отнюдь не бездарным и довольно плодовитым духовным композитором; особенно интересно его Собрание духовно-музыкальных сочинений и переложений, выпущенное издательством А. Гутхейля в 1883 году (15 номеров; некоторые из них исполнялись Синодальным хором). Азеев также принимал участие в гармонизации под руководством Римского-Корсакова Всенощного бдения древних напевов, а после кончины Николая Андреевича подготовил к изданию так называемый третий сборник его духовно-музыкальных сочинений и переложений (СПб., 1913). В пору их совместной работы Азеев пользовался доверием и симпатией Римского-Корсакова – и как церковный регент, и как оперный хормейстер (он, в частности, работал с хором при постановке «Майской ночи» в Мариинском театре). В «Летописи» Римский-Корсаков называет Азеева музыкантом «знающим и опытным».

⁴¹⁸ - увеселительные собрания (фр.).

⁴¹⁹ - Последние страницы Дневника № 3 заняты планами бесед с учениками инструментального класса с 3 сентября 1901 года. Приводим для образца фрагмент: «3 сент[ября]. О красоте. Законы симметрии, подобию, золотого сечения и суммы. Повторяемость этих законов во всех произведениях природы, в произведениях народного творчества и в лучших произведениях отдельных гениальных людей. (...) 4 сент[ября]. О записи человеческой мысли. Разные системы письма, сообразно группам языков: моносиллабическая, приставочная, флексивная. Иероглиф, китайщина, буквенное письмо. Родство алфавита с языком. Сило, килим, перо. Письмо налево. Свиток, китайская книга, рукописная книга. Музыкальное письмо. Невмы, ноты. 5 сент[ября]. Земля – как космический

организм и как живое существо.6 сент[ября]. О реках, о половодье.10 сент[ября]. Гора, хребет, гористая страна. (...) Разделение людей горами. Характеры человека в горах, на равнине, на море.11 сент[ября]. О посте. Значение поста для организма и для воспитания воли. Более широкое понимание поста, в смысле вообще воздержания, добровольного, умного самоподчинения, владения собою. Значение и расположение 4 постов в году. Энергия и уныние. Упрямство и умное самообладание. Значение монастырей в старину, как лечебниц усталой души. Подчинение и послушание. Пост не только в пище, по ее составу, но и в направлении деятельности в известные сроки. Соблюдение постов в народе. Посты всех сословий, свято сохраняемые доныне у болгар, сербов, черногорцев, греков. Внутреннее значение самообладания и силы воли для каждого человека. Уговор о постах на предстоящую зиму 1901/02 года: мы будем умно поститься. Например, 11 сент[ября], 26 октября, 29 августа и т.п., также среды и пятницы во все посты, 1-ю, 4-ю и 7-ю Вел[икого] поста и последние недели перед Рождеством Хр[истовым], Успеньем и Петровым днем».

⁴²⁰ - «Инвалидными» назывались ежегодные благотворительные концерты в Придворной капеллы.

⁴²¹ - Имеется в виду фольклорный сборник Ю.Н. Мельгунова «Русские народные песни, непосредственно с голосов народа записанные и с объяснениями изданные» в двух выпусках (М., 1879–1885). Концерт 11 мая 1893 года – это организованный Н.С. Кленовским первый в Москве Этнографический концерт, для которого он сделал обработки песен разных народов России, впоследствии изданные в сб. «Этнографический концерт. Сборник русских и инородческих песен для солистов, хора и оркестра» (М., 1894). Работая в течение почти десятилетия в Тифлисе, Кленовский создал Грузинскую литургию (1902; отдельные номера еще до публикации исполнялись Синодальным хором в концертах под управлением В.С. Орлова). Это сочинение вызвало оживленную дискуссию в прессе по поводу аутентичности использованных напевов и способов их обработки. Под «болгарским

этнографическим концертом» имеется в виду концерт в Петербурге 25 января 1903 года, устроенный Кленовским вместе с А.Н. Николовым (см. с. 469). Можно отметить, что после ухода Смоленского, с 1903 по 1906, именно Кленовский стал управляющим Придворной капеллой.

⁴²² - 28 сентября 1901 года исполнялось 150 лет со дня рождения Д.С. Бортнянского. По этому случаю Смоленским было устроено в Капелле большое празднество: утром в соборе Смоленского кладбища была отслужена заупокойная литургия с пением хора Капеллы, затем на могиле Бортнянского – панихида с возложением венка; вечером в Капелле состоялось музыкальное собрание, в котором исполнялась как духовная, так и светская музыка композитора, причем Смоленский выступал с речами перед обоими отделениями концерта и устроил выставку автографов и других материалов Бортнянского. Речь Смоленского опубликована в виде статьи в РМГ, 1901, № 39; отчет о празднестве – там же, № 40.

⁴²³ - сведение к абсурду (лат.).

⁴²⁴ - Под «вразумлением Аксакова» имеются в виду тяжелые отношения с властями, которые сопровождали весь жизненный путь этого замечательного русского человека, пламенного патриота и талантливое публициста: так, в молодости Иван Сергеевич Аксаков подвергался аресту за якобы крамольные мысли, обнаруженные при перлюстрации его частного письма; затем был запрещен цензурой второй выпуск редактировавшегося Аксаковым «Московского сборника» (с запрещением ему в течение нескольких лет заниматься издательской деятельностью); позже были закрыты цензурой основанные им газеты «Парус», «День» и «Москва» и т.д.

⁴²⁵ - Пасхалов приехал в Казань в 1873 году. До этого, после окончания гимназии в родном Саратове, он учился в Москве у А.И. Виллуана, затем в течение нескольких лет посещал вольнослушателем Парижскую консерваторию, потом занимался в Московской консерватории, вернулся в Саратов, в 1871–1872 годах снова жил в Москве.

⁴²⁶ - Это письмо Стасова было позже полностью опубликовано в РМГ (1911, № 14, в подборке писем Стасова и к Стасову). Пребывание Пасхалова в Петербурге и его знакомство с членами «Могучей кучки» отражено также в письме М.П. Мусоргского к Стасову от 12–13 сентября 1872 года и в «Летописи моей музыкальной жизни» Н.А. Римского-Корсакова. Признавая несомненный талант Пасхалова, Мусоргский, как и Стасов, высоко оценил его инструментальную пьесу «Свадебное шествие» (в письме приводится записанная на слух тема) и весьма скептически отозвался о знаменитой «Песне о рубашке». Римский-Корсаков высказывается о визите Пасхалова в Петербург в более суровых тонах: «Пасхалов, приехавший из Москвы в качестве вновь объявившегося таланта, играл нам отрывки из своей оперы «Большой выход у сатаны», а также какую-то якобы оркестровую фантазию плясового характера. Все это было незрело и в сущности мало обещало. Пасхалов вскоре скрылся с горизонта; он начал пить, сочинял какие-то пошлые романсы из-за денег и преждевременно погиб, не оставив после себя ничего замечательного по части сочинений» (Летопись моей музыкальной жизни. М., 1955. С. 78).

⁴²⁷ - Автографы всех упомянутых Смоленским произведений Пасхалова, в том числе и «книжки», хранятся ныне в ГЦММК имени М.И. Глинки, в ф. 134, где объединены материалы двух Пасхаловых – Виктора Никандровича и его сына, известного музыковеда и фольклориста Вячеслава Викторовича.

⁴²⁸ - Местонахождение этого автографа нам неизвестно.

⁴²⁹ - Точное название статьи Рачинского – «Народное искусство и сельская школа» (см. ее публикацию с комментариями в третьем томе данной серии).

⁴³⁰ - «Молиться» в данном случае означает креститься, кланяться, прикладываться к иконам и т.д., что запрещено для иноверцев в храмах ряда старообрядческих согласий, а иногда и у единоверцев.

⁴³¹ - «Биографический очерк» перепечатывается без комментариев, как вспомогательный материал. Для уточнения цитируемых фрагментов Воспоминаний, названий упоминаемых работ Смоленского и их датировок и т.д. предлагаем читателям сверяться со вступительной статьей Н.И. Кабановой, комментариями к Воспоминаниям и Каталогом опубликованных работ С.В. Смоленского.

⁴³² - Ошибочное утверждение (см. во Вступительной статье). – Ред.

⁴³³ - Неверная дата рождения и неправильно указанная должность отца (см. во Вступительной статье). – Ред.

⁴³⁴ - Мысль Смоленского была осуществлена около того же времени Обществом любителей древней письменности, издавшим «Круг церковного древнего знаменного пения» в 6-ти томах (Памятники древней письменности, т. LXXXIII).

⁴³⁵ - А.Н. Шишков – прокурор Московской Синодальной конторы и впоследствии ближайший начальник Смоленского.

⁴³⁶ - Имеется в виду работа Н.М. Соловьева «Труды С.В. Смоленского в области изучения древнерусского церковного пения». Казань, 1908. – Сост.

⁴³⁷ - Купирована цитата из статьи Смоленского о Рачинском, полностью опубликованной в этом томе. – Сост.

⁴³⁸ - Вот полный список докладов и лекций С.В. Смоленского за время 1901–1908 годов, читанных главным образом в Обществе любителей древней письменности (в исключительных случаях указывается место чтения доклада). Список этот составлен при любезном содействии А.В. Преображенского: 1) О древнерусских певческих нотациях (26 января 1901). 2) О ближайших задачах и научных разысканиях в области русской церковно-певческой археологии (28 ноября 1903). 3) Инок Евфросин и его сказание о различных ересь и хулениях на Господа Бога и Пречистую Богородицу, содержимых от неведения в знаменных книгах, 1651 года (19 марта 1904). 4) О «Мусикии» дьякона Иоанникия Трофимова Коренева и Николая Павлова сына Дилецкого (16 апреля 1904). 5) Отношение русской церковной музыки к византийской (читано

30 октября 1904 в закрытом заседании филологического факультета Петербургского университета).6) О стихах покаянных и беседных по крюковым и нотным рукописям XVI и XVII веков (17 декабря 1904).7) О русской хоровой литературе с половины XVI века до начала влияния заезжих итальянцев (22 апреля 1905).8) О староболгарском церковном пении в издании Ан. Николова (16 декабря 1905).9) Несколько новых данных о так называемом кондакарном знамени и кондакарях XII-XIII вв. (14 апреля 1906).10) О поездке на Афон (8 декабря 1906).11) О трехголосных кантах и псалмах по рукописям XVII и начала XVIII в. (7 декабря 1907; повторено в Москве, в Епархиальном доме 13 марта 1908).12) О каталогизации церковных песнопений, оказавшихся в афонских и венских греческих рукописях XI-XII вв., и о дополнительной к ней каталогизации песнопений, оказавшихся в русских древнейших рукописях (21 декабря 1907).13) О значении «кантов» и «псалмов» XVII в. в области современного церковного пения так называемого «простого напева» (23 марта 1908 в зале дома гр. С.Д. Шереметева).14) О фортепианной музыке в России XVIII в. (5 декабря 1908).

⁴³⁹ - Дата не верна (см. Вступительную статью). – Сост.

⁴⁴⁰ - В основу Каталога положен уточненный и дополненный Указатель литературно-музыкальных трудов С.В. Смоленского, опубликованный Н.Ф. Финдейзенем (Памяти С.В. Смоленского [Музыкальная старина. Вып. 5]. СПб., 1911. С. 41–46).